This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Lieskov, N. S.

БИБЛИОТЕКА
№
В. ЛЕНКОВСКАГО

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

891.73
L711
ed.3a
v.29-32

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ГОРА.

ЕГИПЕТСКАЯ ПОВѢСТЬ.

(По древнимъ преданіямъ.)

«Этотъ анекдотъ совершенно древній. Такой случай нынче не сбыточенъ, какъ сооруженіе пирамидъ, какъ римскія зрѣлища—игры гладіаторовъ и звѣрей».

(Египетскія ночи.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Очень давно въ Александріи египетской, при римскомъ господствѣ, жилъ знаменитый и славный художникъ, по имени Зенонъ. Онъ съ необыкновеннымъ, тонкимъ искусствомъ дѣлалъ изъ серебра и золота роскошную утварь и художественныя вещи для женскихъ уборовъ. По роду своихъ занятій онъ назывался «златокузнецъ». Происходило это въ то время, когда въ Александріи, въ тѣсномъ другъ съ другомъ сосѣдствѣ и въ близкомъ общеніи по дѣламъ, жило много людей разныхъ вѣръ, и всякій почиталъ свою вѣру за самую правильную и за самую лучшую, а чужую вѣру не уважалъ и порицалъ. Были также и такіе, которые, чтобы жить въ мирѣ и тишинѣ, не оказывали свою вѣру, а держали ее въ себѣ тайно и ни въ какіе споры не вступали.

Зенонъ златокузнецъ былъ потаенный христіанинъ, но община александрійскихъ христіанъ его своимъ не считала, и самъ онъ держался отъ нея въ отдаленіи. Ему было удобнѣе не сообщаться, потому что, наученный христіанству какимъ-то сирійскимъ зашельцемъ въ Египетъ, Зенонъ

не о всемъ мыслилъ совершенно такъ, какъ принято было безъ разсужденія другими христіанами въ Александріи. Поэтому и тѣ немногіе изъ открытыхъ христіанъ, которые знали Зенона, почитали его стоящимъ на ложномъ пути, онъ къ нимъ насильно не шелъ; но никогда съ ними и не спорилъ, а жилъ самъ по себѣ въ отдаленіи, въ тихомъ, прохладномъ загородномъ урочищѣ за палестрою, на дынныхъ огородахъ.

По художеству, которое тогда называлось «златокузнею», Зенону не было равнаго—не только въ Александріи и въ Ѳивахъ, но и въ цѣломъ Египтѣ. Браслеты, стяжки и головные уборы работы Зенона славны были даже въ Антіохіи. Всѣ именитыя женщины обоихъ этихъ роскошныхъ городовъ наперебой непремѣнно хотѣли имѣть украшенія, сдѣланныя этимъ искуснымъ мастеромъ. Евреи изъ Антіохіи дѣлали ему большіе заказы и, забирая себѣ его «златокузню», увозили его художественныя произведенія въ свой городъ и тамъ продавали по чрезвычайно высокой цѣнѣ и наживали большія выгоды. Зенонъ былъ очень досужъ и трудолюбивъ, но, при всемъ томъ, онъ не успѣвалъ исполнять всѣхъ дѣлаемыхъ ему заказовъ, и недосугъ его простирался до того, что онъ не имѣлъ даже времени ни для какихъ удовольствій и часто ему некогда было даже о себѣ обдумать. Ему шелъ уже тридцать первый годъ, и онъ имѣлъ хорошій достатокъ для того, чтобы жить безнуждно съ семьею, а онъ все еще ходилъ холостой, былъ совершенно одинокъ и жилъ въ своемъ уединенномъ, но хорошо устроенномъ домѣ за дынными огородами. Въ прислугѣ у него для помощи былъ одинъ непомѣрной силы персіянинъ, который былъ ему беззавѣтно преданнымъ и вѣрнымъ слугою, хотя самъ этотъ человѣкъ былъ язычникъ и ходилъ совершать таинства Митры.

Зенонъ былъ домосѣдъ и на свободѣ любилъ читать и размышлять о высокихъ вопросахъ. Проработавъ цѣлый день, онъ только вечерами выходилъ за порогъ своей мастерской, садился на каменную скамейку подъ широколистнымъ платановымъ деревомъ и отсюда любовался вечернимъ закатомъ краснаго солнца за купы деревьевъ, читалъ сочиненія о высокихъ предметахъ или катался по Нилу, самъ управляя своею баркой подъ клѣтчатымъ шелковымъ парусомъ. По всѣмъ домашнимъ дѣламъ Зенона въ городъ

ходилъ и справлялъ ихъ персіянинъ, однако въ Александріи всѣ знали Зенона, не исключая лицъ именитыхъ, и многіе почитали за честь быть съ нимъ въ знакомствѣ, такъ какъ онъ въ своемъ родѣ тоже былъ знаменитъ,—но Зенонъ былъ скроменъ и отъ почета всегда удалялся. Богатыя щеголихи Александріи шли наперебой одна передъ другою, чтобы имѣть Зенона себѣ для услугъ, и платили очень дорого, лишь бы только перещеголять другъ друга, но ихъ было много, а Зенонъ одинъ, и потому это не помогало. Всѣмъ Зенонъ не могъ услужить.

Тогда одна знатная дама вздумала присвоить себѣ искусство художника иначе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ Александрію пріѣхала изъ Антіохіи одна молодая и чрезвычайно красивая вдова, по имени Нефорисъ или Нефора. Она была очень богата и до того избалована, что не знала мѣры своимъ прихотямъ и не переносила никакого возраженія и отказа. Воздерживаться и останавливаться въ осуществленіи какихъ бы то ни было желаній было для нея такъ несносно, что она объ этомъ не хотѣла и думать, а цѣль ея, по пріѣздѣ въ Александрію, прежде всего, заключалась въ томъ, чтобы превзойти своею пышностью всѣхъ самыхъ роскошныхъ александрійскихъ красавицъ. Отказаться отъ этого суетнаго желанія Нефора не согласилась бы ни за что на свѣтѣ, такъ какъ вся Антіохія знала ее за самую изящную красавицу, которая своею роскошью и увлекательностью затмевала собою всѣхъ иныхъ прекрасныхъ женщинъ, блиставшихъ красой и нарядами на празднествахъ въ рощѣ Дафны. Наряды Нефоры были прелестны, но чтобы сдѣлать ихъ еще болѣе замѣчательными, она захотѣла имѣть самый лучшій выкованный изъ золота уборъ, какой носили щеголихи въ Александріи, но только непремѣнно, чтобы онъ былъ лучше, чѣмъ всѣ подобные уборы, какіе до сихъ поръ были сдѣланы. Она послала за Зенономъ, но Зенонъ отказался прійти, сказавъ, что ему недосужно. Нефора послала за нимъ второго посла и велѣла ему обѣщать Зенону такую плату, какую самъ онъ захочетъ, но Зенонъ отвѣтилъ послу: «Скажи твоей госпожѣ, что я работаю сколько могу и сверхъ силы моей не принимаю заказовъ. Всѣмъ угодить я не успѣю, а наблюдаю очередь, и никакая богачка не

можетъ предложить мнѣ ничего такого, что̀ заставило бы меня отступить отъ справедливаго порядка».

Когда посланные къ Зенону во второй разъ возвратились безъ успѣха и передали отвѣтъ художника Нефорѣ, то эта избалованная и непривычная ни къ какимъ возраженіямъ модница впала въ ужасную гнѣвность и дошла до такого безумія, что велѣла подвергнуть безжалостному наказанію рабовъ, которыхъ посылала къ Зенону, а для себя приказала сейчасъ же осѣдлать бѣлаго мула и приготовить ей длинное и густое покрывало, въ которое могла быть завернута вся ея фигура съ головою.

Нефорисъ рѣшилась сама отправиться къ Зенону и во что бы то ни стало принудить художника сдѣлать для нея самую красивую золотую діадему, съ самыми тонкими и изящными цѣпочками, скованными легко и усаженными перлами одной величины и одного цвѣта.

Оба приказанія Нефоры были исполнены въ точности: рабы ея, ходившіе безъ успѣха къ Зенону, были наказаны ударами воловьей жилы, а ей былъ поданъ бѣлый мулъ, покрытый роскошнымъ ковромъ, съ уздою изъ переплетенной широкой, зеленой и желтой, тесьмы, съ золотистою сѣткой на чолкѣ и съ длинными кистями вмѣсто вторыхъ поводьевъ. У этихъ поводьевъ стоялъ нѣмой сиріецъ изъ Тира, въ ярко-красной, до пятъ его достигавшей, длинной одеждѣ.

Нефора сѣла на своего мула, и красный сиріецъ повелъ красивое животное за поводья, не зная, куда его госпожа отправляется. Онъ только оглядывался на свою госпожу при поворотахъ и распутьяхъ и слѣдовалъ мановенію ея опахала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Какъ сказано выше, Зенонъ, удаляясь отъ шума, жилъ за городомъ въ уединенной красивой мѣстности, до которой было весьма далеко отъ жилища Нефоры. Дорога сюда шла сначала городомъ, потомъ тѣнистою аллеей, по которой не затихало очень сильное движеніе. Нефорѣ встрѣчались рабы, несшіе въ паланкинахъ женщинъ, ее съ грохотомъ обгоняли парныя колесницы на мулахъ и на рослыхъ коняхъ съ подстриженными гривами, а потомъ путь становился безлюднѣй и тише. Тутъ Нефора почувствовала

свою неосторожность: она не знала дальше дороги къ жилищу Зенона.

Отъ аллеи начинались мелкіе свертки по тропинкамъ въ удолья, утонувшія въ платановыхъ рощахъ. У одного изъ этихъ свертковъ подъ вѣтвистымъ деревомъ сидѣлъ старый амаликитянинъ и ѣлъ дыню; возлѣ него жевалъ свою жвачку такой же старый верблюдъ. Нефора спросила у амаликитянина, не знаетъ ли онъ, гдѣ живетъ Зенонъ златокузнецъ.

— Я не здѣшній,—отвѣчалъ амаликитянинъ:—но поѣзжай далѣе и ты увидишь подъ деревомъ дѣвочку, которая пасетъ козъ,—та здѣсь живетъ и всѣхъ знаетъ,—она тебѣ можетъ сказать о томъ, кто тебѣ нуженъ.

Нефора дала знакъ сирійцу и тотъ повелъ ея мула дальше.

Вскорѣ они увидали широколиственное дерево, подъ которымъ паслись четыре желтыя козы и посреди ихъ сидѣла на травѣ простоволосая, босая дѣвочка въ грубой рубашкѣ изъ холста коричнѣваго цвѣта.

Нефора спросила ее о Зенонѣ.

Босоногая дѣвочка тряхнула своими синими кудрями и отвѣчала:

— Конечно, я знаю, гдѣ живетъ красивый и добрый Зенонъ. Я ношу ему молоко отъ нашихъ козъ, и онъ часто даритъ мнѣ дыни и виноградъ изъ своего сада. Ни добрѣй, ни красивѣй Зенона нѣтъ человѣка на свѣтѣ. Поверни вправо по третьей тропинкѣ и ты увидишь поляну, съ которой заблестятъ воды Нила, а передъ тобою прямо будетъ садъ, въ томъ саду бѣлый домъ, съ пестрою крышей, и большой мѣдный аистъ надъ входомъ,—это и есть жилище Зенона.

Нефора взяла указанное ей направленіе, но опять скоро смѣшалась въ извивахъ тропинъ и могла заблудиться. По счастію, ей встрѣтился человѣкъ, мрачнаго вида, съ треугольнымъ шрамомъ на лбу и съ большою корзиной, въ которой видны были плоды, фляга съ питьемъ и большая красная рыба. Нефора спросила его о Зенонѣ, а человѣкъ ей отвѣчалъ:

— Я служитель Зенона, но я не могу возвратиться, чтобы проводить тебя къ нему, потому что я поспѣшаю соединиться съ своими единовѣрцами,—мы идемъ справлять таинство Митры. Господинъ мой меня отпустилъ послужить

моей вѣрѣ и остался теперь одинъ въ своемъ домѣ. Обогни тотъ большой кустъ розъ, и ты увидишь дорожку, которая прямо приведетъ тебя къ его дому. Зенонъ теперь одинъ, онъ занятъ работой, но дверь въ его мастерскую открыта.

Сказавъ это, персъ показалъ ей, какъ надо проѣхать черезъ поляну, гдѣ зрѣли ароматныя дыни, и Нефора, проѣхавъ межъ сирени, жасминовъ и розъ, увидала вдали, какъ катилъ воды Нилъ, а вблизи, въ чащѣ кустовъ, стоялъ бѣлый домикъ и на немъ, какъ живой, мѣдный аистъ на бѣломъ фронтонѣ. Вокругъ было все тихо; синее небо разстилалось какъ ровно покрытый шатеръ; солнце горѣло, въ воздухѣ стоялъ зной; на бѣломъ карнизѣ рядкомъ сидѣли и пѣли черные дрозды. Вокругъ дома было множество лилій и розъ, а у самыхъ стѣнъ и у бѣлаго мраморнаго порога лежали цѣлые пласты зеленаго діарита. Здѣсь было свѣжо, тихо и цѣломудренно: здѣсь жилъ художникъ.

Усталая отъ далекаго переѣзда и отъ жара, Нефора сошла съ сѣдла и отослала мула и провожатаго вдаль подъ дерево, а сама осталась передъ открытою дверью Зенона. Теперь она, не переступая порога, могла видѣть всю его мастерскую. Это была очень большая и высокая квадратная комната безъ оконъ; мягкій свѣтъ проникалъ въ нее черезъ потолокъ, сквозь фіолетовую слюду, отчего всѣ вещи казались обвитыми какъ будто эѳирною дымкой. Посерединѣ комнаты на полированномъ красномъ порфирѣ красовался бронзовый ибисъ и изъ его клюва струилась свѣжая вода; стѣны окружены были колоннами и ровно окрашены красновато-коричневою краской, на которой рѣзко выдѣлялись бѣлыя мраморныя и лѣпныя фигуры, изображавшія людей и животныхъ. Здѣсь были и легкія маски женщинъ, и тяжелыя головы фараоновъ, и задумчивыя морды верблюдовъ, и хищныя пасти крокодиловъ. Зенонъ, какъ большинство художниковъ того давняго времени, зналъ не одну златокузню. Подобно извѣстному со временъ Амазиса художнику Ѳеодору, Зенонъ былъ и архитекторъ, и плавильщикъ, и лѣпщикъ, и ваятель, и во всемъ онъ былъ мастеръ и знатокъ, и любитель всякаго изящества, о чемъ и не мудрено было заключить по его жилищу, передъ которымъ теперь стояла Нефора, вдыхая оттуда прохладную свѣжесть и ароматъ, разливавшійся изъ красивыхъ, яркою поливой покрытыхъ тазовъ, въ которыхъ росъ золотистый мускусъ

и напоялъ всю атмосферу своимъ запахомъ. Посреди всѣхъ художественныхъ произведеній искусства, наполнявшихъ покой, стоялъ самъ художникъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Напомнимъ, что Зенону шелъ тридцать первый годъ. Онъ родился въ Милетѣ отъ красивой гречанки и галла. Природа дала ему стройный станъ, сильныя руки, огромную массу бѣлокурыхъ волосъ и огненные черные глаза, въ которыхъ свѣтилась самая плѣнительная доброта и благородная твердость. Онъ былъ въ длинномъ хитонѣ изъ мягкой шелковой матеріи сѣраго цвѣта, съ блѣднорозовыми кружками по краю; ноги его были обуты въ легкія желтыя сандаліи, а буйные русые волосы схвачены тонкимъ золотымъ обручикомъ съ бирюзою на лбу.

Онъ стоялъ спиной къ двери, облокотясь на подставку, на которой лежала глыба глины для лѣпки, и разсматривалъ съ сосредоточенностью деталь своей модели.

— Зенонъ!—позвала его Нефора.

Онъ вздрогнулъ и оборотился. Нефора нашла, что лицо его прекрасно, и переступила къ нему за порогъ въ его мастерскую.

— Ты не долженъ сердиться, что я прихожу къ тебѣ, художникъ. Меня привлекла къ тебѣ твоя слава. Женщинъ влечетъ къ себѣ слава, а ты славный художникъ. Я не здѣсь рождена и никогда тебя не видала, но слава твоя мнѣ извѣстна. У меня есть тоже слава моя, которая не стоитъ твоей: въ Антіохіи меня называли «звѣздою между красавицъ», но я прихожу къ тебѣ за совѣтомъ: помоги мнѣ, художникъ!

— Въ чемъ нужна тебѣ моя помощь?

— Прежде всего, позволь мнѣ быть твоею гостьей и дай отдохнуть мнѣ у тебя отъ несноснаго зноя.

— Входи и будь моею гостьей.

Нефора вошла, сняла покрывало и сѣла въ широкое кресло, покрытое кожей пантеры.

Застигнутый такъ внезапно врасплохъ, «златокузнецъ» сразу ощутилъ себя какъ бы во власти посѣтившей его бойкой и настойчивой гостьи. Онъ подалъ воды ей и положилъ къ ея ногамъ мягкую подушку, а самъ сталъ передъ нею и смотрѣлъ на нее, сложивъ свои руки на груди среди

мягкихъ складокъ хитона. Его поразила замѣчательная красота Нефорисы, которая, спустивъ покрывало, явилась одѣтой такъ изящно къ лицу, что природная прелесть ея лица блистала еще ярче. Небольшая на круглой шеѣ головка Нефоры была покрыта широкимъ и тонкимъ кефье въ голубыхъ и бѣлыхъ полосахъ: мягкія складки этой искусно положенной, изящной повязки облегали, какъ воздухъ, ея лицо и черно-синіе кудри. Кефье было перевязано желтымъ шнуромъ. Уши, руки и пальцы Нефоры были украшены серьгами, кольцами и браслетами, а на стройной шеѣ лежало золотое ожерелья изъ множества мелкихъ цѣпочекъ и на концѣ каждой изъ нихъ дрожали жемчужные перлы. Рѣсницы Нефоры были подведены по египетской модѣ, концы пальцевъ слегка подрумянены, а тонкіе ногти напудрены розовымъ перламутромъ. Гибкій станъ Нефоры охватывала легкая туника полосатой матеріи — розовой съ бѣлымъ, а вмѣсто пояса ей служилъ золотистый шелковый шнуръ, у одной изъ кистей котораго висѣло маленькое зеркальце и такой же маленькій сверленый изъ самоцвѣтнаго камня флаконъ съ пахучею индійскою эссенціей. Но всего больше поражало необыкновенно живое и измѣнчивое выраженіе ея нѣжнаго и страстнаго лица, линіи котораго такъ часто мѣнялись, что, казалось, ихъ совсѣмъ уловить невозможно.

Усѣвшись небрежно въ кресло, Нефора, не ожидая разспросовъ хозяина, сама разсказала ему, въ чемъ ея надобность. Она сказала, что желаетъ, во что бы то ни стало, имѣть къ предстоящей палестрѣ самую изящную діадему работы Зенона, а онъ ей отвѣчалъ, что это невозможно, ибо все время его до предстоящей палестры уже распредѣлено имъ для исполненія другихъ, ранѣе полученныхъ заказовъ.

— А правду ли ты это говоришь? Можешь ли ты мнѣ сказать: для кого именно ты теперь взялся работать?

— Я думаю, что это я въ правѣ сказать,—отвѣчалъ неосторожно художникъ и назвалъ Родописъ и Сефору, тѣхъ самыхъ, которыхъ всѣхъ сильнѣе Нефора желала превзойти своею красотой, появясь въ первый разъ на александрійской палестрѣ.

— Родописъ и Сефора!—воскликнула Нефора.— Неужто же я меньше ихъ стою въ очахъ человѣка, который способенъ цѣнить изящное въ мірѣ?

— Человѣкъ прежде всего долженъ исполнять то, что составляетъ его долгъ.

— Долгъ художника служить красотѣ, и я тебѣ даю къ тому наилучшее средство. Зачѣмъ ты будешь напрасно тратить талантъ свой для плосколобой Родописъ и скуластой Сефоры? Имъ все равно искусство твое не поможетъ и онѣ въ діадемахъ твоихъ не станутъ изящнѣй; но укрась ты Нефору, приложи красоту убора къ ея красотѣ—и палестра забудетъ ристанье, а заплещетъ моей красотѣ и твоему искусству, художникъ.

И когда Нефора увидала, что художникъ ей внимаетъ, то она, чтобы не дать ему опомниться и еще сильнѣе преклонить его на свою сторону, рѣшилась не выйти отъ него безъ того, чтобы не принудить Зенона измѣнить данному слову и тѣмъ болѣе восторжествовать надъ Родописъ и Сефорой. Нефора рѣшила не только умолять Зенона и льстить ему вниманіемъ и лаской, но даже прямо прельщать его своею красотой съ тѣмъ, чтобы довести его до страстнаго увлеченія и купить у него предпочтеніе себѣ хотя бы даже цѣною своей чести.

«Тогда,—думала она: — онъ перестанетъ отказываться, и чего не хочетъ сдѣлать мнѣ за большія деньги, то сдѣлаетъ безъ всякой денежной платы, какъ для своей любовницы. Я этого желаю... У меня будетъ уборъ всѣхъ изящнѣе, а вреда чести моей отъ этого никакого не будетъ, потому что, навѣрное, никому даже и на мысль не придетъ, чтобы я, самая первая красавица, молодая и богатая вдова Нефорисъ, брака съ которой искало и ищетъ столько знаменитыхъ людей, отдалась изъ-за выгодъ уроженцу Милета... Никто не повѣритъ, что я отдала себя златокузнецу за то, чтобы имѣть его златокузню... чтобъ унизить ею соперницъ... Да, этому никто не повѣритъ, и я тѣмъ смѣлѣе на это рѣшаюсь».

Къ тому же... Зенонъ былъ красивъ и...

Нефора вдругъ ощутила надъ собой его обаянье.

Всѣ до сихъ поръ искали вниманія ея, — и вотъ человѣкъ, кого *она ищетъ*... Она предлагаетъ себя... Она себя *продаетъ*...

Это ей ново, и дико, и страстно желанно.

Нефора не размышляла, или ея разсудокъ былъ слишкомъ сговорчивъ и велъ ее къ достиженію того, чего ей желалось.

«Все равно я должна буду выйти замужъ за какого-нибудь вельможу, котораго я не буду любить, а пока я свободна, не вольна ли я сама располагать собой какъ хочу? Я хочу, я могу, я желаю здѣсь, въ этой тиши, внезапно купить себѣ цѣною своей красоты услуги красавца Зенона. Такъ, мой художникъ! тебя ничто не спасетъ отъ соблазна моей красоты, и торжество мое надъ тобой неизбѣжно».

И Нефора, нимало не медля, начала стремиться къ тому, чтобы осуществить свое намѣреніе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Она сказала Зенону:

— Хорошо, я не хочу настаивать, чтобы ты портилъ твой честный обычай, но ты можешь помочь мнѣ, оставаясь господиномъ своихъ обѣщаній, которыя далъ Родописъ и Сефорѣ.

— Я не вижу, какъ я могу это сдѣлать.

— Я тебя научу, если только ты хочешь у меня научиться,—сказала съ улыбкой Нефора.

— Учи, я охотно готовъ тебя слушать,—отвѣчалъ, также слегка улыбаясь, Зенонъ златокузнецъ.

— Сядь со мною рядомъ и слушай.

Зенонъ сѣлъ въ стоявшее рядомъ другое кресло, а она взяла его за руку и сказала:

— Ты вѣдь далъ слово не дѣлать лишь новыхъ уборовъ и не имѣешь досуга на это. Я и просить тебя больше объ этомъ не стану; но что ты скажешь на то, если можешь мнѣ сдѣлать удовольствіе, не нарушая своего слова?

— Тогда я сдѣлаю все, чтобы не огорчить тебя понапрасну.

— Я не хочу ничего больше: здѣсь со мной мой пестрый персидскій ларецъ, въ которомъ лежатъ всѣ мои драгоцѣнности. Тамъ много есть разныхъ прекрасныхъ вещей, которыхъ здѣсь, въ Александріи, на мнѣ не видали. Я привезла ихъ для того, чтобы ты ихъ разсмотрѣлъ и обдумалъ: не возможно ли ихъ смѣшать и привести ихъ въ такое соединеніе, чтобы изъ нихъ, по изящному вкусу Зенона, вышелъ не худшій уборъ для Нефоры?

— Ты это очень хорошо придумала! — воскликнулъ Зенонъ златокузнецъ.

— Я очень рада, что ты меня одобряешь, и съ своей стороны награжу тебя всѣмъ, чего только захочешь.

Зенонъ понялъ смыслъ этихъ словъ о наградѣ и, вставъ съ мѣста, сказалъ:

— За простой совѣтъ и за легкую помощь по силамъ моимъ никакой мнѣ награды не нужно.

— Отчего же?.. Проси!.. Или... если ты гордъ, то довѣрь мнѣ самой оцѣнить, чѣмъ съ тобой расплачусь.

— Нѣтъ, оставь это!.. Мнѣ довольно будетъ того, что я могу доставить тебѣ радость...

— Хорошо, пусть будетъ по-твоему! Выйди же теперь къ моему рабу, возьми у него мой ларецъ и принеси его сюда.

Зенонъ вышелъ, а Нефора поглядѣлась въ свое ручное зеркальце, которое было у кистей ея пояса, и улыбнулась довольною улыбкой.

Зенонъ возвратился съ ларцемъ, который былъ не великъ, но изященъ и довольно тяжелъ.

— Благодарю,—сказала Нефора.—Теперь дай мнѣ сюда на колѣни подушку и станемъ на ней раскладывать вещи.

Зенонъ исполнилъ и это, и когда золотые уборы и самоцвѣтные камни въ оправахъ были вынуты маленькою рукой Нефоры изъ ея узорнаго ларца и разложены ею по темной ковровой подушкѣ, Зенонъ наклонился лицомъ къ колѣнямъ гостьи и сталъ серьезно разсматривать амулеты, шпильки, браслеты и цѣпи, а Нефора межъ тѣмъ разсматривала самого Зенона и любовалась граціозностью его движеній и нѣжною прелестью его свѣтлорусыхъ кудрей, подстриженныхъ и завитыхъ на лбу по греческой модѣ.

Долго Зенонъ не могъ ничего выбрать, но, наконецъ, взявъ въ руки одинъ золотой амулетъ, изображающій солнечный дискъ съ прямыми лучами, онъ задумался и потомъ соединилъ это съ другимъ меньшимъ дискомъ, на которомъ было изображеніе сладострастной богини Ма, съ ея закрытыми глазами. Зенонъ весело взглянулъ на Нефору и сказалъ ей:

— Ты совершенно права: изъ этихъ вещей можно составить такой прекрасный уборъ, который способенъ будетъ затмить всѣ другіе уборы. Ты надѣнь эти браслеты змѣями на голыя руки. Твои руки прекрасны.

— Ты находишь, что онѣ хороши?

— О, да, твои руки прекрасны, и я бы охотно слѣпилъ ихъ изъ воска.

— Что же, слѣпи. Я рада, что мое тѣло вдохновляетъ Зенона.

— Положи діадему съ маленькимъ дискомъ и богинею Ма на лобъ, а большой дискъ укрѣпи на груди, чтобы лучи его утопали и мѣстами бы вырывались изъ-подъ складокъ туники. Надѣнь свѣтло-зеленаго цвѣта тунику, или цвѣта зрѣющей вишни на солнцѣ... Вишневый цвѣтъ тебѣ, кажется, больше будетъ идти въ этомъ уборѣ... Жрецъ Ма всегда имѣетъ посохъ изъ вишни...

— Какъ ты хорошо это знаешь. Ма тебя за это должна наградить, какъ богиня.

— Сейчасъ мы все кончимъ: я тебѣ все разсказалъ, что надо сдѣлать. Ты понимаешь: надо тончайшія рясны цѣпочекъ спустить съ діадемы къ лучамъ большого диска на груди и ими тебя, какъ богиню, броней опоясать.... И ты будешь сама, какъ Ма богиня, прекрасна.

— И ты мнѣ все это сдѣлаешь, Зенонъ?

— Нѣтъ, и тебѣ это не нужно. То, что нужно тебѣ, всякій другой сдѣлаетъ такъ же, какъ я, но я болѣе не господинъ моего времени,—я далъ слово не брать никакой другой работы и мнѣ жаль, что я долженъ тебя огорчить.

— Ты не хочешь, такъ прощай же, Зенонъ.

Съ этимъ Нефора такъ быстро встала, что подушка соскользнула съ ея колѣнъ и всѣ драгоцѣнности ея упали на коверъ и разсыпались къ ея ногамъ.

— Какъ ты неосторожна,—сказалъ Зенонъ и нагнулся къ полу, чтобы подобрать разсыпанныя вещи; но едва онъ началъ распутывать изъ покрывала маленькую, стройную ножку Нефоры, обутую въ темную кожаную сандалію съ золотымъ тисненіемъ по краю подошвы, какъ нога эта скользнула и судорожно вытянулась.

Зенонъ всклонился и, къ удивленію своему, увидалъ, что все лицо Нефоры быстро покрывалось страшною блѣдностью, а прекрасные глаза ея меркли.

— Что съ тобою?—вскричалъ онъ.

— Я не знаю, — тихо и медленно отвѣчала ему ослабѣвшимъ голосомъ Нефора. — Я ѣхала слишкомъ долго въ сѣдлѣ... я слишкомъ устала... меня черезчуръ долго

жгло палящее солнце, а здѣсь прохладно, я теперь вдругъ себя чувствую дурно... Помоги мнѣ, Зенонъ! Я задыхаюсь...

Она сдѣлала движеніе, чтобы подняться и заговорила еще скорѣе и тревожнѣе:

— Уведи меня! Здѣсь мускусъ... розы... жасминъ... Всѣ деревья здѣсь такъ сильно пахнутъ... Этотъ свѣтъ сквозь лиловую слюду раздражаетъ меня... я его не сношу... я не привыкла къ Египту... Свѣта мнѣ!... воздуха!.. чистаго воздуха дай мнѣ скорѣе!

Вскрикнувъ это, она поднялась, взмахнула, какъ будто впотьмахъ чего-то искала, руками и съ меркнущимъ взоромъ тотчасъ же упала на руки Зенона.

Зенонъ подхватилъ ее, какъ дитя, на одну руку, а другою рукой дернулъ за шелковый шнуръ, и отъ движенія этого шнура одна панель въ красной стѣнѣ его мастерской сейчасъ же раздвинулась. За нею открылся входъ въ высокую, очень просторную комнату, куда встревоженный Зенонъ и пошелъ, держа на своихъ рукахъ сомлѣвшую Нефору. Глаза ея были теперь совершенно закрыты, голова опустилась и все тѣло ослабло.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Комната, въ которую Зенонъ внесъ Нефору, была совсѣмъ не похожа на ту, изъ которой онъ ее вынесъ. Это была большая, высокая столовая, стѣны которой были гладко отдѣланы кедромъ, издававшимъ самый тонкій и едва замѣтный, здоровый, смолистый запахъ; въ ней были четыре большія окна, изъ которыхъ открывался широкій видъ на меланхолическій Нилъ, а по ту сторону водъ въ отдаленіи темнѣли спаржевыя поля.

Черезъ открытыя сверху до низу окна и отпертую дверь на террасу сюда обильно текъ чистый воздухъ, не насыщенный ничѣмъ раздражающимъ и наркотизирующимъ. Солнце не сверкало въ глаза и только синее небо да синія воды тихо отражали на всемъ свой ровный и спокойный оттѣнокъ.

Убранство покоя состояло изъ нѣсколькихъ низкихъ и широкихъ диванов, покрытыхъ мягкими стеганными матрацами изъ нѣжной овечьей шерсти, накинутыми сверху еще болѣе нѣжными двусторонними египетскими коврами. Передъ

каждымъ диваномъ были поставлены маленькіе столики и табуреты, а посерединѣ комнаты помѣщался большой столъ на львиныхъ лапахъ и на этомъ столѣ стоялъ завтракъ, который приготовилъ Зенону ушедшій праздновать таинства Митры служитель.

Зенонъ бережно опустилъ Нефору на одинъ изъ диванов, до котораго свободнѣе доходила струя воздуха, подложилъ ей подъ голову и подъ плечи подушки, разстегнулъ тунику на ея груди и выбѣжалъ въ смежную комнату, гдѣ была его спальня. Отсюда онъ принесъ флаконъ съ индійскою эссенціей и, капнувъ одну каплю этой эссенціи на предсердіе Нефоры, провелъ тихо рукою и подулъ, чтобъ эѳирная жидкость быстрѣе испарялась. Потомъ онъ облегчилъ голову гостьи и ослабилъ цвѣтные ремни у ея сандалій.

Попеченія его были успѣшны: едва онъ облегчилъ стяжки, стѣснявшія тѣло Нефоры, и сталъ повѣвать на нее ея же большимъ опахаломъ, къ ней начали возвращаться ея чувства и сознаніе,—вскорѣ длинныя рѣсницы ея стали шевелиться, а тонкія ноздри вздыматься дыханіемъ, и, наконецъ, оба ея измѣнчивые глаза неуловимаго цвѣта открылись. Она обвела въ недоумѣніи незнакомый покой и спросила:

— Гдѣ я?—и, получивъ отъ Зенона отвѣтъ о томъ, гдѣ она и какимъ случаемъ попала въ эту комнату, Нефора начала сожалѣть, что надѣлала Зенону столько хлопотъ. Она укоряла себя, зачѣмъ пустилась въ непривычный ей путь на мулѣ, а не въ носилкахъ и, протянувъ руку художнику, заключила:

— Прости мнѣ то безпокойство, которое я тебѣ сдѣлала.

Онъ просилъ ее, чтобъ она объ этомъ не думала, а она отвѣчала:

— Я не могу объ этомъ не думать, потому что въ этотъ несносный жаръ, мнѣ кажется, я буду не въ силахъ сдѣлать обратно далекій путь на сѣдлѣ.

— И это тоже пусть тебя не безпокоитъ,—отвѣчалъ ей Зенонъ.—Тебѣ нѣтъ нужды терзать себя въ такой жаръ на сѣдлѣ. Отдохни здѣсь у меня въ прохладѣ, сколько тебѣ угодно, а когда тѣни на землѣ станутъ длиннѣе, я самъ отвезу тебя спокойно до твоего дома на моей нильской

баркѣ, которая стоитъ здѣсь же у берега подъ моимъ садомъ.

Нефора благодарила его и осталась.

— Хотя мнѣ это и совѣстно,—сказала она:—но ты самъ видишь, какъ я ослабѣла. Я не могу ѣхать на своемъ мулѣ и не должна посылать за носилками, чтобы не возбудить этимъ многихъ напрасныхъ толковъ.

— Я все это понимаю, — отвѣчалъ Зенонъ: — и ты не безпокойся, ты не будешь предметомъ никакихъ толковъ. Моя пестрая барка со всѣхъ сторонъ окрыта густыми занавѣсами и тебя никто не увидитъ, а я самъ буду ею управлять.

— Это прекрасно, — отвѣчала Нефора: — но, въ такомъ случаѣ, пожалѣй и моего бѣднаго мула, и невольника, которые будутъ напрасно ждать меня на жарѣ у твоего дома.

— Это правда, — отвѣчалъ Зенонъ: — и если ты позволишь, я сейчасъ же отпущу домой и человѣка, и бѣдное животное.

— Не откажи мнѣ въ этомъ, я прошу тебя.

— Охотно,—отвѣчалъ Зенонъ, и сейчасъ же вышелъ, а Нефора приподнялась съ дивана и подошла къ одному изъ открытыхъ оконъ. Передъ нею открылся на пологомъ скатѣ къ рѣкѣ прекрасно содержанный садъ, разбитый по-египетски радіусами отъ центра, который обозначался фонтаномъ у небольшого обелиска изъ краснаго гранита, а въ концѣ одной изъ дорожекъ была такая же гранитная лѣстница. Къ одному изъ столбовъ этой лѣстницы была прикована бронзовою цѣпью роскошная, очень пестро, по-египетски, раскрашенная нильская барка. На носу ея красовался огненно-красный крылатый грифонъ, а на кормѣ завязанный въ узелъ хвостъ какого-то морского чудовища. Посрединѣ барки былъ паланкинъ, гдѣ на бронзовыхъ прутьяхъ висѣли въ густыхъ складкахъ полы мягкой полосатой матеріи—синей съ бѣлымъ.

Не трудно было понять, что это и есть нильская барка Зенона, на которой онъ любилъ вечерами кататься подъ клѣтчатыми шелковыми парусами по Нилу.

Она отличалась отъ всѣхъ другихъ барокъ, стоявшихъ у берега, не только по богатству, но и по изяществу отдѣлки, въ которомъ, какъ во всемъ окружающемъ Зенона, выражался его художественный вкусъ.

Онъ самъ и все, что при немъ есть,—все это было прекрасно и все плѣняло Нефору, и она все болѣе и болѣе волновалась отъ прилива страстныхъ ощущеній.

Придя просто съ тѣмъ, чтобы заставить художника сдѣлать себѣ уборъ и въ немъ превзойти на палестрѣ какихъ-то соперницъ, Нефора сама для себя непримѣтно увлеклась вспыхнувшимъ чувствомъ любви къ красавцу Зенону и, никого до сихъ поръ не любя, вся предалась необузданной страсти.

— Пусть, — говорила она, глядя на Нилъ, но Нила не видя: — пусть совершится судьба... Пусть, пусть это будетъ... Я собой не владѣю и владѣть не желаю... Всѣ, кто искалъ улыбки Нефоры,—судьба за васъ всѣхъ нынче мнѣ отомстила: я уязвлена страстью, я сегодня впервые люблю. Другой такой случай можетъ не быть: я остаюсь здѣсь одна съ нимъ и хочу здѣсь сгорѣть и сгорю въ объятіяхъ Зенона.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ то время, когда Нефора разсуждала такимъ образомъ, глядя въ открытое окно на картину, которая застилалась отъ нея ея влюбленною мечтой, возвратился Зенонъ; онъ сказалъ ей, что и мулъ, и нѣмой проводникъ имъ уже отправлены домой, а самой Нефорѣ Зенонъ предложилъ сѣсть за столъ и подкрѣпить себя пищей и прохладнымъ напиткомъ изъ воды и вина.

— Затѣмъ,—сказалъ онъ:—ты отдыхай здѣсь, въ покоѣ, пока схлынетъ жаръ, а я буду работать.

Нефора на все согласилась, и когда они сѣли съ Зенономъ къ столу и онъ просилъ ее испробовать мясо, фрукты и прохладное смѣшеніе изъ антильскаго вина съ водой и ягоднымъ сокомъ, Нефора, по эллинскому обычаю, предложила выслушать отъ нея, кто она и откуда и зачѣмъ появилась въ Египтѣ.

Зенонъ отъ этого не смѣлъ отказаться, и чтобы не показать себя невѣжливымъ передъ гостьей, отвѣчалъ ей:

— Повѣсть твоя усладитъ слухъ мой: говори, а я принесу воскъ и буду лѣпить изъ него то, что мнѣ нужно, — и онъ принесъ воскъ и началъ его мять на дощечкѣ, а Нефора близко сѣла съ нимъ рядомъ и начала говорить о себѣ.

Она упомянула Зенону сначала о своей родинѣ въ далекой Ѳракіи, откуда она была увезена въ дѣтствѣ въ Антіохію, и выросла тамъ при безпрестанныхъ тревогахъ по поводу быстрыхъ и частыхъ перемѣнъ въ положеніи ея родителей, а потомъ она разсказала, какъ была отдана замужъ за стараго и очень безнравственнаго византійскаго вельможу, который понуждалъ ее къ постыднымъ для женщины поступкамъ въ угоду высшаго вельможи, отъ котораго зависѣло его служебное повышеніе, и какъ она воспротивилась этому и много за то претерпѣла, а потомъ, когда мужъ ея умеръ, оставивъ ей большое богатство, она, по любви къ независимости и свободѣ, не захотѣла вернуться въ свою эллинскую семью, ибо ей противна подчиненность безгласныхъ въ семьѣ эллинскихъ женщинъ, а переселилась изъ Антіохіи въ Египетъ, гдѣ женщины не находятся въ такомъ порабощеніи, какъ у эллиновъ. Здѣсь она хочетъ быть госпожею своихъ поступковъ и сама надѣется выбрать себѣ достойнаго мужа.

— Ты хорошо сдѣлала, что соблюла свою непорочность,— отвѣчалъ ей уклончиво Зенонъ.

Она промолчала.

Зенонъ взглянулъ на нее и удивился, какъ измѣнчивый цвѣтъ ея глазъ то разгорался, то гасъ, обозначая быстроту душевныхъ движеній.

Она еще колебалась, но страсть одолѣла и стыдъ, и разсудокъ.

— Да,—сказала она:—но этихъ похвалъ я впередъ не желаю, я молода и не хочу быть «богиней», какъ ты меня назвалъ: теперь я хочу быть любима такъ просто, какъ смертную женщину можетъ любить простой, смертный мужчина. Да, я полюблю въ тотъ же мигъ, какъ только увижу того, который можетъ быть милъ мнѣ.

— Что же, ты, вѣрно, его и найдешь

Нефора опять замолчала: ноздри ея изящно выгнутаго носа быстро двигались, а уста открывали бѣлые зубы, но, наконецъ, она не выдержала и сказала:

— Я уже нашла его, Зенонъ.

— Вотъ и прекрасно: если онъ любитъ тебя, ты вступишь въ супружество, и я желаю тебѣ быть счастливой.

— Благодарю за желаніе,—живо сказала Нефора:—но я слишкомъ много страдала и слишкомъ долго ждала этого,

чтобы теперь ожидать еще дольше. Я томлюсь желаніемъ скорѣе, въ мгновенье, забыть мое горе въ объятіяхъ того, чьихъ лобзаній уста мои жаждутъ.

Она встала и съ дѣтскою, избалованною улыбкой бросилась къ Зенону и закричала:

— Къ тебѣ, Зенонъ, къ тебѣ, мой художникъ, влечетъ меня сердце и страшная сила рокочущей крови... Для чего ты встаешь? Куда ты отходишь? Дай мнѣ любви, дай мнѣ лобзаній, забвенья и счастья, или я потеряю разсудокъ!

Но Зенонъ ея не слушалъ; онъ отступилъ отъ нея и даже самый звукъ ея словъ удалялъ отъ своего слуха, устраняя рукой и повторяя:

— Ты не знаешь, что ты говоришь. Опомнись! опомнись!..

— Я и знать не хочу ничего, кромѣ того, что я тебя полюбила!

Зенонъ вздвинулъ плечами и, сжавъ на груди свои руки, сказалъ:

— Несчастная женщина! ты въ себѣ разумъ и стыдъ женскій затмила!

— Возврати же скорѣе мнѣ мой разумъ! — прошептала Нефора и, положивъ на плечи ему свои обнаженныя руки, судорожно вздрогнула и замерла въ поцѣлуѣ.

Зенонъ хотѣлъ ее отстранить, но въ очахъ его помутилось, сердце упало, и онъ едва простоналъ:

— Нефора! Нефора!

А она межъ поцѣлуевъ ему отвѣчала:

— Я не богиня, Зенонъ... Я страстная смертная женщина, Зенонъ... Лобзай же меня и дай мнѣ скорѣй мигъ блаженства!

— Мигъ!—воскликнулъ Зенонъ.—Мигъ вмѣсто союза на цѣлую жизнь—это не честное дѣло, Нефора... Отбрось этотъ мигъ и не дай мнѣ несчастья унизить себя и тебя съ собой вмѣстѣ!

Нефора взглянула на него съ гнѣвомъ и сказала:

— Что это! ты оскорбляешь меня!

— Нѣтъ, я тебя возвышаю. Я чту въ тебѣ женщину больше, чѣмъ эллинъ и сынъ Мицраима.

— Я не хочу слушать ничьихъ разсужденій, когда мнѣ ихъ не надо!

— Нельзя жить безъ разсужденія.

— Отчего?

— Ты не поймешь.

— Нѣтъ, я уже все поняла... Ты любишь другую.

— Ты ошибаешься: я не люблю никого такъ, какъ ты хочешь.

— Такъ ты, значитъ, глупецъ!

— Нѣтъ, я—христіанинъ.

— Христіанинъ!.. Ахъ, ты христіанинъ! Такъ вотъ что!.. Христіане, это тѣ, которыхъ всѣ презираютъ и гонятъ!.. Это тѣ, которыхъ учитель хотѣлъ, чтобы люди отрекались отъ счастья любить; но вѣдь это, Зенонъ, безразсудно бороться съ природой. Ее одолѣть невозможно, да и зачѣмъ это нужно?.. Ты мой, Зенонъ, да? Ты пылаешь любовью ко мнѣ, ты не въ силахъ противиться мнѣ, я люблю тебя, Зенонъ, я тебя призываю! — и съ этимъ она рванулась къ нему, и уста ея соединились съ его устами.

Зенонъ почувствовалъ словно море зашумѣло въ его ушахъ и будто пламя блеснуло у него передъ глазами; его клонило въ ея объятіяхъ, какъ клонитъ трость подъ дыханіемъ бури, но вдругъ на кормѣ пробудился повелѣвающій волнамъ и бурѣ. Зенонъ увидалъ Его, отстранилъ отъ себя страстныя руки Нефоры, рванулся къ столу,—и теперь Нефорѣ какъ-будто блеснуло между нею и Зенономъ... что-то какъ ножъ и кровавое пламя, а Зенонъ уже стоялъ и шатался, держась сзади руками за столъ. По лицу его струилась кровь, а въ глазу его стремила рукоятка ножа. Лезвіе было въ глазѣ, а другой глазъ глядѣлъ на Нефору съ тихимъ укоромъ, а уста, блѣднѣя, шептали кому-то, но только не ей:

— Благодарю Тебя, что Ты не погнушался мной и явилъ Свою власть надъ моей страстной природой. Мой глазъ едва не соблазнилъ меня, но я сдѣлалъ то, что Ты повелѣлъ, и... теперь нѣтъ этого глаза.

Проговоривъ это, Зенонъ зашатался и упалъ, и ножъ вывалился изъ его раны, а кровь орошала его лицо и струилась на полъ.

Нефора не издала ни одного звука: глаза ея, устремленные на Зенона, остолбенѣли въ безмолвномъ ужасѣ, и она выбѣжала отсюда, оставивъ здѣсь и свое покрывало, и всѣ свои драгоцѣнности.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Вышеописанное происшествіе было дѣломъ самаго коротkаго времени и случилось такъ неожиданно и было столь противоположно настроенію Нефоры, что она совершенно растерялась и обезумѣла. Когда она опомнилась на воздухѣ, то увидѣла, что теперешнее собственное ея положеніе было очень затруднительно. О своихъ драгоцѣнностяхъ Нефора не вспомнила, но къ ужасу, который охватилъ ее при видѣ того, что̀ съ ужасною твердостью сдѣлалъ надъ собою Зенонъ, сейчасъ же присоединилась забота: какъ бы ей скрыться отсюда и возвратиться домой незамѣченною? Она была далеко отъ своего дома, а проводникъ и мулъ были отпущены; слуги Зенона не было дома; пѣшкомъ къ себѣ Нефора не могла возвращаться потому, что ноги ея дрожали и подкашивались: кромѣ того, она стыдилась идти по улицамъ безъ покрывала въ своемъ слишкомъ красивомъ уборѣ.

Безотчетно, или, можетъ быть, только съ однимъ желаніемъ избѣжать встрѣчъ на улицахъ, она бросилась черезъ садъ къ берегу Нила, гдѣ стояла у пристани барка Зенона.

Здѣсь была полная тишина и безлюдье, но, окинувши глазомъ берегъ, Нефора замѣтила невдалекѣ низкую хижину, сбитую изъ топтаннаго тростника, смѣшаннаго съ нильскою глиной. Она направилась къ этому убогому жилищу и постучала рукой въ окно. Оттуда выглянулъ человѣкъ, весь измаранный въ у̀гольной пыли. Онъ былъ египтянинъ.

Нефора дала ему золотой браслетъ съ своей руки и сказала, чтобъ онъ нашелъ какое-нибудь средство отвезти ее незамѣтно въ городъ.

— Пожалуй, я могу это сдѣлать,—отвѣчалъ египтянинъ, принимая ея даръ:—если только ты согласишься плыть со мною въ моей у̀гольной баркѣ.

— Хорошо, если нѣтъ другого способа, я согласна плыть въ у̀гольной баркѣ, но я не хочу, чтобы меня въ ней видѣли, а я потеряла мое покрывало.

— Тамъ есть у̀гольный мѣшокъ: я тебя прикрою.

— Но это ужасно.

— Да, онъ грязненекъ, и если ты его боишься, я положу на дно барки пустую кадку и ты можешь согнуться и скрыть подъ нею свою голову.

Нефора на это согласилась.

Угольщикъ исполнилъ все, за что взялся, и Нефора совершила продолжительное и неудобное передвиженіе по Нилу въ тяжелой и грязной угольной толстодонной баркѣ, лежа подъ угольною кадкой. Едва лишь къ вечеру достигла она своего жилища, куда взошла, дождавшись темноты, вся перемаранная грязью и угольною пылью. Нефора, разумѣется, удивила всѣхъ рабовъ и рабынь своимъ возвращеніемъ въ такомъ плачевно-бѣдственномъ видѣ и была въ ужасномъ разстройствѣ; она сейчасъ же вымылась и слегла въ постель, а ночью у нея началась горячка: она срывалась съ кровати и начинала неистово бѣгать и плакать, рвала на себѣ свои прекрасные черные кудри, царапала щеки и, забывъ осторожность, кричала:

— Мщенье Зенону! мщенье всѣмъ христіанамъ!

Испуганныя рабыни сочли ее за одержимую злымъ духомъ и призвали къ ней знатную египетскую вспомогательную бабу Бубасту, которая долго смотрѣла въ лицо ей и слушала ея безумные крики, а потомъ сказала Нефорѣ:

— Я вижу, какой-то змѣй уязвилъ твое сердце... Скажи мнѣ, кто смѣлъ пренебречь твоею красотой?

— О, да, я пренебрежена,—отвѣчала Нефора:—и я должна раздавить этого змѣя.

— Такъ и будетъ. Царь Амазисъ мудро изрекъ, что ядъ обиженной женщины острѣе змѣинаго яда. Кому хочешь мстить?

— Христіанскому Богу и всѣмъ христіанамъ въ Египтѣ.

— Хорошо. Я сама горю мщеніемъ ко всѣмъ пришельцамъ въ Египтѣ. Мое имя—баба Бубаста, я нынче старуха, лѣкарка; но я была молода и любила; мой мужъ томится давно въ каменоломняхъ Пилака, и сердце мое каждый день слышитъ, какъ онъ двигаетъ гранитныя глыбы, въ цѣпяхъ, которыя наложилъ на него жестокій правитель... О, я ненавижу пришельцевъ и новую вѣру, я рада имъ мстить: я пойду искать ядъ и приду къ тебѣ, госпожа, когда ядъ мой поспѣетъ.

Происшествіе съ Зенономъ имѣло послѣдствіемъ то, что ни одна изъ женщинъ, для которыхъ онъ спѣшилъ окончить заказы, не получила ожидаемыхъ уборовъ къ палестрѣ. Это была первая неисправность съ его стороны, и

служитель Зенона, персъ, отнесъ щеголихамъ ихъ камни и золото, объявивъ, что его господинъ, славный художникъ Зенонъ, имѣлъ большое несчастіе потерять глазъ и теперь долго не надѣется возвратить себѣ способность къ работѣ. Потомъ персъ явился также къ Нефорѣ и доставилъ ей ея покрывало и ларецъ съ ея драгоцѣнностями.

Нефора была не рада возвращенію своихъ вещей, потому что это заставляло ее опасаться: не откроется ли ея участіе въ ослѣпленіи глаза Зенона, но персъ не сказалъ ей ни слова, и она больше ни откуда не слыхала ничего о Зенонѣ.

И художникъ, и слуга его хранили о всемъ происшедшемъ молчаніе. Слуга, по всей вѣроятности, и вовсе не зналъ, какъ это несчастіе случилось съ Зенономъ. Нефора никуда не выходила изъ своего дома, но въ душѣ ея попрежнему горѣли въ темномъ смѣшеніи обида отвергнутой страсти и жажда отомстить за себя Зенону. Она не знала только, какое бы измыслить ему самое жестокое мщеніе. Она не разъ вспоминала о той египетской знахаркѣ, бабѣ Бубастѣ, которая обѣщала ей дать страшное средство отомстить ненавистнымъ для нихъ христіанамъ, но думала, что Бубаста сказала это слово ей просто въ утѣху и потомъ позабыла о своемъ обѣщаніи. Но это было не такъ: старая египтянка ждала только времени и не упустила случая воспользоваться имъ, какъ только къ тому представилась возможность.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Прошелъ годъ. Въ это время много людей родилось и много умерло; одни дѣла людскія вновь замышлялись, другія были окончены и позабыты. Было забыто и то, какъ къ прошлымъ палестрамъ некстати и неизвѣстно отъ какого несчастія окривѣлъ всѣмъ въ Александріи извѣстный красавецъ художникъ Зенонъ златокузнецъ. Онъ долго болѣлъ, но потомъ поправился, и теперь носилъ черезъ голову на одномъ глазѣ голубую повязку, которая не только не безобразила его лица, но, казалось, придавала ему еще новую привлекательность. Зенонъ и при одномъ глазѣ работалъ такъ же изящно, какъ прежде, и опять все съ тою же неизмѣнною добросовѣстностью, которою дорожилъ ранѣе. Теперь онъ бы могъ успѣть сдѣлать желанный уборъ для Не-

форы, но антіохійка, разумѣется, не обращалась ни съ какимъ заказомъ къ Зенону.

Съ нею съ тѣхъ поръ тоже кое-что случилось. Красота и богатство Нефоры не оставляли ее въ затменіи, и старый правитель Александріи, человѣкъ жадный и исполненный многихъ низкихъ страстей, пожелалъ соединить Нефору бракомъ со своимъ старшимъ сыномъ, который имѣлъ столь малый умъ, что, побывавъ во многихъ отдаленныхъ странахъ и истративъ на это путешествіе большое богатство, по возвращеніи своемъ не умѣлъ разсказать ни о чемъ имъ видѣнномъ, кромѣ какъ о величинѣ яйца птицы строфокомила. Отецъ, не желая второй разъ награждать глупаго сына, искалъ обезпечить его огромнымъ богатствомъ Нефоры посредствомъ брака съ нею, и Нефора, къ совершенному удивленію многихъ, отвѣчала согласіемъ на это искательство; но вскорѣ затѣмъ, когда дала уже слово, она начала откладывать свадьбу день за день, и не только сказывалась нездоровою, но и въ самомъ дѣлѣ сильно разнемоглась и ни одинъ изъ лѣкарей, которыхъ присылалъ къ ней правитель, не могъ узнать, что̀ у нея за болѣзнь и какими лѣкарствами можно помочь ей. Она ни на что особенно въ своемъ здоровьѣ не жаловалась, но вся изнемогала, лицо ея худѣло, глаза блекли,—она не занималась ни нарядами, ни плетеніемъ волосъ, не надѣвала драгоцѣнностей и не посѣщала знакомыхъ, и даже мало была въ своихъ комнатахъ. Ей было несносно подъ крышей, и она искала уединенія въ саду, гдѣ все подъ-стать ея расположенію было грустно и какъ бы дремало: фонтанъ билъ лѣниво, пестрыя бабочки перелетали съ одного цвѣтка на другой тоже лѣниво; но скоро и это начало безпокоить Нефору. Но вотъ настала еще иная пора. Садовые акантусы и желтыя мимозы, живыя ограды изъ разноцвѣтной сирени, жасмина и розъ, высокія пальмы, акаціи и бальзамовыя деревья,—все цвѣло, благоухало и жужжало, наполненное кипучей жизнью насѣкомыхъ. Этотъ приливъ жизни сталъ иначе смущать и тревожить Нефору; ей казалось даже, что золотыя рыбки въ каменномъ басейнѣ фонтана слишкомъ живо и громко плескались. Нефора удалялась къ обширному огороду и тамъ, часто останавливаясь надъ грядами махроваго мака, срывала съ него пышные цвѣты и, обрывая лепестки ихъ, клала ихъ на ладонь, дула на нихъ и ударяла другою ладонью, шепча

тихо устами: «полюбитъ» или «нѣтъ»? И если маковый лепестокъ разрывался съ трескомъ, она улыбалась и расцвѣтала душою, была весела, ѣла, спала и дарила наряды служанкамъ, но жениха своего къ себѣ не пускала; если же лепестокъ вяло сжимался у ней между ладоней, она его сбрасывала съ рукъ и тутъ же сама садилась на землю, и долго, и горько плакала навзрыдъ, какъ ребенокъ. Служанки не разъ находили Нефору лежащею на черной землѣ между большихъ янтарныхъ шаровъ, какими казались созрѣвшія ароматныя дыни, и отсюда служанки приносили свою госпожу домой въ безчувственномъ состояніи. Сначала онѣ давали знать о тяжкихъ припадкахъ Нефоры правителю, и тотъ тотчасъ же присылалъ врачей и своего сына, но какъ искусство врачей оказывалось безсильнымъ, а сына правителя Нефора совсѣмъ не желала видѣть и даже тяготилась его приближеніемъ къ ней издалека, то женщины, по суевѣрію своему, при новомъ жестокомъ припадкѣ Нефоры опять призвали къ ней бородатую бабу Бабусту, съ плоскимъ лбомъ и большими ушами.

Баба омыла лицо ей нильскою водой и сказала:

— Ядъ, который змѣй излилъ въ твое сердце, жестокъ, но ты должна быть сильна, чтобъ отомстить и ему, и всѣмъ христіанамъ. Приближается время отмщенія: старые боги Египта приходятъ намъ на помощь, чтобы сгубить ненавистную новую вѣру. Мщеніе пришельцамъ пришло, близокъ конецъ для всѣхъ христіанъ въ Александріи.

— Всѣхъ?—задумчиво переспроси. а Нефора

— О, да, всѣхъ или какъ можно больше, въ томъ числѣ вѣдь будетъ раздавленъ и змѣй, который отравилъ твою жизнь.

Нефора посмотрѣла на плоскій лобъ и на уши бабы Бубасты и вспомнила другія лица старыхъ египтянъ, ненавидѣвшихъ христіанскую вѣру, и, содрогнувшись, сказала:

— Я желаю отомстить за себя; но когда ты говоришь со мной объ отомщеніи, мнѣ страшно слушать. Ты стара— за что тебѣ ихъ такъ ненавидѣть?

— Ого!.. Я стара!.. Это правда,—отвѣчала, покачавъ головой, Бубаста, причемъ длинныя и широкія серьги въ ея ушахъ запрыгали.—Я стара, но я сказала тебѣ, мой старый мужъ томится въ каменоломняхъ, я ѣмъ хлѣбъ, который зарабатываю себѣ моими руками, и мои сыновья, и сыновья

моихъ дочерей тоже трудятся,—изъ нихъ есть ткачи и канатчики, и кожевенники, и всѣ они едва питались своими трудами, а христіане теперь завели у себя мастерскія въ особыхъ огражденныхъ мѣстахъ, гдѣ они молятся, а другіе ихъ за это кормятъ, и они на даровомъ хлѣбѣ берутъ работу дешевле нашего... Наши руки не могутъ болѣе доставать работою столько, сколько нужно на пропитаніе... Проклятіе имъ, пора съ ними расчесться... Старый Неохъ видѣлъ, какъ черный ибисъ плясалъ на берегу, глядясь въ воду. Запляшутъ они,—скоро запляшутъ! Время отомщенія близко. Цари Египта проснутся и встанутъ въ своихъ пирамидахъ, скрѣпленныхъ кровавымъ потомъ своихъ прежнихъ рабовъ... Замѣчай... скоро ужъ водная ночь, а нашъ Нилъ не хочетъ поднять своихъ водъ, чтобы оросить въ этотъ годъ нивы Египта *). Глаза всѣхъ людей напрасно слѣдятъ на раскаленномъ небѣ за полетомъ голубя съ радостною вѣстью съ верховьевъ, что вода начинаетъ подниматься въ Мемфисѣ...

— Да,—продолжала Бубаста, схватывая нѣжную руку Нефорисъ своею сильною и грубою рукой: — да, вода не поднимается. Цари Египта, которые спятъ въ пирамидахъ Гизеха, не пускаютъ къ намъ Нилъ за то, что мы дали волю жить у насъ пришельцамъ, людямъ разныхъ вѣръ и особенно христіанамъ, у которыхъ лѣнивые люди находятъ себѣ пропитаніе въ ихъ общинахъ... Имъ хорошо и они мѣшаютъ намъ дѣлать работу за настоящую цѣну. Смерть имъ,—смерть безъ пощады всѣмъ имъ, спускающимъ цѣну! Они слишкомъ усилились, они завели здѣсь старѣйшинъ,—называютъ одного патріархомъ, другого епископомъ,—вѣра ихъ входитъ въ моду и скоро, быть-можетъ, всѣ знатные люди станутъ держаться ихъ вѣры... но ты меня вовсе не слушаешь,—тебѣ все равно, какіе боги управляютъ Египтомъ, но народу нужно, чтобы съ нимъ въ добромъ согласіи жилъ старый Нилъ. Когда Нилъ разольется и ороситъ нивы Египта, тогда исчезнетъ унылость народа: тогда всѣ пристани въ устьяхъ заблещутъ яркими флагами чужихъ кораблей; войдутъ большія египетскія суда съ отрадными изображеніями ибисовыхъ головъ и понесутся далеко пѣсни звонкоголосыхъ пѣвцовъ съ Дельты; для нашихъ красавицъ привезутъ роскошныя ткани изъ Мальты, изъ Сардиніи

*) «Водная ночь» 27 іюня.

камни, съ Кипра медъ и вино, отъ эллиновъ масло, мастику и издѣлія изъ бронзы, и пестрые паруса изъ веселаго Тира, и ливанскіе кедры, безъ которыхъ нѣтъ матеріала для строекъ въ безлѣсномъ Египтѣ; а отъ насъ купятъ дорогою цѣной хлѣбъ и тонкій папирусъ, и кружева изъ Саиса, и мемфисскія колесницы, которыхъ нѣтъ прочнѣе и легче на свѣтѣ... Но не разливается Нилъ и вотъ, вмѣсто всего этого оживленія, нынче все охватило сномъ смерти: рѣка, что день, больше мелѣетъ, — начинается общій страхъ голода, и люди уже стали болѣть за Мемфисомъ. Вчера еще прилетѣлъ голубь съ извѣстіемъ, что за Сауномъ и въ Ѳивахъ пошли темныя пятна на людяхъ,—страшное бѣдствіе близится; черезъ три дня настанетъ водная ночь, и если въ эти три дня и три ночи не захочетъ священный нашъ Нилъ подниматься, то мы поднимемъ народъ и всѣ пойдемъ къ правителю, чтобы онъ повелѣлъ выйти отъ насъ христіанамъ, или мы бросимъ ихъ въ Нилъ; и тогда это будетъ для всѣхъ для нихъ отмщеніе. Но вѣдь ты, можетъ-быть, не хотѣла бы, чтобы они всѣ до одного потонули? Ты одного, можетъ-быть, хотѣла-бъ оставить на свѣтѣ?

— Да,—отвѣчала Нефора:—я бы хотѣла оставить одного изъ христіанъ дольше другихъ на землѣ, но для того только, чтобы онъ видѣлъ посрамленіе и гибель другихъ, и только тогда бы погибъ, когда я наслажусь надъ нимъ моимъ мщеніемъ.

— Разскажи мнѣ, чѣмъ онъ оскорбилъ тебя, и я пойду къ тайнымъ жрецамъ и мы тогда изберемъ ему страшное мщеніе, а твоимъ словомъ дорожитъ правитель; ты изукрась себя лучшимъ уборомъ, пойди къ нему, плачь за народъ нашъ и проси его сдѣлать, что̀ мы тебѣ скажемъ, и мщеніе твое совершится надъ тѣмъ, кто тебя оскорбилъ, и надъ всѣми людьми его вѣры.

Нефора же находилась въ такомъ страшномъ разстройствѣ, что какъ бы въ забытьѣ разсказала бабѣ Бубастѣ все, что̀ было у ней годъ назадъ въ жилищѣ Зенона.

Баба Бубаста, выслушавъ повѣсть, всплеснула руками, и серьги у ней опять зазвенѣли, болтаясь по щекамъ.

— Боги!—воскликнула баба: — виданное ли дѣло, чтобы человѣкъ - чужевѣрецъ смѣлъ бы такъ дерзко отвергнуть квитовое яблоко, которое подала ему такая красивая жен-

щина? Отказаться отъ этого для какого-то учителя, кото рый отнимаетъ у людей лучшія сладости жизни! Это безуміе! Ты отмщена будешь страшно, Нефора, и едва только три дня пройдетъ, какъ это случится. Будь дома и вѣрь мнѣ, что, какъ я сказала, такъ и будетъ.

Съ этимъ баба Бубаста покрылась темнымъ коричневымъ платомъ и удалилась.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Баба Бубаста простилась съ Нефорой и, опираясь на палку, прошла черезъ Ворота Луны и Хептастаду на островъ Фарросъ, гдѣ на сѣверномъ берегу у пристани Морскихъ Разбойниковъ жили звѣздочеты — любители всякой мудрости, о которыхъ говорили, что они знаютъ тайныя науки и могутъ видѣть то, что отъ прочихъ обыкновенныхъ людей сокрыто въ природѣ. Здѣсь, на этомъ Фарросѣ, ближе къ молу Александра, жили тѣ, которые переводили на греческій языкъ священныя книги евреевъ, и здѣсь же ближе къ пристани разбойниковъ жили тѣ, которые считали библейскія книги за собраніе недостойныхъ жидовскихъ выдумокъ. И вотъ тутъ-то, въ отдаленіи, у самаго сѣвернаго берега жилъ одиноко, въ просторной пещерѣ, темнолицый мемфистъ, по имени Пеохъ. Это былъ старый, типическій египтянинъ — старый потомокъ старыхъ понтифовъ, человѣкъ съ плоскимъ лбомъ, выдающимися скулами и очень большими ушами. Онъ былъ больной человѣкъ: его сводилъ въ комокъ ревматизмъ и безобразилъ катаръ вѣкъ; глаза его слезились и впали, а рѣсницы растопырились и бѣловатый кругъ отдѣлялъ яблоко глаза отъ вѣкъ. Современные египтяне изъ черни считали Пеоха за большого ревнителя вѣры и ходили къ нему за совѣтами, какъ къ человѣку, надѣленному остротою проницательнаго ума, изощреннаго непримиримою ненавистью ко всему, что несогласно со стариною. Пеохъ одинаково непримиримо ненавидѣлъ всѣ вѣры, которыя были несогласны съ вѣрой древнихъ египтянъ, и готовъ былъ вредить каждому иновѣрцу; но какъ въ то время, о которомъ идетъ нашъ разсказъ, охотнѣе всѣхъ прочихъ преслѣдовали христіанъ, то Пеохъ изощрилъ себя и на то, какъ можно на всякомъ шагу и на всякій разъ сдѣлать досаду и зло христіанамъ. Это же тогда было и не трудно, ибо поводы

къ тому, чтобы нападать на христіанъ и грабить ихъ, находились ежечасно. Какія бы гдѣ ни случились общественныя бѣдствія: пожары или землетрясенія, потопленіе судовъ и обвалы путей, неурожаи или повальныя болѣзни,— все это считали случившимся по винѣ христіанъ. Къ ихъ обвиненію равно удобно служили и сильные разливы Тибра въ Римѣ, и недостаточный подъемъ водъ въ Нилѣ, въ Египтѣ; равно къ ихъ же винамъ относили и всякія иныя рѣдкія и необыкновенныя явленія въ природѣ. Все неблагопріятное принимали какъ знакъ неудовольствія боговъ, обижавшихся будто на то, что теперь среди ихъ давнихъ поклонниковъ живутъ иновѣрные люди, которые не воздаютъ старымъ богамъ поклоненія, а молятся какъ-то иначе, посвоему,—почитаютъ какого-то распятаго Назареянина и совершаютъ что-то таинственное Его кровью. На что нужна имъ эта кровь? Они говорятъ, будто они ею спасаются отъ своихъ враговъ. Тогда кто враги ихъ? Очевидно это тѣ, кто не раздѣляетъ ихъ странной вѣры. Слѣдовательно, вотъ кого они и хотятъ пересилить и погублять кровью Распятаго. И имъ это удается: говорятъ, что они брызгаютъ кровь по вѣтру и оттого на людяхъ выступаютъ прыщи и сыпи, гноятся глаза, пухнутъ подшейныя железы и гніетъ въ глоткахъ; они капнутъ каплю крови на землю и подымется мошкара, которая точитъ всѣ огурцы и дыни и набивается дѣтямъ во рты и въ глаза, и всѣ огурцы и дыни пропадаютъ и тлѣютъ, и цыплята, которые ихъ наклюются, — шелудивѣютъ, теряютъ перья и зачичкаются, а у людей глаза заслезятся и станутъ слѣпнуть...

И когда только случались обычныя здѣсь несчастія въ такомъ родѣ, сейчасъ всѣхъ охватывалъ суевѣрный страхъ и всѣ искали причины несчастія на христіанахъ и затѣвали на нихъ погромы,—людей били, а имущество расхищали и разбрасывали. Правители знали, что христіане только терпимы, но никому не желанны, и потому смотрѣли на безчинства надъ ними сквозь пальцы, они не только не защищали горячо людей христіанской вѣры, но даже нерѣдко радовались, что нищіе и раздраженные невѣжды, вмѣсто того, чтобъ негодовать на безучастное правительство, срывали на христіанахъ свой гнѣвъ и тѣмъ утоляли свое раздраженіе. Если же случалось, что христіанъ успѣвали сильно побить и разорить, тогда правители унимали

побѣдителей и ссылали ихъ зачинщиковъ въ каменоломни, а отъ награбленнаго ими имущества сами пользовались доброю частью. Отъ высшихъ же и далекихъ властей мѣстные правители строгой отвѣтственности за христіанъ не опасались, потому что люди эти были въ презрѣніи. Если и были случаи, что за обиды, сдѣланныя христіанамъ, спрашивали объясненій, то областные правители всегда находили много причинъ для оправданія, а чаще всего представляли, что христіане сами виноваты, что они имѣютъ какіе-то таинственные обряды, особятся отъ всѣхъ прочихъ и возбуждаютъ тѣмъ противъ себя всеобщую ненависть. Такимъ образомъ, снисхожденіе къ народнымъ безчинствамъ надъ христіанами часто принималось за благоразумную государственную терпимость, которою областной намѣстникъ предотвращалъ будто бо́льшее бѣдствіе, способное, пожалуй, перейти въ угрожающее политическое возстаніе.

Христіане не считались столь драгоцѣнными, чтобы изъза нихъ строго взыскивать, и потому погромы, случавшіеся въ общинахъ отдаленныхъ христіанъ, нерѣдко съ тяжкими мучительствами, убійствами и съ самымъ обиднымъ издѣвательствомъ надъ ихъ вѣрою, проходили безъ всякихъ наказаній или съ наказаніями столь легкими, что надъ ними смѣялись. Чаще же погромы даже совсѣмъ оставались неизвѣстными въ Византіи и въ Римѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Бунты и возстанія всего легче затѣваются при унынiи и страхѣ.

Когда вода въ Нилѣ стояла низко въ ту пору года, когда ей уже было время разлиться, тогда по всей странѣ Египетской отъ Филэ до Александріи ощущалось повсемѣстное терзательное безпокойство: всѣ страшились безхлѣбья и ходили унылые и раздраженные, многіе надѣвали печальныя одежды съ неподрубленными краями, передвигали пояса съ чреслъ высоко на грудь — къ мѣсту вздоховъ, нетерпѣливыя женщины рвали на себѣ волосы, а задумчивые мужчины безмолвно смотрѣли унылыми глазами съ повисшими на рѣсницахъ слезами.

При мрачномъ настроеніи египетскихъ характеровъ, все это облекало страну въ ужасъ. То самое было и теперь, въ пору нашей повѣсти. Къ тому же, положеніе, какъ раз-

сказала Бубаста, осложнялось появленіемъ множества болѣзней. Почтовые голуби, пущенные съ верховьевъ теченія рѣки изъ Геліополя, Мемфиса и Оивъ, приносили въ Александрію самыя удручающія извѣстія: вся Оивада и Гептаноммида и Нижній Египетъ слились въ одну скорбь и въ одинъ стонъ,—люди голодали, слѣпли, боялись другъ друга и искали, кого бы сдѣлать отвѣтственнымъ за претерпѣваемое бѣдствіе.

Наконецъ, къ удовольствію многихъ, виновные были найдены, и это, какъ всегда, были христіане. Правовѣрные египтяне уже побили въ Геліополѣ христіанскихъ ткачей и то же досталось колесникамъ и стекольнымъ выдувальщикамъ въ Мемфисѣ. И они этого заслужили за то, что они испортили цѣны ткачамъ и колесникамъ, взявшись работать дешевле, чѣмъ работаютъ всѣ вольные люди въ Египтѣ. Имъ было можно дешевить, потому что они живутъ общинами и получаютъ приношенія отъ богатыхъ людей одной съ ними вѣры, но кто живетъ своимъ трудомъ и приношеній не получаетъ, тому по такой дешевой цѣнѣ ни прясть, ни ткать, ни ободья гнуть невозможно. А потому этого терпѣть нельзя, это надо остановить, а для того, чтобы остановить, самое простое дѣло—избить христіанъ, отнять ихъ имущество, поломать ихъ станки и самихъ ихъ бросить въ воду. Священный Нилъ, кстати, принимаетъ это за жертвоприношеніе, и у старыхъ людей есть примѣты, что вода въ Нилѣ тогда начинаетъ подниматься.

Теперь было прекрасное время играть на этихъ страстяхъ.

Баба Бубаста пошла къ мемфиту Пеоху за тѣмъ, чтобы возвѣстить ему, что народъ въ негодованіи и что у нея есть лицо, которое пылаетъ местью противъ христіанина и можетъ поставить правителя въ такое благопріятное положеніе, что тотъ вынужденъ будетъ мирволить народнымъ безчинствамъ. Пеохъ сидѣлъ въ тѣни, прислонясь спиною къ скалѣ, и выслушивалъ то, что, стоя передъ нимъ, говорила ему Бубаста. Онъ, впрочемъ, и самъ уже зналъ о всеобщемъ унынiи отъ того, что долго не начинается разливъ Нила, но его обрадовало, что Бубаста заручилась содѣйствіемъ Нефоры, которая можетъ обезоружить правителя и всякія издѣвки надъ христіанами сойдутъ у египтянъ съ рукъ, не причиня имъ никакихъ жестокихъ возмездій.

— Ты умная женщина, — отвѣчалъ Пеохъ. — Эти люди должны пострадать за наши несчастія.

— Да; но какъ это начать? Ты, вѣдь, повсюду славенъ, мудрый Пеохъ; ты за своею лампадой прочелъ всѣ священные свитки; ты знаешь и свѣтъ нашей истинной вѣры, и знаешь тоже всю ложь всѣхъ прочихъ ученій, а мы чужихъ вѣръ не знаемъ,—мы только отъ чистаго сердца ихъ ненавидимъ. Будь головой на плечахъ, подъ которыми трепещетъ и ноетъ народное сердце священнаго Кемми: научи насъ, что̀ надобно дѣлать, чтобы христіане получили всесвѣтный позоръ и безвозвратную гибель? Скажи намъ, что̀ такое мы могли бы требовать отъ христіанъ, чтобы это было въ ихъ же законѣ и что̀ бы могло показать всѣмъ безсилье ихъ вѣры и посрамить ихъ?

Пеохъ улыбнулся, погладилъ грязною рукой прирученнаго ихневмона и сказалъ:

— Хорошо, я вамъ покажу, какъ посадить лягушку на дерево; но смотрите вы: уже долой съ дерева ее не спустите!

— О, мы ее не спустимъ!

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Старый Пеохъ посмотрѣлъ въ молчаніи въ свою лампаду и сказалъ бабѣ Бубастѣ:

— Ты не ложно сказала, Бубаста: я, дѣйствительно, знаю и свою правую вѣру, и всѣ суевѣрія чужія, и всѣхъ боговъ суевѣрныхъ. Я могу судить и объ эллинскомъ Зевсѣ, и объ Ормуздѣ и Ориманѣ фарсійскихъ, и объ Егове, мстительномъ Богѣ бывшихъ рабовъ нашихъ — евреевъ, а также и о Томъ бѣднякѣ, Который былъ распятъ и Котораго почитаютъ за Бога себѣ христіане. Мы ихъ уловимъ на Его же словахъ: Онъ говорилъ, что кто будетъ вѣрить, какъ Онъ училъ, то такой человѣкъ, если скажетъ горѣ: «сдвинься», то будто гора тронется съ мѣста и бросится въ воду. Съ кровли правителя вашего по направленію къ закату видна гора Адеръ. Если христіане добры, то пусть они для спасенія всѣхъ умолятъ своего Бога, чтобы Адеръ сошла съ своего мѣста и, погрузившись въ Нилъ, стала плотиной теченію. Тогда воды Нила подымутся вверхъ и оросятъ изгорѣвшія нивы. Если же христіане не сдѣлаютъ такъ, чтобы стронулась гора Адеръ и загородила теченіе Нила,

это имъ будетъ вина. Тогда всякому видно станетъ, что или вѣра ихъ—ложь, или они не хотятъ отвратить общаго бѣдствія, и тогда пусть пронесутся въ Александріи римскіе крики: christianos ad leones!

— Ты мудрый, ты очень мудрый, Пеохъ, — отвѣчала, простерши къ Пеоху руки и опять зазвонивши серьгами, баба Бубаста. — Народъ нашъ завтра же пойдетъ къ правителю требовать, чтобы онъ заставилъ христіанъ сдвинуть гору.

И съ этими словами баба Бубаста простилась съ мемфитомъ Пеохомъ и побѣжала къ тѣмъ изъ египтянъ, кого знала за самыхъ большихъ коноводовъ народныхъ, и подбивала ихъ, чтобы они внушали народу, что въ неразлитіи Нила виновны христіане.

Скоро отъ этого сдѣлалось всеобщее волненіе, о которомъ тотчасъ же узналъ правитель, и оно его очень обезпокоило, такъ какъ онъ не зналъ, чѣмъ его утишить. Баба же Бубаста побѣжала къ Нефорѣ и, распаливъ въ ней хитрыми словами оскорбленіе и ревность, убѣдила ее итти къ правителю и просить его, чтобы онъ снизошелъ къ горю народа и къ его надеждѣ получить облегченіе черезъ молитву христіанъ, которая можетъ двинуть гору и запрудить ею Нилъ, чтобы вода поднялась и оросила пажити.

Нефора, въ которой быстро воспламенялись страсти и смѣнялись движенія, легко поддалась этимъ словамъ и, скоро одѣвшись съ большою пышностью, поспѣшила въ домъ правителя, чтобы исполнить то, чему ее научила баба Бубаста.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Правитель въ это время находился въ смущеніи отъ дошедшихъ до него слуховъ о волненіи въ народѣ. Бубаста успѣла взбунтовать всю александрійскую чернь разсказами о винѣ христіанъ, и многіе, по ея наученію, побѣжали на Фарросъ къ мемфиту Пеоху, чтобы услыхать отъ него подтвержденіе словъ Бубасты, а другіе собрались въ огромномъ числѣ и двинулись къ дому правителя.

Когда Нефора приблизилась къ дому этого вельможи, она увидѣла густую толпу людей, окружившихъ плотною массой его палаты. Огромная толпа поражала своею массой и своею пестротой: она состояла изъ купцовъ въ бѣ-

лыхъ одеждахъ съ разноцвѣтною бахромой и страшнаго множества полунагихъ кирпичниковъ, горшечниковъ, рыбаковъ, лодочниковъ, ткачей, шерстобитовъ, благовонщиковъ, листопродавцевъ, рогожниковъ, зерночистителей, масленниковъ, мусорщиковъ, омывателей ногъ, опахальщиковъ и стекольныхъ выдувальщиковъ. У большинства этихъ людей все одѣяніе состояло изъ однихъ короткихъ фартуковъ или кое-какихъ лохмотковъ, подвѣшенныхъ на узенькихъ поясочкахъ. Это были люди, страшные своею рѣшимостью и тѣмъ, что имъ терять нечего. Съ ними здѣсь было ихъ *все*,—при нихъ находились и ихъ жены, пряхи, въ коротких накидкахъ, и совсѣмъ голыя дѣти, и собаки, и кошки. Особенно много было дѣтей. Изъ нихъ однихъ, которыя меньше, женщины несли на своихъ плечахъ или у груди, а другихъ, постарше, тащили за собою за руки. Между маленькими дѣтьми у многихъ глаза были залиты гноемъ и всѣ эти дѣти жалобно кричали и плакали, а тѣ, которыя были постарше, безпрестанно толкались, ссорились и дрались между собою за объѣдки. Множество собакъ и кошекъ, которыя не отставали отъ своихъ хозяевъ, дѣлали то же самое: онѣ шныряли подъ ногами и ощетинивались другъ на друга, то завывая, то фыркая и заводя между собою ожесточенныя схватки. Но и этого было мало: какъ бы нарочно, для увеличенія шума и усиленія тревожности, въ нѣсколькихъ мѣстахъ изъ толпы раздавались призывные звуки: здѣсь храпѣла бактрійская боевая труба, на нее откликался гудѣніемъ сирійскій бубенъ, а въ третьемъ мѣстѣ колотилъ арійскій барабанъ. Все это и перекликалось, и сзывало еще большее скопленіе народа. Биченосцы правителя въ желтыхъ туникахъ и въ высокихъ колпакахъ напрасно махали своими раскрашенными въ клѣтку палками. Сильные шерстобиты или не обращали на нихъ никакого вниманія, или даже переламывали ихъ палки и швыряли обломки въ лицо биченосцамъ.

Все это волненіе покрывалось общимъ воплемъ, въ которомъ только иногда можно было уловить отдѣльныя слова:

— Нилъ не поднимаетъ водъ!.. Мы погибаемъ отъ голода... Христіане перебиваютъ работы... Хорошо имъ дешевить, когда они живутъ подаяніемъ!.. Пускай же они за насъ молятся... Пошли ихъ сдвинуть въ Нилъ гору, чтобы рѣка разлилась!

Нефора съ величайшимъ трудомъ едва могла проникнуть въ своихъ носилкахъ черезъ эту толпу. Главный входъ въ домъ былъ закрытъ, и она вошла въ чертоги правителя черезъ извѣстную ей потаенную дверь, которую открылъ ей хорошо знавшій ее привратникъ, послѣ чего и эта дверь опять тотчасъ же была заперта. Стража со всѣхъ сторонъ охраняла всѣ входы.

Правитель находился въ большомъ смущеніи и перепугѣ. Онъ не зналъ, что ему дѣлать: отражать народъ силою онъ не могъ, а снизойти къ неблагоразумному требованію черни считалъ за недостойное. Правителя окружала вся его семья и тутъ же въ среднемъ покоѣ былъ его глупый сынъ, толстоносый Дуназъ, и его ближайшія подначальныя лица: всѣ они подавали ему различные совѣты, но онъ всѣ ихъ мнѣнія слушалъ, но ни на что не рѣшался. Увидѣвъ же входящую Нефору, онъ обрадовался ея приходу и живо воскликнулъ:

— Вотъ дорогая, нежданная гостья, чей пріятный приходъ приноситъ мнѣ радость! О, какъ я тебѣ благодаренъ, Нефора, что ты рѣшилась навѣстить домъ мой въ такую тревожную и досадительную минуту! Этимъ ты доказала мнѣ свою дружбу, и я прошу тебя сказать мнѣ: что ты думаешь обо всемъ происходящемъ среди глупой и презрѣнной черни? Я знаю, что тебѣ данъ острый умъ, и я хочу на него полагаться: я даю тебѣ при всѣхъ мое слово, что я рѣшусь только на то, что ты мнѣ присовѣтуешь.

Нефора отвѣчала, что ей извѣстно все, что происходитъ, и что она не находитъ въ этомъ положеніи ничего безысходнаго.

— Что же бы ты сдѣлала на моемъ мѣстѣ?

— Я бы ихъ всѣхъ обманула.

— Прекрасно; но какъ это сдѣлать?

— Исполни ихъ желаніе: вопроси христіанъ, могутъ ли они своею вѣрой сдвинуть гору и положить ее въ Нилъ, пока онъ разольется отъ Филэ и до моря?

— Полно, Нефора, кто жъ можетъ заставить двигаться горы?

— Христіане, правитель, могутъ. Старый Пеохъ, который знаетъ всѣ вѣры, самъ это читалъ въ ихъ христіанскомъ ученіи.

— Старый Пеохъ!.. Онъ это все и надѣлалъ въ глупомъ

народѣ и, клянусь, онъ достоинъ настоящаго египетскаго удара деревяннымъ коломъ въ упрямый затылокъ.

— Тебѣ что за дѣло? Пускай и Неохъ получитъ свое въ свое время.

— А если христіане не сдвинутъ горы?

— Что жъ за бѣда? Народъ надъ ними слегка посмѣется, можетъ-быть, ихъ даже немножко и поколотитъ. Имъ это будетъ урокъ, чтобы они не кичились... Они станутъ скромнѣе, а ни въ Византіи, ни въ Римѣ за нихъ не станутъ сильно вступаться. Народъ въ огорченіи своемъ ищетъ, на комъ бы сорвать это горе, и на мысль ему пришли христіане... Ихъ вѣдь пока здѣсь немного и они не въ великомъ почетѣ... Дай ихъ народу! Ты даже долженъ такъ сдѣлать, чтобы не вызвать бунтъ повсемѣстно, потому что теперь почтовые голуби, конечно, полетѣли уже въ Онъ, въ Мемфисъ и въ Аканеъ, и въ Гермополь, и въ Абидъ, и въ Ѳивы. Повѣрь мнѣ, что вскорѣ возстаніе охватитъ цѣлый Египетъ и тогда будутъ большія несчастія, которыхъ тебѣ не проститъ императоръ, и ты будешь смѣщенъ. Предотврати же малою уступкой и малою жертвой очень великія бѣды. А если ты этого не хочешь, то и я не хочу исполнять даннаго слова и не пойду за твоего сына Дуназа.

Разсужденіе Нефоры было согласно съ тѣмъ, что думалъ и самъ правитель. Онъ и самъ не видалъ никакого другого выхода и готовъ былъ на уступку, но еще продолжалъ немножко колебаться, какъ вдругъ случилось новое обстоятельство, которое понудило правителя подчиниться внушеніямъ Нефоры. Въ то самое время, какъ Нефора съ нимъ говорила, на площади, со стороны Иглъ Клеопатры, показались три замѣчательныя фигуры, которыхъ и видъ, и движенія,—все было необыкновенно.

Это были три человѣка, изъ которыхъ двое очень высокаго роста, а третій толстякъ. Всѣ они были въ длинныхъ и тонкихъ бѣлыхъ одеждахъ, въ широкихъ шейныхъ украшеніяхъ и головныхъ повязкахъ, гладко прилегающихъ ко лбу, къ вискамъ и къ пышнымъ, чернымъ фальшивымъ локонамъ, достигавшимъ до самыхъ ихъ спинъ. Темныя лица ихъ были спокойны и серьезны, а походка ихъ тверда и величественна. Въ рукахъ у каждаго изъ трехъ были длинные посохи; у двухъ, которые шли по краямъ, посохи были изъ пахучаго дерева съ неочищенною корой и на каж-

домъ посохъ наверху бѣлый и голубой цвѣтокъ лотоса; но у того, который шелъ въ серединѣ, посохъ былъ изъ серебра, а наверху изъ золота изображеніе нильскаго крокодила съ раскрытою пастью и съ перьями страуса. Кромѣ того, на груди у него сіялъ священный амулетъ изъ сафира. Отъ ихъ длинныхъ одеждъ, фальшивыхъ волосъ и отъ всего, что было при нихъ, распространялся чрезмѣрно сильный запахъ мускуса.

Это были жрецы, «столпы нерушимой вѣры народной», надъ которой отовсюду надвигались давленія чужеземной образованности. Вавилоняне и римляне имъ были ненавистны почти вровнѣ такъ же, какъ греки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Толпа, увидѣвъ жрецовъ, тотчасъ же разступилась передъ ними, и они прошли черезъ нее совершенно свободно. Чего никакими усиліями не могли достичь правительскіе биченосцы, то вдругъ сдѣлалось само собою при появленіи длинноволосыхъ париковъ и костыля съ разинутою пастью крокодила. Жрецы шли черезъ толпу, какъ по улицѣ, ни до кого не касаясь; они даже не поднимали кверху своихъ опущенныхъ и полуприкрытыхъ вѣками глазъ. Движенія ихъ были сурово-сдержанны и исполнены удивительной плавности: жрецы точно не входили, а вплыли на широкое мраморное крыльцо правителевыхъ палатъ и прямо приткнулись вплотную тѣломъ и лицами къ его тяжелымъ бронзовымъ дверямъ. Всѣ трое въ-разъ они ударили въ эти двери своими посохами и остановились, не шевелясь и не повторяя удара. Они точно влипли въ мѣдь и какъ будто знали, что они должны вскорѣ ее проникнуть на какой-то всенизвергающей волнѣ. Волна эта неслась за ними и несла ихъ. Народъ хлынулъ за своими жрецами и наперъ такъ сильно, что мгновенно сдавилъ и себя, и жрецовъ. Раздались страшные крики однихъ, которые наступали, и другихъ, которыхъ въ толпѣ давили.

Этотъ крикъ не то ужаснулъ, не то ободрилъ бывшихъ въ домѣ правителя. Глупый сынъ правителя, толстолобый Дуназъ, даже широко оскалилъ зубы и, смѣясь, сказалъ:

— Ага! Вотъ имъ и конецъ!

— Кому?—спросила Нефора.

— Тѣмъ, отъ которыхъ такъ сильно пахнетъ мускусомъ,

что я даже здѣсь слышу черезъ окна этотъ запахъ. Гдѣ мускусъ, тамъ всегда не далека колесница смерти.

— Да, это правда,—отвѣчала Нефора и указала рукою въ окно, изъ котораго теперь можно было видѣть, что въ томъ концѣ площади, между Иглъ Клеопатры, гдѣ за минуту стояли жрецы, теперь показался стѣнобойный таранъ на колесахъ, и народъ бросился, чтобы подпрягаться къ канатамъ и тащить стѣнобой къ правительскимъ бронзовымъ дверямъ.

Дунаэ и его отецъ, и всѣ остолбенѣли, а Нефора махнула изъ окна своимъ голубымъ покрываломъ, и когда послѣ этого знака крикъ на мгновеніе затихъ, она сказала народу:

— Отступите съ крыльца!.. Правитель сейчасъ приметъ вашихъ жрецовъ и сдѣлаетъ все, что можно сдѣлать, чтобы Нилъ скорѣе разлился.

Народъ отступилъ отъ крыльца, а жрецы вошли въ открытыя для нихъ двери и черезъ малое время вышли изъ дома правителя и объявили собравшимся людямъ, что правитель сейчасъ же пошлетъ къ христіанскому патріарху и повелитъ ему исполнить то, о чемъ проситъ встревоженный народъ, т. е. сдѣлать общее моленіе о томъ, чтобы сдвинуть гору.

Люди послушались жрецовъ; опять на иной ладъ захрапѣла труба, загудѣлъ бубенъ и залопоталъ барабанъ, и бунтовщики стали расходиться. Площадь опустѣла, и толпы отодвинулись къ окраинамъ за Некропольскія ворота и къ Лохіасу, но возбужденіе въ духѣ оставалось попрежнему и ежемгновенно снова готово было ожесточиться и проявить себя. Люди сидѣли кучками за ристалищемъ и по берегамъ канала и ожидали вѣстей, что будетъ сдѣлано по ихъ просьбѣ. Почтовые голуби, дѣйствительно, были пущены жрецами, какъ предполагала Нефора, и несли возбудительныя полоски тонкаго папируса въ Онъ, Мемфисъ, Абидъ и Ѳивы, до Карнака и Луксора. Александрійскія вѣсти быстро долетѣли до ушей вѣщей статуи Мемнона, и Амиготепъ заговорилъ на разсвѣтѣ.

Возбужденіе въ Александріи только временно было сдержано уступчивостью правителя, но оно не было угашено, и правитель теперь находилъ за самое лучшее дѣйствовать не прямо, а съ хитростью: онъ, въ одно и то же время,

къ тому, чтобы нападать на христіанъ и грабить ихъ, находились ежечасно. Какія бы гдѣ ни случились общественныя бѣдствія: пожары или землетрясенія, потопленіе судовъ и обвалы путей, неурожаи или повальныя болѣзни,— все это считали случившимся по винѣ христіанъ. Къ ихъ обвиненію равно удобно служили и сильные разливы Тибра въ Римѣ, и недостаточный подъемъ водъ въ Нилѣ, въ Египтѣ; равно къ ихъ же винамъ относили и всякія иныя рѣдкія и необыкновенныя явленія въ природѣ. Все неблагопріятное принимали какъ знакъ неудовольствія боговъ, обижавшихся будто на то, что теперь среди ихъ давнихъ поклонниковъ живутъ иновѣрные люди, которые не воздаютъ старымъ богамъ поклоненія, а молятся какъ-то иначе, посвоему,—почитаютъ какого-то распятаго Назареянина и совершаютъ что-то таинственное Его кровью. На что нужна имъ эта кровь? Они говорятъ, будто они ею спасаются отъ своихъ враговъ. Тогда кто враги ихъ? Очевидно это тѣ, кто не раздѣляетъ ихъ странной вѣры. Слѣдовательно, вотъ кого они и хотятъ пересилить и погублять кровью Распятаго. И имъ это удается: говорятъ, что они брызгаютъ кровь по вѣтру и оттого на людяхъ выступаютъ прыщи и сыпи, гноятся глаза, пухнутъ подшейныя железы и гніетъ въ глоткахъ; они капнутъ каплю крови на землю и подымется мошкара, которая точитъ всѣ огурцы и дыни и набивается дѣтямъ во рты и въ глаза, и всѣ огурцы и дыни пропадаютъ и тлѣютъ, и цыплята, которые ихъ наклюются, — шелудивѣютъ, теряютъ перья и зачичкаются, а у людей глаза заслезятся и станутъ слѣпнуть...

И когда только случались обычныя здѣсь несчастія въ такомъ родѣ, сейчасъ всѣхъ охватывалъ суевѣрный страхъ и всѣ искали причины несчастія на христіанахъ и затѣвали на нихъ погромы,—людей били, а имущество расхищали и разбрасывали. Правители знали, что христіане только терпимы, но никому не желанны, и потому смотрѣли на безчинства надъ ними сквозь пальцы, они не только не защищали горячо людей христіанской вѣры, но даже нерѣдко радовались, что нищіе и раздраженные невѣжды, вмѣсто того, чтобъ негодовать на безучастное правительство, срывали на христіанахъ свой гнѣвъ и тѣмъ утоляли свое раздраженіе. Если же случалось, что христіанъ успѣвали сильно побить и разорить, тогда правители унимали

побѣдителей и ссылали ихъ заимщиковъ въ каменоломни, а отъ награбленнаго ими имущества сами пользовались доброю частью. Отъ высшихъ же и далекихъ властей мѣстные правители строгой отвѣтственности за христіанъ не опасались, потому что люди эти были въ презрѣніи. Если и были случаи, что за обиды, сдѣланныя христіанамъ, спрашивали объясненій, то областные правители всегда находили много причинъ для оправданія, а чаще всего представляли, что христіане сами виноваты, что они имѣютъ какіе-то таинственные обряды, особятся отъ всѣхъ прочихъ и возбуждаютъ тѣмъ противъ себя всеобщую ненависть. Такимъ образомъ, снисхожденіе къ народнымъ безчинствамъ надъ христіанами часто принималось за благоразумную государственную терпимость, которою областной намѣстникъ предотвращалъ будто бо́льшее бѣдствіе, способное, пожалуй, перейти въ угрожающее политическое возстаніе.

Христіане не считались столь драгоцѣнными, чтобы изъза нихъ строго взыскивать, и потому погромы, случавшіеся въ общинахъ отдаленныхъ христіанъ, нерѣдко съ тяжкими мучительствами, убійствами и съ самымъ обиднымъ издѣвательствомъ надъ ихъ вѣрою, проходили безъ всякихъ наказаній или съ наказаніями столь легкими, что надъ ними смѣялись. Чаще же погромы даже совсѣмъ оставались неизвѣстными въ Византіи и въ Римѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Бунты и возстанія всего легче затѣваются при унынiи и страхѣ.

Когда вода въ Нилѣ стояла низко въ ту пору года, когда ей уже было время разлиться, тогда по всей странѣ Египетской отъ Филэ до Александріи ощущалось повсемѣстное терзательное безпокойство: всѣ страшились безхлѣбья и ходили унылые и раздраженные, многіе надѣвали печальныя одежды съ неподрубленными краями, передвигали пояса съ чреслъ высоко на грудь — къ мѣсту вздоховъ, нетерпѣливыя женщины рвали на себѣ волосы, а задумчивые мужчины безмолвно смотрѣли унылыми глазами съ повисшими на рѣсницахъ слезами.

При мрачномъ настроеніи египетскихъ характеровъ, все это облекало страну въ ужасъ. То самое было и теперь, въ пору нашей повѣсти. Къ тому же, положеніе, какъ раз-

сказала Бубаста, осложнялось появленіемъ множества болѣзней. Почтовые голуби, пущенные съ верховьевъ теченія рѣки изъ Геліополя, Мемфиса и Ѳивъ, приносили въ Александрію самыя удручающія извѣстія: вся Ѳивада и Гептаноммида и Нижній Египетъ слились въ одну скорбь и въ одинъ стонъ,—люди голодали, слѣпли, боялись другъ друга и искали, кого бы сдѣлать отвѣтственнымъ за претерпѣваемое бѣдствіе.

Наконецъ, къ удовольствію многихъ, виновные были найдены, и это, какъ всегда, были христіане. Правовѣрные египтяне уже побили въ Геліополѣ христіанскихъ ткачей и то же досталось колесникамъ и стекольнымъ выдувальщикамъ въ Мемфисѣ. И они этого заслужили за то, что они испортили цѣны ткачамъ и колесникамъ, взявшись работать дешевле, чѣмъ работаютъ всѣ вольные люди въ Египтѣ. Имъ было можно дешевить, потому что они живутъ общинами и получаютъ приношенія отъ богатыхъ людей одной съ ними вѣры, но кто живетъ своимъ трудомъ и приношеній не получаетъ, тому по такой дешевой цѣнѣ ни прясть, ни ткать, ни ободья гнуть невозможно. А потому этого терпѣть нельзя, это надо остановить, а для того, чтобы остановить, самое простое дѣло—избить христіанъ, отнять ихъ имущество, поломать ихъ станки и самихъ ихъ бросить въ воду. Священный Нилъ, кстати, принимаетъ это за жертвоприношеніе, и у старыхъ людей есть примѣты, что вода въ Нилѣ тогда начинаетъ подниматься.

Теперь было прекрасное время играть на этихъ страстяхъ.

Баба Бубаста пошла къ мемфиту Пеоху за тѣмъ, чтобы возвѣстить ему, что народъ въ негодованіи и что у нея есть лицо, которое пылаетъ местью противъ христіанина и можетъ поставить правителя въ такое благопріятное положеніе, что тотъ вынужденъ будетъ мирволить народнымъ безчинствамъ. Пеохъ сидѣлъ въ тѣни, прислоняясь спиною къ скалѣ, и выслушивалъ то, что, стоя передъ нимъ, говорила ему Бубаста. Онъ, впрочемъ, и самъ уже зналъ о всеобщемъ унынiи отъ того, что долго не начинается разливъ Нила, но его обрадовало, что Бубаста заручилась содѣйствіемъ Нефоры, которая можетъ обезоружить правителя и всякія издѣвки надъ христіанами сойдутъ у египтянъ съ рукъ, не причиня имъ никакихъ жестокихъ возмездій.

— Ты умная женщина, — отвѣчалъ Пеохъ. — Эти люди должны пострадать за наши несчастія.

— Да; но какъ это начать? Ты, вѣдь, повсюду славенъ, мудрый Пеохъ; ты за своею лампадой прочелъ всѣ священные свитки; ты знаешь и свѣтъ нашей истинной вѣры, и знаешь тоже всю ложь всѣхъ прочихъ ученій, а мы чужихъ вѣръ не знаемъ,—мы только отъ чистаго сердца ихъ ненавидимъ. Будь головой на плечахъ, подъ которыми трепещетъ и ноетъ народное сердце священнаго Кемми: научи насъ, что̀ надобно дѣлать, чтобы христіане получили всесвѣтный позоръ и безвозвратную гибель? Скажи намъ, что̀ такое мы могли бы требовать отъ христіанъ, чтобы это было въ ихъ же законѣ и что̀ бы могло показать всѣмъ безсилье ихъ вѣры и посрамить ихъ?

Пеохъ улыбнулся, погладилъ грязною рукой прирученнаго ихневмона и сказалъ:

— Хорошо, я вамъ покажу, какъ посадить лягушку на дерево; но смотрите вы: уже долой съ дерева ее не спустите!

— О, мы ее не спустимъ!

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Старый Пеохъ посмотрѣлъ въ молчаніи въ свою лампаду и сказалъ бабѣ Бубастѣ:

— Ты не ложно сказала, Бубаста: я, дѣйствительно, знаю и свою правую вѣру, и всѣ суевѣрія чужія, и всѣхъ боговъ суевѣрныхъ. Я могу судить и объ эллинскомъ Зевсѣ, и объ Ормуздѣ и Ориманѣ фарсійскихъ, и объ Егове, мстительномъ Богѣ бывшихъ рабовъ нашихъ — евреевъ, а также и о Томъ бѣднякѣ, Который былъ распятъ и Котораго почитаютъ за Бога себѣ христіане. Мы ихъ уловимъ на Его же словахъ: Онъ говорилъ, что кто будетъ вѣрить, какъ Онъ училъ, то такой человѣкъ, если скажетъ горѣ: «сдвинься», то будто гора тронется съ мѣста и бросится въ воду. Съ кровли правителя вашего по направленію къ закату видна гора Адеръ. Если христіане добры, то пусть они для спасенія всѣхъ умолятъ своего Бога, чтобы Адеръ сошла съ своего мѣста и, погрузившись въ Нилъ, стала плотиной теченію. Тогда воды Нила подымутся вверхъ и оросятъ изгорѣвшія нивы. Если же христіане не сдѣлаютъ такъ, чтобы стронулась гора Адеръ и загородила теченіе Нила,

это имъ будетъ вина. Тогда всякому видно станетъ, что или вѣра ихъ—ложь, или они не хотятъ отвратить общаго бѣдствія, и тогда пусть пронесутся въ Александріи римскіе крики: christianos ad leones!

— Ты мудрый, ты очень мудрый, Пеохъ, — отвѣчала, простерши къ Пеоху руки и опять зазвонивши серьгами, баба Бубаста. — Народъ нашъ завтра же пойдетъ къ правителю требовать, чтобы онъ заставилъ христіанъ сдвинуть гору.

И съ этими словами баба Бубаста простилась съ мемфитомъ Пеохомъ и побѣжала къ тѣмъ изъ египтянъ, кого знала за самыхъ большихъ коноводовъ народныхъ, и подбивала ихъ, чтобы они внушали народу, что въ неразлитіи Нила виновны христіане.

Скоро отъ этого сдѣлалось всеобщее волненіе, о которомъ тотчасъ же узналъ правитель, и оно его очень обезпокоило, такъ какъ онъ не зналъ, чѣмъ его утишить. Баба же Бубаста побѣжала къ Нефорѣ и, распаливъ въ ней хитрыми словами оскорбленіе и ревность, убѣдила ее итти къ правителю и просить его, чтобы онъ снизошелъ къ горю народа и къ его надеждѣ получить облегченіе черезъ молитву христіанъ, которая можетъ двинуть гору и запрудить ею Нилъ, чтобы вода поднялась и оросила пажити.

Нефора, въ которой быстро воспламенялись страсти и смѣнялись движенія, легко поддалась этимъ словамъ и, скоро одѣвшись съ большою пышностью, поспѣшила въ домъ правителя, чтобы исполнить то, чему ее научила баба Бубаста.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Правитель въ это время находился въ смущеніи отъ дошедшихъ до него слуховъ о волненіи въ народѣ. Бубаста успѣла взбунтовать всю александрійскую чернь разсказами о винѣ христіанъ, и многіе, по ея наученію, побѣжали на Фарросъ къ мемфиту Пеоху, чтобы услыхать отъ него подтвержденіе словъ Бубасты, а другіе собрались въ огромномъ числѣ и двинулись къ дому правителя.

Когда Нефора приблизилась къ дому этого вельможи, она увидѣла густую толпу людей, окружившихъ плотною массой его палаты. Огромная толпа поражала своею массой и своею пестротой: она состояла изъ купцовъ въ бѣ-

лыхъ одеждахъ съ разноцвѣтною бахромой и страшнаго множества полунагихъ кирпичниковъ, горшечниковъ, рыбаковъ, лодочниковъ, ткачей, шерстобитовъ, благовонщиковъ, листопродавцевъ, рогожниковъ, зерночистителей, масленниковъ, мусорщиковъ, омывателей ногъ, опахальщиковъ и стекольныхъ выдувальщиковъ. У большинства этихъ людей все одѣяніе состояло изъ однихъ короткихъ фартуковъ или кое-какихъ лохмотковъ, подвѣшенныхъ на узенькихъ поясочкахъ. Это были люди, страшные своею рѣшимостью и тѣмъ, что имъ терять нечего. Съ ними здѣсь было ихъ *все*,—при нихъ находились и ихъ жены, пряхи, въ коротких накидкахъ, и совсѣмъ голыя дѣти, и собаки, и кошки. Особенно много было дѣтей. Изъ нихъ однихъ, которыя меньше, женщины несли на своихъ плечахъ или у груди, а другихъ, постарше, тащили за собою за руки. Между маленькими дѣтьми у многихъ глаза были залиты гноемъ и всѣ эти дѣти жалобно кричали и плакали, а тѣ, которыя были постарше, безпрестанно толкались, ссорились и дрались между собою за объѣдки. Множество собакъ и кошекъ, которыя не отставали отъ своихъ хозяевъ, дѣлали то же самое: онѣ шныряли подъ ногами и ощетинивались другъ на друга, то завывая, то фыркая и заводя между собою ожесточенныя схватки. Но и этого было мало: какъ бы нарочно, для увеличенія шума и усиленія тревожности, въ нѣсколькихъ мѣстахъ изъ толпы раздавались призывные звуки: здѣсь хрипѣла бактрійская боевая труба, на нее откликался гудѣніемъ сирійскій бубенъ, а въ третьемъ мѣстѣ колотилъ арійскій барабанъ. Все это и перекликалось, и сзывало еще большее скопленіе народа. Биченосцы правителя въ желтыхъ туникахъ и въ высокихъ колпакахъ напрасно махали своими раскрашенными въ клѣтку палками. Сильные шерстобиты или не обращали на нихъ никакого вниманія, или даже переламывали ихъ палки и швыряли обломки въ лицо биченосцамъ.

Все это волненіе покрывалось общимъ воплемъ, въ которомъ только иногда можно было уловить отдѣльныя слова:

— Нилъ не поднимаетъ водъ!.. Мы погибаемъ отъ голода... Христіане перебиваютъ работы... Хорошо имъ дешевить, когда они живутъ подаяніемъ!.. Пускай же они за насъ молятся... Пошли ихъ сдвинуть въ Нилъ гору, чтобы рѣка разлилась!

Нефора съ величайшимъ трудомъ едва могла проникнуть въ своихъ носилкахъ черезъ эту толпу. Главный входъ въ домъ былъ закрытъ, и она вошла въ чертоги правителя черезъ извѣстную ей потаенную дверь, которую открылъ ей хорошо знавшій ее привратникъ, послѣ чего и эта дверь опять тотчасъ же была заперта. Стража со всѣхъ сторонъ охраняла всѣ входы.

Правитель находился въ большомъ смущеніи и перепугѣ. Онъ не зналъ, что ему дѣлать: отражать народъ силою онъ не могъ, а снизойти къ неблагоразумному требованію черни считалъ за недостойное. Правителя окружала вся его семья и тутъ же въ среднемъ покоѣ былъ его глупый сынъ, толстоносый Дуназъ, и его ближайшія подначальныя лица: всѣ они подавали ему различные совѣты, но онъ всѣ ихъ мнѣнія слушалъ, но ни на что не рѣшался. Увидѣвъ же входящую Нефору, онъ обрадовался ея приходу и живо воскликнулъ:

— Вотъ дорогая, нежданная гостья, чей пріятный приходъ приноситъ мнѣ радость! О, какъ я тебѣ благодаренъ, Нефора, что ты рѣшилась навѣстить домъ мой въ такую тревожную и досадительную минуту! Этимъ ты доказала мнѣ свою дружбу, и я прошу тебя сказать мнѣ: что ты думаешь обо всемъ происходящемъ среди глупой и презрѣнной черни? Я знаю, что тебѣ данъ острый умъ, и я хочу на него полагаться: я даю тебѣ при всѣхъ мое слово, что я рѣшусь только на то, что ты мнѣ присовѣтуешь.

Нефора отвѣчала, что ей извѣстно все, что происходитъ, и что она не находитъ въ этомъ положеніи ничего безысходнаго.

— Что же бы ты сдѣлала на моемъ мѣстѣ?

— Я бы ихъ всѣхъ обманула.

— Прекрасно; но какъ это сдѣлать?

— Исполни ихъ желаніе: вопроси христіанъ, могутъ ли они своею вѣрой сдвинуть гору и положить ее въ Нилъ, пока онъ разольется отъ Филэ и до моря?

— Полно, Нефора, кто жъ можетъ заставить двигаться горы?

— Христіане, правитель, могутъ. Старый Пеохъ, который знаетъ всѣ вѣры, самъ это читалъ въ ихъ христіанскомъ ученіи.

— Старый Пеохъ!.. Онъ это все и надѣлалъ въ глупомъ

народѣ и, клянусь, онъ достоинъ настоящаго египетскаго удара деревяннымъ коломъ въ упрямый затылокъ.

— Тебѣ что за дѣло? Пускай и Неохъ получитъ свое въ свое время.

— А если христіане не сдвинутъ горы?

— Что жъ за бѣда? Народъ надъ ними слегка посмѣется, можетъ-быть, ихъ даже немножко и поколотитъ. Имъ это будетъ урокъ, чтобы они не кичились... Они станутъ скромнѣе, а ни въ Византіи, ни въ Римѣ за нихъ не станутъ сильно вступаться. Народъ въ огорченіи своемъ ищетъ, на комъ бы сорвать это горе, и на мысль ему пришли христіане... Ихъ вѣдь пока здѣсь немного и они не въ великомъ почетѣ... Дай ихъ народу! Ты даже долженъ такъ сдѣлать, чтобы не вызвать бунтъ повсемѣстно, потому что теперь почтовые голуби, конечно, полетѣли уже въ Онъ, въ Мемфисъ и въ Аканеъ, и въ Гермополь, и въ Абидъ, и въ Ѳивы. Повѣрь мнѣ, что вскорѣ возстаніе охватитъ цѣлый Египетъ и тогда будутъ большія несчастія, которыхъ тебѣ не проститъ императоръ, и ты будешь смѣщенъ. Предотврати же малою уступкой и малою жертвой очень великія бѣды. А если ты этого не хочешь, то и я не хочу исполнять даннаго слова и не пойду за твоего сына Дуназа.

Разсужденіе Нефоры было согласно съ тѣмъ, что думалъ и самъ правитель. Онъ и самъ не видалъ никакого другого выхода и готовъ былъ на уступку, но еще продолжалъ немножко колебаться, какъ вдругъ случилось новое обстоятельство, которое понудило правителя подчиниться внушеніямъ Нефоры. Въ то самое время, какъ Нефора съ нимъ говорила, на площади, со стороны Иглъ Клеопатры, показались три замѣчательныя фигуры, которыхъ и видъ, и движенія,—все было необыкновенно.

Это были три человѣка, изъ которыхъ двое очень высокаго роста, а третій толстякъ. Всѣ они были въ длинныхъ и тонкихъ бѣлыхъ одеждахъ, въ широкихъ шейныхъ украшеніяхъ и головныхъ повязкахъ, гладко прилегающихъ ко лбу, къ вискамъ и къ пышнымъ, чернымъ фальшивымъ локонамъ, достигавшимъ до самыхъ ихъ спинъ. Темныя лица ихъ были спокойны и серьезны, а походка ихъ тверда и величественна. Въ рукахъ у каждаго изъ трехъ были длинные посохи; у двухъ, которые шли по краямъ, посохи были изъ пахучаго дерева съ неочищенною корой и на каж-

зей, и родственниковъ въ Саисѣ и Пелузѣ, и свои корабли во всѣхъ семи нильскихъ гирлахъ. Зато черный народъ: всѣ ткачи, шерстобиты, кирпичники и стекольные выдувальщики были попрежнему на дворѣ и кричали, что они голодны и не могутъ выйти, потому что ворота съ улицы заперты и къ нимъ приставлена стража.

Епископъ вдругъ становился богатымъ обладателемъ всего, что̀ покинули ему бѣжавшіе знатные люди; но на что теперь ему было все это богатство, когда оставалось всего лишь два дня до того, когда надо итти сдвигать гору Адеръ и загораживать ею Нилъ?

Епископъ бросилъ ткачамъ и шерстобитамъ ключи отъ съѣстныхъ амбаровъ и показалъ потаенный ходъ на сосѣдній дворъ, а когда народъ устремился туда, чтобы утолять свой голодъ, епископъ швырнулъ и другіе ключи отъ другихъ скарбницъ и житницъ на каменный полъ и оттолкнулъ ихъ ногою.

«На что,—думалъ онъ: — мнѣ теперь все это изобиліе, когда я оставленъ всѣми именитыми людьми и скоро долженъ буду претерпѣть му̀ку съ одними невѣждами рыбаками, ткачами и шерстобитами?»

Но вскорѣ онъ оправился, всталъ и быстро пошелъ въ свою конюшню посмотрѣть, напоенъ ли и не стоитъ ли безъ пищи его мулъ и крѣпки ли у его копытъ мѣдныя подковы.

Стойло было пусто.

Епископъ только развелъ руками... Мулъ вѣдь, конечно, не самъ своею волей бросилъ спокойно стойло и ясли, полныя сочнаго корма... Кто ему наложилъ и епископское сѣдло съ бахромой, и уздечку съ кистями, и не позабылъ даже шелковой плетки?

Епископъ, однако, недолго оставался въ этомъ состояніи, потому что кто-то неожиданно коснулся рукою до его плеча и чей-то безпечный и насмѣшливый голосъ сказалъ ему:

— Ты, вѣрно, пришелъ сюда посмотрѣть, крѣпки ли подковы у твоего мула?

— А тебѣ что за дѣло?—отозвался епископъ.

— Мнѣ до тебя есть дѣло, потому что я присланъ за тобою отъ правителя и при мнѣ здѣсь есть воины и биченосцы. Правитель разгнѣванъ, что ты не доставилъ ему въ

теченіе дня донесеній о томъ, какъ идетъ у васъ приготовленіе къ тому, чтобы передвинуть вѣрою гору.

Епископъ же отвѣчалъ:

— Я не имѣю о чемъ доносить, потому что отъ меня всѣ бѣгутъ и, мнѣ кажется, я скоро останусь совершенно одинъ.

— Это не наше дѣло, — отвѣчалъ правительскій посолъ. — Мы пришли за тобой, иди объясняться съ правителемъ.

Сказавъ это, посолъ указалъ мановеніемъ глазъ на епископа биченосцамъ, и тѣ сейчасъ же положили шнуры на запястья его рукъ и повели его подъ охраною къ правителю.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Правитель, согласившись дозволить сдѣлать зрѣлище изъ того, какъ христіане выйдутъ сдвигать гору, былъ самъ недоволенъ, что онъ уступилъ волненію взбунтовавшейся черни, и искалъ средства заглушить въ себѣ досаду. Онъ старался веселиться въ сообществѣ своихъ пріятелей, и въ то время, когда къ нему повели епископа, правитель вкушалъ вечернюю трапезу съ своею семьей и съ именитыми гостями, въ числѣ которыхъ была и Нефора. Всѣ они помѣщались въ большой столовой комнатѣ, которая представляла собою соединеніе эллинской красоты формы съ египетскою пестротой и яркостью красокъ. Стѣны были выложены изразцами, раздѣланными живописью по греческой модѣ. Краски были изумительно живы. Столовая была совсѣмъ безъ потолка. Онъ замѣнялся подвижною шелковою тканью, которая сдвигалась и раздвигалась на кольцахъ, ходившихъ на бронзовыхъ прутьяхъ. Днемъ, когда солнце горѣло на небѣ, это полотно было задернуто, а къ вечерней трапезѣ его открывали. Теперь, послѣ знойнаго дня, ткань была отдернута и надъ головами людей, вкушавшихъ яства въ этой роскошной столовой, величественно синѣло высокое небо со множествомъ звѣздъ. Свѣтъ луны заходилъ сюда только откосомъ, серебря одинъ уголъ покоя.

Отъ канделябровъ и лампъ, горѣвшихъ на столѣ, далекое безконечное пространство вверху казалось черною бездной, въ которой звѣзды висѣли какъ огненные шары. Внизу, на столѣ были разнообразныя яства и питья: тутъ стояли и, дымясь, распространяли аппетитный запахъ огром-

нѣйшія жаркія изъ верблюжьяго мяса, красноперыя рыбы, драгоцѣнные хіосскіе подносы и вазы, на которыхъ были красиво уложены отборные фрукты: винныя ягоды, финики, виноградъ и янтарныя дыни; нѣжный сыръ на фигурныхъ тарелкахъ изъ поливанной глины; два превосходно исполненные серебряные улья работы Зенона, наполненные медомъ, и посерединѣ этихъ двухъ ульевъ, работы того же Зенона, высокое серебряное украшеніе, похожее на жертвенникъ греческихъ храмовъ,—все обвитое миртами и розами. Наверху жертвенника дымилась ароматная курильница и тутъ же стояла большая серебряная чаша съ виномъ, растворенным водою. Вокругъ этой чаши стояли кубки въ видѣ звѣриныхъ и птичьихъ головъ. Общество было веселое. Были изящныя женщины и молодые мужчины; всѣ находились въ веселомъ, остроумномъ настроеніи и шутили насчетъ того празднества, которое такъ неожиданно устраивается послѣзавтра; оно послужитъ и для успокоенія народа, и для ихъ развлеченія. Христіане, которые осуждены принять страдательную роль, могутъ себя чувствовать, какъ имъ придется. Одинъ кто-то сказалъ:

— Кто бы какое мнѣніе ни имѣлъ о презрѣнныхъ людяхъ, къ которымъ принадлежатъ наши ткачи и шерстобиты, но должно признаться, что они должны будутъ доставить для насъ самое необыкновенное увеселеніе. Ристалища, безъ сомнѣнія, представляютъ много изящества и граціозной отваги; но всѣ мы это уже много разъ видѣли, и это утратило новизну. Между тѣмъ, сдвинуть гору одною вѣрой—это совершенно ново и необыкновенно, и я поднимаю фіалъ за остроумныхъ ткачей и шерстобитовъ.

Другой отвѣчалъ:

— Чернь всегда останется чернью, и похвалы, которыя сейчасъ сказаны, принадлежатъ не ей, а старому Пеоху, который живетъ на Фарросѣ.

— И это еще не такъ,—вмѣшался сынъ правителя, толстый Дуназъ: — всѣмъ удовольствіемъ, которое ожидаетъ насъ, мы обязаны прекрасной невѣстѣ моей Нефорѣ, потому что это она уговорила моего отца согласиться сдѣлать уступку требованіямъ черни и вывести христіанъ къ горѣ Адеръ. Какая счастливая мысль! Два дня назадъ чернь была безъ работы, а теперь тысячи рукъ строятъ тамъ наскоро прекрасный амфитеатръ для зрителей, и въ городѣ

оживленіе: всѣ мулы наняты, всѣ пирожники и фруктовщики, рыбаки и продавцы вина въ городѣ готовятъ въ страшномъ изобиліи свои произведенія для публики. Завтра туда собираются цвѣточницы, пѣвцы и фокусники, — тамъ будетъ множество веселыхъ шатровъ съ цвѣтами, питьемъ и ѣдою, а послѣзавтра, утромъ, на ранней зарѣ, тамъ будетъ все населеніе Александріи, чтобы смотрѣть, какъ эти смѣшные люди съ ихъ вѣрою въ распятаго Бога будутъ сдвигать съ мѣста гору и поведутъ ее въ Нилъ.

— Да, сынъ мой Дуназъ въ своихъ словахъ приблизился къ правдѣ,—отозвался правитель: — но Дуназъ еще недостаточно оцѣнилъ все, что сдѣлала прекрасная Нефора, которую я нетерпѣливо жду назвать моею дочерью. Ея умъ поистинѣ равенъ ея чрезвычайной красотѣ и потому только не превосходитъ ее, что это ужъ невозможно. Мы обязаны прелестной Нефорѣ не только тѣмъ, что она доставляетъ намъ и всему народу веселое препровожденіе времени на счетъ христіанъ, но мы ей обязаны и нашею безопасностью. До сихъ поръ у насъ былъ бы всеобщій бунтъ, которому я не могъ бы воспрепятствовать съ тѣмъ малымъ числомъ воиновъ и биченосцевъ, которыхъ имѣю въ моемъ распоряженіи. Они едва въ состояніи сдерживать порядокъ только при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, а при такомъ народномъ волненіи, какое вдругъ обнаружилось третьяго дня и, безъ сомнѣнія, съ быстротою развилось бы повсемѣстно, эти силы оказались бы ничтожными. Къ тому же, мои разстилатели ковровъ сегодня утромъ перехватили голубей, на которыхъ нашли извѣщенія, что огромныя толпы рабочаго народа двинулись къ Александріи изъ Гермополя, и завтра, безъ сомнѣнія, мы уже увидимъ ихъ толстодонныя барки. Толпы эти выйдутъ на берегъ и ринутся къ моимъ палатамъ; но скамьи, которыя строятъ теперь амфитеатромъ у Адера, остановятъ ихъ и измѣнятъ ихъ направленіе. Гермопольцы не увидятъ того, что ожидаютъ: въ городѣ нашемъ нѣтъ ни унынія, ни воплей. Люди работаютъ топорами и обойными инструментами: всѣмъ имъ дается высокая плата; ковры и всѣ обойныя матеріи вздорожали вдвое противъ своей цѣны; всѣ люди оживились, веселы и работаютъ, а впереди ожидаютъ еще бо́льшаго веселья, и оно для нихъ будетъ если не въ томъ, что христіане въ самомъ дѣлѣ сдвинутъ для нихъ гору и положатъ ее попе-

рекъ Нила, то, по крайней мѣрѣ, всѣмъ будетъ весело смотрѣть, какъ эти самохвалы будутъ напрасно молиться по своему обычаю и потомъ къ вечеру должны будутъ сознаться въ своемъ безсиліи...

— Но тогда народъ можетъ броситься на этихъ людей и произведетъ кровопролитіе, а послѣ опять начнется волненіе, которое будетъ угрожать гибелью всѣмъ намъ, состоятельнымъ людямъ,—перебилъ одинъ изъ гостей.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ спокойно правитель:—это могло бы случиться въ такомъ разѣ, если бы къ мудрости и богатой жертвѣ великодушной Нефоры не было присоединено частицы и моей старческой опытности въ управленіи народомъ. Я не хочу скрыть здѣсь отъ васъ, что Нефора сдѣлала болѣе, чѣмъ вы знаете: она не только убѣдила меня въ благоразуміи этой мѣры, но и дала средства для ея исполненія: казна моя была пуста, и я не могъ бы предпринять всѣхъ расходовъ, которые потребовались на то, чтобы дать щедрый заработокъ всѣмъ занятымъ теперь перестройками людямъ, но Нефора дала на это средства.

— Возможно ли? Мы этого не знали! — воскликнули гости, обращаясь къ Нефорѣ, которая сидѣла межъ ними въ задумчивости и хранила молчаніе.

— Да, вы этого не знали, — продолжалъ правитель: — но я вамъ теперь выдаю ея тайну и вмѣстѣ съ тѣмъ открываю мою собственную тайну, которая должна успокоить васъ за вашу безопасность и великодушную Нефору за цѣлость истраченныхъ ею на общую пользу значительныхъ денегъ.

— Я не забочусь объ ихъ возвращеніи, — проронила Нефора.

— Да, ты объ этомъ не думаешь, — я вѣрю тебѣ, — но я, къ удивленію моему, замѣчаю, однако, что ты сегодня печальна.

— Мое настроеніе не зависитъ отъ денегъ.

— Вѣрю тебѣ, но ты скоро будешь моею семьянкой, и я ни за что не допустилъ бы тебя изнурять свое богатство, если бы не имѣлъ твердой надежды возвратить тебѣ съ лихвою все, что ты дала мнѣ на эти издержки. Посрамленіе, которому подвергнутся у Адера христіане, не принесетъ гибели никому, кромѣ самихъ этихъ ненавистныхъ суевѣровъ. Народъ не будетъ имѣть никакой возможности

грабить богатыхъ людей, потому что мною потребованъ флотъ съ вспомогательнымъ войскомъ, и десять судовъ въ полдень сегодня прошли уже въ виду Балбетинскаго гирла. Паруса ихъ велики и имъ вѣтеръ попутенъ, — они идутъ скоро, и завтра они будутъ у Канопа, а въ то время, когда весь народъ изъ города выйдетъ смотрѣть, какъ христіане пойдутъ двигать гору, войска обогнутъ Лохіасъ и войдутъ въ городъ. Возвращающіяся толпы, — каковъ бы ни былъ исходъ дѣла съ горою, — будутъ остановлены и обезоружены; на другой день надъ ними будетъ произведенъ судъ; всѣ главные виновники возстанія будутъ выведены съ смертными приговорами за поясомъ на Гепту и преданы казни, а ихъ имущество взято въ казну, и отъ него отдѣлится то, что̀ нужно, чтобы возвратить издержанныя сегодня деньги Нефоры.

— Это прекрасно! Ты мудрый и справедливый правитель! — воскликнули многіе разомъ: — и намъ теперь ничто болѣе не мѣшаетъ предаваться безмятежному веселію въ твоемъ домѣ, въ этой прекрасной столовой, въ которую съ высоты неба смотрятъ звѣзды и, вѣрно, завидуютъ яснымъ очамъ прекрасной Нефоры. Поднимаемъ фіалы за очи Нефоры и за счастье Дуназа.

Когда же тостъ былъ выпитъ, правитель, улыбнувшись, сказалъ:

— Веселитесь и пейте, славьте красу и разумъ Нефоры: никому никакой опасности нѣтъ, а смѣшное для общей забавы уже началось: патріархъ и всѣ сколько-нибудь богатые люди изъ содержавшихъ христіанскую вѣру бѣжали; ловкій предатель изъ епископскихъ слугъ извѣстилъ моего жезлоносца, что и епископъ сейчасъ самъ приходилъ на свою конюшню, чтобы осмотрѣть подковы у своего мула... Конечно, и онъ хотѣлъ потребовать наступающею ночью услугъ отъ этого животнаго, но я этого не допустилъ, потому что это угрожало опасностью — оставить зрителей безъ актеровъ. Я послалъ людей, чтобъ епископа привели сюда, а изъ города не велѣлъ выпускать ни одного христіанина, но всѣхъ ихъ собирать на епископскій дворъ, откуда всѣ они разомъ должны будутъ идти совершать моленіе у Адера.

Въ это время жезлоносецъ доложилъ правителю о приходѣ епископа, котораго всѣ пировавшіе пожелали видѣть,

и онъ былъ введенъ въ столовую и оставленъ стоять на ногахъ передъ пирующими за столомъ гостями, въ числѣ которыхъ была и Нефора. Молодая женщина быстро устремила на старика острые и проницающіе взгляды, какъ будто она хотѣла прочесть по его лицу что-то такое, на что не давали отвѣта обстоятельныя объясненія правителя.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Епископъ чувствовалъ свое унизительное положеніе и отвѣчалъ коротко и неохотно, что̀ и было понятно, такъ какъ всѣ вопросы, которые ему предлагали самъ правитель и его гости, очевидно, клонились къ тому, чтобы усилить и безъ того затруднительное положеніе вопрошаемаго и сдѣлать предметомъ насмѣшекъ и шутокъ какъ его самого, такъ и тѣхъ людей, за вѣру и упованіе которыхъ онъ былъ здѣсь представителемъ. Особенно въ этомъ отличался Дуназ, искавшій возможности понравиться Нефорѣ своею наглостью надъ беззащитнымъ и потерявшимся старикомъ; но Дуназ достигъ этимъ совершенно противоположнаго: Нефорѣ не нравились его издѣвательства, можетъ-быть, особенно потому, что въ нихъ старался отличиться противный ей женихъ, и она сказала:

— У этого человѣка на рукахъ строгое дѣло и онъ долженъ имѣть въ сборѣ всѣ свои силы, а потому, если я смѣю просить, то я бы просила отпустить его къ его мѣсту, такъ какъ его видъ и воображеніе объ участи, ожидающей людей его вѣры, совсѣмъ не располагаютъ меня къ веселью.

Епископъ услыхалъ эти слова, взглянулъ на Нефору и произнесъ съ достоинствомъ:

— Благодарю тебя, сострадательная госпожа, и молюсь, чтобы Богъ милосердія совершилъ для тебя самое благое изъ твоихъ желаній.

А Нефора встала съ мѣста, позвала свою рабыню, опустила руку въ висѣвшій у ея пояса длинный желтый шелковый кисетъ и, доставъ оттуда горсть золота, подала ее епископу съ словами:

— Возьми отъ меня для своихъ бѣдныхъ.

— Не безпокойся, — отвѣчалъ благодарно, отстраняя ея руку, епископъ:—тѣ, которые идутъ со мною, всѣ приготовились скоро умереть, и намъ теперь не надо золота.

— Значитъ, вы не надѣетесь сдвинуть гору? — спросилъ Дуназъ.

Епископъ молчалъ.

— Ты, однако, еще не отчаивайся, — вмѣшался правитель.—Ты помни слова, что «иногда и Гомеръ ошибался».

— Я ни въ чемъ не отчаиваюсь.

— Вотъ это прекрасно; но прослушай, пожалуйста, списокъ, въ который ты самъ записалъ всѣхъ лучшихъ людей вашей вѣры, и скажи мнѣ: неужто они всѣ до одного такъ единомысленны, что разомъ успѣли оставить Александрію? Гдѣ всѣ они дѣлись?

— Я ихъ не видѣлъ, и знаю только одно, что дома ихъ пусты.

— Иди же и береги тѣхъ остальныхъ, кто остался; ты мнѣ за нихъ отвѣчаешь. Завтра я пришлю къ твоему дому отрядъ биченосцевъ, чтобы сопровождать васъ къ горѣ Адеръ. Иди!

Епископъ поклонился и вышелъ, но Нефора, давъ ему отдалиться отъ прочихъ, нагнала его у двери и сказала:

— Старикъ! я должна тебя предупредить: ты ошибся.

— Въ чемъ?

— Ты поименовалъ не всѣхъ надежныхъ и достойныхъ вниманія людей твоей вѣры!

Епископъ подумалъ, стараясь припомнить, и отвѣтилъ:

— Ручаюсь тебѣ, что я никого съ умысломъ не скрывалъ и другихъ христіанъ не помню.

— Нѣтъ, я вижу, что ты одного укрываешь!

— Скажи мнѣ, какъ его имя?

— Его имя Зенонъ.

— Зенонъ!

— Да!.. Онъ знаменитый художникъ... Его всякій знаетъ въ Александріи и не знать его невозможно.

— Ахъ, это кривой Зенонъ, златокузнецъ?

— Ты какъ будто насилу вспомнилъ его?

— Конечно, такъ это и есть: я его едва знаю.

— Какъ! ты едва знаешь Зенона, котораго знаетъ вся Александрія?

— Языческая Александрія!

— Почему же только одна «языческая»?

— Онъ дѣлаетъ ваятельныя изображенія.

— Но развѣ это дурно?

— Христіанину непристойно этимъ заниматься.
— Почему же? Развѣ искусство унижаетъ христіанина?
— Такъ постановилъ отецъ Агапитъ.
— Но, вѣдь, это безумно!
— Такъ постановилъ отецъ Агапитъ.
— Однако, все жъ Зенонъ вашей вѣры?
— Нѣтъ, мы его своимъ не считаемъ.
— Какъ нѣтъ? Развѣ онъ не вѣритъ ученію Распятаго?
— Ты, госпожа, не можешь объ этомъ судить.
— Я сужу по тому, что̀ видѣла, а я видѣла большое доказательство тому, что Зенонъ — христіанинъ. Посылай скорѣе за Зенономъ, спѣши за нимъ самъ, зови его съ собою.
— Онъ не пойдетъ.
— Пѣтъ, онъ пойдетъ, и если только гора можетъ сдвинуться и пойти, то одинъ Зенонъ ее и сдвинетъ. Но чтобы тебя убѣдить, жди меня: я приду къ тебѣ и разскажу тебѣ больше.

Епископъ ушелъ и не послалъ за Зенономъ, а знатные гости продолжали пировать, пока въ темномъ небѣ начали блѣднѣть звѣзды и посеребренный луною уголъ пропалъ, слившись въ одинъ полумракъ съ остальными частями верхняго карниза. Гости хотя пили хіосское и фалернское вино въ смѣшеніи съ водой, но чувства ихъ быстро отяжелѣли. Дуназу показалось разъ, что луна исчезла. Онъ объ этомъ сказалъ и надъ нимъ посмѣялись. Правителю тоже показалось, будто на его лысый черепъ, разгоряченный виномъ, капнула холодная капля, но онъ только посмотрѣлъ на небо и, боясь быть смѣшнымъ, никому не сказалъ объ этомъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Утро слѣдующаго дня, который предшествовалъ сдвиганію горы христіанами и вступленію войскъ для усмиренія жителей, было пасмурное, что рѣдко случается въ эту пору года въ Египтѣ. Дулъ вѣтерокъ и по небу слегка обозначались зачатки перистыхъ облачковъ. Людямъ, которые собирались къ Адеру, было легко и удобно отправляться туда и тамъ устраиваться.

Отъ города до Адера, по направленію къ Канопскому гирлу Нила, было день пути. Путь этотъ совершали какъ прогулку для большого удовольствія. Въ огромной толпѣ

чисто египетскаго народа было множество заѣзжихъ разностранцевъ и осѣдлыхъ чужеземныхъ нашельцевъ. По дорогѣ люди подвигались безконечною вереницей; одни ѣхали на ослахъ, другіе на верблюдахъ, третьи въ колесницахъ, запряженныхъ мулами, но всего болѣе было пѣшеходовъ. Шли старцы и взрослые мужчины и женщины. Послѣднія тащили съ собою нагихъ дѣтей. Торговцы несли или везли на ручныхъ телѣжкахъ тяжелыя корзины съ рыбами, съ пряными, испеченнымъ мясомъ, съ душистыми пряничными орѣхами и съ овощами, состоявшими бо́льшею частью изъ огромнѣйшихъ огурцовъ до фута длиною и изъ громадныхъ дынь, достигавшихъ до пуда вѣсомъ. Плоды эти были переложены листьями крапивы величиною въ двѣ человѣческія ладони. Другіе несли на головахъ огромные поливные сосуды почти въ ростъ человѣка. Узкія горла этихъ сосудовъ были заткнуты тоже свѣжими листьями крапивы и обвязаны пузыремъ. Въ этихъ сосудахъ содержалось сирійское вино, которое хотя было и грубо, но на простой вкусъ нравилось не хуже, чѣмъ людямъ высшаго класса нравилось вино изъ Хіоса или отъ подошвы Везувія. Пекаря двигали передъ собою длинныя ручныя телѣжки съ хлѣбами, у иныхъ наверху были привязы таганы и котлы, и мѣшки съ рисомъ и чеснокомъ, чтобы варить на мѣстѣ похлебку. Все собиралось пить и веселиться, и торопилось на мѣсто, чтобы занять лучшую позицію. Съ нѣкоторыми были легкіе переносные шатры. Для богачей шатры были уже устроены ранѣе высланною къ Адеру прислугой, а большинство тащило свои легкіе шатры на ослахъ за собою. Особенно выдѣлялись группы, состоявшія изъ полунагихъ плясуновъ на канатѣ и фокусниковъ, которые тутъ же на ходу глотали живыхъ змѣй и дѣлали мимоходомъ другія удобныя представленія; но всѣхъ больше интересовали собою нарядныя цвѣточницы, вокругъ которыхъ неотступно вилась рѣзвая молодежь, увлекаясь прелестями и весельемъ этихъ нестрогихъ и прелестныхъ красавицъ. Самые знатные юноши, вырвавшись изъ города, гдѣ ихъ стѣсняли приличія, здѣсь чувствовали себя на свободѣ и не хотѣли уже ничѣмъ стѣсняться, а, напротивъ, предавались самымъ необузданнымъ увлеченіямъ своего возраста и темперамента. Цвѣточницы всѣ были молодыя женщины египетскаго типа, съ плосковатыми лбами, но живыя, веселыя,

иногда остроумныя, красивыя, съ стройнымъ станомъ, пріятно округленными формами и замѣчательно упругимъ тѣломъ. Всѣ онѣ, какъ жрицы одного сладострастнаго культа, были въ бѣлыхъ полупрозрачныхъ одеждахъ съ яркими цвѣтными каймами, и одежды эти держались у нихъ только на одномъ лѣвомъ плечѣ, оставляя всѣ руки и правую грудь вовсе открытыми. Но, впрочемъ, и все остальное ихъ тѣло сквозило изъ-подъ легкой прозрачной матеріи и раздражало взглядъ молодежи, рыскавшей среди нихъ на своихъ панонскихъ коняхъ, украшенныхъ перьями. Когда приближались къ нимъ эти блестящіе молодые люди, цвѣточницы имъ улыбались и предлагали имъ купить у нихъ вѣнки и букеты изъ апельсинныхъ цвѣтовъ и фіалокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ подбрасывали передъ ними квитовое яблоко, служившее символомъ любви. Юноши плескали отъ восторга руками и покупали цвѣты, и старались поймать и разломить брошенное имъ квитовое яблоко. Цвѣточницы подвигались впередъ не спѣша, останавливались, разбивали наскоро маленькіе и очень легкіе шелковые шатры, изъ которыхъ каждый могъ укрыть только двухъ человѣкъ. Подъ этими шатрами оставались на столько времени, сколько нужно было, чтобы съѣсть вдвоемъ квитовое яблоко.

Потомъ маленькій шатеръ снова свертывали и клали на спину осла, юноша отъѣзжалъ въ сторону на своемъ панонскомъ конѣ съ остриженною гривой, а цвѣточница присоединялась къ своему табору, гдѣ подруги ее встрѣчали рукоплесканіями и снабжали ее новыми цвѣтами и новымъ цѣлымъ квитовымъ яблокомъ.

Такъ весело шли, подвигаясь къ горѣ Адеръ, несмѣтныя толпы всякаго рода жителей Александріи, поспѣшавшія стать у Канопскаго гирла Нила наканунѣ дня, за которымъ должна наступить послѣдняя водная ночь. Это люди хотѣли притти заблаговременно, устроиться таборомъ и пропировать долгій вечеръ въ свѣжей атмосферѣ рѣки и вкусить здѣсь все, что имъ могли предоставить свобода и покровъ темной ночи.

Знатные люди, которымъ ихъ положеніе не дозволяло смѣшаться съ толпою въ этомъ веселомъ канунѣ, должны были выѣхать сюда только вечеромъ, чтобы прибыть на зарѣ и прямо занять мѣста на огромномъ амфитеатрѣ, построенномъ изъ бревенъ и досокъ, обитыхъ пестрыми тка-

нями и коврами. Христіанъ же предположено было выслать подъ прикрытіемъ воиновъ и биченосцевъ въ полдень, такъ чтобы они прибыли къ горѣ Адеръ ранѣе правителя и знатныхъ особъ и не имѣли возможности устроить какой-нибудь фальши, а равно не имѣли бы основанія и жаловаться на то, что имъ недостаточно дано времени помолиться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

По возвращеніи домой послѣ пира у правителя, гдѣ Нефора видѣлась и говорила съ епископомъ, она бросилась въ постель, но, несмотря на поздній часъ ночи, не могла заснуть: извѣстіе о томъ, что отвергшаго ее художника Зенона нѣтъ въ числѣ христіанъ, которые должны явиться передвигателями горы и подвергнуться, по всѣмъ вѣроятіямъ, всеобщему посмѣянію, поразило Нефору и отогнало отъ нея покой. Значитъ, все, что она затѣяла и устроила для отмщенія Зенону, сдѣлано напрасно; Зенона это ничто не коснется, а причинитъ тревогу и гибель только другимъ людямъ, совсѣмъ постороннимъ, которые лично передъ Нефорою ни въ чемъ не виноваты, а художникъ Зенонъ останется жить въ прежнемъ покоѣ!.. И Пеохъ, и Бубаста своего достигнутъ, но Нефора ничего не достигнетъ,—она кругомъ обманута и все черезъ свою собственную необстоятельность. Проклятіе! Могла ли она этого ожидать? И что̀ это у нихъ за различія, которыхъ невозможно понять?.. Рабыня-христіанка, которая была нянькой Нефоры, много говорила ей въ дѣтствѣ о своемъ Богѣ, Который распятъ въ Іерусалимѣ. Нефора любила слушать, какъ Онъ *всѣхъ* сожалѣлъ и *всѣмъ* завѣщалъ, чтобы никто не дѣлалъ другому зла. Нефора плакала вмѣстѣ съ рабыней, когда та говорила, какъ Его выгоняли, много разъ хотѣли убить и, наконецъ-таки, убили. Онъ былъ цѣломудренъ и добръ, и завѣщалъ, чтобы всѣ любили другъ друга и прощали обиды. Она думала, что въ томъ все и дѣло. Кажется, такъ живетъ и Зенонъ: что Тотъ сказалъ, этотъ Его завѣта слушается. То же, о чемъ говорилъ епископъ, ей совсѣмъ ново и непонятно. Это какъ будто что-то другое и, между тѣмъ, это портитъ весь планъ Нефоры. Зенонъ ускользаетъ... Завтра послѣдній день. Завтра подъ вечеръ надо ѣхать къ Адеру. Нефора отдала уже приказаніе своему домоправителю изготовить ей колесницы и ея рабыни разостлали на широкихъ коврахъ

роскошный нарядъ, который будетъ украшать ее на одномъ изъ переднихъ мѣстъ амфитеатра. Нефора хотѣла перехитрить всѣхъ: и Пеоха, и Дуназа, и Бубасту, и самого правителя. Увѣренная въ томъ, что гора не сойдетъ съ своего мѣста и не пойдетъ въ воду, она была, несомнѣнно, увѣрена и въ томъ, что когда вѣра христіанъ будетъ этимъ унижена, то раздраженный и отчаянный народъ бросится на христіанъ и станетъ бросать ихъ въ Нилъ. Пеохъ и Бубаста дадутъ къ этому знакъ, и дѣло будетъ сдѣлано, а въ то самое время, какъ эти погибнутъ умилостивительною жертвой, Зенонъ будетъ спасенъ, потому что Нефора купила для него тайную охрану и помощь главы биченосцевъ. Его увезутъ къ ней въ ея имѣніе, дальше Пелузы, и она его найдетъ тамъ. Вѣдь она его любитъ, она хочетъ только унизить его вѣру, для которой онъ оскорбилъ ее, отвергнувъ предложенную ему любовь. У нея никто не отыщетъ Зенона; она его утаитъ отъ всѣхъ; онъ будетъ ея невольникъ, ея рабъ и... ея любовникъ... Или она будетъ его томить, терзать, мучить и... Она не знаетъ сама, чѣмъ это кончится, но это дастъ цѣну всей ея жизни... И вотъ вдругъ и совершенно неожиданно послѣ того, что она узнала отъ епископа, все это выйдетъ не такъ. Напрасно утопятъ много людей, а Зенонъ останется съ своею особенною вѣрой, которая, по увѣренію епископа, совсѣмъ даже и не то, что ихъ настоящая христіанская вѣра. И эта ошибка непоправима,—времени нѣтъ... Теперь и природа, и люди уснули, и Нефора должна тоже уснуть, чтобы завтра тѣло ея было бодро и сильно, а лицо ея ясно... Она должна скрыть отъ всѣхъ свою досадную ошибку и... она будетъ спать. Она обняла рукой любимую кошку, закрыла глаза и перестала обо всемъ думать. Въ мысляхъ Нефоры наступила минута бездѣятельности и пустоты, но сейчасъ же опять прорѣзалось опредѣленное понятіе: ей жарко, — кошка слишкомъ сильно согрѣла ей грудь. Нефора отстранила рукой кошку и изъ пушистой шерсти звѣрка сверкнули и тихо щелкнули двѣ маленькія красныя искры. Молодая женщина переложила кошку къ своимъ ногамъ, и искры снова блеснули. Нефора обернулась лицомъ къ стѣнѣ и снова старалась заснуть, но въ стѣнѣ подъ ковромъ что-то шуршало. Духота увеличивалась; откуда-то доносилось докучное блеяніе верблюжонка и въ отвѣтъ ему слышались трескучіе крики ста-

раго верблюда. Не то, такъ другое постоянно мѣшало Нефорѣ заснуть. Едва умолкли верблюды, раздался противный голосъ павлина. Нефора протянула руку къ шелковому шнуру и отдернула занавѣсу; серебряные колокольчики, подшитые на бахромѣ, мелодически пророкотали и открыли широкое окно съ каменною рамой. На небѣ уже разсвѣтало. Утренній воздухъ сообщилъ Нефорѣ бодрость и у нея явилась смѣлая мысль еще разъ попытаться сдѣлать Зенона причастнымъ и тому, что ожидалось. Она позвала служанку, быстро одѣлась и велѣла какъ можно скорѣе подвести ей къ крыльцу осѣдланнаго мула.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Когда Нефора вышла и сѣла въ сѣдло, было еще сѣро и въ городѣ не слышно было никакого движенія, только глинистые голуби оправлялись спросонья на пестрой голубятнѣ и тоскливо ворковали, какъ будто они были чѣмъ-то недовольны.

Нефора покрылась темнымъ покрываломъ и велѣла проводнику вести мула по дорогѣ къ Мареотидскому озеру, гдѣ на берегу, въ извѣстной ей мѣстности, жилъ христіанскій епископъ.

На одномъ поворотѣ мимо глазъ Нефоры что-то мелькнуло и въ то же время проводникъ на нее оглянулся значительнымъ взглядомъ.

— Что это?—спросила Нефора.

— Это нильскія ласточки.

— Такъ что же?

— Онѣ поспѣшаютъ... и держатся близко къ землѣ...

— Что-жъ это значитъ?

— Это бываетъ, когда... Но позволь, госпожа, я слышу большое движеніе... Позволь переждать здѣсь минуту... Народъ нынче ночью принесъ въ жертву чернаго ягненка у фарроской пещеры Пеоха и теперь провожаетъ старца... Смотри, вонъ уже видно—тамъ изъ-за угла выступаетъ высокій бѣлый верблюдъ подъ роскошнымъ ковромъ, на немъ ѣдетъ темный старикъ — это Пеохъ. Смотри, какъ онъ видимо святъ, какъ изнеможденно его тѣло. Обрати вниманіе: лоскуты у его препоясья подвязаны тростникомъ и осокой, но и этотъ утлый поясъ на немъ не порвется. Пеохъ много лѣтъ уже не выходилъ изъ своей фарроской пещеры, и те-

перь ѣдетъ, конечно, къ Канопскому гирлу, куда удаляется вся Александрія, чтобы смотрѣть, какъ суевѣрные люди, вѣрующіе въ распятаго Бога, будутъ сдвигать гору Адеръ. Народъ ночевалъ у пещеры Пеоха и теперь сопровождаетъ его толпою: тебя могутъ обидѣть, если ты не повелишь мнѣ остановиться и подождать, чтобы не переходить дороги святому человѣку.

— Остановись и пропусти ихъ.

И Нефора видѣла, какъ передъ нею прослѣдовалъ на бѣломъ верблюдѣ темнолицый, исхудалый, лобастый мемфитъ, окруженный несмѣтною толпой самой набожной черни. Здѣсь были люди, которые не искали легкомысленныхъ увеселеній въ ранѣе вышедшемъ таборѣ. Въ этой суровой толпѣ не было ни назойливыхъ продавцовъ рыбы, ни веселыхъ канатныхъ плясуновъ, ни фокусниковъ, ни красивыхъ цвѣточницъ, съ ихъ легкими ширмами на маленькихъ осликахъ. Пеоха провожала фанатическая толпа мрачно глядѣвшихъ полунагихъ мужчинъ и женщинъ, которыя безпрестанно поднимали надъ своими головами грудныхъ дѣтей, чтобы они могли видѣть Пеоха. Черезъ это дѣти должны исцѣлиться отъ боли глазъ и отъ грыжъ, которыми многія изъ нихъ страдали отъ крика.

Нефора видѣла и изнеможденное темное тѣло нагого мемфита, и страшный взглядъ его глазъ съ больными вѣками и сверкавшими бѣлками.

Въ этой толпѣ опять тоже много собакъ и кошекъ, а сзади всѣхъ, верхомъ на старомъ верблюдѣ, сидѣла баба Бубаста; передъ нею на сѣдлѣ былъ взвязанъ еще живой черный баранъ съ вызолоченными рогами, среди которыхъ сверкалъ привязанный жертвенный ножъ.

Это было животное для второй, благодарственной жертвы, когда месть совершится у Канопскаго гирла.

Баба Бубаста узнала Нефору, показала ей рукою на ножъ и сказала:

— Мсти за себя, а въ каменоломнѣ услышатъ о мщеніи Бубасты.

Глядя на бабу Бубасту, всякій могъ бы признать справедливое замѣчаніе египетскаго царя Амазиса: «жены Египта мстивы и смѣлы: легче имѣть дѣло съ раздраженною львицей, чѣмъ съ обиженной египтянкой».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Нефора, пропустивъ шествіе, достигла жилища епископа, которое охраняли воины, имѣвшіе приказаніе отъ правителя: впускать только тѣхъ, кто самъ назоветъ себя христіаниномъ, или же тѣхъ, кого доставятъ сюда подъ надзоромъ полицейскіе биченосцы, которымъ приказано было вездѣ разыскать христіанъ, чтобы у Адера кружокъ ихъ не былъ малъ и незамѣтенъ. И биченосцы исполняли данное имъ повелѣніе. Хотя добровольно объявляться христіанами никто не приходилъ, но дворъ епископскій былъ полонъ насильно согнанныхъ людей обоего пола, которые страшно сѣтовали и плакали, и бранили епископа. Онъ же сидѣлъ, склонивъ голову, и не только не отвѣчалъ на обиды, но даже, казалось, и не замѣчалъ, что вокругъ него происходитъ. Лицо его было пасмурно и горько. Онъ такъ же, какъ Нефора, совсѣмъ не спалъ минувшую ночь, и нервы его послѣ сильнаго возбужденія пришли въ состояніе притупленности. Въ такомъ же приблизительно состояніи были и сидѣвшіе близъ него пресвитеры и діаконы, изъ которыхъ послѣдніе безпрестанно отлучались, чтобы давать людямъ пищу.

Чтобы пройти на дворъ епископа, Нефорѣ оставалось одно средство — назвать себя христіанкой, что она и сдѣлала, и воины, стороживше входъ во дворъ, тотчасъ же ее пропустили, оставивъ снаружи подъ деревомъ ея мула и провожатаго.

Пробиваясь черезъ толпу людей, тѣснившихся въ неопредѣленномъ и раздраженномъ состояніи на дворѣ, Нефора видѣла множество плачущихъ женщинъ и дѣтей, и сердце ея сжалось; но когда она съ усиліемъ достигла въ покои епископа и увидала его окаменѣлое равнодушіе, это ее даже удивило. Увидѣвъ Нефору, онъ не выразилъ никакого особеннаго движенія и тотчасъ же перевелъ глаза на другой предметъ и сталъ потирать одну о другую свои старческія руки.

— Я пришла къ тебѣ по важному дѣлу,—заговорила, нѣсколько поспѣшая и оглядываясь по сторонамъ, Нефора.

Епископъ молчалъ.

— Я хотѣла бы сказать тебѣ что-то наединѣ.

— Развѣ ты христіанка?

— Да, я христіанка.

— Но... мнѣ кажется... я видѣлъ тебя вчера на пиру у правителя... Ты была его гостьей.

— Да, ты меня видѣлъ. Я тамъ была... я хотѣла все знать, что̀ они думаютъ сдѣлать.

— Что же ты хочешь?

— Я страшусь за то, что̀ съ вами случится, если вы не сдвинете гору.

Окружавшіе епископа пресвитеры, услыхавъ такія сердобольныя слова, тихо толкнули другъ друга и прошептали:

— Ее надо выслушать.

— Говори же при нихъ; они всѣ хотятъ тебя слушать!— отозвался епископъ.

Нефора, увидавъ, что епископъ не избѣгаетъ присутствующихъ, и сама не стала таиться, и заговорила открыто:

— Я удивляюсь тому, что не вижу между вами человѣка, который вамъ могъ бы оказать всего болѣе пользы въ эту пору.

— Кто же онъ такой? Вѣроятно, онъ не нашъ, или онъ теперь отрекся?

— Нѣтъ, онъ преданъ христіанскому ученію и онъ не таковъ, чтобы отречься.

— Назови же скорѣй его имя.

— Художникъ Зенонъ.

И едва лишь Нефора произнесла это имя, какъ всѣ заговорили наперебой:

— Какъ! знаменитый Зенонъ—златокузнецъ!

— Зенонъ, пріятель знатныхъ людей!

— Первый мастеръ въ Египтѣ! Зенонъ, въ которомъ живетъ душа Ѳеодора, скульптора царя Амазиса!

— Зенонъ, кривой, съ повязкой на лѣвомъ глазу, который онъ потерялъ вдругъ, отъ неизвѣстной причины!

— Да, да, да; это онъ, тотъ самый Зенонъ,—Зенонъ златокузнецъ, котораго знаетъ и привѣчаетъ вся знать, въ которомъ воскресло искусство скульптора царя Амазиса; это Зенонъ съ голубою повязкой на лѣвомъ глазу, который онъ утратилъ вдругъ и отъ никому неизвѣстной причины. Онъ скрываетъ эту причину...

— Да, да; онъ не говоритъ о ней никому.

— Вотъ въ томъ-то и дѣло! Онъ долженъ ее скрывать... А я ее знаю!—сказала Нефора.

— Она знаетъ причину, которую отъ всѣхъ скрываетъ Зенонъ! Слушайте!

— Это любопытно.

— Но это не идетъ теперь къ нашему положенію и къ нашему дѣлу.

— Нѣтъ, именно это идетъ теперь къ вашему дѣлу. Зенонъ—тотъ человѣкъ, который вамъ нуженъ... Зенонъ васъ можетъ спасти!

— Что она говоритъ? Что говоритъ вамъ госпожа?—закричали на дворѣ люди, толпившіеся у веранды, на которой Нефора говорила съ епископомъ и пресвитерами, и многіе стали всходить на ступени.

— Не толпитесь сюда, иначе вы всѣхъ насъ собьете съ мѣста!—закричалъ одинъ изъ пресвитеровъ. — Стойте смирно, и я разскажу вамъ, въ чемъ дѣло. Эта госпожа—христіанка; она пришла сюда къ намъ сама, безъ принужденія, и говоритъ, что знаетъ человѣка, который можетъ сдѣлать, чтобы гора сдвинулась съ мѣста и пошла въ воду...

Но едва лишь пресвитеръ сказалъ это, послышался гулъ голосовъ, и всѣ люди бросились на террасу, и закричали:

— Пусть она всѣмъ намъ говоритъ!.. Мы не хотимъ погибать, мы всѣ хотимъ слышать, что она скажетъ!

Терраса покрылась людьми, пресвитеры были смяты, а епископъ, покинувъ свое кресло съ высокой спинкой, поспѣшно скрылся въ двери внутреннихъ комнатъ. Нефора же мгновенно встала на его опустѣвшее кресло и, взявшись одною рукой за верхнее украшеніе его спинки, подняла другую свою руку кверху и громко сказала:

— Молчите!

Гулъ народа утихъ и всѣ замолчали.

— Хороша я?—спросила Нефора.

Ей никто ничего не отвѣтилъ.

— Я не прельщать васъ пришла, но хочу разсказывать вамъ о дѣлѣ.

— Ты прекрасна!

— Ты прельстишь кого хочешь!—раздались голоса изъ народа.

— Ты даже можешь заставить забыть страхъ въ виду неминуемой смерти,—произнесъ голосъ вблизи самаго кресла, на которомъ стояла Нефора.

— Но все это безсильно было надъ тѣмъ, кого я назову вамъ: Зенонъ художникъ пренебрегъ моею красотой для словъ вашего Бога... Онъ оттолкнулъ меня и, чтобы не видѣть моей красоты, которую я ему отдавала, онъ вонзилъ при мнѣ ножъ себѣ въ глазъ. Вотъ отчего окривѣлъ вашъ великій Зенонъ-златокузнецъ, вотъ какъ сильна его вѣра! Зовите скорѣе его, и если не ложно, что человѣкъ съ вѣрою можетъ сдвинуть гору, то Зенонъ сдвинетъ гору.

— Да, да, кто такъ твердъ, какъ Зенонъ, тотъ сдвинетъ гору!.. Гдѣ же онъ, гдѣ? Мы призываемъ Зенона!

Тогда Нефора сказала дьякону:

— Напиши поскорѣе извѣстіе Зенону и брось свитокъ со стѣны моему рабу, который стоитъ съ осѣдланнымъ муломъ подъ деревомъ по ту сторону запертыхъ воротъ. Пусть онъ спѣшитъ къ Зенону, не жалѣя мула, и вы увидите, что прежде чѣмъ придутъ биченосцы, чтобы гнать васъ оцѣпленными веревкою къ Адеру, Зенонъ будетъ здѣсь, и сердца ваши утѣшатся, а я остаюсь съ вами залогомъ моего обѣщанія.

Все такъ и сдѣлалось, какъ сказала Нефора. Волненіе народа было такъ велико, что ни епископъ, ни пресвитеры уже ни во что не вступались и надъ всѣмъ положеніемъ царила Нефора, на которую всѣ хотѣли смотрѣть и ее слушали. Дьяконъ нашелъ трость и папирусъ и написалъ дрожащею рукой: «Зенонъ! Люди въ смертной бѣдѣ тебя призываютъ. Приди, облегчи или раздѣли съ ними ихъ участь». Рабъ Нефоры съ этою запиской поѣхалъ къ Зенону, и всѣ стали ждать: придетъ ли художникъ и будетъ ли приходъ его во-время, прежде чѣмъ прибудетъ отрядъ биченосцевъ, которые выгонятъ ихъ къ горѣ Адеръ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Встревоженные люди безпрестанно мѣняли свое настроеніе, переходя отъ надежды къ отчаянію: то они вѣрили, что Зенонъ придетъ, и при немъ, какъ при человѣкѣ, который хорошо знакомъ всѣмъ знатнымъ людямъ, суровость правителя измѣнится; то говорили: «что можетъ заставить Зенона покинуть спокойную жизнь и отдать себя добровольно нашей печальной судьбѣ?» Епископъ и его приближенные люди тоже считали это совсѣмъ невозможнымъ, тѣмъ болѣе, что они и не считали Зенона за христіанина.

— Онъ,—разсуждали они:—знаетъ, что мы съ нимъ несогласны. Ему нѣтъ дѣла до чуда, котораго отъ насъ требуютъ. Онъ не пойдетъ съ нами на муки.

Въ этихъ сомнѣніяхъ прошло довольно времени и уныніе усиливалось, а за часъ до полудня люди, глядѣвшіе въ городъ со стѣны, замахали руками и закричали:

— Идутъ биченосцы!..—и многіе упали въ страхѣ на землю.

Но одинъ человѣкъ, который не успѣлъ соскочить вмѣстѣ съ другими, замѣтилъ, что съ другой стороны во весь скокъ несся верхомъ на красногнѣдомъ конѣ молодой статный всадникъ съ непокрытою головой, остриженною по греческой модѣ, и съ повязкой черезъ лѣвое око.

— Братья! — воскликнулъ увидѣвшій всадника человѣкъ:—мы спасены: къ намъ скачетъ Зенонъ-златокузнецъ.

И Зенонъ въ самомъ дѣлѣ опередилъ биченосцевъ, бросилъ поводья коня, соскочилъ и вскричалъ громко стражѣ:

— Откройте двери и впустите меня: я христіанинъ; я хочу быть съ тѣми, которые будутъ страдать!

Ворота раскрылись, и стража впустила Зенона.

Толпа христіанъ мгновенно его окружила и всѣ старались ему наперерывъ говорить, а онъ не могъ никому отвѣчать и шелъ между ними спокойно и тихо всѣмъ повторялъ:

— Не бойтесь!.. Христосъ среди насъ... Почтимъ слова Его послушаньемъ... Умремъ за нашего Учителя!

— Умремъ, если нужно, умремъ!—прокатило въ народѣ.

Зенонъ сталъ обнимать и цѣловать людей направо и налѣво.

Нефора смотрѣла на Зенона съ высоты террасы и любовалась спокойствіемъ его походки и движеній его рукъ, которыми онъ то обнималъ, то ласкалъ людей, бросавшихся къ нему со стенаньемъ и воплями.

Душа этого человѣка точно не знала страха, и Нефорѣ казалось, что она видитъ не мученика, который готовится встрѣтить скоро униженіе и смерть, а актера,—такъ всякое движеніе Зенона было красиво и нѣжно, а въ то же время исполнено достоинства и силы.

Увидѣвъ Нефору, Зенонъ на мгновенье остановился. Присутствіе ея здѣсь удивило его, но онъ тотчасъ же оправился, поднялъ руку къ своему выколотому глазу, поправилъ повязку и пошелъ безостановочно дальше въ по-

кои, гдѣ былъ епископъ. Тамъ Зенонъ оставался минуту и, снова выйдя на террасу, сказалъ:

— Братья и сестры! если силенъ и бодръ духъ, въ васъ живущій, пусть насъ не ведутъ,—пойдемъ лучше сами. Я извѣстенъ правителю и сейчасъ пойду къ нему и упрошу его, чтобы онъ дозволилъ намъ идти къ горѣ Адеру однимъ, безъ надзора его биченосцевъ.

— Это зачѣмъ же?—проговорило нѣсколько голосовъ.

— Для того, чтобы всѣ видѣли, что мы идемъ доброю волей, а не по принужденію.

Люди молчали, но изъ толпы вышелъ одинъ шерстобитъ, по имени Малафей, и, лукаво взглянувши въ лицо Зенона, сказалъ:

— Я тебя понимаю. Иди и проси. Поклянись, что мы пойдемъ сами.

— Я не знаю, какъ ты меня понимаешь, но я клясться не стану. Намъ не дозволено клясться, но я скажу, что мы не унизимъ имени Христова.

Тогда всѣ закричали:

— Да, да! прекрасно! Иди, братъ нашъ Зенонъ, иди и давай за насъ слово, что мы не посрамимъ имени Христова.

— Но только вернешься ли ты самъ къ намъ? — спросилъ Малафей шерстобитъ.

Зенонъ поблѣднѣлъ и отвѣчалъ:

— У меня нѣтъ ни жены, ни дѣтей, которыхъ бы я могъ вамъ оставить заложниками; но я не лгу: я — христіанинъ.

— Страхъ дѣйствуетъ на всякаго, и было бы лучше, если бы ты оставилъ заложника.

— Я ставлю залогомъ, что Зенонъ вернется! — вскричала Нефора.

Зенонъ на нее оглянулся и молвилъ:

— Благодарю тебя. Мнѣ нуженъ всего только одинъ часъ времени. Но если случится...

— Если ты черезъ часъ не вернешься, пусть они растерзаютъ меня на этомъ помостѣ,—досказала Нефора.

Зенонъ протянулъ ей руку и пожалъ ее сердечнымъ пожатіемъ.

Стража выпустила Зенона съ однимъ изъ биченосцевъ, но еще до истеченія часа художникъ вернулся одинъ, имѣя

въ рукахъ папирусъ, на которомъ для христіанъ написанъ былъ пропускъ къ горѣ безъ всякаго караула.

Биченосцы предъ нимъ раскрыли ворота, и они вышли свободно. Впереди шелъ больной епископъ, а его подъ руки поддерживали Зенонъ и женщина въ темномъ покровѣ.

Это была Нефора.

Пока они шли городомъ, она не поднимала съ головы своего покрывала, и многіе спрашивали: кто это такая? Христіане же, проходя, отвѣчали: это новая христіанка! Но потомъ сами себя вопрошали: гдѣ и когда эта женщина крестилась? Какъ ея христіанское имя? Зенонъ долженъ знать о ней все, но неизвѣстно и то, гдѣ принялъ вѣру Зенонъ... Только теперь неудобно было ихъ разспрашивать, такъ какъ они идутъ впереди бодрѣе всѣхъ и на ихъ плечи опирается ослабѣвшій епископъ...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Межъ тѣмъ какъ свободно вышедшіе христіане пошли къ Адеру, передъ вечеромъ изъ Александріи выступала въ томъ же направленіи къ Канопскому гирлу третья группа путешественниковъ. Эта опять представляла собою совсѣмъ не то, что шумный таборъ ткачей и шерстобитовъ и веселыхъ зрителей съ фокусниками, плясунами и цвѣточницами, и не то, что представляла собою вышедшая вторая кучка пріунывшихъ христіанъ. Теперешняя группа отличалась важностью: это были знатныя лица и ихъ свита.

Впереди всѣхъ показались изъ воротъ на канопской дорогѣ египетскіе и греческіе воины, взаимно ненавидѣвшіе другъ друга; за ними купцы въ однообразныхъ одеждахъ съ пестрою бахромой. За купцами египетскіе жрецы, въ болѣе длинныхъ, но тоже однообразныхъ бѣлыхъ одеждахъ, съ драгоцѣнными перевязями, въ однообразныхъ же широкихъ шейныхъ украшеніяхъ, въ повязкахъ и съ фальшивыми черными локонами, ниспадавшими на ихъ шеи и на спины. За длинноволосыми жрецами, также въ строгомъ порядкѣ, шли другіе жрецы, у которыхъ головы были тщательно выбриты. За этими, отступя, шелъ старшій жрецъ, у котораго сіялъ на груди сафирный амулетъ.

У всѣхъ жрецовъ въ рукахъ были длинные серебряные посохи съ бѣлыми цвѣтами лотоса въ набалдашникѣ; у старшаго жреца посохъ былъ золотой и серебряный цвѣтокъ

лотоса окруженъ пукомъ страусовыхъ перьевъ. Отъ ихъ одеждъ и париковъ далеко разносился запахъ мускуса. За жрецами или чиновники, а потомъ факелоносцы, биченосцы, разстилатели ковровъ, жезлоносцы, виночерпіи и хлѣбодары, а за этими слѣдовали на мулахъ однообразно раскрашенныя двухколески, на которыхъ помѣщались яркорасцвѣченныя корзины и боченки; за хлѣбодарами выступали, въ огромныхъ высокихъ колпакахъ, родовспомогатели и глазные врачи, за ними — одѣватели и раздѣватели, потомъ торжественные пѣвцы и народныя танцовщицы, болѣе скромныя, чѣмъ цвѣточницы, но одѣтыя, впрочемъ, безъ лифовъ, въ однѣхъ лишь прозрачныхъ и легкихъ коротенькихъ юбкахъ; потомъ сотрапезники вмѣстѣ обоего пола, въ свободныхъ и разнообразныхъ нарядахъ и съ иною свободой движеній, но съ однообразіемъ вѣявшей около нихъ атмосферы мускуса. За этою чрезвычайно большою вереницей пѣшихъ людей слѣдовалъ самъ правитель на прекрасномъ низейскомъ конѣ, у котораго хвостъ и грива были подстрижены, а самъ конь весь искусно выкрашенъ голубою краской.

Самъ правитель былъ въ красномъ съ золотомъ широкомъ и длинномъ плащѣ, а сѣдло, и узда, и поводья его коня всѣ тиснены золотомъ и съ золотою бахромой.

За нимъ слѣдовала его колесница изъ чернаго дерева съ слоновою костью, съ серебрянымъ дышломъ и такою же серебряною оковкой колесъ. Въ эту колесницу была впряжена четверка воронихъ коней—прямыхъ и чистокровныхъ потомковъ коней фараоновъ. Ихъ сбруя была изъ золотистаго шелка, а ихъ остриженныя гривы и челки покрыты тончайшими золотыми сѣтками работы Зенона. Эта колесница была пуста, потому что она была приготовлена для Нефоры, но Нефоры никто не могъ отыскать передъ выѣздомъ, и ея внезапное исчезновеніе смущало правителя и было предметомъ толковъ у знати. За пустою колесницей Нефоры слѣдовало множество другихъ, также парадныхъ закрытыхъ колесницъ, въ которыхъ ѣхали женщины, и потомъ музыканты и барабанщики, и сзади всѣхъ опять въ высокихъ колпакахъ биченосцы, которые равнодушно щелкали своими длинными палками направо и налѣво, гдѣ шелъ какой-нибудь споръ или просто раздавался сколько-нибудь оживленный говоръ въ толпѣ, собравшейся посмотрѣть на шествіе знатныхъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Огромный городъ теперь казался почти опустѣвшимъ. Многіе дома совсѣмъ были заперты, въ другихъ оставались только больные да слуги, оставленные для присмотра. Огни вездѣ рано погасли и скоро настала повсемѣстная тишина. Луна свѣтила надъ совершенно опустѣвшими улицами; въ созвѣздіи Пса ярко горѣлъ Сиріусъ. На круглую площадь между Воротами Солнца и Воротами Луны вышли три звѣздочета въ длинныхъ желтыхъ хитонахъ. Двое изъ нихъ были глубокіе старцы, а третій немного моложе. Они долго смотрѣли на небо, гдѣ сверкалъ Сиріусъ, потомъ на принесенныя съ собою таблицы, и потомъ всѣ въ-разъ хлопнули ладонями и вытянули впередъ свои руки, какъ будто бы что-то отъ себя отстраняли. Такъ обыкновенно египтяне молились. Затѣмъ звѣздочеты вздохнули, произнесли слово: «поздно» и, подхвативъ полы своихъ одеждъ, пошли быстро къ своимъ домамъ и крѣпко закрыли за собой свои двери.

Въ обширныхъ, опустѣлыхъ палатахъ правителя отдавало теперь чѣмъ-то невыносимо жуткимъ. Когда оставшійся при домѣ правителя хлѣбодаръ, старый рабъ изъ Вавилона, вошелъ въ столовую, чтобы убирать несъѣденныя гостями кушанья и недопитыя вина, ему показалось, что по стѣнамъ открытой столовой движутся тѣни. Или это луна свѣтитъ нынче совсѣмъ необыкновенно.

— Да,—сказалъ онъ себѣ:—что-то неладно на небѣ. Не это ли самое и служитъ причиной, что я чувствую тяжесть и ощущаю во рту горькій вкусъ хрѣна? Или, быть-можетъ, это оттого, что я всѣ эти дни очень много хлопоталъ и сегодня всталъ очень рано?.. Какіе ненавистные люди эти христіане! Для чего въ самомъ дѣлѣ они сбавляютъ цѣны на работу и дѣлаютъ тѣмъ непріятности намъ, серьезно занятымъ людямъ? Впрочемъ, теперь я могу о нихъ позабыть и попировать одинъ на свободѣ: вино, особенно хорошее, цѣльное вино отъ Везувія вкусно, только никогда бы не надобно портить его водою по греческой модѣ. Хорошее вино должно помогать во всѣхъ случаяхъ жизни. Я сяду на мѣсто моего господина и буду пробовать хорошія вина изъ его чаши.

И онъ не сталъ портить водою вина по греческой модѣ, а, усѣвшись въ спокойное кресло своего господина, подви-

роскошный нарядъ, который будетъ украшать ее на одномъ изъ переднихъ мѣстъ амфитеатра. Нефора хотѣла перехитрить всѣхъ: и Пеоха, и Дуназа, и Бубасту, и самого правителя. Увѣренная въ томъ, что гора не сойдетъ съ своего мѣста и не пойдетъ въ воду, она была, несомнѣнно, увѣрена и въ томъ, что когда вѣра христіанъ будетъ этимъ унижена, то раздраженный и отчаянный народъ бросится на христіанъ и станетъ бросать ихъ въ Нилъ. Пеохъ и Бубаста дадутъ къ этому знакъ, и дѣло будетъ сдѣлано, а въ то самое время, какъ эти погибнутъ умилостивительною жертвой, Зенонъ будетъ спасенъ, потому что Нефора купила для него тайную охрану и помощь главы биченосцевъ. Его увезутъ къ ней въ ея имѣніе, дальше Пелузы, и она его найдетъ тамъ. Вѣдь она его любитъ, она хочетъ только унизить его вѣру, для которой онъ оскорбилъ ее, отвергнувъ предложенную ему любовь. У нея никто не отыщетъ Зенона; она его утаитъ отъ всѣхъ; онъ будетъ ея невольникъ, ея рабъ и... ея любовникъ... Или она будетъ его томить, терзать, мучить и.... Она не знаетъ сама, чѣмъ это кончится, но это дастъ цѣну всей ея жизни... И вотъ вдругъ и совершенно неожиданно послѣ того, что она узнала отъ епископа, все это выйдетъ не такъ. Напрасно утопятъ много людей, а Зенонъ останется съ своею особенною вѣрой, которая, по увѣренію епископа, совсѣмъ даже и не то, что ихъ настоящая христіанская вѣра. И эта ошибка непоправима,—времени нѣтъ... Теперь и природа, и люди уснули, и Нефора должна тоже уснуть, чтобы завтра тѣло ея было бодро и сильно, а лицо ея ясно... Она должна скрыть отъ всѣхъ свою досадную ошибку и... она будетъ спать. Она обняла рукой любимую кошку, закрыла глаза и перестала обо всемъ думать. Въ мысляхъ Нефоры наступила минута бездѣятельности и пустоты, но сейчасъ же опять прорѣзалось опредѣленное понятіе: ей жарко, — кошка слишкомъ сильно согрѣла ей грудь. Нефора отстранила рукой кошку и изъ пушистой шерсти звѣрка сверкнули и тихо щелкнули двѣ маленькія красныя искры. Молодая женщина переложила кошку къ своимъ ногамъ, и искры снова блеснули. Нефора обернулась лицомъ къ стѣнѣ и снова старалась заснуть, но въ стѣнѣ подъ ковромъ что-то шуршало. Духота увеличивалась; откуда-то доносилось докучное блеяніе верблюжонка и въ отвѣтъ ему слышались трескучіе крики ста-

раго верблюда. Не то, такъ другое постоянно мѣшало Нефорѣ заснуть. Едва умолкли верблюды, раздался противный голосъ павлина. Нефора протянула руку къ шелковому шнуру и отдернула занавѣсу; серебряные колокольчики, подшитые на бахромѣ, мелодически пророкотали и открыли широкое окно съ каменною рамой. На небѣ уже разсвѣтало. Утренній воздухъ сообщилъ Нефорѣ бодрость и у нея явилась смѣлая мысль еще разъ попытаться сдѣлать Зенона причастнымъ и тому, что ожидалось. Она позвала служанку, быстро одѣлась и велѣла какъ можно скорѣе подвести ей къ крыльцу осѣдланнаго мула.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Когда Нефора вышла и сѣла въ сѣдло, было еще сѣро и въ городѣ не слышно было никакого движенія, только глинистые голуби оправлялись спросонья на пестрой голубятнѣ и тоскливо ворковали, какъ будто они были чѣмъ-то недовольны.

Нефора покрылась темнымъ покрываломъ и велѣла проводнику вести мула по дорогѣ къ Мареотидскому озеру, гдѣ на берегу, въ извѣстной ей мѣстности, жилъ христіанскій епископъ.

На одномъ поворотѣ мимо глазъ Нефоры что-то мелькнуло и въ то же время проводникъ на нее оглянулся значительнымъ взглядомъ.

— Что это?—спросила Нефора.

— Это нильскія ласточки.

— Такъ что же?

— Онѣ поспѣшаютъ... и держатся близко къ землѣ...

— Что-жъ это значитъ?

— Это бываетъ, когда... Но позволь, госпожа, я слышу большое движеніе... Позволь переждать здѣсь минуту... Народъ нынче ночью принесъ въ жертву чернаго ягненка у фарроской пещеры Пеоха и теперь провожаетъ старца... Смотри, вонъ уже видно—тамъ изъ-за угла выступаетъ высокій бѣлый верблюдъ подъ роскошнымъ ковромъ, на немъ ѣдетъ темный старикъ — это Пеохъ. Смотри, какъ онъ видимо святъ, какъ изнеможденно его тѣло. Обрати вниманіе: лоскуты у его препоясья подвязаны тростникомъ и осокой, но и этотъ утлый поясъ на немъ не порвется. Пеохъ много лѣтъ уже не выходилъ изъ своей фарроской пещеры, и те-

прочиталъ ее и, закричавъ благимъ матомъ, кинулся бѣжать къ домику, гдѣ было его жилище.

Здѣсь онъ нашелъ помощь у своей жены, которая съ перепуга и радости, что видитъ мужа живого, изо всей силы ударила его по головѣ и, вырвавъ изъ его рукъ слюдяную цедулку, прочла въ ней очень короткое, но роковое извѣстіе: «Суда разбиты въ виду Лохіаса».

Теперь и жена оттопырила губы точно такъ же, какъ мужъ, и точно такъ же, какъ онъ, сѣла противъ него на скамейку, и оба шептали другъ другу:

— Что теперь будетъ?

Наконецъ, на хлѣбодара нашло осѣненіе, онъ всталъ, приложилъ ко лбу палецъ и, подумавъ, отвѣтилъ:

— Я не знаю, что будетъ, но я догадался, что это было!

— А что именно было?—спросила жена.

— Было то, что христіане сдвинули гору!

— Ты, вѣрно, до сихъ поръ еще пьянъ?

— Да. Ты въ этомъ совершенно такъ же не ошибаешься, какъ я не ошибаюсь въ томъ, что они сдвинули гору.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Толпы народа, выступившія раньше, чѣмъ вышелъ великолѣпный дворъ правителя, пришли къ назначенной горѣ не одновременно и расположились различно. Веселая толпа, имѣвшая среди себя цвѣточницъ, музыкантовъ, продавцовъ рыбы и фокусниковъ, пришла не первая. Ее опередили люди, приплывшіе сюда на судахъ, которыя стояли уже на рѣкѣ въ виду горы Адеръ. Богатые люди, приплывшіе на ярко-раскрашенныхъ судахъ, съ крокодилами на носахъ и подъ парусами пурпурнаго и голубого цвѣта, размѣстились въ амфитеатрѣ; а бѣдные люди, приплывшіе на толстодонныхъ ладьяхъ подъ парусами изъ сѣраго или коричневаго полотна, расположились прямо на землѣ. Это былъ огромный чернорабочій лагерь, въ сторонѣ отъ обитыхъ коврами деревянныхъ скамей и навѣсовъ, устроенныхъ для ожидаемой большой публики. Чернь и гуляки, которые дошли сюда табором, не искали сближенія со знатью. Они находили въ самихъ себѣ довольно всего, что нужно было для ихъ забавы и радости. Таборъ ихъ теперь представлялъ чрезвычайно большое оживленіе: здѣсь пылали костры, кипѣли котлы съ рыбой, пили вино и плясали; фокусники

лили изъ одного сосуда воду и кровь, пускали изъ рукава лебедей, а когда народъ слишкомъ надвигалъ на нихъ и стѣснялъ ихъ арену, они бросали на землю вишневые жезлы, собранные изъ мелкихъ штучекъ, искусно нанизанныхъ на тонкую струну, и когда брали эти жезлы искусною рукой за конецъ, то жезлы изгибались и вертѣлись какъ змѣи. Народъ разбѣгался съ крикомъ и хохотомъ. Два или три эѳіопа изъ «дрянного народа Кушъ» водили красивыхъ и проворныхъ верблюдовъ изъ породы «мегари» и заставляли ихъ танцовать. На тѣхъ, кто не умѣлъ оцѣнить искусства верблюдовъ, эти ученыя животныя умѣли плюнуть, и это тоже возбуждало всеобщій хохотъ. Но танцы мегари больше всего привлекали только дѣтей и женщинъ. Мужчины всякаго возраста наперебой рвались къ палаткамъ цвѣточницъ. Въ широко раскинувшемся таборѣ слышались самые разнообразные музыкальные звуки: здѣсь гудѣли сильныя мидійскія трубы, тамъ раздавалась нѣжная фригійская флейта; въ третьемъ мѣстѣ бряцали іудейскіе кимвалы и рокотали арфы; можно было отличать также звуки пафлагонскихъ тамбуриновъ, сирійскихъ бубновъ, индійскихъ раковинъ и арійскихъ барабановъ. Среди пришлыхъ горожанъ ходили крестьяне изъ ближнихъ мѣстъ: эти были одѣты въ неподпоясанныя длинныя рубашки, и носили въ кувшинахъ на продажу свѣжую воду. Появились также, какъ на ристалищѣ, закладчики: они тихо разъѣзжали на старыхъ ослахъ съ мѣшками монетъ и съ таблицами, на которыхъ спорщики, державшіе пари за ту или другую сторону, записывали предлагаемые заклады. Между закладчиками были эллины, персы и евреи; всѣ они были совершенно равнодушны къ тому, что̀ случится, и предлагали идти объ закладъ и за то, что гора двинется, и за то, что она не двинется. Записывали и другіе заклады: за то, напримѣръ, разрѣшитъ ли правитель избить всѣхъ христіанъ, когда гора не пойдетъ, или онъ велитъ бросить въ Нилъ только одного изъ нихъ — самаго главнаго, а остальныхъ всѣхъ пошлетъ съ приговорами за поясами въ гранитныя каменоломни Ассуна. Одни держали заклады за одно, а другіе—за другое. Портовый, международный городъ выдвинулъ весь свой пестрый сбродъ, и все это, вмѣстѣ съ сверканіемъ огней, конскимъ ржаніемъ и съ криками разгулявшагося на просторѣ народа, производило опьяняющее

впечатлѣніе. Все это поднималось и рдѣло, какъ воспаленный нарывъ, которому нужно гдѣ-то прорваться. Ночь улетала въ дикомъ разгулѣ; многіе, упившись виномъ, спали у догоравшихъ костровъ; другіе еще не спали, но и не замѣчали, какъ на небѣ нѣсколько разъ скралась луна. Надо было еще что-нибудь, чтобы совсѣмъ отвести глаза въ темный уголъ. И вотъ это случилось. Подъ шелковою палаткой одной изъ цвѣточницъ послышался раздирающій вопль и вслѣдъ затѣмъ что-то тяжелое рухнуло между палатокъ. Это одинъ человѣкъ могучею рукой убилъ другого и выбросилъ на землю его мертвое тѣло. Послышался крикъ: «убиваютъ эллины!» — другимъ показалось, будто «убиваютъ эллиновъ». Мгновенно призывные крики покрыли всѣ музыкальные звуки, сверкнули ножи, люди бросились другъ на друга; биченосцы спросонья напрасно старались возстановить покой и порядокъ. Безпощадно убиваемые люди падали подъ ударами эллинскихъ ножей и еще больше подъ ударами тупыхъ египетскихъ кольевъ. И все это произошло въ густой тьмѣ, при сильномъ шумѣ налетѣвшей внезапно бури и при ужасномъ, необыкновенномъ трескѣ, который раздался съ рѣки, гдѣ стояли прибывшія плоскодонныя суда съ ибисовыми носами и длинными рыбьими хвостами вмѣсто кормы. Страшный вѣтеръ развелъ большое волненіе, и суда взметались, ударяясь одно о другое: ихъ ибисовые носы и рыбьи хвосты ломались, а высокія мачты, качаясь, махали неубранными парусами, какъ сражающіеся великаны. Наконецъ зарѣяли молоньи, загремѣлъ громъ и ударилъ ливень, какъ будто цѣлый океанъ упалъ съ неба на землю. Съ горъ помчались сокрушительные потоки, въ долинахъ все обхватило и залило водою.

Пеохъ и его изувѣры, которые обошли общее мѣсто и удалились въ ровъ, гдѣ хотѣли быть скрыты до времени, когда христіане примутъ тотъ срамъ, для котораго Пеохъ научилъ ихъ вывести, подверглись самой большой опасности. Ихъ черный ягненокъ съ жертвеннымъ ножомъ между рогами былъ у нихъ отнятъ мутными волнами, и самимъ имъ угрожала смерть въ тѣхъ же волнахъ, хлынувшихъ со всей горы Адеръ.

Знатные путники еще не достигли горы, когда разразилась буря. Ливень засталъ ихъ на открытомъ полѣ, гдѣ они были облиты и лежали въ водѣ, не чая конца наводненію.

Въ положеніи христіанъ было нѣчто гораздо болѣе сложное.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Отрядъ христіанъ шелъ, такъ сказать, истаевая. Отъ самыхъ Канопскихъ воротъ, черезъ которыя они вышли изъ города, число слѣдующихъ за епископомъ все уменьшалось, а число отстающихъ увеличивалось. Одни падали на землю и говорили, что не могутъ дальше идти отъ болей въ ногахъ или отъ рѣзи въ желудкѣ, а другіе просто садились и плакали. Не было никакой возможности заставить ихъ идти далѣе. Шерстобитъ Малафей подалъ мнѣніе, чтобы для страха другимъ пришибить притворщиковъ камнемъ, но Зенонъ за нихъ заступался и говорилъ, что никого не надо неволить. Онъ говорилъ, что дѣло не во множествѣ людей, а въ силѣ духа, который движетъ ими, приводилъ въ примѣръ, какъ Гедеонъ оставилъ всѣхъ пившихъ пригоршнями, а взялъ съ собой только однихъ лакавшихъ воду по-песьи.

Тогда Малафей шерстобитъ повернулся и пошелъ назадъ, а съ нимъ вмѣстѣ то же самое сдѣлали и другіе, незадолго передъ этимъ стремившіеся побивать камнями тѣхъ, которые, ослабѣвая отъ страха, отставали ранѣе. Въ числѣ возвратившихся съ Малафеемъ были также нѣкоторые пресвитеры. Остальные же христіане въ небольшомъ числѣ шли цѣлый день и къ ночи достигли Канопскаго гирла. Тутъ и стоитъ гора Адеръ. Она съ одной стороны возвышается холмистымъ плоскогорьемъ, а съ другой, обращенной къ рѣкѣ, у нея крутой гребень, выступы, рвы и обрывы. Точно какъ будто она когда-то уже ползла въ рѣку, но остановилась. Съ пологой стороны она покрыта рѣдкою порослью по супеску, а сторона, обращенная къ рѣкѣ, вся совершенно безжизненна. Здѣсь пластами лежитъ плитнякъ, глина, мелкій кремень и черная галька, а мѣстами есть также прослойки и другихъ землистыхъ породъ, то темныя, то изсѣра-желтыя, то совсѣмъ бѣловатыя. Мѣстами изнутри выпираетъ крошистый камень, а мѣстами, будто какъ ребра, рядами наставились гранитныя глыбы. Ихъ основанія утонули въ темно-красной глинѣ, а верхи ихъ присыпаны пескомъ и въ щепы распавшимся камнемъ. Здѣсь, безъ сомнѣнія, когда-то происходило какое-то

сильное передвиженіе веществъ, — все куда-то ползло и остановилось.

Когда христіане пришли, Зенонъ спросилъ епископа: что онъ посовѣтуетъ дѣлать?—но епископъ ему отвѣчалъ:

— Ага! Какой ты почтительный, Зенонъ! ты обращаешься ко мнѣ, какъ къ пастырю. Жалко, что я избѣгалъ тебя ранѣе; но теперь я самъ, сынъ мой, похожъ на овцу, и вдобавокъ еще на такую, которую посереди̇нѣ зимы взяли и остригли. Одни меня оставили, а другіе кое-какъ еще идутъ съ нами, но совсѣмъ не за мною, а за тобою. Я дрожу отъ изнеможенія и ужаса; въ груди моей холодъ, а голова моя горитъ какъ у пекаря, который стоитъ передъ печкой. Что ты меня спрашиваешь?.. Я такъ слабъ, что ребенокъ можетъ меня свалить съ ногъ... Ты считай такъ, что я уже умеръ, и дѣлай что знаешь, и если окажутся люди, которые захотятъ тебя слушать, то пусть они тебя и слушаютъ, а я буду, какъ мертвый.

— Ты позабудь обо мнѣ, и ради этихъ унылыхъ людей дай имъ скорѣй вразумленіе, какъ укрѣпить себя въ духѣ и что начать дѣлать. Иначе ты можешь увидѣть, что и они разбѣгутся.

Но епископъ отвѣтилъ:

— Ты напрасно меня пугаешь тѣмъ, что я могу увидѣть. Я уже умеръ. Малафей шерстобитъ мнѣ шепталъ, что я могъ увидѣть тебя мертвымъ; но я не такой,—я не захотѣлъ это видѣть и теперь всего охотнѣе закрою мои глаза, чтобы совсѣмъ ничего не видѣть. Я уже умеръ: я отойду въ сторону и буду молиться.

Три оставшіеся пресвитера хотѣли подражать епископу: они тоже чувствовали себя умершими и намѣревались удалиться для молитвы; но народъ окружилъ ихъ и въ смятеніи требовалъ, чтобы они молились при всѣхъ и научили бы всѣхъ остальныхъ какъ лучше молиться, чтобы гора непремѣнно сдвинулась и пошла, а если она не пойдетъ, такъ чтобы были налицо виноватые. Тутъ и пошли разномыслы и споры: одни люди говорили, что всего лучше стоять распростерши руки въ воздухѣ, изображая собою распятыхъ, а другіе утверждали, что лучше всего пѣть молитвенныя слова нараспѣвъ и стоять по греческой, языческой привычкѣ, воздѣвъ руки кверху, въ готовности принять съ неба просимую милость. Но и тутъ опять нашлись несогласія: были такіе, которымъ

казалось, что надо воздѣвать вверхъ обѣ ладони, а другимъ казалось, что вверхъ надо воздѣвать только одну правую ладонь, а лѣвую надо преклонять внизъ къ землѣ въ знакъ того, что полученное съ небесъ въ правую руку будетъ передано землѣ лѣвою; но инымъ память измѣняла, или они были нехорошо научены, и эти вводили совсѣмъ противное и настаивали, что правую руку надо преклонять къ землѣ, а лѣвую — воздѣвать къ небу. Увидавъ, что въ такую роковую минуту людьми овладѣлъ безпокойный и неразрѣшимый споръ, Зенонъ поспѣшилъ поскорѣе къ епископу въ ту сторону, куда тотъ отдалился, и хотѣлъ просить его разрѣшить всѣ недоумѣнія; но ночь была темна, и онъ не нашелъ молившагося въ темнотѣ епископа, а когда шелъ назадъ, то споривше и ссорившіеся люди окружили его и стали кричать:

— Ну, если ты святъ, то скажи намъ, какъ надо молиться.

— Кто вамъ сказалъ, что я святъ? Я вовсе не святъ и даже, наоборотъ, я очень грѣшенъ.

— Нѣтъ, мы тебѣ въ этомъ не вѣримъ: ты себѣ выкололъ глазъ и теперь ты одинъ среди всѣхъ здѣсь спокоенъ. Ты не пугаешься смерти. Скажи-ка намъ, какъ молиться? Если нужно враспѣвъ, то мы всѣ станемъ пѣть, а если говоромъ выговаривать, то будемъ говоромъ читать молитвы. Говори скорѣе, ждать некогда, мало ужъ времени осталось, чтобъ молиться.

Тогда Зенонъ, не желая ничѣмъ прибавлять розни, коротко отвѣтилъ ближе стоявшимъ, что онъ имѣетъ обычай молиться въ благоговѣйномъ молчаніи, но не осуждаетъ и тѣхъ, которые любятъ поднимать къ небу и глаза, и руки, нужно только, чтобы руки молящихся были чисты отъ корысти, а душа—свободна отъ всякаго зла и возносилась бы къ небу съ мыслью о вѣчности. Тогда въ ней исчезаетъ страхъ за утрату кратковременной земной жизни и... гора начинаетъ двигаться...

— Вотъ намъ теперь это и надо, чтобы не было страха, пока гора двинется съ мѣста.

Самъ же Зенонъ тихо отдѣлился отъ толпы и, скрываемый темнотою египетской ночи, пошелъ къ вершинѣ горы.

Отойдя такъ далеко, какъ можно сильною рукой два

раза перебросить швырковый камень, онъ сѣлъ на землю и, обнявъ руками колѣна, сталъ призывать въ свою душу необходимое въ рѣшительную минуту спокойствіе. Онъ вспоминалъ Христа, Петра, Стефана и своего учителя, какъ они проводили свои предсмертныя минуты, и укрѣплялъ себя въ рѣшимости завтра ранѣе всѣхъ взойти одному на гребень горы, призвать мужество въ душу свою, стать на виду собравшагося народа и ожидать, что будетъ.

«Пусть меня поразитъ стрѣла, — подумалъ Зенонъ: — и, можетъ-быть, тогда имъ довольно будетъ моей смерти, и другіе будутъ свободны, а я буду счастливъ: я совершу свое дѣло».

Отъ того мѣста, гдѣ сидѣлъ теперь Зенонъ, до самаго верха горы, откуда былъ виденъ таборъ, амфитеатръ и рѣка Нилъ, осталось тоже не больше, какъ два переброса.

Оттуда доносился до слуха его звукъ музыкальныхъ инструментовъ и трещотокъ и пиршественные нетрезвые клики, а съ другой стороны, оттуда, гдѣ остались христіане, вѣтерокъ наносилъ греческій напѣвъ молитвъ, которыя тянули пресвитеры.

Вдругъ Зенонъ, погруженный въ глубокую думу, вздрогнулъ отъ неожиданнаго прикосновенія нѣжной руки къ его волосамъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Зенонъ поднялъ голову и увидалъ возлѣ себя Нефору.

— Что тебѣ опять отъ меня нужно?—спросилъ ее Зенонъ.

— Раньше мнѣ нужна была твоя любовь, а съ той поры, когда ты отвергъ меня, мнѣ стала нужна твоя гибель.

— Да проститъ тебѣ Небо злое желаніе; но если тебѣ нужна была *моя* гибель, для чего ты губишь не меня одного, а такое множество другихъ людей?

— Я ненавижу всѣхъ людей твоей вѣры: я хочу, чтобы всѣ вы сразу были осмѣяны въ томъ, во что вы вѣрите, и это уже достигнуто.

— Можетъ-быть, ты еще ошибешься.

— Ну, оставь вздоръ! Развѣ всѣ самые лучшіе люди ваши не сомнѣваются? развѣ они не разбѣжались, а остальные не ищутъ возможности скрыться? И ты самъ теперь отдалился развѣ не съ тою же цѣлью, чтобы скрыться отъ прочихъ и спасти свою жизнь? Я тебя понимаю,—ты дол-

женъ сильно страдать, видя свою ошибку и слабость своихъ единовѣрцевъ, и я рада, что дождалась этого и могу спасти тебя: слѣдуй скорѣе за мною. Я приготовила все, чтобы спасти тебя отъ позора и смерти.

— А тебѣ развѣ извѣстно, что насъ непремѣнно ждетъ смерть и позоръ?

— Безъ сомнѣнія! — отвѣчала Нефора: — вѣдь гора не пойдетъ съ своего мѣста и не загородитъ Нила, чтобы поднять его воды, а разгнѣванный народъ побьетъ васъ камнями или побросаетъ въ рѣку. Бѣжимъ, слѣдуй за мною: любовь моя скроетъ тебя и будетъ твоимъ утѣшеніемъ!

И она сильно тянула за руку Зенона.

— Я не намѣренъ бѣжать! — отвѣтилъ Зенонъ, отстраняя руку Нефоры.

Она остановилась.

— Что̀ же ты хочешь дѣлать?

— Я исполню мой долгъ и умру, если нужно.

Нефора опустилась и сѣла возлѣ него на землю и проговорила:

— Тогда и я здѣсь останусь съ тобою.

— Для чего?

— Для того, что я люблю тебя. — жизнь безъ тебя мнѣ несносна. Знай: я въ отчаяніи обѣщала правителю выйти замужъ за его сына, а между тѣмъ, я не въ силахъ исполнить это обѣщаніе. Умереть съ тобою мнѣ отраднѣе, чѣмъ жить съ ненавистнымъ Дуназомъ. Пусть берутъ мое богатство, но себя я не отдамъ и умру вмѣстѣ съ тобою.

Зенонъ взялъ ея руку и тихо сказалъ:

— Я долженъ бы благодарить тебя за такія чувства; но если ты любишь меня, то я стану просить тебя сдѣлать другое.

— Говори, я все для тебя сдѣлаю!

Въ голосѣ Нефоры стали слышаться слезы.

— Если Небу угодно, чтобы черезъ часъ мы погибли, то умоляю тебя не губи себя вмѣстѣ со мною и не выходи замужъ за человѣка, въ которомъ нѣтъ ни разсудка, ни добраго сердца. Сдѣлай другое.

— Что же я должна сдѣлать?

— Послѣ насъ останется много сиротъ и старцевъ, которыхъ пошлютъ въ цѣпяхъ въ каменоломни, — останься жить и живи долго для нихъ. Подай мнѣ эту милостыню...

обѣщай мнѣ это, Нефора, и я счастливо умру, передавъ тебѣ любовь мою къ страдающимъ людямъ!

При словѣ «любовь» Нефора вздрогнула и прошептала:

— Повтори.

— Что?

— Еще разъ повтори это слово. О, Зенонъ! Если бъ ты зналъ, какъ для меня сильно слово «любовь»!

— Конечно, я это знаю, Нефора. Любовь обнимаетъ всѣхъ въ одномъ сердцѣ.

— Отчего же ты не любилъ меня, Зенонъ?

— Я не могъ принять той любви, которая принуждала меня пренебречь послушаніемъ къ словамъ моего Учителя и забыть Его просьбы для удовольствій плоти; но теперь, когда ты не та, какою была, а иная, когда ты укрѣпляешь, а не разслабляешь духъ мой, и обѣщаешь отдать себя дѣламъ любви, — теперь я люблю тебя, сострадательная Нефора.

Нефора схватила обѣими руками руки Зенона и вскричала:

— Ты взялъ мое сердце... Я сдѣлаю все, чего ты желаешь, я стану жить съ тобой для добра... но лучше всего, все-таки бѣжимъ отсюда: въ толпѣ есть люди, которые насъ укроютъ, мы уйдемъ и я буду твоею рабой.

— Рабой? Для чего же, Нефора? Ты теперь любишь людей безъ различія ихъ породы и вѣры; ты готова служить имъ, ты одного со мной духа, ты сестра мнѣ, мой другъ... Если хочешь, будь моя невѣста... Я счастливъ, я не боюсь ничего и умру, благословляя тебя за то, что ты восхитила меня твоимъ чуднымъ порывомъ, но я не побѣгу, я не скроюсь отъ тѣхъ, кто несчастливъ, и... я скажу тебѣ больше: я не дамъ унизить насмѣшкой Его... Того, Кого я зову моимъ Учителемъ и моимъ Господиномъ... Довольно Его унижали! Если я даже останусь одинъ — что, быть-можетъ, случится,—я одинъ взойду на гребень горы: пусть видятъ, что кто Его любитъ, тотъ Ему вѣритъ.

— Но для чего это нужно?

— Это нужно *для счастья людей*, потому что въ ученіи Его сокрытъ путь ко всеобщему счастію, но чтобы идти этимъ путемъ... надо вѣрить, Нефора, — надо сдвинуть въ жизни что тяжелѣе и крѣпче горы, и для того надо быть готовымъ на все, не считая, сколько насъ: одинъ или много.

— Ты не будешь одинъ, — отвѣчала Нефора, и въ ея голосѣ почувствовалось волненіе и слезы.

Зенонъ опять взялъ ее за руку и сказалъ ей:

— Но отчего ты смутна и зачѣмъ грусть въ твоемъ голосѣ?

— Я боюсь отвѣчать тебѣ правду.

— Не бойся, отвѣть.

— Онъ... этотъ твой Учитель сталъ и стоитъ между мною и тобою... Ты Его любишь больше меня... Онъ меня отъ тебя отстраняетъ...

Зенонъ покачалъ головою.

— Нѣтъ, Нефора,—сказалъ онъ:—Тотъ, Кого я люблю, Тотъ, Кто могъ быть знатенъ и предпочелъ быть нищимъ, могъ уничтожить своихъ враговъ и вмѣсто того молился за нихъ,—Онъ никого не разлучаетъ,—Онъ соединитъ насъ и научитъ любви, возвышающей душу и сердце!

— Я не хочу такой любви.

— Отчего?

— Она никогда не можетъ удовлетворить сердце женщины.

— Ты ошибаешься. Слушай меня терпѣливо. Мы съ тобою въ землѣ фараоновъ. Ночь сокрываетъ отъ насъ мѣста, на которыя я могъ бы тебѣ указать и сказать: тамъ городъ Онъ, тамъ пирамиды Гизеха, которыя видѣли Юзуфъ и Зулейка*). Зулейка любила Юзуфа мятежною страстью, такою же, какой ты дала надъ собою волю однажды. Она не боялась уронить себя и своего мужа этою любовью. Юзуфъ былъ прекрасенъ. Онъ былъ, конечно, красивѣй меня. Объ этомъ дошла до насъ ихъ чудесная повѣсть. Когда знатныя женщины укоряли Зулейку за то, что она любитъ Юзуфа, она дала этимъ женщинамъ по ножу и по апельсину, и когда онѣ стали чистить свои апельсины, Зулейка кликнула своего «раба». Юзуфъ вошелъ, и всѣ женщины обрѣзали себѣ руки и уронили свои апельсины... Но Юзуфъ тогда не любилъ прекрасную Зулейку и его не влекло къ ней потому, что Юзуфъ не любилъ лжи и обмана. Зулейка отмстила ему и погубила его. Ему это стоило болѣе глаза. Юзуфа сокрыла темница, а

*) Зенонъ разсказываетъ исторію Іосифа и жены Понтифара такъ, какъ она передается въ египетскихъ преданіяхъ и въ «*Коранѣ*» Магомета (*Коранъ*, гл. XII, стр. 21—111).

Зулейка стала томиться и плакать, и когда умеръ ея мужъ, она бросила домъ свой и жила въ шалашѣ, оплакивая свою жестокость и повторяя имя Юзуфа... И когда объ этомъ услышалъ Юзуфъ, тогда согрѣлось сердце его и онъ пришелъ къ Зулейкѣ въ ея тростниковый шалашъ и сказалъ: «Ты добра, голубица моя, и будь мнѣ женой». Неужто такая любовь, по-твоему, хуже угарнаго чада туманящей страсти, которая быстро пройдетъ и оставитъ одно сожалѣніе? Любовь же того, кто можетъ сказать: «всѣмъ ты добра, моя голубица», — обѣщаетъ разумную жизнь, а не пылъ... Суди же, что̀ лучше? Вотъ и ты теперь... кротка и добра... ты не мятешься о томъ, чтобы всѣхъ превзойти на собраніи уборомъ; ты меня слушаешь тихо и, можетъ-быть... скажешь: «Другъ мой, Зенонъ! я въ себѣ чувствую новое сердце. Будь силенъ и ничѣмъ не смущайся. Пусть будетъ, что̀ будетъ: иди, куда тебя повлекутъ — на смерть или въ каменоломни, — Нефора твой другъ: она останется жить, она будетъ матерью всѣхъ несчастныхъ сиротъ, которыхъ оставятъ погубленные христіане...»

— Оставь! о, оставь! я все это сдѣлаю и все для тебя.

— Нѣтъ, для Того, Кого я люблю больше себя и Кому я хочу быть послушенъ во всемъ, что̀ мнѣ ясно и что̀ непонятно.

— Пусть будетъ и такъ! Твой другъ я и раба твоего Господина!

Зенонъ привсталъ, тихо поцѣловалъ Нефору въ голову и сказалъ:

— Теперь все совершилось, гора тронулась съ мѣста.

— Да,—отвѣчала Нефора:—и мнѣ показалось, что земля подъ ногами какъ будто качнулась...

— Ты очень устала, намъ время разстаться. Разсвѣтъ долженъ быть близко. Сѣрѣетъ, и я замѣчаю вдали крестьянина на снаряжевомъ полѣ. Прощай, другъ мой, Нефора,— возвратись скорѣй въ городъ и обо мнѣ не заботься: я дѣлаю то, что̀ я долженъ дѣлать; я не боюсь каменоломенъ: я художникъ, и меня не заставятъ катать гранитъ, а я буду выдѣлывать гаторовы головы... и я буду счастливъ тамъ, далеко въ изгнаніи, я буду вспоминать о тебѣ и буду радоваться, что ты стала не та, какою была, что ты любишь людей и живешь для того, чтобы дѣлать добро людямъ. Еще разъ прощай и не слѣдуй за

мною... Но что это такое?.. Теперь вдругъ и мнѣ показалось, что вправду земля подъ ногами вогнулась и опять поднялась!

— Да, да! трясется земля!

— И я слышу гулъ... что-то трещитъ въ глубинѣ подъ горою... И когда собрались эти тучи! Огонь и вода падаютъ съ неба!..

Это была гроза, — столь рѣдкое явленіе подъ безоблачнымъ небомъ Египта, что Нефора ее даже не могла представить; но Зенонъ читалъ Страбона и сейчасъ же узналъ это явленіе и вспомнилъ, какъ оно при своей рѣдкости въ Египтѣ бываетъ сильно и страшно. Да и размышлять ни о чемъ не оставалось времени, потому что на нихъ полилъ такой сплошной ливень, подъ которымъ только и осталось скорѣе упасть ницъ. Вода лилась не каплями и не ручьями, а цѣльнымъ, сплошнымъ потокомъ, молніи рѣяли, громъ грохоталъ и земля содрогалась, пухла и вновь вздымалась и гудѣла.

Кричавшій верблюдъ, и ночныя капли въ домѣ правителя, и танцовавшій на берегу черный ибисъ, — всѣ оправдали свои примѣты: надъ землей Мицраима повторилась гроза и ливень Страбона...

Зенонъ, поверженный ницъ, помышлялъ только о томъ: если таково здѣсь на горѣ, что нельзя встать и нельзя сдѣлать шага, то что же теперь должно происходить въ долинахъ, куда должны устремиться сбѣгающія съ горъ воды!..

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Болѣе часа водный океанъ изъ воздуха переливался страшнымъ потокомъ на землю; но едва стало тише, Зенонъ всталъ, поднялъ подъ локти безчувственную Нефору, прислонилъ ее къ камню и самъ бросился на гребень горы. Онъ опасался, чтобы не опоздать и не придти послѣднимъ туда, гдѣ всѣмъ было должно собраться; но когда онъ взбѣжалъ, то увидалъ, что никого изъ христіанъ еще не было, а самъ онъ не узналъ внизу знакомой картины: земля вся исчезла, а Нилъ былъ необъятенъ, какъ безбрежное море. По мутнымъ волнамъ неслись опрокинутые челноки, плыли хижины и цѣлыя пальмы, вывороченныя съ корнями, а у самой подошвы горы множество человѣческихъ существъ

боролись и лѣзли одинъ на плечи другого, какъ раки въ глиняномъ горшкѣ...

Зенонъ упалъ на колѣни и вскрикнулъ:

— Небесный Отецъ! пощади всѣхъ живущихъ! Ты далъ имъ понять, что Тебѣ все возможно, низведи же въ сердца ихъ любовь къ другимъ людямъ!

И когда онъ молился, онъ почувствовалъ, что гора взбухала, какъ губка, кремнистыя ребра ея впадали, а мягкая осыпь выпячивалась и покрывавшія ее плиты лопались и крошились... И вдругъ все всколебалось, оскретки мелкихъ камней брызнули, какъ изъ пращи, и сыпучіе оползни сунулись и поползли внизъ цѣлыми пластами.

— Зенонъ, гора движется!—услыхалъ Зенонъ у себя за плечами, и на руки его съ высоты упала Нефора.

Зенонъ оглянулся и увидалъ, что огромный отломокъ горы, на которомъ стоялъ онъ, отдѣлился и летитъ по скользкому склону въ воду.

— Будь Твоя воля надъ нами! — прошепталъ Зенонъ и прижалъ къ своей груди сомлѣвшую Нефору.

И глыба съ обоими съ ними катилась, а изъ волнъ и изъ расщелинъ горы люди кричали:

— Гора идетъ!.. Гора идетъ! Великъ Богъ христіанскій! Сдвинулъ гору художникъ Зенонъ златокузнецъ!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Какъ только ударилъ громъ и полилъ страшный ливень, всѣ расположившіеся у горы люди, чувства которыхъ не были совсѣмъ омрачены пьянствомъ, мгновенно вскочили и бросились бѣжать въ обходъ горы и здѣсь на ея тыловой сторонѣ встрѣтили кучку христіанъ, мимо которыхъ потоки сбѣгали обширнымъ рвомъ. Правитель убѣгалъ впереди всѣхъ, несясь вскачь на своей колесницѣ, въ которую былъ впряженъ одинъ конь его, а другой неизвѣстно чей. У одной изъ расщелинъ онъ увидалъ вылѣзавшаго изъ оврага Пеоха и закричалъ ему:

— Ты видишь—гора идетъ!

— Вижу,—мрачно отвѣтилъ Пеохъ.

— Говори же скорѣе: какъ въ христіанскомъ ученіи сказано, что надо сдѣлать, чтобы остановить гору?

— Увы, въ ихъ ученіи сказано только, какъ «сдвинуть гору», но ничего не сказано, какъ ее остановить.

— Зачѣмъ же ты этого не сказалъ намъ ранѣе?

Всѣ подхватили слово правителя и закричали:

— Да, зачѣмъ ты не сказалъ намъ объ этомъ? Проклятый мудрецъ! ты погубилъ насъ!

Неохъ засверкалъ воспаленными глазами и поднялъ руку, чтобы швырнуть въ оскорбителей своею палкой, но въ то же мгновеніе покатился къ ногамъ правителя, пораженный ударомъ кола въ затылокъ...

Правитель испугался и погналъ скорѣе своихъ разномастныхъ коней къ христіанскому стану и закричалъ имъ:

— Друзья мои! молитесь, чтобы гора стала!

Христіане же были въ растерянности и, оставаясь до сихъ поръ съ другой стороны горы, противоположной той гдѣ появились Зенонъ и Нефора, не видали ничего того, что произошло у обрывовъ, и отвѣчали:

— Ахъ, господинъ, для чего ты къ намъ все придираешься? Мы еще не совсѣмъ согласились какъ молиться, чтобы гора двинулась, а ты уже требуешь новое, чтобы мы остановили гору.

Правитель махнулъ на нихъ рукою и поѣхалъ далѣе, сказавъ имъ:

— Гора уже идетъ, бѣгите скорѣе вверхъ и вы увидите оттуда, что совершилось.

Тогда всѣ христіане устремились на верхъ горы, откуда раньше спустились Зенонъ и Нефора, и увидѣли удивительную и совершенно новую картину, вовсе не ту, которую видѣлъ правитель, а иную: гора съ водой встрѣтились... глинистый оползень, на которомъ спустились Зенонъ и Нефора, сталъ надъ самою поверхностью воды... Къ нимъ подплыла барка съ шелковымъ парусомъ, на которой стоялъ персіянинъ, служитель Зенона. Онъ взялъ въ барку Зенона и Нефору, и барка снова отплыла. Поверхность воды болѣе уже не бурлила, а была спокойна и гладка. Кромѣ барки Зенона, по рѣкѣ плавали голубые и бѣлые цвѣты лотоса, а надъ водою, ближе къ берегамъ, носились стаи птицъ, чайки и морскія вороны и жадно выхватывали во множествѣ нагнанныхъ рыбъ; ближе къ берегамъ плыли и толкались золотые шары огромнѣйшихъ дынь... и вдругъ всѣ сразу замѣтили продолговатый плесъ, въ срединѣ котораго казалось что-то похожее на новое бревно въ кожурѣ... Крокодилъ!..

Появленіе крокодила было вѣрною примѣтой, что Нилъ полонъ, крокодилъ всегда приходитъ вѣстникомъ отъ болотъ Филэ и Сіуна.

И дѣйствительно, навстрѣчу правителю скакалъ изъ города вѣстникъ съ письмомъ, которое еще до грозы принесъ голубь изъ Мемфиса: Нилъ разлился и жители Θивъ уже вышли на кровли.

Оставалось веселиться и радоваться: урожай обезпеченъ и вина христіанъ была позабыта на-время. Станъ весь снимался. Слуги въ топкой грязи, какъ могли, ловили и запрягали коней и сѣдлалиословъ и верблюдовъ. Всѣ перемокшіе и измученные люди при взошедшемъ яркомъ солнцѣ ободрились и стали снова шутить и смѣяться, и потянулись къ городу...

Всѣ остатки погибшихъ шатровъ и людей, и животныхъ убиралъ Нилъ... Зенона и Нефоры здѣсь уже не было, и о нихъ не вспоминалъ и не справлялся никто. Всѣ спѣшили домой... Христіане были успокоены и, къ довершенію радости, по возвращеніи въ Александрію, нашли своего патріарха, который еще ранѣе ихъ успѣлъ возвратиться въ свои палаты. Правитель захотѣлъ его увидѣть и послалъ за нимъ колесницу, но патріархъ отвѣчалъ:

— Колесница такъ же удобно можетъ доставить ко мнѣ правителя, какъ и меня къ нему, а дорога отъ меня до него такъ же длинна, какъ отъ него до меня. Пусть онъ придетъ ко мнѣ, если хочетъ.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Правитель тотчасъ же сѣлъ на колесницу, пріѣхалъ къ патріарху и сказалъ ему:

— Извини меня, я не былъ увѣренъ, что твоя святость уже дома.

— Наше смиреніе всегда близко и всегда далеко отъ того, кто чего заслуживаетъ,—отвѣтилъ патріархъ.

— Знаетъ, конечно, твоя святость, какой все приняло оборотъ? Вѣра ваша теперь здѣсь у всѣхъ въ почтеніи.

— Воскресъ Богъ и враги Его таятъ.

— Да, коварный Пеохъ убитъ тупымъ коломъ отъ руки своихъ же единовѣрцевъ, бабу Бубасту задушили.

Патріархъ промолчалъ: его слова не стоила баба Бубаста; но правитель о ней продолжалъ, что ей забили ротъ

и носъ глиною, и что теперь много разновѣрныхъ людей просятся къ сдвинувшимъ гору.

— Я этого ожидалъ,—сказалъ патріархъ.

— А я не ожидалъ этого, и сознаюсь со стыдомъ, что я очень ошибся.

Патріархъ улыбнулся и тихо замѣтилъ:

— Что дѣлать? и Гомеръ ошибался.

— Да, я ошибся, и теперь прошу твою святость—давай помиримся: мы можемъ быть очень полезны другъ другу.

— Ну, мнѣ кажется, что нашему смиренію теперь уже никто не нуженъ.

— А пусть твое всеблаженство вспомнитъ, что и Гомеръ ошибался.

Патріархъ это вспомнилъ.

И они остались вдвоемъ изрядное время, бесѣдуя безъ аколуѳовъ и опахальщиковъ.

Въ этотъ же день къ пресвитерамъ приходило много людей, желавшихъ креститься, и епископъ не зналъ, какъ ему поступить: ждать ли, когда ихъ, по обыкновенному порядку, наставятъ катехизаторы, или, въ виду необыкновенныхъ обстоятельствъ, крестить нимало не медля, всѣхъ, кто пожелаетъ.

— Въ этомъ я предоставляю тебѣ избирать то, что̀ полезнѣе,—отвѣчалъ патріархъ.

Народъ толпами шелъ къ пресвитерамъ, прося ихъ крестить. Крѣпкіе же суевѣры, настоящіе «Ремъ-ен-Кеми», смотрѣли на это сумрачно и тихо шептали другъ другу, что «это должно быть... Распятый Богъ побѣдитъ всѣхъ боговъ Кеми *) и имя пророка Палестины пронесется по водамъ священнаго Яро **)... Это слышали птицы, которыя ночуютъ въ гнѣздахъ, устроенныхъ ими въ ушахъ говорящей статуи Аменготепа» ***).

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Ошибся въ своихъ расчетахъ и толстый Дуназъ. Нефора измѣнила свое рѣшеніе и не пошла за него замужъ, да она и не была ему больше желанна, потому что богатство ея

*) *Кеми*—древнее названіе Египта. *Ремъ-ен-Кеми*—человѣкъ изъ Египта.

**) *Яро*—Нилъ.

***) *Аменготепъ*—Мемнонъ.

истощилось: она отпустила всѣхъ своихъ рабовъ на волю и все свое состояніе, которое было нужно Дуназу, она раздала тѣмъ, которые обѣднѣли и не могли содержать свои семьи. Дуназъ сталъ искать другую невѣсту съ большимъ состояніемъ и нашелъ ее. Нефора же жила въ скромной долѣ, благотворя бѣднымъ и учреждая школы для дѣтей, гдѣ ихъ учили полезнымъ наукамъ и ремесламъ. Слухъ о поступкахъ ея скоро достигъ до Зенона, и тогда художникъ снова пришелъ къ ней и сказалъ:

— Съ тобою миръ Божій, который превыше всего: ты возлюбила добро; зачѣмъ намъ быть розно? Иди въ домъ мой и будемъ вмѣстѣ жить для пользы тѣхъ, кому можемъ оказать помощь. Будь женою моей, Нефора!

И это такъ сдѣлалось. Зенонъ и Нефора стали супругами и жили долго и были людямъ полезны и Богу любезны. Зенонъ попрежнему занимался своимъ художествомъ и никогда не порицалъ ничьей вѣры и своею вѣрою не возносился. Однажды, когда онъ былъ призванъ для нѣкоторыхъ работъ въ патріархію—патріархъ, сдѣлавъ ему заказы, спросилъ его:

— Кѣмъ ты, Зенонъ, наставленъ и утвержденъ въ твоей вѣрѣ?

— Я въ ней еще совсѣмъ не наставленъ, — отвѣтилъ Зенонъ.

— Какъ это такъ?

— Она мнѣ открывается мало-по-малу и не всегда во мнѣ равномѣрна: порою она едва брезжитъ, какъ мерцаніе разсвѣта, а порою ярко горитъ и тогда все мнѣ освѣтитъ.

— Значитъ, ты слабъ еще въ вѣрѣ.

— О, весьма слабъ.

— Что же ты не стараешься сдѣлать ее постоянно крѣпкою?

Зенонъ задумался.

— Скажи: о чемъ ты думаешь?—вопросилъ его патріархъ.

— Я вспомнилъ слова Амазиса: «Тетива на лукѣ слаба, пока на нее не наложатъ стрѣлу и рукой ее не натянутъ. Когда же нужно, чтобы она напряглась, она напрягается и сильно ударитъ; но если ее постоянно тянуть и держать въ напряженіи, она истончаетъ и сила ея ослабѣетъ». Я боюсь, чтобы мнѣ не утратить и то, что хоть порою мнѣ дается отъ Неба.

ПОВѢСТЬ О БОГОУГОДНОМЪ ДРОВОКОЛѢ.

Въ очень отдаленныя времена, въ кипрскихъ окрестностяхъ была однажды ужасная и продолжительная засуха. Всѣ плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неминуемое бѣдствіе отъ угрожающаго имъ голода, пришли въ самое тягостное уныніе. Всѣ молились и просили дождя, но дождя не было.

Во главѣ тамошняго мѣстнаго духовенства находился тогда епископъ, человѣкъ, надо полагать, очень добрый, участливый и чистосердечный. Онъ принималъ скорбь народа близко къ своему сердцу и самъ усердно молился, чтобы Богъ послалъ дождь на землю, но дождя все-таки не было.

Раскаленное небо оставалось безоблачно и солнце сожигало безъ милосердія все, что̀ осталось въ несчастной странѣ еще несожженнымъ.

Народъ пришелъ въ ужасъ, близкій къ отчаянію.

Гдѣ же еще искать спасенія? На что̀ еще уповать и надѣяться, когда и моленіе епископа не помогаетъ?

Кто же еще можетъ помолиться лучше, чѣмъ епископъ, и чья молитва можетъ быть доходнѣе до Бога? Епископъ— развѣ это не первое лицо во всемъ духовенствѣ и развѣ кромѣ него есть кто-нибудь другой, кто бы лучше его зналъ, какъ надо умолить Бога дать людямъ то, чего они у Него просятъ?

Тогда былъ къ епископу «гласъ съ неба»:

— «Иди послѣ утрени ко вратамъ города и перваго человѣка, который будетъ подходить къ городу черезъ тѣ ворота, ты сейчасъ же удержи, и *пусть онъ помолится*, и тогда будетъ вамъ дождь».

Епископъ разсказалъ людямъ о томъ, что̀ онъ слышалъ

«съ неба», и всѣ положили сойтись завтра утромъ рано въ церковь, а оттуда идти къ воротамъ смотрѣть того, кто подойдетъ, и сдѣлать все такъ, какъ велѣлъ пришедшій съ неба голосъ.

На слѣдующій день, отслуживъ рано утреню, епископъ со всѣмъ своимъ клиромъ пошли къ городскимъ воротамъ. Съ ними, разумѣется, пошли и всѣ люди, ожидавшіе благодѣтельнаго чуда для ихъ истомленной и жаждущей земли. И такъ, всѣ большимъ обществомъ вышли за городскія ворота и стали здѣсь станомъ ожидать избранника, на котораго самъ Богъ укажетъ, какъ на лучшаго молитвенника. Люди раскинули посреди дороги складное стуло и посадили на него епископа, а клиръ и всѣ прихожане стали вокругъ его и начали смотрѣть вдаль: кого имъ пошлетъ Господь? Всѣ нетерпѣливо желаютъ скорѣе увидать того человѣка, который помолится за нихъ о дождѣ и будетъ услышанъ въ своемъ моленіи?

И вотъ, долго или коротко послѣ ихъ томительнаго ожиданія, вдали на опаленныхъ поляхъ что-то показалося... Сначала невозможно было разобрать: идетъ ли это пѣшій человѣкъ, или кто-то на ослѣ ѣдетъ... Разстояніе было далекое, да и сверканіе отъ палящаго зноя дѣлало въ глазахъ мреяніе... Но вотъ предметъ приближается и становится яснѣе. Теперь уже видно, что это самый простой пѣшій человѣкъ и притомъ старый, изнеможденный простолюдинъ, весь согнутый и едва передвигающій свои ноги подъ большимъ и очень тяжелымъ оберемкомъ сухого хвороста...

Такъ неужто вотъ это онъ и будетъ тотъ молитвенникъ, молитва котораго взойдетъ къ Богу лучше, чѣмъ молитва цѣлаго клира и самого епископа?

Епископъ и люди всѣ переглянулись другъ съ другомъ и въ недоумѣніи пожали плечами. Удивительно, чтобы еле двигающійся подъ вязанкою дровъ мужикъ былъ всѣхъ лучше для вознесенія Богу молитвы объ общественномъ бѣдствіи? Но, однако, какъ никого другого, кромѣ этого старика, не показывалось, то выбирать было не изъ кого, и епископъ рѣшился остановить дровокола и просить его вознести къ Богу моленіе, о чемъ клиръ и епископъ возсылали свои молитвы безуспѣшно.

А старикъ, кряхтя и спотыкаясь, все помаленьку подходилъ ближе къ воротамъ города и, сколько зной и усталость ему позволяли, онъ тоже удивлялся: по какому случаю и для какой цѣли собралось у воротъ необыкновенное множество людей и почему съ ними впереди всѣхъ сидитъ на стулѣ самъ кипрскій епископъ?!

Конечно, удрученный тяжелою ношею, старикъ не имѣлъ и самой отдаленной мысли, что все это большое собраніе людей съ епископомъ вышли за тѣмъ, чтобы встрѣтить именно его, согбеннаго нищаго, и просить его молитвъ за весь край.

Подходитъ старикъ еще ближе и видитъ, что всѣ на него смотрятъ и что самъ епископъ встаетъ предъ нимъ съ своего мѣста и ему, простому, бѣдному работнику, *кланяется*.

Старикъ оторопѣлъ, сбросилъ поскорѣе со спины на землю оберемокъ хворосту и говоритъ:

— Прости мя, отче!—и попросилъ у епископа благословенія.

Но епископъ опять *поклонился* ему и сказалъ:

— «Авво» (sic), Господа ради помолися о насъ, да пошлетъ намъ Господь свою милость и да будетъ сегодня дождь на землѣ.

Старикъ изумился тому, что̀ слышитъ. Къ чему это статочно, чтобы его, ненаученнаго простого человѣка, епископъ просилъ молиться? И онъ отвѣчалъ:

— Я недостоинъ, отче, чтобы въ твоемъ присутствіи слова молитвы восходили изъ моихъ устъ. Это тебѣ, отче, всѣхъ болѣе прилично помолиться объ общемъ бѣдствіи, ты и помолись, а я не смѣю.

Но старику стали говорить, что епископъ уже молился, но что Богъ не исполнилъ его молитвы и не низвелъ дождя на землю. «А теперь,—говорятъ,—на тебя вышло указаніе епископу и ты не долженъ отказываться, а долженъ сейчасъ же стать и молиться».

Старикъ все еще и тогда не рѣшался, и потому, чтобы преодолѣть застѣнчивость этого дровокола, его «принужденіемъ» поставили на колѣни на его хворостъ и заставили молиться.

Старикъ болѣе не спорилъ, и какъ умѣлъ, такъ и началъ молиться, а съ неба сейчасъ же заросило и пошелъ благодатный дождь...

Всѣ не знали, какъ довольно нарадоваться объ этакой благодати, и не знали, какъ имъ и возблагодарить за нее Бога и пріятнаго ему молитвенника, котораго «голосъ съ неба» указалъ, какъ *наилучшаго богомольца.*

А какъ только долго жданный дождь обильно оросилъ и до-сыта напоилъ жаждавшую землю и все въ поляхъ и въ садахъ осѣжилось, то повеселѣло и на сердцахъ у людей и сейчасъ пошли прохладныя бесѣды у каждаго съ ближнимъ своимъ. Тогда наступило время и епископу поговорить съ дровоколомъ, и онъ захотѣлъ узнать: какое житіе проводитъ этотъ человѣкъ, который Богу такъ угоденъ и пріятенъ?

Епископъ такъ прямо его объ этомъ и спросилъ, но старикъ не умѣлъ сказать ему о себѣ ничего замѣчательнаго и епископу показалось, какъ будто онъ отъ него что-нибудь утаиваетъ.

— Яви мнѣ любовь, отче (sic), сталъ его упрашивать епископъ. — Я не для своего любопытства, а *ради пользы* многихъ людей прошу тебя: открой намъ, чѣмъ ты такъ угодилъ Богу, что Онъ твою молитву лучше всѣхъ слушаетъ и даетъ просимое по твоему молепію.

А старецъ отвѣчаетъ:

— Ей, отче, не вѣдаю.

— Ну, для того-то и разскажи намъ, какъ ты живешь,— и мы всѣ тебѣ поревнуемъ, чтобы стать такими же, какъ ты, чтобы и наши молитвы шли прямо въ пріемъ Богу. Не таи ничего,—скорѣе сказывай!

Тогда старикъ проговорилъ епископу:

– Повѣрь мнѣ, господинъ, что я все бы вамъ съ охотою разсказалъ, да въ томъ дѣло, что мнѣ, право, разсказать-то вамъ совсѣмъ нечего. Я самый обыкновенный грѣшникъ и провожу мою жизнь въ ежедневной житейской суетѣ и въ хлопотахъ. Мнѣ выпала такая доля, что даже и раздумать о богоугодныхъ дѣлахъ мнѣ некогда, потому что я себѣ до старости ничего во всю жизнь не припасъ и теперь, уже слабый и немощный, не имѣю ни отдыха, ни покоя.

— Однако, въ чемъ же проходитъ твоя жизнь?

— Да вотъ она въ чемъ проходитъ: просыпаюсь я рано и выхожу изъ города и иду съ топоромъ въ лѣсъ. Тамъ я

нарублю хорошій оберемокъ валежнику, который всякому собирать дозволено, и тащу мою связку въ городъ, какъ всѣ вы сегодня видѣли, когда меня встрѣтили у воротъ.

— Ну, а далѣе?

— А далѣе,—въ городѣ я продаю свой хворостъ на топливо, а за тѣ деньги, которыя выручу за хворостъ, покупаю себѣ хлѣба и съѣдаю его.

— И другого у тебя занятія нѣтъ никакого?

— Нѣтъ никакого, отче.

— А гдѣ же твое жилище?

— Да вотъ жилища-то у меня тоже никакого нѣтъ и никогда не было. А когда я устану и мнѣ надо отдохнуть или переночевать, то я залѣзу подъ церковь и тамъ подъ поломъ свернуся и высплюсь.

Было это давно и въ то время церкви были маленькія, деревянныя и строили ихъ на «стоянахъ» или, проще сказать, на столбикахъ, и подъ полъ такихъ малыхъ церквей можно было, согнувшись, входить и тамъ прятаться отъ стужи и дождя. Такія церкви были и въ Россіи, да еще и по сіе время встрѣчаются кое-гдѣ въ бѣдныхъ мѣстахъ на сѣверѣ. Подъ поломъ ихъ находятъ отдыхъ овцы, телята и нищіе.

— Ну, а когда холодно или если подымется такая непогода, что нельзя собирать дровъ,—спросилъ епископъ:— что же ты тогда дѣлаешь?

— А тогда я, хоть и день и два, все жду, сидя тамъ же подъ церковнымъ поломъ.

— А что же ты тогда кушаешь?

— Зачѣмъ же не трудяся кушать? я тогда поголодую, пока опять Господь дастъ ведрышко, а когда станетъ хорошая погода, я благодарю Господа, встаю и опять иду за хворостомъ. Вотъ тебѣ и вся моя жизнь.

Отъ этого простого разсказа—Прологъ говоритъ:—«пользу пріимъ не малу епископъ съ клиросомъ его. Тако и вси прославиша Бога о трудѣ старче, и рекоша ему: воистину ты еси совершилъ Писаніе, глаголющее: яко рече пришлецъ есмь азъ на землѣ».

Епископъ взялъ этого собирателя хвороста къ себѣ и «питалъ его, и далъ ему покой, дондеже представися къ Богу».

ПРЕКРАСНАЯ АЗА.

«Любовь покрываетъ множество грѣховъ».
I Петра IV. 8.

Въ первыхъ вѣкахъ христіанства въ Александріи египетской жила одна очень молодая и очень красивая дѣвушка, египтянка, по имени Аза. За ея красоту ее называли «Прекрасною Азой». Она была круглая сирота. Родители ея умерли едва только она вышла изъ дѣтства и оставили ей большое богатство. Аза имѣла благоустроенный домъ и обширный виноградный садъ по скату къ рѣкѣ Нилу. Наслѣдства, которое получила Аза, достаточно было бы, чтобы ей прожить цѣлую жизнь въ полномъ довольствѣ, но молодая египтянка была чрезвычайно добра и участлива ко всякому человѣческому горю и ничего не жалѣла для того, чтобы помочь людямъ, которые находились въ бѣдствіи. Черезъ это съ нею произошелъ слѣдующій роковой случай.

Разъ передъ вечеромъ, когда схлынулъ палящій египетскій жаръ, Аза пошла съ своими служанками купаться къ Нилу. Она выкупалась и, освѣженная, покрывшись легкимъ покрываломъ, тихо возвращалась къ себѣ назадъ черезъ свой виноградникъ. Служанки ея этимъ временемъ оставались еще на рѣкѣ, чтобы убрать купальныя вещи.

Вечеръ послѣ знойнаго дня былъ прелестный; работники, окончивъ свое дѣло, ушли, и виноградникъ былъ пустъ. Аза могла быть увѣрена, что она одна въ своемъ саду, но вдругъ, къ удивленію своему, она замѣтила въ одной кур-

тинѣ присутствіе какого-то незнакомаго ей человѣка. Онъ какъ будто скрывался и въ то же время торопливо дѣлалъ что-то у одного плодовитаго дерева. Можно было подумать, что онъ рвалъ плоды и оглядывался, боясь, какъ бы его не поймали вертоградари.

Египтянкѣ пришло на мысль подойти ближе къ незнакомцу съ тѣмъ, чтобы помочь ему скорѣе нарвать больше плодовъ и потомъ тихо проводить его черезъ ходъ, выводившій на берегъ Нила, къ купальнѣ. Съ этою цѣлью Аза и пошла къ незнакомцу.

Но когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что этотъ незнакомецъ не срывалъ плоды, а дѣлалъ что-то совсѣмъ другое: онъ закрѣплялъ для чего-то шнуръ къ суку стараго дерева. Это показалось Азѣ непонятно, и она притаилась, чтобы видѣть, что будетъ дальше, а незнакомецъ сдѣлалъ изъ шнура петлю и вложилъ въ нее свою голову.. Еще одно мгновеніе и онъ удавился бы въ этой петлѣ, изъ которой слабой дѣвушкѣ не по силамъ было бы его вынуть, а пока она успѣла бы позвать на помощь людей—удавленникъ успѣлъ бы умереть... Надо было помѣшать этому немедленно.

Египтянка закричала: «остановись!» и, бросясь къ самоубійцѣ, схватилась руками за петлю веревки.

Незнакомецъ былъ пожилой человѣкъ, эллинъ, съ печальнымъ лицомъ и въ печальной одеждѣ, съ неподрубленнымъ краемъ. Увидавъ египтянку, онъ не столько испугался, сколько пришелъ въ досаду и сказалъ ей:

— Какое несчастіе! Злой демонъ, что ли, выслалъ тебя сюда, чтобы остановить мою рѣшимость?

— Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь такъ прекрасна?—отвѣчала ему египтянка.

— Можетъ-быть жизнь и прекрасна для тебя и для подобныхъ тебѣ, которые живутъ въ полномъ довольствѣ. Раньше и я находилъ въ ней хорошее, но нынче судьба отъ меня отвернулась и жизнь моя составляетъ мнѣ несносное бремя: ты не права, что мѣшаешь мнѣ умереть. Иди отсюда своею дорогою и оставь мнѣ возможность вылѣзть по моей веревкѣ вонъ изъ этой житейской ямы, гдѣ я не хочу болѣе терзаться между грязью и каленными угольями.

Дѣвушка не соглашалась его оставить и сказала:

— Я не позволю тебѣ удавиться: я закричу и сейчасъ прибѣгутъ мои люди. Лучше возьми свой шнурокъ подъ одежду и поди за мною въ мой домъ: разскажи мнѣ тамъ твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я это сдѣлаю, а если оно въ самомъ дѣлѣ такъ безпомощно, какъ ты думаешь, тогда... выходи отъ меня съ своимъ шнуромъ куда хочешь: я тебѣ ни въ чемъ не помѣшаю, и ты еще не опоздаешь тогда повиснуть на деревѣ.

— Хорошо, — отвѣчалъ незнакомецъ: — и какъ мнѣ ни тяжело медлить на землѣ, но ты мнѣ кажешься такою участливою, въ глазахъ твоихъ столько ума, а въ голосѣ ласки, что я тебѣ хочу повиноваться. Вотъ уже шнуръ мой спрятанъ подъ моею одеждой и я готовъ идти за тобою.

Египтянка привела отчаяннаго незнакомца въ свой благоустроенный домъ, приказала служанкѣ подать фрукты и прохладительное питье и, усадивъ гостя среди мягкихъ подушекъ на пышномъ коврѣ, вышла, чтобы перемѣнить свое купальное платье на другое. Когда же Аза возвратилась, то она сѣла тутъ же рядомъ съ гостемъ, а за ними стали двѣ черныя служанки и легкимъ движеніемъ шелковыхъ кистей начали приводить въ колебаніе спускавшееся съ потолка огромное напитанное ароматами опахало изъ большихъ пестрыхъ перьевъ.

Египтянка желала какъ можно скорѣе узнать горестную исторію незнакомца, что онъ и исполнилъ. Разсказъ его былъ простъ и немногосложенъ. Покусившійся на самоубійство эллинъ недавно еще имѣлъ большое состояніе, но потерпѣлъ неудачи въ дѣлахъ и до того задолжалъ, что не могъ разсчитаться съ своимъ заимодавцемъ. Въ этомъ затрудненіи онъ прибѣгнулъ къ состраданію заимодавца, но это было напрасно: богачъ соглашался оказать ему снисхожденіе, только не иначе, какъ на одномъ ужасномъ условіи.

— Въ чемъ же заключается это условіе?—спросила египтянка.

— Я не могу сказать тебѣ этого при твоихъ слугахъ.

Аза велѣла служанкамъ удалиться.

— У меня есть дочь, дѣвушка твоихъ лѣтъ, по имени Іо. Она такъ же, какъ ты, стройна станомъ и прекрасна лицомъ, а о сердцѣ ея суди какъ можешь по слѣдующему. Заимодавецъ мой, большой и безнравственный сластолю-

бецъ, сказалъ мнѣ: «отдай мнѣ твою Іо на ложе и тогда я освобожу тебя отъ темницы, иначе ты задохнешься въ колодкѣ». Я оскорбился и не хотѣлъ слышать объ этомъ. Это было мнѣ тѣмъ болѣе тяжко, что у моей бѣдной Іо есть женихъ. Онъ бѣденъ, но имѣетъ возвышенный умъ и и дочь моя горячо его любитъ съ самаго дѣтства; кромѣ того, и жена моя не снесетъ такого безчестья, чтобы дочь наша стала наложницею. Но бѣда настигаетъ бѣду: представь себѣ новое горе: дочь моя все это узнала и сегодня сказала мнѣ тихо:

— «Отецъ, я все знаю... я уже не ребенокъ... я рѣшилась, отецъ... Чтобы на твою старую шею не набили колодку... Прости, мнѣ, отецъ... я рѣшилась...»

Іо зарыдала и я вмѣстѣ съ нею рыдалъ еще больше и сталъ ее отговаривать, но она отвѣчала:

— «Любовь къ тебѣ и къ матери, которая не снесетъ твоего униженія, во мнѣ теперь говоритъ сильнѣй любви къ моему жениху: онъ молодъ, — продолжала она, глотая бѣжавшія слезы: — онъ полюбитъ другую и съ ней пусть узнаетъ счастье супружеской жизни, а я... я твоя дочь... я дочь моей матери... вы меня воспитали... вы стары... Не говори мнѣ больше ни слова, отецъ, потому что я твердо рѣшилась».

Притомъ она пригрозила, что если я буду ей противорѣчить, то она не станетъ ждать завтрашняго дня, когда заимодавецъ назначилъ мнѣ срокъ, а уйдетъ къ нему сію же минуту.

Незнакомецъ отеръ набѣжавшія на лицо его слезы и кончилъ:

— Что еще скажу тебѣ дальше. Іо имѣетъ рѣшительный нравъ и нѣжно насъ съ матерью любитъ... Что она порѣшила, противъ того напрасно съ ней спорить... Я упросилъ ее только подождать до завтра и солгалъ ей, будто имѣю еще на кого-то надежду... День цѣлый я ходилъ какъ безумный, потомъ возвратился домой, обнялъ мою жену, обнялъ нѣжную Іо и оставилъ ихъ вмѣстѣ, взявъ тихонько шнурокъ, и побѣжалъ искать уединеннаго мѣста, гдѣ могъ бы покончить мои страданія. Ты мнѣ помѣшала, но зато облегчила горе мое своимъ сердобольнымъ участіемъ. Мнѣ мило видѣть лицо твое, прекрасное и доброе, какъ лицо моей Іо. Пусть благословитъ тебя Небо, а теперь прощай

и не мѣшай мнѣ: я пойду и окончу съ собою. Когда я не буду въ живыхъ, Іо не станетъ бояться колодки, которую могутъ набить на шею ея отцу, и она выйдетъ замужъ за своего жениха, а не продастъ себя, ради отца, богачу на безчестное ложе.

Египтянка внимательно выслушала весь разсказъ незнакомца, а потомъ сказала, глядя ему твердо въ лицо:

— Я понимаю во всемъ твою милую дочь и мнѣ нравится Іо—она добрая дѣвушка.

— Тѣмъ это тяжелѣй для меня,—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Я понимаю и это; но скажи мнѣ, сколько ты долженъ заимодавцу?

— О, очень много, — отвѣчалъ незнакомецъ, и назвалъ очень знатную сумму.

Это равнялось всему состоянію египтянки.

— Приди ко мнѣ завтра—я дамъ тебѣ эту сумму.

Незнакомецъ изумился: онъ и радовался, и не могъ вѣрить тому, что̀ слышитъ, а потомъ сталъ ей говорить, что онъ даже не смѣетъ принять отъ нея такую огромную помощь. Онъ напомнилъ ей, что долгъ его составляетъ слишкомъ значительную сумму, и просилъ ее подумать, не подвергаетъ ли она себя слишкомъ большой жертвѣ, которой онъ даже не въ состояніи и обѣщать возвратить ей.

— Это не твое дѣло,—отвѣчала египтянка.

— Притомъ же, — сказалъ онъ:—припомни и то, что я изъ другого народа—я эллинъ, и другой съ тобой вѣры.

Аза на мгновенье опустила рѣсницы своихъ длинныхъ, какъ миндалины, глазъ и отвѣчала ему:

— Я не знаю, въ чемъ твоя вѣра: это касается нашихъ жрецовъ; но я вѣрю, что грязь такъ же маратъ ногу гречанки, какъ и ногу всякой иной, и одинаково каждую жжетъ уголь каленый. Не смущай меня, грекъ; Іо покорила себѣ мое сердце,—иди обними твою дочь и жену и приди ко мнѣ завтра.

А когда незнакомецъ ушелъ, Аза тотчасъ же опять взяла свое покрывало и пошла къ богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цѣну все свое имущество и взятое золото отдала на другой день незнакомцу.

Черезъ малое же время, когда прошелъ срокъ сдѣлан-

наго заклада, ростовщикъ пришелъ съ закладною и взялъ за себя все имущество Азы, а она должна была оставить свой домъ и виноградникъ и выйти въ одномъ бѣдномъ носильномъ платьѣ. Теперь у нея не было ни средствъ, ни пріюта.

Скоро увидѣли ее въ этомъ положеніи прежніе знакомые ея родителей и стали говорить ей:

— Ты безумная дѣвушка, Аза: смотри, до чего тебя довела твоя безразсудная доброта!

Аза отвѣчала, что ея доброта не была безразсудна, потому что теперь она лишь одна потерпитъ несчастье, а безъ этого погибало цѣлое семейство. Она разсказала имъ все о несчастьи эллина.

— Такъ ты вдвое безумна, если сдѣлала это все для людей чужой вѣры!

— Не порода и вѣра, а люди страдали,—отвѣтила Аза.

Услыхавъ такой отвѣтъ, знакомые почувствовали противъ Азы еще большее раздраженіе.

— Ты хочешь блистать своей добротою къ чужевѣрнымъ пришельцамъ, ну, такъ живи же, какъ знаешь, — и всѣ предоставили ее судьбѣ, а судьба приготовила ей жестокое испытаніе.

Аза не могла избѣжать тяжкихъ бѣдствій по причинамъ, которыя крылись въ ея испытаніи: она совсѣмъ не была приготовлена къ тому, чтобы добывать себѣ средства своими трудами. Она имѣла молодость, красоту и свѣтлый, даже проницающій умъ и возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное, дѣвственное тѣло ея было слабо для того, чтобы исполнять грубыя работы— береговыя поденщицы ее отгоняли; она не могла носить ни корзинъ съ плодами, ни кирпичи на постройки, и когда она хотѣла мыть бѣлье на рѣкѣ, то зола изъ сгорѣвшаго нильскаго тростника разъѣдала ея нѣжныя руки, а текучая вода производила на нее головокруженіе, такъ что она упала въ воду и ее, полуживую, безъ чувствъ, вытащили изъ Нила.

Аза очутилась въ отчаянномъ положеніи. Она была въ мокромъ платьѣ и голодная. Съ ней подѣлилась сухою ячменной лепешкой береговая блудница, — одна изъ тѣхъ, которыя во множествѣ бродили по берегу Нила, поджидая

проходившихъ здѣсь вечеромъ чужеземныхъ матросовъ (навклировъ); одна эта женщина подѣлилась съ Азой на ночь своею цыновкой, она же прикрыла ее и отъ стужи ночной своею сухою одеждой, а потомъ... Аза стала такою же, какъ эта—прибрежной блудницей.

Всѣ знавшіе Азу отъ нея отвратились—она погибала. Иногда она приходила въ свой бывшій виноградникъ, подъ то самое дерево, на вѣтвяхъ котораго хотѣлъ удавиться избавленный ею незнакомецъ, и вспоминала его разсказъ, и всегда находила, что не могла поступить иначе, какъ она поступила: пусть страдаетъ она, но зато Іо и ея старики спасены!.. Это радовало Азу и давало ей силу терпѣть ея униженіе; но въ другія минуты она была близка къ отчаянію и готова была броситься въ Нилъ. Тогда она садилась надъ кручей на красномъ, какъ огустѣлый комъ крови, песчаномъ холмѣ и размышляла о томъ: неизбѣжно ли такъ всегда должно быть, чтобы добрые были между грязью и каленными угольями?

— Или будь безучастенъ къ горю людскому, или утони въ горѣ самъ? Третій выборъ — плетись между грязью и углемъ. Для чего же тогда нашимъ сердцамъ дано знать состраданіе? Или небо жестоко? Зачѣмъ оттуда никто не сойдетъ и не укажетъ, какъ людямъ сдѣлать жизнь свою лучше, чтобъ отверженныхъ не было и чтобъ не было гордыхъ, пресыщенныхъ и нищихъ? О, еслибъ снизошелъ оттуда такой великій учитель! если былъ бы такой человѣкъ, какъ бы она, бѣдная Аза, хотѣла рыдать у его ногъ и во всю жизнь исполнять все, что онъ ей прикажетъ.

Въ такомъ настроеніи Аза однажды тихо брела вдоль берега Нила, по уединенному мѣсту, и не встрѣчала сегодня даже буйныхъ мореходцевъ. Она уже два дня не ѣла и чувствовала мучительный голодъ. Въ глазахъ у Азы мутилось. Она подошла къ рѣкѣ и нагнулась, чтобы напиться, но сейчасъ же отскочила въ испугѣ: такъ самой ей показалось страшно ея изнуренное лицо, съ померкнувшимъ взглядомъ. А такъ недавно еще никто не рѣшался ее иначе назвать, какъ «прекрасная Аза».

— О, я понимаю теперь, что это значитъ. Я уже больше не «прекрасная Аза», — я страшна даже самымъ потерян-

нымъ людямъ!.. Голодъ приблизился, мучительный голодъ... но я не ропщу... Я посылаю послѣдній привѣтъ мой Небу, которое внушило мнѣ рѣшеніе любить другихъ больше себя, и съ тѣмъ умираю!

Она бросилась къ рѣкѣ, чтобы утонуть, и непремѣнно бы исполнила это, но ее неожиданно кто-то удержалъ за плечо, и она, оглянувшись, увидала передъ собою пожилого человѣка, скромнаго вида и въ чужестранной одеждѣ.

Аза приняла его за одного изъ чужестранцевъ, приходящихъ на это мѣсто съ цѣлями, о которыхъ ей было извѣстно, и сказала ему:

— Оставь меня въ покоѣ: я не хочу идти сегодня съ тобою.

Но чужеземецъ не отошелъ, а взглянулъ на нее ласково и сказалъ ей:

— Напрасно думаешь, сестра моя, что я былъ намѣренъ сказать тебѣ что-либо дурное. Мнѣ показалось, что ты въ какомъ-то бореньи съ собою.

— Да; я вынимаю ноги изъ грязи и хочу ступить на горячія уголья. Это требуетъ силы.

— Ты очень слаба.

— Я два дня не ѣла.

— Такъ ѣшь же скорѣе: со мною есть хлѣбъ и печеная рыба.

Чужеземецъ поспѣшно перебросилъ изъ-за спины холщевую сумку и подалъ Азѣ рыбу и хлѣбъ, и флягу воды, стращенной съ виномъ.

Аза стала ѣсть, запивая глотками воды, стращенной съ виномъ, а когда первый мучительный голодъ ея былъ утоленъ, она повела глазами на незнакомца и тихо сказала:

— Не хорошо, что я ѣмъ твою пищу: ты путешествуешь и тебѣ нуженъ запасъ для себя.

— Не безпокойся, сестра,—я могу потерпѣть,—и повѣрь, что терпѣть гораздо отраднѣй, чѣмъ видѣть терпящихъ.

Аза вздрогнула.

— Чужестранецъ!—сказала она:—ты меня накормилъ и хорошо говоришь... но зачѣмъ ты два раза уже назвалъ меня своею *сестрою?* Развѣ не понимаешь ты, кто я такая?

— Ты такое жъ созданіе Бога, какъ я, и сестра мнѣ. Какое мнѣ дѣло, чѣмъ житейское горе и жестокость людей тебя теперь сдѣлали.

Аза вперила въ него свои глаза, опять засверкавшіе бывалымъ огнемъ, и вскричала:

— Ты жжешь меня своими словами: ты, быть-можетъ, посланникъ боговъ?

— Я такой же простой человѣкъ, какъ и ты, но всѣ мы посланы сюда Богомъ, чтобы оказывать другъ другу любовь и помогать другъ другу въ горѣ.

— Но если ты простой человѣкъ, то кто научилъ тебя такъ говорить, что сердце мое горитъ и трепещетъ?

— Сядемъ здѣсь вмѣстѣ, и я разскажу тебѣ, кто научилъ меня такъ говорить.

Несчастная Аза еще больше смутилась.

— Какъ?—сказала она:—ты хочешь сидѣть со мной рядомъ! тебя могутъ увидѣть съ блудницей почтенные люди, и что ты имъ скажешь тогда въ оправданіе?

— Я скажу имъ, что Тотъ, Который всѣхъ ихъ почтеннѣй, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.

— Кто жъ это былъ *Онъ?*.. Я о такомъ не слыхала... но ты о Немъ говоришь и слова твои льютъ новую жизнь въ мое сердце... Можетъ-быть, Онъ-то и есть твой учитель!?

— Ты не ошиблась: это *Онъ* мой учитель.

Аза заплакала.

— Какъ ты счастливъ, какъ ты счастливъ, чужестранецъ! Гдѣ же Онъ, гдѣ этотъ небесный посланникъ?

— Онъ съ нами.

— Съ нами!.. со мною!.. Не смѣйся надъ бѣдною Азой!.. Аза несчастна... Скажи мнѣ, гдѣ Онъ—я побѣгу... Я стану Его умолять... и, быть-можетъ, Онъ дастъ мнѣ новую жизнь.

Чужеземецъ самъ взволновался.

— Успокойся, сказалъ онъ:—ты ее будешь имѣть—новую жизнь, — развяжись только со старой, — развяжись скорѣй съ тѣмъ, что гнететъ тебя въ прошломъ.

— Слушай же, кто я такая!—воскликнула съ оживленіемъ Аза, и разсказала все, что съ ней было, и когда повѣсть ея была окончена, она добавила въ свое оправданіе:

— Говорятъ, будто мнѣ надлежало иначе размыслить, но я не могла: мое сердце тогда одолѣло разсудокъ.

— Кто кладетъ руку на плугъ и самъ озирается вспять, тотъ не пахарь. Не жалѣй о томъ, какъ ты поступила.

Аза потупила взоръ и сказала:

— Я не о томъ сожалѣю... но мнѣ тягостно думать о томъ, что было послѣ...

— Послѣ того, когда ты совершила святѣйшее дѣло любви,—прервалъ ее чужестранецъ:—послѣ того, когда ты позабыла себя для спасенья другихъ... оставь сокрушенія эти!.. Когда каленое уголье жжетъ ноги, ноги ползутъ въ холодную грязь, но любовь покрываетъ много грѣховъ и багровыя пятна бѣлитъ, какъ волну на ягненкѣ. Подними лицо твое вверхъ... Прими отъ меня привѣтъ христіанскій и знай, что *Онъ*, къ Кому душа твоя рвется, перстомъ на сыпучемъ пескѣ твой грѣхъ написалъ и оставилъ смести его вѣтру.

Аза подняла лицо свое и плакала, а христіанинъ глядѣлъ на нее, колѣни его незамѣтно согнулись, онъ поклонился ей въ ноги и тихо промолвилъ:

— Живая! живая!

Утѣшенье совершилось, — пришла новая жизнь въ смущенную душу Азы. Христіанинъ раскрылъ ей въ короткихъ словахъ ученье Христово и снова закончилъ похвалой ея сердцу, но Аза непремѣнно хотѣла знать: есть ли люди, живущіе по этому ученію, во взаимной любви, при которой нѣтъ ни осужденія, ни зла, ни нищеты.

— Они были,—отвѣчалъ христіанинъ.

— Отчего же не всѣ таковы и теперь?

— Это трудно, сестра.

— Въ чемъ же тутъ трудность?

— Слушай, какъ они жили.

Христіанинъ прочелъ ей на память мѣста изъ Дѣяній:

«У множества увѣровавшихъ въ спасительность Его ученія было одно сердце и одна душа,—никто изъ имѣнія своего ничего не называлъ своимъ, но все у нихъ было общее и все, что у нихъ было, они раздѣляли по нуждѣ каждаго и каждый день собирались вмѣстѣ и вмѣстѣ принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца» (Дѣян. IV, 32).

— Какъ это прекрасно!—воскликнула Аза.

— Но какъ это трудно.

«Такъ Іоссія, прозванный отъ апостоловъ Варнавою, что значитъ «сынъ утѣшенія», — левитъ, родомъ изъ Кипра, у котораго было свое помѣстье,—продалъ его и принесъ деньги къ ногамъ апостоловъ» (37).

Послѣ многихъ сумрачныхъ дней лицо Азы освѣтилось отрадной улыбкой: Варнава отдалъ помѣстье и назвали его: «сынъ утѣшенія»...

Аза выше подняла лицо и сказала:

— Это не трудно.

— Такъ иди же отсюда, куда я тебя научу, и разскажи тѣмъ людямъ, къ которымъ придешь, все, что ты мнѣ разсказала.

Чужеземецъ назвалъ ей мѣсто, гдѣ сходятся христіане Александріи, и кто ихъ епископъ.

Аза, ни минуты не медля, встала и пошла по его указанію.

Когда Аза пришла, се сейчасъ же узналъ одинъ клирикъ и сказалъ ей:

— Мнѣ знакомо лицо твое: ты очень похожа на блудницу, которая часто ходила по берегу Нила?

— Я сама и есть та блудница,—отвѣчала Аза:—но я не хочу возвращаться туда, гдѣ ты могъ меня видѣть,—я хочу быть христіанкой.

— Это прекрасно, но ты должна прежде очистить себя постомъ и раскаяніемъ.

— Я все готова исполнить, что нужно.

Ей сказали, какъ надо поститься; она пошла и долго постилась, питаясь тѣмъ, что ей давали изъ состраданія. Наконецъ она изнемогла и пришла снова съ просьбой крестить ее и принять со всѣми въ общеніе. Клирики сказали ей: ты должна принести при всѣхъ покаяніе.

— Да, я затѣмъ и пришла, чтобы сказать всѣмъ, какъ дурна моя жизнь, но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. Прошу васъ: скажите епископу, что я прошу скорѣе принять меня въ общеніе.

Клирики сказали епископу, а тотъ велѣлъ назначить Азѣ катехизатора, который долженъ былъ протолковать ей символъ и всѣ догматы вѣры и потомъ удостовѣрить ея познанія, и тогда Азу будутъ крестить.

Но Аза этого не дождалась; нетерпѣливое желаніе ея получить христіанское имя и жить съ христіанами вмѣстѣ снѣдало ее; она жаловалась и плакала, «а всѣ пренебрегали ею».

Тогда совершилось чудо: когда отверженная египтянка

лежала больная «въ малой хлѣвинѣ», туда къ ней среди ночи вошли «два свѣтлые мужа» и одѣли ее въ бѣлыя, «крестильныя ризы». Въ нихъ к осталось на землѣ мертвое тѣло Азы, а живой духъ ея отлетѣлъ въ обитель живыхъ.

Кончина Азы, одѣтой въ крестильныя ризы, сдѣлала затрудненіе клирикамъ: они недоумѣвали, по какому обряду надо похоронить эту женщину, но неожиданно пришелъ тотъ чужестранецъ, который говорилъ съ усопшею Азою у берега Нила. Онъ былъ философъ и пресвитеръ сирійскій, другъ Исаака-сирійца — онъ вернулся сюда съ дороги по внушенію духа. Онъ наклонился надъ Азой и сталъ читать христіанскія молитвы, а пока онъ молился, тѣло Азы зарыли въ землю, но сиріецъ еще долго стоялъ и смотрѣлъ вдаль — онъ что-то думалъ, онъ былъ въ восторгѣ и двигалъ устами.

Его спросили:

— Вѣрно ты видишь что-нибудь чудное?

— Да,—отвѣчалъ онъ: — я вижу, какъ будто бы небо отверсто... и туда... кто-то входитъ...

— Неужто блудница?

— О, нѣтъ!.. блудницу вы закопали въ грязи—я вижу... какъ легкая струйка съ каленаго угля сливается съ свѣтомъ—мнѣ кажется, это восходитъ *дочь утѣшенья*.

СКОМОРОХЪ ПАМФАЛОНЪ.

«Слабость велика, сила ничтожна. Когда человѣкъ родится, онъ слабъ и гибокъ; когда онъ умираетъ, онъ крѣпокъ и черствъ. Когда дерево произрастаетъ, оно гибко и нѣжно, и когда оно сухо и жестоко, оно умираетъ. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражаютъ свѣжесть бытія. Поэтому, что отвердѣло, то не побѣдитъ».

Лао—тзы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ царствованіе императора Ѳеодосія Великаго жилъ въ Константинополѣ одинъ знатный человѣкъ «патрикій и епархъ», по имени Ермій. Онъ былъ богатъ, благороденъ и знатенъ; имѣлъ прямой и честный характеръ; любилъ правду и ненавидѣлъ притворство, а это совсѣмъ не шло подъ-стать тому времени, въ которомъ онъ жилъ.

Въ то отдаленное время въ Византіи, или въ нынѣшнемъ Константинополѣ, и во всемъ царствѣ Византійскомъ было много споровъ о вѣрѣ и благочестіи, и за этими спорами у людей разгорались страсти, возникали распри и ссоры, а отъ этого выходило, что хотя всѣ заботились о благочестіи, но на самомъ дѣлѣ не было ни мира, ни благочестія. Напротивъ того, въ низшихъ людяхъ тогда было много самыхъ скверныхъ пороковъ, про которые и говорить стыдно, а въ высшихъ лицахъ царило всеобщее страшное лицемѣріе. Всѣ притворялись богобоязненными, а сами жили совсѣмъ не по-христіански: всѣ злопамятствовали, другъ друга ненавидѣли, а къ низшимъ, бѣднымъ лю-

дямъ не имѣли состраданія; сами утопали въ роскоши и нимало не стыдились того, что простой народъ въ это самое время терзался въ мучительныхъ нуждахъ. Обѣднявшихъ брали въ кабалу или въ рабство, и нерѣдко случалось, что бѣдные люди даже умирали съ голода у самыхъ дверей пировавшихъ вельможъ. При этомъ простолюдины знали, что именитые люди и сами между собой безпрестанно враждовали и часто губили другъ друга. Они не только клеветали одинъ на другого царю, но даже и отравляли другъ друга отравами на званыхъ пирахъ или въ собственныхъ домахъ, черезъ подкупъ кухарей и иныхъ приспѣшниковъ.

Какъ сверху, такъ и снизу все общество было исполнено порчей.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

У упомянутаго Ермія душа была *мирная* и къ тому же онъ ее укрѣпилъ въ любви къ людямъ, какъ заповѣдалъ Христосъ по Евангелію. Ермій желалъ видѣть благочестіе настоящее, а не притворное, которое не приноситъ никому блага, а служитъ только для одного величанія и обмана. Ермій говорилъ: если вѣрить, что Евангеліе божественно и открываетъ какъ надо жить, чтобы уничтожить зло въ мірѣ, то надо все такъ и дѣлать, какъ показано въ Евангеліи, а не такъ, чтобы считать его хорошимъ и правильнымъ, а самимъ заводить наперекоръ тому совсѣмъ другое: читать: «оставь намъ долги наши, яко же и мы оставляемъ», а замѣсто того ничего никому не оставлять, а за всякую обиду злобиться и донимать съ ближняго долги, не щадя его ни силы, ни живота.

Надъ Ерміемъ за это всѣ другіе вельможи стали шутить и подсмѣиваться; говорили ему: «вѣрно ты хочешь, чтобы всѣ сдѣлались нищими и стояли бы нагишомъ да другъ дружкѣ рубашку перешвыривали. Такъ нельзя въ государствѣ». Онъ же отвѣчалъ: «Я не говорю про государство, а говорю только про то, какъ надо жить по ученію Христову, которое всѣ вы зовете божественнымъ». А они отвѣчали: «Мало ли что хорошо, да невозможно!» И спорили, а потомъ начали его выставлять передъ царемъ, какъ будто онъ оглупѣлъ и не годится на своемъ мѣстѣ.

Ермій началъ это замѣчать и сталъ раздумывать: какъ

въ самомъ дѣлѣ трудно, чтобы и въ почести остаться, и самому вести жизнь по Христову ученію?

И какъ только началъ Ермій сильнѣе вникать въ это, то стало ему казаться, что этого даже и нельзя совсѣмъ вмѣстѣ соединить, а надо выбирать изъ двухъ одно любое: или оставить Христово ученіе, или оставить знатность, потому что вмѣстѣ они никакъ не сходятся, а если и сведешь ихъ насильно на какой-нибудь часъ, то они недолго поладятъ и опять разойдутся дальше прежняго. «Уйдетъ одинъ бѣсъ и опять воротится, и приведетъ еще семерыхъ съ собою». А съ другой стороны глядя, Ермій соображалъ и то, что если онъ станетъ всѣхъ обличать и со всѣми спорить, то войдетъ онъ черезъ то всѣмъ въ остылицу, и другіе вельможи обнесутъ его тогда передъ царемъ клеветами, назовутъ измѣнникомъ государству и погубятъ.

«Угожу однимъ, думаетъ, — не угожу другимъ: если съ хитрыми пойду — омрачу свою душу, а если за нехитрыхъ стану—то имъ не пособлю, а себѣ бѣду наживу. Представятъ меня какъ человѣка злоумышленнаго, который сѣетъ неспокойствіе, а я могу не стерпѣть напраслины, да стану оправдываться, и тогда душа моя озвѣрѣетъ, и я стану обвинять моихъ обвинителей и сдѣлаюсь самъ такой же злой, какъ они. Нѣтъ, пусть такъ не будетъ. Не хочу я никого ни срамить, ни упрекать, потому что все это противно душѣ моей; а лучше я совсѣмъ съ этимъ покончу: пойду къ царю и упрошу его дозволить мнѣ сложить съ себя всякую власть и доживу вѣкъ мой мирно гдѣ-нибудь простымъ человѣкомъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Какъ Ермій задумалъ, такъ онъ и сдѣлалъ по своему разсужденію. Царю Ѳеодосію онъ ни на что не жаловался и никого передъ нимъ не обвинялъ, а только просился отставить его отъ дѣлъ. Царь уговаривалъ Ермія остаться при должности, но потомъ отпустилъ. Ермій получилъ полную отставку («отложи отъ себя всяку власть»). А въ это же самое время скончалась жена Ермія, и бывшій вельможа, оставшись одинъ, началъ разсуждать еще иначе:

«Не указаніе ли мнѣ это свыше? — подумалъ Ермій. — Царь меня отпустилъ отъ служебныхъ заботъ, а Господь разрѣшилъ отъ супружества. Жена моя умерла и нѣтъ у

меня никого такого въ родствѣ моемъ, для котораго мнѣ надо было бы стараться по своимъ имѣніямъ. Теперь я могу идти рѣзвѣе и дальше къ цѣли евангельской. На что мнѣ богатство? Съ нимъ всегда неминучія заботы, и хоть я отъ служебныхъ дѣлъ отошелъ въ сторону, а, однако, богатство заставитъ меня о немъ заботиться и опять меня втравитъ въ такія дѣла, которыя не годятся тому, кто хочетъ быть ученикомъ Христовымъ».

А богатства у Ермія было очень много («бѣ бо ему богатство многосущное») — были у него и дома, и села, и рабы, и всякія драгоцѣнности.

Ермій всѣхъ своихъ рабовъ отпустилъ на волю, а все прочее «богатство многосущное» продалъ и деньги раздѣлилъ между нуждавшимися бѣдными людьми.

Поступилъ онъ такъ потому, что хотѣлъ «совершенъ быть», а тому, кто желаетъ достичь совершенства, Христосъ коротко и ясно указалъ одинъ путь: «Отдай все, что имѣешь, и иди за Мною».

Ермій все это исполнилъ въ точности, такъ что даже никакой малости себѣ не оставилъ, и радовался тому, что это совсѣмъ не показалось ему жалко и трудно. Только начало было дорого сдѣлать, а потомъ самому пріятно стало раздавать все, чтобы ничто не путало и ничто не мѣшало идти налегкѣ къ высшей цѣли евангельской.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Освободясь и отъ власти, и отъ богатства, Ермій покинулъ тайно столицу и пошелъ искать себѣ уединеннаго мѣста, гдѣ бы ему никто не мѣшалъ уберечь себя въ чистотѣ и святости для прохожденія богоугодной жизни.

Послѣ долгаго пути, совершеннаго пѣшими и босыми ногами, Ермій пришелъ къ отдаленному городу Едессу, и совсѣмъ нежданно для себя нашелъ здѣсь «нѣкій столпъ». Это была высокая каменная скала и съ расщелиной, и въ серединѣ расщелины было мѣсто, какъ только можно одному человѣку установиться.

«Вотъ,—подумалъ Ермій:—это мнѣ готовое мѣсто». — И сейчасъ же взлѣзъ на этотъ столпъ по ветхому бревнушку, которое кѣмъ-то было къ скалѣ приставлено, и бревно оттолкнулъ. Бревно откатилось далеко въ пропасть и переломилось, а Ермій остался стоять и простоялъ на столбѣ

тридцать лѣтъ. Во все это время онъ молился Богу и желалъ позабыть о лицемѣріи и о другихъ злобахъ, которыя онъ видѣлъ и которыми до боли возмущался.

Съ собою Ермій взялъ на скалу только одну длинную бечевку, которою онъ цѣплялся, когда лѣзъ, и бечевка эта ему пригодилась.

На первыхъ дняхъ, какъ еще Ермій забылъ убрать эту бечевку, замѣтилъ ее пастухъ-мальчикъ, который пришелъ сюда пасти козлятъ. Пастухъ началъ эту бечевку подергивать, а Ермій его сталъ звать и проговорилъ ему:

— Принеси мнѣ воды: я очень жажду.

Мальчикъ подцѣпилъ ему свою тыквенную пустышку съ водой и говоритъ:

— Испей и оставь себѣ тыкву.

Также онъ далъ ему и корзинку съ горстью черныхъ, терпкихъ ягодъ.

Ермій поѣлъ ягодъ и сказалъ:

— Богъ послалъ мнѣ кормильца.

А мальчикъ, какъ только пригналъ вечеромъ въ село стадо козлятъ, такъ сейчасъ же разсказалъ своей матери, что видѣлъ на скалѣ старика, а пастухова мать пошла на колодецъ и стала о томъ говорить другимъ женщинамъ, и такъ сдѣлалось извѣстно людямъ о новомъ столпникѣ, и люди изъ села побѣжали къ Ермію и принесли ему чечевицы и бобовъ больше, чѣмъ онъ могъ съѣсть. Такъ и пошло далѣе.

Только Ермій спускалъ сверху на длинной бечевѣ плетеную корзину и выдолбленную тыкву, а люди уже клали ему въ эту корзину листьевъ капусты и сухихъ, невареныхъ сѣмянъ, а тыкву его наполняли водою. И этимъ бывшій византійскій вельможа и богачъ Ермій питался тридцать лѣтъ. Ни хлѣба и ничего готовленнаго на огнѣ онъ не ѣлъ и позабылъ и вкусъ вареной пищи. По тогдашнимъ понятіямъ находили, будто это пріятно и угодно Богу. О своемъ розданномъ богатствѣ Ермій не жалѣлъ и даже не вспоминалъ о немъ. Разговоровъ онъ не имѣлъ ни съ кѣмъ никакихъ и казался строгъ и суровъ, подражая въ молчаніи своемъ Иліи.

Поселяне считали Ермія способнымъ творить чудеса. Онъ имъ этого не говорилъ, но они такъ вѣрили. Больные приходили, становились въ тѣни его, которую солнце бросало

отъ столпа на землю, и отходили, находя, что чувствуютъ облегченіе. А онъ все молчалъ, вперяя умъ въ молитву или читая на память три милліона стиховъ Оригена и двѣсти пятьдесятъ тысячъ стиховъ Григорія, Піерія и Стефана.

Такъ проводилъ Ермій дни, а вечеромъ, когда свалилъ пекльій жаръ и лицо Ермія освѣжала прохлада, онъ, окончивъ свои молитвы и размышленія о Богѣ, думалъ иногда и о людяхъ. Онъ размышлялъ о томъ: какъ за эти тридцать лѣтъ зло въ свѣтѣ должно было умножиться и какъ подъ покровомъ ханжества и пустосвятства, замѣняющаго настоящее ученіе своими выдумками, теперь навѣрно изсякла уже въ людяхъ всякая истинная добродѣтель и осталась одна форма безъ содержанія.

Впечатлѣнія, вынесенныя столпникомъ изъ покинутой имъ лицемѣрной столицы, были такъ неблагопріятны, что онъ отчаялся за весь міръ и не замѣчалъ того, что черезъ это отчаяніе онъ унижалъ и планъ, и цѣль творенія, и себя одного почиталъ совершеннѣйшимъ.

Повторяетъ онъ наизусть Оригена, а самъ думаетъ: «ну, пусть такъ,—пусть земной міръ весь стоитъ для вѣчности, и люди въ немъ, какъ школяры въ школѣ, готовятся, чтобы явиться въ вѣчности и тамъ показать свои успѣхи въ здѣшней школѣ. Но какіе же успѣхи они покажутъ, когда живутъ себялюбиво и злобно и ничему отъ Христа не учатся и языческихъ навыковъ не позабываютъ? Не будетъ ли вѣчность впустѣ? Пусть утѣшаетъ Оригенъ, что не могъ же впасть въ ошибку Творецъ, узрѣвъ, «яко все добро зѣло», если оно на самомъ дѣлѣ никуда не годится, а Ермію все-таки кажется, что «весь міръ лежитъ во злѣ», и умъ его напрасно старается прозрѣть: «кацы суть Богу угождающіе и вѣчность улучившіе?»

Никакъ не можетъ Ермій представить себѣ таковыхъ, кои были бы достойны вѣчности, всѣ ему кажутся худы, всѣ съ злою наклонностію въ жизнь пришли, а здѣсь, живучи на землѣ, еще хуже перепортились.

И окончательно взяло столпника отчаяніе, что вѣчность запустѣетъ, потому что нѣтъ людей, достойныхъ перейти въ оную.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

И вотъ однажды, когда, при опускающемся покровѣ

ночи, столпникъ «усильно подвигся мыслію увѣдѣти: кацы суть иже Богу угожающи», онъ приклонился головою къ краю расщелины своей скалы, и съ нимъ случилась необыкновенная вещь: повѣяло на него тихое, ровное дыханіе воздуха, и съ тѣмъ принеслись къ его слуху слѣдующія слова:

— Напрасно ты, Ермій, скорбишь и ужасаешься: есть тацы, иже добре Богу угожаютъ и въ книгу жизни вѣчной вписаны.

Столпникъ обрадовался сладкому голосу и говоритъ:

— Господи, если я обрѣлъ милость въ очахъ Твоихъ, то дозволь, чтобы мнѣ былъ явленъ хоть одинъ такой, и тогда духъ мой успокоится за все земное сотвореніе.

А тонкое дыханіе снова дышитъ на ухо старцу:

— Для этого тебѣ надо забыть о тѣхъ, коихъ ты зналъ, и сойти со столпа да посмотрѣть на человѣка Памфалона.

Съ этимъ дыханіе сникло, а старецъ восклонился и думаетъ: взаправду ли онъ это слышалъ или это ему навѣяно мечтою? И вотъ опять проходитъ холодная ночь, проходитъ и знойный день, и наступили новыя сумерки, и опять поникъ головой Ермій и слышитъ:

— Спускайся внизъ, Ермій, на землю, тебѣ надо пойти посмотрѣть на Памфалона.

— Да кто онъ такой, этотъ Памфалонъ?

— А вотъ онъ-то и есть одинъ изъ тѣхъ, какихъ ты желаешь видѣть.

— И гдѣ же обитаетъ этотъ Памфалонъ?

— Онъ обитаетъ въ Дамаскѣ.

Ермій опять встрепенулся и опять не былъ увѣренъ, что это ему слышно не въ мечтѣ. И тогда онъ положилъ въ своемъ умѣ испытать это дѣло еще до трехъ разъ, и ежели и въ третій разъ будетъ къ нему такая же внятная рѣчь про Памфалона, тогда уже болѣе не сомнѣваться, а слѣзать со скалы и идти въ Дамаскъ.

Но только онъ рѣшилъ обстоятельно дознаться, что̀ это за Памфалонъ и какъ его по Дамаску разыскивать.

Прошелъ опять знойный день, и съ вечернею прохладою снова зазвучало въ духѣ хлада тонка имя Памфалона.

Невѣдомый голосъ опять говоритъ:

— Для чего ты, старецъ, медлишь, для чего не слѣзаешь на землю и не идешь въ Дамаскъ смотрѣть Памфалона?

А старецъ отвѣчаетъ:

— Какъ же могу я идти и искать человѣка мнѣ неизвѣстнаго?

— Человѣкъ тебѣ названъ.

— Названъ мнѣ человѣкъ Памфалономъ, а въ такомъ великомъ городѣ, какъ Дамаскъ, развѣ одинъ есть Памфалонъ? Котораго же изъ нихъ я стану спрашивать?

А въ духѣ хлада тонка опять звучитъ:

— Это не твоя забота. Ты только скорѣе слѣзай внизъ да иди въ Дамаскъ, а тамъ уже всѣ знаютъ этого Памфалона, котораго тебѣ надо. Спроси у перваго встрѣчнаго, его тебѣ всякъ покажетъ. Онъ всѣмъ извѣстенъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Теперь, послѣ третьяго такого переговора, Ермій болѣе уже не сомнѣвался, что это такой голосъ, котораго надо слушаться. А насчетъ того, къ какому именно Памфалону въ Дамаскѣ ему надо идти, Ермій болѣе не безпокоился. Памфалонъ, котораго «всѣ знаютъ», безъ сомнѣнія, есть какой-либо прославленный поэтъ, или воинъ, или всѣмъ извѣстный вельможа. Словомъ, Ермію размышлять болѣе было не о чемъ, а на что онъ самъ напросился, то надо идти исполнять.

И вотъ пришлось Ермію послѣ тридцати лѣтъ стоянія на одномъ мѣстѣ вылѣзать изъ каменной расщелины и идти въ Дамаскъ...

Странно, конечно, было такому совершенному отшельнику, какъ Ермій, идти смотрѣть человѣка, живущаго въ Дамаскѣ, ибо городъ Дамаскъ по тогдашнему, въ отношеніи чистоты нравственной, былъ все равно, что теперь сказать Парижъ или Вѣна, — города, которые святостію жизни не славятся, а слывутъ за гнѣздплища грѣха и пороковъ; но, однако, въ древности бывали и не такія странности, и бывало, что послы благочестія посылались именно въ мѣста самыя злочестивыя.

Надо идти въ Дамаскъ. Но тутъ вспомянулъ Ермій, что онъ нагъ, ибо рубище его, въ которомъ онъ пришелъ тридцать лѣтъ тому назадъ, все истлѣло и спало съ его костей. Кожа его изгорѣла и почернѣла, глаза одичали, волосы подлѣзли и выцвѣли, а когти отросли, какъ у хищной

птицы... Какъ въ такомъ видѣ показаться въ большомъ и роскошномъ городѣ?

Но голосъ его не переставалъ руководствовать и раздается издали:

— Ничего, Ермій, иди: нагота твоя найдетъ тебѣ покрывало.

Взялъ Ермій свою корзиночку съ сухими зернами и тыкву и кинулъ ихъ внизъ на землю, а затѣмъ и самъ спустился со столпа по той самой веревочкѣ, по которой гаскалъ себѣ снизу приносимую пищу.

Тѣло столпника уже такъ исхудало, что его могла сдержать тонкая и полусгнившая веревочка. Она, правда, потрескивала, но Ермій этого не испугался: онъ благополучно сталъ на землю, и пошелъ, колеблясь какъ ребенокъ, ибо ноги его отвыкли отъ движенія и потеряли твердость.

И шелъ Ермій по безлюдной, знойной пустынѣ очень долго и во весь переходъ ни разу никого не встрѣтилъ, а потому и не имѣлъ причины стыдиться своей наготы; приближаясь же къ Дамаску, онъ нашелъ въ пескахъ вывѣтрившійся сухой трупъ и возлѣ него ветхую «козью милоть», какія носили тогда иноки, жившіе въ общежитіяхъ. Ермій засыпалъ пескомъ кости, а козью милоть надѣлъ на свои плечи и обрадовался, увидѣвъ въ этомъ особое о немъ промышленіе.

Къ городу Дамаску Ермій сталъ приближаться, когда солнце уже начало садиться. Старецъ немножко не соразмѣрилъ хода, и теперь не зналъ, что ему сдѣлать: поспѣшать ли скорѣе идти, или не торопиться и подождать лучше утра. Очамъ казалось близко видно, а ногамъ пришлось обидно. Поспѣшалъ Ермій дойти засвѣтло, а поспѣлъ въ то самое время, когда красное солнце падаетъ, сумракъ густѣетъ и городъ весь обвиваетъ мглой. Точно онъ весь въ безпроглядный грѣхъ погружается.

Страшно сдѣлалось Ермію,—хоть назадъ бѣги... И опять ему пришла въ голову дума: не было ли все, что онъ слышалъ о своемъ путешествіи, одною мечтою или даже искушеніемъ? Какого праведника можно искать въ этомъ шумномъ городѣ? Откуда тутъ можетъ быть праведность? Не лучше ли будетъ бѣжать отсюда назадъ, влѣзть опять въ свою каменную щелку да и стоять, не трогаясь съ мѣста.

Онъ было уже и повернулся, да ноги не идутъ, а въ ушахъ опять «дыханіе тонко»:

— Иди же, скорѣй лобызай Памфалона въ Дамаскѣ.

Старикъ снова обернулся къ Дамаску, и ноги его пошли.

Пришелъ Ермій къ городской стѣнѣ какъ разъ въ ту минуту, когда городской стражъ на половину ворота захлопнулъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Насилу успѣлъ бѣдный старикъ упросить сторожа, чтобы онъ позволилъ ему пройти въ ворота, и то отдалъ за это свою корзину и тыкву; а теперь самъ совсѣмъ безо всего очутился въ совершенно ему незнакомомъ и ужасно многогрѣшномъ городѣ.

Ночи на югѣ спускаются скоро, сумерекъ почти нѣтъ и темнота бываетъ такъ густа, что ничего нельзя видѣть. Улицы въ то время, когда было это происшествіе, въ восточныхъ городахъ еще не освѣщались, а жители запирали свои дома рано. Тогда на улицахъ бывало очень небезопасно, и потому обыватели крѣпко закрывали всѣ входы въ домъ, чтобы впотьмахъ не забрался какой-нибудь лихой человѣкъ и не обокралъ бы или бы не убилъ и не сжегъ домъ. Ночью же входовъ или совсѣмъ не отпирали, или же отпирали только запоздавшимъ своимъ домашнимъ, или друзьямъ, и то не иначе, какъ удостовѣрясь, что стучится именно тотъ человѣкъ, котораго впустить надо.

Отворенными поздно оставались только двери развратницъ, къ которымъ путь открытъ всѣмъ, и чѣмъ больше идутъ къ нимъ на свѣтъ, тѣмъ имъ лучше.

Старецъ Ермій, попавъ въ Дамаскъ, среди густой тьмы, рѣшительно не зналъ: гдѣ ему пріютиться до утра. Были, конечно, въ Дамаскѣ гостиницы, но Ермій не могъ ни въ одну изъ нихъ постучаться, потому что тамъ спросятъ съ него платы за ночлегъ, а онъ не имѣлъ у себя никакихъ денегъ.

Остановился Ермій и, размысливъ, что бы такое въ его положеніи возможно сдѣлать, рѣшился попроситься ночевать въ первый домъ, какой попадется.

Такъ онъ и сдѣлалъ: подошелъ къ ближайшему дому и постучался.

Его опросили изъ-за двери:

— Кто тамъ стучится?

Ермій отвѣчаетъ:

— Я, бѣдный странникъ.

— Ахъ, бѣдный странникъ! Не мало васъ шляется. Чего же тебѣ надо?

— Прошу пріюта.

— Такъ ты не туда попалъ. Иди за этимъ въ гостиницу.

— Я бѣденъ и не могу платить въ гостиницѣ.

— Это плохо, но иди въ такомъ случаѣ къ тѣмъ, кто тебя знаетъ: они тебя, можетъ-быть, пустятъ.

— Да меня здѣсь никто не знаетъ.

— А если тебя здѣсь никто не знаетъ, то не стучи и у насъ понапрасну, а уходи скорѣй прочь.

— Я прошусь во имя Христа.

— Оставь, пожалуйста, оставь это имя. Много васъ тутъ ходитъ, все Христа вспоминаете, а на мѣсто того лжете и этимъ именемъ послѣ всякое зло прикрываете. Уходи прочь, нѣтъ у насъ для тебя пріюта.

Ермій подошелъ къ другому дому и здѣсь опять сталъ стучать и проситься.

И здѣсь тоже опять спрашиваютъ его изъ-за закрытыхъ дверей:

— Что тебѣ надо?

— Изнемогаю, я бѣдный странникъ... пустите отдохнуть въ домѣ!

Но опять и тутъ ему тотъ же отвѣтъ: иди въ гостиницу.

— У меня денегъ нѣтъ, — отвѣчалъ Ермій и произнесъ Христово имя, но оно вызвало только укоры.

— Полно, полно выкликать это имя, — отвѣчали ему изъ-за дверей второго дома:—всѣ лѣнивцы и злодѣи нынче этимъ именемъ прикрываются.

— Ахъ,—отозвался Ермій:—повѣрьте, что я никому никакого зла не сдѣлалъ и не дѣлаю: я пришелъ прямо изъ пустыни.

— Ну, если ты изъ пустыни, то тамъ бы тебѣ и оставаться. Напрасно ты сюда и пришелъ.

— Я не своею волею пришелъ, а имѣлъ повелѣніе.

— Ну, такъ иди къ тому, куда позванъ, а насъ оставь въ покоѣ; мы тѣхъ, кои старцами сказываются и въ козьихъ милотяхъ ходятъ, боимся: вы сами очень святы, а за вами за каждымъ седмь приставныхъ бѣсовъ ходитъ.

«Ого!—подумалъ Ермій: — какъ время измѣнило обычаи. Вѣрно нынѣ совсѣмъ уже нѣтъ стараго привѣта страннымъ. Всѣ уже знаютъ пустынное преданіе, что за аскетомъ вслѣдъ болѣе бѣсовъ ходитъ, чѣмъ за простымъ грѣшникомъ, а черезъ это не лучше, а хуже стало. И вотъ я— пустынникъ, простоявшій тридцать лѣтъ,—въ тѣни столпа моего люди получали исцѣленія, а меня никто не пускаетъ подъ крышу, и я не только могу быть убитъ отъ злодѣевъ, но еще горче смерти могу быть оскорбленъ и обезчещенъ отъ извратившихъ природу безстыдниковъ. Нѣтъ, теперь я уже ясно вижу, что я поддался насмѣшкѣ сатаны, что я былъ посланъ сюда не для пользы души моей, а для всецѣлой моей пагубы какъ въ Содомъ и Гоморру.

А въ это самое время Ермій тоже замѣчаетъ, что кто-то во тьмѣ спѣшно перебѣгаетъ улицу и, смѣясь, говоритъ:

— Ну, насмѣшилъ ты меня, старичина!

— Чѣмъ это?—спросилъ Ермій.

— Да какъ же ты такъ глупъ, что просишься, чтобы тебя пустили ночевать въ дома людей высокородныхъ и богатыхъ! Видно, ты и въ самомъ дѣлѣ, должно-быть, ничего въ жизни не понимаешь.

Столпникъ подумалъ: это, пожалуй, воръ или блудодѣй, а все-таки онъ разговорчивъ: дай я его разспрошу, что мнѣ сдѣлать, гдѣ найти пріютъ.

— Ну, ты постой-ка,—сказалъ Ермій:—и кто бы ты ни былъ, скажи мнѣ, нѣтъ ли здѣсь такихъ людей, которые извѣстны за человѣколюбцевъ?

— Какъ же,—отвѣчаетъ:—есть здѣсь и таковые.

— Гдѣ же они?

— А вотъ ты сейчасъ у ихъ домовъ стучался и съ нимъ разговаривалъ.

— Ну, значитъ, ихъ человѣколюбство плохо.

— Таковы всѣ показные человѣколюбцы.

— А неизвѣстны ли тебѣ, кои боголюбивы?

— И таковые извѣстны.

— Гдѣ же они?

— Эти теперь, по заходѣ солнечномъ, на молитву стали.

— Пойду же я къ нимъ.

— Ну, не совѣтую. Боже тебя сохрани, если ты своимъ стукомъ помѣшаешь ихъ стоянію на молитвѣ, тогда слуги ихъ за то свалятъ тебя на землю и нанесутъ тебѣ раны.

Старецъ всплеснулъ руками:

— Что же это,—говоритъ,—человѣколюбцевъ никакъ въ своей нуждѣ не увѣришь, а набожныхъ отъ стоянія не отзовешь, ночь же ваша темна и обычаи ваши ужасны. Увы мнѣ! увы!

— А ты вмѣсто того, чтобы унывать и боголюбцевъ разыскивать,—*иди къ Памфалону.*

— Какъ ты сказалъ?—переспросилъ отшельникъ, и опять получилъ тотъ же отвѣтъ:

— *Иди къ Памфалону.*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Радъ былъ отшельникъ услыхать про Памфалона. Стало-быть, шелъ онъ недаромъ. Но кто, однако, самъ этотъ во тьмѣ говорящій: хорошо, если это путеводительный ангелъ, а можетъ-быть это самый худшій бѣсъ.

— Мнѣ,—говоритъ Ермій:—Памфалона и нужно, потому что я къ нему посланъ, но только я не знаю: тотъ ли это Памфалонъ, о которомъ ты говоришь?

— А тебѣ что о твоемъ Памфалонѣ сказано?

— Сказано много, чего я не стану всякому пересказывать, а примѣта дана такая, что его здѣсь всѣ *знаютъ*.

— Ну, а если такъ, то я говорю о томъ самомъ Памфалонѣ, про котораго тебѣ сказано. Онъ одинъ только и есть такой Памфалонъ, котораго всѣ знаютъ.

— Почему же онъ всѣмъ такъ извѣстенъ?

— А потому, что онъ пріятный человѣкъ и всюду съ собою веселье ведетъ. Безъ него нѣтъ здѣсь ни пира, ни потѣхи, и всѣмъ онъ любезенъ. Чуть гдѣ пса его сѣраго съ длинной мордой заслышатъ, когда онъ бѣжитъ, гремя позвонцами, всѣ радостно говорятъ: «вотъ Памфалонова Акра бѣжитъ! сейчасъ, значитъ, самъ Памфалонъ придетъ, и веселый смѣхъ будетъ».

— А для чего же онъ пса при себѣ водитъ?

— Для бо́льшаго смѣха. Его Акра чудесная, умная и вѣрная собака, она ему людей веселить помогаетъ. А то еще у него есть разноперая птица, которую онъ на длинномъ шестѣ въ обручѣ носитъ; тоже и эта дорогого стоитъ: она и свистомъ свиститъ, и шипитъ по-змѣиному.

— Зачѣмъ же Памфалону все это нужно—и песъ, и разноперая птица?

– Какъ же, — Памфалону безъ смѣшныхъ вещей быть невозможно.

— Да кто же такой у васъ этотъ Памфалонъ?

— А развѣ ты самъ этого не знаешь?

— Не знаю. Я только слышалъ о немъ въ пустынѣ.

Собесѣдникъ удивился.

— Вотъ какъ! — воскликнулъ онъ. — Значитъ, уже не только въ Дамаскѣ и въ другихъ городахъ, а и далеко въ пустынѣ знаютъ нашего Памфалона! Ну, да такъ тому и слѣдовало быть, потому что такого другого весельчака нѣтъ, какъ нашъ Памфалонъ: никто не можетъ безъ смѣха глядѣть, какъ онъ шутитъ свои веселыя шутки, какъ онъ мигаетъ глазами, двигаетъ ушами, перебираетъ ногами и свиститъ, и языкомъ щелкаетъ, и вертитъ завитой головой.

— Перебираетъ ногами и вертитъ головою, — повторилъ пустынникъ:—лицедѣйство, тѣлодвиженіе и скоки... Да кто же онъ такой, наконецъ!?

— Скоморохъ.

— Какъ?.. этотъ Памфалонъ!.. Къ кому я иду!.. Онъ *скоморохъ!*

— Ну, да, Памфалонъ скоморохъ, его потому всѣ и знаютъ, что онъ по улицамъ скачетъ, на площади колесомъ вертится и мигаетъ глазами, и перебираетъ ногами, и вертитъ головой.

Ермій даже свой пустынническій посохъ изъ рукъ уронилъ и проговорилъ:

— Сгинь! сгинь, дьяволъ, полно тебѣ надо мной издѣваться!

А во тьмѣ говорившій не разслышалъ этого заклинанія и добавилъ:

— Памфалоновъ домъ сейчасъ здѣсь за угломъ, и у него навѣрно теперь въ окнѣ еще свѣтъ свѣтится, потому что онъ вечеромъ приготовляетъ свои скоморошьи снаряды, чтобы дѣлать у гетеръ представленія. А если у него огня нѣтъ, такъ ты впотьмахъ отсчитай за угломъ направо третій маленькій домъ, входи и ночуй. У Памфалона всегда двери отворены.

И съ тѣмъ говорившій во тьмѣ сникъ куда-то, какъ будто его и не бывало.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ермій, пораженный тѣмъ, что онъ услыхалъ о Памфалонѣ, остался впотьмахъ и думаетъ:

«Что же мнѣ теперь дѣлать? Это невозможно, чтобы человѣкъ, для свиданія съ которымъ я снятъ съ моего камня и выведенъ изъ пустыни, былъ скоморохъ! Какія такія добродѣтели, достойныя вѣчной жизни, можно заимствовать у комедіанта, у лицедѣя, у фокусника, который кривляется на площадяхъ и потѣшаетъ гулякъ въ домахъ, гдѣ пьютъ вино и предаются безпутствамъ?»

Непонятно это, а ночь темна, дѣться некуда и — надо идти къ скомороху.

Ночной пріютъ пустыннику былъ необходимъ, потому что хотя онъ и привыкъ ко всѣмъ непогодамъ, но на улицѣ, въ городѣ въ тогдашнее время остаться ночью было гораздо опаснѣе, чѣмъ въ нынѣшнее. Тогда и воры грабили, и ходили такіе отчаянные люди, какихъ видали только предъ сожженіемъ Содома и Гоморры. Эти были хуже животныхъ и не щадили никого, и всякъ могъ ожидать себѣ отъ нихъ самаго гнуснаго оскорбленія.

Ермій все это помнилъ и потому очень обрадовался, когда только-что завернулъ за уголъ, какъ сейчасъ же увидалъ привѣтный огонекъ. Свѣтъ выходилъ изъ одного маленькаго домика и ярко горѣлъ во тьмѣ, какъ звѣздочка. Вѣроятно, тутъ и живетъ скоморохъ.

Ермій пошелъ на свѣтъ и видитъ: дѣйствительно стоитъ очень маленькій, низенькій домикъ, а въ немъ растворенная дверь и надъ нею поднята тростниковая цыновка, такъ что все внутрь этого жилья видно.

Жилье не велико, — всего одинъ покой, и притомъ не высокій, но довольно просторный, и въ немъ все на виду— и хозяинъ, и хозяйство, и все его рукомесло. И по всему тому, что видно, не трудно было отгадать, что здѣсь живетъ не степенный человѣкъ, а именно скоморохъ.

На сѣрой стѣнѣ, какъ разъ насупротивъ раскрытой двери, висѣла глиняная лампа съ длиннымъ рожкомъ, на концѣ котораго горѣлъ краснымъ огнемъ фитиль, напитанный жиромъ. Фитиль этотъ сильно коптилъ и внизъ съ него падали огненныя капли кипящаго жира. Вдоль всей стѣны висѣли разныя странныя вещи, которыя, впрочемъ,

точнѣе можно бы назвать хламомъ. Тутъ были уборы и сарацынскіе, и греческіе, и египетскіе, а также были и разнопёстрыя перья, и звонцы, и трещотки, и накры, и красные шесты, и золоченые обручи. Въ одномъ углу вбитъ былъ крюкъ въ потолокъ, а къ нему подцѣпленъ тонкій шестъ, похожій на большое удилище, а на концѣ того шеста на веревкѣ другой деревянный обручъ, а въ обручѣ спитъ, загнувъ голову подъ крыло, пестрая птица. На ногѣ у нея тонкая цѣпь, которою она прикована къ обручу. Въ другомъ же углу загнуты полуколесомъ гнуткія дранницы и за ними задѣты бубны, накры, сопѣли и еще болѣе странныя вещи, которыхъ и назначенія даже не могъ придумать давно не видавшій суеты городской жизни пустынникъ.

На полу въ одномъ углу постель изъ цыновки, а въ другомъ сундукъ; на этомъ сундукѣ передъ скамьею, замѣняющею столъ, сидитъ и что-то мастеритъ самъ хозяинъ жилища.

Видъ его страненъ: онъ уже человѣкъ не молодой, а подстаровать, имѣетъ лицо смуглое, добродушное и веселое, съ постояннымъ, умѣреннымъ выраженіемъ и легкимъ блескомъ глазъ, но лицо это раскрашено, а полусѣдая голова вся завита въ мелкіе кудри и на нихъ надѣтъ тонкій мѣдный ободокъ, съ котораго внизъ висятъ и бренчатъ блестящіе кружочки и звѣздочки. Таковъ Памфалонъ. Сидитъ онъ, нагнувшись надъ скамьею, на которой разбросаны разные скоморошьи приборы, а передъ лицомъ его маленькая глиняная жаровня и паяло. Онъ дуетъ ртомъ черезъ паяльную трубку въ жаркіе угли и закрѣпляетъ одно за другое какія-то мелкія кольца, и не замѣчаетъ того, что на него снаружи давно пристально смотритъ строгій отшельникъ.

Но вотъ лежавшая въ тѣни у ногъ Памфалона длинномордая сѣрая собака чутьемъ почуяла близость сторонняго человѣка, подняла свою голову и, заворчавъ, встала на ноги, а съ этимъ ея движеніемъ на ея мѣдномъ ошейникѣ зазвонили звонцы и отъ нихъ сейчасъ же проснулась и вынула изъ-подъ крыла голову разноперая птица. Она встрепенулась и не то свистнула, не то какъ-то рѣзко проскрипѣла клювомъ. Памфалонъ разогнулся, отнялъ на минуту губы отъ паяла и крикнулъ:

— Молчи, Акра! И ты, Зоя, молчи! Не пугайте досужаго человѣка, который приходитъ звать насъ смѣшить заскучавшихъ богачей. А ты, легкій посолъ,—добавилъ онъ, возвыся голосъ:—отъ кого ты ни жалуешь, подходи скорѣй и говори сразу: что тебѣ нужно?

На это Ермій ему отвѣтилъ со вздохомъ:

— О, Памфалонъ!

— Да, да, да, я давно Памфалонъ—плясунъ, скоморохъ, нѣвецъ, гадатель и все, что кому угодно. Какое изъ моихъ дарованій тебѣ надобно?

— Ты ошибся, Памфалонъ.

— Въ чемъ я ошибся, пріятель.

— Человѣку, который стоитъ у твоего дома, совсѣмъ не нужно этихъ дарованій: я пришелъ совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы звать тебя на скоморошное игрище.

— Ну, что жъ за бѣда! Ночь еще впереди, — придетъ кто-нибудь другой и покличетъ насъ и на игрище, и у меня будетъ назавтра заработокъ для меня и для моей собаки. А тебѣ-то, однако, что же такое угодно?

— Я прошу у тебя пріюта на ночь и желаю съ тобою бесѣдовать.

Услышавъ эти слова, скоморохъ оглянулся, положилъ на сундукъ дротяныя кольца и паяло и, разставивъ надъ глазами ладонь, проговорилъ:

— Я не вижу тебя, кто ты такой, да и голосъ твой незнакомъ мнѣ... Впрочемъ, въ домѣ моемъ и въ добрѣ будь воленъ, какъ въ своемъ, а насчетъ бесѣдъ... Это ты, должно-быть, смѣешься надо мною.

— Нѣтъ, я не смѣюсь,—отвѣчалъ Ермій.—Я здѣсь всѣмъ чужой человѣкъ и пришелъ издалека для бесѣды съ тобою. Свѣтъ твоей лампы привлекъ меня къ твоей двери, и я прошу пріюта.

— Что же, я радъ, что свѣтъ моей лампы свѣтитъ не для однихъ гулякъ. Какой ты ни есть—не стой больше на улицѣ, и если у тебя нѣтъ въ Дамаскѣ лучшаго ночлега, то я прошу тебя—войди ко мнѣ, чтобы я могъ тебя успокоить.

— Благодарю,—отвѣчалъ Ермій:—и за привѣтъ твой пусть благословитъ тебя Богъ, благословившій странноприимный кровъ Авраама.

— Ну, ну, перестань многословить! Совсѣмъ не о чемъ

говорить, а ужъ ты и за Авраама хватаешься. Бери, старина, дѣло проще. Много будетъ, если ты благословишь меня, выходя изъ моего дома, когда отдохнешь съ дороги и успокоишься, а теперь входи скорѣе: пока я дома, я тебѣ помогу умыться, а то меня кто-нибудь кликнетъ на ночную потѣху, и мнѣ тогда будетъ некогда за тобой ухаживать. У насъ нынче въ упадкѣ дѣлишки: къ намъ стали заходить чужіе скоморохи изъ Сиракузъ; такъ сладко поютъ и играютъ на арфахъ, что перебили у насъ всю самую лучшую работу. Ничего нельзя упускать: надо сразу бѣжать, куда кликнутъ, а теперь какъ разъ такой часъ, когда богатые и знатные гости приходятъ попировать къ веселымъ гетерамъ.

«Проклятый часъ»,—подумалъ Ермій.

А Памфалонъ продолжалъ:

— Ну, входи же, сдѣлай милость, и не обращай вниманья на мою собаку: это Акра, это мой вѣрный песъ, мой товарищъ, — Акра живетъ не для страха, а такъ же, какъ я—для потѣхи. Входи ко мнѣ, путникъ.

Съ этимъ Памфалонъ протянулъ гостю обѣ руки и, сведя его по ступенькамъ съ уличной тьмы въ освѣщенную комнату, мгновенно отскочилъ отъ него въ ужасѣ.

Такъ страшенъ и дикъ показался ему вошедшій пустынникъ.

Прежній вельможа, простоявъ тридцать лѣтъ подъ вѣтромъ и пламеннымъ солнцемъ, изнеможділъ въ себѣ видъ человѣческій. Глаза его совсѣмъ обезцвѣтились, изгорѣвшее тѣло его все почернѣло и присохло къ остову, руки и ноги его изсохли и отросшіе ногти загнулись и впились въ ладони, а на головѣ остался одинъ клокъ волосъ, и цвѣтъ этихъ волосъ былъ не бѣлый и не желтый, и даже не празелень, а голубоватый, какъ утиное яйцо, и этотъ клокъ торчалъ на самой серединѣ головы, точно хохолъ на селезнѣ.

Въ изумленіи стояли другъ передъ другомъ два эти совсѣмъ несходные человѣка: одинъ скоморохъ, скрывшій свой натуральный видъ лица подъ красками, а другой — весь излинявшій пустынникъ. На нихъ смотрѣла длинномордая собака и разноперая птица. И всѣ молчали. А Ермій пришелъ къ Памфалону не для молчанія, а для бесѣды, и для великой бесѣды.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Оправился первый Памфалонъ.

Замѣтивъ, что Ермій не имѣлъ на себѣ никакой ноши, Памфалонъ съ недоумѣніемъ спросилъ его:

— Гдѣ же твоя кошница и тыква?

— Со мной нѣтъ ничего,—отвѣчалъ отшельникъ.

— Ну, слава Богу, что у меня сегодня есть чѣмъ тебя угостить.

— Мнѣ ничего и не надо,—перебилъ старецъ: — я пришелъ не за угощеніемъ. Мнѣ нужно знать, какъ ты угождаешь Богу?

— Что такое?

— Какъ ты угождаешь Богу?

— Что ты, что ты, старецъ! Какое отъ меня угожденіе Богу! Да мнѣ объ этомъ даже и думать нельзя.

— Отчего тебѣ нельзя думать? О своемъ спасеніи всякъ долженъ думать. Ничего для человѣка не можетъ быть такъ дорого, какъ его спасеніе. А спасеніе невозможно безъ того, чтобы угодить Богу.

Памфалонъ его выслушалъ, улыбнулся и отвѣчалъ:

— Эхъ, отецъ, отецъ! Если бы ты зналъ, какъ мнѣ смѣшно тебя слушать. Видно и вправду давно ты изъ міра.

— Да, я изъ міра давно; я тридцать лѣтъ уже не былъ между людьми, но, все-таки, что я говорю, то истинно и согласно съ вѣрой.

— А я,—отвѣчалъ Памфалонъ:—съ тобою не спорю, но говорю тебѣ, что я человѣкъ очень непостоянной жизни, я ремесломъ скоморохъ, и не о благочестіи размышляю, а я скачу, верчусь, играю, руками плещу, глазами мигаю, выкручиваю ногами и трясу головой, чтобы мнѣ дали что-нибудь за мое посмѣшище. О какомъ богоугожденіи я могу думать въ такой жизни!

— Отчего же ты не оставишь эту жизнь и не начнешь вести лучшую?

— А, другъ любезный, я уже это пробовалъ.

— И что же?

— Не удается.

— Еще разъ попробуй.

— Нѣтъ, ужъ теперь и пробовать нечего.

— Отчего?

— Оттого, что я на сихъ дняхъ упустилъ такой случай для исправленія моей жизни, какого уже лучше и быть не можетъ.

— Почему ты знаешь? По-твоему не можетъ быть, а у Бога все возможно.

— Нѣтъ, ты про это со мною, пожалуйста, лучше не говори, потому что я даже и не хочу болѣе искушать Бога, если я не умѣю пользоваться Его милостями. Я себя самъ оставилъ безъ спасенія, и пусть такъ и будетъ.

— Такъ ты, значитъ, отчаянный?

— Нѣтъ, я не отчаянный, а только я беззаботный и веселый человѣкъ и разговаривать со мною о вѣрѣ... просто даже некстати.

Ермій покачалъ головой и говоритъ:

— Въ чемъ же, однако, состоитъ твоя вѣра, веселый, беззаботный человѣкъ?

— Я вѣрю, что я самъ изъ себя ничего хорошаго сдѣлать не сумѣю, а если создавшій меня Самъ что-нибудь лучшее изъ меня современемъ сдѣлаетъ, ну такъ это Его дѣло. Онъ всѣхъ удивить можетъ.

— А отчего же ты самъ о себѣ не заботишься?

— Некогда.

— Какъ это некогда?

— Да такъ, я живу въ суетѣ, а когда нарочито соберусь спасаться, то на меня нападетъ тоска, и вмѣсто хорошаго еще хуже выходитъ.

— Ты говоришь несообразное.

— Нѣтъ, это правда. Когда я размыслюсь, то отъ моего слабаго характера стану тревоженъ и опять самъ все разрушу и стану на свою скоморошью степень.

— Ну, такъ ты человѣкъ пропащій.

— Очень можетъ быть.

— И я думаю, что ты совсѣмъ не тотъ Памфалонъ, котораго мнѣ надобно.

— Я не могу тебѣ на это отвѣтить,—отвѣчалъ скоморохъ:—но только мнѣ кажется, что на этотъ часъ, когда я такъ счастливъ, что могу послужить твоей странноприимной нуждѣ, я теперь, пожалуй, какъ разъ тотъ Памфалонъ, который тебѣ нуженъ, а что тебѣ дальше нужно будетъ, о томъ завтра узнаемъ. Теперь же я умою твои ноги, и ты

покушай, что у меня есть, и ложись спать, а я пойду скоморошить.

— Мнѣ нужно бесѣдъ твоихъ.

— Бесѣдъ!—опять воскликнулъ Памфалонъ.

— Да, мнѣ нужно бесѣдъ твоихъ, я для нихъ пришелъ и не отступлю отъ тебя.

Памфалонъ поглядѣлъ на старца, потрогалъ его за его синій хохолокъ и потомъ вдругъ расхохотался.

— Что же это тебѣ, весельчакъ, такъ смѣшно въ словахъ моихъ?—спросилъ Ермій.

А Памфалонъ отвѣчалъ:

— Прости мнѣ мое безумство. Я это по привычкѣ шутить разсмѣялся. Ты хочешь не отступить отъ меня, а я подумалъ, что мнѣ, пожалуй, и хорошо бы взять тебя и поводить съ собою по городу. Мнѣ бы было выгодно водить тебя напоказъ по Дамаску,—на тебя бы всѣ глядѣть собирались; но мнѣ стыдно, что я такъ о тебѣ подумалъ, и пусть же и тебѣ будетъ стыдно надо мною смѣяться.

— Я ни надъ кѣмъ не смѣюсь, Памфалонъ.

— Такъ зачѣмъ же ты говоришь, что хочешь отъ меня бесѣдъ для своего наученія? Какія наученія могу дать я, дрянной скоморохъ, тебѣ, мужу, имѣвшему силу разсуждать о Богѣ и о людяхъ въ святомъ безмолвіи пустыни? Господь меня не лишилъ совсѣмъ святѣйшаго дара своего—разума, и я знаю разницу, какая есть между мною и тобою. Не оскорбляй же меня, старикъ, позволь мнѣ омыть твои ноги и почивай на моей постели.

— Хорошо,—сказалъ Ермій: —ты хозяинъ въ своемъ домѣ и дѣлай, что хочешь.

Памфалонъ принесъ лахань свѣжей воды и, омывъ ноги гостя, подалъ ему ѣсть, а потомъ уложилъ въ постель и промолвилъ:

— Завтра будемъ говорить съ тобою. А теперь объ одномъ тебя прошу: не тревожься, если кто-нибудь изъ подгулявшихъ людей станетъ стучать ко мнѣ въ дверь или бросать что-нибудь въ стѣну. Это ничего другого не значитъ, какъ празднолюбцы зовутъ меня потѣшать ихъ.

— И ты встаешь и уходишь?

— Да, я иду во всякое время.

— И неужто ты входишь повсюду?

— Конечно, повсюду: я вѣдь скоморохъ и не могу разбирать мѣста.

— Бѣдный Памфалонъ!

— Какъ быть, мой отецъ! Мудрецы и философы моего мастерства не требуютъ, а требуютъ его празднолюбцы. Я хожу на площади, стою у ристалищъ, верчусь на пирахъ, бываю въ загородныхъ рощахъ, гдѣ гуляютъ молодые богачи, а больше все по ночамъ бываю въ домахъ у веселыхъ гетеръ...

При послѣднемъ словѣ Ермій едва не заплакалъ и еще жалостнѣе воскликнулъ:

— Бѣдный Памфалонъ!

— Что дѣлать,—отвѣчалъ скоморохъ:—я, дѣйствительно, очень бѣденъ. Я вѣдь сынъ грѣха и какъ во грѣхѣ зачатъ, такъ съ грѣшниками и выросъ. Ничему другому я, кромѣ скоморошества, не наученъ, а въ мірѣ долженъ былъ жить потому, что здѣсь жила во грѣхѣ зачавшая и родившая меня мать моя. Я не могъ снести, чтобы мать моя протянула къ чужому человѣку руку за хлѣбомъ, и кормилъ ее своимъ скоморошествомъ.

— А гдѣ же теперь твоя мать?

— Я вѣрю, что она у Бога. Она умерла на той же постели, гдѣ ты лежишь теперь.

— Тебя любятъ въ Дамаскѣ?

— Не знаю, что есть слово «любятъ», но меня, пожалуй, и любятъ, и кидаютъ мнѣ деньги за мои забавы и угощаютъ меня за своими столами. Я пью на чужой счетъ дорогое вино и плачу за него моими шутками.

— Ты пьешь вино?

— О, да, что я пью вино и люблю его пить, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Да безъ этого и нельзя для человѣка, который держится веселой компаніи.

— Кто же тебя пріучилъ къ этой компаніи?

— Случай, или, лучше тебѣ сказать, я не умѣю объяснить этого твоему благочестію. Мать моя въ молодости была весела и прекрасна. Отецъ мой былъ знатный человѣкъ. Онъ меня бросилъ, а другіе изъ степенныхъ людей никто меня не взяли, взялъ меня такой же, какъ я, скоморохъ, и много меня билъ и ломалъ, но, все-таки, спасибо ему—онъ меня выучилъ своему дѣлу, и теперь никто лучше меня не кинетъ вверхъ колецъ, чтобы они на лету со-

шлися; никто такъ не щелкаетъ языкомъ, не строитъ рожъ, не плещетъ руками и не митушуетъ ногами, и не троститъ головой.

— И тебѣ это ремесло еще не омерзѣло?

— Нѣтъ, оно часто мнѣ не нравится, особенно когда я вижу, какъ проводятъ у гетеръ время вельможи, которымъ надо бы думать о счастьи народа, и когда въ веселые дома приводятъ цвѣтущую юность, но я въ этомъ воспитанъ, и этимъ однимъ только умѣю добывать себѣ хлѣбъ.

— Бѣдный, бѣдный Памфалонъ! Смотри, вотъ уже и голова твоя забѣлѣлась, а ты все до сей поры плещешь руками, и сѣменишь ногами, и тростишь головой у погибшихъ блудницъ. Ты самъ погибнешь съ ними.

А Памфалонъ отвѣчалъ:

— Не жалѣй меня, что я выкручиваю ногами и верчусь у гетеръ. Гетеры—грѣшницы, но бываютъ къ намъ, слабымъ людямъ, жалостливы. Когда ихъ гости упьются, онѣ сами ходятъ и сами для насъ отъ гулякъ собираютъ даянье, и даже порою съ излишкомъ и съ ласкою для насъ просятъ.

И замѣтивъ, что Ермій отвернулся, Памфалонъ тронулъ его ласково за плечо и молвилъ съ увѣтомъ:

— Вѣрь мнѣ, почтенный старикъ, что живое всегда живымъ остается, и у гетеръ часто бьется въ груди прекрасное сердце. А печально намъ быть на пирахъ у богатыхъ господъ. Вотъ тамъ часто встрѣчаются скверные люди; они горды, надменны и веселья хотятъ, а свободнаго смѣха и шутокъ не терпятъ. Тамъ требуютъ того, чего естество человѣческое стыдится, тамъ угрожаютъ ударенiемъ и ранами, тамъ щиплютъ мою разноперую птицу, тамъ дуютъ и плюютъ въ носъ моей собакѣ Акрѣ. Тамъ ни во что вмѣняютъ всѣ обиды для низшихъ, и на утро... ходятъ молиться для вида.

— О горе! о горе!—прошепталъ Ермій:—вижу, что онъ даже совсѣмъ еще далекъ отъ того, чтобы понимать, въ чемъ погрязъ; но его умъ и его естество, можетъ-быть, добры... Потому я вѣрно для того къ нему и посланъ, чтобы вывесть его одаренную душу на иную путину.

И сказалъ онъ ему вдохновенно:

— Брось свое гадкое ремесло, Памфалонъ.

А тотъ ему спокойно отвѣтилъ:

— Очень бы радъ, да не могу.

— Произнеси глаголъ къ Богу, и Онъ тебѣ поможетъ.

Памфалонъ вздрогнулъ и упавшимъ голосомъ молвилъ:

— Глаголъ!.. зачѣмъ ты читаешь въ душѣ моей то, о чемъ я хочу позабыть!

— Ага! ты вѣрно уже давалъ обѣтъ, и опять его нарушилъ?

— Да, ты отгадалъ: я сдѣлалъ это дурное дѣло — я давалъ обѣтъ.

— Почему же ты называешь обѣтъ дурнымъ дѣломъ?

— Потому что христіанамъ запрещено клясться, и обѣщаться, а я, какой ни есть, все же христіанинъ, и, однако, я давалъ обѣтъ и его нарушилъ. А теперь я знаю, что развѣ можетъ слабый человѣкъ давать обѣтъ Всемогущему, Который предуставилъ, чѣмъ ему быть, и мнетъ его, какъ горшечникъ мнетъ глину на кружалѣ? Да, знай, старичокъ, знай, что я имѣлъ возможность бросить скоморошество и не бросилъ.

— И почему же ты не бросилъ?

— Не могъ.

— Что у тебя за отвѣтъ: все ты «не могъ»! Почему ты и могъ, и не могъ?

— Да, и могъ, и не могъ, потому что... я небрежливъ,— я не могу о своей душѣ думать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь.

Старецъ приподнялся на ложѣ и, вперивъ глаза въ скомороха, воскликнулъ:

— Что ты сказалъ?! Ты ни во что считаешь погубить свою душу на безконечные вѣки вѣковъ, лишь бы сдѣлать что-нибудь въ сей быстрой жизни для другого! Да ты имѣешь ли понятіе о ярящемся пламени ада и о глубинѣ вѣчной ночи?

Скоморохъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Нѣтъ, я ничего не знаю объ этомъ. Да и какъ я могу знать о жизни мертвыхъ, когда я не знаю даже всего о живыхъ? А ты знаешь о тартарѣ, старецъ?

— Конечно!

— А между тѣмъ, я вижу, и ты не знаешь о многомъ, что есть на землѣ. Мнѣ это странно. Я тебѣ говорю, что я человѣкъ негодный, а ты мнѣ не вѣришь. А я не повѣрю тебѣ, что ты знаешь о мертвыхъ.

— Несчастный! да ты имѣешь ли даже понятіе о самомъ Божествѣ?

— Имѣю, только очень малыя понятія, но въ томъ не ожидаю себѣ великаго осужденія, потому что я вѣдь не выросъ въ благородной семьѣ, я не слушалъ уроковъ у схоластиковъ въ Византіи.

— Бога можно знать и служить Ему безъ науки схоластиковъ!

— Я съ тобою согласенъ и такъ всегда говорилъ въ умѣ съ Богомъ: Ты Творецъ, а я тварь—мнѣ Тебя не понять, Ты меня всунулъ для чего въ эту кожаную ризу и бросилъ сюда на землю трудиться, я и таскаюсь по землѣ, ползаю, тружусь. Хотѣлъ бы узнать: для чего это все такъ мудрено сотворено, да я не хочу быть какъ лѣнивый рабъ, чтобы о Тебѣ со всѣми пересуживать. Я буду Тебѣ просто покоренъ и не стану разузнавать, что Ты думаешь, а просто возьму и исполню, что Твой перстъ начерталъ въ моемъ сердцѣ! А если дурно сдѣлаю, — Ты прости, потому что вѣдь это Ты меня создалъ съ жалостнымъ сердцемъ. Я съ нимъ и живу.

— И ты на этомъ надѣешься оправдаться?

— Ахъ, я ни на что не надѣюсь, а я просто ничего не боюсь.

— Какъ! ты и Бога не боишься?!

Памфалонъ пожалъ плечами и отвѣтилъ:

— Право, не боюсь: я Его люблю.

— Лучше трепещи!

— Зачѣмъ? Ты развѣ трепещешь?

— Трепеталъ.

— И нынче усталъ?

— Я уже не тотъ, что былъ прежде когда-то.

— Навѣрно ты сдѣлался лучше?

— Не знаю.

— Это ты хорошо сказалъ. Знаетъ тотъ, кто со стороны смотритъ, а не тотъ, кто свое дѣло дѣлаетъ. Кто дѣлаетъ, тому на себя не видно.

— А ты себя когда-нибудь чувствовалъ хорошо?

Памфалонъ промолчалъ.

— Я умоляю тебя,—повторилъ Ермій:—скажи мнѣ, ты когда-нибудь чувствовалъ себя хорошо?

— Да,—отвѣчалъ скоморохъ:—я чувствовалъ.

— А когда это было?

— Представь, это было именно въ тотъ самый часъ, когда я себя отъ Него удалилъ...

— Боже! что говоритъ этотъ безумецъ!

— Я говорю сущую правду.

— Но чѣмъ и какъ ты отдалилъ себя отъ Бога.

— Я это сдѣлалъ за единый вздохъ.

— Отвѣть же мнѣ, что ты сдѣлалъ?

Памфалонъ хотѣлъ отвѣчать, что съ нимъ было, но въ это самое мгновеніе цыновку, которою была завѣшана дверь, откинули двѣ молодыя смуглыя женскія руки въ запястьяхъ, и два звонкіе женскіе голоса сразу наперебой заговорили:

— Памфалонъ, смѣхотворный Памфалонъ! скорѣй поднимайся и иди съ нами. Мы бѣжали впотьмахъ бѣгомъ за тобою отъ нашей гетеры... Спѣши скорѣй, у насъ полонъ гротъ и аллеи богатыхъ гостей изъ Коринѳа. Бери съ собой кольца, и струны, и Акру, и птицу. Ты нынче въ ночь можешь много заработать за свое смѣхотворство и хоть немножко вернешь свою большую потерю.

Ермій взглянулъ на этихъ женщинъ, и ихъ лоснящаяся, теплая кожа, ихъ полурастворенные рты и замутившіеся глаза съ обращеннымъ въ пространство взоромъ, совершенное отсутствіе мысли на лицахъ и запахъ ихъ страстнаго тѣла ошибли его. Пустыннику показалось, что онъ слышитъ даже глухой рокотъ крови въ ихъ жилахъ, и въ отдаленіи топотъ копытъ и сопѣнье, и запахъ остраго пота Силена.

Ермій затрясся отъ страха, завернулся къ стѣнѣ и закрылъ свою голову рогожей.

А Памфалонъ тихо молвилъ, нагнувшись въ его сторону:

— Вотъ видишь, досугъ ли мнѣ размышлять о высокомъ! — и, сразу же перемѣнивъ тонъ на громкій и веселый, онъ отвѣчалъ женщинамъ:

— Сейчасъ, сейчасъ иду къ вамъ, мои нильскія змѣйки.

Памфалонъ свистнулъ свою Акру, взялъ шестъ, на которомъ въ обручѣ сидѣла его пестрая птица, и, захвативъ другіе свои скоморошьи снаряды, ушелъ, загасивъ лампу.

Ермій остался одинъ въ пустомъ жилищѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Ермій не скоро позабылся сномъ. Онъ долго размышлялъ,

какъ ему согласить въ своемъ понятіи то, для чего онъ шелъ сюда, съ тѣмъ, что здѣсь находитъ. Конечно, можно сразу видѣть, что скоморохъ человѣкъ добраго сердца, но все же онъ человѣкъ легкомысленный: онъ потѣхи множитъ, руками плещетъ, ногами танцуетъ и трестить головой, а оставить эти бѣсовскія потѣхи не желаетъ. Да и можетъ ли онъ сдѣлать это, такъ далеко затянувшись въ разгульную жизнь? Вотъ гдѣ онъ, напримѣръ, находится теперь, послѣ того, какъ ушелъ съ этими безстыжими женщинами, послѣ которыхъ еще стоитъ въ воздухѣ рокотанье ихъ крови и вѣянье страстнаго пота Силена?

Если таковы были посланницы, то какова же должна быть та, которой онѣ служатъ въ ея развращенномъ домѣ!..

Отшельникъ содрогнулся.

Для чего же было ему, послѣ тридцати лѣтъ стоянія, слѣзать со скалы, идти многіе дни съ страшной истомой, чтобы прійти и увидѣть въ Дамаскѣ... ту же темную скверну грѣха, отъ которой онъ бѣжалъ изъ Византіи? Нѣтъ, вѣрно не ангелъ Божій его сюда послалъ, а искусительный демонъ! Нечего больше и думать объ этомъ, надо сейчасъ же встать и бѣжать.

Тяжело было старцу подняться, — ноги его устали, путь далекъ, пустыня жарка и исполнена страховъ; но онъ не пощадилъ своего тѣла... онъ встаетъ, онъ бредетъ во тьмѣ по стогнамъ Дамаска, пробѣгаетъ ихъ: пѣсни, пьяный звонъ чашъ изъ домовъ и страстные вздохи нимфъ и самый Силенъ — все напротивъ его, какъ волны прибоя; но ногамъ его дана небывалая сила и бодрость. Онъ бѣжитъ, бѣжитъ, видитъ свою скалу, хватается за ея кремнистыя ребра, хочетъ влѣзть въ свою расщелину, но чья-то страшно могучая рука срываетъ его за ноги внизъ и ставитъ на землю, а незримый голосъ грозно говоритъ ему:

— Не отступай отъ Памфалона, проси его разсказать тебѣ, какъ онъ совершилъ дѣло своего спасенія.

И съ этимъ Ермія такъ дунуло вспять, что онъ едва не задохся отъ бури, и, открывъ глаза, видитъ день, и онъ опять въ жилищѣ Памфалона, и самъ скоморохъ тутъ лежитъ, упавъ на голомъ полу, и спитъ, а его песъ и разноперая птица дремлютъ...

Возлѣ изголовья Ермія стояли два сосуда изъ глины—

одинъ съ водою, другой съ молокомъ, и на свѣжихъ зеленыхъ листахъ мягкій козій сыръ и сочные фрукты.

Ничего этого съ вечера здѣсь не было...

Значитъ, пустынникъ спалъ крѣпко, а его усталый хозяинъ, когда возвратился, еще не прямо легъ спать, а прежде послужилъ своему гостю.

Скоморохъ поставилъ гостю все, что гдѣ-то досталъ, чтобы гость утромъ всталъ и могъ подкрѣпиться...

Ни сыру, ни плодовъ въ домѣ у Памфалона не было, а все это, очевидно, ему было дано тамъ, гдѣ онъ вертѣлся и тѣшилъ гулякъ у гетеры.

Онъ взялъ подачку отъ гетеры и принесъ это страннику.

«Чудакъ мой хозяинъ», — подумалъ Ермій и, вставъ съ постели, подошелъ къ Памфалону, взглянулъ въ лицо его и засмотрѣлся. Вчера вечеромъ онъ видѣлъ Памфалона при лампѣ и готоваго на скоморошество, съ завитою головою и съ лицомъ, разрисованнымъ красками, а теперь скоморохъ спалъ, смывъ съ себя скоморошье мазанье, и лицо у него было тихое и прекрасное. Ермію казалось, будто это совсѣмъ не человѣкъ, а ангелъ.

«Что же! — подумалъ Ермій: — можетъ-быть, я не обманутъ; можетъ-быть, не было надо мной искушенія, а это именно тотъ самый Памфалонъ, который совершеннѣе меня и у котораго мнѣ надо чему-то научиться. Боже! какъ это узнать? Какъ разрѣшить это сомнѣнье?»

И старикъ заплакалъ, опустился передъ скоморохомъ на колѣни и, обнявъ его голову, сталъ звать со слезами его по имени.

Памфалонъ проснулся и спросилъ:

— Что тебѣ угодно отъ меня, мой отецъ?

Но, увидѣвъ, что старецъ плачетъ, Памфалонъ встревожился, спѣшно всталъ и началъ говорить:

— Зачѣмъ я вижу слезы на старомъ лицѣ твоемъ? Не обидѣлъ ли тебя кто-нибудь?

А Ермій ему отвѣчаетъ:

— Никто меня не обидѣлъ, кромѣ тебя, потому что я пришелъ къ тебѣ изъ моей пустыни, чтобы узнать отъ тебя для себя полезное, а ты не хочешь сказать мнѣ, чѣмъ ты угождаешь Богу; не скрывайся и не мучь меня: я вижу, что живешь ты въ жизни суетной, но мнѣ о тебѣ явлено, что ты Богу любезенъ.

Памфалонъ задумался, и потомъ говоритъ:

— Повѣрь, старикъ, что въ моей жизни нѣтъ ничего такого, что̀ бы можно взять въ похвалу, а, напротивъ, все скверно.

— Да ты, можетъ-быть, самъ не знаешь?

— Ну, какъ не знать! Я знаю, что живу, какъ ты самъ видишь, въ суетѣ, и вдобавокъ еще имѣю такое дрянное сердце, которое даже не допускаетъ меня стать на лучшую степень.

— Ну, вотъ скажи мнѣ хоть объ этомъ: какой вредъ сдѣлало тебѣ твое сердце и какъ оно не допускаетъ тебя стать на иной степень? Какъ это было, что ты почувствовалъ себя хорошо, когда сдѣлалъ дурно?

— Ага! про это изволь, — отвѣчалъ Памфалонъ: — если ты такъ уже непремѣнно этого требуешь, то я тебѣ разскажу этотъ случай, но только ты послѣ моего разсказа навѣрно не захочешь ко мнѣ возвратиться. Возстанемъ же лучше и пойдемъ отсюда за городъ, въ поле: тамъ на свободѣ я разскажу тебѣ про то происшествіе, которое совсѣмъ меня отдалило отъ надежды исправленія.

— Пойдемъ, Бога ради, скорѣе, — отвѣчалъ Ермій, покрываясь своими ветхими лохмотьями.

Они оба вышли за городъ, сѣли надъ дикимъ, обрывистымъ рвомъ, у ногъ ихъ легла Акра, и Памфалонъ началъ сказывать.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

— Ни за что я не сталъ бы тебѣ разсказывать, — началъ Памфалонъ: — о чемъ ты меня просишь; но какъ ты непремѣнно хочешь считать меня за хорошаго человѣка, а мнѣ отъ этого стыдно, потому что я этого не стою, а стою одного лишь презрѣнья, то я разскажу. Я большой грѣшникъ и бражникъ, но, что̀ всего хуже еще, — я обманщикъ, и не простой обманщикъ, а я обманулъ Бога въ данномъ Ему обѣтѣ какъ разъ въ то самое время, когда получилъ невѣроятнымъ образомъ возможность обѣтъ свой исполнить. Слушай, пожалуйста, и суди меня строго. Я желаю въ твоемъ судѣ получить цѣлебную рану, какую заслужилъ себѣ въ наказаніе.

Нечистоту моей скоморошьей жизни ты видѣлъ и все дальнѣйшее посему понять можешь. Кругомъ я грязенъ и

скверенъ. Я тебѣ правду сказалъ, что разсуждать о божественномъ я не наученъ и по жизни моей мнѣ рѣдко когда это приходитъ на мысль; но ты прозорливъ, — бывали случаи, что и я о своей душѣ думалъ. Вертишься ночь бражникамъ на потѣху, а когда передъ утромъ домой возвращаешься и задумаешься: стоитъ ли этакъ жить? Грѣшишь для того, чтобъ пропитаться, а питаешься для того, чтобъ грѣшить. Все такъ и вертится. Но человѣкъ вѣдь, отче, лукавъ, и во всякомъ своемъ положеніи ищетъ себѣ смоковничьи листья, чтобы прикрыть свою срамоту. Таковъ же и я; и я себѣ не разъ думалъ: я въ грѣхѣ погрязъ отъ нужды, я что добуду, тѣмъ едва пропитаюсь; вотъ если бы у меня сразу случились такія деньги, чтобы я могъ купить хоть очень малое поле и работать на немъ, такъ тогда бы я сейчасъ же оставилъ свое скоморошье и сталъ бы жить какъ другіе степенные люди. Да не могъ я этого достичь, и не потому, чтобы никогда въ мои руки денегъ не попадало—нѣтъ, деньги бывали, а всегда что-нибудь такое случалось, что я не успѣю собрать сколько нужно, какъ уже все собранное и растрачу; случится кто-нибудь въ горѣ, и мнѣ его станетъ жаль, и я промотаюсь. Если бы мнѣ вразъ пришло въ руки много денегъ, тогда бы я навѣрно скоморошество оставилъ и перешелъ на степенность, а шить лоскутъ къ лоскуту я не умѣю. Зачѣмъ меня Богъ такъ устроилъ? Но если Онъ щедрой рукой когда-нибудь вразъ мнѣ поможетъ, — ну, тогда я воздержусь и стану жить хорошо, какъ прочіе благородные люди, которыхъ почитаютъ и монахи, и клирики, и всѣ ожидающіе себѣ царствія небеснаго.

И что же ты думаешь! точно какъ съ того будто слова случилось: вдругъ выпалъ мнѣ такой удивительный случай, о какомъ, казалось, невозможно было и думать. Слушай прилежно меня и суди меня строго.

Вотъ что было разъ въ моей жизни.

Былъ я позванъ однажды тѣшить гостей у одной здѣшней гетеры Азеллы. Она немолода, но ея красота долголѣтня, и Азелла всѣхъ здѣсь красивѣй, пышнѣй и умнѣе. Гостей было много, и все чужеземцы изъ Рима и хвастуны-богачи изъ Коринѳа. Всѣ упивались виномъ и меня безпрестанно заставляли играть имъ и пѣть. Другіе хотѣли, чтобы я смѣшилъ ихъ, и я всѣмъ угождалъ, какъ хотѣли.

А когда я уставалъ, они не желали этого знать и надо мною обидно смѣялись, толкали, насильно поили виномъ, въ которое сыпали непріятную подмѣсь; обливали меня и злили мою бѣдную Акру. Они дергали ее за ляжки и плевали ей въ носъ, а когда Акра рычала, они ее били и даже грозились убить; я все это сносилъ, лишь бы побольше отъ нихъ заработать, потому что, признаюсь тебѣ, мнѣ надобно было тогда отправить на родину одного калѣку-воина. Зато умная гетера Азелла, видя какъ меня обижали, обратила это все въ мою пользу: она раскрыла свою тунику и заставила всѣхъ кинуть мнѣ нѣсколько денегъ, гости же сильяну набросали мнѣ много, а особенно одинъ горделивый и тучный Оръ коринѳянинъ, съ надутымъ брюхомъ, безъ шеи. Оръ громко сказалъ:

— Покажи мнѣ, Азелла, много ли золота всѣ положили въ твою тунику.

Она показала.

Оръ же взглянулъ и, скосивши лицо съ надменной усмѣшкой на римлянъ, добавилъ:

— Слушай меня, что скажу я, Азелла: прогони сейчасъ отъ себя всѣхъ этихъ гостей и возьми за то у слуги моего вдесятеро противъ того, что они всѣ положили твоему скомороху.

Азелла сказала гостямъ:

— Мудрые люди: Фортуна спускается къ смертнымъ не часто, а къ Памфалону она еще во всю жизнь не сходила. Дайте ей мѣсто, а сами идите спокойно ко сну.

Недовольные гости ушли, а Азелла проводила меня послѣдняго и дала мнѣ такъ много денегъ, что я не могъ счесть ихъ, а утромъ, когда сталъ сосчитывать, насчиталъ двѣсти тридцать златницъ. Я и обрадовался, и вмѣстѣ съ тѣмъ испугался.

«Вотъ,—подумалъ я:—случай, послѣ котораго я уже не долженъ болѣе служить скоморошьимъ потѣхамъ. Это точно Богъ внялъ моему обѣщанью. Никогда еще у меня не бывало за разъ столько денегъ. Довольно же меня всѣмъ обижать и надо мной насмѣхаться. Теперь я не бѣднякъ. За эти деньги я вчера снесъ большія обиды, но зато впередъ этого больше не будетъ. Конецъ скоморошью! Я отыщу себѣ небольшое поле, съ ключомъ чистой воды и съ многолиственной пальмой. Куплю это поле и стану жить честно,

какъ всѣ люди, съ которыми не стыдятся вести знакомство ни клиръ, ни монахи».

И я предался разнороднымъ мечтаньямъ, сталъ любоваться собою, какъ я буду жить достойною жизнью: буду рано утромъ вставать, а не то что теперь,—только утромъ ложиться; не буду свистать, а стану пѣть псалмы; буду днемъ работать въ *своемъ* виноградникѣ, а вечеромъ сяду у *своего* ручья подъ *своей* пальмой и стану размышлять о *своей* душѣ да выглядывать путника. А покажется путникъ, я поднимусь и пойду ему навстрѣчу, приглашу его къ себѣ, приму его въ домъ, успокою, угощу и потомъ поведу съ нимъ въ тишинѣ подъ звѣзднымъ небомъ бесѣду о Богѣ. Перемѣнится совсѣмъ къ лучшему жизнь моя и не буду я скоморохомъ въ старости, когда оскудѣютъ мои силы. А чтобы рѣшеніе мое еще болѣе окрѣпло и слабость ко мнѣ ни отколь не подкралась, я завязалъ себѣ руки неразрывною цѣпью... Я сдѣлалъ то, о чемъ ты говорилъ, я поклялся съ этого раза сталъ совсѣмъ инымъ человѣкомъ. Но послушай же, что затѣмъ сталось и передъ чѣмъ я не устоялъ въ клятвѣ и обѣщаніи.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Чтобы ничего не истратить, я не пошелъ отправлять домой убогаго воина, а зарылъ всѣ мои деньги въ землю у себя подъ изголовьемъ и утромъ не поднималъ моей цыновки. Я притворился больнымъ и не хотѣлъ ни одного раза больше идти на гульбу съ бражниками. Всѣмъ, кто приходилъ меня звать, я отвѣчалъ, что я боленъ и пойду за городъ въ горы подышать свѣжимъ воздухомъ и поискать на болѣзнь мою цѣлебную траву. А самъ пробрался потихоньку къ сводчику, къ жиду Капитону, который знаетъ все, гдѣ что продается, и просилъ его отыскать мнѣ хорошее поле съ водою и съ пальмовой тѣнью. Капитонъ-сводчикъ меня сразу обрадовалъ.

— Есть,—говоритъ:—у меня на виду какъ разъ то, что тебѣ нужно.

И описалъ мнѣ продажное поле такъ хорошо, какъ я самъ не умѣлъ о немъ и подумать. Есть тамъ и ключъ, и пальма, да еще и бальзамный кустъ, отъ котораго струитъ ароматомъ на цѣлое поприще.

— Иди,—говорю:—и купи мнѣ скорѣй это поле.

Жидъ обѣщалъ все устроить.

«Вотъ,—думалъ я:—теперь уже совсѣмъ наступаетъ конецъ моей безпорядочной жизни, теперь я брошу всѣ мои крики и свисты, сниму всѣ смѣшные наряды, надѣну на себя степенный левитонъ, покрою голову платомъ и буду работать день на полѣ, а вечеромъ стану сидѣть у своей кущи и подражать гостепріимству Авраама».

Но не скрою отъ себя, — во все это время я ощущалъ безпокойство. Все мнѣ казалось, что ничего того, что я затѣялъ, не будетъ.

На обратномъ пути отъ Капитона объялъ меня страхъ: не узналъ ли кто, что я получилъ деньги отъ гордаго коринѳянина, и не пришелъ ли безъ меня и не укралъ ли моихъ денегъ изъ того мѣста, гдѣ я ихъ зарылъ у себя подъ постелью?.. Побѣжалъ я домой шибко, въ тревогѣ, какой ранѣе никогда еще не зналъ, а прибѣжавъ, сейчасъ же прилегъ на землю, раскопалъ свою похоронку и пересчиталъ деньги: всѣ двѣсти тридцать златницъ, которыя бросилъ мнѣ гордый Оръ коринѳянинъ, были цѣлы, и я взялъ и опять ихъ зарылъ и самъ легъ на нихъ какъ собака.

И хочешь ли знать, кого я боялся? Мнѣ страшно было не однихъ тѣхъ воровъ, что ходятъ и крадутъ, а я боялся и того вора, что жилъ вѣчно со мной въ моемъ сердцѣ. Я не хотѣлъ знать ни о чьемъ несчастьи, чтобы оно не лишило меня той твердости, которая нужна человѣку, желающему исправить путь своей собственной жизни, не обращая вниманія на то, что гдѣ-нибудь дѣлается съ другими. Я не виноватъ въ ихъ несчастіяхъ.

А такъ какъ я, ходя къ Капитону и возвращаясь назадъ, изрядно усталъ, то меня одолѣлъ сонъ, но и сонъ этотъ былъ тоже исполненъ тревоги: то я видѣлъ, что давно уже купилъ себѣ сказанное Капитономъ поле и живу уже въ свѣтломъ домѣ и близко меня журчитъ родникъ свѣжей воды, и бальзамный кустъ мнѣ точитъ ароматъ, и вѣтвистая пальма меня отѣняетъ. То во всей этой красотѣ все что-то портитъ: въ родникѣ я вижу бездну піявицъ, вокругъ пальмы прыгаютъ огромныя жабы, а подъ самымъ бальзамнымъ кустомъ извивается аспидъ. Увидавъ аспида, я такъ испугался, что даже проснулся, и сейчасъ подумалъ: цѣлы ли мои деньги? Онѣ были цѣлы—я лежалъ на

нихъ, и никто ихъ не могъ взять безъ насилія. И вотъ мнѣ пришла мысль, что богатство, которое мнѣ бросилъ Оръ у Азеллы, вѣроятно, не осталось до сихъ поръ тайной въ Дамаскѣ. Не съ тѣмъ кинулъ мнѣ деньги на пиру у гетеры гордый коринѳянинъ Оръ, чтобы это оставалось въ тайнѣ. Онъ, конечно, для того только это и сдѣлалъ, чтобы всѣ завидовали его богатству и распускали молву, которая лестна для его гордости. И вотъ теперь люди узнаютъ, что у меня есть деньги, и придутъ ко мнѣ ночью и меня ограбятъ, и изобьютъ, а если я стану имъ сопротивляться, то они совсѣмъ убьютъ меня.

А какъ у меня цыновка была опущена, то въ горницѣ стало нестерпимо душно, и я подошелъ приподнять цыновку и вижу, что по улицѣ идутъ два малолѣтнихъ мальчика съ корзинами, полными хлѣба, а передъ ними оселъ, который тоже нагруженъ такими же корзинами съ хлѣбомъ. Мальчики погоняютъ осла и разговариваютъ между собою... обо мнѣ!

— Вотъ,—говоритъ одинъ:—нашъ Памфалонъ нынче уже и цыновки своей не открываетъ.

— Да зачѣмъ ему теперь открывать ее,—отвѣчаетъ другой: — ему больше не нужно кривляться: онъ богачъ — можетъ спать сколько захочетъ. Ты вѣдь, я думаю, слышалъ, что разсказывали всѣ, которые приходили сегодня къ намъ въ пекарню за хлѣбомъ.

— Какъ же, какъ же, я даже такъ заслушался, что хозяинъ далъ мнѣ за это во всю ладонь подзатыльникъ. Какой-то гордецъ изъ Коринѳа, чтобы унизить нашихъ дамасскихъ богачей, бросилъ Памфалону у гетеры Азеллы десять тысячъ златницъ. Онъ теперь купитъ домъ и сады, и невольницъ, и будетъ лежать у фонтана.

— Не десять, а двадцать тысячъ златницъ,—поправилъ другой:—и притомъ деньги эти были еще въ ящикѣ, осыпанномъ перлами. Онъ куситъ навѣрное поле съ чертогомъ, поставитъ вокругъ себя самыхъ красивыхъ мальчиковъ съ опахалами и станетъ сбирать разныхъ ученыхъ и заставлять ихъ разсуждать на разныхъ языкахъ о Святомъ Духѣ.

Изъ этого разговора мальчиковъ, развозившихъ хлѣбъ изъ пекарни, я узналъ, что случай моего неожиданнаго обогащенія уже извѣстенъ всему Дамаску, а притомъ и са-

мая сумма, которою я обладалъ по прихоти горделиваго Ора, была болѣе чѣмъ въ десять разъ преувеличена.

Да и кто могъ навѣрно знать, что сумма, брошенная мнѣ гордецомъ Оромъ, заключалась менѣе чѣмъ въ трехстахъ литрахъ, а совсѣмъ не въ двадцати тысячахъ златницъ? Конечно, это зналъ только одинъ я, потому что и самъ Оръ, безъ сомнѣнія, не считалъ того, что онъ мнѣ кинулъ.

Но и это было еще маловажно въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ закончили свой разговоръ проходившіе мальчики. Одинъ изъ нихъ продолжалъ, будто всѣхъ очень занимаетъ, куда я спряталъ теперь такое богатство, какъ двадцать тысячъ златницъ. Особенно же этимъ будто интересовался флейтщикъ Аммунъ, отчаянный головорѣзъ, который прежде былъ воиномъ въ двухъ взаимно враждовавшихъ арміяхъ, потомъ разбойникомъ, убивавшимъ богомольцевъ, а послѣ еще монахомъ въ Нитрійской пустынѣ и, наконецъ, явился сюда къ намъ въ Дамаскъ съ флейтою и черной блудницей, завернутой въ милоть нитрійскаго брата. Брата онъ, вѣрно, убилъ, а блудницу продалъ въ веселый домъ нагишомъ, а милоть обтиралъ долго пыль и грязь съ ногъ гулякъ, подходящихъ вечерами къ порогамъ гетеръ. Онъ также часто игралъ на своей флейтѣ при моихъ представленіяхъ, но еще чаще гетеры отгоняли его. Аммунъ самъ былъ виноватъ, потому что онъ безъ стыда началъ румянить себѣ щеки и наводить брови, какъ особа обоего пола. Этимъ онъ сдѣлался мерзокъ для женщинъ, какъ ихъ соперникъ. Меня Аммунъ страшно ненавидѣлъ. Я даже зналъ, что онъ уже нѣсколько разъ научалъ пьяныхъ людей напасть на меня ночью и сдѣлать мнѣ вредъ.

Теперь желанье сдѣлать мнѣ вредъ въ Аммунѣ, конечно, должно было усилиться, а его старинные разбойничьи навыки могли помочь ему привести задуманное имъ злодѣйство въ исполненіе. У него уже было золото, и онъ бралъ себѣ людей въ кабалу и заставлялъ ихъ дѣлать, что скажетъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Мысль объ опасности, угрожающей мнѣ отъ Аммуна, пролетѣла въ моей головѣ, какъ молнія, и такъ овладѣла мною, что даже помѣшала мнѣ отнять рогожу отъ окна и воро-

тить прошедшихъ мимо мальчиковъ, у которыхъ мнѣ надо было купить для себя свѣжихъ хлѣбовъ.

Скача и вертясь за то, что мнѣ кинутъ, я всегда былъ сытъ и даже очень нерѣдко подкрѣплялъ себя вволю виномъ, а теперь, когда у меня было золото, я впервые провелъ весь день и безъ пищи, и безъ глотка вина, а притомъ еще и въ тревогѣ, которая возрастала такъ же быстро, какъ быстро сгущаются наши сумерки, переходящія въ темную ночь.

Мнѣ было не до пищи: я страшился за цѣлость моего богатства и за мою жизнь. Флейтщикъ Аммунъ такъ и стоялъ съ своими кабальными передъ глазами напуганной души моей. Я думалъ, это непремѣнно такъ и есть: вотъ онъ днемъ обѣгалъ уже всѣхъ подобныхъ ему, согласныхъ на злодѣйства, и теперь, при наступающей темнотѣ, всѣ они собрались въ какой-нибудь пещерѣ или корчемницѣ, а какъ совсѣмъ стемнѣетъ, они придутъ сюда, чтобы взять отъ меня двадцать тысячъ златницъ. Когда же они не найдутъ у меня столько, сколько думаютъ, то они не повѣрятъ, что коринѳянинъ Оръ не дарилъ мнѣ такой суммы, и станутъ меня жечь и пытать.

И тутъ вдругъ я, къ ужасу своему, вспомнилъ, что я никогда какъ слѣдуетъ не заботился о крѣпости запоровъ для своего бѣднаго жилища... Я закрывалъ его на время моего отсутствія болѣе только для вида, а ночью часто спалъ, даже совсѣмъ не положивъ болтовъ ни на двери мои, ни на окна.

Теперь это не годилось, и какъ время уже совсѣмъ приблизилось къ ночи, то надо было поспѣшить все пересмотрѣть, и что можно поскорѣе придадить, чтобы не такъ легко было ко мнѣ ворваться.

Я придумалъ, какъ можно подпереть изнутри мою дверь; но только-что сталъ это подстраивать, какъ вдругъ неожиданно, передъ самыми глазами моими, моя цыновка распахнулась и ко мнѣ не взошелъ, а точно чужою сильною рукою былъ вброшенъ весь закутанный человѣкъ. Онъ, какъ впалъ ко мнѣ, такъ обвилъ мою шею и замеръ, простонавъ стчаяннымъ голосомъ:

— Спаси меня, Памфалонъ!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Съ тѣми мыслями, какихъ я былъ полонъ въ эту минуту и чего въ тревогѣ опасался отъ Аммуна, я прежде всего заподозрѣлъ, что это начинается его дѣло, затѣянное съ какою-нибудь хитростію, въ которыхъ разбойничій умъ Аммуна былъ очень искусенъ.

Я уже ждалъ боли, которую долженъ былъ ощутить отъ погруженія въ мою грудь остраго ножа рукою впавшаго ко мнѣ гостя, и, охраняя жизнь свою, съ такою силою оттолкнулъ отъ себя этого незнакомца, что онъ отлетѣлъ отъ меня къ стѣнѣ и, споткнувшись на обрубокъ, упалъ въ уголъ. А я тотчасъ же сообразилъ, что мнѣ легче будетъ управиться съ однимъ человѣкомъ, который притомъ показался мнѣ слабымъ, чѣмъ съ нѣсколькими за нимъ слѣдующими, и потому я поскорѣе примкнулъ заставицу и задвинулъ крѣпкій засовъ, а потомъ взялъ въ руки сѣкиру и сталъ прислушиваться. Я твердо рѣшился ударить сѣкирою всякаго, кто бы ни показался въ мое жилище, а въ то же время не сводилъ глазъ съ того пришельца, котораго отшвырнулъ отъ себя въ уголъ.

Онъ сталъ мнѣ казаться страненъ тѣмъ, что неподвижно лежалъ въ углу, куда упалъ, и занималъ такъ мало мѣста, какъ ребенокъ, а въ то же время онъ совсѣмъ не обнаруживалъ ничего противъ меня ухищреннаго, а напротивъ, былъ будто заодно со мною. Онъ зорко слѣдилъ за каждымъ моимъ движеніемъ и, учащенно дыша, шепталъ:

— Запрись!.. скорѣй запрись!.. скорѣй запрись, Памфалонъ!

Меня это удивило, и я сурово сказалъ:

— Хорошо, я запрусь, но тебѣ что отъ меня нужно?

— Подай мнѣ поскорѣе твою руку, дай мнѣ испить и посади меня у твоей лампы. Тогда я скажу тебѣ, что мнѣ нужно.

— Хорошо,—отвѣчалъ я:—каковы бы ни были твои замыслы, но вотъ тебѣ моя рука и вотъ чаша воды и мѣсто у моей лампы.

Съ этимъ я протянулъ гостю руку, и передо мною вспорхнуло легкое дѣтское тѣло.

— Ты не мужчина, а женщина!—вскричалъ я.

А гость мой, говорившій до сей поры шопотомъ, отвѣчаетъ мнѣ женскимъ голосомъ:

— Да, Памфалонъ, я женщина,—и съ этимъ она распахнула на себѣ темную епанчу, въ которую была завернута, и я увидалъ молодую, прекрасную женщину, съ лицомъ, которое мнѣ было знакомо. На немъ вмѣстѣ съ красотою отражалось ужасное горе. Голова ея была покрыта дробнымъ плетеніемъ волосъ и тѣло умащено сильнымъ запахомъ амбры, но она не имѣла безстыдства, хотя говорила ужасныя вещи.

— Посмотри, хороша или нѣтъ я? — спросила она, отѣпяясь одною рукою отъ лампы.

— Да,—отвѣчалъ я:—ты безспорно красива, и тебѣ лучше не терять своего времени со мною. Что тебѣ нужно?

А она говоритъ:

— Ты не узналъ меня вѣрно. Я Магна, дочь Птоломея съ Альбиной. Купи меня, купи, Памфалонъ-скоморохъ, дочь Птоломея—у тебя теперь много богатства, а Магнѣ золото нужно, чтобъ спасти мужа и избавить дѣтей изъ неволи.

И, орошая щеки слезами, Магна стала торопливой рукой разрѣшать на себѣ поясъ туники.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Старикъ! я видалъ много людей, но такой странной гостьи у меня еще никогда не случалось... Она и продавала себя, и страдала, и все это вмѣстѣ меня какъ будто сдавило за сердце.

Имя *Магна* принадлежало самой прекрасной, именитой и несчастной женщинѣ въ Дамаскѣ. Я зналъ ее еще въ дѣтствѣ, но не видалъ ее съ тѣхъ поръ, какъ Магна удалилась отъ насъ съ византійцемъ Руфиномъ, за котораго вышла замужъ по волѣ своего отца и своей матери, гордой Альбины.

— Остановись!—вскричалъ я:—я тебя узнаю: ты въ самомъ дѣлѣ благородная Магна, дочь Птоломея, въ садахъ котораго я съ позволенія твоего отца не разъ забавлялъ тебя въ дѣтствѣ моими играми и получалъ изъ твоихъ ласковыхъ рукъ монеты и пшеничный хлѣбъ, изюмъ и гранатовыя яблоки! Говори мнѣ скорѣе, что съ тобой сдѣлалось, гдѣ твой супругъ, роскошный богачъ-византіецъ Руфинъ, котораго ты такъ любила? Неужто его поглотили волны моря, или молодую жизнь его пресѣкъ мечъ переплывшаго Понтъ скиѳскаго варвара? Гдѣ же твоя семья, гдѣ твои дѣти?

Магна, потупясь, молчала.

— Скажи же, по крайней мѣрѣ, когда ты явилась въ Дамаскъ и затѣмъ ты не у своихъ здѣшнихъ родныхъ или не у прежнихъ богатыхъ подругъ—у умной Фотины, у ученой Таоры или у премудренной Сильвіи-дѣвы? Зачѣмъ быстрыя ноги твои принесли тебя къ бѣдному жилищу безславнаго скомороха, надъ которымъ ты сейчасъ такъ жестоко посмѣялась, сдѣлавъ мнѣ въ шутку такое нестаточное предложеніе?

Но Магна грустно покачала головою и проговорила въ отвѣтъ:

— Ты, Памфалонъ, не знаешь всѣхъ моихъ ужасныхъ несчастій! Я не смѣюсь: я пришла продать себя не для шутки. Мужъ мой и дѣти!.. Мужъ мой и дѣти мои всѣ въ неволѣ. Мое горе ужасно!

— Ну, такъ скорѣе скажи мнѣ, что это за горе, и если я могу тебѣ пособить, я все съ радостью тотчасъ исполню.

— Хорошо, я все скажу тебѣ,—отвѣчала Магна.

И тутъ-то, пустынникъ, постигло меня то искушеніе, за которымъ я позабылъ и обѣтъ мой, и клятву, и самую вѣчную жизнь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Я звалъ Магну съ раннихъ дней ея юности. Я не былъ въ домѣ ея отца, а былъ только въ саду, какъ скоморохъ, когда меня звали, чтобы потѣшить ребенка. Гостей важныхъ къ нимъ было мало, потому что великолѣпный Птоломей держалъ себя горде и съ людьми нестрогой жизни не зналъ. Въ его домѣ не было такихъ сборищъ, при которыхъ былъ нуженъ скоморохъ, а тамъ собирались ученые богословы и спорили о разныхъ высокихъ предметахъ и о самомъ Святомъ Духѣ. Жена Птолемея, Альбина, мать красавицы Магны, была подъ-стать своему мужу. Всѣ самыя пышныя жены Дамаска не любили ее, но всѣ признавали ея непорочность. Вѣрность Альбины для всѣхъ могла быть урокомъ. Превосходная Магна уродилась въ мать, на которую походила и прекраснымъ лицомъ, но молодость ея заставляла ее быть милосердной. Прекрасный садъ ея отца, Птолемея, примыкалъ къ болѣзному рву, за которымъ начиналося широкое поле. Мнѣ часто приходилось проходить этимъ полемъ, чтобы миновать дальній обходъ къ загородному дому гетеры

Азеллы. Я всегда шелъ съ моей скоморошьею ношей и съ этой самой собакою. Акра тогда была молода и не знала всего, что должна знать скоморошья собака.

Выходя въ поле, я останавливался на полпути, какъ разъ противъ садовъ Птоломея, чтобы отдохнуть, съѣсть мою ячменную лепешку и поучить мою Акру. Я обыкновенно садился надъ обрывомъ оврага, ѣлъ, и заставлялъ Акру повторять на широкомъ просторѣ уроки, которые давалъ ей у себя, въ моемъ тѣсномъ жилищѣ. Среди этихъ занятій я и увидалъ одинъ разъ прекрасное лицо взрослой Магны. Закрывшись вѣтвями, она любопытно смотрѣла изъ зелени на веселыя штуки, которыя продѣлывала моя Акра. Я это примѣтилъ и, не давая Магнѣ замѣтить, что я ее вижу, хотѣлъ доставить ей представленіями моего пса болѣе удовольствія, чѣмъ Акра могла показать по тогдашней своей выучкѣ. Чтобы побудить собаку къ проворству, я нѣсколько разъ хлеснулъ ее ремнемъ, но въ ту самую минуту, когда собака взвизгнула, я замѣтилъ, что зелень, скрывавшая Магну, всколыхнулась и прекрасное лицо дѣвушки исчезло...

Это привело меня въ такое озлобленіе, что я еще ударилъ Акру два раза, и когда она подняла жалобный визгъ, то изъ-за ограды сада до меня донеслись слова:

— Жестокій человѣкъ! за что ты мучишь это бѣдное животное! для чего ты принуждаешь собаку дѣлать то, что несвойственно ея природѣ!

Я оборотился и увидалъ Магну, которая вышла изъ своего древеснаго закрытія, и, стоя по перси надъ низкой, заросшей листами оградой, говорила мнѣ съ лицомъ, пылающимъ гнѣвомъ.

— Не осуждай меня, юная госпожа,—отвѣчалъ я:—я не жестокій человѣкъ, а выучка этого пса относится къ моему ремеслу, которымъ мы съ нимъ оба питаемся.

— Презрѣнно твое ремесло, которое нужно только презрѣннымъ праздношатамъ,—отвѣтила мнѣ Магна.

— О, госпожа!—отвѣчалъ я:—всякій питается тѣмъ, чѣмъ онъ можетъ добыть себѣ пищу, и хорошо, если онъ живетъ не на счетъ другого и не дѣлаетъ несчастія ближнихъ.

— Это не идетъ къ тебѣ, ты развращаешь своихъ ближнихъ,—молвила Магна, и въ глазахъ ея я могъ видѣть ту же строгость, которою отличался всегда взоръ ея матери.

— Нѣтъ, юная госпожа,—отвѣчалъ я:—ты судишь строго и говоришь такъ потому, что мало сама испытала. Я простолюдинъ и не могу развращать людей высшаго званія.

И я повернулся и хотѣлъ уходить, какъ она остановила меня однимъ звукомъ и сказала:

— Не идетъ тебѣ разсуждать о людяхъ высокаго званія. Лучше вотъ... лови мой кошелекъ: я бросаю это тебѣ, чтобы ты далъ вволю пищи твоей жалкой собакѣ.

Съ этимъ она бросила шелковый мѣшочекъ, который не долетѣлъ на мою сторону, а я потянулся, чтобы его подхватить, и, оборвавшись, упалъ на дно оврага.

Въ этомъ паденіи я страшно расшибся.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Въ бѣдствіи моемъ мнѣ было утѣшеніемъ, что во всѣ десять дней, которые я провелъ въ малой пещеркѣ на днѣ оврага, ко мнѣ всякій день спускалась благородная Магна. Она приносила мнѣ столько роскошной пищи, что ея съ излишкомъ доставало для меня и для Акры, а Магна сама, своими дѣвственными руками, смачивала у ручья платъ, который прилагала къ моему больному плечу, стараясь унять въ немъ несносный жаръ отъ ушиба. При этомъ мы съ ней вели отрадные для меня разговоры, и я наслаждался какъ чистотой ея сердца, такъ и яснымъ свѣтомъ разсудка. Одно мнѣ въ ней было досадно, что она не снисходила ничьимъ слабостямъ и слишкомъ на себя во всемъ полагалась.

— Отчего,—говорила она:—всѣ не живутъ, какъ живетъ моя мать и мои подруги Таора, Фотина и Сильвія, которыхъ вся жизнь чиста какъ кристаллъ.

И я видѣлъ, что она ихъ весьма уважала и во всемъ хотѣла имъ слѣдовать. Несмотря на свою молодость, она и меня хотѣла исправить и оторвать отъ моей жизни, а когда я не рѣшался ей этого обѣщать, то она сердилась.

Я же ей говорилъ то, что и есть въ самомъ дѣлѣ.

— Развѣ ты не знаешь,—говорилъ я:—что нуженъ сосудъ въ честь и нуженъ сосудъ въ поношеніе? Живи ты для чести, а я опредѣленъ жить для поношенія, и какъ глина, я не спорю съ моимъ горшечникомъ. Жизнь меня заставила быть скоморохомъ, и я иду своею дорогой, какъ быкъ на веревкѣ.

Магна не умѣла понять простыхъ словъ монхъ и все относила къ привычкѣ.

— Сказано мудрымъ, — отвѣчала она: — что привычка приходитъ какъ странникъ, остается какъ гость и потомъ сама становится хозяиномъ. Деготь, побывавъ въ чистой бочкѣ, дѣлаетъ ее ни къ чему больше негодною, какъ опять же для дегтя.

Не трудно мнѣ было понять, что она становится нетерпѣлива, и я въ глазахъ ея—теперь все равно, что дегтярная бочка, и я умолкалъ и сожалѣлъ, что не могу уйти скорѣй изъ оврага. Тяжело стало мнѣ отъ ея сомнѣнья, да и сама она стала заботиться, какъ меня вынуть изъ рва и доставить въ мое жилище.

Сдѣлать это было трудно, потому что самъ я идти не могъ, а дѣвушка была слишкомъ слаба, чтобы помочь мнѣ въ этомъ. Дома же она не смѣла признаться своимъ гордымъ родителямъ въ томъ, что говорила съ человѣкомъ моего презрѣннаго званія.

И какъ одинъ проступокъ часто влечетъ человѣка къ другому, такъ же случилось и здѣсь съ достойною Магной. Для того, чтобы помочь мнѣ, презрѣнному скомороху, который не стоилъ ея вниманія по своему недостоинству, она нашла себя вынужденной довѣриться еще нѣкоторому юношѣ по имени Магистріану.

Магистріанъ былъ молодой живописецъ, который прекрасно расписывалъ стѣны роскошныхъ домовъ. Онъ шелъ однажды съ своими кистями къ той же гетерѣ Азеллѣ, которая велѣла ему изобразить на стѣнахъ новой бесѣдки, въ ея саду, пиръ сатировъ и нимфъ, и когда Магистріанъ проходилъ полемъ близъ того мѣста, гдѣ лежалъ я во рву, моя Акра узнала его и стала жалостно выть.

Магистріанъ остановился, но, подумавъ, что на днѣ рва, вѣроятно, лежитъ кто-нибудь убитый, хотѣлъ поскорѣй удалиться. Безъ сомнѣнія, онъ и ушелъ бы, если бы наблюдавшая все это Магна его не остановила.

Магна увлеклась состраданіемъ ко мнѣ, раскрыла густую зелень листвы и сказала:

— Прохожій! не удаляйся, не оказавъ помощи ближнему. Здѣсь на днѣ рва лежитъ человѣкъ, который упалъ и расшибся. Я не могу пособить ему выйти, но ты сильный мужчина, и ты можешь оказать ему эту помощь.

Магистріанъ тотчасъ спустился въ ровъ, осмотрѣлъ меня и побѣжалъ въ городъ за носильщиками, чтобы перенести меня въ мое жилище.

Вскорѣ онъ все это исполнилъ и, оставшись со мною наединѣ, сталъ меня спрашивать, какъ это со мною случилось, что я упалъ въ ровъ и расшибся, и какъ я могъ жить двѣ недѣли безъ пищи?

А какъ мы съ Магистріаномъ были давно знакомы и дружны, то я не хотѣлъ ему говорить что-нибудь выдуманное, а разсказалъ чистую правду, какъ было.

И едва я дошелъ до того, какъ питала меня Магна, и какъ она своими руками смачивала въ водѣ платъ и прикладывала его къ моему расшибленному плечу, юный Магистріанъ весь озарился въ лицѣ и воскликнулъ въ восторгѣ:

— О, Памфалонъ! сколь ты счастливъ и какъ мнѣ завиденъ твой жребій! Я бы охотно позволилъ себѣ изломать мои руки и ноги, лишь бы видѣть возлѣ себя эту нимфу, эту великодушную Магну.

Я сейчасъ же уразумѣлъ, что сердце художника поразило сильное чувство, которое зовется любовью, и я поспѣшилъ его образумить.

— Ты малодушникъ,—сказалъ я. — Дочь Птоломея прекрасна, объ этомъ ни слова, но здоровье для всякаго человѣка есть самое высшее благо, а притомъ Птоломей такъ суровъ, а мать Магны, Альбина, такъ надменна, что если душа твоя чувствуетъ пламень красотъ этой дѣвушки, то изъ этого ничего для тебя хорошаго выйти не можетъ.

Магистріанъ побѣднѣлъ и отвѣчалъ:

— Чему жъ еще надобно выйти! Развѣ мнѣ не довольно, что она меня вдохновляетъ.

И онъ ею продолжалъ вдохновляться.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Когда я оправился и пришелъ въ первый вечеръ къ Азеллѣ, Магистріанъ повелъ меня показать картины, которыя онъ написалъ на стѣнахъ въ бесѣдкѣ гетеры. Обширное зданіе бесѣдки было раздѣлено на «часы», изъ которыхъ слагается каждый день жизни человѣка. Всякое отдѣленіе назначалось къ тому, чтобы приносить въ свой часъ свои радости жизни. Вся бесѣдка въ цѣломъ была посвящена Сатурну, изображеніе котораго и блестѣло подъ куполомъ. У главнаго круга было

два крыла въ честь Горъ, дочерей Юпитера и Семиды, а эти отдѣленія еще раздѣлялись: тутъ были покои Ауге, откуда видѣлась заря; Анатоло, откуда былъ виденъ восходъ солнца; Музія, гдѣ можно было заниматься науками; Нимфея, гдѣ купались; Спондея, гдѣ обливались; Киприда, гдѣ вкушали удовольствія, и Элетія, гдѣ молились... И вотъ здѣсь-то, въ одномъ отдаленномъ уголкѣ, который назначался для уединенныхъ мечтаній, живописецъ изобразилъ легкою кистью благочестивое сновидѣніе... Нарисованъ былъ пиръ; нарядныя и роскошныя женщины, которыхъ я всѣхъ могъ бы назвать поименно. Это все были наши гетеры. Онѣ возлежали съ гостями, въ цвѣтахъ, за пышнымъ столомъ, а нѣкто юный спалъ, уткнувшись лицомъ въ корзину съ цвѣтами. Лицо его не было видно, но я по его тогѣ узналъ, что это былъ самъ художникъ Магистріанъ. А надъ нимъ виднѣлася травля: львы въ циркѣ неслися на юную дѣвушку... а та твердо стояла и шептала молитвы. Она была Магна.

Я его потрепалъ по плечу и сказалъ:

— Хорошо!.. ты ее написалъ очень схоже; но почему ты полагаешь, что ей звѣри не страшны? Я знаю ихъ родъ: Птоломей и Альбина извѣстны своимъ благородствомъ и гордостію тоже, но вѣдь рокъ ихъ щадилъ, и ихъ дочери тоже до сихъ поръ не касалось никакое испытаніе.

— Что же изъ этого?

— А то, что прекрасная Магна никакихъ бѣдствій жизни не знаетъ, и я не понимаю, почему ты отмѣтилъ въ ней такую черту, какъ безстрашіе и стойкость передъ простымъ звѣремъ? Если это иносказаніе, то жизнь вѣдь гораздо страшнѣе всякаго звѣря и можетъ заставить сробѣть кого хочешь.

— *Только* не Магну!

— Ахъ, я думаю *даже* и Магну!

Я говорилъ такъ для того, чтобы онъ излишне не увлекался Магной; но онъ перебилъ меня и прошепталъ мнѣ:

— Меня звали дѣлать ширмы для ея дѣвственной спальни, и пока я чертилъ моимъ углемъ, я съ ней говорилъ. Она меня спросила о тебѣ...

Живописецъ остановился.

— Она сожалѣетъ, что ты занимаешься такимъ ремесломъ, какъ скоморошество! Я ей сказалъ: «Госпожа! не всякій въ своей жизни такъ счастливъ, чтобы проводить

жизнь своею по избранію. Неодолима судьба: она можетъ заставить смертнаго напиться изъ самаго мутнаго источника, гдѣ и піявки, и аспидъ на днѣ». Она пренебрежительно улыбнулась.

— Улыбнулась?—спросилъ я...—Узнаю въ этомъ дочь Птоломея и гордой Альбины. Мнѣ, знаешь ли... мнѣ больше понравилось бы, если бы она промолчала, а еще лучше—съ состраданіемъ тихо вздохнула бъ.

— Да,—произнесъ Магистріанъ:—но она также сказала: «Смерть лучше безславія», и я вѣрю, что она на это способна.

— Ты скоро судишь,—отвѣчалъ я:—смерть лучше безславія—это неспорно; но можетъ ли это сказать мать, у которой есть дѣти?

— Отчего же? ты только вспомни, что̀ сдѣлала мать Маккавеевъ?

— Да. Маккавеевъ убили. А если бы матери ихъ погрозили сдѣлать дѣтей такими скоморохами, какъ я, или обмывщиками ногъ въ домѣ гетеры... Что? я думаю, если бы мать ихъ была сама Магна,—то, Богъ вѣсть, что̀ бы она предпочла: позоръ или смерть за ихъ избавленіе?

— Зачѣмъ говорить это!—воскликнулъ, отходя отъ меня, Магистріанъ:—пусть не коснется ея во вѣкъ никакое зло.

— О, говорю я: — отъ всей души присоединяюсь къ твоему желанію всего добраго Магнѣ.

А на другой же день послѣ этого разговора Магистріанъ пришелъ ко мнѣ передъ вечеромъ очень печальный и говоритъ:

— Слышалъ ли ты, Памфалонъ, самую грустную новость? Птоломей и Альбина выдаютъ дочь свою замужъ!

— А почему ты называешь это грустною новостью?—отвѣчалъ я.—Съ какихъ это поръ союзъ двухъ сердецъ сталъ печалью, а не радостью?

— Это было всегда, когда сердце соединяютъ съ безсердечіемъ.

— Магистріанъ!—остановилъ я живописца:—въ тебѣ говоритъ безпокойное чувство: его зовутъ ревность. Ты долженъ его въ себѣ уничтожить.

— О, я уже давно его уничтожилъ,—отвѣчалъ живописецъ:—Магна мнѣ не невѣста и я ей не женихъ; но ужасно, что женихъ ея пріѣзжій Руфинъ-византіецъ.

Это имя мнѣ такъ было извѣстно, что я вздрогнулъ и пустилъ изъ рукъ мое дѣло.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Руфинъ-византіецъ былъ изъ знатнаго рода и очень изященъ собою, но страшно хитеръ и лицемѣръ столь искусный, что его считали черезмѣрнымъ даже въ самой Византіи. Тщеславный коринѳянинъ Оръ и всѣ, кто тратили деньги и силы на пирахъ у гетеры Азеллы, были, на мое разсужденіе, лучше Руфина. Онъ прибылъ въ Дамаскъ съ открытымъ посланіемъ и былъ принятъ здѣсь Птоломеемъ отмѣнно. Руфинъ, какъ притворщикъ, цѣлые дни проводилъ во снѣ дома, а говорилъ, будто читаетъ богословскія книги, а ввечеру удалялся, еще для полезныхъ бесѣдъ, за городъ, гдѣ у насъ о ту пору жилъ близъ Дамаска старый отшельникъ, стоя днемъ на скалѣ, а ночью стеная въ открытой могилѣ. Руфинъ ходилъ къ нему, чтобы молиться, стоя въ его тѣни при закатѣ солнца; но отсюда крылатый Эолъ его заносилъ постоянно подъ кровлю Азеллы, всегда, впрочемъ, съ лицомъ измѣненнымъ, благодаря Магистріанову искусству. А потому мы хорошо его знали, ибо Магистріанъ, какъ другъ мой, не дѣлалъ отъ меня тайны, что онъ рисовалъ другое лицо на лицѣ Руфина, и мы не разъ вмѣстѣ смѣялись надъ этимъ византійскимъ двуличьемъ. Знала объ этомъ и гетера Азелла, такъ какъ гетеры, закрывъ двери свои за гостями, часто бесѣдуютъ съ нами и, находя въ насъ, въ простыхъ людяхъ, и разумъ, и сердце, любятъ въ насъ то, чего не встрѣчаютъ порою въ людяхъ богатыхъ и знатныхъ.

Азелла же, надо сказать, любила моего живописца, и любила его безнадежно, потому что Магистріанъ думалъ объ одной Магнѣ, чистый образъ которой былъ съ нимъ неразлучно. Азелла чуткимъ сердцемъ узнала всю эту тайну, и тѣмъ нѣжнѣй и изящнѣй держала себя съ Магистріаномъ. Когда я и Магистріанъ оставались въ домѣ Азеллы, при восходѣ солнца, она, проводивъ своихъ гостей, часто говорила намъ, какъ она котораго изъ нихъ разумѣетъ, и не скрывала отъ насъ своего особеннаго презрѣнія къ Руфину. Она называла его гнуснымъ притворщикомъ, способнымъ обмануть всякаго и сдѣлать самую подлую низость, а Азелла всѣхъ хорошо понимала. Одинъ разъ послѣ безумныхъ тратъ коринѳянина Ора она намъ сказала:

— Это бѣдный навлинъ... Всѣ его щиплютъ, и когда здѣсь бываетъ съ нимъ вмѣстѣ византіецъ Руфинъ, хорошо бы встряхивать Руфинову епанчу.

Это значило, что Руфинъ могъ быть и воръ... Азелла никогда не ошибалась, и я и Магистріанъ это знали.

Но Птоломей и Альбина глядѣли на византійца своими глазами, а добрая дочь ихъ была покорна родительской волѣ, и жребій ея былъ совершенъ. Магна сдѣлалась женою Руфина, который взялъ ее вмѣстѣ съ богатымъ приданымъ, даннымъ ей Птоломеемъ, и увезъ въ Византію.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Птоломей и Альбина были скоро наказаны рокомъ. Лицемѣрный Руфинъ оказался и не богатъ, и не столь именитъ, какъ выдавалъ себя въ Дамаскѣ, а главное, онъ совсѣмъ не былъ честенъ и имѣлъ такіе большіе долги, что богатое приданое Магны все пошло на раздѣлку съ тѣснившими его заимодавцами. Скоро Магна очутилась въ бѣдности, и приходили слухи, будто она терпитъ жестокую долю отъ мужа. Руфинъ заставлялъ ее снова выпрашивать серебро и золото у ея родителей, а когда она не хотѣла этого дѣлать, онъ обращался съ нею сурово. Все же, что присылали Магнѣ ея родители, Руфинъ издерживалъ безславно, совсѣмъ не думая объ уменьшеніи долга и о двухъ дѣтяхъ, которыя ему родились отъ Магны. Онъ такъ же, какъ многіе знатные византійцы, имѣлъ въ Византіи еще и другую привязанность, въ угоду которой обиралъ и унижалъ свою жену.

Это такъ огорчило гордаго Птоломея, что онъ сталъ часто болѣть и вскорѣ умеръ, оставя своей вдовѣ только самые небольшіе достатки. Альбина все повезла къ дочери: она надѣялась спасти ее, и потеряла всѣ свои деньги на дары приближеннымъ епарха Валента, который самъ былъ алчный сластолюбецъ и искалъ случая обладать красивою Магной. Кажется, онъ имѣлъ на это согласіе самого Руфина. Говорили, будто Руфинъ даже понуждалъ свою жену отвѣчать на исканье Валента, заклиная ее согласиться на это для спасенія семейства, потому что иначе Валентъ угрожалъ отдать Руфина со всею его семьею во власть его заимодавцевъ.

Альбина не вынесла этого и скоро переселилась въ вѣч-

ность, а Магна осталась съ дѣтьми въ самой горестной бѣдности, но не предалась развращеннымъ исканьямъ Валента. Тогда гнѣвный вельможа Валентъ распорядился отдать всѣхъ ихъ во власть заимодавцевъ.

Заимодавцы посадили Руфина въ тюрьму, а дѣтей его и бѣдную Магну взяли въ рабство. А чтобы сдѣлать это рабство еще тяжелѣе, они разлучили Магну съ дѣтьми и малютокъ ея отослали въ село къ скопцу-селянину, а ее отдали содержателю безчестнаго дома, который обязался платить имъ за нее въ каждыя сутки по три златницы.

Напрасно вопіяла ко всѣмъ бѣдная Магна и у всѣхъ искала защиты. Ей отвѣчали: «надъ нами надъ всѣми законъ. Законъ нашъ охраняетъ многоимущихъ. Они всѣхъ сильнѣй въ государствѣ. Если бы былъ теперь на своемъ мѣстѣ нашъ прежній правитель Ермій, то онъ, какъ человѣкъ справедливый и милосердный, можетъ-быть, вступился бы и не допустилъ бы этого; но онъ очудачѣлъ: оставилъ свѣтъ, чтобы думать только объ одной своей душѣ. Жестокій старикъ! Пусть Небо проститъ ему его отшельничье самолюбіе».

Произнеся эти слова, скоморохъ замѣтилъ, что сидѣвшій возлѣ него пустынникъ вздрогнулъ и схватилъ Памфалона за руку. Памфалонъ спросилъ его:

— Что ты о нихъ сожалѣешь, что ли?

— Да, я сожалѣю... сожалѣю... И о нихъ, и о себѣ сожалѣю,—отвѣчалъ Ермій.—Продолжай твою повѣсть.

Памфалонъ сталъ продолжать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Содержатель безчестнаго дома, чтобы избѣжать непріятнаго шума въ столицѣ и надежнѣе взять свои деньги, не сталъ держать Магну въ Византіи, а отправилъ ее въ Дамаскъ, гдѣ ее всѣ знали какъ самую благородную и недоступную женщину, а потому, безъ сомнѣнія, теперь всѣ устремятся обладать ею.

Магну, какъ рабыню, стерегли зорко, и у нея были отняты всѣ средства бѣжать. Она не могла и лишить себя жизни, да она о самоубійствѣ и не помышляла, потому что она была мать и стремилась найти и спасти своихъ дѣтей отъ скопца изъ невѣдѣнія.

Такъ она подъ карауломъ и въ закрытости была при-

везена въ Дамаскъ, и на другой день, то-есть именно въ тотъ день, когда я скрывался, лежа на моемъ золотѣ, огласилось, что продающій Магну содержитъ ее у себя за плату по пяти златницъ за каждыя сутки. Получить ее можетъ всякій, кто заплатитъ златницы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Тотъ, кто взялся выручать за Магну златницы, конечно, не медлилъ, чтобы собирать ихъ съ хорошимъ прибыткомъ, и для того разослалъ зазывальщицу по всѣмъ богатымъ людямъ Дамаска, чтобы оповѣстить имъ, какимъ онъ роскошнымъ владѣетъ товаромъ.

Развращенные люди кинулись въ домъ продавца, и Магна весь день едва лишь спасалась слезами. Но къ вечеру продавецъ сталъ угрожать снестись съ тѣмъ, кто взялъ ея дѣтей, чтобы ихъ оскопить, и она рѣшилась ему покориться... И послѣ этого силы ее оставили, и она крѣпко заснула и увидѣла сонъ: къ ней кто-то тихо вошелъ и сказалъ ей: «Радуйся, Магна! ты сегодня обрѣла то одно, чего тебѣ во всю твою жизнь недоставало. Ты была чиста, но гордилась своей непорочностью, какъ твоя мать; ты осуждала другихъ падшихъ женщинъ, не внимая, чѣмъ онѣ доведены были до паденія. Это было ужасно, и вотъ теперь, когда ты сама готова пасть, и знаешь, какъ это тяжко, теперь твоя противная Богу гордость сокрушилась, и теперь Богъ сохранитъ тебя чистой».

И въ это же самое время въ домъ, гдѣ заключалась Магна, постучался одинъ застѣнчивый гость, который закрывалъ лицо свое простой епанчею, и, тихо позвавъ хозяина, сказалъ ему шопотомъ:

— Ахъ, я очень стыдливъ, но умираю отъ страсти. Скорѣе введи меня къ Магнѣ—даю тебѣ десять златницъ.

Продавецъ былъ радъ, но прежде чѣмъ ввести незнакомца къ Магнѣ, сказалъ ему:

— Я долженъ сказать тебѣ, господинъ, что эта женщина изъ знатнаго рода и она стоитъ мнѣ по кабалѣ большихъ денегъ, которыхъ я черезъ нее не выручилъ, потому что она умѣла разжалобить всѣхъ, кого я вводилъ къ ней. Не мое будетъ дѣло, если ты станешь слушать ея слова и тебя размягчатъ ея рѣчи. Я свое золото дол-

женъ имѣть, потому что я человѣкъ бѣдный и взялъ ее за дорогую цѣну.

— Не безпокойся,—отвѣчалъ, продолжая скрывать лицо, незнакомецъ: — вотъ получи свои десять златницъ, а я не таковскій: я знаю, что̀ значатъ женскія слезы.

Продавецъ взялъ у него десять златницъ и дернулъ шнуръ, который опрокинулъ мѣдную чашу, содержавшую мѣдный же шаръ. Шаръ покатился по холщевую жолобу и, докатившись до шатроваго отдѣленія Магны, звонко упалъ въ мѣдный тазъ, стоявшій у изголовья ея постели. Послѣ чего продавецъ сейчасъ же повелъ гостя къ Магнѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Незнакомецъ вошелъ въ отдаленный покой, накуренный пистикомъ и амброй, и увидалъ здѣсь при цвѣтномъ фонарѣ лежащую Магну. Ея не разбудилъ ударъ въ тазъ, потому что какъ-разъ въ это время ей снился тотъ сонъ, гдѣ открывалось, что надменная сила ея отлетѣла и теперь она спасена за признаніе своей немощи.

Продавецъ упрекнулъ Магну, что она не слыхала удара шара по тазу и, указавъ ей на незнакомца, сказалъ грубо:

— Не притворяйся, будто не слышишь, что къ тебѣ пущенъ шаръ! Вотъ кому я уступилъ всякую власть надъ тобою до утра. Будь умна и покорна. А если ты еще заставишь меня терпѣть убытки, я передамъ тебя туда, гдѣ къ тебѣ будутъ входить суровые воины, и отъ тѣхъ ты уже не дождешься пощады.

И, сказавъ это, продавецъ взялъ шаръ и вышелъ, а гость затворилъ за нимъ дверь и, оборотясь, тихо молвилъ Магнѣ:

— Не бойся, злополучная Магна, я пришелъ, чтобы спасти тебя.—И онъ сбросилъ свой плащъ.

Магна узнала Магистріана и зарыдала.

— Оставь слезы, прекрасная Магна. Теперь не время, чтобъ лить ихъ и отчаиваться. Успокойся и вѣрь, что если Небо спасало тебя до сего часа, то теперь твое избавленіе уже несомнѣнно, если ты только согласна сама помогать мнѣ, чтобы я могъ тебя выручить и возвратить тебя дѣтямъ и мужу.

— Согласна ли я! — воскликнула Магна. — О, добрый юноша, развѣ въ этомъ возможно сомнѣнье!

— Такъ поспѣши же скорѣе дѣлать, что я тебѣ скажу: теперь я отвернусь отъ тебя,—и давай какъ можно скорѣе перемѣнимся платьемъ.

И вотъ Магна надѣла на себя тунику и епанчу, и все, что имѣлъ на себѣ мужское Магистріанъ, а онъ сказалъ ей:

— Не медли, спасайся! закрой епанчой твое лицо точно такъ, какъ вошелъ сюда я, и смѣло иди изъ этого дома! Твой презрѣнный хозяинъ самъ тебя выведетъ за свои проклятыя двери.

Магна такъ сдѣлала и благополучно вышла, но тотчасъ же, выйдя, стала сокрушаться: куда ей бѣжать, гдѣ скрыться и что будетъ съ бѣднымъ юношей, когда завтра обманъ ихъ откроютъ? Магистріанъ подвергнется истязаньямъ, какъ разрушитель заимодавнаго права; онъ, конечно, не имѣетъ столько, чтобы заплатить весь долгъ, за который отданъ въ кабалу Магна, и его навѣки посадятъ въ тюрьму, и будутъ его мучить, а она, все равно, не можетъ явиться къ своимъ дѣтямъ, потому что ей нечѣмъ выкупить ихъ изъ кабалы.

И вотъ тутъ этой женщинѣ пришла въ голову мысль, которая навсегда лишила меня возможности исправить мой путь и вести впередъ добропорядочную жизнь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Когда Магна открыла мнѣ свои бѣдствія и разсказала объ опасности, которой подвергался за нее Магистріанъ, передо мною точно разверзлась бездна. Я зналъ, что у Магистріана не могло быть десяти литръ золота, которые внесъ онъ за Магну и которые все равно не могли избавить ее отъ ея униженія, ибо не составляли цѣны всей ея кабалы и ничего не оставляли на выкупъ ея дѣтей отъ скопца въ Византіи. Но гдѣ, однако, Магистріанъ могъ взять и эти златницы? Онъ работалъ въ домѣ Азеллы, гдѣ всегда былъ ларецъ съ сокровищами этой безъ ума влюбленной въ него гетеры... И ужасъ объялъ мою душу... Я подумалъ: что если любовь къ бѣдной Магнѣ довела его до безумья и онъ похитилъ ларецъ, и имя Магистріана отнынѣ безчестно: *онъ воръ!*

А бѣдная Магна, продолжая оглашать воздухъ стонами, возвратившись опять къ тѣмъ же словамъ, съ которыхъ начала когда неожиданно вошла въ мое жилище.

— Памфалонъ!—вопіяла она:—я слышала, что ты разбогатѣлъ, что какой-то гордый кориѳянинъ далъ тебѣ несмѣтныя деньги. Я прошла продать себя тебѣ, возьми меня къ себѣ въ рабыни, но дай мнѣ денегъ, чтобъ выкупить изъ неволи моихъ дѣтей и спасти погибающаго за меня Магистріана.

Отшельникъ! ты отжилъ жизнь въ пустынѣ и тебѣ, быть можетъ, непонятно, какое я чувствовала горе, слушая, что отчаяніе говоритъ устами этой женщины, которую я зналъ столь чистой и гордой своею непорочностію! Ты уже взялъ верхъ надъ всѣми страстями, и онѣ не могутъ поколебать тебя, но я всегда былъ слабъ сердцемъ, и при видѣ такихъ страшныхъ бѣдствій другого человѣка я промотался... я опять легкомысленно позабылъ о спасеніи своей души.

Я зарыдалъ и сквозь рыданія молвилъ:

— Ради милости Божіей умолкни, несчастная Магна! Сердце мое не можетъ этого вынесть! Я простой человѣкъ, я сквернорожъ, я провожу мою жизнь среди гетеръ, праздно-любцевъ и мотовъ, я дегтярная бочка, но я не куплю себѣ того, что ты предлагаешь мнѣ въ безуміи отъ горя.

Но Магна такъ ужасно страдала, что не поняла меня вовсе.

— Ты отвергаешь меня!—воскликнула она съ ужасомъ.— О, я несчастная! гдѣ мнѣ взять золота, чтобы избавить отъ изуродованія моихъ дѣтей?—и она заломила надъ головою руки и упала на землю.

Это исполнило меня еще большаго ужаса... Я задрожалъ, увидя, какъ ее унизило горе до того, что она, уже словно сама рабыня, искала, чтобы кто-нибудь купилъ у нея ея ласки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Я поспѣшилъ ее утѣшить.

— Нѣтъ,—закричалъ я—это вовсе не то, что будто я тебя отвергаю. Я тебѣ другъ и докажу тебѣ это моею готовностью помочь твоему горю. Только не говори болѣе, для чего ты пришла сюда. Разрушь скорѣй это плетеніе волосъ, черезъ которое ты стала походить на гетеру; смой съ своихъ плечъ чистой водою этотъ ароматъ благовоннаго нарда, которымъ ихъ покрыли люди, желавшіе твоего позора, а потомъ скажи мнѣ: сколько именно долженъ мужъ твой?

Она вздохнула и тихо промолвила:

— Десять тысячъ златницъ.

Я видѣлъ, что ее обманули: богатство, которое бросилъ мнѣ расточительный Оръ, было ничтожно для того, чтобы заплатить долгъ ея и выкупить дѣтей.

Магна молча встала и, поднявъ рукою сброшенную епанчу Магистріана, хотѣла снова покрыть свою голову.

Я догадался, что она хочетъ уйти отъ меня съ нехорошею цѣлью, и воскликнулъ:

— Ты хочешь уйти, госпожа Магна?

— Да, я возвращусь снова туда, откуда пришла.

— Ты хочешь освободить Магистріана?

Она только молча кивнула головой въ знакъ согласья.

Я ее остановилъ насильно.

— Не дѣлай этого,—сказалъ я. — Это будетъ напрасно. Магистріанъ такъ благороденъ и такъ тебѣ преданъ, что онъ оттуда не выйдетъ, а ты своимъ возвращеніемъ только увеличишь смятенье. У меня всего есть двѣсти тридцать златницъ... Это все, что̀ я получилъ отъ коринѳянина Ора. Если думаютъ, что у меня есть болѣе, то это или сочинила молва, или нахвасталъ самъ Оръ пустохвальный. Но всѣ двѣсти тридцать златницъ ты должна считать за свои. Не возражай мнѣ, госпожа Магна, не возражай мнѣ противъ этого ни одного слова! Это золото твое; но надо достать еще много, чтобы составило долгъ твоего мужа. Я не знаю, гдѣ больше взять, но ночь пока еще только въ началѣ... Магистріанъ до утра безопасенъ. Твой продавецъ увѣренъ, что вы теперь слились въ объятьяхъ. Ты оставайся у меня и будь спокойна. Моя Акра до тебя никого безъ меня не допуститъ, а я сейчасъ извѣщу о твоемъ несчастьѣ твоихъ именитыхъ подругъ: Таору, Фотину и Сильвію - дѣву, благочестье которой извѣстно Дамаску... Ихъ слуги всѣ меня знаютъ и за дары меня пустятъ къ своимъ госпожамъ. Онѣ богаты и цѣломудренны, и онѣ не пожалѣютъ золота, и дѣти твои будутъ выкуплены.

Но Магна живо меня перебила:

— Не тревожь, Памфалонъ, ни Таоры, ни Фотины, ни дѣвственной Сильвіи,—всѣ онѣ ничего для твоей просьбы не сдѣлаютъ.

— Ты ошибаешься,—возразилъ я.—Таора, Сильвія и Фотина благочестивыя женщины, онѣ преслѣдуютъ всякій раз-

врать, и по ихъ слову у насъ уже выслали многихъ гетеръ изъ Дамаска.

— Это ничего не значитъ,—отвѣчала Магна, и открыла мнѣ, что прежде, чѣмъ бѣдствія ея семейства достигли до нынѣшней мѣры, она уже обращалась съ просьбою къ названнымъ мною высокимъ гражданкамъ, но что всѣ онѣ оставили ея просьбы втуне.

— А какъ теперь,—прибавила она:—ко всему этому присоединился еще позоръ, до котораго дошла я, то всякія просьбы къ нимъ имъ будутъ даже обидны. Я сама была такова жъ, какъ онѣ, и знаю, что не отъ нихъ можетъ прійти избавленіе падшей.

— Ну, все равно, жди у меня, что̀ намъ пошлетъ милосердное Небо, — сказалъ я и, погасивъ лампу, заперъ входъ въ мое жилище, въ которомъ Магна осталась подъ защитою Акры, а я во всю силу бѣгомъ понесся по темнымъ проходамъ Дамаска.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Я не послушался Магны и проникъ, съ помощію слугъ, къ Таорѣ, Сильвіи и къ Фотинѣ... И стыжуся вспоминать, что̀ я отъ нихъ слышалъ... Магна была права во всемъ, что̀ мнѣ о нихъ говорила. Слова мои только приводили въ пламенный гнѣвъ этихъ женщинъ, и я былъ изгоняемъ за то, что смѣлъ приходить въ ихъ дома съ такою просьбой... Двѣ изъ нихъ, Таора и Фотина, велѣли прогнать меня съ однимъ только напоминаніемъ, что я стоилъ бы хорошихъ ударовъ; но Сильвія-дѣва, та повелѣла бить меня передъ ея лицомъ, и слуги ея били меня мѣднымъ прутомъ до того, что я вышелъ отъ нея съ окровавленнымъ тѣломъ и съ запекшимся горломъ. Такъ, томимый жаждою, вбѣжалъ я на кухню гетеры Азеллы, чтобы попросить глотокъ воды съ виномъ и идти далѣе. А куда идти,—я самъ не зналъ этого.

Но тутъ, едва я явился, подъ крытымъ переходомъ меня встрѣтила наперсница гетеры бѣлокурая Ада. Она какъ будто нарочно шла съ кувшиномъ прохладительнаго напитка, и я сказалъ ей:

— Будь милосердна, прекрасная Ада, освѣжи уста мои— я умираю отъ жажды.

Она улыбнулась и молвила съ шуткой:

— Тебѣ ли теперь умирать, *господинъ* Памфалонъ, ты больше не бѣденъ и можешь имѣть рабовъ, которые станутъ прохлаждать для тебя воду.

А я ей отвѣтилъ:

— Нѣтъ, Ада, я, славу Богу, опять уже не богатъ,—я опять такъ же бѣденъ, какъ прежде, и вдобавокъ... долженъ признаться,—я сильно израненъ.

Она мнѣ нагнула сосудъ, а я припалъ къ питью, и въ то время, когда я пилъ, а Ада стояла, склонившись ко мнѣ, она замѣтила на моихъ плечахъ кровь, которая сочилась изъ рубцовъ, нанесенныхъ мнѣ мѣднымъ прутомъ предъ лицомъ дѣвственной Сильвіи. Кровь проступала сквозь тонкую тунику, и Ада въ испугѣ вскричала:

— О, несчастный! ты взаправду въ крови! На тебя, вѣрно, напали ночные воры!.. О, несчастный! Хорошо, что ты спасся отъ нихъ подъ нашею кровлей. Останься здѣсь и подожди меня немного: я сейчасъ отнесу это охлажденное питье гостямъ, и вмигъ возвращусь, чтобъ обмыть твои раны...

— Хорошо,—сказалъ я:—я тебя подожду.

А она добавила:

— Можетъ-быть, ты хочешь, чтобъ я шепнула объ этомъ Азеллѣ? У нея теперь пируетъ съ друзьями градоправитель Дамаска: онъ пошлетъ отыскать тѣхъ, кто тебя обидѣлъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ я:—это не нужно. Принеси мнѣ только воды и какую-нибудь чистую тунику.

Надѣвъ чистую одежду, я хотѣлъ идти къ бывшему Аммуну, который занимался всякими дѣлами, и закабалить ему себя на цѣлую жизнь, лишь бы взять сразу деньги и отдать ихъ на выкупъ отъ скопца дѣтей Магны.

Ада скоро возвратилась и принесла все, что мнѣ было нужно.

Но она также сказала обо мнѣ и своей госпожѣ, а это повело къ тому, что едва Ада обтерла прохладною губкою мои раны и покрыла мои плечи принесенною ею льняной туникой, какъ въ переходѣ, гдѣ я лежалъ на полу, прислонясь бокомъ къ дереву, показалась въ роскошномъ убранствѣ Азелла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Азелла вся была въ золотѣ и въ перлахъ, изъ которыхъ одинъ стоилъ огромной цѣны. Этотъ рѣдкостный перлъ былъ подаренъ ей большимъ богачомъ изъ Египта.

Азелла подошла съ участьемъ ко мнѣ и заставила меня разсказать ей все, что со мною случилось. Я ей сталъ разсказывать вкратцѣ, и когда дошелъ до бѣдствія Магны, то замѣтилъ, что глаза Азеллы стали серьезны, а Ада начала глядѣть вдаль и по лицу ея тоже заструились слезы.

Тогда я подумалъ: вотъ теперь время, чтобы открыть Магистріанову тайну, и вдругъ неожиданно молвилъ:

— Азелла, это ли всѣ драгоцѣнности, которыя ты имѣешь?

— Нѣтъ, это не всѣ,—отвѣчала Азелла.—Но какое тебѣ до этого дѣло?

— Мнѣ большое есть дѣло, и я тебя умоляю: скажи мнѣ, гдѣ ты ихъ сохраняешь и всѣ ли онѣ цѣлы?

— Я храню ихъ въ драгоцѣнномъ ларцѣ, и всѣ онѣ цѣлы.

— О, радость!—вскричалъ я, позабывъ всю мою боль.— Все цѣло! Но гдѣ жъ взялъ десять литръ золота Магистріанъ?

— Магистріанъ!?

— Да.

И когда я сталъ разсказывать, что сдѣлалъ Магистріанъ, Азелла стала шептать:

— Вотъ кто истинно любитъ! Моя Ада видѣла, какъ онъ вышелъ изъ дома Аммуна... Я все понимаю: онъ продалъ Аммуну себя въ кабалу, чтобы выпустить Магну!

И гетера Азелла начала тихо рыдать и обирать съ своихъ рукъ золотыя запястья, ожерелья и огромный перлъ изъ Египта, и сказала:

— Возьми все это, возьми и бѣги, какъ можно скорѣе возьми отъ сконца дѣтей бѣдной Магны, пока онъ ихъ не изуродовалъ!

Я такъ и сдѣлалъ: я соединилъ всѣ мои деньги, которыя далъ мнѣ Оръ коринѳянинъ, съ тѣмъ, что получилъ отъ гетеры, и отправилъ съ ними Магну выкупать изъ неволи ея мужа и двухъ сыновей. И все это совершилось успѣшно, но зато исправленіе жизни моей, и съ ней вся надежда моя на блаженную вѣчность навсегда разлетѣлись. Такъ я

теперь и остаюсь скоморохомъ — я смѣхотворъ, я безпутникъ,—я скачу, я играю, я бью въ накры, свищу, перебираю ногами и трясу головой. Словомъ: я бочка, я дегтярная бочка, я негодная дрянь, которую ничѣмъ уже не исправишь. Вотъ тебѣ и весь сказъ мой, отшельникъ, о томъ, какъ я утратилъ улучшеніе жизни и какъ нарушилъ обѣтъ, данный Богу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Ермій всталъ, протянулъ руку къ своей козьей милоти и молвилъ скомороху:

— Ты меня успокоилъ.

— Полно шутить!

— Ты далъ мнѣ радость.

— Въ чемъ она?

— Вѣчность впустѣ не будетъ.

— Конечно!

— А почему?

— Не знаю.

— Потому, что перейдутъ въ нее путемъ милосердія много изъ тѣхъ, кого свѣтъ презираетъ и о которыхъ и я, гордый отшельникъ, забылъ, залюбовавшись собою. Иди къ себѣ въ домъ, Памфалонъ, и дѣлай, что дѣлалъ, а я пойду дальше.

Они поклонились другъ другу и разошлись. Ермій пришелъ въ свою пустыню и удивился, увидавъ въ той расщелинѣ, гдѣ онъ стоялъ, гнѣздо вороновъ. Жители деревни говорили ему, что они отпугивали этихъ птицъ, но онѣ не оставляютъ скалы.

— Это такъ и должно быть,—отвѣтилъ имъ Ермій.—Не мѣшайте имъ вить свои гнѣзда. Птицы должны жить въ скалѣ, а человѣкъ долженъ служить человѣку. У васъ много заботъ; я хочу помогать вамъ. Хилъ я, но стану дѣлать по силамъ. Довѣрьте мнѣ вашихъ козъ, я буду ихъ выгонять и пасти, а когда возвращусь со стадомъ, вы дайте мнѣ тогда хлѣба и сыра.

Жители согласились, и Ермій началъ гонять козье стадо и учить на свободѣ дѣтей поселянъ. А когда все село засыпало, онъ выходилъ, садился на холмъ и обращалъ свои глаза въ сторону Дамаска, гдѣ онъ узналъ Памфалона. Старецъ теперь любилъ думать о добромъ Памфалонѣ, и

всякій разъ, когда Ермій переносился мыслью въ Дамаскъ, мнилось ему, что онъ будто видитъ, какъ скоморохъ бѣжитъ по улицамъ съ своей Акрой и на лбу у него мѣдный вѣнецъ, но съ этимъ вѣнцомъ заводилося чудное дѣло: день ото дня этотъ вѣнецъ все становился ярче и ярче и, наконецъ, въ одну ночь онъ такъ засіялъ, что у Ермія не хватило силы смотрѣть на него. Старикъ въ изумленіи закрылъ даже рукою глаза, но блескъ проникаетъ отовсюду. И сквозь опущенныя вѣки Ермій видитъ, что скоморохъ не только сіяетъ, но воздымается вверхъ все выше и выше, — взлетаетъ отъ земли на воздухъ и несется прямо къ пылающей алой зарѣ.

Куда онъ несется! Онъ испепелится, онъ тамъ сгоритъ. Ермій рванулся за Памфалономъ, чтобы удержать его, или, чтобы,. по крайней мѣрѣ, съ нимъ не разстаться, но въ жаркомъ разсвѣтѣ зари между ними вдругъ стала преграда... Это какъ бы частоколъ, или рѣшетка, въ которой каждая жердь одна съ другою не схожи. Ермій видитъ, что это какіе-то знаки, — во весь небосклонъ большими еврейскими литерами, словно углемъ и сажей, напачкано слово: «самомнѣнье».

«Тутъ мой предѣлъ!» — подумалъ Ермій и остановился, но Памфалонъ взялъ свою скоморошью епанчу, махнулъ ею и въ-разъ стеръ это слово на всемъ огромномъ пространствѣ, и Ермій тотчасъ увидалъ себя въ несказанномъ свѣтѣ и почувствовалъ, что онъ летитъ на высотѣ, держась рука за руку съ Памфалономъ, и оба бесѣдуютъ.

— Какъ ты могъ стереть грѣхъ моей жизни?—спросилъ Памфалона на полетѣ Ермій.

А Памфалонъ ему отвѣчалъ:

— Я не знаю, какъ я это сдѣлалъ: я только видѣлъ, что ты затруднялся, а я захотѣлъ тебѣ пособить какъ умѣлъ. Я всегда все такъ дѣлалъ, пока былъ на землѣ, и съ этимъ иду я теперь въ другую обитель.

Дальнѣйшихъ рѣчей ихъ не слышалъ уже списатель сказанья. Прохладное облако густою тѣнью застлало дальнѣйшій ихъ слѣдъ отъ земли, и съ румяной зарею заката вмѣстѣ слились ихъ отшедшія души.

ЧАСЪ ВОЛИ БОЖІЕЙ.

(СКАЗКА.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ очень древніе годы, стародавніе, былъ въ нѣкоторомъ незнатномъ царствѣ премудрый король по имени Доброхотъ. Величали его такъ за то, что онъ не любилъ воевать, а всѣмъ людямъ добра хотѣлъ. Жить онъ любилъ по-старинному и управлялъ своимъ королевствомъ съ большимъ благочестіемъ, по всѣмъ памятямъ по отцовскимъ и дѣдовскимъ, и изо всѣхъ силъ хлопоталъ и заботился, чтобы въ его землѣ правда надъ кривдою верхъ взяла и всѣмъ людямъ хорошо было у него подъ державою, но только все это дѣло у него не спорилося. Только-что начнетъ Доброхотъ съ одного конца свое дѣло налаживать, какъ — глядитъ — оно у него на другомъ концѣ расплетается. Долго бился Доброхотъ всякимъ родомъ и способомъ и умаялся въ хлопотахъ до семи потовъ, а успѣха ему все-таки нѣтъ какъ нѣтъ. И потерялъ, наконецъ, Доброхотъ всякую надежду устроиться, и взяло его отъ этого такое горе и отчаяніе, что не стали его веселить ни скоморошьи потѣхи, ни пляски, ни женины ласки умильныя; опостылѣли ему звѣриные ловы и птичья охота наскучила. Сталъ король вянуть и къ гробу носунулся.

Замѣтила это жена Доброхота-премудраго — Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить съ нѣжностью, чтобъ онъ пожалѣлъ себя и ее, и своихъ малыхъ дѣтушекъ, и не трудилъ бы себя долгою тяжкою заботой, а созвалъ бы скорѣе со всего королевства самыхъ сановитыхъ бояръ и велѣлъ бы имъ всю премудрость обдумать въ большой думѣ засвѣтло и подать себѣ предъ сумерки все дѣло чистое—на ладошечкѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Король Доброхотъ въ сей послѣдній разъ нѣжныхъ ласокъ своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвалъ своихъ думныхъ бояръ со всей земли и началъ у нихъ спрашивать:

— Все ли у насъ подъ моею державой идетъ такъ, какъ слѣдуетъ?

Совѣтчики отвѣчали:

— Съ нашей руки видать, будто идетъ у насъ все какъ слѣдуетъ. Будь только ты у насъ многолѣтне здравъ, а для насъ ничего окромя сего и не надобно.

— Если всѣ вы не врете, то, пожалуй, быть-можетъ, и вправду такъ,—отвѣчалъ король:—хорошо, молодцы, я для васъ постараюсь подольше жить, а только мнѣ то огорчительно, отчего у меня подъ державою не все такъ, какъ я хочу: для чего у насъ есть холодные и голодные и отчего не для всѣхъ равно все спорится и ладится?

А бояре Доброхоту отвѣтили:

— Что тебѣ этимъ пустымъ дѣломъ тревожиться! Не прогнѣвайся, посмотри вокругъ, вѣдь оно и по всей землѣ повсемѣстно такъ—не у насъ однихъ все хорошее не спорится, не ладится!

— Ну, пускай повсемѣстно такъ, — отвѣчалъ король:—а мнѣ это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте примѣръ на цѣлый свѣтъ, чтобъ отъ насъ всѣмъ людямъ хорошо стало. Я за тѣмъ васъ къ себѣ и потребовалъ, чтобы вы мнѣ скорѣй это дѣло обдумали. Подите-ка сядьте честь-честью въ большой сборнѣ вдоль лавокъ за столъ, да не спите, поклавъ другъ другу головы на плечи, и обо всемъ мнѣ до сумерекъ обдумайте на-крѣпко, а сутемень придите и выложьте.

Совѣтчики засѣли совѣтъ держать и кой часъ поспали, а послѣ, проснувшись, всѣ между собою заспорили: одни стали говорить, будто всѣмъ хорошо было только въ старину-стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять изъ могилы на свѣтъ старину поднять и начать жить всѣмъ по-старинному, какъ было въ прошлое время, при дѣдахъ и при прадѣдахъ, когда будто бы снѣгъ горѣлъ, а соломой тушили. А другіе стояли за то, что и въ ту старину-стародавнюю тоже не всѣмъ подъ-рядъ равно хорошо было; а что станетъ, молъ, для всѣхъ поравнѣй и порадостнѣй

только въ будущемъ. А потому не надо-де нонѣшнимъ днемъ очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, молъ, какъ ни прожить — это все равно, — хоть и пострадать, такъ не важно стать: нашъ народишко терпѣливый, выносливый — ему ужъ не первый снѣгъ стелетъ головы, и ему ничего отъ бѣды не подѣется; а надо намъ половчѣй учредиться на предбудущее, чтобы во вѣки-вѣковъ было наше имя прославлено.

Провели въ этихъ рѣчахъ все время засвѣтло, а въ сумерки встали съ мѣстъ, запахнулися и принесли сутемень свои суды къ королю въ теремъ и все готовьемъ предъ нимъ и выложили.

Слушалъ долго король всѣ разводы совѣтчиковъ и всѣ ихъ слова ему не понравились: покачалъ онъ на нихъ головой и прогналъ ихъ всѣхъ ко своимъ дворамъ на полатяхъ спать, а самъ еще въ два раза смутнѣй закручинился.

— Мнѣ, — говоритъ, — отъ этого ихъ совѣта совсѣмъ нѣтъ ни корысти, ни радости, и сказали они несуразное, потому что не я дамъ Богу отвѣтъ за то время, когда меня не было, и не отвѣчу я и за то, что послѣ меня въ свѣтѣ станется. А я хочу знать, какъ я самъ теперь долженъ державствовать, чтобы сейчасъ всѣмъ людямъ стало полегостнѣй; а вотъ это-то у меня какъ разъ и не спорится, не ладится.

И началъ король одинъ въ сумеркахъ по палатѣ изъ угла въ уголъ ходить, и какъ до угла дойдетъ да повернется, то вздохнетъ глубоко изъ всей груди, такъ что вездѣ слыхать во всемъ теремѣ.

Тогда подошла къ нему тихо въ потемочкахъ старая его мамка, чуждянка, изъ чужихъ земель полоненая, и говоритъ ему попросту:

— Ты чего, мое дитятко, все вздыхаешь да охаешь? Ты вѣдь самъ виноватъ, — для чего ты задумалъ искать на бѣдную долю совѣта и разума у своихъ у бояръ и совѣтчиковъ? Имъ вѣдь только и дѣло—особиться, а до общихъ заботъ имъ и нужды нѣтъ, потому что всѣ они только себѣ добра хотятъ, а ты повели привести къ себѣ старцевъ божьихъ, пустынничковъ, тайныхъ, которымъ уже свѣтъ не милъ и земля имъ давно опостылѣла. Вотъ ты ихъ спроси, — имъ врать нечего, имъ уже ничего въ этомъ

свѣтѣ не надобно,—такъ они тебѣ, можетъ-быть, правду и выскажутъ.

Королю это слово понравилось.

— Хорошо,—онъ сказалъ:—я тебя очень послушать радъ, по только гдѣ же могу я такихъ божьихъ людей достать?

А старуха отвѣчаетъ:

— Ты объ этомъ не крушися ни малости: слово сказано, что три праведныхъ въ каждомъ царствѣ есть, и у насъ они, милый, водятся. Вотъ мнѣ помнится, что слыхала я про трехъ угодныхъ пустынниковъ, которые стоятъ уже много лѣтъ на однихъ мѣстахъ и отъ всего земного они ужъ давно отстоялися, а теперь только въ то живутъ, что втроемъ въ одинъ голосъ за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебѣ, не прогнѣвайся: можетъ-быть, только по ихъ молитвамъ до сихъ поръ Господь Богъ твое царство и милуетъ.

— Хорошо, — отвѣчалъ король:—я сейчасъ хочу видѣть этихъ угодничковъ.

— Вотъ таковъ же и мой совѣтъ: пошли, чтобы ихъ сыскать и привести сюда съ бережью, и спроси у нихъ самъ, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: имъ все явлено, и они тебѣ всю правду, какъ солнышко, на ладоночку выложатъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Король Доброхотъ совѣта своей мамки послушался, и повелѣлъ поставить для него при пути стулъ со спинкою, да и сѣлъ на него рано утречкомъ, чтобы видѣть людей, когда они въ городъ идутъ, да у всѣхъ у калѣкъ-перехожихъ сталъ спрашивать: не видали ли гдѣ трехъ пустынниковъ, которые отбыли все земное, что имъ было назначено, а теперь только въ то и живутъ, что за одно его царство Господу молятся, и черезъ тѣ ихъ молитвы священныя держава его выше всѣхъ на землѣ стоитъ.

Калѣки-перехожіе, тѣ, что всѣ чудеса въ свѣтѣ Божіемъ видѣли, разсказали королю, что такіе праведные пустыннички точно есть, но процвѣли они не въ одномъ мѣстѣ, а стоятъ они уже много лѣтъ, всѣ порознь спасаются. Одинъ, тотъ, что постарше всѣхъ, просіялъ въ самомъ дикомъ тѣсномъ лѣсу, гдѣ онъ сталъ давно на дубу на макушечкѣ, а теперь тотъ дубъ уже высоко возросъ и уперся въ

поднебесье, и старца и солнце жжетъ, и буйные вѣтры бьютъ; — этотъ называется старикъ-Дубовикъ, а вѣку ему давно лѣтъ за тысячу. Другой старичокъ — этому средній братъ—процвѣлъ въ безбрежной степи посреди ковыля, гдѣ и журавли и дрохвы съ головами хоронятся, и верховóго латника съ копьемъ вмѣстѣ не видно; тамъ закопалъ себя старичокъ въ землю по-поясъ и терпитъ, какъ его гложетъ сыпучій червь, а самъ кушаетъ только козявочекъ, которыя сами ему въ ротъ вползутъ: — и этотъ пустынникъ называется старикъ-Полевикъ, а вѣку ему пятьсотъ годовъ. Третій же старичокъ — этимъ обоимъ самый младшій братъ— потопилъ себя по самую шею посреди невылазныхъ рамедныхъ болотъ и живетъ тамъ съ лягушками, съ змѣями, а въ лицо его жалитъ песья муха, и пискунъ-комаръ давно изъ него уже и кровь всю выпилъ, а старикъ все стоитъ, не шевелится;—имя ему Водовикъ, а вѣкъ его триста лѣтъ безъ единаго. И всѣ эти дивные старцы теперь уже чуть живы, такъ что надо ихъ брать съ большою опаской и бережью, потому что отъ самаго малаго встрясу всѣ они могутъ разсыпаться.

И дали калѣки Доброхоту совѣтъ, чтобы послать за старичками самыхъ учтивыхъ людей, полированныхъ, и чтобы взяли послы каждый съ собою по мягкой плетушкѣ соломенной, въ какихъ носятъ гусей предъ царскимъ теремомъ на льду драться. А въ каждую плетушечку наказали калѣки настлать на донышко сѣна пахучаго и мягкаго, волокнистаго мху съ старой сосны, а сверху присыпать слегка пухомъ и дранными перьями, чтобы было во что̀ закопаться пустынничкамъ. И всадить старичковъ надо вѣжливо, поучтивому, и нести во всю дорогу посмѣнно въ плетушечкахъ, потому что свои ножки у нихъ отстоялися и ходить они разучилися, а тѣла у нихъ такъ изветшились, что нести ихъ посыльнымъ нимало не тягостно.

Разослалъ король пятьдесятъ пословъ во всѣ стороны и велѣлъ, чтобы нашли, гдѣ хотятъ, старцевъ: Дубовика, Полевика и Водовика и чтобы сняли ихъ съ насиженныхъ мѣстъ бережно, посадили половчѣе въ плетушечки и принесли бы къ королю на закорочкахъ. И которые изъ полсотни людей не найдутъ старичковъ, а безъ пользы даромъ проходятъ, тѣмъ большого наказанія пужаться не надобно и домой идти весело; а которые счастливы будутъ и пра-

ведныхъ старичковъ принесутъ, тѣмъ ждать себѣ большихъ почестей: тѣмъ поставятъ каждому у двора по кресту и по месту, а наверхъ шеста вздѣнутъ цвѣтной колпакъ, чтобы всѣ, кто мимо пойдетъ, вверхъ глаза бы дралъ да имъ бы завидовалъ. А дорогой чтобы ни о чемъ старичковъ не смѣтъ спрашивать, а сказать только имъ, чтобъ они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячаго укропа, потому что зоветъ ихъ самъ король къ себѣ на-очи и хочетъ узнать отъ нихъ только одно: отчего у него все не спорится и не ладится? И какъ только они ему объ этомъ скажутъ, такъ онъ ихъ ни о чемъ больше не станетъ разспрашивать, а наградитъ всѣмъ, что имъ надобно, и въ какой чинъ они захотятъ—въ тотъ онъ ихъ и пожалуетъ. Если они захотятъ при королѣ чтобы быть, то онъ оставитъ ихъ жить у себя на застольщинѣ и дастъ имъ супротивъ другихъ кормы вдоволѣ; а если они, одичавши чрезъ долгій вѣкъ, не поймутъ, какъ въ столицѣ жить и какъ при какихъ церемоніяхъ надо ухмыляться или морщиться, то король ихъ за то не сказнитъ, а опять назадъ въ свою глушь сошлетъ на тотъ манеръ, какъ самимъ имъ понравится, — хоть въ колымагахъ на тавреной, пушной кошмѣ, хоть опять на мхѣ и на сѣнѣ въ плетушкахъ соломенныхъ.

Пошли послы королевскіе, какъ имъ было указано, и во всѣ концы королевства разсыпались, — въ каждый слѣдъ все по парочкѣ, для того, чтобы какъ найдутъ старичковъ, такъ нести ихъ на закоркахъ, не безъ отдыха, а другъ съ дружкою въ перемѣночку.

Шли они шли, не считая сколько дней, очень долго, и все еще безъ толку, и зашли уже на самый край королевства, — дальше чего и идти нельзя, потому что стоятъ тутъ чужіе стражники, на плечахъ песьи головы. Но чуть только три пары пословъ завернулися, вскорѣ же обрѣли всѣхъ трехъ старичковъ, — одного въ лѣсу, другого въ полѣ, а третьяго посреди рамедныхъ болотъ. Сказали имъ посланцы отъ своего короля поклонъ вѣжливо и стали звать ихъ съ собой по-учтивому; но старички имъ ничего ни въ отвѣтъ, ни въ привѣтъ не промолвили, а только какъ цыплятки начали себѣ тонкими вѣками глазки зашуривать. Тогда посланцы сняли ихъ съ насиженныхъ мѣстъ и стали на нихъ грозиться и спрашивать:

— Ну-ка, вы, безсѣмянники: нѣтъ ли подъ вами на

вашихъ мѣстахъ серебра или золота, или самоцвѣтныхъ камней? Лучше вы, дохлая братія, сами честью откройтеся, а то вѣдь мы вамъ не таковскіе, — запытаемъ, замучаемъ до-смерти.

Поняли старички слова ихъ или не поняли, но только опять ничего не отвѣтили, а послы ихъ за то переворотили на ловкую сторону и на обѣ корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились,—и такъ до трехъ разъ отхлопали, а послѣ того посадили ихъ на сѣно въ плетушечки и наказали, чтобы ни одинъ не смѣлъ королю на нихъ жаловаться. Потомъ прикрыли ихъ сверху лопушинымъ листомъ, чтобы перелетныя птицы ихъ не запачкали, и понесли къ королю на закорочкахъ, другъ съ дружкою ношей мѣняючись.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сошлися всѣ три пары обрѣтшихъ пословъ въ столицу королевскую въ одинъ день на утренней зоречкѣ, когда король шелъ изъ опочивальни королевиной въ свою теплую мыленку. Посланцы, какъ несли старичковъ дорогой въ плетушечкахъ, такъ ихъ у предбанника на землю поставили, а сами въ рядъ позади становилися. Помылся король майораннымъ мыломъ и щелокомъ съ кучерявою мятой, съ душицею, расчесалъ кудри и бороду и вышелъ изъ мыльни показаться народушку, а послы тутъ за-разъ лопухи съ плетушечекъ сняли прочь и Доброхоту старичками челомъ въ землю ударили.

Король сдѣлался радостенъ: велѣлъ пословъ накормить, напоить и въ его собственной банѣ отмыть и хорошенечко выпарить, а самъ подошелъ къ старцамъ съ улыбкой привѣтною; но какъ увидалъ, какіе они сидятъ испитые, тщедушные — въ чемъ душа въ тѣлѣ держится, то отъ страха и руки врознь.

Однакоже, поглядѣвъ на нихъ окомъ благостнымъ, король осмѣлѣлъ и сталъ надъ ихъ надъ плетушками разговаривать, что вотъ такъ и такъ, наученъ онъ сызмлада наукамъ и мудростямъ и очень хочетъ, чтобы всѣмъ въ его королевствѣ хорошо было, а никакъ это у него не спорится, не ладится.

— Спрашивалъ,—говоритъ:—я объ этомъ моихъ мудрыхъ бояръ и совѣтчиковъ, да ничего не дошелъ отъ нихъ

умнаго: или они не знаютъ, или таятся, а говорятъ все такое, что уже тридцать разъ слышано. Ну те-ка, вы,— вы вотъ много лѣтъ все молчали и устремляли умы на высокое, — прошу я васъ честію: скажите вы мнѣ, отчего у меня не спорится и не ладится?

А старики какъ сидѣли, такъ и сидятъ во плетушечкахъ, и какъ молчали они много лѣтъ, такъ и теперь молчатъ и своего слова не сказываютъ.

Терпѣливъ былъ и ласковъ король, но за это разгнѣвался.

— Что же,—говоритъ,—вы молчите, какъ истуканы и чучела? Я посылалъ за вами много людей полированныхъ во всѣ стороны, а вы мнѣ и по одному слову не сказываете. Вы теперь не въ лѣсу и не въ болотѣ, а въ моемъ стольномъ городѣ: здѣсь молчать, когда спрашиваю, — значитъ грубительство и за это отъ моего утвержденія по закону васъ будутъ наказывать. Смекните, что я говорю съ вами не ради забавы и прибыли, а для пользы въ великихъ дѣлахъ государственныхъ. Для чего же вы мнѣ противляетесь? Не забудьте, что вы мнѣ вѣрноподданные, и я могу повелѣть, чтобы при мнѣ васъ поломя разсѣчь, или привязать васъ къ конскимъ хвостамъ, да и размыкать васъ по полю.

Но смутился король, что если старичковъ казни предать, тогда ничего отъ нихъ не довѣдаешь, а если сдать ихъ честь-честью съ рукъ на руки палачамъ-молодцамъ и велѣть развести по застѣночкамъ да на дыбѣ потрясти да разспрашивать, то они и одной встряски не выдержатъ — всѣ разсыплются въ прахъ и разлетятся пылью по потолкамъ да по стѣночкамъ.

И опять созвалъ Доброхотъ на совѣтъ всѣхъ своихъ мудрыхъ совѣтчиковъ и спросилъ ихъ: отчего передъ нимъ справедливые старцы упрямятся и что ему съ ними надо сдѣлать, — какъ ихъ понудить, чтобъ они по одному важному слову высловили?

Вельможи отвѣчаютъ:

— Мы бы знали, что дѣлать, да ты это дѣло самъ испортилъ.

— А чѣмъ я испортилъ?—вопросилъ король.

— А испортилъ ты тѣмъ, что понизилъ высокій санъ— сталъ съ простыми людьми вровняхъ разговаривать: вотъ они черезъ это теперь и зазналися. Тебѣ, кромѣ насъ да

стрѣльцовъ, ни съ кѣмъ говорить не пригоже, потому что твое дѣло средь всѣхъ людей особливое. Чтобъ исправить теперь ихъ какъ слѣдуетъ, дай ихъ намъ — мы отъ нихъ всю ихъ премудрость довѣдаемъ.

Король, было, совсѣмъ согласился отдать старцевъ боярамъ; но прослышала опять объ этомъ мамка-полонянка доилица и пришла съ клюкой къ королю, чтобъ его отговаривать.

— Не сердись,—говоритъ,—ты на бѣдныхъ пустынниковъ: вѣдь они одичали и молчатъ уже много лѣтъ. Не хотятъ они и тебѣ говорить не по грубости, потому будто дѣло твое особливое, а они—не прогнѣвайся—опростилися и тебя мнятъ не выше всѣхъ прочихъ въ созданіи, и въ особину на тебя не надѣются!

— Значитъ, глупы они, — отвѣчалъ король: — въ семъ вина тебѣ: вѣдь они сюда съ твоего совѣта и позваны.

— Нѣтъ, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить боятся. Подожди, они при твоемъ дворѣ поживутъ — сполируются и тогда ухитрятся, какъ сказать про все неразберихою, — скажутъ такъ, что ничего не будетъ тебѣ и другимъ непріятнаго и все будетъ то, что твоему могуществу надобно. А только ты потерпи и не давай ихъ на допросъ своимъ боярамъ-совѣтчикамъ: видишь самъ, чай, что старички они очень слабые, — а бояре твои противъ слабыхъ усиліе творить очень усердные: они ихъ возьмутъ да съ большого усердія запытаютъ и замучаютъ до-смерти. Мой совѣтъ тебѣ—будь обходительнѣй: призови ты сейчасъ лучше всего своего гусляра Разлюляя-гудошника — онъ измигулъ-мужиченко, лядащенькій, ни на міръ, ни въ семью ничего не работаетъ, а однимъ своимъ пустобрехомъ на свѣтѣ живъ; но зато знаетъ онъ всѣ разныя хитрости и всѣ ходы съ подходами. Посмотри-ка, онъ чего замесетъ пустолайкой и въ-разъ у старичковъ правды допросится—обойдетъ ихъ если не лаской, такъ хитростью.

Доброхотъ позвалъ своего плясуна, гусляра Разлюляя-гудошника, и сказалъ ему:

— Ты лядащій мужикъ-измигулъ не работистый, только хари гнешь, да врешь ни знать что пустолайкой, — здѣсь отъ тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсѣмъ на другую стать. Полно тебѣ въ дуракахъ ходить да ерошиться: я теперь тебѣ свое государево великое дѣло приказываю, чтобы ты, какъ

умѣешь и вѣдаешь, допытался у старичковъ ихъ откровенія премудрости: отчего у насъ въ королевствѣ не спорится, не ладится?

И закончилъ король Разлюляю рѣшеніемъ:

— Узнаешь премудрость — дамъ тебѣ сто рублей, а не узнаешь — велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, какъ Богъ въ небеси,—что я сказалъ, то и станется.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Разлюляй-измигулъ, гулевой мужиченко, шершавенькій, повсегда онъ одѣтъ въ зипунишечкѣ въ пестренькомъ,— одинъ рукавъ кармазинный, а другой лазоревый, на головѣ у него суконный колпакъ съ бубенчикомъ, штаны пестрядиные, а подпоясочка лыковая,—не жнетъ онъ и не сѣетъ, а живетъ не знамо чѣмъ, и питаетъ еще хозяйку красивую да шестерку дѣтей, — на котораго ни глянь, сразу знать, что всѣ — Разлюляевичи. Ходитъ онъ повсюду болтается и никто разобрать не можетъ: видитъ ли онъ добро въ той темнотѣ, что была до Гороха-царя, или свѣтится ему лучшее въ тѣхъ смыслахъ, какіе открылися людямъ послѣ время Горохова. Никто его не чуждается, а всѣ зовутъ его «пустолайкою»; но измигулъ Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за легкимъ тычкомъ не гоняется, а людей потѣшаетъ, и какъ устанетъ врать пустолайкою, то соловьемъ свиститъ, то лопочетъ варакушкой, на рукахъ идетъ, бокомъ катится и на всякій на разный манеръ притворяется.

Но какъ выслушалъ Разлюляй королевъ приказъ, позабылъ онъ всѣ свои забавы и шуточки, и началъ проситься отъ этого дѣла прочь,—что «не мнѣ-де такое важное дѣло вѣдати»; но король топнулъ ножкой, и пошелъ Разлюляй къ старикамъ и началъ вокругъ нихъ, по обычаю, измигульничать: митусить ногами и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать:

— Охъ вы, гой еси, старички справедливые, треблаженные, Божьи молчальнички, разомкните уста свои благовѣстныя и скажите скорѣй, не потайте отъ короля отъ нашего милосерднаго батюшки, отчего у него подъ державой все добро не спорится, не ладится?

А старички какъ молчали, такъ и теперь молчатъ, только, знай себѣ, въ кошолочкахъ гнѣздятся.

Тогда Разлюляй сталъ на другой манеръ измигульничать и началъ ихъ пробовать жалостью.

— Мнѣ нужда есть узнать это страшная: потому что если вы мнѣ скажете, отчего не спорится добро, то король обѣщалъ мнѣ дать сто рублей, а если не скажете, то онъ дастъ мнѣ тогда сто плетей. Его слово королевское крѣпко, и сбудется—не забудется. Да вамъ и самимъ, старичкамъ, для себя молчать не совѣтую, потому что король васъ тогда не отпуститъ назадъ ни въ степь, ни въ лѣсъ, ни въ болото, а велитъ васъ подвѣсить въ кошолочкахъ подъ полати въ большой избѣ, гдѣ онъ держитъ частый совѣтъ со своими вельможами. Что тамъ по всѣ дни наслышитесь — спаси только Господи. Вотъ вы на этотъ счетъ поразмайте: каково-то вамъ тамъ придется слушать совсѣмъ непривычныя рѣчи до самаго до-вѣку! Выручайте и меня, и себя, отцы, а то нагрѣшите вы съ ними три короба и не годится послѣ того ни къ стру, ни къ смотру, ни въ рай, ни въ адъ, ни въ царство небесное, а такъ и останетесь висѣть подъ полатями.

Такъ напугалъ этимъ Разлюляй старичковъ, что они стали глазами водить во всѣ стороны и изгорѣвшими устами своими начали пошевеливать, а измигулъ Разлюляй-пустобрехъ, какъ увидалъ, что успѣлъ имъ загнать во лбы загвоздку здоровую,—сейчасъ побѣжалъ къ королю и говоритъ:

— Что мнѣ отъ твоей милости сказано, я все это уже выполнилъ: старички уже теперь полируются, — стали уже губами двигать и скоро шептать начнутъ, — одѣвайся скорѣй, да иди-ка ихъ слушать, что они высловятъ, какія премудрости.

Какъ пришелъ король да нагнулся къ первой плетушечкѣ, такъ и стало слышно ему, что старикъ-Дубовикъ и впрямь полируется,—объ ивовое плетеніе, какъ поросенокъ, всѣми боками трется, а самъ робко пыхтитъ и тихо покрехтываетъ.

Король его и спросилъ: «Отчего на свѣтѣ доброе не спорится и не ладится?»

Старикъ-Дубовикъ прошепталъ:

— *Оттого, что люди не знаютъ: какой часъ важнѣе всѣхъ.*

Доброхотъ нагнулся къ другому, къ Полевику, и того спросилъ, а тотъ шепчетъ:

— *Оттого, что не знаютъ: какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ.*

Нагнулся Доброхотъ и къ третьему старичку, а тотъ ему сказалъ:

— *Оттого, что не знаютъ: какое дѣло дороже всѣхъ.*

И такъ молчальникамъ трудно это было проговорить съ отвычки, что они какъ только сказали, такъ и ослабѣли, и больше не полируются, а лежатъ, едва дышатъ, на донышкахъ. Ничего отъ нихъ король больше никакъ не могъ допытаться-довѣдаться, и еще больше разсердился, потому что сказанныя ими слова стали ему загадками, которыя понимать можно на-двое. Король же привыкъ такъ все брать, чтобы было ему все какъ на ладонкѣ положено, и оттого ему теперь еще больше досада пришла, и приказалъ онъ сдѣлать съ старичками точь-въ-точь такъ, какъ имъ Разлюляй пригрозилъ: указалъ Доброхотъ, чтобъ ихъ не носить ни въ лѣсъ, ни въ болото, а подвѣсить ихъ въ кошолкахъ въ большой совѣтной избѣ подъ полатями и держать ихъ тамъ, пока они не скажутъ: «какой самый важный часъ, кто самый нужный человѣкъ и какое дѣло дороже всѣхъ».

Отнесли старичковъ въ совѣтную избу и подвѣсили подъ полатями въ ихъ плетушечкахъ, посыпали имъ пшенной кашки, чтобъ они въ просоночкахъ зѣблили, и поставили на верхнемъ полу ведерцо воды съ мѣднымъ ковшикомъ, а сами всѣ спать пошли и разоспались до одури самымъ крѣпкимъ сномъ до самаго до свѣту.

Но однако спали не всѣ люди во всю ночь безъ просыпу,—проснулся въ первые пѣтухи сынокъ кравчаго, побѣжалъ въ избу незапертую и укралъ изъ ведра съ водой красный мѣдный ковшъ, чтобы промѣнять его на подторжьѣ на пряники. А потомъ еще не поспалось самому королю Доброхоту-премудрому: все казалось ему, будто его закожныя блошки покусываютъ. Провалялся онъ такъ безъ сна до послѣднихъ пѣтуховъ, и надоѣло ему въ постели барахтаться — безъ сна лежать, только маяться; всталъ онъ горошкомъ, распрямился, нахватилъ себѣ на плечи королевскую глубоньку и пошелъ старичковъ посмотрѣть: живы ли они и здоровы ли, и чего они черезъ ночь, полируясь, надумались?

Пришелъ король въ избу, подставилъ себѣ къ полатямъ приставную скамеечку, но только-что глянулъ въ плетушечки,—такъ и ротъ раскрылъ, и завопилъ благимъ голосомъ, и со скамьи на полъ навзничь треснулся. Всѣ пло-

тушечки были пусты-пустёхоньки, и ни отъ одного старичка ничего не осталося, кромѣ смятаго мѣста да насѣдней. Разлетѣлись ли они легкою пылью по стѣнкамъ да по полу, или унесло ихъ по воздуху, но только тутъ, гдѣ они сохранялися, ничего не осталося.

Король такъ испугался, что какъ со скамьи упалъ, такъ и не становится на ноги, а катается по полу и такъ бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни есть, благимъ временемъ, уберегутъ самого его слуги вѣрные, такъ что, пожалуй, лиходѣи и его со двора сведутъ и растрясутъ гдѣ-нибудь безъ остаточка!.. Услыхали караульщики, какъ земля дрожитъ, и стали спросонья бить громкій всполохъ по чугунной доскѣ на цѣлый дворъ и кричать благимъ голосомъ: «Ай земля сотрясается—мы насилу за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевскіе спальники и застольники и начали со страху вокругъ себя на корачкахъ ползать, а потомъ пришли и вылили королю все ведро воды за воротъ, и насилу нашли королевскаго докторанѣмчина, который одинъ зналъ, что̀ сдѣлать надобно: онъ поднесъ Доброхоту подъ самый носъ стекляную столбушечку, а въ столбушечкѣ тертый крѣпкій хрѣнъ, и защекоталъ ему перстами въ подмышечкахъ.

Отъ хрѣну и щёкота королю сразу полегчало: онъ сталъ похохатывать и въ-разъ возвратились ему всѣ его чувства нѣжныя и большія заботы о подданныхъ. Созвалъ онъ опять къ себѣ всѣхъ бояръ и совѣтчиковъ и сталъ спрашивать ихъ: гдѣ дѣлись пустынички, не извелъ ли ихъ кто какою отравой, боясь ихъ правдивыхъ словъ, или не продалъ ли ихъ съ ненасытной душою куда-нибудь въ чужое царство безбожное, гдѣ ихъ станутъ неволить въ римскій костелъ ходить и ѣсть скоромное по середамъ и по пятнипамъ.

Бояре, какъ могли, постарались короля успокоивать, и стали ему доводить, что никакого тутъ зла съ умысломъ не случилось, а что просто жилъ, вѣрно, въ палатѣ подъ поломъ жадный хорь, и поѣлъ этотъ жадный хорь старичковъ безъ остаточка.

И стали всѣ короля отвлекать и разсѣевать, — что убиваться ему о такой пустой пропажѣ долго не слѣдуетъ, что «старички были люди ветхіе и свой вѣкъ давно уже отжили».

— Пропоемъ о нихъ панихидочку, вспомянемъ ихъ кануномъ на паперти, да у себя по домамъ блинками съ

припекою, и будемъ править всѣмъ опять по-старинному, какъ было при дѣдахъ нашихъ и прадѣдахъ. А что никакъ не спорится и не ладится — про то, значитъ, и думать не слѣдуетъ: на землѣ бѣднякамъ всегда будетъ жить тяжело, да никуда они не подѣнутся: вѣдь на небо взлетѣть крыльевъ имъ не дано. Поскулятъ и на томъ успокоятся!

Королю же, однако, эти слова не понравились, и не повѣрилъ онъ тому, чтобы старичковъ у него въ избѣ хорь изъѣлъ,—а сказалъ онъ такъ:

— Если хорь изъѣлъ, то гдѣ же ихъ косточки? Панихиду о нихъ я согласенъ пѣть, да вѣдь надо пѣть ее надъ могилами.

Тогда приступилъ къ королю судный дьякъ, во всѣхъ дѣлахъ многоопытный, и сказалъ королю, что бояре болтаютъ негожее: не хорь изъѣлъ старичковъ, а ушли они не иначе, какъ своею колдовскою хитростью: пролили изъ ведра воду на полъ, а сами сѣли въ мѣдный ковшикъ и уплыли. Ихъ теперь нигдѣ не сыскать никакими манерами. Отъ лихихъ колдовскихъ людей таковыя дѣла не разъ были во всѣхъ земляхъ, и при всѣхъ дѣдахъ и при прадѣдахъ, и вездѣ на телячьихъ шкурахъ записаны чертами и рѣзами, со брегами широкими, и въ самыхъ глубокихъ подвалахъ тѣ шкуры положены, чтобы хранить въ поученіе внукамъ и правнукамъ.

А король говоритъ: «хорошо, чему вѣрили дѣды и прадѣды, тому я всему съ охотою вѣрую; но вѣдь не грѣхъ и то узнать: что какъ устроено? Вотъ я хочу, чтобы вы показали мнѣ: черезъ какое подполье старцы въ мѣдномъ ковшѣ сквозь землю въ океанъ-море спустилися? Согнать сейчасъ со всего королевства плотниковъ и чтобы взломали они въ-разъ всѣ полы во всѣхъ домахъ. Не ломать только въ моемъ теремѣ, да у сѣрыхъ сельскихъ людей, у которыхъ въ жильяхъ полы не стланы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пошли бояре не веселы: не хотѣлось имъ посылать людей, чтобы согнять со всего королевства плотниковъ и ломать половицы въ жилыхъ домахъ, а не смѣли ослушаться короля и не знали, какъ своему горю помочь. Но на ихъ счастье узнала опять обо всемъ объ этомъ королевская мама-чуждянка-доилица, и пришла она къ королю съ прежней смѣлостью и начала говорить ему по-учтивому:

— Ты прости меня, неразумную: я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала, и могу тебѣ разсказать, куда дѣлися старчики. Ихъ не хорь изъѣлъ и не сплыли они въ мѣдномъ ковшикѣ, а настращалъ ты ихъ до смерти самъ, что велѣлъ ихъ подвѣсить къ полатямъ въ избѣ, гдѣ держишь совѣтъ свой съ своими боярами. Старчики вѣкъ сидѣть и все слушать васъ забоялись. Я не спала всю эту ночь отъ лихого отъ вереда и слышала, какъ они другъ со дружкой въ потемкахъ скликнулись. По началу всѣ они сразу чирикнули точно будто сверчки подъ загнеточкой, а потомъ зачали въ своихъ плетушечкахъ покачиваться и такъ раскачались во всѣ стороны, что въ-разъ опрокинулись и съ сѣнцомъ вмѣстѣ на полъ и выпали.

— Гдѣ же они теперь?—закричалъ король.

— А теперь ихъ и слѣдъ простылъ: уползли на корачкахъ съ твоего двора и всѣ въ буйной травѣ безъ слѣдочка и скрылися. Теперь ихъ тебѣ ни за что не найти, потому что трава у насъ этотъ годъ очень рослая; да и дѣло до нихъ ужъ теперь не касается.

— Отчего же оно не касается?

— Оттого, что приснился мнѣ вѣщій сонъ, и былъ слышенъ во снѣ таковой глаголъ, что отгадать ихъ премудрость можетъ только одна чистая жалостница, которая всѣхъ равно сожалѣетъ, а сама о себѣ ничего вовсе не думаетъ. Такъ вотъ ты теперь оставь старичковъ, а посылай искать эту дѣвицу.

Король свою маму-чуждянку послушался и сейчасъ же разослалъ дворянъ и боярскихъ дѣтей дѣвицу разыскивать, а на кормы имъ повелѣлъ собрать по всѣмъ дворамъ съ каждаго дыма по шелегу.

Съ неохотой большою и съ тугою боярскія дѣти и дворяне въ подневольный отъѣздъ собиралися; перво-наперво всѣ они взяли шелеги, а потомъ зачали у себя по домамъ печи топить и въ баняхъ париться. А потомъ долго справляли себѣ лубяныя зобёнки раскрашенныя, да укладывали въ нихъ пироги съ ветчинной начинкой, медовыя оладьи да колобки въ жиру кипяченые, да блины съ разною съ припекой, и когда, наконецъ, напосудились, то кое-какъ съ трудомъ за ворота повыползли и поѣхали въ путь со своими стремянными. А какъ за околицу выѣхали, такъ сейчасъ взяли съ прямого пути въ стороны и разъѣхались

къ родпымъ да къ пріятелямъ, и начали тамъ ѣсть досыта, пить до-пьяна, а напившись — кости и зернь метать, и игравъ — подрались и другъ дружкѣ подъ очи синявы намѣтили, а потомъ помирились, на синія мѣста муки съ медомъ намазали и легли, крѣпко выспались, а какъ хмель прошелъ и синяки позаиндивѣли — послы всѣ назадъ возвратились и почали разные страхи разсказывать про то, гдѣ будто были и что видѣли, и, предъ иконами ставъ, забожилися, что хоть много на свѣтѣ есть непонятнаго, но нѣтъ нигдѣ такой дѣвушки, которая бы всѣхъ сожалѣла, а о себѣ объ одной не заботилась.

— Къ этакой,—говорятъ:—если бъ была она, весь народъ на одинъ край свѣта сбѣжался бы, и весь свѣтъ бы тогда перекувыркнулся.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Услыхавъ такой сказъ, король такъ опечалился, какъ до сихъ поръ и не было: не сталъ онъ совсѣмъ ни ѣсть, ни пить, ни по галлереѣ гулять, дышать чистымъ воздухомъ, а залегъ какъ медвѣдь на зимовочку. И вотъ лежитъ онъ такимъ манеромъ разъ въ сумеркахъ, совсѣмъ тощій, у себя въ верхней горницѣ на лежаночкѣ, и едва черезъ силу говоритъ своей бабѣ-доплицѣ:

— Неужели же я такъ и умру, не довѣдавшись: какой часъ важнѣе всѣхъ, какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ и какое дѣло дороже всѣхъ?

А баба ему отвѣчаетъ:

— Если будешь все бояръ разсылать, — пожалуй, что такъ и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать дѣвицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть онъ ее хоть и вѣкъ ищетъ, но безъ нея чтобы не шелъ назадъ. Онъ мужичонко корявый, ледащенькій, говоритъ пустолайкою, и за нимъ никакія дѣла не задержатся, а кормовъ ему отъ казны супротивъ бояръ можно дать всего одну долечку, да и то почитай, что не надобно: онъ и такъ пропитается какъ-нибудь одною своею вѣрностью. Вѣрныхъ псовъ-то добрый народушка и весь вѣкъ держитъ на безкормицѣ. Пусть и онъ при всей вѣрности свое счастье испробуетъ. Пускай высѣчетъ себѣ топоромъ въ заказномъ лѣсу хоть костыль съ клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо перекинетъ пенечную обрать конскую, и довольно

ему принадлежностей. Пусть идетъ, будто надо ему коней искать: «на росу, молъ, пустили, а они съ росы разбѣжались». И пусть такъ идетъ куда знаетъ самъ, и проходитъ хоть сквозь цѣлый бѣлый свѣтъ: гдѣ-жъ-нибудь на краю свѣта разыщетъ онъ дѣвицу-отгадчицу. Вѣдь сквозь таратара-ры она, небось, не провалится.

— Хорошо, — отвѣчалъ король: — всѣ твои разсужденія умныя, и они мнѣ всегда очень нравятся: пошлемъ Разлюлял во мѣсто большихъ бояръ; а только не вздумаю, какое ему посулить за его службу жалованье?

— Обѣщай, что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а тамъ, что взаправду дашь — будетъ видно, по его по старанію. И совсѣмъ ничего не дашь — тоже стерпится: на тебя вѣдь ни въ судъ не пойдетъ просить, ни въ полицію. На тебя одинъ Богъ судья: твое дѣло совсѣмъ особливое.

— Это правда, — отвѣчалъ король: — на землѣ мы не судимся, ну, а все-таки надо и намъ межъ людей вести себя съ честностью: что королевскимъ словомъ обѣщано, то ужъ надо и выплатить, все равно какъ по бирочкѣ.

— Ну, такъ пожалуй его опять и въ этотъ разъ въ одностай противъ прежняго: если онъ исполнитъ свою службу и найдетъ дѣвицу-разгадчицу, дай ему въ тѣ поры полныхъ сто рублей, а если не исполнитъ — не сыщетъ дѣвицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, Богъ съ нимъ, пусть идетъ опосля къ своему двору, а ты на него больше не гнѣвайся и пожалѣй его за стараніе.

— А какъ онъ и дѣвицы не найдетъ, и сюда къ намъ со страху совсѣмъ не воротится? Онъ вѣдь пустой человѣкъ, ему вездѣ все равно — въ цѣломъ мірѣ отечество.

— Ну, про это, — сказала старуха: — я, другъ мой, не свѣдуща. Позови къ себѣ изъ приказа посольскаго судового дьяка, который посламъ ярлыки даетъ за печатями; дьякъ тебѣ это дѣло все оборудуетъ.

Пришелъ дьякъ и привелъ съ собою самаго хитраго подьячаго съ приписью и подали королю такой совѣтъ, что ярлыка Разлюляю вовсе не надобно, а какъ станетъ король отпускать Разлюляя въ послѣдній разъ, то сказать ему, что идетъ онъ посломъ не на цѣлый вѣкъ, а дается ему сроку ходить по свѣту всего три года, и если онъ къ концу третьяго года своей службы не выполнитъ, то ему самому зла не послѣдуетъ на чужой землѣ, а тутъ, дома, его дѣти

съ ихъ матерью каждую недѣлю будутъ ставлены на площадь по три утра и будутъ биты въ три прута, а при томъ битьѣ у нихъ будутъ спрашивать: знаютъ ли, гдѣ ихъ отецъ и когда передъ свѣтлыя королевскія очи воротится?

— Пригрози-ка такъ,—сказалъ дьякъ:—Разлюляй хотя и пустой человѣкъ, а дѣти всякому своя кровь: небось и онъ пожалѣетъ ребятъ и жену, и назадъ придетъ. Таковые разы уже не разъ были и на шкурѣ телячьей записаны чертами и рѣзами, со брегами широкими, и въ подвалъ подъ избой на сохрану положены.

Король молвилъ втишь, что ему самого Разлюляя жаль, но и дьякъ и подьячій съ приписью его успокоили.

— Нельзя никого сожалѣть намъ въ особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпитъ, для другихъ постарается и за то будетъ всѣмъ польза въ будущемъ, а ему это зачтется на тотъ свѣтъ душевнымъ спасеніемъ.

И изволилъ сказать король, чтобы собрать Разлюляя въ путь, а кормовъ ему присудили дать небольшимъ положеніемъ: толоконца за пазуху да узелокъ соли въ тряпочкѣ, а дальше пусть чѣмъ самъ знаетъ, тѣмъ пусть и кормится.

Сытѣе его снаряжать и не стоило, потому что дѣло, за которымъ шелъ онъ посломъ, совсѣмъ ненадежное. Весь народъ о томъ зналъ отъ бояръ сановитыхъ доподлинно. Да кромѣ того Разлюляю нигдѣ кормовъ и не надобно. Оголодаетъ, такъ можетъ либо пѣсню спѣть, либо ударить хорошенечко вприсядку, и вездѣ себѣ хлѣба онъ выпляшетъ, а не выпляшетъ, такъ и самъ возьметъ потихонечку. Вѣдь съѣстное тайно взять не грѣхъ, а благородиться Разлюляю не для чего: на немъ чина большого не кладено; ударятъ по шеѣ—согнется, а запрутъ гдѣ-нибудь—выерзнетъ подворотнею и опять пойдетъ веселехонекъ.

Измигулъ же и нетягъ Разлюляй Разлюляевичъ не дуракъ тоже былъ: не взманила его большая честь, чтобы быть въ послахъ, и началъ онъ сильно отпрашиваться, и до той поры предъ трономъ въ половицу лбомъ стучалъ, что набѣжала у него на лбу шишка, какъ грибъ, что зовется волвянкою. Представлялъ онъ королю Доброхоту всѣ доводы, что и не уменъ, и не знатенъ онъ, и на всѣ языки не выученъ, и не съ каждымъ ровняхъ говорить можетъ,

а здѣсь безъ него дома ребятъ кормить некому и некому ихъ учить уму-разуму и почтенію королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтобъ о дѣтяхъ своихъ нимало не плакался, потому что ихъ сошлютъ до его возвращенія къ самому королю на птичный дворъ и приставятъ утятъ стеречь, и будутъ имъ тамъ и кормъ вдоволѣ, и во всѣхъ смыслахъ ученіе; а самого Разлюляя выпихнули за ворота, какъ онъ дома былъ, въ одномъ зипунишкѣ съ заплатами, въ рукѣ дубиночка, а на плечахъ обрать конская,—будто онъ ходитъ да сбѣглыхъ коней ищетъ.

Нечего было больше дѣлать Разлюляю, и пошелъ онъ искать дѣвицу-разгадчицу. И шелъ онъ все честь-честью самымъ смирнымъ обычаемъ, нигдѣ ничего, кромѣ съѣстного, не кралъ, и когда не давали вина—не пьянствовалъ, а все шелъ впередъ; долго ли, коротко ли, и зашелъ онъ страсть какъ далеко, на самый почти край свѣта. Встрѣчалъ онъ на своемъ пути много разныхъ людей, и звѣролововъ, и коробейниковъ, и пахарей, и у всѣхъ, кого встрѣчалъ, всѣхъ разспрашивалъ, какой часъ важнѣе всѣхъ, какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ и какое дѣло дороже всѣхъ; но никто этого разгадать не могъ. А обратно тѣ, кого онъ разспрашивалъ, сами хотѣли знать отъ него: отчего у него на лбу выскочила шишка волвянкою? А Разлюляй говорилъ про волвянку всякому разное: то будто онъ своему королю у Бога довѣчнаго живота просилъ и все въ землю кланялся, то будто самъ за свои грѣхи каялся. Наконецъ, повстрѣчался онъ разъ съ воровскимъ цыганомъ, подъ самую Пасху великую, и тоже сталъ у того цыгана про свое дѣло спрашивать; но цыганъ ему засвисталъ и показалъ въ перстахъ загогулину и говоритъ:

— Ты мнѣ прежде самъ скажи: хорошо ли жить у васъ подъ державою и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему разсказалъ, что жить у нихъ очень сладостно, а что шишка у него сдѣлалась отъ большихъ молитвъ; но цыганъ говоритъ:

— Не обманешь, братъ, я и самъ богомоленъ, и посты держу, когда нечего ѣсть, а на лбу у меня нѣтъ еще шишки волвянкою. Признавайся поистинѣ.

— А поистинѣ, — говоритъ Разлюляй:—я въ банѣ мылся да съ полка свалился.

— Что же ты за полокъ-то не уцѣпился?

— Очень угорѣвши былъ.

— Вотъ, я вижу теперь, ты говоришь мнѣ все по совѣсти: ишь, какіе вы, братцы, счастливые—васъ и кормятъ, и поятъ, и спины вамъ порютъ—чего еще надобно! Теперь мнѣ съ тобою вдвоемъ ночевать не страшно,—отвѣчалъ цыганъ, зубы скалючи, и обѣщалъ ему завтра натощѣ отгадать всѣ три загадки. Такъ легли они и покрылись зипуномъ Разлюляевымъ, а въ ночи всталъ цыганъ, съѣлъ все толокно, укралъ обрать, надѣлъ зипунъ, да и былъ таковъ.

Остался Разлюляй въ однихъ портканхъ да въ рубахѣ и поплелся въ пустынный скитъ, гдѣ жилъ высокій попъ Сирахъ, у котораго была одна ряса въ дырахъ, а читалъ онъ все книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха попа давно уже и на свѣтѣ нѣтъ, а на его мѣстѣ живетъ новый попъ, хотя ростомъ и низокъ, да зато на немъ сорокъ ризокъ, и онъ поетъ и читаетъ молебны съ акаѳистами, а въ Сирахову книгу Премудрости не заглядываетъ. Ни откудова нѣтъ Разлюляю ни совѣта, ни помощи, только все ему бѣдства множатся, и идетъ онъ, самъ подъ собой земли не видитъ и проливаетъ слезы горючія. Тутъ-то надъ нимъ наконецъ Богъ и сжалился—даровалъ ему встрѣчу желанную.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Самъ не свой Разлюляй шелъ все далѣе и зашелъ въ самый темный лѣсъ и заснулъ на мху на поляночкѣ и проспалъ съ полдня до полночи, а въ полночь прокинулся и увидѣлъ онъ тамъ при лунѣ старичка очень стараго, въ долгой рубахѣ до пяточекъ—стоитъ да съ липъ лычко деретъ, а устами постъ тихо Спасовъ стихъ.

Разлюляй думаетъ: что это—либо сонъ снится мнѣ, либо видѣніе, или такой заправскій старикъ, которому въ ночи спать не хочется? А не лучше ли мнѣ, на всякій разъ, съ старичкомъ поздороваться?..—Взялъ и сказалъ ему по-учтивому:

— Помогай Господь тебѣ, дѣдушка!

Старикъ отвѣчаетъ:

— Будь и ты здоровъ, Какойто Какойтовичъ, и скажи, какъ тебя зовутъ иначе?

Разлюляй ему назвался.

— Хорошо,—говоритъ старичокъ: — Разлюляй — имя веселое; да скажи-ка мнѣ, Разлюляй, для чего ты здѣсь из-

мигульничаешь, зачѣмъ у насъ по лѣсу шляешься? Или вы ужъ свои-то лѣса всѣ повывели?

Разлюляй ему отвѣчалъ, какъ лѣса свели, да притомъ разсказалъ и зачѣмъ посланъ, и что претерпѣлъ, и какъ потерялъ всѣ свои принадлежности; а старикъ ему говоритъ:

— Твое дѣло, братъ, для меня непонятное, ну а только сдается мнѣ, будто я тебѣ въ этомъ дѣлѣ помочь могу.

— Помоги, ради Господа, дѣдушка, а тебѣ Господь Богъ заплатитъ сторицей.

— Да, Господь-то, Господь, всѣмъ намъ батюшка, а по Немъ и всѣ братья мы, а ты, молодецъ, не зѣвай-ка, а полѣзай-ка вотъ этой глухою тропиночкой; теперь ужъ гораздъ ночи убыло, уже волкъ умылся и кочетокъ пропѣлъ. Да иди не борзясь, а съ терпѣніемъ, и не бранись никакъ дурнымъ словомъ, не гони отъ себя своего сохранителя-ангела. Такъ пройди ты черезъ весь долгій черный лѣсъ и придетъ тебѣ тамъ впоперекъ пути холодная балочка; ты переплынь вплавь безъ страху черезъ холодную балочку, да пройди опять весь красный сосновый боръ и увидишь прогалинку, а на ней посединѣ примѣтный калиновъ кустъ и отъ того куста поворотъ будетъ на полдень, и тамъ ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоитъ больной журавель окалѣченный: одно крыло у него все какъ слѣдуетъ, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая въ лубочекъ увязана. Не то его въ небѣ орелъ подшибъ, не то не знать для чего подстрѣлили княжьи охотники: они убивать и звѣрковъ и птицъ, спаси Господи, какіе досужіе! А у меня есть внучка-дѣвчурочка, тутъ въ лѣсу со мной и выросла, да такая, Богъ далъ, до всѣхъ сердобольная, что не обидитъ козявочку, — вотъ она того журавля нашла, да въ лубочекъ ему хворую ножку и повила. Ну, теперь ей заботы и прибыло: доглядаетъ его и даетъ ему зернышки, пока журавелько поправится, да дождетъ себѣ по поднебесью въ теплые краи попутчиковъ. Тамъ и сама она, моя внучка-то, отъ поляны отъ той въ стороночкѣ на сухомъ взлобкѣ нашихъ овецъ пасетъ. Ты узнаешь ее: такая дѣвица пригожая, глазомъ посмотришь— вѣкъ не забудешь, сколько свѣтитъ добра изъ ней. Она тамъ либо волну разбираетъ, либо шерсть прядетъ... Все сиротинкамъ готовитъ къ студеной порѣ на паглинки... Не гордись предъ ней, что ты королевскій посолъ, а спроси ее:

она тебѣ можетъ все разсудить, потому что далъ ей отъ Бога свѣтлый даръ разумѣнія.

Разлюляй такъ и вскрикнулъ отъ радости.

— Боже мой!—говоритъ,—вѣдь ее-то мнѣ только и надобно! Про нее, про дѣвицу, мнѣ только и сказано; мнѣ другихъ никого бы не надо и спрашивать.

— Вѣстимо, не надобно. Кто въ суетѣ живетъ, тѣмъ развѣ могутъ быть явлены тайны сердечныя!

— А кто же еще тамъ съ твоею внучкой, какіе люди живутъ вмѣстѣ, дѣдушка?

— Господь съ ней одинъ тамъ, одинъ Господь-Батюшка. Онъ одинъ ее бережетъ, а людей съ ней никакихъ, милый, нѣтути.

— Какъ же она не боится одна въ глухой дебри жить?

Тутъ старикъ слегка понасупился.

— Полно-ка,—говоритъ,—заводить намъ про боязнь да про страхъ рѣчи негожія! Что ей за страхъ, когда она про себя совсѣмъ и не думаетъ!

— Господи! Вотъ это она и есть!—завопилъ Разлюляй.—Вотъ это ее-то одну мнѣ и надобно!

И забылъ Разлюляй про всю усталь свою, побѣжалъ шибко къ дѣвушкѣ. И на долю свою онъ больше не плачется, и на радости не свиститъ соловьемъ, и не прыгаетъ, и не лопочетъ варакушкой, а поетъ благочестный стихъ:

«Какъ шелъ по пути слабый путничекъ,
«А навстрѣчу ему Самъ Исусъ Христосъ».

Пробѣжалъ такъ Разлюляй безъ устали весь и черный и красный лѣсъ, переплылъ безъ боязни холодную балочку, опозналъ и примѣтный калиновъ кустъ на поляночкѣ и увидѣлъ, что тамъ въ самомъ дѣлѣ стоитъ хромой журавль, одна нога въ лубочкѣ увязана, а самъ тихо поводитъ головой во всѣ стороны и глазами вверхъ на небо смотритъ и крыломъ шевелитъ, ожидаетъ попутныхъ товарищей. Но едва увидалъ журавль, что идетъ Разлюляй — чужой человѣкъ, вдругъ закурлюкалъ и замахалъ живымъ крыломъ и запрыгалъ на здоровой ногѣ ко взлобочку. А тамъ, прислонившись у дерева, стоитъ вѣтвяной шалашъ, а предъ тѣмъ шалашомъ старый пень, а на пнѣ сидитъ молодая, пригожая дѣвушка, съ большою русою косой, въ самоткапной сорочкѣ, и прядетъ овечью шерсть, а лицо ея добротою все свѣтится. Вокругъ нея ходитъ небольшое стадо овецъ,

а у самыхъ у ея ногъ пріютился старый, подлѣзлый заяцъ, рваныя уши мотаются, а самъ лапками, какъ котъ, умывается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Разлюляй подошелъ къ дѣвицѣ не борзо, не съ наскоку, а сталъ смотрѣть на нее издали, и лицо ея ему чрезчуръ свѣтло показалось—все добра полно и вмѣстѣ разума, и нѣтъ въ ней ни соблазна, ни страха заботнаго — точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вотъ видно ему, что встала она при его глазахъ съ пенушка, заткнула недопряденную шерстяную куделю за вѣточку и пошла тихо къ кустику, за которымъ стоялъ Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тутъ изъ ямки мазничку дегтярную и стала мазать драный бокъ дикой козѣ, которая тутъ же лежала прикрыта за кустикомъ, такъ что до этого Разлюляй и не видалъ ея. Тутъ уже Разлюляй и не вытерпѣлъ—вышелъ онъ навстрѣчу къ дѣвушкѣ и поклонился ей по-вѣжливому и заговорилъ съ ней по-учтивому:

— Здравствуй, красная дѣвица, до другихъ до всѣхъ ласковая, до себя беззаботная. Я пришелъ къ тебѣ изъ далекихъ странъ и принесъ поклонъ отъ короля нашего батюшки: онъ меня послалъ къ тебѣ за большимъ дѣломъ, которое для всего царства надобно.

Дѣвица поглядѣла на Разлюляя чистымъ взоромъ и отвѣчала:

— Будь и тебѣ здѣсь добро у насъ. Что есть въ свѣтѣ «король» — не знаю я, и изъ какихъ ты людей — это мнѣ все равно, а за какимъ дѣломъ ко мнѣ пришелъ—не теряй время, про то дѣло прямо и сказывай.

Въ-разъ понялъ Разлюляй, что съ ней кучерявыхъ словъ сыпать не надобно, и не сталъ онъ дробить пустолайкою, а повелъ сразу рѣчь коротко и все на-чисто.

— Такъ и такъ, — говоритъ, — вотъ что у насъ въ королевствѣ случилося: захотѣлъ нашъ король сдѣлать, чтобы всѣмъ хорошо было жить, а ничего это у насъ не спорится, не ладится, и говорятъ, будто все будетъ неладиться до той поры, пока не откроемъ премудрости: *какой часъ важнѣе всѣхъ*, и *какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ*, и *какое дѣло дороже всѣхъ?* Вотъ за этимъ-то дѣломъ и посланъ я: и обѣщано мнѣ королемъ моимъ ласковымъ, что если я принесу отгадку, то онъ пожалуетъ мнѣ сто рублей, а если не принесу, то не миновать мнѣ тогда счетныхъ ста плетей.

Ты до всѣхъ добра и жалостна, вотъ даже и звѣрки, и птицы къ тебѣ льнутъ, какъ къ матери; пожалѣй же и меня, бѣдняка, красна-дѣвица, отгадай мнѣ премудрость, чтобы не пришлось мнѣ терпѣть на своемъ тѣлѣ ста плетей, мнѣ и безъ бойла теперь уже мочи нѣтъ.

Выслушала дѣвица Разлюляеву рѣчь и не стала его ни измигульникомъ звать, ни разспрашивать: какъ набилъ онъ себѣ на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своихъ ногъ придорожной травки, скрутила ее въ рукахъ и сокъ выжала, да тѣмъ сокомъ лобъ Разлюляю помазала, отчего въ ту же минуту у него во лбу жаръ прошелъ и волвянка принизилась. А потомъ дѣвица подошла опять къ своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и когда нить вела, замѣтно все думала, а какъ стала на веретено спускать—улыбнулась и молвила:

— Хорошо, что ты не задалъ мнѣ дѣло трудное, сверхъ моего простого понятія, а загадалъ дѣло Божіе, самое простое и легкое, на которое въ прямой душѣ отвѣтъ ясенъ, какъ солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку разспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебѣ и отвѣты дамъ.

Разлюляй говоритъ:

— Молви, дѣвица, какой часъ важнѣе всѣхъ?

— *Теперешній*,—отвѣчала дѣвица.

— А почему?

— А потому, что всякій человѣкъ только въ одномъ въ теперешнемъ своемъ часѣ властенъ.

— Правда! А какой человѣкъ нужнѣе всѣхъ?

— *Тотъ, съ которымъ сейчасъ дѣло имѣешь.*

— Это почему?

— Это потому, что отъ тебя сейчасъ зависитъ, какъ ему отвѣтить, чтобъ онъ радъ или печаленъ сталъ.

— А какое же дѣло дороже всѣхъ?

— *Добро, которое ты въ сей же часъ этому человѣку поспѣшишь сдѣлать.* Если станете всѣ жить по этому, то все у васъ заспорится и сладится. А не захотите такъ, то и не сладите.

— Отгадала все!—вскричалъ Разлюляй, и хотѣлъ сразу въ обратный путь къ королю бѣжать, но дѣвушка его назадъ на минуточку вскликала и спросила:

— А чѣмъ ты, посолъ, увѣришь пославшаго, что отвѣтъ ему отъ меня принесъ, а не самъ собой это выдумалъ?

Разлюляй зачесалъ въ головѣ и задумался:

— Я,—говоритъ,—объ этомъ, признаться, не взгадывалъ.

А дѣвица ему говоритъ:

— Ничего, не робѣй, я тебѣ дамъ для увѣренья его доказательство.

И научила Разлюляя дѣвица такъ учредить, что когда онъ придетъ къ своему королю, то чтобы сказалъ ему смѣло все, не боясь ни лихихъ людей и не ста плетей, а когда скажетъ все, то чтобы не бралъ себѣ ста рублей, а попросилъ ихъ въ тотъ же часъ раздать на хлѣбъ сиротамъ, да вдовамъ, и всей нищей братіи, для которыхъ Христосъ просилъ милосердія. И если король кромѣ ста рублей еще что̀ посулитъ или цожалуетъ, то и того чтобы тоже ничего не взялъ, а сказалъ бы ему, что «я, молъ, принесъ тебѣ свѣтлый Божій даръ — простоту разумѣнія, такъ за Божій даръ платы не надобно».

Отвѣчалъ Разлюляй:

— Хорошо; я такъ все и сдѣлаю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ тѣмъ отошелъ Разлюляй отъ дѣвушки, и какъ она его научила, такъ онъ все и сдѣлалъ: пришелъ онъ и сталъ говорить съ королемъ все поистинѣ, не боясь ни дьяка, ни бояръ, ни обѣщанныхъ ему ста плетей; а потомъ не принялъ отъ него пріобѣщанныхъ ста рублей, а сказалъ ему слово про Божій даръ разумѣнія, за который нельзя пичьей платы брать и не надобно, потому что разумѣнье дано намъ отъ Господа.

Тутъ бояре, и дьяки, и подьячіе всѣ поднялися съ свистомъ и съ хохотомъ, и всѣ въ-разъ надъ отвѣтами Разлюляя смѣялися и старалися сбить короля, чтобы онъ не вѣрилъ словамъ Разлюляевымъ, потому что скоморохъ будто самъ эти слова всѣ повыдумалъ. Но, однако, король Доброхотъ показалъ и свое разумѣніе и на ихъ наученья не подался. Онъ сказалъ имъ:

— Вы въ людяхъ еще различать не умѣете, а я вижу, что эти слова Разлюляй самъ не выдумалъ. Если бы самъ онъ ихъ сложилъ пустолайкою, такъ просилъ бы, чтобъ дать ему пріобѣщанныхъ сто рублей, а онъ, какъ я вижу, мнѣ вѣрный слуга: онъ не хочетъ отъ меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Такихъ

слугъ, какъ онъ, у меня до сихъ поръ еще не случалося. Издаю впередъ повелѣнье, чтобы по всей землѣ не смѣть звать. Разлюляя измигульникомъ: онъ мнѣ лучше всѣхъ васъ старается. А вотъ васъ бы я всѣхъ распустилъ отъ себя съ большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться безъ челяди. Для того только вы мнѣ и надобны.

И захотѣлъ-было король Доброхотъ править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было въ его землѣ добро каждому въ настоящій часъ, въ теперешній, безъ метанья очей въ непроглядныя отдаленности, да вступилъ ему въ мысли страхъ, что «а ну, какъ другіе въ сосѣднихъ земляхъ такъ не сдѣлаютъ? Вѣдь тогда одному-то мнѣ у себя на такой манеръ **не управиться** посреди другихъ временителей». И рѣшилъ онъ, что лучше ему сидѣть, какъ сидѣлъ, на престолѣ своемъ по-старинному, какъ и всѣ временители, и держать въ одной рукѣ мечъ, а въ другой золотое яблоко. Разлюляю же онъ указалъ, чтобъ отъѣхать далеко отъ стольнаго города и поселиться жить навсегда тамъ на пасѣкѣ, въ тепломъ амшанникѣ, и ѣсть сотовый медъ съ огурцами и съ рѣпою, сколько похочется, а на базаръ не ходить и въ село не заглядывать, и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочкѣ, и про то, что слыхалъ отъ ласковой дѣвушки, ни встрѣчному, ни поперечному не разсказывать.

Но зато, когда сталъ Доброхотъ завѣщать свой престолъ королевичу, повелѣлъ онъ дьяку, чтобы списали всю эту исторію безъ одной безъ ошибочки золотою тростію на мѣхѣ и кожѣ, чертами и рѣзами, почертивъ строки безъ зализей, со брегами широкими въ всѣ стороны, и прикладать ко былымъ словамъ въ стать письмена небылишныя, гласныя и согласныя. И указалъ Доброхотъ завернуть этотъ списокъ въ парчу и въ камку, и въ холстиночку, и положить на дно въ золотой ларецъ, и убрать въ теремной въ подвалъ подъ семь замковъ и за семью же печатями: пусть лежитъ тамъ до времени, пока перейдутъ временители.

Такъ это все въ аккуратѣ и сдѣлано, и списаніе до сихъ поръ лежитъ подъ печатями, а дѣла въ королевствѣ идутъ все опять по-старинному, и все тамъ опять не спорится, не ладится, а идетъ все, какъ было при дѣдахъ и прадѣдахъ. Не пришелъ еще, видно, часъ волп Божіей.

На томъ старая сказка и кончена.

Оглавленіе

XXIX ТОМА.

	стр.
Гора. Египетская повѣсть. (По древнимъ преданіямъ)	3
Повѣсть о богоугодномъ дровоколѣ	91
Прекрасная Аза.	96
Скоморохъ Памфалонъ.	108
Часъ воли Божіей. Сказка	166

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ЛЕГЕНДА О СОВѢСТНОМЪ ДАНИЛѢ.

«Пристрастіе не дальновидно, а ненависть вовсе ничего не видитъ».

Исидоръ Пелусіотъ (письмо къ Кириллу).

«Легко тому, чье сердце не знаетъ состраданья, но пусть онъ, однако, не радуется, ибо его постигнетъ жестокое мученіе и оно начнетъ терзать его тогда, когда онъ будетъ уже не въ состояніи исправить свою вину. Огонь гіенскій, по моему сужденію, есть не что иное, какъ позднее раскаяніе».

Исаакъ Сирінъ (сл. XVIII).

Полторы тысячи лѣтъ тому назадъ на Востокѣ, близъ Синайской горы, жилъ въ маленькомъ скитѣ молодой человѣкъ, по имени Данила. Скитъ въ тогдашнее время не былъ похожъ на нынѣшніе русскіе скиты, гдѣ живутъ монахи, у которыхъ есть храмы и готовое содержаніе. Въ старое время на Востокѣ скитомъ называли нѣсколько хижинокъ,—чаще нѣсколько пещерокъ въ горѣ, да вокругъ тѣсное огражденное мѣсто, гдѣ ютились три или четыре человѣка, собравшіеся по единомыслію, чтобы жить вдали отъ соблазновъ. Люди эти вели строгую жизнь и питались трудами своихъ рукъ. Церквей у нихъ не было и не было тоже и священниковъ, и долгое время скитниками не управляло никакое начальство.

Скиты устраивались легко и не скрывали въ себѣ никакихъ драгоцѣнностей, а располагались они часто близко къ самому рубежу крещеной земли, чтобы имѣть возможность научать христіанской вѣрѣ «варваровъ». Варварами называли некрещеныхъ людей, которыхъ было еще много

повсюду. Много ихъ кочевало и въ жаркихъ степяхъ близъ Синая.

Порубежные скитники отъ варваровъ не скрывались, а, напротивъ, сами искали случая встрѣчаться съ ними, чтобы говорить имъ о благѣ, которое можетъ міру дать Христово ученіе. Они старались убѣдить варваровъ, что Богъ есть Отецъ всѣхъ людей и что воля Его заключается въ томъ, чтобы всѣ люди жили въ любви и чтобы никто не дѣлалъ другъ другу никакого зла, а если кого обидятъ, чтобы онъ не мстилъ, но старался бы заплатить за обиду добромъ и побѣдилъ зло любовью, ибо только одна любовь обезоруживаетъ зло и побѣждаетъ его. Варвары же по дикости своей не понимали и не вѣрили, что всѣ люди равно достойны состраданія и что прощеніе обидъ можетъ привести миръ на землю. Они надѣялись на силу и часто нападали на ближайшихъ скитниковъ, а какъ скитники были бѣдны и взять у нихъ было нечего, то варвары забирали самихъ ихъ къ себѣ въ неволю, угоняли въ степи и тамъ заставляли плѣнниковъ стеречь своихъ коней, ословъ и верблюдовъ, стричь овецъ и сушить навозъ съ бурьяномъ на топливо.

Случилось, что варвары напали и на тотъ скитъ на Синаѣ, гдѣ жилъ Данила. Сколько здѣсь было старыхъ людей—они всѣхъ перебили, а Данилу, какъ человѣка молодого и годнаго къ работѣ, взяли съ собою, связали ему ноги, посадили на верблюда и увезли очень далеко въ степь, а тамъ приставили его караулить стада отъ звѣрей и отъ хищниковъ.

Данила служилъ своимъ плѣнителямъ долго, научился ихнему языку и перекочевывалъ съ ними съ мѣста на мѣсто нѣсколько лѣтъ. Онъ ихъ вѣру не порочилъ, а они не мѣшали ему вѣрить по-своему и, замѣчая, какъ онъ живетъ съ ними честно, до того въ немъ увѣрились, что совсѣмъ не стали за нимъ смотрѣть, а во всемъ на него полагались, будто какъ на своего человѣка. Данила нѣсколько разъ могъ бросить порученныя ему стада, сѣсть на коня и ускакать, но ни разу на это не покусился. А потомъ Данила сталъ замѣчать, что варвары какъ-будто стали любить слушать, какъ онъ разсуждаетъ по-христіански, и во многихъ сужденіяхъ начали сами и говорить, и дѣлать съ нимъ согласно. Стало Данилѣ и жить хорошо, и началъ онъ раз-

умѣть, что онъ живетъ съ чужими людьми не безъ пользы, потому что наводитъ ихъ на хорошее послѣдованіе доброму ученію. Но разъ прискакалъ на своемъ конѣ одинъ варваръ, бывшій на рубежѣ, и объявилъ, что крещеные прислали черезъ него за Данилу выкупъ и что теперь Данилу надо отпустить.

Данила очень обрадовался, что можетъ вернуться къ своимъ, но какъ остался онъ послѣднюю ночь въ степи подъ шатромъ, стало ему жалко и варваровъ. «Вотъ,—думалось ему,—только-что нѣкоторые изъ нихъ начали было по-доброму разсуждать и поступать съ другими милостивѣе, а вотъ я теперь уйду—они опять все позабудутъ и обратятся къ старинной злобѣ. Мнѣ бы ихъ беречь въ добрѣ, а я ухожу... Вѣдь это и есть мое дѣло, для котораго я оставилъ домъ и сталъ жить въ скитѣ, откуда плѣненъ былъ». Но желаніе жить въ обществѣ своихъ людей христіанской вѣры все-таки стало сильнѣе этихъ сужденій, и Данила рѣшился уйти. А варвары подѣлили между собою присланный выкупъ, дали Данилѣ тыкву воды и бѣлаго пшена и послали двухъ верховыхъ, чтобы проводить его до рубежа, откуда онъ безъ опасенія можетъ одинъ идти къ крещенымъ.

Данила благополучно воротился къ себѣ за рубежъ и сталъ жить прежнею скитскою жизнью. Но это недолго продолжалось: черезъ полгода наскакали на ихъ скитъ другіе темнолицые варвары и опять угнали Данилу въ плѣнъ и заставили его сушить навозъ для огня и сторожить овецъ, коней и верблюдовъ.

Данилѣ теперь гораздо досаднѣе сдѣлалось, чѣмъ въ первый разъ, да и жить ему съ этими варварами показалось хуже, потому что съ прежними онъ былъ уже обвыкшись и они съ нимъ были ласковѣе, а эти его не знали и не заботились о немъ, а показали, что дѣлать, и оставили безъ присмотра.

Онъ сталъ все больше скучать и разсуждать, что варвары владѣютъ имъ совсѣмъ неправильно, потому что онъ уже разъ выкупленъ, и, улучивъ удобное время, покинулъ все, что ему довѣрено, и убѣжалъ. И опять благополучно перебрался за рубежъ крещеной земли и пришелъ въ скитъ; но варвары скоро его хватились, вскочили на коней, при-

скакали къ скиту, всю огорожу развалили, всѣ пещерки поразметали и старыхъ людей побили, а Данилу опять въ плѣнъ повели пѣшимъ, прицѣпивъ его веревкою за шею къ верблюжьему сѣдлу. Для того же, чтобы Данила не останавливался, а скорѣе поспѣвалъ за верблюдомъ, сзади его ѣхалъ молодой варваръ и кололъ Данилу острымъ копьемъ въ спину. Подвигался Данила немощными ногами, стеная, и на слѣдъ его по пескамъ капала его кровь.

Идучи за этимъ караваномъ, Данила вспоминалъ свои два прежніе плѣна и плакалъ, что ни въ первый, ни во второй разъ надъ нимъ никогда такого свирѣпаго тиранства не было, и почувствовалъ онъ въ себѣ противъ своихъ мучителей несносное озлобленіе, особенно противъ того молодого сильнаго варвара, который былъ черенъ какъ муринъ *) и ѣхалъ верхомъ на ворономъ конѣ въ самомъ хвостѣ каравана и подгонялъ Данилу копьемъ въ спину.

Поднимался противъ него въ Данилѣ послѣ каждаго пораненія такой духъ мести, что если бы сила его взяла, то онъ такъ бы на этого варвара и бросился и убилъ бы его.

А озлобляющій Данилу молодой эѳіопъ все ѣдетъ въ высокомъ сѣдлѣ и бѣлыми зубами скрипитъ, а глазами ворочаетъ и все Данилу копьемъ колетъ.

Привели варвары Данилу на свое становище, гдѣ у нихъ шатры раскинуты и большой и мелкій скотъ пасется. Тутъ они слѣзли съ коней, и жены, и дѣти къ нимъ изъ-подъ шатровъ выбѣжали, одни у нихъ стали коней и верблюдовъ принимать и разсѣдлывать, а другія пшено въ котлахъ заварили, и вотъ всѣ стали ѣсть и Данилѣ вареного пшена на лопухѣ бросили, а сами разговариваютъ, что надо имъ это становище завтра кинуть и на другое идти, потому что здѣсь вокругъ трава жаромъ спалена и скоту голодно.

Данила же, долго живъ между варварами, понималъ ихъ разговоръ и думалъ: «ну, если завтра меня опять идти на ногахъ погонятъ, то я не могу, и пусть они лучше сразу убьютъ меня мечомъ или пикою».

Но за ночь вышла перемѣна: тотъ самый черный варваръ, который гналъ Данилу, разболѣлся страшной горяч-

*) Муринъ — черный человѣкъ, эѳіопъ. Въ нѣкоторыхъ церковныхъ книгахъ муринами называются также бѣсы. (Іерем. 46, 9).

кой, такъ что жена его копала руками холодную глину и обкладывала ему голову. Тогда другіе сказали:

— Оставимъ ихъ одинъ шатеръ здѣсь и плѣнника съ ними. Прикуемъ ему на ногу колодку и пусть онъ имъ тутъ работаетъ, а жена пусть за мужемъ смотритъ, пока онъ поправится.

Данила же радовался, что онъ отдохнетъ и раны его хоть немножко заживутъ.

Такъ караванъ и отбылъ, а одинъ шатеръ остался на старомъ мѣстѣ и при немъ конь, верблюдъ и оселъ, и при нихъ на-сторожѣ Данила, а къ нему за ногу приклепали на цѣпи толстое и тяжелое полѣно, съ которымъ насилу можно было ноги двигать.

Между варварами, какъ и между крещеными, но непросвѣщенными людьми, есть такіе суевѣрные, которые будто въ Бога вѣрятъ, а сами любятъ примѣчать примѣты и выводить отъ нихъ причины вещей по своимъ догадкамъ. Женѣ варвара привидѣлось во снѣ, будто Данила принесъ имъ несчастіе, и она сказала это мужу и дѣтямъ, и стали вмѣстѣ еще жесточе озлоблять Данилу А напослѣдъ эта варварка сказала своему мужу:

— Только ему и жить на свѣтѣ, что до твоей смерти. Если же ты умрешь, — то, обѣщаюсь тебѣ, — что я убью этого плѣнника, который принесъ намъ несчастіе, и зарою его въ пескѣ у ногъ твоихъ. Это и будетъ за тебя отомщеніе.

Данила, какъ услыхалъ это, такъ сталъ думать, что̀ теперь ему дѣлать? Время для размышленія было очень коротко, а мечъ на его погубленіе близокъ и отточенъ на обѣ стороны. Прошелъ еще день и больному стало хуже, а вдобавокъ, въ шатрѣ не хватало воды. Только больному давали пить и то понемножку, а эѳіопка сама не пила и Данилѣ пить не давала, но при всемъ томъ все-таки къ вечеру осталось воды въ запасномъ кубанѣ на самомъ донышкѣ. Данилу не хотѣли послать по воду, чтобы онъ не ушелъ, да онъ и не зналъ, гдѣ надо искать колодецъ, а потому поднялась сама эѳіопка. Взяла она горластый муравленый кубанъ на плечо, а грудного мальчишку подцѣпила покромкой за спину и пошла къ колодцу, а колодецъ отъ шатра былъ на полдня пути. За собою она повела

также осленка съ пустыми мѣхами, а за мѣхами къ хвосту посадила на кострецѣ старшую дѣвочку. Данила остался одинъ при шатрѣ, чтобы стеречь коня и верблюда и помочь повернуться больному варвару. Больной же метался въ жару и гнѣвался безъ порядка, спрашивая съ Данилы то одно, то другое, и прежде чѣмъ плѣнникъ успѣвалъ исполнить одинъ его приказъ, онъ ему заказывалъ другое наново. Данило и за верблюдомъ, и за конемъ смотрѣлъ, и отмахивалъ камышевымъ листомъ острыхъ желтыхъ мухъ, которыя садились на покрытое болѣзненнымъ потомъ лицо эѳіопа, и пекъ для него въ раскаленныхъ камняхъ у поднятой полы шатра катышки изъ просяной муки. А жаръ палестинскій такой, что и здоровому его нѣтъ силы вытерпѣть, не только больному, и эѳіопъ все проситъ пить, и когда всю послѣднюю воду выпилъ, то сталъ говорить, будто ее выпилъ Данила.

Въ большомъ раздраженіи варваръ потянулся, досталъ изъ накаленныхъ камней одинъ и бросилъ его горячій Данилѣ въ лицо, а Данила же, не стерпѣвъ боли, схватилъ другой камень и такъ треснулъ имъ эѳіопа по головѣ, что тотъ и не вскрикнулъ, а протянулся ничкомъ и руки, и ноги врозь растопырилъ. Данила его приподнялъ и увидалъ, что у него уже языкъ въ зубахъ закусился и одинъ глазъ выскочилъ и у виска на жилѣ мотается и на Данилу смотритъ.

Данила понялъ, что эѳіопъ убитъ, и сейчасъ же подумалъ:

«Ну, теперь мнѣ пропасть, если я не скроюсь прежде, чѣмъ вернется эѳіопка!»

Хоть она женщина, но, однако, для Данилы она была страшна, потому что у него на ногахъ прикована колодка и ему несвободно защищаться.

Онъ положилъ колодную цѣпь на одинъ камень, а другимъ сталъ колотить по звеньямъ, и цѣпь разбилъ, а мотавшееся на ней тяжелое полѣно съ ноги сбросилъ; и сначала зарѣзалъ ножемъ верблюда, досталъ у него въ брюхѣ воды. Вода была не мутная, но склизкая, какъ слюна, но Данила, однако, напился ею, а потомъ сѣлъ на варварова коня и помчался по пустынѣ. Несся онъ на конѣ въ томъ направленіи, въ какомъ по его примѣтамъ надо было держать къ крещеной землѣ.

Проскакалъ Данила по знойной степи весь день до вечера, не щадя скакуна, и самъ ничего не ѣлъ и все боялся: въ ту ли онъ сторону ѣдетъ, куда нужно? Ночью, когда вызвѣздило, онъ поднялъ лицо къ небу и сталъ соображать по созвѣздію Ремфана: гдѣ рубежъ крещеной земли, но въ ато время добрый конь аравійскій подъ нимъ храпнулъ, затрясся и упалъ на землю, придавивъ Данилѣ голень ноги.

Данила едва выпутался и сталъ побуждать коня подняться, но онъ не поднимался. Зашелъ Данила ему съ головы и видитъ, что у него ясный мѣсяцъ въ утомленныхъ большихъ глазахъ играетъ и отражаетъ, какъ одинъ братъ убиваетъ другого.

Данила понялъ, что конь уже никогда больше не встанетъ, и пошелъ дальше пѣшій.

Шелъ онъ всю ночь и, мало заснувъ, на зарѣ опять поднялся и шелъ до полуденнаго зноя, и вдругъ сталъ чувствовать, что ноетъ у него придавленная голень и изнемогаютъ всѣ его силы отъ усталости, отъ жажды и голода.

Пошелъ онъ еще черезъ большую потугу, разнемогся еще болѣе и упалъ съ ногъ долой, и все передъ нимъ помутилось и въ очахъ, и въ разумѣ, и пролежалъ онъ такъ незнаемый часъ, доколѣ почувствовалъ прохладу и, раскрывъ глаза, увидалъ надъ собою созвѣздіе Ремфана и всѣ другія звѣзды въ густой синевѣ ночного аравійскаго неба.

Шевельнулъ Данила руками и ногами, а ни ноги, ни руки его не слушаютъ,—только одна память ясно свѣтитъ. Вспомнилъ Данила, откуда онъ ушелъ и куда стремится, и какъ онъ шелъ изъ перваго и изо второго плѣна, и насколько послѣдній, третій плѣнъ, былъ для него тягостнѣе; въ первый разъ онъ могъ научить людей доброму, да ушелъ и не научилъ, а во второй разъ довѣрія лишился, а въ третій съ нимъ уже обращались немилостиво и все ему шло хуже до той поры, пока онъ убилъ камнемъ варвара, зарѣзалъ ножемъ верблюда, задушилъ усталостью чужого коня и теперь вотъ онъ самъ въ такомъ положеніи, что его или хищный звѣрь растерзаетъ, или встрѣчный варваръ опять въ новый плѣнъ возьметъ, а тамъ, когда эѳіопка возвратится въ шатеръ и увидитъ убитаго мужа, то какъ она начнетъ ужасно стенать, какъ будетъ биться и проклинать его, который сдѣлалъ ее вдовою, а дѣтей ея—сиротами... А самъ эѳіопъ лежитъ передъ нимъ, какъ и прежде, растопыривъ

руки и ноги, и коситъ на Данилу оторваннымъ глазомъ. И сдѣлалось отъ этого взгляда Данилѣ такъ жутко и страшно, что онъ поспѣшилъ закрыть свои глаза, но темный эѳіопъ въ немъ внутри отражается. Не грозится, не ропщетъ и о дѣтяхъ не тоскуетъ, а только тихо устами двигаетъ.

«Что такое онъ мнѣ говоритъ?» подумалъ Данила, а эѳіопъ въ немъ отвѣчаетъ:

— Я, братъ, теперь въ тебѣ поживу.

Послѣ того опять забылся и опять черезъ неизвѣстное время пришелъ въ себя Данила, и было это на вечерней зарѣ, а первое, что онъ ощутилъ, это съ нимъ вмѣстѣ пробудился въ немъ и эѳіопъ.

Данила сталъ осуждать себя, зачѣмъ онъ убилъ эѳіопа?

— Если бы не было это противно духу Божію, не болѣлъ бы во мнѣ духъ мой и черный эѳіопъ не простерся бы во всю мою совѣсть. Заповѣдь Божія пряма: «не убей». Она не говоритъ: «не убей искренняго твоего, но убей врага твоего», а просто говоритъ «не убей», а я ее нарушилъ, убилъ человѣка и не могу поправить вины моей. Училъ я другихъ, что всѣ люди братья, а самъ поступилъ какъ извергъ,—освирѣпѣлъ какъ звѣрь и пошелъ громоздить зло противъ зла, и сдѣлалъ и убійство, и хищничество, и разореніе, и содѣлалъ, что жена человѣка стала вдовой, а дѣти его сиротами... И зато я чувствую, что осужденъ я въ духѣ моемъ и приставленъ ко мнѣ простирающійся во мнѣ истязатель. Встану скорѣй и пойду назадъ въ пустыню, откуда бѣжалъ, найду шатеръ варвара и его вдову и сиротъ, — повинюся передъ нею въ убійствѣ и отдамъ себя на ея волю: если хочетъ, пусть обратитъ меня въ раба, и я буду вѣчно трудиться для нея и ея сиротъ, а если хочетъ— пусть отдастъ меня на судъ кровныхъ своихъ, и приму отъ нихъ отмщеніе.

Сказавъ это себѣ, Данила поднялся и пошелъ на дрожащихъ ногахъ въ обратную сторону, а эѳіопъ былъ съ нимъ и говорилъ:

— Иди, Данила, на рабство и на казнь,—иди, не опаздывай, чтобы не было тебѣ еще что-нибудь худшее, потому что ты убилъ человѣка, ты расхитилъ его имѣніе и сдѣлалъ жену его вдовою, а дѣтей его сиротами. Не ищи оправданія ни въ какой хитрости, потому что не дозволено убивать никого.

И еще шелъ Данила и увидалъ падаль загнаннаго имъ варварскаго коня, надъ которымъ теперь сидѣли орлы и рвали его внутренности...

Но сколько онъ дальше ни шелъ—не находилъ ни шатра, ни верблюда, а сталъ чувствовать, что силы его оставляютъ и всѣ слѣды и примѣты пустыни въ глазахъ его путаются.

Видитъ Данила вокругъ себя махровые крины и бѣлоснѣжныя лиліи, а между нихъ человѣчьи и верблюжьи слѣды и туда и сюда по степи перекрещены во всѣ стороны, и надо всѣмъ то свѣтъ сверкнетъ, то вихорь завьется, а въ немъ самомъ, въ глубинѣ его духа, будто тьма застилаетъ все и обнимаетъ его эѳіопъ и валитъ его какъ комъ въ извѣтренную горячую пыль и самъ въ немъ ложится и засыпаетъ...

«О, горе!—подумалъ Данила:—это вѣдь ангелъ тьмы посылается въ плоть мнѣ! Какое есть отъ него избавленье?»

Не придумалъ онъ себѣ избавленія и не скоро послѣ этого открылъ опять свои глаза Данила, а открывши, долго не могъ опознаться: въ какомъ онъ мѣстѣ находится. Чувствуетъ онъ въ воздухѣ палящій зной, на небѣ горитъ огнемъ жгучее солнце, но онъ заслоненъ отъ припека,—кто-то прибралъ его въ тѣнь,—онъ лежитъ на сухомъ тростникѣ подъ окопцемъ. Въ окопцѣ прохладно за оградой изъ сложенныхъ камней, по камнямъ ползутъ желтыя плети тыквы, а какъ разъ противъ его глазъ бѣлый мѣловой срѣзъ и въ немъ узкій входъ въ мѣловую пещерку, возлѣ входа сидитъ на колѣняхъ старичокъ и плететъ руками корзинку.

Старичокъ какъ замѣтилъ его пробужденіе — сейчасъ и заговорилъ ласковымъ голосомъ:

— Будь благословенъ Господь, возвращающій тебя къ жизни. Сейчасъ я подамъ тебѣ воды.

Данила спросилъ:

— Какъ твое имя, авва?

— Имя мое «грѣшникъ»,—отвѣчалъ старичокъ:—но не тревожь себя разговоромъ, укрѣпись и тогда побесѣдуемъ. А пока знай, что ты находишься среди христіанъ на богошественной горѣ Синаѣ, а это моя пещерка, гдѣ я прожилъ уже сорокъ лѣтъ, а привезъ тебя сюда христіанскій караванъ, который поднялъ тебя сожженнаго солнцемъ и лишеннаго чувствъ въ дикой пустынѣ.

Когда же Данила обмогнулся, онъ разсказалъ пустынному все, что съ нимъ было, ничего не утаивъ, и выразилъ скорбь свою и жалобу: какъ мучитъ его совѣсть за убійство человѣка, и сталъ просить у старца совѣта. Старецъ же ему отвѣчалъ:

— Я простой, бѣдный грѣшникъ, и не умудренъ, чтобы подавать совѣты, гдѣ нужно большое познанье. Насъ, неученыхъ, стали теперь вразумлять патріархи. Иди въ Александрію къ Тимоѳею—онъ въ санѣ великомъ и знаетъ какъ судить всякое дѣло.

Данила всталъ и пошелъ въ далекій путь въ Александрію, гдѣ въ ту пору сидѣлъ на патріаршемъ престолѣ Тимоѳей Элуръ *).

Данила пошелъ къ патріарху.

Патріархъ былъ занятъ тѣмъ, какъ въ это время стояли церковные споры Византіи съ римскимъ папою, и, выслушавъ бѣднаго пришлеца, сказалъ ему:

— Что ты напрасно нудишь себя и безъ дѣла докучаешь пустяками нашему смиренію. Ты былъ въ неволѣ насиліемъ и въ томъ, что ты убилъ некрещенаго варвара, тебѣ нѣтъ никакого грѣха.

— Но меня мучитъ моя совѣсть—я заповѣдь помню, которою никого убивать не позволено.

— Убійство варвара къ тому не подходитъ. Это не то, что убійство человѣка, а все равно, что убійство звѣря; а если боишься отвѣта—иди въ храмъ убѣжный.

Но Данила искалъ не того и не утѣшили его слова Тимоѳея.

— Можетъ быть правду о немъ говорятъ, что онъ не право держитъ ученіе Христово. Не пощажу трудовъ моихъ у пойду въ Римъ къ папѣ,—онъ вѣрно иначе разсудитъ и научитъ меня, что мнѣ сдѣлать.

Пришелъ Данила въ Римъ и удостоился предстать папѣ, который собрался тогда въ Византію и обдумывалъ: какъ согласить то, что ранѣе объявили за несогласное **).

---

*) Αἴλοδρος—вертунъ, переметчикъ, вертихвостъ. Онъ былъ монофизитъ, но поддѣлывался по обстоятельствамъ къ чему выгоднѣе представлялось (См. Церк. Ист. Гассе).

**) Папа римскій упоминается въ старыхъ книгахъ, употребляемыхъ въ русскомъ старовѣріи, которое къ «старому Риму» относится съ уваженіемъ.

Папа его выслушалъ и говоритъ:

— Тебѣ хорошо сказалъ патріархъ александрійскій,— я съ нимъ въ другомъ не соглашаюсь, а въ этомъ согласенъ: убійство варвара—это совсѣмъ не то, что запрещено заповѣдью. Иди съ миромъ.

— Благодарю, твое святѣйшество, но только яви мнѣ милость—укажи во святомъ Христовомъ Евангеліи то мѣсто, гдѣ это такъ изъясняется?

— Для чего это тебѣ? Какъ ты смѣешь не вѣрить папѣ!

— Прости мнѣ,—отвѣтилъ Данила:—слухъ мой слова твои слышитъ и хочу тебѣ вѣрить, но совѣсть не принимаетъ: съ часа убійства я вижу ее въ чернотѣ эѳіопа и черезъ то не могу быть въ мирѣ.

Папа опалился на Данилу и сказалъ ему выйти вонъ.

Данила удалился, но все чувствовалъ, что мира въ немъ нѣтъ,—что совѣсть его попрежнему говоритъ то же самое, что внималъ съ перваго раза въ пустынѣ, и ни папа, ни патріархъ его эѳіопа не умыли.

— Нельзя мнѣ такъ это дѣло оставить,—подумалъ Данила: — эти оба священства теперь сильно заняты другимъ—какъ имъ другъ друга оспорить, но вѣдь, кромѣ ихъ, есть еще и другіе патріархи, которые, можетъ-быть, иначе умствуютъ. Мнѣ не сладить съ собою и я себя не пожалѣю: пойду ко всѣмъ патріархамъ, въ Ефесъ и въ Ерусалимъ, въ Царьградъ и въ Антіохію. Который-нибудь изъ сидящихъ на престолахъ патріарховъ умудритъ меня и скажетъ, какъ я могу убѣлить терзающаго меня эѳіопа.

Пошелъ Данила въ Ефесъ, добился свиданія съ тамошнимъ патріархомъ и открылъ ему объ убійствѣ варвара и объ отвѣтахъ александрійскаго патріарха и римскаго папы и, кланяясь, сказалъ ему:

— Помилуй меня, святой отецъ,—дай мнѣ средство утолить муки моей совѣсти. Папа и святѣйшій Тимоѳей тебѣ не указъ, ты самъ напоенъ божественной мудрости и зришь въ тайны Божіи: капни каплю благоразумія твоего въ мой бѣдный разумъ; скажи, что мнѣ дѣлать?

Ефесскій патріархъ отвѣчалъ, что онъ, конечно, имѣетъ свой даръ проницать въ тайны смотрѣнія, не пытая ума у Тимоѳея и папы, но на тотъ счетъ, о чемъ Данила проситъ,

онъ согласенъ и съ Тимоѳеемъ, и съ папою: убить варвара вовсе не противно ученію христіанскому.

— Вотъ я только въ этомъ и хочу удостовѣренія: покажи мнѣ это въ словѣ Христовомъ?

Патріархъ ефесскій не показалъ, а сказалъ: «Что тебѣ еще надо! Ты невѣжда», — и не захотѣлъ съ Данилою больше разговаривать, а отпустилъ его, какъ и прежніе,— съ миромъ.

Отправился Данила въ Царьградъ, въ Іерусалимъ и въ Антіохію и исповѣдывалъ свою совѣсть патріархамъ цареградскому, іерусалимскому и антіохійскому, и всѣ они, хотя объ иномъ, чего Данила и понять не старался, разсуждали другъ съ другомъ не сходно, но насчетъ убійства человѣка другой вѣры всѣ были одного мнѣнія: всѣ сказали, что убить иновѣрца и обидчика это вовсе не грѣхъ, и что Данилѣ совсѣмъ не о чемъ скорбѣть, что онъ убилъ варвара.

— Но что же мнѣ сдѣлать съ эѳіопомъ! Вы не знаете, какъ черенъ и смраденъ эѳіопъ, который живетъ въ моей совѣсти,—говорилъ имъ Данила.

А они ему отвѣчали:

— Перестань мыть этого эѳіопа,—это все равно, что бороздить огонь и варить камни.

Данила не зналъ больше высокоосвященныхъ владыкъ и съ горя рѣшился идти въ свой городъ, откуда былъ родомъ, чтобы предстать тамъ своему князю и просить надъ собою суда за убійство.

И когда Данила легъ спать въ эту ночь, онъ увидѣлъ въ полуснѣ совѣсть свою: она уже не была такъ черна, какъ муринъ, а показалась ему смуглою какъ дитя, рожденное отъ эѳіопки и эллина.

Добрался Данила до своего города и, не разыскивая сродниковъ, сталъ похаживать около княжаго терема, съ надеждою увидать кого-нибудь изъ княжескихъ отроковъ и просить ихъ привести его передъ лицо князя.

Отроки спали, а замѣтилъ Данилу княжій приспѣшникъ и закричалъ на него:

— Что ты здѣсь, нѣтягъ лѣнивый, болтаешься. Вѣрно усталъ и оголодалъ отъ праздности и пришелъ сюда обнюхивать кухонные очаги у князя! Здѣсь нѣтъ для тебя лакомыхъ снѣдей!

А Данила отвѣтилъ:

— Я не ищу обонять очаги, чтобы насытиться лакомыхъ снѣдей, и совсѣмъ не забочусь о моемъ внутреннемъ мѣшкѣ. Если бы я хотѣлъ откармливать себя какъ птицу, жирѣющую въ потьмахъ невѣдѣнія, я не обошелъ бы столько, сколько обошли мои ноги.

Приспѣшникъ подумалъ: быть-можетъ, это отецъ Мартіанъ, который въ два года обѣжалъ сто шестьдесятъ четыре города, скрываясь отъ женщинъ, и все-таки вездѣ ихъ находилъ,—и онъ закинулъ за плечи свой фартукъ и положилъ ложку, которою снималъ пѣну, и сказалъ:

— Я, пожалуй, налью тебѣ сочнаго варева и отрѣжу печенаго мяса, а ты съѣшь поскорѣй и разскажи мнѣ: какъ ты отъ женщинъ бѣжалъ и какъ онѣ за тобой гнались, и какимъ родомъ тебя соблазняли.

Данила отвѣтилъ, что онъ ни взвара, ни мяса не хочетъ и женщины ему нигдѣ жить не мѣшали.

— Такъ чего-жъ тебѣ нужно и зачѣмъ ты пришелъ?

— Я убилъ человѣка и мучаюсь отъ этого въ совѣсти. Я уже обошелъ всѣхъ патріарховъ и папу и всѣмъ каялся.

— Вотъ ты счастливецъ, сколько ты видѣлъ святыни. Это не то, что я, несчастный, верчусь у моего очага. Хочешь я тебя угощу крыломъ красной птицы, а ты мнѣ скажи поскорѣй, что сказали тебѣ патріархи и папа?

— Они мнѣ сказали, что на мнѣ нѣтъ грѣха за убійство, но я этого не чувствую, и пришелъ теперь къ князю.

— А это ты и напрасно сдѣлалъ, — сказалъ приспѣшникъ. — Я отъ природы охотникъ все знать, и скажу тебѣ прямо, что если тебѣ не удовольнилъ своимъ прощеніемъ патріархъ, носящій образъ великаго Марка, то можетъ ли князь что-нибудь тебѣ сдѣлать. Онъ тебѣ не проститъ убійства.

— Вотъ я того-то и желаю,— отвѣчалъ Данила.

— Ты хочешь получить смертное наказаніе?

— Я хочу получить то, чего я достоинъ, чтобы духъ мой отстрадалъ свою вину и очистился.

— А это тоже любопытное дѣло: у князя есть судбищное мѣсто, гдѣ онъ садится и разбираетъ народъ. Ты погложи здѣсь вотъ эту лепешку, а я разбужу княжьихъ отроковъ и приду послушать, когда князь разберетъ твое дѣло: велитъ ли онъ тебя распять на деревѣ, или прикажетъ тебя отвести на потраву въ звѣринецъ.

Приспѣшникъ побѣжалъ сказать о Данилѣ княжьимъ отрокамъ, а тѣ взяли его, отвели къ темничному стражу и велѣли держать подъ крѣпкимъ карауломъ, пока князь захочетъ судить людей и тогда его потребуетъ.

Набили Данилѣ на шею тяжелую колодку и бросили его въ яму надолго.

Дожидался Данила въ ямѣ княжьяго суда не день, не два и не мѣсяцъ, а много лѣтъ; во все это время князь былъ то на ловахъ, то въ бояхъ, на пирахъ и въ пристаньяхъ; но, наконецъ, разъ онъ воротился въ свой стольный городъ и, всѣми иными дѣлами наскучивъ, захотѣлъ разсудить ожидавшихъ его связней. Вышелъ для этого князь изъ терема и сѣлъ на свое мѣсто, а отроки начали подводить къ нему одного за другимъ виноватыхъ и сказывать на нихъ вины, какими кто преступился.

Князь всѣхъ разсудилъ и приказалъ, кто кому долженъ заплатить и кого за какую провинность чѣмъ наказать надо, а когда дѣло дошло до Данила, то отроки о немъ сказали:

— Этотъ старый человѣкъ, котораго видишь (ибо Данила уже состарѣлся)—явился самъ на твой судъ по своей доброй волѣ. Онъ сказываетъ на себя убійство человѣка, а гдѣ и надъ кѣмъ онъ то убійство сдѣлалъ, это онъ тебѣ одному откроетъ.

Князь удивился, что Данила уже старъ и слабъ—такъ, что едва ли онъ могъ съ кѣмъ-нибудь сильничать и кого-нибудь убить?

А Данила ему отвѣчаетъ:

— Это я состарѣлся, княже, отъ моего грѣха. Истерзала меня совѣсть, въ которой я много лѣтъ волочу эѳіопа, но когда я сдѣлалъ убійство, я тогда былъ еще молодъ. Дозволь разсказать тебѣ все и разсуди меня, какъ бы я только вчера сдѣлалъ мой грѣхъ.

— Хорошо,—сказалъ князь:—я тебѣ это обѣщаю.

Данила и разсказалъ князю все и прибавилъ, какъ онъ ходилъ ко всѣмъ патріархамъ и къ папѣ, и что они ему отвѣчали.

— Что же: неужели тебя это не облегчило?—вопросилъ князь.

— Нѣтъ, мнѣ стало еще тяжелѣе.

— Отчего?

— Оттого, княже, что я началъ думать: не закрыли бъ отъ глазъ нашихъ слово Христово слова человѣческія, тогда отбѣжитъ отъ людей справедливость и законъ христіанской любви будетъ имъ все равно какъ бы неизвѣстенъ. Я боюсь соблазна и не ищу далѣе вразумленія отъ освященныхъ, а предсталъ предъ тобою и прошу себѣ кары за смерть человѣка.

И Данила упалъ и простерся передъ княземъ на землю.

Князь же, взглянувъ на Данилу пристальнымъ взглядомъ и видя на лицѣ его слезы и терзающую скорбь, отвѣчалъ:

— Старикъ, ты смутилъ меня. Давно не видалъ я того, что на лицѣ твоемъ вижу: вотъ ты имѣешь добрую совѣсть и я вижу, что ее носить не легко. Радъ бы тебѣ я помочь, но суда патріарховъ я отмѣнять не могу, а, какъ князь, въ своемъ смыслѣ еще нѣчто добавлю. Если бы ты убилъ человѣка нашего княжества и святой вѣры нашей, тогда я бы тебя осудилъ къ платежу, или къ казни на смерть, но какъ же я тебя осужу, когда ты убилъ врага-супостата, некрещенаго варвара! Не они ли, скажи, дѣлаютъ изъ-за рубежа набѣги на княжество наше, не они ли угоняютъ нашъ скотъ и уводятъ людей? Какъ же намъ ихъ жалѣть?.. По-моему, ты хорошо сдѣлалъ, что убилъ одного варвара, а еще бы лучше сдѣлалъ, если бы убилъ семерыхъ варваровъ, тогда бы ты отъ меня еще большей хвалы былъ бы достоинъ.

Данила же, услыхавъ это княжее слово, ощутилъ въ груди своей живую бодрость и сказалъ:

— О, князь! хорошо ты говоришь объ угнатомъ скотѣ, но жалко, что о забытомъ Христѣ плохо знаешь: мечъ изощряешь, мечомъ погубляешь и самъ отъ меча можешь погибнуть.

И сталъ Данила вдругъ горячо говорить изъ Христовыхъ словесъ о врагахъ, и такъ пронялъ всѣхъ, что князь поникъ головою и все его слушалъ, а потомъ сказалъ:

— Иди, авва, слово твое вѣрно, да въ насъ не мѣстится, ибо наше благочестіе со властію сопряжено и страхомъ ограждается, — и, не глядя на Данилу, князь поднялся и пошелъ къ себѣ въ теремъ, а отрокамъ своимъ велѣлъ хорошо накормить Данилу, дать ему одежду и отпустить, куда хочетъ. Но Данила велѣлъ сказать поклонъ князю, но ни хлѣба, ни соли ѣсть не сталъ и одежды не принялъ, и не

пошелъ въ городъ, потому что тамъ всѣ въ заботахъ какъ въ волнахъ на тонувшемъ кораблѣ заливаются, а пошелъ за городъ, какъ былъ, въ своемъ рубищѣ. Пройдя много, онъ очутился въ далекомъ, безмолвномъ и возвышенномъ мѣстѣ, откуда передъ нимъ открывалась безбрежная степь. Душѣ Данилы здѣсь стало легче, чѣмъ было въ Римѣ и въ Византіи, и передъ судилищемъ князя; жизнь его быстро пробѣгала теперь передъ нимъ, какъ скороходъ на площади, и онъ всю ее снова увидѣлъ. Онъ припомнилъ, какъ отбѣжалъ бодрый отъ рукъ матери, а до теперешней черты достигъ утомленный, и на зло себѣ слышитъ, что все его горе совсѣмъ будто и не горе, никто его не осуждаетъ за то, что онъ убилъ человѣка иной вѣры и иной державы, а еще всѣ ему въ ладоши плещутъ, но зато эѳіопъ его своего мѣста держится: онъ только мало посвѣтлѣлъ, но сидитъ въ немъ попрежнему.

— Немилосердный ты! — воскликнулъ, ударивъ себя въ грудь, Данила. — Куда я тебя ни носилъ, кому я тебя ни показывалъ, никто мнѣ не далъ средства убѣлить твое безобразіе: чего же ты отъ меня хочешь?

А эѳіопъ ему отвѣчалъ:

— Слѣпецъ ты, бѣдный Данила! Какъ это ты во столько лѣтъ не умѣлъ узнать: кто тебѣ другъ и кто недругъ? Я твой другъ, потому что я не даю тебѣ покоя, а ты себѣ врагъ, потому что ты ищешь забыть меня. Безъ меня ты могъ бы остаться съ обольщеніемъ, которое бы тебя погубило.

Данила подумалъ и понялъ, что гнетущую его совѣсть взаправду надо считать не за кару неумолимаго Бога, а за доброе напоминаніе, не допустившее Данилу до легкаго усыпленія себя, и онъ обрадовался и, заплакавъ отъ счастія, воскликнулъ:

— Какъ благъ Ты, о Боже, меня наказуя! Но гдѣ же, о гдѣ взять исцѣленья тому, кто угасилъ свѣтильникъ жизни, не имъ запаленной?

— Какъ пролитой на землю воды не сберешь обратно въ кувшинъ, такъ не возвратишь и жизнь тому, у кого ее отнялъ,—прозвучалъ эѳіопъ.—И ты долженъ былъ это знать и, сдѣлавъ зло, не тратить силы и время на разговоры, а долженъ былъ дѣлать дѣло.

— Но что же я могу дѣлать?

— Смотри не такъ высоко, а пониже.

Данила встрепенулся и сталъ вглядываться въ даль по землѣ. Опять онъ видитъ ту же сухую степь, но за то впереди себя, и невдалекѣ, замѣчаетъ что-то ни на что не похожее. Лежитъ что-то такое не имѣющее вида,—что-то одного цвѣта съ пылью, не живое и не мертвое,—будто какъ комъ земли, а межъ тѣмъ содрогается.

Данила всталъ и пошелъ къ этому неподобію и увидѣлъ зловоннаго прокаженнаго человѣка, у котораго уши и носъ, и персты на рукахъ и ногахъ—все отпало, и черепъ обнажился, и глаза выпали,—а зіяла только одна пустая пасть на мѣстѣ рта и оттуда исходитъ невыразимый смрадъ и сиплое шипѣніе.

«Кто его сюда занесъ и кто его здѣсь поитъ и кормитъ? — подумалъ Данила. — Но пока не вижу того, кто о немъ заботится, пойду, принесу для него пищи и напою его водою».

Отыскалъ Данила воды и принесъ въ пригоршняхъ и съ ужасомъ сталъ вливать ее въ пасть прокаженному, а потомъ остался ждать того, кто придетъ и уберетъ его на ночь. Но никто не приходилъ, а межъ тѣмъ спустилася тьма и сдѣлался рѣзкій холодъ, и прокаженный началъ ежиться и щелкать пастью. Это было такъ страшно, что не только сердце, но всѣ кости въ Данилѣ затрепетали, и онъ вдругъ понялъ, что ему надо дѣлать, и сказалъ себѣ:

— Вотъ мнѣ урокъ и работа. За то, что я смѣлъ считать Бога безсильнымъ измѣнить къ добру живую душу варвара и убилъ его, я долженъ отдать мою жизнь тому, кто безъ надежды страдаетъ. Стану служить этому безнадежному трупу, доколѣ въ немъ тлѣетъ угасающій уголь его жизни.

И Данила снялъ съ себя, какое на немъ было, ветхое лохмотье и одѣлъ имъ прокаженнаго, а самъ остался голый. Потомъ онъ опять нашелъ воду и еще разъ напоилъ больного изъ своихъ ладоней; потомъ отыскалъ въ глинѣ ущелинку, раскопалъ ее пошире руками и снесъ туда прокаженнаго. Къ тѣлу Данилы прилипали струпья и гной прокаженнаго, но ему не было скверно и онъ не боялся заразиться. Онъ нашелъ дѣло и сталъ жить около прокаженнаго, ходя днемъ на торгъ, на поденщину, а ввечеру приносилъ прокаженному пищу. Такъ и шло, пока узнали, что онъ сообщается съ прокаженнымъ и не стали его пу-

скать въ городъ. Тогда онъ насѣялъ бобовъ, они скоро взросли, и Данила, и прокаженный—оба ими питались.

Когда же прокаженный совсѣмъ распался и жизнь его оставила, тогда Данила понялъ, что ему надлежало бы начать съ первой минуты, когда онъ совершилъ грѣхъ, убивъ варвара, но теперь онъ былъ уже старъ и не могъ принести людямъ такой пользы, какую могъ бы приносить въ хорошей порѣ своей.

— О, Данила! Данила,—сказалъ онъ себѣ:—не драть бы тебѣ взоры высоко, а давно глядѣть бы по землѣ, да искать, кому ты могъ быть полезенъ. А теперь вотъ и издыхай какъ старый песъ: ты уже никому ни на что не годишься.

— О, авва, авва! Какъ я тебя ищу, и какъ ты мнѣ нуженъ!—прозвучалъ къ нему голосъ, и Данила увидалъ передъ собою юношу въ пышной одеждѣ.

— Авва,—началъ онъ:—я пришелъ къ тебѣ издалече: я былъ большой грѣшникъ.

— Что же дѣлать. Исправься.

— Да, я узналъ, въ чемъ ученье Христа, и хочу жить по его примѣру.

— Ты блаженъ,—отвѣчалъ Данила.

— Я разстался съ людьми и пришелъ къ тебѣ, чтобы быть твоимъ ученикомъ.

— Если тебя коснулася любовь Христа, то тебѣ уже непристойно быть ни чьимъ ученикомъ.

— Такъ ты, по крайней мѣрѣ, хоть однажды поруководи меня.

— Хорошо. Только будь мнѣ послушенъ.

— Ей, авва, буду.

— Оставайся при одномъ ученьи Христа и иди служить людямъ.

ЛЕВЪ СТАРЦА ГЕРАСИМА.

ВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДА.

Триста лѣтъ послѣ Іисуса Христа жилъ на Востокѣ богатый человѣкъ, по имени Герасимъ. У него были свои дома, сады, болѣе тысячи рабовъ и рабынь и очень много всякихъ драгоцѣнностей. Герасимъ думалъ: «мнѣ ничто не страшно», но когда онъ одинъ разъ сильно заболѣлъ и едва не умеръ, тогда онъ началъ размышлять иначе, потому что увидалъ, какъ жизнь человѣческая коротка и что болѣзни нападаютъ отовсюду, а отъ смерти не спасетъ никакое богатство, а потому не умнѣе ли будетъ заранѣе такъ распорядиться богатствомъ, чтобы оно на старости лѣтъ не путало, а потомъ бы изъ-за него никто не ссорился.

Сталъ Герасимъ съ разными людьми совѣтоваться: какъ ему лучше сдѣлать. Одни говорили одно, а другіе другое, но все это было Герасиму не по мыслямъ.

Тогда одинъ христіанинъ сказалъ ему:

— Ты хорошо сдѣлаешь, если поступишь съ своимъ богатствомъ, какъ совѣтуетъ Іисусъ Христосъ: — ты отпусти своихъ рабовъ на волю, а имущество раздай тѣмъ, кто страдаетъ отъ бѣдности. Когда ты сдѣлаешь такъ, ты будешь спокоенъ.

Герасимъ послушался, — онъ сдѣлался христіаниномъ и роздалъ все свое богатство бѣднымъ, но вскорѣ увидѣлъ, что, кромѣ тѣхъ, которыхъ онъ надѣлилъ, осталось еще много неимущихъ, которымъ онъ уже ничего не могъ дать, и эти стали его укорять, что онъ не умѣлъ раздѣлить свое богатство такъ, чтобы на всѣхъ достало.

Герасимъ огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранятъ, а другіе надъ нимъ смѣются, что онъ прежде жилъ достаточно, а теперь, все раздавши, и самъ бѣдствуетъ,

и всѣхъ наслѣдниковъ обидѣлъ, а всѣхъ нищихъ все-таки не поправилъ.

Стало отъ этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпѣть досажденій отъ наслѣдниковъ, Герасимъ поднялся и ушелъ изъ людnаго мѣста въ пустыню. А пустыня была дикая, гдѣ не жилъ ни одинъ человѣкъ, а только рыскали звѣри, да ползали змѣи.

Походилъ Герасимъ по жаркой пустынѣ и почувствовалъ, что здѣсь ему лучше. Тутъ хоть глухо и страшно, но зато наслѣдники его не бранятъ и не проклинаютъ, и никто надъ нимъ не смѣется и не осуждаетъ его, что онъ такъ, а не этакъ сдѣлалъ. А онъ самъ спокоенъ, потому что поступилъ по слову Христову: «отдай все и иди за Мною»,— и больше не о чемъ безпокоиться.

Нашелъ Герасимъ норку подъ мѣловымъ камнемъ, натаскалъ туда тростника и сталъ жить здѣсь.

Жить Герасиму было тихо, а ѣсть и пить нечего. Онъ съ трудомъ находилъ кое-какіе съѣдобные коренья, а за водою ходилъ на ручей. Ключъ воды былъ далеко отъ пещерки, и пока Герасимъ напьется да подойдетъ назадъ къ своей норкѣ, его опять всего опалитъ; и звѣрей ему страшно, и силы слабѣютъ, и снова пить хочется. А ближе, возлѣ воды, нѣтъ такого мѣста, гдѣ бы можно спрятаться.

— Ну,—думаетъ разъ въ большой жаръ Герасимъ:—мнѣ этой муки не снесть: вылѣзешь изъ моей мѣловой норки, надо сгорѣть подъ солнцемъ; а здѣсь безъ воды я долженъ умереть отъ жажды, а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нѣтъ. Что мнѣ дѣлать? Пойду,—думаетъ Герасимъ,—въ послѣдній разъ къ ключу, напьюсь и умру тамъ.

Пошелъ Герасимъ съ такимъ рѣшеніемъ къ водѣ, и видитъ на пескѣ слѣды, — какъ будто бы здѣсь прошелъ караванъ на ослахъ и верблюдахъ... Смотритъ онъ дальше и видитъ, что лежитъ тутъ одинъ растерзанный звѣремъ верблюдъ, а не вдалекѣ отъ него валяется еще живой, но только сильно ослабѣвшій, осликъ и тяжко вздыхаетъ, и ножонками дрыгаетъ, и губами смокчетъ.

Герасимъ оставилъ безжизненнаго верблюда валяться, а объ осликѣ подумалъ: этотъ еще жить можетъ. Онъ только отъ жажды затомился, потому что караванщики не знали,

гдѣ найти воду. Прежде чѣмъ мнѣ самому помереть, попробую облегчить страданіе этого бѣднаго животнаго.

Герасимъ приподнялъ ослика на ноги, подцѣпилъ его подъ брюхо своимъ поясомъ и сталъ волочь его, и доволокъ до ключа свѣжей воды. Тутъ онъ обтеръ ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и сталъ его изъ рукъ попаивать, чтобы онъ сразу не опился.

Осликъ ожилъ и поднялся на ножки.

Герасиму жаль стало его тутъ бросить, и онъ повелъ его къ себѣ, и думалъ:

— Помучусь я еще съ нимъ—окажу ему пользу.

Пошли они вмѣстѣ назадъ, а тѣмъ временемъ огромный верблюдъ уже совсѣмъ почти былъ съѣденъ; и въ одной сторонѣ валялся большой лохмотъ его кожи. Герасимъ пошелъ взять эту кожу, чтобы таскать въ ней воду, но увидѣлъ, что за верблюдомъ лежитъ большой желтый левъ съ гривою, — отъ сытости валяется и хвостомъ по землѣ хлопаетъ.

Герасимъ подумалъ: «ну, должно-быть, мой конецъ: навѣрно этотъ левъ сейчасъ вскочитъ и растерзаетъ и меня, и осленка». А левъ ихъ не тронулъ, и Герасимъ благополучно унесъ съ собой лохмотъ верблюжьей кожи, чтобы сдѣлать изъ нея мѣшокъ, въ который можно наливать воду.

Набралъ тоже Герасимъ по пути острыхъ сучьевъ и сдѣлалъ изъ нихъ ослику загородочку, у самой своей норки.

«— Тутъ ему будетъ ночью свѣжо и спокойно»,—думалъ старецъ, да и не угадалъ.

Какъ только на дворѣ стемнѣло, вдругъ что-то будто съ неба упало надъ пещеркой, и раздался страшный ревъ и ослиный крикъ.

Герасимъ выглянулъ и видитъ, что давешній страшный левъ протрясъ первую сытость и пришелъ съѣсть его осла, но это ему не удалось: прыгнувъ съ разбѣга, левъ не замѣтилъ ограды и воткнулъ себѣ въ пахъ острый сукъ и взревѣлъ отъ невыносимой боли.

Герасимъ выскочилъ и началъ вынимать изъ раны звѣря острыя спицы.

Левъ отъ боли весь трясся и страшно ревѣлъ и норовилъ хватить Герасима за руку, но Герасимъ его не пугался и всѣ колючки повынулъ, а потомъ взялъ верблюжью

кожу, взвалилъ ее на ослика и погналъ къ роднику за свѣжей водою. Тамъ у родника онъ связалъ кожу мѣшкомъ, набралъ ее полну воды и пошелъ опять къ своей норѣ.

Левъ во все это время не тронулся съ мѣста, потому что раны его страшно болѣли.

Герасимъ сталъ омывать раны льва, а самъ подносилъ къ его разинутой пасти воду въ пригоршнѣ, и левъ лакалъ ее воспаленнымъ языкомъ съ ладони, а Герасиму было не страшно, такъ что онъ самъ надъ собой удивлялся.

Повторилось то же на другой день и на третій, стало льву легче, а на четвертый день, какъ пошелъ Герасимъ съ осломъ къ роднику,—смотритъ,—приподнялся и левъ и тоже вслѣдъ за ними поплелся.

Герасимъ положилъ льву руку на голову, и такъ и пошли рядомъ трое: старикъ, левъ и осленокъ.

У ключа старецъ свободной рукою омылъ раны льва на вольной водѣ, и левъ совсѣмъ освѣжѣлъ, а когда Герасимъ пошелъ назадъ, и левъ опять пошелъ за нимъ.

Сталъ старикъ жить со своими звѣрями.

У старца выросли тыквы, онъ началъ ихъ сушить и дѣлать изъ нихъ кувшины, а потомъ сталъ относить эти кувшины къ источнику, чтобы они годились тѣмъ, у кого не во что захватить съ собою воды. Такъ жилъ Герасимъ и самъ питался, и другимъ людямъ по силѣ своей былъ полезенъ. И левъ тоже нашелъ себѣ службу: когда Герасимъ въ самый зной отдыхалъ, левъ стерегъ его осла. Жили они такъ изрядное время, и некому было на нихъ удивляться, но разъ увидали эту компанію проходившіе караваномъ путники и разсказали про нихъ въ жилыхъ мѣстахъ по дорогамъ, и сейчасъ изъ разныхъ мѣстъ стали приходить любопытные люди: всѣмъ хотѣлось смотрѣть, какъ живетъ бѣдный старикъ и съ нимъ осликъ и левъ, который ихъ не терзаетъ. Всѣ этому стали удивляться, и спрашивали у Герасима:

— Открой намъ, пожалуйста: какою ты силою это дѣлаешь? вѣрно ты не простой человѣкъ, а необыкновенный, что при тебѣ происходитъ Исаево чудо: левъ лежитъ рядомъ съ осликомъ.

А Герасимъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ, я самый обыкновенный человѣкъ, — и даже, признаюсь вамъ, что я еще очень глупъ: я вотъ съ звѣрями живу, а съ людьми совсѣмъ жить не умѣлъ: всѣ они на меня обидѣлись, и я ушелъ изъ города въ пустыню.

— Чѣмъ же ты обидѣлъ?

— Хотѣлъ раздѣлить между всѣми свое богатство, чтобы всѣ были счастливы, а намѣсто того они всѣ перессорились.

— Зачѣмъ же ты ихъ умнѣе не поровнялъ?

— Да вотъ то-то оно и есть, что ровнять-то трудно тѣхъ, кои сами не ровняются; я сдѣлалъ ошибку, когда забралъ себѣ много сначала. Не надо бы мнѣ забирать себѣ ничего противъ другихъ лишняго, — вотъ и спокойно было бы.

Люди закивали головами:

— Эге!—сказали,—да это старикъ-то дурасливый, а между тѣмъ все-таки же удивительно, что у него левъ осленка караулитъ и не съѣстъ ихъ обоихъ. Давайте, поживемъ мы съ нимъ нѣсколько дней и посмотримъ, какъ это у нихъ выходитъ.

Остались съ ними три человѣка.

Герасимъ ихъ не прогонялъ, только сказалъ:

— Вмѣстѣ жить надо не такъ, чтобы троимъ на одного смотрѣть, а надо всѣмъ работать, а то придетъ несогласіе, и я васъ тогда забоюсь и уйду.

Три согласились, но на другой же день при нихъ случилась бѣда: когда они спали, заснулъ тоже и левъ и не слыхалъ, какъ проходившіе караваномъ разбойники накинули на ослика петлю и увели его съ собою.

Утромъ люди проснулись и видятъ: левъ спитъ, а ослика и слѣда нѣтъ.

Три и говорятъ старцу Герасиму:

— Вотъ ты и въ самомъ дѣлѣ дождался того, что тебѣ давно слѣдовало: звѣрь всегда звѣремъ будетъ, вставай скорѣй,—твой левъ съѣлъ, наконецъ, твоего осла, и вѣрно зарылъ гдѣ-нибудь въ песокъ его кости.

Вылѣзъ Герасимъ изъ своей мѣловой норы и видитъ, что дѣло похоже на то, какъ ему трое сказываютъ. Огорчился старикъ, но не сталъ спорить, а взвалилъ на себя верблюжій мѣхъ и пошелъ за водою.

Идетъ, тяжко переступаетъ, а смотритъ — за нимъ вдалекѣ его левъ плетется; хвостъ опустилъ до земли и головою понурился.

«— Можетъ-быть, онъ и меня хочетъ съѣсть,—подумалъ старикъ.—Но не все ли равно мнѣ какъ умереть? Поступлю лучше по Божью завѣту и не стану рабствовать страху?»

И пришелъ онъ и опустился къ ключу и набралъ воды, а когда восклонился,—видитъ, левъ стоитъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ всегда становился оселъ, пока старецъ укрѣплялъ ему на спину мѣхъ съ водою.

Герасимъ положилъ льву на спину мѣхъ сѣ водою и самъ на него сѣлъ и сказалъ:

— Неси, виноватый.

Левъ и понесъ воду и старца, а три пришельца, какъ увидѣли, что Герасимъ ѣдетъ на львѣ, еще пуще дивились. Одинъ тутъ остался, а двое изъ нихъ сейчасъ же побѣжали въ жилое мѣсто и возвратились со многими людьми. Всѣмъ захотѣлось видѣть, какъ свирѣпый левъ таскаетъ на себѣ мѣхъ съ водою и дряхлаго старца.

Пришли многіе и стали говорить Герасиму:

— Признайся намъ,—ты или волшебникъ, или въ тебѣ есть особливая сила, какой нѣтъ въ другихъ людяхъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Герасимъ:—я совсѣмъ обыкновенный человѣкъ и сила во мнѣ такая же, какъ у васъ у всѣхъ. Если вы захотите, вы всѣ можете это сдѣлать.

— А какъ же этого можно достигнуть?

— Поступайте со всѣми добромъ да ласкою.

— Какъ же съ лютымъ быть ласково,—онъ погубитъ.

— Эко горе какое, а вы объ этомъ не думайте и за себя не бойтесь.

— Какъ же можно за себя не бояться?

— А вотъ такъ же, какъ вы сидите теперь со мной и моего льва не боитеся.

— Это потому намъ здѣсь смѣло, что ты самъ съ нами.

— Пустяки,—что я отъ льва за защита.

— Ты отъ звѣря средство знаешь и за насъ заступишься.

А Герасимъ опять отвѣчалъ:

— Пустяки вы себѣ выдумали, что я будто на льва средство знаю. Богъ свою благость далъ мнѣ — чтобы въ себѣ

страхъ побѣдитъ—я звѣря обласкалъ, а теперь онъ мнѣ зла и не дѣлаетъ. Спите, не бойтесь.

Всѣ полегли спать вокругъ мѣловой норки Герасима, и левъ легъ тутъ же, а когда утромъ встали, то увидѣли, что льва нѣтъ на его мѣстѣ!.. Или его кто отпугнулъ, или убилъ и зарылъ трупъ его ночью.

Всѣ очень смутились, а старецъ Герасимъ сказалъ:

— Ничего, онъ вѣрно за дѣломъ пошелъ и вернется.

Разговариваютъ они такъ и видятъ, что въ пустынѣ вдругъ закурилась столбомъ пыль и въ этой пронизанной солнцемъ пыли вѣятся странныя чудища съ горбами, съ крыльями: одно поднимается вверхъ, а другое внизъ падаетъ, и все это мечется, и все это стучитъ и гремитъ, и несется прямо къ Герасиму, и вразъ все упало и повалилося, какъ кольцомъ, вокругъ всѣхъ стоявшихъ; а позади старый левъ хвостомъ по землѣ бьетъ.

Когда осмотрѣлись, то увидали, что это вереница огромныхъ верблюдовъ, которые всѣ другъ за друга привязаны, а впереди всѣхъ ихъ—навьюченный Герасимовъ осликъ.

— Что это такое сдѣлалось и какимъ случаемъ?

А было это вотъ какимъ случаемъ: шелъ черезъ пустыню купеческій караванъ; на него напали разбойники, которые ранѣе угнали къ себѣ Герасимова ослика. Разбойники всѣхъ купцовъ перебили, а верблюдовъ съ товарами взяли и поѣхали дѣлиться. Ослика же они привязали къ самому заднему верблюду. Левъ почуялъ по вѣтру, гдѣ идетъ осликъ, и бросился догонять разбойниковъ. Онъ настигъ ихъ, схватилъ за веревку, которою верблюды были связаны и пошелъ скакать, а верблюды со страха передъ нимъ прыгаютъ и ослика подкидываютъ. Такъ левъ и пригналъ весь караванъ къ старцу, а разбойники всѣ съ сѣделъ свалились, потому что перепуганные верблюды очень сильно прыгали и невозможно было на нихъ удержаться. Самъ же левъ обливался кровью, потому что въ плечѣ у него стремила стрѣла.

Всѣ люди всплеснули руками и закричали:

— Ахъ, старецъ Герасимъ! Твой левъ имѣетъ удивительный разумъ!

— Мой левъ имѣетъ плохой разумъ, — отвѣчалъ, улы-

бялсь, старецъ: — онъ мнѣ привелъ то, что мнѣ вовсе не нужно! На этихъ верблюдахъ товары великой цѣны. Это огонь! Прошу васъ, пусть кто-нибудь сядетъ на моего осла и отведетъ этихъ испуганныхъ верблюдовъ на большой путь. Тамъ, я увѣренъ, теперь сидятъ ихъ огорченные хозяева. Отдайте имъ все ихъ богатство и моего осла на придачу, а я поведу къ водѣ моего льва и тамъ постараюсь вынуть стрѣлу изъ его раны.

И половина людей пошли отводить верблюдовъ, а другіе остались съ Герасимомъ и его львомъ, и видѣли, какъ Герасимъ долго вытягивалъ и вынулъ изъ плеча звѣря зазубренное остріе.

Когда же возвратились отводившіе караванъ, то съ ними пришелъ еще одинъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, въ пышномъ нарядѣ и со многимъ оружіемъ и, завидя Герасима, издали бросился ему въ ноги.

— Знаешь ли, кто я?—сказалъ онъ.

— Знаю,—отвѣчалъ Герасимъ:—ты несчастный бѣднякъ.

— Я страшный разбойникъ Амру!

— Ты мнѣ не страшенъ.

— Меня трепещутъ въ городахъ и въ пустынѣ,—я перебилъ много людей, я отнялъ много богатствъ, и вдругъ твой удивительный левъ сразу умчалъ весь нашъ караванъ

— Онъ звѣрь, и потому отнимаетъ.

— Да, но ты намъ все возвратилъ и прислалъ еще намъ своего осла на придачу... Возьми отъ меня, по крайней мѣрѣ, хоть одинъ шатеръ и раскинь его, гдѣ хочешь, ближе къ водѣ, для твоего покоя.

— Не надо,—отвѣчалъ старецъ.

— Отчего же? Для чего же ты такъ гордъ?

— Я не гордъ, но шатеръ слишкомъ хорошъ и можетъ возбуждать зависть, а я не сумѣю его раздѣлить со всѣми безъ обиды, и увижу опять неровность, и стану бояться. Тогда левъ мой уйдетъ отъ меня, а ко мнѣ придетъ другой жадный звѣрь и опять приведетъ съ собой безпокойство и зависть, и дѣлежъ, и упреки. Нѣтъ, не хочу я твоихъ прохладныхъ шатровъ, я хочу жить безъ страха.

АСКАЛОНСКІЙ ЗЛОДѢЙ.

ПРОИСШЕСТВІЕ ВЪ ИРОДОВОЙ ТЕМНИЦѢ.

(Изъ сирійскихъ преданій).

«Мужчина, любви котораго женщина отказываетъ, становится дикимъ и жестокимъ». *Лукрецій.*

«Наши отдаленные предки въ припадкахъ любви не довольствовались вздохами или золотомъ, какъ это принято теперь, а они доходили до жестокой борьбы, въ которой тѣ и другіе падали мертвыми,—будь это для уничтоженія сопротивленія одной женщины или для удаленія соперника. Ихъ грубая любовь, на нашъ современный взглядъ, есть карикатура любви».

Ц. Ломброзо

Въ Сиріи, на восточномъ берегу Средиземнаго моря, сѣвернѣе Газы и южнѣе Азота, стоялъ городъ Аскалонъ, котораго нынче нѣтъ. По-еврейски онъ назывался Джора. Аскалонъ, или Джора, былъ основанъ въ глубокой древности филистимлянами и разрушенъ турецкимъ султаномъ Салладиномъ. Въ долгій вѣкъ этого города ему привелось быть языческимъ, христіанскимъ и мусульманскимъ. Въ одинъ изъ этихъ періодовъ или, лучше сказать, въ одинъ изъ переходовъ отъ одного положенія къ другому, тамъ случилось слѣдующее характерное происшествіе, отмѣченное отчасти въ писаніяхъ Евсевія изъ Аскалона.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ то время, какъ въ Аскалонѣ устанавливалось христіанство, жилъ тамъ одинъ богатый купецъ-корабельщикъ,

по имени Θалалей. Онъ узналъ объ ученіи Христовомъ въ чужихъ краяхъ и захотѣлъ ему слѣдовать, но не хорошо его понялъ,—жена же его, по имени Тенія, еще оставалась въ язычествѣ. Оба супруга были въ цвѣтущей порѣ жизни: Θалалей имѣлъ тридцать пять лѣтъ, а жена его Тенія двадцать четыре года. Θалалей былъ отважный и искусный мореходецъ, а Тенія обладала замѣчательною женскою красотой и превосходною кротостью добраго характера. Ласковое обхожденіе Теніи съ людьми дѣлало эту женщину пріятною для всѣхъ, кто ее зналъ, и всѣ аскалонскіе граждане, которымъ было извѣстно это супружество, считали ихъ за людей, достойныхъ уваженія, и притомъ почитали Θалалея-морехода человѣкомъ необыкновенно счастливымъ черезъ то, что онъ имѣлъ жену, исполненную всѣхъ тѣлесныхъ и душевныхъ изяществъ.

Тенія происходила изъ семейства, которое пользовалось почетною извѣстностью: отецъ ея, Полифронъ, былъ языческій жрецъ, имѣвшій хорошія познанія въ наукахъ и непреклонный нравъ, повинуясь которому, незадолго передъ этимъ сдѣлался жертвою переходныхъ порядковъ при царѣ Іустиніанѣ и женѣ его Θеодорѣ. Тенія получила въ домѣ отца хорошее воспитаніе и по тогдашнему времени могла считаться женщиною отлично образованною для житья въ обществѣ, при хорошихъ достаткахъ: она была бережливая и старательная хозяйка и обладала пріятнымъ искусствомъ прекрасно пѣть и играть на многострунной арфѣ. При этомъ ей также не чуждъ былъ даръ стихотворства: она могла очень быстро слагать въ умѣ своемъ тѣ самыя пѣсни, которыя пѣла.

По красотѣ и по стройности жены корабельщика, а равно какъ и по пріятности ея нрава и обхожденія ей не было равной въ Аскалонѣ и всѣ называли ее здѣсь не иначе, какъ «изящная Тенія».

Супруги жили въ полномъ между собою согласіи, въ наслѣдственномъ домѣ, при которомъ былъ обширный садъ съ фруктовыми деревьями: садъ этотъ, доходившій до самаго берега моря, давалъ въ знойные дни тѣнь и прохладу. Семья у Θалалея и Теніи была не велика: они имѣли только двухъ маленькихъ дѣтей — сына, по имени Витта, и дочь, которую звали Вирина. Еще съ ними же вмѣстѣ въ одномъ домѣ жила мать Θалалея, старая вдова, по имени Пуплія,

которая посѣщала съ своимъ мужемъ Византію и Римъ и, подобно сыну, тоже приняла христіанство, но тоже не хорошо его понимала.

Домъ Θалалея и Теніи былъ одинъ изъ самыхъ красивыхъ въ Аскалонѣ. Онъ былъ просторенъ и свѣтелъ и содержался въ отмѣнной чистотѣ. Въ глубинѣ отѣненнаго двора былъ помостъ изъ пахучаго дерева, гдѣ въ самый пекльій зной мирно и тихо играли Виттъ и Вирина подъ надзоромъ бабы ихъ Пупліи. Весь дворъ окружали рѣзныя колонны изъ того же пахучаго дерева; рѣзныя двери были украшены жемчугомъ и бирюзою, а окна завѣшаны пурпуромъ и индійскими вышивками, а посерединѣ билъ фонтанъ прозрачной и свѣжей воды. Но главное богатство Θалалея состояло не столько въ домѣ, какъ въ десяти большихъ корабляхъ, на которыхъ онъ возилъ сандалъ, камфару, мушкатный орѣхъ и иные продукты и товары въ Александрію и къ другимъ извѣстнымъ тогда портамъ Востока. Торговыя дѣла шли у Θалалея очень удачно, но невѣрно понятое христіанство не измѣнило его языческихъ взглядовъ, а излишнее богатство сдѣлало его безразсуднымъ: такъ, чѣмъ онъ больше богатѣлъ, тѣмъ сильнѣе увеличивалась въ немъ алчность и ему хотѣлось имѣть еще болѣе золота и, казалось, будто это непремѣнно такъ и нужно.

Такая жадность мужа къ богатству причиняла кроткой Теніи большое безпокойство и она не разъ предостерегала Θалалея, чтобы онъ не поддавался этой страсти и жилъ спокойнѣе, потому что и того, что онъ уже успѣлъ пріобрѣсти, было довольно для жизни безъ нужды и лишеній, но Θалалей не хотѣлъ послушаться Теніи, и въ жаждѣ новыхъ добытковъ онъ все продолжалъ довѣряться непостоянному морю, лишь бы только разбогатѣть еще болѣе, такъ чтобы богаче его уже не было никого въ Аскалонѣ. Напрасно Тенія указывала ему и на то, что желаніе большого богатства не только не отвѣчаетъ ученію избранной имъ христіанской вѣры, но даже запрещено ею,—ничто это не останавливало Θалалея. Напоминаніе о христіанской вѣрѣ даже заставило мореходца разсердиться на останавливавшую его благоразумную жену, и онъ сказалъ ей:

— Ты никогда не должна говорить мнѣ объ этомъ.

— Почему ты это мнѣ запрещаешь?

— Потому, что ты, выросшая въ язычествѣ и въ немъ пребывающая, не можешь понимать христіанскую вѣру и не въ состояніи разсуждать о ней какъ должно.

— Я знаю одно, что вашъ Учитель просилъ дѣлать добро и не собирать богатства.

Θалалей отвѣчалъ:

— Да; ты знаешь одно, но не знаешь другого. Въ нашей вѣрѣ есть то, что̀ тебѣ непонятно: чтобы быть добрымъ, надо имѣть чѣмъ людямъ помогать: я хочу быть не только кротокъ, какъ голубь, но и разуменъ, какъ змѣй. Я наживаю богатство и хочу имѣть еще болѣе — это все правда; но это вовсе не съ тѣмъ, чтобы кичиться богатствомъ, какъ дѣлаютъ ваши язычники и вообще гордые люди, а я богатѣю съ тѣмъ, чтобы, собравъ много въ своихъ рукахъ, потомъ излить это на всѣхъ и начать благотворить своимъ по̀ вѣрѣ. Повѣрь, что когда въ моихъ рукахъ соберется столько богатства, что всѣ будутъ бѣднѣе меня, тогда я сумѣю быть болѣе добрымъ, чѣмъ могу сдѣлать теперь, а ты лучше не мѣшайся не въ свое дѣло и не осуждай меня за то, что я хочу быть очень богатымъ.

Тенія умолкла, но оставалась при своемъ мнѣніи, а Θалалей, почитая слова жены за пустое, продолжалъ все изыскивать новые способы для расширенія своей торговли: онъ умножилъ свою флотилію даже до тридцати кораблей и снялъ во всѣхъ портахъ всю торговлю сандаломъ, камфарой и мушкатнымъ орѣхомъ. Нѣкоторое время дѣло у него шло хорошо, но разъ случилось дурно; Θалалей, кромѣ камфары и сандала, набралъ много другихъ драгоцѣнныхъ товаровъ у постороннихъ торговцевъ, нагрузилъ все это на свои корабли и поплылъ въ море. Сначала плаваніе было благопріятно, но когда корабли Θалалея проходили противъ Кирены, вдругъ поднялась ужасная буря и двадцать девять изъ кораблей Θалалея утонули со всѣми бывшими въ нихъ товарами и мореходцами, и только одинъ, тридцатый, на которомъ шелъ самъ Θалалей, спасся съ остатками груза. Корабль этотъ былъ сильно испорченъ и не могъ идти далѣе: онъ имѣлъ порванные паруса и поврежденныя снасти, и въ такомъ видѣ повернулъ назадъ къ Аскалону.

Обратное плаваніе тоже было тяжелое, но, однако, корабль уже приближался къ Аскалону, и, вѣроятно, вошелъ

бы въ Иродову пристань, но тутъ-то именно вдругъ и погибъ, сдѣлавшись жертвою злодѣйскаго умысла жителей одного близкаго къ Аскалону селенія, лежавшаго на самомъ берегу моря за грядою подводныхъ камней. Жители этого берегового селенія зажгли фальшивый огонь, чтобы навести корабль на погибель, и достигли этого съ полнымъ успѣхомъ. Расшатанный корабль Ѳалалея, какъ ударился о первый камень, такъ и разсѣлся, а сторожившіе этотъ случай селяне тотчасъ же подоспѣли на легкихъ челнахъ и прикончили плывшихъ и молившихъ о помощи корабельщиковъ ударами веселъ по ихъ головамъ. Переколотивъ всѣхъ людей, поселяне расхватали остатки товаровъ и, послѣ драки между собою, увезли, кто что успѣлъ взять, въ свои хищничьи жилища.

При этой схваткѣ Ѳалалей мужественно защищался, но упалъ, раненый, съ борта въ море и плылъ, теряя послѣднія силы, къ одному изъ усмотрѣнныхъ имъ въ темнотѣ челноковъ. На этомъ челнокѣ онъ видѣлъ необыкновенно большеросłаго, полуголаго человѣка съ краснымъ платкомъ на головѣ и надѣялся получить отъ него помощь и защиту, но ошибся. Человѣкъ этотъ тоже былъ грабитель, и держалъ въ одной рукѣ горящій факелъ, а въ другой тяжелый багоръ. Когда Ѳалалей къ нему подплылъ и взмолился къ нему, помянувъ имя Христово, злодѣя не тронула эта мольба: онъ освѣтилъ утопающаго факеломъ и, махнувъ багромъ, ударилъ имъ Ѳалалея по головѣ. Затѣмъ для Ѳалалея сразу все кончилось—и усталость, и страхъ, и страданіе, и заботы нажить больше всѣхъ въ Аскалонѣ, чтобы потомъ благотворить изъ богатой наживы и сдѣлаться добрымъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Несмотря на смертельный ударъ, полученный Ѳалалеемъ, онъ, однако, не утонулъ. Неожиданнымъ и удивительно счастливымъ случаемъ онъ прицѣпился одеждой за гвоздь плывшаго сломаннаго руля, который его и потащилъ на себѣ. Морскія волны прибили руль, а на немъ окровавленнаго и едва живого Ѳалалея къ «Иродовой пристани», которая называлась такъ потому, что ее устроилъ въ Аскалонѣ царь Иродъ Великій. Грузовщики, работавшіе на судахъ въ Иродовой пристани, замѣтили безчув-

ственнаго человѣка, плывшаго на сломанномъ рулѣ, и вытащили Ѳалалея на берегъ. Они сняли его какъ мертвеца, надѣясь найти на немъ что-нибудь цѣнное, но потомъ увидали, что это ихъ согражданинъ Ѳалалей-мореходецъ, и удивились. А какъ въ немъ еще были замѣтны признаки жизни, то грузовщики сняли его и стали его трясти и подбрасывать, чтобы онъ очнулся, а въ то же время послали отрока къ нему въ домъ за его матерью Пуплiей и за женою его Теніею, и за дѣтьми ихъ Вириной и Виттомъ.

Ѳалалей очень счастливо прицѣпился на рулѣ, такъ что голова его все время была наружу,—отъ этого только онъ не захлебнулся и не наглотался соленой воды черезъ мѣру, такъ что его скоро удалось привести въ чувство.

Когда изящная Тенія и старая Пуплія съ Вириной и Виттомъ прибѣжали въ Иродову пристань, то Ѳалалей уже открылъ глаза; онъ сейчасъ же узналъ жену и своихъ малолѣтнихъ дѣтей, и бабу ихъ Пуплію и горько заплакалъ. Ѳалалей сразу понялъ свое положеніе и, обратясь къ женѣ, сказалъ ей:

— О, я вижу теперь, какъ ты была права, добрая Тенія! Но для чего я не слушалъ тебя въ свое время? для чего я такъ упорно желалъ имѣть много богатства? Вотъ теперь я и наказанъ за то, что я не зналъ сытости и хлопоталъ имѣть больше прочихъ. Отнынѣ мы нищіе и я не въ силахъ буду сдѣлать ничего добраго людямъ, о которыхъ я, по правдѣ сказать, думалъ гораздо менѣе, чѣмъ о томъ, чтобы быть всѣхъ знатнѣе по своему богатству и удѣлять бѣднымъ только крупицы.

Тенія на это отвѣчала мужу кротко:

— Я говорила тебѣ ранѣе то, что тогда внушало мнѣ справедливое сердце, но теперь скажу другое: не сокрушайся о томъ, что потерялъ нажитое богатство. Мы еще имѣемъ глаза, чтобы видѣть, и руки, чтобы ими трудиться: мы можемъ достать хлѣбъ и кровъ для нашихъ дѣтей трудами рукъ нашихъ. Вѣдь этакъ живутъ еще очень многіе люди на свѣтѣ.

Ѳалалей ободрился и, взявъ Тенію за руку, сказалъ:

— Ты права; голубка, витающая въ душѣ твоей, могла бы одолѣть моего змѣя, если бы дѣло шло только о нашемъ богатствѣ, но я погубилъ тоже и много чужого. Этого не простятъ мнѣ.

— Ну, что дѣлать,—отвѣчала Тенія.

Перенесенный въ свой домъ, Θалалей, вѣроятно, скоро бы тамъ выздоровѣлъ, но ему не привелось наслаждаться домашнимъ покоемъ при заботахъ женѣ. Къ нему тотчасъ же пришли купцы, довѣрившіе ему въ долгъ товары, и стали требовать съ него уплаты денегъ.

Θалалей отвѣчалъ имъ:

— Вы себя и меня напрасно мучите: или вы не видите, что я разоренъ совершенно и не могу ничего заплатить вамъ?

Купцы отвѣчали, что они ему не вѣрятъ и подозрѣваютъ, что онъ ихъ товары гдѣ-нибудь продалъ, а вырученное золото закопалъ гдѣ-нибудь въ примѣченномъ мѣстѣ и потомъ самъ, для отвода, бросился въ море.

— Вы меня напрасно подозрѣваете,—отвѣчалъ Θалалей:— всѣ товары погибли; вѣрьте мнѣ — я христіанинъ и лгать не могу.

Но купцы въ свой чередъ отвѣтили Θалалею, что и они теперь тоже стали всѣ христіане, какъ ихъ императоръ, но что это дѣла не измѣняетъ, и что, сколько Θалалей имъ долженъ за товары, они все это желаютъ съ него получить. А иначе, говорятъ, — мы возьмемъ рабовъ, выставимъ все, что здѣсь видимъ, на базаръ и продадимъ.

Θалалей отвѣчалъ имъ:

— Базарьте.

Тогда заимодавцы привели рабовъ и велѣли имъ при себѣ же взять все, что было въ домѣ у Θалалея, и вынести на базаръ, а семью его изъ обобраннаго дома выгнали и самый домъ заперли большимъ замкомъ и ключъ отдали извѣстному въ Аскалонѣ доимщику Тивуртію съ тѣмъ, чтобы онъ этотъ домъ продалъ и вырученныя деньги подѣлилъ между всѣми, кому Θалалей долженъ.

Доимщикъ Тивуртій былъ человѣкъ страшный: лицо имѣлъ дряблое и скверное, цвѣта вареного гороха, и совсѣмъ безволосое, глаза черные, вѣки валиками, все тѣло мягкое и напруженное, а ходилъ тихо, какъ котъ. Онъ взялъ и продалъ Θалалеевъ домъ богатому трактирщику Эпимаху, который и открылъ въ покояхъ и въ садахъ Θалалея корчемницу и веселый притонъ для иностранныхъ мореходцевъ; а деньги, которыя были выручены за продажу дома, Тивуртій раздѣлилъ между тѣми, чьи товары потопилъ Θа-

лалей, постольку, поскольку пришлось въ раздѣлъ на каждаго, и себѣ взялъ положенную часть за доимку. Но, однако, всего, что Тивуртій выручилъ черезъ продажу дома, было слишкомъ недостаточно для того, чтобы покрыть и половинную долю того, что пропало на Ѳалалеѣ.

Тогда искусный доимщикъ Тивуртій, который былъ тѣмъ извѣстенъ, что умѣлъ донимать съ должниковъ все до послѣдней капли, сказалъ:

— Что хотите мнѣ дать? Я еще попытаюсь больше взыскать. Дѣло не можетъ быть такъ, какъ Ѳалалей увѣряетъ. Я полагаю, что не всѣ ваши товары пропали въ морѣ, а что Ѳалалей ихъ гдѣ-нибудь продалъ на островахъ эгеянамъ, такимъ же, какъ самъ онъ, коварнымъ и тихимъ, а вырученное золото онъ гдѣ-нибудь спряталъ. Это только и надо узнать, а спряталъ онъ его, навѣрное, гдѣ-нибудь тамъ же, на тѣхъ далекихъ островахъ, подъ извѣстнымъ ему деревомъ или камнемъ. Дайте мнѣ во всемъ бо́льшую часть противъ положенія, и я возьму Ѳалалея въ темницу и стану его морить въ неволѣ. Такъ я все вамъ и себѣ выручу,— закончилъ доимщикъ Тивуртій.

Купцы, услыхавъ такія слова отъ опытнаго доимщика, всѣ между собою переглянулись и, перетакнувшись, отошли въ сторону и сказали другъ другу:

— Что же еще размышлять? Вѣдь вправду Тивуртій предлагаетъ намъ хорошее дѣло: онъ лучше насъ знаетъ всѣ хитрости мореходцевъ, и если Ѳалалей промоталъ наши товары и золото скрылъ, то Тивуртій доймет его въ темницѣ и получитъ нашъ долгъ съ Ѳалалея. Пусть только Тивуртій держитъ его въ темницѣ не на нашемъ, а на своемъ хлѣбѣ.

И отдали купцы друга своего корабельщика Ѳалалея для правежа и доимки на всю волю опытному и жестокому доимщику. Тивуртій же доимщикъ пошелъ къ себѣ домой, взялъ изъ окованной, большой скрыни серебряный поясъ дорогой цѣны подъ полу и пошелъ съ нимъ къ градоправителю аскалонскому и сталъ просить его, чтобы онъ посадилъ Ѳалалея въ Иродову подземную темницу, а дорогой чеканный поясъ далъ ему въ поминку и впередъ сдѣлалъ посулъ дать ему еще болѣе цѣнную вещь, лишь бы сейчасъ позвалъ на очи темничника Раввула и повелѣлъ ему томить Ѳалалея всячески, какъ только захочетъ доимщикъ Тивуртій.

Градоправитель припялъ поясъ и исполнилъ просьбу Тивуртія: онъ послалъ городскихъ стражей съ приказомъ взять и перенести больного Θалалея въ Иродову темницу, полную гадовъ, и отдать его темничнику Раввулѣ, а Раввула бросилъ его тамъ на гнилой тростникъ между страшныхъ злодѣевъ, и заперъ, пока онъ заплатитъ все, что имѣетъ право взыскивать съ него доимщикъ Тивуртій.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Иродова темница въ Аскалонѣ была посреди города, на главномъ базарномъ мѣстѣ. Она была рыта въ землѣ, въ родѣ очень большой погребной ямы, и подведена столбами и сводами изъ сырыхъ камней, а сверху присыпана землей тоже такъ, какъ погребница. Снаружи ее и отличить было трудно. Казалось, будто это простой земляной холмъ. Тутъ же на этой насыпи шелъ всякій день торгъ. Тутъ били людей на правежѣ воловьими жилами и тутъ же сидѣли съ ночвами и съ лаханями аскалонскіе рыбаки, предлагавшіе живую рыбу, и торговки, продававшія хлѣбъ, овощи и рыбачьи снасти. Въ откосахъ насыпи были пробиты и ощищены крѣпкими желѣзными рѣшетками двѣ узенькія отдушины, черезъ которыя, впрочемъ, внутрь подземелья едва проникалъ самый слабый свѣтъ и проходила самая скудная струя воздуха, и порою достигалъ отдаленный гулъ рынка.

Въ этой аскалонской темницѣ, выкопанной при Иродѣ, сидѣло очень много разноплеменныхъ людей и всѣ они страшно томились тутъ отъ тѣсноты, голода, жажды и недостатка дневного свѣта и воздуха. Свѣтъ солнечный едва доходилъ сюда на минутку косымъ лучомъ черезъ одно узенькое окошечко, а солнечная теплота совсѣмъ сюда не проникала, отчего сырость была несказанная и проникала тѣла заключенныхъ. Въ этой общей ямѣ были тѣсно сбиты вмѣстѣ и злодѣи-душегубцы, и воры, и неплательщики. Всѣ они были лишены всякой свободы движенія. У однихъ ноги были заколочены клиньями въ деревянныя колоды и эти сидѣли вовсе неподвижно, а на другихъ были наложены тяжелыя цѣпи, производившія терзательное лязганье при каждомъ движеніи рукъ и ногъ; тѣ же, которые были пойманы на разбояхъ и убійствахъ и подлежали смертной казни, око за око и зубъ за зубъ, — эти были прикованы къ стѣнѣ

тройными цѣпями за ноги, за руки и за шею. Логовища этихъ безстрашныхъ злодѣевъ были въ самомъ заднемъ отдѣленіи, въ узкихъ и совершенно темныхъ впадинахъ, вырытыхъ въ глинѣ. Всѣ заключенные въ Иродовой темницѣ люди, гдѣ сидѣли, тамъ же и спали, и тутъ же они и пили, и ѣли, и отправляли всѣ свои тѣлесныя нужды. Здѣсь ихъ посѣщали друзья и родные, и жены. Обычаи были такъ суровы и просты, что случалось нерѣдко, что жены людей, заключенныхъ въ этой Иродовой темницѣ, посѣщая мужей своихъ, становились снова матерями новыхъ дѣтей... Такова была эта ужасная Иродова тюрьма въ Аскалонѣ, въ которую доимщикъ Тивуртій заключилъ Ѳалалея, мужа Теніи и отца Вирины и Витта.

Въ то же время, какъ былъ посаженъ въ эту тюрьму Ѳалалей-корабельщикъ, за нѣсколько дней ранѣе въ эту самую яму, и притомъ въ самой темной ея впадинѣ, былъ помѣщенъ и прикованъ на пять цѣпей за руки и за ноги, и за шею береговой злодѣй, по имени Анастасъ-душегубецъ. Онъ былъ извѣстный разбойникъ. Онъ грабилъ и лишилъ жизни много людей. Всѣхъ убитыхъ имъ на сушѣ и на морѣ считалось сорокъ душъ. Онъ давно вооружилъ противъ себя всѣхъ людей въ Аскалонѣ и всѣ аскалонцы радовались, что Анастасъ, наконецъ, пойманъ и ожидали его казни.

Для произнесенія суда надъ Анастасомъ долженъ былъ вскорѣ прибыть изъ Дамаска важный сановникъ, по имени Милій, при которомъ злого Анастаса и должны были казнить мечомъ всенародно посреди Аскалона.

Рядомъ съ тою впадиной, въ дальнемъ концѣ темничной ямы, гдѣ былъ прикованъ злодѣй Анастасъ, находился тѣсный лазъ еще въ особую низкую глиняную ямину, по названію «прокаженную». Она называлась такъ потому, что здѣсь нѣкогда сидѣлъ человѣкъ бѣсноватый и прокаженный, который неустанно злословилъ царя Ирода, и за то здѣсь и умеръ въ заточеніи. Съ той поры въ эту прокаженную нору никто не входилъ, потому что и самъ стражъ темничный, безстрашный Раввула, боялся прикоснуться къ глинѣ, на которой сидѣлъ и о которую терся прокаженный. Ямину эту, однако, не заваливали, потому что въ ней была другая продушина, которая была необходима, чтобы не задохнулись невольники.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ аскалонской Иродовой темницѣ давали скудную пищу отъ подаяній только тѣмъ изъ невольниковъ, у которыхъ не было ни родни, ни друзей, а должникамъ и тѣмъ, у кого были какіе-нибудь родные, хотя бы и самые бѣдные, темничникъ Раввула никакой пищи не давалъ. Объ этихъ узникахъ должны были заботиться тѣ, кто ихъ посадилъ, или ихъ близкіе родственники, которые и приносили сюда невольникамъ то, что могли. Поэтому и корабельщика Θалалея должны были питать жена его Тенія или Тивуртій, но Тивуртій сказалъ:

— У Θалалея есть жена; она молода и надѣлена отъ природы большою красотой: пусть она его кормитъ.

Тенію это съ одной стороны было пріятно, потому что, принося пищу мужа, она могла его видѣть и послѣ съ нимъ оставаться до вечера, но зато надо было добывать ему пищу, а это возлагало на Тенію заботы, которыя были для нея очень затруднительны.

Бѣдная Тенія одна должна была заботиться о томъ, чтобы добывать деньги для пропитанія себѣ, мужу и двумъ своимъ дѣтямъ Виринѣ и Витту, да еще старой бабкѣ ихъ Пупліи, которая въ это время была уже немощна и не въ силахъ была работать, а только смотрѣла за внуками. Тенія же, какъ дочь жреца, выросла въ довольствѣ и нѣгѣ,—ея голову заплетали невольницы и онѣ же навѣвали на нее съ вечера сонъ, а утромъ къ вставанію будили ее легкимъ ласканіемъ ея ступней. Вообще она была не пріучена исполнять какія бы то ни было тяжелыя работы. Она была научена только изящнымъ искусствамъ, въ которыхъ никто не нуждался, но она теперь только ими и старалась находить заработокъ. Такъ какъ она всего лучше умѣла играть на многострунной арфѣ и притомъ имѣла даръ быстро слагать и пѣть пріятнымъ напѣвомъ стихи своего сочиненія, то она стала ходить въ свой бывшій виноградный садъ, гдѣ теперь подъ узорными шатрами, раскинутыми Эпимахомъ, въ прохладной тѣни деревьевъ и ползучихъ гроздій, собирались заѣзжіе въ Аскалонъ чужестранные мореходцы. Хозяинъ этихъ шатровъ, видя, что Тенія прекрасна собою и можетъ нравиться его гостямъ и наружностью, и игрою, и пѣніемъ, дозволялъ ей садиться среди пирующихъ море-

ходцевъ и ставилъ передъ нею кубокъ вина, къ которому она, впрочемъ, не прикасалась устами, потому что велико было съѣдавшее ее горе и она позабыть его не хотѣла.

Для увеселенія пирующихъ мореходцевъ Тенія всѣ ночи насквозь играла на своей арфѣ и пѣла, сама тутъ же составляя изъ собственныхъ словъ своихъ пѣсни, изъ которыхъ иныя были очень трогательны и нерѣдко достигали до сердецъ слушателей и смягчали ихъ грубые порывы. Корабельщики, слушая игру и пѣсни Теніи, были довольны тѣмъ, что видѣли передъ собою прекрасную пѣвицу, и давали ей монеты, съ которыми Тенія потомъ уходила на рынокъ, — покупала здѣсь лучшей пищи для дѣтей и для мужа, и для его матери Пупліи, а для себя уснувшую дешевую рыбу. Обѣ эти женщины, Тенія съ Пупліей, и находившіяся при нихъ дѣти, Витть и Вирина, ютились теперь за городомъ въ убогомъ шалашѣ, смазанномъ изъ тростника и илистой грязи.

Занятіе арфистки и пѣвицы, которое поневолѣ избрала Тенія для пропитанія семьи, не было, однако, для нея ни легко, ни пріятно, потому что съ растерзаннымъ сердцемъ ей трудно было забавлять игрою и пѣніемъ праздныхъ и часто нетрезвыхъ людей; но, не умѣя дѣлать ничего другого, что могло бы дать ей заработокъ, Тенія безропотно покорялась необходимости и несла свою долю, не обнаруживая своего страданія передъ мужемъ. Между посѣтителями виноградныхъ шатровъ встрѣчались и такіе, которые не довольствовались пѣснями, а не разъ дѣлали Теніи предложенія продать имъ за золото свои ласки. Тенія не обижалась, ибо понимала, что теперь всѣ могутъ почитать ее сходною на такое дѣло, и отвѣчала спокойно и скромно:

— Неустрашимые и добрые люди, я продаю только то, что предлагаю: я играю на арфѣ и пою мною сложенныя нехитрыя пѣсни. Я пою и играю потому, что я не умѣю дѣлать ничего другого, а должна питать дѣтей и мужа. Слушайте мою игру и да минуетъ васъ и всѣхъ, кто вамъ дорогъ на родинѣ вашей, всякое горе.

Корабельщики, получая такой скромный отвѣтъ, стыдились оскорблять Тенію своими приставаніями, но содержатель шатровъ Эпимахъ былъ ею за то недоволенъ и говорилъ ей:

— Ты очень красивая, но совершенно безразсудная женщина: или ночи наши, на твой взглядъ, не довольно темны,

а сикоморы мои не молчаливы? Зачѣмъ ты не отходишь ни съ однимъ, кто тебя кличетъ, въ отдаленье къ берегу моря? Тамъ съ глазу на глазъ съ нимъ ты могла бы спѣть ему что-нибудь сладостнѣй пѣсни о горѣ, и въ поясѣ у тебя зазвенѣло бы крупное золото, а не ничтожная мелочь. Ты и себя, и меня лишаешь хорошаго дохода.

Тенія отвѣчала, что она получаетъ довольно, и отходила отъ Эпимаха, стараясь выкинуть изъ памяти этотъ непріятный ей разговоръ. Эпимахъ же добивался другого, — онъ хотѣлъ услужить своимъ гостямъ и былъ очень недоволенъ Теніею. Онъ желалъ бы видѣть на ея мѣстѣ въ своихъ садахъ пѣвицу, болѣе благосклонную къ исканіямъ его веселыхъ посѣтителей. А мореходцы, какъ бывалые люди, ему разсказывали о томъ, какихъ угодливыхъ пѣвицъ они встрѣчали въ садахъ Александріи и Даміеты, а Эпимахъ съ укоризною сообщалъ эти разсказы Теніи, но она ничему этому не хотѣла внимать.

Тенія раздѣляла свое время такъ, что утромъ она мыла и чинила носильную ветошь, какая осталась на ея дѣтяхъ послѣ изгнанія изъ дома, и услуживала бабкѣ ихъ, старой и изнѣженной Пуплін; потомъ шла на рынокъ и покупала горсть сухой чечевицы и щетинистаго угря, или другую дешевую рыбу, варила ее съ лукомъ у варильщика при общемъ очагѣ и къ полудню несла эту похлебку въ темницу мужу. Изъ темницы родственниковъ заключенныхъ ихъ выгоняли, и Тенія оставалась съ Ѳалалеемъ до самаго вечера, когда, при заходѣ солнца, входилъ съ бегемотовою жилой въ рукѣ темничникъ Равиула и, выгнавъ всѣхъ посѣтителей вонъ, закрывалъ на засовы двери темницы. Тогда изящная Тенія вставала и шла въ шатры своего бывшаго винограднаго сада и тамъ играла на арфѣ и пѣла до тѣхъ поръ, когда восходящее солнце напоминало гулякамъ о нуждѣ и заботахъ вновь наступавшаго дня.

Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ послѣ заключенія Ѳалалея, и тѣлесныя силы Теніи стали подаваться, и красота ея начала меркнуть. Происходило это сколько отъ горя, столько же отъ новаго образа жизни, не отвѣчавшаго ни ея здоровью, ни ея цѣломудреннымъ навыкамъ; однакоже, несмотря на это, Тенія оставалась твердою въ своей непреклонности и слишкомъ прекрасною для того, чтобы непреклонность ея не казалась досадительною, а красота слиш-

комъ привлекательною, и все это продолжало возбуждать порочныя исканія, которыя и подготовили, наконецъ, чрезвычайно тяжелое и большое испытаніе для добродѣтели Тенін.

Вышло такъ, что по этому поводу въ Иродовой тюрьмѣ въ Аскалонѣ произошли событія, отмѣченныя весьма кратко, но по ужасу своему достойныя долгой памяти и состраданія.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вскорѣ послѣ того, какъ Θалалей былъ заключенъ въ Иродову темницу, изъ Дамаска прибылъ въ Аскалонъ ожидаемый для суда надъ Анастасомъ-злодѣемъ именитый ѵпархъ, по имени Милій. Онъ былъ присланъ не только затѣмъ, чтобы осудить Анастаса, но также чтобы заодно осмотрѣть, какъ управляетъ областью аскалонскій правитель Димасъ, и раздать подаяніе, которое прислала чрезъ него въ Аскалонъ отъ щедротъ своихъ Θеодора.

Обходя аскалонскую темницу, Милій остановился передъ впадиной, гдѣ былъ прикованъ пятью цѣпями безжалостный Анастасъ-разбойникъ, и когда темничникъ Раввула освѣтилъ факеломъ Анастаса, то Милій удивился, увидѣвъ его ужасное лицо,—такъ сильно и рѣзко изображалось на немъ безпощадное свирѣпство разбойника. Тутъ Милій не удержался и воскликнулъ вслухъ:

— О, какъ онъ подлъ и противенъ! Клянусь, что я никогда не встрѣчалъ на свѣтѣ ничего болѣе злого и омерзительнаго, какъ эти его косые глаза и эти вразлетъ идущія густыя брови! Земля съ нетерпѣніемъ должна ждать минуты, когда этотъ безжалостный звѣрь перестанетъ дышать ея воздухомъ и тяготить ее своими ногами. Впрочемъ, я объ этомъ какъ можно скорѣй постараюсь.

Злодѣй же Анастасъ, услыхавъ, что проговорилъ о немъ Милій, запрыгалъ на мѣстѣ и, тряся отъ гнѣва цѣпями, закричалъ на ѵпарха:

— Я тебѣ мерзокъ, а, можетъ-быть, самъ ты и еще меня хуже. Твое ли дѣло, злая душа, надо мной насмѣхаться? Жалѣю, что я не повстрѣчалъ тебя раньше, и не здѣсь, гдѣ ты на свободѣ, а я крѣпко прикованъ цѣпями: иначе я посмотрѣлъ бы, что краснѣй—твоя кровь или твоя пурпурная тога? А теперь будь ты проклятъ!

Прокричавъ это неистовымъ голосомъ, Анастасъ такъ страшно ударилъ о стѣны своими цѣпями, что всѣ другіе

невольники вздрогнули и сжались въ страхѣ, а стражникъ Раввула и воины, сопровождавшіе съ зажженными факелами вельможу Милія, окружили его, чтобы страшный видъ Анастаса его не тревожилъ. И тутъ-то, при дрожащемъ свѣтѣ этихъ факеловъ, встревоженный взглядъ благообразнаго Милія палъ на лицо изящной Теніи, которая въ страхѣ за судьбу Ѳалалея старалась закрыть его своимъ станомъ. Милій же былъ большой сластолюбецъ, и изящный обликъ Теніи сразу ударилъ его въ страстное сердце, такъ что онъ остановился и обратился къ сопровождавшему его отроку, скорописцу Евлогію, и сказалъ ему тихо:

— Открой скорѣе кису присланныхъ съ нами доброхотныхъ даяній. Здѣсь я вижу передъ собой христіанку, на лицѣ которой читаю ея невинность. Навѣрное, она страдаетъ напрасно по языческой злобѣ и я хочу облегчить ея участь во славу величайшей въ женахъ императрицы Ѳеодоры.

Отрокъ Евлогій потянулъ шнуры кожаной кисы, въ которой лежали деньги, назначенныя для раздачи христіанской милостыни заключеннымъ, а Милій обратился къ Теніи и сказалъ ей:

— Приблизься, прекрасная христіанка, возьми себѣ помощь и скажи намъ скорѣе: за что ты томишься? Я увѣренъ, что ты страдаешь напрасно, и кто тебя заключилъ въ эту темницу, тотъ самъ недостоинъ свободы.

— Ты ошибаешься, благородный господинъ, — отвѣчала Тенія: — я не христіанка, — я дочь жреца Полифрона и держусь старой вѣры.

Милій смутился и отвѣчалъ ей, что онъ сожалѣетъ, зачѣмъ она сказала ему, что она язычница.

— Теперь,—молвилъ онъ:—я не могу оказать тебѣ помощь, какую имѣлъ желаніе сдѣлать, — и при этомъ онъ удержалъ своею рукой руки Евлогія скорописца, распускавшаго связки кисы, гдѣ хранилось золото, присланное для раздачи новымъ христіанамъ.

Тенія же, услыхавъ сожалѣніе Милія, не обнаружила никакой особой, усиленной тревоги и сказала ему спокойно:

— Развѣ для Ѳеодоры и для твоего милосердія не все равно оказать помощь тому, кто въ ней нуждается?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Милій:—мы должны помогать прежде своимъ по вѣрѣ, а потомъ чужевѣрнымъ.

— Въ такомъ случаѣ, помоги моему мужу и дѣтямъ,— они всѣ вашей вѣры.

Милій обрадовался.

— Если мужъ твой и дѣти той вѣры, которой теперь отдаютъ высшіе люди высшій почетъ въ Византіи и въ Дамаскѣ, то тогда совѣсть моя дозволяетъ мнѣ оказать тебѣ помощь. Подойди же сюда и возьми по монетѣ для каждаго изъ кисы добрыхъ даяній.

Тенія отвѣчала:

— Господинъ, мнѣ некстати опускать самой руку въ мѣшокъ: я питаюсь самъ-пятъ,—повели, чтобы отрокъ твой далъ мнѣ, что опредѣлитъ твоя щедрость.

Милій велѣлъ отроку дать ей десять цехиновъ, а потомъ спросилъ у нея:

— Какое ты сдѣлала зло, или чѣмъ проступилась противъ законовъ?

— Милосердое Небо до сего дня хранило меня отъ злого дѣянія,—отвѣтила Тенія.

— Ты, можетъ-быть, судишь такъ по своей языческой совѣсти и тебѣ только кажется, будто ты не сдѣлала ничего преступнаго.

— Нѣтъ, я и въ самомъ дѣлѣ не сдѣлала ничего преступнаго.

— Въ такомъ разѣ за что же тебя лишили свободы и держатъ въ этой душной и страшной темницѣ?

Тенія отвѣчала вельможѣ, что она вовсе не невольница и свободно можетъ приходить сюда и выходить отсюда, а сидѣть здѣсь, въ этой душной и страшной темницѣ, ее побуждаетъ состраданіе и любовь къ мужу, который тутъ заключенъ и томится за то, что онъ не можетъ заплатить денегъ купцамъ, довѣрившимъ ему свои товары.

— Когда же ты надѣешься выкупить своего мужа?

— Я не имѣю на это никакой надежды и только дѣлаю то, что могу: я приношу ему пищу и стараюсь его утѣшать и поддержать въ немъ бодрость.

— Мнѣ кажется, ты могла бы сдѣлать для него гораздо больше, чѣмъ это.

— Ахъ, яви свою милость, научи меня, что я могу сдѣлать, чтобы возвратить свободу Ѳалалею, и ты увидишь, что у меня не окажется недостатка въ рѣшимости и твердости: я исполню все, что для этого нужно.

— Нужна только одна твоя рѣшимость.

— Въ такомъ случаѣ, это уже сдѣлано. Не медли же, говори какъ можно скорѣй и понятнѣй, что я должна принести счастью семьи моей въ жертву? Жизнь мою?

— Нѣтъ.

— Такъ что же? Умоляю тебя, не мучь меня и говори мнѣ отъ раза.

— На какую сумму простирается долгъ твоего мужа?— вопросилъ Милій, лаская взоромъ изящную Тенію.

Тенія отвѣчала ему по правдѣ, сколько Тивуртій и купцы исчисляли долгу на корабельщикѣ. Это составляло очень значительную сумму.

Милій былъ вельможа богатый, но скупой, и притомъ сумма Θалалеева долга и для его большихъ средствъ была не ничтожна, а потому онъ сказалъ:

— Мужъ твой, къ сожалѣнію, долженъ очень много!—и Милій отошелъ отъ Тенiи и сталъ подвигаться дальше къ выходу, но въ это самое время къ нему приблизился доимщикъ долговъ, хитрый старецъ Тивуртій, который былъ чрезвычайно искусенъ на то, чтобы дѣлать всякія сдѣлки, лишь бы донять что-нибудь съ содержащихся неплательщиковъ. Увидавъ, что Милій ласкается къ Тенiи, Тивуртій сейчасъ же сообразилъ, что этимъ можно воспользоваться, и прошепталъ вельможѣ на ухо:

— Долгъ мужа красивой женщины, которая сейчасъ имѣла счастіе внушить твоему вельможеству высокое состраданье, очень великъ, но она вѣдь не знаетъ, что весь этотъ огромный долгъ можетъ быть сильно пониженъ. Я здѣшній доимщикъ Тивуртій,—мнѣ извѣстны всѣ дѣла въ Аскалонѣ, и я знаю, что надобно сдѣлать, чтобы все вышло, какъ ты желаешь.

Милій остановился, а Тивуртій продолжалъ ему говорить:

— Повѣрь, что слова мои такъ же точны и вѣрны, какъ вѣрно и то, что женщины красивѣй и изящнѣй Тенiи не легко отыскать во всѣхъ городахъ, которыми правитъ благословенная власть Θеодоры, съ которою, — могъ ты замѣтить,—Тенія, кажется, схожа.

Милій же, вмѣсто того, чтобы обидѣться тѣми словами, съ которыми подошелъ къ нему Тивуртій, забылъ и свой санъ, и свое положеніе въ темницѣ среди заключенныхъ, а продолжалъ любоваться издали красивыми линіями стана

жены корабельщика, а Тивуртій, замѣтивъ это, сдѣлался еще болѣе смѣлъ и прошепталъ:

— Ты посмотри: слова нѣтъ, что Ѳеодора прекрасна, и всѣ говорятъ, будто въ земляхъ, Византіи подвластныхъ, нѣтъ другой женщины, которая могла бы съ Ѳеодорой сравниться... но вѣдь это только такъ говорятъ... На самомъ же дѣлѣ время не щадитъ никого, и Ѳеодора нынче уже не та, какой она раньше была, когда ее знали актрисой,— правда, она зато теперь наша царица, и да даруетъ Всевышній ей многія лѣта,—но... вспомни, какъ она нынче поблекла и посмотри опять на эту стыдливую Тенію...

— Зачѣмъ эти сравненія? Онѣ обѣ прекрасны.

— Да, онѣ обѣ прекрасны, но та вѣдь на тронѣ, въ пурпурѣ и въ вѣнцѣ многоцѣнномъ, ея плечи и шею ежедневно разглаживаютъ навощенными ладонями молодыя невольницы, а египетскія бабки обкладываютъ на ночь ея перси мякишемъ душистаго хлѣба изъ плодовъ египетской пальмы, а, по правдѣ сказать, и это все ей уже не помогаетъ: этотъ душистый египетскій мякишъ даетъ персямъ ея лишь одну фальшивую нѣжность, но онъ не можетъ имъ возвратить ихъ былую упругость... Нѣтъ; это минуло... Смотри же, каковы перси Теніи, а вѣдь Тенія въ горѣ и въ тяжкой нуждѣ, — она въ бѣдномъ рубищѣ, среди людей, усыпанныхъ всякою нечистью, но и тутъ ты смотри, какъ краса ея блещетъ... Смотри этотъ царственный взоръ, эти бѣлые зубы, и особенно эти перси, которымъ не нуженъ египетскій мякишъ...

— А до какой суммы можно уменьшить долгъ ея мужа?— нетерпѣливо волнуясь, перебилъ рѣчь доимщика Милій.

Тивуртій сразу же сбавилъ цѣлую треть долга, а когда замѣтилъ, что Милій еще находится въ нерѣшимости, то сказалъ вкрадчиво:

— Однако, я вижу, что ты очень тронутъ судьбою этой несчастной, и чтобы сдѣлать тебѣ пріятное и заслужить себѣ напередъ твою благосклонность, я постараюсь склонить всѣхъ купцовъ, чтобы они уступили тебѣ долговыя права на Ѳалалея не за двѣ, а всего за одну треть того, что онъ имъ дѣйствительно долженъ. Не колебайся далѣе и повели быть этому такъ, какъ я предлагаю. Пусть Тенія будетъ тебѣ обязана счастьемъ и постарается быть тебѣ благодарной.

Милій ему отвѣчалъ:

— Хорошо, я согласенъ, — благодарность ея мнѣ драгоцѣнна, но только я не хочу принужденія. Дай мнѣ сказать еще нѣсколько словъ съ этою Теніей, красота которой, дѣйствительно, не менѣе той, которая нынче достойно украшаетъ собою престолъ византійскій.

Тивуртій нагнулся къ уху Милія и прошепталъ:

— Она ее превосходитъ... Ѳеодорѣ теперь не достичь того, чѣмъ обладаетъ Тенія... и притомъ...

— Что ты хочешь сказать?

— Ѳеодора слишкомъ многимъ извѣстна.

— Тсс... Ты дерзокъ.

— Не опасайся... я знаю, что я говорю, и сказалъ только то, что Тенія спитъ какъ попало, въ шалашѣ, на рогожѣ, согнувшись и сжимая отъ холода перси руками, а Ѳеодора покоится, заложа руки подъ пуховыя подушки; но дай Теніи ту же роскошь, и какъ ея станъ изовьется, въ какихъ очертаніяхъ!.. О, да ты самъ понимаешь, что стыдливость Теніи можетъ доставить то, чего не можетъ дать все любовное искусство Ѳеодоры... Ты пылаешь, я вижу, и хотя я старъ, но я тебя понимаю.

— Ты правъ, красота этой женщины помрачаетъ мой разумъ, — отвѣчалъ Милій: — и къ тому же, вѣдь, она язычница.

— Да, она язычница, она дочь жреца Полифрона, который убилъ себя, не желая видѣть новыхъ порядковъ.

— Язычницы, вѣдь, свободны располагать собою: онѣ не знаютъ стѣсненій.

— Да, для нихъ это привычно: онѣ отдавались и Діонису, и иностранцамъ во славу Изиды. У нихъ свой взглядъ на эти вещи.

Милій обратился къ скорописцу Евлогію и приказалъ ему подозвать къ себѣ Тенію.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Услыхавъ отъ отрока приказаніе подойти къ его господину, Тенія сейчасъ же встала и подошла къ Милію, а тотъ подалъ ей съ ласковою улыбкой златницу и сказалъ:

— Отъ взора моего не скрылось то, чего ты не въ состояніи скрыть отъ всѣхъ, кто тебя видитъ, — ты нестерпимо прекрасна. Знай же, что твоею красотой смущено мое сердце и я готовъ на многія жертвы, чтобы получить твои

ласки. Будь согласна на это—приди ко мнѣ въ домъ сегодня вечеромъ и останься въ опочивальнѣ моей только до утра. За это я дамъ тебѣ сколько ты хочешь.

Лицо Теніи покрылось румянцемъ, но она отвѣчала спокойно:

— *За это*—я не хочу ничего.

— Я тебѣ предлагаю пятьсотъ златницъ.

— Ты напрасно будешь предлагать мнѣ и тысячу.

— Двѣ!

— Все равно—я къ тебѣ не приду.

— Я дамъ тебѣ пять.

— Хоть и десять.

— Двадцать тысячъ!

— Ты оскорбляешь меня этимъ торгомъ; но съ тѣхъ поръ, какъ я подпала несчастію, я уже привыкла къ подобнымъ обидамъ. Бѣдность должна много прощать людямъ съ достаткомъ, но любовь моя не продажна: я люблю мужа.

— Ты его и люби, но вѣдь ты язычница и по вѣрѣ твоей тебѣ нѣтъ грѣха въ томъ, на что я тебя приглашаю. Твой богъ Анубисъ тебя не осудитъ. Принеси же ему втайнѣ жертву за мужа, и возврати ему волю.

— Ты знаешь, что говоришь,—отвѣчала Тенія:—я—дочь жреца и бракъ мой съ мужемъ моимъ теперь не связанъ закономъ. Ты правъ, я вольна оставить его и свободна избрать другого по сердцу, но я вѣрна Фалалею потому, что онъ милъ мнѣ, и если я жила съ нимъ въ довольствѣ и счастьѣ, то неужели я покину его въ горѣ? Нѣтъ, такъ не будетъ, и ты возьми даже эту златницу, которую далъ мнѣ,—у меня есть сегодня для всѣхъ насъ на хлѣбъ и на рыбу.

Vпархъ изумился кроткому отвѣту Теніи, но она ему еще болѣе понравилась, и онъ еще больше распалился желаньемъ.

— Оставь взятую златницу у себя,—сказалъ онъ:—и вотъ возьми еще другую и не будь за нихъ мнѣ ничемъ обязана, но не будь безразсудна и еще поразмысли. Если ты согласишься придти ко мнѣ, то я еще возвышаю цѣну: я высыплю къ твоимъ ногамъ всю кису доброхотныхъ даяній, и тогда ты можешь выкупить на эти деньги свободу своему мужу. Обдумай это, прежде чѣмъ захочешь сказать свой отвѣтъ мнѣ.

— Ты очень щедръ,—отвѣчала Тенія:—и возвысилъ цѣну

моей красоты до того, что она стала теперь цѣною свободы моего мужа, а я язычница и, какъ ты говоришь, я не имѣю стѣсненій, но ты позабылъ, что наши женщины ходили въ храмы богини Изиды съ согласія мужей ихъ, и это не былъ обманъ, такъ и это, о чемъ ты говоришь мнѣ, касается моего мужа, а потому я должна спросить у него, согласенъ ли онъ, чтобы я купила ему свободу этой цѣной. Если мужъ мой будетъ на это согласенъ, тогда я... сдѣлаю то, что буду вынуждена сдѣлать. Таковъ мой отвѣтъ, а если хочешь знать, что скажетъ мой мужъ, то я сейчасъ пойду и спрошу его, и что онъ скажетъ, то я исполню.

Милію это показалось безуміемъ, но доимщикъ Тивуртій, который стоялъ недалеко и слышалъ этотъ разговоръ, успокоилъ ѵпарха и сказалъ ему:

— Оставь ее, Милій, пусть она сдѣлаетъ такъ, какъ она хочетъ: мужчины благоразумнѣе женщинъ. Эти бываютъ некстати упрямы, а мужъ, навѣрное, дастъ Теніи такой отвѣтъ, послѣ котораго она придетъ къ тебѣ и съ несмущенною душой отдастъ тебѣ свои ласки. Ты же, вѣдь, самъ не хочешь насилія.

И затѣмъ, проводивъ Милія за двери темницы, Тивуртій подошелъ къ скованному Ѳалалею и разсказалъ ему о выгодахъ ѵпархова предложенія.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Заключенный въ темницѣ Ѳалалей ничего не отвѣтилъ Тивуртію, но только горько заплакалъ, а на другой день, дождавшись прихода Теніи, обнялъ ее и опять со слезами сталъ благодарить ее за ея вѣрность.

— Что же ты думаешь?—спросила его Тенія.

— Хотя бы мнѣ суждено было провести безконечные годы еще въ худшей темницѣ, чѣмъ эта, которую выстроилъ Иродъ, и хотя бы мнѣ надлежало умереть въ ней безъ надежды когда-нибудь видѣть море и солнце, и милыя лица нашихъ дѣтей, то и тогда я предпочелъ бы вѣчное это томленіе въ неволѣ одной минутѣ твоего позора. Ты можешь поступать какъ хочешь, но что до меня, то пусть я здѣсь доживу мою жизнь и умру въ этой ямѣ, но ты для моего спасенія не отдавай своей чистоты, — въ ней твоя прелесть, и въ ней моя радость и сила.

Тенія обрадовалась, услыша отъ мужа такія слова, потому что они отвѣчали ея собственнымъ чувствамъ.

— Благодарю тебя, — отвѣчала она: — ты теперь укрѣпилъ мою душу, и за то я открою тебѣ, что я таила въ себѣ, когда отдавала себя въ твою волю. Знай, что если бы ты отвѣчалъ мнѣ согласіемъ, то ты оскорбилъ бы меня больше, чѣмъ всѣ, которые, видя наше несчастіе, желаютъ склонить меня торговать своею красотой. Душа моя не снесла бы этого безчестья.

— Что-жъ бы ты сдѣлала?—спросилъ Θалалей.

— Если бы ты пожелалъ, чтобы я отдала себя на ложе этого вельможи, то я бы безропотно исполнила это твое желаніе, но выйдя изъ его опочивальни, я отдала бы за тебя выкупъ, но не пришла бы къ тебѣ, а бросилась въ море.

— О, я такъ и думалъ!—перебилъ Θалалей.

— Но зато я благодарю тебя, что ты сохранилъ мое сердце, и я могу жить съ своими дѣтьми Вириной и Виттомъ.

Θалалей и Тенія оба забыли свое горе и стали такъ рады, какъ-будто къ нимъ снизошло безконечное счастье. А такъ какъ невольники въ аскалонской темницѣ помѣщались на соломѣ очень тѣсно и ничѣмъ не были отдѣлены одинъ отъ другого, то хотя Θалалей и Тенія старались говорить между собою какъ можно тише, но разговоръ ихъ, однако, былъ услышанъ сосѣдями и въ числѣ ихъ злодѣемъ Анастасомъ. Нѣкоторые изъ заключенныхъ надъ этимъ смѣялись, а одинъ изъ нихъ передалъ слова супруговъ доимщику Тивуртію, который далъ за это вѣстовщику монету, а самъ пришелъ въ большую досаду, потому что онъ видѣлъ въ искательствѣ Милія драгоцѣнный случай взыскать долгъ съ Θалалѣя, а при такомъ оборотѣ это взысканіе становилось безнадежнымъ. Разгнѣванный доимщикъ положилъ себѣ на умѣ наказать Тенію какъ можно чувствительнѣе за ея упрямство, и съ этихъ поръ сталъ употреблять разныя мѣры къ отягченію положенія Θалалея, чтобы тѣмъ вынудить Тенію сдаться на предложеніе Епарха.

Злобный Тивуртій началъ съ того, что выждалъ, когда Тенія шла изъ темницы въ виноградный шатеръ; онъ сейчасъ же тихо подошелъ къ ней и началъ уговаривать ее не отвергать исканій богатаго вельможи:

— Что тебѣ! — говорилъ онъ ей, покрывая лукавые

глаза свои толстыми вѣками. — Ты вѣдь еще въ старой вѣрѣ и можешь не считать себѣ это за грѣхъ.

Тенія только покачала головою и ничего ему не отвѣчала.

Но Тивуртій не устыдился и не отставалъ. Онъ шелъ за Теніей и разсказывалъ ей, какъ Милій знатенъ и многовластенъ, и потомъ, понижая голосъ и шевеля своими толстыми вѣками, нашептывалъ, что архъ давно бы уѣхалъ и для того только медлитъ произнести судъ и казнить Анастаса, чтобы имѣть предлогъ оставаться въ Аскалонѣ, а цѣль этого одна — достичь одной краткой минуты обладанія Теніей, за что онъ ее такъ щедро одаритъ, что она сейчасъ же можетъ выкупить мужа, а архъ Милій тогда казнитъ поскорѣй Анастаса и тотчасъ отъѣдетъ въ Дамаскъ.

— Такъ разсуди же сама, какъ безполезно упрямство! Все это дѣло краткой минуты и ты съ этимъ человѣкомъ никогда болѣе и не встрѣтишься. Что же за великая важность... подумай, твоя маленькая тайна нигдѣ не разгласится, и вѣрь мнѣ, что и сама ты о ней скоро забудешь, да и время ли будетъ тебѣ помнить о томъ въ счастливыхъ объятіяхъ любимаго мужа? О, какъ счастливъ Θалалей, что ты его любишь: будь же умна—пожалѣй Θалалея и принеси для него эту пустую минутную жертву. А я берусь все такъ устроить, что ты войдешь къ Милію и выйдешь назадъ ни для кого незамѣтно: я поставляю теперь для него провизію и часто ввожу къ нему въ домъ рыбака. Я уложу въ корзину дыню и цвѣтного зуйка, а ты одѣнешься молодымъ рыбакомъ, обнажишь свои прекрасныя ноги и понесешь за жабры въ обнаженныхъ рукахъ прекраснаго розоваго мормира.

Но Тенія оттолкнула Тивуртія и не захотѣла поступить такъ, какъ онъ внушалъ ей, за это доимщикъ Тивуртій обѣщалъ ей погубить все ея семейство. Тенія же оставалась непреклонною и несла свое горе, дѣля время между дѣтьми въ шалашѣ, мужемъ въ темницѣ и игрою на арфѣ въ шатрахъ виноградныхъ.

Отказъ Θалалея отъ полученія свободы изъ темницы цѣной униженія Тенiи такъ сильно ее утѣшилъ, что она не только не боялась Тивуртія, но ощущала въ душѣ усиленную бодрость, и это выражалось въ ея игрѣ на арфѣ. И хотя содержатель ночныхъ шатровъ такъ же, какъ Ти-

вуртій, не одобрялъ ея цѣломудрія, но его ночные посѣтители были сострадательнѣе къ горю бѣдной арфистки и монеты изъ рукъ ихъ падали къ ногамъ Теніи, а она собирала ихъ въ корзинку, гдѣ у нея, въ зеленыхъ листьяхъ, лежалъ сухой черный сыръ и плоды для дѣтей,

Но не спала ночью не одна Тенія, — не спалъ и Тивуртій-доимщикъ и придумалъ себѣ противъ Теніи ноцыя средства.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Тивуртій не могъ выпустить изъ рукъ своихъ случая, который казался ему драгоцѣннымъ, и препятствія, которыя ставила ему Тенія, только разжигали въ немъ желаніе достичь своей цѣли. Доставя Милію рѣдкіе фрукты и розоваго мормира, Тивуртій вызвался ему схватить Тенію насильно и принести ее къ нему, обмотавъ въ египетскій шелковый парусъ, но Милій былъ тонкій цѣнитель удовольствій и не хотѣлъ обладать ею насильно: онъ желалъ, чтобы скромная Тенія сама подошла къ его двери и сама положила ему на плечо свои руки и шепнула ему: «Я пришла возвѣстить тебѣ, Милій, что мигъ благосклоненъ и до зари я желаніямъ твоимъ буду покорна».

Тивуртій сдвинулъ толстыя вѣки и отвѣчалъ:

— Для меня это — излишняя тонкость, но, тѣмъ не меньше, я буду стараться: подожди еще съ осужденіемъ Анастаса, а я надѣюсь сдѣлать кое-что такое, послѣ чего Тенія должна будетъ скоро придти и сказать тебѣ: «мигъ благосклоненъ».

Чтобы преодолѣть непреклонность Теніи и скорѣе довести ее до того, чтобы она согласилась исполнить желаніе Милія, доимщикъ Тивуртій разсказалъ о Теніи всѣмъ заимодавцамъ Ѳалалея. Эти страшно разсердились, что Тенія пренебрегаетъ случаемъ съ ними расплатиться за мужа, и пошли всѣ къ заключенному корабельщику и стали укорять его, говоря:

— Ты и твоя жена — самые безчестные люди. Ты разорилъ насъ и нарочно хотѣлъ приготовить намъ впереди такое самое положеніе, какое самъ нынче, по справедливости, терпишь, а жена твоя своимъ упорствомъ оскорбляетъ вельможу, и ты, вмѣсто того, чтобы ее образумить, еще и самъ отказываешь въ своемъ согласіи на такое незначительное

дѣло, какое переносили не чета тебѣ именитые люди. Вѣдь ты не Абрагамъ и не Ицгакъ, о которыхъ изъ вѣка въ вѣкъ вспоминаютъ книги, а тѣ сами и жены ихъ покорялись обстоятельствамъ. Отвернись на короткій часъ къ стѣнѣ и вздохни, какъ бѣднякъ, и мимо тебя совершится все къ общему счастью: всѣ мы будемъ счастливы, и ты будешь на волѣ, и снова увидишь друзей въ своемъ домѣ и сядешь съ женою своей и съ дѣтьми на берегу моря въ тѣни сикоморы и на столѣ твоемъ будутъ ароматныя дыни, черноголовый зуй и розовый мормиръ. Дай же скорѣе свое согласье, чтобы твоя безумная Тенія покорилась вельможѣ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Ѳалалей:—я не разорялъ васъ съ умысломъ и не буду счастливъ, достигнувъ свободы черезъ позоръ чистой Тенін. Можете томить меня, сколько хотите.

Купцы были разгнѣваны этимъ отвѣтомъ и закричали:

— Теперь мы еще яснѣе видимъ, что ты человѣкъ подлый и помышляешь только о себѣ объ одномъ, а до другихъ тебѣ нѣтъ дѣла! Ну, такъ не жди же и самъ для себя отъ другихъ ни малѣйшей пощады! Пусть съ тобой какъ можно суровѣе поступаетъ доимщикъ Тивуртій. Пусть на тебя нападутъ всѣ недуги, живущіе здѣсь со дней Ирода.

Ѳалалей отвѣчалъ:

— Пусть все это будетъ, но непорочность же Теніи мнѣ всего драгоцѣннѣе.

Послѣ этого раздосадованный Тивуртій подкупилъ темничнаго стража Раввула, чтобы онъ не допускалъ Тенію до свиданія съ мужемъ, а самъ написалъ нѣкоторому своему знакомцу Сергію, откупщику общедоступныхъ женщинъ въ Александріи, чтобы тотъ скорѣе привезъ въ Аскалонъ нѣсколько красавицъ, умѣющихъ играть на арфахъ, пѣть нескромныя пѣсни и танцовать сладострастные танцы съ «искаженьемъ осы, залетѣвшей въ одежду».

Темничникъ Раввула первый исполнилъ то, чего желалъ отъ него Тивуртій, и когда Тенія приходила, чтобы видѣть мужа, онъ отбиралъ у нея пищу, ею приносимую, и передавалъ ее Ѳалалею, съѣдая самъ что было лучшее, а Тенію отгонялъ отъ дверей. Когда же она садилась неподалеку отъ входа въ темницу и плакала, то Раввула порицалъ ее и говорилъ ей:

— Ты сама всему виновата: для чего ты больше всего

гордишься своею чистотой? Это вѣдь значитъ, что ты себя одну только и любишь.

— Это неправда твоя,—отвѣчала Тенія.

— Какъ же неправда? Ты имѣешь возможность разлить ручьемъ счастье для многихъ, но для тебя ничего не стоитъ ихъ жажда. Хороша ты, дочь жреца Анубиса. Да покроешься ты тиной и плѣсенью, какъ источникъ, заглохшій въ своемъ водоемѣ, а я сейчасъ войду и отягчу цѣпь на рукахъ и ногахъ Θалалея и стану стегать его по голому тѣлу воловьею жилой.

Положеніе Теніи стало ужасно, а Раввула продолжалъ не допускать ее въ темницу и въ самомъ дѣлѣ надѣлъ вдвое болѣе тяжкія оковы на Θалалея и стегалъ его утромъ и вечеромъ жилой; но и послѣ этого и Θалалей, и Тенія все-таки еще оставались непреклонны. Столько силы для перенесенія бѣдствій они почерпали во взаимной любви другъ къ другу!..

Между тѣмъ подоспѣвалъ къ Аскалону на пестрой триремѣ женскій откупщикъ, александріецъ Сергій, котораго вызвалъ Тивуртій, и привезъ въ Аскалонъ тридцать красивыхъ и смѣлыхъ женщинъ, удивительно умѣвшихъ «искать осу» и показывать другіе, никогда еще здѣсь не виданные соблазны. Ихъ новизна и ихъ нестѣсненность должны были затмить Тенію и сдѣлать ее безполезною въ шатрахъ виноградныхъ, а съ этимъ вмѣстѣ для нея прекратится и всякій добытокъ. Да и Милій,—кто знаетъ?—можетъ увлечься «исканьемъ осы», и Теніи самой станетъ жалко, что она упустила.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Когда Сергій александріецъ и его доступныя дѣвы высадились на берегъ у Аскалона, Тивуртій сказалъ темничнику Раввулу, чтобы онъ снова открылъ Теніи доступъ къ мужу въ темницу, а самъ въ тотъ же день ранѣе роздалъ всѣмъ содержащимся въ темницѣ невольникамъ хлѣбцы съ чернушкой и другими пряными зернами и сказалъ:

— Это вамъ посылаетъ великодушный Милій, архъ изъ Дамаска. Онъ бы еще больше хотѣлъ вашу облегчить участь и за многихъ изъ васъ далъ бы выкупъ, но онъ боленъ, томится и не можетъ придти сюда, чтобы васъ видѣть.

Колодники, принявъ свѣжіе хлѣбцы съ чернушкой и другими пряными зернами, спросили:

— Чѣмъ боленъ Милій?

Тивуртій имъ отвѣчалъ:

— Болѣзнь ему причиняетъ строптивость приходящей сюда жены Θалалея, которая не въ мѣру высоко о себѣ понимаетъ и не хочетъ исцѣлить вельможную душу.

Узники закричали:

— Пусть вовѣки живетъ доблестный Милій и пусть придетъ всякое зло на строптивую Тенію, жену разорителя многихъ, гордеца Θалалея.

И вдругъ такъ всѣ возненавидѣли Тенію, что цѣлый день вопіяли вокругъ Θалалея, а къ темничнымъ невольникамъ пристали и тѣ, которые пришли навѣщать ихъ, и всеобщее неудовольствіе на Тенію разнеслось по всему Аскалону. Особенно же проклинали Тенію и Θалалея обѣднѣвшіе черезъ потопленіе его кораблей. На другой день всѣ эти купцы и производители колесницъ и ковровъ пришли въ темницу къ Θалалею большою толпою и стали говорить ему:

— Внемли же намъ, Θалалей! не будь безразсуденъ, согласись на то, чего алчетъ уязвленный страстью Милій.

Отъ этой несносной докуки Θалалей томился хуже, чѣмъ отъ прежней неволи въ то время, когда темничникъ Раввула не допускалъ къ нему Тенію. Теперь хотя Тенія имѣла свободный доступъ къ мужу, но каждый приходъ ея въ темницу вызывалъ изъ всѣхъ угловъ смрадной ямы такіе вопли и укоры, что Θалалей и Тенія терзались ими и сами рѣшили, что имъ лучше здѣсь не видаться.

Замѣтивъ такой оборотъ, доимщикъ Тивуртій подошелъ еще съ одной стороны: онъ приступилъ къ Пупліи бабѣ, матери Θалалея, и сказалъ ей:

— Вотъ ты старая и опытная женщина, ты, конечно, не позабыла еще, какъ жили у насъ, въ Аскалонѣ, во время твоей молодости.

— Разумѣется, я это помню,—отвѣчала Пуплія.

— Жены тогда почитали безчестіемъ только обманъ, но, когда не было обмана, онѣ жертвовали собой Анубису, хотя и знали, что, вмѣсто бога, ихъ приметъ въ свои объятія смертный. Отецъ Теніи, жрецъ Полифронъ, не разъ, я думаю, совершалъ такія таинства.

— Да, и я помню эти продѣлки Полифрона надъ нами.

Мы узнавали во тьмѣ, что не богъ насъ цѣлуетъ, а весьма страстный смертный, но стыдились о томъ говорить и молчали, а Полифронъ продолжалъ это и успѣшно совершилъ надъ многими, что̀ ему выгодно было.

— Ну, вотъ, видишь! И все-таки вы, несмотря на это, остались хорошими и честными женщинами?

— Что же дѣлать. Мы примирялись съ тѣмъ, что̀ было для насъ неизбѣжностью, и дѣло кой-какъ обходилось.

— Вотъ только это и надо! Я радъ, что слышу отъ тебя такія разумныя рѣчи! Я зналъ, что, имѣя опытъ въ жизни, ты непремѣнно имѣешь и здравый разсудокъ. Подумай же на что это похоже: сынъ твой томится въ смрадной темницѣ, гдѣ онъ сгніетъ, а межъ тѣмъ отъ жены Ѳалалея зависитъ, чтобы онъ получилъ свободу и чтобы вамъ воротилось все ваше имѣнье.

— Можетъ ли быть? Отъ этихъ словъ твоихъ у меня замираетъ мое старое сердце и слезы клубкомъ подкатываются у меня къ горлу. Разскажи же мнѣ: что̀ для этого надо сдѣлать?

Тивуртій разсказалъ объ исканіяхъ Милія и объ упорствѣ Теніи: старая Пуплія всплеснула руками и начала горестно плакать и ворчать.

— Для чего... о для чего это уже не совершилось втайнѣ?

Тогда Тивуртій ей продолжалъ:

— Я былъ увѣренъ, что ты это скажешь! Всякая умная женщина, на мѣстѣ Теніи, давно бы такъ и совершила, а не поставила бы свою гордость въ такомъ случаѣ выше, чѣмъ счастье семьи. Умная и добрая женщина, конечно, предпочла бы лучше сама немножко поплакать, но зато отереть слезы другихъ, кого любитъ. Не правда ли?

— Правда,—отвѣтила Пуплія.

— Такъ помогай же мнѣ сдѣлать умное дѣло. Ты вѣдь мать Ѳалалея, ты баба внучковъ своихъ Вирины и Витта, маленькихъ, бѣдныхъ дѣтей... Подумай, что̀ ждетъ ихъ? Ѳалалей истомится и умретъ,—его источитъ закожный червь въ темницѣ, дѣти возрастутъ безъ ученія и ты умрешь безъ пріюта, а стройное тѣло твоей гордой Теніи согнется, и лицо ея поблекнетъ, и никто на нее не захочетъ смотрѣть... Тогда она сама пожалѣетъ о томъ, что̀ теперь отвергаетъ, и проклянетъ свою гордость. Быть-можетъ, даже сама когда-нибудь станетъ за пологъ шатра и будетъ трогать за локти

проходящихъ незнакомцевъ и смотрѣть на нихъ подкрашенными глазами, загиная свои руки за шею, но это будетъ напрасно и она не продастъ никому за серебренникъ то, за что нынче готовъ осыпать ее златницами милосердый вельможа. О, будь милосердна къ своимъ и къ чужимъ, умная Пуплія, заставь скорѣе Тенію ловить быстролетящій часъ, пока молодая кровь дѣлаетъ Милія безумцемъ. Теперь онъ рабствуетъ прихоти своего сердца и готовъ на все, лишь бы ему не отъѣхать въ Дамаскъ, не извѣдавъ кроткой ласки отъ Теніи; но этотъ жаръ можетъ потухнуть и другого такого случая уже не будетъ, а если онъ пропадетъ, то и тебѣ, и всѣмъ намъ послѣ того навсегда будетъ ненавистна проклятая гордость твоей невѣстки.

Пуплія молчала, глядя вдаль померкнувшими глазами, изъ которыхъ на ея сгорѣвшія отъ зноя щеки лились обильныя слезы, а Тивуртій взялъ ее ласково за руки и закончилъ:

— Слезы твои, старуха, самого меня трогаютъ, но и утѣшаютъ: я вижу, что ты не ставишь счастье другихъ ни во что, какъ дѣлаетъ Тенія, и, навѣрное, направишь мысли Теніи къ тому, чтобы не считать свою чистоту бо̀льшимъ благомъ, чѣмъ счастіе многихъ.

Тутъ Пуплія баба вздохнула и отвѣчала:

— Слова твои, Тивуртій, страшно остры и ѣдки: тяжело мнѣ слышать, но ты отгадалъ: я согласна съ тобою и буду уговаривать Тенію, чтобы она не считала свою непреклонность за добродѣтель, потому что страданія наши слишкомъ несносны.

Доимщикъ Тивуртій еще похвалилъ Пуплію и отошелъ, довольный своимъ первымъ успѣхомъ, и отправился въ виноградные сады, гдѣ теперь раскинуты были небольшіе шелковые шатры и въ нихъ размѣщались стройныя, разноцвѣтныя дѣвушки, привезенныя Сергіемъ изъ Александріи. Старцы Аскалона собирались смотрѣть этихъ красавицъ, разсуждали объ ихъ прелестяхъ и пили вино, въ которомъ плавали головки гвоздики; а Пуплія, какъ только дождалась возвращенія Теніи, положила ея усталую голову на свои колѣни и начала распускать мелкія плетенія ея волосъ, склеенныхъ вишневымъ клеемъ, и начала умолять ее сжалиться надъ страданіемъ семейства.

— Что же ты хочешь?—спросила ее Тенія.

Пуплія припала къ уху невѣстки устами и прошептала:
— Иди къ вельможѣ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Услышавъ такія слова отъ матери своего мужа, Тенія ужаснулась и отвѣчала ей:

— Отъ тебя ли, о Пуплія, могла я это услышать? Ты вѣдь мать Θалалея и должна бы поддержать мою твердость и вѣрность супругу, а ты сама кладешь ножъ въ мои руки и посылаешь меня убить въ себѣ мой женскій стыдъ и добродѣтель супруги. Послѣ этого я не должна тебя слушать.

Пуплія же ей отвѣчала:

— Ахъ, твердость и вѣрность прекрасны, но горе слишкомъ несносно. Если бы ты жила въ прежнемъ довольствѣ, я никогда бы тебѣ такихъ словъ не сказала, но когда всѣхъ насъ ждетъ гибель, а ты можешь спасти насъ, то я говорю: спаси насъ, о, Тенія!.. О, Тенія, Тенія! спаси насъ своею красотой!

И старая Пуплія упала передъ ней на колѣни и покрыла своими сѣдыми волосами ея ноги.

— Но вѣдь я люблю своего мужа и моя вѣрность для него дороже всякаго счастія, какое могу я купить этою цѣной.

— Развѣ я тебѣ говорю, чтобы ты его не любила?.. Но ради этихъ дѣтей, которыхъ ждетъ доля презрѣнныхъ и нищихъ, если они тебѣ дороги, тебѣ должно быть не трудно принести себя въ жертву.

— Не трудно... О, боги! это ли должна я услышать?

— «Не трудно»—я говорю потому, что и я, и другія, которыхъ я знала, тоже любили и также имѣли стыдливость, но подавляли все это въ себѣ, когда надобно было, въ честь Діониса и богини Изиды.

Пуплія еще понизила голосъ и продолжала шопотомъ:

— У жрецовъ въ храмѣ Изиды былъ чудесный напитокъ... Онъ вовсе безвреденъ... отъ него только послѣ... день или два немножко болитъ голова. Очень немножко... Я видѣла, какъ его дѣлали изъ маленькихъ голубыхъ грибовъ... этотъ напитокъ, отнимающій память... И въ немъ еще есть одно чудное свойство... Испивши его, ощущаешь объятья и ласки того, къ кому сердце согрѣто любовью... Я знаю, гдѣ находить этотъ маленькій губастый грибокъ, и его на-

шла уже, и утомила его въ горшечкѣ... Онъ уже выпустилъ сокъ свой, туманящій память... Ты будешь въ туманѣ сладостно грезить до самаго утра, а утромъ чуть-свѣтъ я сама приду за тобою къ дверямъ Милія, ты передашь мнѣ золото, и я побѣгу выкупить изъ неволи Θалалея, а ты пойдешь къ морю, погрузишься вся въ его волны, и, освѣженная, придешь домой, встрѣтишься съ мужемъ и любовныя мечты прошлой ночи станутъ для васъ дѣйствительностью.

— Что говоришь ты? что ты говоришь?—воскликнула Тенія.—Неужели все это по-твоему можно?

— Безъ сомнѣнія, можно,—отвѣчала, кивая головою, Пуплія, и еще разъ помянула все, что приводилъ ей на память культъ богини Изиды, и заключила вновь утѣшеньемъ, что сокъ изъ грибка, отводящаго память, спасетъ ее отъ всего, что можетъ помѣшать несмущенной искренности ея чувствъ къ освобожденному мужу.

На это Тенія уже ничего не нашлась отвѣтить: она только собрала горстями напередъ всѣ свои волосы и, закрывъ ими стыдомъ горящее лицо, застонала, произнося, среди слезъ:

— О, я несчастная! До чего меня хотятъ довести всѣ людскіе совѣты! Я уже не въ силахъ понять, какъ мнѣ должно поступать, но мой стыдъ и любовь говорятъ, что я не должна согласиться на то, чему ты меня учишь.

— Грибокъ, отбивающій память, отведетъ въ сторону стыдъ.

— Да, дай мнѣ, дай скорѣе этого сока, отводящаго память, чтобы я могла позабыть то, что я отъ васъ слышу. Во мнѣ мѣшается смыслъ: я погибаю оттого, что начинаю не узнавать, гдѣ лежитъ настоящій путь моихъ обязанностей.

— Если любишь себя больше всѣхъ, тѣшь свой обычай, а если любишь Θалалея и дѣтей—пожертвуй имъ своею гордыней и отвѣдай грибка, отводящаго память.

— Я люблю Θалалея и потому-то я и хочу сохранить себя непорочной; но ты его тоже любишь и требуешь отъ меня, чтобы я для него согласилась войти къ постороннему мужчинѣ и остаться съ нимъ подъ вліяніемъ напитка, отводящаго память. Какъ же это, и одно, и другое—внушаетъ любовь! Которая жъ любовь истиннѣе и больше?.. Я дохожу до безумія! Просвѣтите мой умъ, старые или новые боги!

— Всякій скажетъ тебѣ,—отвѣчала Пуплія:—что та любовь больше, которая сама о себѣ не думаетъ. Мать любитъ больше жены!

— Больше!.. О, нѣтъ! Никогда! никогда! — воскликнула, стягивая себѣ горло волосами, Тенія, и съ этимъ она встала, взяла свою арфу и пошла къ виноградным шатрамъ, гдѣ еще надѣялась получить что-нибудь за свое пѣніе отъ корабельщиковъ. Но ее ждалъ здѣсь новый ударъ: дѣвы Египта дѣлали излишнимъ здѣсь полное грусти пѣніе Теніи.

А въ то самое время, какъ Тенія ушла изъ-подъ своего шалаша, къ Пупліи пришелъ Тивуртій и сталъ ее разспрашивать: удалось ли ей сбить Тенію? Пуплія ему разсказала все вплоть до послѣднихъ словъ: «Никогда, никогда!» но Тивуртій этимъ нимало не смутился и отвѣчалъ сквозь улыбку:

— Ахъ, почтенная Пуплія, развѣ ты позабыла, что всѣ влюбленные люди глупы, а ты не ослабѣвай и все стой на своемъ. Такъ капля долбитъ камень, и въ древности нѣкій мудрецъ подтвердилъ это примѣромъ. Онъ имѣлъ споръ съ человѣкомъ, который былъ глупъ и упрямъ, и сказалъ: «никогда». Никогда—это глупое слово и мудрецъ отвѣчалъ: «Никогда не должно говорить никогда». Продолжай свое, и ты восторжествуешь.

— А я не надѣюсь,—отвѣтила Пуплія.—Тенія слишкомъ чиста, какъ камень бѣлильный.

— Камень бѣлильный! Что за бѣда—почернѣетъ и камень бѣлильный, если тихо, но долго по немъ ударять и всегда въ одно мѣсто. Она тебя уже слушаетъ, это прекрасно: лишь бы только бѣлое стало немножечко темнѣть, а потомъ оно будетъ и синимъ, и желтымъ, и чернымъ. «Никогда не надо говорить никогда». А надо вотъ что,—добавилъ онъ, склонясь къ уху старухи:—надо спѣшить, чтобы Милію не наскучило ждать, и чтобы онъ съ досады не открылъ судъ надъ Анастасомъ и не отбылъ въ Дамаскъ, прежде чѣмъ Тенія скажетъ ему: «часъ благосклоненъ».

Пуплія дала Тивуртію обѣщаніе быть неотступною въ своихъ требованіяхъ у Теніи и поклялась ему жизнью своею и жизнью внучатъ Вирины и Витта, и Тивуртій, добившись этого, пошелъ пировать въ шатры Эпимаха, гдѣ въ вечерней прохладѣ должны были показать себя въ соблазнительномъ видѣ привезенныя Сергіемъ дѣвы Египта. Поясъ Ти-

вуртія на всякій случай былъ полонъ блестящими златницами и тутъ же былъ маленькій мѣшочекъ съ головками ароматной гвоздики, производящей волненіе крови.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Истерзанная разговоромъ съ свекровью, Теція шла хорошо знакомымъ путемъ къ виноградникамъ Эпимаха. Она гнулась подъ тяжестью арфы, шла спотыкаясь и не видя подъ собою дороги отъ слезъ. Тенія тяжко страдала и думала: «Какъ я могу теперь пѣть, послѣ столькихъ тревогъ и терзаній? Какія сложу я слова и гдѣ найду въ груди моей голосъ?» Но когда она вошла въ виноградный садъ, то увидала, что ей здѣсь нѣтъ ужъ и мѣста. Садъ былъ полонъ народа—здѣсь собрались теперь не одни мореходцы, а были и цвѣтущіе юноши, и многолѣтніе старцы изъ самыхъ почетныхъ людей въ Аскалонѣ. Одни выставлялись на видъ, а другіе лежали въ кустахъ и оттуда пожирали взорами нубійскую дѣву, которая стояла на одномъ мѣстѣ среди другихъ такихъ же подругъ, возлегшихъ кругомъ ея цвѣтною гирляндой. Всѣ онѣ были красивы,—брови ихъ были тонко сложены и выведены въ полукружье, вѣки подчернены, груди открыты, на шеяхъ шевелились и тихо рокотали сухія, коричневыя зерна, а ладони рукъ и подошвы ногъ окрашены красною краской... Казалось, какъ будто изъ нихъ шелъ огненный токъ и самой землѣ отъ нихъ дѣлалось знойно... Поэзія словъ и томная арфа были не нужны въ этомъ собраньѣ—и безъ арфы всѣ были увлечены тѣмъ, что дѣлали: всѣ сидящія въ кружокъ египтянки что-то совсѣмъ тихо пѣли, подражая жужжанію летающаго насѣкомаго,—хозяинъ танцовщицъ Сергій такъ же тихо подыгрывалъ имъ на одноструннномъ ребабѣ; а танцовщица, стоявшая въ срединѣ круга подругъ, содрогалась, безпокойно отгоняя то съ той, то съ другой стороны подлетающую къ ней осу... Жужжаніе усиливалось, всѣ чувствовали, какъ досадительно привязчивая оса кружила все ближе, и, наконецъ, впуталась въ легкія одежды мимистки... Она вспрыгнула, изобразила испугъ, отъ котораго всю ее судорожно повело, и ея нервность сообщилась всѣмъ другимъ женщинамъ,—онѣ привстали и замахали руками, сжимая въ нихъ маленькія кастаньеты, которыя хрустѣли какъ кости... Оса все ныряла изъ одежды въ одежду, и женщины, изгибаясь

всѣмъ станомъ, такъ трепетали, боясь укушенія осы, что ихъ огненныя пятки и пальцы ногъ вертѣлись подобно волчку, сливаясь въ одну огненную точку, межъ тѣмъ какъ дѣвушки поспѣшно срывали съ себя легкій покровъ за покровомъ, пока явились передъ всѣми совершенно нагія... Въ это же мгновенье изъ куста или съ лодки у берега моря раздался тонкій звукъ дудки лодочника, вмигъ погасли огни, а съ ними у всѣхъ разомъ затмились стыдливость и обняла все налетѣвшая тьма изъ Египта...

Къ Теніи въ этой тьмѣ подошелъ Сергій, грубо взялъ ее за плечи и, толкнувъ ее въ спину, сказалъ ей:

— Удаляйся отсюда! — и, сорвавъ съ ея плечъ многострунную арфу, онъ бросилъ ее о пень сикоморы, и арфа разбилась.

Теніи стало нечѣмъ питать заключеннаго мужа и Вирину, и Витта, и Пуплію бабу. Такъ для нея насталъ день, когда всѣ они съ утра и до ночи остались вовсе безъ пищи.

Въ этотъ день Тенія пришла навѣстить мужа съ пустыми руками. Супруги, обнявши другъ друга, сидѣли въ темницѣ въ глубокомъ унынiи, но этимъ не кончились ихъ муки. Тенія напрасно закрывала уши, чтобы не слышать укоровъ, которые ей со всѣхъ сторонъ выкрикивали грубые невольники, помогавшіе Тивуртію за раздачу имъ хлѣбцевъ съ чернушкой. Теніи не надо было разсказывать Ѳалалею, какъ ухудшилось ихъ положеніе: онъ самъ все понималъ и тихо сказалъ женѣ:

— Я чувствую довольно твердости, чтобы умереть съ голоду, но ты будь вольна надъ собою: я больше не смѣю сказать ничего о тебѣ самой и о несчастныхъ Виринѣ и Виттѣ. Испробуй послѣднее: пошли ихъ самихъ просить подаянія; Витть и Вирина красивы, а мать моя Пуплія такъ стара, что отъ нея уже пахнетъ могилой; когда они сядутъ втроемъ на пути къ Газѣ или къ Азоту и протянутъ свои руки, то, навѣрное, ихъ пожалѣютъ и бросятъ имъ зеренъ или хоть мертвую рыбу.

— Напрасно думать объ этомъ,—отвѣтила Тенія: — все это уже испробовано: я ихъ уже посылала, но никто ничего имъ сегодня не подалъ, всѣ боятся гнарха и въ угоду ему надъ дѣтьми смѣялись и говорили Виринѣ: «Кляни свою мать, зачѣмъ она васъ не жалѣетъ». Тоже и мать твоя Пуплія, отъ которой ужъ пахнетъ могилой, но и она съ тѣхъ

поръ, какъ я возвратилась съ пустою корзиной безъ хлѣба, проклинаетъ меня и понуждаетъ продаться вельможѣ.

При этомъ открытіи Θалалей разорвалъ на себѣ свои лохмотья и сказалъ:

— Я не хочу ничего больше слышать! Не мучь меня, дѣлай что можешь. Вонъ входитъ темничникъ Раввула. Темница сейчасъ будетъ закрыта.

Тенія встала и вздрогнула, потому что въ это мгновеніе въ сторонѣ темной впадины, гдѣ сидѣлъ злодѣй Анастасъ, вдругъ загремѣли всѣ его пять цѣпей и къ ногамъ Теніи что-то упало.

Тенія нагнулась, чтобы поднять упавшій предметъ, и нашла два хлѣбца съ чернушкой. Тенія тихо спросила:

— Кто ты, сострадательный человѣкъ, который два дня не ѣлъ свои подаянные хлѣбцы и отдаешь ихъ несчастной? Скажи, какой вѣры ты, чтобы я могла молить за тебя твоего бога?

— Не вспоминай моего имени богу,—отвѣчалъ ей грубый голосъ Анастаса:—я не вѣрю никакимъ дѣтскимъ сказкамъ, но ты надорвала мнѣ сердце своимъ тяжкимъ горемъ—въ томъ только и дѣло! Уходи и дай своимъ дѣтямъ по хлѣбу.

Тенія не имѣла времени ему отвѣчать и хотѣла удалиться, но Θалалей, какъ волкъ, защелкалъ зубами и, вырвавъ у нея хлѣбцы, сталъ пожирать ихъ съ ужасной жадностью.

Тенія закрыла руками глаза и убѣжала, чтобы не видать, до чего страшный голодъ довелъ Θалалея... Ей стало страшно, чтобы самъ мужъ не попросилъ ее выпить настоя грибка, отводящаго память, и идти къ Милію съ ласковымъ зовомъ: «часъ благосклоненъ».

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Это былъ вечеръ. Тенія вышла за дверь темницы, но стала въ раздумьѣ. Прямѣе всего Теніи было идти къ ея дѣтямъ, но придти къ нимъ съ пустыми руками значило только усилить ихъ муки. Притомъ она избѣгала укоровъ обезумѣвшей Пуплiи, которая проклинала невѣстку и въ старческомъ бредѣ вопила:

— Гдѣ моя прежняя красота! Проклятье, зачѣмъ я стара и безобразна! О, если бы я понадобилась хоть чудовищу, которое живетъ въ зеленой пучинѣ моря, я бы не остано-

вилась ни передъ чѣмъ, лишь бы только избавить милаго сына и дѣтей его отъ страданія! Проклятье себялюбивой Теніи!

Теніи невольно приходило на мысль: если такъ твердятъ всѣ и такъ чувствуетъ и учитъ ее старая Пуплія, да и самъ Θалалей, истомясь, сталъ ей говорить, что онъ съ нея не снимастъ воли, то, въ самомъ дѣлѣ, права ли она, охраняя свое цѣломудріе съ непреклоннымъ упорствомъ? Вотъ теперь холодныя и голодныя дѣти Виттъ и Вирина томятся съ стынущею бабкой, а она, мать, даже не смѣетъ къ нимъ показаться. Ей нѣтъ и пріюта подъ крышей, а ночь холодна и по всему Аскалону вдругъ распространилось неожиданное безпокойство. Милій, кажется, сдѣлалъ большую ошибку—онъ слишкомъ долго замедлилъ судить и всенародно казнить Анастаса. Пришли вѣсти, что разбойники изъ Анастасовой шайки успѣли поправиться, собрались и рыщутъ вокругъ Аскалона. Вчера и сегодня они опять уже многихъ ограбили и убили двухъ путниковъ, шедшихъ по дорогѣ къ Азоту и къ Газѣ. Встревоженные этимъ, аскалонцы считали возможнымъ, что ободрившіеся разбойники, при чьей-нибудь тайной помощи, проберутся, переодѣтые, въ самый городъ Аскалонъ, нападутъ на темницу, выбьютъ дверь и уведутъ Анастаса, котораго одно имя внушало всѣмъ содроганье. Темничникъ Раввула не ручался, что большой деревянный замокъ на дверяхъ темницы можетъ устоять передъ силой многихъ отчаянныхъ людей, которые станутъ напирать на двери, и онъ бросилъ аскалонскихъ старшинъ, безпечно слѣдившихъ въ это время за тѣмъ, какъ подъ жужжанье и звуки кастаньетокъ ловятъ осу привезенныя египтянки, и сѣлъ на ночь у двери темницы. Милій спохватился, но поздно: онъ велѣлъ, чтобы съ самыхъ сумерекъ до утра запирали ворота Аскалона и чтобы по городу каждый часъ ночи посмѣнно ходили дозоры. Эти дозоры должны были брать всѣхъ, кто ненадеженъ или возбуждаетъ сомнѣніе, все равно — будетъ ли то христіанинъ, или язычникъ. А какъ христіанамъ казались подозрительными всѣ нехристіане, а язычники съ подозрѣніемъ смотрѣли на всѣхъ христіанъ, то при встрѣчѣ дозоровъ съ кѣмъ бы то ни было изъ запоздалыхъ на улицахъ и городскихъ пустыряхъ впотьмахъ происходили ссоры и схватки. По-

боища эти часто сопровождались ранами и увѣчьями, а для женщинъ, кромѣ того, еще и насиліями. Въ эту пору въ Аскалонѣ всякій почиталъ въ правѣ на сожалѣніе только своего единовѣрца, а человѣка чужой вѣры считалъ достойнымъ пренебреженія и не оказывалъ ему снисхожденія.

Очутившись въ темнотѣ на улицѣ, Тенія все это вспомнила и содрогнулась. Положеніе ея было исполнено такого отчаянія, что если бы въ эту минуту возлѣ нея очутились отрокъ Евлогій или Тивуртій-доимщикъ, то, быть-можетъ, она имъ сказала бы: «Вы побѣдили, я готова идти, къ кому вы хотѣли меня отвести». Но, по счастію, людей этихъ не было здѣсь, они вмѣстѣ съ другими смотрѣли, какъ ловятъ осу, и Теніи оставалось выбрать между двумя опасностями: подвергать себя встрѣчѣ съ дозорами, которые могли настичь ее гдѣ-нибудь на городскихъ пустыряхъ, или же поспѣшить выбѣжать за городскія ворота и ночевать въ травѣ оливковой рощи, среди которой было кладбище. Она выбрала послѣднее: ей лучше казалось провести ночь въ тишинѣ кладбища, и, къ тому же, въ умѣ ея пробудилось заложенное тамъ съ дѣтства суевѣріе: у людей языческой вѣры, въ которой выросла Тенія, было въ обычаѣ, при большихъ недоумѣніяхъ, вопрошать кости мертвыхъ. Тенія быстро пошла за городскія ворота къ оливковой рощѣ, съ намѣреніемъ отыскать на кладбищѣ, въ песчаной долинѣ, одну могилу, изъ которой торчалъ наружу провѣщательный черепъ, и вопросить: какъ онъ ей скажетъ—она такъ и поступитъ. Всѣ живые ее осуждаютъ, всѣ говорятъ, что не тотъ ключъ благодѣтеленъ, который хранитъ свою чистую воду въ своемъ водоемѣ, а тотъ, который разбѣгается далеко потокомъ и поитъ всѣхъ, кого томитъ жажда. Всѣ эти доводы мутятъ въ ней ясность сознанія, она сама не вѣритъ себѣ, что поступаетъ какъ должно.

— О, скорѣе, скорѣе, я пойду — вопрошу кости мертвыхъ!

И Тенія быстро понеслась по темнымъ полямъ къ оливковой рощѣ, сокрывавшей кладбище.

Разбойниковъ, бродившихъ вокругъ Аскалона, по дорогамъ къ Азоту и Газѣ, она не боялась. Почему они ей не казались страшны, — въ этомъ она себѣ не давала отчета.

Не Анастасъ ли одинъ изо всѣхъ въ аскалонской темницѣ сберегъ и отдалъ ей для дѣтей ея поданные хлѣбцы съ чернушкой? Къ тому же, на ней нѣтъ ни затканныхъ золотомъ тканей, ни цѣпей, ни браслетъ, ни драгоцѣннаго пояса,—одежды ея бѣдны и просты, съ нея нечего взять. Во всемъ остальномъ разбойники ей не казались опаснѣй, чѣмъ Милій, Тивуртій, Раввула-темничникъ и даже сама свекровь ея, Пуплія, и, наконецъ, даже самъ Θалалей, потому что и онъ, истомившись, сталъ алченъ, какъ волкъ, и началъ говорить ей такое, отъ чего ей до сихъ поръ страшно.

Теперь вся забота для Тенiи заключалась въ томъ, чтобы она въ темнотѣ не сбилась между множества тропъ и нашла бы тропинку къ оливковой рощѣ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Тенiя безпрестанно наклонялась, разсматривая тропинки, и не сбилась съ дороги: она благополучно дошла до оливковой рощи, но едва вошла въ нее, какъ увидала въ купѣ деревьевъ сверкавшій огонь отъ костра. Она притаилась и стала разсматривать, что̀ можно увидѣть при этомъ огнѣ, и вскорѣ увидала двухъ человѣкъ, въ которыхъ сейчасъ же узнала разбойниковъ. Оба они были совсѣмъ голы и грѣлись у огня, а возлѣ нихъ были приставлены у деревьевъ ихъ копья съ наостренными наконечниками, на блестящей поверхности которыхъ отражалось пламя. Тенiя колебалась — идти ли ей впередъ, или притаиться, но чуткій слухъ разбойниковъ подстерожилъ ея приближеніе, и они оба вскочили, бросились къ дереву, за которымъ она укрывалась, схватили ее за руки, начали угрожать ей, что бросятъ ее на то раскаленное мѣсто, гдѣ горѣлъ ихъ костеръ, и подвергнутъ ее пыткѣ.

— Для чего же меня пытать?—отвѣчала Тенiя.—Я сама разскажу вамъ, кто я и куда иду, и какъ я несчастна.

И она имъ все разсказала и не промолчала о томъ, что получила кусокъ хлѣба отъ Анастаса.

Слушая разсказъ Тенiи, оба разбойника задумались и потомъ сказали:

— Мы за тебя отомстимъ,—мы два брата и оба разбойники—насъ обоихъ изнищилъ Тивуртій.

Тенiя имъ отвѣчала, что она не желаетъ отмщенія, а

если имъ ее жалко, то она проситъ ихъ проводить ее къ кладбищу и помочь разыскать ту могилу, изъ которой выдается наружу провѣщающій черепъ.

— Вы здѣсь скрываетесь и бродите,—навѣрное вы его замѣтили. Къ нему ходятъ вопрошать его тѣ, чье горе превосходитъ терпѣніе и омрачаетъ разсудокъ.

Разбойники, услыхавъ эту просьбу, такъ страшно расхохотались, что имъ отвѣтило лѣсное эхо, и суевѣрная Тенія испугалась и, схвативъ разбойниковъ за руки, сказала имъ:

— Вы были добры ко мнѣ до сихъ поръ, — не пугайте же меня теперь вашимъ страшнымъ смѣхомъ. Скажите мнѣ, видѣли вы или нѣтъ провѣщательный черепъ?

— Да, мы его видѣли, но не знаемъ, осталось ли отъ него что-нибудь послѣ насъ на поглядѣнье другимъ.

И разбойники несвязно и нескладно передали Теніи, что они днемъ ходили на кладбище, чтобы пошарить въ могилахъ, нѣтъ ли на какихъ-нибудь мертвецахъ закопанныхъ драгоцѣнныхъ уборовъ... И кое-чѣмъ они нашли поживиться, но зато и поплатились испугомъ, какого въ ихъ храбромъ званіи допустить надъ собой недостойно.

— Мы, говорятъ,—замѣтили между острыхъ камней слѣды человѣческихъ ногъ и сказали себѣ: не мертвецъ же вѣдь этою дорожкой ходитъ! Пойдемъ-ка, посмотримъ. Если тамъ эти кости, къ которымъ глупые люди приходятъ, чтобы ихъ о чемъ-нибудь спрашивать, такъ тамъ должны быть накиданы деньги. Пошли и нашли тамъ что-то такое, что торчитъ наверху, точно ёжъ. Стали смотрѣть: это—черепъ, весь сухою кожей обтянутъ и пылью засыпанъ. Братъ говоритъ: «Подними его; подъ нимъ должны быть монеты». Я его сталъ поднимать, но черепъ не поднимался... Я говорю брату: «Смотри-ка, онъ чѣмъ-то прикрѣпленъ». Братъ говоритъ: «Покачай». Я его покачалъ... Онъ качается, а все-таки остается на мѣстѣ, да и мнѣ что-то страшно за него трогаться, потому что онъ изъ могилы торчитъ... А братъ говоритъ: «Экая глупость! Какой же ты послѣ этого разбойникъ? Толкай его хорошенько изо всей силы направо и налѣво, — заверти винтомъ навкругъ и дерни — онъ оторвется». Я не хотѣлъ унизить себя въ глазахъ брата и сдѣлалъ какъ онъ мнѣ сказалъ, и черепъ свернулся на бокъ, но прочь не оторвался. Тогда братъ нагнулся вмѣстѣ со мною и говоритъ: «Ну, давай потянемъ вдвоемъ»,—и какъ

потянули, такъ и упали, а въ рукѣ у каждаго осталось по шматку сухой, сморщенной кожи,—похоже какъ древесная губка. Братъ посмотрѣлъ и говоритъ: «Это мы ему уши сорвали». Оба мы испугались чего-то и оба стали къ нему пригинаться и въ него вглядываться.

— Ну, говори же,—зачѣмъ ты остановился?

— Я остановился затѣмъ, что я послѣ того былъ хорошо пьянъ, а мнѣ все-таки еще жутко... А у этого черепа были глаза!

— Не сгнили еще?

— Нѣтъ. Это были живые глаза, — они были подняты къ небу и прямо глядѣли на солнце.

— На солнце глядѣть невозможно... только праведный, только святой взираетъ на солнце.

— Ну, такъ, можетъ-быть, это и есть святой или, по крайней мѣрѣ, онъ *былъ* такой сегодня утромъ.

— Что же еще вы ему сдѣлали?

— Мы ему ничего больше не сдѣлали: мы убѣжали, но... впрочемъ, если *онъ* тебѣ нуженъ...

— Ахъ, онъ мнѣ нуженъ!

— Такъ мы тебя къ нему проводимъ.

Тенія ихъ поблагодарила, а разбойники взяли изъ-подъ корня стараго дерева по большой свѣтящейся гнилушкѣ и пошли черезъ темную чащу и привели Тенію на кладбище къ тому мѣсту, гдѣ, въ темномъ рвѣ, среди каменной осыпи, была не то человѣческая могила, не то дождевой прососъ или рытвина, а когда разбойники стали водить надъ поверхностью его свѣтящеюся гнилушкой, то и они, и Тенія стали различать что-то едва замѣтное и не имѣющее ни формы, ни вида, но страшное. Возможно, что это былъ ёжъ, а можетъ-быть и голова человѣка. Не разобрать, на что больше это похоже, но на самомъ дѣлѣ это была голова, вся обшитая шкурою какого-то звѣря. Въ обшивкѣ прорѣзы для глазъ, а надъ устами свѣсились грязныя космы.

— Это, навѣрное, тотъ, кого тебѣ нужно,—сказали разбойники:—и мы тебѣ не будемъ мѣшать съ нимъ говорить.

Разбойники удалились, а бѣдная Тенія осталась одна и позабыла слова, въ которыхъ хотѣла сказать вопрошеніе. Это такъ переполнило мѣру ея страданій, что она зарыдала и упала на камни, коснувшись лицомъ своимъ того, что считала за черепъ, и сразу же слухъ ея уловилъ какіе-то звуки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Въ могилѣ былъ не мертвецъ, а въ ней жилъ христіанинъ, аскетъ и молчальникъ, старецъ Ѳермуфій. Онъ родился язычникомъ, потомъ сдѣлался христіаниномъ, а потомъ, по мнѣнію многихъ, омрачился въ разсудкѣ,—онъ кинулъ домъ, возненавидѣлъ плоть и заботы о жизни, закопалъ себя въ яму и молчалъ. Уже нѣсколько лѣтъ онъ ни однимъ звукомъ не нарушилъ своего обѣта молчанья. Онъ молчалъ, когда рвали его голову братья-разбойники,—молчалъ и тогда, когда Тенія рыдала надъ его головою, не имѣвшей ни формы, ни вида; но когда Тенія, совсѣмъ ослабѣвъ, упала и перестала плакать, обѣтъ его разрѣшился совсѣмъ мимовольно: Ѳермуфій-молчальникъ сталъ бредить... Это случилось въ часъ передъ разсвѣтомъ, когда въ воздухѣ пронесло утреннею свѣжестью и за камнями кладбища въ колючей травѣ чирикнула робкая птичка. Тенія ободрилась, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, ей показалось, будто все стало бредить. Можетъ-быть и она тоже бредила. Ей казалось, что этотъ ёжъ, эта голова, обшитая звѣриною кожей, шевельнулась... вотъ въ ней подъ нависшею кожей что-то шумитъ, подобно движенію птицы, шевелящейся въ листьяхъ. Тенія затрепетала отъ страха и не трудно понять, сколько ужаса должно было заключаться въ этомъ для нея, которая не знала, что это закопанъ въ землѣ молчальникъ Ѳермуфій, а думала, что видитъ передъ собою мертвый черепъ. И вотъ мертвый черепъ вѣщаетъ. Тенія слушаетъ. Вначалѣ невнятно... все птица шевелится. Молчальникъ отвыкъ говорить членораздѣльно. Но вотъ изъ устъ его, завѣшенныхъ звѣриною шерстью, начинаютъ слышаться звуки, похожіе на человѣческій голосъ. Можно понять, что онъ бредитъ извѣстною восточною притчей о двухъ мышкахъ, бѣлой и черной, которыя точатъ вѣтку, торчащую изъ стѣны страшнаго обвала. На этой вѣткѣ виситъ человѣкъ... внизу подъ нимъ пропасть, надъ его головою другая—безпредѣльное небо... Бѣлая и черная мышь все, чередуясь, точатъ... вѣтка лопнетъ... человѣкъ оборвется въ темную пропасть... Сердце сжалось... руки слабѣютъ... тошно... оставили силы... сейчасъ упадетъ... Мыши все другъ дружку смѣняютъ... все точатъ...

Птица совсѣмъ будто проснулась, она уже не шевелится

въ густолиственныхъ вѣтвяхъ... она расправила крылья и выпорхнула на волю: слова становятся явственны.

— Вверхъ, вверхъ надъ собою гляди!—восклицаетъ молчальникъ и продолжаетъ тише:—нѣтъ края здѣсь и нѣтъ края тамъ, но внизъ глядѣть тошно, — вверху освѣжаетъ...

Тенія слушаетъ; онъ продолжаетъ:

— Ключъ студеной воды бьетъ у предгорья... Струи его прозрачны и свѣжи... пустыня вокругъ... зной... полдень... Кто-то несчастный бредетъ. Это воинъ усталый... Онъ видитъ воду, прильнулъ и утолилъ свою жажду... Зачѣмъ онъ такъ пилъ? охлажденная голова его вмигъ отуманилась... Воинъ боится чего-то... онъ бѣжитъ, онъ даже оставилъ здѣсь наполненный золотомъ поясъ... Приближается юноша... и его томитъ зной, и онъ чувствуетъ жажду... Пьетъ... Забираетъ поясъ съ золотомъ и уходитъ... Тащится медленно старецъ... зной опалилъ и его... Старецъ тоже напился и здѣсь опочилъ... Горный источникъ! зачѣмъ ты поилъ ихъ?.. Воинъ хватился, гдѣ его поясъ и гдѣ его золото... Воинъ мчится назадъ, потрясая мечомъ... «Старецъ,—кричитъ онъ:—старецъ проклятый! подай мое золото!» Старецъ не бралъ его золота,—старецъ невиненъ... Воинъ не внемлетъ... Старецъ убитъ... Кровь его льется въ ручей, и чистый ручей замутился... Онъ больше не чистый ручей, — онъ кровавый ручей... Лучше бъ не текъ онъ... Лучше бъ онъ не манулъ къ себѣ воина, юношу и старца... Храни чистоту! Вверхъ гляди, вверхъ!—Съ этимъ ясность слова прошла, опять послышался шелестъ, подобный метанію птицы въ вѣтвяхъ, и голова, обшитая шкурою звѣря, съ шерстью, повисшей надъ прорѣзомъ для устъ, вдругъ исчезла, точно въ могилѣ провалилось дно.

Преставился къ Богу молчальникъ Ѳермуфій, проговорившій передъ смертью въ бреду, безъ нарушенія обѣта. Тенія поняла изъ его бреда то, что̀ ей надо было понять: она знаетъ, что правда на ея сторонѣ, а не на сторонѣ тѣхъ, кто внушаетъ ей «разлиться ручьемъ». Проклятіе злому началу! Не надо начала, не одинъ же вѣдь Милій только на свѣтѣ... и не одинъ только нынѣшній случай, когда придетъ надобность «разливаться»... И развѣ одни только свои семейные могутъ вынуждать это? Не всѣ ли несчастные жалки? За несчастныхъ должно не бояться страданья и

смерти, но не искупать ихъ постыдными сдѣлками. Нѣтъ! Выше этого, выше!

И только-что она стала глядѣть вверхъ, какъ въ умѣ ея сейчасъ же стали слагаться совсѣмъ другія мысли. Кто другихъ любитъ больше себя, тотъ ихъ избавитъ всегда, когда хочетъ. Что̀ ей Милій, что̀ ей доимщикъ Тивуртій, что̀ ей Пуплія, что̀ ей всѣ тѣ, кто кричатъ на нее въ аскалонской темницѣ! Она теперь знаетъ, что̀ надо сдѣлать, чтобы освободить Θалалея. Духъ Теніи вспрянулъ и нервы ея напряглись, какъ струны высоко настроенной арфы. На лицѣ ея сіяла ясно сознанная цѣль и твердая воля. Она встала, взглянула въ лицо восходящей зари и проговорила:

— Незримый, живущій за предѣлами нашего взора! Я внутри себя слышу Твой голосъ: Ты укрѣпилъ духъ мой, я отдамъ мою жизнь за друзей, но мой духъ я возвращу Тебѣ чистымъ!.. Мой мужъ, мои дѣти, я несу вамъ спасенье! Мнѣ не нужно напитка, отводящаго память!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Тенія возвращалась въ городъ въ бодромъ настроеніи. Красота ея, можетъ-быть, еще никогда до этого не была такъ благородна. Оливковая роща, въ которой Тенія провела ночь, давшую ей силы вдохновенной рѣшимости, была на востокъ отъ Аскалона, а потому, когда Тенія приближалась къ городу, лучи восходившаго солнца освѣщали ее сзади и лицо ея было отѣнено, межъ тѣмъ какъ ея стройный станъ, покрытый бѣдною одеждой изъ синяго полотна, и бѣлый льняной покровъ на головѣ сверкали въ сильномъ освѣщеніи. Аскалонъ былъ передъ нею, и она входила въ него, какъ богиня, одѣтая бѣдною пастушкой, и не замѣчала, что Аскалонъ былъ въ необыкновенномъ волненіи. Здѣсь ожидалось теперь большое событіе: оно вытекало все изъ тѣхъ же самыхъ случайностей и имѣло цѣлью предотвратить ужасную опасность: стало извѣстно, что отчаянные друзья Анастаса издалека ведутъ два подкопа, изъ которыхъ посредствомъ одного хотятъ перехватить притокъ прѣсной воды въ Аскалонъ, а посредствомъ другого пробраться въ Иродову темницу и выпустить изъ нея всѣхъ, кто въ ней заключенъ.

Всѣмъ стало ясно, что Милій слишкомъ долго поддавался

любовнымъ заботамъ и, по коварству Тивуртія, слишкомъ долго передержалъ дѣло злодѣя Анастаса. Друзья Анастаса не тратили время даромъ и собрались вооруженными шайками. Минувшею ночью они подвинулись разомъ отъ Газы и отъ Азота и стали за одно поприще отъ Аскалона.

Темничникъ Раввула не спалъ во всю ночь и съ поражающею ясностью слышалъ подземные стуки — это удары киркой и лопатой. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что къ темницѣ ведется подкопъ, но откуда и въ какомъ направленіи онъ ведется—это неизвѣстно, а межъ тѣмъ это необходимо было узнать и притомъ такъ, чтобы не показать народу, гдѣ есть опасность. Для этого была предпринята особая околичность, которая должна была одновременно вести къ открытію, гдѣ ведется подкопъ, и разомъ покончить съ Анастасомъ такъ, чтобы въ случаѣ, если друзья его проберутся этою ночью въ темницу, то чтобы они уже не нашли его въ живыхъ.

Такой способъ заключался въ томъ, чтобы *прожечь* аскалонскую темницу.

Что за церемонія было это *прожиганіе*, какъ оно совершалось и къ чему иногда вело,—это требуетъ болѣе подробнаго объясненія и для этого надо вкратцѣ сказать, что такое были ужасныя темницы Ирода, прозваннаго Великимъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Въ подземныхъ темницахъ, подобныхъ той, гдѣ были заключены злодѣй Анастасъ и мужъ Теніи, Ѳалалей-корабельщикъ, не было почти никакихъ приспособленій для потребностей человѣческихъ. Люди здѣсь спали, пили и ѣли на одномъ и томъ же мѣстѣ, куда ихъ бросили на гнилой тростникъ или на такую же солому. На этихъ самыхъ мѣстахъ они были прикованы кто къ чему попало: однихъ приковывали къ желѣзнымъ стѣнамъ, другихъ къ столбамъ, поддерживавшимъ своды, третьихъ къ кольцамъ и рогулямъ, ввернутымъ въ плиты, служившія поломъ. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ темницъ была такая страшная тѣснота, что къ одному кольцу приковывали на цѣпяхъ не по одному, а по нѣсколько человѣкъ. Такая тѣснота была и въ аскалонской темницѣ.

Желѣзныя кольца здѣсь были вдоль всѣхъ стѣнъ въ са-

момъ тѣсномъ одно отъ другого разстояніи, и то же самое было у всѣхъ столбовъ и по всему полу. Въ стычкѣ каждой плиты было кольцо и къ каждому изъ половыхъ колецъ было приковано по четыре человѣка. Эти несчастные могли сидѣть или лежать только скорчась; но и при этомъ еще здѣсь не умѣщались всѣ, кого считали нужнымъ томить въ заключеніи: въ длинномъ дощатомъ притворѣ съ покатымъ поломъ, по которому надо было спускаться съ поверхности въ подземелье, лежали въ два ряда старыя корабельныя мачты съ выдолбленными прорѣзами и заклинками. Въ эти прорѣзы или пазухи вкладывали ноги невольника и заколачивали ихъ клиньями. Колоды и клинья вполнѣ замѣняли желѣзо и даже были гораздо терзательнѣе: въ цѣпяхъ можно было перемѣнить положеніе ногъ, а забитый въ колоду не могъ ворохнуть своими ногами, и онѣ у него отекали, надувались и нерѣдко трескались. Человѣкъ съ ногами, забитыми въ колоды, только едва могъ привстать и опять сѣсть.

Такая лютая жестокость въ содержаніи людей въ старинныхъ темницахъ оправдывалась тѣмъ, что при этихъ темницахъ не было, по-нынѣшнему, многочисленной стражи. Тогда за цѣлость всѣхъ заключенныхъ отвѣчалъ одинъ темничникъ, которому не всегда даже полагался помощникъ. Помощь тюремщику тогда оказывалъ развѣ кто-нибудь изъ его же семейныхъ. Иногда такими помощниками были женщины, жены или дочери стража. Онѣ входили въ мрачныя помѣщенія заключенныхъ, нимало ихъ не боясь, потому что всѣ содержимые здѣсь были крѣпко окованы или забиты ногами въ бревна. Сирійскія темницы, построенныя Иродомъ, были хуже тѣхъ египетскихъ темницъ, гдѣ сидѣли виночерпій и хлѣбодаръ фараона. Тюрьма въ Аскалонѣ была, какъ сказано выше, обширный, мрачный подвалъ, подобный тому, въ какомъ при Иродѣ былъ долго томленъ и безъ суда, въ минуту пьянаго разгула, зарубленъ Креститель. При такомъ содержаніи и безъ многочисленной стражи уходить было трудно, но въ такія дурно устроенныя темницы легко

[illegible]ника была часто очень выгодною—онъ
[illegible]ъ темницы и могъ обращаться съ за-
[illegible]онъ хотѣлъ. За излишнюю суровость
[illegible]ничника не судили, потому что, только

обращаясь безъ милосердія, онъ и могъ содержать множество заключенныхъ въ повиновеніи, не прибѣгая къ пособію многочисленной стражи; но зато при такой тѣснотѣ и при такихъ порядкахъ, не допускавшихъ возможности каждому невольнику покидать свое мѣсто, въ Иродовыхъ темницахъ скоплялась отвратительная и ужасная нечистота, распространявшая тяжкое зловоніе, отъ котораго люди задыхались до смерти. Тростникъ и полусгнившая солома, брошенные въ подстилку для невольниковъ, сгнивали подъ ними, не перемѣняясь по цѣлымъ годамъ. Въ этомъ отвратительномъ смрадномъ болотѣ кишѣли бѣлоголовые черви, мокрицы и большой сѣрый клопъ, а въ трещинахъ плитъ гнѣздились пятнистые пауки, скорпіоны и фаланги... Случалось, что умершаго человѣка не скоро усматривали, и онъ здѣсь же разлагался... Какіе-то особые гады «выпивали глаза» у больныхъ и умершихъ... Оконъ въ темницахъ, построенныхъ Иродомъ, было мало, и тѣ самаго незначительнаго размѣра. Темницы буквально были *темны*, а для того, чтобы проходило хоть сколько-нибудь свѣжаго воздуха, во все время отъ восхода солнца до вечера двери темницъ стояли растворены и у порога ихъ сидѣлъ самъ тюремщикъ или кто-нибудь изъ лицъ его семейства. Двери всегда были однѣ и въ нихъ мимо тюремщика проходили люди, которые посѣщали невольниковъ и приносили имъ пищу. Это дозволялось, потому что составляло выгоду для темничника, который зато не кормилъ заключенныхъ. Въ продолженіе дня, пока двери были открыты, въ темницѣ еще былъ какой-нибудь притокъ свѣжаго воздуха; но когда, съ приближеніемъ ночи, темничный стражъ уходилъ въ свое помѣщеніе и дверь замыкалась на болты и засовы, воздухъ въ темницѣ быстро спирался и заключеннымъ становилось нечѣмъ дышать. Это было мучительно. Въ это же время вся живая нечисть, какъ сѣрый клопъ, скорпіонъ и хвостатая мокрица, тучами всползали на тѣла невольниковъ и точили ихъ грязную и воспаленную кожу, отдаляя всякую возможность сна и покоя. Вмѣсто ночного отдыха, заключенные испытывали терзанія, приводившія ихъ въ бѣшенство. Болѣе счастливы были тѣ, кто скорѣе впадалъ отъ этой мукн въ безпамятство и начиналъ бредить въ безумствѣ.

Съ закрытіемъ на ночь темничныхъ дверей, во всю ночь изъ узкихъ окошекъ этихъ ужасныхъ подземелій раздава-

лись неумолчные стоны и вопли, а порой слышался отчаянный крикъ и бѣшеныя проклятія, и цѣпи гремѣли, вторя проклятіямъ. Только подъ утро, когда силы измѣняли несчастнымъ, крики утихали и слышался скрипъ, какъ будто пилила тупая пила,—это былъ скрежетъ зубовный. Люди метались, попирали другъ друга, впадали въ тяжелый неистовый бредъ и это метанье былъ *сонъ* въ тюрьмѣ аскалонской. Нерѣдко случалось, что темничникъ Раввула, отворивъ утромъ двери аскалонской темницы, находилъ здѣсь одного или нѣсколькихъ человѣкъ задохнувшихся; но иногда онъ не замѣчалъ сразу, что они умерли, и почиталъ ихъ за спавшихъ или обмершихъ, потому что вездѣ здѣсь были такіе, которые, по открытіи дверей, лежали долго безъ чувствъ. Послѣ того, какъ до нихъ доходила струя воздуха изъ открытой двери, они мало-по-малу приходили въ себя, чтобы начинать ощущать другія терзанія, составлявшія здѣшнюю *жизнь*.

При такихъ условіяхъ темничные невольники коротали свои дни въ мукахъ отчаянія, впадая сколь въ тяжкіе, столь же и въ отвратительные недуги. Только разъ въ годъ, а иногда и того рѣже, невольниковъ выводили изъ темницы на одинъ день, и тогда они могли видѣть небо и солнце. Это случалось въ неопредѣленное время, когда нечистота отъ сгнившихъ тростника и соломы достигала такой степени, что самъ темничникъ ощущалъ невозможность приходить къ невольникамъ. Тогда всѣхъ заключенныхъ выводили въ оковахъ, сажали ихъ въ старую негодную барку и отводили эту барку въ море; а темницу набивали сухимъ хворостомъ и зажигали его, чтобы пропалить всю нечисть огнемъ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Прожиганіе приносило серьезную пользу, а дѣлали его такъ, что въ дверь темницы напихивали огромныя кучи смолистаго хворосту и соломы и зажигали ихъ, а сильная тяга воздуха, стремясь отъ дверей къ отдушинамъ въ отдаленномъ концѣ, раздувала огонь и попаляла нечистоту, которая здѣсь накопилась.

Огненный палъ въ темницѣ былъ живымъ и полнымъ интереса событіемъ для каждаго жителя въ Аскалонѣ. Это интересовало всѣхъ потому, что, когда заключенныхъ выво-

дили изъ темницы и сажали на барку, можно было видѣть всѣхъ, кто тутъ томился, и какое страшное искаженіе природы произвела надъ ними неволя. При каждомъ прожиганіи ямы жители Аскалона сбѣгались сюда, какъ на самое любопытное зрѣлище, и толпились, желая узнать въ числѣ несчастныхъ узниковъ людей, имъ когда-то знакомыхъ и, можетъ-быть, давно позабытыхъ. Зрѣлище это было ужасно; но еще ужаснѣе было то, что выводили не всѣхъ. Существовало основательное убѣжденіе, что передъ паломъ въ темницѣ забывали тѣхъ, кого хотѣли избыть безотложно. Всѣ въ Аскалонѣ вѣрили, что будто при каждомъ пропаливаньи темницы тамъ всегда кого-нибудь сожигаютъ живого, и устроить это, въ самомъ дѣлѣ, ничего не стоило, и это дѣйствительно дѣлали съ тѣмъ, съ кѣмъ надо было кончить немедленно. Этимъ теперь и захотѣлъ воспользоваться темничникъ Раввула. Услышавъ тревожившій его стукъ подъ землею, онъ пришелъ къ Милію и сказалъ ему:

— Господинъ, вотъ ты сдѣлалъ большую ошибку: напрасно ты медлилъ судить Анастаса. Въ этой ночи я слышалъ стукъ подъ темницей. Темница подкопана, и я не знаю, гдѣ идетъ этотъ подкопъ. Каждый часъ угрожаетъ бѣдою: Анастаса могутъ отковать и увести. Отвѣчай за него ты, а я его сторожить не берусь.

Милій испугался и вскричалъ:

— Неужто нѣтъ средства отвратить эту неожиданность и кончить раньше, чѣмъ они подкопаютъ?

Раввула посмотрѣлъ на него исподлобья и тихо отвѣтилъ:

— Для всякой вещи есть средство; но тому, кто его знаетъ, надо хорошо платить.

Милій тотчасъ же позвалъ Евлогія отрока и, взявъ много золота изъ кисы доброхотныхъ даяній, метнулъ его, не считая, Раввулѣ. Раввула взялъ золото и сказалъ:

— Дай мнѣ сейчасъ повелѣніе выжечь гадовъ въ темницѣ.

Милій отвѣтилъ:

— Повелѣваю тебѣ именемъ императора. Иди и сдѣлай это, какъ нужно.

Но Раввула еще стоялъ и, встряхнувъ на рукѣ золото, тихо промолвилъ:

— Анастасъ ли одинъ нарушаетъ покой моего господина?

Милій бросилъ ему еще золота и сказалъ:

— Ты довольно разуменъ: Анастасъ не одинъ человѣкъ,

мнѣ ненавистный. Есть еще тамъ другой, — имя его тебѣ скажетъ доимщикъ Тивуртій.

— Знаю я самъ это имя,—отвѣтилъ Раввула и вышелъ.

Это произошло въ то самое утро, когда Тенія шла на зарѣ изъ оливковой рощи и, ничего объ этомъ не зная, удивлялась замѣтному большому движенію людей, которыми овладѣло любопытство и волненіе при извѣстіи, что сегодня будутъ выводить на барки узниковъ и прожигать темницу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Палъ, однако, нельзя было сдѣлать въ одну минуту безъ подготовленія всего, что къ тому нужно: надо было имѣть смолистый хворостъ и солому, и просторныя барки для того, чтобы размѣстить на нихъ выведенныхъ узниковъ. Чтобы припасти все это, нужно было, по меньшей мѣрѣ, полдня времени. Подвозъ хвороста былъ первымъ знакомъ того, что темницу будутъ выпаливать. Темничникъ Раввула, какъ только вышелъ отъ Милія, такъ сейчасъ же велѣлъ согнать всѣхъ дроворубовъ для заготовленія хвороста, а когда тѣ пошли рубить хворостъ, жители Аскалона узнали, что предполагается палъ, и устремились толпами къ темницѣ, чтобы видѣть, когда будутъ выводить на барки невольниковъ.

Это и было то тревожное движеніе, которое замѣтила Тенія, идучи утромъ въ темницу, чтобы навѣстить Θалалея.

Путь же Теніи отсюда пролегалъ по улицѣ, гдѣ помѣщался домъ, занятый для вельможи Милія, и случилось такъ, что когда Тенія проходила мимо этого дома, то ее увидалъ Милій и, схватившись рукою за сердце, воскликнулъ:

— О, какъ она исхудала и какъ измѣнилась! Но и въ этомъ страдальческомъ видѣ она еще мнѣ прелестнѣй! Позовите ее—пусть она взойдетъ ко мнѣ на минуту.

Бывшій въ то время у Милія доимщикъ Тивуртій выбѣжалъ къ Теніи и, остановивъ ее за рукавъ, заговорилъ ей:

— Сами боги привели тебя сюда, прекрасная Тенія. Заклинаю тебя твоими дѣтьми Вириной и Виттомъ, не спѣши удаляться отъ дверей этого дома, гдѣ для тебя готова всесильная помощь. Взойди вмѣстѣ со мною, и я тебѣ отвѣ-

чаю, что ты выйдешь съ повелѣніемъ въ рукахъ освободить Ѳалалея!

Тенія отвела руку Тивуртія и отвѣчала:

— Я не нуждаюсь ни въ чьемъ повелѣніи; я сама освобожу Ѳалалея.

— Ты сама возвратишь отца твоимъ дѣтямъ! Подумала ли ты, что ты сказала?

— Да, я обдумала все, и я это сдѣлаю. Ѳалалей будетъ сегодня свободенъ!

— Нѣтъ, ты говоришь это въ безуміи. Кто же откроетъ ему двери темницы?

— Я сама передъ нимъ растворю эти двери.

— Ты, вѣрно, видѣла бѣлаго ворона и потеряла разсудокъ.

Тенія улыбнулась и молвила:

— Да, я видѣла бѣлаго ворона, но мой разсудокъ со мною.

— Не трать лучше попусту времени. Фортуна недаромъ привела тебя къ дверямъ Милія... Войди и скажи короткое слово: «мигъ благосклоненъ». Иначе... конецъ твоему Ѳалалею.

— Концы и начала не въ нашихъ рукахъ.

— Однако, если Раввула сегодня сдѣлаетъ огненный палъ и забудетъ твоего Ѳалалея въ темницѣ, то конецъ его неизбѣженъ.

Тенія поблѣднѣла и пошатнулась на мѣстѣ, но не издала даже ни вопля, ни стона и твердо пошла своею дорогой къ темницѣ, а Тивуртій, съ пѣной у рта, бросился къ привязанному у столба осленку, сѣлъ на него и, страшно бранясь, поѣхалъ, колотя изъ всей силы животное палкой.

Тенія даже не интересовалась, куда такъ спѣшитъ ея врагъ; она никого не боялась: она знала, что никто не выдумаетъ ничего болѣе страшнаго и болѣе рѣшительнаго, чѣмъ то, что сама она придумала и на что рѣшилась.

Это было такое рѣшеніе, въ которомъ ей помѣшать было невозможно.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Въ самой темницѣ волненіе было еще сильнѣе, чѣмъ по дорогамъ и въ городѣ. Событіе, о которомъ узнали узники,

было для нихъ слишкомъ важно,—всѣмъ хотѣлось увидать горы, море и небо, и притомъ каждаго втайнѣ тревожила страшная мысль: какъ бы его не позабыли вывести передъ началомъ пала. Всюду слышалось громыханье цѣпей и крикъ множества надтреснутыхъ и хриплыхъ голосовъ. Посѣтителей въ темницу тоже набѣжало болѣе, чѣмъ обыкновенно. Пыль отвратительной плѣсени и несносный смрадъ наполняли весь подвалъ отъ пола до сводовъ, на которыхъ теперь, какъ бы чувствуя бѣдствіе, кучами сѣли клопы, межъ тѣмъ какъ въ расщелинахъ половыхъ плитъ, шурша, переползали другъ черезъ друга скорпіоны.

Окованные и неокованные люди плотно стояли другъ возлѣ друга. Тенія едва могла протѣсниться чрезъ эту плотную толпу недоброжелательныхъ къ ней людей, которые, какъ только ее увидали, сейчасъ же стали кричать:

— Вотъ она, вотъ эта проклятая, ненавистная женщина! Мужъ ея всѣхъ разорилъ, а она не хочетъ сдѣлать пустого дѣла для общаго спасенія! Мало ее растерзать!

— Да,—кричали другіе:—они оба изверги! Ея мужъ хотѣлъ быть всѣхъ богаче для того, чтобы быть всѣхъ добрѣе, а она хочетъ быть всѣхъ чище и оставляетъ другихъ гнить въ смрадѣ.

— Ничего; зато сынъ ея Виттъ вырастетъ воромъ, а дочка Вирина будетъ продавать себя въ пристани.

— Проклятый Ѳалалей! Проклятая Тенія!

Не довольствуясь этими грубыми проклятіями, узники язвили ее еще безстыдными насмѣшками надъ ея цѣломудріемъ.

Тенія все это слышала и молчала. Она къ этому привыкла, потому что такъ обыкновенно ее здѣсь привѣтствовали. Тенія спѣшила теперь, какъ можно скорѣе, отыскать своего мужа, и нашла его лежащаго ницъ возлѣ кольца, къ которому онъ былъ прикованъ. Онъ былъ безъ чувствъ и другіе въ темнотѣ безпрестанно на него наступали.

Когда Тенія своими попеченіями привела мужа въ чувство, онъ сначала совсѣмъ не узналъ ея и смотрѣлъ молча въ тупомъ равнодушіи, но потомъ сталъ говорить, что Раввула-темничникъ, навѣрное, хочетъ позабыть его въ темницѣ, но что онъ къ этому приготовился и даже предпочитаетъ скорую смерть долгой истомѣ.

— Я доставлялъ тебѣ слишкомъ много хлопотъ, и все

это напрасно, — отдай лучше всю свою нѣжность дѣтямъ нашимъ Виринѣ и Витту.

— Ты больше имъ нуженъ,—отвѣчала Тенія.—Я слаба силами—я не умѣю трудиться и не умѣю пріобрѣтать имъ, что̀ нужно.

Ѳалалей покивалъ головою и молвилъ:

— О, ты ошибаешься! Ты только и можешь дать имъ, что̀ нужно. Ты умѣла быть всѣмъ довольна, — вотъ это и есть то, что̀ нужно и что̀ даетъ счастье, а я былъ жаденъ къ пріобрѣтенію богатства, — это то, что̀ не нужно и въ чемъ сокрыто несчастіе жизни. Я за это страдаю.

— Твои страданія сегодня окончатся.

— Знаю, что окончатся, потому что меня сожгутъ здѣсь.

— Нѣтъ, тебя выпустятъ!

— Почему меня выпустятъ?

— Потому, что не для чего держать въ неволѣ того, отъ кого нечего добиваться?

— Что̀ ты хочешь сказать? — вскричалъ Ѳалалей. — Неужели отчаяніе дало тебѣ мысль убить себя?

— Отчаяніе давало мнѣ много мыслей, которыя хуже чѣмъ мысль убить себя; но теперь я не хочу убивать себя: я останусь жива, и все, что̀ здѣсь затѣяли сдѣлать на погибель людей, будетъ не нужно.

— Что же ты сдѣлаешь?

— Ты это увидишь... объ этомъ не надо говорить.

Съ этимъ Тенія быстро встала и совершенно неожиданно очутилась у лаза въ прокаженную яму, и черезъ мгновеніе она была бы уже тамъ, но въ это же самое мгновеніе зазвенѣли цѣпи Анастаса и его скованныя руки обхватили станъ Теніи.

— Стой!—прошепталъ онъ ей на ухо:—стой! Я понялъ, что̀ ты хочешь сдѣлать, но это не нужно. Я возвращу тебѣ мужа и отца твоимъ дѣтямъ иначе. До полудня есть еще время. Бѣги скоро за городъ, по дорогѣ къ Азоту. Тамъ, гдѣ у стараго храма Изиды двѣ пальмы... подъ той, которая вправо, среди мелкаго щебня, лежитъ сѣрый камень, похожій на свернувшагося теленка... Онъ тяжелъ для твоихъ силъ, но ты возьми черепокъ и копай имъ подъ уголъ, похожій на морду. На глубинѣ третьей пяди найдешь мѣдный казанъ... Онъ полонъ золота. Ты такая добрая и вѣрная, что мнѣ тебя стало жаль, а я еще не зналъ, какъ жа-

лѣютъ... Я не зналъ... какъ отрадно жалѣть человѣка... Возьми за это себѣ мое золото и выкупи мужа. Бѣги же скорѣе, бѣги!

Слушая это, Тенія стояла, напрягаясь, какъ эластичный лукъ, и едва Анастасъ произнесъ ей послѣднее слово, она отпрыгнула, какъ стрѣла съ тетивы, и понеслась въ направленіи къ Азоту.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Межъ тѣмъ какъ Тенія мчалась по дорогѣ къ Азоту, въ аскалонской темницѣ неожиданно разыгрались потрясающія событія.

Началось съ того, что вскорѣ послѣ того, какъ скрылась за кладомъ Тенія, въ темницу вошли доимщикъ Тивуртій и Раввула-темничникъ. Оба они пришли съ злодѣйскими намѣреніями и прямо подошли къ Θалалею и, ничего ему не говоря, начали его отклепывать отъ кольца его цѣпи.

Θалалей взволновался и со слезами спрашивалъ ихъ, что они хотятъ съ нимъ сдѣлать.

А тѣ ему отвѣчали:

— Мы хотимъ посадить тебя въ прокаженную яму. Пусть твоя Тенія приметъ тебя оттуда въ свои объятія.

— Лучше сожгите меня,—сталъ умолять Θалалей.

— Мы сами знаемъ, что хуже и что лучше, — отвѣчали Раввула и Тивуртій, и поволокли его къ ямѣ, не обращая никакого вниманія на его ужасные вопли. И изъ всѣхъ узниковъ, которые слышали эти вопли, никто за Θалалея не заступился. Такъ всѣ боялись, что имъ отплатитъ Раввула; но когда, послѣ изрядной борьбы, Θалалея протаскивали мимо Анастаса-злодѣя, то произошло никѣмъ неожиданное событіе. Чрезвычайно сильный злодѣй Анастасъ ударилъ своими оковами по головамъ Тивуртія и Раввула такъ, что они упали, а онъ сжалъ и пропихнулъ ихъ въ прокаженную яму. И Тивуртій, и Раввула кричали, а Анастасъ угрожалъ убить ихъ, если они полѣзутъ назадъ.

Въ темницѣ поднялся страшный бунтъ и дали знать Милію. Милій тотчасъ надѣлъ свою красную тогу и, взявъ съ собою отрока своего, скорописца Евлогія, отправился съ нимъ въ темницу, но былъ въ недоумѣніи, ибо теперь и самъ онъ не зналъ, что ему дѣлать.

Скорописецъ же Евлогій, идучи у плеча Милія, сказалъ:

— Смѣю ль спросить моего господина, что ты намѣренъ сдѣлать, когда мы вступимъ въ темницу?

Милій остановился и, взглянувъ на него, отвѣтилъ:

— По правдѣ сказать, я еще ничего не придумалъ.

— Однако, кому ты будешь мстить и за кого заступаться?

— Скажи лучше, что ты имѣешь на мысляхъ, вѣдь за хорошій совѣтъ тебѣ можетъ быть хорошая плата.

— Оставь Раввулу съ Тивуртіемъ тамъ, куда они попали. Иначе они и въ проказѣ будутъ противъ тебя свидѣтелями, и императоръ, и сама Ѳеодора тебя не похвалятъ.

— Но куда жъ мы ихъ дѣнемъ?

— О, господинъ мой! Огонь вѣдь все очищаетъ. Надо только не медлить... Кого ты назначишь тюремщикомъ вмѣсто Раввулы?

— Если хочешь, я тебя назначаю.

— Я тебѣ благодаренъ и черезъ малое время докажу тебѣ дѣломъ мою благодарность.

Перемолвясь такъ, они подходили къ темницѣ, у входа которой нашли уже приготовленныя кучи хворосту и толпы народа.

Евлогій, увидя людей, выступилъ впередъ и сказалъ:

— Граждане аскалонскіе! посторонитесь и откройте путь благородному Милію, который идетъ наказать виновныхъ въ безпорядкѣ и защитить тѣхъ, кто страдалъ отъ жестокости смѣненнаго темничника Раввулы и сотоварища его, звѣронравнаго доимщика Тивуртія. Теперь, волею господина моего Милія, я буду совмѣщать обѣ ихъ должности и въ темницѣ настанетъ новый порядокъ.

Толпа раздвинулась и открыла дорогу ко входу, но въ это же время явилась Тенія.

Несмотря на то, что день былъ страшно зноенъ и раскаленныя скалы еще болѣе увеличивали жаръ въ воздухѣ, слабая и измученная Тенія быстро достигла развалинъ, указанныхъ ей разбойникомъ Анастасомъ, раскопала въ сказанномъ мѣстѣ щебень, достала сокровище и сейчасъ же опять пустилась съ нимъ обратно въ городъ. Она пришла въ тотъ самый мигъ, когда Евлогій сказалъ свою рѣчь и когда Милій хотѣлъ вступать въ темницу. Золота было много; но Тенія его не вѣсила и не считала, а все, сколько тамъ было, бросила къ ногамъ Милія и сказала:

— Вотъ тебѣ выкупъ за моего мужа и за всѣхъ, кого здѣсь терзаютъ. Пусть это возьмутъ тѣ, кому эти люди должны, а ты сейчасъ же выпусти заключенныхъ на волю.

Милій пришелъ въ изумленіе и не зналъ, что̀ отвѣтить; но Евлогій шепнулъ ему:

— Дорожи собою; въ такія минуты ты долженъ показать безпристрастье народу.

Золота же было здѣсь болѣе, чѣмъ на тройную цѣну противъ всего полнаго долга Θалалея.

— Откуда взяла ты такое богатство?—спросилъ Евлогій у Теніи. — Здѣсь достанетъ на выкупъ всѣхъ, кого содержатъ за долги въ аскалонской темницѣ; но дѣйствительно ли ты отдаешь это все за другихъ?

Тенія отвѣчала, что она достала золото изъ земли и хочетъ, чтобы всѣ, кого томятъ за долги, были сейчасъ же отпущены.

Милій приказалъ взвѣсить золото и выпустить должниковъ на свободу. А Евлогій, ставшій разомъ вмѣсто Тивуртія доимщикомъ и вмѣсто Раввулы тюремщикомъ, позвалъ кузнецовъ и расковалъ всѣхъ, кто содержался въ тюрьмѣ за долги. Злодѣевъ же и убійцъ вывелъ на барку и послалъ на торгъ купить для нихъ пищи и свѣжее платье, и мягкой кожи съ шерстью, чтобы подвернуть подъ оковы на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ желѣзо проѣло до кости.

Во все это время въ темницѣ стоялъ страшный шумъ, и никто не слышалъ стуковъ подкопа и криковъ Раввулы и Тивуртія и заслонившаго лазъ къ нимъ тѣломъ своимъ Анастаса. Всякому тутъ было теперь самому до себя.

Перваго выпустили на свободу Θалалея, и Тенія тотчасъ же удалилась съ нимъ, обнимая его одною рукой, а другою поддерживая на головѣ корзину съ купленною пищей. Когда увидала ихъ Пуплія, она подумала, что Тенія, наконецъ, поступила, какъ желалъ Милій, и послѣ радостнаго свиданія съ сыномъ посадила на колѣни къ нему Вирину и Витта, а невѣстку отвела въ сторону и похвалила ее за послушаніе.

Тенія же въ отвѣтъ ей улыбнулась и тихо отвѣтила:

— Не хвали меня, почтенная Пуплія, я твоего совѣта не слушалась и не стою твоей похвалы,—золото далъ мнѣ не Милій вельможа, а злодѣй Анастасъ.

Старая Пуплія ужаснулась и, всплеснувъ руками, спросила:

— Анастасъ! Милосердные боги! Для чего же ты предпочла его грубыя ласки ласкамъ Милія, и гдѣ взяла напитка, отводящаго память?

— Мать Θалалея!—отвѣчала ей Тенія:—я не отдавалась ничьимъ ласкамъ и мнѣ не былъ нуженъ забвенный напитокъ, но я не теперь разскажу тебѣ все, что со мной было. Теперь мы оставимъ Θалалея радоваться, лаская дѣтей, а сами давай скорѣй вскипятимъ воду и сваримъ для всѣхъ изобильную пищу, и тогда, когда сядемъ всѣ впятеромъ, какъ мы давно не сидѣли, и всѣ насытимся, я разскажу вамъ подробно, что мнѣ пришлось перенесть и какъ это случилось, что въ рукахъ моихъ очутилось золото Анастаса безъ напитка, отводящаго память.

— Нѣтъ, ужъ ты, бѣдная, лучше объ этомъ забудь.

Но Тенія снова тихо улыбнулась и отвѣтила:

— Мать Θалалея! злодѣй не требовалъ отъ меня ничего такого, о чемъ ты думаешь и о чемъ мнѣ желаешь забыть. Я хочу обо всемъ этомъ помнить и буду всѣмъ говорить, чтобы всѣ люди знали, что сдѣлалъ мнѣ Анастасъ, и нашли для него у себя сожалѣнье.

И сдѣлалось такъ, какъ хотѣла Тенія. Когда пища была готова и осчастливленная семья насытилась, Тенія разсказала свекрови и мужу, какъ она изнемогала въ борьбѣ, что видѣла ночью въ оливковой рощѣ, какъ шла назадъ и повстрѣчалась съ Тивуртіемъ, и за что Анастасъ ее похвалилъ и указалъ ей кладъ, отданный ею въ выкупъ за всѣхъ должниковъ.

При этомъ Тенія пролила слезы объ Анастасѣ, и это было какъ разъ въ то время, когда его надо было оплакать, ибо въ это самое время въ аскалонской темницѣ свершилось послѣднее и самое безчеловѣчное дѣло.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Когда узники были выведены, темницу набили хворостомъ, и скорописецъ Евлогій бросилъ туда горящій факелъ, а вѣтеръ подулъ и сквозь весь хворостъ пробѣжало трескучее пламя. Въ дымѣ этого пламени задохнулся злодѣй аскалонскій, но онъ погибъ не одинъ. Люди, которые оставались тамъ до конца, видѣли, какъ Анастасъ показался въ окнѣ прокаженной темницы. Онъ сорвался съ цѣпей и потрясалъ, задыхаясь, рѣшетку въ окошкѣ... За спиной его

видѣли лица ревѣвшихъ Тивуртія и Раввулы; но трескъ пламени заглушалъ ихъ ревъ и проклятія. Евлогій же отъ имени Милія не допускалъ никого къ этому окну, и сами они оба стояли вдвоемъ у окошка, пока все было кончено. Анастасъ ихъ узналъ и, плюнувъ на красную тогу Милія, прокричалъ такъ громко, что всѣ могли слышать:

— Ты самый лютый злодѣй аскалонскій!

И когда онъ это вскричалъ, сквозь толпу прорвались два никому невѣдомые человѣка. Оба они были наги, но съ ножами при бедрахъ, и среди общаго смятенія они кинулись на Евлогія и на Милія, и у всѣхъ на глазахъ зарѣзали ихъ, а за ними приспѣли такіе же другіе, въ числѣ больше какъ двадцать, и бросились тушить огонь, пылавшій въ темницѣ, но погасить его было уже невозможно. Анастасъ и Тивуртій съ Раввулой сгорѣли, и какъ ни смѣлы были отчаянные разбойники, проникшіе въ городъ, чтобы спасти Анастаса, но и они не могли войти въ полную пламени яму. Они только насытили свое мщеніе убійствомъ Милія и его скорописца. Разбойниковъ этихъ не поймали, потому что на гражданъ Аскалона напалъ страхъ,—всѣ думали, что разбойниковъ ворвалось несмѣтное множество, и всѣ побѣжали защищать свои дома и семейства. Притомъ же, сожженный живымъ Анастасъ возбудилъ къ себѣ жалость, а Милій—всеобщее презрѣніе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Рано удалившаяся съ мужемъ Тенія не видала всѣхъ ужасовъ этой развязки. День для нея протекъ какъ одно мгновеніе. Передъ вечеромъ Ѳалалей отправился на море мыться, а Тенія, обнявъ дѣтей, сидѣла у берега и смотрѣла вслѣдъ отходившей красивой расцвѣченной триремѣ, на которой гудѣлъ египетскій ребабъ и пѣли хоромъ молодые женскіе голоса, а на возвышеніи, покрытомъ яркою индійскою тканью, молодая нубійка ловила осу, какъ будто дразнила Аскалонъ на прощанье.

Это Сергій, испугавшійся безпорядковъ, отплывалъ съ своею труппой обратно въ Александрію.

Пуплія въ это время ходила въ городъ, чтобы купить просторный полосатый шатеръ, гдѣ бы семейство могло помѣститься лучше, чѣмъ оно помѣщалось въ убогомъ шалашѣ. Пришедшіе съ Пуплією шатерщики, раскидывая чистую па-

латку съ поперечными коймами краснаго и синяго цвѣта, разсказали Тенiи, что произошло, и когда она услыхала о погибели Анастаса, то вздохнула и сказала имъ:

— Всѣ не напрасно его сожалѣютъ: онъ сдѣлалъ много зла, но не угасилъ въ сердцѣ своемъ сожалѣнiя; а кто умѣетъ жалѣть, тотъ еще не мертвъ для доброй жизни и самъ сожалѣнiя достоинъ.

И она опять разсказала, какимъ подвергалась искушенiямъ и уговорамъ отъ самыхъ почетныхъ и близкихъ людей, а въ заключенiе сказала:

— Я не хочу ихъ укорять; но удивляюсь, отчего было все такъ, что тѣ, которые очень заботились о жизни, тѣ всѣ подавали мнѣ дурные совѣты—не постоять за мое цѣломудрiе, а поддержали меня только два человѣка—и это какъ разъ были тѣ, которые сами болѣе жить не думали: одинъ былъ отшельникъ въ могилѣ, а другой—обреченный на смерть Анастасъ. За встрѣчу съ этими двумя, не дорожившими жизнiю, я благословляю милосердное небо и молю его дать имъ вѣчную жизнь.

Шатерщики, услыхавъ такiя слова, поникли головами и въ молчанiи окончили свою работу: угладили полъ подъ шатромъ, очертили мѣсто для обѣда и усыпали это возвышенiе узорами разноцвѣтнаго песка, придавшаго видъ цвѣтного ковра.

Возвратившiйся въ эту пору Ѳалалей тоже слышалъ сказанныя Тенiю слова, и когда шатерщики, получивъ свою плату, ушли въ городъ, а Пуплiя повела дѣтей, чтобы вымыть ихъ въ прѣсной водѣ пѣнистымъ греческимъ мыломъ и потомъ уложить ихъ спать въ новомъ просторномъ шатрѣ, корабельщикъ сказалъ женѣ:

— Я замѣтилъ твои слова о разницѣ между тѣми, которые дорожатъ жизнiю, и тѣми, которые не дорожатъ ею. Это замѣчанiе остро, и, знаешь, я слышалъ когда-то совершенно такое въ Дамаскѣ отъ того, кто мнѣ говорилъ о моей новой вѣрѣ.

— Что же онъ говорилъ?

— Онъ читалъ, что «кто сильно любитъ жизнь, тотъ ее потеряетъ, а кто не дорожитъ ею, тотъ ее не только найдетъ для себя, но и можетъ дать силу жизни другому».

— Это прекрасно, но для чего же ты могъ это забыть

и думалъ о томъ, какъ бы получить себѣ всего какъ можно больше?

Θалалей подернулъ плечами и, глубоко вздохнувши, отвѣтилъ:

— Я испортилъ себя, когда прикоснулся къ богатству,— богатство есть тоже напитокъ, отбивающій память: желая богатства, нельзя не забыть объ истинномъ благѣ.

— А я всегда это знала,—тихо продолжала Тенія.

— Но кто же тебѣ это открылъ?

Тенія взяла руку мужа и положила ее себѣ на сердце, а другою своею рукою указала тихо на небо.

Они оба задумались; вечеръ уплывалъ, синева моря густѣла,—наступала прохлада и ночь.

Тенія встала, взяла въ ладони свои лицо мужа и, глядя ему въ глаза, сказала, что идетъ приготовить къ ночи шатеръ.

Θалалей остался одинъ и сидѣлъ, обхвативъ руками колѣни. Онъ глядѣлъ то на звѣздное небо, то въ темную даль безбрежнаго моря. Все это для него теперь было обновленіемъ жизни, и онъ чувствовалъ себя самымъ счастливымъ человѣкомъ, которому нечего больше желать. Онъ весь проникся благодарностью, и глаза его овлажились благодатными слезами, и сквозь нихъ онъ увидѣлъ снова свою цѣломудрую Тенію, которая, окончивъ уборку шатра, распахнула его входную полу и, поддерживая ее обнаженными по самыя плечи руками, назвала его имя и добавила шопотомъ:

— Другъ мой, иди,—часъ благосклоненъ.

СКАЗАНІЕ О ѲЕДОРѢ-ХРИСТІАНИНѢ

И О ДРУГѢ ЕГО

АБРАМѢ-ЖИДОВИНѢ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ греческомъ городѣ Византіи, прежде чѣмъ этотъ городъ сталъ называться Константинополемъ, а у русскихъ Царьградомъ, жили два сосѣда. Одинъ былъ еврей, а другой крещеный изъ потаенныхъ; еврей содержалъ ветхозавѣтную вѣру пророка Моисея, а крещеный разумно соблюдалъ свою христіанскую вѣру. Оба сосѣда жили исправно, а промыслами занимались различными: еврей дѣлалъ золотыя и серебряныя вещи, а христіанинъ имѣлъ корабли и посылалъ ихъ съ товарами за море. По сосѣдству они другъ другу ничѣмъ не досаждали и имѣли обыкновеніе никогда другъ съ другомъ о вѣрѣ не спорить. Кто изъ нихъ въ какой вѣрѣ родился, тотъ въ такой и пребывалъ, и свою вѣру передъ другимъ не превозносилъ, а чужую не унижалъ и не порочилъ. Оба разсуждали такъ: «кому что въ разсужденіи вѣры отъ Бога открыто,—такова, значитъ, воля Божія». И такъ они въ добромъ согласіи прожили много лѣтъ счастливо.

У обоихъ этихъ сосѣдей было по сыну, которые родились въ одинъ годъ. Христіанинъ своего сына потаенно окрестилъ и назвалъ Ѳедоромъ, а еврей своего, по еврейскому закону, въ восьмой день обрѣзалъ и назвалъ его Абрамомъ.

Тогда въ Царьградѣ главною вѣрой была еще вѣра язы-

ческая. Христіане и евреи, которые жили между язычниками, старались себя явно не оказывать, чтобы не дразнить язычниковъ и не накликать на себя неудовольствія. А потому, какъ крещеніе Ѳедора, такъ и обрѣзаніе Абрама отцы ихъ сдѣлали въ домахъ своихъ безъ угощенія, потихоньку, при однихъ своихъ близкихъ родныхъ.

Оба сосѣда, получивъ отъ Бога потомство, были очень рады. Христіанинъ говорилъ:

— Добрый сосѣдъ! Дай Богъ, чтобы сыновья наши жили между собою такъ же ладно, какъ мы между собою прожили.

И еврей сказалъ то же самое.

— Дай Богъ, сосѣдъ; но я думаю, что дѣти наши должны жить еще согласнѣе, потому что они отъ насъ, отцовъ своихъ, имѣютъ добрый примѣръ, что въ согласіи заключается удобье и счастіе, а въ несогласіи—всякое безпокойство и разореніе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Когда мальчики, Ѳедоръ и Абрамъ, подросли до той поры, что ихъ стали манить совмѣстныя игры и забавы, то обѣ матери — и христіанка, и жидовка — начали выносить на огородъ и сажать ихъ вмѣстѣ, чтобы они забавлялись, а большимъ не мѣшали. А огороды у еврея и у христіанина были рядомъ, бокъ-о-бокъ, и, по тогдашней простотѣ, ничѣмъ не были разгорожены. Вынесетъ еврейка, посадитъ своего Абрамку, и христіанка принесетъ своего Ѳедю и тоже посадитъ его рядомъ на травѣ подъ большой розовый кустъ; надаютъ имъ какихъ попало дѣтскихъ забавокъ, чтобъ играли, а сами пойдутъ каждая къ своимъ дѣламъ по домашеству. Но всегда, бывало, и одна, и другая строгонастрого дѣтямъ наказывали, чтобы играли мирно и весело, какъ хотятъ, а свориться чтобы не смѣли. Ежели же въ чемъ-нибудь не сумѣютъ поладить, то чтобы не жаловались, а сами между собою мирились.

Въ такомъ простомъ, но добромъ наученіи мальчики выросли и сжились другъ съ другомъ такъ, что любили одинъ другого совершенно какъ два согласные родные брата. Даже и болѣе, потому что между родными братьями по крови бываютъ иногда несогласіе и зависть, а у Ѳедора съ Абрамомъ ничего подобнаго не было. Что одному было

любо, то и другому нравилось. А что одинъ изъ нихъ былъ окрещенъ, а другой обрѣзанъ, — этого они совсѣмъ не знали. За занятіями и недосугами родители ихъ оставляли имъ это безъ растолкованія, да дѣти даже еще и не уразумѣли бы въ своемъ возрастѣ, въ чемъ тутъ разница. Въ невинномъ дѣтскомъ маломыслiи, они вмѣстѣ играли и, наигравшись вмѣстѣ, обнявшись, засыпали на травкѣ, спрятавъ головы подъ одинъ и тотъ же розовый кустъ, въ которомъ копошились золотыя пчелки, а дѣтей не трогали, все равно какъ христіанина, такъ и жидовина.

Но вотъ Ѳедоръ и Абрамъ подросли и настало время посылать ихъ въ школу. А это случилось, когда въ Константинополѣ язычество приканчивалось и была уже объявлена главною вѣра христіанская. Идольскія капища тогда разоряли или передѣлывали на церкви и на городскихъ стѣнахъ, надъ воротами, стали писать образа, чтобы всякій, проходя, кланялся и молился.

Въ эту пору многое стали заводить на иной ладъ, и нѣкоторые учители начали изъяснять высшему правительству, что христіанину и еврею вмѣстѣ ходить въ одну школу не годится, а непремѣнно надо раздѣлять дѣтей порознь, чтобъ они съ малолѣтства не смѣшивались, потому что, будто, вмѣстѣ имъ нельзя дать согласнаго ученія, такъ какъ у евреевъ главный законъ вѣры — отъ Моисея, человѣка Божія, а у другихъ—отъ Христа. Мы ихъ ветхій законъ признаемъ, но только къ нему отъ своего Новаго Завѣта добавку дѣлаемъ, а евреи думаютъ, что имъ добавки не надо, а довольно и одно то соблюсти, что въ старомъ законѣ отъ Моисея показано.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Матери Ѳедора и Абрама не твердо разумѣли, что̀ ихъ религіи подробно касается, а знали по-женски одно наружное. Знали онѣ, напримѣръ, что жидовкамъ въ свое время надо въ ванну лазить и окунаться по обязанности, а крещенымъ женщинамъ—заведено мыться только когда понадобится; или, что христіанамъ можно ѣсть свинину, а жидамъ свиное мясо запрещено и не позволено. Прочаго же, что̀ есть главное въ томъ и въ другомъ законѣ, онѣ до тонкости не понимали, и молились по-своему, каждая про себя, какъ была научена въ дѣтствѣ. Больше же всего обѣ онѣ

жили съ тою заботой, чтобы въ сосѣдствѣ по-домашеству имъ одной отъ другой было какъ можно удобнѣе и чтобы не оказать никакой другъ другу помѣхи.

Старый, потаенный христіанинъ и еврей, какъ настало время ихъ мальчикамъ учиться, не захотѣли ихъ разлучать, и чтобы въ этомъ не было помѣхи, свели Ѳедора и Абрама къ одному мастеру, который и научилъ ихъ греческой грамотѣ. Оба мальчика хорошо занялись и такъ полюбили грамоту, что рвались къ ней въ несытость. Мало имъ было того, чему въ школѣ у мастера научатся, а они еще, какъ придутъ домой, опять и дома тоже продолжали заниматься. Какъ только поѣдятъ, сейчасъ опять сойдутся на огородѣ, сядутъ подъ деревцомъ, обоймутся и опять вмѣстѣ читаютъ — про разныя страны и про разныя вѣры. Одну за другою, много книгъ они прочитали, и все съ хорошею памятью, такъ что мастеръ обоихъ ихъ хвалилъ и всѣмъ другимъ въ примѣръ ставилъ. Одобрялъ онъ ихъ и за науку, и хвалилъ за добронравіе, такъ какъ они вышли дѣти тихія, согласныя и ласковыя.

Такъ Ѳедоръ и Абрамъ росли своимъ роднымъ на утѣшеніе, а постороннимъ въ хорошій примѣръ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отцы и матери Ѳедора и Абрама, каждый на своемъ языкѣ и по своей вѣрѣ, благодарили Бога, что мальчики такъ умны и послушны, и радовались ихъ согласію. Въ обѣихъ семьяхъ сосѣдскаго сына привѣчали наравнѣ съ своимъ: Ѳедоръ ли прибѣжитъ къ Абрамовымъ родителямъ, старый еврей и еврейка были съ нимъ ласковы, все равно какъ съ своимъ, и такъ же точно, если Абрамъ приходилъ къ товарищу, то и Ѳедоровы отецъ съ матерью обращались съ Абрамомъ всегда ласково, только свининой его не угощали.

А мастеръ, къ которому Ѳедоръ и Абрамъ ходили учиться книжной мудрости, былъ грекъ еще стараго эллинскаго ученія и самъ вышелъ изъ старинныхъ философскихъ школъ. Его звали Панфилъ. Онъ былъ человѣкъ справедливый и умный и въ дѣтяхъ старался насадить и укрѣпить ту же самую любовь къ справедливости. Онъ не только училъ ихъ по книгамъ, но и на словахъ давалъ всѣмъ правильное наставленіе къ жизни, чтобы никто одинъ

другого не уничижалъ и никто другъ надъ другомъ ничѣмъ не превозносился, потому что если есть въ комъ что-нибудь болѣе превосходное, чѣмъ въ другомъ, то это въ человѣкѣ не есть его собственное и имъ при рожденіи не выслужено, а отъ Бога даромъ ему пожаловано. Ни красотой тѣла, ни природой родителей своихъ, ни ихъ богатствомъ и знатностію,—ничѣмъ у Панфила ученики другъ передъ другомъ не хвастались. И черезъ это, хотя въ школѣ у Панфила было много дѣтей изъ всего «разсѣянія», то-есть разныхъ вѣръ, но всѣ они были пріучены жить какъ дѣти одного Отца, Бога, создавшаго небо и землю, и всяческое дыханіе—эллина же и іудея.

Поучившись книжному мастерству, дѣти вмѣстѣ шли по домамъ, весело между собою говоря и играя, особенно Ѳедоръ съ Абрамомъ, которые сжились, какъ братья. Но вдругъ вышло новое повелѣніе, чтобы школамъ не быть для всѣхъ вмѣстѣ, по-старому, а чтобы раздѣлиться по вѣрамъ. Такъ и стали заводить. И тогда надъ всѣми школами уставили особливый досмотръ слѣдить, чтобы дѣти одни съ другими не мѣшались, и поставлены были особые смотрители, которыхъ называли «младопитателями».

Начали младопитатели все смотрѣть, во все вникать и обо всемъ распытывать,—не только чему мастера въ своихъ школахъ учатъ, но и что родители своимъ дѣтямъ дома внушаютъ. Захотѣли въ-разъ все передѣлать, за единый вздохъ.

Одинъ такой младопитатель утвердился надъ тою школой, гдѣ учились Ѳедоръ съ Абрамомъ, и началъ онъ у Панфила спрашивать:

— Объясни мнѣ, Панфилъ, какъ ты вѣруешь и какую вѣру превозносишь, а какую опровергаешь?

Панфилъ отвѣчалъ:

— Господинъ, произволеніемъ Творца людямъ не одинаково явлено во что вѣрить, и у насъ между всѣхъ есть много разныхъ вѣръ, и не въ этомъ зло, а зло въ томъ, что каждый изъ людей почитаетъ одну свою вѣру за самую лучшую и за самую истинную, а другія безъ хорошаго разсужденія порочитъ. А какъ я самъ всѣхъ вѣръ не знаю, то объ истинѣ ихъ во всей полнотѣ судить не могу, и я потому ни одной вѣры противъ другой не унижаю и ни одну не превозношу, такъ какъ это до меня совсѣмъ не касающее.

Младопитатель удивился.

— Зачѣмъ же,—говоритъ,—ты этакъ лукаво умствуешь? Это такъ нельзя.

Панфилъ отвѣчаетъ:

— Такъ я, по крайней мѣрѣ, ни въ какую ошибку никого не ввожу.

— Что за важная вещь ошибиться! Всѣ ошибаются—это можно покаяніемъ исправить; но мы знаемъ истину и должны ее всѣмъ оказать. Надо, чтобы между людьми было по ихъ вѣрамъ раздѣленіе.

— Для этого,—отвѣчаетъ Панфилъ:—у всякаго въ своей вѣрѣ есть наставники, которые всѣхъ раздѣлить постараются, а въ училищѣ я только о томъ забочусь, чтобъ у дѣтей въ постиженіи разума никакого раздѣленія не было, а больше бы крѣпли любовь и согласіе.

Младопитатель не похвалилъ:

— Это,—говоритъ,—у тебя нехорошо отъ ученыхъ разсужденій развилось. Надо такъ, чтобы всякій отрокъ отъ младыхъ ногтей особо себя понималъ и жилъ всякъ по своей вѣрѣ.

Мастеръ не согласился и сказалъ:

— Я этого внушать не могу.

Стали другъ другу отвѣчать и спорить, но согласиться не могли: и у одного, и у другого на все нашлись доказательства.

Младопитатель только тѣмъ взялъ верхъ, что сказалъ:

— Ты меня долженъ слушаться: я—начальникъ и твои разсужденія мнѣ знать не нужно.

Тогда Панфилъ отвѣтилъ:

— Хорошо, если все по твоей волѣ должно дѣлаться, то тебѣ дѣйствительно отъ разсудка приводить нечего; но ты помилосердуй—не понуждай меня разлучать дѣтей. Мои ученики еще молоды и у нихъ слабый, лысый размыслъ, ребячій. Когда они придутъ въ возрастъ и разумомъ окудрявятся, тогда они сами, по своимъ смысламъ въ вѣрѣ, разберутся, а пусть добрый навыкъ согласія дѣтскаго при нихъ останется.

Младопитатель опалился гнѣвомъ:

— Что такое есть земное согласіе?! Надо достигать истины.

А Панфилъ опять проситъ:

— Да ты взгляни,—говоритъ,—на ребятокъ-то: вѣдь они теперь всѣ еще молоды лѣтами и умомъ всѣ лысы, не крѣпки, — ничего того, что большихъ понятій требуетъ, они понимать еще не могутъ. Помилосердуй, пожалуйста, оставь раздѣленіе ихъ надольше, а пока пусть они всѣ вмѣстѣ учатся, пусть отъ младыхъ ногтей обыкнутъ соблюдать миръ душевный и другъ къ другу общую любовь. Тогда и разница въ особливыхъ понятіяхъ не разъединитъ сердецъ ихъ.

Младопитатель головой замоталъ.

— Намъ твое разсужденіе,—говоритъ,—теперь не подъстать. Мы теперь заводимъ все по-своему и скоро во всемъ свѣтѣ все будетъ только по-нашему. Что мы хотимъ, то всякій долженъ отъ самыхъ молодыхъ ногтей постичь и это передо всѣми на видъ оказывать. А ежели кто разсуждаетъ такъ, какъ ты судишь, то тотъ теперь къ дѣлу ненадеженъ, и я тебѣ такъ учить не позволю.

Панфилъ подулъ въ свою бороду, вздохнулъ и молвилъ:

— Значитъ, быть по-твоему. На тебѣ власть и я тебѣ покоряюсь. Не позволяешь мнѣ такъ вести, какъ я умѣю, то и не надо: я свою школу прикончу и учениковъ отпущу.

— Да, отпусти, — отвѣчалъ младопитатель: — а чтобъ и другимъ не повадно было, я твои двери на семь печатей припечатаю.

И припечаталъ. Школа прикрылась. А Панфилъ созвалъ дѣтскихъ отцовъ и говоритъ:

— Вотъ вышелъ такой приказъ, котораго я исполнить не могу, и младопитатель школу мою припечаталъ. Ведите теперь каждый свое дитя къ другимъ мастерамъ по раздѣленію вѣры вашей. У меня они худу не научились, а тамъ дай имъ Богъ научиться еще лучшему.

Пожалѣли отцы, что надо брать дѣтей отъ кроткаго Панфила, однако, подчинились чему надо и развели дѣтей въ другія школы, каждый по раздѣленію вѣръ своихъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мальчики Ѳедоръ и Абрамъ тутъ только впервые разлучились. Отвели Ѳедора въ особливую школу для христіанъ, гдѣ былъ учитель, который почиталъ себя всѣхъ праведнѣе, а Абрама отецъ свелъ въ хедеръ къ жиду, который считалъ себя всѣхъ умнѣе и изъ всѣхъ созданныхъ чище. Онъ весь

жидовскій талмудъ выучилъ и наизусть зналъ всѣ правила, по которымъ всѣ люди другой вѣры почитаются «погаными».

Оба новые учителя на самомъ первомъ шагу сказали своимъ ученикамъ, чтобы никто съ учениками изъ чужихъ школъ и въ шутку не баловалъ, а если кто не послушается и станетъ играть, тому въ школѣ лозой пригрозили.

А чтобы дать дѣтямъ растолкованіе, одинъ сказалъ:

— Богъ только съ одними съ нами въ самомъ лучшемъ родѣ обходится и одно наше все чистое, а всѣхъ другихъ Богъ гораздо меньше насъ любитъ, и всѣ другіе—поганые, а все, что при нихъ есть, это тоже все поганое. Что у нихъ есть, все надо отнять да снести освятить и потомъ себѣ взять. Тогда оно очистится, а самому съ погаными послѣ того опять не знаться. Кто же съ нимъ по простотѣ поведется, тотъ самъ опоганится, и Богъ за него не станетъ заступаться, а я его безъ всякаго милосердія лозой застегаю, а потомъ отдамъ его другому начальнику, а другой отдастъ его еще третьему, и дойдетъ до того, что ему на свѣтѣ живымъ не остаться. А потомъ его, послѣ смерти, еще на томъ свѣтѣ опять будутъ мѣднымъ вѣникомъ въ огненной банѣ парить и посадятъ на раскаленный желѣзный стулъ и все будутъ мучить безконечные вѣки.

Другой учитель не уступилъ этому и тоже одно свое все чистымъ называлъ, а чужое все испоганилъ, и также отданныхъ ему въ науку ребятъ обѣщался до смерти избить, а послѣ смерти лишить ихъ всѣхъ радостей.

Какъ въ первый разъ ученики вышли изъ школъ, гдѣ услыхали такія наставленія, такъ и почувствовали, что на нихъ взаправду рознь есть. Вмѣсто то, чтобы по-ребячьи другъ съ другомъ водиться на волѣ, они сейчасъ же вспомнили учительское наставленіе и начали другъ противъ друга становиться и покрикивать:

— Не подходи: ты—поганый.

А другіе отвѣчали: «ты самъ—поганый».

Ѳедоръ слышалъ, какъ это говорили про Абрама, а Абрамъ слышалъ, какъ поганили Ѳедора.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Вернувшись домой, Ѳедоръ и Абрамъ въ первый разъ не знали, можно ли имъ попрежнему вмѣстѣ сойтись.

Похвативши хлѣбца у матерей, побѣжали они по при-

вычкѣ на огородъ, на то самое мѣсто, гдѣ всегда игрывали; но другъ до друга не добѣжали, а стали одаль, какъ будто между ними какая-нибудь размѣтка была положена.

Стоятъ, жуютъ и одинъ на другого исподлобья посматриваютъ, а ближе не подходятъ.

Наконецъ, одинъ заговорилъ:

— Намъ,—говоритъ,—теперь заказано, чтобы съ вами не водиться.

А другой отвѣчаетъ:

— И намъ то же самое.

Помолчали.

— Про васъ нашъ учитель говорилъ, что вы—поганые.

— И нашъ про васъ говорилъ, что вы—поганые.

— Нѣтъ, мы не поганые,—намъ нашъ Богъ особливый законъ далъ, намъ свинью ѣсть нельзя, а вы ѣдите.

— А вы ее отчего не ѣдите?

— Я не знаю.

Опять помолчали.

— А что она, свинья, вкусная или нѣтъ?

— Если мать ее съ черносливомъ и маслиной испечетъ, такъ она очень вкусная.

Абрамъ задумался. Ему давно приводилось нюхать носомъ у Ѳедора, какъ сладко пахнетъ свинина съ черносливомъ, и у него теперь подъ языкомъ защекотало.

Абрамъ плюнулъ и сказалъ:

— Поганое!

Ѳедоръ говоритъ:

— Моя мать не печетъ поганаго... А у насъ школа лучше вашей.

Отвѣчаетъ Абрамъ:

— А наша еще лучше вашей. У насъ меламедъ въ сивыхъ кудряхъ и все знаетъ.

— И нашъ все знаетъ!

— Нашъ про васъ знаетъ, что вы—поганые, а мы—чистые.

— Да это и нашъ говоритъ, что вы—поганые.

— Ну, такъ погоди, я объ этомъ отцу скажу.

Оба разсказали отцамъ, а потомъ сошлись и опять перекоряться начали:

— Отецъ говоритъ, что вашъ учитель пустяки вретъ.

— А мой отецъ говоритъ, что вашъ учитель пустяки вретъ.

Пошли съ этихъ поръ всякій день считаться и скоро послѣ того Ѳедоръ и Абрамъ, отъ рожденія своего дружные, начали другъ друга поталкивать да съ кулаками одинъ на другого наскакивать.

— Ахъ, ты, жидъ!—говоритъ одинъ.

А другой отвѣчаетъ:

— Ахъ, ты, гой-изувѣрный!

Пошло дальше, въ томъ же родѣ, и у другихъ. Гдѣ только встрѣтятся дѣти разновѣрныхъ отцовъ, такъ ужъ имъ и не охота другъ съ другомъ въ ладъ между собою забавляться, а охотнѣе стало мануться, чтобы другъ друга осмѣять, да выругать, и притомъ непремѣнно какъ-нибудь самымъ обиднымъ манеромъ, чтобы чужой вѣры или отца съ матерью коснуться.

Всѣ еще понимали въ разности вѣръ очень мало, и то одно только самое поверхностное, а спорили очень много и часто заканчивали свои споры драками.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Изъ-за дѣтей вскорѣ и отцы начали ссориться, и сами тоже стали учить дѣтей, чтобы не сходились.

— Черезъ васъ, дескать, теперь только стала распря.

Ѳедорова мать и Абрамова мать пошли разъ на огороды, чтобы поискать сыновей, и видятъ, что ихъ сыновья стоятъ другъ противъ друга на межѣ и толкаются, а у самихъ у обоихъ глаза горятъ и оба другъ на друга кулачонки сучатъ.

Одинъ покрикиваетъ: «Подойди-ка, подойди!» и другой—тоже.

Матери ихъ развели. Всякая взяла себѣ подъ рукавъ своего и говорятъ:

— Удивительно, отчего прежде они никогда не ссорились. Это, вѣрно, твой моего задирать началъ.

А другая отвѣчаетъ:

— Съ какой стати берешь на моего говорить? Мой всегда смирный, а это твой задираетъ.

Начали спорить: «твой—этакой», а «твой—этакой», и разругались.

— Чтобъ нога твоего,—говоритъ,—на нашъ огородъ не вступала.

И другая сказала то же.

И взяла одна камней набрала и стежку проложила, чтобы за этотъ рядокъ Ѳедоръ съ Абрамомъ и переступать не могли.

А другая говоритъ:

— Я сама еще рядокъ камешковъ подброшу.

Стала камни швырять, да, въ сердцахъ, одна камнемъ въ сосѣдку попала. Та завизжала.

Кинулись другъ на дружку и начали одна на другой платье рвать, да въ глаза плеваться. Дѣти за ними. Сдѣлалась драка, и поднялся такой большой шумъ, что услыхали другіе сосѣди и тоже выскочили на огородъ смотрѣть, какъ двѣ бабы дерутся, а ребятишки имъ помогаютъ. Услыхали, наконецъ, и отцы Ѳедора и Абрама, что ихъ жены и сыновья дерутся, и прибѣжали и стали ихъ разнимать, да вмѣсто того сами подрались. А сосѣди, которые видѣли драку, глядятъ черезъ заборы и руками пока не вмѣшиваются, но стараются помогать молитвами.

А потомъ тѣ и другіе не вытерпѣли, перелѣзли черезъ загородки и стали каждый своими кулаками подсоблять, и вышло общее побоище.

Пришли военные и ихъ разогнали, а тѣхъ, кто началъ драку, за клинъ посадили и ноги имъ въ колодки забили, а правителю доложили, что всѣ эти люди за вѣру ссорятся.

Правитель велѣлъ христіанина выпустить, а жида еще побить и съ него штрафъ взять, чтобы другимъ не повадно было съ крещеными ссориться.

Прежнихъ сосѣдскихъ ладовъ между Ѳедоровымъ отцомъ и Абрамовымъ съ сей поры какъ и не было. Вмѣсто пріязни настало такое неудовольствіе, что изъ нихъ ни одинъ другъ на друга и смотрѣть не могъ безъ гнѣва. А чтобы впередъ еще драки не было, они разгородились высокимъ каменнымъ заборомъ, такъ, чтобы никто на сосѣдское мѣсто и заглядывать не могъ. Такъ прежніе добрые сосѣди состарились и въ распрѣ другъ съ другомъ померли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

А время шло впередъ, какъ ему Богомъ указано, и Ѳедоръ, и Абрамъ выросли, отучились и стали хозяйствовать. Оба они продолжали дѣла, которыми ихъ отцы занимались.

Ѳедоръ торговалъ съ заморскими городами, а Абрамъ золотыя и серебряныя вещи дѣлалъ. Оба жили въ достаткахъ, но другъ съ другомъ попрежнему, какъ въ дѣтствѣ было дружно, уже не сходились, пока пришелъ одинъ особый случай.

Гулялъ разъ Ѳедоръ, въ праздничный день, въ загородномъ мѣстѣ, за рощами надъ заливомъ, и видитъ, что нѣсколько человѣкъ изъ тѣхъ, съ которыми онъ вмѣстѣ въ одной школѣ учился, напали на Абрама, отняли у него золотыя кольца и самого его бьютъ да приговариваютъ:

— Вотъ какъ тебѣ, жидъ, чтобы ты нашъ праздникъ почиталъ и не смѣлъ бы работать и ходить съ непочтеніемъ.

Ѳедору вспомнилось дѣтство и жалко стало Абрама: за что его обижаютъ? Ѳедоръ и вмѣшался.

— Для чего, — говоритъ,—вы его обижаете? Какое зло онъ вамъ сдѣлалъ?

А тѣ отвѣчаютъ:

— Онъ нашей вѣрѣ непочтеніе сдѣлалъ.

— Какое же непочтеніе?

— Онъ въ нашъ праздникъ работу разноситъ и, какъ шелъ мимо воротъ, гдѣ ликъ написанъ, головы не открылъ.

А Ѳедоръ, такъ какъ зналъ Евангеліе и законъ еврейской набожности, то и говоритъ:

— Вы не въ правѣ поступаете. Работать никогда не грѣхъ. Сказано: если у тебя овца упадетъ въ яму, развѣ ее, хоть и въ праздникъ, не вытащишь? И за непоклонъ головы вы съ него напрасно взыскиваете: это не обида, потому что по-нашему передъ святыней надо голову открыть, а по-ихнему обычаю это какъ разъ наоборотъ уставлено: у нихъ надо передъ святыней непремѣнно съ покрытой головой быть, а открыть голову—значитъ непочтеніе.

Это дѣйствительно такъ было, какъ объяснялъ Ѳедоръ, но ему не повѣрили и всѣ заговорили:

— Ты врешь: какъ можно передъ святыней покрывши голову быть? Это ты выдумываешь!

А Ѳедоръ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, я вѣрно знаю и говорю правду.

— А почему тебѣ такая правда извѣстна, а намъ неизвѣстна? Мы всѣ въ одномъ мѣстѣ учились.

А Ѳедоръ отвѣчаетъ:

— Я ранѣе школы дома объ ихъ вѣрѣ въ книжкахъ читалъ.

— А-га... Ну, такъ ты, — говорятъ, — вѣрно и самъ потаенный жидъ.

И набѣжало еще со всѣхъ сторонъ много людей, справлявшихъ праздникъ, и стали спрашивать:

— Что здѣсь за шумъ и за что ссорятся?

А прежніе стали скоро, частоговоркой, разсказывать, что вотъ поймали жида съ непочтеніемъ, а Ѳедоръ, хотя и крещеный, но за жидовскую вѣру заступается и свою ниже ставитъ. А тѣ люди, не разобравши дальше, отвѣчаютъ Ѳедору:

— Ты виноватъ!

— Чѣмъ?.. Я никому зла не сдѣлалъ.

— Какъ, — говорятъ, — зла не сдѣлалъ! А развѣ ты за жида не заступился?

Ѳедоръ не солгалъ и хотѣлъ разсказать, изъ-за чего вышло то дѣло, въ которомъ онъ заступился за Абрама, но его перебили и всѣ закричали:

— Это все равно: если ты жидовскій обычай оправдываешь и съ своими равняешь, то это все равно, что ты жидовскую вѣру хвалишь. Примите же и честь одинаковую.

И стали всѣ бить ихъ обоихъ вмѣстѣ — и Абрама, и Ѳедора.

Избили ихъ и оставили обоихъ въ рощѣ, въ темномъ мѣстѣ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ѳедоръ съ Абрамомъ долго пролежали тутъ безъ памяти, а ночью, при прохладѣ, пришли понемножку въ себя и стали, другъ на друга опираючись, ползти домой. А какъ они добрались передъ свѣтомъ до дому, то Абрамъ сказалъ Ѳедору:

— Другъ Ѳедоръ! ты оказалъ мнѣ правду и милосердіе. Я твой должникъ буду на всю мою жизнь, а еще мнѣ всего дороже то, что ты человѣкъ справедливый и Бога больше, чѣмъ людей, боишься.

Ѳедоръ отвѣтилъ:

— Другъ Абрамъ! это и не должно быть иначе: такъ намъ Іисусъ Христосъ велѣлъ, а я хочу быть Его ученикъ.

Абрамъ говоритъ:

— Да, но не всѣ ученики твоего Учителя понимаютъ Его ученіе такъ, какъ ты.

— Что же дѣлать,—отвѣчалъ Ѳедоръ.—Вѣдь и у евреевъ то же самое: внушенія человѣческія для многихъ закрываютъ заповѣди божескія.

— Правда,—молвилъ Абрамъ и, вздохнувъ, добавилъ:— поймутъ ли когда-нибудь всѣ люди истину, что Творецъ не желаетъ въ нихъ раздѣленія?

— Поймутъ всѣ, только не въ одно время.

— Приблизь, Господь, это время.

Ѳедоръ улыбнулся.

— Вотъ,—говоритъ,—Абрамъ, мы съ тобой въ дѣтяхъ другъ друга любили, когда вмѣстѣ играли и вмѣстѣ подъ однимъ кустомъ спали, а потомъ люди насъ заставили врознь быть. А сейчасъ ты, я думаю, не замѣтилъ, что сталось: мы вѣдь вмѣстѣ одною молитвой къ Богу помолились!..

Абрамъ говоритъ:

— Пусть живетъ въ васъ духъ Учителя вашего, а не иныхъ, кои имя Его знаютъ, да духа Его не имѣютъ.

Послѣ этого они стали опять пріятелями и, по старой дѣтской привычкѣ, находили большое удовольствіе, чтобы послѣ трудовъ другъ съ другомъ постоять и поговорить.

Въ дома они одинъ къ другому не входили, потому что боялись, чтобы черезъ это не увеличить молву, которая про нихъ была пущена. Про Ѳедора свои говорили, будто онъ потому за жида заступался, что самъ втайнѣ предается жидовству и даже на молитвѣ по-жидовски скачетъ; а про Абрама жиды сочиняли, что онъ свиное ухо съѣлъ и Моисеевъ законъ оставляетъ и тайно къ христіанамъ присталъ, чтобы войти въ милость у властителей. И обоимъ имъ и отъ семейныхъ, и отъ своихъ общественныхъ людей выпадали досадные попреки.

А на самомъ дѣлѣ ничего этого не было. Ѳедоръ и Абрамъ—оба оставались по вѣрѣ, какъ были: кто въ которой родился, тотъ въ той и пребывалъ. И какъ они въ дѣтствѣ своемъ никогда не спорили, чья вѣра лучше или богоугоднѣе, такъ же и теперь никакихъ споровъ о вѣрѣ не заводили. Напротивъ, они какъ бы крѣпче увѣрились, что и въ одной, и въ другой вѣрѣ во всѣхъ отношеніяхъ

можно себя руководствовать, если только понимать вѣру правильно и не имѣть лукавыхъ замысловъ и вредныхъ для мира привычекъ.

А когда они въ этомъ укрѣпились, то если у нихъ послѣ того заходилъ разговоръ, то онъ только въ тихую и пріятную бесѣду обращался.

Ѳедоръ сказалъ разъ Абраму:

— Мнѣ жалостно видѣть, сколько черезъ споры о вѣрѣ сдѣлалось распрей въ людяхъ.

А Абрамъ ему отвѣтилъ:

— Этому такъ и слѣдуетъ быть. Если очи наши не на одинаковую даль и не на равную высь видѣть могутъ, то кольми паче пониманіе не одинаково все постигать можетъ, а должно разнствовать. Если бы это не было угодно Богу, то всѣ бы люди одинаково все видѣли и одинаково понимали; но Богъ не такъ создалъ, а создалъ различіе въ пониманіи. Оттого и разныя вѣры.

Ѳедоръ согласился.

— Это такъ,—говоритъ,—но только распри, которыя черезъ это настаютъ, душѣ моей тягостны.

— Распри,—отвѣчалъ Абрамъ: — тоже отъ непониманія, что всѣ вѣры къ одному Богу ведутъ. Кто умный богочтитель, тотъ во всякой вѣрѣ пожелаетъ почтить ея истину.

Опять согласился Ѳедоръ.

— Да,—говоритъ,—я давно думаю, что вотъ и твои единовѣрцы напрасно негодуютъ на Христа. Они сами не понимаютъ, что Онъ одно добро желалъ сдѣлать всѣмъ людямъ, и за то и убитъ отъ злобы непонимавшихъ.

Абрамъ согласился.

— Словъ нѣтъ, что твоя правда,—сказалъ Абрамъ.— Мужъ Галилейскій, о Которомъ ты говоришь, честенъ, святъ и премудръ, а не понимаютъ Его не только худые изъ Моисеевыхъ учениковъ, которые мнятъ тѣмъ ненавидѣніемъ службу приносить Богу, но не понимаютъ многіе и твои единовѣрцы, и это тѣмъ жалче, что сіи даже Богомъ Его почитаютъ, а Его добраго святого ученія и по человѣчеству не исполняютъ. Жалѣй, другъ мой Ѳедоръ, объ этомъ, ибо чрезъ это вы другимъ не можете открыть Іисуса во всей силѣ Его побѣждающаго завѣта и иныхъ о себѣ смущаете и заставляете сомнѣваться въ вѣрѣ вашей.

Ѳедоръ вздохнулъ и сказалъ:

— Абрамъ, ты меня борешь!

А Абрамъ отвѣчалъ:

— И ты меня борешь! Не спорить надо о Богѣ, а стараться жить въ мирѣ.

Абрамъ приложилъ большіе персты своихъ рукъ къ глазамъ и голосно, по-жидовски пропѣлъ:

— «Умейнъ!» т. е. аминь, или по-нашему «истинно».

Ѳедоръ обнялъ его изо всей силы и, прижавъ къ сердцу, прошепталъ:

— Онъ теперь среди насъ.

Абрамъ говоритъ:

— Ну, такъ что жъ? Побудь съ нами, мужъ Галилейскій!

Ѳедоръ растрогался и заплакалъ:

— Побудь! — молитъ. — Останься! Мы сотворимъ Тебѣ сѣню.

А Абрамъ опять ударилъ:

— «Умейнъ!»

И такъ точно разговоры о вѣрѣ никогда не смущали согласія Абрама и Ѳедора. Они опять ходили въ свой разгороженный огородъ и, подмостившись на скамейкахъ, бесѣдовали черезъ стѣну, но только не надолго этого стало.

Вѣрѣ, надеждѣ и любви скоро пришло испытаніе.

Ѳедоръ и Абрамъ стали мирны, да вокругъ ихъ все уже инымъ духомъ взялось и все, что случится, оборачивалось имъ въ смущеніе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

У Ѳедора начались разныя бѣды—и все одна за другою. Одна бѣда точно вела за собою другую. Ѳедоръ сначала сдѣлался нездоровъ и долго лежалъ, а потомъ стали у него болѣть дѣти и ни одинъ не выздоровѣлъ, а всѣ другъ за другомъ умерли, а потомъ умерла и его молодая жена, которую онъ любилъ и имѣлъ отъ нея большую помощь въ хозяйствѣ.

Ѳедоръ въ этихъ горестяхъ ослабѣлъ душою и сталъ неаккуратно смотрѣть за дѣлами, а его наемные люди, хоть они были и крещеные, а не пожалѣли его и этимъ его несчастіемъ воспользовались и много расхитили. Послѣ же всего одинъ его должникъ, которому Ѳедоръ вѣрилъ какъ брату, сильно его обманулъ и присягнулъ, что долгъ ему

отдалъ. Ѳедорово хозяйство отъ всего этого сильно пошатнулось, и онъ закручинился. А люди стали о немъ толковать и со всѣхъ сторонъ ему говорили:

— Раздумайся: за что̀ такъ тебя Богъ наказываетъ? Вѣрно это на тебя посылается за то, что ты живешь въ дружбѣ съ жидомъ, врагомъ вѣры христіанской.

Ѳедоръ такимъ внушеніямъ не вѣрилъ и словъ этихъ не любилъ слушать, а отвѣчалъ:

— Вы мнѣ не утѣшеніе дѣлаете, а одну досаду. Вы сами не знаете, что̀ говорите; намъ Христосъ никого не позволилъ ненавидѣть, а всѣхъ приказалъ любить.

— Только,—говорятъ,—не жидовъ.

А Ѳедоръ отвѣчаетъ:

— Этого въ Евангеліи не сказано.

— Жидъ—врагъ нашей вѣрѣ.

— Онъ враждуетъ, если не понимаетъ, чему учитъ наша вѣра, а глядя на насъ о ней судитъ. Это мы виноваты, потому что мы еще злы и не исправляемся и не живемъ по Христову наставленію. Сосѣдъ Абрамъ никогда мнѣ моей вѣры не порочилъ и даже объ ученіи Христовомъ разсуждаетъ съ почтеніемъ; а если бы онъ и врагъ былъ, то и тогда я, какъ христіанинъ, обязанъ былъ бы о немъ, какъ о врагѣ, милосердовать, чтобы волю Христову исполнить. Или забыли, что Христосъ на крестѣ за Своихъ враговъ молился?

Ему отвѣчаютъ:

— Намъ съ Христомъ себя не ровнять — Онъ Богъ, а мы люди. Ты богохульствуешь.

— Нѣтъ, я не богохульствую, — отвѣчалъ Ѳедоръ: — а я только говорю, что Христу надо слѣдовать, и когда другіе люди нашу доброту увидятъ, они скорѣе нашу вѣру любить станутъ. Въ этой добротѣ мы Христа своего всему міру явить можемъ на уваженіе.

Люди на это только больше разсердились, а среди ихъ былъ одинъ Никодимъ-муроварникъ, который продавалъ муро,—онъ сталъ всѣмъ сказывать, что Ѳедора грѣшно и слушать, потому что Ѳедоръ теперь уже проклятъ, яко другъ жидовиновъ, и Никодиму будто во снѣ явлено, что Ѳедору дальше не будетъ ни въ чемъ удачи, а нападутъ на него еще бо̀льшія бѣды, и тому, кто съ Ѳедоромъ водиться станетъ, тоже ни въ чемъ удачи не будетъ.

Ѳедоръ и этому не внималъ и не боялся быть отъ всѣхъ покинутымъ, а разсуждалъ такъ, что онъ худа не дѣлаетъ, храня дѣтскую дружбу съ Абрамомъ, человѣкомъ честнымъ, который свою вѣру держитъ, а чужой не порочитъ и даже хорошее въ ней хорошимъ называетъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Абрамъ пришелъ къ Ѳедору и сказалъ безъ всякаго гнѣва:

— Другъ Ѳедоръ, я узналъ, что твои люди на тебя въ большомъ неудовольствіи за твое ко мнѣ расположеніе. Какъ бы для тебя отъ этого худо не вышло.

А Ѳедоръ отвѣчаетъ:

— Другъ Абрамъ, я люблю тебя и не могу дѣлать иначе. Въ отрочьемъ вѣкѣ насъ съ тобою было разбили, но теперь, въ возрастѣ, мы этого надъ собой не допустимъ. Только душа моя ослабѣваетъ отъ большихъ несчастій. Неужели и вправду Богъ меня кинулъ?

— Счастіе и несчастіе смѣняются въ жизни,—отвѣчалъ Абрамъ.—Богъ, Который создалъ и христіанина, и еврея, и темнаго язычника, — никому не открылъ тайны судьбы ихъ. Люди дерзки, когда они хотятъ проницать тайну Бога и толкуютъ по-своему, за что человѣку отъ Бога посылается счастіе или несчастіе. Это какъ по нашей, такъ и по вашей вѣрѣ совсѣмъ не человѣческое дѣло разбирать и раскладывать. Наше человѣческое дѣло — помогать, чѣмъ можемъ, другъ другу; къ пріязни нашей теперь подваленъ большой камень, а потому и тебѣ будетъ трудно, да и мнѣ страшно, если тебя постигнетъ еще какое-нибудь бѣдствіе. А потому, прошу тебя, не стѣсняйся дружбой ко мнѣ и покажи, что ты мною пренебрегаешь, а я въ душѣ моей за это на тебя не обижусь.

Въ Ѳедорѣ отъ этихъ словъ даже сердце заныло.

— Нѣтъ,—говоритъ, — Абрамъ, ты мнѣ другъ отъ младыхъ ногтей и никогда меня ничѣмъ не обидѣлъ, и я тебя не могу обидѣть такимъ обхожденіемъ.

— Ну, смотри, какъ знаешь, — отвѣчалъ Абрамъ и, поцѣловавъ Ѳедора, добавилъ сквозь слезы: — Богъ одинъ знаетъ, къ чему эти испытанія; но будемъ другъ другу вѣрны—и Богъ не постыдитъ нашей вѣрности.

Такъ друзья днемъ между собою говорили, а ночью собрались надъ ихъ городомъ тучи, ударилъ съ неба громъ

и спалилъ въ одно мгновеніе весь домъ Ѳедора и всѣ его амбары и кладовыя, гдѣ у него лежали товары, которые онъ только-что хотѣлъ посылать за море.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Послѣ этой бѣды отшатнулись отъ Ѳедора всѣ, какъ отъ чумнаго, и стали вѣрить, что съ нимъ и знаться не слѣдуетъ, потому что на немъ въявѣ гнѣвъ Божій.

Ѳедоръ стоитъ на своемъ пожарищѣ унылый и думаетъ: «Мнѣ ни отъ кого не будетъ помощи».

А знакомый голосъ кличетъ его изъ-за забора.

Ѳедоръ поднялъ голову и видитъ лицо Абрама.

— Что ты тужишь?—говоритъ Абрамъ.—Въ бѣдѣ надо скорѣй поправляться.

А Ѳедоръ отвѣчаетъ:

— Нечѣмъ мнѣ мою бѣду поправлять: я все до тла потерялъ и теперь мнѣ не за что взяться.

— Я тебѣ денегъ дамъ взаймы на разживу.

— Ты смѣешься, Абрамъ!

— Нѣтъ, не смѣюсь.

— Мнѣ теперь, чтобы поправиться, надо, по крайней мѣрѣ, тысячу литръ золота.

— А что же ты съ ними сдѣлаешь?

— Я опять накупилъ бы цареградскихъ товаровъ, отплылъ бы въ Александрію, тамъ бы продалъ все за тройную цѣну и долгъ бы отдалъ, и себѣ бы нажилъ.

— Что же, это хорошо,—приходи и возьми себѣ у меня въ долгъ тысячу литръ золота.

— А кого же я тебѣ поставлю порукой, что я тебя не обману и долгъ отдамъ?

— Не надо мнѣ поруки. Пусть будетъ намъ наша дѣтская дружба порукой.

Ѳедоръ говоритъ:

— Какъ люблю Іисуса Христа, такъ ручаюсь тебѣ, что я тебя не обману.

А Абрамъ отвѣчаетъ:

— Знаю, какъ ты Его почитаешь, и потому еще болѣе теперь вѣрю. Ты Его имя напрасно не скажешь. Иди и бери деньги.

— А если мнѣ будетъ неудача, и ты тогда станешь думать, что я Христомъ не подорожилъ?

— Нѣтъ, я знаю, что ты человѣкъ вѣрный. Иди ко мнѣ и бери скорѣй тысячу златницъ, снаряжай корабль и плыви съ товаромъ въ Александрію.

Ѳедоръ написалъ Абраму должную расписку и подписалъ ее, а Абрамъ отсчиталъ Ѳедору тысячу златницъ, и тотъ накупилъ нужныхъ для Александріи цареградскихъ товаровъ, нагрузилъ все на корабль, распростился и поплылъ въ Египетъ.

Всѣ удивлялись, откуда Ѳедоръ взялъ столько денегъ, чтобы такъ легко справиться, и говорили между собою: «вѣрно у него деньги въ землѣ были припрятаны». А Ѳедоръ, когда настало время отчалить его кораблю, зашелъ къ Абраму проститься и, благодаря его еще разъ, сказалъ:

— Вѣрь же, другъ Абрамъ, что я тебя не обману и не поставлю въ фальшь имени Іисуса.

Абрамъ отвѣчалъ:

— Я не сомнѣваюсь. Добрый человѣкъ не можетъ пристыжать того, кого любитъ и уважаетъ, какъ своего учителя. Плыви съ Богомъ и, что бы съ тобою ни случилося, я своего довѣрія не измѣню.

А довѣрію Абрама суждено было выдерживать много испытаній.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Ѳедоръ благополучно прибылъ съ цареградскими товарами въ Александрію и очень хорошо расторговался. Выручилъ онъ столько денегъ, что могъ заплатить весь долгъ Абраму и себѣ оставить. Но на обратномъ пути въ Константинополь морская буря разбила его корабль, и самъ Ѳедоръ насилу спасся на бревнѣ, а все его золото погибло.

Мимо шедшіе корабельщики взяли Ѳедора изъ воды, привезли въ Константинополь и выпустили, какъ нищаго.

Сошелъ Ѳедоръ на землю, дождался ночи и, согнувшись подъ лохмотьями негодной одежды, которую дали ему на кораблѣ, потащился къ своему пожарищному пустырю, забился въ погребичную яму и плачетъ.

Стыдно ему было даже въ лицо Абраму взглянуть и разсказать, какой съ его деньгами вышелъ худой оборотъ.

А Абрамъ самъ узналъ черезъ людей о Ѳедоровомъ возвращеніи, и сейчасъ же пролѣзъ къ нему въ яму и говоритъ:

— Полно, Ѳедоръ, что ты стыдишься? Бѣда надъ вся-

кимъ можетъ случиться. Не приходи въ отчаяніе. Я тебѣ вѣрю и помню, что ты священное для тебя имя во свидѣтельство произнесъ. Ты Іисуса не обманешь, а я вотъ принесъ тебѣ еще тысячу златницъ. Бери и начинай все дѣло наново.

Ѳедоръ ни ушамъ, ни глазамъ своимъ не вѣрилъ.

— Я,—говоритъ,—не могу принять.

— Отчего?

— Видишь самъ: меня ужасныя бѣдствія преслѣдуютъ.

— Что же, тутъ-то тебѣ и надо мужаться, а друзьямъ твоимъ тебѣ помогать. Иди, одѣнься въ мою запасную одежду, бери тысячу златницъ и принимайся опять за дѣло.

Ѳедоръ отвѣчаетъ:

— Я боюсь, что я съ моею судьбой и тебя изнищу.

— Полно, — говоритъ Абрамъ: — что о судьбѣ спорить? Судьба никому неизвѣстна, а то, что ты за меня битъ былъ отъ своихъ, — это мнѣ извѣстно и я тебя не выдамъ въ несчастіи, да не презрѣнъ будетъ въ людяхъ жидъ яко рабъ Еговы, сотворившаго небо и землю. Неужели ты за меня умѣлъ пострадать, а я будто того же снести не сумѣю. Бери деньги и ступай опять искать счастія.

Одѣлъ Абрамъ Ѳедора въ свою запасную одежду; прежнюю долговую расписку переписали съ одной тысячи на двѣ, и Ѳедоръ пошелъ снаряжаться.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Въ этотъ разъ Ѳедоръ накупилъ въ Царьградѣ ароматной смолы и нагрузилъ ею цѣлый корабль. Привезъ смолу въ Александрію и съ большимъ прибыткомъ промѣнялъ ее тамошнимъ купцамъ на олово и поплылъ съ оловомъ въ Ефесъ. Въ Ефесѣ на ту пору олово было очень надобно и въ большомъ спросѣ. Ѳедору дали за олово вѣсъ на вѣсъ красной мѣди. И сталъ Ѳедоръ вдругъ богатъ отъ этого выгоднаго промѣна и поплылъ назадъ къ Константинополю, радуясь, что теперь онъ съ Абрамомъ разсчитается и самъ снова будетъ жить непостыдно.

Но вышло все опять пребѣдственно: опять Ѳедорово судно разбилось, и опять все его богатство потонуло. А изъ людей онъ только одинъ спасся, и опять совсѣмъ голый, какъ мать родила, явился домой; добрался онъ до своего пепелища въ Царьградѣ, сѣлъ въ уголкѣ темной погребной ямы и опять плачетъ. Опять приходитъ къ нему Абрамъ и говоритъ:

— Ну, слушай ты, Ѳедоръ! Извели мы съ тобой денегъ много, двѣ тысячи златницъ, и все понапрасну: надо ихъ вернуть.

Ѳедоръ отвѣчаетъ:

— Какъ еще вернуть? Бѣдствія меня такъ и преслѣдуютъ. Но что̀ для меня всего тягостнѣе, ты можешь подумать, что я твои деньги скрылъ и теперь притворяюсь бѣднымъ.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ Абрамъ-жидовинъ:—ты всегда былъ честный человѣкъ, да и Іисусово имя ты не произнесъ бы напрасно. Я знаю, что ты Іисуса истинно почитаешь и никогда во лжи Его имя не упомянешь.

— Утѣшь тебя Богъ, Абрамъ, что ты такъ обо мнѣ думаешь! Правда твоя: я не помяну имени Іисуса Христа во лжи, хотя бы на меня еще бо̀льшія пришли напасти, и радъ я, что ты вѣришь, какъ я Его почитаю.

— Ну, и толковать намъ не о чемъ. Вотъ тебѣ твоя старая расписка на двѣ тысячи златницъ. Сотри ее и напиши новую, въ три тысячи, и поѣзжай въ-третье.

Ѳедоръ изумился.

— Благодарю,—говоритъ,—за твою добродѣтель, но мнѣ ужъ и брать не охота. Вѣрно, на мнѣ есть какой особый грѣхъ, или въ самомъ дѣлѣ такъ надобно, чтобы люди разныхъ вѣръ другъ другу не помогали.

— А вотъ для этого-то, — говоритъ Абрамъ: — я и не хочу, чтобы ты такъ думалъ. Единъ Богъ во вселенной, но суды Его разбирать не наше дѣло, а помогать другъ другу есть наша обязанность. Пиши третью расписку на три тысячи ~~литръ~~ золота и отплывай въ третье.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Ѳедоръ, по настоянію Абрама, взялъ тысячу литръ золота, сѣлъ на корабль и поѣхалъ въ Кальварію. Удача ему опять пошла самая счастливая. Въ Кальваріи онъ накупилъ пшеницы, по сребреннику за рѣшето, и отплылъ съ нею въ Гундалы, а въ Гундалахъ всю пшеницу продалъ по златницѣ за рѣшето. Денегъ стало очень много, но Ѳедоръ на томъ не остановился: въ Гундалахъ онъ накупилъ хорошаго виноградного вина по сребреннику за мотру и поплылъ съ виномъ въ Антіохію. Вино за дорогу переиграло, стало еще лучше, и Ѳедоръ продалъ здѣсь вино по златницѣ за мотру, которую купилъ всего по сребреннику.

Послѣ этого у Ѳедора стало столько денегъ, что и дѣвать

некуда. Но Ѳедоръ зналъ, что онъ и прежде съ Абрамовой руки наживалъ ихъ легко, да только никогда довезти не могъ. Какъ бы опять въ третій разъ того же самаго не было.

Надумалъ Ѳедоръ лучше самому денегъ не везти, а послать ихъ съ какими-нибудь вольными корабельщиками такъ, чтобы имъ неизвѣстно было, что̀ они везутъ.

Пошелъ Ѳедоръ ходить по городу, купилъ для Абрама даръ—антіохійскій плащъ, да сѣдло, чтобы на ослѣ ѣздить, да крѣпкій ларецъ, и сдѣлалъ изъ всего этого одинъ свертокъ, а ларецъ завертѣлъ въ самую середку, и положилъ туда четыре тысячи золотыхъ литръ: три тысячи въ возвратъ за взятый у Абрама долгъ, а четвертую тысячу за проценты. Завернулъ это все такъ, что ларца не видно было, и отдалъ ѣхавшимъ въ Царьградъ корабельщикамъ, чтобъ отвезли Абраму-жидовину. А мало время спустя и самъ поѣхалъ за ними слѣдомъ.

Вольные корабельщики не догадались, что они везутъ въ посылкѣ золото, и какъ дошли до Царьграда, такъ сейчасъ и отдали посылку Абраму-жидовину.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Абрамъ былъ человѣкъ осторожный: онъ не сталъ при корабельщикахъ смотрѣть, что̀ такое ему отъ Ѳедора прислано, а отнесъ свертокъ домой, заперся одинъ и, какъ развернулъ плащъ и сѣдло, то нашелъ накрѣпко заклепанный ларецъ, а въ ларцѣ деньги—всѣ четыре тысячи златницъ полностью: три—въ возвратъ займа, а четвертая—за проценты.

Абрамъ пересчиталъ деньги, спряталъ ихъ и молчитъ, никому ни слова не говоритъ.

Вскорѣ затѣмъ Ѳедоръ успѣлъ вернуться и сейчасъ же приходитъ къ Абраму съ большими дарами: кладетъ передъ нимъ и ткани, и каменья, и золото.

— Прими,—говоритъ,—отъ меня; я тебѣ всѣмъ обязанъ. Безъ тебя бы пропалъ я.

А Абрамъ отвѣчаетъ:

— Я за дары тебя благодарю и принимаю ихъ, но пора же тебѣ, Ѳедоръ, теперь мнѣ и долгъ отдать.

Ѳедоръ сильно смутился, но отвѣчалъ другу:

— Правда, Абрамъ. Я затѣмъ и пришелъ, чтобы поднести тебѣ сначала мои дары въ честь, а теперь пойдемъ со мною на мой корабль, раскроемъ все, что̀ я имѣю, сочтемъ и подѣлимъ все поровну на-двое: половину мнѣ, а половину—тебѣ.

Абрамъ усмѣхнулся и говоритъ:

— Нѣтъ, Ѳедоръ, я тебя искушалъ шуткою, чтобы видѣть: не опалишься ли ты на меня и не скажешь ли мнѣ укоризны за мое жидовство. Вижу, однако, что ты воистину кротокъ, какъ твой Учитель, Іисусъ Галилейскій. Я отъ тебя черезъ корабельщиковъ весь свой долгъ и проценты получилъ и мнѣ больше ничего отъ тебя не слѣдуетъ. Вотъ возьми свою должную грамоту. Но скажи мнѣ только на милость, какъ ты это такъ послалъ мнѣ столь значительныя деньги безъ всякаго слѣда?

— А видишь,—отвѣчалъ Ѳедоръ:—я ужасался моего несчастія на обратный путь и лучше хотѣлъ два раза тебѣ заплатить, чѣмъ еще одинъ разъ остаться неисправнымъ за порукой имени моего Спасителя.

Абрамъ обнялъ и расцѣловалъ Ѳедора.

— Да,—говоритъ,—ты Его истинно любишь и прославляешь. Умножь Богъ на свѣтѣ людей, тебѣ равныхъ и подобныхъ.

— Да, умножь Богъ и такихъ, какъ ты, Абрамъ!—отвѣчалъ Ѳедоръ, и сказалъ, что онъ желаетъ построить изъ своего богатства такой домъ, гдѣ бы былъ пріютъ и харчи всѣмъ бѣднымъ дѣтямъ всѣхъ вѣръ безъ различія, чтобъ они съ дѣтства другъ съ другомъ свыкались, а не раздѣлялись.

Абрамъ очень обрадовался.

— Хорошо,—говоритъ,—и я свой процентъ не беру, а отдаю на этотъ домъ. Пусть дѣти живутъ безъ разбору, какъ мы съ тобою жили въ дѣтствѣ нашемъ. И пусть будетъ это дружбѣ нашей на старости поминанье.

И сдѣлали такъ: построили домъ и назвали его «селеніемъ ближнихъ». И, приходя туда, оба одною радостью радовались и, одною равною заботой о «ближнихъ» заботясь, мнили, яко единую и согласную службу приносятъ всѣхъ сотворившему Богу.

Повѣсть эта не есть баснословіе, измышленное досугомъ писателя. Это есть истинная исторія, въ древніе годы, дѣйствительно, бывшая и въ давніе же годы писанная рукой современнаго богочтителя и человѣколюбца. Нынѣ она отъ старыхъ записей взята и въ новомъ изложеніи подается для возможнаго удовольствія друзей мира и человѣколюбія, оскорбляемыхъ нестерпимымъ дыханіемъ братоненавидѣнія и злопомненія.

НЕВИННЫЙ ПРУДЕНЦІЙ.

(ЛЕГЕНДА).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ первыхъ вѣкахъ христіанства въ одномъ изъ торговыхъ поселковъ на берегу Средиземнаго моря жили два купца, которыхъ звали Алкей и Гифасъ. Оба они ходили въ море на одномъ небольшомъ кораблѣ, который теперь назвали бы ладьею. Они вели торговлю вмѣстѣ, а иногда также вмѣстѣ нападали на небольшія суда и грабили ихъ. Послѣднее свое занятіе; то-есть разбойничество, Алкей и Гифасъ скрывали, но оно было прибыльнѣе торговли. Отъ такого двойного промысла оба купца сдѣлались богаты и жили въ достаткѣ. У нихъ были самые лучшіе дома во всемъ поселеніи, и при домахъ сады и теплыя бани.

Гифасъ былъ старше Алкея и имѣлъ жену Ефросину, тоже уже пожилую женщину, и сына Пруденція, а Алкей былъ моложе Гифаса на десять лѣтъ и недавно женился на молодой и очень красивой, доброй и разсудительной дѣвушкѣ, которую звали Мелита.

Мелита приходилась племянницею женѣ Гифаса, Ефросинѣ, и жила съ нею въ такой же дружбѣ, какъ Гифасъ съ Алкеемъ, а сынъ Гифаса, миловидный отрокъ Пруденцій, былъ любимцемъ обѣихъ семей—своей собственной и семьи Алкея. Пруденцій жилъ въ обонхъ домахъ, какъ у себя, пользуясь заботами матери своей Ефросины и полезными внушеніями Алкеевой жены, молодой и прекрасной гречанки Мелиты.

Когда Алкей и Гифасъ по условіямъ своего промысла ходили надолго въ море,—жены ихъ, пожилая Ефросина и молодая Мелита, хозяйничали дома и проводили вмѣстѣ все свободное время, какое имъ оставалось отъ ихъ ручного труда и необходимыхъ заботъ по хозяйству.

Ефросина была очень домовитая женщина, стараго языческаго воспитанія, и заботилась только объ одномъ житейскомъ: она не умѣла грамотѣ, но зато лучше Мелиты заготовляла копченое мясо, фрукты и рыбы; а Мелита пришла сюда изъ города, гдѣ занималась науками и нѣжными работами, требующими искусства и вкуса для ихъ производства. Поэтому Ефросинѣ не разъ приходилось подавать Мелитѣ полезные совѣты и оказывать помощь въ хозяйствѣ, а благородная Мелита, въ благодарность за это, старалась оказывать взаимныя услуги Ефросинѣ. Она вышивала головные покровы для самой Ефросины и дѣлала узорочныя коймы къ легкимъ, эѳирнымъ туникамъ, въ которыя Ефросина любила одѣвать свое единственное и долгожданное дитя, отрока Пруденція, отличавшагося замѣчательною стройностью и красотою.

Пруденцій былъ статенъ и смуглъ, съ горячимъ матовымъ цвѣтомъ лица, съ большими черными глазами, глядѣвшими изъ-подъ черныхъ рѣсницъ, при черныхъ бровяхъ и густыхъ кудряхъ цвѣта орѣха.

Онъ былъ очень нѣженъ и ловокъ въ движеньяхъ, застѣнчивъ, страстенъ и скроменъ,—и чрезъ это онъ каждому казался пріятнымъ и милымъ.

Самое лучшее, чѣмъ Мелита могла заслужить Ефросинѣ,—это было обучить Пруденція грамотѣ и тѣмъ изъ извѣстныхъ Мелитѣ искусствъ, которыя шли къ полу мальчика по условіямъ тогдашняго быта.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Мелита научила Пруденція читать и писать, пѣть и играть на цѣвницѣ, шибко бѣгать и бросать въ цѣль металлическіе кружки и кольца.

Такъ какъ Гифасъ и Алкей прожили вѣкъ въ своемъ полудикомъ, не столько торговомъ, сколько разбойничьемъ поселкѣ, то они не знали никакихъ подобныхъ изящныхъ упражненій и развили свои силы прямо въ суровой борьбѣ

съ моремъ; но Ефросинѣ нравилось, чтобы Пруденцій былъ воспитанъ нѣжнѣе и ближе къ тогдашней модѣ.

Въ упражненіяхъ Пруденція въ силѣ и ловкости съ нимъ состязалась сама его учительница, прекрасная Мелита, и ея молодая черная рабыня-финикіянка Марема, которую тоже звали короче Мармэ.

Когда Мелита начала заниматься воспитаніемъ Пруденція, ему тогда исполнилось всего двѣнадцать лѣтъ, но онъ былъ такъ крупенъ и строенъ, что походилъ уже на мальчика лѣтъ пятнадцати; а Мелита, которой шелъ въ это время семнадцатый годъ, была столь моложава, что ее можно было принять за пятнадцатилѣтнюю невѣсту. Довольная и въ то же время воздержная жизнь и умѣренность во всѣхъ наслажденіяхъ при свободѣ отъ болѣзней дѣторожденія, такъ сберегли прекрасное тѣло юной Мелиты, что при встрѣчѣ съ нею всякій незнакомецъ легче всего почелъ бы ее за юную дѣвушку, а не за молодую жену пожилого человѣка, каковъ былъ ея мужъ, косой и въ обхожденіи грубый Алкей.

Такъ же дѣвственно чистъ, и безпеченъ, и веселъ былъ ея живой, острый умъ, жившій въ ладу съ добрымъ сердцемъ и прекраснымъ, твердымъ и ровнымъ характеромъ.

Научая Пруденція бѣгать по правиламъ бѣга, легкая Мелита сама становилась съ нимъ рядомъ на мѣту и бѣжала, нерѣдко обгоняя его и приходя первой на противоположную мѣту, гдѣ становилась, оборачиваясь къ нему лицомъ и собирая тонкими пальцами черные кудри, разсыпавшіеся по бѣлому лбу, орошенному потомъ.

Такъ же вмѣстѣ они метали и диски, и кольца, а судьею ихъ была темнолицая рабыня Мармэ, которую Мелита содержала не какъ служанку, въ подобострастьѣ, а какъ подругу—въ любви, и сама находила ее пріятной по душевнымъ качествамъ и прекрасной по тѣлу, отличавшемуся гармоничною стройностью и ровнымъ агатовымъ блескомъ.

Такъ занималась Мелита Пруденціемъ цѣлыхъ два года, а въ концѣ третьяго года въ средѣ этихъ людей случилось несчастіе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Послѣ нѣсколькихъ бурныхъ дней, проведенныхъ Алкеемъ и Гифасомъ въ морѣ,—Алкей возвратился одинъ на своей ладьѣ.

Это было вечеромъ, когда всѣ жители въ селеніи спали. Алкей вошелъ въ свой домъ, двери котораго ему открыла Марема и испугалась, замѣтивъ на лицѣ своего господина страшное выраженіе. Алкей тотчасъ же приказалъ служанкѣ удалиться, а самъ вошелъ къ женѣ и открылъ ей, что Гифасъ погибъ въ морѣ.

Эта новость поразила и въ то же время удивила Мелиту, которая имѣла нѣкоторыя понятія объ условіяхъ морского быта, и она стала разспрашивать мужа: какъ могло случиться, что судно сохранилось въ цѣлости и самъ Алкей сохранилъ себя въ безопасности, а Гифасъ погибъ?

— Это было такъ,—отвѣчалъ Алкей:—что на насъ напали двѣ ладьи грабителей, и мы долго отъ нихъ оборонялись, но я былъ сильнѣе и могъ защититься, а Гифасъ не успѣлъ уклониться отъ одного удара въ голову и упалъ въ воду съ раздробленнымъ черепомъ.

— А какъ же ты могъ спастись?

— Я увидалъ, что мнѣ одному уже нельзя защищаться, и бросился въ воду, чтобы меня тоже почли убитымъ. Въ водѣ я схватился руками за киль и держался до тѣхъ поръ, пока грабители, опустошивъ нашу лодку, кинули ее на произволъ вѣтра. Тогда я снова вскарабкался въ лодку, поставилъ порванные паруса и, взявъ руль, достигъ кое-какъ до нашего берега.

Мелита выслушала разсказъ мужа и ничего ему болѣе не возражала; но Алкей замѣтилъ по лицу жены, что она какъ-будто сомнѣвается въ его разсказѣ, и, отведя свои глаза отъ ея взора, добавилъ:

— Я не могу теперь говорить тебѣ въ подробностяхъ, какъ все это случилось, да ты и не могла бы всего понять, потому что это совсѣмъ не то, что твоя музыка, или твои вышиванья, а я тебя попрошу лучше, чтобы ты оказала мнѣ необходимую помощь: облегчи мнѣ чрезвычайно тяжелое дѣло.

— О, сдѣлай милость! я готова сдѣлать все, что въ силахъ,—отвѣчала Мелита.

Тогда Алкей ей открылся, что онъ, человѣкъ неустрашимый въ борьбѣ съ моремъ и разбойниками, очень боится видѣть женское горе и слушать стенанія и вопли, и для того онъ проситъ Мелиту, чтобы она пошла къ Ефросинѣ и открыла ей ужасную новость о смерти ея мужа и о

погибели значительной доли ихъ состоянія, бывшаго въ лодкѣ.

Мелита сказала, что она это сдѣлаетъ, и, поручивши Мармѳ позаботиться о томъ, чтобы вытопить баню для мужа, сама одѣлась и пошла тихо къ вдовѣ Ефросинѣ.

Вдова Ефросина, получивъ отъ Мелиты печальную вѣсть о смерти Гифаса, предалась обычному плачу и стенаньямъ, а потомъ надѣла одежды вдовства и, покрывъ голову платомъ съ неподрубленнымъ краемъ, сказала Мелитѣ:

— Теперь я не могу спать во всю ночь, и, обнявшись съ сыномъ, мы до утра будемъ плакать съ нимъ о Гифасѣ; а утромъ рано я пошлю Пруденція обойти все наше селеніе и позвать всѣхъ на берегъ моря на то самое мѣсто, съ котораго мужъ мой Гифасъ въ послѣдній разъ отплылъ вмѣстѣ съ Алкеемъ. Ты же Алкею скажи, чтобы онъ въ тотъ же часъ пришелъ на то мѣсто и всѣмъ разсказалъ, какъ все это случилось, что мужъ мой погибъ, а Алкей одинъ живымъ возвратился. Я теперь въ такомъ огорченіи, что ничего сама понять не могу, и не въ силахъ придумать, что̀ мнѣ дѣлать съ судномъ, въ которомъ есть половинная доля Гифаса, и только другая половина принадлежитъ Алкею. Пусть весь народъ изъ селенія сберется, пусть всѣ люди услышатъ печальную повѣсть, какъ ее Алкей намъ разскажетъ, и затѣмъ пускай люди обсудятъ, какъ намъ жить дальше или какъ намъ удобнѣе разсчитаться и раздѣлиться съ Алкеемъ.

Мелита нашла желаніе вдовы Ефросины совершенно основательнымъ и, возвратившись домой, извѣстила объ этомъ Алкея. Онъ принялъ это спокойно, какъ человѣкъ, у котораго совѣсть чиста и которому нечего опасаться разсказать передъ всѣми о томъ, что̀ случилось.

Онъ поблагодарилъ жену за то, что она приняла на себя тяжесть объявленія горя вдовѣ Ефросинѣ, и уснулъ крѣпкимъ сномъ въ объятіяхъ Мелиты. Но его крѣпкій сонъ, однако, не разъ прерывался какой-то тревогой, и дремотный голосъ Алкея прямо на ухо Мелитѣ называлъ имя Пруденція.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Люди селенія собрались у пристани и сѣли одни на желтомъ пескѣ, а другіе на сѣрыхъ камняхъ, а вдову Ефро-

сину посадили на опрокинутую лодку, и тутъ же у ногъ ея сѣлъ красивый сынъ ея, невинный Пруденцій. И мать, и сынъ были босы и въ печальныхъ одеждахъ съ неподрубленнымъ краемъ.

По серединѣ круга, который образовали собою люди, усѣвшіеся передъ опрокинутой лодкой, на которой помѣстили Ефросину, стоялъ Алкей и разсказывалъ, какъ было дѣло, что напали на нихъ въ морѣ неизвѣстные люди и одолѣли ихъ и товаръ ихъ заграбили, а Гифаса убили и бросили въ море.

Словомъ, Алкей сказалъ людямъ то же самое, что̀ раньше сказалъ онъ женѣ, и разсказъ его на всѣхъ произвелъ такое же неясное впечатлѣніе, какъ на Мелиту. И когда рѣчь Алкея была кончена, всѣ мужчины остались на время въ молчаніи, а потомъ одинъ изъ нихъ, самый старѣйшій въ селеніи, молвилъ:

— Я бы такъ разсудилъ, что въ морѣ бываютъ всякія бѣды, и что̀ случилось съ Гифасомъ, того уже теперь не поправить, а надобно думать о вдовѣ Ефросинѣ и объ отрокѣ, сынѣ Гифаса, которые остались въ живыхъ и которыхъ здѣсь видимъ всѣ передъ собою, босыхъ и въ печальныхъ одеждахъ, съ неподрубленнымъ краемъ. Пусть, находясь нынче въ царствѣ тѣней, Гифасъ не будетъ смущаться за то, что̀ здѣсь будетъ съ ними и съ ихъ достояніемъ, котораго намъ нельзя раздѣлить безобидно между Алкеемъ и сыномъ Гифаса. Пусть все, что̀ у нихъ вмѣстное было тамъ, и остается общимъ, пока отрокъ Пруденцій достигнетъ возраста мужа, и тогда они сами раздѣлятся съ Алкеемъ, а до тѣхъ поръ пусть все по-старому останется вмѣстѣ, и кораблецъ, и товары, гдѣ они что̀ помѣстили на время на пристаняхъ дальнихъ.

Въ людяхъ прокатило рокотомъ тихимъ:

— Да, это самое лучшее. Всѣ такъ согласны и пусть такъ и будетъ, ежели только вдова Ефросина на это согласна.

Вдова сидѣла съ поникшей головою и отвѣчала:

— Я горемъ убита и полагаюсь на общее мнѣніе.

Тогда всѣ рѣшили, что Алкей долженъ взять къ себѣ въ дѣло Пруденція и обучить его торговлѣ и всей морской жизни, а когда Пруденцій придетъ въ возрастъ, тогда съ нимъ раздѣлить все, что̀ нажито вмѣстѣ съ Гифасомъ и что̀ впередъ имъ придется еще къ нажитому прибавить.

Противъ этого только вдова Ефросина замѣтила, что сынъ ея еще очень молодъ, чтобы ввѣрять его морю и обрекать на всѣ случайности; но Пруденцій едва это услышалъ, какъ самъ сталъ проситься, чтобы мать его отпустила съ Алкеемъ, и вдова Ефросина согласилась его отпустить, а Алкей не имѣлъ никакихъ основаній для того, чтобы уклониться отъ пріема Пруденція, подалъ ему руку и сказалъ:

— Клянуся богами, я радъ, что люди рѣшили, чтобы ты сталъ мнѣ товарищемъ вмѣсто своего отца. А тебѣ, госпожа Ефросина, я здѣсь обѣщаю предъ всѣми людьми и предъ небомъ, что я всегда буду помнить, какъ тебѣ дорогъ твой единственный сынъ, и стану жалѣть и беречь его юныя силы. Ты же не бойся: и море не всегда вѣдь сурово,—оно часто даже хранитъ отъ золъ человѣка, особенно юность, въ пору которой скоро вступитъ Пруденцій; воздухъ и море дадутъ ему крѣпость мышцъ и смѣлость духа, и, что̀ не меньше того драгоцѣнно—они сохранятъ его цѣлымъ отъ раннихъ соблазновъ любви, разслабляющихъ тѣло и душу. А затѣмъ онъ увидитъ много иноземныхъ чудесъ, искусится въ познаньѣ людей, усвоитъ себѣ познанья въ торговлѣ, и тебѣ будетъ отрадно видѣть, какъ черезъ него въ домъ твой снова польются достатки, и когда онъ въ свободное время присядетъ у твоего очага, ты сама, поворачивая надъ углями вертелъ съ дымящимся мясомъ, насладишься тѣмъ, какъ будутъ всѣ Пруденція слушать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ефросина болѣе не возражала, и Пруденцій ушелъ въ море съ Алкеемъ, и съ этой поры мореходство стало для него постояннымъ занятіемъ, въ которомъ онъ въ самомъ дѣлѣ скоро окрѣпъ, такъ что въ пятнадцать лѣтъ былъ похожъ на семнадцатилѣтняго юношу, а въ семнадцать совсѣмъ смотрѣлъ взрослымъ мужчиной, и былъ онъ красивъ на удивленье, и при этомъ стыдливъ и совсѣмъ цѣломудренъ.

Алкею не было выгоды выхаживать Пруденція, и онъ втайнѣ очень бы радъ былъ отъ него избавиться, чтобы сокрыть всѣ свои пути и мѣста, гдѣ у него были въ чужихъ портахъ склады, но онъ не хотѣлъ, чтобы Пруденцій исчезъ такъ же, какъ исчезнулъ Гифасъ, потому что оди-

какіе случаи два раза кряду могли повести къ подозрѣнію, и судъ простыхъ рыбаковъ родного поселка могъ быть слишкомъ суровъ для Алкея; но Алкей сдѣлалъ все, что только могъ, чтобы растлить душу Пруденція, и когда они заходили въ чужіе порты, Алкей его поощрялъ пить вино и оставлялъ въ сообществѣ соблазнительныхъ женщинъ, которымъ обѣщалъ хорошую цѣну за то, чтобы отогнать отъ Пруденція скромность и увлечь его въ порочную страстность. Но все это было напрасно: какой-то хранительный геній до того неприкосновенно охранялъ юношу отъ всѣхъ соблазновъ и поползновеній, свойственныхъ его возрасту, что сами соблазнительницы, которымъ Алкей предавалъ цѣломудреннаго юношу, дали ему названіе «Невинный Пруденцій».

Но отчего же онъ, при всей своей юности и красотѣ, поражавшей множество женщинъ, былъ такъ недоступенъ никакимъ ихъ соблазнамъ?

Женская влюбленность въ Пруденція доходила до такихъ безумныхъ проявленій, что разъ, когда ему и Алкею случилось пристать на мысѣ, у города Книда, самая красивая дѣвушка этого городка кинула въ Пруденція изъ-за скалы острымъ бронзовымъ осколкомъ и, не попавъ въ голову, такъ тяжело ранила его въ плечо, что онъ упалъ, обливаясь кровью, а она въ это же время бросилась въ море.

Рана, нанесенная безумною книдянкою, была очень тяжела и такъ долго не заживала, что Алкей привезъ Пруденція къ вдовѣ Ефросинѣ больного, въ перевязкахъ, и случай этотъ, огласившись въ цѣломъ поселкѣ, возстановилъ въ памяти многихъ случай съ Гифасомъ, и далъ поводъ нехорошо говорить объ Алкеѣ.

Разговоры въ такомъ родѣ распространялись быстро и прежде всѣхъ дошли до слуха темнолицой невольницы Мармэ, которая, какъ сказано выше, была молодая и въ своемъ родѣ тоже очень красивая дѣвушка, и очень любила Мелиту.

— Госпожа!—сказала она, находясь вдвоемъ вечеромъ въ банѣ съ Мелитой:—въ народѣ разносятъ очень странныя рѣчи; мой долгъ предупредить тебя о томъ, что въ этихъ рѣчахъ, кромѣ сына вдовы Ефросины, много такого, что касается тоже тебя и твоего мужа, а моего господина, Алкея.

— Что же это такое?

— Вотъ что: всѣ знаютъ, что красивый Пруденцій пришелъ уже въ самый расцвѣтъ своей красоты и здоровья, а межъ тѣмъ онъ до сихъ поръ остается невиннѣй ребенка...

— Да, быть-можетъ, это и такъ, но вѣдь это меня нимало не касается, и я думаю, мнѣ объ этомъ совсѣмъ лишнее знать...

— О, нѣтъ, это не лишнее для тебя, госпожа!

— А я могу тебя увѣрить, усердная Марема, что это до меня совершенно не касается и даже нимало меня не занимаетъ.

— Это тебя должно занимать!

— Почему?

— Неужели ты не понимаешь?

— Не понимаю, и откровенно скажу, это мнѣ совсѣмъ непріятно... Для чего мнѣ знать эти вѣсти о томъ, какъ себя держитъ Пруденцій? Для чего всѣ вы стараетесь сдѣлать мнѣ все это извѣстнымъ?

— Кто же всѣ, госпожа?

— Напримѣръ, вдова Ефросина.

— Ага! это понятно. А еще кто, госпожа, говорилъ съ тобою объ образѣ жизни стыдливаго сына Гифаса?

— Представь, мнѣ говорилъ это мужъ мой Алкей.

— Самъ Алкей?

— Да.

— Онъ тоже имѣетъ причины.

— Онъ мнѣ ихъ не сказалъ.

— И это понятно.

— А мнѣ ничто не понятно,—отвѣчала Мелита и тотчасъ же добавила съ доброй улыбкой: — а если Мармэ извѣстно болѣе, чѣмъ ея госпожѣ, то это потому, что тутъ вѣрно есть что-нибудь, что касается больше Мармэ, чѣмъ Мелиты.

— О, совсѣмъ наоборотъ,—также съ улыбкой отвѣчала Марема:—не я, а ты, моя госпожа, живешь въ цѣломудренномъ сердцѣ невиннаго Пруденція.

— Что говоришь ты!.. Опомнись, что ты сказала, Марема!

— Я сказала только то, что для меня очевидно и что какъ разъ такъ и есть, какъ я сказала. И повѣрь мнѣ, госпожа, что это не мнѣ одной кажется такъ.

— Кто же еще смѣетъ такъ думать?

— Смѣетъ!.. Ты смѣшно говоришь: для чего тутъ особая смѣлость? Всякій даже противъ желанія долженъ подумать о томъ, что̀ передъ нимъ является съ такой же очевидностью, какъ страстная влюбленность въ тебя невиннаго Пруденція.

— Ты клевещешь разомъ на всѣхъ насъ, Мармэ, и я бы хотѣла, чтобы ты выпустила это изъ своей головы и никогда болѣе къ подобному разговору не возвращалась.

— Запретить говорить ты мнѣ можешь, и я буду тебѣ повиноваться, но «выпустить изъ головы»... Нѣтъ, ты требуешь невозможнаго дѣла!.. И притомъ, если я буду молчать, я не открою тебѣ всего, что̀ угрожаетъ...

— Кому?

— Кому? Странный вопросъ! Всѣмъ, кто тебѣ дорогъ: Алкею, Мелитѣ, вдовѣ Ефросинѣ и самому невинному Пруденцію, который не можетъ жить долго безъ перелома въ душѣ его, если не произойдетъ отвлеченія его мыслей куда-нибудь вдаль отъ всего, что̀ слилось для него въ одномъ сладостномъ звукѣ твоего имени. О, госпожа! Или ты въ самомъ дѣлѣ дитя, несмотря на довольно долгіе годы замужества съ Алкеемъ, или же ты самая большая и искусная притворщица въ свѣтѣ!.. Развѣ не видишь ты, какъ онъ глядитъ на тебя, такъ, что всякому видно, что онъ постоянно весь полонъ тобою...

— Я этого не вижу.

— Ты не видишь, но вижу я и видитъ мать его, вдова Ефросина, у которой онъ спитъ, положивъ голову ей на колѣни, а уста его въ тихомъ бреду произносятъ шопотомъ сладчайшее слово: «Мелита»... Вдова Ефросина тоже вѣдь женщина, и она не можетъ не догадаться, что̀ это значитъ... Я думаю, что если бы твой мужъ, засыпая у тебя на колѣняхъ, сталъ тихо шептать имя посторонней женщины, то хотя бы это имя значило не болѣе, чѣмъ имя Маремы,—ты бы догадалась, что господинъ мой зоветъ меня не для такихъ услугъ, которыя я обязана исполнить ему всѣ при твоемъ лицезрѣньѣ.

— Право, я никогда объ этомъ не думаю.

— Вѣрю! И зачѣмъ бы ты стала думать, когда твое сердце нимало не уязвлено страстью...

— Что̀ ты хочешь сказать?—перебила Мелита:—или, по-твоему, я не люблю своего мужа?

— Нѣтъ, ты любишь Алкея, какъ мужа, и на мужнину долю этого чувства довольно; но Алкей вѣдь не даромъ имѣетъ такіе глаза, которые могутъ сразу въ разныя стороны видѣть... Зачѣмъ онъ тебѣ разсказалъ про стыдливость этого юноши, который пламенѣетъ къ тебѣ первою страстью?.. О, я не была при томъ, какъ вы объ этомъ говорили, но я будто слышу вкрадчивый тонъ Алкеева голоса; я знаю навѣрно, какъ онъ съ шуткой мѣшалъ ядъ своихъ подозрѣній...

— Алкей это все разсказалъ мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, смѣясь.

— И ты приняла его смѣхъ за веселость!.. Ты вѣрила ему, что онъ шутитъ?!

— Почему же не вѣрить?

— О, это забавно! Однако это сохранило тебя отъ большей опасности; но она все-таки придетъ: я вижу мрачный огонь въ разлетѣ скошенныхъ зрачковъ твоего мужа, и, не какъ твоя рабыня, а какъ другъ твой, у котораго всѣ благополучія сопряжены съ твоею жизнью,—я заклинаю тебя, Мелита: сними повязку съ твоихъ прекрасныхъ глазъ,—вглядись въ то, что произошло, съ отвагой женщины, понимающей опасность, и обдумаемъ, что намъ дѣлать, чтобы не произошло бѣдствія.

— Въ какомъ родѣ бѣды ты ожидаешь, Марема?

— Въ томъ самомъ родѣ, въ какомъ кончилось дѣло жизни Гифаса.

— О, справедливое Небо! Неужто и ты, Мармэ, подозрѣваешь...

— Что ты, что ты, моя госпожа! Я столько же склонна что-нибудь подозрѣвать, сколько желаю быть продана отъ тебя въ каменоломни на скалы; но я тебѣ указываю въ ту сторону, гдѣ небо краснѣетъ и откуда слышится приближеніе бури... Будь осторожна... не выдавай себя Алкею ни звукомъ, ни взглядомъ.

— Да мнѣ нечего и скрывать... Я учила Пруденція—правда, по дружбѣ моей къ вдовѣ Ефросинѣ, и ласкала его тогда какъ ребенка, но я не сказала ему шопотомъ ни одного слова, никогда я не обвела его взоромъ нѣжнѣе, чѣмъ должна смотрѣть дружба, и я увѣрена, что если вдова Ефросина спроситъ Пруденція, то и онъ ей не скажетъ, чтобы я была виновата въ тѣхъ чувствахъ, о которыхъ ты мнѣ теперь разсказала... Я же при встрѣчѣ скажу ему

чтобы онъ пересталъ обо мнѣ думать, что это тяжело мнѣ... обидно... и... если только все правда, что̀ ты говорила, то онъ будетъ напрасно тратить свои лучшіе годы...

— Отчего?

— Какъ отчего?

— Ты развѣ не женщина?

— Да, я женщина... но что̀ же слѣдуетъ дальше?

Марема улыбнулась и сквозь улыбку сказала:

— Мы всѣ чутки сердцемъ... а ты такъ сострадательна...

— Ну, и мнѣ его жалко!

Марема махнула рукою и отвѣтила скоро:

— Ахъ, госпожа моя! — только и нужно: сожалѣнье къ мужчинѣ насъ отдаетъ въ его руки!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Мелита не сразу отвѣтила на послѣднія слова Маремы: она вѣроятно чувствовала, что въ нихъ есть доля правды; но потомъ она привела свои чувства въ порядокъ и сказала:

— Опаснаго много на свѣтѣ: можетъ-быть, что и сожалѣнье ведетъ насъ къ дурному; но я не боюсь этого.

— Что же ты развѣ зачарована?

Теперь улыбнулась Мелита и отвѣтила:

— Да!

— Какія же чары тебя защищаютъ?

— Я христіанка... я неспособна къ обманамъ и знаю, что нѣтъ и не можетъ быть счастья во лжи.

— Конечно, конечно!.. Ну, а если бы боги аида призвали къ себѣ моего господина...

— Что̀ ты опять говоришь мнѣ, Мармэ! Въ какомъ ты безстыдномъ теперь настроеніи!

— Нѣтъ, ты скажи: въ какомъ настроеніи ты чувствовала бы себя, оставшись свободною, молодою вдовою, когда нѣжная страсть такого красавца-юноши, какъ Пруденцій, не казалась бы тебѣ тѣмъ, чѣмъ кажется нынче? Ахъ, я увѣрена, что вы съ нимъ скоро пришли бы сжечь жертву вашихъ сердецъ у алтаря Гименея.

— Никогда!

— Почему, моя госпожа?

— Во-первыхъ, потому, что я христіанка.

— Я очень плохо понимаю различія въ вѣрахъ! Для меня всѣ религіи сходны въ одномъ: всѣ мѣшаютъ любить столько, сколько бъ хотѣлось!

Но эти слова привели Мелиту въ такое сильное разстройство, что она стала еще больше укорять Мармэ за вольности въ ея разсужденіяхъ.

— Ты говоришь мнѣ про пріязнь, которую ты ко мнѣ будто чувствуешь,—сказала Мелита:—а высказываешь такія мысли, которыя пристали бы развѣ коварной смутьянкѣ, желающей сбить замужнюю женщину съ пути ея долга. Но этого, я надѣюсь, со мной никогда не случится: отъ этого меня сохранитъ именно то святое ученіе, въ постиженіи котораго я стараюсь найти смыслъ жизни. Не улыбайся, Мармэ. Христіанское ученіе открываетъ человѣку, въ чемъ смыслъ жизни, и научаетъ его управлять своими страстями. Ты не разъ говорила мнѣ, что я облегчила тебѣ твою долю тѣмъ, что обращаюсь съ тобою не какъ съ рабыней, а какъ съ равной мнѣ женщиной; а вѣдь это произошло оттого, что нашъ Учитель велѣлъ намъ въ каждомъ человѣкѣ видѣть нашего брата, и потому мнѣ отрадно и сладко называть тебя моею «сестрою» и устроить тебѣ покой и довольство. Но дальше согласіе наше идти не можетъ, потому что ты почитаешь себя въ правѣ брать у жизни все, что только возможно схватить, а я разсуждаю иначе.

— О, конечно, схватить все, что можно! — перебила Мармэ.—Для чего упускать свое счастіе?

— Счастіе!.. Это неясное слово, Марема. Кто можетъ сказать: въ чемъ счастье?. Для тебя это, быть-можетъ, достиженье того, что тебѣ сейчасъ нравится, а для... другой...

— Ты хочешь сказать, для христіанки?

— Можетъ-быть, да. Для нея лучшая радость—вовсе не въ томъ, чтобы вырвать у жизни сейчасъ все, что возможно, а въ томъ, чтобы идти въ тишинѣ къ тому, что можетъ создать общую радость.

Мармэ засмѣялась и, отмахиваясь ладонями, молвила:

— Эге-ге! Это все старыя пѣсни! Ты оттого такъ разсуждаешь, что ты слишкомъ спокойно любишь мужа и не имѣешь отъ него дѣтей. Когда бы Алкей былъ способенъ внушить тебѣ болѣе жаркія чувства, или бы ты имѣла дѣтей, то повѣрь, что ты бы на все посмотрѣла иначе и стала желать *своего*, а не общаго счастья.

И Мармэ живо разсказала Мелитѣ, какъ живительно дѣйствуетъ счастье быть любимымъ тѣмъ, кого любишь, и какъ естественно заботиться о своихъ дѣтяхъ. Она представила эту заботу такой жаркой, съ которою совсѣмъ невозможно сравнить ровнаго участія всеобщей любви безразлично ко всѣмъ людямъ цѣлаго міра.

Но Мелита стояла на своемъ и снова ей возразила, что она не имѣетъ нужды въ особенныхъ чувствахъ къ людямъ, роднымъ ей только по крови, и что для нея гораздо желательнѣе имѣть благоволеніе *ко всѣмъ людямъ*, какъ это внушено въ ученіи, сдѣлавшемъ ее христіанкою. Тогда Мармэ пожала съ улыбкой своими смуглыми плечами и сказала:

— Споръ нашъ, я вижу, ни къ чему не приведетъ. Оставимъ все это времени, а теперь покуда помни лишь то, что я тебѣ сообщала: мужъ твой ревнуетъ тебя къ сыну вдовы Ефросины, и ты должна это знать и отстранить съ пути своего все, что можетъ усилить тревогу.

— «Усилить тревогу»! Тревога ни изъ-за чего!.. Тревога, въ которой я ничѣмъ не виновата, но которой, тѣмъ не менѣе, должна я бояться!.. И вотъ это-то всѣ вы называете жизнью! Нѣтъ, жизнь совершенно въ иномъ, и я не перестану искать ее гдѣ надо.

— Ищи! — отвѣчала, кончая бесѣду, Мармэ: — но еще лучше будь готова встрѣтить то, что она можетъ бросить тебѣ на твой путь совсѣмъ неожиданнаго.

— Пускай будетъ такъ. Я терпѣливо выслушала все, что ты мнѣ сказала отъ добраго сердца, и теперь я строже стану насторожѣ у моихъ чувствъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Эта бесѣда съ Мармэ глубоко врѣзалась въ сердце Мелиты и заставила ее передумать о вещахъ, на которыхъ она до сихъ поръ не останавливалась. По живости своего молодого темперамента и чистотѣ своихъ помысловъ она никакъ не могла допустить, чтобы Пруденцій, который былъ моложе ея на пять лѣтъ и съ которымъ она всегда обходилась какъ съ милымъ ребенкомъ, незамѣтно для нея загорѣлся къ ней такою неукротимою страстной любовью, для которой въ ихъ положеніи не могло быть никакого исхода. И вотъ теперь ей говорятъ, что это однако свершилось... До сихъ поръ Мелита этого не замѣчала, но теперь, послѣ

указаній Мармэ, она сама стала припоминать глубокіе вздохи невиннаго Пруденція и его долгіе взгляды, которые онъ устремлялъ на нее, забывая обо всемъ окружающемъ, при чемъ иногда не слышалъ, какъ его зоветъ мать или кличутъ другіе.

Противъ воли своей Мелита начала вѣрить, что она имѣла несчастіе внушить страсть юношѣ, и что если это не пройдетъ, то возможно, что Пруденцій совсѣмъ не захочетъ жениться, и тогда домъ его матери останется пустъ и вдова Ефросина станетъ укорять Мелиту въ увлеченіи сына,—въ чемъ она нисколько не виновата.

И въ самомъ дѣлѣ вдова Ефросина уже начала глядѣть на Мелиту не прежними глазами, и когда, послѣ разсказанной выше бесѣды, Алкей и Пруденцій отправились надолго въ море, — вдова Ефросина не стала болѣе скрывать своего неудовольствія на Мелиту и однажды сказала ей:

— Ты однако изсушила сердце моего ребенка.

— Боже! — отвѣчала Мелита: — неужто ты, Ефросина, склонна вѣрить, что мнѣ доставило бы удовольствіе путать смыслъ твоего сына!

— Я не вѣрю ничьимъ словамъ, но я сама вижу его терзанія, и сама за него терзаюсь.

— Но что я могу сдѣлать для того, чтобы не было этихъ терзаній?

Ефросина покачала головою и, наморщивъ лобъ, проговорила:

— Да; я знаю, ты ничего не можешь сдѣлать въ его пользу, но... но я все-таки страдаю, Мелита, и мнѣ тяжело тебя видѣть.

Съ этимъ вдова Ефросина ушла, а Мелита возвратилась къ себѣ, раздосадованная на роковое стеченіе обстоятельствъ, и не находила въ себѣ никакой вины: она не увлекала Пруденція въ сѣти своей красоты. Она провѣряла также свои собственныя чувства къ юношѣ и вполнѣ убѣдилась, что Пруденцій не составляетъ для нея никакой исключительности, — что онъ ей милъ и жалокъ не болѣе какъ многіе другіе, для которыхъ она готова бы сдѣлать всякую посильную услугу и радостью которыхъ могла бы радоваться. Но ни для кого въ свѣтѣ не хочетъ она нарушить вѣрности мужу. Нельзя же этимъ служить для утѣшенія вдовы Ефросины!

И при такихъ разсужденіяхъ Мелитѣ постоянно представлялось, что въ жизни, — чтобы прожить такъ, какъ должно,—надо имѣть со многими людьми нелады и борьбу, а при такомъ положеніи нѣтъ ни покоя, ни счастія. Стоитъ ли вводить себя въ такую борьбу для того, чтобы захватить чего-нибудь пріятнаго немножко побольше, чѣмъ есть у другихъ. Все это вѣдь на очень короткое время быстро минующей жизни. Нѣтъ; это не стоитъ. Безъ сравненія лучше жить борясь съ собою,—надо себя исправлять, освобождая себя отъ такихъ страстей, которыя влекутъ къ разладу съ милосердіемъ и человѣколюбіемъ... Мелита стала вспоминать одну изъ подругъ своего дѣтства, бѣлокурую Эрминію, которая была всѣхъ изящнѣе и красивѣе среди сверстницъ, а выбрала себѣ самую суровую долю: она такъ настроила свой духъ дошедшимъ до нихъ «галилейскимъ ученіемъ», что заботы о своемъ личномъ счастіи показались ей совсѣмъ недостойными никакого труда, и она отказалась отъ замужества и пошла служить больнымъ въ одной общинѣ въ Лидѣ.

Нравственный обликъ этой Эрминіи и серьезный путь ею для себя избранной жизни теперь безпрестанно приходили на мысли печальной Мелитѣ и мирили ее съ жизнью. Она соображала тотъ и другой путь, которымъ возможно идти, и находила, что на всѣхъ этихъ путяхъ нужно вести битвы за все и со всѣми, и что спокоенъ и тихъ тотъ только путь, на который люди не лѣзутъ толпою и гдѣ никого не надо ронять съ ногъ, чтобы самому завладѣть чьей-нибудь долею такъ называемыхъ радостей жизни... Это онъ-то и есть путь «Галилейскаго Пророка» и путь тѣхъ, кто вѣритъ въ истинность Его ученія... Вотъ что Мелита и предпочла бы всему, что имѣетъ. — Это путь отреченія отъ личныхъ радостей, — путь жизни, преданной благу другихъ...

И когда Мелита, обойдя мысленно все, что ей представлялось въ жизни, доходила опять до того, что избрала вспоминаемая ею подруга, она всегда чувствовала въ себѣ наитіе мира и покоя,—она ничего не боялась и смотрѣла смѣло впередъ и вѣрила, что въ этомъ одномъ настроеніи человѣкъ ближе всего къ истинной цѣли своего воплощенія.

Если бы какія-нибудь перемѣны въ жизни Мелиты были возможны и если бы онѣ зависѣли отъ ея выбора, то она бы

всему предпочла не быстро преходящую любовь съ избранникомъ сердца, а она сейчасъ бы встала и пошла бы искать свою подругу Эрминію и стала бы съ нею дѣлить ея служеніе немощнымъ старикамъ и покинутымъ дѣтямъ въ той же Лидѣ или въ другой мѣстности міра, гдѣ люди также все бьются другъ съ другомъ изъ-за личнаго счастья и оставляютъ безъ вниманія тѣхъ, которые ослабѣли и искалѣчились въ этой ужасной борьбѣ.

Гдѣ бы было возможно принести себя въ такую жертву, чтобы облегчить людское горе и положить начало новому направленію жизни, Мелита сейчасъ же бы встала и ушла туда... И тогда съ ней неразлучно была бы та совершенная радость, которую она и теперь уже ощущала, но которой въ нынѣшнемъ ея положеніи мѣшала неодолимая боязнь, что вдругъ подвернется такой или другой случай, и удалитъ ее отъ избраннаго вѣрнаго настроенія, и начнетъ переполнять душу ея тревогою, страхомъ и подозрѣніями...

О, эти подозрѣнія! Мелита знала имъ цѣну: когда еще живъ былъ Гифасъ, ей мимо воли случилось услыхать одинъ разговоръ ихъ съ Алкеемъ объ островкѣ, гдѣ у нихъ есть имъ однимъ только извѣстная пещера и въ ней хранятся ихъ сокровища и ихъ преступныя тайны... Съ этихъ поръ Мелита всегда подозрѣвала, что они не только товарищи по торговлѣ, но что они оба—грабители и убійцы... И это сдѣлалось источникомъ вѣчнаго страха и терзаній Мелиты,—она съ этихъ поръ подозрѣвала, что и всѣ другіе люди въ поселкѣ думаютъ о Гифасѣ и о ея мужѣ Алкеѣ какъ о разбойникахъ, а смерть Гифаса и общій приговоръ взять въ дѣло Пруденція еще болѣе утвердили Мелиту въ подозрѣніи, что всѣмъ уже извѣстенъ преступный родъ жизни Алкея, и что всѣ къ этому такъ равнодушны только потому, что и сами они въ нравственной жизни недалеко отошли отъ Алкея съ Гифасомъ... И теперь, конечно, этимъ же недостойнымъ путемъ будетъ проходить свою жизнь невинный Пруденцій... Вѣдь Алкей, конечно, ведетъ себя и при немъ такъ же, какъ велъ при Гифасѣ, и Пруденцій, безъ сомнѣнія, знаетъ уже, что у нихъ гдѣ-то въ группѣ прибрежныхъ скалъ есть островокъ съ пещерой... и тамъ какія-то сокровища, и еще что-то, о чемъ Мелита сама не имѣла точныхъ понятій... Она никогда не спрашивала объ этой тайнѣ мужа и не говорила о своихъ догадкахъ Ма-

ремѣ, потому что Мелитѣ стыдно было признаться, что она подозрѣваетъ своего мужа въ разбойничествѣ, а Марема... Ахъ, Марема, несмотря на свою преданность Мелитѣ, сама гораздо больше близка душою къ тѣмъ, чьи поступки и страсти такъ ужасаютъ Мелиту...

И оттого еще ужаснѣе горе Мелиты, что ей не съ кѣмъ облегчить свою душу, которая вдругъ начала тяжко томиться—точно она будто чуяла вблизи предстоящее новое горе. Все это надобно было скрывать, и Мелита скрывала. Чтобы думать въ тиши или плакать, не боясь пустыхъ замѣчаній о томъ, что «стыдно грустить», Мелита начала часто уходить на обрывистый берегъ моря и подолгу сидѣла тамъ, охвативъ руками колѣни и глядя въ безконечную даль, откуда она точно вызывала на сцену дѣйствія послѣднее искушеніе, которое и не умедлило своимъ приходомъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Разъ, когда Мелита сидѣла надъ облюбованнымъ ею обрывомъ морского берега, изъ-за столпившихся вдалекѣ темныхъ скалъ показалась лодка, съ которой были убраны всѣ паруса, кромѣ одного стараго, на которомъ она едва подвигалась. Вмѣсто флажка, наверху мачты былъ надѣтъ головной колпакъ изъ чернаго войлока.

Если бы Мелита не была слишкомъ сильно погружена въ свои размышленія, уводившія ее къ желанію рѣзкаго перелома въ своей жизни, то она бы непремѣнно замѣтила эту лодку, и по ея печальной оснасткѣ она поняла бы, что на этомъ суднѣ случилось какое-то большое несчастіе. Но Мелита видѣла лодку, и ея грязный парусъ, и войлочный черный колпакъ наверху ея мачты, и всему этому не придала никакого значенія.

Она должна бы замѣтить и то, что лодка, бывшая, конечно, въ далекомъ плаваніи, входила въ пристань въ необычное время и держала курсъ своей не прямо къ поселку, а нарочно проходила между скалами и пристала у одной изъ нихъ, завязавъ канатъ у торчащаго рогомъ обломка утеса.

Съ лодки сошелъ кто-то, покрытый коричневымъ полотномъ, и, ничего не взявъ съ судна, скрылся гдѣ-то подъ берегомъ, а потомъ, черезъ часъ или нѣсколько больше,

опять возвратился къ лодкѣ вдвоемъ съ закутанной женщиной, которая едва лишь ступила на лодку, какъ страшно вскрикнула и, отпихнувъ отъ себя сопровождавшаго ее мужчину, упала въ море, но сейчасъ же выплыла на берегъ и убѣжала.

Это Мелита уже замѣтила потому, что женскій крикъ былъ слишкомъ громокъ и страшенъ, но она тотчасъ же потеряла изъ вида эту фигуру, и зато тѣмъ болѣе была поражена, когда черезъ малое время эта же самая фигура, въ томъ же мокромъ платьѣ, но въ лицѣ Маремы, подбѣжала къ Мелитѣ и, упавъ передъ ней съ сжатыми руками, завопила сквозь слезы:

— О, моя бѣдная госпожа! Прокляни и продай меня, какъ злую вѣстницу, въ жестокія руки! я достойна этого за то горе, какое мнѣ суждено тебѣ возвѣстить.

При первыхъ же словахъ Маремы сердце Мелиты переполнилось предчувствіемъ жесточайшаго несчастія, и она ей сказала:

— Умоляю тебя, говори мнѣ скорѣй, что случилось, и не бойся моего гнѣва—моя вѣра не даетъ мѣста гнѣву.

— О, да,—отвѣчала Марема: — теперь тебѣ наступилъ часъ показать твоей бѣдной и темной рабѣ, сколько свѣта и силы можетъ дать человѣку твоя вѣра!

— Я постараюсь, чтобы ты не получила о ней черезъ меня дурного понятія; говори, что должна я узнать!

— Твой мужъ... вонъ, видишь, тамъ, у скалы... это лодка его... моего господина Алкея, и... въ ней на днѣ около мачты, на вершинѣ которой поднятъ черный колпакъ, лежитъ, покрытое парусомъ... бездыханное тѣло.

— Пруденція!—воскликнула громко Мелита и сейчасъ же заломила надъ головою руки и стала повторять сквозь рыданія: — Бѣдное дитя! Неужели Алкей убилъ его въ ревности! О, злополучный невинный Пруденцій!

Но Марема, давъ нѣсколько времени проплакать Мелитѣ и какъ бы освоиться съ горемъ, взяла ее тихо за руки и, переводя ихъ къ своему сердцу, сказала:

— Нѣтъ, Мелита! Ты напрасно плачешь о юношѣ, ты должна оборотить къ себѣ горе другой стороною: погибъ не Пруденцій, а тотъ, чья смерть тебя оставляетъ вдовою.

Мелита вдругъ воздержала свои слезы и остановила сухой огненный взглядъ на Маремѣ.

— Умеръ мужъ мой, Алкей?!

— Да, госпожа.

— И тамъ, внизу, у скалы его тѣло?

— Да, оно въ лодкѣ... тѣло Алкея... Я его видѣла и проклята рокъ, судившій мнѣ возвѣстить тебѣ это несчастіе.

— Оставь говорить о проклятіяхъ и веди меня скорѣй къ лодкѣ!

Марема положила себѣ на плечо руку Мелиты, и обѣ женщины пошли спѣшной походкою къ морю и скоро стали у лодки, на которой не было никакого груза, а только у основанія мачты лежалъ небрежно брошенный парусъ.

— Вотъ это здѣсь,—тихо сказала Марема и затѣмъ съ участіемъ спросила:—если ты можешь видѣть и прикажешь открыть...

Но Мелита, вмѣсто отвѣта, сама нагнулась и едва приподняла уголъ сѣраго полотна съ синей каймою, какъ увидала мертвое лицо Алкея съ выдавшимися косыми глазами и тремя страшными колотыми ранами въ черепѣ... Раны были посреди темени, всѣ три кругловатыя, каждая величиною въ вишню, и всѣ рядомъ, одна отъ другой на разстояніи пальца... Ихъ не нужно было ощупывать, чтобы сказать, что всѣ онѣ равномѣрно глубоки и всѣ три смертельны.

Мелита склонилась къ головѣ мужа и долго смотрѣла въ его глаза, а потомъ, когда подняла лицо свое, увидала, что прямо передъ нею, по другую сторону паруса, стоялъ, въ печальномъ платьѣ и съ печальнымъ лицомъ, невинный Пруденцій.

Увидя его открытое лицо, хранившее до сихъ поръ на себѣ слѣды цѣломудрія и духовной чистоты, Мелита вздохнула и тихо промолвила:

— Ты знаешь, конечно, что о тебѣ скажутъ люди, когда увидятъ несчастное тѣло Алкея?

— Да, знаю,—отвѣтилъ Пруденцій:—люди скажутъ, что это я нанесъ смертельныя раны Алкею.

— И что же ты имъ отвѣтишь въ свое оправданіе? Я, вѣдь, не знаю, какъ ты искусенъ во лжи. Или, быть-можетъ, ты для того и привезъ сюда тѣло Алкея, чтобы предъ всѣми признаться въ убійствѣ и разсказать, для чего это сдѣлалъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ ей невинный Пруденцій. — Я не

для того привезъ сюда тѣло Алкея, чтобы изощряться во лжи или дѣлать надъ нимъ признанія въ убійствѣ. Я привезъ его для того, чтобы ты могла видѣть хоть мертваго мужа и могла его оплакать и схоронить какъ жена. А когда меня спросятъ о смерти Алкея, я безо лжи разскажу о ней всю сущую правду.

Слушая эти слова, Мелита смотрѣла острымъ и пристальнымъ взглядомъ въ глаза Пруденція и получила въ глубинѣ своего духа безотчетное удостовѣреніе, что Пруденцій ничѣмъ не повиненъ въ смерти Алкея...

Это ей было отрадно, и душа ея успокоилась, насколько это было возможно въ теперешнемъ случаѣ.

— Если ты правъ,—отвѣчала она:—то и спѣши скорѣй принести свое оправданье: я и Марема останемся здѣсь у мертваго тѣла Алкея. Ты же иди поскорѣе въ селеніе, позови свою мать, вдову Ефросину, и вызови всѣхъ старыхъ и молодыхъ людей на берегъ моря, на то мѣсто, гдѣ Алкей говорилъ предъ людьми о кончинѣ отца твоего, Гифаса. Я и Марема приведемъ туда лодку съ тѣломъ, а вы всѣ наломайте вѣтвей, на которыхъ можно поднять и нести тѣло Алкея, и когда оно будетъ поднято, ты передъ всѣми долженъ сказать, какъ случилась гибель Алкея и кто нанесъ ему эти три равномѣрныя раны.

Пруденцій ей тихо кивнулъ головою и, скоро достигнувъ селенья, снялъ рожокъ, который висѣлъ на сукѣ стараго дуба, и протрубилъ для всѣхъ три призыванья, чтобы всѣ шли скорѣй на собранье.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Услышавъ рожокъ, люди тотчасъ же стали выходить изъ домовъ и, поправляя одежды, стали направляться къ тому мѣсту, гдѣ еще такъ недавно всѣ выслушивали повѣсть Алкея о смерти Гифаса. Здѣсь и теперь, такъ, какъ и тогда, стояла на пескѣ опрокинутая килемъ вверхъ старая лодка.

Все это было на полперелета стрѣлы отъ стараго дуба, подъ которымъ теперь стоялъ Пруденцій. И онъ продолжалъ здѣсь стоять, пока на берегу около лодки собрались почти всѣ взрослые люди селенія, а изъ-за загиба пологаго мыса показалась на морѣ лодка, которую гнали на веслахъ Мелита съ Маремой.

Пруденцій, который ожидалъ появленія на морѣ этой

лодки, прежде всѣхъ ее и замѣтилъ: и онъ тотчасъ же снялъ съ дерева рогъ, висѣвшій на скрученномъ лыкѣ, и надулъ его такъ, что рогъ за разъ издалъ, кромѣ общаго призывного звука, еще особый сигналъ, который могъ имѣть условное значеніе для друзей трубача или его семейныхъ.

Собравшіеся люди не упустили замѣтить этотъ сигналъ, и одинъ молвилъ другому:

— Пруденцій навѣрно хочетъ сказать что-то необыкновенное.

— Почему ты такъ думаешь?

— Онъ кому-то даетъ сигналъ на священномъ рожкѣ.

— Это онъ зоветъ сюда свою мать.

— О, да! Вонъ она и выходитъ—вдова Ефросина.

— Значитъ, они еще не видались?

— Такъ надо думать.

— Любопытно! Пруденцій, конечно, желаетъ, чтобы мать его была здѣсь при томъ, для чего онъ сзываетъ селенье; но что это такое онъ хочетъ сказать?

— Услышимъ.

— Ужъ конечно услышимъ. Вонъ къ берегу тянется лодка... Эге! Да это знакомая лодка Алкея. Ее, еще года нѣтъ, снаряжалъ и опять недавно раскрасилъ Гифасъ, а теперь... смотри, что такое?... Лодку ведутъ на веслахъ двѣ женщины... Ахъ, вѣдь это Мелита съ своею рабыней, сидонянкой Маремой... Ну, у этой руки изъ бронзы, но все-таки женщинамъ не пристать сюда близко... Здѣсь вязкая тина и внизу въ разныхъ мѣстахъ, не на одной глубинѣ, острые камни... Ага! вотъ хорошо догадался Пруденцій: онъ сбѣжалъ къ морю и вошелъ въ воду... Ну, немножко измокнетъ, а зато онъ взялъ лодку за канатъ и подведетъ ее къ берегу... Ишь, какъ онъ весь изогнулся подъ лямкой!

— И зато какой чудный станъ!..

— Да, ужъ Пруденцій, извѣстно, совершенный красавецъ. Говори что кто хочетъ, а имъ вѣдь недаромъ гордится наше селеніе, и я думаю, если бы боги не имѣли зависти къ красотѣ смертныхъ, то нельзя было бы ни понять и ничѣмъ объяснить, какъ они могли допустить соединеніе Мелиты съ раскосымъ Алкеемъ, послѣ чего Мелита остается безплодной, тогда какъ ее слѣдовало бы соединить съ Пруденціемъ...

— Ага! это правда.

— Да, ужъ тогда было бы можно ручаться, что Мелита не тосковала бы и не осталась бы безплодной, а взору человѣческому былъ бы данъ для услады самый красивый ребенокъ.

— Да; я думаю тоже, что если бы Мелита была помоложе и была бы свободна,—она не сочла бы для себя за большое обремененіе ласки Пруденція, и тогда-то, пожалуй, ты правъ, что второй Купидонъ могъ бы родиться гдѣ-нибудь въ нашемъ незнатномъ селеніи; но вѣдь Мелита постарше Пруденція, и мужъ ея, косоглазый Алкей, долговѣченъ: всѣ его предки всегда достигали маститаго вѣка...

Но въ это мгновенье у лодки, подвинутой къ берегу, раздался голосъ Пруденція:

— Почтенные люди и ты, о, нѣжно любимая мать моя, вдова Ефросина! Еще въ очень недавнее время отсюда отплыли вдвоемъ: отецъ мой, отважный Гифасъ, съ безстрашнымъ Алкеемъ. Такъ они много разъ отправлялись вмѣстѣ вдвоемъ и всегда вмѣстѣ вдвоемъ возвращались, но въ этотъ послѣдній разъ случилось иначе: въ этотъ разъ возвратился одинъ только смѣлый Алкей и открылъ здѣсь, на этомъ же мѣстѣ, всѣмъ вамъ и мнѣ, сыну Гифаса, и вдовѣ отца моего Ефросинѣ, что отецъ мой сдѣлался жертвою моря.

Всѣ люди слушали это вступленіе о вещахъ, всѣмъ имъ извѣстныхъ, и напряженно смотрѣли на Пруденція и на Мелиту съ Маремой, стоявшихъ попрежнему въ лодкѣ. Въ толпѣ проносилось:

— Что онъ хочетъ сказать?.. Для чего въ лодкѣ стоятъ Мелита съ служанкой?.. Пруденцій, быть-можетъ, узналъ что-нибудь и задумалъ теперь обвинить въ преступленьѣ Алкея?

А Пруденцій, вмѣсто того, вдругъ зарыдалъ и, рыдая, воскликнулъ:

— Посмотрите же, что нынче сталось съ самимъ безстрашнымъ Алкеемъ!

Пруденцій сдвинулъ лежащій на днѣ лодки парусъ и, приподнявъ трупъ Алкея, добавилъ:

— Вотъ онъ, Алкей! Онъ убитъ. Подходите и смотрите: на его темени рядомъ три одинакія ранки. Отъ каждой изъ нихъ человѣкъ долженъ былъ умереть непремѣнно, а Алкей получилъ всѣ три раны въ одно мгновеніе ока.

— Гдѣ и какъ онъ могъ получить ихъ?—зашумѣли, толпясь на берегу и отчасти входя въ воду, люди.

— Ты долженъ все объяснить,—кричали другіе.

— Да; ты за него отвѣчаешь.

— И ты можешь быть въ подозрѣніи: ты мстилъ ему за Гифаса!

— Или завидовалъ красотѣ несравненной Мелиты!

— О, воздержитесь! — воскликнулъ Пруденцій. — Вы не опоздаете оскорблять меня обвиненіями и послѣ того, когда я все изложу вамъ, какъ было дѣло. Дѣло же въ томъ, что Алкей и, упредившій его на пути въ царство тѣней, отецъ мой Гифасъ не только занимались торговлей, но они... они тоже нападали на другія суда и грабили ихъ, и топили...

На всю массу слушателей это не произвело особенно сильнаго впечатлѣнія, и даже, кажется, никого не удивило, кромѣ одной Мелиты, которая вскрикнула: «Мой мужъ былъ разбойникъ!»—и, поднявъ кверху руки, упала головою на плечо Маремы.

Пруденцій же продолжалъ говорить и разсказалъ, что онъ не вѣритъ словамъ Алкея, какъ погибъ Гифасъ, что это навѣрное было какъ-то иначе, но что онъ никогда не думалъ мстить за это Алкею, а самъ Алкей получилъ свои раны отъ гвоздей, предательски вбитыхъ въ днище плывшей византійской триремы, подъ которую Алкей поднырнулъ съ тѣмъ, чтобы тихо взобраться на ея бортъ и задушить соннаго кормщика, а остальныхъ сонныхъ людей сбросить въ море; но эта трирема была для нихъ проклятой ловушкой: когда они встрѣтились съ ней предъ разсвѣтомъ, люди на ней только притворялись спящими, а вовсе не спали; а дно самой триремы было утыкано острыми спицами, изъ которыхъ три сразу же вонзились въ темя Алкея, такъ что бѣлый гребень набѣжавшей волны въ то же мгновенье и сразу весь окрасился Алкеевой кровью...

Затѣмъ слѣдовалъ разсказъ о томъ, какъ притворно спавшіе на триремѣ византійскіе греки злорадно захохотали и, оттолкнувъ отъ себя шестомъ тѣло Алкея, уплыли въ море, а осиротѣлый Пруденцій остался одинъ и съ трудомъ изловилъ Алкеево тѣло, втащилъ его въ ладью и привезъ сюда, чтобы оно было предано погребенію и чтобы видѣли всѣ, что ему нѣтъ нужды ничего скрывать въ этомъ несчастномъ дѣлѣ, полагающемъ конецъ торговому товариществу двухъ ихъ домовъ.

Пруденцій закончилъ словами:

— Кто-то сказалъ, что на меня есть подозрѣніе!.. Что же, судите меня! Я не боюсь ничего, я приготовился къ смерти, но я невиненъ въ смерти Алкея.

Народъ, выслушавъ все это, оставался въ недоумѣніи и обнаруживалъ разногласіе: однимъ казалось, что Пруденцій дѣйствительно не виноватъ въ смерти Алкея, а другіе думали, что Алкей убитъ его рукою, именно изъ мести за отца или, быть-можетъ, и отъ любви къ Мелитѣ. И тогда постановили: опять положить тѣло Алкея въ лодку и туда же помѣстить Пруденція, и въ сопровожденіи двухъ молодыхъ людей и двухъ старцевъ, послать трупъ и подозрѣваемаго къ прорицательницѣ, жившей на отдаленномъ островѣ. Тамъ поручалось старцамъ вопросить прорицательницу надъ головою Алкея: виновенъ ли Пруденцій въ его убійствѣ? И если вѣщая дѣва скажетъ, что Пруденцій виновенъ, то тогда старцы, отблагодаривъ прорицательницу, снова войдутъ въ ладью вмѣстѣ съ Пруденціемъ, и когда удалятся настолько, что берегъ сдѣлается не виденъ, тогда старцы велятъ юношамъ завернуть Пруденція вмѣстѣ съ трупомъ Алкея въ парусъ и потомъ обмотать ихъ бечевою и бросить ихъ вмѣстѣ въ море.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Нельзя описать, какой страшный плачъ сдѣлала вдова Ефросина, когда услыхала такое рѣшеніе. И она не одна плакала, — съ нею стонали и другія женщины, потому что многимъ жаль было невиннаго Пруденція. Стонала и рвалась также и Марема, но Мелита не стонала и не рвала на себѣ ни волосъ, ни платья, а только поблѣднѣла и долго стояла въ молчаніи на одномъ мѣстѣ; но потомъ, когда ладья съ тѣломъ Алкея, съ Пруденціемъ и съ сопровождающими ихъ двумя старцами и двумя юношами отвалила отъ берега, Мелита подошла къ Ефросинѣ и сказала ей:

— Наши вопли и слезы ничему не помогутъ; вмѣсто того, чтобы здѣсь изнурять свои силы, сядемъ скорѣе въ другую ладью и поѣдемъ слѣдомъ за ними. Можетъ-быть, прорицательница, увидя твое материнское горе, склонитъ къ нему свой слухъ и дастъ старцамъ отвѣтъ, который послужитъ къ тому, что люди признаютъ невинность Пруденція.

Ефросина на это легко согласилась и черезъ самое малое время послѣ того, какъ ладья съ тѣломъ Алкея скрылась изъ глазъ, отъ той же пристани отошла другая ладья, нанятая Мелитою у нѣмого Тромеда, и на этой ладьѣ, у кормила которой стоялъ самъ Тромедъ, помѣщались Ефросина и Мелита съ своей вѣрной Маремой.

И прошло всего двое сутокъ, какъ на третій день къ вечеру жители селенія увидали, что обѣ ладьи опять возвращались и ладья нѣмого Тромеда опережала большую ладью, принадлежавшую прежде Алкею съ Гифасомъ. На передней ладьѣ, рулемъ которой правилъ Тромедъ, а парусами Марема, по серединѣ сидѣлъ юный Пруденцій, а съ двухъ сторонъ его—Ефросина и Мелита.

Съ берега видѣли ясно, что Ефросина внушала что-то сыну съ большимъ увлеченіемъ, а онъ ее радостно слушалъ и съ видимымъ счастіемъ сжималъ своими руками ея обѣ руки, а Мелита сидѣла въ раздумьѣ и, опустивъ руку за бортъ, держала въ ней камышинку, листья которой играли съ дробившейся волною. Въ лодкѣ Алкея оба юноши и оба старца были спокойны: на всѣхъ на нихъ нынче были надѣты вѣнки изъ бѣлыхъ пупавокъ въ знакъ того, что ихъ головы свободны отъ гнета всякой тягостной мысли, и на ихъ мачтѣ не было уже болѣе чернаго войлочнаго колпака, а вмѣсто него красовалась зеленая вѣтка оливы.

Ясно было, что вѣщая дѣва объявила невиннымъ Пруденція и что трупъ Алкея, какъ ненужный болѣе ни для какихъ разслѣдованій, спущенъ былъ въ море, и теперь всѣ возвращаются въ покоѣ и въ мирѣ.

Всѣ догадались, что сейчасъ наступаетъ веселый, радостный вечеръ, что вдова Ефросина навѣрно не станетъ скупиться, а жарко растопитъ очагъ въ своемъ домѣ и угоститъ всѣхъ такъ изобильно, какъ она можетъ. О, она не поскупится справить веселый праздникъ за спасеніе сына.

Такъ это и сдѣлалось: лодки пристали, старцы и юноши объявили, что Пруденцій невиненъ и что при этомъ случилось еще одно пречудесное дѣло... Вышло такъ, что когда вдова Ефросина вмѣстѣ съ Мелитой хотѣли поднять Пруденція отъ ногъ прорицательницы, то вѣщая дѣва вдругъ какъ-будто проснулась,—лицо ея озарилось улыбкой, и она, взявъ за руки Мелиту и Пруденція, вложила одну въ другую ихъ руки...

Тутъ всѣ, кто это слушалъ, заплескали руками и запѣли: «Эвое! Эвое!» и начали обнимать и цѣловать и Мелиту, и Пруденція и поздравлять вдову Ефросину, и радоваться, что союзъ Мелиты съ Пруденціемъ исполнитъ ихъ счастіемъ и устранитъ всякій вопросъ о раздѣлѣ имущества, такъ какъ съ этихъ поръ все равно, что̀ Пруденціево, что̀ Мелитино. И всѣ, распивая вино, которое выставила Ефросина, и обоняя запахъ мяса и рыбъ, которыя жарились на вертелахъ, и сладостный паръ черносливныхъ поливъ, кипѣвшихъ въ огромныхъ сосудахъ, — всѣ безъ уговора стали считать себя въ правѣ смотрѣть на Пруденція и на Мелиту какъ на супруговъ, для соединенія которыхъ все рѣшено самою судьбою и теперь только потребно какое-то недолгое время, чтобы бракъ ихъ признать совершеннымъ.

Невинный Пруденцій былъ наверху своего счастія и еще усугубилъ свою всегдашнюю почтительную скромность передъ Мелитой, а вдова Ефросина даже терялась отъ радости и изливалась въ привѣтахъ и ласкахъ ко всѣмъ, кто подходилъ къ ея очагу, чтобы брать мясо, и рыбу, и похлебки; въ радостномъ духѣ была и Марема, которая помогала Ефросинѣ въ угощеніи и, нося на плечѣ кувшины съ вцномъ, наполняла имъ чаши. Одна лишь Мелита не измѣняла своей задумчивости и не отвѣчала ни на какіе намеки, а какъ бы витала теперь гдѣ-то далеко отсюда, и когда гости, замѣтивъ на небѣ признакъ приближающагося утра, начали расходиться, Мелита вздрогнула и, взглянувъ въ знакомыя лица Маремы и вдовы Ефросины, сказала:

— О, кто бы вы ни были! — отведите меня куда-нибудь въ тихое мѣсто!

Такое обращеніе къ Маремѣ и Ефросинѣ, какъ къ незнакомымъ, очень удивило обѣихъ женщинъ, и онѣ, переглянувшись другъ съ другомъ, подумали: не выпила ли Мелита съ жажды ошибкою цѣльнаго вина, или не потеряла ли она разсудка при морскомъ переѣздѣ на лодкѣ или при быстромъ охлажденіи воздуха.

Марема попробовала руки Мелиты и, чувствуя, что онѣ холодны, окутала ея голову и станъ покрываломъ вдовы Ефросины и, обвивъ ея станъ своею рукою, повела ее къ дому.

Какъ провожая Мелиту, такъ и укладывая ее дома въ

постель, Марема все время была въ полной увѣренности, что госпожа ея недомогаетъ отъ множества смѣшанныхъ чувствъ, надъ которыми забираетъ самое высшее положеніе и самую большую силу любовь ея къ прекрасному и невинному Пруденцію; а потому, чтобы сказать Мелитѣ что-нибудь самое радостное и способное вызвать въ ней оживленіе,—Марема, покрывши Мелиту ночнымъ одѣяломъ, нагнулась къ ея лицу и, поцѣловавъ ее въ лобъ, прошептала ей на ухо:

— Спи и пусть тебѣ снится тотъ, къ кому рвется съ любовью твое разрѣшенное отъ клятвъ сердце!..

А когда Мелита промолчала, то потомъ Марема распрямилась и ласково спросила ее:

— Скажи мнѣ, ты не сердишься за то, что я позволяю себѣ немножко читать въ твоемъ сердцѣ?

— Нѣтъ,—отвѣчала Мелита:—я не сержусь.

— Значитъ, я угадала...

— Нѣтъ, это не значитъ, что ты угадала. Я не сержусь на тебя, потому что ни на кого не должно сердиться, а сердце мое дѣйствительно неспокойно и дѣйствительно оно съ каждымъ днемъ все становится болѣе полно любви, но это любовь совсѣмъ не къ тому, о комъ ты помышляешь...

— Какъ, развѣ невинный Пруденцій не одинъ... Неужто же онъ долженъ будетъ отнимать у кого-нибудь свое мѣсто въ сердцѣ Мелиты?

А Мелита ей отвѣтила:

— Успокойся, Марема! И ты, и невинный Пруденцій имѣете свое мѣсто въ сердцѣ Мелиты...

— О, я не говорю о себѣ!—перебила Марема.

— Дай мнѣ докончить! И ты, какъ и онъ, живете и будете жить въ моемъ сердцѣ, потому что я люблю васъ обоихъ, какъ стремлюсь и желаю любить всѣхъ людей въ мірѣ. Изъ васъ никому не нужно ни у кого отнимать ваше мѣсто въ моемъ сердцѣ, но *владѣть* имъ, — *повелѣвать* моему сердцу и *править имъ* съ властительной силой и властью будетъ только одинъ...

— Кто же это такой? Я его знаю или не знаю?

Мелита ласково ей улыбнулась и сказала:

— И знаешь, и нѣтъ.

— Кто же это такой?

— Іисусъ Галилейскій.

Марема положила большіе пальцы обѣихъ рукъ себѣ на уши и, закрывъ остальными перстами свои глаза, затрясла головою въ знакъ того, что она ничего въ этомъ не понимаетъ ни однимъ изъ своихъ чувствъ. Но Мелита привлекла ее къ себѣ, уложила рядомъ съ собою въ постель, и, лаская ее, стала ей говорить: что жизнь на землѣ ей не представляется цѣлью достойною заботъ и стараній; что всѣ радости жизни слишкомъ быстротечны и оставляютъ послѣ себя одну пустоту и страданье; что «союзъ сердецъ», который воспѣваютъ пѣвцы,—нимало не надеженъ, если онъ основанъ на влеченіяхъ страсти; что какъ бы ни укрѣпляли такой союзъ, онъ никогда и ни отъ чего не получитъ всегдашней прочности, а истиненъ и крѣпокъ одинъ лишь союзъ — это союзъ тѣхъ людей, которые сопрягаютъ себя подъ одно иго по схожести мыслей и по согласію въ разумѣніи жизни...

— И вотъ, — добавила Мелита, послѣ долгаго развитія своихъ соображеній въ этомъ духѣ: — вотъ тотъ союзъ, о которомъ можно говорить, какъ о прочномъ благѣ — объ исполненіи закона жизни земной, учрежденной для приготовленія насъ къ какой-то другой, высшей цѣли, намъ неизвѣстной. Но кто же изъ насъ всѣхъ такъ единомысленъ и такъ схоже настроенъ, чтобы слиться другъ съ другомъ? Я надѣюсь, что это не я и не невинный Пруденцій. Развѣ ему міръ и назначеніе въ немъ человѣка представляется тѣмъ же, чѣмъ мнѣ?

— О, это было бы страшно, Мелита!

— Быть-можетъ. А мнѣ кажется страшно другое... страшно соединиться на одномъ ложѣ съ человѣкомъ, съ которымъ меня ничто не соединяетъ духовно, а развѣ только одно бунтованье плоти и крови... О, какъ ужасно и страшно должно быть проснуться послѣ этой опьяняющей ночи, что вы называете вашей «любовью»!.. Какъ надо будетъ дрожать, чтобы плодомъ этихъ объятій не явилися дѣти, о наученіи которыхъ мать должна будетъ спорить съ ихъ же отцомъ!

— Зачѣмъ же все спорить, Мелита?

— Затѣмъ, что нельзя съ равнодушьемъ глядѣть, если дѣтей ведутъ не къ тому, что̀ серьезно и свято,—что̀ воспитываетъ духъ въ человѣкѣ и «ставитъ его господиномъ надъ звѣремъ, живущимъ въ самомъ человѣкѣ...» О, какъ это страшно! какъ это страшно!

— Однакоже ты вѣдь была женою Алкея и могла бы не разъ сдѣлаться матерью рожденныхъ тобою дѣтей.

Мелита вздохнула и отвѣчала:

— Могла!.. Ты права: я была женою человѣка, съ которымъ у меня не было ничего общаго въ мысляхъ. Я стала женою Алкея ребенкомъ, когда сама не имѣла тѣхъ мыслей о жизни, какія имѣю теперь. И не хочешь ли ты меня укорить за то, что я съ нимъ жила и не бѣжала изъ его дома, и не раздражала его гнѣва уклоненіемъ отъ его ласкъ и объятій, которыя я должна была принимать, разъ назвавшись женою! Да; я все это снесла, и все это было мнѣ тяжело; но я понимала, что Алкей не виноватъ въ томъ, что въ его глазахъ свѣтъ свѣтился иначе, чѣмъ онъ засвѣтился въ моемъ взглядѣ! Когда намъ пѣли брачные гимны, я его не могла предупредить объ этомъ и такъ же точно не должна была его оставить, пока онъ могъ быть моимъ мужемъ... Но теперь, когда не по моей волѣ все это минуло,—теперь, когда я свободна и вижу ясную цѣль въ моей жизни, я не хочу утомлять духъ мой въ обязательствахъ брака съ мужчиной... Я не считаю призваньемъ и долгомъ вызвать нѣсколько новыхъ дѣтей, чтобы было кому собирать ракушки и камни на берегу моря... Напрасно вы думаете, что я соглашусь связать съ кѣмъ-нибудь мое право отдать себя съ этимъ тѣломъ и кровью на пользу вѣчнаго духа, жизнь котораго я въ себѣ ощущаю... О, какія вы дѣти! О, какія вы несмысленныя, бѣдныя дѣти!.. Встань, о Марема,—встань, другъ мой!.. Ты уже другъ мой, а не рабыня—рабство беззаконно, я тебя отпускаю и... я постараюсь, чтобы ты получила все то, въ чемъ ты видишь счастье... Цѣлуй меня просто, какъ друга, и, если любишь меня, сослужи сама мнѣ еще одну величайшую службу... Встань,—о, Марема!—спѣши ко вдовѣ Ефросинѣ... говори ей... проси... убѣждай... что Мелита не можетъ... она не годится быть подругой Пруденція... Иди!

И Марема дѣйствительно встала и вышла,—но она была въ сильномъ волненіи и побѣжала ко вдовѣ Ефросинѣ, а когда разбудила вдову, то сказала ей съ замирающимъ сердцемъ:

— Случилось еще очень большое несчастье!

— Домъ вашъ сгорѣлъ?

— Нѣтъ; но Мелита, моя госпожа... помрачилась въ разсудкѣ.

— О, боги! о, боги! Зачѣмъ такъ всесильна надъ нами любовь!

— Ужасно!

— Скажи же скорѣе, что она говоритъ?.. Она не дождется Пруденція?.. Да? Говори же!

— Она говоритъ... совсѣмъ противъ брака.

— Съ Пруденціемъ?

— Съ кѣмъ бы то ни было.

Ефросина вскричала:

— О, боги, какое безумье! Но это минуетъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Такъ несродно было пониманію вдовы Ефросины и юной Маремы все то, что имъ сказала молодая христіанка Мелита. Обѣ женщины не могли допустить, чтобы человѣкъ, сохраняющій здравый разсудокъ въ своей головѣ, могъ имѣть о значеніи жизни и о главномъ назначеніи женщины такія, по ихъ мнѣнію, безумныя понятія, какія начала высказывать высоко настроенная Мелита... И изъ того, что это случилось такъ неожиданно, вдругъ, вскорѣ послѣ того, какъ молодая вдова Алкея пережила столько внезапныхъ потрясеній, опытная въ жизни мать Пруденція, пожилая вдова Ефросина, имѣла вполнѣ достаточныя, по ея мнѣнію, основанія вывесть, что въ Мелитѣ произошла не твердая и ясно обдуманная перемѣна въ образѣ мыслей, а просто забурлилъ на время какой-то бурный порывъ, дающій ея мыслямъ болѣзненное и безпорядочное направленіе.

А какъ Мелита очень нравилась вдовѣ Ефросинѣ за ея красоту, добрый нравъ и изящную домовитость, и Ефросина знала, что ея сынъ, юный Пруденцій, давно страстно любитъ Мелиту и уста его, на яву и въ сонной дремотѣ, только и шепчутъ драгоцѣнное юношѣ имя Мелиты, то извѣстіе, принесенное Маремою, все-таки сильно встревожило вдову Ефросину, и она просила Марему никому болѣе въ селеніи не разсказывать о томъ, что она слышала отъ находившейся въ особенномъ, возбужденномъ состояніи Мелиты.

— Для чего ее подвергать общимъ насмѣшкамъ и осужденію? Пусть лучше это пройдетъ и позабудется, какъ забываются многія молодыя грезы... Большой опасности нѣтъ. Слава богамъ, въ селеніи не завелось еще другихъ

людей, опоенныхъ этимъ мечтательнымъ ученіемъ, которое принесли какіе-то жиды изъ какой-то своей далекой и никому не нужной Галилеи. Мелита одна гдѣ-то наслышалась объ этомъ ученіи отъ своей какой-то подруги, и вотъ теперь бредитъ... Эта жизнь будто только и стоитъ вниманія, какъ воспитаніе себя къ какой-то иной жизни, о которой мы не можемъ судить, потому что она такъ не схожа съ тѣмъ, что видимъ, какъ не похожъ жолудь на дубъ, который можетъ изъ жолудя выйти... Но вѣдь все это вздоръ, и Мелита не удержится въ этомъ настроеніи, и оно скоро замѣнится другимъ, болѣе жизненнымъ и болѣе свойственнымъ молодой красавицѣ, къ которой горитъ нѣжною страстью такой совершенный красавецъ, какъ невинный Пруденцій!.. Вѣдь она давно о немъ думаетъ!.. Не она ли, Мелита, научила его многимъ знаніямъ; она развила въ немъ ловкость и силу, и часто сама любовалась имъ и сама съ нимъ состязалась и въ бѣгѣ, и въ другихъ упражненіяхъ... И развѣ не она виновата, что въ немъ зародилась любовь къ ней, какъ къ женщинѣ, и сердце Пруденція давно ужъ горитъ страстнымъ огнемъ, который, безъ сомнѣнія, вспыхнетъ еще сильнѣе теперь, когда Алкей удалился въ область Аида... Вѣдь не даромъ же тамъ, предъ послами народа, вѣщая дѣва соединила ихъ руки надъ тѣломъ Алкея!.. Развѣ можетъ же быть, чтобы теперь Мелита сама все это пожелала разрушить? Развѣ возможно молодой и столь красивой вдовѣ, бывшей женою суроваго мужа, каковъ былъ мореходецъ Алкей, отказаться отъ страстныхъ ласкъ и объятій такого нѣжнаго юноши, какъ невинный Пруденцій?..

Вѣдь онъ такъ изященъ, такъ нѣженъ, что одинъ отказъ Мелиты принять его къ себѣ мужемъ навѣрное и безъ малѣйшаго сомнѣнія убьетъ его! Да; убьетъ его, самаго стройнаго и краснваго, самаго добраго и достаточнаго юношу на всемъ побережьѣ! Неужто это—то, совсѣмъ отвлеченное и мало понятное?.. Неужто есть такая странная вѣра, которая можетъ побудить женщину отвергнуть влюбленнаго въ нее молодого красавца, какъ невинный Пруденцій? Нѣтъ; это все пустяки! нужно только скорѣе дѣло свести къ поцѣлуямъ! Скорѣе украсить цвѣтами алтарь бога любви, скорѣе заставить Мелиту принести жертву Гимену.

Всѣми такими соображеніями и надеждами вдова Ефро-

сина вдохновила пылкую душу темнокожей Маремы, дѣвушки, возрастъ которой достигъ самой огневой поры, и Ефросина вдругъ увидѣла, какъ этотъ огонь всюду свѣтитъ во всемъ тѣлѣ Маремы, разливаясь прямо изъ-подъ черныхъ волнистыхъ волосъ на ея гладкій лобъ, брови, полные нѣги глаза, на шею, на дрожащія плечи и грудь, которая волной заходила подъ легкимъ покровомъ.

Ефросина теперь точно въ первый разъ увидала Марему, и только теперь почувствовала, что эта темнолицая дѣвушка тоже прекрасна, и хотя красота ея совсѣмъ не такова, какъ красота Мелиты, но зато... здѣсь духъ не поведетъ распри съ плотью и кровью... Эта навѣрно не станетъ укорять природу за однообразіе общихъ всѣмъ людямъ желаній!

И вдова Ефросина сама не услѣдила за собою, какъ она увлеклась страстной красотою Мерамы: она коснулась слегка обѣими руками ея плечъ, и потомъ улыбнулась и, быстро отодвинувъ ее отъ себя, воскликнула:

— Ну, что это, право, какъ ты красива, Марема! Вообрази, что до этой минуты я тебя будто совсѣмъ не видала!

— Вотъ какъ, — отозвалась шутливо Марема. — У насъ въ Финикіи, откуда я родомъ, есть много красавицъ; быть-можетъ, и мать моя тоже была изъ красивыхъ.

— А ты ее не видала?

Марема, молча, отрицательно покачала головою.

— И вовсе не знаешь ее?

— И вовсе не знаю. Иначе бы я не была продана сюда въ рабство.

— Да, да, да! — молвила, точно будто въ себѣ самой, Ефросина. — И знаешь ли, другъ мой, Марема, ты ужъ слишкомъ хороша для рабыни... Мелита, можетъ-быть, и не дѣлала ошибки, что держала тебя, пока она была замужемъ за Алкеемъ. Къ нему она была равнодушна, и ты не могла возбуждать въ ней ревности; но когда мужемъ ея станетъ сынъ мой Пруденцій... Вотъ ужъ тогда я ей не посовѣтую этого... Ты не безопасна... Подъ одной крышей съ тобой всякой женѣ должно быть тревожно... Ты опьяняешь... отъ тебя чѣмъ-то вѣетъ... Я боюсь—это, быть-можетъ, одуряющій запахъ заколдованнаго корня...

Марема расхохоталась, а Ефросина въ-серьезъ продолжала ворчать:

— Нѣтъ, право... Бѣдный Пруденцій!.. не гляди на него этими жгучими глазами, Марема!.. Я постараюсь тебѣ найти добрую госпожу, которая заплатитъ за тебя Мелитѣ хорошую цѣну и будетъ съ тобой хорошо обращаться.

— А развѣ у той госпожи нѣтъ мужа?

— Есть, но онъ уже очень старъ.

— Это тѣмъ лучше: тѣмъ онъ скорѣе возненавидитъ свою старую жену и станетъ гнуться къ колѣнамъ красивой невольницы... И тогда эта добрая госпожа, къ которой ты хочешь меня устроить, исцарапаетъ ногтями лицо Маремы, и продастъ меня еще худшей мегерѣ. Такъ-то вотъ трудно устроить со мною. Но ты, о, вдова Ефросина, не безпокойся: знай, что я не невольница больше... Марема свободна. Мелита подарила мнѣ волю.

— Давно ли?

— Сегодня же ночью, когда ей казались такъ скучны всѣ повторенія въ супружеской жизни. Тутъ она захотѣла, чтобы и для меня не повторялись терзанья неволи. Да; я свободна, вдова Ефросина, и считаю земную любовь разнополыхъ людей высочайшей усладою жизни... Я могла бы... и даже хотѣла бы принести мое тѣло въ жертву при храмѣ Изиды, или могу дать внучатъ матери красиваго и сильнаго юноши, но... ты знаешь.. и во мнѣ есть смущенье...

— Чѣмъ же ты смущена?

— А вотъ тѣмъ самымъ, что происходитъ съ Мелитой...

— Что жъ тебѣ кажется?

Марема двинула своимъ смуглымъ плечомъ и, взявши за обѣ руки вдову Ефросину, пригнулась къ ея лицу и сказала ей тихо и внятно:

— Мнѣ иногда тоже кажется... что *Онъ* гдѣ-то есть...

— Кто?

— Тотъ, Кто научилъ ее знать что-то такое, чего мы не знаемъ.

— Такъ пусть она это покажетъ.

— Она еще не нашла... а все хочетъ искать, чего мы не ищемъ...

— Кто Онъ, Который даетъ ей эту силу терпѣть все, что посылается въ жизни, и отказываться отъ всего, что привязываетъ къ этой жизни... Зачѣмъ она налагаетъ на себя узы, а меня одаряетъ свободой? О, Ефросина! Что

ссли Мелита правѣй насъ!.. Что если мы не всѣ цѣликомъ здѣсь на землѣ начались и не здѣсь кончимся! Что если взаправду здѣсь только школа или гостиница!.. Какъ тогда стыдно!.. Какъ тогда страшно!.. Я хочу когда-нибудь это проникнуть... хочу это понять... И я все, что̀ мнѣ нужно, пойму... Не вѣрь, вдова Ефросина, что одни только старцы подъ длинными тогами могутъ понять, въ чемъ настоящій смыслъ жизни... Въ то же самое время, когда я слышу своими ушами, какъ шумитъ моя кровь и стучитъ мое сердце, я слышу и что-то другое... что-то такое, что̀, вѣроятно, еще явственнѣй слышала моя госпожа и что̀ ее сдѣлало...

— Сумасшедшей на время, ты хочешь сказать?

— Да!.. Я впрочемъ не знаю... я не знаю, что̀ хочу я сказать. Мнѣ кажется, и я будто брежу.

Ефросина погладила Марему по плечу и сказала:

— И впрямь обѣ вы очень молоды, и обѣимъ вамъ что-то представляется, чего вовсе нѣтъ... Вы очень долго жили однѣ, безъ супружескихъ ласкъ... Все это намъ, старухамъ знакомо. Поусердствуйте браку, нарожайте побольше дѣтей да хорошенько вскормите ихъ молокомъ вашей груди—вотъ вамъ и будетъ настоящій смыслъ жизни. А теперь иди, Марема, къ Мелитѣ и скажи ей, что къ ней скоро приду и принесу ей вкусную рыбу. Мы съ ней сегодня же кончимъ о бракѣ... Бѣдный Пруденцій и безъ того ожидалъ ея ласкъ слишкомъ долго и слишкомъ тяжко томится.

Въ это мгновеніе до слуха женщинъ какъ нарочно достигъ изъ-за толстаго занавѣса томительный бредъ Пруденція:

— О, не удаляйся... не удаляйся, Мелита!.. Яви мнѣ милосердіе... стань твоею ногою на этотъ листъ, который растетъ у тропинки... Коснися его твоею ногою, чтобы бѣдный Пруденцій могъ лобызать его послѣ... Сдѣлай, чтобъ я получилъ облегченіе въ моихъ тягостныхъ мукахъ! Я возьму этотъ листъ и покрою его лобзаніями... я оботру имъ мои слезы, которыми плачу о тебѣ днемъ и ночью, скрывая отъ всѣхъ, о чемъ я дѣйствительно плачу, и... затѣмъ... я положу этотъ листъ на мое сердце... чтобы оно перестало биться... перестало жить... потому что жизнь безъ тебя для меня исполнена му̀ки и на свѣтѣ нѣтъ никого, кто бы для меня что-нибудь значилъ... Я ухожу... я... исчезаю, Мелита!

— Каково это слышать матери! — воскликнула вдова Ефросина.

— Даже и не матери это слышать ужасно! — отвѣтила, вся въ волненьи, Марема, и обѣ онѣ разошлись въ разныя стороны: Ефросина къ базару, гдѣ продавали рыбу, а Марема—къ дому Мелиты.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Вдова Ефросина явилась къ Мелитѣ, какъ обѣщалась,—скоро и съ вкуснымъ блюдомъ изъ рыбы, и, какъ только пришла, такъ сразу же начала съ ней разговоры, клонящіеся къ тому, чтобы получить отъ Мелиты согласіе на бракъ съ Пруденціемъ. Она хотѣла кончить съ этимъ какъ можно скорѣе и думала, что Мелита не станетъ упорствовать; но Ефросина ошиблась въ своихъ соображеніяхъ.

Напрасно вдова Ефросина подводила, что теперь у нихъ въ двухъ домахъ, связанныхъ старинною дружбою, остался только одинъ мужчина, молодой и невинный Пруденцій, — что онѣ обѣ, т.-е. Ефросина и Мелита, должны его поберечь, такъ какъ онъ нуженъ имъ обѣимъ. И что самое лучшее имъ всѣмъ соединиться и жить однимъ общимъ хозяйствомъ. Пусть Пруденцій возьметъ себѣ кормщика въ долю и уходитъ въ море и снова возвращается, а онѣ будутъ его ждать и сдѣлаютъ для него возвращенье домой радостнымъ и счастливымъ.

— А недостатковъ бояться не надо,—продолжала говорить Ефросина:—Пруденцій уже знастъ всѣ мѣста, гдѣ что покупали и что продавали Гифасъ и Алкей, и поведетъ дѣло, какъ оно шло. Я ужъ стара и мнѣ не нужны ни запястья, ни кольца, ни цѣпи,—я всѣ ихъ отдамъ тебѣ съ радостью, чтобы ты ихъ прибрала вмѣстѣ съ твоими и надѣвала, когда что захочешь. А кромѣ того... Кромѣ того (Ефросина понизила голосъ), правда или нѣтъ, но была молва въ людяхъ, будто бъ Гифасъ и Алкей въ самомъ дѣлѣ иногда разбивали чужія ладьи и овладѣвали насильно чужимъ имуществомъ. И что они отнимали, то все отвозили на маленькій островокъ, а островокъ этотъ гдѣ-то затертъ среди скалъ и никому, кромѣ нихъ, неизвѣстенъ. До островка этого, говорятъ, очень трудно добраться среди острыхъ камней и бурныхъ протоковъ; но самъ по себѣ островъ будто пригоденъ для жизни — покрытъ зеленью, имѣетъ

источникъ сладкой воды, бѣгущей сверху изъ камня, и въ серединѣ одна надъ другой двѣ пещеры,—одна съ такимъ входомъ, что вровень съ землею, а въ другую влѣзть очень трудно... Въ верхней пещерѣ у нихъ издавна устроено уютное жилище, въ которомъ Алкей и Гифасъ жили и скрывались, высматривая въ морѣ добычу. Отсюда они выплывали, нападали и грабили и потомъ вдругъ исчезали съ награбленнымъ. Пещеры эти не рытыя, а онѣ сами образовались, и та изъ нихъ, которая была въ самомъ верху на обрывѣ высокой скалы, была такъ тщательно скрыта, что ее ни за что не откроетъ ничей посторонній глазъ, а пробраться въ нее можно только приставивши жердь, скрытую въ потаеннѣйшемъ мѣстѣ на днѣ темнаго ущелья. Стоитъ же только принять и убрать эту жердь, и эта верхняя пещера дѣлается недоступною. Но зато она не велика въ сравненіи съ нижней, въ которой, за много лѣтъ совмѣстныхъ трудовъ Алкея съ Гифасомъ, собрано много добра,—много запасовъ пшена, и фруктовъ сушеныхъ, и рыбы сушеной, и боченковъ съ разными винами и оливковымъ и орѣховымъ масломъ; но, кромѣ того, есть и тюки, и цѣлыя скрыни съ одеждой и утварью, есть и кожи, и пурпуръ, и все, о чемъ только можно подумать.

— Да; и все это чужое... и на всемъ этомъ слезы и кровь тѣхъ, у кого это отняли,—перебила Мелита.

— Ну, да; разумѣется, тѣ, у кого это было отнято—они, можетъ-быть... и плакали... да вѣдь ужъ это все было давно...

— А все-таки было.

— Ну было, конечно.

— А ихъ не жалѣли и грабили... да и жизни лишили ихъ...

— Можетъ-быть.

— Нѣтъ,—«не быть можетъ», а это навѣрное такъ было! А ихъ матери, и жены, и дѣти, конечно, ихъ ждали... толпились, рыдали и проклинали злодѣйство... нашихъ мужей... Алкея съ Гифасомъ!

— Ну, вотъ ты опять куда все повернула, Мелита!

— Я не знаю, какъ можно сюда не сворачивать... Не виновата я, что мой духъ все туда глядитъ, куда вы не хотите смотрѣть. Я смотрю, что со смерти Гифаса прошло ужъ три года, и въ это время Алкей ходилъ въ море съ твоимъ сыномъ... Бѣдный Пруденціи! бѣдный, невинный

Пруденцій... Онъ молчитъ, онъ скрываетъ, но, конечно, и онъ все это же самое дѣлалъ, что̀ дѣлалъ Алкей,—онъ помогалъ настигать людей въ морѣ, отнимать у нихъ вино, фрукты, хлѣбъ и другіе товары, а самихъ людей топить въ волнахъ... и бить ихъ весломъ, если они выплываютъ...

— Ахъ, Мелита,—вѣдь и все такъ и въ жизни, какъ въ морѣ,—одинъ бьетъ и топитъ другого!

— Это правда! И вотъ это у васъ называется «жить»!.. Вѣчно слѣдить другъ за другомъ, гнаться, отнимать и присвоивать все, что̀ только можно перебить изъ рукъ другъ у друга, и все это прятать въ недоступныхъ мѣстахъ... Для кого?.. для чего?.. Нѣтъ, я не спорю, что такова вся наша жизнь—на водѣ и на сушѣ,—но я не годна къ ней, я ея не хочу... Я не стану бороться за бо̀льшую долю чего бы то ни было въ жизни. И теперь я могу все это сдѣлать, потому что кончина Алкея меня разрѣшила отъ всѣхъ обѣщаній.

Тогда вдова Ефросина обняла ее и прямо сказала ей, что она пришла къ ней для того, чтобы просить ее согласиться на новый бракъ съ страстно влюбленнымъ въ нее Пруденціемъ; но Мелита воскликнула:

— Какъ! опять бракъ!.. Опять снова обѣты и снова заботы объ ихъ исполненіи? О, никогда и ни за что на свѣтѣ!

— Но чѣмъ же противенъ тебѣ сынъ мой Пруденцій?

— Твой сынъ мнѣ ничѣмъ не противенъ, но мнѣ противны обязательства новаго брака.

— Почему же?

— Я не считаю за лучшее въ жизни думать всегда объ угожденіяхъ мужу.

— Что̀ же можетъ быть лучше этого?

— Что̀ лучше этого?.. Жить для общаго блага, а особливо тѣхъ, кому трудно живется на свѣтѣ. Въ этомъ есть воля Отца нашего Бога.

— Боги желаютъ, чтобы люди жили и размножались.

Мелита молчала.

— Въ самомъ дѣлѣ, что̀ превзойдетъ воспитаніе честныхъ гражданъ въ своихъ дѣтяхъ?

— Помощь всѣмъ дѣтямъ чужимъ вырастать при меньшихъ страданіяхъ.

— Ты говоришь непонятныя и непріятныя мысли, Мелита!

— Я говорю простыя самыя мысли.

— Ты хочешь остаться одна?

— Зачѣмъ же? Я буду при тѣхъ, кому могу сдѣлать услугу или пользу.

— Такъ вотъ и начни: сдѣлай услугу; проникнись сожалѣньемъ къ тоскѣ и страданіямъ страстно влюбленнаго въ тебя моего сына! Тронься стенаніями невиннаго Пруденція, который такъ много терпитъ, потому что весь женскій родъ для него воплощается въ одной только Мелитѣ...

— Ахъ, оставь это, вдова Ефросина! Кто жаждетъ того, чего жаждетъ сынъ твой, тотъ не изсохнетъ отъ жажды.

— Да,—продолжала вдова:—вотъ какъ Мелита жестока! Мелита не внемлетъ ему и даже не чувствуетъ никакого состраданья къ слезамъ, которыя текутъ по сморщеннымъ щекамъ ея тетки и матери Пруденція, бѣдной вдовы Ефросины.

Мелита взглянула на Ефросину и увидала, что въ самомъ дѣлѣ все лицо ея мокро и по щекамъ быстро бѣгутъ потоками слезы.

— Это жестоко со стороны васъ обоихъ,—сказала Мелита.

Но Ефросина закачала головою и сказала:

— И это ты же говоришь о жестокости!

— Да; это я говорю о вашей жестокости и не укоряю васъ, но только хочу, чтобы вы меня поняли. Вотъ теперь я скажу, въ чемъ вы жестоки: я вѣрю, что людямъ дано средство жить вѣки вѣковъ, и что отъ человѣка зависитъ войти въ эту вѣчную жизнь, или угаснуть въ предѣлахъ короткаго часа, пока наша свѣча горитъ здѣсь на землѣ. Вотъ такъ мнѣ дано, что духъ мой проснулся отъ природнаго сна, и, проснувшись, онъ слышитъ голосъ, который его громко зоветъ и велитъ ему бросать долой съ себя всякія путы... Мой духъ хочетъ бѣжать туда, откуда слышенъ ему зовъ, а вы опять хотите мнѣ спутать ноги страстными привязанностями и навязывать мнѣ обѣты, которыхъ я давать не могу, потому что... я не могу никому обѣщаться...

— Неужели же ты чувствуешь себя такою непостоянною?

— Да что ты пристаешь ко мнѣ съ постоянствомъ! Въ чемъ надо застыть... въ какомъ постоянствѣ? Я сегодня такая какъ есть, а быть-можетъ завтра же духъ мой увидитъ еще что-нибудь шире, и, когда подрастутъ его крылья,

онъ устремится куда-нибудь выше и дальше... въ вѣчность!..

— Чего же и лучше!—перебила ее Ефросина:—вотъ и пожертвуй собою — соверши счастье Пруденція, который такъ страстно влюбленъ въ тебя и такъ ужасно страдаетъ, что теряетъ различіе между тѣмъ, что видитъ въ явѣ и что ему грезится въ мучительныхъ снахъ. Бѣдный ребенокъ! воображенье его съ тобою не разстается ни на минуту, а уста его постоянно шепчутъ имя Мелиты. Бѣдный Пруденцій! сгорая огнемъ юныхъ желаній, уста его лобзаютъ воздухъ, въ которомъ онъ чувствуетъ тебя сквозь стѣны и скалы... О, сжалься! сжалься надъ нимъ! Сжалься надъ обоими нами, Мелита!

Такъ окончила свой разговоръ страстной просьбой вдова Ефросина и, обливаясь слезами, съ простертыми руками, бросилась на землю передъ ногами Мелиты.

Положеніе Мелиты было очень тягостно, но она, однако, не склонилась къ просьбамъ вдовы Ефросины, и хотя старалась показать ей свое сожалѣніе и участіе, но не подавала никакихъ надеждъ къ согласію на бракъ.

— Какъ!—воскликнула тогда Ефросина.—Неужто ты желаешь быть непреклонна даже въ томъ случаѣ, если Пруденцій умретъ или утратитъ разсудокъ?

— Для чего говорить о томъ, чего еще не случилось?—отвѣчала съ подавляемымъ въ себѣ нетерпѣньемъ Мелита.

— Развѣ ты почитаешь за невозможное, чтобы человѣкъ утратилъ разсудокъ отъ мученій любви?.. Вѣдь это бываетъ.

— О, бываетъ конечно!—отвѣчала Мелита:—но бываетъ потому, что люди сами отдаютъ себя въ жертву своимъ грубымъ желаніямъ и не хотятъ имъ противиться.

— А ты думаешь, что этимъ желаніямъ можно противиться?

— О, еще бы!.. Конечно...

Но въ это самое время до слуха обѣихъ женщинъ достигли громкіе крики Маремы, которая бѣжала къ дому и кричала издали:

— Госпожа Ефросина! Госпожа Ефросина! спѣши скорѣй къ дому... у тебя случилось большое несчастіе! Пруденцій сталъ умываться и вдругъ ударился объ полъ, и теперь катается съ пѣной у рта и рыкаетъ, какъ львенокъ... Мы его впятеромъ насилу держали, а горшечникъ Агавъ

обложилъ ему голову мокрою глиной; но спѣши, госпожа,— это все едва ли поможетъ... Бѣдный Пруденцій! бѣдный Пруденцій! онъ едва ли воротится къ жизни.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Услышавъ о такомъ жесточайшемъ страданіи сына, вдова Ефросина только молча бросила взглядъ, полный укора, Мелитѣ и, позабывъ свои годы, побѣжала домой, гдѣ терзался Пруденцій; а Марема, межъ тѣмъ, разсказала Мелитѣ подробнѣе, какъ все это случилось. Она повторила ей все то, что̀ уже знаемъ, и потомъ прибавила тихо:

— Напрасно скрывать, что онъ все это терпитъ отъ томленья жестокаго чувства, которымъ весь къ тебѣ полонъ. Ты, какъ природа, властвуешь надъ всѣмъ его существомъ... Шесть человѣкъ насъ съ Агавомъ, который подоспѣлъ къ намъ, были не въ состояніи сладить съ демономъ, который напрягъ мышцы юноши и вспѣнилъ въ немъ кровь до того, что всѣ уста его облилися розовой пѣной; но едва я закрыла его помутившіеся глаза твоимъ покрываломъ, которое несла на плечахъ, чтобы вымыть его у источника, Пруденцій вдругъ стихъ и зашепталъ:

«Мелита!.. близко Мелита!.. боги!.. пусть я умру прежде, чѣмъ она удалится!..»

— И прости меня, госпожа,—заключила Марема:—онъ такъ страдалъ, что я не могла взять у него твое покрывало... Пусть ему будетъ немножечко легче... Онъ обмоталъ въ него свои руки и прижалъ его къ сердцу, и мало-помалу въ немъ судороги стихли... онъ, можетъ-быть, даже... уснетъ или...

— Что?

— Перейдетъ безъ новыхъ страданій въ царство тѣней.

Мелита поднялась съ мѣста и сказала:

— Пойдемъ туда вмѣстѣ!

— Какъ!.. ты хочешь идти туда... въ домъ Ефросины, гдѣ лежитъ несчастный Пруденцій, съ головою, горящей въ огнѣ и обложенной мокрою глиной?

— Ну, да, конечно!

— Зачѣмъ же пойдешь ты туда?

— Зачѣмъ?.. Тамъ страдаетъ человѣкъ, и я хочу идти туда?

— Конечно, не съ тѣмъ, чтобы усилить его страданіе?..

Ты не отнимешь у него свое покрывало? Ты не гнѣваешься на меня, что я тамъ оставила эту ткань?

Мелита отвѣчала, что она нимало не сердится на Марему, а напротивъ, даже рада, что та оставила покрывало, сдѣлавшее какое-то удовольствіе капризу больного Пруденція, и добавила, что ей все равно, что объ ней станутъ говорить или думать въ селеніи,—что все это не стоитъ одной минуты человѣческаго страданія, если ему есть средство помочь.

— О, госпожа моя! — радостно вскричала Марема. — Идемъ же скорѣе, скорѣе спѣшимъ въ этотъ домъ плача! Ты властна въ цѣлой природѣ милаго юноши и одного звука твоего голоса, одного твоего приближенія будетъ довольно, чтобы воззвать Пруденція къ жизни, если только мы успѣемъ вбѣжать подъ кровъ Ефросины ранѣе, чѣмъ совсѣмъ остановится движеніе сердца въ груди ея сына.

— Поспѣшимъ!

— Поспѣшимъ! поспѣшимъ!

И онѣ обѣ схватились за руки и обѣ ровно и шибко побѣжали,—одна ясная, какъ день,—другая темная, какъ южная ночь... Ихъ волосы вѣялись въ воздухѣ и за ними тихо разстилалось дыханіе жизни.

— О, ты спасешь его!.. ты спасешь!—шептала, сжимая на бѣгу руку Мелиты, Марема...

— Можетъ-быть...—отвѣчала ей съ тихимъ пожатьемъ Мелита.

И что же случилось?

Прежде чѣмъ быстрыя ноги Мелиты и Маремы достигли жилища вдовы Ефросины,—ужасный припадокъ оставилъ Пруденція: онъ спокойно вздохнулъ, сѣлъ среди пола, на которомъ лежалъ, улыбнулся счастливой улыбкой, и, протянувъ впередъ руки, воскликнулъ:

— Боги! хвала вамъ во вѣки... Сердце Мелиты исполнилось жалости... Мелита встала... Мелита спѣшитъ, чтобы капнуть росинкой участья на мое сгорѣвшее сердце... Вотъ она, вотъ! Откройте скорѣе завѣсу!

И какъ голосъ Пруденція звучалъ увѣренностью и силой, то желанье его тотчасъ же исполнили, а когда завѣса была распахнута, тогда всѣ увидали передъ нею раскраснѣвшуюся отъ быстрой ходьбы прекрасную Мелиту, а за нею не менѣе красивую въ своемъ родѣ Марему.

— Вмѣсто одной облегчительницы — къ тебѣ спѣшатъ двѣ,—прошептали сторонніе женщины, стоявшіе возлѣ Пруденція.

Онъ же теперь похожъ былъ больше всего на ребенка, у котораго только-что унялись жестокія муки, отъ воспоминанія о которыхъ ему въ одно время и сладко, и больно.

Пруденцій сидѣлъ и смотрѣлъ въ лица пришедшихъ, и повторялъ, какъ дитя, улыбаясь:

— Вотъ и она... Мелита... Марема!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Вдова Ефросина была несказанно рада, что Мелита пришла къ ней и сама воочію могла убѣдиться, какъ тяжко страдаетъ Пруденцій и какъ облегченіе его мукъ прямо зависитъ отъ Мелиты, и Мелита все это видѣла, не спорила съ нею. Доказательства были слишкомъ очевидны, и Мелитѣ сдѣлалось ясно, что ей не оставалось никакой возможности жить въ своемъ домѣ въ одномъ и томъ же селеніи, гдѣ былъ домъ вдовы Ефросины. Здѣсь она будетъ постоянно встрѣчать Пруденція, и это станетъ усиливать его мучительную страсть, которой она отвѣчать не желаетъ. Каждый человѣкъ въ этомъ селеніи непремѣнно станетъ укорять ее за жестокость и будетъ говорить о ея глупомъ упрямствѣ, такъ какъ заботу о сохраненіи въ себѣ ничѣмъ не плѣненнаго духа во всѣ времена люди желали считать за «упрямство». А притомъ до безумія достигшая страсть Пруденція заставляла бояться, какъ бы онъ въ одинъ изъ подобныхъ порывовъ не посягнулъ на свою жизнь, и тогда горю осиротѣлой вдовы Ефросины не будетъ предѣла, а доброй Мелитѣ не снесть вида всѣхъ этихъ бѣдствій, въ которыхъ всѣ непремѣнно станутъ ее считать виноватой. Еще оставалось ей развѣ одно: тайно покинуть домъ и селеніе, и скрыться навѣки... Мелита на это была бы готова, она бы устроилась жить съ единомысленною ей подругою дѣтства, христіанкой Эрминіей; но вѣдь Пруденцій могъ ее всюду преслѣдовать и всѣдѣ нарушалъ бы ея покой и продолжалъ бы губить свою жизнь. Надо было отыскать иной, болѣе удобный для всѣхъ выходъ изъ этого положенія, и Мелита рѣшилась непремѣнно выдумать что-нибудь болѣе удовлетворительное и, обдумавъ, привести свое рѣшеніе въ дѣйствіе, какія бы оно ни представляло трудности.

Въ такомъ настроеніи она предстала предъ влюбленными глазами изступленнаго Пруденція, и когда удостовѣрилась, что онъ успокоился и можетъ ее понимать, она подала ему руку и спокойно сказала:

— Не предавайся отчаянію, добрый Пруденцій. Ты не будешь вѣчно томиться такъ, какъ до сихъ поръ томился. Съ этой поры я не буду тебя избѣгать и стану думать, какъ сдѣлать тебя счастливымъ, а тебя умоляю: имѣй ко мнѣ вѣру и немножко терпѣнья. Я тоже сильно взволнована, и духъ мой нуждается въ отдыхѣ и покоѣ. Дай мнѣ побыть въ тишинѣ съ самою собою только три дня, а на четвертый день приходи передъ вечеромъ на берегъ моря, гдѣ стоитъ наша лодка, и тамъ я скажу тебѣ, какое придетъ мнѣ рѣшеніе, и оно будетъ твердо настолько, что ты можешь на него положиться. Пока же, на три дня, яви мнѣ пріязнь—будь покоенъ.

— О, не три дня, а три года я готовъ ждать твоего слова,—отвѣтилъ, оживившись, Пруденцій.—Лишь бы ты меня не отвергла... лишь бы мнѣ было чего ожидать.

— Ну, три года—слишкомъ долгое время. Черезъ три года ты самъ меня можешь отвергнуть, такъ какъ я тебя старше... Нѣтъ, ты три дня подожди, и это будетъ довольно.

— Я отвергну тебя! О, боги! о, разразите меня, справедливые боги, если это возможно, чтобы въ сердцѣ моемъ кто-нибудь замѣнилъ образъ Мелиты!..

— Не клянися, Пруденцій, ничѣмъ, и не зови во свидѣтели боговъ, о природѣ которыхъ тебѣ ничего не извѣстно. Пусть лучше время само покажетъ намъ, каковы мы и чего мы достойны.

— Согласенъ, согласенъ,—воскликнулъ Пруденцій.—Цѣлая вѣчность докажетъ тебѣ, что ты для меня всего дороже на свѣтѣ, и что нѣтъ ничего, что я предпочелъ бы тебѣ на минуту.

— Ну, жди же!

И она дружески простилась съ нимъ и съ матерью, вдовой Ефросиной, и ушла къ себѣ въ домъ свой съ Маремой, оставивъ вдову и Пруденція успокоенными и готовыми ожидать черезъ три дня ея рѣшенія.

Рѣшенія этого стали ждать съ любопытствомъ и всѣ прочіе люди въ селеньѣ, потому что всѣмъ было любопытно:

не хитритъ ли Мелита, притворяясь, будто она не желаетъ взять себѣ мужемъ несравненной красоты юношу, который страстно влюбленъ въ нее и моложе ея на три года.

— Что-то измыслитъ Мелита? Каковъ ея умъ и въ чемъ ея хитрость?

Три дня пролетѣли для всѣхъ въ любопытномъ ожиданіи: въ эти три дня Мелита была безвыходно дома, а Пруденцій поправился отъ своихъ жестокихъ припадковъ и на четвертый день передъ вечеромъ вышелъ на берегъ моря и увидалъ, что здѣсь его ожидаютъ Мелита съ Маремой.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Когда они свидѣлись, Мелита сказала Пруденцію:

— Все идетъ хорошо: мы теперь быстро приблизимся къ цѣли осуществленія нашихъ желаній.

— Я не помню себя отъ счастія, что желанія наши согласны! — воскликнулъ весь озарившійся счастьемъ Пруденцій.

— Я сказала не такъ,—отвѣчала Мелита:—но все равно: то, что ты почитаешь за высшее счастье, все будетъ зависѣть отъ тебя самого...

— Значитъ, это все равно, что достигнуто.

— Нѣтъ еще,—раньше, чѣмъ ты будешь моимъ мужемъ, ты долженъ исполнить три мои просьбы.

— Я готовъ исполнить ихъ безконечное множество.

— Нѣтъ, всего только три. Прежде всего я не хочу быть здѣсь предметомъ вниманья для всѣхъ, ни теперь, когда ты станешь выполнять мои просьбы, ни послѣ, когда можетъ случиться, что я должна буду выполнить твою волю и заплатить мой долгъ за твое послушаніе моими услугами и женскою лаской.

— О, говори только скорѣе, что нужно! Если ты хочешь скрыться отсюда... если желаешь уйти отъ всѣхъ глазъ...

— Да, почти что отъ всѣхъ... Пусть съ нами будетъ только Марема, но чтобъ не было даже вдовы Ефросины... Ея безпокойная нѣжность можетъ исполнить все, что должно совершиться въ тишинѣ уединенія и покоя.

— Хорошо! Я обѣщаю тебѣ это за мать: она такъ меня любитъ, что на все согласится. А что касается до самой возможности скрыться отъ всѣхъ въ никому неизвѣстное и недоступное мѣсто, то я владѣю для этого такою возмож-

ностью, лучше которой нельзя услыхать въ самой затѣйливой сказкѣ.

И влюбленный Пруденцій самъ, безъ разспросовъ Мелиты, разсказалъ ей о цвѣтущемъ ущельѣ въ скалѣ, сокрытой среди другихъ неприступныхъ скалъ, гдѣ у нихъ есть двѣ пещеры, богатые склады запасовъ для жизни, ручей сладкой воды, стадо козъ и хохлатыя куры.

— Туда никто не можетъ придти, — добавилъ Пруденцій:—кромѣ двухъ тѣхъ, которые оставили насъ и живутъ нынче въ темномъ царствѣ тѣней; одинъ только я знаю небезопасный и узкій проливъ, которымъ можно пробраться къ этой скалѣ и отыскать въ ней наше ущелье. Если ты хочешь самаго неприкосновеннаго уединенія...

— Съ тобой и Маремой!—перебила Мелита, тихо кладя свою руку въ руку Пруденція.

— О, ты меня исполняешь восторгомъ! Итакъ, если ты довѣряешься мнѣ и не боишься проплыть на ладьѣ узкимъ и бурнымъ протокомъ, въ которомъ я знаю каждый камень, то стóитъ тебѣ сказать, когда ты желаешь отплыть, и—все будетъ готово.

— Прекрасно, — пусть это будетъ готово завтра, какъ сядетъ солнце. Но прежде ты возвратись сегодня домой и разскажи своей матери, на что̀ мы рѣшились. Я хочу знать, что она на все это согласна, и хочу поручить ей свой домъ и хозяйство, такъ какъ Марема уѣдетъ со мной въ ваше ущелье и домъ мой останется пустъ. Потомъ позови завтра утромъ глиномята Агава и самъ приходи съ нимъ, и перенесите изъ дома въ ладью мою кровать и постель, и скрыни съ уборами, и прочую утварь, и съѣстные запасы, которые здѣсь будутъ не нужны, а тамъ пригодятся... Я все хочу взять и увезть, чтобы это все пошло тамъ на пользу, такъ какъ мы, можетъ-быть, проживемъ тамъ очень долгое время...

Пруденцій слушалъ все это въ величайшемъ восторгѣ и съ совершеннымъ вниманьемъ, а при послѣднихъ словахъ прижалъ страстно къ груди руки Мелиты и прошепталъ однимъ придыханьемъ:

— О, я увѣренъ, что никто никогда не умѣлъ пролить однимъ словомъ столько восторговъ, сколько ты проливаешь ихъ въ мое сердце!

Она посмотрѣла на него благостнымъ взглядомъ, какъ мать на ребенка, и тихо ему улыбнулась и отвѣчала:

— О, мой невинный Пруденій! Не хвали меня много, мнѣ трудно слушать твои похвалы. Будемъ болѣе дѣлать... станемъ спѣшить... не будемъ терять ни минуты. Я сейчасъ возвращусь съ Маремой домой и стану спѣшить, чтобъ уложить всѣ мои вещи, а ты иди къ матери, разскажи ей, что мы рѣшились уѣхать отсюда и тамъ вдалекѣ отъ людей совершить то, что должно совершиться. Скажи отъ меня вдовѣ Ефросинѣ, что духъ мой полонъ участія къ ней и къ тебѣ и что я ничего такъ еще не желала, какъ желаю того, чтобы увидѣть всѣхъ васъ въ томъ положеніи, къ которому всѣ вы теперь наиболѣе сродны.

Сказавъ это, Мелита встала и пошла къ селенію, держа одною рукою за руку Пруденція, а другою Марему, и такъ они дошли до того мѣста, гдѣ тропы къ домамъ ихъ раздѣлялись.

Здѣсь Мелита опустила руку Пруденція; еще разъ сказала ему, какъ онъ долженъ говорить съ своей матерью, и сама удалилась къ себѣ вмѣстѣ съ Маремой, и дѣйствительно, обѣ женщины вмѣстѣ всю ночь провели въ томъ, что уложили въ мѣшки и въ укладки все, что было цѣннаго въ домѣ Алкея. Всѣ запасы были тоже упакованы въ корзины, а изъ прохладныхъ ямъ достали мѣха съ виномъ и сыры, и все это также приготовили къ отправкѣ. Къ разсвѣту все было готово, и на стѣнѣ большого покоя остался висѣть на острой рыбьей кости одинъ только широкій поясъ Алкея, убранный золотою чеканкою и драгоцѣнными камнями, да простая тростниковая дудка, въ которую Мелита всунула свернутый туго въ трубку папирусъ, на которомъ предъ самымъ разсвѣтомъ успѣла начертать нѣсколько строкъ.

Въ этихъ строкахъ было сказано: «Я получила свободу и не хочу потерять ее снова, но меня посѣтило испытанье, котораго я не могу избѣжать. Я надѣюсь, однако, что духъ мой сохранитъ свою силу и что любовную страсть, которая зажглася въ другомъ противъ моего желанія, мнѣ удастся смирить въ немъ съ помощью той же грубой природы, которой онъ подчиняетъ свой духъ. Если я надъ всѣмъ этимъ восторжествую, я отыщу путь къ тебѣ и приду къ тебѣ, чтобы окончить свой срокъ на землѣ вмѣстѣ съ тобою, позабывъ о себѣ и служа вмѣстѣ съ тобою другимъ, по велѣнью Того, Чье священное слово зажгло въ насъ свѣтъ разумѣнья и вѣру въ вѣчную жизнь нашего духа».

Когда же Мелита вложила папирусъ въ полый тростникъ, она залѣпила концы его воскомъ и повѣсила дудку на стѣну у драгоцѣннаго пояса, и тотчасъ же, обернувшись, увидала, что у дверей, съ перстами на устахъ, стояла Марема.

— Ты за мною слѣдишь и подсматриваешь, — съ тихой улыбкой сказала Мелита.

— Нѣтъ, — отвѣчала Марема: — я не слѣжу за тобою и не стану никому тебя выдавать, но я по всему замѣчаю, что ты задумала какую-то хитрость, которая поведетъ дѣло совсѣмъ не къ тому, что̀ ты обѣщаешь Пруденцію.

— А разскажи-ка мнѣ, если ты знаешь, — что̀ я ему обѣщала?

— Ты обѣщала, что нынѣшней ночью ты, онъ и я уѣдемъ отсюда на дикую скалу въ неизвѣстномъ ущельѣ, въ которой сокроемся надолго...

— Это все такъ и будетъ: вечернія звѣзды увидятъ насъ на ладьѣ нашей въ морѣ.

— Тогда я смущена еще больше... тогда въ умѣ у тебя есть что-то такое, чего я ужъ вовсе не въ силахъ понять, если ты мнѣ не скажешь.

— Ахъ, другъ мой Марема, — ты отгадала! До времени я тебѣ не скажу ничего и беру съ тебя слово, что ты не станешь ни о чемъ меня болѣе спрашивать. Это будетъ мнѣ отъ тебя самою лучшей расплатой. Не любопытствуй, Марема, ни о чемъ: все, что̀ должно случиться,—изъ всѣхъ постороннихъ одна ты только увидишь, но не здѣсь, не теперь и не сразу. Я ничего никому злого не мыслю, и Пруденцій приметъ на долю свою то, что̀ самъ для себя предпочтетъ. Я отдаюсь въ его волю... Но ты отгадала, — онъ долженъ будетъ мнѣ доказать, что въ самомъ дѣлѣ влеченье, которое онъ ко мнѣ чувствуетъ, сильнѣе всего и никакимъ болѣе грубымъ влеченіемъ замѣнено быть не можетъ. Въ этомъ онъ долженъ меня убѣдить такъ, чтобы во мнѣ не было мѣста никакому сомнѣнью, и ты, добрый другъ мой Марема, должна мнѣ въ этомъ помочь, потому что это для меня имѣетъ слишкомъ большое значеніе. Не откажи мнѣ, Марема!

— О,—отвѣчала съ чувствомъ Марема:—можешь ли ты во мнѣ сомнѣваться, Мелита! Я такъ хорошо знаю твой разумъ и доброе сердце, что мнѣ не нужно бороться съ со-

бою, чтобы дать тебѣ самыя страшныя клятвы послужить тебѣ всѣмъ, чѣмъ ты захочешь. Я знаю, что ты никому не сдѣлаешь зла, какъ не дѣлала его мнѣ во все время, пока я была твоею рабыней. Что бы ты ни сказала — Марема сдѣлаетъ все, не поддаваясь никакимъ своимъ собственнымъ чувствамъ... Клянусь...

— Довольно! — перебила Мелита: — не клянися ничѣмъ: клясться нельзя, потому что всѣ мы во власти всемогущаго Бога. Я тебѣ вѣрю безъ клятвъ и не скрываюсь больше, что въ умѣ моемъ есть замыселъ, о которомъ до времени не хочу сказать никому и исполнить который могу только при твоей помощи.

— Вѣрь же, что помощь моя тебѣ принадлежитъ беззавѣтно и...

— И довольно! довольно, Марема!—воскликнула Мелита, и бывшая госпожа и рабыня обняли другъ друга и остались такъ на мгновенье. Такъ ихъ и застала тихо вошедшая къ нимъ вдова Ефросина, за которою сзади входили Пруденцій и горшечникъ Агавъ съ длинными жердями, изъ которыхъ должно было сдѣлать носилки для переноса имущества Мелиты въ ладью.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Вслѣдъ за этимъ сейчасъ же сдѣлали носилки и начали переносить вещи въ ладью. Дѣло это справляли Пруденцій съ Агавомъ-горшечникомъ, а имъ помогала Марема, которая для этого часто отлучалась къ лодкѣ. Въ домѣ же оставались вдвоемъ вдова Ефросина съ Мелитой, изъ которыхъ послѣдняя приготовляла у очага обѣдъ для работающихъ при нагрузкѣ ладьи, а мать Пруденція ей помогала и въ промежуткахъ между занятіями говорила съ ней о томъ, какъ она понимаетъ затѣянное Мелитою дѣло.

Вдовѣ Ефросинѣ казалось, что Мелита уѣзжаетъ съ ея сыномъ потому, что Пруденцій ей милъ, но она очень стыдлива и ужъ слишкомъ высоко подняла свою цѣломудренную славу; теперь ей не хочется здѣсь передъ всѣми показать свою склонность, но тамъ она, ни кѣмъ не стѣсняемая, отдастся любви на свободѣ и со всѣмъ пыломъ долго сдержанной страсти. И будучи въ этомъ убѣждена, вдова Ефросина смотрѣла на сборы совершенно спокойно. Мелита же ей не говорила ничего положительнаго, но не разъ просила

се сохранять это спокойствіе постоянно, даже тогда, если отъ нихъ очень долго не будетъ извѣстій.

— Пусть ихъ не будетъ хоть годъ! — отвѣчала вдова Ефросина: — я такъ истерзалась, видя долго мученія сына, что готова снести на себѣ всѣ томленія долгой безвѣстности, лишь бы могла быть увѣрена, что такихъ безнадежныхъ терзаній, какія онъ снесъ, впередъ онъ сносить ужъ не будетъ.

— На этотъ счетъ будь вполнѣ увѣрена: такими терзаніями, какими томился Пруденцій, онъ больше томиться не будетъ,—отвѣтила Мелита.

— Въ одномъ только этомъ я и хочу быть увѣрена.

— Такъ это и будетъ; но ты сказала, что готова прожить безъ вѣстей цѣлый годъ.

— Я это сказала... И что же, ежели тебѣ это нужно...

— Да, это именно можетъ быть нужно...

Вдова Ефросина погрозила пальцемъ Мелитѣ и сказала съ улыбкою:

— Знаю...

— Что же ты знаешь?

— Черезъ годъ... я, быть-можетъ, увижу прелестнаго внука!.. Что же, это прекрасно... Тогда и конецъ всѣмъ людскимъ разговорамъ о твоемъ прежнемъ мужѣ Алкеѣ... Я тебя понимаю: такія, какъ ты, всегда любятъ сильно, но скромно. Боги вамъ въ помощь, сожгите одни тамъ цвѣты Гименею на камнѣ, и пусть свидѣтельницею вашихъ брачныхъ обѣтовъ будетъ Марема... А потомъ, годъ пройдетъ, я обниму васъ и внука, и тогда попечемся мы и о Маремѣ... Добрая дѣвушка, она стоитъ добраго мужа.

— И навѣрно найдетъ его,—подсказала Мелита.

— Я тоже думаю. Мы на нее до сихъ поръ всѣ какъ-то глядѣли совсѣмъ безъ вниманья, а вчера, когда я съ ней говорила, мнѣ вдругъ показалось, что Марема вѣдь очень красива.

— Еще бы, еще бы она не красива! И умна, и добра, и красива, и имѣетъ горячее сердце... И притомъ, что за силы и какое здоровье!.. О, она стоитъ превосходнаго мужа, и то, что ты получила о ней хорошее мнѣніе, приноситъ мнѣ огромное счастье. Я рада, что отправляюсь отсюда въ полномъ согласьѣ съ тобою.

И въ такихъ-то согласныхъ бесѣдахъ у нихъ прошелъ

цѣлый день; всѣ были веселы, съѣли вмѣстѣ вкусный обѣдъ, и передъ вечеромъ Пруденцій и Марема понесли изъ дома къ ладьѣ послѣднюю ношу, а Мелита осталась съ глиномятомъ Агавомъ, чтобы закрыть входы, и тутъ-то Мелита сняла со стѣны широкій поясъ Алкея, усыпанный камнями, и тростниковую дудку, и, показавъ поясъ Агаву, сказала:

— Способенъ ли ты оцѣнить, чего можетъ стоить эта вещь, если ее отнести въ большой городъ и продать тамъ, гдѣ есть богатые люди?

Агавъ отвѣчалъ:

— Оцѣнить такую драгоцѣнную вещь я не могу, но знаю, что если бы я триста лѣтъ кряду мялъ глину и надѣлалъ горшковъ цѣлую гору, то все это не составило бы и половины цѣны каждаго изъ этихъ свѣтящихъ камней.

— Такъ вотъ же, тебѣ вовсе не надо триста лѣтъ мять твою глину и надѣлывать гору горшковъ: исполни одно порученье, которое я хочу тебѣ дать, и этотъ поясъ пусть будетъ твоею наградой. А что въ словахъ моихъ нѣтъ ни обмана, ни шутки, такъ бери эту вещь сію же минуту и спрячь ее у себя подъ одеждой. А кстати пихни вмѣстѣ съ нею туда эту дудку, и когда мы уѣдемъ, ты брось свою глину,—горшковъ вѣдь у всѣхъ здѣсь довольно въ селеньѣ.

— О, слишкомъ довольно! — отвѣчалъ, засмѣявшись, Агавъ: — я ужъ не знаю, кому продавать и то, что имѣю въ запасѣ.

— Такъ и оставь ихъ. Пускай жена твоя продаетъ дома горшки тѣмъ, у кого свои перебьются, а ты пойди къ Клазомену, и тамъ въ этомъ городѣ отыщи подругу моихъ дѣтскихъ лѣтъ, имя которой Эрминія, и отдай ей эту дудку.

— Хорошо; а потомъ что я еще долженъ сдѣлать?

— Только всего.

— Отыскать госпожу Эрминію и отдать ей эту дудку, и только всего?

— И только всего.

— Что же, она должна заиграть на этой дудкѣ?

Мелита улыбнулась на шутку Агава и отвѣчала такъ же шутливо:

— Дудка сама заиграетъ, что нужно. Впрочемъ, можешь сказать Эрминіи, что ты меня видѣлъ, и при какихъ обстоятельствахъ, какъ мы разстались. И за это возьми себѣ поясъ и продай его, гдѣ тебѣ это удастся, а потомъ

возвращайся домой и доживай свои старые годы, не терзаясь нуждою.

— Что же, въ самомъ дѣлѣ, я это сдѣлаю! Клянусь богами, я сдѣлаю это!—воскликнулъ горшечникъ.—Я отыщу госпожу Эрминію и разскажу ей, какъ было все дѣло. Пусть-ка она тогда заиграетъ объ этомъ на дудкѣ.

И съ этимъ горшечникъ Агавъ спряталъ поясъ и дудку, и они оба съ Мелитою вышли изъ опустѣвшаго дома Алкея; а когда они приблизились къ лодкѣ, то уже застали, что Марема сидѣла на веслахъ, обнаживъ до плечей свои крѣпкія руки, а Пруденцій, вырвавшись изъ долгихъ объятій вдовы Ефросины, распускалъ косой длинный парусъ на рей.

Мелита тоже скоро простилась съ вдовой Ефросиной и спрыгнула съ берега въ лодку.

Марема шевельнула веслами,—нагруженная ладья слегка зашуршала днищемъ по песку, а потомъ, достигши свободной волны, покачнулась, вѣтеръ надулъ паруса, и между отъѣзжавшими и остающеюся Ефросиной и Агавомъ вдругъ удлинилось разстояніе...

Переговариваться съ лодки на берегъ стало невозможно, но зато до слуха вдовы и Агава теперь доносилось стройное пѣніе: это была пѣснь любви, которой слова и напѣвъ ея тотчасъ узнали и вдова, и горшечникъ... Пѣли стройно два голоса, Пруденцій съ Маремой.

И пѣсня ихъ тоже стихала и замирала въ пространствѣ; но вотъ, обойдя острый мысъ и пологую отмель, ладья переставила парусъ и будто подвинулась ближе, и съ нея опять на мгновеніе донеслись звуки пѣнія, но совершенно иного, котораго ни слова, ни напѣвъ не были знакомы вдовѣ Ефросинѣ. Пѣлъ одинъ ровный и торжественный голосъ.

— Это голосъ Мелиты!—сказала вдова Ефросина.

— Да, и мнѣ кажется тоже,—отвѣчалъ Агавъ.

— Что же это за незнакомая пѣсня?

— Это?.. Мнѣ кажется... Это будто похоже на гимнъ, который я слышалъ однажды, когда мы бросали со скалы на каменья тѣхъ забавныхъ людей, которые насъ увѣряли, будто тотъ не умретъ, кто станетъ жить на землѣ такъ, какъ училъ жить ихъ пророкъ галилейскій.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Всю ночь ярко свѣтила луна и дулъ благопріятный для пловцовъ вѣтеръ. Хорошо знавшій всѣ морскія примѣты, Пруденцій смѣло и ловко правилъ ладьею, которая, такимъ образомъ, держала прямой путь къ тому таинственному пункту, куда Пруденцій увозилъ Мелиту и Марему для того, чтобы тамъ, по прихоти первой изъ нихъ, исполнить ея испытанія и заслужить себѣ ея любовь.

Отъ селенія, гдѣ жили Алкей и Гифасъ, до скалы, гдѣ имъ пришлось отыскивать скрытый пріютъ для склада своихъ хищеній, при попутномъ вѣтрѣ было полторы сутокъ ходу. Путь во все время держали такой, что не теряли изъ вида береговъ, хотя шли то ближе къ землѣ, то отдалялись въ море тамъ, гдѣ было много камней и плыть вблизи береговъ было опасно.

Среди второй ночи пловцы достигли пролива, за которымъ, какъ лѣсъ, возвышались сѣрыя каменистыя скалы, не имѣвшія, повидимому, ни растительности, ни обитателей. Онѣ сначала были меньше и начинались камнями, которые невысоко возвышались надъ водой, но потомъ толпились и возвышались что дальше, то выше, и нѣкоторыя изъ этихъ скалъ казались довольно большими и сложными по очертанію.

Проходъ между ними былъ чрезвычайно опасенъ, и его могъ предпринять только такой человѣкъ, кому путь этотъ хорошо извѣстенъ и кто обладаетъ большой ловкостью и силой.

Пруденцій всѣмъ этимъ обладалъ въ совершенствѣ, и объ женщины могли имъ любоваться, какъ онъ, почти обнаженный, стоя на кормѣ, проводилъ ладью между рѣжущихъ камней, то подпираясь длиннымъ шестомъ, то вонзая багоръ въ расщелины или хватался имъ за уступы. Но наконецъ были два мѣста, гдѣ плыть казалось совсѣмъ невозможно, потому что ни упереться, ни ухватиться было не за что, а страшная быстрота крутила ладью и уносила ее на острыя скалы; но тутъ Пруденцій вдругъ нырнулъ въ воду и черезъ одно мгновеніе снова выплылъ наверхъ, держа въ рукахъ скользкій и спутанный водорослями канатъ. Перебирая этотъ канатъ, онъ ловко перетянулъ ладью черезъ стремнину, которую никакъ бы нельзя было перейти

ни подъ вѣтромъ, ни на веслахъ. Такъ же точно прошли и вторую стремнину, за которою недалеко была уже и самая цѣль мореходцевъ.

Тутъ въ очень стѣсненной группѣ скалъ была одна такая, которая съ перваго взгляда ничѣмъ не отличалась отъ прочихъ, но на самомъ дѣлѣ она имѣла существенную разницу по странной игрѣ природы, устроившей въ этой скалѣ одну подъ другой три террасы, обращенныя къ полдню, и на средней изъ нихъ — обширную расщелину, за которою на полянѣ, поросшей кустами, были двѣ пещеры, одна внизу, а другая на значительной высотѣ, такъ что въ нее можно было взойти только приставляя длинную суковатую жердь, замѣнявшую лѣстницу, которую, по миованіи надобности, опять отнимали и клали въ купы зеленаго діорита, гдѣ она и лежала такъ, что была незамѣтна. Съ той стороны, куда выходила площадка и входы обѣихъ пещеръ, больше не было скалъ и открывалось безбрежное море. У подошвы скалы была маленькая, но очень удобная бухточка, въ формѣ сандаліи. Ладья заходила въ нее легко и помѣщалася въ ней удобно и совсѣмъ незамѣтно.

Пруденцій присталъ въ эту бухту и, высадивъ Мелиту съ Маремой, повелъ ихъ наверхъ, гдѣ были пещеры.

Въ нижней пещерѣ было большое жилье, раздѣленное натуральными столбами скалы на нѣсколько удобныхъ покоевъ, изъ которыхъ два были убраны коврами и кожами и представляли во всѣхъ отношеніяхъ здоровое и удобное помѣщеніе.

Эту нижнюю пещеру Пруденцій предоставилъ въ распоряженіе Мелиты и Маремы, а самъ началъ жить въ верхней пещерѣ, которая была потѣснѣе нижней и представляла собственно разбойничій тайникъ, но однако и въ ней былъ здоровый, чистый воздухъ и хорошая постель изъ цыновокъ.

Запасовъ же и разной утвари въ нижней пещерѣ было накоплено столько, что пять человѣкъ смѣло могли продовольствоваться здѣсь цѣлый годъ.

Мелита и Марема благодарили Пруденція за доставленное имъ удобство въ помѣщеніи и, утомленныя длиннымъ морскимъ переходомъ, тотчасъ же легли спать и проспали очень долго, а проснувшись, когда солнце уже высоко взошло и играло по сверкающей зыби моря, были въ восхищеніи отъ свѣжести воздуха и обширнаго вида на море. А

межъ тѣмъ недалеко въ сторонѣ отъ входа въ ихъ пещеру былъ уже разведенъ огонь, возлѣ него положена коза съ полуснятою кожей и сосудъ со свѣжей водою.

Все это, безъ сомнѣнія, приготовилъ Пруденцій.

Увидѣвъ это, женщины стали смотрѣть: гдѣ же находится теперь самъ Пруденцій, котораго онѣ желали поблагодарить за его заботы о нихъ, но Пруденція не было видно. Тогда Мелита съ Маремой принялись хозяйничать около очага, и только-что сняли кожу съ козы и, распластавъ ея мясо, стали однѣ части варить, а другія втыкали на прутья, чтобъ жарить, какъ вдругъ появился Пруденцій. Онъ шелъ, обливаясь потомъ и таща на себѣ по кручѣ отъ моря съ ладьи тяжелую ношу.

— Ну, что ты за милый хозяинъ!—увидѣвъ его, закричала Марема.

— И я скажу то же,—поддержала Марему Мелита.

Пруденцій улыбался счастливой улыбкой и, опустивъ ношу, подошелъ къ женщинамъ, чтобы сказать имъ утреннее привѣтствіе.

Потомъ они стали обѣдать, а послѣ пошли осмотрѣть скалу и нашли на ней, кромѣ двухъ пещеръ, помѣщенныхъ одна надъ другою, и открытое пространство, покрытое зеленью, съ возвышеніями, по которымъ пощипывали травку прирученныя козы. Здѣсь съ высоты каскадомъ падалъ прозрачный ручей.

— Это прекрасное мѣсто!—восклицала Марема, рѣзвясь какъ ребенокъ.—Я не хотѣла бы никогда удаляться отсюда.

При этомъ она наклонилась къ уху Мелиты и добавила:

— Особенно въ томъ случаѣ, если бы я могла здѣсь жить не одна, а съ такимъ человѣкомъ, который бы... мнѣ... нравился что ли... и котораго любовь моя могла бы дѣлать счастливымъ.

Мелита пожала ей руку и отвѣчала:

— Что же!.. Все это можетъ случиться...

— Откуда жъ!

— Не унывай: въ природѣ возможно многое, что по взгляду кажется труднымъ и даже совсѣмъ невозможнымъ.

Но Марема расхохоталась и сказала:

— Ну, я знаю, однако, одно, что совсѣмъ невозможно.

— Что же это такое?

— Невозможно, чтобы смуглая кожа Маремы могла затмить лилейную бѣлизну чудеснаго тѣла Мелиты.

— О, если только дѣло за этимъ, то это очень возможно, и въ такой возможности ты, можетъ-быть, удостовѣришься гораздо скорѣе, чѣмъ ты могла бы подумать.

А какъ эта перемолвка произошла между женщинами съ уха на ухо, то она не могла не возбудить любопытство въ Пруденціи, что̀ Мелита тотчасъ же замѣтила и сказала ему:

— Не удивляюсь я, добрый Пруденцій, что тебѣ интересно, о чемъ мы между собою разсуждаемъ съ Маремой, и думаю, что тебѣ будетъ еще любопытнѣе, когда ты узнаешь, что̀ все, о чемъ мы говорили, касается до тебя. Скажи намъ, каково твое мнѣніе: хотѣлъ ли бы ты, чтобы цѣлую жизнь остаться на этой скалѣ, и какъ бы ты хотѣлъ проводить свою жизнь?

Пруденцій отвѣтилъ, что онъ считалъ бы за самое лучшее счастіе остаться здѣсь навсегда съ тою женщиной, которую любитъ, и желалъ бы проводить жизнь только въ томъ, чтобы наслаждаться ея любовью, забывъ обо всемъ остальномъ на свѣтѣ.

Мелита улыбнулась и сказала ему:

— У меня и Маремы несхожія мнѣнія, и то, которое ты теперь высказалъ, ближе всего ко мнѣнью Маремы, а со мною совсѣмъ не согласно.

Пруденцій, вмѣстѣ съ Маремою, стали просить ее, чтобы она сказала имъ свое мнѣніе, а она имъ отвѣчала:

— Здѣшнее мѣсто прекрасно; но такая любовь, которая отдѣляетъ двухъ человѣкъ отъ всѣхъ прочихъ людей и погружаетъ ихъ въ одни наслажденья другъ другомъ, мнѣ совершенно противна. Я даже вовсе не понимаю: какое въ такой любви можетъ быть счастіе? Я думаю, что это совсѣмъ не сто̀итъ имени любви, — что это совсѣмъ что-то другое, на чемъ невозможно воспитать духъ свой и прожить жизнь въ мирѣ съ своей совѣстью. Я бы хотѣла, чтобы съ нами здѣсь были другіе, и чтобы всѣ мы могли быть другъ другу полезны: я думаю, въ этомъ долженъ быть смыслъ человѣческой жизни, а не въ томъ, чего могутъ достичь и низшія твари, не владѣющія человѣческимъ разсудкомъ.

И между ними начался разговоръ, въ которомъ они всѣ

трое, сидя надъ моремъ въ зелени діоритовъ, приняли оживленное участіе и незамѣтно трое раздѣлились на два мнѣнія: Мелита оставалась при своемъ, развивая мысль о необходимости общей любви ко всѣмъ людямъ, при которой нельзя отрѣшаться отъ общенья съ другими, а Марема и Пруденцій, увлекаясь идеями личнаго счастья, уходили въ этомъ настроеніи все дальше и дошли, наконецъ, до того, что сказали, что нѣтъ и не можетъ быть высшей любви, какъ та, которая довольна своимъ избраннымъ предметомъ,—однимъ имъ согрѣта и занята и до другихъ ни до кого нѣтъ ей дѣла.

Когда разговоръ дошелъ до этого, Мелита улыбнулась, не стала болѣе спорить, а шутливо свела руку Пруденція съ рукою Маремы и сказала имъ:

— Я очень рада, что вы другъ съ другомъ согласны.

Пруденцій и Марема этимъ смутились, и въ одинъ изъ послѣдовавшихъ затѣмъ дней, когда Марема помогала Пруденцію разгружать внизу лодку, а онъ взносилъ тяжести наверхъ къ пещерамъ, у которыхъ Мелита готовила на очагѣ обѣдъ, Пруденцій, опустивъ на землю ношу, промолвилъ Мелитѣ:

— Я до сихъ поръ все не перестаю думать о бывшемъ у насъ въ первый день разговорѣ... Онъ какъ будто отстраняетъ меня отъ тебя, къ которой влечетъ меня сердце и отъ одного приближенья къ которой вся кровь во мнѣ пылаетъ какъ пламя.

— Кровь!.. Ты все о крови, Пруденцій. Бунтованіе крови проходитъ... Гораздо надежнѣе то, что можетъ жить вѣчно и не остынетъ отъ времени.

— Что же это, Мелита?

— Сродство нашего духа... согласье въ желаніяхъ, одинаковость окончательной цѣли!

Но Пруденцій покачалъ головой и сказалъ съ укоризной:

— Мелита! Мелита! что тебѣ за охота говорить все такія мудреныя вещи? Не будетъ ли проще, если насъ свяжетъ не духъ, а то, чѣмъ обыкновенно мужчину и женщину соединяетъ природа?

— Нѣтъ,—отвѣчала Мелита:—это слишкомъ ужъ просто.

— О, довѣримся ей... Отдайся, Мелита, всесильной природѣ, она никогда не обманетъ.

— Нѣтъ, она-то скорѣе всего и обманетъ.

— Природа обманетъ?

— Ну, да!

— Никогда.

— Ну, не станемъ перекидывать наши слова безъ средствъ доказать ихъ. Ты помнишь, конечно, нашъ уговоръ: «три дня испытанія».

— Безъ сомнѣнія, помню, и заранѣе торжествую побѣду любви моей надъ упрямствомъ капризной Мелиты.

— Прекрасно! Но воздержись,—не спѣши съ торжествомъ. Я у тебя не отнимаю надежды, но впереди будутъ три дня испытанія... *Три только дня!*.. Но зато въ эти три дня ты долженъ мнѣ повиноваться во всемъ.

— Очень радъ... только, однако, когда же начнешь ты свои испытанія?.. Я желаю, чтобы это было скорѣе.

— Сейчасъ, если хочешь.

— Я замираю въ восторгѣ.

— Прекрасно: теперь вечеретъ, а черезъ три дня въ эту же пору я буду твоею женою... или...

— Кончай же!

— Или я ею не буду.

— Въ какомъ же то случаѣ?

— Въ томъ случаѣ, если ты самъ отъ меня откажешься и что-нибудь предпочтешь моимъ ласкамъ.

— О, сдѣлай милость! Это одно, чего я никогда для тебя не сдѣлаю, хотя бы на меня возстали всѣ демоны ада и всѣ «силы природы».

— Ну, вотъ ужъ: «*всѣ силы природы*»! Зачѣмъ такой смѣлый вызовъ! Быть-можетъ, и одной «силы природы» будетъ довольно.

— Начинай испытанье! Говори, что я сейчасъ долженъ дѣлать?

— Во-первыхъ, ты отъ меня удалишься сію же минуту въ свое помѣщенье въ верхней пещерѣ.

— Ну, и что мнѣ тамъ дѣлать?

— Пока ничего.

— Какъ это пока?

— Пока тебѣ станетъ хотѣться думать болѣе о самомъ собѣ, чѣмъ обо мнѣ.

— Ну, оставь это!.. Никогда этого не будетъ.

— Всходи же въ пещеру.

— Ну, хорошо,—я всхожу.

Пруденцій сталъ подниматься по лѣстницѣ и, достигнувъ до входа въ свою верхнюю пещеру, обернулся и съ веселою улыбкою вскрикнулъ:

— Эвое! Я уже началъ мое испытаніе и на одинъ мигъ сталъ ближе къ обладанью Мелитой.

— Обладай же сначала собою,—отвѣчала Мелита, отнимая лѣстницу и спуская ее по откосу на вторую площадку.

— Я запертъ!—смѣялся Пруденцій.

— Теперь жди, пока я тебя позову, стоя въ ожиданы тебя у брачнаго ложа.

И съ этимъ Мелита скрылась въ своей нижней пещерѣ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Вскорѣ послѣ того, какъ скрылась Мелита, по тропинкѣ отъ моря стала подниматься Марема. Пруденцій издали ее замѣтилъ и сталъ говорить ей:

— Ахъ, порадуйся за меня, Марема! Мелита уже начала мое испытаніе, и черезъ три дня она должна будетъ сдержать свое слово—она сдѣлается моею женою.

— Это славная вещь! А въ чемъ же будетъ состоять твое испытаніе?

— А вотъ въ точности я этого до сихъ поръ не знаю, право; до сихъ поръ она мнѣ ничего не сказала, кромѣ того, чтобы я думалъ о ней и ожидалъ терпѣливо какого-то ея слова; а ужъ какое это будетъ слово,—не знаю.

«Что за затѣи у этой Мелиты?»—подумала, покачавъ головою, Марема и, войдя въ пещеру, тотчасъ же хотѣла разспросить Мелиту: что далѣе будетъ? Но Мелита лежала, закрывши глаза и спала, или притворилась спящей, и Марема будить ее не рѣшилась; а когда она снова вышла, чтобы взять нѣсколько хвойныхъ вѣтокъ и выкурить ихъ дымомъ насѣкомыхъ, она увидала, что Пруденцій стоялъ наверху во входѣ своей пещеры и на него свѣтила луна, а онъ улыбался и сказалъ ей:

— Скажи привѣтъ мой Мелитѣ, Марема.

А Маремѣ не хотѣлось ему отвѣчать,—такъ ей сдѣлалось его жалко и грустно видѣть его какъ птицу въ клѣткѣ.

До полуночи Марема не могла сомкнуть глазъ, а за полночь она слышала, какъ Мелита вышла и возвратилась не скоро, а когда возвратилась, то прежде, чѣмъ лечь, подошла и нагнулась надъ изголовьемъ Маремы, и, увидавъ,

что Марема не спитъ, откинулась вновь и сказала сурово и твердо:

— Ни во что не мѣшайся и ни о чемъ меня не разспрашивай... Повѣрь мнѣ, что я не жестокая женщина и не хочу ничьихъ напрасныхъ мученій, а я дѣлаю то, что̀ нужно для нашего общаго счастія. Умоляю тебя: вѣрь мнѣ, какъ вѣрила, и ни о чемъ не разспрашивай больше.

— Пусть будетъ такъ, какъ ты хочешь.

И едва забрезжился свѣтъ, Мелита разбудила Марему и позвала ее вмѣстѣ съ нею идти, чтобы докончить выгрузку лодки; а когда онѣ туда сошли, то Марема увидѣла, что Мелита одна здѣсь работала ночью, а теперь онѣ взялись за дѣло вдвоемъ и трудились такъ безотступно, что къ вечеру все, что̀ привезено было въ лодкѣ, было втащено на берегъ, и облегченная ладья поднялась и закачалась въ своей маленькой бухтѣ.

Во весь день Мелита съ Маремою не возвращались въ пещеру, и когда стало темнѣть, онѣ еще оставались у моря. Марема не разъ порывалась уйти, но Мелита ее удерживала, и онѣ стали подниматься наверхъ только тогда, когда луна утонула за скалы и вокругъ сдѣлалось темно.

Тогда онѣ тихо проникли въ свою пещеру, незамѣченныя Пруденціемъ, и не зажигали огня, чтобы выгонять насѣкомыхъ, а улеглись каждая на своемъ мѣстѣ впотьмахъ... и Мелита, казалось, сейчасъ же заснула, но Марема начала что-то искать и потомъ стала ѣсть, и, сдѣлавши нѣсколько глотковъ, вдругъ вскрикнула, какъ бы приняла что-то пронзительное или острое.

Тогда оказалось, что и Мелита не спала, потому что она живо вскочила и спросила въ испугѣ:

— Что̀ съ тобою случилось?

Марема сразу ничего не отвѣчала, но когда Мелита повторила вопросъ, та ей отвѣтила какъ бы изъ какого-то отдаленья:

— Со мной ничего не случилось... но я не хочу болѣе ѣсть, потому... что... я все теперь поняла... Пруденцій безъ пищи!..

Мелита ей не отвѣчала ни слова.

Ночь прошла безпокойно въ прерывистыхъ грезахъ. Обѣимъ женщинамъ казалось, какъ будто онѣ видятъ Пруденція и слышатъ его шаги, и вотъ онъ весь исхудалъ, глаза

его округлились... онъ глядитъ безпокойно... Мелита! Мелита! скорѣй задавай ему дѣло!

А оно уже было задано.

Утромъ на третьи сутки Мелита вовсе не вышла. Изъ пещеры показалась одна только Марема, и Пруденцій сторожилъ ея появленіе.

— Здравствуй! Здравствуй, Марема! — закричалъ онъ ей пострадавшимъ, но еще веселымъ голосомъ.—Прошли уже двѣ ночи и день, какъ я ожидаю здѣсь своего заслуженнаго права прижать къ моему вѣрному сердцу милую Мелиту. Теперь уже не долго осталось мнѣ ждать, но зачѣмъ она медлитъ? зачѣмъ до сихъ поръ мнѣ не скажетъ: въ чемъ я долженъ выдержать мое испытанье? Или ты, можетъ-быть, съ тѣмъ теперь вышла, чтобы сказать мнѣ, что я долженъ сдѣлать? Говори же скорѣе: я утомился здѣсь ожидать приказанья Мелиты...

— Мелита мнѣ ничего не сказала,—отвѣчала Марема, стараясь не глядѣть на Пруденція, который при самомъ бѣгломъ взглядѣ на него показался ей изнуреннымъ и страшнымъ.

— Куда же идешь ты?

— Я иду... чтобы поймать удою рыбу и поискать въ расщелинахъ птичьихъ яицъ... Завтра вѣдь къ вечеру Мелита готовитъ свадебный пиръ...

— Ахъ, она уже готовитъ! Прекрасно, прекрасно... Иди же скорѣй, лови рыбу... и яйца есть по утесамъ... А Мелита, вѣрно, выйдетъ сама и скажетъ мнѣ, что долженъ я сдѣлать... Мнѣ кстати очень хочется ѣсть.

— Я ворочусь и скажу ей, что ты хочешь ѣсть.

— Нѣтъ, не надо, Марема. Я ей далъ слово, что не буду ее ни о чемъ просить, пока она меня кликнетъ... Уходи, куда ты идешь... мнѣ нужно терпѣнье.

И Марема ушла, а Пруденцій остался одинъ и снова весь цѣлый день протомился въ затворѣ; онъ то поджидалъ Мелиту, то ее кликалъ, но все это было напрасно,—Мелита не показалась ему ни на мгновеніе ока. Она цѣлый день безустанно разбирала всѣ перенесенныя съ ладьи вещи и съ такимъ вкусомъ убрала пещеру, что ее можно было принять за очень благоустроенное жилище человѣка со вкусомъ. Въ переднемъ, большомъ помѣщеніи былъ накрытъ большой столъ, уставленный множествомъ дорогой и

прекрасной посуды, а вдали, за столбомъ, обвитымъ цвѣтными тканями, возвышалось пышно убранное ложе подъ голубою завѣсой и съ лампами у изголовья.

Все это требовало много искусства и вкуса, и трудно было произвести такое превращеніе въ одинъ день; но Мелита не жалѣла труда, и онъ одинъ, вѣроятно, помогъ ей не слыхать жалобныхъ стоновъ Пруденція, который съ полудня уже утратилъ терпѣніе и звалъ Мелиту, крича ей, что онъ чувствуетъ мучительный голодъ.

— Мелита!—кричалъ онъ:—Мелита! для чего ты забываешь, что я человѣкъ и что голодъ желудка даетъ знать о себѣ безпрестанно... Говори мнѣ скорѣе, какое я тебѣ долженъ дать доказательство, что я ни съ чѣмъ не сравню твою любовь... или я здѣсь умру отъ голода.

Но Мелита все убирала покои и не пришла къ нему на его зовъ, и Пруденцій такъ протомился до вечера, когда увидалъ возвращающуюся Марему и закричалъ ей:

— Мои мученія превзошли уже всякую мѣру...

— Ты старайся не думать...

— Ахъ, не могу, не могу я не думать—голодъ жесточе всевозможныхъ мученій... Я боюсь, что я не доживу до утра...

— Старайся уснуть... пусть во снѣ тебѣ снится Мелита.

— Ахъ, я уже пробовалъ спать... и во снѣ то же самое снится... Ѣсть хочу, ѣсть хочу! Страшно, Марема, мнѣ, страшно! У тебя тамъ гдѣ-нибудь вѣрно есть птичьи яйца—брось мнѣ одно изъ нихъ, я умираю.

— Не смѣю,—отвѣчала Марема и скоро скользнула въ пещеру, которая была освѣщена многими огнями и поразила Марему своимъ неожиданнымъ великолѣпіемъ.

— Что это будетъ?— спросила Марема.

— Завтра здѣсь будетъ свадебный пиръ,—отвѣчала Мелита.

— Свадебный пиръ!.. О, Мелита! остерегись, чтобы это не былъ похоронный обѣдъ.

И, сказавъ это, Марема присѣла и, опустивъ руки и голову, зарыдала.

— О чемъ ты такъ плачешь?—спросила Мелита.

— Я сейчасъ видѣла Пруденція и слышала его стоны... Его мучаетъ голодъ, и онъ умираетъ.

— Но вѣдь его раньше мучилъ еще иной голодъ...

— Нѣтъ, голодъ желудка страшнѣе всякаго другого томленья.

— Полно, Марема. Вѣдь и я тоже не ѣмъ.

Марема достала изъ-за туники яйцо морской птицы и сказала:

— Я цѣлый день провела безуспѣшно и насилу достала всего два яйца. Одно,—признаюсь тебѣ,—съѣла сырое, и оно мнѣ отъ голода показалося вкусно. Съѣшь ты это другое. Его просилъ у меня Пруденцій, но я не дала ему.

— И мнѣ оно тоже не нужно: я терплю то же, что терпитъ Пруденцій!—и съ этимъ словомъ Мелита взяла изъ рукъ Маремы яйцо и бросила его объ полъ.

— Здѣсь есть много съѣстного,—добавила она: — но я ничего не касалась. Я по себѣ разумѣю, что онъ можетъ снести безъ вреда для его жизни. Лягъ и усни, а завтра съ утра станемъ готовить обѣдъ и ввечеру разрѣшится все, что такъ долго и мучительно длилось.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

И вотъ прошла ужасная ночь, которая всѣмъ показалась долга безконечно и всѣхъ истомила. Настало тяжелое утро. Обѣ женщины рано проснулись, и Марема тотчасъ же выбѣжала, чтобы взглянуть на Пруденція. Юноша измѣнился въ эту послѣднюю ночь сильнѣе, чѣмъ во все протекшее время: лицо его сдѣлалось сѣрое и маленькое, оба глаза ввалились и казались совершенно круглыми, а губы почернѣли, и изъ-за нихъ виднѣлись два ряда бѣлыхъ зубовъ, какъ будто ослабнувшихъ въ деснахъ, и воспаленный языкъ и гортань... Голодъ его догрызалъ, — Пруденцій уже не имѣлъ силъ и стонать; онъ сидѣлъ, прислонясь ко входу, и тихо качался, придавливая исхудалыми руками опустошенный животъ.

Напрасно Марема хотѣла его утѣшить и говорила ему о близости счастья въ обладаньѣ Мелитою,—Пруденцій не отвѣчалъ ей ни слова.

Когда же Марема сказала объ этомъ Мелитѣ, та отвѣчала:

— Это такъ должно быть! Когда зло не хотятъ побѣдить разсудкомъ, то оно побѣждается страданіями. Но не будемъ говорить объ этомъ, а давай скорѣе приготовлять всѣ лучшія кушанья, какія умѣемъ.

И онѣ отобрали изъ всѣхъ запасовъ все, что было луч-

шаго, и стали готовить всѣ блюда, какія умѣли. Это требовало не мало трудовъ, и приготовленія еще не были совсѣмъ кончены, когда солнце стало спускаться за скалы. Тогда Мелита сказала Маремѣ:

— Оставимъ на время мяса и плоды,—пусть хорошенько томятся на угляхъ, а мы пойдемъ подъ ручей,—омоемся свѣжей струею воды и одѣнемъ лучшія наши одежды.

Марема пошла съ нею и удивилась, что когда онѣ вышли изъ-подъ обливанья, то Мелита открыла принесенную скляницу драгоцѣнныхъ духовъ и неожиданно вылила всю ее поровну на свои волосы и на волосы Маремы, и при этомъ сказала:

— Я хочу сдѣлать такъ, чтобы мы обѣ имѣли видъ невѣстъ.

И затѣмъ, возвратившись въ пещеру, Мелита стала спѣшить уборкой стола,—разставила кувшины съ разноцвѣтнымъ виномъ; разложила фрукты на листьяхъ, и подливы къ мясамъ, и загородки изъ тѣста въ глиняныхъ блюдахъ; а потомъ засвѣтила огни, открыла постель, и стала между ней и столомъ, одѣтая въ самыя пышныя платья, а Маремѣ сказала:

— Приставь скорѣй лѣстницу и поди и скажи Пруденцію, что я его приглашаю сойти.

Марема исполнила это въ одно мгновеніе; но когда она вошла въ верхнюю пещеру къ Пруденцію, то увидала его въ ужасномъ изнуреніи,—онъ уже не сидѣлъ, а лежалъ и на вопросы могъ отвѣчать очень нескоро и очень невнятно. Онъ только тихо махалъ рукою и давалъ чувствовать, что для него ничто не важно, кромѣ голода, которымъ онъ истомился.

Долгоожидаемое приглашеніе Мелиты нимало его не оживило и не обрадовало.

— Вѣдь это насталъ часъ твоей радости!—говорила ему Марема; но онъ только отмахнулся рукою и, обратясь въ сторону, прошепталъ:

— Куда... же... ты дѣла... яйцо... морской чайки?

— Что тебѣ теперь до яйца чайки... тебя ожидаетъ роскошнѣйшій столъ и... еще больше роскошныя ласки Мелиты!.. Встань скорѣе на ноги—я помогу тебѣ сойти съ лѣстницы.

Онъ сталъ подниматься, но закачался, упалъ и сказалъ:

— Я не въ силахъ.

Тогда живал Марема схватила Пруденція, какъ дитя, на свои сильныя руки, снесла его съ лѣстницы, опустила на землю и, давъ ему оправиться, подвела его подъ руки ко входу въ освѣщенную пещеру, гдѣ въ сіяньѣ огней стояла блестящая красотой и уборомъ Мелита. Она встрѣтила Пруденція съ ласковой улыбкой и сказала ему ласковымъ голосомъ:

— Привѣтъ мой тебѣ, господинъ мой Пруденцій! Входи и будь здѣсь властелиномъ всего, что ты видишь. Ты перенесъ испытанье, и за то я даю тебѣ надо мною всякое право... Пиръ изготовленъ... послѣднія блюда скоро поспѣютъ на тихомъ огнѣ, и брачное ложе готово... и я жду моего господина!

При этомъ Мелита протянула обѣ руки къ Пруденцію; но онъ отвернулся отъ нея и, поведя вкругъ какъ бы утратившими зоркость глазами, нетерпѣливо воскликнулъ:

— Подожди!.. и скажи мнѣ: гдѣ же это яйцо дикой птицы?

— Я разбила его,—отвѣчала Мелита.—Поди отдохни, господинъ мой, на ложѣ... Вѣдь я сама его стлала для тебя, моего господина... А послѣ ты будешь ѣсть самыя вкусныя кушанья.

— Ахъ, это все пустяки!.. Подавай мнѣ сейчасъ все, что тамъ кипитъ или печется!

— Кушанье все еще не готово.

— А это же что здѣсь такое дымится въ глиняномъ блюдѣ?

— Это подлива къ бобамъ и загородки изъ тѣста для разваренаго мяса...

— Вотъ я и съѣмъ сейчасъ всю эту подливу и всѣ загородки изъ тѣста...

И онъ потянулъ къ себѣ блюдо съ подливой и началъ лакать ее и грызть загородки, не обращая никакого вниманія на Мелиту, которая этимъ временемъ все удалялась тихо назадъ и, наконецъ, вовсе исчезла, такъ что съ этой поры Пруденцій и Марема напрасно искали ее на утесѣ. Съ нею вмѣстѣ ушла и ладья, которая была спрятана въ бухтѣ, и теперь Пруденцій съ Маремой были отрѣзаны отъ всего остального міра.

Они напрасно обѣгали со всѣхъ сторонъ скалу и искали

Мелиту,—она, безъ сомнѣнія, оставила ихъ и скрылась, а они остались вдвоемъ и не видѣли никого третьяго до тѣхъ поръ, пока возлѣ Маремы сразу раздались два голоса двухъ новорожденныхъ ею близнецовъ... Въ этотъ день Пруденцій, сошедшій внизъ съ сверткомъ бѣлья, которое онъ долженъ былъ вымыть для своихъ двухъ близнецовъ и для Маремы,—замѣтилъ на морѣ точку, которая какъ будто перемѣняла свое мѣсто... А еще черезъ нѣсколько дней Пруденцій увидалъ, что на глинѣ скалы надъ самою бухтою было начертано чѣмъ-то острымъ: «Мелита привѣтствуетъ Пруденція и Марему съ дѣтьми ихъ и желаетъ имъ согласія и добродѣтельной жизни». Еще же черезъ мѣсяцъ Пруденцій увидѣлъ ладью еще ближе, и видѣлъ, что на ней были двѣ женщины, и что къ ней изъ-за скалъ подошла другая ладья и на эту перешла одна изъ двухъ женщинъ, и теперь та лодка, на которой сидѣли двѣ женщины, стала удаляться, а та, на которой осталась одна,—приближалась къ утесу.

Пруденцій скоро узналъ по окраскѣ, что эта лодка его и Алкея, которая исчезла съ той ночи, какъ удалилась Мелита... Пруденцій сказалъ объ этомъ Маремѣ, которая сидѣла тутъ же возлѣ него на берегу моря и держала на каждомъ изъ своихъ колѣнъ по здоровому, смуглому ребенку, изъ которыхъ каждый завладѣлъ одной грудью своей матери и такъ жадно сосалъ, что молоко выбѣгало у него обратно изъ устъ и крупными, бѣлыми каплями скользило по смуглой груди Маремы... Но Марема теперь этого не замѣчала, потому что она слѣдила за лодкой, и вдругъ вскричала:

— Радуйся, милый Пруденцій!.. Къ намъ приближается мать твоя, вдова Ефросина... Мы не останемся одни здѣсь и наши дѣти не будутъ жить дикарями.

— Да,—отвѣчалъ ей Пруденцій:—и я теперь вижу: это мать моя, вдова Ефросина!.. Кто передалъ ей нашу ладью и кто указалъ ей путь къ намъ?

— Конечно, Мелита. Это она удалилась на другой ладьѣ съ своимъ другомъ Эрминіей... Онъ христіанки.

Пруденцій задумался и, слѣдя за приближеніемъ лодки, которою, несмотря на свои годы, хорошо еще правила вдова Ефросина, сказалъ, склоняясь къ Маремѣ:

— Вотъ всѣ, кто страстно любитъ наслажденія жизни,

всегда разсуждаютъ, что будто галилейское ученіе не годится для жизни... А припомни-ка все, что было съ нами, и выйдетъ, что впередъ дальше всѣхъ видѣла одна Мелита. Я передъ нею такъ малодушенъ, что не могъ бы идти съ нею рядомъ. Какъ хорошо, что она не связала себя узами брака съ такимъ посредственнымъ человѣкомъ, какъ я!.. При разности взглядовъ и мыслей мы не нашли бы въ союзѣ согласья и мира, а съ тобой мы счастливы... Ея духъ слишкомъ высокъ и серьезенъ—онъ слишкомъ безпощадно побѣждаетъ плоть. Ты же и я... мы смотримъ проще... Я не знаю, какъ это случилось, какъ я все любилъ такъ сильно Мелиту, и теперь вижу, что она несродна мнѣ, а ты мнѣ гораздо милѣе Мелиты... Я хотѣлъ скрываться здѣсь вѣчно съ Мелитой,—потомъ мнѣ такъ хорошо было здѣсь же съ тобой, и теперь... я, однакоже, радуюсь, что мать моя насъ разыскала и мы не останемся въ вѣчной разлукѣ съ людьми... Весь кругъ мыслей во мнѣ перепелъ,—все передѣлалось съ нами именно такъ, какъ говорила Мелита. Вѣрно надо ей вѣрить во всемъ.

— Да, она умная женщина.

— Надо считать духъ, а не плоть владыкою жизни, и жить не для тѣхъ чувствъ, которыя научаютъ насъ особиться отъ всѣхъ прочихъ людей...

— Правда, Пруденцій.

— Пусть такъ и будетъ, и когда мы уклонимся отъ этого... пусть мы сами не будемъ на своей сторонѣ. Если мы погрѣшимъ, то не станемъ извинять себя и дѣлать себѣ пояса изъ листьевъ, потому что прятаться—это хуже, чѣмъ несть порицаніе, котораго заслуживаешь.

— Я согласна,—отвѣчала Марема.

— Да, всегда мы съ тобою согласны! Какое это счастіе для обоихъ насъ!..

— И для нашихъ обоихъ дѣтей,—показала Марема на близнятъ, которыхъ ужъ издали увидала бабушка ихъ, вдова Ефросина, и начала улыбаться всѣмъ и въ концѣ, бросивъ весло, закричала:

— Вотъ такъ ребята! Этакихъ я еще не встрѣчала.

БРАМАДАТА И РАДОВАНЪ *).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ очень давнее время въ Индіи были два смежныя царства: одно называлось Бенаресъ, а другое царство Казальское. Въ одномъ изъ нихъ, въ Бенаресѣ, правилъ царь по имени Брамадата, а въ другомъ—въ Казальскомъ царствѣ—Радованъ. Они были между собою несогласные и постоянно не ладили оттого, что у нихъ были разные характеры и понятія, и во всемъ они хотѣли все разнаго. Брамадата, бенаресскій царь, былъ большой воинъ и хотѣлъ, куда ни придетъ, чтобы всѣхъ сейчасъ побить или въ плѣнъ угнать; а Радованъ терпѣть не могъ воевать, а все заботился, чтобы у него въ землѣ была тишина, и чтобы люди никто одинъ другого не обижали, а всѣ бы вровняхъ трудились и имѣли себѣ пищу и одежду, а на чужое добро не завидовали и ничего чужого себѣ не брали.

Отъ этого разнаго расположенія царей и во дворахъ у нихъ, и во всемъ подданствѣ все шло по-разному.

У Брамадаты была тогда радость, если онъ кого-нибудь побьетъ и чужое добро возьметъ, а Радованъ тогда былъ утѣшенъ, если у него все было тихо и всѣ люди трудятся и живутъ средственно, а не стараются превзойти одинъ другого обманомъ или опутать ложью и хитростью. И какъ

*) Это прекрасное по формѣ и глубокое по основной своей мысли индійское сказаніе было окончательно приготовлено къ печати покойнымъ писателемъ и не появилось при его жизни только вслѣдствіе случайныхъ обстоятельствъ.

у храбраго Брамадаты, такъ и у хозяйственнаго Радована, не все всегда ладилось.

Радовановы люди наскучили миромъ и тишиною, и стали они говорить:

— Что намъ изъ того, что намъ тихо и покойно жить въ тишинѣ. Нонѣ тихо и завтра опять тоже тихо,—оно уже и наскучило, и куда мы за свой рубежъ ни пойдемъ, за какимъ ни случись дѣломъ, намъ отъ сосѣдей такого почета нѣтъ, какъ людямъ изъ храбраго царства Брамадатова. Такъ намъ жить хоть и сытно, и привольно, да обидно и не весело.

И докучали этимъ ропотомъ люди царю Радовану очень много лѣтъ и заставили его претерпѣть много горестей отъ того, что люди его не понимали пользы мирнаго житья и завидовали бранному шуму и славѣ воительской.

А у Брамадаты-царя люди въ царствѣ его на войну обижалися и роптали такъ:

— Что намъ за польза отъ нашихъ воинскихъ доблестей. Что ни больше натащили себѣ серебра или золота—то все у насъ только дороже становится, и некому даже ни пахать, ни ржи убирать, ни скотъ пасти. Одни перебиты, а другіе вернутся такими калѣками, что, глядя на нихъ, только казнишься. Лучше бъ намъ тихо жить по-сосѣдски со всѣми и ни съ кѣмъ бы не ссориться.

Услыхалъ бенаресскій царь, непобѣдимый Брамадата, что его храбрые воины, у которыхъ въ костяхъ ноетъ, не веселятся отъ своей прошлой храбрости, а завидуютъ тѣмъ, что вѣкъ въ тиши прожили, и разгнѣвался, и велѣлъ созывальщику взять большой барабанъ и ходить надъ рѣкою да стучать во всю мочь, чтобы былъ слышенъ шумъ по водѣ далеко во всемъ его царствѣ, и послалъ здоровыхъ крикуновъ верхомъ на слонахъ, чтобы они на слонахъ въ самую середину народа въѣзжали и кричали военный кличъ всѣмъ людямъ, кто хочетъ идти на свирѣпыхъ сосѣдей и все ихъ добро забрать и между собою подѣлить, а ихъ земли подъ одну державу Брамадаты подбить и обложить ихъ тяжкою податью. И какъ услыхали этотъ кличъ въ Брамадатиномъ царствѣ здоровые люди—всѣ не стали слушать своихъ стариковъ, которые тяготились военнымъ житьемъ, а схватили луки и стрѣлы, взяли щиты и, опоясавшись въ латы, пошли воевать своихъ свирѣпыхъ сосѣдей, и скоро все цар-

ство Радована-царя покорили; тѣхъ, которые хотѣли сражаться, побили или покалѣчили, а самому Радовану хотѣли назадъ руки связать и вести его на веревкѣ за Брамадатой-царемъ, когда онъ будетъ возвращаться назадъ съ побѣдными войсками въ свою столицу. Но смирный казальскій царь Радованъ всѣ свои потери перенесъ съ терпѣніемъ, а не могъ вздумать о томъ, какъ его будутъ на веревкѣ вести и тогда надъ нимъ станутъ смѣяться и побѣдители его, и его бывшіе подданные, которые теперь отступили отъ своего смирнаго обычая и предались побѣднымъ торжествамъ Брамадаты, царя бенаресскаго. И чтобы не переносить этого униженія, сказалъ Радованъ царицѣ, женѣ своей: «сбрось съ себя поскорѣе свое царское платье, которое на тебѣ осталось, и отдай его нищенкѣ, а у ней возьми ея бѣдное платье, и я то же самое сдѣлаю и, покрывшись лохмотьями, убѣжимъ потихоньку и скроемся въ такое мѣсто, гдѣ насъ никто не вздумаетъ разыскивать, и будемъ тамъ жить до вѣку, или пока въ судьбѣ нашей перемѣна наступитъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Жена Радована на все согласилась, и обмѣняли они свои послѣднія царскія платья съ нищими и бѣжали темною почью изъ своей Казалы, стали скрываться въ лѣсахъ и пустыняхъ. Но туда скоро до нихъ дошелъ слухъ, что царь Брамадата, узнавши объ ихъ побѣгѣ, страшно разгнѣвался и показнилъ много и своихъ людей, и ихъ бывшихъ подданныхъ за то, что они упустили Радована съ его женою, царицею Рупти, и Брамадатѣ некого стало вести за собою на веревкѣ, когда онъ будетъ входить въ свой Бенаресъ побѣдителемъ подъ знаменами. А потомъ велѣлъ Брамадата опять бить въ барабанъ надъ рѣкою и кликать на все царство, что кто изъ своихъ или чужихъ людей укажетъ, гдѣ скрываются Радованъ съ его царицею Рупти, тому будутъ отъ царя Брамадаты большіе дары царскіе, и повезутъ этого указчика, въ знакъ почета, на убранномъ слонѣ вслѣдъ за связаннымъ Радованомъ и за его Рупти-царицею и напишутъ его имя острымъ клиномъ на камнѣ въ память внукамъ и правнукамъ.

И какъ узналъ объ этомъ царь Радованъ, то затрясся отъ страха и жалости, что изъ-за него очень много людей погублено, и сказалъ онъ тогда Рупти-царицѣ:

— Кажется, плохо мы сдѣлали, что скрылися, и черезъ это много напрасно людей уже погибло, а къ тому же намъ съ тобою не укрыться теперь и въ рубищѣ: кто-нибудь насъ узнаетъ и царю Брамадатѣ укажетъ насъ. Большіе дары соблазнительны да и почести взманчивы,—я ни на кого уже изъ своихъ былыхъ слугъ не надѣюся. А не лучше ли намъ пойти и самимъ объявиться? Какъ ты думаешь?

А царица Рупти отговорила мужа, чтобы онъ не шелъ объявляться Брамадатѣ, а присовѣтовала ему скрыться на иной манеръ: не въ лѣсныхъ дебряхъ и пустыняхъ, а идти прямо въ столицу бенаресскаго царства и жить тамъ среди низкихъ людей въ безызвѣстности, такъ какъ тамъ ихъ никто искать не подумаетъ, и имъ тамъ будетъ жить безопасно.

Царь Радованъ послушалъ совѣта жены, и они вошли въ Бенаресъ нищими и пришли туда никѣмъ не узнанные и поселились между самыми простыми работниками, которые жили поденною работою. И тутъ царица Рупти, у которой до сей поры дѣтей не было, ощутила у себя подъ сердцемъ біеніе новой жизни и родила прекраснаго мальчика и назвала его Долгоживомъ.

Такъ ей это имя на мысль пришло, что отецъ-де его долго скорбѣлъ, а онъ пусть долго жить будетъ и за наши бѣдствія съ врагомъ нашимъ Брамадатой расплатится.

И прожили Радованъ съ Рупти и съ сыномъ своимъ Долгоживомъ въ столицѣ бенаресскаго царства у Брамадаты-царя въ неизвѣстности цѣлыхъ десять лѣтъ между простыми рабочими въ большихъ трудахъ, и измѣнились родители Долгоживовы такъ, что походили на свой прежній видъ не болѣе, какъ похожа сѣнная былинка на сочную траву, а все отъ своей судьбы не укрылися.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Таскалъ разъ на себѣ бывшій царь Радованъ тяжелую ношу и усталъ подъ нею до смерти и захотѣлъ въ рѣкѣ выкупаться. И только-что снялъ съ себя лохмотокъ, которымъ былъ повязанъ по поясу, да хотѣлъ въ воду влѣзть, какъ увидалъ его гулявшій у себя въ саду богачъ, который былъ у него раньше разгрома вазальскаго царства постельникомъ, и узналъ у него на бедрѣ родимый знакъ — пятно темнаго цвѣта, точно малая птичка съ головкой, загнутой

подъ крылышко. И сейчасъ захотѣлъ тотъ вельможа предать своего бывшаго царя казальскаго новому своему повелителю, царю бенаресскому, и указалъ на него воинамъ, а воины взяли Радована и жену его и привели ихъ къ Брамадатѣ-царю. Долгожива же не взяли, потому что его въ ту пору въ домѣ при родителяхъ не было, да и вины на немъ никакой Брамадата-царь не взыскивалъ.

А Радована и жену его Рупти царь Брамадата повелѣлъ водить связанныхъ по всей своей столицѣ, пока обведутъ ихъ по всѣмъ улицамъ и закоулочкамъ и увидятъ ихъ всѣ живущіе въ Бенаресѣ и свои, и заѣзжіе, а потомъ вывесть ихъ за городъ на пыльное поле и разсѣчь мечомъ каждаго напополамъ и начетверо.

Такъ и водили Радована и жену его Рупти, а сынъ ихъ Долгоживъ во все это время шелъ за ними и плакалъ, а когда послѣ показа ихъ всѣмъ людямъ привели Радована и Рупти на пыльное поле за городъ и стали готовиться разсѣчь ихъ каждаго пополамъ и начетверо, то Долгоживъ попросилъ, чтобы ему позволили подойти къ отцу и принять отъ него на всю жизнь свою отцовское наставленіе.

Спросили объ этомъ дозволенія у царя Брамадаты, и Брамадата дозволилъ дать отцу съ сыномъ свиданіе, но велѣлъ только доложить ему, что̀ такое Радованъ дастъ своему сыну въ заповѣдь, чтобы знать потомъ: можно ли отъ Долгожива ждать худого или хорошаго.

Воспослѣдовало съ такимъ разрѣшеніемъ свиданіе, и подпустили мальчика Долгожива къ отцу его Радовану, а тотъ не сталъ передъ сыномъ ни сожалѣть о жизни, ни на свою долю плакаться, а сказалъ ему только тѣ слова:

— Сынъ мой Долгоживъ, не смотри слишкомъ далеко и не смотри слишкомъ близко и помни, что вражда умиряется не враждою, а незлобіемъ.

А больше Радованъ ничего и говорить не захотѣлъ, и тогда тотчасъ же надъ нимъ и надъ женою его Рупти былъ приведенъ въ исполненіе приговоръ Брамадаты. Бывшаго царя казальскаго и жену его повергли связанныхъ на землю и разсѣкли мечами сначала каждаго на полы, а потомъ и начетверо, и бросили ихъ въ горячей пыли и приставили стражу къ ихъ разсѣченнымъ тѣламъ, чтобы оставались здѣсь безъ всякаго погребенія, дабы знали всѣ, какъ бываетъ съ тѣми, кто Брамадатѣ-царю не покорствуетъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отрокъ Долгоживъ выросталъ между простыхъ людей и зналъ, какъ съ людьми обходиться надобно, чтобы достичь, чего хочется, а хотѣлось ему больше всего, чтобы разсѣченныя тѣла его несчастныхъ родителей не валялись въ пыли, пока ихъ мясо птицы облущатъ, а кости вѣтеръ обдуетъ; а захотѣлъ Долгоживъ сжечь тѣло отца съ матерью на кострѣ, какъ у нихъ есть обычай хоронить въ ихъ индійской странѣ. И вотъ собралъ Долгоживъ поскорѣе все, что у нихъ было въ хижинѣ, и продалъ, а на тѣ деньги, которыя выручилъ—купилъ два большіе кувшина вина сладкаго, да два—вина крѣпкаго, да еще призапасилъ двѣ большія вязанки смолистыхъ дровъ и пахучаго хвороста. Хворостъ и дрова онъ въ овражкѣ спряталъ, а сладкими винами сталъ потчивать стражу, которая сторожила разсѣченныя тѣла. И когда сторожившіе воины подпили, Долгоживъ сталъ имъ въ сладкое вино подбавлять вино крѣпкое и такъ ихъ напоилъ, что они уснули крѣпкимъ сномъ. Тогда Долгоживъ оттащилъ ихъ всѣхъ въ сторону, а изъ оврага принесъ дрова и хворостъ, положилъ на костеръ разсѣченныя тѣла своихъ родителей и поджегъ костеръ. Костеръ вмигъ запылалъ, и пахучій дымъ отъ смолистаго дерева поднялся высоко, и тѣла Радована и Рупти сожжены были въ пламени, а воины все еще спали и не проснулися.

Тогда Долгоживъ-царевичъ,—какъ обычай есть въ ихъ странѣ,—въ знакъ почтенія къ своимъ родителямъ обошелъ пепелище вокругъ три раза со сложенными на груди руками и пошелъ прямо оттуда, не оглядываясь, въ лѣсную дебрь и тамъ долго оплакивалъ тѣла отца съ матерью и обдумывалъ наставленіе отцовское: какъ понять слова:—«не смотри слишкомъ далеко и не смотри слишкомъ близко, потому что не враждою умиротворяется вражда, а милосердіемъ». И понялъ онъ на первый разъ, что сидѣть да плакать объ утратѣ отъ горести—будетъ значить: «смотрѣть очень близко», будто какъ только и опредѣлено человѣку въ жизни дѣлать, что убивать время въ тоскѣ о томъ, что прошло и чего возвратить невозможно.

Разсудивши такъ, всталъ царевичъ-Долгоживъ съ мѣста, на которомъ долго сидѣлъ плачучи, подъ высокимъ дере-

комъ, и пошелъ въ жилыя мѣста къ людямъ, чтобы жить между нихъ своими трудами, но долго онъ не находилъ нигдѣ для себя никакой работы, и, переходя съ мѣста на мѣсто, пришелъ опять въ Бенаресъ, въ столицу царя Брамадаты, и сталъ на площади, гдѣ собираются неимущіе люди и ждутъ, чтобы ихъ кто-нибудь взялъ на поденную работу.

Тутъ простоялъ онъ съ утра и до жаркаго полудня, когда уже однихъ рабочихъ разобрали, а другіе, не нанявшись, къ себѣ въ шалаши ушли, а онъ все оставался и ждалъ, потому что былъ голоденъ и идти ему было некуда.

Тогда въ самый пеклый жаръ пришелъ сюда царскій конюхъ и сказалъ ему:

— Вотъ ты безъ дѣла стоишь и домой не идешь—вѣрно, тебѣ и идти совсѣмъ некуда, такъ не хочешь ли со мной пойти поработаться?

— Только и жду того,—отвѣчалъ Долгоживъ:—веди меня, куда надобно, я всякое дѣло дѣлать радъ, лишь бы вреда отъ того другимъ не было.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ конюхъ:—никому другому не будетъ вреда отъ того дѣла, на которое я тебя зову, а не скрою я отъ тебя, что какъ бы тебѣ самому отъ этого не было непріятности. Видишь ли, есть у насъ на царской конюшнѣ очень много слоновъ, и за каждымъ изъ нихъ по два приставника, а между этихъ слоновъ одинъ новый есть—онъ недавно пойманъ и дикъ еще, и всѣ его боятся, потому что онъ уже многихъ приставниковъ своихъ хоботомъ схватывалъ и изъ стойла вонъ швырялъ, а другихъ билъ объ стѣны до смерти и ногами раздавливалъ. Вотъ и нынче еще послѣдняго своего приставника онъ ногою убилъ, и теперь никто къ нему въ стойло взойти не рѣшается. Всѣ согласны лучше прямо отъ царской воли себѣ казнь принять, чѣмъ къ слону приблизиться, а слонъ этотъ нашему царю Брамадатѣ очень нравится, и вотъ конюшій позвалъ меня и сказалъ: «иди и ищи, гдѣ знаешь, человѣка, который бы согласился за этимъ слономъ ходить. Я ему дамъ жалованье противъ всѣхъ другихъ вчетверо, а если такого человѣка не отыщешь, — тогда самъ входи къ нему въ стойло, или пусть тебя расказнятъ, какъ ослушника царскаго». А у меня, пріятель, есть жена и пять дѣтей, да еще старики мои живы, родители. Пожалѣй меня, милый

другъ, и если не робокъ ты, то пойди наймись быть при зломъ слонѣ приставникомъ. Можетъ-быть, что онъ тебя полюбитъ и станетъ подпускать къ себѣ безъ лютости, потому что старики говорятъ, будто онъ не терпитъ тѣхъ, кто къ нему идетъ съ робостью, а мы всѣ, наглядѣвшись на него, уже оробѣли, а ты не видалъ отъ него страха, такъ, можетъ-быть, и подойдешь къ нему со смѣлостью.

— Ладно, ладно,—сказалъ Долгоживъ:—что разсказывать, у тебя есть жена съ дѣтьми и родители, а я тутъ весь одинъ, и нѣтъ у меня ни роду, ни племени, пойду за тебя попробую—цѣлъ ли, нѣтъ ли, буду, а отведу отъ тебя бѣду въ сторону.

И съ этимъ Долгоживъ всталъ и пошелъ съ конюхомъ къ слоновымъ конюшнямъ царя Брамадаты, который отнялъ у него и царство его Казальское, и казнилъ его отца съ матерью.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Когда люди, служившіе въ царскихъ слоневняхъ, увидали, что пришелъ новый человѣкъ доброй волею и охотою, чтобы ходить за дикимъ слономъ, то всѣ удивились и собрались смотрѣть, какъ онъ будетъ входить въ просторное стойло, гдѣ слонъ стоялъ, прикованный за ногу къ стояку, сплоченному изъ пяти толстыхъ свай, вколоченныхъ въ землю съ корневища по макушки и опоясанныхъ въ три ряда толстыми мѣдными обручами.

Пришелъ и главный конюшій посмотрѣть на Долгожива и сказалъ ему:

— Ну, входи не робѣючи; будешь цѣлъ, я тебѣ дамъ жалованье противъ всѣхъ другихъ вчетверо, и услышитъ про тебя царь—будешь ты у него въ большой милости, а не будешь цѣлъ—на себя пеняй: не неволимъ тебя, а идешь вольной волею.

— Да,—сказалъ Долгоживъ:—я иду вольной волею и совсѣмъ не для большой платы и милости, а иду, чтобы отдать мою жизнь, кому она надобна.

А самъ вспоминаетъ слова своего родителя и думаетъ: «кажется, этакъ я не гляжу слишкомъ близко и не гляжу черезчуръ далеко, а гляжу такъ, какъ надобно, потому что человѣку надо помогать неотложно, когда ему скорбь угро-

жаѣтъ, а о себѣ нечего вдаль долго вздумывать: что вдали, то въ свое время объявится».

И съ этимъ Долгоживъ вздохнулъ вольнымъ вздохомъ во всю свою молодую грудь и запѣлъ нараспѣвъ громкимъ голосомъ про то самое, о чемъ ему думалось, и сталъ нагребать въ корзины изъ вороха рисовое зерно, приготовленное на кормъ слонамъ. А какъ насыпалъ рисомъ три корзины, что составляло для слона ежедневную дачу, то поставилъ эту корзину себѣ на голову и пошелъ въ стойло къ дикому слону безъ всякаго страха и съ веселою пѣснею.

Слонъ же ждалъ его, поводя длиннымъ хоботомъ во всѣ стороны, но при входѣ Долгожива не взметался, какъ при входѣ другихъ дѣлалъ. И такъ далъ ему высыпать корзину риса въ кормежный наполъ и выйти благополучно вонъ; а когда Долгоживъ принесъ съ пѣснею вторую корзину, то слонъ сталъ ушами хлопать отъ радости, а когда третью принесъ, то слонъ согнулъ свой хоботъ и началъ имъ Долгожива ласкать и поглаживать

Доложили объ этомъ царю Брамадатѣ, и тотъ захотѣлъ самъ увидать Долгожива и велѣлъ ему при себѣ свои пѣсни спѣть, и пѣніе Долгоживово сразу царю Брамадатѣ понравилось и полюбилъ онъ молодого приставника и за ясный взглядъ его лица, и за мужественную смѣлость, и за чудесное пѣніе. И сказалъ Брамадата, бенаресскій царь, Долгоживу:

— Быть тебѣ при моемъ могучемъ, дикомъ слонѣ приставникомъ и получать всякаго жалованья противъ всѣхъ другихъ больше вчетверо, а ѣсть и пить съ моего стола, а какъ уберешься въ слоначнѣ, обрядивъ слона, то скидавай съ себя платье приставничье и надѣвай на себя лучшее платье, которое я тебѣ съ своего плеча сошью, и приходи ко мнѣ всякій день, чтобы предо мною пѣть и со мною разговаривать.

Такъ Брамадатѣ-царю молодой Долгоживъ полюбился отъ разу, а какъ онъ сталъ всякій день къ нему во дворецъ приходить и передъ нимъ пѣть, и съ нимъ разговаривать, то понравился Долгоживъ Брамадатѣ-царю во всѣхъ статьяхъ, и столь его привлекъ къ себѣ своимъ ласковымъ нравомъ и разумнымъ о всѣхъ вещахъ разсужденіемъ, что сталъ онъ царю самымъ милымъ человѣкомъ, и перевелъ его Брамадата жить изъ слоначныхъ конюшенъ въ свой

царскій дворецъ и не хотѣлъ разставаться съ нимъ даже на самое малое время, а гдѣ самъ сидитъ, тутъ и его держитъ, и куда выѣдетъ—туда и его съ собой беретъ: и на войны, и на ристалища, и на охоты на тигровъ и другихъ большихъ звѣрей. И назвалъ Брамадата, бенаресскій царь, Долгожива уже не слоновьимъ приставникомъ, а собственнымъ его царскимъ и задушевнымъ другомъ. А ни Брамадата-царь, ни его придворные не знали, что Долгоживъ самъ природный царевичъ, сынъ казненнаго казальскаго царя Радована.

И такъ прожили Брамадата съ Долгоживомъ въ завидномъ для всѣхъ царедворцевъ содружествѣ цѣлый годъ, а на второмъ году у нихъ между собою вышло особое приключеніе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Выѣхалъ разъ царь Брамадата на охоту за тиграми, и была съ нимъ большая свита его придворныхъ людей и стрѣлковъ самыхъ искуснѣйшихъ, а рядомъ съ нимъ ѣхалъ верхомъ на конѣ Долгоживъ. И началась у нихъ охота очень большая, и побили они уже много звѣрей, и вдругъ на нихъ выскочилъ огромный тигръ и началъ яро скакать, и то покажется на видъ и человѣка разорветъ, то опять въ дебри скроется, и разсердилъ онъ всѣхъ, и всѣ охотники ударились за нимъ въ погоню, и всѣ порознь разбилися и въ лѣсу растерялися, такъ что ни скличутся въ лѣсу и не свидятся, и не замѣтили, что въ-горячахъ своего царя потеряли. А царь Брамадата очутился въ непроходимой чащѣ только вдвоемъ съ Долгоживомъ и почувствовалъ смертельную усталость.

Тогда сказалъ Брамадата Долгоживу. Я уснуть хочу, а боюсь, не ужалилъ бы меня соннаго ядовитый гадъ. Разнуздай поскорѣй нашихъ коней и привяжи ихъ къ деревьямъ, пускай ходятъ вокругъ и травою покормятся, а самъ сядь и дай мнѣ положить мою голову тебѣ на колѣни, и побереги мою жизнь, пока я усну и наберу опять себѣ силы, чтобы намъ изъ этого лѣса выбраться.

— Хорошо,—отвѣчалъ Долгоживъ:—все сейчасъ будетъ по-твоему.

Разнуздалъ Долгоживъ верховыхъ коней, поослабилъ на нихъ сѣдельныя подпруги и привязалъ ихъ на долгихъ

ремняхъ къ деревьямъ, чтобы могли траву ѣсть, а самъ раскинулъ свою одежду, сѣлъ подъ деревомъ, сложивъ ноги на-крестъ, и уложилъ на колѣни себѣ голову царя Брамадаты. А тотъ отъ несноснаго жара и отъ усталости, какъ только прилегъ головою въ колѣна къ Долгоживу, такъ и заснулъ самымъ крѣпкимъ сномъ.

Долгоживъ же сидѣлъ и берегъ его, чтобы не подкрался къ нему изъ травы и не ужалилъ его какой-нибудь ядовитый гадъ, и обмахивалъ лицо спящаго царя вѣткою, а самъ, глядя на лицо его, сталъ раздумывать.

«Вотъ это спитъ у меня на колѣняхъ Брамадата, бенаресскій царь, который сдѣлалъ много зла всему нашему царству Казальскому: онъ нашихъ добрыхъ людей побилъ, а остальныхъ въ плѣнъ забралъ и однихъ замучилъ въ неволѣ на тяжкихъ работахъ, а другихъ совратилъ съ пути кротости и научилъ ихъ невѣрности и жестокимъ военнымъ обычаямъ; онъ отнялъ у насъ всѣ стада и обозы, и казну, и всякій съѣстной запасъ, а земляныя угодья подъ себя подбилъ съ одной жадностью и забросилъ ихъ безъ ухода лежать въ опустѣ; да убилъ еще онъ безъ вины моего отца съ моей матерью и повелѣлъ ихъ еще передъ смертью срамить—водить на посмѣшище по всѣмъ улицамъ, а потомъ разсѣкъ ихъ на полы, да хотѣлъ, чтобы ихъ тѣла, на части разсѣченныя, въ горячей пыли бы валялися безъ погребенія, — вотъ мнѣ теперь какой случай пришелъ, чтобы за все его зло съ нимъ раздѣлаться!»

И какъ только вздумалъ это Долгоживъ, такъ и не замѣтилъ, какъ поспѣшно рука его вынула изъ ноженъ мечъ, и онъ поднялъ этотъ мечъ надъ открытымъ горломъ Брамадаты. Но въ тотъ самый мигъ, какъ хотѣлъ Долгоживъ провести острымъ мечомъ по горлу спящаго царя, пролетѣло у него въ умѣ предсмертное завѣщаніе отцовское, и сказалъ онъ себѣ:

— Мой отецъ, когда его на казнь вели, сказалъ мнѣ: «сынъ мой, Долгоживъ, не смотри ни слишкомъ далеко, ни слишкомъ близко, потому что вражда умиротворяется не враждою, а милосердіемъ». Не хорошо будетъ, если я этихъ словъ моего отца не послушаюся.

Такъ сказалъ себѣ Долгоживъ, и рука его вложила обратно мечъ въ ножны.

Но не сразу борьба эта въ сердцѣ Долгожива утихла и

темная страсть мщенія уступила мѣсто свѣту милосердія. Трижды овладѣвала имъ жажда мщенія, и три раза вынималъ онъ изъ ноженъ мечъ свой и ставилъ его лезвіе надъ открытымъ горломъ спящаго Брамадаты и опять трижды вкладывалъ его назадъ въ ножны, когда вспоминалъ отцовы слова; и когда онъ вложилъ свой мечъ въ ножны въ послѣдній разъ, то вдругъ Брамадата страшно заметался во снѣ и, пробудясь отъ сна, сталъ говорить:

— Крѣпко я спалъ, но ужасно встревожился и не могу въ себя придти.

— Отчего?—спросилъ Долгоживъ.

— Оттого, что приснился мнѣ страшный сонъ, будто ты поднималъ надо мною острый мечъ и хотѣлъ перерѣзать имъ шею мнѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

И какъ сказалъ это Брамадата, то вдругъ запылала въ душѣ Долгожива страшная месть, и онъ сказалъ царю хриплымъ голосомъ:

— Что тебѣ снилося, то и въ-явь было,—и съ этимъ схватилъ одною рукою Брамадату за волосы и перегнулъ ему голову черезъ свое колѣно такъ, что у того все горло кверху выперло, а другою рукою выхватилъ мечъ и, приставивъ его къ горлу Брамадатѣ, началъ говорить ему:

— Узнай же теперь, Брамадата, бенаресскій царь, что я отрокъ Долгоживъ, сынъ Радована, царя казальскаго. Ты намъ сдѣлалъ очень много зла, ты отнялъ у насъ стада и обозы, и землю, и казну, и всякій запасъ, да умертвилъ и отца и мать мою, а теперь насталъ твой чередъ сгибнуть, и пришло время отмстить тебѣ за твою вражду.

И хотѣлъ уже Долгоживъ двинуть рукою и перерѣзать горло Брамадатѣ, царю бенаресскому, но лицо царя облилося слезами и исказилося ужасомъ, и онъ, обнявъ колѣна отрока-Долгожива, сталъ его просить черезъ слезы жалостливымъ голосомъ:

— Даруй мнѣ жизнь, сынъ мой Долгоживъ. Даруй мнѣ жизнь, дай мнѣ видѣть свѣтъ твоей милостью.

А Долгоживъ улыбнулся и сказалъ въ отвѣтъ:

— Ты, вѣдь, царь! Что же ты просишь: я ли могу даровать тебѣ жизнь! Это ты можешь даровать мнѣ жизнь, а не я тебѣ.

— Ахъ, мой сынъ Долгоживъ,—отвѣчалъ ему царь Брамадата: — это такъ было во всю мою жизнь, когда я могъ по своей волѣ отнимать жизнь у своихъ людей и у данниковъ, но не такъ оно сдѣлалось въ этотъ часъ, котораго я никогда надъ собой не желалъ видѣть, и который, однако, настигъ меня. Теперь твоя надо мною власть, и я вижу свой прошлый грѣхъ, когда я велѣлъ отнимать у людей жизнь, имъ самимъ Богомъ данную, и мучится за это душа моя мукой ужасною, и прошу я подъ твоимъ мечомъ у тебя, отрокъ мой, милосердія: даруй мнѣ жизнь, сынъ мой Долгоживъ,—даруй жизнь мнѣ и повѣрь мнѣ по опыту, что если ты не проведешь мечомъ по моей шеѣ и не отдѣлишь отъ плечъ мою голову, то ты больше увидишь радости, чѣмъ бы сказнивъ меня за то зло, которое я сдѣлалъ твоимъ неповинным родителямъ.

А Долгоживу опять пришли на память предсмертныя слова отца его, и ярость въ душѣ его понизилась, и сталъ находить на него духъ милосердія, и отодвинулъ онъ мечъ съ шеи царя и сказалъ:

— Дарю тебѣ жизнь, и ты не отнимай впередъ жизнь ни у кого,—и съ этимъ Долгоживъ всунулъ мечъ въ ножны, и оба они съ царемъ Брамадатою обнялися и какъ будто бы вновь народилися и стали бесѣдовать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

А въ бесѣдѣ Брамадата, царь бенаресскій, захотѣлъ узнать все зло, какое Долгоживъ и его родители испытали отъ его прошлой лютости и что съ самимъ Долгоживомъ случилося—отчего онъ взялъ надъ гнѣвомъ своимъ обладаніе. Долгоживъ разсказалъ Брамадатѣ про все, что испыталъ онъ, и когда дошелъ до того, какъ его спасали отъ гнѣва слова, которыя сказалъ ему передъ смертью его родитель: «не смотри ни слишкомъ далеко, ни слишкомъ близко, и знай, что вражда умиротворяется не враждою, а милосердіемъ», тогда Брамадата-царь спросилъ у него:

— Скажи же мнѣ, сынъ мой Долгоживъ, что разумѣешь ты въ этихъ словахъ, чтобы ими себя руководствовать?

А Долгоживъ отвѣчалъ ему:

— Разумѣю я, о, царь, такъ: то, что сказалъ мнѣ отецъ мой передъ смертью: «не смотри слишкомъ далеко» — это значитъ: не давай въ себѣ враждѣ долго длиться, а «не

смотри слишкомъ близко»—значитъ: не расходись съ человѣкомъ спѣшно, не испробовавъ повергнуть его кротко на лучшее. А что сказалъ мой отецъ, что «вражда не умиротворяется враждою, а милосердіемъ», то означаетъ, что ты, о, царь, умертвилъ моего отца и мать мою, а если бы я за это отнялъ теперь у тебя жизнь, то черезъ это вражда бы не умирилася, а умножилась, потому что тѣ, кто преданъ тебѣ, отняли бы у меня жизнь, а кто преданъ мнѣ, стали бы искать, какъ у нихъ отнять жизнь, и такъ черезъ насъ вражда бы не умирилась, а умножилась, и конца бы ей не было. А теперь, когда я не сталъ смотрѣть слишкомъ далеко, питая злобу, и не смотрѣлъ слишкомъ близко,— не разошелся съ тобою а повѣрилъ тебѣ, что ты не станешь отнимать жизнь у людей, — то и побѣждена вражда милосердіемъ. Вотъ и тебѣ годится то, что сказалъ мой отецъ,— что «не враждой умиротворяется вражда, а милосердіемъ». Это и думалъ мой отецъ передъ смертью, сожалѣя, что онъ разошелся съ тобою поспѣшно, не испытавъ перемѣнить твои мысли отъ грознаго обычая къ доброму.

И какъ сказалъ это отрокъ-Долгоживъ Брамадатѣ, царю бенаресскому, то Брамадата-царь и задумался и на рѣсницахъ капля слезъ затяжелѣла и свѣсилась. И сказалъ Брамадата терпѣливому отроку:

— Коротко слово твое, сынъ мой, а смыслъ его длиненъ будетъ во весь вѣкъ всей жизни на землѣ всего рода человѣческаго.

И съ этой поры перемѣнился царь Брамадата во всемъ правѣ своемъ, и не было при немъ болѣе никогда казней надъ людьми, потому что онъ ни на что не смотрѣлъ слишкомъ далеко или слишкомъ близко и всегда помнилъ, что вражда умиротворяется не враждою, а милосердіемъ.

Оглавленіе

XXX ТОМА.

	стр.
Легенда о совѣстномъ Данилѣ	3
Левъ старца Г'ерасима. (Восточная легенда)	21
Аскалонскій злодѣй. (Происшествіе въ Иродовой темницѣ)	29
Сказаніе о Ѳедорѣ-христіанинѣ и о другѣ его Абрамѣ-жидовинѣ	88
Невинный Пруденцій. (Легенда)	112
Брамадата и Радованъ. (Индійское сказаніе)	179

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ПЕЧЕРСКІЕ АНТИКИ.

(ОТРЫВКИ ИЗЪ ЮНОШЕСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ).

Старинный характеръ и бибиковскія преобразованія.—Нѣчто о Карасивнѣ и Пиднебесной и объ акаѳистѣ «матери Кукурузѣ».—Печерскій Кесарь и его импровизаціи.—Стремленіе войска уйти въ походъ противъ Вылезарія.—Легенда о бибиковской тещѣ и о всепомогающемъ докторѣ.—Способъ обращать верхніе зубы въ нижніе.—Квартальный антикварій.—Наѣздъ Виньёля.—Старецъ Малафей Пимычъ и отрокъ Гіезій.—Порча отрока человѣчиной.—Открытіе моста.—Аскоченскій въ поэтическомъ восторгѣ.—Альфредъ фонъ-Юнгъ—его опечатки и его поэзія.—Анекдоты съ коннымъ нѣмцомъ и съ отцомъ Строфокаміломъ.—Малафеево стояніе.—Неисполнившееся откровеніе.—Старцева смерть—отрокова женитьба.—Миръ въ тропарѣ.—Два дворянина.—Исключительный священникъ.—Тайна троицкой церкви.—Нѣчто о «Запечатлѣнномъ Ангелѣ».

«Мнѣ убо, возлюбленніи, желательно есть вспомянути доброе житіе крѣпкихъ мужей и предложити вашей любви слово нехитрорѣчивое, но истиною украшенное. Вамъ же любезно да будетъ слышати добрыя повѣсти о мужахъ благостныхъ».

Изъ предисловія къ повѣсти «объ отцахъ и страдальцахъ».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Разскажу нѣчто про кіевскихъ оригиналовъ, которыхъ я зналъ въ дни моей ранней юности и которые, мнѣ кажется, стоятъ вниманія, какъ личности очень характерныя и любопытныя. Но, вначалѣ, да позволено мнѣ будетъ сказать два слова о себѣ. Они необходимы для того, чтобы показать, гдѣ и какъ я познакомился съ «печерскимъ Кесаремъ», съ котораго я долженъ начать мою кіевскую галлерею антиковъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Меня въ литературѣ считаютъ «орловцемъ», но въ Орлѣ я только родился и провелъ мои дѣтскіе годы, а затѣмъ въ 1849 г. переѣхалъ въ Кіевъ.

Кіевъ тогда сильно отличался отъ нынѣшняго, и разница эта заключалась не въ одной внѣшности города, но и въ нравахъ его обитателей. Внѣшность измѣнилась къ лучшему, т. е. городъ наполнился хорошими зданіями и, такъ сказать, *осевропеился*, но мнѣ лично жаль многаго изъ стараго, изъ того, что сглажено и уничтожено, можетъ-быть, нѣсколько торопливою и во всякомъ случаѣ слишкомъ безцеремонною рукою Бибикова. Мнѣ жаль, напримѣръ, лишеннаго жизни Печерска и облегавшихъ его урочищъ, которыя были застроены какъ попало, но очень живописно. Изъ нихъ нѣкоторыя имѣли также замѣчательно своеобразное и характерное населеніе, жившее неодобрительною и даже буйною жизнью въ стародавнемъ запорожскомъ духѣ. Таковыя были, напримѣръ, удалые Кресты и Ямки, гдѣ «мѣшкали безсоромнія дівчата», составлявшія любопытное соединеніе городской, культурной проституціи съ казацескимъ простоплетствомъ и хлѣбосольствомъ. Къ этимъ дамамъ, носившимъ не европейскіе, а національные малороссійскіе уборы, или такъ называемое «простое платье», добрые люди хаживали въ гости съ своею «горілкою, съ ковбасами, съ саломъ и рыбицею», и «крестовскія дівчатки» изъ всей этой приносной провизіи искусно готовили смачныя снѣди и проводили съ своими посѣтителями часы удовольствій «по-фамильному».

Были изъ нихъ даже по-своему благочестивыя: эти открывали свои радушныя хаты для пировъ только до «благодатной», т. е. до второго утренняго звона въ лаврѣ. А какъ только раздавался этотъ звонъ, казачка крестилась, громко произносила: «радуйся, благодатная, Господь съ тобою», и сейчасъ же всѣхъ гостей выгоняла, а огни гасила.

Это называлося «досидѣть до благодатной».

И гости,—трезвые и пьяные,—этому подчинялися.

Теперь этого оригинальнаго типа непосредственной старожилой кіевской культуры съ запорожской заправкой уже нѣтъ и слѣда. Онъ исчезъ, какъ въ Парижѣ исчезъ типъ

мюзаровской гризеты, съ которою у кіевскихъ «крестовыхъ дівчатъ» было нѣчто сходственное въ ихъ простосердечіи.

Жаль мнѣ тоже живописныхъ надбережныхъ хатокъ, которыя лѣпились по обрывамъ надъ днѣпровской кручей: онѣ придавали прекрасному кіевскому пейзажу особенный теплый характеръ и служили жилищемъ для большого числа бѣдняковъ, которые хотя и получили какое-то вознагражденіе за свои «поломанные дома», но не могли за эти деньги построить себѣ новыхъ домовъ въ городѣ и слѣпили себѣ гнѣзда надъ кручею. А между тѣмъ эти живописныя хаточки никому и ничему не мѣшали. Ихъ потомъ опять разметала властная рука Бибикова. Жаль превосходнѣйшей аллеи рослыхъ и стройныхъ тополей, которая вырублена уже при Аннепковѣ для устройства на ея мѣстѣ нынѣшняго увеселительнаго балагана, съ его дрянными развлеченіями. Но всего болѣе жаль тихихъ куртинъ верхняго сада, гдѣ у насъ былъ свой лицей. Тутъ мы, молодыми ребятами, бывало, проводили цѣлыя ночи до бѣла свѣта, слушая того, кто намъ казался умнѣе,—кто обладалъ большими противъ другихъ свѣдѣніями и могъ разсказать намъ о Кантѣ, о Гегелѣ, о «чувствахъ высокаго и прекраснаго», и о многомъ другомъ, о чемъ теперь совсѣмъ и не слыхать рѣчей въ садахъ нынѣшняго Кіева. Теперь, когда доводится бывать тамъ, все чаще слышишь только что-то о банкахъ и о томъ, кого во сколько надо цѣнить на деньги. Любопытно подумать, какъ это настроеніе отразится на нравахъ подрастающаго поколѣнія, когда настанетъ его время дѣйствовать...

Нравы, собственно говоря, измѣнились еще болѣе, чѣмъ зданія, и тоже, можетъ-быть, не во всѣхъ отношеніяхъ къ лучшему. Перебирать и критиковать этого не будемъ, ибо «всякой вещи свое время подъ солнцемъ», но пожалѣть о томъ, что было мило намъ въ нашей юности, надѣюсь, простительно, и кто, подобно мнѣ, уже пережилъ лучшіе годы жизни, тотъ, вѣроятно, не осудитъ меня за маленькое пристрастіе къ тому старенькому, сѣрому Кіеву, въ которомъ было еще очень много простоты, нынѣ совершенно исчезнувшей.

Я зазналъ этотъ милый городъ въ его дореформенномъ видѣ съ изобиліемъ деревянныхъ домиковъ, на углахъ которыхъ тогда, впрочемъ, были уже вывѣшены такъ назы-

вавшіяся «бибиковскія доски». На каждой такой доскѣ была суровая надпись: «сломать въ такомъ-то году».

Этихъ несчастныхъ, обреченныхъ на сломку домиковъ было чрезвычайно много. Когда я пріѣхалъ въ Кіевъ и пошелъ его осматривать, то «бибиковскія доски» навели на меня неожиданную грусть и уныніе. Смотришь — чистенькія окошечки, на нихъ горшочки съ краснымъ перцемъ и бальзаминами; по сторонамъ пришпилены бѣлыя «фиранки», на крышахъ воркуютъ голуби и въ глубинѣ двориковъ хлопотливо кудахчутъ куры, и вдругъ почему-то и зачѣмъ-то придутъ сюда какіе-то сторонніе люди и все это разломаютъ... Для чего это? И куда дѣнутся, куда тогда пойдутъ эти люди, которымъ, повидимому, довольно удобно и хорошо живется за ихъ бѣлыми «фиранками»? Можетъ статься, что все это было необходимо, но, тѣмъ не менѣе, отдавало какимъ-то непріятно-безцеремоннымъ и грубымъ самовластіемъ.

Бибиковъ, конечно, былъ человѣкъ твердаго характера и, можетъ быть, государственнаго ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этомъ немножко побольше сердца,—это не помѣшало бы ему войти въ исторію съ болѣе пріятнымъ аттестатомъ.

Старый городъ и Печерскъ особенно щедро были изукрашены «бибиковскими досками», такъ какъ здѣсь должно было совершиться и въ весьма значительной степени и совершилось намѣченное Бибиковымъ капитальное «преобразованіе». А на Печерскѣ жилъ самый непосредственнѣйшій изъ кіевлянъ, про которыхъ я попробую здѣсь для начала разсказать, что̀ удержала моя память.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Я съ пріѣзда поселился на Житомирской улицѣ, въ домѣ бывшаго секретаря комиссаріатской комиссіи Запорожскаго (тоже въ своемъ родѣ антика), но, совершенно одинокій и предоставленный самому себѣ, я постоянно тяготѣлъ къ Печерску, куда меня влекли Лавра и пещеры, а также и нѣкоторое еще въ Орлѣ образовавшееся знакомство.

Печерскіе знакомцы мои были молодые родственники нѣкогда чѣмъ-то знаменитаго въ Кіевѣ Николая Семеновича Шіянова.

Къ тому времени, когда я пріѣхалъ въ Кіевъ, старикъ

Шіяновъ уже не жилъ на свѣтѣ и даже о былomъ его значеніи ничего обстоятельнаго не говорили, такъ я собственно и до сихъ поръ не знаю, чѣмъ и въ какомъ родѣ былъ знаменитъ Шіяновъ; но что онъ былъ все-таки знаменитъ,—этому я всегда вѣрилъ такъ же православно, какъ пріялъ это въ Орлѣ отъ его родственниковъ, увлекшихъ меня обольстительными разсказами о красотѣ Кіева и о поэтическихъ прелестяхъ малороссійской жизни.

Я остаюсь имъ за это всегда благодарнымъ *).

Наслѣдники Шіянова были тогда уже въ разбродѣ и въ захудалости. Когда-то значительные капиталы старика были ими торопливо прожиты или расхищены, о чемъ ходили интересныя сказанія въ духѣ французской исторіи наслѣдства Ренюпоновъ. Отъ всего богатства остались только дома.

Это были престранные дома,—большіе и малые, всѣ деревянные; они были настроены тутъ въ такомъ множествѣ, что образовали собою двѣ улицы: Большую Шіяновскую и Малую Шіяновскую.

Обѣ Шіяновскія улицы находились тамъ же, гдѣ, вѣроятно, находятся и теперь, т.-е. за печерскимъ базаромъ, и по всей справедливости имѣли право считаться самыми скверными улицами въ городѣ. Обѣ онѣ были немощеныя,—каковыми, кажется, остаются и до настоящаго времени, но, вѣроятно, теперь онѣ немножко выровнены и поправлены. Въ то же время, къ которому относятся мои воспоминанія, онѣ находились въ привилегированномъ положеніи, которое дѣ-

*) Со временемъ потомство, можетъ-статься, не въ силахъ будетъ составить себѣ ясное понятіе даже и о такихъ достопримѣчательныхъ личностяхъ Кіева, какъ, напримѣръ, Красивна и Пиднебесная, за знаменитыми булками которыхъ бѣгалъ на Подолъ весь городъ. Все это происходитъ отъ аристократизма нашихъ хроникеровъ и лѣтописцевъ. Впрочемъ, эти полезныя дѣятельницы, помнится, названы въ одномъ изъ варіантовъ «акаѳиста матери Кукурузѣ», который былъ сложенъ студентами кіевской духовной академіи, какъ протестъ противъ дурного стола и ежедневнаго почти появленія на немъ кукурузы въ порѣ ея созрѣванія. Акаѳистъ «Кукурузѣ» начинался такъ: «Бысть посланъ комиссаръ (помощникъ эконома) на базаръ рыбы купити, узрѣвъ же тя кукурузу сущу, возопи гласомъ веліимъ и рече: «Радуйся, кукурузо, пище презѣльная и пресладкая, радуйся, кукурузо, пище ядомая и николи же изъядаемая, радуйся, кукурузо, отцомъ ректоромъ николи же зримая, радуйся, и инспекторомъ николи же ядомая» и т. д. Тамъ гдѣ-то было и о Красивнѣ съ Пиднебесною, послѣ которыхъ уже нѣтъ такихъ пекарокъ въ Кіевѣ.

лало ихъ во все влажное время года непроѣзжими. По какимъ-то геологическимъ причинамъ, онѣ были ниженнѣе уровня базарной площади и служили просторнымъ вмѣстилищемъ для стока жидкой черноземной грязи, которая образовала здѣсь сплошное болото съ вонючими озерами. Въ этихъ озерахъ плавали «шіяновскіе» гуси и утки, которымъ было здѣсь очень привольно, хотя, впрочемъ, они часто сильно страдали отъ вползавшихъ имъ въ носъ дрянныхъ зеленоватыхъ піявокъ. Чтобы защитить птицъ отъ этого бѣдствія, имъ смазывали клювы «свяченой оливой», но и это вѣрное средство не всегда и не всѣмъ помогало. Утята и гусята отъ піявокъ дохли.

По вечерамъ здѣсь, выставивъ наружу голову, пѣли свои антифоны очень крупныя и замѣчательно басистыя лягушки, а звонкоголосыя молодячки канонархали. Иногда онѣ всѣ— молодыя и старыя всѣмъ соборомъ выходили на бережки и прыгали по бугорочкамъ. Это замѣняло барометрическое указаніе, ибо предвѣщало ясную погоду.

Словомъ, картина была самая буколическая, а между тѣмъ въ двухъ шагахъ отсюда былъ базаръ и притомъ базаръ очень завозный и дешевый. Благодаря этому послѣднему обстоятельству, здѣшняя мѣстность представляла своего рода удобства особенно для людей небогатыхъ и неприхотливыхъ.

Впрочемъ, она также имѣла свои особенныя удобства для домохозяевъ еще въ отношеніи полицейскомъ, которое въ Кіевѣ тогда смѣшивали съ политическимъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Большіе и малые дома Шіянова, со множествомъ надворныхъ флигельковъ и хаточекъ, приспособленныхъ кое-какъ къ житью изъ старинныхъ служебныхъ построекъ, давно уже сдавались внаймы и, несмотря на свою ветхость, всѣ были обитаемы.

Постройки всѣ подъ-рядъ были очень ветхи и стояли, повидимому, аридовы вѣки. Доски съ надписями, которыми «строго воспрещалось» чинить эти дома и были указаны сроки ихъ сломкѣ, красовались на ихъ углахъ, но дома упорно избѣгали опредѣленной имъ злой участи, и нѣкоторые изъ нихъ едва ли не уцѣлѣли до настоящаго времени.

Во мнѣніи жителей шіяновскіе дома охраняла отъ «би-

биковскаго разоренія» одна необычайная личность, создавшая себѣ въ то время героическую репутацію, которая, казалось бы, непремѣнно должна перейти въ легенду. Быстрое забвеніе подобныхъ вещей заставляетъ только поникнуть головою передъ непрочностію всякаго земного величія.

Легендарная личность былъ артиллеріи полковникъ Кесарь Степановичъ Берлинскій, на сестрѣ котораго, кажется Клавдіи Степановнѣ, былъ женатъ покойный Шіяновъ.

Такихъ людей, какъ Кесарь Степановичъ, нѣтъ уже болѣе не только въ Кіевѣ, но, можетъ-быть, и во всей Россіи. Пусть въ ней никогда не переводятся и, вѣроятно, впередъ не переведутся антики, но «печерскій Кесарь» дважды повторенъ быть не можетъ.

Сказать, что Берлинскій «управлялъ» домами Шіянова, было бы, кажется, не точно, потому что управлялъ ими, по выраженію Берлинскаго, «самъ Господь Богъ и Николай угодникъ», а деньги съ квартирантовъ собирала какая-то дама, въ конторскую часть которой не вмѣщивались ни Господь Богъ, ни Его угодникъ и даже ни самъ Кесарь Степановичъ. Этотъ герой Печерска, какъ настоящій «Кесарь», только господствовалъ надъ мѣстностью и надъ всѣми, кто, живучи здѣсь, обязанъ былъ его знать. Кесарь Степановичъ нравственно командовалъ жильцами обѣихъ Шіяновскихъ улицъ и вообще всею прилегающею областію за базаромъ. Всѣхъ онъ содержалъ въ респектѣ и всѣмъ умѣлъ давать чувствовать свое авторитетное военное значеніе. Слово «*моментъ*», впослѣдствіи основательно истасканное нашими военными ораторами, кажется, впервые было пущено Берлинскимъ, и съ его легкой руки сдѣлалось необходимымъ подспорьемъ русскаго военнаго краснорѣчія.

При случаѣ Берлинскій готовъ былъ оказать и иногда, дѣйствительно, оказывалъ нуждающимся свое милостивое отеческое заступленіе. Если за кого нужно было идти попросить какое-либо начальство, печерскій Кесарь надѣвалъ свой военный сюртукъ безъ эполетъ, бралъ въ руки толстую трость, которую носилъ на правахъ раненаго, и шелъ «хлопотать». Нерѣдко онъ что-нибудь и выпрашивалъ для своихъ protégé, дѣйствуя въ сихъ случаяхъ на однихъ ласкою, а на другихъ угрозою. Существовало убѣжденіе, что онъ можетъ всегда «писать къ государю», и этого мно-

гіе очень боялись. Младшихъ же «чиновалов», говорили, будто онъ иногда убѣждалъ даже при содѣйствіи своей трости, per argumentum baculinum. Послѣднее онъ допускалъ, впрочемъ, не по свирѣпости нрава, а «по долгу вѣрноподданничества», единственно для того, чтобы не часто безпокоить государя письмами.

На базарѣ Берлинскаго всѣ знали и всѣ ему повиновались, не только за страхъ, но и за совѣсть, потому что молва громко прославляла «печерскаго Кесаря», и притомъ рисовала его весьма въ привлекательномъ народно-героическомъ жанрѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Берлинскій смолоду былъ молодецъ и писанный красавецъ въ тогдашнемъ гвардейскомъ родѣ; такимъ же онъ оставался до старости, а можетъ быть и до самой кончины, которая послѣдовала, если не ошибаюсь, въ 1864 или 1865 г. Въ жизнь свою онъ видѣлъ не одни красные дни, а перенесъ не мало нужды, горя и несправедливостей, но, обладая удивительною упругостью души, никогда не унывалъ и выворачивался изъ положеній самыхъ трудныхъ средствами самыми смѣлыми, и подчасъ даже невѣроятными и отчаянными.

Сердца Кесарь Степановичъ былъ, кажется, добраго и въ свою мѣру благороднаго, а также онъ былъ несомнѣнно чувствителенъ къ чужому горю и даже нѣженъ къ несчастнымъ. Онъ не могъ видѣть равнодушно ничьего страданія, чтобъ тотчасъ же не возмущаться духомъ и не обнаруживать самыхъ горячихъ и искреннихъ порывовъ помочь страдающему. По мѣрѣ своихъ силъ и разумѣнія онъ это и дѣлалъ. Характеръ Берлинскій имѣлъ очень смѣлый, рѣшительный и откровенный, но нѣсколько съ хитринкой. Знавшіе его смолоду увѣряли, что ранѣе хитрости въ немъ будто не было, но потомъ, впослѣдствіи, несправедливость и разныя суровыя обстоятельства заставили его понемножечку лукавить. Впрочемъ, въ его устахъ и во лбу свѣтило нѣкоторое природное лукавство. Берлинскій былъ самый большой фантазеръ, какого мнѣ удавалось видѣть, но фантазировалъ онъ тоже не безъ расчета, иногда очень наивнаго и почти всегда безвреднаго для другихъ. Соображалъ онъ быстро и сочинялъ такія пестрыя фабулы, что если бы

онъ захотѣлъ заняться сочинительствомъ литературнымъ, то изъ него, конечно, вышелъ бы любопытный сочинитель. Вдобавокъ къ этому, все, что Кесарь разъ о себѣ сочинилъ, это становилось для самого его истиною, въ которую онъ глубоко и убѣжденно вѣрилъ. Вѣроятно, оттого анекдотическія импровизаціи «печерскаго Кесаря» производили на слушателей неотразимо сильное впечатлѣніе, подъ вліяніемъ котораго тѣ досочиняли еще большее. Кесарь Степановичъ умѣлъ вдохновлять и умѣлъ поставить себя такъ, что во всѣхъ отношеніяхъ,—и чиномъ, и значеніемъ стоялъ во мнѣніи Печерска несравненно выше настоящаго.

По моему мнѣнію, онъ былъ только храбрый и, вѣроятно, въ свое время очень способный артиллеріи полковникъ въ отставкѣ. По крайней мѣрѣ такимъ я его зналъ въ Орлѣ, черезъ который онъ «везъ къ государю» за разъ восемь или десять (а можетъ-быть и болѣе) сыновей. Тогда онъ былъ во всей красѣ мужественнаго воина, съ георгіевскимъ крестомъ, и поразилъ меня смѣлостію своихъ намѣреній. Онъ ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы «выставить» гдѣ-то всѣхъ своихъ рѣбятъ государю и сказать:

— Если хочешь, чтобы изъ нихъ тебѣ вѣрные слуги вышли, то бери ихъ и воспитай, а мнѣ ихъ кормить нечѣмъ.

Мы всѣ, т. е. я и его орловскіе племянники (сыновья его сестры Юліи Степановны) недоумѣнно спрашивали:

— Неужели вы такъ и скажете: *ты, государь*?

А онъ отвѣчалъ:

— Разумѣется, такъ и скажу, — и потомъ прибавилъ, будто это непремѣнно такъ даже и слѣдуетъ говорить, и будто государь Николай Павловичъ «такъ любитъ».

Насъ это просто поражало.

Кормить дѣтей Берлинскому дѣйствительно было нечѣмъ. Онъ очень нуждался, какъ говорили, будто бы по причинѣ его какой-то отмѣнной честности, за которую онъ, по его собственнымъ разсказамъ, имѣлъ «кучу враговъ около государя». Но онъ не унывалъ, ибо онъ очень ужъ смѣло разсчитывалъ на самого императора Николая Павловича. Смѣлость эта его и не постыдила: съ небольшимъ черезъ мѣсяцъ, Кесарь Степановичъ опять прослѣдовалъ изъ Петербурга въ Кіевъ черезъ Орелъ уже совсѣмъ одинъ. Государь велѣлъ принять въ учебныя заведенія на казенный счетъ

«всю шеренгу» и увеличилъ будто бы пенсію самого Берлинскаго, а также велѣлъ дать ему не въ зачетъ какое-то очень значительное пособіе. Кромѣ принятія дѣтей, все остальное было какъ-то въ туманѣ.

Въ разсказѣ объ упомянутомъ сейчасъ событіи я и познакомился впервые съ импровизаторствомъ этого необыкновеннаго человѣка, которое потомъ мнѣ доставляло много интересныхъ минутъ въ Кіевѣ.

Многое множество изъ его грандіозныхъ разсказовъ я позабылъ, но кое-что помню, хотя теперь, къ сожалѣнію, никакъ не могу разсортировать, что̀ слышалъ непосредственно отъ него самого, и что̀ отъ людей, ему близкихъ и имъ вдохновенныхъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

По словамъ Кесаря Степановича, которымъ я, впрочемъ, не смѣю никого обязывать вѣрить безъ критики, онъ встрѣтилъ государя гдѣ-то на почтовой станціи.

— Сейчасъ же, говоритъ, — я упросилъ графа Орлова дозволить мнѣ стоять съ дѣтьми на крылечкѣ, и сталъ. Ребятъ построилъ въ шеренгу малъ-мала-меньше, а самъ сталъ на концѣ въ правомъ флангѣ.

Государь, какъ вышелъ изъ коляски на крыльцо, замѣтилъ мой взводъ и говоритъ:

— Это что̀ за ребята?

А я ему отвѣчаю:

— Это мои дѣти, а твои будущіе слуги, государь.

Тогда Николай Павловичъ взглянулъ будто на Берлинскаго и сейчасъ же его узналъ.

— А-а! говоритъ,—Берлинскій. Это ты, братецъ?

— Точно такъ, говорю,—ваше величество, это я.

— Очень радъ тебя видѣть. Какъ поживаешь?

— Благословляю Провидѣніе, что имѣю счастіе видѣть ваше величество, а поживаніе мое очень плохо, если не будетъ ко мнѣ твоей милости.

Государь спросилъ:

— Отчего тебѣ плохо? Ты мнѣ хорошо служилъ.

— Овдовѣлъ,—отвѣчалъ Берлинскій:—и вотъ дѣтей у меня цѣлая куча; прикажи, государь, ихъ вскормить и выучить, а то мнѣ нечѣмъ, я бѣденъ, въ чужомъ домѣ живу и изъ того Бибиковъ выгоняетъ.

Государь, говоритъ, сверкнулъ глазами и крикнулъ:

— Орловъ! опредѣлить всѣхъ дѣтей Берлинскаго на мой счетъ. Я его знаю: онъ храбрый офицеръ и честный.

А потомъ, будто, опять оборотился къ Кесарю Степановичу и добавилъ:

— За что тебя Бибиковъ выгонялъ?

— Домъ, говорю,—гдѣ я живу, подъ крѣпость разломать хочетъ.

Государь будто отвѣтилъ:

— Вздоръ; домъ, гдѣ живетъ такой мой слуга, какъ ты, долженъ быть сохраненъ въ крѣпости, а не разломанъ. Я тебя хорошо знаю и у меня, кромѣ тебя и Орлова, нѣтъ вѣрныхъ людей. А Бибикову скажи отъ моего имени, чтобы онъ тебя ничѣмъ не смѣлъ безпокоить. Если же онъ тебя не послушается, то напиши мнѣ страховое письмо,— я за тебя заступлюсь, потому что я тебя съ дѣтства знаю.

Почему государь Николай Павловичъ могъ знать Берлинскаго «съ дѣтства»,—этого я никогда не могъ дознаться; но выходило это у Кесаря Степановича какъ-то складно и статочно, а притомъ и имѣло любопытное продолженіе.

Когда государь самъ, будто, напомнилъ о столь давнемъ знакомствѣ «съ дѣтства», то Берлинскій этимъ сейчасъ же воспользовался и сказалъ:

— Да, ваше величество, это справедливо: вмѣстѣ съ вами играли, а съ тѣхъ поръ какая разница: вы вотъ какую отмѣнную карьеру изволили совершить, что теперь всѣмъ міромъ повелѣваете и всѣ васъ трепещутъ, а я во всемъ нуждаюсь.

А государь ему на это, будто, отвѣтилъ:

— Всякому, братецъ, свое назначеніе: мой перелетъ соколиный, а ты воробей не робѣй—приди ко мнѣ въ Петербургъ во дворецъ, я тебя хорошимъ пайкомъ устрою.

Берлинскій будто бы ходилъ во дворецъ и результатомъ этого былъ тотъ паекъ или «прибавокъ» къ пенсіи, которымъ «печерскій Кесарь» всѣхъ сосѣдей обрадовалъ и самъ очень гордился. Однако, и съ прибавкою Берлинскій часто не могъ покрывать многихъ, самыхъ вопіющихъ нуждъ своей крайне скромной жизни на Печерскѣ. Но такъ какъ всѣ знали, что онъ «имѣетъ пенсію съ прибавкомъ», то «Кесарь» не только никогда не жаловался на свои недостатки, а, напротивъ, скрывалъ ихъ съ большою трогательностію.

Порою, сказывали, дѣло доходило до того, что у него не бывало зимою дровъ, и онъ буквально стылъ въ своей холодной квартирѣ, но увѣрялъ, что это онъ «такъ любитъ для свѣжести головы».

Цифры своей пенсіи Берлинскій какъ-то ни за что не объявлялъ, а говорилъ, что получаетъ «много», но можетъ получать и еще больше.

— Стоитъ мнѣ написать страховое письмо государю,—говорилъ онъ: — и государь сейчасъ же прикажетъ давать мнѣ, сколько я захочу, но я не прошу болѣе того, что пожаловано, потому что у государя другія серьезныя надобности есть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Если вѣрить сказаніямъ, то государь Николай Павловичъ, будто, очень грустилъ по разлукѣ съ Берлинскимъ и даже неутѣшно жалѣлъ, что не можетъ оставить его при себѣ въ Петербургѣ. Но, по разсказамъ судя, пребываніе Берлинскаго въ столицѣ и дѣйствительно было совершенно неудобно: этому мѣшала слишкомъ большая и страстная привязанность, которую питали къ печерскому Кесарю «всѣ солдаты».

Они такъ его любили, что ему нигдѣ, будто, нельзя было показаться: какъ солдаты его увидятъ, сейчасъ перестаютъ слушать команду, и бѣгутъ за нимъ, и кричатъ:

— Пусть насъ ведетъ отецъ нашъ полковникъ Берлинскій,—мы съ нимъ и Константинополь возьмемъ, и самого побѣдоноснаго полководца Вылезарія на царскій смотръ въ цѣпяхъ приведемъ.

Доходило это, по разсказамъ, до такихъ ужасныхъ безпорядковъ, что нѣсколько человѣкъ за это были даже будто разстрѣляны, какъ нарушители дисциплины, и тогда Берлинскому самому уже не захотѣлось въ Петербургѣ оставаться, да и графъ Чернышевъ прямо, будто, сказалъ государю:

— Какъ вашему величеству угодно, а это невозможно есть: или пусть Берлинскій въ Петербургѣ не живетъ, или надо отсюда всѣ войска вывесть.

Государь, будто, призвалъ Кесаря Степановича и сказалъ:

— Такъ и такъ, братецъ, мнѣ съ тобою очень жаль разстаться, но ты самъ видишь, что въ такомъ случаѣ можно сдѣлать. Я тобою очень дорожу, но безъ войскъ столицу

тоже оставить нельзя, а потому тебѣ жить здѣсь невозможно. Ступай въ Кіевъ и сиди тамъ до военныхъ обстоятельствъ. Въ то время я про тебя непремѣнно вспомню и пошлю за тобой.

А «лысый Чернышевъ» такъ его торопилъ выѣздомъ, что только нѣсколько дней дозволилъ ему пробыть въ Петербургѣ, но и тутъ не обошлось безъ большихъ затрудненій, имѣвшихъ притомъ роковыя послѣдствія.

Это, по разсказамъ, было будто именно въ тотъ годъ, когда въ Петербургѣ, на Адмиралтейской площади, сгорѣлъ съ народомъ извѣстный балаганъ Лемана.

Балаганъ сгорѣлъ съ народомъ, стало-быть, во время представленія, но, по винѣ самого импровизатора или благовѣстниковъ его славы, на сей разъ выходило что-то немножко нескладно: дѣло будто происходило *ночью*.

Берлинскій, будто, тогда стоялъ на квартирѣ въ Гороховой улицѣ, у одной нѣмочки, и дожидался бритвеннаго прибора, который заказалъ по своему рисунку одному англичанину. У нихъ въ родствѣ было много лицъ, отличавшихся необыкновеннымъ умомъ и изобрѣтательностью, и одинъ племянникъ Берлинскаго, будто, такія бритвы выдумалъ, что онѣ могли брить превосходно, а обрѣзаться ими никакъ нельзя.

Англичанинъ взялся эти бритвы исполнить, да не хорошо по рисунку сдѣлалъ, и опять сталъ передѣлывать. А лысый графъ Чернышевъ, которому непріятно было, что Берлинскій все еще въ Петербургѣ живетъ, ничего этого въ расчетъ взять не хотѣлъ. Онъ уже нѣсколько разъ присылалъ дежурнаго офицера узнать, скоро ли онъ выѣдетъ.

Берлинскій, разумѣется, дежурнаго не боялся и отвѣчалъ: «Пусть вашъ лысый графъ не безпокоится и пусть, если умѣетъ, самъ Вылезарія въ плѣнъ беретъ, а я только моего особеннаго прибора дожидаюсь, и какъ англичанинъ мнѣ приборъ сдѣлаетъ, такъ я сейчасъ же выѣду, и буду, гдѣ государю угодно, вѣкъ доживать, да печерскихъ чудотворцевъ за него молить, чтобы ему ничего непріятнаго не было. А пока мои бритвы не готовы, я не поѣду. Такъ лысому отъ меня и скажите».

Чернышевъ не смѣлъ его насильно выслать, но опять прислалъ дежурнаго сказать, чтобы Берлинскій днемъ не могъ на улицѣ показываться, чтобы солдатъ не будоражить,

а выходилъ бы для прогулки на свѣжемъ воздухѣ только послѣ зари, когда изъ пушки выпалятъ и всѣхъ солдатъ въ казармахъ запрутъ.

Берлинскій отвѣчалъ:

— Я службу такъ уважаю, что и лысому повинуюсь.

Послѣ этого онъ будто жилъ еще въ Петербургѣ нѣсколько дней, выходя подышать воздухомъ только ночью, когда войска были въ казармахъ, и ни одинъ солдатъ не могъ его увидѣть и за нимъ бѣгать. Все шло прекрасно, но тутъ вдругъ неожиданно и подвернулся роковой случай, послѣ котораго дальнѣйшее пребываніе Кесаря въ столицѣ сдѣлалось уже рѣшительно невозможнымъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Идетъ одинъ разъ Кесарь Степановичъ, закрывъ лицо шинелью, отъ Краснаго моста къ Адмиралтейству, какъ вдругъ видитъ впереди себя на Адмиралтейской площади «огненное пламя». Берлинскій подумалъ: не Зимній ли дворецъ это горитъ и не угрожаетъ ли государю какая опасность... И тутъ, по весьма понятному чувству, забывъ все на свѣтѣ, Берлинскій бросился къ пожару.

Прибѣгаетъ онъ и видитъ, что до дворца, слава Богу, далеко, а горитъ Лемановъ балаганъ и внутри его страшный вопль, а снаружи никого нѣтъ. Не было будто ни пожарныхъ, ни полиціи и ни одного человѣка. Словомъ, снаружи пустота, а внутри стоны и гибель, и только отъ дворца кто-то одинъ, видный, рослый человѣкъ, бѣжитъ и съ одышкою спотыкается.

Берлинскій воззрился въ бѣгущаго и узналъ, что это никто иной, какъ самъ государь Николай Павловичъ.

Скрываться было некогда, и Кесарь Степановичъ сталъ ему во фронтъ какъ слѣдуетъ.

Государь ему будто закричалъ:

— Ахъ, Берлинскій! тебя-то мнѣ и надобно. Полно вытягиваться, видишь—никого нѣтъ, бѣги за пожарными.

А Кесарь Степановичъ будто отвѣтилъ:

— Пожарные тутъ, ваше императорское величество, никуда не годятся, а дозвольте скорѣе призвать артиллерію.

Государь изволилъ его спросить:

— Зачѣмъ артиллерію?

А онъ, будто, отвѣтилъ:

— Затѣмъ, что тутъ *надо схватить моментъ*. Деревяннаго балагана залить трубами нельзя, а надо артиллеріей въ *одинъ моментъ* стѣну развалить, и тогда сто или двѣсти человѣкъ убьемъ, а зато остальной весь народъ сразу высыпется (вотъ еще когда и при какомъ случаѣ, значитъ, говорено военнымъ человѣкомъ о значеніи *момента*).

Но государь его не послушался,—ужасно ему показалось сто человѣкъ убить; а потомъ, когда балаганъ сгорѣлъ, тогда изволилъ, будто, съ сожалѣніемъ сказать:

— А Берлинскій мнѣ, однако, правду говорилъ: все дѣло было въ моментѣ и надо было его послушаться и артиллерію пустить. Но только все-таки лучше велѣть ему сейчасъ же выѣхать, а его бритвенный приборъ послать ему въ Кіевъ по почтѣ на казенный счетъ.

Сдѣлано это послѣднее распоряженіе было въ такомъ расчетѣ, что если бы при Берлинскомъ случился въ Петербургѣ другой подобный острый моментъ, то все равно нельзя было бы артиллерію вывесть потому, что всѣ солдаты и съ пушками за нимъ бы бросились, чтобы онъ велъ ихъ плѣнять Вылезарія.

Такъ этимъ и заключилась блестящая пора служебной карьеры Кесаря Степановича въ столицѣ, и онъ не видѣлъ государя до той поры, когда послѣ выставилъ передъ его величествомъ «свою шеренгу», а потомъ вернулся въ Кіевъ съ пособіемъ и усиленною пенсіею, настоящую цифру которой, какъ выше сказано, онъ постоянно скрывалъ отъ непосвященныхъ и говорилъ коротко, «что беретъ много», а можетъ взять еще больше.

— Стоитъ только государю страховое письмо написать.

Мнѣ кажется, что онъ искренно вѣрилъ, что имѣетъ дозволеніе вести съ государемъ переписку, и, Богъ его знаетъ, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ ему что-нибудь въ этомъ родѣ было сказано, если не лично государемъ, то кѣмъ-нибудь изъ лицъ, черезъ которыхъ Кесарь Степановичъ устроилъ дѣтей и получилъ свою прибавку.

Во всякомъ случаѣ это куражило старика и давало ему силу переносить весьма тяжелыя лишенія съ непоколебимымъ мужествомъ и внушающимъ достоинствомъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Такъ Берлинскій и старѣлся, отмѣнно преданный государю и вѣрный самому себѣ во всемъ и особенно въ импровизаторствѣ. А когда онъ сталъ очень старъ и во всѣхъ отношеніяхъ такъ поотсталъ отъ современности, что ему нечего было сочинять о себѣ, то онъ перенесъ задачи своей импровизаціи на своего племянника (моего школьнаго товарища) доктора, имя котораго было Николай, но такъ какъ онъ былъ очень знаменитъ, то этого имени ему было мало, и онъ назывался «*Николавра*». Здѣсь значеніе усиливалось звукомъ *лавра*. Николай это было простое имя, какъ бываетъ простой монастырь, а *Николавра*—это то же самое, что лавра среди простыхъ монастырей.

Кесарь Степановичъ разсказывалъ удивительнѣйшія вещи о необычайныхъ медицинскихъ знаніяхъ и талантахъ этого очень много учившагося, но замѣчательно несчастливаго врача и человѣка съ отмѣнно добрымъ и благороднымъ сердцемъ, но большого неудачника.

Опять и тутъ я не помню многаго и, можетъ-быть, самаго замѣчательнаго, но, однако, могу записать одинъ анекдотъ, который объясняетъ, въ какомъ духѣ и родѣ были другіе, пущенные въ обращеніе для прославленія Николавры.

Шелъ одинъ разъ разговоръ о зубныхъ болякъ,—объ ихъ жестокой неутолимости и о неизвѣстности такихъ медицинскихъ средствъ, которыя дѣйствовали бы въ этихъ болякъ такъ же вѣрно, какъ, напримѣръ, хининъ въ лихорадкахъ или касторовое масло въ засореніяхъ желудка и кишокъ.

Въ обществѣ было нѣсколько молодыхъ, въ тогдашнее время, врачей, и всѣ согласно утверждали, что такихъ универсальныхъ средствъ дѣйствительно нѣтъ,—что на одного больного дѣйствуетъ одно лѣкарство, на другого—другое, а есть такіе несчастные, на которыхъ ничто не дѣйствуетъ, «пока само пройдетъ».

Вопросъ очень спеціальный и не интересный для бесѣды людей непосвященныхъ, но чуть къ нему коснулся художественный геній Берлинскаго,—произошло чудо, напоминающее вмалѣ источеніе воды изъ камня въ пустынѣ. Крылатый Пегасъ-импровизаторъ ударилъ звонкимъ копытомъ и изъ сухой скучной матеріи полилась сага,—живая,

сочная и полная преинтересныхъ положеній, надъ которыми люди въ свое время задумывались, улыбались и даже, можетъ-быть, плакали, а во всякомъ случаѣ тѣхъ, кого это сказаніе касается, прославили.

Кесарь Степановичъ опротестовалъ медицинское мнѣніе и сказалъ будто, что универсальное средство противъ зубной боли есть и что оно изобрѣтено именно его племянникомъ, докторомъ Николаврою, и одному ему, Николаврѣ, только и извѣстно. Но средство это было такое капризное, что, несмотря на всю его полезность, оно могло быть употребляемо не всякимъ и не во всѣхъ случаяхъ. Медикаментъ этотъ, утолявшій будто всякую боль, можно было употреблять только въ размѣрѣ одной капли, которую нужно было очень осторожно капнуть на больной зубъ. Если же эта капля хоть крошечку стечетъ съ зуба и коснется щеки или десенъ, то въ то же самое время человѣкъ мгновенно умираетъ. Словомъ, опасность страшная! И выходило такъ, что нижніе зубы этимъ лѣкарствомъ можно было лѣчить, потому что на нижніе можно осторожно капнуть, но если заболѣли верхніе, на которые капнуть нельзя, то тогда уже это лѣкарство безполезно.

Было ужасно слушать, что есть такое спасительное изобрѣтеніе и оно въ значительной долѣ случаевъ должно оставаться неприложимымъ. Но Кесарь Степановичъ, владѣя острымъ умомъ и рѣшительностью, нашелъ, однако, средство, какъ преодолѣть это затрудненіе, и усвоилъ для медицинской науки «перевертошный способъ», которымъ до тѣхъ поръ зубоврачебная практика не пользовалась. Этотъ этюдъ былъ извѣстенъ между нами подъ названіемъ «Берлинскаго анекдота о Бибиковской тещѣ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Жила-была, будто, «Бибиковская теща», дама «полнищая и преогромная», и пріѣхала она, будто, на лѣто къ себѣ въ деревню, гдѣ-то неподалеку отъ Кіева. Въ Кіевъ ей Бибиковъ въѣзжать не позволялъ «по своему характеру», потому что онъ «насчетъ женскаго сословія заблуждался и съ тещею не хотѣлъ объ этомъ разговаривать, чтобы она его не стала стыдить лѣтами, чиномъ и убожествомъ» (такъ какъ у него одна рука была отнята).

Несчастная «полная дама» такъ и жила, будто, въ де-

ревнѣ и пошла, будто, она одинъ разъ съ внучками въ лѣсъ гулять и нашла на кустѣ орѣшника орѣхъ-двойчатку и обрадовалась, что счастье удвоится, и захотѣла раскусить. Внучки говорятъ ей:

— Не кусай, бабушка, двойчатку,- у тебя зубки стары.

А Бибиковская теща отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, раскушу, мнѣ счастья удвоится.

Орѣхи она разгрызла, но только послѣ этого у нея сейчасъ же зубы заныли, и до того ее доняли, что она стала кричать: «лучше убейте меня, потому что это все удвоивается и стало совсѣмъ невозможно вытерпѣть». А у нея былъ управитель очень лукавый, и онъ ей говоритъ: «чѣмъ если убивать—за что отвѣчать придется, то лучше дозвольте я вамъ изъ Кіева всепомогающаго лѣкаря привезу: онъ изъ извѣстной Шіяновской родни—и всякую зубную боль въ одну минуту унять можетъ».

Бибиковская теща про Шіяновыхъ много хорошаго слыхала и отвѣчаетъ: «привези, но только какъ возможно скорѣй».

Управитель, чтобы не произошло никакой медленности, сейчасъ же собрался и даже не ѣвши уѣхалъ.

Вечеромъ онъ изъ имѣнія выѣхалъ, а рано на зарѣ сталъ уже въ Кіевѣ на дымящихся и вспѣненныхъ коняхъ посреди печерскаго базара, а дальше тутъ уже не зналъ, куда ѣхать: по Большой или по Малой Шіяновской, и закричалъ во все горло:

— Гдѣ тутъ всепомогающій лѣкарь Николаврa, который во всякой зубной боли вылѣчиваетъ?

(По причинѣ большой извѣстности этого доктора, фамилія его никогда не произносилась, а довольно было одного его имени «Николаврa», которое было такъ же славно, какъ, напримѣръ, имя Абеляръ).

Чумаки, которые стали тутъ съ вечера и спали на своихъ возахъ съ пшеномъ и саломъ, и съ сухою таранью, сейчасъ отъ этого крика проснулись и показали управителю:

— Годи тебѣ кричать, говорятъ,—вотъ туточка сей лѣкарь живетъ, тільки що вінъ теперь, якъ и усе христіянство, спочивае.

Управитель побѣжалъ по указанію и заколотилъ о запертые ставни.

Оттуда ему кричать:

— Кто ce такій и чого вамъ треба?

А онъ отвѣчаетъ:

— Отчиняйте скорѣй, або я всѣ окна побью,—мнѣ надо всепомогающаго лѣкаря Николавру, который всякую боль излѣчиваетъ. Здѣсь онъ, или нѣтъ, а то я долженъ дальше скакать его разыскивать.

Управителю говорятъ:

— Никуда вамъ скакать дальше не треба, потому что всепомогающій докторъ Николавра здѣсь живетъ, но онъ теперь, якъ и усе христіянство, спитъ. А вы майте собі трохи совісти и если въ Господа Бога вѣруете, то не колотайте такъ крѣпко, бо нашъ домъ старенькій, еще не за сихъ временъ, и шибки изъ оконъ повыскакують, а тутъ близко ни якого стекольщика нѣтъ, а теперь зима лютая и съ малыми дѣтьми смерзти можно.

Разсказывалось имѣнно такъ, что при этомъ переговорѣ было упоминаемо про «зиму» и про «холодъ», и читатель не долженъ смущаться, что дѣло происходило во время лѣтняго наѣзда Бибиковской тещи въ свое имѣніе. Вскорѣ мы опять увидимъ, вмѣсто скучной и лютой зимы, веселое знойное лѣто.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Управитель Бибиковской тещи былъ человѣкъ горделивый, потому что, по необразованности своей, считалъ, какъ и другіе многіе, будто государь Бибикову Кіевъ все равно какъ въ подарокъ подарилъ, и что потому всѣ, кто тутъ живетъ, ему, будто, принадлежатъ въ родѣ крѣпостныхъ и должны все дѣлать.

— Велика важность, говоритъ, — ваши окна! Я отъ Бибиковской тещи пріѣхалъ за лѣкаремъ и подавай мнѣ лѣкаря.

Ему отворили двери и привели его къ самому Николаврѣ.

Тотъ— лихой молодчина былъ и хотя такой ученый, что страшно все понималъ, но церемониться ни съ кѣмъ не любилъ.

Какъ ему сказали, что отъ Бибиковской тещи управитель пришелъ, онъ говоритъ:

— Приведите его ко мнѣ въ спальню. Если онъ во мнѣ надобность имѣетъ, то можетъ меня и безъ панталонъ во всякомъ видѣ разсматривать.

Управитель пришелъ и разсказываетъ, а лѣкарь Нико-

лавра на него и вниманія не обращаетъ: лежитъ подъ одѣяломъ да колѣнки себѣ чешетъ. А когда тотъ кончилъ, лѣкарь только спросилъ:

— А въ какомъ строю у нея зубъ болитъ, въ верхнемъ или въ нижнемъ?

Управитель отвѣчаетъ:

— Я ей въ зубы не глядѣлъ, а полагаю, что, должно быть, болитъ въ строю *въ верхнемъ*, потому что у нея опухоль подъ самымъ глазомъ.

Тогда Николаврa завернулся къ стѣнѣ и говоритъ:

— Прощай и ступай вонъ.

— Что это значитъ?

— То значитъ, что если боль въ верхнемъ строю, то мнѣ тамъ дѣлать нечего: я верхнихъ зубовъ лѣчить не могу.

Управитель говоритъ:

— Да вамъ-то не все ли равно лѣчить, что верхній зубъ, что нижній? Все равно, говоритъ,— кость окостенѣлая, что тотъ, что этотъ, одно въ нихъ естество, одно поврежденіе и одно лѣкарство.

Но лѣкарь на него посмотрѣлъ и говорить не сталъ.

Тотъ спрашиваетъ:

— Что же, отвѣчайте что-нибудь.

Тогда лѣкарь далъ ему такой отвѣтъ:

— Я, говоритъ, — могу разговаривать съ равнымъ себѣ по наукѣ, а это не твоего дѣло ума, чтобы я съ тобою сталъ разговаривать. Ты управитель, и довольно съ тебя— имѣніемъ и управляй, а не въ свое дѣло не суйся. Людей лѣчить это не то, что навозъ запахивать. Медицинѣ учатся. А тебѣ сказано, что я въ нижнемъ строю все могу вылѣчить, а до верха моимъ спасительнымъ лѣкарствомъ дотронуться нельзя.

— Но черезъ что же такое?—вопитъ управитель.

— А черезъ то, что она въ ту же минуту «окачурится» и мнѣ за нее отвѣчать придется ; а я моей репутаціей дорожу, потому что я очень много учился.

Управитель какъ услыхалъ, что она можетъ «окачуриться», еще больше сталъ просить лѣкаря, чтобъ непремѣнно ѣхалъ, а тотъ разсердился, вскочилъ, вытолкалъ его въ шею и опять легъ ночь досыпать.

Тутъ въ это дѣло и вступился вездѣ находчивый Кесарь Степановичъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Увидалъ онъ, что племянникъ, хотя, по его словамъ, и уменъ, и въ своемъ медицинскомъ дѣлѣ очень свѣдущъ, а недостаетъ ему еще настоящей тактики и практики, и молодой его разсудокъ еще не очень находчивъ, какъ себѣ большую славу сдѣлать.

Кесарь Степановичъ, прослушавъ весь ихъ разговоръ изъ своей комнаты, сейчасъ всталъ съ постели, надѣлъ туфли и тулупчикъ и съ трубкой вышелъ въ залу, по которой проходилъ изгнанный лѣкаремъ управитель. Увидалъ онъ его и остановилъ,—говоритъ:

— Остановись, прохожій, никуда не гожій, и объясни мнѣ своей рожей, не выходивши изъ прихожей: на чемъ ты сюда пріѣхалъ и есть ли тамъ третье сидѣніе, чтобы еще одного человѣка посадить.

Управляющій очень радъ, что съ нимъ такой извѣстный человѣкъ заговорилъ, и отвѣчаетъ, что у него есть четверомѣстная коляска, и онъ можетъ не одного, а даже двухъ людей помѣстить.

Кесарь Степановичъ далъ ему щелчка въ лобъ и говоритъ:

— Ты спасенъ и твое дѣло сдѣлано: я сейчасъ къ племяннику взойду и совѣтъ ему дамъ. Николавра меня послушается, и мы переговоримъ и, можетъ-быть, всѣ вмѣстѣ поѣдемъ. Я ему одинъ способъ покажу, какъ можно верхніе зубы въ нижній рядъ поставить и тогда на нихъ чортъ знаетъ чѣмъ можно накапать.

— А ты, прибавляетъ,—только скажи мнѣ: очень ли она мучится?

Управитель отвѣчаетъ:

— Ужъ совсѣмъ замучилась и на весь домъ визжитъ.

— То-то,—говоритъ Кесарь Степановичъ:—мнѣ это знать надо, потому что моимъ способомъ съ ней круто придется обращаться — по-военному.

Управитель отвѣчаетъ:

— Она военныхъ даже очень уважаетъ и на все согласится, потому что у нея очень болитъ.

— Хорошо,—сказалъ Кесарь Степановичъ и пошелъ къ племяннику. Тамъ у нихъ вышелъ споръ, но Кесарь Степановичъ все кричалъ: «не твое дѣло, за всю опасность я отвѣчаю», и переспорилъ.

— Ты, говоритъ,—бери только свое спасительно лѣкарство и употребляй его по своей наукѣ, какъ слѣдуетъ, а остальное, чтобы верхніе зубы снизу стали — это мое дѣло.

Лѣкарь говоритъ:

— Вы забываете, какого она званія,—она обидится.

А Кесарь Степановичъ отвѣчаетъ:

— Ты молодъ, а я знаю, какъ съ дамами по-военному обращаться. Вѣрь мнѣ, мы ей на верхній зубъ капнемъ, и она намъ еще книксенъ присядетъ. Ѣдемъ скорѣе, — она мучится.

Лѣкарь было сталъ еще представлять, что капнуть на верхній зубъ нельзя, а она можетъ послѣ Бибикову жаловаться, но тутъ Кесарь Степановичъ его даже постыдилъ.

— Ты вѣдь, говоритъ,—кажется, не простой докторъ, а училъ двѣ науки по физикѣ и понять не можешь, что тутъ надо только *схватить момент*ъ, и тогда все можно. Не безпокойся. Это не твое дѣло: ты до нея не будешь притрогиваться, а мнѣ Бибиковъ ничего сдѣлать не смѣетъ. Ты, кажется, мнѣ можешь вѣрить.

Племянникъ повѣрилъ дядѣ и говоритъ:

— Въ самомъ дѣлѣ, при васъ я не боюсь, а между прочимъ мнѣ это впередъ для таковыхъ же случаевъ можетъ пригодиться.

Одѣлся, положилъ пузыречекъ со своимъ лѣкарствомъ въ жилетный карманъ, и безъ дальнихъ разсужденій всѣ они втроемъ покатили на верхній зубъ капать.

Управитель все ѣхалъ и думалъ: непремѣнно она у нихъ окачурится!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Скакали путники безъ отдыха цѣлый день, и зато вечеромъ, въ самое то время, когда стадо гонятъ, пріѣхали на господскій дворъ, а зубы если когда разболятся, то къ вечеру еще хуже болятъ.

Бибиковская теща ходитъ по комнатамъ, и сама преогромная, а плачетъ какъ маленькая.

— Мнѣ очень стыдно, говоритъ, — этакъ плакать, но не могу удержаться, потому что очень черезъ силу болитъ.

Кесарь Степановичъ сейчасъ же съ ней заговорилъ по-военному, но ласково.

— Это, говоритъ, — даже къ лучшему, что вамъ такъ

больно болитъ, потому что вы должны скорѣе на все рѣшиться.

А она отвѣчаетъ:

— Ахъ, Боже мой, я уже и рѣшилась. Что вы хотите, то и дѣлайте, только бы мнѣ выздоровѣть и въ Парижъ для развлеченія уѣхать.

— Въ такомъ разѣ,—говоритъ Берлинскій:—мы должны кое-что сдѣлать... По-французски это называется «повертонъ». Послѣ черезъ пять минутъ можете въ Парижъ ѣхать.

Она удивилась и вскричала:

— Неужели черезъ пять минутъ!?

Берлинскій говоритъ: что мною сказано, то вѣрно.

— Въ такомъ разѣ, хоть не знаю, что такое «повертонъ», но я на все согласна.

— Хорошо, — говоритъ Берлинскій:—велите же мнѣ поскорѣе подать два чистые носовые платка и хорошую, крѣпкую пробку изъ сотерной бутылки.

Та приказала.

— И еще,—говоритъ Кесарь Степановичъ:—одно условіе: прикажите сейчасъ, чтобы всѣ, кто тутъ есть, ваши родные и слуги ваши, ни во что не смѣли вступаться, пока мы свое дѣло кончимъ.

— Все, говоритъ, — приказываю: мнѣ лучше умереть, чѣмъ такъ мучиться.

Словомъ, больная безусловно предалась въ ихъ энергическія руки, а тѣмъ временемъ Кесарю и Николаврѣ подали потребованные платки и пробку изъ сотерной бутылки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Кесарь Степановичъ пробку осмотрѣлъ, погнулъ, подавилъ и сказалъ: «пробка хороша, а платки надо перемѣнить: батистовые, говоритъ, — не годятся, а надо самые плотные полотняные».

Ему такіе и подали. Онъ сложилъ ихъ оба съ угла на уголъ, какъ складываютъ, чтобы зубы подвязывать, и положилъ на столикъ; а Бибиковской тещѣ говоритъ:

— Ну-те-ка, что-нибудь заговорите.

Она спрашиваетъ:

— Для чего это нужно?

А Берлинскій ей отвѣчаетъ:

— Для того, чтобы *схватить первый моментъ*.

А самъ ей въ эту самую секунду сотерную пробку въ ротъ и вставилъ. Такъ ловко вставилъ ее между зубами, что Бибиковской тещѣ ни кричать и ни одного слова выговорить нельзя при такой распоркѣ.

Удивилась она и испугалась, и глазами хлопаетъ, а чѣмъ больше старается что-то спросить, тѣмъ только крѣпче зубами пробку напираетъ. А Кесарь Степановичъ, въ это же острое мгновеніе, улыбнулся и говоритъ ей:

— Вотъ только всего и нужно, а самъ ей однимъ платкомъ руки назади связалъ, а другимъ внизу платье вокругъ ногъ обвязалъ, какъ дѣлаютъ простонародныя дѣвушки, когда садятся на качели качаться. А потомъ крикнулъ племяннику:

— Теперь лови второй моментъ!

И сейчасъ же ловко, по-военному, перевернулъ даму внизъ головою и поставилъ ее въ уголъ на подушку теменемъ. Отъ этого находчиваго оборота, разумѣется, вышло такъ, что у нея верхніе зубы стали нижними, а нижніе — верхними. Непріятно, конечно, было, но не надолго, — всего на одну секунду, потому что лѣкарь, какъ человѣкъ одной породы съ дядею—такой же какъ дядя ловкій и понятливый, сейчасъ же «схватилъ моментъ»,—капнулъ каплю дамѣ на верхній зубъ и сейчасъ же опять ее перевернулъ, и она стала на ногахъ такая здоровая, что сотерную пробку перекусила и говоритъ:

— Ахъ, мерси, — мнѣ все прошло; теперь блаженство! чѣмъ я могу васъ отблагодарить?

Кесарь Степановичъ отвѣчалъ:

— Я не врачъ, а военный, а военные во всѣхъ несчастіяхъ дамамъ такъ помогаютъ, а денегъ не берутъ.

Бибиковская теща разспросила о Кесарѣ Степановичѣ: кто онъ такой и на какомъ положеніи у государя, и когда узнала, что онъ отставной, но при военныхъ дѣлахъ будетъ опять призванъ, подарила ему необыкновеннаго верхового коня. Конь былъ что-то въ родѣ Самсона: необычайная сила и удаль заключались у него въ необычайныхъ волосахъ, и для того онъ былъ съ удивительнымъ хвостомъ. Такой былъ огромный хвостъ, что если конь скакалъ, то онъ сзади разстилался какъ облако, а если шагомъ пойдетъ, то концы его на двухъ маленькихъ колесцахъ укладывали и они ѣхали за конемъ, какъ шлейфъ за дамой.

Только удивительнаго коня этого нельзя было ввести въ Кіевъ, а надо было его гдѣ-то скрывать, потому что онъ былъ самый лучшій на всемъ Орловскомъ заводѣ и Бибикову хотѣлось его имѣть, но благодарная теща сказала: «на что онъ ему? Какой онъ воинъ!» и подарила коня Берлинскому, съ однимъ честнымъ словомъ, чтобы его въ «Бибиковское царство» не вводить, а содержать «на чужой сторонѣ».

Кесарь Степановичъ ногою шаркнулъ, «въ ручку поцѣловалъ» и коня принялъ, и честное слово свое сдержалъ.

Объ этомъ конѣ въ свое время было много протолковано на печерскомъ базарѣ. Собственными глазами никто это прекрасное животное никогда не видалъ, но всѣ знали, что онъ вороной безъ отмѣтинъ, а ноздри огненныя и можетъ скакать черезъ самыя широкія рѣки.

Теперь, когда пересказываешь это, такъ все кажется такимъ вздоромъ, какъ сказка, которой ни минуты нельзя вѣрить, а тогда какъ-то одни смѣялись, другіе вѣрили, и все было складно.

Печерскіе перекупки готовы были клясться, что этотъ конь жилъ въ таинственной глубокой пещерѣ въ броварскомъ бору, который тогда былъ до того густъ, что въ немъ еще водились дикіе кабаны. А стерегъ коня тамъ старый москаль, «хромой на одно око». Въ этомъ не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія, потому что москаль приходилъ иногда на базаръ и продавалъ въ горшкѣ табакъ «прочухрай», отъ котораго, какъ понюхаешь, такъ и зачихаешь. Ввести же коня въ Кіевъ нельзя было «по причинѣ Бибика».

Исцѣленіе тещи имѣло, однако, и свои невыгодныя послѣдствія, если не для Кесаря Степановича, то для всепомогающаго врача, и виною тому была малообразованность публики. Когда дамы узнали объ этомъ исцѣленіи способомъ «повертона», такъ начали притворяться, что у нихъ верхній зубъ болитъ и стали осаждать доктора, чтобы и надъ ними былъ сдѣланъ «повертонъ». Онѣ готовы были злоупотреблять этимъ до чрезвычайности. Николаврa имъ внушалъ, что это дѣло серьезное и научное, а не шутка, но онѣ все не отставали отъ него съ просьбами «перевернуть ихъ и вылѣчить». Происходило это болѣе оттого, что Николаврa дамъ очень смѣшилъ, и онѣ въ него влюблялись

въ это время безъ памяти. А онъ, будучи очень честенъ, не хотѣлъ разстраивать семейную жизнь во всемъ городѣ и предпочелъ совсѣмъ оставить и Кіевъ, и медицинскую практику.

Такъ онъ и сдѣлалъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Разумѣется, вся «причина Бибика», о которой выше сказано, была чистѣйшій плодъ быстрой и сложной фантазіи самого печерскаго импровизатора или его восторженныхъ почитателей. На самомъ же дѣлѣ Бибиковъ не только не гналъ и ни за что не преслѣдовалъ занимательнаго полковника, но даже едва ли не благодѣтельствовалъ ему, насколько къ тому была склонна его жесткая и мало податливая на добро натура. Кажется, Бибиковъ былъ даже чѣмъ-то полезенъ Берлинскому въ устройствѣ его дѣтей и вообще никогда на него не нападалъ, хотя, по весьма странной любви къ сплетнямъ и наушничеству, онъ зналъ очень многое о томъ, что Берлинскій на его счетъ импровизовалъ. Вполнѣ возможно, что иногда скучавшій Бибиковъ имъ даже немножко интересовался, конечно, только ради смѣха и потѣхи.

Въ Кіевѣ въ то время проживалъ академикъ с.-петербургской академіи художествъ, акварелистъ Михаилъ Макаровичъ Сажинъ. Онъ составлялъ для Дмитрія Гавриловича акварельный альбомъ открытыхъ при немъ кіевскихъ древностей, и не разъ, бывало, сказывалъ, что Бибиковъ шутилъ надъ своею зависимостью отъ Берлинскаго. Особенно его забавляло, какъ Берлинскій увѣрялъ, что «безрукій» мимо его домовъ даже *ѣздить боится.*

Бибиковъ въ самомъ дѣлѣ, говорятъ, иногда не проѣзжалъ по Шіяновскимъ улицамъ, но, разумѣется, не потому, чтобы ему былъ страшенъ Берлинскій, а потому, что тутъ невозможно было проѣхать, не затонувъ или, по крайней мѣрѣ, не измаравшись. Кесарь Степановичъ или вдохновенные имъ почитатели давали этому свое толкованіе, которое имъ гораздо болѣе нравилось, а для Кесаря имѣло притомъ свои выгоды. Всѣ эти легенды и басни значительно возвышали авторитетъ «галицкаго воина», который никого не боится, между тѣмъ какъ его всѣ боятся и «даже самъ Бибикъ».

Такъ какъ независимые люди всегда рѣдки и всякому интересны, то Кесарь Степановичъ пользовался у многихъ особенною любовью, и это выражалось своеобразнымъ къ нему поклоненіемъ. Думали, что онъ очень много можетъ защитить; а это, въ свою очередь, благопріятно отражалось на дѣлахъ шіяновскихъ развалинъ, которыя Бибиковъ, по словамъ Сажина, называлъ «шіановскими нужниками», но зато ихъ не трогалъ,—можетъ въ самомъ дѣлѣ изъ какого-нибудь добраго чувства къ Берлинскому. Людямъ робкимъ, равно какъ и людямъ оппозиціоннаго образа мыслей было лестно жить въ этихъ «нужникахъ» вмѣстѣ, или «въ одномъ кольцѣ» съ такимъ вдохновительнымъ героемъ, какъ Кесарь Степановичъ. А какъ притомъ къ чистотѣ и благоустройству обиталищъ у насъ относятся еще довольно нетребовательно, то эти дрянныя развалины были постоянно обитаемы. Между невзыскательными жильцами здѣшнихъ мѣстъ встрѣчалось не мало тогдашнихъ «нелегальныхъ», т. е. такихъ, у которыхъ были плохи паспортишки. Они были увѣрены, что, будто, имѣютъ въ лицѣ Кесаря Степановича могущественнаго защитника. Думали, чуть, храни Богъ, встрѣтится какое-нибудь несчастіе или притѣсненіе отъ полиціи, то Кесарь Степановичъ заступится. А главное, что полиція сюда почему-то и дѣйствительно съ полицейскими цѣлями не ходила.

Вѣроятно не хотѣла, чтобы про нее было что-нибудь написано государю. Это обыкновенно имѣлось въ виду при наймѣ квартиръ, и нетребовательный жилецъ переѣзжалъ въ шіяновскія развалины съ пріятнымъ убѣжденіемъ, что здѣсь хоть и «худовато, да спокойно».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Дорожа «спокойностью», въ шіяновскіе закутки набиралась всякая нищета и мелкота, иногда очень характерная и интересная.

Аристократію составляли захудалое армейское офицерство и студенты-медики пятаго курса, которымъ надо было ходить въ клиники военнаго госпиталя. Эти были менѣе всѣхъ искательны насчетъ покровительства и протекціи, но Кесарь Степановичъ, впрочемъ, и имъ иногда сулилъ свои услуги.

— Люблю молодежь,—говорилъ онъ, и сейчасъ же, вздох-

нулъ, прибавлялъ: — но зато спасибо имъ, и они меня любятъ. Бѣдные ребятки понимаютъ, что безрукій совѣмъ готовъ бы ихъ затѣснить, да не смѣетъ,- боится...

Боялся онъ, разумѣется, страхового письма.

Студенты, впрочемъ, къ полковнику за содѣйствіемъ не обращались и даже слегка надъ нимъ подтрунивали, или просто его избѣгали.

Иногда встрѣчались такіе, которымъ и самъ Кесарь Степановичъ, и его защитительная предупредительность казались очень подозрительными. Думали, будто онъ можетъ служить Богови и мамону... Но «сѣрый жилецъ», т. е. публика изъ простолюдиновъ, и особенно старовѣры, которымъ въ тогдашнее сердитое время приходилось очень жутко, питали къ нему безграничное довѣріе.

Эти отношенія мнѣ представлялись тогда очень странными, и я никакъ не могъ понять, происходило ли это довѣріе къ Кесарю отъ большого практическаго ума или отъ недоразумѣнія. Но такъ или иначе, а репутація дома все-таки на этомъ выигрывала, и теперь это вспоминается мило и живо, какъ веселая старая сказка, подъ которую сквозь какую-то теплую дрему свѣжо и ласково улыбается сердце...

Люди нынѣшняго банковаго періода должны намъ простить романтическую чепуху нашего молодого времени.

Явнымъ противорѣчіемъ между словомъ и поступками Берлинскаго было то, что безпредѣльно храбрый въ своихъ импровизаціяхъ, онъ въ практическихъ дѣлахъ съ властями былъ очень предусмотрителенъ и, можетъ-быть, даже искателенъ. Такъ, напримѣръ, считая Бибикова не только не выше себя, но даже нѣсколько ниже, по крайней мѣрѣ въ томъ отношеніи, что онъ могъ писать о немъ, что̀ угодно, государю, Кесарь Степановичъ иногда надѣвалъ мундиръ и являлся въ «Липки» къ Бибикову. Политиканы, склонные къ обобщеніямъ, придавали этому большое значеніе и подозрительно истолковывали такіе визиты въ неблагопріятномъ смыслѣ; но всего вѣроятнѣе полковника заводила къ генералъ-губернатору просто нужда, въ которой Бибиковъ ему, можетъ-быть, помогалъ изъ обширныхъ средствъ, находившихся въ его безотчетномъ распоряженіи. Простолюдины же толковали это совсѣмъ иначе и получали выводы прекрасные; они говорили:

— Нашъ-то, батюшка, воинъ-то нашъ галицкій, Кесарій Степановичъ, опять поползъ ругать Бибика. Пущай его проберетъ недобраго.

Сажинъ сказывалъ, что Бибиковъ даже и это зналъ, и очень надъ этимъ смѣялся, а отношеній своихъ къ Берлинскому все-таки нимало не измѣнялъ и не отказывался быть ему полезнымъ.

Такимъ образомъ Берлинскій, позабытый или незамѣчаемый въ высшихъ сферахъ кіевскаго общества, въ которомъ не было и нѣтъ дворянской знати, въ среднемъ слоѣ слылъ чудакомъ, котораго потихоньку вышучивали, но зато въ низшихъ слояхъ былъ героемъ, съ феноменальною и грандіозною репутаціею, которая держалась чрезвычайно крѣпко и привлекла подъ шіяновскія текучія крыши два безподобнѣйшіе экземпляра самаго заматорѣлаго во тьмѣ «древляго благочестія», изъ разряда «опасныхъ немоляковъ».

Впрочемъ, пока до нихъ, посмотримъ еще одно вводное лицо,—это квартальный-классикъ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Была одна статья, которая, кажется, непремѣнно должна бы бросить тѣнь на независимость и отвагу Кесаря, — это операціи, имѣвшія цѣлію поддержаніе «шіяновскихъ нужниковъ».

Всѣ набитые сбродомъ домы и домишки, хлѣвушки и закуточки Шіяновскихъ улицъ давно валились, а починять ихъ строго запрещалось суровымъ Бибиковскимъ эдиктомъ о «преобразованіи». Но о Берлинскомъ говорили такъ, что онъ этихъ эдиктовъ не признаетъ, и что Бибиковъ не смѣетъ ему воспретить дѣлать необходимыя починки, ибо самъ государь желалъ, чтобы домъ, гдѣ живетъ Кесарь Степановичъ, былъ сохраненъ въ крѣпости. Между тѣмъ, какъ думалъ объ этомъ Бибиковъ, было неизвѣстно, а починки были крайне нужны, особенно въ крышахъ, которыя прогнили, проросли и текли по всѣмъ швамъ. И что же? наперекоръ всѣмъ Бибиковскимъ запрещеніямъ, крыши эти чинились, но какъ? Этотъ способъ достоинъ занесенія его въ кіевскую хронику.

Къ Кесарю Степановичу былъ вхожъ и почему-то пользовался его расположеніемъ мѣстный квартальный, котораго, помнится, какъ будто звали Діонисій Ивановичъ или

Иванъ Діонисовичъ. Онъ былъ полу-хохолъ, полу-полякъ, а по религіи «изъ тунеядскаго исповѣданія». Это былъ человѣкъ пожилой и очень неопрятный, а подчасъ и запивавшійся хмелемъ, но службистъ, законовѣдъ и разнаго мастерства художникъ. Притомъ, какъ человѣкъ, получившій воспитаніе въ какихъ-то іезуитскихъ школахъ, онъ зналъ отлично по-латыни и говорилъ на этомъ языкѣ съ какимъ-то престарѣлымъ уніатскимъ попомъ, который проживалъ гдѣ-то на Рыбальской улицѣ за лужею. Латынь служила имъ для объясненій на базарѣ по цреимуществу о дороговизнѣ продуктовъ и о другихъ предметахъ, о которыхъ они, какъ чистые аристократы ума, не хотѣли разговаривать на низкомъ нарѣчіи плебеевъ.

Въ служебномъ отношеніи, по части самовознагражденія классикъ придерживался старой доброй системы — натуральной повинности. Денежныхъ взятокъ классикъ не вымогалъ, а взималъ съ прибывающихъ на печерскій базаръ возовъ, «что кто привезъ съ того и по штучкѣ,—щобъ никому не було обиды». Если на возу дрова, то дровъ по полѣну, капуста — то по кочану капусты, зерна по пригоршнѣ и такъ все до мелочи, со всѣхъ поровну, «якъ отъ Бога показано».

Гдѣ именно было такое показаніе отъ Бога — это зналъ одинъ классикъ, въ памяти котораго жила огромная, но престранная текстуализація изъ «Божого писанія» и особенно изъ апостола Павла.

— Ось у писаніи правда сказано, що «хлопъ якъ бувъ собі дурень, такъ вінъ дурнемъ и подохне».

Мужикъ слушалъ и, можетъ-быть, вѣрилъ, что это о немъ писано. А въ другой разъ классикъ приводилъ уже другой текстъ:

— Тоже, видать, правда, що каже апостолъ Павелъ: «бій хлопа по потылицѣ»,— и такъ какъ за этимъ слѣдовала сама потылица, то вѣры тому было еще болѣе.

Натуральную подать принималъ ходившій за классикомъ нарочито учрежденный custos. Онъ все бралъ и сносилъ на шіяновскій дворъ, гдѣ у квартальнаго въ какомъ-то закоулочкѣ была ветхая, но помѣстительная амбарушка. Тутъ все получаемое складывали и отходили за дальнѣйшимъ зборомъ, а потомъ въ свободное время все это сортировали и нѣчто пригодное для домашняго обихода брали домой, а

другое пріуготовляли къ промѣну на вещи болѣе подходящія. Словомъ, тутъ былъ свой маленькій мѣновой дворъ, или караванъ-сарай взяточныхъ продуктовъ, полученныхъ отъ хлоповъ, которыхъ апостолъ Павелъ «казавъ бить по потылицѣ»

Платилъ ли что Иванъ Діонисовичъ за этотъ караванъ-сарай — не знаю, но зато онъ дѣлалъ дому всякія льготы, значительно возвышавшія репутацію «покойности» здѣшнихъ, крайне плохихъ на взглядъ, но весьма богохранимыхъ жилищъ.

Тутъ не бывало никакихъ обысковъ, тутъ, по разсказамъ, жило не мало людей съ плохими паспортами кромскаго, нѣжинскаго и мѣстнаго кіевскаго приготовленія. Обыкновенные сорта фальшивыхъ паспортовъ приготовлялись тогда по всему главному пути отъ Орла до Кіева, но самыми лучшими слыли тѣ, которые дѣлали въ Кромахъ и въ Дмитріевѣ на Свапѣ. Въ шіяновскихъ домахъ, впрочемъ, можно было обходиться и вовсе безъ всякихъ паспортовъ, но главное, что тутъ можно было дѣлать на полной свободѣ,—это *молиться Богу, какъ хочешь*, т. е. какимъ хочешь обычаемъ.

Послѣднее обстоятельство и было причиною, что на этотъ дворъ, подъ команду полковника Берлинскаго, приснастился оригинальнѣйшій богомолецъ. Сей бѣ именемъ Малахія, старецъ, прибывшій въ Кіевъ для совершенія тайныхъ требъ у старовѣровъ, которые пришли строить каменный мостъ съ англичаниномъ Виньёлемъ. Старецъ Малахія, въ просторѣчіи Малафей Пимычъ, былъ привезенъ своими единовѣрцами «изъ невѣдомаго ключа» и «сокрытъ» въ шіяновскихъ закоулкахъ «подъ тайностію». Все это въ надеждѣ на Кесаря—ибо имя его громко звучало по простолюдью дальше Орла и Калуги.

При старцѣ былъ отрокъ лѣтъ двадцати трехъ, котораго звали Гіезій.

Было ли это его настоящее имя, или только шуточная кличка—теперь не знаю, а тогда не интересовался это разслѣдовать.

Имени Гіезій въ православныхъ мѣсяцесловахъ нѣтъ, а былъ такой отрокъ при пророкѣ Елисеѣ. Можетъ быть, это оттуда и взято.

Какъ старецъ Малафей, такъ и его отрокъ были чудаки первой степени и поселены они были въ шіяновской сло-

бодѣ въ расчетахъ на защиту «печерскаго Кесаря». Но прежде, чѣмъ говорить о старцѣ и его мужественномъ отрокѣ, окончу объ Иванѣ Діонисовичѣ и о его художествахъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

У латыниста квартальнаго было два искусства, изъ коихъ однимъ онъ хвастался, а о другомъ умалчивалъ, хотя собственно второе въ общественномъ смыслѣ имѣло гораздо большее значеніе.

Иванъ Діонисовичъ хвалился тѣмъ, что онъ «самъ себя стригъ». Это, можетъ-быть, покажется кому-нибудь пустяками, но пусть кто угодно на себѣ это попробуетъ, и тогда всякъ легко убѣдится, что остричь самому себя очень трудно и требуетъ большой ловкости и таланта. Второе же дѣло, которое еще болѣе артистически исполнялъ, но о которомъ умалчивалъ квартальный, относилось къ антикварному роду: онъ зналъ секретъ, какъ «старить» новыя доски для того, чтобы ими подшивать ночью прогнившія крыши. И дѣлалъ онъ это такъ, что никакой глазъ не могъ отличать отъ стараго новыхъ заплатъ его мастерского приготовленія.

Въ томъ самомъ караванъ-сараѣ, гдѣ складывались натуральныя подати съ базарныхъ торговцевъ и производилась мѣновая торговля, тутъ же у Ивана Діонисовича была и антикварная мастерская. Здѣсь находились дрань, лубья и деготь или колесная смола, по-малороссійски «коломазь». Все это было набрано на базарѣ съ торговцевъ безданно, безпошлинно и назначалось въ дѣло, которое, при тогдашнихъ строгостяхъ, заключало въ себѣ много тайности и не мало выгодъ. Химія производилась въ огромномъ старомъ корытѣ съ разведеннымъ въ немъ коровьимъ пометомъ и другими элементами, образовывавшими новыя соединенія. Элементы все были простые: навозъ, песокъ, смола и зерна овса «для проросли». Въ этомъ корытѣ лежали пріуготовляемые для антикварныхъ работъ лубы и драницы. Они подвергались довольно сложному процессу, за которымъ классикъ наблюдалъ не хуже любого техника, и новому матеріалу придавался видъ древности изумительно хорошо и скоро. Квартальный самъ дошелъ до того, какъ составлять этотъ античный колоритъ и пускать по нему эту веселую зелененькую проросль отъ разнѣженныхъ овсяныхъ зеренъ. Стоило приготовленную такимъ способомъ доску приколотить

на мѣсто и какъ «Бибикъ» около нея ни разъѣзжай, ничего онъ не отличитъ.

Дошелъ до этого производства Иванъ Діонисовичъ, вѣроятно, изъ тѣхъ побужденій, чтобы у него не пропадали такіе продукты, какъ лубья и коломазь, для которыхъ нельзя было найти особенно хорошаго сбыта въ ихъ простомъ видѣ.

Кажется, квартальный иногда самъ и приколачивалъ приготовленныя имъ заплатки, а, впрочемъ, я достовѣрно этого не знаю. Знаю только, что онъ ихъ приготовлялъ и притомъ приготовлялъ въ совершенствѣ.

Способъ нанесенія этого матеріала на ветхія постройки былъ простъ: избиралась ночь потемнѣе, и къ утру дѣло было готово. На слѣдующій день Кесарь Степановичъ ходилъ, гулялъ, поглядывалъ и говорилъ, улыбаясь:

— Что? много взялъ, безрукій!

А ему отвѣчали:

— Что онъ противъ тебя можетъ!

Такъ и это все шло въ подтвержденіе, что Бибиковъ ничего будто противъ «Кесаря» сдѣлать не можетъ, а тѣмъ временемъ пришла постройка моста и къ Виньёлю притекла масса людей, изъ которыхъ много было раскольниковъ. Эти привезли съ собою образа и своихъ «молитвенниковъ», между которыми всѣхъ большей тайности и охранѣ подлежалъ уже разъ упомянутый старецъ Малафей. Онъ былъ «пилипонъ» (т. е. филипповецъ) и «немолякъ, т. е. такой сектантъ, который ни въ домашней, ни за общественной молитвой о царѣ не молился. Такіе сектанты, при тогдашнемъ маломъ знаніи и пониманіи духа русскаго раскола, почитались «опасными и особенно вредными».

Большинство людей, даже очень умныхъ, смотрѣли на этихъ наивныхъ буквоѣдовъ, какъ на политическихъ злоумышленниковъ и во всякомъ случаѣ «недруговъ царскихъ».

Этого не избѣгали наши старинные законовѣды и новѣйшіе тенденціозные фантазеры въ родѣ Щапова, который принесъ своими мечтательными изъясненіями старовѣрчества существенный вредъ нѣжно любимому имъ расколу.

Куда было дѣть въ Кіевѣ такого опаснаго старца, какъ Малахія? гдѣ его помѣстить такъ удобно, чтобы онъ самъ былъ цѣлъ и чтобы можно было у него «поначалиться» и

вкусить съ нимъ сладость молитвеннаго общенія? Христолюбцамъ предлежала серьезная забота, «гдѣ сохранить старичка отъ Бибика».

Но гдѣ же лучше можно было устроить такого особливаго богослова, какъ не въ «шіяновскихъ нужникахъ». Сюда его и привела подъ крыло печерскаго «Кесаря» громкая слава дѣлъ этого независимаго и безстрашнаго человѣка.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Старца Малафея съ его губатымъ отрокомъ въ шіяновскихъ палестинахъ водворили два какіе-то каменщика. Эти люди приходили осматривать помѣщеніе съ большими предосторожностями. О цѣнѣ помѣщенія для старца они говорили съ барышней, которая вѣдала домовые счеты, а потомъ бесѣдовали съ Кесаремъ Степановичемъ о чемъ-то гораздо болѣе важномъ.

Это тогда заинтересовало всѣхъ близкихъ людей.

Каменщики были люди вида очень степеннаго и внушительнаго, притомъ со всѣми признаками самаго высокопробнаго русскаго благочестія: чолочки на лобикахъ у нихъ были подстрижены, а на маковкахъ въ честь Господню гуменца пробриты; говоръ тихій, а взглядъ умѣренный и «поникновенный».

О деньгахъ за квартиру для старца и его отрока раскольники не спорили. Очевидно, это было для нихъ послѣднимъ дѣломъ, а главное было то, о чемъ говорено съ Кесаремъ Степановичемъ.

Онъ ихъ «исповѣдывалъ во всѣхъ догматахъ» ихъ вѣры и — надо ему отдать честь — пришелъ къ заключеніямъ весьма правильнымъ и для этихъ добрыхъ людей благопріятнымъ.

На наши разспросы: что̀ это за необыкновенные люди, онъ намъ чисто съ военною краткостію отвѣчалъ:

— Люди прекрасные и дураки.

Результатомъ такого быстраго, но правильнаго опредѣленія было то, что злосчастные раскольники получили разрѣшеніе устраиваться въ подлежащемъ отдѣленіи «шіяновскихъ нужниковъ», а квартальный-классикъ въ слѣдующую же ночь произвелъ надъ крышею отданнаго имъ помѣщенія надлежащія антикварныя поправки.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Подъ старца была занята довольно обширная, но весьма убогая хоромина,—впрочемъ, въ самомъ излюбленномъ раскольничьемъ вкусѣ. Это была низенькая, полудеревянная, полумазанная, совершенно отдѣльная хибара. Она стояла гдѣ-то на задворкѣ и была ни откуда не видима. Точно она здѣсь нарочно построена въ такомъ сокрытіи, чтобы править въ ней нелегальныя богомольства.

Чтобы добраться до этого, буквально сказать, молитвеннаго хлѣва, надо было пройти одинъ дворъ, потомъ другой, потомъ завернуть еще во дворикъ, потомъ пролѣзть въ закоулочекъ и оттуда пройти черезъ дверь съ блочкомъ въ дровяную закуточку. Въ этой закуточкѣ былъ сквозной ходъ еще на особый маленькій дворишко, весь закрытый пупомъ поднявшеюся высокою навозною кучею, за которою по сторонамъ ничего не видно. Куча была такъ высока, что закрывала торчавшую изъ ея средины высокую шелковицу или рябину почти по самыя вѣтви.

Хатина имѣла три окна и всѣ они въ рядъ выходили на упомянутую навозную кучу, или, лучше сказать, навозный холмъ. При хатѣ имѣлись дощатыя сѣни, надъ дверями которыхъ новые наемщики тотчасъ же по водвореніи водрузили небольшой мѣдный литой крестъ изъ тѣхъ, что называютъ «корсунчиками».

Съ другой стороны на кучу выходило еще одно маленькое окно. Это принадлежало другому, тоже секретному помѣщенію, въ которое входили со второго двора. Тутъ жили двѣ или три «старицы», къ которымъ ходили молиться раскольники иного согласія — «тропарники», т. е. пѣвшіе тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя». Я въ тогдашнее время плохо понималъ о расколѣ и не интересовался имъ, но какъ теперь соображаю, то это, должно быть, были поморцы, которые издавна уже «къ тропарю склонялись».

Молитвенная хата, занятая подъ старца Малафея, до настоящаго найма имѣла другія назначенія: она была когда-то банею, потомъ птичною, «индѣечной разводкою», т. е. въ ней сиживали на гнѣздахъ индѣйки-насѣдки, а теперь, наконецъ, въ ней поселился святой мужъ и учредилась «моленна», въ знакъ чего надъ притолками ея дощатыхъ сѣней и утвержденъ былъ мѣдный «корсунчикъ».

Въ противоположность большинству всѣхъ помѣщеній шіяновскаго подворья, эта хата была необыкновенно теплая.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Старца Малахію каменщики привезли позднимъ вечеромъ на парныхъ деревенскихъ саняхъ и прямо привели его во храмину и заключили тамъ на безысходное житье.

Убранства хатѣ никакого не полагалось, а что было необходимо, то сами же прихожане устроили безъ всякой посторонней помощи.

Мы ее однажды осматривали черезъ окно, при посредствѣ отрока Гіезія, въ тѣ часы, когда Малафей Пимычъ, утомясь въ жаркій день, «держалъ опочивъ» въ сѣничкахъ. По одной стѣнѣ горенки тянулись въ два тябла старинныя иконы, передъ которыми стоялъ аналой съ поклонною «рогозинкою», въ углѣ простой деревянный столъ и предъ нимъ скамья, а въ другомъ углѣ двѣ скамьи, поставленныя рядомъ. Въ одномъ концѣ этихъ скамеекъ былъ положенъ толстый березовый обрубокъ, покрытый обрывками старой крестьянской свиты.

Это была постель старца, который почивалъ по правиламъ добляго житія, «не имѣя возглавицы мягкія».

Для отрока Гіезія совсѣмъ не полагалось никакой ни утвари, ни омеблировки. Онъ велъ житіе не только иноческое, но прямо спартанское: пилъ онъ изъ берестяного сверточка, а спалъ лѣто и зиму на печкѣ.

Старецъ «пѡпилъ», т. е. полагалъ «началъ» чтенію и пѣнію, исповѣдалъ и крестилъ у своихъ раскольниковъ, а Гіезій состоялъ при немъ частію въ качествѣ дьячка, т. е. «аминилъ» и читалъ, а частію въ родѣ слуги и послушника. Послушаніе его было самое тяжкое, но онъ несъ его безропотно и съ терпѣніемъ неимовѣрнымъ. Старецъ его никуда почти не выпускалъ, «кромѣ торговой нужды», то-есть хожденія за покупками; томилъ его самымъ суровымъ постомъ и притомъ еще часто «началилъ». За малыя прегрѣшенія «началенье» производилось ременною лѣстовицею, а за болѣе крупные грѣхи — концомъ веревки, на которой бѣдный Гіезій самъ же таскалъ для старца воду изъ колодца. Если же вина была «особливая», тогда веревка еще нарочно смачивалась и оттого удары, ею наносимые спинѣ отрока, были больнѣе.

Старца Малахію мы никогда вблизи не видали, кромѣ того единственнаго случая, о которомъ наступитъ разсказъ. Извѣстно было только одно общее очертаніе его облика, схваченное при одномъ рѣдкомъ случаѣ, когда онъ появился какой-то нужды ради передъ окномъ. Онъ былъ роста огромнаго, сѣдъ и бѣлобородъ и даже съ прозеленью: очи имѣлъ понурыя и почти совсѣмъ невидныя за густыми, длинными и тяжело нависшими бровями. Лѣтъ старцу, по наружности судя, было близко къ восьмидесяти; онъ былъ сильно сутулъ и даже согбенъ, но плотенъ и несомнѣнно еще очень силенъ. Волосы на его головѣ были острижены не въ русскій кружокъ, а какими-то клоками; можетъ-быть, «постризало» на нихъ уже и «не восходило», а они сами не росли отъ старости. Одѣтъ онъ былъ всегда въ черный мухояръ и черезъ плечи его на грудь висѣла длинная связка какихъ-то шаровъ, похожихъ на толстые баранки. Связка эта спускалась до самаго пупа и на пупѣ приходился крестъ, вершка въ три величиною. Это были четки.

Голосъ старца былъ яко кимвалъ бряцаяй, хотя мы сподоблены были слышать въ его произношеніи только одно слово: «парень». Это случалось, когда старецъ кликалъ изъ двери Гіезія, выходившаго иногда посидѣть на гноищѣ у шелковицы или рябины.

Болѣе старецъ былъ не видимъ и не слышанъ, и судить о немъ было чрезвычайно трудно; но Кесарь Степановичъ и его характеризовалъ краткимъ опредѣленіемъ:

— Дуракъ присноблаженный.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Гіезія мы знали несравненно ближе, потому что этотъ, по молодости своей, самъ къ намъ бился, и, несмотря на то, что «дѣдушка» содержалъ его въ безмѣрной строгости и часто «началилъ» то лѣстовицей, то мокрой веревкой, отрокъ все-таки находилъ возможность убѣгать къ намъ, и велъ себя въ нашемъ растлѣнномъ кругѣ не совсѣмъ одобрительно. Зато, какъ ниже увидитъ читатель, съ нимъ однажды и воспослѣдовало такое бѣдствіе, какое навѣрное ни съ кѣмъ другимъ не случалось: онъ былъ окормленъ *человѣчьимъ мясомъ*... Или, точнѣе сказать, онъ имѣлъ несчастіе думать, будто надъ нимъ было совершено такое

коварство «учеными», въ которыхъ онъ видѣлъ прирожденныхъ враговъ душевнаго спасенія.

Впередъ объ этомъ ужасномъ случаѣ будетъ разсказано обстоятельно.

Отроку, какъ я выше сказалъ, было двадцать два года. «Отрокъ», по примѣненію къ нему, не выражало поры его возраста, а это было его званіе, или, лучше сказать, его санъ духовный. Онъ былъ широкорожаго великорусскаго обличья, мордатъ и губастъ, съ русыми волосами и голубыми глазами, имѣвшими странное, пытливое и въ то же время совершенно глупое выраженіе. Румянецъ пробивался на его лицѣ гдѣ только могъ, но нигдѣ просторно не распространялся, а проступалъ пятнами и отъ того молодое, едва опушавшееся мягкою бородкою, лицо отрока имѣло видъ и здоровый, и въ то же время нездоровый. Бываютъ такія собаки, которыя «въ щенкахъ заморены». Видно, что породиста, да отъ заморы во всю свою природу не достигаетъ.

По уму и многимъ свойствамъ своего характера, Гіезій былъ наисовершеннѣйшимъ выразителемъ того русскаго типа, который мѣтко и сильно рисуетъ въ своей превосходнѣйшей книгѣ профессоръ Ключевскій, т. е. «заматорѣлость въ преданіяхъ и никакой идеи». Сдѣлать что-нибудь иначе, какъ это заведено и какъ дѣлается, Гіезію никогда не приходило въ голову: это помогало ему и въ его отроческомъ служеніи, въ которое онъ, по его собственнымъ словамъ, «вданъ былъ родительницею до рожденія по оброку».

Это разъяснялось такъ, что у его матери была несносная болѣзнь, которую она, со словъ какихъ-то врачей, называла «азіятикъ»; болѣзнь эта происходила отъ какихъ-то происковъ злого духа. Бѣдная женщина долго мучилась и долго лѣчилась, но «азіятикъ» не проходилъ. Тогда она дала обѣтъ балыкинской Божіей Матери (въ Орлѣ), что если только «азіятикъ» пройдетъ и послѣ исцѣленія родится дитя мужескаго пола, то «вдастъ его въ услуженіе святому мужу, въ мѣру возраста Христова», т. е. до тридцати трехъ лѣтъ.

Послѣ такого обѣта больная, заступленіемъ балыкинской Божіей Матери, выздоровѣла и имѣла вторую радость—родила Гіезія, который съ восьми лѣтъ и началъ исполнять материнъ обѣтъ, проходя «отроческое послушаніе». А до 33 лѣтъ ему еще было далеко.

Старецъ на долю отрока Гіезія выпалъ, можетъ-быть, и весьма святой, и благочестивый, но очень суровый и, по словамъ Гіезія, «столько объ него мокрыхъ веревокъ обначалилъ, что можно бы по нимъ уже десяти человѣкамъ до неба взойти».

Но ученіе правиламъ благочестія Гіезію давалось плохо и не памятливо. Несмотря на свое рожденіе по священному обѣту, онъ, по собственному сознанію, былъ, «отъ природы блудливъ». То онъ сны нехорошіе видѣлъ, то кошкамъ хвосты щемилъ, то мирщилъ съ никоніанами, или «со иновѣрными спорился». А бѣсъ, всегда неравнодушный ко спасенію людей, стремительно восходящихъ на небо, безпрестанно подставлялъ Гіезію искушенія и тѣмъ опять подводилъ его подъ мокрую веревку.

На шіяновскомъ дворѣ, который былъ удаленъ отъ всякаго шума, Гіезій прежде всего впалъ въ распри съ тѣми поморами, окно которыхъ выходило на ихъ совмѣстную навозную кучу, раздѣлявшую «ихъ согласія».

Какъ поморы, бывало, начнутъ пѣть и молиться, Гіезій залѣзаетъ на рябину и дразнитъ ихъ оттуда, крича:

— Тропари—мытари.

А тѣ не выдержатъ и отвѣчаютъ:

— Немоляки—раскоряки.

Такъ обѣ вѣры были взаимно порицаемы, а послѣдствіемъ этого выходили стычки и «камнеметаніе», заканчивавшіяся иногда разбитіемъ оконъ съ обѣихъ сторонъ. Въ заключеніе же всей этой духовной распри, Гіезій, какъ непосредственный виновникъ столкновеній, былъ «началенъ» веревкою и иногда ходилъ дня по три согнувшись.

Затѣмъ, разумѣется, и Богъ, и старецъ его прощали, но онъ скоро впадалъ еще въ большія искушенія. Одно изъ таковыхъ ему едва не стоило потери разсудка и даже самой жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

При полномъ типическомъ отсутствіи идей, у Гіезія была пытливость и притомъ самая странная. Онъ любилъ задавать такіе неожиданные вопросы, которые въ общемъ напоминали вопросы дѣтей.

Прибѣжитъ, бывало, подъ окно и спрашиваетъ:

— Отчего у льва грива растетъ?

Ему отвѣчаютъ:

— Пошелъ ты прочь — почему я знаю, отчего у льва грива растетъ?

— А какъ же, говорятъ, въ чемъ составляется наука свѣтская?

Его прогонятъ, а онъ при случаѣ опять пристаетъ съ чѣмъ-нибудь подобнымъ, и это безъ всякой задней мысли или иронiи, — а такъ какой-то рефлексъ его толкнетъ, онъ и спрашиваетъ:

— Отчего рябина супротивъ крыжовника горче?

Но больше всего его занимали вещи таинственныя, для которыхъ онъ искалъ разъясненiя въ природѣ. Напримѣръ, ему хотѣлось знать: «какое бываетъ сердце у грѣшника», и вотъ это-то любопытство его чуть не погубило.

Такъ какъ въ домѣ жило нѣсколько медицинскихъ студентовъ, между которыми бывали ребята веселые и шаловливые, то одинъ изъ нихъ пообѣщалъ разъ Гiезiю «показать сердце грѣшника».

Для этого требовалось придти въ анатомическiй театръ, который тогда былъ во временномъ помѣщенiи, на нынѣшней Владимiрской улицѣ, въ домѣ Беретти.

Гiезiй долго не рѣшался на такой рискованный шагъ, но страстное желанiе посмотрѣть сердце грѣшника его преодолѣло, онъ пришелъ разъ къ студентамъ и говоритъ:

— Есть теперь у васъ мертвый грѣшникъ?

— Есть, говорятъ,—да еще самый залихватскiй.

— А что онъ сдѣлалъ?

— Отца продалъ, мать заложилъ и въ томъ руку приложилъ, а потомъ галку съѣлъ и зарѣзался.

Гiезiй заинтересовался.

— Меня завтра дѣдушка къ Батухину въ лавку за оливой къ лампадамъ пошлетъ, а я къ вамъ въ анатомiю прибѣгу, покажите мнѣ сердце грѣшниче.

— Приходи,—отвѣчаютъ,—покажемъ.

Онъ сдержалъ свое слово и явился блѣдный и смущенный, весь дрожа въ страхѣ несказанномъ.

Ему дали выпить мензулку препаровочнаго спирта для храбрости, подъ видомъ «осмѣлительныхъ капель», сказавъ притомъ, что безъ этого нельзя увидать сердце.

Онъ выпилъ и ошалѣлъ, сердце онъ нашелъ совсѣмъ неудовлетворительнымъ и вовсе не похожимъ на то, какъ

его себѣ представлялъ, судя по извѣстному лубочному листу: «сердце грѣшника — жилище сатаны». Чтобы увидѣть сатану въ сердцѣ, его уговорили выпить еще вторую мензулку, и онъ выпилъ и потомъ что-то ѣлъ. А когда съѣлъ, то студенты ему сказали:

— Знаешь ли, что̀ ты съѣлъ?

Онъ отвѣчалъ:

— Не знаю.

— А это ты, братецъ, съѣлъ котлету изъ человѣческаго мяса.

Гіезій поблѣднѣлъ и зашатался: съ нимъ совершенно неожиданно сдѣлался настоящій обморокъ.

Его насилу привели въ себя и ободрили, увѣряя, что котлета сжарена изъ мяса человѣка зарѣзавшагося, но отъ этого съ Гіезіемъ чуть не сдѣлался второй обморокъ и начались рвоты, такъ что его насилу привели въ порядокъ, и на этотъ разъ уже стали разувѣрять, что это было сказано въ шутку и что онъ ѣлъ мясо говяжье; но никакія слова на него уже не дѣйствовали. Онъ бѣгомъ побѣжалъ на Печерскъ къ своему старцу и самъ просилъ «сильно его поначалить», какъ слѣдуетъ отъ страшнаго прегрѣшенія.

Старецъ исполнилъ просьбу отрока.

И дорого это обошлось здоровью бѣднаго парня: дней десять послѣ этого происшествія мы его вовсе не видали, а потомъ, когда онъ показался съ ведромъ за плечами, то имѣлъ видъ человѣка, перенесшаго страшныя муки. Онъ былъ худъ, блѣденъ и самъ на себя не похожъ, а, вдобавокъ, долго ни за что ни съ кѣмъ не хотѣлъ говорить и не отвѣчалъ ни на одинъ вопросъ.

Послѣ, по особому къ одному изъ насъ довѣрію, онъ открылъ, что дѣдушка его «вдвойнѣ началилъ», т. е. призвалъ къ сему дѣланію еще другого случившагося тутъ благовѣрнаго христіанина, и оба имѣли въ рукахъ концы веревки, «свитые во двое», и держали «ихъ оборучь». И началили Гіезія въ углѣ въ сѣняхъ, уложивъ «мордою въ войлокъ, даже до той совершенной степени, что у него отъ визгу ротъ трубкой закостенѣлъ, и онъ всей памяти лишился».

Но на дѣдушку отрокъ все-таки нимало не роптalъ, ибо сознавалъ, что «битъ былъ во славу Божію», и надѣялся черезъ это болѣе «съ мірскими не суетить и исправиться».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Кажется, это и въ самомъ дѣлѣ произвело въ немъ такой сильный переломъ, къ какому только была способна его живая и увлекающаяся натура. Онъ рѣже показывался и вообще уже не заводилъ ни разговоровъ съ нами, ни пререканій съ благоневѣрными поморами, которые «на тропарѣ повисли».

Къ тому же, обстоятельства поизмѣнились и поразмели пашу компанію въ разныя стороны, и старецъ съ отрокомъ на время вышли изъ вида.

Между тѣмъ, мостъ былъ оконченъ и къ открытію его въ Кіевъ ожидали государя Николая Павловича. Наконецъ и государь прибылъ, и на другой день было назначено открытіе моста.

Теперь ничего такъ не торжествуютъ, какъ тогда торжествовали. Вечеръ наканунѣ былъ оживленный и веселый: всѣ ходили, гуляли, толковали, но были люди, которые проводили эти часы и иначе.

На темномъ задворкѣ шіяновскихъ закутокъ и поморы, и филипоны молились, одни съ тропаремъ, другіе безъ тропаря. Тѣ и другіе ждали необычайной для себя радости, которая ихъ благочестію была «возвѣщена во Псалтырѣ».

Около полуночи мнѣ довелось проводить одну дѣвицу, которая жила далеко за шіяновскимъ домомъ, а на возвратномъ пути у калитки я увидѣлъ темную фигуру, въ которой узналъ антропофага Гіезія.

— Что это,—говорю,—вы въ такую позднюю пору на улицѣ?

— Такъ,—отвѣчаетъ,—все равно, нонче надо не спать.

— Отчего надо не спать?

Гіезій промолчалъ.

— А какъ это васъ дѣдушка такъ поздно отпустилъ на улицу?

— Дѣдушка самъ выслалъ. Мы вѣдь до самаго сего часа молитвовали,—почитай сію минуту только зазаминили. Дѣдушка говоритъ: «повыдь посмотри, что дѣется».

— Чего же смотрѣть?

— Како,—говоритъ,—«суетятъ никоніаны и чего для себя ожидаютъ».

— Да что такое,—спрашиваю,—случилось и чего особеннаго ожидаете?

Гіезій опять замялся, а я снова повторилъ мой вопросъ.

— Дѣдушка, говоритъ,—много ждутъ. Имъ, дѣдушкѣ, вѣдь все изъ Псалтыри открыто.

— Что ему открыто?

— Съ завтрашняго числа одна вѣра будетъ.

— Ну-у!

— Увидите сами, — до завтра это втайнѣ, а завтра всѣмъ царь объявитъ. И упротивные (т. е. поморы) тоже ждутъ.

— Тоже объединенія вѣры?

— Да-съ; должно быть того же самаго. У насъ съ ними нынче, когда наши на сѣдальняхъ на дворикъ вышли, межъ окно опять легкая война произошла.

— Изъ-за чего?

— Опять о тропарѣ заспорили. Наши имъ правильно говорили: «подождать бы вамъ тропарь-то голосить въ особину; завтра разомъ всѣ вообче запоемъ; столпомъ воздымемъ до самаго до неба». А тѣ несогласны и отвѣчаютъ: «мы давно на тропарѣ основались и съ своего не снидемъ». Слово по слову и въ окно плеваться стали.

Я полюбопытствовалъ, какъ именно это было.

— Очень просто,—говоритъ Гіезій:—наши имъ въ окно кукиши казать стали, а тѣ оттуда плюнули, и наши не уступили,—имъ то самое, наоборотъ. Хотѣли войну сдѣлать, да полковникъ увидѣлъ и закричалъ: «Цыть! всѣхъ изрублю». Перестали плеваться и опять запѣли, и всю службу до конца доправили и разошлись. А теперь дѣдушка одинъ остался и страсть какъ внѣ себя ходитъ. Онъ вѣдь завтра выходъ сдѣлаетъ.

— Неужели,—говорю,—дѣдъ наружу вылѣзетъ?

— Какъ-же-съ,—дѣдушка завтра на улицу пойдетъ, чтобъ на государя смотрѣть. Скоро сорокъ лѣтъ, говорятъ, будетъ, какъ онъ по улицамъ не ходилъ, а завтра пойдетъ. Ему ужъ наши и шляпу принесли; онъ въ шляпѣ и съ костылемъ идти будетъ. Я его поведу.

— Вотъ какъ!—воскликнулъ я и простился съ Гіезіемъ, совсѣмъ не понявъ тѣхъ многозначительнѣйшихъ намековъ, которые заключались въ его малосвязномъ, но таинственномъ разсказѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

День открытія «новаго моста», который нынче въ Кіевѣ называютъ уже «старымъ», былъ ясный, погожій и превосходный по впечатлѣніямъ.

Всѣ мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми, Богъ вѣсть отчего и почему. Никому и въ голову не приходило сомнѣваться въ силѣ и могуществѣ родины, историческій горизонтъ которой казался чистъ и ясенъ, какъ покрывавшее насъ безоблачное небо съ ярко горящимъ солнцемъ. Всѣ какъ-то смахивали тогда на воробьевъ послѣдняго тургеневскаго разсказа: прыгали, чиликали, наскакивали, и никому въ голову не приходило посмотрѣть, не рѣетъ ли гдѣ поверху ястребъ, а только бойчились и чирикали:

— Мы еще повоюемъ, чортъ возьми!

Воевать тогда многимъ ужасно хотѣлось. Начитанные люди съ патріотическою гордостью повторяли фразу, что «Россія — *государство военное*», и военные люди были въ большой модѣ и пользовались этимъ не всегда великодушно. Но главное — тогда мы были очень молоды и каждый изъ насъ провожалъ кого-нибудь изъ существъ, заставлявшихъ скорѣе биться его сердце. Волокитство и ухаживанья тогда входили въ «росписаніе часовъ дня» благопристойнаго россіянина, чему и можетъ служить наилучшимъ выраженіемъ «дневникъ Виктора Аскоченскаго», напечатанный въ 1882 г. въ «Историческомъ Вѣстникѣ». И самъ авторъ этого «дневника», тогда еще молодцоватый и задорный, былъ среди насъ и даже, можетъ быть, служилъ для многимъ образцомъ въ тонкой наукѣ волокитства, которую онъ практиковалъ, впрочемъ, преимущественно «по купечеству». У женщинъ настоящаго свѣтскаго воспитанія онъ никакого успѣха не имѣлъ и даже не получалъ къ нимъ доступа. Аскоченскій одѣвался щеголемъ, но безъ вкуса, и не имѣлъ ни мягкости, ни воспитанности: онъ былъ дерзокъ и грубъ въ разговорѣ, очень непріятенъ въ манерахъ.

По словамъ одного изъ его кіевскихъ современниковъ, впослѣдствіи профессора казанскаго университета, А. О. Яновича, онъ всегда напоминалъ «переодѣвшагося архіерея». Въ сіяющій день открытія моста Аскоченскій ходилъ въ панталонахъ рококо и въ свѣтлой шляпѣ на своей кругой го-

ловѣ, а на каждой изъ его двухъ рукъ висѣло по одной подольской барышнѣ. Онъ велъ дѣвицъ и металъ встрѣчнымъ знакомымъ свои тупыя семинарскія остроты. Въ этотъ же день онъ, останавливаясь надъ кручею, декламировалъ:

... Вотъ онъ—Днѣпръ,
Тотъ самый Днѣпръ, гдѣ вся Русь крестилась
И, по милости судебъ, гдѣ она омылась.

За этими стихами слѣдовало его командирское слово:

На молитву же, друзья:
Кіевъ передъ вами!

Послѣ все это вошло въ какое-то большое его призывное стихотвореніе, по обыкновенію, съ тяжелою версификаціею и съ массою неглагольныхъ риѳмъ. Его муза, подъ пару ему самому, была своенравна и очень неуклюжа.

О немъ хочется сказать еще два слова: «*дневникъ*» этого довольно любопытнаго человѣка напечатанъ, но, по-моему, онъ не только не выяснилъ, но даже точно закуталъ эту личность. По-моему, дневникъ этотъ, который я прочелъ *весь* въ подлинникѣ, имѣетъ характеръ сочиненности. Тамъ даже есть *пятна слезъ*, оросившія страницы, гдѣ говорится о подольскихъ купеческихъ барышняхъ. Или есть такія замѣтки: «я пьянъ и не могу держать пера въ рукахъ», а между тѣмъ, это написано совершенно трезвою и твердою рукою...

Вообще надо жалѣть, что никто изъ знавшихъ Аскоченскаго кіевлянъ не напишетъ хорошей безпристрастной замѣтки о треволненной жизни и трудахъ этого человѣка съ замѣчательными способностями, изъ которыхъ онъ сдѣлалъ едва ли не самое худшее употребленіе, какое только могъ бы ему выбрать его злѣйшій врагъ. Праху его миръ и покой, но его жизненныя невзгоды и карьерная игра характерны и поучительны. Кромѣ Виктора Ипатьича, тогда въ Кіевѣ водились еще и другіе поэты, въ плоской части доживалъ свой маститый вѣкъ Подолинскій, а по городу ходили одна молодая дѣвица и одинъ молодой кавалеръ. Дѣвица, подражая польской импровизаторшѣ Деотымѣ, написала много маленькихъ и очень плохихъ стихотвореній, которыя были ею изданы въ одной книжечкѣ подъ заглавіемъ: «Чувства патріотки». Складъ изданія находился въ

«аптекѣ для души», т. е. въ подольской библіотекѣ Павла Петровича Должикова. Стихотворенія совсѣмъ не плп, и Должиковъ иногда очень грубо издѣвался надъ этою книгою, предлагая всѣмъ «вмѣсто хлѣба и водки—чувства патріотки». Въ день открытія моста стихотворенія эти раздавались безденежно. На чей счетъ было такое угощеніе—не знаю. Подолинскій, кажется, еще жилъ, но не написалъ ничего, да про него тогда и позабыли, а Альфредъ фонъ-Юнгъ что-то пустилъ съ своего Олимпа, но что̀ именно такое—не помню. Невозможно тоже не вспомнить объ этомъ добрѣйшемъ парнѣ, совершенно безграмотномъ и лишенномъ малѣйшей тѣни дарованія, но имѣвшемъ неодолимую и весьма разорительную страсть къ литературѣ. И онъ, мнѣ кажется, достоинъ благодарнаго воспоминанія отъ кіевлянъ, если не какъ поэтъ, то какъ самоотверженнѣйшій піонеръ—періодическаго издательства въ Кіевѣ. До Юнга въ Кіевѣ не было газеты, и предпринять ее тогда значило навѣрное разориться. Юнга это не остановило: онъ завелъ газету и вмѣсто благодарности встрѣчалъ отовсюду страшныя насмѣшки. По правдѣ сказать, «Телеграфъ» юнговскаго изданія представлялъ собою не мало смѣшного, но все-таки онъ есть *дѣдушка* кіевскихъ газетъ. Денегъ у Юнга на изданіе долго не было, и чтобы начать газету, онъ прежде пошелъ (во время Крымской войны) «командовать волами», т. е. погонщикомъ. Тутъ онъ сдѣлалъ какія-то сбереженія и потомъ все это самоотверженно повергъ и сожегъ на алтарѣ литературы. Это былъ настоящій литературный маньякъ, котораго не могло остановить ничто; онъ все издавалъ, пока совсѣмъ не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кромѣ того, его и преслѣдовала какая-то злая судьба. Такъ, напримѣръ, съ «Телеграфомъ» на первыхъ порахъ случались такіе анекдоты, которымъ, пожалуй, трудно и повѣрить; напримѣръ, газету эту цензоръ Лазовъ считалъ полезнымъ запретить «за невозможныя опечатки». Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самыхъ ошибокъ: разъ, напримѣръ, у него появилась поправка, въ которой значилось дословно слѣдующее: «во вчерашнемъ №, на столбцѣ такомъ-то, у насъ напечатано: «*пуповица*», читай: «*Богородица*». Юнгъ былъ въ ужасѣ больше отъ того, что цензоръ ему выговаривалъ: «зачѣмъ-де поправлялся!»

— Какъ же не понравиться?—вопрошалъ Юнгъ, и въ самомъ дѣлѣ надо было поправиться.

Но едва это сошло съ рукъ, какъ Юнгъ опять ходилъ по городу въ еще большемъ горѣ: онъ останавливалъ знакомыхъ и, вынимая изъ жилетнаго кармана маленькую бумажку, говорилъ:

— Посмотрите, пожалуйста, — хорошъ цензоръ! Что онъ со мною дѣлаетъ!—онъ мнѣ не разрѣшаетъ поправить вчерашнюю ошибку.

Поправка гласила слѣдующее: «вчера у насъ напечатано: кіевляне преимущественно всѣ *онанисты*, — читай *оптимисты*».

— Каково положеніе!—восклицалъ Юнгъ.

Черезъ нѣкоторое время Алексѣй Алексѣевичъ Лазовъ, однако, кажется, разрѣшилъ эту, въ самомъ дѣлѣ, необходимую поправку. Но былъ и такой случай цензорскаго произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось разъ, что въ статьѣ было сказано: «неудивительно, что при такомъ воспитаніи вырастаютъ *недоблуды*». Лазовъ удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотѣли сказать «лизоблюды»; но когда вечеромъ принесли сводку номера, то тамъ стояло: «по ошибкѣ напечатано: *недоблуды*, — должно читать: *переблуды*». Цензоръ пришелъ въ отчаяніе и совсѣмъ вычеркнулъ поправку, опасаясь, чтобы не напечатали чего еще худшаго.

Пора, однако, возвратиться отъ литераторовъ къ старцу Малахіи, который украсилъ этотъ торжественный день своимъ появленіемъ въ поднесенной ему необыкновенной шляпѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Густыя толпы людей покрывали все огромное пространство городского берега, откуда былъ виденъ мостъ, соединившій Кіевъ съ черниговскою стороною Днѣпра. Только болѣе страстные до зрѣлищъ или особенно патронируемые кѣмъ-нибудь изъ властныхъ нашли возможность протѣсниться «за войска», расположенныя внизу у въѣзда на мостъ и, наконецъ, шпалерами вдоль самаго моста. Но такихъ счастливцевъ было немного, сравнительно съ огромными массами, покрывшими надбережные холмы, начиная отъ выдубицкаго монастыря и Аскольдовой могилы до террасъ, прилегающихъ къ монастырю Михайловскому. Кажется, безъ ошибки можно

сказать, что въ этотъ день вышло изъ домовъ все кіевское населеніе, чѣмъ тогда и объясняли множество благоуспѣшно сдѣланныхъ въ этотъ день кражъ. И, несмотря на всю длину этой страшно растянутой береговой линіи, трудно было найти удобное мѣсто. Были люди, которые пришли сюда спозаранка съ провизіей въ карманахъ и крѣпко заняли всѣ наилучшія позиціи. Оттого зрителямъ, которые пришли позже, нужно было перемѣнять множество мѣстъ, пока удавалось стать такъ, что была видна «церемонія».

Были люди, которые взлѣзли на деревья, были и такіе смѣльчаки, которые прилѣпились къ песчанымъ выступцамъ обрывовъ и иногда скатывались внизъ вмѣстѣ съ своимъ утлымъ подножьемъ. Случайности въ подобномъ родѣ вызывали веселый хохотъ и шутливыя замѣчанія. Было довольно неудовольствій по поводу обиднаго обращенія господъ военныхъ съ цивическимъ элементомъ, но все это до судовъ не доходило, военные люди тогда свободно угнетали «аршинниковъ, хамовъ и штафирокъ». Духовенство тоже претерпѣвало отъ этого заурядъ съ мірянами и тоже не жаловалось. Это было въ порядкѣ вещей. Военные, повторяю, чувствовали себя тогда въ большомъ авантажѣ и, по современному выраженію, «сильно форсили». Они имѣли странный успѣхъ въ кіевскомъ обществѣ и часто позволяли себѣ много совершенно неприличнаго. Особенно одно время (именно то, котораго я касаюсь) среди офицеровъ ожесточенно свирѣпствовало поголовное притворство въ остроуміи. Они осчастливили своимъ знакомствомъ и купеческіе дома, и здѣсь вели себя такъ развязно, что передъ ними спасовалъ даже самъ Аскоченскій.

Изъ военныхъ шутокъ при открытіи моста я помню двѣ: у самой ограды бывшаго зданія минеральныхъ водъ появился какой-то нѣмецъ верхомъ на рыжей лошади, которая безпрестанно махала хвостомъ. Его просили отъѣхать, но онъ не соглашался и отвѣчалъ: «не понимаю». Тогда какой-то рослый офицеръ сдернулъ его за ногу на землю, а лошадь его убѣжала. Нѣмецъ былъ въ отчаяніи и побѣжалъ за конемъ, а публика смѣялась и кричала вслѣдъ:

— Что, братъ, понялъ, какъ по-военному!

Офицеръ прослушалъ это нѣсколько разъ и потомъ крикнулъ:

— Перестать, дураки!

Они и перестали.

Должно-быть, не любилъ лести.

Это, впрочемъ, была болѣе отвага, чѣмъ остроуміе; настоящее же остроуміе случалось на мѣстѣ болѣе скрытомъ и тихомъ, именно за оградою монастыря Малаго Николая.

На неширокой, но сорной и сильно вытоптанной площадкѣ здѣсь мѣстилось всякое печерское разночинство и нѣсколько человѣкъ монашествующей братіи.

Были маститые иноки съ внушительными сѣдинами и легкомысленные слимаки съ ихъ дѣвственными гривами въ разметъ на какую угодно сторону.

Одинъ изъ иноковъ, повидимому, изъ почетныхъ, сидѣлъ въ креслѣ, обитомъ просаленною черною кожею и похожемъ по фасону своему не на обыкновенное кресло, а на госпитальное судно.

Къ этому иноку подходили простолюдины: онъ всѣхъ ихъ благословлялъ и каждаго спрашивалъ буквально одно и то же:

— Чьи вы и изъ какой губерніи?

Получивъ отвѣтъ, инокъ поднималъ руку и говорилъ: «Богу въ пріемъ», а потомъ, какъ бы чувствуя нѣкую силу, изъ себя исшедшую, зѣвалъ, жмурилъ глаза и преклонялъ главу. Замѣтно было, что общее оживленіе его какъ будто совсѣмъ не захватывало и ему, можетъ-быть, лучше было бы идти спать.

На него долго любовалися и пересмѣивались два молодыхъ офицера, а потомъ они оба вдругъ снялись съ мѣста, подошли къ иноку и довольно низко ему поклонились:

Онъ поднялъ голову и сейчасъ же спросилъ ихъ:

— Чьи вы и какой губерніи?

— Изъ Чревоматерняго,—отвѣчали офицеры.

— Богу въ пріемъ,—произнесъ инокъ и, преподавъ благословеніе, снова зажмурился. Но офицеры его не хотѣли такъ скоро оставить.

— Позвольте, батюшка, побезпокоить васъ однимъ вопросомъ,—заговорили они.

— А что такое? какой будетъ вашъ вопросъ?

— Намъ очень хотѣлось бы отыскать здѣсь одного нашего земляка іеромонаха.

— А какой онъ такой и какъ его звать?

— Отецъ Строфокамилъ.

— Строфокамилъ? не знаю. У насъ, кажется, такого нѣтъ. А впрочемъ, спросите братію.

Нѣсколько человѣкъ подвинулись къ офицерамъ, которые, не теряя ни малѣйшей тѣни серьезности, повторили свой вопросъ братіи, но никто изъ иноковъ тоже не зналъ «отца Строфокамила». Одинъ только сообразилъ, что онъ вѣрно грекъ и посовѣтовалъ разыскивать его въ греческомъ монастырѣ на Подолѣ.

Кадетскіе корпуса тогда въ изобиліи пекли и выпускали въ свѣтъ такихъ и симъ подобныхъ остроумцевъ, изъ которыхъ потомъ, однако, выходили «севастопольскіе герои» и не менѣе знаменитые и воспрославленные «крымскіе воры», и «полковые морельщики».

До чего заносчиво тогда, передъ Крымскою войною, было офицерство и какія они себѣ позволяли иногда выходки, достойно вспомнить. Вскорѣ этому, вѣроятно, уже не будутъ вѣрить.

Разъ пріѣхалъ, напримѣръ, въ Кіевъ офицеръ Р. (впослѣдствіи весьма извѣстный человѣкъ) и вдругъ сдѣлалъ себѣ блестящую репутацію тѣмъ, «что умѣлъ говорить дерзости». Это многихъ очень интересовало и офицера нарасхватъ зазывали на всѣ балики и вечеринки. Онъ ошалѣлъ отъ успѣховъ и дошелъ до наглости невѣроятной. Одинъ разъ въ домѣ нѣкоего г. Г—ва онъ самымъ безцеремоннымъ образомъ обругалъ цѣлое сборище. Г. собралъ къ себѣ на вечеринку друзей и пригласилъ Ра—цкаго. Тотъ осчастливилъ, пріѣхалъ, но поздно и, не входя въ гостиную, остановился въ дверяхъ, оглянулъ всѣхъ въ лорнетъ, произнесъ: «какая, однако, сволочь!» и уѣхалъ... никѣмъ не побитый! Послѣднимъ финаломъ его пошлыхъ наглостей было то, что однажды въ Кинь-Грусти, стоя въ парѣ въ горѣлкахъ съ извѣстною въ свое время г-жею П—саревою, онъ не тронулся съ мѣста, когда его дама побѣжала; ту это смутило и она спросила его: «почему же вы не бѣжите?» Ра—цкій отвѣчалъ: «потому, что я боюсь упасть, какъ вы». Тогда его выпроводили, но только по особому вниманію Бибикова, который былъ особенно предупредителенъ къ этой дамѣ. Другой бѣдовый воитель былъ артиллеристъ Кле—аль. Этотъ больше всего поражалъ тѣмъ, что весьма простодушно являлся «въ лучшіе дома» на балы совершенно пьяный, хотя, впрочемъ, онъ и трезвый стоилъ пьянаго.

До чего онъ могъ довести свою безцеремонность, свидѣтельствуетъ слѣдующій случай: разъ, танцуя въ домѣ Я. И. Пе—на, Кле—аль полетѣлъ вмѣстѣ съ своею дамою подъ столъ. Его оттуда достали и начали оправлять. Хозяинъ былъ смущенъ и замѣтилъ офицеру, что онъ уже слишкомъ веселъ, но тотъ не сконфузился.—«Да, отвѣчалъ Кле—аль,—я веселъ. Это моя сфера. Впрочемъ, здѣсь такъ и слѣдуетъ»,—и сію же минуту, не ожидая возраженія, онъ добавилъ:

— Скажите, пожалуйста, мнѣ говорили, будто тутъ есть какой-то г. Бе—ти — всѣ говорятъ, что онъ, будто, ужасный дуракъ, но отлично, каналья, кормитъ. Вотъ я очень хотѣлъ бы сдѣлать ему честь у него поужинать.

Хозяинъ смѣшался, потому что Бе—ти стоялъ тутъ же возлѣ, но самъ Бе—ти сейчасъ же пригласилъ этого шалуна на свои вечера, и это служило къ ихъ оживленію. — Третій припоминается мнѣ офицеръ расформированнаго нынче жандармскаго полка, К—ій, котораго одна, очень юная и милая, подольская барышня имѣла неосторожность полюбить, а полюбя, поцѣловала и при какомъ-то случаѣ подарила ему свой бѣлокурый локонъ. Офицеръ сохранилъ эту галантерейщину и не отказывался отъ поцѣлуевъ, но съ предложеніемъ женитьбы медлилъ. Родители же дѣвушки находили это несоотвѣтственнымъ, и дѣвушка была помолвлена за другого. Ни барышня, ни женихъ ни въ чемъ не были виноваты, но г. К—ій пришелъ къ нимъ въ домъ на именинное собраніе и съ грубымъ ругательствомъ бросилъ *невѣстѣ въ лицо* ея локонъ, а жениха ударилъ. Многимъ и этотъ, надѣлавшій шуму, поступокъ казался своего рода развеселымъ, но довольно позволительнымъ фарсомъ, и когда покойный чиновникъ генералъ-губернатора Друкартъ, производя объ этомъ слѣдствіе, не поблажалъ К—му, то Друкарта осуждали за «грубость» къ интересному герою.

Впрочемъ, подобное ожесточенное свирѣпство милитеровъ тогда было повсемѣстно въ Россіи, а не въ одномъ Кіевѣ. Въ Орлѣ бывшій елисаветградскій гусарскій полкъ развѣшивалъ на окнахъ вмѣсто шторъ похабныя картины; въ Пензѣ, въ городскомъ скверѣ, взрослымъ барышнямъ завязывали надъ головами низы платьевъ, а въ самомъ Петербургѣ рвали снизу до верха шинели несчастныхъ «штафирокъ». Успокоила этихъ сорванцовъ одна изнанка Крым-

ской войны. Но оставимъ ихъ будущему историку культуры русскаго общества и поспѣшимъ къ тѣмъ, непосредственность которыхъ гораздо интереснѣе.

Въ ту же минуту, какъ изъ глазъ моихъ скрылись офицеры, разспрашивавшіе монаховъ объ отцѣ Строфокамилѣ, я замѣтилъ невдалекѣ одного моего товарища, который такъ же, какъ я, зналъ Берлинскаго, Малахію и Гіезія.

Пріятель меня спрашиваетъ:

— Видѣлъ ли ты морское чучело?

— Какое? говорю.

— А старца Малахая (онъ имѣлъ привычку звать его Малахаемъ).

— А гдѣ онъ?

— Да вотъ сейчасъ, говоритъ,—недалеко здѣсь налѣво, за инженерскимъ домомъ на кирпичахъ стоитъ. Иди, смотри его,—онъ восхитителенъ!

— Неужели, говорю,—въ самомъ дѣлѣ хорошъ?

— Описать нельзя, и самъ хорошъ, и притомъ обставленъ удивительно! Вокругъ него всѣ столпы древняго благочестія «вообче» и нашъ губошлепый Гіезька, весь, подлецъ, деревяннымъ масломъ промасленъ... А на самого Малахая, увидишь, какую шляпу наложили.

— А что въ ней такого замѣчательнаго?

— Антикъ,—другой такой нѣтъ. Говорятъ, изъ Москвы, изъ Грановитой палаты выписали на подержаніе,—еще самъ царь Горохъ носилъ.

Я не заставлялъ себя болѣе убѣждать и поспѣшилъ разыскивать старца.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Надо вспомнить, что между монастыремъ Малаго Николая и крѣпостною башнею, подъ которой нынѣ проходятъ Никольскія ворота, былъ только одинъ старый, но преудобный домъ съ дворомъ, окруженнымъ тополями. Въ этомъ домѣ съ нѣкоторыхъ поръ жили кто-то изъ начальствующихъ инженеровъ. За это его, кажется, и не разломали. Стоило обойти усадьбу этого очень просторно расположившагося дома и сейчасъ же надо было упереться въ отгороженный временнымъ заборчикомъ задворочекъ, который пріютился между башнею и садомъ инженернаго дома. На этомъ задворочкѣ были свалены разные строительные остат-

ки — доски, бревна, нѣсколько кулей съ известкой и нѣсколько кладокъ бѣлаго кіевскаго кирпича. Тутъ же стояла и маленькая, тоже временная, хатка, въ которой жилъ сторожъ. У воротъ этого загражденія была и надпись, объявлявшая, что «постороннимъ лицамъ сюда входить строго воспрещается». Въ день открытія моста запрещеніе слабо дѣйствовало и дало сторожу возможность открыть сюда входъ за деньги. Сторожъ, рыжій унтеръ, съ серьгою въ ухѣ и вишневымъ пятномъ на щекѣ, стоялъ у этой двери и самъ приглашалъ благонадежныхъ лицъ изъ публики вступить въ запрещенное мѣсто. По его словамъ, оттуда было «все видно», а плату за входъ онъ бралъ умѣренную, по «злотувкѣ», т. е. по 15 коп. съ персоны.

Взнеся входную цѣну и переступивъ за дощатую фортку, я увидалъ передъ собою такой «пейзажъ природы», который нельзя было принять иначе, какъ за символическое видѣніе.

Мусоръ всѣхъ сортовъ и названій, обломки всего, что̀ можетъ значиться въ смѣтѣ матеріаловъ, нужныхъ для возведенія зданія съ подземнаго бута до кровли: доски, бревна, известковыя носилки и тачки, согнутые и проржавленные листы стараго кровельнаго желѣза, цѣлый ворохъ обломковъ водосточныхъ трубъ, а посреди всего этого хлама, надъ самымъ берегомъ шесть или семь штабелей запаснаго кирпича. Сложены они были столбиками неравной высоты, одни — пониже, другіе немного повыше, и наконецъ, на самомъ высокомъ мѣстѣ зрѣлося человѣчище прекрупное, вельми древнее и дебелое. Это стоялъ Малахія. Одѣянъ онъ былъ благочестивымъ предковскимъ обычаемъ, въ синей широкой суконной чуйкѣ, сшитой совсѣмъ, какъ старинный охабень, и отороченной по рукавамъ, по вороту и по правой полѣ какимъ-то дряннымъ подлѣзлымъ мѣхомъ. Одеждѣ отвѣчала и обувь: на ногахъ у старца были сапоги рыжіе съ мягкою козловою холявою, а въ рукахъ долгій крашеный костыль; но что̀ у него было на головѣ посажено, тому, дѣйствительно, и описанія не сдѣлаешь. Это была шляпа, но кто ее дѣлалъ и откуда она могла быть въ нашъ вѣкъ добыта, того никакой многобывалый человѣкъ опредѣлить бы не могъ. Историческая полнота свѣдѣній требуетъ, однако, сказать, что штука эта была добыта почитателями старца Малахіи въ Кіевѣ, а до того содержалась

въ тайникахъ магазина Козловскаго, гдѣ и обрѣтена была случайно приказчикомъ его Скрипченкомъ при перевозѣ рѣдкостей моды съ Печерска на Крещатикъ.

Шляпа представляла собою превысокій плюшевый цилиндръ, съ самымъ смѣлымъ перехватомъ на серединѣ и съ широкими, совершенно ровными полями, безъ малѣйшаго загиба ни на бокахъ, ни сзади, ни спереди. Сидѣла она на головѣ словно рожонъ, точно, какъ-будто, она не хотѣла имѣть ни съ чѣмъ ничего общаго.

Величественная фигура Малафея Пимыча утвердилась здѣсь, вѣроятно, раньше всѣхъ, потому что позиція его была всѣхъ выгоднѣе: занимая самую высокую кладку кирпича, старецъ могъ видѣть дальше всѣхъ и самъ былъ всѣмъ виденъ.

Рядомъ съ Пимычемъ на кладкѣ, которая была немножко пониже, помѣщался Гіезій. Онъ былъ въ бутылочномъ азямчикѣ съ тремя христіанскими сборами на кострецахъ и въ суконномъ шлычкѣ безъ козырька. Онъ безпрестанно перемѣнялъ ноги и въ его покосившейся на одно плечо фигурѣ чуялась несносная скука, лѣнь и томительное желаніе шевельнуть затекшими ногами и брызнуть въ ходъ.

Вокругъ нихъ было еще не мало людей, пропущенныхъ крѣпостнымъ заказникомъ, но эти, по своей безцвѣтности, не останавливали на себѣ особеннаго вниманія.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Часто вращавшійся по сторонамъ Гіезій замѣтилъ мое желаніе поближе полюбоваться его дѣдушкой и показалъ глазами, что можетъ потѣсниться и дать мнѣ мѣсто возлѣ себя.

У штабеля стоялъ опрокинутый известковый ящикъ, по которому я могъ подняться на такую высоту, что Гіезій подалъ мнѣ свою руку и поставилъ меня съ собою рядомъ.

Малафей Пимычъ не обратилъ на наше размѣщеніе никакого вниманія; онъ былъ похожъ на матерого волка, который на утрѣ вышелъ походить по насту; сѣрые глаза его горѣли дикимъ фанатическимъ огнемъ, но самъ онъ не шевелился. Онъ устремилъ взоры на мостъ, который отсюда виденъ былъ, какъ на ладони, и не смаргивалъ оттуда ни на мгновеніе. Но я забылъ и мостъ, и Днѣпръ, «гдѣ *вся Русь* крестилась», и даже всю церемонію, которая должна

сейчасъ начаться: всѣмъ моимъ чувствомъ овладѣлъ одинъ Пимычъ. Несмотря на свой чудной уборъ, онъ былъ не только поразительно и вдохновительно красивъ, но, если только простительно немного святотатственное слово, онъ былъ въ своемъ родѣ божественъ и притомъ характерно божественъ. Это не Юпитеръ и не Лаокоонъ, не Уллисъ и не Вейнелайненъ, вообще не герой какой бы то ни было саги, а это стоялъ олицетворенный *символъ древляго благочестія*.

Если я долженъ его съ кѣмъ-нибудь сравнить, что всегда имѣетъ своего рода удобство для читателя, то я предпочелъ бы всему другому указать на извѣстную картину, изображающую урокъ стрѣльбы изъ орудія, даваемый Петру Лефортомъ. Отрокъ Петръ, горя восторгомъ, наводитъ пушечный прицѣлъ... Вся его огневая фигура выражаетъ страстное уносящее стремленіе. Лефортъ въ своемъ огромномъ парикѣ тихо любуется царственнымъ ученикомъ. Нѣсколько молодыхъ русскихъ лицъ смотрятъ съ сочувствіемъ, но вмѣстѣ и съ недоумѣніемъ. На нихъ, однако, видно, что они желаютъ царю «попасть въ цѣль». Но тутъ есть фигура, которая въ своемъ родѣ не менѣе образна, типична и характерна. Это сѣдой старикъ въ старорусскомъ охабнѣ съ высокимъ воротомъ и въ высокой собольей шапкѣ. Онъ одинъ изъ всѣхъ не на ногахъ, а *сидитъ*—и сидитъ крѣпко; въ правой рукѣ онъ держитъ костыль, а лѣвою оперся въ ногу и смотритъ на упражненія царя вкось, черезъ свой локоть. Въ его глазахъ нѣтъ ненависти къ Петру, но чѣмъ удачнѣе дѣлаетъ юноша то, за что взялся, тѣмъ рѣшительнѣе символическій старецъ не встанетъ съ мѣста. Зато, если Петръ не попадаетъ и отвернется отъ Лефорта, тогда... старичокъ встанетъ, скажетъ: «плюнь на нихъ, батюшка: они всѣ дураки», и, опираясь на свой старый костыль, уведетъ его, «своего прирожоннаго» *домой*—мыться въ банѣ и молиться московскимъ угодникамъ, «одолѣвшимъ и новгородскихъ, и владимірскихъ».

Этотъ старикъ, по мысли художника, представляетъ собою на картинѣ *старую Русь*, и Малафей Пимычъ теперь на живой картинѣ кіевскаго торжества изображалъ то же самое. Моментъ, когда передъ нами является Пимычъ, въ его сознаніи имѣлъ тоже историческое значеніе. Старикъ, Богъ вѣсть почему, ждалъ въ этотъ день какого-то великаго событія, которое сдѣлаетъ поворотъ во всемъ.

Такія торжественныя настроенія, безъ удобопонятныхъ причинъ, нерѣдко являются у аскетовъ, подобныхъ Пимычу, когда они, сидя въ спертой задухѣ своихъ промзглыхъ закутъ, начинаютъ считать себя центромъ вниманія Творца вселенной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Могучая мысль, вызвавшая Малахію, побудила его явиться суетному міру во всеоружіи всей его изувѣрной святости и глупости. Сообразно обстоятельствамъ, онъ такъ пріубрался, что отъ него даже на всемъ просторѣ открытаго нагорнаго воздуха струился запахъ ладана и кипариса, а когда вѣтерокъ раскрывалъ его законный охабень съ звѣриной опушью, то внизу виденъ былъ новый мухояровый «рабскій азямчикъ» и во всю грудь черезъ шею висѣвшая нить крупныхъ деревянныхъ шаровъ. Связка, по обыкновенію, кончалась у пупа большимъ восьмиконечнымъ крестомъ изъ красноватаго рога.

Стоялъ онъ, какъ сказано, точно изваяніе — совершенно неподвижно, и такъ же неподвиженъ былъ его взглядъ, устремленный на мостъ, только желтобѣлые усы его изрѣдка шевелились; очевидно, отъ истомы и жажды онъ овлажалъ свои засохшія уста.

— Съ шестого часа тутъ стоимъ,— шепнулъ мнѣ Гіезій.

— Зачѣмъ такъ рано?

— Дѣдушка еще раньше хотѣлъ, никакъ стерпѣти не могли до утра. Все говорилъ: опоздаемъ, пропустимъ—царь раньше выѣдетъ на мостъ, потому этакое дѣло надо на тщо сдѣлать.

— Да какое такое дѣло? О чемъ вы это толкуете?

Гіезій промолчалъ и покосилъ въ сторону дѣдушки глазами: дескать, нельзя говорить.

Вмѣсто отвѣта онъ, вздохнувъ, молвилъ:

— Булычку бы надо сбѣгать купить.

— Зачѣмъ же дѣло стало? сбѣгайте.

— Разсердится. Три дня уже такъ говѣйно живемъ. Самъ-то даже и капли всѣ дни не принималъ. Тоже вѣдь и государю это не легко будетъ. Зато какъ нонѣ при всѣхъ едиными устнами тропарь за царя запоемъ, тогда и ѣсть будемъ.

— Отчего же нынѣ едиными «устнами» запоете?

Гіезій скосилъ глаза на старца и, закрывъ ладонью ротъ, сталъ шептать мнѣ на ухо:

— Государь черезъ мостъ пѣшо̀ пойдетъ...

— Ну!

— Только вѣдь до середины рѣки идти будетъ прямо.

— Ну, и что же такое? Что же дальше?

— А тутъ, гдѣ крещебная струя отъ Владиміра князя пошла, онъ тутъ станетъ.

— Такъ что же изъ этого?

— Тутъ онъ свое исповѣданіе объявитъ.

— Какое исповѣданіе? Развѣ неизвѣстно его исповѣданіе?

— Да, то извѣстное-то извѣстно, а намъ онъ покажетъ истинное.

Я и теперь еще ничего въявь не понялъ, но чувствовалъ уже, что въ нихъ дѣдушкою внушены какія-то чрезвычайныя надежды, которымъ, очевидно, никакъ невозможно сбыться. И все это сейчасъ же, или даже сію минуту придетъ къ концу, потому что въ это самое мгновеніе открытіе началось.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

По мосту между шпалерами пѣхоты тронулась артиллерія. Пушки, отчищенныя съ неумолимою тщательностью, которою отличалось тогдашнее время, такъ ярко блестѣли на солнцѣ, что надо было зажмуриться; потомъ двигалось еще что-то (теперь хорошенько не помню), и, наконецъ, вдругъ выдался просторный интервалъ, и въ немъ на свободномъ просвѣтѣ показалась довольно большая и блестящая группа. Здѣсь все были лица, въ изобиліи украшенныя крестами и лентами, и впереди всѣхъ ихъ шелъ самъ императоръ Николай. По его спеціально военной походкѣ его можно было узнать очень издали: голова прямо, грудь впередъ, шагъ маршевой, крупный и съ наддачею, лѣвая рука пригнута и держитъ пальцемъ за пуговицей мундира, а правая или указываетъ что-нибудь повелительнымъ жестомъ, или тихо, мѣрнымъ движеніемъ обозначаетъ тактъ, соотвѣтственно шагу ноги.

И теперь государь шелъ этою же самою своею отчетистою военною походкою, мѣрно, но такъ скоро подаваясь впередъ, что многіе изъ слѣдовавшихъ за нимъ въ свитѣ едва

поспѣвали за нимъ въ-притруску. Когда старенькій генералъ съ опереніемъ на головѣ бѣжитъ, и опереніе это прыгаетъ, выходитъ забавно: точно какъ будто его кто встряхиваетъ и изъ него что-то сыплется.

Шествіе направлялось отъ городского гористаго берега кіевскаго къ пологому черниговскому, гдѣ тогда тотчасъ же у окончанія моста были «виньёлевскія постройки»: дома, службы и проч. Гораздо далѣе была слободка, а потомъ извѣстный «броварской лѣсъ», который тогда еще не былъ вырубленъ и разворованъ, а въ немъ еще охотились на кабановъ и на козъ.

Въ свитѣ государя издали можно было узнать только старика Виньёля и одного его, необыкновенно красиваго, сына, и то потому, что оба они были въ своихъ яркихъ англійскихъ мундирахъ.

Разумѣется, взоры всѣхъ устремились на эту группу: всѣ слѣдили за государемъ, какъ онъ перейдетъ мостъ и куда потомъ направится. Думали: «не зайдетъ ли къ англичанамъ *спасибо* сказать», но вышло не такъ, какъ думали и гадали всѣ, а такъ, какъ открыто было благочестивому старцу Малахіи.

Да, какъ разъ на самой серединѣ моста государь вдругъ остановился, и это моментально отозвалось въ нашемъ пунктѣ разнообразными, но сильными отраженіями: во-первыхъ, Гіезій, совсѣмъ позабывъ себя, громко воскликнулъ: «сбывается!» а во-вторыхъ, всѣхъ насъ всколебало чѣмъ-то въ родѣ землетрясенія; такъ сильно встряхнуло кирпичи, на которыхъ мы стояли, что мы поневолѣ схватились другъ за друга. Пожелавъ найти этому объясненіе, я оглянулся и увидалъ, что это палъ на колѣни старецъ Малафей Пимычъ...

Съ этой поры я уже не зналъ, куда глядѣть, гдѣ ловить болѣе замѣчательное—тамъ ли, на обширномъ мосту, или тутъ у насъ, на сорномъ задворкѣ. Взоръ и вниманіе поневолѣ двоились и рвались то туда, то сюда.

Между тѣмъ государь, остановясь «противъ крещебной струи», которую старецъ проводилъ по самой серединѣ Днѣпра, повернулся на минуту лицомъ къ городу, а потомъ взялъ правое плечо впередъ и пошелъ съ средины моста къ периламъ верхней стороны. Тутъ у насъ опять произошло свое дѣйство; Малахія крикнулъ:

— Гляди!

А Гіезій подхватилъ:

— Видимъ, дѣдушка, видимъ!

Государь пошелъ съ середины влѣво, то-есть къ той сторонѣ, откуда идетъ Днѣпръ и гдѣ волны его встрѣчаютъ упоръ ледорѣзовъ, т. е. со стороны Подола. Вѣроятно, онъ захотѣлъ здѣсь взглянуть на то, какъ выведены эти ледорѣзы и въ какомъ отношеніи находятся они къ главному теченію воды.

Государя, въ этомъ отклоненіи отъ прямого хода къ периламъ моста, сопровождалъ Виньёль и еще кто-то, одинъ или два человѣка, изъ свиты. Теперь я этого въ точности вспомнить не могу и о-сю пору изумляюсь, какъ я еще могъ тогда наблюдать, что происходило и тутъ, и тамъ. Впрочемъ, съ того мгновенія, какъ государь остановился на серединѣ моста «противъ крещебной струи»,—тамъ я видѣлъ очень мало. Помню только одинъ моментъ, какъ публика, стоявшая за войсками у перилъ, увидя подходившаго государя, смѣшалась и жалась вмѣсто того, чтобы разступиться и открыть видъ на воду. Государь подошелъ и самъ собственною рукою раздвинулъ двухъ человѣкъ, какъ бы приклеившихся къ периламъ.

Эти два человѣка оба были мои знакомые, очень скромные дворяне, но съ этого событія они вдругъ получили всеобщій интересъ, такъ какъ по городу пролетѣла вѣсть, что государь ихъ не только тронулъ рукою, но и что-то сказалъ имъ. Объ этомъ будетъ ниже. Съ того мгновенія, какъ государь отстранилъ двухъ оторопѣвшихъ дворянъ и сталъ лицомъ къ открытой рѣкѣ, вниманіе мое уже не разрывалось на-двое, а все было охвачено Пимычемъ.

Первое, что отвлекло меня отъ торжественной сцены на мосту—было паденіе внизъ какого-то чернаго предмета. Точно будто черный Фаустовъ пудель вырвался изъ-подъ кирпичей, на которыхъ мы стояли, и быстро запрыгалъ огромными скачками книзу.

Если это былъ звѣрь, то онъ, очевидно, кого-то преслѣдовалъ или отъ кого-то удиралъ. Разобрать этого я не могъ, такъ какъ черный предметъ скатился внизъ и совершенно неожиданно нырнулъ и исчезъ гдѣ-то подъ берегомъ. Но отрокъ Гіезій былъ глазастѣе меня и воскликнулъ:

— Ай, пропала дѣдушкина шляпа!

Я посмотрѣлъ на Пимыча и увидѣлъ, что онъ стоитъ на колѣняхъ и съ непокрытою головою. Онъ буквально былъ внѣ себя: «огонь горѣлъ въ его очахъ и шерсть на немъ щетиной зрилась». Правая рука его съ крѣпко стиснутымъ двуперстнымъ крестомъ была прямо поднята вверхъ надъ головою, и онъ кричалъ (да, не говорилъ, а во всю мочь громко *кричалъ*):

— Такъ, батюшка, такъ! Вотъ этакъ-вотъ, родненькій, совершай! Сложи, какъ надо, два пальчика! Дай всей землѣ одно небесное исповѣданіе.

И въ это время, какъ онъ кричалъ, горячія слезы обильными ручьями лились по его покрытымъ сѣдымъ мохомъ щекамъ и прятались въ бороду... Волненіе старца было такъ сильно, что онъ не выстоялъ на ногахъ, голосъ его оборвался, онъ зашатался и рухнулъ на лицо свое и замеръ... Можно бы подумать, что онъ даже умеръ, но тому мѣшала его правая рука, которую онъ все-таки выправилъ, поднялъ кверху и все махалъ ею государю двуперстнымъ сложеніемъ... Бѣднякъ, очевидно, опасался, чтобы государь не ошибся, какъ надо показать «небесное исповѣданіе».

Я не могу передать, какъ это выходило трогательно!.. Во всю мою жизнь послѣ этого я не видалъ серьезнаго и сильнаго духомъ человѣка въ положеніи болѣе трагическомъ, восторженномъ и въ то же время жалкомъ.

Я былъ до глубины души потрясенъ душевнымъ напряженіемъ этого алкателя единыя вѣры и не могъ себѣ представить, какъ онъ выйдетъ изъ своего затрудненія. Одно спасеніе, думалось: государь отъ насъ такъ далеко, что нѣтъ возможности увидѣть, двумя или тремя перстами онъ перекрестится, и, стало-быть, дѣдушку Пимыча можно будетъ обмануть, можно будетъ пустить ему «ложь во спасеніе». Но я мелко и недостойно понималъ о высокомъ старцѣ: онъ такъ окинулъ прозорливымъ окомъ ума своего всю вселенную, что не могло быть никого, кто бы могъ обмануть его въ двѣ вѣры.

И вотъ наступилъ, наконецъ, мигъ, рѣшительный и жесточайшій мигъ.

Шествіе на мосту, вѣроятно, кончилось, вокругъ насъ почувствовалось какое-то нервное движеніе, люди какъ бы хотѣли перемѣнять мѣста и, наконецъ, зашумѣли: значитъ, кончено. Стали расходиться.

Гіезій позвалъ два раза: «дѣдушка! дѣдушка!»

У Пимыча шевельнулась спина, и онъ сталъ приподниматься. Гіезій подхватилъ его подъ руки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Старецъ поднимался медленно и тяжело, какъ поднимается осенью коченѣющій шмель съ тѣмъ, чтобы переползти немножко и околѣть.

Гіезій изнемогалъ, вспирая старика вверхъ за оба локтя.

Я захотѣлъ ему помочь, и мы взялись одинъ за одну руку, а другой за другую и поставили старца на колеблющіяся ноги.

Онъ дрожалъ и имѣлъ видъ человѣка смертельно раненаго въ самое сердце. Ротъ у него былъ широко открытъ, глаза въ остолбенѣніи и съ тусклымъ остеклѣніемъ.

Столь недавній живой фанатическій блескъ ихъ исчезъ безъ слѣда.

Гіезій, если не понялъ, то почувствовалъ положеніе старца и съ робкимъ участіемъ сказалъ:

— Пойдемъ домой, дѣдушка!

Малахія не отвѣчалъ. Медленно, тяжелымъ, сердитымъ взглядомъ повелъ онъ по небу, вздохнулъ, словно послѣ сна, и остановилъ взоръ на Гіезіи.

Тотъ еще съ бо́льшимъ участіемъ произнесъ:

— Довольно, дѣдушка; нечего ждать, пойдемъ; государь уже познаменовался.

Но при этомъ словѣ старика, всего словно прожгло, и онъ вдругъ отвердѣлъ и закричалъ:

— Врешь, анаѳема! Врешь, не знаменовался государь двумя персты. Вижу я, еще не въ постыженіи остаются отступники никоніане. И за то, что ты солгалъ, Господь будетъ бить тебя по устамъ.

Съ этимъ онъ замахнулся и наотмашь такъ сильно ударилъ Гіезія по лицу, что уста отрока въ то же мгновеніе оросились кровью.

Кто-то вздумалъ было за него заступиться и заговорилъ: «какъ это можно?»—но Гіезій попросилъ участливаго человѣка ихъ оставить.

— Мы свои,—сказалъ онъ:—это мой дѣдушка,—и началъ бережно сводить перестоявшагося старца съ кирпича подъ руки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Малахіи было видѣніе, мечта, фантазія, назовите какъ хотите, что государь станетъ среди моста «лицомъ противъ крещебной струи» и передъ всѣми людьми перекрестится древлимъ двуперстіемъ.

А тогда, разумѣется, настанетъ для Малахіи и иже съ нимъ торжество, а митрополитамъ и епископамъ, и всему чину церковному со всѣми нечестивыми никоніанами—посрамленіе до черноты лицъ ихъ. А тѣхъ, кои не покорятся, «Господь рукою вѣрныхъ своихъ будетъ бить по устамъ», и всѣ они окровенятся, какъ Гіезій. «Старая вѣра побьетъ новую». Вотъ чего желалъ и о чемъ, можетъ-быть, всю жизнь свою молился опасный немолякъ за власти.

Но не сбылося по его вѣрѣ и упованію и погибли вмигъ всѣ его радости. Старецъ былъ посрамленъ.

Я помню и никогда не забуду, какъ онъ шелъ. Это была грустная картина: тяжело и медленно передвигалъ онъ какъ будто не свои остарѣлыя ноги по мягкой пыли Никольской улицы. Руки его были опущены и растопырены; смотрѣлъ онъ безпомощно и даже повиновался Гіезію, который одною рукою обтиралъ кровь на своемъ лицѣ, а другою подвигалъ старца ладонью въ спину и, плача о немъ, умолялъ:

— Иди же, мой дѣдушка, Христа ради, иди... Ты безъ шляпы... на тебя всѣ смѣяться будутъ.

Старецъ понялъ это слово и прохрипѣлъ:

— Пусть смѣются.

Это было послѣдній разъ, что я видѣлъ Малахію, но зато онъ удостоилъ меня вспомнить. На другой день, по отъѣздѣ государя изъ Кіева, старецъ присылалъ ко мнѣ своего отрока съ просьбою сходить «къ боярамъ» и узнать: «что царь двумъ господіямъ на мосту молвилъ, коихъ своими руками развелъ».

— Дѣдушка, — говорилъ Гіезій: — сомнѣваются насчетъ того: кія словеса рекъ государь. Нѣтъ ли чего отъ насъ утаеннаго?

Я могъ послать старцу отвѣтъ самый полный, безъ всякаго утаенія. Два господина, остолбенѣвшіе у перилъ на томъ мѣстѣ, гдѣ захотѣлъ взглянуть на Днѣпръ императоръ Николай Павловичъ, какъ я сказалъ, были мнѣ извѣстны. Это были звенигородскіе помѣщики, братья Про-

тополовы. Они мнѣ даже приходились въ отдаленномъ свойствѣ по теткѣ Натальѣ Ивановнѣ Алферьевой, которая была замужемъ за Михаиломъ Протопоповымъ. А потому мы въ тотъ же день узнали, что̀ такое сказалъ имъ государь. Онъ отстранилъ ихъ рукою и проговорилъ только два слова:

— Пошли прочь!

Впрочемъ, и въ кружкѣ знакомыхъ всѣ интересовались, что̀ было сказано, и вечеромъ въ этотъ день въ квартирѣ Протопоповыхъ на Бульварѣ перебывало множество знакомыхъ, и всѣ приступали къ виновнику событія съ разспросами.

— Правда ли, что съ вами государь разговаривалъ?

— Да-съ, разговаривалъ,—отвѣчалъ Протопоповъ.

— А о чемъ разговоръ былъ?

Протопоповъ съ удивительною терпѣливостію и точностію начиналъ излагать все по порядку: гдѣ они стояли и какъ государь къ нимъ подошелъ, «раздвинулъ» ихъ и сказалъ: «пошли прочь».

— Ну, и вы отошли?

— Какъ же,—сію же минуту отошли.

Всѣ находили, что братья поступили именно такъ, какъ слѣдовало, и съ этимъ, конечно, всякій долженъ согласиться, но ни къ старой, ни къ новой вѣрѣ это нимало не относилось, и чтобы не дать повода къ какимъ-нибудь толкованіямъ, я просто сказалъ Гіезію, что государь съ «господіями» ничего не говорилъ.

Гіезій вздохнулъ и молвилъ:

— Плохо наше дѣло.

— Чѣмъ и отчего плохо?—полюбопытствовалъ я.

— Да, видите... дѣдушкѣ и всѣмъ намъ ужъ очень хочется тропарь пѣть, а невозможно!..

Среди безчисленныхъ и пошлыхъ клеветъ, которымъ я долговременно подвергался въ литературѣ за мою неспособность и нехотѣніе рабствовать презрѣнному и отвратительному деспотизму партій, меня сурово укоряли также за то, что я не раздѣлялъ неосновательныхъ мнѣній Афанасья Прокофьевича Щапова, который о-ту пору прослылъ въ Петербургѣ историкомъ и, вращаясь среди неповинныхъ въ знаніяхъ церковной исторіи литераторовъ, вѣщалъ о *политическихъ* задачахъ, которыя скрытно содержитъ будто

нашъ русскій расколъ. Щаповъ стоилъ горой за то, что расколъ имѣетъ политическія задачи, и благоуспѣшно увѣрилъ въ этомъ Герцена, который потомъ уже не умѣлъ разобрать представившихся ему Ив. Ив. Шебаева и бывшаго старовѣрскаго архіерея, умнаго и очень ловкаго человѣка, Пафнутія. Я тогда напечаталъ письмо о «людяхъ древняго благочестія», гдѣ старался снять съ несчастныхъ старовѣровъ вредный и глупый поклепъ на нихъ въ революціонерствѣ. Меня за это ужасно порицали. Писали, что я дѣла не знаю и умышленно его извращаю, — что меня растлило въ этомъ отношеніи вредное вліяніе Павла Ив. Мельникова (Печерскаго), что я даже просто «подкупленъ правительствомъ». Дошло до того, что петербургскому профессору Ив. Ѳ. Нильскому печатно поставили въ непростительную вину: какъ онъ смѣлъ гдѣ-то ссылаться на мои наблюденія надъ нравами раскола и давать словамъ моимъ вѣру... А— увы и ахъ—вышло, что я правду говорилъ: раскольникамъ до политики дѣла нѣтъ и «тропарь» они не поютъ не за политику, которую хотѣли навязать имъ представители «крайней лѣвой фракціи». Г-нъ Нильскій давалъ писателямъ «лѣвой фракціи» отповѣдь, гдѣ говорилъ что-то въ пользу моихъ наблюденій. Въ самомъ же дѣлѣ, хороши они или дурны, но они есть *наблюденія* того, что существовало и было, а не выдумка, не тенденціозное фантазерство фракціонистовъ, которымъ чуть не удалось оклеветать добрыхъ и спокойныхъ людей. Твердое и неизмѣнное убѣжденіе, что русскій расколъ не имѣетъ противоправительственныхъ «политическихъ» идей, получено мною не изъ книгъ и даже не отъ Павла Ив. Мельникова (знанія котораго я, конечно, высоко цѣню), а я пришелъ къ этому убѣжденію прямо путемъ личныхъ наблюденій, которымъ вѣрю болѣе, чѣмъ тенденціознымъ натяжкамъ Щапова и всякимъ инымъ ухищреніямъ теоретиковъ «крайней лѣвой фракціи», которые нынѣ «преложились въ сердцахъ своихъ» и заскакали на правый флангъ крайнѣе самаго правофланговаго...

Вѣрю имъ нынче столько же, сколько вѣрилъ тогда...

Во всякомъ случаѣ то, что я разсказалъ здѣсь о старцѣ Малахіи, было для меня едва ли не первымъ урокомъ въ изученіи характера не сочиненнаго, а живого раскольника. Я не могу, да и не обязанъ забыть, какъ этому суровому

«немоляку за имя царево» хотѣлось «попѣти тропаря», и вся остановка была только за тѣмъ, чтобы императоръ «двумя персты» перекрестился. А тогда бы они позапечатлѣли всѣхъ *не*-раскольниковъ въ томъ самомъ родѣ, какъ старецъ запечатлѣлъ Гіезьку, и горячѣе всѣхъ, пожалуй, приложили бы свои благочестивыя руки къ «крайней лѣвой фракціи».

Вотъ и вся раскольничья политика. А между тѣмъ было время, когда требовалось имѣть не малую отвагу, чтобы рѣшиться дать пріютъ въ домѣ такому опасному сектанту, какъ старецъ Малахія... И это смѣшное и слѣпое время было не очень давно, а между тѣмъ оно уже такъ хорошо позабыто, что теперь «крайняя правая фракція» пружится, чтобы Волга-матушка вспять побѣжала, а они бы могли начать лгать сначала. Раки, которые «перещепчутся», приходятъ въ «пустотѣлъ», а люди, которые хотятъ пятиться, какъ раки, придутъ къ пустомыслію.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Отрока Гіезія я видѣлъ еще одинъ разъ въ жизни. Это было много лѣтъ спустя въ Курскѣ, вскорѣ послѣ постройки кіевской желѣзной дороги.

Я ѣхалъ въ Кіевъ повидаться съ родными. Поѣзда ходили тогда еще не совсѣмъ аккуратно, и въ Курскѣ приходилась довольно долгая остановка. Я когда-то ѣзжалъ изъ Орла въ Курскъ, и теперь мнѣ хотѣлось посмотрѣть на этотъ городъ, гдѣ сидятъ «мои-то-те куряне, вѣдомые кмети», которые до того доцивилизовались, что потеряли цѣлую рощу.

Я прошелъ черезъ вокзалъ, чтобы съ задняго крыльца посмотрѣть на соборъ и на прочее, что можно разглядѣть отсюда.

Дѣло было утромъ, погода прекрасная. Курскъ въ такомъ раннемъ освѣщеніи очень весело смотритъ съ своихъ горокъ, изъ-за своей сонной Тускари. Онъ напоминаетъ собою Кіевъ, разумѣется въ миніатюрѣ и en laid. Но только теперь, въ ту минуту, когда я хотѣлъ любоваться, весь видъ или, лучше сказать, все поле зрѣнія застилалось какими-то, во множествѣ летающими и безъ толку мечущимися въ воздухѣ безголовыми птичками... Престранное видѣніе въ іезекіилевскомъ жанрѣ: на одной какой-то точкѣ

бьютъ фонтаномъ и носятся какими-то незаконченными, трепетными взмахами въ воздухѣ одни крылья; они описываютъ какіе-то незаконченные круги и зигзаги, и вдругъ падаютъ, упадутъ, встрепенутся, и опять взлетятъ снова, и опять посерединѣ подъема ослабѣютъ и снова упадутъ въ пыль...

Это что-то какъ будто апокалипсическое.

Въ довершеніе сходства характера, тутъ были и «жены»; онѣ подбираютъ обезглавленныхъ пташекъ и суютъ ихъ себѣ куда-то въ нѣдра или, по-просту говоря, за пазухи. Тамъ тепло.

Заинтересовало мѣня: что это такое?

Вотъ съ одной, пронесшейся надъ моею головою безголовой пташки что-то капнуло... Тяжелое... точно она на меня зерно гороху уронила, и притомъ попало это мнѣ прямо на руку...

Это была кровь и притомъ совершенно свѣжая, даже теплая.

Что̀ за странность?

Оглядываюсь — на противуположной сторонѣ площадки, такъ же какъ и я, глазѣютъ на безголовыхъ летуновъ человѣкъ шесть городскихъ извозчиковъ и нѣсколько ребятишекъ...

Вотъ одна безголовая пташка со всего размаха шлепнулась о желѣзную крышу какой-то надворной постройки.

Летѣла—казалось птичка, а упала—словно стаяла.

Осталось только самое маленькое пятнышко, которое надо было съ усиліемъ не потерять изъ глазъ,—до того стало оно ничтожно.

Зато теперь можно было разсмотрѣть, что̀ это такое.

Я опустилъ руку въ дорожную сумку, гдѣ у меня былъ маленькій бинокль, и только-что сталъ наводить его на крышу, какъ кто-то сѣрымъ рукавомъ закрылъ мнѣ «поле зрѣнія».

У меня въ Курскѣ не могло быть знакомыхъ, которые бы имѣли право допустить такую короткую фамильярность, но прежде чѣмъ я успѣлъ отнять отъ глазъ бинокль, сѣрая завѣса уже снялась, и я увидалъ ворону, которая уносила въ клювѣ обезглавленную пташку.

Послышался хохотъ, свистъ; въ ворону съ добычею, безъ вреда для нихъ, полетѣли щепы и палки, и потомъ опять пошелъ фонтаномъ взлетъ обезглавленныхъ пташекъ.

Я захотѣлъ видѣть источникъ этого необычайнаго явленія, и оно объяснилось: тутъ же за угломъ стояла низкая крестьянская телѣга, запряженная заморенною лохматою лошаденкою. Лошадь ѣла сѣнцо, которое было привязано къ запрягу ея оглобли; а на телѣгѣ стоялъ большой лубочный коробъ, по верху котораго затянута нитяная сѣтка. Надъ коробомъ, окорячивъ его ногами, упертыми въ телѣжныя грядки, сидѣлъ рослый поваръ въ бѣлыхъ панталонахъ, въ бѣлой курткѣ и въ бѣломъ колпакѣ, а передъ нимъ на землѣ стоялъ, среднихъ лѣтъ, торговый крестьянинъ и держалъ въ рукахъ большое рѣшето, въ которое поваръ что-то сбрасывалъ, точно какъ будто орѣшки.

Прежде опустить руку въ коробъ, потомъ вынетъ се точно чѣмъ-то обросшую, встряхнетъ ею и сей же моментъ всюду по воздуху полетятъ безголовыя птички; а онъ сбросить въ рѣшето горсточку орѣшковъ. И все такъ далѣе.

Спросилъ, что̀ это дѣлаютъ, и получилъ короткое объясненіе:

— Перепелокъ рвутъ.

— Какъ,—говорю,—странно.

— Отчего странно?—отвѣчаетъ продавецъ:—это у насъ завсегда такъ. Они теперь жирныя; какъ заберешь ихъ въ руку, между пальчиками по головешкѣ, и встряхнешь, у нихъ сейчасъ всѣ шейки милымъ дѣломъ и оборвутся. Полетаетъ безъ головки—изъ нее кровочка скапитъ, и скусъ тоньше. А по головешкамъ, кои въ рѣшетѣ сбросаны, считать очень способно. Сколько головешекъ, за столько штукъ и плата.

«Ахъ, вы,—думаю,—«вѣдомые кмети»! Съ этакимъ ли способнымъ народомъ не спрятать безъ слѣдовъ монастырскую рощу!»

Но мнѣ интереснѣе всего былъ самъ продавецъ, ибо—коротко сказать—это былъ не кто иной, какъ оный давній отрокъ Гіезій. Онъ ободородѣлъ и постарѣлъ, но видъ имѣлъ очень болѣзненный.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Какъ только я назвалъ себя, Гіезій узналъ меня сразу и подалъ свою уваленную птичьимъ пухомъ руку. А между тѣмъ и перепелиная казнь была кончена; поваръ соскочилъ на землю и пошелъ къ бочкѣ съ водою мыть руки, а мы

съ старымъ знакомцемъ отправились пить чай. Сѣли уютненько, рѣшето съ птичьими головками подъ столъ спрятали и разговорились.

Гіезій сообщилъ мнѣ, что онъ давно отбылъ годы обѣтованнаго отрочества и уже «живетъ со второю хозяйкою», т. е. женатъ на второй женѣ, имѣетъ дѣтей, а живетъ промысломъ — торгуетъ то косами и серпами, то пенькою и пшеномъ, иногда же, между дѣломъ, и живностію.

Спрашиваю: «счастливо ли живете?»

— Ничего бы,—отвѣчаетъ,—если бы не ракъ.

— Какой ракъ?

— А какъ же, — говоритъ, — вѣдь у меня ракъ въ желудкѣ; я скоро умру.

— Да почему вы знаете, что у васъ ракъ?

— Много докторовъ видѣли, — всѣ одно сказали: ракъ. Да я и самъ вижу. Почти никакой пищи принять не могу, отъ всего извергаетъ.

— Чѣмъ же вы лѣчитесь?

— Прежде лѣчился, а нынѣ бросилъ, одинъ морковный сокъ натощакъ пью. Все равно, пользы никакой быть не можетъ.

— Отчего вы такъ печально думаете?

— Помилуйте, развѣ я дитя, что не понимаю. Тридцать вѣдь, сударь, лѣтъ и три года этакое тиранство я соблюдалъ при дѣдушкѣ Малахіи! Вѣдь это вспомянуть страшно становится. Онъ говѣлъ въ лѣтѣхъ своихъ замоторѣлыхъ, а я одно и такое же мученіе съ нимъ претерпѣвалъ въ цвѣтущей моей младости.

— И кромѣ того онъ васъ, помнится, очень билъ.

— Да, разумѣется, «началилъ», да это ничего, безъ того и невозможно. А вотъ голодъ — это ужасно. Бывало, въ госпожинъ постъ и оскребки изъ деревянной чашки всѣ со щепой переѣшь и, что въ землѣ случаемъ ногами втоптано, вездѣ выковыряешь, да проглотишь, а теперь вотъ черезъ это старовѣрское злое безуміе и умирай безъ времени, а дѣтей пусти по-міру.

— Вы,—говорю,—постъ называете безуміемъ?

— Да-съ. А что такое? Впрочемъ, не осудите, съ досады иной разъ, какъ о ребятишкахъ вздумаешь, очень что-нибудь скажешь. Дѣтей жалко.

— А какъ теперь ваши религіозныя убѣжденія?

Онъ махнулъ рукою.

— Тропарь по старому не поете?

Гіезій улыбнулся и отвѣчалъ:

— Что вспомнили!—пѣлъ да уже и позабылъ.

— Какъ позабыли?

— Ну, Господи мой, вѣдь я же вамъ говорю, какая у меня страшная боль въ животѣ. Ракъ! Я теперь даже не токмо что среду или пятокъ, а даже и великій постъ не могу никакой говѣйности соблюдать, потому меня отъ всего постнаго сейчасъ вытошнитъ. Сплошь теперь, какъ молоканъ, мясное и зачищаю, точно баринъ. При вѣрной церкви уже это нельзя, я и примазался...

— Къ единовѣрческой?

— Нѣтъ, чего! Тамъ тоже еще есть жизни правила, я къ простой, къ греко-россійской.

— Значитъ, даже тремя перстами креститесь?

— Все равно. Да и какое уже больному человѣку крещеніе. Почитай и о молитвѣ забылъ. Только бы пожить для ребятъ хочется. Для того и пристalъ къ церковной вѣрѣ, что можно жить слабже.

— А прочіе ваши собратія?

— Они тогда, какъ въ Кіевѣ дѣдушку схоронили, сейчасъ съ сосѣдями тропарь пѣть замоталися, да такъ на тропарѣ и повисли. Нравится имъ, чтобъ «побѣды и одолѣнія», да и отчего не пѣть?—заключилъ онъ:—если у кого силы живота постоянныя, то вѣдь можно какъ угодно вѣрить; но съ такимъ желудкомъ, какъ мой, какая ужъ тутъ вѣра! Тутъ одно искушеніе!

Съ тѣмъ мы и разстались.

Обѣтованный отрокъ, не читая энциклопедистовъ и другихъ проклятыхъ писателей, своимъ умомъ дошелъ до теоріи Дидро и поставилъ вѣру въ зависимость отъ физіологіи.

Епископъ Амвросій Ключаревъ въ своихъ публичныхъ лекціяхъ, читанныхъ въ Москвѣ, напрасно порѣшилъ, что писателямъ «лучше бы не родиться». Тотъ, Кто призвалъ всякую тварь къ жизни, конечно, лучше почтеннаго архипастыря зналъ, кому лучше родиться, а кому не родиться, но случай съ Гіезіемъ не показываетъ ли, что простого человѣка иногда удаляютъ отъ вѣры не писатели, которыхъ простой народъ еще не знаетъ и не читаетъ, а тѣ, кто «возлагаетъ на человѣки бремена тяжкія и неудобоносимыя».

Но мы смиренно вѣримъ, что въ большомъ хозяйствѣ Владыки вселенной даже и этотъ ассортиментъ людей пока еще на что-то нуженъ.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Теперь еще хочется упомянуть объ одномъ кіевскомъ событіи, которое прекрасно и трогательно само по себѣ и въ которомъ вырисовалась одна странная личность съ очень сложнымъ характеромъ. Я хочу сказать о священникѣ Евфиміи Ботвиновскомъ, котораго всѣ въ Кіевѣ знали просто подъ именемъ «попа Ефима», или даже «Юхвима».

Усопшій епископъ рижскій Филаретъ Филаретовъ, въ бытность его ректоромъ духовной академіи въ Кіевѣ, 28 декабря 1873 г. писалъ мнѣ: «спрашиваете о Евфимѣ,—Евфимъ, другъ нашъ, умре 19 сентября. Оставилъ семейство изъ шести душъ, трехъ женскихъ и трехъ мужескихъ. Но, видно, Евфимъ при слабостяхъ своихъ имѣлъ въ себѣ много добраго. При его погребеніи было большое стеченіе народа, провожавшаго его *съ большимъ плачемъ*. Дѣти остались на чужомъ дворѣ, безъ гроша и безъ куска хлѣба; но добрыми людьми они обезпечены теперь такъ, что едва ли бы и при отцѣ могли имѣть то, что̀ устроила для нихъ попечительность людская».

Съ тѣхъ поръ, когда мнѣ случалось быть въ Кіевѣ, я никогда и ни отъ кого не могъ получить никакихъ извѣстій о дѣтяхъ отца Евфима; но, что̀ всего страннѣе, и о немъ самомъ память какъ будто совершенно исчезла, а если начнешь усиленно будить ее, то услышишь развѣ только что-то о его «слабостяхъ». Въ письмѣ своемъ пр. Филаретъ говоритъ: «не дивитеся сему — банковое направленіе все заѣло. Въ Кіевѣ ничѣмъ не интересуются, кромѣ *картъ и денегъ*».

Не знаю, совершенно ли это такъ, но думается, что довольно близко къ истинѣ.

Чтобы не вызывать недомолвками ложныхъ толкованій, лучше сказать, что «слабости» о. Евфима составляли просто *кутежи*, которые тогда были въ большой модѣ въ Кіевѣ. Отецъ Евфимъ оказался большимъ консерваторомъ и переносилъ эту моду немножко дольше, чѣмъ было можно. Отецъ Евфимъ любилъ хорошее винцо, компанію и охоту. Онъ былъ лучшій бильярдный игрокъ *послѣ Курдюмова* и отлично

стрѣлялъ; притомъ онъ, по слабости своего характера, не могъ воздержаться отъ удовольствія поохотиться, когда попадалъ въ кругъ друзей изъ дворянъ. Тутъ о. Евфимъ переодѣвался въ егерскій костюмъ, хорошо приспособленный къ тому, чтобы спрятать его «гриву», и «полевалъ» по преимуществу съ гончими. Нрава Юхвимъ былъ веселаго, даже дѣтски шаловливаго и увлекающагося до крайностей, иногда непозволительныхъ; но это былъ такой человѣкъ, какихъ родится немного и которыхъ грѣшно и стыдно забывать въ одно десятилѣтіе.

Каковъ Юхвимъ былъ какъ священникъ,—этого я разбирать не стану, да и думаю, что это извѣстно одному Богу, Которому служилъ онъ, какъ могъ и какъ умѣлъ. Внѣшнимъ образомъ священнодѣйствовать Юхвимъ былъ большой мастеръ, но «лѣноватъ», и потому служилъ рѣдко — больше содержалъ у себя для служенія какихъ-то «приблудныхъ батюшекъ», которые всегда проживали у него же въ домѣ. Отецъ Юхвимъ прекрасно читалъ и иногда, читая великопостные каноны, неудержимо плакалъ, а потомъ самъ надъ собою шутилъ, говоря:

— Стілько я, ледачій піпъ, нагрішивъ, що Богъ вже змиловався надо мною и давъ мені слезы, що-бъ плакати ділъ моихъ горько. Не можу служить, не плачучи.

Разберите и разсудите хоть по этому, что̀ это былъ за человѣкъ *по отношенію къ вѣрѣ?* По моему мнѣнію, онъ былъ человѣкъ богопочтительный, но его кипучая, художественная и сообщительная натура, при умѣ живомъ, но крайне легкомъ и не серьезномъ, постоянно увлекала его то туда, то сюда, такъ что онъ могъ бы и совершенно извертѣться, если бы не было одного магнита, который направлялъ его блужданія къ опредѣленной точкѣ. Магнитомъ этимъ, дѣйствовавшимъ на Юхвима съ страшною всеодолѣвающею *органическою* силою, была его громадная, прирожденная *любовь къ добру и состраданіе.*

Когда я зазналъ отца Евфима, онъ былъ очень юнымъ священникомъ маленькой деревянной церковки Іоанна Златоуста противъ нынѣшней старокіевской части. Приходъ у него былъ самый бѣднѣйшій, и отцу Евфиму совершенно нечѣмъ было бы питаться, если бы семьѣ его Господь не послалъ «врана».

Этотъ «питающій вранъ» былъ *разучившійся грамотѣ*

дьячокъ Константинъ, или Котинъ, длинный, худой, съ сломанымъ и согнутымъ на сторону носомъ, за что и прозывался «Ломоносовымъ».

Онъ самъ о себѣ говаривалъ:

— Я вже часто не здужаю, бо ставъ старый; але що маю подіяти, якъ робити треба.

«Треба» была именно потому, что Ломоносовъ имѣлъ «на своемъ воспитаніи» молодую, но быстро нараставшую семью своего молодого и совершенно беззаботнаго священника.

Дьячокъ Котинъ служилъ при его отцѣ, Егорѣ Ботвиновскомъ, зналъ Евфима дитятею, а потомъ студентомъ академіи, и теперь, видя его крайнюю безпечность обо всѣхъ домашнихъ нуждахъ, принялъ домъ священника «на свое воспитаніе».

Трудъ Ломоносова состоялъ въ томъ, что все лѣтнее время, пока Кіевъ посѣщается богомольцами или, по произношенію Котина, «богомулами», онъ вставалъ до зари, садился у церковной оградочки съ деревяннымъ ящичкомъ, съ прорѣзкою въ крышкѣ, и «стерегъ богомуловъ».

Дѣло это очень заботное и требовало не малой сообразительности и остроты разума, а также смѣлости и такта, ибо, собственно говоря, Ломоносовъ «воспитывалъ семейство» на счетъ другихъ приходовъ и преимущественно на счетъ духовенства церквей Десятинной, Андреевской и всѣхъ вкупѣ святынь Подола.

Константинъ отпиралъ церковь, зажигалъ лампадочку и садился у дверей на маленькой скамеечкѣ; передъ собою онъ ставилъ мѣдную чашку съ водою и кропило, рядомъ ящичекъ или «карнавку», а въ руки бралъ шерстяной пагленокъ. Онъ занимался надвязываніемъ чулокъ.

— Бо духовному лицу треба бути въ трудѣхъ бденныхъ.

Какъ большинство обстоятельныхъ и сильно озабоченныхъ людей, Котинъ былъ порядочный резонеръ и уважалъ декорумъ и благопристойность.

«Богомулъ» (въ собирательномъ смыслѣ) идетъ по Кіеву опредѣленнымъ путемъ, какъ сельдь у береговъ Шотландіи, такъ что прежде «напоклоняется усімъ святымъ печерскимъ, потімъ того до Варвары, а потімъ Макарію софійскому, а потімъ вже геть просто *мимо Ивана* до Андрея и Десятинного и на Подолъ».

Маршрутъ этотъ освященъ вѣками и до такой степени

традиціонеиъ, что его никто и не думалъ бы измѣнять. Церковь Іоанна Златоуста, или, въ просторѣчіи, кратко «*Иванъ*», была все равно, что пунктъ водораздѣла, откуда «богомулъ» принимаетъ наклонное направленіе, «*мимо Ивана*».

Къ «Ивану» заходить было не принято, потому что Иванъ самъ по себѣ ничѣмъ не блестѣлъ, хотя и отворялъ радушно свои двери съ самыхъ спозаранокъ. Но нужда, изощряющая таланты, сдѣлала умъ Котина столь острымъ, что онъ изъ этого мимоходнаго положенія своего храма извлекалъ сугубую выгоду. Онъ сидѣлъ здѣсь на водораздѣлѣ теченія и «перелавливалъ богомуловъ», такъ что они не могли попадать къ святынямъ Десятинной и Подола, пока Котинъ ихъ «трохи не вытруситъ». Дѣлалъ онъ это съ превеликою простотою, тактомъ и съ такою отвагою, которою даже самъ хвалился:

— Тиі богомулы, що у лавру до святыхъ поприходили,— говорилъ онъ: — тихъ я до себе затягти не можу, не про те, що мій храмъ такій малесенькій, а про те, що лавра на такімъ пути, що іі скрізь видно. Одъ нихъ вже нехай лаврикові торгуютъ. А що до подольскихъ, або до Десятинного, то сіи вже нехай собі пальци поссуть, якъ я имъ дамъ що уторгувати и необібранихъ богомулівъ спущу имъ.

Онъ «обиралъ» богомуловъ вотъ какимъ образомъ: имѣя подлѣ себя «карнавку», Котинъ, чуть завидитъ или заслышитъ двигающихся тяжелыми ногами «богомуловъ», начиналъ «трясти грошъ» въ ящичкѣ и приговаривать:

— Богомули! богомули! Куды це вы? Жертвуйте, жертвуйте до церковці Ивана Золотоустого!

И чуть мужички пріостанавливались, чтобы достать и положить по грошу, Котинъ вдругъ опутывалъ ихъ ласкою. То онъ спрашивалъ: «звіткиля се вы?», то «якъ у васъ сей годъ житечко зародило?», то предложитъ иному «ужить табаки», т. е. понюхать изъ его тавлинки, а затѣмъ и прямо звалъ въ церковь.

— Идить-же, идить до храму святого... усходьте... я вамъ одну таку святыньку покажу, що ніде іі не побачите.

Мужички просились:

— Мы, выбачайте, на Подолъ йдемо, та до князя Владиміра.

Но Котинъ уже не выпускалъ «богомула».

— Ну, та що тамъ таке у святого Владиміра?—начиналъ онъ съ неодолимою смѣлостію ученаго критика.—Богъ зна, чи що тамъ есть, чи чого нема. Вінъ собі бувъ ничого, добрый князь; але, якъ усі чоловіки, мавъ жінку, да ще не единую. Заходьте до мене, я вамъ свячену штучку покажу, що святивъ той митрополитъ Евгеній, що підъ софійскимъ підъ поломъ лежитъ... Евгеній, то, бачите, бувъ еній (Котинъ почему-то не говорилъ *геній*).

А во время такого убѣдительнаго разговора онъ уже волокъ мужика или бабу, которая ему казалась вліятельнѣе прочихъ въ группѣ, за руку и вводилъ всѣхъ въ церковь и подводилъ ихъ къ столу, гдѣ опять была другая чаша съ водой, крестъ, кропило и блюдо, а самъ шелъ въ алтарь и выносилъ оттуда старенькій парчевый воздухъ и начиналъ всѣхъ обильно кропить водою и отирать этимъ перепачканнымъ воздухомъ, приговаривая:

— Боже благослови, Боже благослови!.. Умыхся еси, отерся еси... Вотъ такъ: умыхся и отерся... И сей умыхся... Якъ тебя звать?

«Богомулъ» отвѣчаетъ: «Петро» или «Михалъ».

— Ну, вотъ и добре, — и Петро умыхся, отерся... То нашъ еній Евгеній сей воздухъ святивъ... цілуйте его, христіяне, собі на здоровье... души во спасеніе... во очищеніе очесъ... костей укрѣпленіе...

И потомъ вдругъ приглашалъ прилечь отдохнуть на травкѣ около церкви, или же идти «впростъ—до батюшки, до господы», т. е. на дворъ къ отцу Евфиму, который былъ тутъ же рядомъ.

Котину почти ежедневно удавалось заманить нѣсколькихъ «богомуловъ» на батюшкинъ дворъ, гдѣ имъ давали огурцовъ, квасу и хлѣба и мѣсто подъ сараемъ, а они «жертвовали» кто что можетъ.

Выходило это такъ, что и «богомуламъ» было безобидно, и «дома» хозяину выгодно. Каждый день былъ «свѣжій грошъ», а на другое утро «богомулы шли опустошени», и Котинъ ихъ самъ напутствовалъ:

— Идіть теперички, христіяне, куди собі хочете, — хоть и до святого Владиміра.

Перехожая пошлина съ нихъ у Ивана была уже взята.

Таковъ былъ простодушный, но усердный печальникъ о семьѣ безпечальнаго отца Евфима въ первое время; но, по-

томъ, когда Евфима перевели на мѣсто усопшаго брата его Петра, въ Троицкую церковь, его начали знать болѣе видные люди и стали доброхотствовать его семьѣ, о которой самъ Евфимъ всегда заботился мало.

— Нашъ батюшка,—говорилъ Котинъ:—завжди въ росході, бо ёго люди дуже люблять.

Это была и правда. Ни семейная радость, ни горе не обходилась безъ «Юхвима». Ему давали «за руки» спорныя деньги, его выбирали душеприказчикомъ, и онъ всѣ *чужія дѣла* исполнялъ превосходно. Но о своихъ не заботился нимало и довелъ это до того, что «самъ себя изнищилъ».

Вотъ событіе, которымъ онъ одно время удивилъ Кіевъ и далъ многимъ хорошій поводъ оклеветать его за добро самыми черными клеветами.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Былъ въ Кіевѣ уѣздный казначей Осипъ Семеновичъ Ту—скій, котораго привезъ съ собою изъ Житомира предсѣдатель казенной палаты Ключаревъ. Мы этого чиновника знали мало, а отецъ Евфимъ *нисколько*. Вдругъ при одной повѣркѣ казначейства новымъ предсѣдателемъ Кобылинымъ оказался прочетъ въ казенныхъ суммахъ, кажется, около 20,000 рублей, а можетъ быть и нѣсколько меньше. Казначей былъ извѣстенъ своею честностью и аккуратностію. Какъ образовался этотъ прочетъ,—я думаю, никто навѣрно не знаетъ, потому что дѣло было замято; не ранѣе того семьѣ казначея угрожала погибель. Объ этомъ много говорили и очень сожалѣли маленькихъ дѣтей казначея.

Дошло это дѣло до Евфима и ужасно его тронуло. Онъ задумался, потомъ вдругъ заплакалъ и воскликнулъ:

— Тутъ надо помочь!

— Какъ же помочь? надо заплатить деньги.

— Да, конечно, надо заплатить.

— А кто ихъ заплатитъ?

— А вотъ попробуемъ.

Отецъ Евфимъ велѣлъ «запрячь игумена» (такъ называлъ онъ своего караго коня, купленнаго у какого-то игумена) и поѣхалъ къ Кобылину съ просьбою подержать дѣло въ секретѣ два-три дня, пока онъ «попробуетъ»

Предсѣдателю такое предложеніе, разумѣется, было во

всѣхъ отношеніяхъ выгодно, и онъ согласился ожидать, а Евфимъ пошелъ гонять своего «игумена». Объѣздилъ онъ всѣхъ друзей и пріятелей и у всѣхъ, у кого только могъ, просилъ пособить — «спасти семейство». Собралъ онъ не мало, помнится, будто тысячъ около четырехъ, что-то далъ и Кобылинъ; но недоставало все-таки много. Не помню теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, кажется, тысячъ двѣнадцать, или даже болѣе.

У насъ были совѣты и рѣшено было «собранное сберечь для семьи», а казначея предоставить его участи. Но предобрѣйшему Евфиму это не нравилось.

— Что тамъ за участь дѣтямъ безъ отца!—проговорилъ онъ, и на другой же день *взнесъ всѣ деньги*, сколько ихъ слѣдовало.

Откуда же онъ ихъ взялъ?

Онъ *разорилъ свое собственное семейство:* онъ заложилъ домъ свой и домъ тещи своей, вдовы протоіерея Лободовскаго, надавалъ векселей и сколотилъ сумму, чтобы выручить человѣка, котораго, опять повторяю, *онъ не зналъ*, а узналъ только о постигшемъ его бѣдствіи...

Разсудительнымъ или безразсуднымъ кому покажется этотъ поступокъ, но во всякомъ случаѣ онъ столь великодушенъ, что о немъ стоитъ вспомнить, и если слова епископа Филарета справедливы, что дѣти Ботвиновскаго призрѣны, то поневолѣ приходится повторить съ псалмопѣвцемъ: «не видѣхъ праведника оставлена, ниже сѣмени его просяща хлѣба».

Другого такого поступка, совершеннаго съ полнѣйшею простотою сверхъ силъ и по одному порыву великодушія, я не видалъ ни отъ кого, и когда при мнѣ говорятъ о пресловутой «поповской жадности», я всегда вспоминаю, что самый, до безразсудности, безкорыстный человѣкъ, какого я видѣлъ,—это *былъ попъ*.

Поступокъ Евфима не только не былъ оцѣненъ, но даже былъ осмѣянъ и послужилъ поводомъ къ разнообразнымъ клеветамъ, имѣвшимъ дурное вліяніе на его расположеніе и положеніе.

Съ этихъ поръ онъ началъ снова захудѣвать, и все въ его дѣлахъ пошло въ разстройство: домъ его былъ проданъ, долгъ тещѣ его тяготилъ и мучилъ; онъ переѣхалъ къ своей, перенесенной на Новое Строеніе, Троицкой церкви и, вдо-

бавокъ, овдовѣлъ, а во вдовствѣ такой человѣкъ, какъ Евфимъ, былъ совершенно невозможенъ.

Жена его была прекрасная и даже очень миленькая женщина, веселаго и добраго нрава, терпѣливая, прощающая и тоже беззаботная. Лучшей пары о. Евфиму и на заказъ нельзя было подобрать, но когда въ дѣлахъ ихъ пошелъ упадокъ и она стала прихварывать, ей стало скучно, что мужа никогда почти не было дома. Она умерла какъ-то особенно тихо и грустно, и это обстоятельство вызвало въ о. Евфимѣ еще одинъ необыкновенный порывъ въ свойственномъ ему малоразсудительномъ, но весьма оригинальномъ родѣ. Мало удосуживаясь видѣть жену свою при ея жизни, онъ *не могъ* разстаться съ нею съ мертвою, и это побудило его рѣшиться на одинъ крайне рискованный поступокъ, еще разъ говорящій о его причудливой натурѣ.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Троицкая церковь, къ которой перешелъ о. Евфимъ послѣ смерти своего брата, находилась въ Старомъ Кіевѣ, противъ зданія присутственныхъ мѣстъ, гдѣ нынѣ начинается скверъ отъ стороны софійскаго собора. Церковь эта была маленькая, деревянная и, вдобавокъ, ветхая, какъ и церковь Іоанна Златоуста, находившаяся по другую сторону присутственныхъ мѣстъ, и съ постройкою этихъ послѣднихъ ее рѣшено было перенести на Новое Строеніе, гдѣ, конечно, надо было строить церковь вновь, сохранивши названіе прежней. О. Евфимъ самъ распоряжался постройкою церкви и осуществилъ при этомъ нѣкоторыя свои фантазіи. Такъ, напримѣръ, въ бытность его въ Петербургѣ, онъ мнѣ разсказывалъ, что устроилъ гдѣ-то въ боковой части алтаря маленькую «комору подъ землею»,—чтобы тамъ лѣтомъ, въ жары, хорошо было отъ мухъ отдыхать.

Я не видѣлъ этой «коморы» и не знаю, какъ она была устроена, но знаю несомнѣнно, что она есть и что въ ней скрывается теперь ни для кого уже непроницаемая тайна.

— Гдѣ схоронена покойная Елена Семеновна?—спросилъ я о. Евфима, разсказывавшаго мнѣ тяжесть своего вдоваго положенія.

— А у меня подъ церковью,—отвѣчалъ онъ.

Я удивился.

Евфимъ молчалъ.

— Что-о-о? — спросилъ владыка. — Чего молчишь? повинись!

Тотъ подумалъ, въ чемъ ему повиниться? и благопокорно произнесъ:

— Я Батвиневской.

Митрополитъ успокоился, съ добраго лица его радостно исчезала непривычная тѣнь напускной строгости, и онъ протянулъ своимъ беззвучнымъ баскомъ:

— То-то и есть... Батвиневской!.. И хорошо, что повинился!.. Теперь иди къ своему мѣсту.

А «прогнавъ» такимъ образомъ Батвиневскаго», онъ говорилъ намѣстнику лавры (тогда еще благочинному) о. Варлааму:

— Добрый мужиченко этотъ Батвиневской,—очень добрый... И повинился... Скверно только, зачѣмъ онъ трубку изъ длиннаго чубука палитъ?

Инокъ отвѣчалъ, что онъ этого не знаетъ, а добрый владыка разворковался:

— Это, смотри, его протопопъ Крамаревъ обучилъ... Университетскій! Скажи ему, чтобы онъ университетскаго наученья не смущалъ, чтобы изъ длиннаго чубука не курилъ.

Очевидно, что въ доносѣ было что-то о куреніи. Отецъ Евфимъ и въ этомъ *исправился*,—онъ сталъ курить папиросы.

Къ сему развѣ остается добавить, что Ботвиновскій былъ очень видный собою мужчина и, по мнѣнію знатоковъ, въ молодости превосходно танцовалъ мазурку, и... искусства этого никогда не оставлялъ, но послѣ нѣкоторыхъ случайностей танцовалъ «только на именинахъ» у прихожанъ, особенно его уважавшихъ.

Мнѣ думается, что такой непосредственный человѣкъ непремѣнно долженъ имѣть мѣсто среди кіевскихъ *антиковъ*, и даже, можетъ-быть, воспоминаніе о немъ окажется самымъ симпатичнымъ для кіевлянъ, между коими, вѣроятно, еще не мало тѣхъ, что «шли плача за его гробомъ».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

О *кіевскихъ богатыряхъ* я знаю мало. Видоизмѣняясь отъ облика Ильи и Чурилы до фигуры Остапа Бульбы, къ

моему времени въ Кіевѣ они являлись въ лицахъ того же приснопамятнаго Аскоченскаго, студента Кол — ова и торговаго человѣка (приказчика купца Козловскаго) Ивана Филипповича Касселя (чистаго, безпримѣснаго хохла, наказаннаго за какой-то родительскій грѣхъ иноземною кличкою).

О силѣ Аскоченскаго говорили много, приводя примѣры, что будто ее иногда поневолѣ принимали въ соображеніе бывшій въ его время ректоромъ «русскій Златоустъ» Иннокентій Борисовъ и инспекторъ Іеремія. Достовѣрнаго въ этомъ кажется то, что когда инспекторъ отобралъ разъ у студентовъ чубуки и снесъ ихъ къ Иннокентію, то Аскоченскій, съ его «непобѣдимою дерзостію», явился къ Иннокентію «требовать *свою собственность*». А когда Иннокентій назвалъ это нахальствомъ и приказалъ наглецу «выйти вонъ», то Аскоченскій взялъ «весь пукъ чубуковъ» и сразу всѣ ихъ переломилъ на колѣнѣ.

Все остальное, что касается его легендарной силы, выражалось въ такомъ родѣ: онъ все «ломалъ». Болѣе всего онъ ломалъ, или, лучше сказать, гнулъ за столами металлическіе ножи, ложки, вилки, а иногда подсвѣчники. Дѣлалъ онъ это всегда сюрпризомъ для хозяевъ, но не всегда къ ихъ большому удовольствію.

О «непобѣдимыхъ его дерзостяхъ» разсказывалось тоже много, но надъ всѣмъ предоминировало сообщеніе о «стычкѣ его съ профессоромъ Серафимомъ» на лекціи церковной исторіи.

Дѣло было такъ, что профессоръ послѣ безпристрастнаго изложенія фактовъ, пришелъ научнымъ путемъ къ достовѣрному выводу, который изложилъ въ слѣдующихъ словахъ:

— Итакъ, мы ясно видѣли, что мать наша, святая православная церковь въ Россіи, принявъ богоучрежденныя постановленія отъ апостоловъ, нынѣ управляется *самимъ Духомъ святымъ*.

— Въ генеральскомъ мундирѣ!—отозвался съ своей парты Аскоченскій.

Профессоръ смутился и, какъ бы желая затушевать неумѣстное вмѣшательство студента, повторилъ:

— Самимъ Духомъ святымъ.

Но Аскоченскій снова не выдержалъ и еще громче произнесъ:

— Да, въ генеральскомъ мундирѣ!

— Что ты подъ симъ разумѣешь?—спросилъ его Серафимъ.

— Не *что*, а *нѣчто*,—отвѣчалъ Аскоченскій, и пояснилъ, что онъ разумѣетъ военнаго оберъ-прокурора синода Н. Ал. Протасова.

Серафимъ пошелъ жаловаться къ Иннокентію, но тотъ какъ-то спустилъ это мягко.

Послѣдній фактъ «непобѣдимой дерзости» Аскоченскаго былъ не въ его пользу. Это случилось тогда, когда въ одно время сошлись на службѣ въ Каменцѣ Аскоченскій, занимавшій тамъ мѣсто совѣстнаго судьи, и бывшій его начальникъ по воронежской семинаріи Елпидифоръ, на эту пору архіепископъ подольскій.

Ап. Елпидифоръ былъ изрядно нетерпѣливъ и вспыльчивъ, но въ свою очередь онъ зналъ продерзостную натуру Аскоченскаго, когда тотъ учился въ воронежской семинаріи. Однажды Елпидифоръ служилъ обѣдню въ соборѣ, а Аскоченскій стоялъ въ алтарѣ (любимое дѣло ханжей, позволяющихъ себѣ нарушать церковное правило и стѣснять собою служащее духовенство).

Во время литургіи какой-то діаконъ или иподіаконъ что-то напуталъ, и вспыльчивый владыка сказалъ ему за это «дурака».

Тѣмъ дѣло и кончилось бы, но послѣ обѣдни у епископа былъ пирогъ и къ пирогу явился Аскоченскій, а во время одной паузы онъ ядовито предложилъ такой вопросъ:

— Владыка святый! что долженъ пѣть клиръ, когда архіерей возглашаетъ «дуракъ»?

— «Совѣстный судья»,—отвѣчалъ спокойно епископъ.

— А я думалъ: «и духови твоему»,—отвѣчалъ «непобѣдимый въ дерзости» Аскоченскій, но вскорѣ потерялъ мѣсто совѣстнаго судьи и навсегда лишился службы.

Другой *богатырь* Кол—овъ дѣйствительно обладалъ силою феноменальною и ночами ходилъ «переворачивать камни у Владиміра». Идеалъ его былъ «снять крѣпостныя р
и отнести ихъ на себѣ на Лысую гору», которой тог
не угрожалъ переходъ въ собственность извѣстнаго в
рода бояръ Анненковыхъ. Тогда тамъ слетались
кіевскія вѣдьмы. Но воротъ Кол—овъ не снялъ,
инымъ образомъ.

Третій, самый веселый богатырь моего врем
Иванъ Филипповичъ Кассель, имѣющій д

очень драгоцѣнный и интересный литературный кладъ, — это одно дѣйствительно мѣткое и устроумное сочиненіе В. И. Аскоченскаго, написанное въ формѣ рѣчи, произносимой кандидатомъ епископства при нареченіи его въ архіереи. Рѣчь новонарекаемаго епископа, сочиненная Аскоченскимъ, не только нимало не похожа на тѣ рѣчи, какія обыкновенно при этихъ важныхъ случаяхъ произносятся, но она имъ діаметрально противоположна по направленію и духу, хотя сводится къ тѣмъ же результатамъ. Въ заправдашнихъ рѣчахъ кандидаты обыкновенно говорятъ о своихъ слабостяхъ и недостоинствахъ,—вообще сильно отпрашиваются отъ епископства, боясь, что не пронесутъ обязанностей этого сана, какъ слѣдуетъ. Потомъ едва только къ концу, и то лишь полагаясь на всемогущую благодать Божію и на воспособляющую силу молитвъ предсѣдящихъ святителей, они «пріемлятъ и ни что же вопреки глаголятъ». Но рѣчь Аскоченскаго идетъ изъ иного настроенія: его кандидатъ епископства, человѣкъ смѣлаго ума и откровенной прямой натуры, напоминаетъ «Племянника г-на Рамо». Онъ смотритъ на жизнь весело и не видитъ никакой надобности возводить на себя самообвиненія въ тяжкихъ недостоинствахъ. Напротивъ, нарекаемый епископъ Аскоченскаго признается, что санъ епископскій ему издавна весьма нравится и очень ему пріятенъ. Онъ разсказываетъ даже, какія мѣры и усилія онъ употребилъ для достиженія своей цѣли—быть епископомъ. Потомъ говоритъ и о своихъ «недостоинствахъ», но опять по-своему: онъ не ограничивается общимъ поверхностнымъ упоминаніемъ, что у него есть «недостоинства», а откровенно припоминаетъ ихъ, какъ добрый христіанинъ добраго времени, стоящій на открытой, всенародной исповѣди. Кандидатъ доводитъ свою откровенность до того, что «недостоинства» его въ самомъ дѣлѣ какъ-будто заставляютъ опасаться за его годность къ епископскому служенію и за него становится и страшно, и больно... Но вдругъ живая душа исповѣдника дѣлаетъ быстрый взмахъ надъ міромъ и зритъ оттуда съ высотъ, что и другіе, пріявшіе уже яремъ епископства, были не только не достойнѣе его, но даже и послѣ таковыми же остались. А онъ клянется, что когда ему на епископствѣ станетъ жить хорошо, то онъ, какъ умный человѣкъ, ни за что не станетъ искать никакихъ пустяковъ, не имѣющихъ прямой

цѣны для счастія, и «потому пріемлетъ и ни что же вопреки глаголетъ».

Аскоченскій мнѣ самъ читалъ эту рѣчь, замѣчательную какъ въ литературномъ, такъ и въ историческомъ отношеніи, и читалъ онъ ее многимъ другимъ, пока объ этомъ не узналъ покойный митрополитъ московскій Иннокентій Веніаминовъ. Онъ *запретилъ* Аскоченскому читать эту рѣчь и давать ее списывать, а Викторъ Ипатьичъ, часто прибѣгая къ Иннокентію по дѣламъ своего изнемогавшаго изданія и другимъ личнымъ нуждамъ, далъ слово митрополиту запретъ этотъ исполнить. Въ «Дневникѣ» Аскоченскаго, который я, по редакціонной обязанности, *весь прочелъ* прежде пріобрѣтенія его редакціею «Историческаго Вѣстника», *нѣтъ этой рѣчи*. Это тѣмъ болѣе удивительно, что въ «Дневникѣ» записано множество выходокъ, гораздо менѣе удачныхъ, и литературныхъ шалостей, несравненно болѣе непристойныхъ и дерзкихъ по отношенію къ предстоятелямъ церкви. Можетъ-быть, Аскоченскій вырвалъ эти листы, въ угоду митрополиту, который, по словамъ Виктора Ипатьича, «просто позволилъ ему *обыскивать свой бумажникъ*». Во всякомъ случаѣ этотъ литературный кіевскій кладъ *) очень

*) Указываютъ еще другой кладъ, оставленный В. И. Аскоченскимъ въ Кіевѣ и находящійся, вѣроятно, и теперь у кого-либо изъ его кіевскихъ знакомыхъ. Это обширное его изслѣдованіе о тогдашнемъ состояніи русскихъ университетовъ, озаглавленное такъ: «Наши университеты». Ѳ. Г. Лебединцевъ читалъ эту толстую, листовъ въ 70, рукопись, написанную въ 1854 или 1855 г. Въ ней Аскоченскій съ безпощадною рѣзкостію осуждаетъ весь строй университетскій и раскрываетъ недуги профессоровъ банковскаго направленія. Рукопись наполнена массою самыхъ неприглядныхъ фактовъ, обличавшихъ пустоту университетскихъ чтеній, грошовое либеральничество профессоровъ и поврежденность нравовъ студентовъ и пр., и пр. Рукопись шибко ходила по рукамъ и произвела въ ученомъ и административномъ мірѣ бурю, кончившуюся тѣмъ, что безшабашнаго автора, какъ не служащаго дворянина, посадили на двѣ недѣли на гауптвахту при кіевскомъ ордонансъ-гаузѣ.

Разсказывали въ ту пору, что когда Аскоченскій былъ «приличнымъ образомъ» доставленъ къ тогдашнему кіевскому генералъ-губернатору кн. Васильчикову, послѣдній далъ Аскоченскому прочесть ту статью изъ Свода Законовъ, которая грозила ему чѣмъ-то въ родѣ высылки «въ мѣста отдаленныя». Аскоченскій нимало не сробѣлъ: онъ прочелъ статью, положилъ книгу и улыбнулся.

— Васъ, стало, это забавляетъ?—спросилъ его добродушный князь Васильчиковъ

интересенъ, какъ для характеристики самого Аскоченскаго, такъ и въ смыслѣ опредѣленія прозорливости тѣхъ, которые чаяли видѣть въ Викторѣ Ипатьевичѣ защитника падающаго авторитета своего сана, съ дозволеніемъ иногда «*обыскивать* ихъ бумажники».

ГЛАВА СОРОКЪ ПЕРВАЯ.

Затѣмъ еще «послѣднее сказаніе», — тоже касающееся кіевскихъ преданій и литературы.

Когда въ «*Русскомъ Вѣстникѣ*» М. Н. Каткова былъ напечатанъ мой разсказъ «*Запечатлѣнный Ангелъ*», то въ нѣкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ, при снисходительныхъ похвалахъ моему маленькому литературному произведенію, было сказано, что «въ немъ передано событіе, случившееся при постройкѣ кіевскаго моста» (разумѣется, *стараго*). Въ разсказѣ идетъ дѣло объ иконѣ, которую чиновники «запечатлѣли» и отобрали въ монастырь, а старовѣры, которымъ та икона принадлежала, подмѣнили ее копіею во время служенія пасхальной заутрени. Для этого одинъ изъ старовѣровъ *прошелъ съ одного берега рѣки на другой при бурномъ ледоходѣ по цѣпямъ*.

Всѣмъ показалось, что мною въ этомъ разсказѣ описана кіевская мѣстность и «событіе, случившееся тоже въ Кіевѣ». Такъ это и остается до сей поры.

Позволю себѣ нынѣ замѣтить, что первое совершенно справедливо, а второе—нѣтъ. Мѣстность въ «Запечатлѣнномъ Ангелѣ», какъ и во многихъ иныхъ моихъ разсказахъ, дѣйствительно, похожа на Кіевъ,—что объясняется моими привычками къ кіевскимъ картинамъ, но *такого происшествія*, какое передано въ разсказѣ, въ *Кіевѣ никогда не происходило*, т. е. никакой иконы старовѣръ не кралъ и по цѣпямъ черезъ Днѣпръ не переносилъ. А было, дѣйствительно, только

Аскоченскій пожалъ плечами и отвѣтилъ:

— Не думаю, чтобы кого-нибудь забавляла возможность прогуляться въ Сибирь. Мнѣ смѣшно другое.

Васильчиковъ не продолжалъ разговора и послалъ его подъ арестъ.

Въ этой запискѣ, по словамъ Лебединцева, было много очень умнаго, дѣльнаго и справедливаго, такъ что автору было за что посидѣть подъ арестомъ.

Но гдѣ эти два едва ли не самыя лучшія произведенія ума и пера Аскоченскаго? Неужто они пропали!

слѣдующее: однажды, когда цѣпи были уже натянуты, одинъ калужскій каменщикъ, по уполномочію отъ товарищей, сходилъ во время пасхальной заутрени съ кіевскаго берега на черниговскій *по цѣпямъ*, но не за иконою, а *за водкою*, которая на той сторонѣ Днѣпра продавалась тогда много дешевле. Наливъ боченокъ водки, отважный ходокъ повѣсилъ его себѣ на шею и, имѣя въ рукахъ шестъ, который служилъ ему балансомъ, благополучно возвратился на кіевскій берегъ съ своею корчемною ношею, которая и была здѣсь распита во славу св. Пасхи.

Отважный переходъ по цѣпямъ, дѣйствительно, послужилъ мнѣ *темою* для изображенія отчаянной русской удали, но цѣль дѣйствія и вообще вся исторія «Запечатлѣннаго Ангела», конечно, иная, и она мною просто вымышлена.

20 декабря 1882 г.

С.-Петербургъ.

ЧОРТОВЫ КУКЛЫ.

ГЛАВЫ ИЗЪ НЕОКОНЧЕННАГО РОМАНА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ началѣ истекающаго девятнадцатаго столѣтія въ одной семьѣ германскаго происхожденія родился мальчикъ необыкновенной красоты. Онъ былъ такъ хорошъ, что въ семьѣ его не звали его крестнымъ именемъ, а называли его Фебофисъ или Фебуфисъ, т. е. сынъ Феба. Это имя такъ ему пристало, что онъ удержалъ его за собою въ школѣ, а потомъ оно осталось при немъ во всю его жизнь. Съ возрастомъ оказалось, что при тѣлесной красотѣ ребенокъ былъ осчастливленъ замѣчательными способностями: онъ прекрасно учился наукамъ и рано обнаружилъ даръ и страсть къ живописи.

Отецъ Фебуфиса занимался крупными торговыми операціями и имѣлъ обезпеченное состояніе. Онъ хотѣлъ, чтобы сынъ шелъ по его же дорогѣ, и потому не былъ обрадованъ его художественными наклонностями, но мать ребенка, женщина очень чувствительная и поэтическая, не любила прозаическихъ, торговыхъ занятій мужа и настояла, чтобы Фебуфисъ получилъ возможность слѣдовать своимъ художественнымъ влеченіямъ.

Мать питала несомнѣнную увѣренность, что сына ея ожидаетъ слава, и она отчасти не ошиблась.

Отецъ уступилъ желаніямъ сына, поддерживаемымъ настойчивостью матери, и Фебуфисъ поступилъ въ высшую художественную школу, сначала въ томъ городѣ, гдѣ жили

его родители, а потомъ перешелъ для усовершенствованія въ Римъ, гдѣ на него вскорѣ же стали указывать, какъ на самаго замѣчательнаго изъ современныхъ живописцевъ.

Съ теченіемъ времени на него обращали вниманія больше и больше, и онъ вскорѣ сталъ пользоваться такою извѣстностью, которая уже довольно близко граничила со славою. Были основанія вѣрить, что невдалекѣ его ожидаетъ и настоящая слава. Характеръ у него былъ веселый, немножко заносчивый и дерзкій со старшими, но безпечный и общительный въ сношеніяхъ съ сверстниками, между которыми молодой человѣкъ имѣлъ друзей. Особенно дружны были съ нимъ два молодыхъ живописца, прозванные въ своемъ кружкѣ Пикомъ и Макомъ. Оба эти молодые люди были разныхъ національностей и несходнаго нрава, но находились въ тѣснѣйшей пріязни и никогда почти не разлучались. За то ихъ и прозвали Пикъ и Макъ,—по дѣтской игрѣ: «гдѣ Пикъ, тамъ Макъ,—Пикъ здѣсь—Макъ здѣсь,—Пика нѣтъ и Мака нѣтъ». Макъ былъ крупный брюнетъ съ серьезнымъ, даже нѣсколько суровымъ и задумчивымъ лицомъ, а Пикъ—розовая, бѣлокурая крошка, съ личикомъ изъ тѣхъ, которыхъ зовутъ «овечьею мордочкой». Макъ былъ мыслитель,—его занимали общественные вопросы: онъ скорбѣлъ о человѣческихъ бѣдствіяхъ и задумывался надъ служебными цѣлями искусства, а Пикъ смотрѣлъ на жизнь въ розовыя стекла и отрицалъ въ искусствѣ всѣ посторонніе цѣли, кромѣ самой красоты; притомъ Пикъ любилъ и покутить, но только, несмотря на его неразборчивость, онъ почти никогда не имѣлъ удачи, а Макъ былъ само цѣломудріе и обладалъ всѣми шансами на успѣхи, но онъ ихъ не добивался; Пикъ находилъ почти всѣхъ женщинъ очень милыми, а Макъ смотрѣлъ на всѣхъ равнодушно и все надѣялся когда-нибудь увидѣть одну заповѣдную женщину по своимъ мыслямъ. Она должна была обладать красотою духовной болѣе, чѣмъ тѣлесною,—во всякомъ случаѣ, она непремѣнно должна была имѣть надъ нимъ многія нравственныя превосходства, особенно въ деликатности чувствъ, въ тонкомъ ощущеніи благородства, чести и добра. Она должна была не отдѣлять его отъ міра, какъ любятъ дѣлать многія женщины, а роднить его съ высшимъ міромъ. Если случалось, что Пику и Маку нравилось одно и то же, то оно непремѣнно нравилось имъ съ разныхъ сторонъ.

Имъ, напримѣръ, обоимъ нравился Донъ-Жуанъ, и они оба оправдывали байроновскаго героя, но совершенно съ различныхъ сторонъ: Пикъ находилъ, что перемѣнять привязанности очень весело, а Макъ любилъ Жуана за то, что онъ открывалъ во всѣхъ любившихъ его женщинахъ обманъ, и не хотѣлъ довольствоваться фальсификаціею чувства. Несмотря на такое несходство во взглядахъ, Пикъ и Макъ были, однако, очень дружны: Пикъ уважалъ въ Макѣ его думы и даже заботы о служебныхъ задачахъ искусства, а Макъ любилъ въ Пикѣ искренность, съ какою онъ восхищался каждымъ дарованіемъ, кромѣ своего собственнаго. Оба они жили вмѣстѣ, не богато и не бѣдно, какъ жило въ то время множество людей ихъ среды.

Фебуфиса отыскалъ Пикъ и сказалъ нелюдимому Маку:

— Пойдемъ, посмотримъ человѣка съ большимъ дарованіемъ.

— Въ чемъ же онъ проявилъ свои дарованія?

— Прекрасно пишетъ.

— Что же онъ пишетъ?—спросилъ Макъ.

— Все.

— Все?.. Это много. Пойдемъ и посмотримъ *все*.

— Да, а вотъ ты можешь научить его выбирать лучшее.

Они пошли и подружились сразу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

У Фебуфиса не было недостатка въ фантазіи, онъ прекрасно сочинялъ большія и очень сложныя картины, рисунокъ его отличался правильностью и смѣлостью, а кисть его блистала яркою колоритностью. Ему почти въ одинаковой степени давались сюжеты религіозные и историческіе, пейзажъ и жанръ, но особенно плѣняли вкусъ и чувство фигуры въ его любовныхъ сценахъ, которыхъ онъ писалъ много и которыя часто заходили у него за предѣлы скромности.

Въ послѣднемъ родѣ онъ позволялъ себѣ большія вольности, но грація его рисунка и живая прелесть колоритнаго письма отнимали у этихъ произведеній впечатлѣніе скабрезности и на выставкахъ появлялись такіе сюжеты Фебуфиса, какіе отъ художника меньшихъ дарованій ни за что не были бы приняты. Съ другой же стороны, соблазнительная прелесть картинъ этого рода привлекала къ нимъ

вниманіе самой разнообразной публики и находила ему щедрыхъ покупателей, которые не скупились на деньги.

Такимъ образомъ росло его имя, и онъ получалъ такой значительный заработокъ, что уже не только не требовалъ никакой поддержки отъ родителей, но когда отецъ его умеръ, и дѣла ихъ пошатнулись, то Фебуфисъ уступилъ свою долю отцовскаго наслѣдства брату и сестрѣ и сталъ присылать значительныя суммы нѣжно любимой матери.

Пикъ всему этому шумно радовался, а Макъ серьезно молчалъ или, когда Пикъ очень надоѣдалъ ему своими восторгами и восклицалъ:

— О, до чего онъ можетъ достичь!

Макъ отвѣчалъ:

— До всего; я боюсь, что онъ до чего хочешь достигнетъ.

— Нѣтъ, съ кѣмъ его можно сравнить?

— Съ Ванъ-деръ-Пуфомъ,—отвѣчалъ Макъ.

Ванъ-деръ-Пуфъ было шуточное прозваніе для тѣхъ, кто подавалъ большія надежды съ сомнительными послѣдствіями.

Пикъ за это сердился и находилъ, что Фебуфисъ похожъ на Луку Кранаха, котораго онъ очень любитъ и имѣетъ нѣкоторыя его свойства.

— Въ чемъ же это проявляется?—спрашивалъ Макъ.

— Въ дарованіи, въ смѣломъ характерѣ и въ умѣньѣ гордо держать себя съ великими міра.

Макъ отвѣчалъ, что лучшее умѣнье держать себя съ тѣми, кто почитаетъ себя великими міра, это — стараться не входить съ ними ни въ какія сношенія.

— А если это нельзя?

— Ну, тогда быть отъ нихъ какъ можно дальше.

— Э, братъ, это сочтутъ за робость и униженіе.

— Повѣрь, что въ этомъ только и есть настоящее величіе, которое и они сами чувствуютъ и которое одно можетъ уязвлять ихъ пустую надменность.

— Ну, ты, Макъ, вѣдь аскетъ. Этакъ жить, такъ нельзя будетъ сдѣлать ничего достойнаго въ мірѣ.

А Макъ, наоборотъ, думалъ, что такъ только и можно что-нибудь сдѣлать самое достойное.

— А именно что?

— Прежде всего сберечь *свое достоинство.*

— Ты все о *своемъ* достоинствѣ,—все только о томъ, что для себя.

— Нѣтъ, сохраненіе «достоинства» это не «только для себя», а это потомъ пригодится и для другихъ.

Студію Фебуфиса искали посѣщать самые разнообразные путешественники, но достигали этого не всѣ, кто хотѣлъ. Онъ допускалъ къ себѣ только или извѣстныхъ знатоковъ и цѣнителей искусства, или людей высокаго положенія, вниманіе которыхъ ему льстило и которымъ онъ по преимуществу продавалъ свои картины для ихъ музеевъ и палаццо, и всегда за дорогую цѣну. Но и при этомъ онъ давалъ еще много произвола своимъ художественнымъ прихотямъ и капризамъ, очень часто доводимымъ имъ до непозволительной дерзости и пренебреженія къ сану и свѣтскому положенію своихъ важныхъ посѣтителей. Онъ продавалъ имъ часто не то, что они желали бы у него пріобрѣсть, а то, что онъ самъ соглашался уступить имъ, всегда съ затаеннымъ и мало-скрываемымъ намѣреніемъ заставить ихъ имѣть передъ собою сюжетъ, который могъ служить имъ намекомъ, попрекомъ или непріятнымъ воспоминаніемъ.

Пикъ находилъ это прекраснымъ и художественнымъ, а Макъ называлъ фиглярствомъ.

Произведенія Фебуфиса были въ модѣ, а притомъ же тогда было въ модѣ и потворство капризамъ художниковъ, и потому сколько-нибудь замѣчательнымъ изъ нихъ много позволяли. Люди, самые деспотичные и грозные, требовавшіе, чтобы самые ученые и заслуженные люди въ ихъ присутствіи трепетали, сносили отъ художниковъ весьма часто непозволительныя вольности. Художниковъ это баловало и не всѣ изъ нихъ умѣли держать себя въ предѣлахъ умѣренности и забывались, но, къ удивленію, все это имъ сходило съ рукъ въ размѣрахъ, непонятныхъ для нынѣшняго реальнаго времени.

Особенно они были избалованы женщинами, но еще больше, пожалуй, деспотами, которые отличались своею грозностью и недоступностью для людей всѣхъ ранговъ и положеній, а, между тѣмъ, даже какъ-будто находили удовольствіе въ томъ, что художники обращались съ ними безцеремонно.

Такое было время и направленіе.

Фебуфисъ какъ первенствовалъ между собратіями въ искусствѣ, такъ же отличался смѣлостью и въ художественныхъ фарсахъ и шалопайствахъ. У него было много любов-

пыхъ приключеній съ женщинами, принадлежавшими къ самымъ разнообразнымъ слоямъ въ Римѣ, но была и одна привязанность, болѣе прочная и глубокая, чѣмъ другія. Эта любовь была замѣчательно красивая, блѣдная дѣвушка-римлянка, по имени Марчелла. Она любила красавца-иностранца безъ памяти и безъ всякаго расчета, а онъ и ее цѣнилъ мало. Онъ былъ больше всего занятъ тѣмъ, что съ успѣхомъ соперничалъ съ моднымъ кардиналомъ въ благорасположеніи великосвѣтскихъ римлянокъ и высокорожденныхъ путешественницъ, или, наскучивъ этимъ, охотно пилъ и дрался кулаками въ тавернахъ за мимолетное обладаніе тою или другою изъ тамошнихъ посѣтительницъ. По первой категоріи подвиги его восходили до дуэлей, угрожавшихъ ему высылкою изъ тогдашней папской столицы, а по второй дѣла кончались потасовками или полицейскимъ призывомъ къ порядку, что тоже тогда въ художественномъ мірѣ не почиталось за дурное и служило не въ укоръ, а, наоборотъ, слыло за молодечество.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Сказано, что между любовными исторіями Фебуфиса была одна, которая могла его кое-къ-чему обязывать. Это то самое, что касалось красивой и простосердечной римской дѣвушки, по имени Марчеллы. Она была безвѣстнаго происхожденія и имѣла престарѣлую мать, которую съ большимъ трудомъ содержала своею работой, но замѣчательная красота Марчеллы сдѣлала ей большую извѣстность. Не одинъ Фебуфисъ былъ плѣненъ этою красотой, — молодой, тогда еще малоизвѣстный, патріотъ Гарибальди, на одномъ изъ римскихъ празднествъ, тоже подалъ Марчеллѣ цвѣтокъ, снявъ его со своей шляпы, но Марчелла взяла цвѣтокъ Гарибальди и весело перебросила его Фебуфису, который поймалъ его и, поцѣловавъ, прикололъ къ своей шляпѣ. Гарибальди видѣлъ это, послалъ имъ обоимъ поцѣлуй и крикнулъ: «счастливаго успѣха влюбленнымъ!» Сближеніе ихъ было очень близко и оригинально. Расположенія Марчеллы искали многіе и въ числѣ претендентовъ на ея руку были и богатые люди: въ числѣ такихъ былъ одинъ пармезанецъ. Марчелла его не любила, но мать ея, указывая на свое нездоровье и преклонные годы, требовала отъ дочери «маленькой жертвы». Марчелла согласилась на жертву и сдѣлалась невѣстой, но

подъ самый день свадьбы пошла помолиться Мадоннѣ и безотчетно постучалась въ дверь Фебуфиса. Сюда привела ее нестерпимая любовь, съ которою она напрасно боролась, и она вышла отсюда только черезъ нѣсколько дней и пошла къ пармезанцу сказать, что уже не можетъ быть его женою. Но Фебуфисъ, какъ многіе баловни женщинъ, не хотѣлъ оцѣнить лучше другихъ поступокъ Марчеллы и скоро охладѣлъ къ ней, какъ къ прочимъ. Эта побѣда только вплела новый листокъ въ его любовные лавры, а Марчеллу познакомила съ чувствами матери. Пикъ былъ этимъ смущенъ, а Макъ оскорбленъ и разгнѣванъ: онъ пересталъ говорить съ Фебуфисомъ и не сталъ давать ему руку.

— Это слишкомъ ужъ строго,—говорилъ Пикъ.

Макъ на это не отвѣчалъ, но, встрѣтивъ однажды Марчеллу, сказалъ ей:

— Какъ ты живешь нынче, добрая и честная Марчелла?

— Ты меня называешь *доброю!*

— И честною.

— Спасибо; я живу не худо,—отвѣчала Марчелла.—Съ тѣхъ поръ, какъ у меня есть дитя, я работаю вдвое и, представь себѣ, на все чувствую новыя силы.

— Но ты исхудала.

— Это скоро пройдетъ.

— А ты мнѣ скажи... только скажи откровенно.

— О, все, что ты хочешь... Я знаю тебя—въ тебѣ благородное сердце.

— Согласись быть моей женой.

— Женою?.. Спасибо. Я знаю, что ты благороденъ и добръ... Женою!.. Нѣтъ, милый Макъ, я уже никогда не буду ничьею женой.

— Почему?

— Почему?—Марчелла покачала своею красивою головой и отвѣчала:—Я вѣдь люблю! Развѣ ты хочешь, чтобы между нами всегда былъ третій въ поминѣ? Нѣтъ, милый Макъ, я любила и это останется вѣчно. Полюби лучше другую.

Но благородство и гордость Марчеллы были подвергнуты слишкомъ тяжелому испытанію: мать ее безпрестанно укоряла ихъ тяжкою бѣдностью,—ея престарѣлые годы требовали удобствъ и покоя,—дитя отрывало руки отъ занятій,—бѣдность всѣхъ ихъ душила. О Марчеллѣ пошли недобрые слухи, въ которыхъ имя доброй дѣвушки связывалось съ

именемъ богатаго иностранца. Къ сожалѣнію, это не было пустою басней. Марчелла скрывалась отъ всѣхъ и никому не показывалась. Пикъ и Макъ о ней говорили только одинъ разъ и очень немного. Пикъ сказалъ:

— Слышалъ ты, Макъ, что говорятъ о Марчеллѣ?

— Слышалъ,—отвѣчалъ Макъ, сидя за мольбертомъ.

— И что же, ты этому вѣришь или не вѣришь?

— Вѣрю, конечно.

— Почему же конечно? Ты вѣдь былъ о ней всегда хорошаго мнѣнія.

Макъ отошелъ отъ мольберта, посмотрѣлъ на свою картину и, помедливъ, сказалъ:

— Я о ней и теперь остаюсь хорошаго мнѣнія.

Теперь Пикъ помолчалъ и потомъ спросилъ:

— Развѣ она не могла поступить лучше?

— Не знаю, можетъ-быть, и не могла.

— Значитъ, у нея нѣтъ воли, нѣтъ характера?

— Ты спроси объ этомъ того, кто устроилъ испытаніе для ея воли и характера.

— Но она могла выйти замужъ?

— Не любя?

— Хотя бы и такъ.

— Или... быть-можетъ, даже любивши другого?

— Ну, и все было-бъ лучше.

— Можетъ-быть, только она тогда не была бы тою Марчеллой, которая стоила бы моего лучшаго мнѣнія.

— А теперь?

— Изъ двухъ золъ она выбрала то, которое меньше.

— Меньше!.. Продать себя... это ты считаешь за меньшее зло?

— Не себя.

— Какъ не себя? Неужто этотъ богачъ ѣздитъ къ ней читать съ нею Петрарку или Данте?

— Нѣтъ; она продала ему свое прекрасное тѣло и, навѣрное, не обѣщала отдать свою душу. Ты различай между *я* и *мое*: я—это я въ своей сущности, а тѣло мое—только моя принадлежность. Продать его—страшная жертва, но продать свою душу, свою правду, обѣщаться любить другого—это гораздо подлѣе, и потому Марчелла дѣлаетъ меньшее зло.

— Есть еще средство!—замѣтилъ Пикъ.

— Какое?

— Прекратить свою жизнь. Смерть лучше позора.

Макъ сложилъ руки и сказалъ:

— Какъ, убить себя?!. Женщинѣ убить себя за то, что ее бросили, и бросить на всѣ мученія нищеты свою мать и своего ребенка?.. И ты это называешь лучшимъ? Нѣтъ, это не лучше. Лучше перенести все на себѣ и... Впрочемъ, иди лучше, Пикъ, читай уроки о чести другому,—мы о ней больше съ тобою никогда не должны говорить.

— Хорошо,—отвѣчалъ Пикъ:—но ты мнѣ никогда не докажешь...

— Ахъ, оставь про доказательства! Я никогда тебѣ и не буду доказывать того, что для меня ясно, какъ солнце, а ты знай, что доказать можно все на свѣтѣ, а въ жизни вѣрныя доказательства часто стоятъ менѣе, чѣмъ вѣрныя чувства.

Въ отношеніи Марчеллы Макъ имѣлъ «вѣрныя чувства» и вѣрно отгадывалъ, что двигало ея поступками. Другіе о ней позабыли,—Фебуфисъ ею не интересовался. Онъ съ той поры имѣлъ много другихъ успѣховъ у женщинъ, которыя, помимо своей красоты, льстили его самолюбію, и вообще шелъ на быстрыхъ парусахъ при слабомъ рулѣ, который не правилъ судномъ, а предавалъ его во власть случайнымъ теченіямъ. Въ характерѣ его все болѣе обозначались признаки необузданности и своеволія. Успѣхи его туманили. Онъ становился капризенъ.

— Я хотѣлъ бы знать, чего онъ хочетъ?—говорилъ Пикъ.

— А я не хотѣлъ бы объ этомъ знать, но знаю,—отвѣчалъ Макъ.

— Чего же онъ хочетъ?

— Своей погибели,—и она будетъ его удѣломъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Фебуфису было около тридцати лѣтъ, когда онъ сбылъ съ рукъ исторію Марчеллы и потомъ въ теченіе одного года сдѣлалъ два безумные поступка: во-первыхъ, онъ послалъ дерзкій отказъ своему правительству, которое, по его мнѣнію, недостаточно почтительно приглашало его возвратиться на родину, чтобы принять руководство художественными работами во дворцѣ его государя; а, во-вторыхъ, произвелъ выходку, скандализовавшую цѣлую столицу. Жена одного изъ иностранныхъ дипломатовъ при папѣ удѣлила Фебуфису какую-то долю какого-то своего вниманія и по-

томъ,—какъ ему показалось,—занялась кардиналомъ. Фебуфисъ вскипѣлъ гнѣвомъ и выставилъ у себя въ мастерской самую неприличную картину въ родѣ извѣстной классической Pandora. На этомъ полотнѣ онъ изобразилъ упомянутую красивую даму въ объятіяхъ знаменитаго въ свое время кардинала, а себя поставилъ близъ нихъ вмѣсто сатира, котораго отводитъ старуха со свѣчкой.

Картина эта представлялась забавною и ѣдкою всѣмъ, кромѣ малоразговорчиваго Мака.

— Твое цѣломудріе оскорблено моею *Пандорой?*—спросилъ его однажды вечеромъ, сидя за виномъ, Фебуфисъ.

Макъ прервалъ свое долгое молчаніе и отвѣтилъ ему:

— Да, съ этой поры я не перестану жалѣть, чѣмъ ты способенъ заниматься.

— Способенъ!.. Какъ это глупо! Я способенъ заниматься всѣмъ... и я, наконецъ, не понимаю, почему иногда не позволить себѣ шалость.

— Ты называешь это шалостью?

— Конечно. А ты?

— По-моему, это низость, это растлѣніе другихъ и самого себя.

— Такъ ты видишь здѣсь одинъ цинизмъ?

— Нѣтъ, я вижу все, что здѣсь есть.

— Что же, напримѣръ?

— Задоръ и вызовъ на борьбу людей, которыхъ не стоитъ трогать.

— Отчего? Они стоятъ довольно высоко и трогать ихъ не безопасно.

— А-га! такъ тебѣ это доставляетъ удовольствіе?

— И очень большое.

Макъ тихо двинулъ плечами и, улыбнувшись, сказалъ:

— Я предпочелъ бы беречь свои силы, чѣмъ ихъ такъ раскидывать.

— Въ такомъ случаѣ, всѣ тѣ, кто желаетъ заслужить себѣ одобреніе властей, имѣютъ теперь отличный случай достичь этого,—стоитъ только обнаруживать пренебреженіе *Пандорѣ*. Ты это дѣлаешь?

Макъ посмотрѣлъ на него пристальнымъ взглядомъ и сказалъ:

— Ты не задерешь меня! Я не ссорюсь изъ-за пустяковъ и не люблю, когда ссорятся. Мнѣ нѣтъ дѣла до тѣхъ,

которые ищутъ для себя расположенія у властей, но мнѣ нравятся тѣ, которые не задираются съ ними.

— Ну, не хитри, Макъ, ты—скрытый аристократъ.

— Пожалуй, я—аристократъ въ томъ смыслѣ, что я не хочу подражать слугамъ, передразнивающимъ у себя на застольной своихъ господъ. Я совсѣмъ не интересуюсь этими... господами.

— Другими словами, ты бережешь себя для чего-то лучшаго.

— Очень быть можетъ.

Фебуфисъ ему насмѣшливо поклонился.

— Можешь мнѣ и не кланяться,—спокойно сказалъ ему Макъ.

И Макъ, заплативъ свои деньги, ушелъ ранѣе другихъ изъ таверны.

Обѣ выходки Фебуфиса, какъ и слѣдовало ожидать, не прошли даромъ: первая оскорбила правительство его страны и Фебуфису нельзя было возвратиться на родину, а вторая подняла противъ него страшную бурю въ самомъ Римѣ и угрожала художнику наемнымъ убійствомъ.

Фебуфисъ отнесся къ тому и къ другому съ полнымъ легкомысліемъ и даже бравировалъ своимъ положеніемъ: онъ ни съ того, ни съ сего написалъ своему государю, что очень радъ не возвращаться, ибо изъ всѣхъ формъ правленія предпочитаетъ республику, а насчетъ картины, компрометировавшей даму и кардинала, объявилъ, что это «мечта живописца», и позволилъ ее видѣть посѣтителямъ.

Въ это самое время по Европѣ путешествовалъ одинъ молодой герцогъ, о которомъ тогда говорили, будто онъ располагалъ несмѣтными богатствами. О немъ тогда было очень много толковъ; увѣряли, будто онъ отличался необыкновенною смѣлостью, щедростью и непреклонностью какихъ-то своихъ совершенно особенныхъ и твердыхъ убѣжденій, съ которыми, долго ли, коротко ли, придется посчитаться очень многимъ. Это дѣлало его интереснымъ со стороны политической, а въ то же время герцогъ слылъ за большого знатока и цѣнителя разнообразныхъ произведеній искусства и особенно живописи.

Высокій путешественникъ прибылъ въ Римъ полуинкогнито изъ Неаполя, гдѣ всѣ имъ остались очень довольны. Папскій Римъ ему не понравился. Разсказывали, будто онъ

сказалъ какому-то дипломату, что «дѣло поповъ—молиться, но не ихъ дѣло править», и не только не хотѣлъ принимать здѣсь никакихъ официальныхъ визитовъ, но даже не хотѣлъ осматривать и многихъ замѣчательностей вѣчнаго города.

Властямъ, которыя надѣялись вступить съ герцогомъ въ нѣкоторыя сношенія, было крайне непріятно, что онъ собирался уѣхать отсюда ранѣе, чѣмъ предполагалось по маршруту.

Говорили, будто одному изъ наиболѣе любимыхъ путешественникомъ лицъ въ его свитѣ былъ предложенъ богатый подарокъ за то, если оно сумѣетъ удержать герцога на опредѣленное по маршруту время. Это лицо,—кажется, адъютантъ,—любя деньги и будучи смѣло и находчиво, позаботилось о своихъ выгодахъ и сумѣло заинтересовать своего повелителя разсказомъ о скандалезномъ происшествіи съ картиною Фебуфиса, которая какъ разъ о ту пору оскорбила римскихъ монаховъ и о ней шелъ говоръ въ художественныхъ кружкахъ и въ свѣтскихъ гостиныхъ.

Хитрость молодого царедворца удалась вдвойнѣ: герцогъ заинтересовался разсказомъ и пожелалъ посѣтить мастерскую Фебуфиса. Этимъ предпочтеніемъ онъ могъ нанести уколъ властнымъ монахамъ, и отъ этого одного у него прошла хандра, но зато она слишкомъ рѣзко уступила мѣсто нетерпѣнію, составлявшему самую сильную черту характера герцога.

Фебуфисъ входилъ въ кругъ идей, для него постороннихъ, и неожиданно получилъ новое значеніе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Тотъ же самый адъютантъ, которому удалось произвести перемѣну въ расположеніи высокаго путешественника, былъ посланъ къ Фебуфису извѣстить его, что такая-то особа, путешествующая подъ такимъ-то инкогнито, желаетъ завтра быть въ его мастерской. Фебуфису показалось, что это сдѣлано какъ будто надменно, и его характеръ нашелъ себѣ здѣсь пищу.

— Развѣ вашъ герцогъ такъ любитъ художество?—спросилъ онъ небрежно у адъютанта.

— Да, герцогъ любитъ искусство.

— И что-нибудь въ немъ понимаетъ?

— Какъ вы странно спрашиваете! Герцогъ прекрасный цѣнитель въ живописи.

— Я слыхалъ только, что онъ хорошій покупатель.

— Нѣтъ, я говорю вамъ именно то, что и хочу сказать: герцогъ—хорошій *цѣнитель*.

— Быть цѣнителемъ, это значитъ не только знать технику, но имѣть понятія о благородныхъ задачахъ искусства.

— Ми... да!.. Онъ ихъ имѣетъ.

— Въ такомъ разѣ вы повезите его къ Маку.

— Кто это Макъ?

— Макъ? Это мой славный товарищъ и славный художникъ. У него превосходныя идеи, и я когда-то пользовался его совѣтомъ и даже началъ было картину «*Бросься внизъ*», но не могъ справиться съ этою идеей.

— *Бросься внизъ?*

— Да... «*Бросься внизъ*».

Гостю показалось, что хозяинъ надъ нимъ обидно шутитъ, и онъ сухо отвѣтилъ:

— Я не понимаю такого сюжета.

— Позвольте усомниться.

— Я не имѣю привычки шутить съ незнакомыми.

— «Бросься внизъ»—это изъ *Евангелія*.

— Я не знаю такого текста.

— Сатана говоритъ Христу: «бросься внизъ».

Адъютантъ сконфузился и сказалъ:

— Вы правы, я вспомнилъ,—это сцена на кровлѣ храма?

— Вы называете это «сценою»? Ну, прекрасно, будь по-вашему: станемъ называть евангельскія событія «сценами», но, впрочемъ, все дѣло въ благородствѣ задачи. Обыкновенно вѣдь пишутъ сатану съ рожками, и онъ приглашаетъ Христа броситься за какія-то царства... По идеѣ Мака выходило совсѣмъ не то: его сатана очень внушительный и практическій господинъ, который убѣждаетъ вдохновеннаго правдолюбца только снизойти съ высотъ его духовнаго настроенія и немножко «броситься внизъ», придти отъ правды Бога къ правдѣ герцоговъ и королей, войти съ нимъ въ союзъ... а Христосъ, вы знаете, этого не сдѣлалъ. Макъ думаетъ, что у нихъ шло дѣло объ этомъ, и что Христосъ *на это* не согласился.

— Да, конечно. Это тоже интересно... Но герцогъ вообще хочетъ видѣть всѣ ваши работы.

— Двери моей студіи открыты и ваш повелитель можетъ въ нихъ войти, какъ и всякій другой.

— Онъ непремѣнно желаетъ быть у васъ завтра.

— Непремѣнно завтра?

— Да.

— Въ такомъ случаѣ, лучше пусть онъ придетъ послѣзавтра.

— Позвольте!.. Но почему же послѣзавтра, а не завтра?

— А почему именно непремѣнно завтра, а не послѣзавтра?

— Нѣтъ, ужъ позвольте завтра!

— Нѣтъ, послѣзавтра!

Адъютантъ молча хлопнулъ нѣсколько разъ глазами, что составляло его привычку въ минуты усиленныхъ соображеній, и проговорилъ:

— Что же это значитъ?

— Ничего, кромѣ того, что я вамъ сказалъ, — отвѣчалъ Фебуфисъ и, вспрыгнувъ на высокій табуретъ передъ большимъ холстомъ, который расписывалъ, взялъ въ руки кисти и палитру.

Все существо его ликовало и озарялось торжествомъ въ самомъ его любимомъ родѣ: онъ могъ глядѣть свысока на стоявшаго около него свѣтскаго человѣка, присланнаго могущественнымъ лицомъ, и, такимъ образомъ, унижалъ и посла, и самого пославшаго.

Адъютантъ не скрывалъ своего непріятнаго положенія и сказалъ:

— Я не могу передать герцогу такого отвѣта.

— Отчего?

— Онъ не терпитъ отказовъ.

— Ну, нечего дѣлать, потерпитъ.

— Онъ не согласится остаться здѣсь до послѣзавтра.

— Человѣкъ, который такъ любитъ искусство, согласится.

— Онъ назначилъ завтра вечеромъ уѣхать.

— Онъ самъ себѣ господинъ и всегда можетъ отсрочить.

Адъютантъ разсмѣялся и отвѣчалъ:

— Вы оригинальный человѣкъ.

— Да, я не рабская копія.

— Безъ сомнѣнія, герцогъ можетъ остаться вездѣ, сколько ему угодно; но поймите же, что съ нимъ не принято такъ обходиться. Ему нельзя диктовать.

— Значитъ, у него есть характеръ?

— И очень большой.

— Да, говорятъ, и я слышалъ — это интересно! Такъ вотъ мы его испробуемъ: вы скажите ему, что такъ и быть, пущу его къ себѣ, но только послѣзавтра.

— Прошу васъ, оставьте это, маэстро!

— Не могу, господинъ адъютантъ, не могу, — я тоже, — рекомендуюсь вамъ, — человѣкъ упрямый.

— На что вамъ его сердить?

— По совѣсти сказать, ни на что, но мнѣ теперь взошла въ голову такая фантазія, и вы со мною, съ позволенія вашего, ни чорта не подѣлаете ради всѣхъ герцоговъ вмѣстѣ и порознь.

— Вы дерзки.

— Хотите дуэль?

— Очень хотѣлъ бы, но, къ сожалѣнію, я теперь не могу принять дуэли.

— Почему?

— Конечно, не потому, что я не желаю васъ убить или страшусь быть убитымъ, но потому, что я состою въ свитѣ такого лица, путешествіе котораго не должно сопровождаться никакими скандалами.

— Хорошо, не нужно дуэли, но я вамъ предлагаю пари.

— Какое? въ чемъ оно состоитъ?

— Оно состоитъ вотъ въ чемъ: мнѣ кажется, будто я знаю вашего герцога больше, чѣмъ вы.

— Это интересно.

— Да, и я это утверждаю и держу пари, что если вы передадите ему то, что̀ я вамъ сказалъ, то онъ останется здѣсь еще на день.

— Ни за что на свѣтѣ!

— Вы ошибаетесь.

— Оставимъ этотъ разговоръ.

— А я вамъ ручаюсь, что я не ошибаюсь; онъ чудесно прождетъ до послѣзавтра, и я вамъ совѣтую принять пари, которое я предлагаю.

— Я желалъ бы знать, въ чемъ же будетъ заключаться самое пари?

— Въ томъ, что если вашъ повелитель останется здѣсь *на три дня*, то вы безъ всякихъ отговорокъ должны исполнить то, что̀ я закажу вамъ; а если онъ не останется, то я исполню любое приказаніе, какое вы мнѣ дадите. Наши

шансы равны, и даже, если хотите знать, я рискую больше, чѣмъ вы.

— Чѣмъ?

— Я не буду знать, точно ли вы передадите мои слова.

— Я передамъ ихъ въ точности; но, въ свою очередь, я могу принять ваше условіе только въ томъ случаѣ, если въ заказѣ, который вы мнѣ намѣрены сдѣлать въ случаѣ моего проигрыша, не будетъ ничего унизительнаго для моей чести.

— Безъ сомнѣнія.

— Въ такомъ случаѣ...

— Вы принимаете мое пари?

— Да.

— Это прелестно: мы заключаемъ пари на герцога.

— Мнѣ непріятно, что вы надъ этимъ смѣетесь.

— Я не буду смѣяться. Пари идетъ?

— Извольте.

— Я подаю вамъ мою руку съ самыми серьезными намѣреніями.

— Я съ такими же ее принимаю.

Молодые люди ударили по рукамъ, и офицеръ откланялся и ушелъ, а Фебуфисъ, проводивъ его, отправился въ кафе, гдѣ провелъ нѣсколько часовъ съ своими знакомыми и весело шутилъ съ красивыми служанками, а когда возвратился вечеромъ домой, то нашелъ у себя записку, въ которой было написано:

«*Онъ* остается здѣсь съ тѣмъ, чтобы быть у васъ въ студіи послѣзавтра».

Фебуфисъ небрежно смялъ записку и, улыбнувшись, написалъ и послалъ такой же короткій отвѣтъ. Въ отвѣтѣ этомъ значилось слѣдующее:

«*Онъ* пробудетъ здѣсь *три дня*».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Слѣдующій день Фебуфисъ провелъ, по обыкновенію, за работой и принималъ нѣсколькихъ иностранцевъ, которые внимательно осматривали его талантливыя работы, а втайнѣ всего болѣе заглядывались на *Messaline dans la loge de Lisisca*, которая занимала большое и видное мѣсто. Картина во весь день не была задернута гобеленомъ, и ее видѣли всѣ, кто посѣтилъ студію.

Потомъ Фебуфисъ былъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, которыя

имѣлъ въ обычаѣ посѣщать ежедневно, но вернулся домой нѣсколько ранѣе и, запершись дома съ слугою, занялся приведеніемъ своей мастерской въ большой порядокъ.

Семейство желчнаго, больного скульптора, обитавшее въ нижнемъ жильѣ, которое находилось подъ ателье Фебуфиса, очень долго слышало шумъ и возню отъ передвиганія тяжелыхъ мольбертовъ. Можно было думать, что художникъ наскучилъ старымъ расположеніемъ своей мастерской, или ему, можетъ-быть, пришла фантазія исполнить какую-нибудь новую затѣю съ *Messaline dans la loge de Lisisca.*

Это такъ и было.

На слѣдующій день догадки нижняго семейства подтвердились и разъяснились: тотчасъ послѣ ранней сіесты мастерскую Фебуфиса посѣтилъ именитый путешественникъ въ сопровожденіи двухъ лицъ изъ своей свиты.

Одинъ изъ нихъ былъ престарѣлый, но молодящійся сановникъ, во фракѣ и съ значительнымъ количествомъ звѣздъ. Онъ былъ первый совѣтникъ герцога по всѣмъ дѣламъ, касающимся иностранныхъ сношеній, и занималъ должность начальника этого вѣдомства. Въ числѣ звѣздъ, украшавшихъ его лацкана, были и такія, которыхъ никто другой, кромѣ его, не имѣлъ. Старецъ носилъ превосходно взбитый на головѣ парикъ, блисталъ бѣлѣйшими зубами и былъ подрисованъ и зашнурованъ въ корсетъ. Лѣта его были неизвѣстны, но онъ держался бодро, хотя и вздрагивалъ точно подъ ударами вольтова столба. Чтобы маскировать это непроизвольное движеніе, онъ отъ времени до времени дѣлать то же самое нарочно. Въ существѣ это была дипломатическая хартія, вся уже выцвѣтшая, но еще кое-какъ разбираемая при случаѣ. Въ немъ была смѣсь джентльмена, маркиза и дворецкаго, но утверждали, будто въ дѣлахъ онъ ловокъ и очень находчивъ. Другой при герцогѣ былъ тотъ самый молодой адъютантъ, съ которымъ Фебуфисъ держалъ свое пари о «завтра и послѣзавтра».

Самъ герцогъ и оба его провожатые были въ обыкновенномъ партикулярномъ платьѣ, въ которомъ, впрочемъ, герцогъ держался совсѣмъ по-военному. Онъ былъ представительный и даже красивый мужчина, имѣлъ очень широкія манеры и глядѣлъ какъ человѣкъ, который не боится, что его кто-нибудь остановитъ; онъ поводилъ плечами, какъ-

будто на немъ были эполеты, и шелъ легко, словно только лишь изъ милости касался ногами земли.

Взойдя въ atelier, герцогъ окинулъ все помѣщеніе глазами и удивился. Онъ какъ-будто увидалъ совсѣмъ не то, что думалъ найти, и остановился посреди комнаты, насупивъ брови, и, оборотясь къ адъютанту, сказалъ:

— Это не то.

Адъютантъ покраснѣлъ.

— Это не то, — повторилъ громко герцогъ и, сдѣлавъ шагъ впередъ, подалъ художнику руку.

Фебуфисъ ему поклонился.

— А гдѣ же это?

Фебуфисъ смотрѣлъ съ недоумѣніемъ то на герцога, то на его провожатыхъ.

— Я спрашиваю это... то, что у васъ есть...

— Здѣсь рѣшительно все, что можетъ быть достойно вашего вниманія.

— Но было еще что-то?

— Кое-какой хламъ... пустяки, недостойные вашего вниманія.

— Прекрасно... благодарю, но я не хочу, чтобы вы со мною чинились: не обращайте вниманія, что я здѣсь, и продолжайте работать, — я хочу не спѣша осмотрѣть все, что есть у васъ въ atelier.

И онъ началъ скоро ходить взадъ и впередъ и вдругъ опять сказалъ:

— Да гдѣ же, наконецъ, *то?*

— Что вы желаете видѣть?—спросилъ Фебуфисъ.

— Что?

Герцогъ гнѣвно метнулъ глазами и не отвѣчалъ, а его адъютантъ стоялъ переконфуженный, но статскій сановникъ шепнулъ:

— Герцогъ хочетъ видѣть *ту* картину... *ту* вашу картину... о которой всѣ говорятъ.

— Ахъ, я догадываюсь,—отвѣчалъ Фебуфисъ и откатилъ подставку, на которой стояло обернутое лицомъ къ стѣнѣ полотно съ новымъ многоличнымъ историческимъ сюжетомъ.

— Не то! — вскричалъ герцогъ. — Что изображаетъ эта картина?

— Она изображаетъ знаменитаго въ XVI вѣкѣ живописца Луку Кранаха.

— Ну?

— Онъ, какъ извѣстно, былъ почтенъ большою дружбой Іоанна Великодушнаго.

— А что далѣе?

— Художникъ умѣлъ быть благороднѣе всѣхъ высокорожденныхъ льстецовъ и царедворцевъ, окружавшихъ Іоанна, и когда печальная судьба обрекла его покровителя на заточеніе, его всѣ бросили, кромѣ Луки Кранаха.

— Очень благородно, но... что еще?

— Лука Кранахъ одинъ добровольно раздѣлялъ неволю съ Іоанномъ въ теченіе пяти лѣтъ и поддерживалъ въ немъ душевную бодрость.

— Хорошо!

— Да, они не только не унывали въ заточеніи, но даже успѣли многому научиться и еще болѣе возбудить свои душевныя силы. Я на своей картинѣ представилъ, какъ они проводили свое время: вы видите здѣсь...

— Да, я вижу, прекрасно вижу.

— Іоаннъ Великодушный читаетъ вслухъ книгу, а Лука Кранахъ слушаетъ чтеніе и самъ пишетъ этюдъ нынѣшней знаменитой вѣнской картины «*Поцѣлуй Іуды*»...

— Ага! намекъ предателямъ!

— Да, вокругъ узниковъ миръ и творческая тишина; можно думать, что книга — историческая и, можетъ-быть, говоритъ о нравахъ царедворцевъ.

— Дрянь!—оторвалъ герцогъ.—Вы прекрасно будете поступать, если будете всегда карать эти нравы.

Фебуфисъ продолжалъ указывать муштабелемъ на изображеніе Кранаха и говорилъ съ оживленіемъ:

— Я хотѣлъ выразить въ лицѣ Кранаха, что онъ старается проникнуть характеръ предателя и проникаетъ его... Онъ изображаетъ Іуду не злымъ, не скупцомъ, продающимъ друга за ничтожную цѣну, а только узкимъ, раздраженнымъ человѣкомъ.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это прекрасно!

— Это человѣкъ, который не можетъ снести широты и смѣлости Христа, вдохновеннаго мыслью о любви ко всѣмъ людямъ безъ различія ихъ породы и вѣры. Съ этой картины Кранахъ началъ ставить внизу монограммою сухого, тощаго дракона въ пятой манерѣ.

— Помню: сухой и тощій драконъ.

— Есть преданіе, будто онъ растиралъ для этого краску съ настоящею драконовою кровью...

— Да... Но все это не то!—перебилъ его герцогъ.—Гдѣ же то?!. Я хочу видѣть вашу голую женщину!

— Голую женщину?

— Ну, да, голую женщину!—подсказалъ ему старый сановникъ.

— Ту голую женщину, которая вчера была на этомъ мольбертѣ,—подсказалъ съ другой стороны адъютантъ.

— Ахъ, вы это называете *то*?..

— Ну, да!

— Да, да.

— Но вы ошибаетесь, полковникъ, это вѣдь было не вчера, а позавчера.

— Оставьте споръ и покажите мнѣ, гдѣ голая женщина?—молвилъ герцогъ.

— Я думалъ, что она не стоитъ вашего вниманія, ваша свѣтлость, и убралъ ее.

— Достаньте.

— Она вынесена далеко и завалена хламомъ.

— Для чего же вы это сдѣлали?

Фебуфисъ улыбнулся и сказалъ:

— Я могу быть откровеннымъ?

— Конечно!

— Я такъ много слышалъ о вашей строгости, что проработалъ всю ночь за перестановкою моей мастерской, чтобы только убрать нескромную картину въ недоступное мѣсто.

— Не находчиво. Впрочемъ, меня любятъ представлять звѣремъ, но... я не таковъ.

Фебуфисъ поклонился.

— Я хочу видѣть вашу картину.

— Чтобы доставить вамъ удовольствіе, я готовъ проработать другую ночь, но едва могу ее достать развѣ только къ завтрашнему дню.

Посѣтителю понравилась веселая откровенность Фебуфиса, а также и то, что онъ его будто боялся. Лицо герцога приняло смягченное выраженіе.

— Хорошо,—сказалъ онъ:—достаньте. Я остаюсь здѣсь еще до завтра.

Онъ не сталъ ничего больше разсматривать и уѣхалъ съ своими провожатыми, а Фебуфисъ обернулъ опять лицомъ

къ стѣнѣ полотна съ *Сатаной и Кранахомъ*, а *Пандору* поставилъ на мольбертъ и закрылъ гобеленомъ, подвижно ходившимъ на вздержковыхъ кольцахъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Устроивъ у себя въ мастерской все опять какъ было, по-старому, Фебуфисъ пошелъ, по обыкновенію, вечеромъ въ кафе, гдѣ сходились художники, и засталъ тамъ, въ числѣ прочихъ, скульптора, занимавшаго помѣщеніе подъ его мастерскою. Они повидались дружески, какъ всегда было прежде; но скульпторъ скоро началъ подпучивать надъ демократическими убѣжденіями Фебуфиса и разсказалъ о вознѣ, которую онъ слышалъ у него въ мастерской.

— Я не могъ этого понять до тѣхъ поръ, — говорилъ скульпторъ:—пока не увидалъ сегодня входившаго къ тебѣ герцога.

— Да, и когда ты его увидалъ, ты тоже ничего не понялъ.

— Я понялъ, что ты тоже не прочь поддѣлываться.

— Къ кому?

— Къ великимъ міра.

— Ну!

— Въ самомъ дѣлѣ! Да еще къ такимъ, какъ этотъ герцогъ, который, говорятъ, рычитъ, а не разговариваетъ съ людьми по-человѣчески.

— Это неправда.

— Ты за него заступаешься?

— А отчего бы нѣтъ?

— Онъ тебя причаровалъ?

— Онъ держалъ себя со мною какъ бравый малый... немножко по-солдатски, но... онъ мнѣ понравился, и я даже не хотѣлъ бы, чтобы о немъ говорили неосновательно.

— Онъ купилъ чѣмъ-то твое расположеніе.

Фебуфисъ вспыхнулъ. Его горячій и вспыльчивый нравъ не дозволилъ ему ни отшутиться, ни разъяснить своего поведенія,—онъ увидѣлъ въ намекѣ скульптора нестерпимое оскорбленіе и въ безумной запальчивости отвѣтилъ ему еще большимъ оскорбленіемъ. Завязался споръ и дошелъ до того, что Фебуфисъ схватился за стилетъ. Скульпторъ сдѣлалъ то же, и они мгновенно напали одинъ на другого. Ихъ розняли, но Фебуфисъ, однако, успѣлъ нанести скульптору

легкую царапину, я самъ получилъ довольно серьезный уколъ въ правую руку.

Въ дѣло сейчасъ же вмѣшалась полиція,—римскія власти обрадовались случаю наказать художника, оскорбившаго своею нескромною картиной кардинала. Фебуфисъ, какъ зачинщикъ схватки, ночью же получилъ извѣщеніе, что онъ долженъ оставить Римъ до истеченія трехъ сутокъ.

Гнѣвъ овладѣлъ Фебуфисомъ въ такой степени, что онъ не заботился о послѣдствіяхъ и сидѣлъ въ своей мастерской, когда къ нему онять вошли герцогъ-incognito съ его молодымъ провожатымъ и старцемъ со звѣздою.

Фебуфисъ привсталъ при ихъ входѣ и, держа правую руку на перевязи, лѣвою открылъ картину.

Высокій гость сразу обнялъ взглядомъ «*Пандору*», прищурилъ лѣвый глазъ и расхохотался,—столько было въ ней нескромнаго и въ нескромномъ смѣшного. Картина, видимо, доставляла зрителямъ величайшее наслажденіе и привела герцога въ самое доброе расположеніе. Онъ протянулъ художнику руку. Тотъ извинился, что подаетъ лѣвую руку.

— Принимаю ее,—отвѣчалъ гость:—она ближе къ сердцу. А, кстати, я слышалъ, съ вами случилась непріятность?

— Я не обращаю на это вниманія, ваша свѣтлость.

— Однако, васъ высылаютъ изъ папскихъ владѣній?

— Да.

— Въ этой исторіи я оказываюсь немножко причиненъ... Я былъ бы очень радъ быть вамъ полезенъ.

— Я на это не разсчитывалъ; но вы были мой гость, и я не хотѣлъ, чтобы о васъ говорили неуважительно.

— Вы поступили очень благородно. Сколько стоитъ «*Кранахъ*»?

Фебуфисъ сказалъ цѣну.

— Это дешево. Я ее покупаю и плачу вдвое.

— Это сверхъ мѣры и я...

— Ничего не сверхъ мѣры: благородная идея дорого стоитъ. И, кромѣ того, во всякомъ случаѣ, я еще вашъ должникъ. Скажите мнѣ, куда вы теперь намѣрены уѣхать и что намѣрены дѣлать?

— Я застигнутъ врасплохъ и ничего не знаю.

— Обдумайтесь скорѣе. Вы вѣдь не въ ладахъ съ вашимъ государемъ?

— Да, ваша свѣтлость.

— Это не хорошо. Я могу просить за васъ.

— Покорно васъ благодарю. Я не желаю прощенія.

— Дурно. Впрочемъ, всѣ вы, художники, всегда съ фантазіями; но я, хотя и не художникъ, а мнѣ тоже иногда приходятъ фантазіи: не хотите ли вы ѣхать со мною?

— Какъ съ вами? Куда?

— Куда Богъ понесетъ. Со мною вы можете уѣхать ранѣе, чѣмъ вамъ назначено, и мы посѣтимъ много любопытныхъ мѣстъ... Кстати, вы мнѣ можете пригодиться при посѣщеніи галлерей; а я вамъ покажу дикія мѣстности и дикій воинственный народъ, быть котораго можетъ представить много интереснаго для вашего искусства... Другими никакими соображеніями не стѣсняйтесь—это все дѣло товарища, который васъ съ собой приглашаетъ.

Фебуфисъ стоялъ молча.

— Значитъ, ѣдемъ?—продолжалъ гость.—Сдѣлаемъ вмѣстѣ путешествіе, а потомъ вы свободны. Рука ваша пройдетъ и вы опять будете въ состояніи взяться за кисти и за палитру. Мы разстанемся тамъ, гдѣ вы захотите меня оставить.

— Вы такъ ко мнѣ милостивы,—перебилъ Фебуфисъ:—я опасаюсь, какъ бы мысль о разлукѣ не пришла очень поздно.

Гость улыбнулся.

— Вы «опасаетесь», вы думаете, что можете пожелать разстаться со мною, когда будетъ «поздно»?

Фебуфисъ сконфузился своей неясно выраженной мысли.

— Ничего, ничего! Я люблю чистосердечіе... Все, что чистосердечно, то все мнѣ нравится. Я приглашаю васъ быть моимъ товарищемъ въ путешествіи, и если вы запоздаете разстаться со мною на дорогѣ, то я приглашаю васъ къ себѣ, и ручаюсь, что вамъ у меня будетъ не худо. Вы найдете у меня много дѣла, которое можетъ дать просторъ вашей кисти, а я подыщу вамъ невѣсту, которая будетъ достойна васъ умомъ и красотою и дастъ вамъ невозмутимое домашнее счастье. Наши женщины прекрасны.

— Я это знаю,—отвѣчалъ Фебуфисъ.

— Только онѣ прекрасныя жены, но позировать въ натурѣ не пойдутъ. Такъ это рѣшено: вы мой товарищъ?

— Я вашъ покорнѣйшій слуга.

— Прекрасно! И вы съ этой же секунды увидите, что это довольно удобно: берите шляпу и садитесь со мною.

Распоряженія и сборы объ устройствѣ вашей студіи не должны васъ волновать. При ранѣ, хотя бы и не опасной, это вредно... Довѣрьте это ему.

Гость показалъ глазами на своего адъютанта и, оборотясь слегка въ его сторону, добавилъ:

— Сказать въ посольствѣ, что они отвѣчаютъ за всякую мелочь, которая здѣсь есть. Все уложить и переслать на мой счетъ куда потребуется. Положитесь на него и берите вашу шляпу.

Фебуфисъ протянулъ руку провожатому и сказалъ:

— Мы квиты.

Тотъ вспыхнулъ.

Герцогъ посмотрѣлъ на молодыхъ людей и произнесъ:

— Что между вами было?

— Пари,—отвѣтилъ Фебуфисъ, и коротко добавилъ, что графъ ему проигралъ маленькую услугу, и теперешнія его заботы онъ принимаетъ за сквитку.

— И прекрасно! Честный человѣкъ всегда платитъ свои долги! А въ чемъ было пари?

Фебуфисъ опять взглянулъ въ лицо адъютанта и ему показалось, что этотъ человѣкъ умретъ сію минуту.

— Извините ваша свѣтлость, — сказалъ Фебуфисъ: — въ это замѣшано имя третьяго лица.

— Ахъ, тайна! Что есть тайна, то и должно оставаться тайною. Я не хочу знать о вашемъ пари. Ѣдемъ.

Фебуфисъ вышелъ вмѣстѣ съ герцогомъ и съ нимъ же вмѣстѣ уѣхалъ въ роскошное помѣщеніе его посла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Извѣстіе о томъ, что Фебуфисъ такъ спѣшно покидаетъ Римъ, и притомъ въ сообществѣ могущественнаго лица, мгновенно облетѣло всѣ художественные кружки. Фебуфисъ теперь не удалялся изъ Рима какъ изгнанникъ, а онъ выступалъ какъ человѣкъ, который одержалъ блистательную побѣду надъ своими врагами. Никто не сомнѣвался, что Фебуфисъ не испугался бы изгнанія изъ Рима, и, можетъ-быть, вышелъ бы отсюда еще съ какою-нибудь новою дерзостью; но выйти такъ величественно, какъ онъ теперь выходитъ съ могущественнымъ покровителемъ, который добровольно назвался его «товарищемъ», это было настоящее торжество. Всѣ говорили: «А герцогъ-то, значитъ, совсѣмъ

не такой грубый человѣкъ, какъ о немъ разсказываютъ. Вонъ онъ какъ простъ и какъ привѣтливъ! Что ни говори, а онъ достоинъ симпатій!»

И вотъ молодые художники,—всѣ, кто зналъ Фебуфиса, побросали работы и веселою гурьбою отправились на первую станцію, гдѣ надлежало перемѣнять лошадей въ экипажи путешественника и его свиты. Всѣ они хотѣли проводить товарища и даже привѣтствовать его великодушнаго покровителя. Въ числѣ провожатыхъ находились и Пикъ, и Макъ. Здѣсь были цвѣты, вино, пѣсни и даже было сочинено наскоро величанье «покровителю художниковъ».

Герцогъ былъ очень доволенъ сюрпризомъ: онъ не спѣшилъ прерывать прощаніе товарищей, и даже самъ поднялъ бокалъ за «товарищей» и за процвѣтаніе «всего изящнаго и благороднаго въ мірѣ».

Это возбудило такой всеобщій восторгъ, что герцогъ уѣхалъ, сопровождаемый долго неумолкавшими кликами самаго непритворнаго и горячаго восторга.

Экипажъ, въ которомъ ѣхали Фебуфисъ и адъютантъ, съ разрѣшенія герцога, остался здѣсь до утра, когда оба путешественника были уложены въ коляску и, удаляясь, должны были долго слышать вслѣдъ за собою нетрезвые крики друзей, смѣшивавшихъ имя Луки Кранаха съ именемъ Фебуфиса и имя герцога съ именемъ Іоанна Великодушнаго. Болѣе всѣхъ шумѣлъ Пикъ.

— Нѣтъ, каковъ герцогъ! Каковъ этотъ суровый, страшный герцогъ! — кричалъ онъ весь въ поту, съ раскраснѣвшимся лицомъ.

— Смотри, будь счастливъ, Фебуфисъ! — вторили Пику другіе.

— О, онъ будетъ счастливъ! Онъ долженъ быть счастливъ съ такимъ покровителемъ!

— Еще бы! такое покровительство хоть кого выведетъ къ всемірной славѣ, тѣмъ болѣе Фебуфиса. Но какъ онъ это обдѣлалъ?

— А это штука; но что бы кто ни говорилъ, я ручаюсь за одно, что Фебуфисъ не дозволилъ себѣ ничего такого, что бы могло бросить тѣнь униженнаго искательства на его поведеніе!

— Конечно, конечно!

— Я тамъ не былъ, но я это чувствую... и я за это ручаюсь,—настаивалъ Пикъ.

— Конечно, конечно!.. Изъ насъ никто тамъ не былъ, но мы всѣ ручаемся, что Фебуфисъ не сказалъ ни одного унизительнаго слова, что онъ не сдѣлалъ передъ герцогомъ ни одного поклона ниже, чѣмъ слѣдуетъ, и вообще... онъ... вообще...

— Да, вообще... вообще Фебуфисъ—благородный малый, и если скульпторъ имѣетъ объ этомъ иное мнѣніе, то онъ можетъ потребовать отъ каждаго изъ насъ отдѣльныхъ доказательствъ въ залѣ фехтовальныхъ уроковъ, а Фебуфису мы пошлемъ общее письмо, въ которомъ напишемъ, какъ мы ему вѣримъ, какъ возлагаемъ на него самыя лучшія наши надежды и клянемся ему въ товарищеской любви и преданности до гроба.

— До гроба! до гроба!

Но въ это время кто-то крикнулъ:

— Вы поклянитесь на своихъ мечахъ!

Всѣ обернулись туда, откуда шелъ этотъ голосъ, и увидали Мака.

Одинъ Макъ до сихъ поръ упорно молчалъ, и это обижало Пика; теперь же, когда онъ прервалъ свое молчаніе фразой изъ Гамлета, Пикъ обидѣлся еще болѣе.

— Я не ожидалъ этого отъ тебя, Макъ,—сказалъ онъ и затѣмъ вспрыгнулъ на столъ и, снявъ съ себя шляпу, вскричалъ:

— Друзья, здѣсь шутки Мака неумѣстны! Восторгъ не должно опошлять! Восходитъ солнце, я гляжу въ его огненное лицо: я вижу восходящее свѣтило, я кладу мою руку на мое сердце, въ которое я умѣстилъ мою горячую любовь къ Фебуфису. Я призываю тебя, великій въ дружбѣ Кранахъ!.. Кладите, друзья, свои руки не на мечи, а на ваши сердца, и поклянемся доказать нашу дружбу Фебуфису всѣмъ и всегда... и всегда... и всегда... да... да... да!

И впечатлѣнный въ восторгъ Пика стало истерически дергать горло, и всѣ его поняли, схватили его со стола, подняли его и всѣ поклялись въ чемъ-то на своихъ сердцахъ.

И затѣмъ опять пили и пѣли всѣ, кромѣ Мака, который тихо всталъ и, выйдя въ садъ, нашелъ скрывавшуюся въ густой куртинѣ молодую женщину. Это была Марчелла. Она стояла одиноко у дерева, какъ бы въ окаменѣніи. Макъ тронулъ ее за плечо и сказалъ ей:

— Тебѣ пора домой, Марчелла. Пойдемъ, я провожу тебя.

— Благодарю, — отвѣчала Марчелла и пошла съ нимъ рядомъ, но, пройдя недалеко по каменистой дорогѣ, остановилась и сказала:

— Меня покидаютъ силы!

— Отдохнемъ.

Они сѣли. До нихъ долетали звуки пьяныхъ пѣсенъ.

— Какъ они противно поютъ!—уронила Марчелла.

— Да,—отвѣчалъ Макъ.

— Онъ пропадетъ?

— Не знаю, да и ты не можешь этого знать.

— Мое сердце это знаетъ.

— Твое сердце и здѣсь его не спасало.

— Ахъ, да, добрый Макъ, не спасало.

— Что же будемъ дѣлать?

— Жалѣй его вмѣстѣ со мною!

И она братски поцѣловала Мака.

А тамъ все еще пѣли.

Такого взрыва восторженныхъ чувствъ друзья не видали давно, и, что всего лучше, ихъ пированье, начатое съ аффектаціей и поддержанное виномъ, не минуло безслѣдно. Художники на другой день не только послали Фебуфису общее и всѣми ими подписанное письмо, но продолжали интересоваться его судьбою, а его много обѣщавшая судьба и сама скоро начала усугублять ихъ вниманіе и сразу же обѣщала одѣлаться интересною, да и въ самомъ дѣлѣ скоро таковою сдѣлалась въ дѣйствительности.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Фебуфисъ вскорѣ же прислалъ первыя письма на имя Пика. Какъ въ жизни и въ искусствѣ, такъ и въ письмахъ своихъ онъ стремился быть болѣе красивымъ, чѣмъ натуральнымъ и искреннимъ; но, тѣмъ не менѣе, письма его чрезвычайно нравились Пику и тѣмъ изъ ихъ товарищей, которые имѣли сродныя свойства самодовлѣющихъ художественныхъ натуръ воспоминаемаго времени. Стоило молодой буфетчицѣ кафе, куда адресовалась корреспонденція маленькаго Пика, показать конвертъ, надписанный на его имя, какъ всѣ вскричали:

— Не отъ Фебуфиса ли? Письмо отъ Фебуфиса!

И если письмо было дѣйствительно отъ Фебуфиса, то Пикъ кивалъ утвердительно головою и всѣ вдругъ кричали:

— Друзья, письмо отъ Фебуфиса! Радость и вниманіе! Пишетъ товарищъ и другъ вѣнценосца! Читай, Пикъ!

Пикъ подчинялся общему желанію, раскрывалъ письмо, запечатанное всѣмъ знакомою камеей Фебуфиса, и читалъ. Тотъ описывалъ видѣнныя имъ мѣстности, музеи, дворцы и палаты, а также свои личныя впечатлѣнія и особенно характеръ своего великодушнаго покровителя и свои взаимныя съ нимъ отношенія. По правдѣ сказать, это особенно всѣхъ интересовало. Ихъ отношенія часто приводили художниковъ въ такой восторгъ, что они всѣ чувствовали себя какъ бы объединенными съ высокимъ лицомъ чрезъ Фебуфиса. Въ ихъ дружескомъ кругѣ не упоминалось болѣе официальное величаніе этой особы, а вмѣсто всего громкаго титула ему дали отъ сердца исшедшее имя: «великодушный товарищъ».

Иначе его не называлъ никто, кромѣ Мака, который, впрочемъ, имѣлъ отъ природы недовѣрчивый характеръ и былъ наклоненъ къ насмѣшкѣ надъ всякими шумными и надутыми чувствами и восторгами; но на него не обращали много вниманія: онъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ ворчунъ и, можетъ-быть, портилъ прямую линію самодовлѣющему искусству, наклоняя его къ «еретическому культу служенія идеямъ».

По поводу путевыхъ впечатлѣній Фебуфиса Макъ не ликовалъ: онъ не только не интересовался ими, но даже былъ рѣзокъ и удивлялся: что въ нихъ можетъ интересовать другихъ? Когда всѣ слушали, что описываетъ Фебуфисъ, Макъ или лѣниво зѣвалъ, или слѣдилъ глазами по печатнымъ строчкамъ газеты, ища встрѣтить имя Джузепе Гарибальди, тогда еще извѣстное очень немногимъ, въ числѣ которыхъ, впрочемъ, были Марчелла и Макъ (Пикъ звалъ ихъ: «организмы изъ уксуснаго гнѣзда». *Уксусное гнѣздо* тогда было въ заводѣ). Понятно, что человѣку такого духа было мало нужды до «путешествія съ герцогомъ».

По взглядамъ Мака, Фебуфисъ былъ талантливый человѣкъ, который пошелъ по дурной дорогѣ, и въ виду чего-нибудь болѣе достойнаго имъ не стоитъ заниматься.

— Ты—«черный воронъ», Макъ,—говорилъ ему съ обидою въ голосѣ Пикъ.—Завѣщай намъ, чтобы мы изъ тебя сдѣлали пугало.

— А ты, мой милый Пикъ, настоящій теленокъ, и изъ тебя безъ всякаго твоего завѣщанія когда-нибудь приготовятъ такой же шнель-клёпсъ, какъ изъ твоего Фебуфиса.

— А изъ Фебуфиса уже готовятъ шнель-клёпсъ?

— Ну, конечно.

Послѣ такихъ перемолвокъ Пикъ давалъ себѣ слово ничего не говорить о Фебуфисѣ въ присутствіи Мака, но, однако, не выдерживалъ и при всякомъ новомъ извѣстіи спѣшилъ возвѣстить его при Макѣ. Да и трудно было удержаться, потому что извѣстія приходили одно другого эффектнѣе. На шнель-клёпсъ не было ничего похожаго, — напротивъ, между Фебуфисомъ и его покровителемъ образовалась такая настоящая, товарищеская дружба, что можно было опасаться: нѣтъ ли тутъ преувеличеній?

— Шнель-клёпса не будетъ!—говорилъ Пикъ, похлопывая Мака.

Но Макъ отвѣчалъ:

— Будетъ!

И вдругъ, въ самомъ дѣлѣ, запахло шнель-клёпсомъ: пришло письмо, въ которомъ Фебуфисъ описывалъ, какъ они сдѣлали большой переѣздъ верхами по горамъ, обитаемымъ дикимъ воинственнымъ племенемъ. Прекрасно были описаны виды неприступныхъ скалъ, паденіе гремящихъ потоковъ и удивительное освѣщеніе высей и дымящихся въ туманѣ ущелій и долинъ; потомъ описывались живописныя одежды горцевъ, ихъ воинственный видъ, мужество, отвага и простота ихъ патріархальныхъ обычаевъ, при которой сохранилось полное равенство, и, въ то же время, дружественность и гостепріимство съ ласковостью, доходящею до готовности сдѣлать пріятное гостю даже съ рискомъ собственной жизни.

«Въ одномъ мѣстѣ,—описывалъ Фебуфисъ:—я былъ чрезвычайно тронутъ этою благородною чертой и у насъ даже дошло дѣло до маленькой непріятности съ моимъ патрономъ. Впрочемъ, все это сейчасъ же было заглажено и отъ непріятнаго не осталось ни малѣйшаго слѣда,—напротивъ, мы еще болѣе сблизились, и я послѣ этого полюбилъ его еще болѣе».

— Начинается что-то любопытное,—вставилъ слово Макъ.

— Да, конечно, — отвѣчалъ Пикъ: — вѣдь ты слышишь: они «еще болѣе сблизились»; но слушайте, я продолжаю:

«Мы еще болѣе сблизились»... Да, вотъ гдѣ я остановился: «мы сблизились,—мы ѣхали вдоль узкой, покрытой кремнистою осыпью, тропинки, которая вилась надъ обрывомъ горной рѣчки. По обѣимъ сторонамъ тропы возвышались совершенно отвѣсныя, точно какъ бы обрубленныя скалы гранита. Обогнувъ одинъ загибъ, мы стали лицомъ къ отвѣсной стѣнѣ, такъ сильно освѣщенной солнечнымъ блескомъ, что она вся казалась намъ огненною, а на ней, въ страшной высотѣ, надъ свѣсившимися нитями зеленаго діорита, мы увидали какой-то разсыпчатый огненный комъ, который то разлетался искрами, то вновь собирался въ кучу и становился густымъ. Мы всѣ недоумѣвали, что это за метеоръ; но наши проводники сказали намъ, что это просто рой дикихъ пчелъ. Горцы отлично знаютъ природу своего дикаго края и имѣютъ преострое зрѣніе: они опредѣлили намъ, что этотъ рой только-что отроился отъ стараго гнѣзда, которое живетъ здѣсь же гдѣ-нибудь въ горной трещинѣ, и что тамъ у нихъ долженъ быть медъ. Герцогъ пошутилъ, что здѣшнія пчелы очень предусмотрительны, что, живучи между смѣлыхъ людей, онѣ нашли себѣ такой пріютъ, гдѣ ихъ не можетъ потревожить человѣкъ самый безстрашный. Но старшій въ нашемъ эскортѣ, сѣдоволосый горецъ, со множествомъ ремешковъ у пояса, на которыхъ были нанизаны засохшіе носы, отрубленные у убитыхъ имъ непріятелей, покачалъ своей красивою, бѣлою головой и сказалъ:

«— Ты не правъ, господинъ,—въ нашихъ горахъ нѣтъ для насъ мѣстъ недоступныхъ».

«— Ну, этому я повѣрю только тогда, — отвѣчалъ герцогъ:—если мнѣ подадутъ отвѣдать ихъ меда.

«Услыхавъ это, старый горецъ взглянулъ въ глаза герцогу и спокойно отвѣтилъ:

«— Ты попробуешь этого меда».

«Съ этимъ онъ сейчасъ же произнесъ на своемъ языкѣ какое-то, намъ непонятное, слово, и одинъ молодой красавецъ-наѣздникъ изъ отряда въ ту же минуту повернулъ своего коня, гикнулъ и исчезъ въ ущельѣ. А старикъ молчаливымъ жестомъ руки далъ намъ знакъ остановиться.

«Мы остановились, и должны были это сдѣлать, потому что всѣ наши провожатые стали какъ вкопанные и не двигались съ мѣста... старецъ сидѣлъ на своемъ конѣ неподвижно, глядя вверхъ, гдѣ свивался и развивался золоти-

стый рой. Герцогъ его спросилъ: «Что это будетъ?» — но онъ отвѣтилъ: «увидишь», и сталъ крутить въ грязныхъ пальцахъ свои сѣдые усы.

«Такъ прошло не болѣе времени, чѣмъ вы, можетъ-быть, употребите на то, чтобы прочесть мои строки, и вдругъ наверху скалы, надъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ вился рой, промелькнулъ отдѣлившійся отъ насъ всадникъ, а еще черезъ мгновеніе мы увидали его, какъ онъ спѣшился около гребня скалы и сталъ спускаться на тонкомъ, совсѣмъ незамѣтномъ издали, ремнѣ, и повисъ въ воздухѣ надъ страшной пропастью.

«Герцогъ вздрогнулъ, сказалъ: «Это чортъ знаетъ, что за люди!» и на минуту закрылъ рукой глаза.

«Мы всѣ замерли и затаили дыханіе, но горцы стояли спокойно и старикъ спокойно продолжалъ крутить свои сѣдые усы, а тотъ, межъ тѣмъ, снова поднялся наверхъ и черезъ пять минутъ былъ опять среди насъ и подалъ герцогу кусокъ сотоваго меда, воткнутый на остріѣ блестящаго кинжала.

«Герцогъ, къ удивленію моему, похвалилъ его холодно; онъ приказалъ адъютанту взять медъ и дать горцу червонецъ, а самъ тронулъ поводъ и поѣхалъ далѣе. Во всемъ этомъ выражалась какъ будто вдругъ откуда-то вырвавшаяся противная, властительная надменность.

«Это было сдѣлано такъ грубо, что меня взбѣсило. Я не выдержалъ себя, торопливо снялъ съ руки тотъ мой дорогой брильянтовый перстень, который подарила мнѣ извѣстная вамъ богатая англичанка, и, сжавъ руку молодого смѣльчака, надѣлъ ему этотъ перстень на палецъ, а горецъ отстранилъ отъ себя протянутую къ нему адъютантомъ руку съ червонцемъ и подалъ мнѣ медъ на кинжалѣ. И я его взялъ. Я *не могъ* его не взять отъ горца, который, отстранивъ герцогскій подарокъ, охотно принялъ мой перстень, и, взявъ мою руку, приложилъ ее къ своему сердцу; но далѣе я соблюлъ вѣжливость: я тотчасъ же подалъ медъ герцогу, только онъ не взялъ... онъ ѣхалъ, отворотясь въ сторону. Я подумалъ, что онъ обидѣлся; но это у меня промелькнуло въ головѣ и сейчасъ же исчезло, вытѣсненное [illegible] чувствіемъ, которое сообщало мнѣ вдохновеніе горца.

«[illegible]лось такъ же ровно, какъ бьется сердце

человѣка, справляющаго пріятную сіесту. Ни страхъ минувшей опасности, ни оскорбленіе, которое онъ долженъ былъ почувствовать, когда ему хотѣли заплатить червонецъ, какъ за акробатское представленіе, ни мой дорогой подарокъ, стоимость котораго далеко превосходила цѣнность трехсотъ червонцевъ,—ничто не заставило его чувствовать себя инымъ, чѣмъ создала его благородная природа. Я былъ въ такомъ восторгѣ, что совсѣмъ позабылъ о неудовольствіи герцога и, вынувъ изъ кармана мой дорожный альбомъ, сталъ наскоро срисовывать туда лицо горца и всю эту сцену. Художественное было мнѣ дорого до той степени, что я совсѣмъ имъ увлекся, и когда кончилъ мои кроки, молча подъѣхалъ къ герцогу и подалъ ему мою книжку; но, вообразите себѣ, онъ былъ такъ невѣжливъ, что отстранилъ ее рукой и рѣзко сказалъ: «Я не требовалъ, чтобы мнѣ это было подано. Чортъ возьми, вы знаете, я къ этому не привыкъ!» Я спокойно положилъ мою книжку въ карманъ и отвѣчалъ: «Я извиняюсь!» Но и это простое слово его такъ страшно уязвило, что онъ сжалъ въ рукѣ судорожно поводья и взглядъ его засверкалъ бѣшенствомъ, а между губъ выступила свинцовая полоска.

«Я помнилъ спокойствіе горца и на все это сверканіе обратилъ нуль вниманія и... я побѣдилъ грубость герцога. Мы поѣхали дальше; я все прекрасно владѣлъ собою, но въ немъ кипѣла досада и онъ не могъ успокоиться: онъ оглянулся разъ, оглянулся два и потомъ сказалъ мнѣ:

«— Знаете ли вы, что я никогда не позволяю, чтобы кто-нибудь поправлялъ то, что я сдѣлалъ?

«— Нѣтъ, не знаю,—отвѣчалъ я и добавилъ, что я вовсе не для того и показывалъ ему мой рисунокъ, чтобы требовать отъ него замѣчаній, потому что я тоже не люблю постороннихъ поправокъ, и притомъ я увѣренъ, что съ этого наброска современемъ выйдетъ прекрасная картина.

«Тогда онъ сказалъ мнѣ уже повелительно: «Покажите мнѣ сейчасъ вашъ рисунокъ».

«Я хотѣлъ отказать, но улыбнулся и молча подалъ ему альбомъ.

«Герцогъ долго разсматривалъ послѣдній листокъ: онъ былъ въ худо-скрываемомъ бореньи надъ самимъ собою и, повидимому, переламывалъ себя и потомъ взглянулъ мнѣ въ глаза съ холодною и злою улыбкой и произнесъ:

«— Вы хорошо рисуете, но не хорошо обдумываете ваши поступки.

«— Что такое?—спросилъ я спокойно.

«— Я чуть-чуть не уронилъ вашъ альбомъ въ пропасть.

«— Что за бѣда?—отвѣчалъ я.—Этотъ смѣльчакъ, который сейчасъ досталъ медъ, вѣроятно, досталъ бы и мой альбомъ.

«— А если бы я вырвалъ отсюда листокъ, на которомъ вы зачертили меня съ такимъ особеннымъ выраженіемъ?

«— Я передалъ то выраженіе, которое у васъ было.

«— Все равно, кто-нибудь на моемъ мѣстѣ очень могъ пожелать уничтожить такое свое изображеніе.

«Я былъ въ расположеніи отвѣчать дерзко на его дерзости и сказалъ, что я нарисовалъ бы то же самое во второй разъ и только прибавилъ бы еще одну новую сцену, какъ рвутъ довѣренный альбомъ,—но, добавилъ я,—я вѣдь зналъ, что вы не «кто-нибудь» и что вы этого не сдѣлаете.

«— Почему?

«— Потому, что вы въ вашемъ положеніи должны умѣть владѣть собою и не позволять намъ, простымъ людямъ, превосходить васъ въ благородствѣ и великодушіи.

«Лицо герцога мгновенно измѣнилось: онъ позеленѣлъ и точно съ спазмами въ горлѣ прошипѣлъ:

«— Вы забылись!.. мнѣ тоже нельзя дѣлать и наставленій,— и на губахъ его опять протянулась свинцовая полоска.

«Это все произошло изъ-за куска меду и изъ-за того, что онъ не сумѣлъ какъ должно поблагодарить полудикаго горца за его отвагу, а я это поправилъ... Это было для него несносное оскорбленіе; но я хотѣлъ, чтобы мнѣ не было до его фантазій никакого дѣла. Вмѣсто того, чтобы прекратить разговоръ сразу, я сказалъ ему, что никакихъ наставленій не думалъ дѣлать и о положеніи его имѣю такое уважительное мнѣніе, что не желаю допускать въ немъ никакихъ понижающихъ сближеній.

«Онъ не отвѣчалъ мнѣ ни слова, и, вообразите, мнѣ показалось, что онъ угомонился; но—позоръ человѣчества!— въ это же время я вдругъ замѣтилъ, что изъ всѣхъ его окружающихъ на меня не смотритъ ни одинъ человѣкъ и всѣ они держатъ своихъ коней какъ можно плотнѣе къ нему, чтобы оттереть меня отъ него или оборонить отъ меня. Во-

обще, не знаю, что такое они хотѣли, но, во всякомъ случаѣ, что-то противное и глупое.

«Я осадилъ своего коня и, поровнявшись съ тѣмъ горцемъ, который доставалъ медъ, поѣхалъ съ нимъ рядомъ.

«Только здѣсь, теперь, въ безмолвномъ сосѣдствѣ этого отважнаго дикаря, я почувствовалъ, какъ я самъ былъ потрясенъ и взволнованъ. Съ нимъ мнѣ было несравненно пріятнѣе, чѣмъ въ важной свитѣ, составленной изъ людей, которые сдѣлались мнѣ до того непріятны, что я не хотѣлъ дышать съ ними однимъ воздухомъ и рѣшился на первой же остановкѣ распроститься съ герцогомъ и уѣхать въ Испанію или хоть въ Америку»...

— Прекрасно!—перебилъ Макъ.

— Нѣтъ, ты подожди, что будетъ еще далѣе!—вставилъ Пикъ.

— Я всему предпочелъ бы, чтобы онъ сдержалъ это намѣреніе и этимъ кончилъ.

— Нѣтъ, ты услышишь!

Другіе вскричали:

— Да ну васъ къ чорту съ вашими переговорами! Письмо гораздо интереснѣе, чѣмъ ваши реплики. Читай, Пикъ, читай!

Пикъ продолжалъ чтеніе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

«Я былъ очень золъ на себя, что предпринялъ это путешествіе съ герцогомъ, на котораго, признаться сказать вамъ, я однако, не питалъ ни гнѣва, ни злобы. Все это у меня ушло почему-то на долю его окружающихъ. Настроеніе было препротивное: всѣ молчали. Такъ мы доѣхали до ночлега, гдѣ намъ было приготовлено сносное для здѣшней дикой страны помѣщеніе. Всѣ имѣли лица съ самымъ натянутымъ, а нѣкоторые съ смѣшнымъ и даже съ жалкимъ выраженіемъ. Если бы я не былъ очень недоволенъ собою, то я всего охотнѣе занялся бы занесеніемъ въ мой альбомъ этихъ лицъ, разсматривая которыя, всякій порядочный человѣкъ, навѣрное, сказалъ бы: «вотъ та компанія, въ которой не пожелаешь себя увидѣть въ серьезную минуту жизни!» Но мнѣ было не до того, чтобы ихъ срисовывать. Притомъ же, это было бы уже крайне грубо. Я теперь

имѣлъ твердое намѣреніе немедленно же отстать отъ нихъ и ѣхать въ Америку.

«Не понижая своего тона и способа держаться, я не старался и скрывать своего раздраженія,—я отдалился отъ компаніи и не хотѣлъ ни ѣсть, ни спать подъ одною съ ними кровлей. Я отошелъ въ сторону и легъ на травѣ надъ откосомъ и вдругъ захотѣлъ спать. Этимъ въ моей счастливой организаціи обыкновенно выражается кризисъ моихъ волненій: я хочу спать и сплю, и во снѣ мои досажденія проходятъ или, по крайней мѣрѣ, смягчаются и представляются мнѣ послѣ въ болѣе сносномъ видѣ. Но я не успѣлъ разоспаться, какъ кто-то тронулъ меня за плечо; я открылъ глаза и увидалъ герцога, который сидѣлъ тутъ же, возлѣ меня, на травѣ, и, не дозволяя мнѣ встать, сказалъ:

«— Простите меня, что я васъ разбудилъ. Я не ожидалъ, чтобы вы такъ скоро уснули, а я отыскалъ васъ и хочу съ вами говорить.

«И сейчасъ же вслѣдъ за этимъ онъ сталъ горячо извиняться въ своей запальчивости. На меня это страшно подѣйствовало, и я старался его успокоить; но онъ съ негодованіемъ говорилъ о своей «проклятой привычкѣ» не удерживаться и о ничтожествѣ характеровъ окружающихъ его людей. Онъ былъ такъ искренснъ и такъ уменъ и милъ, что я забылъ ему все непріятное и зашелъ въ своемъ порывѣ дальше, чѣмъ думалъ. Можетъ-быть, я сдѣлалъ большую глупость, но это уже непоправимо. Я, навѣрное, удивлю васъ. Да! узнайте же, мои друзья, что я себѣ намѣтилъ мѣсто, и теперь приспѣло время выслать мнѣ мои вещи, но не на мое имя, а на имя герцога, такъ какъ я, *какъ другъ его*, отправляюсь съ нимъ въ его страну... Да, мои друзья, да, я называю его «другомъ» и ѣду къ нему. Это рѣшено и не можетъ быть перемѣнено, а рѣшено это тутъ же, на этомъ ночлегѣ, среди дикихъ скалъ, каплющихъ дикимъ медомъ. Не я просился къ нему и набивался съ моею дружбой, а *онъ* просилъ меня «не оставлять его» и ѣхать съ нимъ въ его страну, гдѣ я встрѣчу для себя большое поприще и, конечно, окажу услуги искусству, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ему. Герцогъ—испорченная, но крупная натура, и я хочу быть полезенъ *ему*; его стала любить моя душа за его искренніе порывы, свидѣтельствующіе о несомнѣнномъ благородствѣ его природы, испорченной болѣе всего

раболѣпною и льстивою средой. Я могу внести и, конечно, внесу въ эту среду иное. А кстати еще объ этой природѣ и объ этой средѣ. Среда эта удивительна и вамъ трудно составить себѣ о ней живое понятіе. Я уже писалъ вамъ, какъ послѣ исторіи съ медомъ на кинжалѣ эти люди смѣшно отъ меня удалялись; но они еще смѣшнѣе опять со мною сблизились: это случилось за ужиномъ, къ которому *онъ* подвелъ меня подъ руку, а потомъ вскорѣ сказалъ:

«— Удивительно, какъ сильно вліяетъ на человѣка такой грубый приборъ, какъ его желудокъ: усталость и голодъ въ теченіе знойнаго дня довели меня до несправедливости передъ нашимъ художественнымъ другомъ, а теперь, когда я сытъ и отдохнулъ, я ощущаю полное счастье оттого, что умѣлъ заставить себя просить у него извиненія.

«Это произвело на всѣхъ дѣйствіе магическое, а когда герцогъ добавилъ, что онъ увѣренъ, что кто любитъ его, тотъ будетъ любить и меня, то усиліямъ показать мнѣ любовь не стало предѣла: всѣ лица на меня просіяли и всѣ сердца, казалось, хотѣли выпрыгнуть ко мнѣ на тарелку и смѣшаться съ маленькими кусками особливымъ способомъ приготовленной молодой баранины. Мнѣ говорили:

«— Не тужите о родинѣ, которая васъ отвергла! У насъ будетъ одинъ отецъ и одна родина, и мы всѣ будемъ любить васъ, какъ брата!

«Все это у нихъ дѣлается такъ примитивно и такъ просто, что не можетъ быть названо хитростью и неспособно обмануть никого насчетъ ихъ характеровъ, и мнѣ кажется, что я буду жить, по крайней мѣрѣ, съ самыми безхитростными людьми въ цѣломъ свѣтѣ».

Письмо кончалось лаконическою припиской, что слѣдующія извѣстія будутъ присланы уже изъ владѣній герцога. И Пикъ, дочитавъ листъ, сталъ его многозначительно складывать и спросилъ Мака:

— Ну, какъ тебѣ это нравится?

— Не дурно для начала,—процѣдилъ неохотно Макъ и сейчасъ же добавилъ, что это напоминаетъ ему разсказъ объ одномъ безпечномъ туркѣ.

— Какомъ туркѣ?—переспросилъ Пикъ.

— Котораго однажды его падишахъ велѣлъ посадить на колъ.

— Я ничего не понимаю.

— Все дѣло въ томъ, что когда этого турка посадили на колъ, онъ сказалъ: «это не дурно для начала» и сталъ опускаться.

— Что же тутъ сходнаго съ положеніемъ нашего товарища?

— Фебуфисъ сѣлъ на колъ и опускается.

— Ты отвратительно золъ, Макъ!

— Нѣтъ, я не золъ.

— Ну, завистливъ.

— Еще выдумай глупость!

— Тебѣ это письмо не нравится?

— Не нравится.

— Что же именно тебѣ въ немъ не нравится: медъ, кинжалъ, сцена у скалъ, сцена съ альбомомъ?

— Мнѣ не нравится сцена съ желудкомъ!

— То-есть?

— Я не люблю положеній, въ которыхъ человѣкъ можетъ чувствовать себя въ зависимости отъ расположенія желудка другого человѣка.

— Ну, вотъ!

— Да, и въ особенности гадко зависѣть отъ расположенія желудка такого человѣка, по гримасамъ котораго къ тебѣ считаютъ долгомъ оборачиваться лицомъ или спиною другіе. Согласясь жить съ ними, Фебуфисъ сѣлъ на колъ, и тотъ, кто сталъ бы ему завидовать, былъ бы слѣпой и глупый человѣкъ.

— Ты, кажется, назвалъ меня глупцомъ?

Макъ посмотрѣлъ на него и замѣтилъ:

— Кажется, ты ко мнѣ хочешь придираться?

— А если бы и такъ.

Макъ промолчалъ.

— Ты, навѣрное, желаешь этимъ пренебречь.

Макъ молча повелъ плечами и хотѣлъ встать.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?—приставалъ къ нему Пикъ, слегка заграждая ему путь рукой.

Макъ тихо отвелъ его руку; но Пикъ сталъ ему на дорогѣ и, покраснѣвъ въ лицѣ, настоятельно сказалъ:

— Нѣтъ, ты не долженъ отсюда уходить!

— Отчего я не могу уходить?

— Я вызываю тебя на дуэль!

Макъ улыбнулся.

— За что на дуэль?—сказалъ онъ, тихо поднимая себѣ на плечо свою альмавиву.

— За все!.. за то, что ты мнѣ надоѣдалъ своими насѣшками; за то, что ты издѣваешься надъ отсутствующимъ товарщемъ, который... котораго... которому...

— Распутайся и скажи яснѣе...

— Мнѣ все ясно... который поднимаетъ имя и положеніе художника, котораго я люблю и хочу защищать, потому что онъ самъ здѣсь отсутствуетъ, и которому ты... которому ты, Макъ, положительно завидуешь.

— Теперь ты, въ самомъ дѣлѣ, глупъ.

— Что же съ этимъ дѣлать?

— Не знаю, но я ухожу.

— Уходишь?

— Да.

— Такъ ты трусъ, и вотъ тебѣ оскорбленіе! — и съ этимъ Пикъ бросилъ Маку въ лицо бутылочную пробку.

Макъ поблѣднѣлъ и, схвативъ Пика за шиворотъ, поднялъ его къ открытому окну на улицу и сказалъ:

— Ты можешь видѣть что мнѣ ничего не стоитъ вышвырнуть тебя на мостовую, но...

— Нѣтъ, идемъ сейчасъ въ фехтовальный залъ.

— Но вѣдь это глупо!

— Нѣтъ, идемъ! Я тебя зову... я требую тебя въ фехтовальный залъ! — кричалъ Пикъ.

— Хорошо, дѣлать нечего, идемъ. Но ты знаешь что?

— Что?

— Я тамъ непремѣнно обрублю тебѣ носъ.

Пикъ отъ бѣшенства не могъ даже отвѣтить, а черезъ часъ друзья, бывшіе въ залѣ свидѣтелями неосторожнаго фехтовальнаго урока, уводили его подъ руки, и Пикъ, въ самомъ дѣлѣ, держалъ носовой платокъ у своего носа. Макъ въ точности сдержалъ свое обѣщаніе и отрѣзалъ рапирой у Пика самый кончикъ носа, но не такой, какъ рѣжутъ дикари, надѣвающіе носы на вздержку, а только самый маленькій кончикъ, какъ самая маленькая золотая монета папскаго чекана.

Честь обоихъ художниковъ была удовлетворена, какъ требовали ихъ понятія, и все это повело къ неожиданнымъ и прекраснымъ послѣдствіямъ. О событіи съ носомъ Пика никто не сообщалъ Фебуфису; но отъ него въ непродолжи-

тельномъ же времени было получено письмо, въ которомъ, къ общему удивленію, встрѣтилось и упоминаніе о носѣ. Въ этомъ письмѣ Фебуфисъ уже описывалъ столицу своего покровителя. Онъ очень сдержанно говорилъ о ея климатѣ и населеніи, не распространялся и объ условіяхъ жизни, но зато очень много и напыщенно сообщалъ объ открытой ему дѣятельности и о своихъ широкихъ планахъ.

Это должно было выражать и обхватывать что-то необъятное и свѣтлое какъ въ прямомъ, такъ и въ иносказательномъ смыслѣ: чувствовалось, что въ головѣ у Фебуфиса какъ будто распустилъ хвостъ очень большой павлинъ, и художникъ уже положительно мечталъ направлять герцога и при его посредствѣ развить вкусъ въ его подданныхъ и быть для нихъ благодѣтелемъ: «расписать ихъ небо».

Ему были нужны помощники, и онъ звалъ къ себѣ товарищей. Онъ звалъ всѣхъ, кто не совсѣмъ доволенъ своимъ положеніемъ и хочетъ болѣе широкой дѣятельности (деньги на дорогу можно безъ всякихъ хлопотъ получать отъ герцогова представителя въ Римѣ).

Особенно онъ рекомендовалъ это для Пика, про котораго онъ какимъ-то удивительнымъ образомъ узналъ его исторію *съ носомъ* и имѣлъ слабость разсказать о ней герцогу (герцога все интересуетъ въ художественномъ мірѣ). Правда, что носъ заставилъ его немного посмѣяться, но зато самый характеръ добраго Пика очень расположилъ герцога въ его пользу. При этомъ Фебуфисъ присовокуплялъ, что для него самого пріѣздъ Пика былъ бы очень большимъ счастіемъ, «потому что, какъ ему ни хорошо на чужбинѣ, но есть минуты...»

Пикъ скомкалъ письмо и вскрикнулъ:

— Вотъ это и есть самое главное! Я его узнаю и понимаю: какъ ему тамъ ни хорошо, но, тѣмъ не менѣе, онъ чувствуетъ, что «есть минуты», — я понимаю эти минуты... Это,—когда человѣку нужна родная, вполнѣ его понимающая душа... Я ему благодаренъ, что онъ въ этихъ размышленіяхъ вспомнилъ обо мнѣ, и я къ нему ѣду.

Пику совѣтовали хорошенько подумать; но онъ отвѣчалъ, что ему не о чемъ думать.

— По крайней мѣрѣ, дай хорошенько зажить твоему носу.

Онъ вздохнулъ и отвѣчалъ:

— Да, хотя Макъ и оскоблилъ мнѣ кончикъ носа, и мнѣ непріятно, что мы съ нимъ въ ссорѣ, но я съ нимъ помирюсь передъ отъѣздомъ, и онъ, навѣрное, скажетъ, что мнѣ тамъ приставятъ носъ.

Затѣмъ Пикъ безъ дальнѣйшихъ размышленій сталъ собираться, и прежде чѣмъ успѣлъ окончить свои несложные сборы, какъ предупредительно получилъ сумму денегъ на путешествіе.

Этимъ послѣднимъ вниманіемъ Пикъ былъ такъ растроганъ, что «хотѣлъ обнять міръ», и началъ это съ Мака.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Онъ побѣжалъ къ Маку, кинулся ему на шею и заговорилъ со слезами:

— Что же это, милый Макъ, неужто мы все будемъ въ ссорѣ? Я пришелъ къ тебѣ, чтобы помириться съ тобою и прижать тебя къ моему сердцу.

— Радъ и я, и отвѣчаю тебѣ тѣмъ же.

— Вѣдь я люблю тебя попрежнему.

— И я тоже тебя люблю.

— Ты такъ жестокъ, что не хотѣлъ сдѣлать ко мнѣ шага, но все равно: я самъ сдѣлалъ этотъ шагъ. Для меня это даже отраднѣе. Не правда ли? Я бѣгомъ бѣжалъ къ тебѣ, чтобы сказать тебѣ, что... тамъ... далеко... куда я ѣду...

— Ахъ, Пикъ, для чего ты туда ѣдешь?

— Между прочимъ, для того, чтобы ты могъ шутить, что мнѣ тамъ приставятъ носъ.

— Я вовсе не хочу теперь шутить и самымъ серьезнымъ образомъ тебя спрашиваю: зачѣмъ ты ѣдешь?

— Это не мудрено понять: я ѣду, чтобы жить вмѣстѣ съ нашимъ другомъ Фебуфисомъ и съ нимъ вмѣстѣ совершить службу искусству и вообще высокимъ идеямъ. Но ты опять улыбаешься. Не отрицай этого, я подстерегъ твою улыбку.

— Я улыбаюсь потому, что, во-первыхъ, не вѣрю въ возможность служить высокимъ идеямъ, состоя на службѣ у герцоговъ...

— А во-вторыхъ?.. Говори, говори все откровенно!

— Во-вторыхъ, я ни тебя, ни твоего тамошняго друга не считаю способными служить такимъ идеямъ.

— Прекрасно! Благодарю за откровенность, благодарю!—

лепеталъ Пикъ:—и даже не спорю съ тобою: здѣсь мы не велики птицы, но тамъ...

— Тамъ вы будете еще менѣе, и я боюсь, что васъ тамъ ощиплютъ и слопаютъ.

— Почему?

— О, чортъ возьми, — еще почему? Ну, потому, что у тамошнихъ птицъ и носы, и перья,—все здоровѣе вашего.

— Грубая сила не много значитъ.

— Ты думаешь?

— Я увѣренъ.

— Дитя! А я тебѣ говорю: ощиплютъ и слопаютъ. Это не можетъ быть иначе: грачъ и ворона всегда разорвутъ мягкоклювую птичку, и вдобавокъ еще эта ваша разнузданная художественность... Вамъ ли перевернуть людей упрямыхъ и крѣпкихъ въ своемъ невѣжествѣ, когда вы сами сжеминутно готовы свернуться на всѣ стороны!

— Я прошу тебя, Макъ, не разбивай меня: я рѣшился.

— Ты просишь, чтобы я замолчалъ?

— Да.

— Хорошо, я молчу.

— А теперь еще одна просьба: ты не богатъ и я не богатъ... мы оба равны въ томъ отношеніи, что оба бѣдны...

— Это и прекрасно, зато до сихъ поръ мы оба были свободны и никому ничѣмъ не обязаны.

— Не обязаны!.. Ага! Тутъ опять есть шпилька: хорошо, я ее чувствую... Ты и остаешься свободнымъ; но я теперь уже не свободенъ, — я обязанъ, я взялъ деньги и обязанъ тому, кто мнѣ далъ эти деньги, но я ихъ заработаю и отдамъ.

— Да; по крайней мѣрѣ, не забывай объ этомъ и поспѣши отдать долгъ какъ можно скорѣе.

— Я тебѣ даю мое слово: я буду спѣшить. Фебуфисъ пишетъ, что тамъ много дѣла.

— Какого?.. «Расписывать небо», или писать баталіи, или голыхъ женщинъ на зеркалахъ въ чертогахъ герцога?

— Ну, все равно, ты всегда найдешь, чѣмъ огорчить меня и надъ чѣмъ посмѣяться; но я къ тебѣ съ такою просьбой, въ которой ты мнѣ не долженъ отказать при разлукѣ.

— Пожалуйста, говори ее скорѣе.

— Нѣтъ, ты дай прежде слово, что ты мнѣ не откажешь.

— Я не могу дать такого слова.

— Видишь, какъ ты упрямъ.

— Это не упрямство: нельзя давать словъ и обѣщаній, не зная, въ чемъ дѣло.

— Ты, какъ художникъ, любишь славу?

— Любилъ.

— А теперь развѣ уже не любишь?

— Теперь не люблю.

— Что же это значитъ?

— Это значитъ, что я узналъ нѣчто лучшее, чѣмъ слава.

— И любишь теперь это «нѣчто» лучшее болѣе, чѣмъ извѣстность и славу?.. Прекрасно! Я понимаю, о чемъ ты говоришь: это все про народныя страданія и прочее, въ чемъ ты согласенъ съ Джузепе... А знаешь, есть мнѣніе... Ты не обидишься?

— Бываютъ всякія мнѣнія.

— Говорятъ, что онъ авантюристъ.

— Это кто?

— Твой этотъ Гарибальди; но я знаю, что ты его любишь, и не буду его разбирать.

Макъ въ это время тщательно обминалъ рукой стеариновый оплывъ около свѣтильни горѣвшей передъ ними свѣчи и ничего не отвѣтилъ. Пикъ продолжалъ:

— Я не понимаю только, какъ это честный человѣкъ можетъ желать и добиваться себѣ полной свободы дѣйствій и отрицать такое же право за другими? Если хочешь вредить другимъ, то не надо сердиться и на нихъ, когда они защищаются и тоже тебѣ вредятъ...

— Говори о чемъ-нибудь другомъ! — произнесъ Макъ.

— Да, да; правда: это не въ твоемъ родѣ и ты уже сердишься, а я все это виляю оттого, что боюсь сказать тебѣ прямо: мнѣ прислали на дорогу денегъ.

— Поздравляю.

— И я нахожу, что мнѣ много присланныхъ денегъ... Макъ, осчастливь меня: возьми себѣ изъ нихъ половину, чтобы имѣть возможность написать свою большую картину.

— Отойди, сатана!—отвѣчалъ Макъ, шутливо отстраняя отъ себя Пика, который вдругъ выхватилъ изъ кармана бумажникъ и сталъ совать ему деньги.

— Возьми!.. Умоляю! — приставалъ Пикъ.

— Ну, перестань, оставь это.

— Отчего же? Неужто тебѣ весь вѣкъ все откладывать произведеніе, которое сдѣлаетъ тебя славнымъ въ мірѣ, и мазикать на скорую руку для продажи твои маленькіе жанры?

— Я не вижу въ этомъ ни малѣйшаго горя: мои маленькіе жанры дѣлаютъ дѣло, которое лучше самой большой картины.

— Ну, мой другъ, что̀ обольщаться напрасно!

— Я не обольщаюсь.

— Посмотри, сколько твоихъ жанровъ висятъ по тавернамъ: ихъ и не видитъ лучшее общество.

— Лучшее общество! А чортъ его побери, это лучшее общество! Оно для меня ничего не дѣлаетъ, а мои жанры меня кормятъ и шевелятъ кое-чью совѣсть. Особенно радуюсь, что они есть по тавернамъ. Нѣтъ, мнѣ чужихъ денегъ не нужно, а если у тебя такъ много денегъ, что онѣ тебѣ въ тягость, то толкнись въ домикъ къ Марчеллѣ и спроси, нѣтъ ли ей въ нихъ надобности?

— Марчелла! Ахъ, добрый Макъ, это правда. Я ему, однако, напомню о ней... я заставлю его о ней подумать...

— Нѣтъ, не напоминай! Найдется такой, который напомнитъ! Пойдемъ въ таверну и будемъ лучше пить на прощанье. Ни о чемъ грустномъ больше не слова.

Друзья надѣли шляпы и пошли въ таверну, гдѣ собрались ихъ другіе товарищи и всю ночь шло пированье, а на другой день Пика усадили въ почтовую карету и проводили опять до той же станціи, до которой провожали Фебуфиса. Карета умчалась, и Пикъ подъ звукъ почтальонскаго рожка прокричалъ друзьямъ послѣднее обѣщаніе: «писать все и обо всемъ», но сдержалъ свое обѣщаніе только отчасти, и то въ теченіе очень непродолжительнаго времени.

Макъ видѣлъ въ этомъ дурной признакъ: наивный, но честный и прямодушный Пикъ, безъ сомнѣнія, въ чемъ-нибудь былъ серьезно разочарованъ, и, не умѣя лгать, онъ молчалъ. Спустя нѣкоторое время, однако, Пикъ началъ писать, и письма его, въ одно и то же время, подкрѣпляли подозрѣнія Мака и приносили вѣсти, сколько интересныя, столько же и забавныя.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Для начала онъ, разумѣется, описывалъ въ нихъ только свою встрѣчу съ Фебуфисомъ и какъ они оба въ первую же ночь «напились по-старинному, вспоминая всѣхъ далекихъ, оставшихся въ Римѣ друзей», а потомъ писалъ о столицѣ герцога, о ея дорого стоящихъ, но не очень важныхъ по монтировкѣ музеяхъ, о состояніи искусства, о его техникѣ и направленіи и о предъявляемыхъ къ нему здѣсь требованіяхъ. Все это, въ настоящемъ художественномъ смыслѣ, для людей понимающихъ дѣло было жалко и ничтожно; но затѣмъ содержаніе писемъ измѣнялось и Пикъ скоро забредилъ о женщинахъ. Онъ неустанно распространялся о женщинахъ, въ изученіи которыхъ вдругъ обнаружилъ поразившіе Мака разносторонніе успѣхи. По его описаніямъ выходило, что въ этой странѣ всего лучше женщины. Особенно онъ превозносилъ ихъ милую женственность и ихъ удивительную скромность. «Самый амуръ здѣсь совершаетъ свой полетъ не иначе, какъ благословясь и въ тихомъ безмолвіи, на безшумныхъ крылышкахъ, — писалъ Пикъ. — Кто чувствуетъ склонность къ семейной жизни и желаетъ выбрать себѣ вѣрную и достойную подругу, тотъ долженъ ѣхать сюда и здѣсь онъ, навѣрное, найдетъ ее. Самъ герцогъ — образцовый супругъ и, любя семейную жизнь, онъ покровительствуетъ бракамъ. Это даетъ патріархальный тонъ и направленіе жизни. Случается, что герцогъ самъ даже бываетъ сватомъ и послѣ заботится о новобрачныхъ, которыхъ устроилъ. Дѣвушки въ хорошихъ семействахъ здѣсь такъ тщательно оберегаются отъ всего, что можетъ вредить ихъ цѣломудрію, что иногда не знаютъ самыхъ обыкновенныхъ вещей, — словомъ, онѣ наивны и милы, какъ дѣти. Очень скромны и взрослыя. Такова жизнь. Что вездѣ считается вполнѣ позволительнымъ, какъ, напримѣръ, обѣдать въ ресторанахъ или ходить и ѣздить одной женщинѣ по городу, — здѣсь все это почитаютъ за неприличіе. Ни одной сколько-нибудь порядочной женщины не встрѣтишь въ наемномъ экипажѣ и не увидишь въ самомъ лучшемъ ресторанѣ. Если бы женщина пренебрегла этимъ, то ее сочли бы падшею и передъ нею не только закрылись бы навсегда всѣ двери знакомыхъ домовъ, но и мужчины изъ прежнихъ знако-

мыхъ позволили бы себѣ съ нею раскланяться развѣ только въ густыя сумерки. О дѣвушкахъ нечего и говорить: онѣ подъ постоянною опекой. Я часто сравниваю все это съ тѣмъ, что видѣлъ раньше среди римлянокъ и наѣзжихъ въ нашъ «вѣчный городъ» иностранокъ, и мнѣ здѣсь и странно, и нравится, я чувствую себя тутъ точно въ дѣвственномъ лѣсу, гдѣ все свѣжо, полно силъ и... странная вещь! — но я вспоминаю тебя, Макъ, и начинаю размышлять соціально и политически. А почему? А вотъ почему: ты все любишь размышлять объ уладкѣ нравовъ и объ общихъ бѣдствіяхъ и ищешь отъ нихъ спасенія... Ахъ, другъ, можетъ-быть, спасеніе-то именно здѣсь, гдѣ стоитъ волѣ захотѣть, чтобы что-нибудь сдѣлалось, и оно сейчасъ же становится возможнымъ, а не захотѣть — все станетъ невозможно? И все это оттого, что жизнь удержана въ удобной формѣ».

Дочитавъ письмо до этого мѣста, Макъ положилъ листокъ и сталъ собирать на него мастихиномъ загустѣвшія на палитрѣ краски. Соображенія Пика его болѣе не интересовали, а на вопросы товарищей о томъ, что пишетъ Пикъ, онъ отвѣчалъ:

— Пикъ пишетъ, что онъ живетъ въ такомъ любопытномъ городѣ, гдѣ женщины цѣломудренны до того, что не знаютъ, отчего у нихъ рождаются дѣти.

— Вотъ такъ разъ!

— Что же? Этимъ вѣдь, пожалуй, можно быть довольнымъ,—замѣтили другіе и стали дѣлать по этому случаю различныя предположенія.

— Да,—отвѣчалъ Макъ,—и онъ этимъ очень доволенъ.

— По-моему, онъ тамъ можетъ неожиданно и скоро жениться.

— А отчего и нѣтъ, если тамъ это выгодно?

— Въ такихъ мѣстахъ что больше и дѣлать!—заключилъ Макъ: — или учиться, или жениться. Учиться трудно — жениться занятнѣе.

На письмо же то, о которомъ Макъ вытеръ свой мастихинъ, онъ вовсе не отвѣчалъ Нику, но, вспоминая иногда о пріятелѣ, въ самомъ дѣлѣ, думалъ, что онъ можетъ жениться.

— Отчего, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ? Вѣдь несомнѣнно, что есть такой сортъ дѣятелей, которые прежде начала, исполь-

ненія всякихъ своихъ плановъ надѣваютъ себѣ на шею эту расписанную колодку. Почему же не сдѣлать этого и Пику? или даже они оба тамъ съ этого начнутъ и, пожалуй, на этомъ и кончатъ.

И подозрѣніе еще усиливалось тѣмъ, что въ новомъ письмѣ Пикъ писалъ уже не о женщинахъ вообще, а особенно объ одной избранницѣ, которую онъ въ шаловливомъ восторгѣ называлъ именемъ старинной повѣсти: «*Прелестная Пеллегрина или несравненная жемчужина*». Онъ о ней много разсказывалъ. Макъ долженъ былъ узнать изъ этого письма, что «прелестная Пеллегрина» была дочь заслуженнаго воина, покрытаго самыми почтенными сѣдинами, ранами и орденами. Пеллегрина получила отъ природы милое, исполненное невинности лицо, осѣненное золотыми кудрями, а герцогъ далъ ей за заслуги отца на свой счетъ самое лучшее образованіе въ монастырѣ, укрывавшемъ ее отъ всякихъ соблазновъ во всѣ годы отрочества. Пикъ увидалъ ее первый разъ на выпускномъ экзаменѣ, гдѣ она пѣла, какъ Пери, одѣтая въ бѣлое платье, и, рыдая, прощалась съ подругами дѣтства, а потомъ произошла вторая, повидимому, очень значительная встрѣча на лѣтнемъ праздникѣ въ загородномъ герцогскомъ замкѣ, гдѣ Пеллегрина въ скромномъ уборѣ страдала отъ надменности богато-убранныхъ подругъ, которыя какъ только переодѣлись дома, такъ и перемѣнились другъ къ другу. Тутъ зато Пеллегрина показала умъ и характеръ: она все видѣла и поняла, но совсѣмъ не дала замѣтить, что страдаетъ отъ окружающей кичливости, и тѣмъ до того заинтересовала маленькаго Пика, что онъ познакомился съ ихъ домомъ и сталъ здѣсь какъ родственникъ. Онъ то играетъ въ шахматы съ воиномъ, покрытымъ сѣдинами, то ходитъ по лѣсамъ и полямъ съ Пеллегриною. Отецъ Пеллегрины, добродушный простякъ, безконечно ему вѣритъ и только посылаетъ съ ними заслуженную и вѣрную служанку (онъ самъ давно вдовъ и на войнѣ храбръ, но дома, въ нѣдрахъ своего семейства, кротче агнца). Впрочемъ, Пикъ и Пеллегрина пока только собираютъ бабочекъ и букашекъ, при чемъ наивность Пеллегрины доходитъ до того, что она иногда говоритъ Пику: «Послушайте, вы художникъ, посмотрите, пожалуйста, — вы должны знать—это буканъ или букашка?»

Макъ не сталъ отвѣчать и на это письмо, а затѣмъ отъ

Пика пришелъ только листочекъ съ описаніемъ маскарадовъ, которые ему казались верхомъ жизненнаго великолѣпія, и съ возвѣщеніемъ о большомъ путешествіи, которое онъ и Фебуфисъ намѣревались сдѣлать лѣтомъ съ художественною цѣлью внутрь страны. На томъ переписка друзей оборвалась.

Въ Римѣ если не совсѣмъ позабыли о Фебуфисѣ и о Пикѣ, то, во всякомъ случаѣ, къ нимъ охладѣли и весь случай съ Фебуфисомъ вспоминали какъ странность, какъ капризъ или аристократическую прихоть герцога.

— Въ самомъ дѣлѣ, для чего этому отдаленному властителю Фебуфисъ? Чего онъ съ нимъ возится? Неужто онъ, въ самомъ дѣлѣ, такъ страстно любитъ искусство, или онъ не видалъ лучшаго художника? Не слѣдуетъ ли видѣть въ этомъ сначала капризъ и желаніе сдѣлать колкость чернымъ королямъ Рима? Неужто, въ самомъ дѣлѣ, въ XIX вѣкѣ станутъ повторяться Іоаннъ съ Лукой Кранахомъ? Вздоръ! Совсѣмъ не тѣ времена, ничто не можетъ ихъ долго связывать и, безъ сомнѣнія, фаворъ скоро отойдетъ и герцогъ его броситъ.

— А, можетъ-быть, его немножко удержитъ трусость.

— Передъ кѣмъ и передъ чѣмъ?

— Передъ талантливымъ художникомъ, который всегда можетъ найти средство отплатить за дурное съ собою обращеніе.

— Какія глупости! какія наивныя, дѣтскія глупости! Что вы о себѣ и о нихъ думаете? Какое это средство?—спросилъ Макъ.

— Полотно, на которомъ можно все увѣковѣчить. А Фебуфисъ всегда останется талантомъ.

Макъ махнулъ рукою и сказалъ:

— Вы дѣти! Повѣрьте, что тому, кому ввѣрилъ себя упоминаемый вами «талантъ», никакой стыдъ не страшенъ. Онъ, я думаю, почелъ бы за стыдъ знать, что такое есть боязнь стыда; а что касается «таланта», то съ нимъ расправа коротка: ничто не помѣшаетъ оставить этотъ талантъ и безъ полотна, и безъ красокъ, и даже безъ Божьяго свѣта. Да и безъ того... этотъ талантъ выцвѣтетъ... Не забывайте, что птицы съ ярко-цвѣтнымъ опереніемъ, перелинявъ разъ въ клѣткѣ, утрачиваютъ свою красивую окраску.

— Но зато онѣ выигрываютъ въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ.

— Да, онѣ обыкновенно жирѣютъ, перестаютъ дичиться, утрачиваютъ легкость и подвижность, — вообще становятся, что называется, *ручными*.

Но намъ время оставить теперь этихъ пессимистовъ и оптимистовъ и послѣдовать за Фебуфисомъ и Пикомъ, съ которыми, въ ихъ новой обстановкѣ, произошли событія, имѣвшія для нихъ роковое значеніе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

По прибытіи въ столицу своего покровителя, Фебуфисъ не былъ имъ покинутъ и позабытъ. Напротивъ, онъ тотчасъ же былъ прекрасно устроенъ во всѣхъ отношеніяхъ и не лишался даже знаковъ дружбы и вниманія, которыми пользовался во время путешествія. Конечно, теперь они видѣлись рѣже и бесѣдовали при другихъ условіяхъ, но все-таки положеніе Фебуфиса было прекрасное и возбуждало зависть въ мѣстномъ обществѣ и особенно среди приближенныхъ герцога. Повелитель, котораго боялись и трепетали всѣ его подданные, держалъ себя съ привезеннымъ художникомъ запросто, и Фебуфисъ этой линіи не портилъ. Къ чести его, онъ значительно измѣнился и, вкусивъ мало меду на кинжалѣ, посбавилъ съ себя заносчивости, а держался такъ скромно, какъ этого требовало положеніе. Участіе въ придворной жизни его не тяготило: сначала это ему было любопытно само по себѣ, а потомъ стало интересно и начало втягивать какъ въ пучину... Еще позже это стало ему нравиться... Какъ-никакъ, но это была жизнь: здѣсь все-таки шла безпрестанная борьба и кипѣли страсти и шевелились умы, созидавшіе планы интригъ. Все это похоже на игру живыми шашками и при пустотѣ жизни дѣлаетъ интересъ. Фебуфисъ сталъ чувствовать этотъ интересъ.

Такою вовсе не разсчитанною и не умышленною перемѣной въ своемъ поведеніи Фебуфисъ чрезвычайно утѣшилъ своего покровителя, и герцогъ сталъ изливать на него еще большія милости. Художнику дали отличное помѣщеніе, усвоили ему почетное званіе и учредили для него особенную должность съ большимъ содержаніемъ и съ подчиненіемъ ему прямымъ или косвеннымъ образомъ всѣхъ художественныхъ учрежденій. Положеніе Фебуфиса, въ са-

момъ дѣлѣ, какъ-будто готовилось напоминать нѣкоторымъ образомъ положеніе Луки Кранаха. Правда, не всѣ смотрѣли на это серьезно, но, по мнѣнію многихъ, Фебуфисъ будто могъ уже оказывать вліяніе на отношенія своего могущественнаго протектора къ людямъ разнообразныхъ положеній, и у него явились ласкатели и искатели. Когда герцогъ посѣщалъ его мастерскую, онъ, въ самомъ дѣлѣ, говорилъ не объ одномъ искусствѣ, а и о многомъ другомъ, о чемъ не всѣ смѣли надѣяться имѣть съ нимъ бесѣды. Человѣка съ такимъ положеніемъ привѣчали лица, занимающія самыя высокія и почетныя должности. Фебуфисъ быстро очутился въ такъ-называемомъ лучшемъ обществѣ и здѣсь тоже держалъ себя съ большимъ достоинствомъ. Для пріобрѣтенія вѣса и значенія въ этомъ обществѣ ему не нужно было употреблять никакихъ усилій, все давалось ему даромъ, но все это ему скоро прискучило. Герцогъ тотчасъ замѣтилъ это и сказалъ ему: «ты не въ своей компаніи» — и предложилъ ему выписать къ себѣ кого-нибудь изъ его римскихъ друзей, при чемъ самъ же и назвалъ Пика.

Пикъ, сколь извѣстно, былъ выписанъ и представленъ герцогу, но онъ ему не понравился,—герцогъ нашелъ, что «онъ очень смѣшонъ», и велѣлъ назначить его преподавателемъ искусствъ въ избранномъ воспитательномъ женскомъ заведеніи, что̀ и погубило Пика, сблизивъ его съ златокудрою дочерью покрытаго сѣдинами воина.

Съ прибытіемъ Пика Фебуфису стало веселѣе; они работали и понемножку предавались кутежамъ, въ которыхъ, впрочемъ, находили здѣсь только хмельной чадъ, но не веселье. Оба они чувствовали себя здѣсь не по себѣ и оба другъ отъ друга это скрывали. Иногда они собирались оказать какое-то большое вліяніе на что-то въ искусствѣ, но всякій разъ это кончалось ничѣмъ. Обо всемъ надо спрашиваться у герцога, а онъ не любилъ не имъ задуманныхъ перемѣнъ. Фебуфисъ скоро понялъ, что шнурокъ, на которомъ онъ ходитъ, довольно коротокъ, а Пикъ въ предѣлахъ своей дѣятельности попробовалъ быть смѣлѣе: онъ далъ дѣвицамъ рисовать торсы, вмѣстѣ рыцарей въ шлемахъ, и за это, совершенно для него неожиданно, былъ посаженъ на военную гауптвахту «безъ объясненій». Это его такъ обидѣло, что онъ тотчасъ же хотѣлъ бросить все и уѣхать въ Римъ; но, вмѣсто того, отечески прощенный гер-

цогомъ, тоже «безъ объясненій», почелъ эту непріятность за неважное и остался.

— Что дѣлать, если это здѣсь бываетъ со всѣми.

Работать друзья могли только по заказамъ герцога, и онъ же былъ и цѣнителемъ ихъ произведеній. Въ искусствѣ все зависѣло отъ него, какъ и во всемъ прочемъ: онъ осматривалъ всѣ произведенія учениковъ съ мѣломъ въ рукѣ и писалъ своею рукой на картинѣ свое безапелляціонное рѣшеніе. Фебуфисъ — ихъ главный руководитель — при этомъ только стоялъ и молчалъ. Пикъ говорилъ ему: «Для чего ты не возразишь?»—но тотъ не возражалъ. Безъ сомнѣнія, онъ понималъ, что находится здѣсь только для вида и для парада. Программы допускались только старыя, совсѣмъ не отвѣчавшія новымъ живымъ стремленіямъ, обозначавшимся уже въ другихъ европейскихъ школахъ. Въ Римѣ слышали объ этомъ «академизмѣ» и смѣялись надъ нимъ. Фебуфису, по-настоящему, надо было сознаться, что его положеніе несносно, и уйти отъ него; но въ немъ жила фальшивая гордость: онъ не хотѣлъ быть синицею, которая летала нагрѣвать шиломъ море. Онъ рѣшался лучше кое-что перенести и пошелъ по этой дорогѣ уступокъ, чувствуя, что она вьется куда-то, все понижаясь, подъ гору, но раздражительно отрицалъ это, коль скоро то же самое замѣчали другіе. Въ такихъ бореніяхъ ему былъ тяжекъ и Пикъ и еще болѣе нѣкоторые умные люди изъ мѣстныхъ, и особенно главный начальникъ внутренняго управленія, по фамиліи Шеръ, который самъ слылъ за художника и, въ самомъ дѣлѣ, разумѣлъ въ искусствѣ больше, чѣмъ герцогъ. Этотъ, какъ его называли, «внутренній Шеръ» былъ уменъ, пьянъ и безстыденъ, и допускалъ со всѣми очень странное, фамильярное обращеніе, близко граничившее съ наглостью. Фебуфиса онъ, повидимому, считалъ ниже, чѣмъ бы тому хотѣлось, и называлъ его «величайшимъ мастеромъ по утвержденному герцогомъ образцу».

Это приводило Фебуфиса въ досаду, но, тѣмъ не менѣе, кличка плотно къ нему пристала.

И директоръ былъ не одинъ, который смотрѣлъ на привезеннаго герцогомъ фаворитнаго артиста, какъ на что-то полусмѣшное, полужалкое, изъ чего, можетъ-быть, гдѣ-то, пожалуй, и сдѣлали бы что-нибудь цѣнное, но изъ чего здѣсь ничего выйти не должно и не выйдетъ. Все это,

однако, нимало не помѣшало Фебуфису прогремѣть въ странѣ, сдѣлавшейся его новымъ отечествомъ, за величайшаго мастера, который понялъ, что чистое искусство гибнетъ отъ тлетворнаго давленія соціальныхъ тенденцій, и чтобы сохранить святую чашу неприкосновенною, онъ принесъ ее и поставилъ къ ногамъ герцога. Герцогъ ее не оттолкнулъ, какъ онъ не отталкиваетъ ничего, что можно спасти. Пріѣзжіе мастера заставляли будто завидовать столицѣ герцога всѣ тѣ страны, гдѣ искусство падало, нисходя до служебной роли гражданскимъ и соціальнымъ идеямъ. И за то они отблагодарятъ герцога,—они въ угоду ему распишутъ небо. Пика это не испортило, потому что, при ограниченности его дарованія, онъ оставался только тѣмъ, чѣмъ былъ; но Фебуфисъ скоро сталъ замѣчать свою отсталость въ виду произведеній художниковъ, трудившихся безъ покровителей, но на свободѣ, и онъ сталъ ревновать ихъ къ славѣ, а самъ поощрялъ въ своей школѣ «непосредственное творчество», изъ котораго, впрочемъ, выходило подъ-рядъ все только одно очень посредственное. Общій европейскій восторгъ при появленіи картины Каульбаха «*Сраженіе гуннов съ римлянами*», наконецъ, былъ нестерпимымъ ударомъ для его самолюбія. Фебуфисъ почувствовалъ, что вотъ пришелъ въ міръ новый великій мастеръ, который повлечетъ за собою послѣдователей въ идейномъ служеніи искусству. Тогда Фебуфисъ рѣшительно сталъ на сторону противоположнаго направленія, а герцогъ это одобрилъ и поручилъ ему «произвести что-нибудь болѣе значительное, чѣмъ картина Каульбаха».

Внутренній Шеръ его расцѣловалъ и сказалъ ему за обѣдомъ въ клубѣ на «ты»:

— Пришло твое время прославиться!

По герцогскому приказу Фебуфисъ началъ записывать огромное полотно, на которомъ хотѣлъ воспроизвести сюжетъ еще болѣе величественный и смѣлый, чѣмъ сюжетъ Каульбаха,—сюжетъ «гдѣ человѣческіе характеры были бы выражены въ борьбѣ съ силой стихіи»,—помѣстивъ тамъ и себя, и другихъ и, вмѣсто пораженія Каульбаху, воспроизвелъ какое-то смѣшеніе псевдо-классицизма съ псевдо-натурализмомъ. Въ Европѣ онъ этимъ не удивилъ никого, но герцогу угодилъ какъ нельзя болѣе.

— Тебѣ это удалось,—сказалъ герцогъ:—но всего бо-

лѣе похвально твое усердіе, и оно должно быть награждено.

Ему отпустили большія деньги и велѣли газетамъ напечатать ему похвалы. Тѣ сдѣлали свое дѣло. Была попытка поддержать его и въ Римѣ, но она оказалась неудачною, и сужденія Рима пришлось презирать.

— Они не хотятъ видѣть ничего, что явилось не у нихъ; чужое ихъ не трогаетъ,—объяснялъ герцогу Фебуфисъ.

— Ты это прекрасно говоришь: да, ты имъ чужой.

— Съ тѣхъ поръ, какъ я уѣхалъ сюда...

— Ну, да!.. ты мой!

— Имъ кажется, что я здѣсь переродился.

— Это и прекрасно. Ты мой!

— Нѣтъ, они думаютъ, что я все позабылъ...

— Забылъ глупости!

— Нѣтъ,—разучился.

— А вотъ пусть они пріѣдутъ и посмотрятъ. Это все зависть!

— Не одна зависть,—я знаю, что они мнѣ не прощаютъ...

— Что же это такое?

— Измѣну.

— Чему?

— Задачамъ искусства.

Герцогъ сѣлъ на высокій табуретъ противъ мольберта и произнесъ дидактически:

— Задача искусства — это героизмъ и пастораль, вѣра, семья и мирная буколика, безъ всякаго сованья носа въ общественные вопросы—вотъ ваша область, гдѣ вы цари и можете дѣлать, что хотите. Возможно и историческое, я не отрицаю историческаго; но только съ нашей, вѣрной точки зрѣнія, а не съ ихней. Общественные вопросы искусства не касаются. Художникъ долженъ стоять выше этого. Такіе намъ нужны! Ищи такихъ людей, которые въ этомъ родѣ могутъ быть полезны для искусства, и зови ихъ. Обезпечить ихъ—мое дѣло. Можно будетъ даже дать имъ чины и форму. У меня они могутъ *творить*, ничѣмъ не стѣснялсь, потому что у меня вѣдь нѣтъ никакихъ тревогъ, ни треволненій. Только трудись. Я хочу, чтобы наша школа сохранила настоящія, чистыя художественныя преданія и дала тонъ всѣмъ прочимъ. Обновить искусство — это наше призваніе.

Фебуфисъ понималъ, что все это несбыточный вздоръ, и ничего не хотѣлъ дѣлать, а, между тѣмъ, изъ-за границы его уязвляла критика. Одинъ изъ лучшихъ тогдашнихъ судей искусства написалъ о немъ, что «во всей его картинѣ достоинъ похвалы только правильный и твердый рисунокъ, но что ея мертвый сюжетъ представляетъ что-то окаменѣвшее, что идея если и есть, то она рутинна и безплодна, ибо она не поднимаетъ выше умъ и не облагораживаетъ чувства зрителя,—она не трогаетъ его души и не стыдитъ его за эгоизмъ и за холодность къ общему страданію. Художникъ будто спалъ гдѣ-то въ какомъ-то заколдованномъ царствѣ и не замѣтилъ, что въ искусствѣ уже началось живое вѣяніе, и здравый умъ просвѣщеннаго человѣка отказывается высоко цѣнить художественныя произведенія, ласкающія одно зрѣніе, не имѣющія возвышающей или порицающей идеи. Теперь, чѣмъ такія бѣдныя смысломъ произведенія совершеннѣе въ своемъ техническомъ исполненіи, тѣмъ они укоризненнѣе и тѣмъ большее негодованіе должны поднимать противъ художника». А потому критикъ рѣшительно не хотѣлъ признать никакихъ замѣчательныхъ достоинствъ въ произведеніи, которымъ Фебуфисъ долженъ былъ прославить свою школу, и, вдобавокъ, унизилъ его тѣмъ, что сталъ объяснять овладѣвшее имъ направленіе его несвободнымъ положеніемъ, всегда зависящимъ отъ страха и фавора; онъ называлъ дальнѣйшее служеніе искусству въ такомъ направленіи «вреднымъ», «ставилъ надъ художникомъ крестъ» и давалъ ему совѣтъ, какъ самое лучшее по степени безвредности, «изображать по-старому голыхъ женщинъ, которыми онъ открылъ себѣ фортуну».

Фебуфисъ былъ страшно уязвленъ этимъ «артиклемъ». Онъ никакъ не ожидалъ видѣть себя свѣщеннымъ и развѣнчаннымъ такъ скоро и такъ рѣшительно. Онъ ощутилъ въ себѣ неудержимый позывъ дать горделивый отпоръ, въ которомъ не намѣренъ былъ вступаться за свое произведеніе, но хотѣлъ сказать критику, что не онъ можетъ укорять въ несвободности художника за то, что онъ не запрягаетъ свою музу въ ярмо и не заставляетъ ее двигать топчакъ на молотилкѣ; что не имъ, слугамъ посторонних искусству идей, судить о свободѣ, когда они не признаютъ свободы за каждымъ дѣлать, что ему угодно; что онъ, Фебуфисъ, не только вольнѣй ихъ, но что онъ совсѣмъ воленъ, какъ

птица, и свободенъ даже отъ предразсудка, желающаго запрячь свободное искусство въ плугъ и подчинить музу служенію пользамъ того или другого порядка подъ полицейскимъ надзоромъ деспотической критики. И многое еще въ этомъ же задорно-сконфуженномъ родѣ собралъ Фебуфисъ, не замѣчая, что сквозь каждое слово его отповѣди звучало сознаніе, что онъ на чемъ-то пойманъ и въ спорѣ своемъ желаетъ только возбудить шумиху словъ, чтобы запутать понятія ясныя, какъ солнце. У него кстати оказался и стиль, благодаря чему въ отповѣди очень сносно доказывалось, что «для искусства безразличны учрежденія и порядки, и что оно можетъ процвѣтать и идти въ гору при всякомъ положеніи и при всякихъ порядкахъ».

Лучше написать это, какъ написалъ Фебуфисъ, даже не требовалось, но Пикъ, которому онъ читалъ свои громы, говорилъ, что онъ все это уже какъ-будто раньше гдѣ-то читалъ или гдѣ-то слышалъ. И Фебуфисъ сердился, но сознавалъ, что это, однако, правда. Да вѣдь новаго и нѣтъ на свѣтѣ... Все уже когда-нибудь было сказано, но почему это же самое опять не повторить, когда это умѣстно? Впрочемъ, чтобы отвѣчать отъ лица школы цѣлой страны, надо, чтобы дѣло имѣло надлежащую санкцію, и потому авторъ рѣшилъ представить свой трудъ самому герцогу. Это ему внушало спокойствіе и дало всему, дѣйствительно, самое лучшее направленіе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Выбравъ удобный случай, чтобы представить свою рукопись герцогу, Фебуфисъ волновался въ ожиданіи его отвѣта, а тотъ не отвѣчалъ очень долго, но, наконецъ, въ одинъ прекрасный день передъ наступленіемъ новаго года художникъ получилъ приглашеніе отъ директора иностранныхъ сношеній,—того самаго искуснаго и ласковаго дипломата, который нѣкогда посѣтилъ вмѣстѣ съ герцогомъ его студію въ Римѣ.

Годы не измѣнили мягкихъ манеръ этого сановника: онъ встрѣтилъ Фебуфиса чрезвычайно радушно и весело поздравилъ его съ большимъ успѣхомъ у герцога.

— Вашъ отвѣтъ вашимъ озлобленнымъ завистникамъ привелъ въ совершенный восторгъ герцога, — началъ онъ, усаживая передъ собою художника. — Его свѣтлость изво-

лилъ поручить мнѣ выразить вамъ его полное сочувствіе вашимъ прекраснымъ мыслямъ, и если при этомъ могутъ имѣть какое-нибудь значеніе мои мнѣнія, то я позволю себѣ сказать, что и я вамъ вполнѣ сочувствую. Я прочиталъ ваше сочиненіе. Герцогъ желалъ этого, и я былъ долженъ прочесть, и исполнился радости за васъ и скорби за себя... Да, въ числѣ моихъ помощниковъ нѣтъ ни одного, который имѣлъ бы такіе ясные взгляды и умѣлъ бы такъ хорошо ихъ отстаивать.

Фебуфисъ поклонился, а сановникъ пожалъ его руку и сказалъ, что если бы онъ не былъ великимъ художникомъ, то онъ ни на кого бы смѣлѣе, чѣмъ на него, не рѣшился указать, какъ на способнѣйшаго дипломата.

— Значитъ, я теперь могу выпустить написанное въ свѣтъ?

— Нѣтъ. И это не нужно. Это само по себѣ такъ свѣтло, что не нуждается во внѣшнемъ свѣтѣ. Герцогъ на вашей сторонѣ. Вамъ сейчасъ предстоитъ удовольствіе увидать, что именно его свѣтлость начерталъ наверху вашихъ вѣрноподданныхъ словъ своею собственною, безтрепетною рукой.

Произнеся съ горделивымъ достоинствомъ эти слова, сановникъ взялъ на колѣни малиновый бархатный портфель, съ золотымъ выпуклымъ вензелемъ и такимъ же золотымъ замкомъ, помѣщеннымъ въ полѣ орденской звѣзды. Затѣмъ онъ бережно ввелъ внутрь портфеля длинную кисть своей старческой руки и еще бережнѣе извлекъ оттуда рукопись Фебуфиса, на верхнемъ краю которой шли три строки, написанныя карандашомъ довольно красивымъ, кругловатымъ почеркомъ, съ твердыми нажимами.

Положивъ бумагу на папку посреди стола, сановникъ поднялся съ своего мѣста и попросилъ художника сѣсть въ кресло, а самъ сталъ и поднялъ вверхъ лицо, какъ-будто онъ готовился слушать лично ему отдаваемое распоряженіе герцога.

Фебуфисъ прочиталъ: «Одобряю и вполнѣ согласенъ».

— Вотъ!—прошепталъ, придыханіемъ и наклоняя голову, вельможа.

«Но»,—продолжалъ Фебуфисъ.

Сановникъ опять поднялъ лицо и опять застылъ въ позѣ.

«Имѣя въ виду всеобщее растлѣніе, которое теперь господствуетъ въ умахъ, нахожу несообразнымъ говорить съ этими людьми словами вѣрноподданнаго убѣжденія».

Фебуфисъ вспыхнулъ и взглянулъ вопросительно на вельможу.

Тотъ тоже посмотрѣлъ на него выразительнымъ взглядомъ и произнесъ:

— Онъ неотразимъ! — и затѣмъ протянулъ руку къ бумагѣ съ тѣмъ, чтобы взять и вложить ее снова бережно въ малиновый портфель.

— Развѣ вы мнѣ не возвратите и мою бумагу?

— Конечно, нѣтъ. Съ этимъ начертаніемъ герцога она отнынѣ составляетъ достояніе исторіи... Она историческій документъ, который переживетъ насъ и будетъ храниться вѣка въ архивѣ, но вы, вмѣсто этой бумаги, получите другую, и вотъ она.

Онъ далъ художнику небольшой листокъ бристоля, на которомъ назначалось дать ему высокій чинъ и соединенныя съ нимъ потомственныя права и имѣніе въ живописномъ уголкѣ герцогства.

Пока Фебуфисъ смотрѣлъ удивленными глазами на эти строки, значеніе которыхъ ему казалось и невѣроятно, и непонятно, и, наконецъ, даже щекотливо и обидно, директоръ поправилъ свой носъ и, наконецъ, спросилъ:

— Мнѣ кажется, что вы какъ будто удивляетесь.

— Да, графъ,—отвѣтилъ Фебуфисъ.

Графъ качнулъ головою, улыбнулся и отвѣтилъ:

— Да, это обыкновенно бываетъ съ тѣми, кто не привыкъ къ характеру герцога. Рѣдко кто знаетъ, какъ онъ щедръ и какъ онъ умѣетъ награждать.

— Да, герцогъ щедръ, но въ числѣ его наградъ есть одна, которая, мнѣ кажется, соединена съ перемѣною подданства... Я уважаю герцога, но я никогда не просилъ объ этомъ.

— Неужто?.. Впрочемъ, я до вещей внутренняго управленія не касаюсь... на это у насъ есть господинъ Шеръ. Правда, что у него въ вѣдомствѣ все идетъ чортъ знаетъ какъ, но зато по вдохновенію... У насъ это любятъ. Впрочемъ, если что неудобно, то вы сами можете говорить объ этомъ съ герцогомъ... Вамъ завтра надо ему представиться и благодарить его свѣтлость... Поцѣлуйте руку... Это такъ принято... Adieu!

Графъ повернулся и послалъ рукою поцѣлуй Фебуфису.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Фебуфисъ возвратился отъ обласкавшаго его дипломата въ самомъ дурномъ расположеніи духа: онъ переходилъ безпрестанно отъ угнетенности къ бѣшенству и не зналъ, чему дать болѣе хода. Дары, возвѣщенные ему маленькою записочкой на бристолѣ, были очень щедры, но, при всемъ томъ, онъ чувствовалъ, что потерялъ нѣчто болѣе важное и существенное, чѣмъ то, что̀ получаетъ. Во всякомъ случаѣ, онъ трактованъ слишкомъ ниже того, до чего положилъ себѣ предѣльною мѣтой, и внутренній Шеръ имѣетъ основаніе шутить надъ его «головнымъ павлиномъ», а графъ внѣшнихъ сношеній можетъ посылать ему на прощаніе дѣтскіе поцѣлуи. Всѣ они, въ самомъ дѣлѣ, значительные каналіи, но крѣпче его наступаютъ людямъ на ноги, межъ тѣмъ, какъ онъ колеблется и не умѣетъ быть притворщикомъ, тогда какъ, въ сущности, это неотразимо требуется. Онъ все дышитъ и томится. А потомъ стекло, сквозь которое онъ смотритъ, какъ будто задышется и потемнѣетъ, и ничего не станетъ видно, и тогда онъ приметъ рѣшеніе, какого не думалъ. Такъ и теперь: простой и ясный смыслъ говоритъ ему, что онъ долженъ поблагодарить герцога сразу за все и сразу же отъ всего отказаться. Недаромъ духъ его возмущается и онъ чувствуетъ въ себѣ полный достатокъ силъ все это сдѣлать, но какъ только онъ начинаетъ соображать, что̀ для этого нужно разрушить и въ чемъ повиниться, такъ его практическій смыслъ угнетается цѣлою массой представленій, для успокоенія которыхъ выходитъ изъ завѣшеннаго угла на ходуляхъ софизмъ: «не все ли равно, такой или другой деспотизмъ?.. И этотъ, и тѣ—всѣ гнутъ—не парятъ, и сломятъ—не тужатъ... Этотъ, по крайней мѣрѣ... Да нѣтъ,—все гадость, все несносно»...

Тутъ проходитъ какая-то полусонная глупость: одинъ получаетъ преимущество передъ другимъ, потому что онъ одинъ, а въ существѣ потому, что съ нимъ уже сдѣлка сдѣлана, а изъ одного закрома брать кормъ удобнѣе, чѣмъ собирать его по пустымъ токамъ. Головной павлинъ, дойдя досюда, складываетъ хвостъ и садится на насѣстъ.

Такъ это было и теперь. Фебуфисъ вздыхалъ, скребъ грудь и даже, отправляясь утромъ другого дня въ герцогскій замокъ для принесенія благодарности его свѣтлости,

еще не знать, что онъ сдѣлаетъ, но съ нимъ былъ его практическій геній, и органически въ немъ уже сложилось то, что надо дѣлать.

Увидавъ его издали, герцогъ кивнулъ ему головою и, прервавъ рѣчь съ тѣмъ, съ кѣмъ разговаривалъ, громко спросилъ:

— Ты доволенъ?

Это была неудобная форма для начала объясненій; художникъ почти столько же волею, сколько и неволею уронилъ тихо, что онъ доволенъ, но осмѣлится нѣчто объяснить.

Отвѣтъ показался герцогу невнятенъ, и онъ переспросилъ:

— Что?!

— Я благодарю вашу свѣтлость за ваши милости, но...

— То-то!

Художникъ было почтительно началъ о своей отповѣди, которую онъ желалъ сдѣлать гласною, но герцогъ нахмурился и сказалъ:

— Оставь это: искусство, какъ и все, должно быть національно. А чтобы различные толки не портили дѣла, я велѣлъ принять мѣры, чтобы сюда не доходили никакіе толки. Ты очень впечатлителенъ. Пора тебѣ перестать вести одинокую жизнь. Я тебѣ совѣтую выбрать хорошую, добрую дѣвушку по-сердцу и жениться.

Фебуфисъ благодарилъ за милостивое вниманіе и заботливость, но не выразилъ желанія жениться.

Герцогъ сдвинулъ брови и сказалъ:

— А знаешь, мнѣ это очень противно! Семейная жизнь всего лучше успокаиваетъ, и ты это, навѣрное, увидишь на своемъ товарищѣ, котораго, кстати, поздравь отъ меня. Онъ сдѣлалъ превосходный выборъ и, вѣроятно, будетъ счастливъ.

— Мой товарищъ?.. О комъ, ваша свѣтлость, изволите говорить?

— Ну, разумѣется, о маленькомъ Пикѣ. Чтобы не забыть,—о немъ теперь надо лучше позаботиться, такъ какъ онъ женится, то я велю дать ему должность съ двойнымъ окладомъ. Его будущая жена—дочь очень достойнаго человѣка и моего вѣрнаго слуги. Храбръ... и глупъ, какъ сто тысячъ братьевъ. Будто ты ничего объ этомъ не знаешь?

— Ничего, ваша свѣтлость.

— Маленькій Пикъ, значитъ, въ любовныхъ дѣлахъ остороженъ. Это, впрочемъ, такъ и слѣдуетъ: дѣвушка очень молода и наивна, какъ настоящая монастырка, но онъ очень скоро побѣдилъ ея застѣнчивость. Представь, онъ нашелъ способъ разъяснить ей, чѣмъ отличается буканъ отъ букашки... За это его тюкъ на крюкъ! Это довольно смѣшной случай, но пусть онъ самъ тебѣ о немъ разскажетъ. Кстати, онъ зоветъ ее «прелестная Пеллегрина». Ей это идетъ... Ты ея не видалъ?

— Нѣтъ.

— Очень интересна: она въ миньонномъ родѣ.

Фебуфисъ выслушалъ новость о Пикѣ какъ бы въ забытьѣ: его не интересовало теперь ничто, даже и то, что и съ самимъ съ нимъ происходило: все ему представлялось тяжелымъ сновидѣніемъ, отъ котораго онъ хотѣлъ бы отряхнуться, только это казалось невозможнымъ. Онъ чувствовалъ, что какъ будто ушелъ далеко въ какой-то дремучій лѣсъ, изъ котораго не найти выхода. Да и куда выходить? И зачѣмъ? Здѣсь онъ все-таки значительная величина, хоть по герцогскому распоряженію, а во всякомъ другомъ мѣстѣ онъ станетъ наравнѣ со всѣми судимъ свободнымъ судомъ критики и... онъ знаетъ, какое она отведетъ ему мѣсто... Тяжкое униженіе! Здѣсь онъ ничего этого не испытаетъ... Сюда ничто ему непріятное не проникнетъ,—противъ этого велѣно принять мѣры. Онъ въ этомъ не виноватъ, а между тѣмъ ему отъ этого спокойно, и онъ легъ на диванъ, покрылъ ноги плэдомъ и сладко заснулъ до сумерекъ, когда Пикъ сталъ весело будить его къ обѣду.

Фебуфисъ всталъ нѣсколько мрачный и серьезный, молчалъ въ продолженіе всего стола, но при концѣ обѣда прямо, безъ всякихъ предисловій, спросилъ Пика:

— Я слышалъ, ты женишься?

— Кто тебѣ это сказалъ?

— Герцогъ.

— На комъ же, смѣю спросить?

— Ну, что за глупость; будто ты не знаешь.

— До сихъ поръ не знаю.

— На какой-то милой дѣвушкѣ, невинной монастыркѣ, которую ты прозвалъ «прелестною Пеллегриной». Зачѣмъ ты покорилъ ея сердце и научилъ ее, какъ узнавать букана отъ букашки?

Пикъ расхохотался.

— И герцогъ это знаетъ?

— Онъ говорилъ мнѣ объ этомъ.

— Боже мой, какая противность! Чего онъ только не знаетъ? Кажется все, кромѣ нуждъ своего народа!

— Такъ это правда или нѣтъ?

— Что я женюсь?.. Конечно, неправда!

И Пикъ опять расхохотался. Онъ, такая маленькая крошка, чья незамѣтная фигура во всѣхъ возбуждала смѣхъ и шутливость, какъ онъ могъ быть любимъ милою дѣвушкой, которая ему чрезвычайно нравилась! И онъ *женится!* Это самому ему только и могло казаться слишкомъ грубою и слишкомъ неотдѣланною насмѣшкой, но, тѣмъ не менѣе, черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ Фебуфису:

— Знаешь, я въ самомъ дѣлѣ, кажется, женюсь!

— Отчего же тебѣ это вдругъ стало казаться?

— Оттого, что я сдѣлалъ Пеллегриночкѣ предложеніе и объяснился съ ея отцомъ и отъ обоихъ отъ нихъ получилъ согласіе.

— Вотъ-те чортъ! Въ такомъ случаѣ, я поздравляю тебя,— ты, значитъ, навѣрное женишься.

— Да, вообрази, женюсь! Это случилось какъ-то внезапно... У нея есть кузенъ, молодой офицеръ, мерзкій шалунъ, который выдалъ мою тайну, и я былъ долженъ объяснить мои намѣренія... Конечно, не Богъ знаетъ что: мы съ нею, просто, ходили и гуляли, но этотъ достопочтенный старикъ, ея отецъ... онъ наивенъ такъ же, какъ сама Пеллегрина, и это неудивительно, потому что онъ женился на матери Пеллегрины, когда ему было всего двадцать лѣтъ, и его покойная жена держала его въ строгихъ рукахъ до самой смерти... Она умерла годъ тому назадъ.

— Онъ, вѣрно, радъ, что она умерла.

— М... ну—не знаю. Его племянникъ говорилъ, будто она ставила его на колѣни, и за то старичокъ теперь желаетъ будто компенсаціи и, какъ только выдастъ дочь замужъ, такъ самъ опять женится. Но этому хотятъ помѣшать.

Фебуфисъ уловилъ вполнѣ ясно только послѣднее слово и повторилъ вяло:

— Жениться! Это значительный рессурсъ при большой скукѣ.

— Такъ ты противъ женитьбы?

— Какъ можно! Особенно при настоящемъ случаѣ, когда кое-что можетъ перепасть и на мою холостецкую долю.

— Да, вѣдь, признайся, и тебѣ здѣсь скучно... Ты скучаешь?

— Очень скучаю, мой милый Пикъ, и потому я былъ бы очень счастливъ, если бы ты и твоя будущая жена не отогнали меня, старика, отъ своего обѣденнаго стола и отъ вашей вечерней лампы. А ужъ потомъ я буду желать вамъ спокойной ночи.

— О, конечно, это такъ и будетъ! Это непремѣнно такъ и будетъ! Мы съ тобой не разстанемся и будемъ жить всѣ вмѣстѣ. Мы уже объ этомъ говорили. Пеллегриночка тебя очень почитаетъ. Она прекрасное дитя: она сказала, что она меня «любитъ», а тебя «уважаетъ», и сейчасъ же вскрикнула: «Ахъ, Боже мой! я не знаю, что больше!» Я ей сказалъ, что уваженіе значитъ больше, потому что оно заслуживается, и указалъ на ея чувства къ отцу, но она прекрасно замахала руками и говоритъ: «Что вы, что вы, я папу и не люблю, и не уважаю!» Я удивился и говорю: «За что же?»—А она говоритъ: «Я къ нему никакъ не могу привыкнуть».—«Въ какомъ смыслѣ?»—«Я не могу переносить, для чего отъ него бобковою мазью пахнетъ».—«Какіе пустяки!»—«Нѣтъ, говоритъ, это не пустяки; мать тоже никакъ не могла привыкнуть: она правду ему говорила, что онъ «не мужчина».—«Что же онъ такое?»—«Мама его называла: губка! Фуй!»—«Чѣмъ же это порокъ?»—«Да фуй!.. мнѣ о немъ стыдно думать!» Ты вообрази себѣ этакую своего рода быстроту и бойкость въ нераздѣльномъ слитіи съ монастырскою наивностью... Это что-то дѣтское, что-то какъ будто игрушечное и чертопхайское... и, главное, эти неожиданные сюрпризы и переходы, начиная отъ букана до мужчины и до не-мужчины... Вѣдь все это видѣть, все это самому вызвать и наблюдать всѣ эти переходы...

— Что и говорить! — перебилъ Фебуфисъ. — Во всемъ этомъ, безъ сомнѣнія, чувствуется біеніе жизненнаго пульса.

— Да, вотъ, именно біеніе жизненнаго пульса.

И ему было дано вволю испытать на себѣ въ разной степени біеніе жизненнаго пульса. Одно изъ высшихъ удовольствій въ этомъ родѣ онъ узналъ въ самый блаженный мигъ, когда послѣ свадебныхъ церемоній остался вдвоемъ съ прелестною Пеллегриной. Случай былъ такой, что Пикъ

совершенно потерялся, убѣжалъ въ холодный залъ и, прислонясь лбомъ къ покрытому изморосью оконному стеклу, проплакалъ всю ночь. Въ этомъ же положеніи спасла его утромъ его молоденькая жена: она подошла къ нему съ своимъ невиннымъ дѣтскимъ взглядомъ въ утреннемъ капотѣ новобрачной дамы, положила ему на плечи свои миніатюрныя ручки и, повернувъ къ себѣ этими ручками его лицо, сказала:

— Мой другъ, вѣдь я не раздѣвалась...

— Мнѣ все равно!—отвѣтилъ спѣшно Пикъ.

— Нѣтъ... не все равно.

У Пика кипѣла досада и онъ отвѣтилъ:

— Я говорю вамъ: это мнѣ все равно!

— А я... я себѣ этого даже и объяснить не могу...

— *Себѣ!*

— Да.

— Даже *себѣ* не можете объяснить?!

— Вотъ именно!

— Это становится интересно.

— Я помню одно, что я дежурила въ комнатахъ у начальницы, и *онъ* неслышно взошелъ по мягкимъ коврамъ и... онъ взялъ меня очень сильно за поясъ...

— Чортъ бы васъ взялъ съ нимъ вмѣстѣ!

— Но я не раздѣвалась и только была совсѣмъ измучена... и я больше ничего не знаю... я ничего не помню...

— Не помните!

— Да, я затрепетала...

— Затрепетала!

— Да, затрепетала... мы такъ воспитаны.

— Вы очень оригинально воспитаны... Ничего не понимаете...

— Да... не понимала, а теперь мнѣ дурно.

Пикъ хотѣлъ ее оттолкнуть, но, вмѣсто того, принялъ жену подъ руки, отвелъ ее въ спальню, помогъ ей раздѣться и сказалъ:

— Разъ что все было такъ, то это предастся забвенію.

Она въ полузабытьи, съ глазами, закрытыми вѣками, слабо пожала его руку.

— Но только мы уѣдемъ отсюда. Здѣсь имъ вездѣ ужъ слишкомъ полно.

— Какъ ты хочешь, буканъ,—прошептали милыя, дѣтскія уста Пеллегрины.

Пикъ улыбнулся и сталъ цѣловать ихъ и повторялъ:

— Мы отъ него уѣдемъ, уѣдемъ, букашка!

— Да, уѣдемъ, буканчикъ,—отвѣчала Пеллегрина:—только не надо ничѣмъ тревожить папу.

Пикъ все позабылъ и растаялъ въ объятіяхъ своей наивной жены.

Буканъ и буканка были счастливы. Равновѣсіе въ ихъ жизни нарушалось только однимъ стороннимъ обстоятельствомъ: отецъ Пеллегрины, съ двадцати лѣтъ состоявшій при своемъ семействѣ, съ выходомъ дочери замужъ вдругъ заскучалъ и началъ страстно молиться Богу, но онъ совсѣмъ не обнаруживалъ стремленія жениться, а показалъ другую удивительную слабость: онъ поддался вліянію своего племянника и съ особеннымъ удовольствіемъ началъ искать веселой компаніи; чего онъ не успѣлъ сдѣлать въ юности, то все хотѣлъ воспомнить теперь: онъ завилъ на головѣ остатокъ волосъ, купилъ трубку съ дамскимъ портретомъ, сталъ пить вино и началъ ѣздить смотрѣть, какъ танцуютъ веселыя женщины. Спустя малое время, онъ не выдержалъ и самъ принялъ участіе въ танцахъ.

По его значенію въ военномъ мірѣ, внутренній Шеръ довелъ объ этомъ до свѣдѣнія герцога, а герцогъ, встрѣтя его въ паркѣ, спросилъ:

— Ты танцуешь?

— Виноватъ,—отвѣчалъ генералъ.

— Отчего ты это вздумалъ?

— Рано женился и ничего не испыталъ въ молодости, ваша свѣтлость.

— То-то! Смотри, чтобъ этого не было.

Почтенный воинъ далъ слово своему повелителю, но не въ силахъ былъ этого слова выдержать: молодая компанія опять увлекла его въ опасное сообщество, гдѣ онъ нарушилъ свое обѣщаніе: онъ пилъ и танцовалъ, и, дѣлая рондъ въ фигурѣ, вдругъ увидалъ передъ собою внутренняго Шера... Генералъ сейчасъ же упалъ и переломилъ себѣ хребетъ, а когда пришелъ на мгновеніе въ себя и сообразилъ, что объ этомъ узнаетъ герцогъ, то тотчасъ же тутъ и умеръ на мѣстѣ преступленія. Внутренній Шеръ тихо перенесъ героя ночью въ его жилище и утромъ доложилъ герцогу. Герцогъ

слушалъ начало доклада въ гнѣвѣ, но потомъ былъ тронутъ поступкомъ генерала и сказалъ:

— Онъ хорошо кончилъ!

Затѣмъ вышло распоряженіе, чтобы молодыхъ людей посадить подъ арестъ, танцорокъ высѣчь, а усопшему сдѣлать погребальный церемоніалъ по его заслугамъ и произнести надъ его гробомъ глубоко-прочувствованное слово.

Все это было исполнено, и герцогъ самъ былъ тутъ, самъ окинулъ взоромъ церемонію, самъ выслушалъ слово и даже приткнулся рукою ко гробу нѣкогда храбраго человѣка, а потомъ съ чувствомъ пожалъ руку его дочери. Фактъ этотъ цѣликомъ перешелъ въ исторію народа.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Трауръ, который надѣла по отцѣ Пеллегрина, до того шелъ къ ея граціозной, легкой фигуркѣ и пепельной головкѣ, что Фебуфисъ, пребывавшій долгое время въ тяжолой и безпросвѣтной хандрѣ, увидавъ ее, просвѣтлѣлъ и сказалъ:

— Знаете ли, я очень хочу написать вашъ портретъ.

Пеллегрина, какъ женщина, съ удовольствіемъ чувствовала обаяніе, которое ея красота произвела на знаменитаго, по общему мнѣнію, друга ея мужа, и ничего не имѣла противъ осуществленія его артистическаго желанія. Пикъ одобрялъ это еще болѣе.

— Это тебѣ пришла счастливѣйшая мысль,—восклицалъ онъ:—это обоихъ васъ займетъ, и тебя, и ее заставитъ прогнать отъ себя тяжелыя мысли.

Портретъ былъ начатъ во весь ростъ на большомъ холстѣ, гдѣ нашли мѣсто для своего расположенія всѣ любимыя вещи въ будуарѣ Миньоны.

Фебуфисъ послѣ продолжительной апатіи и бездѣйствія взялся за работу съ большимъ рвеніемъ и портретъ Пеллегрины обѣщалъ превзойти портретъ, написанный Фебуфисомъ съ герцогини для кабинета герцога. Это обстоятельство заключало въ себѣ даже нѣчто щекотливое и заставляло Фебуфиса производить работу не въ мастерской, а въ будуарѣ Пеллегрины. Онъ приходилъ къ ней въ своемъ рабочемъ легкомъ костюмѣ—въ туфляхъ, сѣренькихъ широкихъ панталонахъ и коричневой бархатной курткѣ. Она позировала передъ нимъ стоя и, утомясь, отдыхала на широкой оттоманкѣ, а онъ переносилъ ея дѣвственныя черты

на полотно и нѣчто занесъ нечаянно въ свое сердце, начавшее гнать кровь въ присутствіи жены друга съ увеличенною силой. Онъ сталъ неровенъ и нервенъ,—она это, кажется, замѣчала, но оставалась во всегдашнемъ своемъ безпечномъ, младенческомъ настроеніи, и даже когда онъ однажды сказалъ ей, что не можетъ глядѣть на нее издали, она и тогда промолчала. Но ужъ тогда онъ бросилъ кисть и палитру и, кинувшись къ ней, обнялъ ея колѣни и овладѣлъ ею такъ бурно, что она совсѣмъ потерялась, закрыла лицо руками и прошептала не разъ, а два раза:

— Бога ради, Бога ради!

Онъ, кажется, не разобралъ, какъ это слѣдовало понять, и послѣдствія этого недоразумѣнія совершенно не отвѣчали программѣ сеанса.

Дѣла могли идти такимъ порядкомъ очень долго, но разъ Пикъ вошелъ домой не въ счастливый часъ и не въ урочное время и услыхалъ это же страшно произнесенное «Бога ради!» Онъ понялъ это не такъ, какъ слѣдовало: ему показалось, что его женѣ дурно, и онъ бросился къ ней на помощь, но, спѣшно войдя въ комнату, онъ засталъ Пеллегрину и Фебуфиса сидящими на диванѣ слишкомъ тихими и въ слишкомъ далекомъ другъ отъ друга разстояніи.

Онъ посмотрѣлъ на нихъ, они на него, и всѣ трое не сказали другъ другу ни слова.

И Пикъ стоялъ, а тѣ двое продолжали сидѣть другъ отъ друга слишкомъ далеко, въ противоположныхъ концахъ дивана, и вездѣ, по всей комнатѣ, слышно было, какъ у нихъ у всѣхъ у трехъ въ груди бьются сердца, а Пикъ прошипѣлъ: «Какъ все глупо!»—и вышелъ вонъ, ошеломленный, быть-можетъ, одною мечтой своего воображенія, но зато онъ сію минуту опомнился и, сдѣлавъ два шага по ковру, покрывавшему полъ сосѣдней гостиной, остановился. Его такъ колыхало, что онъ схватился одною рукой за мебель, а другою за сердце... Вокругъ была нѣсколько минутъ жуткая тишина и только потомъ до слуха Пика долетѣлъ тихій шопотъ:

— Для чего вамъ было садиться такъ далеко?

Это говорила букашка и говорила съ укоризною... Фебуфисъ въ роли букана былъ сильнѣе потрясенъ и молчалъ.

Ее это еще больше разсердило. Пикъ слышалъ, какъ она встала съ дивана и подошла къ столику, и какъ обручаль-

пое колечко на миніатюрномъ пальцѣ ея руки тихо звякнуло о граненый флаконъ съ одеколономъ. Пикъ узнавалъ ее по всѣмъ этимъ мелкимъ примѣтамъ.

Она, очевидно, входила въ себя и держала себя на уровнѣ своихъ привычекъ, между тѣмъ какъ ея сообщникъ былъ недвижимъ и едва могъ произнести:

— Было бы все равно.

— Совсѣмъ не равно,—отвѣчала настаивательно Пеллегрина, уже повышая тонъ до полуголоса.—Люди, которые просто разговариваютъ, никогда такъ далеко не сидятъ.

Онъ тоже хотѣлъ ободриться и съ улыбкою, слышною въ шопотѣ, спросилъ:

— Здѣсь это не принято?

Но она совсѣмъ уже полнымъ голосомъ повторила:

— Не принято!.. Гораздо важнѣе—это не то, что *здѣсь* «не принято», а то, что это вездѣ *неестественно*!

И съ этимъ она поставила на уборный столъ флаконъ и, вѣроятно, хотѣла идти вслѣдъ за мужемъ въ тѣ самыя двери, въ которыя онъ вышелъ, но Пикъ предупредилъ ее: онъ бросился впередъ, схватилъ въ передней свой плащъ и шляпу и выбѣжалъ на улицу. На дворѣ уже темнѣло и лилъ проливной дождь. Пикъ ничего этого не замѣчалъ; онъ шелъ и свисталъ, останавливался у угловъ, не зная, за который изъ нихъ повернуть, и потомъ опять шелъ и свисталъ, и вдругъ расхохотался.

— И это я ей говорилъ. Я ей объяснялъ, что букашка и что букашъ! И это она увѣряла меня, какъ она не понимала, что съ нею дѣлаютъ, и затрепетала! И это я писалъ Маку о здѣшнихъ женщинахъ, какъ онѣ наивны!.. Что могъ я понять въ этомъ омутѣ, въ этой поголовной лжи?.. Что я могу понять даже теперь? Впрочемъ, теперь я понимаю то, что я не хочу здѣсь оставаться ни дня, ни часа, ни минуты!

И съ этихъ поръ онъ исчезъ безслѣдно.

Внутренній Шеръ доложилъ герцогу объ исчезновеніи Пика въ числѣ обыкновенныхъ полицейскихъ событій. Все, что предшествовало этому загадочному исчезновенію и что было его настоящею причиной, осталось для всѣхъ посторонняхъ неизвѣстнымъ. Когда же всѣ розыски Пика въ предѣлахъ герцогства оказались безуспѣшными, герцогъ призвалъ Фебуфиса и спросилъ:

— Что ты знаешь о своемъ товарищѣ?

— Ничего, ваша свѣтлость.

— А въ какомъ положеніи его жена? Она, можетъ быть, уже вдова и у нея нѣтъ права на пенсію?

— Если, ваша свѣтлость, повелите,—вкрадчиво вставилъ Шеръ.

— Да,—отвѣчалъ герцогъ:—я повелѣваю. И, кстати, пусть ее тоже опредѣлятъ воспитательницей тамъ, гдѣ она сама училась. Это будетъ пріятно герцогинѣ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Исчезновеніе Пика, однако, чувствительно ударило по сердцу Фебуфиса, и Пеллегрина перестала ему больше нравиться, а притомъ совершилось еще другое. Сопровождая герцога, онъ посѣтилъ одинъ богатый торговый городъ, въ ратушѣ котораго имъ былъ данъ роскошный балъ. На этомъ балѣ, въ числѣ многихъ красивыхъ женщинъ, появилась молодая дѣвушка классически строгой и поразительной красоты. Ее звали Гелія. Она была дочь мѣстнаго богатаго негоціанта, имѣвшаго дѣла со всею Европой. Красота ея бросилась всѣмъ въ глаза и сразу Фебуфиса плѣнила. Это замѣтилъ герцогъ, и тутъ же спросилъ его:

— Что ты о ней скажешь?

— Ваша свѣтлость,—отвѣчалъ Фебуфисъ:—о ней можно сказать только, какъ говорятъ на Востокѣ: «глазъ смертнаго не можетъ видѣть такое совершенство безъ готовности умереть за него».

Герцогу понравилась восточная фраза: онъ, почитавшій себя покровителемъ вѣры, самъ любилъ иногда пустить въ ходъ что-нибудь въ библейскомъ родѣ, и въ данномъ случаѣ онъ тоже скомпоновалъ что могъ: онъ похлопалъ Фебуфиса по плечу и сказалъ:

— Эге, смертный, я вижу, ты еси уже уязвленъ сею красою. Бойся заболѣть, но, впрочемъ, при мнѣ и сія болѣзнь можетъ оборотиться не къ смерти, а къ славѣ... только сумѣй ей понравиться.

— Ваша свѣтлость, смертный не дерзаетъ и думать о томъ, чтобы понравиться такой красавицѣ.

— Прекрасно сказано: можетъ-быть, ей даже и нельзя понравиться, потому что она, какъ единственная дочь богатаго отца, избалована и хватила хваленой цивилизаціи за границею. Говорятъ, она холодна, какъ Діана.

— Вотъ изволите видѣть!

— Да, да,—Діана, и даже ходитъ одна съ огромнымъ псомъ. И притомъ, она умна... и даже, кажется, что-то пишетъ... И вотъ именно объ искусствѣ... Она тоже живописецъ и училась у Каульбаха. Но, главное, отецъ въ ней не слышитъ души, и она очень своевольна. Но, надѣюсь, я здѣсь хозяинъ и могу кое-что сдѣлать. Хочешь, я ее за тебя посватаю?

Фебуфисъ, сложивъ руки на груди, съ улыбкою поклонился герцогу и произнесъ:

— Пощадите, ваша свѣтлость!

— А вотъ же посватаю и высватаю: это дѣло мое, а ты знай самъ средство, какъ съ нею обходиться,—и съ этимъ онъ прямо съ мѣста направился къ отцу красавицы, взялъ его подъ руку въ сторону и сталъ просить у него руки дочери для жениха, котораго онъ рекомендуетъ.

Фебуфисъ былъ какъ на иголкахъ, но около него былъ Шеръ; онъ его успокоивалъ и шепталъ ему:

Ничего не выйдетъ; у ея отца, у этого стараго Фрица въ головѣ преогромный павлинъ: онъ собитъ дочкѣ мужа милліонера или маркграфа.

Отецъ красавицы, которую звали Гелія, былъ сытый и рослый бюргеръ съ надменнымъ лицомъ, напоминающимъ лицо герцога Веллингтона, слылъ за страшнаго богача и жилъ роскошно. Однако, обращаясь въ сторонѣ отъ дворскихъ обычаевъ и притомъ въ торговомъ кружкѣ, въ которомъ онъ имѣлъ первенствующее значеніе, онъ не отличался находчивостью и былъ взятъ врасплохъ; онъ слыхалъ, что такимъ сватамъ не отказываютъ, и не успѣлъ сказать ни да, ни нѣтъ, какъ «сватъ» уже поманулъ къ себѣ жениха. Это обѣщало дрянную игру: два головные павлина сшибались: отецъ отца Фебуфиса былъ приказчикомъ у отца стараго Фрица, Фрицъ не могъ желать себѣ такого зятя, но, тѣмъ не менѣе, сухое и даже немножко надменное согласіе было дано. Герцогъ поднялъ бокалъ за здоровье жениха и невѣсты, и они были помолвлены. Негоціанты порта были этимъ удивлены и обижены,—на всѣхъ лицахъ было замѣтно неудовольствіе, а Шеръ, принеся свое поздравленіе отцу невѣсты, отошелъ въ амбразуру окна и, доставъ изъ кармана агенду, написалъ nota bene, по которой тайной агентурѣ слѣдовало пошарить вездѣ, гдѣ воз-

можно: все ли благополучно въ дѣлахъ почитаемаго въ милліонерахъ Фрица? Его уступчивость казалась Шеру подозрительною. Дѣвушка не протестовала нимало, но съ первыхъ же минутъ показала своему жениху холодное презрѣніе, а, тѣмъ не менѣе, вскорѣ же съ царственною пышностью была отпразднована ихъ свадьба. Невѣсту, которая все продолжала держать себя въ строгомъ чинѣ, подвелъ къ алтарю самъ герцогъ и оставался первымъ гостемъ на пирѣ, гдѣ присутствовала вся знать столицы, но присутствовала также незримо и Немезида...

Негоціантъ ничего не опредѣлилъ дочери, но можно было думать, что онъ дастъ большое приданое, а герцогъ, который «любилъ награждать», конечно, доставитъ многостороннія другія выгоды,—вышло, однако, такъ, что все это было вдругъ испорчено на первыхъ порахъ. Недобрымъ предвѣстіемъ всего было письмо, которое Фебуфисъ нашелъ у себя на столѣ въ то время, когда привезъ къ себѣ молодую супругу и оставилъ ее на короткое время въ ея художественно отдѣланной половинѣ. Письмо было написано какою-то злою и мстительною женщиной: въ немъ извѣщали Фебуфиса, что онъ великолѣпно надутъ, что онъ получилъ жену съ большими претензіями и безъ всякихъ средствъ; что тесть его, слывущій за милліонера, на самомъ дѣлѣ готовый банкротъ, ищущій спасенія въ дорого цѣнимой имъ уступкѣ; что бракъ этотъ со стороны Геліи есть жертва для спасенія отца, а Фебуфисъ отъ всего этого получитъ право ужинать всегда безъ послѣдняго блюда.

Фебуфису показалось, что это писала Пеллегрина. Онъ зналъ, что букашка чертовски скрытна, ловка и мстительна, а притомъ она, кажется, успѣла стать слишкомъ знакома съ внутреннимъ Шеромъ и умѣла узнавать у него кое-что изъ его ежедневныхъ упражненій въ подпечатываніи и чтеніи писемъ, ввѣряемыхъ почтовой пересылкѣ.

Маленькая, изящная Пеллегрина могла знать тайности, но ей также ничто не мѣшало и лгать, и клеветать на людей. Эта женщина—живое и мерзкое воспоминаніе, при которомъ является уколъ въ сердцѣ и мелькаетъ передъ глазами тѣнь маленькаго Пика.

Теперь это случилось какъ нельзя больше не во-время. Теперь это надо рѣшительно прочь.

Онъ наскоро сунулъ спутавшее его на минуту письмо

въ карманъ изящнаго спальнаго жакета изъ мягкой восточной матеріи и въ легкихъ восточныхъ туфляхъ спустился изъ мастерской внизъ къ женѣ, спальня и уборная которой были устроены въ тѣхъ самыхъ покояхъ, которые занималъ въ этомъ казенномъ домѣ Пикъ и его Пеллегрина. Спальня Геліи приходилась именно въ той самой комнатѣ, гдѣ Фебуфисъ писалъ портретъ Пеллегрины и скомпрометировалъ ее, сѣвши слишкомъ далеко отъ нея на диванѣ.

Это все опять ему ненадлежаще вспомнилось, когда онъ съ изящною ночною лампочкой въ рукѣ проходилъ по мягкому ковру той комнаты, гдѣ стоялъ Пикъ, держась рукою за сердце и выслушивая изъ собственныхъ устъ жены сознаніе въ ея поступкѣ и въ ея чертовской опытности и органической любви къ обману.

Фебуфисъ тряхнулъ своими порѣдѣвшими кудрями, какъ бы отгоняя воспоминанія, и положилъ руку на массивную бронзовую фигуру дракона, служившую ручкою двери въ женину спальню.

Сію минуту онъ увидитъ свою великолѣпную Гелію...

Сердце его усиленно билось, но дверь не подавалась... она была заперта. Быть-можетъ, это ему такъ только кажется; быть-можетъ, онъ неловко берется. Онъ надавилъ ручку сильнѣе, и теперь несомнѣнно убѣдился, что дверь заперта изнутри на ключъ. Значитъ, полученное неизвѣстнымъ путемъ письмо предупреждало его кое о чемъ вѣрно... свадебный пиръ его конченъ, и онъ, какъ дитя, оставленъ «безъ послѣдняго блюда».

Онъ былъ въ нерѣшимости, что̀ ему дѣлать: встряхнуть дверь и звать жену такъ, чтобы она должна была откликнуться, или выдержать себя и на первыхъ же порахъ наказать ея ни съ чѣмъ несообразный капризъ пренебрежительною холодностью?

Первое угрожало шумомъ и скандаломъ, который могъ дойти до ушей прислуги и сдѣлать его смѣшнымъ въ передней, на кухнѣ и въ мелочныхъ лавкахъ, откуда потомъ придетъ слухъ и въ гостиныя... Второе... еще можетъ къ чему-нибудь вывести.

Онъ предпочелъ второе и возвратился спать въ свою мастерскую.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Утро второго дня было для Фебуфиса тяжело неимовѣрно. Начало семейной жизни его не радовало, и онъ всталъ, ощущая никогда ему до сихъ поръ неизвѣстный страхъ передъ женщиной... прекрасною, строгою и чертовски холодною женщиной, избалованности и капризамъ которой, очевидно, нѣтъ мѣры, точно такъ же, какъ не видно мѣры ея упорству и самообладанію, которыхъ совсѣмъ нѣтъ у Фебуфиса.

Но обстоятельства требовали, чтобы онъ показалъ нѣкоторое самообладаніе, и онъ рѣшился сдѣлать надъ собою твердыя усилія. Онъ сошелъ въ столовую, гдѣ имѣлъ привычку пить свой утренній кофе, и, къ удивленію своему, засталъ здѣсь, за столомъ, совершенно одѣтую жену, передъ которой была англійская книга, а у ногъ ея лежала ея огромная черная собака Рапо. Супруги повидались холодно, какъ знакомые. Гелія не обнаружила ни малѣйшаго замѣшательства и даже дала замѣтить мужу, что она его нѣкоторое время ожидала за кофе. Онъ хотѣлъ разразиться, но вмѣсто того извинился, сдѣлалъ нѣсколько незначительныхъ вопросовъ и нѣсколько разъ посмотрѣлъ на чернаго Рапо. Его занимало: когда и кто привелъ въ его домъ эту собаку, имѣвшую чрезвычайную привязанность къ Геліи, а къ нему—возымѣвшую съ первой встрѣчи глухое личное неудовольствіе, способное, при всякомъ удобномъ поводѣ, перейти въ открытую непріязненность? Фебуфисъ даже не вытерпѣлъ и полюбопытствовалъ:

— Когда сюда перебрался Рапо?

Гелія отвѣчала, что Рапо пришелъ вчера съ ея вѣрною служанкой.

«Рапо и вѣрная служанка!.. Недурненькія штучки для начала», подумалъ Фебуфисъ и затѣмъ спросилъ:

— А гдѣ вы нашли для него здѣсь помѣщеніе?

— Его помѣщеніе, какъ всегда, при мнѣ.

— Нѣтъ, гдѣ онъ спалъ?

— На коврѣ, въ ногахъ у моей постели.

«Какова штучка!»—подумалъ Фебуфисъ и всталъ, чтобы привѣтствовать двухъ близкихъ родныхъ жены, пріѣхавшихъ сдѣлать ей обычный визитъ на другое утро послѣ брака.

Фебуфисъ былъ радъ ихъ приходу, чтобы избавиться отъ

сообщества, въ которомъ ему становилось тяжело, и, въ то же время, показать первое проявленіе и своего равнодушія, и своего самообладанія.

Онъ мало поговорилъ и, вставъ, направился къ себѣ въ мастерскую; но, при поворотѣ на коврѣ, наткнулся на Рапо и чуть не упалъ.

Онъ видѣлъ, что гости и его жена сдѣлали надъ собою усиліе, чтобы не засмѣяться его полету и смѣшному взмаху, который онъ сдѣлалъ руками.

Одинъ Рапо поглядѣлъ на него серьезно и грустно, безъ унизительной ироніи, и, звучно вздохнувъ изъ глубины своей собачьей души, точно хотѣлъ сказать: «Ахъ, уйди, тебѣ здѣсь не мѣсто!»

Фебуфисъ, съ своей стороны, подумалъ: «Я эту собаку непремѣнно убью», и затѣмъ онъ прошелъ къ себѣ въ мастерскую, одновременно чувствуя и бѣшенство, и неотразимую потребность удерживаться, и вдругъ онъ схватилъ кисти и началъ работать.

Съ этихъ поръ мастерская, этажемъ выше жилья, сдѣлалась его постояннымъ пріютомъ. Онъ точно вышелъ изъ дому безъ спора и безъ боя, самъ не замѣтивъ, какъ это случилось.

Онъ дѣлалъ съ женой визиты; былъ съ нею на завтракѣ, въ замкѣ, у герцога, причемъ герцогъ, поздравляя Гелію, поцѣловалъ у ней руку въ присутствіи герцогини. Потомъ у нихъ былъ родственный обѣдъ, за которымъ Фебуфисъ убѣдился, что отецъ его жены не дастъ дочери ничего, а что всѣ прочіе ея родственники совсѣмъ даже и не намѣрены почитать его за замѣчательнаго человѣка. Они нимало не скрываютъ, что смотрятъ на него просто какъ на герцогскаго фаворита, до котораго они снизошли случайно, по обстоятельствамъ, о которыхъ онъ пойметъ въ свое время и, для которыхъ обязанъ будетъ поработать. Вообще современемъ ему скажутъ, что дѣлать. За обѣдомъ послѣдовалъ балъ, на которомъ, въ блестящей свитѣ, прошелъ герцогъ, и опять уже не разъ, а два раза поцѣловалъ руку Геліи,— здоровался и прощался,—и сидѣлъ съ ней одной пять минутъ въ уединенной, маленькой гостиной, изъ которой, по принятому этикету, въ эти минуты всѣ вышли. Потомъ онъ подарилъ, по старинѣ, вниманіемъ и Фебуфиса. Онъ спросилъ его:

— Счастливъ?

Фебуфисъ поблагодарилъ за вниманіе.

— То-то!—пошутилъ герцогъ и, улыбаясь, шепнулъ ему на ухо:—Будь терпѣливъ и уповай на Бога.

«Что за дьявольщина!—подумалъ, провожая герцога, Фебуфисъ.—Во что, въ самомъ дѣлѣ, онъ не вмѣшивается, чего онъ только не знаетъ и о чемъ онъ не говоритъ!.. Какъ его много! Какъ его вездѣ чертовски много!»

И вдругъ онъ остановился на мѣстѣ и запнулся. Онъ вдругъ ясно увидѣлъ, что *его жена любовница герцога.*

Съ Фебуфисомъ сдѣлался обморокъ, и довольно странный обморокъ, въ которомъ продолжалось сознаніе.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Этого, можетъ-быть, только не видятъ другіе, или, наоборотъ, это видѣли и видятъ всѣ, кромѣ его. Онъ настоящій, форменный мужъ, который узнаетъ о своемъ позорѣ самый послѣдній и потомъ смиряется и сноситъ это изъ ложнаго стыда или выгодъ, но вотъ тутъ ужъ ошибка,—этого одного ужъ ни за что не будетъ съ Фебуфисомъ. Этого онъ не снесетъ ни за какія выгоды въ мірѣ. Онъ это разъяснитъ и разрубитъ все сейчасъ, сію минуту. И всѣ условія ему благопріятствовали—обморокъ сокрылъ отъ него разъѣздъ гостей и окончаніе бала. Придя окончательно въ чувство, Фебуфисъ увидѣлъ себя въ полумракѣ, на кушеткѣ, въ будуарѣ жены. Сюда перенесли его гости, при которыхъ онъ упалъ въ дурнотѣ, проводивши герцога. Гелія стояла передъ нимъ, возлѣ нея была ея «вѣрная служанка» и невдалекѣ отъ нея, глядя ей въ глаза, лежалъ не менѣе вѣрный Рапо. Они во всѣхъ апартаментахъ были потушены и въ домѣ была тишина; сквозь складки оконныхъ занавѣсъ виднѣлась звѣзда, меркнувшая въ предразсвѣтной синевѣ неба.

Фебуфисъ остановилъ взглядъ на служанкѣ и сказалъ:

— Зачѣмъ она здѣсь?

Гелія сдѣлала легкое движеніе головой, и женщина вышла.

— Могу ли я сдѣлать вамъ одинъ вопросъ? — сказалъ Фебуфисъ.

— Конечно,—отвѣчала Гелія.

— О чемъ съ вами говорилъ наединѣ герцогъ?

Гелія сдвинула брови и покраснѣла. Фебуфисъ мгновенно сорвался съ мѣста и вскрикнулъ:

— Я хочу это знать!

— Онъ говорилъ со мной объ одномъ дѣлѣ моего отца.

— О какомъ дѣлѣ?

— Я не должна этого никому сказать.

— Это неправда!.. это ложь!.. Вы его любовница!

Краска мгновенно сбѣжала съ лица Геліи и замѣнилась болѣзненною блѣдностью.

— Да, — продолжалъ Фебуфисъ: — я васъ поймалъ... я васъ открылъ, я теперь понимаю ваше поведеніе, и вотъ... вотъ...

— Что вы хотите?

— Ничего!.. Отъ васъ ничего... Поняли?

— Поняла.

— Прекрасно!.. Мнѣ не нужна герцогская любовница!

— Да!

— Да. Вы должны были, по крайней мѣрѣ, раньше мнѣ сознаться въ этомъ.

— Идите-жъ вонъ отсюда!.. Сейчасъ же вонъ, или... эта собака перекуситъ вамъ горло!

— Я вонъ... я?!

— Да, вы... Вонъ, сынъ приказчика моего дѣда!

— О,—протянулъ Фебуфисъ, въ головѣ котораго его собственный павлинъ вдругъ распустилъ всѣ свои перья:— такъ вы вотъ какъ на меня смотрите! Я вамъ покажу, кто я!

И онъ, задыхаясь и колеблясь отъ гнѣва на ногахъ, пошелъ въ свою мастерскую, но онъ не легъ спать, — его пожирала простая физическая жажда мщенія,—онъ сошелъ опять внизъ, взялъ изъ буфета двѣ бутылки шампанскаго и обѣ ихъ выпилъ, во все время безпрестанно волнуясь и то такъ, то иначе соображая свое положеніе. Онъ непремѣнно хотѣлъ что-то сдѣлать, и не зналъ, что ему дѣлать. Въ этомъ уплылъ остатокъ ночи и въ окнахъ сѣрѣлъ разсвѣтъ непогожаго дня.

Фебуфисъ сталъ приходить въ другое, мирное настроеніе: онъ чувствовалъ теперь потребность сказать женѣ,— холодно и не роняя своего достоинства,—что они навсегда будутъ чужды другъ другу, и рѣшить сообща съ нею, какъ имъ держать себя, пока они найдутъ наименѣе скандалезный выходъ. Это будетъ холодное, дѣловое объясненіе, но его надо сдѣлать немедленно, сейчасъ, чтобы ни онъ, ни

она не предприняли ничего несоотвѣтственнаго порознь и чтобы съ сердца разомъ скорѣе сбросить то, что такъ тяжело и гадко.

Но двери ея спальни, конечно, опять уже заперты, и если она ихъ опять не отопретъ?.. Ему надо было, просто, уходя, вынуть ключъ, но онъ не догадался. Но онъ ее *заставитъ* отпереться. Онъ не будетъ стучать и ломиться, какъ ревнивый портной, а онъ ее убѣдитъ... онъ ее образумитъ. Такъ или иначе, она ему отопретъ и его выслушаетъ... А иначе... онъ сдѣлаетъ чортъ знаетъ что!

Онъ выпилъ еще залпомъ, одинъ за другимъ, два стакана шампанскаго, взялъ съ камина флаконъ со скипидаромъ и сталъ спускаться съ лѣстницы. Онъ не чувствовалъ себя пьянымъ и, въ самомъ дѣлѣ, онъ не былъ пьянъ. Онъ ни скоро, ни тихо подошелъ къ женниной спальнѣ, которая, дѣйствительно, оказалась запертою, спокойно тронулъ ручку двери и произнесъ спокойнымъ голосомъ:

— Я прошу васъ меня извинить и не отказать мнѣ выйти ко мнѣ въ эту комнату: мы должны сейчасъ объясниться.

Гелія не отвѣчала.

— Я хочу знать, слышите ли вы, что я вамъ говорю?

— Слышу.

— Одѣньтесь и выйдите. Это важно для моей и вашей жизни.

Молчаніе.

— Я вамъ даю слово, что вы не услышите ни одного грубаго слова. Не бойтесь меня.

Ему слышалось, что она какъ-будто ходитъ и что-то дѣлаетъ, но на его слова не отвѣчаетъ.

— Я вамъ даю слово, что вамъ меня не должно бояться.

Она отвѣтила: «я не боюсь», и опять слышались ея шаги и движеніе.

«Она ждетъ служанку и хочетъ уйти другимъ ходомъ!» Это его взбѣсило.

— Вы не отворите?!—вскричалъ онъ, послѣ нѣсколькихъ словъ, оставленныхъ ею безъ отвѣта.

Гелія снова молчала.

— А, въ такомъ случаѣ, я сейчасъ сожгу васъ въ вашемъ затворѣ.

Съ этимъ онъ плеснулъ скипидаромъ на портьеры и зажегъ ихъ и въ полномъ безуміи бросился къ другому выходу изъ спальни, но въ это же мгновеніе осажденная повернула ключъ и, открывъ двери, предстала въ пылающей рамѣ горящихъ портьеръ. Она была въ мантильѣ и въ платьѣ, съ головой, покрытой кружевною косынкой. Этого Фебуфисъ не ожидалъ и вскрикнулъ:

— Куда вы?

Она только смѣрила его глазами и сдѣлала шагъ впередъ.

Тогда онъ, забывъ все, кинулся, чтобы остановить ее, но она на все это была готова: она вынула изъ-подъ мантильи руку и подняла прямо противъ его лица маленькій, щегольскій пистолетъ.

— Я этого не боюсь! — вскричалъ Фебуфисъ.

— А я требую только, чтобы вы до меня не касались.

Изъ отуманенной бѣшенствомъ и, можетъ быть, отчасти виномъ головы Фебуфиса выскочилъ сразу весь планъ его мирныхъ и благородныхъ дѣйствій. Не успѣла его жена пройти черезъ залу, какъ онъ догналъ ее у второй двери и схватилъ ее сзади за мантилью. Гелія ударилась вискомъ о рѣзной шпингалетъ и, вскрикнувъ отъ боли, рванулась и убѣжала... Въ рукахъ Фебуфиса осталась только ея мантилья. Жена ушла... стало пусто: на полу лежала большая золотая шпилька, вершка въ четыре длиной, какія носили по тогдашней модѣ, и на узорчатомъ шпингалетѣ двери вѣялись, тихо колеблясь, нѣсколько длинныхъ и тонкихъ, шелковистыхъ черныхъ волосъ.

Гелія выбѣжала изъ мужнина дома, какъ изъ разбойничьяго вертепа, въ одномъ платьѣ, и безотчетно пошла, какъ нѣкогда шелъ куда-то обиженный Пикъ. Она не замѣчала ни окружавшей ее стужи, ни вѣтра, который трепалъ ея прекрасные волосы и билъ въ ея красивое, негодующее лицо мелкими искрами леденистаго снѣга.

Въ умѣ Геліи было идти прямо къ герцогу и сказать ему:

— Защитите меня отъ обиды и, если вы рыцарь,—какъ о васъ говорятъ,—скажите, что я не была вашею любовницей и отмстите за мою честь.

Она вѣрила, что она должна и можетъ это сказать, что она это непремѣнно скажетъ, и что онъ защититъ ее какъ рыцарь.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Не давая себѣ отчета, хорошо или дурно она думаетъ, Гелія очутилась у герцогскаго зàмка. Выросши въ торговомъ городѣ, жившемъ болѣе во внѣшнихъ политическихъ сношеніяхъ съ Европой, чѣмъ съ своимъ правительственнымъ центромъ, Гелія имѣла очень недостаточныя понятія о томъ, какъ можно и какъ нельзя говорить съ герцогомъ; но и это послужило ей въ пользу, или, быть-можетъ, во вредъ, какъ мы увидимъ потомъ, при развитіи нашего повѣствованія.

Въ зàмкѣ и вокругъ зàмка герцога жизнь начиналась по-военному, то-есть очень рано, и въ тотъ ранній часъ, когда Гелія показалась у подъѣзда герцога, тамъ уже стояла запряженная для него лошадь.

Гелія пошла прямо къ подъѣзду и стала у колонны. Дежурившій у подъѣзда офицеръ настоятельно просилъ ее удалиться и особенно указалъ ей на сопровождавшую ее собаку.

Гелія слабо понимала рѣчь того языка, на которомъ говорили въ столицѣ герцогства, но поняла указанія на Рапò и нетерпѣливо взглянула на него глазами.

Тяжелый и сильный звѣрь поднялся и пошелъ прочь за уголъ главной площадки зàмка.

— И вы сами тоже должны удалиться,—сказалъ офицеръ, но прежде чѣмъ онъ успѣлъ настоять на этомъ, массивная дверь быстро распахнулась и появился герцогъ. Гелія къ нему бросилась, какъ дитя и, въ то же время, какъ увѣренная въ своемъ достоинствѣ женщина.

Герцогъ остановился: вѣтеръ сильно перебивалъ ея лепетъ.

Она говорила, но онъ не понималъ ея и... не узналъ ея.

Она въ отчаяніи закрыла лицо руками.

Герцогъ еще отодвинулся и приложилъ ладонь надъ глазами.

Гелія упала на колѣни и на этотъ разъ твердо сказала:

— Молю васъ, спасите.

— Что нужно?—спросилъ грозно герцогъ.

И въ этотъ же мигъ онъ узналъ Гелію и ужаснулся.

— Это вы, Гелія! Чтò съ вами случилось?

И онъ подался къ ней ближе и закрылъ ее отъ вѣтра и снѣга полою своего плаща.

— Ваша свѣтлость! — простонала она: — была ли я вашею любовницей?—и, зарыдавъ, она не могла продолжать далѣе.

Герцогъ замѣтилъ, что она шатается, и подхватилъ ее подъ руки.

— Кто смѣлъ сказать это?

— Вы меня выдали замужъ,—произнесла Гелія.

— Ну, да!.. Что-жъ дальше?

Гелія протянула къ герцогу руку, въ которой былъ пистолетъ, и сказала:

— Прикажите скорѣе взять меня въ тюрьму.

— За что?

— Я сейчасъ хотѣла убить моего мужа.

— За что?

Она плакала.

— Говорите скорѣе, за что?

— Онъ хотѣлъ меня сжечь; онъ обращается со мною какъ разбойникъ!

И, произнося каждое слово, она колебалась на ногахъ и вдругъ совсѣмъ пошатнулась въ сторону.

Герцогъ плотнѣе прикрылъ ее плащомъ и сказалъ:

— Смотрите... правда ли это?

Вмѣсто отвѣта, Гелія взяла холодною рукой руку герцога и приблизила ее къ своей головѣ.

На бѣлой замшевой перчаткѣ герцога остались капля крови и нѣсколько глянцовитыхъ и тонкихъ черныхъ волосъ.

Изъ груди его вырвался звукъ ужаса и негодованія.

— Злодѣй! — вскричалъ герцогъ: — онъ будетъ страшно наказанъ!

Съ этими словами, задыхаясь и сверкая глазами, разгнѣванный герцогъ всхлипнулъ и потомъ отечески обнялъ молодую красавицу, и, почувствовавъ, что она падаетъ, поднялъ ее, какъ дитя, на руки, поцѣловалъ въ темя и съ этою ношей возвратился назадъ въ двери замка.

Оглавленіе

XXXI ТОМА.

	стр.
Печерскіе антики. (Отрывки изъ юношескихъ воспоминаній). .	3
Чортовы куклы. (Главы изъ неоконченнаго романа)	90

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

БЛУЖДАЮЩІЕ ОГОНЬКИ.

(АВТОБІОГРАФІЯ ПРАОТЦЕВА).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Я думаю, что я долженъ непремѣнно написать свою повѣсть, или лучше сказать — свою исповѣдь. (Такъ начинается эта автобіографія.) Мнѣ это кажется вовсе не потому, чтобы я находилъ свою жизнь особенно интересною и назидательною. Совсѣмъ нѣтъ: исторіи, подобныя моей, по частямъ встрѣчаются во множествѣ современныхъ романовъ—и я, можетъ-быть, въ значеніи интереса новизны, не разскажу ничего такого новаго, чего бы не зналъ или даже не видалъ читатель, но я буду разсказывать все это не такъ, какъ разсказывается въ романахъ — и это, мнѣ кажется, можетъ составить нѣкоторый интересъ и даже, пожалуй, новость, и даже назиданіе.

Я не стану усѣкать однихъ и раздувать значеніе другихъ событій: меня къ этому не вынуждаетъ искусственная и неестественная форма романа, требующая закругленія фабулы и сосредоточенія всего около главнаго центра. Въ жизни такъ не бываетъ. Жизнь человѣка идетъ какъ развивающаяся со скалки хартія, и я ее такъ просто и буду развивать лентою въ предлагаемыхъ мною запискахъ. Кромѣ того, здѣсь, можетъ-быть, представитъ нѣкоторый интересъ, что эти записки писаны человѣкомъ, который не будетъ жить въ то время, когда его записки могутъ быть доступны для чтенія. Авторъ уже теперь стоитъ выше всѣхъ предразсудковъ или предвзятыхъ задачъ всякихъ партій и направленій и ни съ кѣмъ не хочетъ заигрывать; а это, на-

дѣюсь, встрѣчается не часто. Я начну свою повѣсть съ дѣтства, съ самыхъ первыхъ своихъ воспоминаній: иначе нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для осязательнаго изображенія характеровъ и духа человѣка начинаютъ свои романы съ дѣтства героевъ и героинь. Ребенокъ есть тотъ же человѣкъ въ миніатюрѣ, которая все увеличивается.

«Дитя—это отецъ будущаго человѣка», говорятъ любящіе эффектъ французы, а здравый смыслъ нашихъ предковъ еще глубже и проще выразилъ это поговоркою: «каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку».

Итакъ, прежде чѣмъ вы наступите на мою отшельническую могилу, не откажитесь подойти къ моей дѣтской колыбели,—иначе, я боюсь, вы, какъ и другіе, будете недоумѣвать: зачѣмъ я очутился въ скитѣ?

Поэтъ Бенедиктовъ, произведеніями котораго я вдохновлялся въ дни моей юности (я былъ юнъ тогда, когда еще юноши любили поэзію), однажды напугалъ меня. Вычитавъ у него, что «счастье наше» не что иное, какъ «перлъ, опущенный на дно», и что «кто лѣниво влагу тянетъ и боится что хмѣльна», то «слабый смертный, не достанетъ онъ жемчужнаго зерна», я плѣнился другимъ образцомъ, образцомъ человѣка, который, «согрѣвъ въ душѣ отвагу, вдругъ изъ чаши до чиста гонитъ жизненную брагу въ распаленныя уста». Я съ дѣтства уже приспособлялся припасть—и безъ передышки, безъ удержа, выпить мою чашу, достать со дна ея завѣтный перлъ, и я ее выпилъ и—слышу надъ собою:

Вотъ счастливецъ! дотянулся;
Чашу разомъ о-земь хлопъ...
Браво, браво! оглянулся,
А за нимъ отверстый гробъ.

Да, это такъ: за мной отверстый гробъ — и въ виду его я обращусь къ моей колыбели и попробую разставить легкія вѣхи для обозначенія моихъ скитальничествъ между двумя крайними точками бытія.

Я былъ странный пугникъ: бодрый, но неудержимо стремящійся впередъ, я безпрестанно терялъ тропу, путался, и когда я хотѣлъ поправиться, то выходило, что я не зналъ куда повернуть и еще хуже запутывался. Единственный поворотъ, сдѣлавъ который я немножко орієнтировался,

это — тропа въ скитъ. Только усѣвшись здѣсь, въ этой старой вышкѣ, гдѣ догораетъ моя лампада, послѣ думъ во тьмѣ одинокихъ ночей, я пріучилъ себя глядѣть на все мое прошлое, какъ на тѣ блудящіе огоньки, мерцающіе порою надъ кладбищемъ и болотомъ, которые видны изъ моей кельи. Поздно вижу я, что искалъ свѣта и тепла тамъ, гдѣ только былъ одинъ заводящій въ трясину блескъ, и что вмѣсто полной чаши, которую я хотѣлъ выпить, я «вкушая вкусилъ мало меду и се азъ умираю».

Но начнемъ ab ovo, если не съ самой колыбели, то хоть съ той поры, какъ я себя помню. Это тоже въ своемъ родѣ моментъ довольно оригинальный и, вѣроятно, не совсѣмъ такой, какой сберегся у каждаго для перваго воспоминанія.

Я въ первый разъ созналъ свою индивидуальность съ довольно возвышенной точки: я держался обѣими руками за нижнюю планку рамы и висѣлъ надъ тротуаромъ за окномъ пятаго этажа.

Случай этотъ былъ нѣкогда предметомъ большихъ толковъ одного густонаселеннаго польскаго города, гдѣ тогда стоялъ кавалерійскій полкъ, которымъ командовалъ мой отецъ; руки мои ослабѣли и готовы были выпустить раму, вдругъ меня за нихъ кто-то схватилъ и втянулъ въ комнату.

Для моихъ родныхъ и домашнихъ навсегда осталось тайною: какъ я очутился за окномъ. Прислуга, смотрѣнію которой я былъ порученъ, увѣряла, что меня сманулъ и вытянулъ за окно бѣсъ; отецъ мой увѣрялъ, что винюю всему мое фантазерство и распущенность, за которыя моя мать терпѣла вѣчныя гоненія; а мать... она ничего не говорила и только плакала надо мною и шептала:

— Что такое дѣлается въ твоемъ маленькомъ сердчишкѣ и въ твоей головенкѣ?

Но все это уже было, разумѣется, послѣ, а я буду послѣдователенъ въ этомъ разсказѣ.

Я вылѣзъ за окно и повисъ на подоконникѣ, когда родителей моихъ не было дома—и оттого доставленный мною имъ сюрпризъ имѣлъ сугубый эффектъ: возвращаясь домой въ открытой коляскѣ, они при поворотѣ въ свою улицу увидали массу народа, съ ужасомъ глядѣвшую на домъ, въ которомъ мы жили,—и, взглянувъ сами по направленію, куда смотрѣли другіе, увидали меня висящаго на высотѣ

восьми сажень и готоваго ежеминутно оборваться и упасть на тротуарныя плиты.

Съ матушкой сдѣлался тяжкій и глубокій обморокъ, изъ котораго ее едва могли вывесть, межъ тѣмъ какъ отецъ въ это время успѣлъ взбѣжать наверхъ въ свою квартиру и, схвативъ меня за руки, спасти отъ неминуемаго паденія.

Я лучше и яснѣе всего въ жизни помню вечеръ этого дня: я лежалъ въ дѣтской, въ своей кроваткѣ, задернутой голубымъ ситцевымъ пологомъ. Послѣ своихъ эквилибристическихъ упражненій я уже сознулъ крѣпкимъ сномъ — и, проснувшись, слышалъ, какъ въ столовой, смежной съ моею дѣтскою комнатой, отецъ мой и нѣсколько гостей вели касающуюся меня оживленную бесѣду, межъ тѣмъ какъ сквозь ткань полога мнѣ былъ виденъ силуэтъ матери, понникшей головой у моей кроватки.

— Этотъ мальчишка — какое-то замѣчательное явленіе въ природѣ,— говорилъ мой отецъ, и при этомъ высказалъ опасеніе, что изъ меня современемъ непремѣнно выйдетъ какой-нибудь совершенно неспособный къ жизни фантазёръ.—Всмотритесь вы въ его глаза,—продолжалъ отецъ:— онъ все какъ будто что-то ловитъ взоромъ и къ чему-то стремится... И не забудьте, что этотъ взглядъ у него таковъ съ самой минуты его рожденія. Я помню, когда меня привели къ пеленальному столику, на которомъ его управляла бабка,—онъ не плакалъ, а превнимательно разсматривалъ ея лицо—и потомъ, переведя глаза еще выше, началъ еще внимательнѣе разглядывать пестрый трафаретъ комнатнаго карниза. Я тогда же сказалъ: «Э, да это, кажется, въ свѣтъ пришелъ новый верхолетъ, которыхъ и безъ него довольно».

— Однако, вы могли въ этомъ ошибиться,— отвѣчалъ ему одинъ изъ гостей и другъ нашего дома.

— Да,—отвѣчалъ отецъ:—но у меня вѣрный глазъ, и я не ошибся. Моя жена,—даромъ, что она лютеранка,—она вѣрить въ русскаго Бога и привѣчаетъ разныхъ монаховъ и странниковъ, которыхъ я, между нами сказать, терпѣть не могу; но представьте вы себѣ, что одинъ изъ такихъ господъ, какой-то Павлинъ, до сихъ поръ иногда пишущій намъ непостижимыя письма, смыслъ которыхъ становится ясенъ послѣ какого-нибудь непредвидѣннаго событія, недѣли три тому назадъ прислалъ намъ письмо, въ которомъ, между

всякимъ вздоромъ, было сказано: «а плодъ Богу предназначенный Онъ ангеломъ заповѣстъ сохранить во всѣхъ путяхъ и на рукахъ его возьмутъ и не разбіется». Повѣрьте, я далекъ отъ суевѣрій, и самъ недавно проучилъ одного ксендза, который показывалъ фальшивое чудо, — но я увѣренъ, что моему мальчишкѣ, когда онъ остался одинъ, здѣсь въ комнатѣ непремѣнно что-нибудь померещилось — и онъ потянулся за этимъ видѣніемъ и очутился за окномъ.

Услыхавъ этотъ разговоръ, я началъ припоминать, какъ это было—и, дѣйствительно, вспомнилъ, что передо мною неслось что-то легкое, тонкое и прекрасное: оно тянуло меня за собою, или мнѣ только казалось, что оно меня тянетъ, но я бросился къ нему и... очутился въ описанномъ положеніи, между небомъ и землею, откуда и начинается рядъ моихъ воспоминаній.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Отцу, вѣроятно, очень не нравились и мой характеръ, и моя наружность, по крайней мѣрѣ я привыкъ такъ умозаключать, судя по немногимъ моимъ столкновеніямъ съ виновникомъ моего бытія. Если батюшкѣ приходилось видѣть меня, когда онъ былъ въ духѣ, онъ обыкновенно бралъ меня за ухо и говорилъ:

— Учись, братецъ, всему полезному, а то, если будешь безполезенъ, я тебя въ уланы отдамъ.

Я этого ужасно боялся и ревностно учился всему, чему меня учили.

Если батюшка былъ не въ духѣ, — что съ нимъ въ послѣдніе годы его жизни случалось довольно часто,—то тогда онъ просто былъ страшенъ: онъ краснѣлъ въ лицѣ, металъ ужасные взгляды, топоталъ ногами и рвалъ все, что ему попадалось подъ руку. Когда поднималась такая буря, всѣ въ домѣ проникались трепетомъ и старались, какъ птицы передъ грозою, спрятаться куда попало, пока эта буря пронесется. Съ отцомъ на это время оставались матушка и старый высокій денщикъ. Я не знаю, какъ они ладили съ безмѣрною раздражительностью и вспыльчивостью моего отца, но помню, что при всей моей тогдашней младенческой малосмысленности я постигалъ ихъ величіе—и съ благоговѣніемъ смотрѣлъ въ исполненные небесной кротости глаза

моей прекрасной матери и въ маленькое сморщенное лицо денщика, худенькаго солдата Окулова.

Я не знаю, какъ мать и Окуловъ управлялись со вспыльчивостью моего отца, но только онъ имъ повиновался и успокаивался.

Но, наконецъ, выдался случай, который и ихъ вліяніе сдѣлалъ безполезнымъ; это было такимъ образомъ: отецъ мой получилъ полкъ, въ которомъ прежде служилъ и съ которымъ былъ во множествѣ сраженій. Полкъ этотъ тогда только-что возвратился изъ похода и находился въ сильномъ безпорядкѣ: люди были дурно одѣты, лошади искалѣчены; а между тѣмъ, ему черезъ мѣсяцъ назначенъ былъ смотръ отъ такого лица, отъ котораго всецѣло зависѣла вся отцова карьера. Матушку это ужасно встревожило. По обычаю полковыхъ дамъ тогдашняго времени, она достаточно понимала требованія и условія военной службы и знала характеръ лица, которому отецъ мой долженъ былъ вывесть на смотръ свой разстроенный полкъ. Это былъ человѣкъ не злой и даже, пожалуй, по-своему добрый, но, къ сожалѣнію, чрезвычайно схожій по характеру съ отцомъ моимъ: онъ былъ горячъ, вспыльчивъ и потому весьма часто несправедливъ. Матушка ждала большихъ непріятностей отъ встрѣчи этихъ двухъ характеровъ въ лицѣ подчиненнаго и начальника. Плохой, богадѣльный видъ полка долженъ былъ произвесть самое дурное впечатлѣніе, а никакихъ надеждъ нельзя было возлагать на то, что осматривающее лицо войдетъ въ разборъ причинъ, поставившихъ полкъ въ такое положеніе. Отцу оставалось: или отказаться отъ полка, или же обмундировать и ремонтировать его на свой счетъ. Считая первое знакомъ недостойной трусости, отецъ рѣшился на второе; но это требовало большихъ денегъ, которыхъ у моего отца не было и которыхъ онъ ни у кого не могъ занять въ странѣ, гдѣ къ намъ относились враждебно. Тогда мать, всегда бывшая утѣшителемъ ангеломъ всѣхъ скорбящихъ и сѣтующихъ, поѣхала со мною въ Лифляндію къ бабушкѣ, вдовѣ барона, нѣкогда служившаго въ русской службѣ, — откуда мы и возвратились съ значительною суммою, которой было достаточно на то, чтобы привести нашъ полкъ въ сколько-нибудь приличный видъ. Деньги эти были выручены залогомъ довольно богатаго имѣнія, составлявшаго собственность моей бабушки

матери и ея сестеръ. Спѣшный залогъ былъ сдѣланъ на самыхъ невыгодныхъ и тяжкихъ условіяхъ, но тягость эта значительно уменьшалась несомнѣнною надеждою скорой и легкой расплаты. Полкъ тогда давалъ командиру хорошія средства, которыми гнушаться было не въ духѣ времени, а къ тому же вскорѣ послѣ смотра предстояло полученіе ремонтныхъ денегъ, которыя могли съ излишкомъ погасить всю сумму займа. Однимъ словомъ, во всемъ этомъ не предвидѣлось ни малѣйшаго затрудненія—и отецъ мой принялся за дѣло съ свойственною ему неутомимою энергіею. Въ полковыхъ швальняхъ и мастерскихъ кипѣла горячая и безустанная работа, въ которой кромѣ своихъ людей участвовали наемные мастера, какихъ только гдѣ-нибудь могли отыскать въ окружной чертѣ. Подручные люди отца оказывали ему самую ревностную помощь: одни закупали коней, другіе занимались ихъ выѣздкою и обученіемъ, третьи—пригонкою вещей и амуниціи и т. п. Времени до смотра оставалось очень не много, и потому многое дѣлалось на-спѣхъ, неаккуратно; на одно затрачивалось болѣе чѣмъ слѣдовало, другое дѣлалось кое-какъ. Будучи самъ человѣкомъ очень честнымъ, отецъ мой страдалъ излишнею довѣрчивостью и терпѣть не могъ никакой подозрительности; это благородное свойство его души послужило ему немножко во вредъ: занятыхъ суммъ недостало, и матушка нашлась вынужденною занять еще нѣсколько тысячъ подъ вексель на покупку инструментовъ для полковой музыки. Но зато теперь уже все было произведено на славу и притомъ поспѣло въ срокъ къ своему времени. Я помню, какъ, передъ самымъ смотровымъ днемъ, музыканты принесли къ намъ на дворъ старые, измятые и изломанные инструменты и вмѣсто нихъ взяли изъ высокой каменной кладовой блестящія новыя трубы, на которыхъ тутъ же и сыграли передъ окнами матери «Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ».

Въ прелестныхъ глазахъ матери сіяла безпредѣльная радость и благодарность Небу, Которое помогло ей все это устроить для спокойствія мужа. Она заплакала—и, выславъ музыкантамъ вина и ассигнацію, бросилась на колѣни и, прижавъ меня къ своей груди, стала молиться...

Въ эту минуту въ ея комнату взошелъ мой отецъ: онъ былъ очень доволенъ, но озабоченъ и, повидимому, хотѣлъ

тотчасъ же выйти назадъ,—но, увидавъ молящуюся мать, самъ сталъ на колѣни, положилъ молча земной поклонъ— и, восклонясь, обнялъ матушку и меня и, поцѣловавъ насъ обоихъ, сказалъ:

— Каролина! ты самый лучшій ангелъ во всей вселенной, а на землѣ тебѣ нѣтъ подобной женщины.

— Не говори этого, Павелъ, — отвѣчала матушка: — это лесть или заблужденіе, но...—добавила она съ такими особенными слезами, какихъ я никогда прежде не видывалъ:— но объ одномъ тебя прошу: какъ бы ты ни увлекался всѣмъ тѣмъ, что тебѣ покажется прекраснымъ, не отнимай ни одной капли твоей любви отъ сына.

Съ этимъ матушка пододвинула меня рукою къ отцу, а сама сѣла въ кресла и закрыла глаза своими нѣжными бѣлыми руками.

Отецъ мой показался мнѣ очень смущеннымъ: онъ какъ будто застыдился чего-то по поводу приведенныхъ мною краткихъ словъ матери—и, небрежно обнявъ меня, поцѣловалъ въ голову и проговорилъ:

— Да, да; я, братъ Меркулъ, тебя очень люблю, но только ты не будь фантазеръ и учись всему полезному, а то я тебя въ гусары отдамъ.

Эта небольшая семейная сцена имѣла важное вліяніе въ моемъ развитіи, какъ потому, что я изъ нея смутно уразумѣлъ тщательно скрываемую отъ меня драму моихъ родителей, такъ и потому, что это единственная и послѣдняя сцена, въ которой я видѣлъ моихъ родителей въ такихъ задушевныхъ отношеніяхъ.

Я во всю жизнь мою не переставалъ грустить о томъ, что дѣтство мое не было обставлено иначе,—и думаю, что безудержная погоня за семейнымъ счастіемъ, которой я впослѣдствіи часто предавался съ такимъ безразсуднымъ азартомъ, имѣла первою своею причиною сожалѣніе о томъ, что мать моя не была счастливѣе,—что въ семьѣ моей не было того, что зовутъ «совѣтъ и любовь». Я зналъ, что слово «увлеченіе» есть имя какого-то нашего врага.

Увлеченія! Боже мой, какъ печальны ваши слѣдствія и какъ поздно человѣкъ начинаетъ понимать, что, поддаваясь вамъ безъ удержа, — онъ оскорбляетъ не ту узкую мораль, которая въ разныя времена послушна разнымъ велѣніямъ, а рушитъ вѣковѣчный завѣтъ въ разладѣ съ которымъ

нѣтъ мѣста для счастья! Но объ этомъ рѣчь впереди; я могу себя утѣшить, что, занимаясь исторіей моей жизни, я еще не разъ встрѣчу удобный случай обратиться къ этимъ мыслямъ, — а теперь буду непрерывно продолжать мое повѣствованіе, дошедшее до событія, которое я долженъ назвать первою моею катастрофою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Я не имѣлъ болѣе ни времени, ни случая наблюдать отношенія моихъ родителей, потому что отецъ мой скоропостижно умеръ на другой день послѣ описанной мною сцены. Съ этого и началась та катастрофа, о которой я сказалъ въ концѣ предыдущей главы.

На первый разъ самое ужасное въ этомъ несчастіи была его неожиданность. Люди, которые всякій случай находятъ безразлично удобнымъ для остротъ и насмѣшекъ, говорили, что «полковникъ Праотцевъ зарѣзанъ на славу живой ниткой», но этотъ скверный каламбуръ имѣетъ очень точный смыслъ.

Дѣло было такъ: полкъ отца вышелъ къ смотру въ такомъ блестящемъ состояніи, что осматривающему его лицу не оставалось ничего, кромѣ какъ хвалить и благодарить. Все шло какъ нельзя лучше, но вдругъ... О, ужасъ! вдругъ высокая особа замѣтила, что на мундирѣ одного изъ солдатъ ослабѣла пуговица. Были ли тому виною поспѣшность работы, или прѣлая нитка, но только, когда особа съ безмѣрною радостью сдѣланнаго открытія дернула эту пуговицу, то злополучная оловяшка сію же минуту отвалилась. Особа вскипѣла и пошла дергать все ниже и ниже, шибче и шибче... За одною пуговицею послѣдовала другая, третья: особа ихъ рвала, рвала съ солдатъ и, наконецъ, въ неистовѣйшемъ бѣшенствѣ бросилась на самого моего отца съ крикомъ:

— Можетъ-быть, у васъ и у самихъ все на живую нитку? — при чемъ особа схватила отца за пуговицу; но отецъ быстро далъ шпоры коню — и, отскочивъ въ сторону, весь побагровѣвъ, отвѣтилъ:

— Не троньте меня, ваше-ство: я щекотливъ.

Особа повернула лошадь назадъ и понеслась, крича по рядамъ:

— Скверно, мерзко!

Мать все это видѣла и слышала, стоя у открытаго окна въ залѣ, гдѣ былъ приготовленъ обѣденный столъ для офицеровъ полка и для самой особы. Теперь этотъ столъ былъ какъ насмѣшка надъ нашей семейной бѣдой. Но это еще была не велика бѣда въ сравненіи съ тѣмъ, что ждало насъ впереди. Бѣды ревнивы и дружны — и не идутъ въ одиночку, а бродятъ толпами. Прежде чѣмъ матушка могла сообразить и обдумать какъ встрѣтить отца, который долженъ былъ возвратиться въ гнѣвѣ, — двери залы растворились и въ нихъ появился мой отецъ, поддерживаемый двумя денщиками. Онъ молча указалъ глазами на кресло— и когда его посадили, сорвалъ съ себя галстукъ и прохрипѣлъ:

— Попа!

Матушка кинулась къ нему, а онъ схватилъ ея руку, прижалъ ее къ лицу — и тотчасъ же умеръ подъ шопотъ отходной, которую началъ читать надъ нимъ прибѣжавшій священникъ.

Такъ умеръ мой храбрый и честный, изрубленный въ бояхъ отецъ, котораго я мало зналъ и черты котораго въ настоящее время едва могу воскресить въ моей памяти. Едва помню его бравую военную фигуру, коротко остриженную голову, усы и бакенбарды съ сѣдыми концами, горячій рубенсовскій цвѣтъ лица и синіе глаза: вотъ и все.

Совсѣмъ не то съ лицомъ матери. Мнѣ даже становится совѣстно, что я не умѣлъ поровну раздѣлить моихъ привязанностей между моими родителями,—но это уже такъ сложилось. Я беззавѣтно предалъ всю мою душу моей матери, небесный образъ которой безвыходно живетъ въ моей душѣ. Два раза въ жизни, когда я терялъ его, я былъ на краю пропасти и... тутъ снова являлся мнѣ онъ, этотъ священный ликъ съ свѣтлыми кудрями Скіавонэ и съ глубокими очами познавшаго свѣтъ провидца. Матушка была бы красавица, если бы она не была ангеломъ.

Приводя себѣ на память впечатлѣніе, какое производила моя мать на людей, которые ее видѣли въ первый разъ, я всегда припоминаю мнѣніе Сократа, что «познаніе есть только воспоминаніе того, что мы нѣкогда знали». Впервые встрѣчая мою мать, всякій чувствовалъ, что онъ ее будто когда-то уже встрѣчалъ, и притомъ встрѣчалъ въ необыкновенную для себя минуту; каждому мнилось, что она ему

или уже когда-то сдѣлала, или еще сдѣлаетъ что-то доброе и хорошее. Однимъ словомъ, это было доброе, чудное лицо, о которомъ я не буду говорить болѣе — какъ потому, что рискую никогда не кончить съ этимъ описаніемъ, такъ и потому, что вижу теперь передъ собою этотъ священный для меня ликъ, съ застѣнчивой скромностью запрещающій мнѣ слагать ему мои ничтожныя хвалы.

Послѣ смерти отца, мы съ матушкой остались не только нищими, но на насъ лежала вина разоренія моей престарѣлой бабки и тетокъ, имѣніе которыхъ, заложенное для моего отца, было продано съ молотка. Бѣды повисли надъ нами тучей: старуха-бабка не вынесла своего горя—и когда ее стали выводить изъ ея родового баронскаго дома, она умерла на порогѣ. Мы этого не видали: мы съ матерью тогда еще оставались въ томъ самомъ городкѣ, гдѣ скончался мой отецъ, и откуда мою мать теперь не выпускали за ея долгъ по векселю, за деньги, взятыя ею на покупку новыхъ инструментовъ для полкового оркестра. Платить намъ было не изъ чего, такъ какъ все наше имущество заключалось въ небольшихъ походныхъ пожиткахъ, да тѣхъ старыхъ трубахъ, которыя были свалены въ амбарѣ взамѣнъ взятыхъ на мѣсто ихъ новыхъ. Кредиторы должны были убѣдиться въ несостоятельности матушки и разсрочить ей долгъ на мелкіе платежи, какіе она надѣялась производить изъ имѣвшагося въ виду пенсіона за отцову службу.

Я, впрочемъ, не помню, какъ шли всѣ эти переговоры и сдѣлки, потому что едва ли не первымъ дѣломъ моей матери, послѣ того, какъ она овдовѣла, было отвезти меня въ Петербургъ, гдѣ, при содѣйствіи нѣкоторыхъ доброжелателей, удалось пріютить меня въ существовавшее тогда отдѣленіе малолѣтнихъ, откуда дѣтей, по достиженіи ими извѣстнаго возраста, переводили въ кадетскіе корпуса. Зачисленіе въ кадеты въ тѣ времена считалось вожделѣннѣйшимъ устройствомъ судьбы мальчика—и матушка, стало-быть, могла не безпокоиться, что ужъ я непремѣнно выйду въ люди. Пребываніе мое въ отдѣленіи малолѣтнихъ и потомъ въ одномъ изъ столичныхъ кадетскихъ корпусовъ преисполнено для меня самыхъ разнообразныхъ воспоминаній, между которыми грустныхъ, конечно, болѣе, чѣмъ веселыхъ, но я не стану заносить ихъ въ свои записки. Мнѣ противно положить своею рукою лишній камень въ прибавку ко всей

тягости, въ такомъ изобиліи набросанной на эти школы. Да и къ чему бы это послужило? Масса описаній темныхъ сторонъ нашей школьной жизни такъ велика, что я не вижу нужды увеличивать ее своими разсказами, тѣмъ болѣе, что я не могу сказать ничего новаго и... долженъ сознаться, что я все-таки чувствую благодарность къ этому заведенію, которое призрѣло и воспитало меня такъ, какъ оно могло и умѣло. Оставленный самому себѣ, на руки безпомощной матери моей, я бы, конечно, былъ еще несчастливѣе — и потому миръ тебѣ, мой дѣтскій пріютъ, видѣвшій мои дѣтскія слезы!

Изо всей школьной жизни упомяну только объ одномъ событіи, вслѣдствіе котораго я неожиданно разстался съ стѣнами заведенія и вылетѣлъ въ жизнь ранѣе положеннаго срока и не въ томъ направленіи, къ которому спеціально готовился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Не знаю, какъ бы надлежало правильнѣе назвать происшествіе, которое около двадцати пяти лѣтъ тому назадъ случилось въ одномъ изъ петербургскихъ корпусовъ, именно въ томъ, гдѣ я воспитывался. Я, впрочемъ, не буду разсказывать этой исторіи, малоинтересной для взрослыхъ. Достаточно сказать, что наиболѣе провинившихся (въ томъ числѣ и меня) исключили изъ корпуса для опредѣленія въ статскую службу.

Замыкая этимъ періодъ моей жизни, протекшей подъ попечительной опекой, перехожу къ началу моего *житья на волѣ*, которою я умѣлъ пользоваться не благоразумнѣе, какъ та птичка, которую выпустилъ изъ клѣтки ребенокъ, и которая на первой же кровлѣ попала въ лапы хищной кошки.

Впрочемъ, изгнавъ насъ изъ залы, гдѣ мы были лишены кадетскаго званія, начальство еще не сразу покинуло насъ на произволъ судьбы. До этого еще долженъ былъ пройти одинъ небольшой интервальный актъ, въ продолженіе котораго мы чувствовали надъ собою руку пекшагося о насъ милосердія.

Насъ не прогнали изъ корпуснаго зданія, вѣроятно, принявъ во вниманіе, что намъ рѣшительно некуда было бы дѣться и всѣ мы въ первую же ночь непремѣнно попали бы подъ опеку ночного полицейскаго дозора. Но какъ мы

уже были не кадеты, то корпусъ находилъ невозможнымъ предоставить въ наше пользованіе ни одного изъ помѣщеній, отведенныхъ кадетамъ. Самое оставленіе насъ въ карцерѣ было признано неудобнымъ—и насъ отвели въ одинъ изъ дальнихъ корпусныхъ флигелей, гдѣ въ наше временное пользованіе были предоставлены три большія комнаты нижняго этажа.

Мебели здѣсь рѣшительно никакой не было, но къ ночи солдаты притащили сюда нѣсколько старыхъ, отслужившихъ срокъ матрацовъ и старый же, черный, изрѣзанный ножичками, небольшой столъ.

Оглядѣвшись въ своемъ новомъ жильѣ, мы тотчасъ же сдѣлали дальнѣйшую рекогносцировку и открыли, что находимся въ помѣщеніи совершенно изолированномъ и притомъ безъ всякаго контроля.

Это открытіе необыкновенно насъ обрадовало. Мы почувствовали себя на свободѣ, запѣли: «Цыгане вольною толпой по Бессарабіи кочуютъ», потомъ собственными руками разложили матрацы рядомъ по полу и, улегшись на нихъ въ-покатку, какъ попало, уснули крѣпчайшимъ, сладчайшимъ и безмятежнѣйшимъ сномъ. Утромъ, когда мы еще спали, пришелъ къ намъ офицеръ съ извѣстіемъ, что мы будемъ пользоваться здѣшнимъ пріютомъ до тѣхъ поръ, пока начальство справитъ намъ штатское платье и устроитъ нашу разсылку къ родителямъ. Для послѣдняго распоряженія отъ насъ были потребованы свѣдѣнія о томъ, куда кто можетъ ѣхать, — и мы были расписаны группами по трактамъ.

Тутъ я впервые задумался надъ тѣмъ: куда я пріѣду? Матушка, которой я очень давно не видалъ, жила въ Лифляндіи на маленькой мызѣ, оставшейся ей и теткамъ послѣ продажи ихъ имѣнія за отцовъ долгъ. Я началъ размышлять: какова можетъ быть жизнь моей матери въ этомъ положеніи и какъ ее должно поразить мое появленіе? Разсуждая обо всемъ этомъ, я тихонько сплакнулъ и написалъ матушкѣ всю горькую правду о постигшей меня участи. Я утѣшалъ ее, что стану для нея жить и безъ устали работать, но овладѣвавшее мною при этомъ смущеніе еще болѣе усиливалось; я вспомнилъ, что я ровно ничего не умѣю дѣлать и въ шестнадцать лѣтъ ѣду къ матери не для облегченія ея участи, а скорѣе для усиленія ея заботъ.

— Я ничему полезному не выучился—и даже въ гусары не гожусь,—размышлялъ я съ ужасомъ, припоминая себѣ отцовы слова. Я видѣлъ, что роковое предчувствіе его надо мною уже начинаетъ сбываться, что я, дѣйствительно, того и гляди, буду фантазёромъ и ничего путнаго въ моей жизни не сдѣлаю.

Но къ значительному облегченію, или, по крайней мѣрѣ, къ отсрочкѣ моихъ скорбей, я не могъ долго держать нити моихъ печальныхъ размышленій: жизнь, которую вели мы въ нашемъ карантинѣ, тому не благопріятствовала.

Насъ, изгнанниковъ, было около сорока человѣкъ, изъ которыхъ кое у кого нашлись маленькія деньжонки, маленькія разумѣется по теперешнимъ нашимъ понятіямъ, но по-тогдашнему весьма достаточныя для того, чтобы ходить въ верхнія мѣста театровъ и покупать сообща другія недорогія удовольствія. Въ числѣ послѣднихъ было вино, которое солдаты безпрепятственно приносили намъ въ нашу казарму. Многимъ вино было еще не по вкусу, и нашлось между нами не мало такихъ, которые и вовсе не могли его пить, но положеніе дѣлъ было таково, что стало нужно пріучаться. Непитущихъ, въ числѣ которыхъ былъ и я, прозвали «дѣвчонками»,—и за то тѣ, которые не хотѣли быть дѣвчонками, отличались, напиваясь до того, что мы нерѣдко должны были отливать ихъ водою.

Межъ тѣмъ штатское обмундированье для насъ было готово и на завтра былъ назначенъ разъѣздъ буйной компаніи (она стала теперь достойна этого названія). Интересуясь способомъ нашей разсылки, мы узнали, что начальство подрядило нѣсколько «протяжныхъ тросчниковъ», распредѣливъ ихъ по трактамъ на большіе города, куда лежалъ путь разсортированнымъ на трактовые пункты пассажирамъ. Пользуясь полною свободою ходить куда хотимъ, мы, разумѣется, сейчасъ же отправились на указанный намъ постоялый дворъ, который былъ гдѣ-то въ Гончарной улицѣ, — и тамъ, подъ темными навѣсами сараевъ этого двора, мы дружески познакомились съ извозчиками, съ которыми должны были ѣхать.

Тутъ я долженъ сказать, что я, къ величайшему моему удовольствію, освободился отъ лифляндской группы, въ которую былъ сначала записанъ, — и переписался въ группу кіевскую, потому что матушка, въ отвѣтъ на мое письмо

объ исключеніи меня изъ корпуса, увѣдомила меня, что мнѣ въ Лифляндію ѣхать не за чѣмъ, потому что тамъ она не надѣется найти для меня никакого дѣла, а что она немедленно же пользуется удобнымъ случаемъ переѣхать въ Кіевъ, гдѣ одинъ родственникъ моего отца занималъ тогда довольно видную штатскую должность — и мать надѣялась, что онъ не откажется дать мнѣ какое-нибудь мѣсто по гражданской службѣ.

Это было для меня чрезвычайно радостное извѣстіе; во-первыхъ, я переставъ завидовать нашимъ товарищамъ, которые ѣхали въ славянскомъ собратствѣ, между тѣмъ какъ я долженъ былъ тянуться съ нѣмцами; потомъ, вмѣсто мызной мазанки въ сѣрой Лифляндіи, я стремился къ «червонной украйнѣ», подъ тѣнь ея тополей и черешенъ, къ ея барвинкамъ, къ Днѣпру, къ святынямъ Кіева, подъ сводъ пещеръ, гдѣ опочили Антоній, Несторъ и Никола князь, сбросившій вѣнецъ и въ рубищѣ стоявшій у воротъ Печерской лавры....

О Боже, какимъ неописаннымъ восторгомъ была полна душа моя при одной мысли, что я все это увижу! Я потерялъ всякое самообладаніе—и, точно опьянѣвъ отъ восторга, почти не обращалъ вниманія на все, что вокругъ меня происходило. Помню только, какъ мы съ участливостью осматривали большія, крытыя троечныя телѣги, въ которыхъ намъ надлежало ѣхать; садились въ нихъ, вылѣзали и снова садились; дѣлили между собою мѣста; осматривали лошадей, цѣнили ихъ, опредѣляли ихъ достоинство, силу и характеръ; потомъ отправились съ своими будущими возницами въ какой-то грязненькій трактиръ, гдѣ пили чай и водку. На этотъ разъ насъ угощали мужики, и мы всѣ пили,—даже тѣ, кто никогда не бралъ въ ротъ капли вина, должны были выпить по двѣ или по три полурюмки сладкой водки.

Черезъ часъ мы всѣ были пьяны, и не знавшіе что съ нами дѣлать мужики запрягли парою одну изъ своихъ крытыхъ телѣгъ, упаковали насъ туда какъ умѣли и отвезли въ корпусъ.

Мы этому нимало не противились; мы уже освоились съ своимъ безначальнымъ положеніемъ и привыкли считать себя вольными казаками, надъ которыми нѣтъ старшаго. А потому насъ нимало не пугала мысль, что мы явимся

въ корпусъ въ такомъ развращенномъ и омерзительномъ видѣ. Мы ѣхали, распѣвая военныя пѣсни, дрянные романсы, обнимались, барахтались, кривлялись, дѣлали ручки проѣзжавшимъ дамамъ и вообще вели себя какъ настоящіе пьяницы. Дома солдаты насъ едва уложили, а утромъ едва добудились. На дворѣ уже стояли, погромыхивая тяжелыми бубенцами, толстоногія тройки съ расписными дугами, и въ комнату къ намъ полозъ ѣдкій дымокъ тютюну, который курили ожидавшіе насъ у дверей извозчики.

Сердце ёкнуло: наше пришло до насъ.

— Господи, что-то будетъ?

Солдаты начали выносить наши пожитки и размѣщать ихъ по телѣгамъ, кто къ которой былъ расписанъ. Шумъ, говоръ, бѣготня, движенье, все это, при моей больной съ похмелья головѣ, представлялось мнѣ какъ волны хаоса.

Пришелъ корпусный батюшка, покропилъ насъ водой; потомъ казначей далъ намъ по двадцати семи рублей пятидесяти копеекъ денегъ на дорогу, и нагруженныя нами повозки, съѣхавъ съ казеннаго двора, тяжело застучали по мостовой, медлительно подвигаясь къ пестрымъ бревнамъ заставы.

Впереди былъ длинный, очень длинный путь, о которомъ не могутъ составить себѣ даже приблизительно вѣрнаго понятія люди, доѣзжающіе нынче отъ Петербурга до Кіева въ трое сутокъ и вдобавокъ безъ всякихъ приключеній. Тогда было не то, особенно съ такими солидными путешественниками, каковы были мы.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Намъ, по нашимъ расчетамъ, на этотъ переѣздъ требовалось не менѣе мѣсяца, а нашъ извозчикъ утѣшалъ, что, можетъ-быть, потребуется еще и поболѣе.

Извозчикъ, для ѣдущихъ на протяжныхъ, это совсѣмъ не то, что кондукторъ для нынѣшняго путешественника, несущагося по желѣзной дорогѣ. Съ извозчикомъ сѣдоки непремѣнно сближались и даже сживались, потому что протяжная путина — это часть жизни, въ которой люди дѣлили вмѣстѣ и горе, и радость, и опасности, и всѣ его досады. «Вмѣстѣ мокли и всѣ сохли», какъ выражается извозный людъ. Нашъ извозчикъ, отправленный везти молодыхъ господчиковъ по кіевскому тракту, былъ небольшой, но очень крѣпкій, коренастый мужикъ изъ новгородской

губерніи. Звали его Кириллъ. Онъ былъ раскольникъ, но, вѣроятно, очень плохой, потому что и пилъ, и курилъ, и самъ себя называлъ «попорченнымъ»; но онъ былъ очень веселый и, казалось, добрый малый, отъ сообщества котораго мы пророчили себѣ дорогой не мало удовольствій. Они тотчасъ и начались. Выѣхавъ съ нами изъ Петербурга за московскую рогатку, Кириллъ остановилъ у какого-то домика лошадей и объявилъ, что здѣсь живетъ его пріятель Иванъ Ивановичъ Елкинъ, къ которому, если не заѣхать и ему какъ слѣдуетъ не поклониться, то намъ въ дорогѣ не будетъ никакой спорыньи.

Мы не прекословили и зашли: это былъ кабакъ, въ которомъ, разумѣется, никакого Ивана Ивановича не было, а сидѣлъ простой цѣловальникъ. Здѣсь мы, по настоянію Кирилы, всѣ выпили: кто могъ—водки; а кто не могъ пить водки, тотъ пилъ пиво или медъ.

Совершивъ такое возліяніе путевому божеству, всѣ мы охмелѣли, и, ѣдучи, сначала пѣли свои военныя пѣсни и романсы, а потомъ заснули.

Насъ въ повозкѣ помѣщалось восемь человѣкъ, но какъ мы были всѣ люди небольшіе и покладливые, а къ тому же и пожитками необремененные, то особаго стѣсненія не чувствовали. Но, несмотря на то, что мы соблюли обычай, указанный намъ Кирилою, и, войдя къ Ивану Ивановичу Елкину, совершили въ честь его возліяніе, путь нашъ не спорился: мы ѣхали, разумѣется, шагомъ, дѣлая не болѣе пятидесяти верстъ въ день, съ передневками черезъ два дня въ третій. Это всякому должно бы показаться чрезвычайно утомительнымъ и скучнымъ, но насъ все занимало: и новые люди, и новыя мѣста,—и мы не погоняли нашего возницу, а добивались только одного, чтобы передневки приходились въ городахъ или по крайней мѣрѣ въ хорошихъ мѣстахъ, которые мы осматривали, купались и спали. — Къ Иванамъ Ивановичамъ Елкинымъ, которыхъ по дорогѣ было чрезвычайно много и которые всѣ оказывались добрыми пріятелями Кирилла, мы уже болѣе не заходили—потому ли, что многимъ изъ насъ пришлось дорогою порядочно переболѣть, послѣ петербургскихъ оргій, или потому, что на насъ очень хорошо дѣйствовала природа и новость мѣста и людей, которыхъ мы «изучали» съ отмѣнною охотою и внимательностью.

Кириллъ, который любилъ выпить, но считалъ неумѣстнымъ дѣлать это на свои деньги, покрѣпившись дня два и видя, что изъ насъ ему нѣтъ сотоварищей и хлѣбосоловъ, поднялся на штуку: онъ отдѣлилъ у себя на козлахъ такъ-называемую «бесѣдочку», въ которую постоянно присаживалъ кого-нибудь изъ прохожихъ, и выручаемыя этимъ путемъ деньги считалъ позволительнымъ вручать Ивану Ивановичу Елкину. Пассажировъ этихъ онъ набиралъ вездѣ: по дорогѣ и на ночлегахъ по постоялымъ дворамъ, откуда мы обыкновенно съѣзжали чрезвычайно рано. Чтобы не тревожиться угромъ, а также чтобы не платить особыхъ денегъ за ночлегъ, мы всѣ спали въ повозкѣ,—и Кириллъ, съѣзжая со двора, не будилъ насъ; а обѣденный покормъ, длившійся часа четыре, мы нерѣдко держали у дороги на лѣсныхъ опушкахъ, или гдѣ-нибудь надъ рѣкою, въ которой непремѣнно купались и иногда по нѣсколько разъ въ самое короткое время.

Сколько-нибудь замѣчательныхъ происшествій съ нами никакихъ не происходило, но только во всѣхъ въ насъ въ теченіе немногихъ дней, проведенныхъ въ пути, какъ-то смѣлѣе и рѣзче начала обозначаться наша индивидуальная разность. Въ корпусѣ мы всѣ въ общихъ чертахъ характера и взглядовъ походили другъ на друга,—всѣ мы были *кадеты;* а теперь, хотя мы оставались въ своей же однокошнической компаніи, въ насъ обозначались будущіе фаты, щеголи, которые будутъ пускать пыль въ глаза, и задумчивые философы съ зародышемъ червя въ безпокойномъ вдальзасматривающемъ воображеніи. Вскорѣ эта разновидность обнаружилась въ весьма осязательной для насъ формѣ.

Въ Твери штатъ нашъ долженъ былъ уменьшиться. Здѣсь намъ надлежало высадить одного товарища, по фамиліи Волосатина, отецъ котораго служилъ предсѣдателемъ какой-то изъ тверскихъ палатъ.

По этому случаю мы сдѣлали въ Твери дневку — и высаженный здѣсь товарищъ нашъ пріѣхалъ къ намъ на постоялый дворъ въ дрожкахъ, запряженныхъ парою лошадей, и пригласилъ насъ всѣхъ отъ имени своего отца на вечеръ.

Этотъ товарищъ былъ изъ тѣхъ, которые подавали надежду сдѣлаться щеголями и франтами, — и два часа времени, проведенные имъ въ разлукѣ съ нами въ домѣ сво-

сго отца, безмѣрно подвинули въ немъ впередъ эту наклонность. Онъ звалъ насъ привѣтливо, но съ замѣтною небрежностью, и говорилъ съ нами не слѣзая съ дрожекъ, на которыхъ сидѣлъ въ щеголеватомъ новомъ платьѣ, съ тросточкою въ рукахъ, — тогда какъ мы толпились вокругъ него всѣ запыленные и въ истасканныхъ дорожныхъ куртkамъ.

Онъ наслаждался своимъ превосходствомъ и безъ церемоніи сказалъ намъ:

— Только, приглашая васъ къ себѣ въ домъ, я надѣюсь, что вы понимаете, что вамъ надо будетъ привести себя въ порядокъ и хорошенько пріодѣться, а не валить толпою какъ попало; у насъ будутъ гости и будутъ танцовать: вотъ я для этого даже сейчасъ и ѣду купить себѣ и сестрѣ перчатки. Совѣтую всѣмъ вамъ, кто хочетъ танцовать, тоже запастись хорошими перчатками,—иначе нельзя.

— Боже мой! какъ это хорошо: будутъ танцовать!

— И у него есть сестра!

— Да одна ли сестра — вѣрно будетъ и еще много дамъ!—воскликнули разомъ нѣсколько голосовъ послѣ того, какъ товарищъ покатилъ, обдавъ насъ цѣлымъ облакомъ пыли, —и всѣ мы кинулись къ своимъ узелкамъ, въ которыхъ былъ увязанъ нашъ штатскій гардеробъ, построенный военнымъ портнымъ.

Восторгъ былъ всеобщій, но непродолжительный, потому что одинъ изъ товарищей, имѣвшій въ задаткѣ червя самолюбія, объявилъ, что онъ не пойдетъ, потому что Волосатинъ приглашалъ насъ очень обиднымъ тономъ.

Тонъ! мы, недавніе безцеремонные товарищи, вырывавшіе недавно изъ рукъ другъ у друга кусокъ пирога или булки и не стыдившіеся выпрашивать одинъ у другого самыхъ ничтожныхъ мелочей, — уже теперь разбирали *тонъ!* Да и какъ еще разбирали? хоть бы какому записному дипломату или свѣтскому критику.

Вотъ свѣтъ! вотъ его первое наитіе, неизвѣстно откуда забравшееся въ нашу телѣгу, и тутъ же рядомъ несостоятельность его законовъ передъ шопотомъ жгучихъ силъ доброй молодости.

— Да,—заговорили мы:—мы всѣ согласны; Волосатинъ скотинка: онъ очень форситъ, обидѣлъ насъ, но все-таки онъ нашъ товарищъ и мы дурно сдѣлаемъ, если пренебре-

жемъ его приглашеніемъ. Онъ одинъ виноватъ; а мы, если не пойдемъ, — мы покажемъ, что и мы сами невѣжи и не знаемъ какъ должно свѣтскихъ приличій. Принявъ приглашеніе, надо идти.

— Мы оскорбимъ его отца, который насъ звалъ и который, можетъ-быть, очень заслуженный человѣкъ.

— Какой чортъ «заслуженный»! просто какой-нибудь приказный.

— Но мы теперь и сами пр..... То-есть мы всѣ теперь статскіе,—отвѣчали мы со вздохомъ.

— И наконецъ, онъ говорилъ, тамъ есть у него сестра, а развѣ можно оказать невѣжливость женщинѣ.

Эта «сестра», мнѣ кажется, очень много значила для всѣхъ насъ: всѣмъ намъ было пріятно называть молодое женское лицо..... стѣнки не устояли. Мы рѣшили перчатокъ не покупать, потому что такой экстренный расходъ былъ намъ не по карману, — но, принарядясь въ свои сюртуки, отправились въ качествѣ нетанцующихъ на вечеръ, который для меня имѣлъ очень серьезное значеніе съ довольно непріятными послѣдствіями.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Къ немалой нашей досадѣ выходило, что всѣ мы довольно поотвыкли отъ женскаго общества, которое видѣли еще дѣтьми и въ которое совсѣмъ не умѣли вступить теперь, находясь въ своей странной неопредѣленной порѣ и въ своемъ неопредѣленномъ положеніи «нетанцующихъ кавалеровъ».

Самый первый шагъ вступленія въ освѣщенный залъ путалъ и сбивалъ всѣ наши свѣтскія соображенія, а къ тому же мы никого не знали въ томъ домѣ, куда намъ предстояло предстать, и вдобавокъ насъ некому было отрекомендовать и представить.

Положеніе было трудное, и оно еще усложнялось тѣмъ, что когда мы явились въ домъ—до нашего слуха долетѣли звуки вальса и сквозь неплотно-притворенныя двери передней, гдѣ мы стояли, ожидая Волосатина, видны были мелькающія пары.

Волосатинъ, за которымъ мы послали человѣка, не выходилъ къ намъ и его невозможно было ждать, потому что, по словамъ лакея, онъ танцовалъ, — невозможно было и

стоять безъ толку и движенья въ передней, тѣмъ болѣе что какой-то пожилой господинъ, котораго мы всѣ приняли за хозяина, проходя черезъ переднюю въ залъ, пригласилъ насъ войти и, взойдя самъ впереди насъ, поцѣловалъ руки двухъ дамъ, сидѣвшихъ ближе ко входу.

Мы длинною вереницею вступили за нимъ и, слѣдуя во всемъ его примѣру, начали по очереди подходить къ ручкамъ всѣхъ дамъ. Неумѣстный пріемъ этотъ, которымъ мы по неопытности своей подражали взошедшему передъ нами другу дома, обратилъ на насъ всеобщее вниманіе, — и я, шедшій впереди лобызающей руки шеренги, видя смущеніе дѣвицъ и насмѣшки мужчинъ, не зналъ, какъ мнѣ остановиться и куда вести за собой свой гусёкъ. Я желалъ бы быть лучше поглощеннымъ землею, какъ вдругъ, приклонясь къ рукѣ одной молодой, блѣдной блондинки съ добрыми голубыми глазами, я почувствовалъ, что рука ея, ускользнувъ отъ моихъ губъ, легла на мое плечо, и сама она добрымъ дружескимъ шопотомъ проговорила мнѣ:

— Давайте лучше вальсировать!

Я подхватилъ ее — и сначала неловко, а потомъ съ достаточною смѣлостію сдѣлалъ съ нею туръ и посадилъ ее на мѣсто.

Въ этой умѣренности мною, по счастію, руководило правило, по которому намъ на балахъ запрещалось дѣлать съ дамами болѣе одного тура вальса, — и то изо всей нашей компаніи зналъ это правило одинъ я, такъ какъ на кадетскихъ балахъ для танцевъ съ дамами отбирались лучшіе танцоры, въ числѣ которыхъ я всегда былъ первымъ. А не знай я этого, я, вѣроятно, закружился бы до новаго неприличія, или по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока моя дама сама бы меня оставила.

Но по счастію опытность спасла меня, а моему примѣру послѣдовали и другіе мои товарищи, которыхъ я увидѣлъ вальсирующими, когда опустилъ свою даму.

— Сядьте возлѣ меня,—пригласила меня моя дама.

Я млѣлъ: она мнѣ казалась прекрасною и такою доброю, что я ее уже безповоротно полюбилъ.

— Мой братъ говорилъ мнѣ, что вамъ далеко еще ѣхать...— начала она.

Ея братъ! Великій Боже! это *она* и есть, она, сама она, его сестра! О вы, души моей предчувствія, сбылись: не-

даромъ меня влекло сюда; недаромъ... нѣтъ, недаромъ: я былъ влюбленъ и притомъ не только безповоротно, но и смертельно влюбленъ!

Я только хотѣлъ бы знать ея имя и... хотя приблизительно: на сколько лѣтъ она меня старше?

Желанія мои сбылись: ко мнѣ подошелъ нашъ блестящій товарищъ Викторъ Волосатинъ — и, отведя меня въ уголъ, гдѣ были сбиты въ кучу всѣ прочіе товарищи моего бѣдствія, сказалъ:

— Надо же быть такимъ пошлымъ дуракомъ, какъ ты, чтобы, войдя въ залъ, начать прикладываться къ ручкамъ всѣхъ дамъ, и потомъ еще вальсировать въ три па и безъ перчатокъ... Это можно въ корпусѣ, но въ свѣтѣ такъ не поступаютъ.

Я, было, привелъ въ свое оправданіе примѣръ взошедшаго передо мною старичка, но Волосатинъ еще разъ назвалъ меня дуракомъ и растолковалъ, что тотъ старичокъ — его дядя, который держитъ себя здѣсь по-родственному, между тѣмъ какъ я...

Ну да, я и самъ зналъ, что сдѣлалъ ужасный и непростительный поступокъ и достоинъ за то всякой кары, а потому и не возражалъ и не обижался дружескимъ выговоромъ, тѣмъ болѣе, что все это была такая мелочь въ сравненіи съ любовью, которою я пламенѣлъ къ его прекрасной и доброй сестрѣ, которая (это, впрочемъ, очень большой секретъ) *сама анпажировала меня на мазурку.*

Отъ этой радости я просто былъ какъ въ чаду и цѣлый вечеръ ни съ кѣмъ не танцовалъ ни одного танца, а все смотрѣлъ изъ-за мужчинъ *на нее.* И что же вы думаете? — *она* меня понимала: она тоже не танцовала и отказывала всѣмъ, кто къ ней подходилъ. Это было мнѣ очень пріятно, и вѣрное сердце мое слало ей тысячу благословеній. Не сводя съ нея глазъ, я все находилъ ее прекраснѣе и прекраснѣе, и она, въ самомъ дѣлѣ, была недурна: у нея были прелестные бѣлокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большіе тоже добрые, ласковые сѣрые глаза, чудная шея и высокая, стройная фигура, а я съ дѣтства моего страстно любилъ женщинъ высокаго роста, чему, вѣроятно, не мало обязанъ стройной фигурѣ А. Паулы Монти, изображеніе которой висѣло на стѣнѣ въ моей дѣтской комнатѣ и дѣйствовало на развитіе моего эстетическаго вкуса.—Къ тому

же, сестра Волосатина мнѣ нравилась своимъ поведеніемъ: она не вертѣлась, какъ всѣ дѣвицы, а все болѣе сидѣла со старушками и добродушно сносила тормошенія безпрестанно подбѣгавшей къ ней кучерявой брюнетки, къ которой нѣсколько изъ моихъ товарищей относились съ ангажементами и получали отказъ. Эта кичливая и вѣтреная особа все танцовала съ франтами, которые, по моему мнѣнію, не имѣли ровно никакихъ достоинствъ.

Вечеръ прошелъ—и моя блондинка сама отыскала меня глазами и сама выбрала для насъ скромное мѣсто, устроивъ предварительно нѣсколько паръ для моихъ товарищей, у которыхъ, все-таки, не оказалось ни одной такой красивой дамы, какъ моя, а что всего важнѣе: я не думаю, чтобы чья-нибудь другая дама умѣла вести такой оживленный разговоръ. Она все время мазурки проговорила со мною про корпусъ, интересовалась нашею исторіею, нашею прошлою жизнью и, наконецъ, заговоривъ о моихъ планахъ на будущее, сказала, что мнѣ еще необходимо много учиться. Это меня немножечко обидѣло, но у меня былъ готовъ отвѣтъ, что условіемъ исключенія насъ изъ корпуса было воспрещеніе намъ поступать въ какія бы то ни было учебныя заведенія и обязательство вступить немедленно въ статскую службу. Но у нея тоже не стояло дѣло за отвѣтомъ.

— Учиться вездѣ можно, — отвѣчала она: — даже и въ тюрьмѣ, и на службѣ — и учиться непремѣнно должно не для правъ и не для чиновъ, а для самого себя, для своего собственнаго развитія. Пониманіе есть высочайшее благо.

Мнѣ помнится, что я подъ конецъ мазурки далъ ей слово, что буду учиться и именно такъ, какъ она мнѣ внушала, т. е. не для полученія привилегій и правъ, а *для себя*, для своего собственнаго усовершенствованія и развитія.

Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая въ моей жизни какъ мимолетное видѣніе, а между тѣмъ мимоходомъ бросившая въ душу мнѣ свѣтлыя сѣмена: какъ много я тебѣ обязанъ и какъ часто я вспоминалъ тебя—предтечу всѣхъ моихъ грядущихъ увлеченій, — тебя, единственную изъ женщинъ, которую я любилъ и не страдалъ, и не каялся за эту любовь! О, если бы ты знала, какъ ты была мнѣ дорога, не тогда, когда я былъ въ тебя

влюбленъ моей мальчишеской любовью, а когда я зрѣлымъ мужемъ глядѣлъ на женщинъ хваленаго, позднѣйшаго времени и... съ болѣзненною грустью видѣлъ полное исчезновеніе въ новой женщинѣ высокихъ воспитывающихъ молодого мужчину инстинктовъ и влеченій,— исчезновеніе, которое восполнятъ развѣ *новѣйшія* женщины, выступающія послѣ отошедшихъ новыхъ.

Возвратясь съ вечера, который намъ показался прекраснымъ баломъ, я во всю остальную ночь не могъ заснуть отъ любви, и утро застало меня сидящимъ у окна и мечтающимъ *о ней*. Я обдумывалъ планъ, какъ я стану учиться безъ помощи учителей, сдѣлаюсь очень образованнымъ человѣкомъ и явлюсь къ ней вполнѣ достойный ея вниманія. А пока... пока я хотѣлъ ей написать объ этомъ, такъ какъ я былъ твердо увѣренъ, что одна подобная рѣшимость съ моей стороны непремѣнно должна быть ей очень пріятна.

Но Кириллъ уже запрягалъ своихъ лошадей—и товарищи встали и начали пить чай и собираться въ путь. Письмо надлежало отложить.

Мы сѣли—и я уѣзжалъ безъ малѣйшей надежды узнать даже имя своей дамы, какъ вдругъ недалеко около заставы насъ обогналъ Волосатинъ. Онъ ѣхалъ съ мальчикомъ купаться и везъ передъ собою на бѣговыхъ дрожкахъ закрытую салфеткою корзину.

— Эй, вы, путешественники!—крикнулъ онъ намъ:—вотъ моя старшая сестра шлетъ вамъ пироговъ, ватрушекъ и фруктовъ. Подѣлитесь, да не подеритесь, потому что она любитъ миръ и любовь. А тебѣ, Праотцевъ, она, кромѣ того, посылаетъ вотъ эту какую-то книжицу: это, вѣроятно, за твою добродѣтель, что ты вчера съ нею отъ души отплясывалъ.

Я взялъ съ благоговѣніемъ поданную мнѣ имъ, запечатанную въ бумагу, книжечку, но былъ оскорбленъ тономъ, какимъ онъ говорилъ о сестрѣ.

Я даже не удержался и поставилъ ему это на видъ, но онъ нагло расхохотался и отвѣчалъ:

— Да ты ужъ не влюбленъ ли въ Аню? а? Сознавайся-ка, братъ, сознавайся! Вѣдь это съ вами, философами, бываетъ, но только жаль, что сестрѣ скоро тридцать лѣтъ, а тебѣ шестнадцать.

Тридцать!—подумалъ я:—это немножко непріятно!»

А Волосатинъ продолжалъ хвастать своею другою сестрою Юленькой, той самой кучерявой брюнеточкой, которая вчера безпрестанно подлетала къ старшей сестрѣ и тормошила ее,—и затѣмъ онъ уѣхалъ, разсказавъ предварительно, что эта хваленая его сестра выходитъ замужъ за адъютанта и что онъ самъ, вѣроятно, когда-нибудь женится на красавицѣ.

Кто-то изъ насъ шутя назвался къ нему на свадьбу.

— Позови, молъ, насъ, когда будешь жениться.

Но Волосатинъ въ отвѣтъ на это съ оскорбительною практичностью замѣтилъ, что это будетъ видно, смотря по тому, кто изъ насъ какъ сумѣетъ себя устроить въ обществѣ.

Ему казалось, что онъ себя уже отлично устроилъ, и товарищи, вслѣдъ ему, назвали его «отвратительнымъ фатишкою»,—но мнѣ до этого не было никакого дѣла, потому что я былъ влюбленъ и желалъ обращаться въ сферахъ по преимуществу близкихъ къ предмету моей любви. Я быстро распаковалъ привезенную Волосатинымъ корзину и старался какъ, можно болѣе съѣсть присланныхъ его сестрою пироговъ чтобы они не доставались другимъ, а между этимъ занятіемъ распечаталъ подаренную ею мнѣ книгу: это былъ романъ Гольдсмита—«Векфильдскій священникъ».

Я въ первый разъ имѣлъ въ рукахъ это сочиненіе и прочелъ его съ величайшимъ удовольствіемъ, сократившимъ для меня время путешествія до Москвы.

Въ Москвѣ насъ ждалъ маленькій сюрпризъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ мы отказались заходить съ своимъ Кирилломъ къ Ивану Ивановичу Елкину, возница нашъ значительно къ намъ охладѣлъ и даже сдѣлался нѣсколько сухъ и суровъ, изъ чего мы дерзнули заключить, что этотъ добрый человѣкъ не столько добръ, сколько лукавъ и лицемѣренъ. Но ему самому мы ничѣмъ не обнаруживали нашего открытія, потому что всѣ мы, несмотря на военное воспитаніе, кажется, его порядкомъ побаивались. Въ Москвѣ же онъ насъ напугалъ и довольно сильно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Такъ какъ мы сами себѣ мѣстъ для остановокъ не выбирали, а подчинялись въ этомъ опытности и произволу Кирилла, то и въ Москвѣ намъ пришлось пристать тамъ,

гдѣ онъ хотѣлъ. Здѣсь намъ послужилъ пристанищемъ простой постоялый дворъ, гдѣ-то у Рогожской заставы. Намъ, впрочемъ, это было все равно, потому что помѣщеніемъ для насъ, какъ я выше сказалъ, во всю дорогу служила повозка, а разстоянія для насъ тогда не существовали, да и притомъ для насъ въ Москвѣ всякое мѣсто было свято и интересно. При одной мысли, что мы «въ Москвѣ», ни у одного изъ насъ не было другого намѣренья, какъ бѣжать, смотрѣть, восторгаться и падать ницъ (безъ всякаго преувеличенія, мы непремѣнно хотѣли хоть нѣсколько разъ *упасть ницъ*, но намъ удалось сдѣлать это только въ соборахъ, потому что на площадяхъ и на улицахъ такое желаніе оказывалось совершенно неудобоисполнимымъ). Путешествовали мы по Москвѣ по образу пѣшаго хожденія и вообще очень экономничали, такъ какъ видѣли впереди еще очень большой путь, а денегъ у насъ было мало; какова же была наша досада, когда въ Москвѣ намъ пришлось прожить вмѣсто одного дня цѣлые четыре, потому что нашъ Кириллъ съ перваго же вечера пропалъ, и пропадалъ ровнымъ-ровнехонько четверо сутокъ! Мы сами поили и кормили его лошадей и нетерпѣливо поджидали его по цѣлымъ днямъ, сидя за воротами на опрокинутой колодѣ, но Кириллъ какъ въ воду канулъ. Въ отчаяніи отъ того, что съ нами будетъ, такъ какъ деньги казна отдала Кириллу и никто другой насъ до Кіева не повезетъ, мы жестоко пріуныли. Самая Москва потеряла для насъ свою цѣну: всѣ наши обозрѣнія ограничились побѣгушками перваго дня, и затѣмъ мы не осмотрѣли великаго множества мѣстъ, къ которымъ влекли насъ прочитанные въ корпусѣ романы Лажечникова, Масальскаго и Загоскина. Всѣ мы страшно упали духомъ, а нѣкоторые изъ насъ даже малодушно плакали, и тѣмъ наводили на другихъ еще большее уныніе, дошедшее наконецъ до всеобщаго отчаянія и страха. Къ кому мы ни обращались за свѣдѣніями о своемъ возницѣ, все это было напрасно: никто не давалъ намъ никакого опредѣлительнаго отвѣта; но, наконецъ, какой-то извозчикъ сжалился и сообщилъ намъ, стребовавъ съ насъ рубль за открытіе томившей насъ тайны, что Кириллъ водитъ по Москвѣ медвѣдя.

Эта невѣроятная новость насъ обрадовала, и встревожила, и огорчила: какъ-де это не стыдно Кириллу, человѣку столь обстоятельному и старовѣру, позабыть свое дѣло и предаться

такому пустому шарлатанскому занятію, какъ вожденіе медвѣдя?

— Онъ можетъ погибнуть,—предполагали мы и съ минуты на минуту ожидали, что кто-нибудь привезетъ на дворъ и броситъ его несчастный трупъ, растерзанный медвѣдемъ.

Но, наконецъ, къ ночи четвертаго дня Кириллъ явился—мрачный и тяжелый, но живой, хотя, впрочемъ, съ несомнѣнными знаками только-что перенесенной тягостной борьбы съ медвѣдемъ: армякъ и рубашка на одномъ плечѣ у него были прорваны насквозь и сквозь прорѣху виднѣлось голое тѣло съ страшнымъ синякомъ, лицо возлѣ носа было расцарапано и покрыто черными струпьями, а на шеѣ подъ лѣвымъ ухомъ въ складкахъ кожи чернѣла засохшая кровь.

Взглянувъ на него, мы не стали укорять его и только полюбопытствовали: правда ли, что онъ все это время водилъ медвѣдя?

— Водилъ, чтобъ его проклятаго чортъ ободралъ!—отвѣчалъ Кирила и, уткнувшись лицомъ въ сѣно, захрапѣлъ.

Мы тоже не стали его ни о чемъ болѣе разспрашивать и поскорѣе улеглись спать въ своей повозкѣ, а утромъ были пробуждены зычнымъ крикомъ, который раздавался изъ хозяйскихъ комнатъ. Въ этомъ крикѣ среди многихъ другихъ голосовъ мы могли различать и голосъ нашего Кирилы.

— Не водить было тебѣ, подлецъ, медвѣдя! не молоденькій ты, чтобы баловствами заниматься!—выкрикалъ хозяинъ.

— Что дѣлать: Господь попустилъ! — отвѣчалъ Кирила.

— Такъ вотъ за то теперь и оставь намъ на прокормленіе пристяжную.

— Помилуй!—просилъ Кириллъ:—мнѣ безъ третьей лошади все равно, что пропасть!

— Ничего; пусть тебя палачъ плетью помилуетъ, а ты оставляй пристяжную да и все тутъ: я ужъ два года на тебѣ сорокъ рублей жду, а ты всякій разъ какъ пріѣдешь—опять за свою привычку: по Москвѣ медвѣдя водить! Нѣтъ; иди, иди, запрягай пару, а лѣвую оставь; не велики твои господчики—парой ихъ довезешь.

Кириллъ жалостно просилъ пощады и клялся, что ему парой насъ не довезть, потому что ближе къ Кіеву пойдутъ большіе пески, и парой ни за что телѣгу не выволочь; но дворникъ былъ неумолимъ и настаивалъ на томъ, чтобы третью лошадь оставить ему: мы-де сю тутъ твоего медвѣдя покормимъ.

Все это насъ ужасно смутило: намъ представлялось и жалостное наше путешествіе на несчастной парѣ вмѣсто тройки, и потомъ намъ чрезвычайно жалко было обреченной на съѣденіе медвѣдю лошади, такъ какъ мы уже успѣли сильно сдружиться съ Кирилиными конями—и особенносъ лѣвымъ буланымъ мериномъ, у котораго былъ превеселый нравъ, дозволявшій ему со всѣхъ, кто къ нему подходилъ, срывать шапки, и толстая широкая спина, на которой мы по очереди сиживали въ то время, когда буланый ѣлъ на покормѣ подъ сараями свой овесъ.

Межъ тѣмъ какъ мы волновались подобными чувствами—до нашего слуха долетѣли другіе голоса, касавшіеся уже непосредственно насъ самихъ: кто-то давалъ Кирилѣ мысль прижать насъ и потребовать отъ насъ доплаты къ суммѣ, слѣдовавшей ему за нашъ провозъ; но Кириллъ энергически противъ этого протестовалъ и наотрѣзъ отказался насъ безпокоить, объявивъ, что онъ всю плату получилъ сполна и что это дѣло казенное—и онъ «мошенства» ни за что сдѣлать не хочетъ, а скорѣе пойдетъ куда-то къ начальству и скажетъ: такъ и такъ и т. д.

Мы далѣе не вслушивались—и тронутые благородствомъ Кирилы, рѣшились скорѣе выручить его необходимою суммою, для чего съ каждаго изъ насъ семерыхъ нужно было около шести рублей ассигнаціями. Мы уже развязали свои мѣшки и складовали эту значительную по нашимъ средствамъ сумму, какъ вдругъ она оказалась вовсе ненужною, потому что утихшій на мгновеніе крикъ снова раздался съ удвоенной силой, и Кириллъ, слетѣвъ съ шумомъ и грохотомъ съ крыльца, проворно схватилъ подъ-уздцы свою уже запряженную тройку и свелъ ее со двора, а потомъ вскочилъ на облучокъ и поѣхалъ рысью.

Считая такую скорую ѣзду дѣломъ совершенно необыкновеннымъ, мы выглянули изъ-подъ рогожъ нашей повозки на своего возницу—и, увидавъ его въ какой-то ажитаціи, снова попрятались.

Я, можетъ-быть, дурно дѣлаю, вдаваясь во всѣ мелочи нашего перваго путешествія, но, во-первыхъ, все это мнѣ чрезвычайно мило, какъ одно изъ самыхъ свѣтлыхъ моихъ юношескихъ воспоминаній, а во-вторыхъ, пока я дѣлалъ это путешествіе, оно, кажется, не знаю почему, дѣлало грунтъ для образованія моего характера, развитіе котораго

связано съ исторіею бѣдствій и злоключеній моей послѣдующей жизни.

Московскій медвѣдь, оставшійся для насъ мудреною загадкой, повидимому, произвелъ весьма сильное впечатлѣніе и на самого Кирилу, который совершенно утратилъ на время свою веселость и, сдѣлавшись чрезвычайно молчаливымъ, все выбиралъ пальцами подлинявшіе у него въ бородѣ волосы. На прорѣхи своего платья и раны своего лица онъ не обращалъ никакого вниманія, несмотря на то, что количество поврежденій на его ликѣ, кажется, нѣсколько усилилось послѣ его объясненій съ московскимъ дворникомъ, отъ котораго онъ спасся какою-то неизвѣстною намъ находчивостью.

Три дня послѣ выѣзда нашего изъ Москвы онъ все спалъ: спалъ на стоянкахъ, спалъ и дорогою — и съ этою цѣлію, для доставленія большаго удобства себѣ, никого не подсаживалъ въ бесѣдку, а лежалъ, растянувшись вдоль обоихъ мѣстъ, на передкѣ. Лошадьми же правилъ кто-нибудь изъ насъ, но, впрочемъ, мы это дѣлали болѣе для своего удовольствія, такъ какъ привычные къ своему дѣлу кони сами знали, что имъ было нужно дѣлать, и шли своею мѣрною ходою.

Въ Тулѣ мы высадили еще одного товарища, а въ Орлѣ двухъ—и остались вчетверомъ, изъ которыхъ одному надлежало остаться въ Глуховѣ, другому въ Нѣжинѣ, а мнѣ и нѣкоему поляку Краснопольскому вдвоемъ ѣхать до Кіева. Но, однакоже, не всѣ мы доѣхали до мѣстъ своего назначенія: намъ суждено было погубить дорогою своего нѣжинскаго товарища, маленькаго Кнышенко. Это—небольшое, но очень трагическое происшествіе, которое чрезвычайно меня поразило, особенно своею краткою простотою и неожиданностію.

Я, конечно, зналъ, что всѣ люди смертны, но я... все-таки думалъ, что такое солидное дѣло, какъ умираніе, должно происходить съ нѣкоторою подготовкою, въ родѣ того какъ было съ отцомъ, апоплексическому удару котораго предшествовалъ нравственный ударъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ Тулѣ и Орлѣ мы были безпокойны, какъ бы нашъ Кириллъ опять не повелъ медвѣдя, такъ какъ онъ намъ

уже разсказалъ, что̀ это такое значило,—и мы изъ словъ его узнали, что въ вожденіи медвѣдя никакой настоящій звѣрь этой породы не участвовалъ, а что это было не что иное, какъ то, что Кириллъ, встрѣтясь въ Москвѣ съ своими земляками, такъ сильно запилъ, что впалъ въ потемнѣніе разсудка и не помнитъ, гдѣ ходилъ и что̀ дѣлалъ; пока его кто-то изъ тѣхъ же земляковъ отколотилъ и бросилъ у воротъ постоялаго двора, гдѣ мы его ждали въ такомъ ужасномъ перепугѣ и тоскѣ.

Однако, и въ Тулѣ, и въ Орлѣ Кириллъ показалъ характеръ и удержался, да и впередъ обѣщалъ быть воздержанъ и даже выражалъ твердое намѣреніе, довезя насъ до Кіева, оставить навсегда свой извозчичій промыселъ и ѣхать домой, гдѣ у него была жена, которая всегда могла его отъ всякихъ глупостей воздержать. Теперь онъ жилъ въ нѣкоторомъ умиленномъ состояніи и, воздыхая, повторялъ прекрасную пословицу, что «земляной рубль тонокъ да дологъ, а торговый широкъ да коротокъ».

Пословицу эту мы хвалили, но все-таки насъ пугала мысль: не пропилъ ли Кириллъ въ Москвѣ всѣ деньги, данныя ему за нашъ провозъ—и мы хотѣли узнать: будетъ ли ему съ чѣмъ доставить насъ до Кіева? Много церемониться было не изъ чего—и мы откровенно выразили ему наши опасенія; но Кириллъ насъ тотчасъ же благородно успокоилъ и притомъ сдѣлалъ самому себѣ нѣкоторый комплиментъ, сказавъ, что онъ водилъ медвѣдя, держа разсудокъ въ сумкѣ, и пилъ только на чужой счетъ своихъ земляковъ, а всѣ деньги забилъ въ сапоги подъ стельку, — и потому когда товарищи захотѣли снять съ него и пропить тѣ сапоги, то онъ тутъ сейчасъ очувствовался и вскричалъ караулъ, но сапогъ снять не далъ, а лучше согласился претерпѣть неудовольствіе на самомъ себѣ, что̀ и воспослѣдовало.

Мы проѣхали всю орловскую губернію, встрѣтили въ Упорой у сада графа Гейдена первые тополи—и, налюбовавшись ими, вскорѣ перевалили за широкую балку, посрединѣ которой текъ маленькій ручеекъ, служившій живымъ урочищемъ, составляющимъ границу Великой Россіи съ Малороссіею.

Теперь переѣздъ этотъ ничего не значитъ для путешественника, да и онъ совершается совсѣмъ не въ томъ мѣ-

стѣ, гдѣ мы перебирались изъ страны «неба, елей и песку» въ страну украинскихъ черешенъ. Желѣзная дорога оставила далеко въ бокъ характерную мѣстность тогдашней переправы, получившую очень характерное названіе: «Пьяная балка». Здѣсь на одномъ пологомъ скатѣ была великорусская, совершенно разоренная деревушка съ раскрытыми крышами и покосившимися избами, а на другомъ, немножко болѣе крутомъ и возвышенномъ берегу чистенькій, какъ колпикъ, малороссійскій хуторокъ. Ихъ раздѣляла только одна *Пьяная балка* и соединялъ мостъ; затѣмъ у нихъ всѣ условія жизни были одни и тѣ же: одинъ климатъ, одна почва, однѣ перемѣны погоды;—но на орловской, т. е. на великорусской сторонѣ были поражающіе нищета и голодъ, а на малорусской или черниговской вѣяло инымъ. Малороссійскій хуторъ процвѣталъ, великорусская деревня извелась въ конецъ — и невозможно было рѣшить: чего еще она здѣсь держится? Въ этой деревнѣ ни одинъ проѣзжій или прохожій не останавливались—какъ потому, что здѣсь буквально не было жилья въ человѣческомъ смыслѣ, такъ и потому, что все населеніе этихъ разоренныхъ дворовъ пользовалось ужаснѣйшею репутаціею.

По одну сторону «*Пьяной балки*» была дорогая и скверная откупная водка, по другую—дешевая и хорошая. На самомъ мосту стоялъ кордонъ, бдительно наблюдавшій, чтобы великоруссы не проносили къ себѣ капли малороссійской водки; но проносить ее въ желудкѣ кордонъ не могъ возбранить—и вотъ почему балочники орловской губерніи были такъ отчаянно бѣдны: они постоянно все, что могли, тащили къ жидамъ на малороссійскую сторону и тамъ пропивали все до-чиста.

Въ самой балкѣ всегда стояли караваны телѣгъ: всѣ извозчики и не извозчики, всякая христіанская душа считала необходимостью, сдѣлавъ шагъ за малороссійскій рубежъ, сейчасъ же здѣсь намертво напиться дешевою водкою,—и отъ того здѣсь постоянно бывали ссоры, драки и даже нерѣдко убійства, о которыхъ мы много наслышались отъ Кирилы, говорившаго о «*Пьяной балочкѣ*» съ восторгомъ, по меньшей мѣрѣ приличествовавшимъ развѣ, напримѣръ, приближенію вѣрующаго къ Палестинѣ.

— Ахъ!—восклицалъ онъ, осклабляясь и простирая руки въ томъ направленіи, гдѣ была «*Пьяная балка*». Восхваляя

это мѣсто, онъ въ восторгѣ своемъ называлъ его не мѣстомъ, а мѣстилищемъ, и говорилъ, что «тамъ идетъ постоянно шумъ, грохотъ, и что тамъ кто ни проѣзжаетъ— сейчасъ начинаетъ пить, и стоятъ подъ горой мужики и купцы и все водку носятъ, а потомъ часто бьются, такъ что даже за версту бываетъ слышенъ стонъ точно въ стражденіи. А когда между собою надоѣстъ драться, то кордонщиковъ бьютъ и даже нерѣдко убиваютъ».

Эта картина, повидимому, совершенно плѣнила нашего Кирилла, у котораго на лицѣ уже проходили слѣды московскаго вожденія медвѣдя, и мы опасались не разрѣшилъ бы онъ въ Пьяной балкѣ снова; но онъ категорически отвѣчалъ, что хотя бы и желалъ, такъ не можетъ, потому что онъ далъ самому Богу зарокъ водки не пить, а развѣ только попробуетъ наливки, что и исполнилъ тотчасъ же, какъ мы перетащились за логовину на черниговскую сторону.

Всего безобразія этой Пьяной балки я рѣшительно не могу описать: это одно бы составило ужаснѣйшую картину отвратительнѣйшаго жанра. Вездѣ стояли и бродили омерзительно-пьяные мужики; торчали опрокинутые возы, раздавались хриплые голоса; довелось намъ даже слышать и тѣ стоны, которые въ восторгѣ описывалъ Кириллъ, учинившійся здѣсь пьянымъ какъ стелька.

Мы были этимъ несказанно удивлены, но онъ намъ самымъ обстоятельнымъ образомъ разъяснилъ, какъ случилось, что данный Богу зарокъ не помѣшалъ ему натянуться. Выходило, что, давая зарокъ, онъ умышленно разумѣлъ одну лишь водку настоящаго бѣлаго цвѣта, а ни о какихъ иныхъ напиткахъ не упоминалъ, и потому всякимъ инымъ напиткомъ съ чистою совѣстью могъ напиваться.

Путешествуя далѣе до ночлега, онъ останавливался уже у всякой корчмы и все пилъ «чвертку красненькой», при чемъ нѣсколько разъ снова начиналъ намъ объяснять, какъ онъ уменъ и предусмотрителенъ въ томъ отношеніи, что далъ зарокъ Богу не пить простой *бѣлой* водки, а насчетъ «цвѣтной или красненькой ничего касающаго не обѣщалъ». Это его такъ утѣшило и придавало ему такую отвагу, что онъ даже утверждалъ, что Богъ съ него «никакой правы не имѣетъ взыскивать насчетъ того, о чемъ у нихъ договора не было».

Прошивъ одинъ день, онъ продолжалъ то же самое и на

другой, и все болѣе и болѣе входилъ въ стихъ—и, досадуя, что его никто не потчуетъ, возымѣлъ намѣреніе «хорошо проучить чортовыхъ хохловъ», которые, по его мнѣнію, были до жалости глупы.

Скоро къ тому представился случай: мы проѣзжали какое-то село въ большой праздникъ. Въ корчмѣ была масса народа. Кириллъ остановилъ лошадей, зашелъ въ корчму и пропалъ тамъ.

Подождавъ его около четверти часа, двое изъ нашихъ пошли его вызвать, но возвратились съ извѣстіемъ, что нашъ возница затѣялъ какую-то штуку съ хохлами и ни за что не хотѣлъ выходить изъ корчмы.

Штука эта состояла въ томъ, что Кириллъ спросилъ у шинкарки чвертку водки — и не выпивъ самъ ни одной капли, распотчивалъ ее на трехъ ближайшихъ малороссійскихъ мужиковъ. Тѣ, ничего не подозрѣвая, выпили, а теперь Кириллъ объявилъ имъ, что и они, въ свою очередь, каждый долженъ его попотчивать. Мужики почесавшись затребовали каждый по чверткѣ, а нашъ Кириллъ, сливъ все это въ одну посуду, поблагодарилъ и выпилъ, уже на сей разъ совсѣмъ позабывъ свой зарокъ не пить бѣлой.

При безобразномъ пьянствѣ нашего провожатаго мы кое-какъ добрались до Королевца, маленькаго грязнаго городишки, гдѣ тогда шла ярмарка и гдѣ Кириллъ снова «надулъ проклятыхъ хохловъ», но уже на этотъ разъ его находчивость избрала орудіемъ для обмана насъ самихъ. Онъ устроилъ все это такъ обдуманно, смѣло и тонко, что мы ничего не могли понять до тѣхъ поръ, пока онъ выполнилъ весь свой коварный умыселъ, чрезвычайно насъ тогда обидѣвшій и опечалившій, а нынче, когда я пишу эти строки, заставляющій меня невольно улыбаться.

Надо сказать, что между нами тремя, которыхъ везъ теперь Кириллъ, былъ нѣкто, котораго я назову Станиславомъ Пенькновскимъ. Этотъ молодой полякъ былъ годами двумя насъ постарше, высокъ ростомъ, довольно мужественъ, красивъ собою, при этомъ большой франтъ — и по польскому обычаю франтъ довольно безвкусный.

Подчиняясь своей страсти къ щегольству, онъ въ Москвѣ купилъ у какого-то своего земляка венгерку съ шнурами и кутасами, яркоцвѣтныя широкія шаровары и красную турецкую ермолку съ синею шелковою кистью; въ этомъ стран-

номъ нарядѣ онъ и ѣхалъ, постоянно высовываясь изъ повозки.

Кириллъ, какъ только его голова немножко поправилась послѣ московскаго пьянства, обратилъ вниманіе на этотъ нарядъ, и многократно его одобрялъ, а потомъ, вѣроятно вслѣдствіе долгихъ соображеній, нашелъ случай его утилизировать. Началось это съ того, что чуть гдѣ-нибудь на мосту случалась безпорядица и давка — Кириллъ просилъ Пенькновскаго высунуться и покричать, что тотъ съ удовольствіемъ и исполнялъ, дѣлая нерѣдко и даже нѣсколько болѣе того, о чемъ просилъ его Кириллъ. Такъ, Пенькновскій зачастую, не ограничиваясь крикомъ изъ телѣги, выскакивалъ вонъ—и, выхвативъ у Кирилла его длинный троечническій кнутъ, хлесталъ имъ встрѣчныхъ мужиковъ и ихъ лошадей, отчего послѣднія метались въ стороны и нерѣдко валили и опрокидывали возы, мимо которыхъ мы потомъ съ торжествомъ проѣзжали среди мужиковъ, снимавшихъ въ страхѣ свои шапки и, вѣроятно, славшихъ намъ тысячи проклятій. Но какъ бы тамъ ни было, а Пенькновскій вездѣ по дорогѣ производилъ очень большой эффектъ—и Кириллъ, находя въ этомъ не малую для себя выгоду, очень часто его хвалилъ и даже угощалъ пивомъ и водкою.

Такъ было во все время путешествія по Великой Россіи.

Въѣхавъ въ Малороссію, Кириллъ началъ еще болѣе льстить пану Пенькновскому и увѣрялъ, что ему стоитъ показаться, такъ дураки-хохлы для него все съ себя поскидаютъ.

Пенькновскому необыкновенно нравилось, что онъ играетъ такую замѣтную роль, и онъ по приглашенію Кирилы началъ съ нимъ заходить во всякую корчму. И что же выходило? Дѣйствительно, чуть, бывало, Пенькновскій взойдетъ и сядетъ, а Кириллъ шепнетъ одно слово шинкарю или шинкаркѣ, какъ тѣ тотчасъ подаютъ имъ обоимъ наливки, сколько они хотятъ, а также давали и закусокъ, и ни за что не требовали ни гроша, а только, выпроваживая ихъ,— тихонько вслѣдъ имъ плевали.

Я и мой другой товарищъ понять не могли: за кого это насъ принимаютъ? Пенькновскій же увѣрялъ насъ, что все это, вѣроятно, происходитъ отъ того, что онъ, будто бы, похожъ на казацкаго атамана, въ чемъ его, въ свою очередь, увѣрилъ льстивый и коварный Кириллъ. Такъ мы доѣхали

до Королевца, гдѣ суждено было произойти развязкѣ этого пошлаго и смѣшного анекдота.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ярмарка въ Королевцѣ стояла на единственной немощеной и чрезвычайно грязной городской площади. Я уже теперь не помню, около какихъ это было чиселъ, но знаю, что время было осеннее. Постоялые дворы вокругъ площади всѣ были заняты — и Кириллъ, не въѣзжая никуда на дворъ, остановился за угломъ одного дома у самой площади, выпрягъ здѣсь своихъ коней и, растянувъ хрептугъ, поставилъ ихъ къ корму, а самъ приступилъ къ Пенькновскому съ просьбою пройтись по базару. Кириллъ сказалъ, что ему надо купить для себя пару бубенчиковъ, и что будто бы ему гораздо сподручнѣе сдѣлать это пріобрѣтеніе вмѣстѣ съ Пенькновскимъ.

Пенькновскій не отказался, и они пошли; а я и другой мой товарищъ, маленькій Кнышенко, заинтересованные тѣмъ, неужели имъ и бубенчики достанутся даромъ,—слѣдили за ними издали.

Пенькновскій въ своемъ пестромъ, въ глаза кидающемся нарядѣ шелъ впереди, — а Кириллъ, обыкновенно обращавшійся съ нами за панибрата, здѣсь вдругъ какъ-будто проникся къ Пенькновскому крайнимъ и самымъ подобострастнымъ почтеніемъ. Онъ шелъ сзади и тщательно оберегалъ, чтобы его кто не толкнулъ, а между тѣмъ постоянно шепталъ что-то на стороны встрѣчнымъ людямъ, которые тотчасъ же со страхомъ разступались, и, крестясь, совали Кирилѣ кто грошъ, кто бубликъ, и потомъ, собираясь толпою, издали тянулись за ними со страхомъ, смѣшаннымъ съ неодолимымъ любопытствомъ.

До нашего слуха долетало какое-то чуждое слово, значенья котораго мы не понимали, но видѣли, что вереница, слѣдовавшая за Пенькновскимъ, все увеличивалась. Посреди торга толпа сгустилась до невозможности, и сидѣвшія тутъ на землѣ торговки, съ яблоками, булками и плоскою королевецкою колбасою, начали подавать сопровождавшему Пенькновскаго Кирилѣ каждая отъ своихъ щедротъ: кто булку, кто пару яицъ, кто еще что̀ было подъ рукою; притомъ опять каждая, подавъ эту жертву, набожно крестилась и съ отвращеніемъ плевала въ сторону.

На площади внятнѣе прогудѣло опять то же слово чуждое и незнакомое намъ; слово это было: «катъ».

— Ката везутъ, московскаго ката въ Кіевъ везутъ: жертвуйте кату що-бы милостивѣйше билъ!—шептали со всѣхъ сторонъ—и жертвы до того увеличились, что Кириллъ уже былъ значительно ими обремененъ и, замѣтивъ насъ, передалъ намъ долю своего сбора, послѣ чего и отъ насъ тожо всѣ отшатнулись, и пронеслось:

— А се его ученики. Они еще бити не можутъ, а тильки привязуютъ.

И намъ пошла особая, добавочная жертва!

Положеніе выходило престранное и, какъ мы понимали, не совсѣмъ ладное; но Пенькновскій, обаяиный своимъ великолѣпіемъ, идучи впереди, ничего этого не слыхалъ.

Онъ зашелъ въ балаганъ и купилъ, или даромъ взялъ, бубенчики, положилъ ихъ въ карманъ и, погромыхивая ими, пошелъ еще съ бо́льшимъ эффектомъ; зашелъ въ палатку, гдѣ продавали вино и гдѣ были разные пьяные люди. Однако, несмотря на то, что всѣ эти люди были пьяны, чуть только они взошли и Кириллъ кивнулъ имъ головою на Пенькновскаго — они перестали шумѣть и потребовали для него непокупного вина. Кириллъ оставилъ здѣсь Пенькновскаго, а самъ, изрядно пьяный, вернулся къ телѣгѣ съ цѣлымъ ворохомъ разныхъ закупокъ и гостинцевъ. Онъ живой рукой заложилъ лошадей — и мы подъѣхали къ куроню, гдѣ оставался великолѣпный Пенькновскій.

Услышавъ звонъ нашихъ новыхъ бубенчиковъ, онъ вылѣзъ изъ-подъ грязной палатки—и мы поѣхали.

У насъ былъ цѣлый сборъ пироговъ, рыбы, колбасъ, яицъ, вина, рѣпы, табаку и моркови, которую немилосердно хрясталъ подгулявшій Кириллъ; но тутъ вдругъ случилось неожиданнѣйшее и казуснѣйшее происшествіе: не успѣли мы отъѣхать и трехъ верстъ отъ города, какъ насъ обогналъ тарантасъ, запряженный тройкою лошадей. Намъ было велѣно остановиться — и краснолицый господинъ съ военною осанкою потребовалъ отъ насъ наши паспорта.

Мы развязали сумочки и предъявили наши бумаги. Военный господинъ просмотрѣлъ ихъ — и непосредственно за тѣмъ, сбивъ съ Кирилы шапку, началъ таскать его за вихры и бить по щекамъ.

Кто былъ этотъ быстрый на руку королевецкій началь-

пикъ—это такъ и осталось намъ неизвѣстно, но мы ему были очень благодарны, что онъ проучилъ Кирилу, а главное—открылъ намъ, что коварный мужиченко выдавалъ нашего великолѣпнаго товарища за московскаго палача, котораго онъ, будто бы, везетъ въ Кіевъ польскую графиню пакѣзывать, а насъ двухъ выдавалъ за его учениковъ.

Всѣ мы этимъ очень обидѣлись, а Пенькновскій потребовалъ отъ Кирилла объясненій: неужто онъ смѣлъ называть его палачомъ? Но жестоко выпоротый Кириллъ, хрустя во рту оставшеюся у него морковью, отвѣчалъ:

— Ну, такъ что же тебѣ изъ того за бѣда?

— Какъ что за бѣда? Я не хочу быть палачомъ.

— Ну, не хочешь, такъ и не будешь.

— А какъ же смѣлъ ты меня называть палачомъ?

— Эко важность какая: какъ смѣлъ? Антиресуются: что такого за пестраго чорта везешь? Я и сказалъ, что везу палача въ Кіевъ; за то же тебѣ вездѣ почтенье было, а меня отодрали.

Пенькновскій пожалъ плечами — и, быстро сбросивъ съ себя свои яркія шаровары, сказалъ намъ:

— Господа, мы одурачены.

Мы согласились; но нашли, что все-таки Кирилѣ досталось хуже всѣхъ, потому что у насъ пострадала репутація, а у него спина, отъ которой онъ жестоко кряхтѣлъ и нѣсколько дней не могъ разогнуться. Мы же съ своей стороны дали другъ другу слово, что эта исторія останется между нами. Нынѣ я впервые нарушаю это слово, но дѣлаю это, впрочемъ, съ совершенно покойной совѣстью, потому что оба лица, которымъ я обязался молчаніемъ, уже давно погибли отъ двухъ случайностей: Кнышенко утонулъ въ рѣкѣ Сеймѣ, а погибель послѣдняго, т. е. Пенькновскаго, дѣло позднѣйшей эпохи; но маленькій Кнышенко утонулъ на третій же день послѣ описаннаго королевецкаго событія—и утонулъ этотъ бѣдный ребенокъ неожиданно, весело и граціозно, какъ жилъ, но, однако, его смерть была для меня ужаснымъ, потрясающимъ событіемъ. Она дала мнѣ первый поводъ къ нѣсколько преждевременнымъ размышленіямъ о непрочности всего земного, и о тщетѣ и несбывчивости самыхъ ближайшихъ надеждъ. Это сдѣлалось потомъ моей болѣзнью, которая мнѣ во многомъ вредила и во многомъ была полезна.

Кнышенко былъ добрый и очень нѣжный мальчикъ: онъ пламенно любилъ свою мать, говорилъ о ней съ восторгомъ и стремился къ ней съ какою-то болѣзненною страстностію. У него была тетрадка, въ которой онъ ежедневно зачеркивалъ дни разлуки — и, не зачеркнувъ только трехъ дней, разстался съ нею навѣки. Я видѣлъ въ этомъ злую насмѣшку рока.

Кнышенко умеръ такимъ образомъ: мы пріѣхали въ красивое мѣстечко Батуринъ, бывшую столицу Мазепы, гдѣ есть развалины гетманскаго дома и опустѣлый дворецъ Разумовскаго. Обѣжавъ всѣ достопримѣчательности этого мѣстечка, мы, не смотря на позднее время года, вздумали сами половить въ рѣкѣ Сеймѣ здѣшнихъ знаменитыхъ раковъ. Раздѣвшись, мы спустились въ воду и стали шарить подъ корчами и берговыми уступами. Кнышенко при этомъ трунилъ надъ «катомъ» Пенькновскимъ, который оказывался чрезвычайно неловкимъ въ ловлѣ, между тѣмъ какъ Кнышенко оказывался очень ловокъ въ труненьи — и такъ допекъ Пенькновскаго своими насмѣшками, что тотъ бросился на него съ поднятымъ кулакомъ. Кнышенко началъ отбивать его, поднимая въ лицо его тучу брызгъ и... вдругъ исчезъ въ облакѣ этихъ брызгъ и болѣе не показался. Онъ, вѣроятно, оступился и попалъ въ одинъ изъ глубокихъ, тинистыхъ омутковъ, которыхъ въ этой рѣкѣ чрезвычайно много; а можетъ-быть, съ нимъ случился ударъ, такъ какъ всѣ мы послѣ королевецкой оргіи все-таки были еще немножко пьяны.

Исторія эта надѣлала намъ множество тяжелыхъ и самыхъ непріятныхъ хлопотъ и продержала насъ въ Батуринѣ около четырехъ сутокъ, пока утопленника достали, вскрыли и похоронили.

Въ эти дни мы, разумѣется, совсѣмъ протрезвились, и бѣдная душа моя, открывъ всю бездну своего глубокаго паденія, терзалась немилосердно. Въ погибели Кнышенко я видѣлъ несчастіе, которое ниспослано намъ въ наказаніе за наше безчинное поведеніе: за питье сладкой водки и наливокъ, и въ особенности за оскорбленіе нравственности вольнымъ обхожденіемъ съ королевецкими ярмарочными красавицами. Разстроенные кутежами, нервы мои помогли моему страданію, а вдобавокъ Кириллъ въ это время вѣроятно вспомнилъ совѣты, данные ему въ Москвѣ, чтобы онъ по-

пріжалъ насъ, — и вотъ онъ вздумалъ теперь воспользоваться сдѣланною намъ задержкою и, придравшись къ ней, потребовалъ съ насъ возмѣщенія его убытковъ въ размѣрѣ цѣлыхъ ста рублей (разумѣется ассигнаціями).

Не знаю: какъ бы я отнесся къ такому нечестному и наглому требованію при другихъ обстоятельствахъ, но въ эту пору я былъ радъ всякой новой карѣ — и съ удовольствіемъ отдалъ всѣ свои деньги до послѣдней копейки, такъ что «кату» уже пришлось дополнить очень немного.

Ѣхали мы послѣ этого скучно: въ повозкѣ для насъ двухъ открылся просторъ, пользуясь которымъ Пенькновскій все спалъ въ-растяжку, а я вздыхалъ и размышлялъ о томъ, какъ поразитъ вѣсть о смерти Кнышенко его родителей, которые, вѣроятно, насъ встрѣтятъ въ Нѣжинѣ. Я часто плакалъ и молился, чтобы Богъ далъ мнѣ благодать слова, способнаго хотя немного облегчить скорбь бѣдныхъ родителей моего товарища. Я все подыскивалъ удобныхъ изреченій для выраженія той моей мысли, что ихъ сыну, можетъ-быть, совсѣмъ не худо, потому что мы не знаемъ, что̀ такое смерть: можетъ-быть она вовсе не несчастіе, а счастіе.

Впослѣдствіи, встрѣтивъ эту самую мысль у Сократа въ его отвѣтной рѣчи судьямъ, приговорившимъ его къ смерти, я былъ пораженъ: откуда могъ взять эту мысль я, будучи мальчикомъ и невѣждою. Но, тѣмъ не менѣе, какъ бы тамъ ни было, а *мы сошлись съ Сократомъ* въ то время, когда я зналъ о «великомъ старцѣ» только то, что, судя по видѣннымъ нѣкогда бюстамъ этого мудреца, онъ былъ очень некрасивъ и очевидно не имѣлъ военной выправки, безъ которой человѣку трудно держать себя съ достоинствомъ въ хорошемъ обществѣ.

Со мной происходилъ ужасно тяжелый нравственный переворотъ, достигшій, наконецъ, до такого экстаза, что я не видѣлъ средствъ оставаться въ живыхъ — никому не открывъ сей мрачной бездны моего паденія. Я хотѣлъ бы написать объ этомъ матушкѣ, но мнѣ показалось, что она, какъ близкое лицо, не перенесетъ всего ужаса, какимъ должна была объять ея чистую душу моя исповѣдь. Я рѣшилъ подождать пока пріѣду и тогда лично открыть матери снѣдающую меня скорбь, не иначе, какъ съ немедленнымъ же обѣтомъ посвятить всю мою остальную жизнь исправленію

моихъ недостоинствъ и загладить ихъ подвигами добра и самопожертвованія.

Подвиги—это была моя всегдашняя мечта; самоотреченіе и самопожертвованіе—это *идея*, въ которую болѣе или менѣе ясно отформировалось это упоительное и нетерпѣливое мечтаніе.

Смѣшно; но тотъ сдѣлаетъ мнѣ большое одолженіе, кто не станетъ смѣяться надъ этими смѣшными порывами, такъ какъ я не знаю ничего лучше ихъ,—и горе тому, кто не вкушалъ сладостнаго желанія страданія за другихъ! Онъ не зналъ лучшаго и чистѣйшаго удовольствія, какое возможно человѣку испытать на землѣ.

Но возвращаюсь къ тогдашнимъ моимъ затрудненіямъ въ потребности исповѣди и въ обрѣтеніи благодатныхъ словъ, которыя могли бы облегчить скорбь родителей, потерявшихъ сына.

Я этимъ былъ такъ занятъ, что, молясь о помощи свыше, началъ ощущать вблизи себя въ повозкѣ чье-то присутствіе,—присутствіе многихъ, очень многихъ существъ, которыя ѣхали со мною и понимали мои думы, въ глубочайшей тайнѣ хранимыя отъ моего возницы и осквернѣннаго товарища.

Мы пріѣхали въ городокъ Борзну, на который теперь болѣе тоже не лежитъ главный путь къ Кіеву. Эта Борзна—до жалости ничтожный и маленькій городокъ, при первомъ взглядѣ на который становится понятенъ крайній предѣлъ того, до чего можетъ быть мелка жизнь и глубока отчаянная скука. Не тоска,—чувство тяжелое, но живое, сочное и подвижное, имѣющее свои фазы и переходы, — а сухая скука, раздражающая человѣка и побуждающая его дѣлать то, чего бы онъ ни за что не хотѣлъ сдѣлать.

Мнѣ казалось, что эта скука точно здѣсь виситъ въ воздухѣ: и не успѣлъ я стать на ноги, какъ она уже охватила меня точно спрутъ или піявка и неодолимо начала присасываться къ моему сердцу. Я вышелъ за ворота постоялаго двора — и, взглянувъ на пустую площадь и на украшавшую ее тюрьму, ощутилъ неодолимую потребность бѣжать и скрыться. Мой извозчикъ, мой товарищъ, самая телѣга, въ которой я путешествовалъ,—были мнѣ противны, они служили мнѣ напоминаніемъ тягостныхъ и отвратительныхъ событій. У меня уже была *испорченная жизнь*—

и мнѣ хотѣлось оплакать и сбросить ее. Я увидалъ гдѣ-то за соломенными крышами стройные конусы зеленыхъ, въ рядъ вытянутыхъ тополей—и бросился къ нимъ, надѣясь найти тутъ отдыхъ отъ сжимавшей мое сердце тоски, и я бѣжалъ не напрасно. Видѣнныя мною деревья стояли въ рядъ, окаймляя заборъ, за которымъ ютился довольно чистенькій домикъ съ надписью, возвѣщавшею, что здѣсь помѣщается городская больница.

Это было претихое мѣсто, какъ разъ идущее подъ стать тому, чего я искалъ. Между тополями и темнымъ забором ъ была довольно глубокая, заросшая травою канавка, въ которую я юркнулъ какъ хорь—и, упавъ на ея дно, легъ лицомъ ницъ къ землѣ и заплакалъ.

Я оплакивалъ свою *погибшую жизнь*, свое глубокое, нравственное паденіе, страшно разстроившее мое воображеніе и нервы и доведшее меня до отчаянія, что я, сопричастясь безднѣ грязныхъ пороковъ, уже недостоинъ и не могу взглянуть въ свѣтлые глаза моей матери,—что я лишилъ себя права обнять ее и принять ея поцѣлуй на мое скверное лицо, которое дѣйствительно осунулось и жестоко измѣнилось. Это произошло отъ большого нравственнаго страданія и мукъ, которыя я испытывалъ, казня себя за всю развращенность, столь быстро усвоенную мною съ тѣхъ поръ, какъ я очутился на волѣ. Оплакивая въ канавѣ свое паденіе, я проникался духомъ смиренія: я порицалъ свободу (и это такъ рано!) и жаждалъ какой-то сладкой неволи и тосковалъ о какомъ-то рабствѣ, — рабствѣ сладкомъ, добромъ, смирномъ, покорномъ и покойномъ,—словомъ: о рабствѣ пріязни и попечительной дружбы, которая бы потребовала отъ меня отчета и нанесла бы мнѣ заслуженные мною укоры, нанесла бы тономъ глубокимъ и сильнымъ, но такимъ, который бы неизбѣжно смягчался и открывалъ мнѣ будущее въ спокойномъ свѣтѣ. Но гдѣ же такой другъ, передъ которымъ бы я могъ подвергнуть себя такому сладостному самобичеванію?—Гдѣ? Великій Боже! Меня словно осыпало горячимъ пескомъ: какъ же я смѣю роптать, что у меня нѣтъ друга! Какъ могъ я въ эти минуты позабыть о *ней*, о той доброй сестрѣ моего тверского товарища, которая умѣла такъ ловко поправить мою ошибку на вечерѣ у ихъ отца и такъ великодушно меня обласкала и прислала мнѣ на дорогу книгу и пироговъ? Развѣ это еще не дружба, и

притомъ болѣе чѣмъ обыкновенная дружба — дружба съ женщиной!

О, какое это было сладостное воспоминаніе! Я почувствовалъ въ сердцѣ болѣзненно сладкій уколъ, который, подыскивая сравненіе, могу приравнять къ прикосновенію гальваническаго тока; свѣжая, я лучше бы хотѣлъ сказать: *глупая* молодая кровь ртутью пробѣжала по моимъ жиламъ, я почувствовалъ, что я люблю и по всей вѣроятности самъ взаимно любимъ... Иначе это не могло быть! Я вскочилъ на ноги, схватился руками за грудь и запатался. Мнѣ показалось, что въ этой сорной канавѣ я какъ будто снова нашелъ мою потерянную чистоту,—и вотъ я, упершись руками въ края канавы, выскочилъ и бросился бѣжать со всѣхъ ногъ въ городъ. Здѣсь я купилъ въ лавкѣ бумаги и конвертъ и сѣлъ за столомъ въ кухнѣ писать письмо къ моей пафосской богинѣ, въ которой женщина для меня ни мало не затмевала божественный, мною созданный образъ; я любилъ ее, но не иначе, какъ смертный можетъ любить богиню,—и не предполагалъ, чтобы несомнѣнная ея любовь ко мнѣ имѣла другой характеръ, несоотвѣтствующій разницѣ нашихъ отношеній.

Я хотѣлъ бы слушать ее, но слушать какъ внушеніе; я хотѣлъ бы даже прикоснуться къ ней, но не иначе, какъ прикоснуться устами къ краю ея одежды.

То, что я танцовалъ съ нею, представлялось мнѣ ужаснымъ оскорбленіемъ ея величія—и я съ этого началъ мое весьма почтительное, но безмѣрно глупое письмо.

Совершая этотъ безумный поступокъ, я находилъ его прекраснымъ и не видалъ никакой неловкости въ томъ, что пишу въ неизвѣстный мнѣ домъ, къ совершенно почти незнакомой мнѣ дѣвушкѣ.

Но тѣмъ хуже было для меня—по всѣмъ ужаснымъ послѣдствіямъ въ бреду совершеннаго поступка.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Письмо выходило чрезвычайно пространное и, какъ мнѣ тогда казалось, необыкновенно трогательное и задушевное. Въ послѣднемъ, я думаю, я нимало не ошибался, потому что искреннѣе меня тогда не могла быть и сама отвлеченная искренность. Начавъ, какъ я сказалъ выше, съ того, что возвелъ Nathalie Волосатину въ санъ богини, я про-

силъ у нея прощенія въ томъ, что огорчилъ ее моею невоспитанностію, — и далѣе пространно описывалъ ей мое душевное состояніе и объяснялъ причины, отъ которыхъ оно произошло, т. е. я выисповѣдался, что пилъ вино и вообще *палъ;* но, однако, по счастію, я еще какъ-то удержался—и скорбя о своемъ паденіи, ничего не открылъ насчетъ королевецкихъ ярмарочныхъ дамъ подъ шатрами, а объяснялъ ужасъ и низость своего паденія экивоками. Я просилъ сестру Волосатина обдумать мое ужасное положеніе и примѣнить ея нѣжность—если не ко мнѣ, то, по крайней мѣрѣ, къ ея брату, моему товарищу, который по его лѣтамъ и неопытности могъ подвергнуться тѣмъ же искушеніямъ, какими былъ искушенъ и я, и потомъ подпасть подъ тѣ же муки раскаянія, какими я страдаю. Все, чего я хотѣлъ отъ нея для себя, я выпрашивалъ у нея для ея брата и потому считалъ его въ это время моимъ лучшимъ другомъ и такъ къ нему и относился въ письмѣ, которое передъ выѣздомъ своимъ изъ Борзны сдалъ на почту.

Но зачѣмъ я все это сдѣлалъ? Этотъ поздній вопросъ возникъ во мнѣ почти немедленно же послѣ того, какъ соломенныя борзенскія кровли утонули въ туманной чертѣ горизонта и я остался самъ со своими думами. Мало-помалу мною начали овладѣвать сомнѣнія: позволительно ли было съ моей стороны такое письменное обращеніе къ дѣвушкѣ, которую я видѣлъ всего одинъ вечеръ? Послѣ нѣкоторыхъ соображеній мнѣ начало казаться, что это не совсѣмъ позволительно,—и чѣмъ я болѣе размышлялъ, тѣмъ эта непозволительность становилась все яснѣе и возмутительнѣе. Къ тому же я теперь не могъ отвѣчать за каждое выраженіе моего письма, потому что хотя у меня и было черновое, но я, переписывая на-бѣло, кое-что измѣнилъ и— какъ мнѣ теперь казалось — во многихъ мѣстахъ весьма прозрачно обнаруживалъ свою возвышеннѣйшую любовь къ моей корреспонденткѣ. А что, если это письмо попадется кому-нибудь изъ ея семейныхъ, или она сама покажетъ его своему брату? О, какой стыдъ и ужасъ! Какъ они будутъ надо мной смѣяться? Или вдругъ *ея* отецъ напишетъ объ этомъ моей матери и, пожалуй, приложитъ въ подлинникѣ мое письмо?.. Великій Господи! мнѣ показалось, что я этого не вынесу—и для спасенія своей чести мнѣ тогда по меньшей мѣрѣ должно будетъ застрѣлиться.

Я умолялъ Кирилла вернуться назадъ въ Борзну, съ тою цѣлію, чтобы выпросить у почтмейстера назадъ мое письмо; но Кириллъ, сдѣлавшійся послѣ постигшей его подъ Королевцемъ непріятности чрезвычайно мрачнымъ, не хотѣлъ меня слушать. Вообще теперь при выѣздѣ изъ городовъ онъ обнаруживалъ большую торопливость и безпокойство и ни за что не хотѣлъ остановиться; да къ тому же я и самъ скоро понялъ, что возвращеніе было бы теперь безполезно, потому что я подалъ письмо передъ самымъ отправленіемъ почты, которая теперь мчитъ мое письмо на сѣверъ,—межъ тѣмъ, какъ я, злополучный, самъ неуклонно тянусь на югъ, гдѣ, однако, меня найдетъ и постигнетъ какое-то роковое и неотразимое послѣдствіе посланной корреспонденціи.

Никакая помощь, никакая поправка были невозможны,—и я, упавъ на дно телѣги, сгоралъ со стыда и не видѣлъ никакого спасенія отъ неминуемаго позора, въ неотразимости котораго меня совершенно увѣрило мое безпокойное воображеніе.

Но, впрочемъ, какъ застрѣлиться мнѣ очень не хотѣлось, то я скоро занялся подыскиваніемъ другого подходящаго средства, обратясь къ которому, я только умеръ бы для людей, а для самого себя былъ бы живъ.

Передо мной мелькнулъ монастырь—и я счелъ эту мысль за благодѣтельное наитіе свыше.

«Что же,—думалъ я,—мнѣ дѣйствительно остается одно: скрыться навсегда въ стѣнахъ какого-нибудь монастыря и посвятить всю будущую мою жизнь искупленію безразсудствъ моей глупой молодости.»

Въ святой простотѣ ума и сердца, я, находясь въ преддверіи лабиринта, думалъ, что я уже прошелъ его и что мнѣ пора въ тотъ затонъ, куда я, какъ сказочный ершъ, попалъ, исходивъ всѣ океаны и рѣки и обивъ всѣ свои мышцы и перья въ борьбѣ съ волнами моря житейскаго. Я думалъ, что я дошелъ до края моихъ безразсудствъ, когда только еще начиналъ къ нимъ получать смутное влеченіе. Но какъ бы тамъ ни было, а желаніе мое удалиться отъ міра было непреложно—и я рѣшилъ немедленно же приводить его въ дѣйствіе.

«Постригусь,—думалъ я,—и тогда извѣщу матушку, что я уже не отъ міра сего, а причина этого навсегда останется моею глубокою тайною.»

Въ Нѣжинѣ я убѣжалъ въ какой-то городской монастырь и потребовалъ, чтобы меня проводили къ настоятелю; но настоятель былъ въ отлучкѣ и въ его отсутствіи монастыремъ правилъ монахъ, котораго я назову отцомъ Діодоромъ.

Мнѣ было нѣкогда ждать — и я потребовалъ, чтобы обо мнѣ доложили отцу Діодору; а самъ остался въ монастырскомъ дворикѣ. Я хотѣлъ избѣжать встрѣчи съ родными покойнаго Кишенки, для которыхъ не выдумалъ никакого утѣшительнаго слова, потому что мою сократовскую мысль о томъ, что смерть, можетъ-быть, есть благо, всякій разъ перебивали слова переведенной на русскій языкъ греческой пѣсенки, которую мнѣ пѣвала матушка. Въ этой пѣснѣ поется, какъ одинъ маленькій мальчикъ освѣдомляется у матери: зачѣмъ она груститъ объ умершей его сестрицѣ, маленькой Зоѣ, которая, по собственнымъ же словамъ матери, теперь «уже въ лучшемъ мірѣ, гдѣ Божьи ангелы живутъ и ходятъ розовыя зори». И что же? бѣдная мать, зная такія хорошія слова утѣшенія для другихъ, сама не утѣшается ни свѣтомъ зорь, ни міромъ ангеловъ, и груститъ, что

У бѣдной нѣтъ тамъ мамы,
Кто смотрѣлъ бы изъ окна,
Какъ съ цвѣткомъ и мотыльками
Забавляется она.

Я чувствовалъ, что на такую грусть рѣшительно ничего не отвѣтишь, и бѣжалъ отъ разрывающей душу тоски. Потомъ, во-вторыхъ, я былъ увѣренъ въ живой для себя потребности бесѣды съ духовнымъ лицомъ насчетъ своего намѣренія поступить въ монастырь.

Но представьте же себѣ, что случилось здѣсь съ этимъ моимъ намѣреніемъ! Холодный осенній вѣтеръ, юлою вертѣвшійся на небольшомъ монастырскомъ дворѣ, привелъ меня въ отвратительнѣйшее безпокойное состояніе. Невольно наблюдая мятущееся безпокойство внѣ келій, я проникалъ моимъ воображеніемъ внутрь ихъ и убѣждался, что здѣсь вездѣ непокой и смятенье, — что за всякою этой стѣною, передъ каждой трепещущею лампадой трепещетъ, мятется и ноетъ человѣческій духъ, подражая смятенію, вою и досаждающему шуму этого вѣтра.

Отцу Діодору было лучше бы не принимать меня, но

обстоятельства такъ благопріятствовали моему ходатайству, что я былъ допущенъ въ очень большую и довольно хорошо убранную келью, гдѣ во второй — слѣдовавшей за залой — комнатѣ увидалъ на диванѣ свѣжаго, здороваго и очень полнаго грека, въ черной полубархатной рясѣ съ желтымъ фуляровымъ подбоемъ и съ глазами яркими, какъ вспрыснутыя прованскимъ масломъ маслины. Передъ почтеннымъ инокомъ стояла старинная бронзовая чернильница и такой же бронзовый колокольчикъ, а сбоку его въ креслѣ сидѣла розовая дама, передъ которою на столѣ были разставлены четыре тарелки, изъ коихъ на одной были фиги, на другой фундуки, на третьей розовый рахатъ-лукумъ, а на четвертой какое-то миндальное печенье и рюмка съ санторинскимъ виномъ, распространявшимъ по комнатѣ свой непріятный аптечный запахъ.

Эта обстановка немножко не совсѣмъ шла подъ стать моему аскетическому настроенію, для собесѣдованія о которомъ я сюда явился.

Отецъ Діодоръ (это былъ онъ), встрѣтя меня, показалъ на кресло vis-à-vis съ угощавшейся у него дамой и спросилъ меня съ сильнымъ греческимъ акцентомъ, что мнѣ отъ него нужно.

Я весьма не смѣло объяснилъ съ замѣшательствомъ зачѣмъ пришелъ. Инокъ слушалъ меня, какъ мнѣ показалось съ первыхъ же моихъ словъ, безъ всякаго вниманія, и во все время — пока я разъяснялъ мрачное настроеніе души моей, требующей уединенія и покоя, — молча подвигалъ то одну, то другую тарелку къ своей гостьѣ, которая была гораздо внимательнѣе къ моему горю: она не сводила съ меня глазъ, преглупо улыбаясь и чавкая крахмалистый рахатъ-лукумъ, который липъ къ ея розовымъ деснамъ.

Когда рѣчь моя была кончена, великолѣпный отецъ Діодоръ позвонилъ въ колокольчикъ и велѣлъ вошедшему служкѣ подать «цаскумъ на кофе».

— Съ молёкомъ, или безъ молёкомъ?—вопросилъ молодой вертлявый греческій служка.

— Безъ никому,—отвѣчалъ инокъ Діодоръ и опять началъ угощать свою гостью, не обращая никакого вниманія ни на самого меня, ни на мои остающіеся безъ разрѣшенія вопросы, о которыхъ я и самъ въ эти минуты пересталъ думать и разсуждалъ: зачѣмъ эти два грека говорятъ

между собою по-русски, когда имъ очевидно гораздо удобнѣе было бы объясняться по-гречески?

Межъ тѣмъ служка подалъ чашку кофе и графинчикъ рому, выражавшій собою какъ видно то «безъ никому», о которомъ сказалъ ему монахъ.

Я кофе выпилъ, но отъ рому отказался, несмотря на то, что меня имъ сильно потчивали и самъ отецъ Діодоръ, и его гостья, говорившая очень мягкимъ добрымъ голоскомъ на чистомъ малороссійскомъ нарѣчіи, которое мнѣ очень нравилось всегда и нравится понынѣ. Но мнѣ нужно было не угощеніе, а отвѣтъ на мои скорбящіе запросы, — а его-то и не было. Монахъ и дама молчали, я ждалъ отвѣта— и ждалъ его втуне. Тогда я рѣшился повторить свой вопросъ и предложилъ его въ прямой формѣ, требующей прямого же отвѣта.

— Это вы надо презде спросить съ папинькомъ, съ маминькомъ.

Я сказалъ, что мой отецъ уже умеръ.

— Спросить съ маминькомъ,—отвѣчалъ отецъ Діодоръ и сейчасъ же вышелъ въ другую комнату, откуда, впрочемъ, черезъ минуту снова появился и пригласилъ туда и меня, и свою даму.

Здѣсь намъ открылся довольно хорошо сервированный столъ, уставленный разными вкусными блюдами, между которыми я обратилъ особенное вниманіе на жареную курицу, начиненную густой манной кашей, яйцами и изюмомъ. Она мнѣ очень понравилась—и я непритворно оказалъ ей усердную честь, запивая по настоянію хозяина каждый кусокъ то сладкимъ люнелемъ, то санторинскимъ, которое мало-помалу все теряло свой вначалѣ столь непріятный для меня запахъ, а подъ конецъ даже начало мнѣ очень нравиться.

Я приходилъ въ прекрасное настроеніе духа, совсѣмъ не похожее на то, въ какомъ я явился въ греческую обитель,— и замѣчалъ, что то же самое происходило и съ моимъ хозяиномъ, который сначала молчалъ и какъ будто тяготился мною, а теперь сдѣлался очень привѣтливъ и даже очень говорливъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Достопочтенный отецъ Діодоръ вообще очень плохо выражался по-русски, но говорилъ охотно. Подыскивая слова,

онъ въ интервалахъ причмокивалъ и присасывалъ, сластилъ глазами, помогалъ себѣ мимическими движеніями лица и изображалъ руками все то, что, по его мнѣнію, было недостаточно ясно выражено его словомъ.

— Пцю, пцю, пцю,—зачмокалъ онъ вдругъ, самъ начиная говорить о моемъ желаніи поступить въ монастырь,—желаніи, которое онъ ни одобрялъ, ни порицалъ, но проводилъ ту мысль, что мнѣ въ монастырь собираться рано: что прежде надо «всего испитать». «Всего, пцю, пцю, пцю, всего, всего», смаковалъ онъ, показывая руками во всѣ стороны.

Присутствовавшая при этомъ гостья, однако, улыбаясь, замѣтила, что если все испытать, то тогда, пожалуй, въ монастырь «и не захочется»; но отецъ Діодоръ утверждалъ, что человѣку есть опредѣленіе, котораго онъ никакъ не избѣгнетъ, и при этомъ ставилъ себя въ примѣръ. Онъ разсказалъ слѣдующее.

— Насъ было четыре братьи,—началъ онъ:—и ми всѣ, всѣ какъ есть, носли на царскій слузба и били воины. Старсій братъ Костаки посолъ митосъ пѣхотосъ пццю... вотъ такъ! (монахъ, сжавъ кулакъ, выпустилъ средній и указательный пальцы, промаршировалъ ими по столу и опять произнесъ: «вотъ такъ». Этимъ онъ наглядно изобразилъ, что такое пѣхота, и потомъ продолжалъ): Другой братъ Дмитраки посолъ въ кавалерія (при чемъ отецъ Діодоръ посадилъ два пальца своей правой руки на указательный лѣвой—и, сдѣлавъ на нихъ маленькій объѣздъ вокругъ тарелки, пояснилъ: «вотъ такъ, кавалерія». Затѣмъ снова разсказъ): третій Мануэлёсъ посолъ митосъ артилеріосъ (при этомъ правый кулакъ отца Діодора быстро вскочилъ на лѣвый и поѣхалъ на немъ по столу, какъ на лафетѣ, а третій палецъ онъ выставилъ впередъ и очень наглядно изобразилъ имъ сидящую на лафетѣ пушку). Пуски, пуски!—заговорилъ, указывая на этотъ палецъ, отецъ Діодоръ: —вотъ такъ: пуски!—И вслѣдъ за симъ онъ, весь сугубо оживившись, воскликнулъ: —а я, самый маленькій, самый мизинцикъ, посолъ митосъ флётосъ,—вотъ такъ.

Тутъ разсказчикъ эффектно положилъ кисть одной руки на другую, такъ что большіе пальцы приходились съ двухъ противоположныхъ сторонъ—и, подвигая ладонями по воздуху, гребъ большими пальцами точно веслами и приговаривалъ:

— Флётъ, вотъ такъ: флётъ! И,—продолжалъ Діодоръ:— когда я просолъ насквозь весь цѣлый свѣтъ, то у меня были всѣ разные ордены и кресты, даже съ этой сторона (онъ указалъ рукою отъ одного своего плеча на другое), и одна самая большая крестъ не умѣстился и тутъ повисъ,— заключилъ онъ, показавъ, что орденскій крестъ, для котораго уже не было мѣста у него на груди, кое-какъ долженъ былъ помѣститься на шеѣ.

Но не смотря на всю эту массу, почтенный отецъ Діодоръ, однако, попалъ въ монахи и указывалъ мнѣ на это, какъ на знакъ воли Промысла, а потомъ пошелъ еще храбрѣе и храбрѣе: онъ разсказывалъ намъ о храбрости давнихъ и недавнихъ греческихъ грековъ въ родѣ Колокотрони, Ботцариса и Бобелины, а отъ нихъ непосредственно переносился къ нашему балаклавскому баталіону, героизмъ котораго выходитъ еще грандіознѣе.

— О, наса балаклавской баталіонъ, великая баталіонъ, она никому не спигался,—восторженно говорилъ Діодоръ и при этомъ разсказалъ, что будто бы этотъ славный баталіонъ греческихъ героевъ когда-то однажды на смотру одному лицу показалъ, что такое значитъ греки. Это было такъ, что будто бы лицо, осматривая разныя войска, привѣтствовало всѣхъ словами: «здорово, ребята!» и всѣ русскія войска на это привѣтствіе, конечно, отвѣчали радостнымъ крикомъ: «здравія желаемъ, ваше-ство». Но когда лицо крикнуло то же «здорово, ребята» баталіону, то греки будто только посмотрѣли одинъ на другого, почмокали и, покачавъ головами, перешепнулись: «Что мы за ребята? мы греки, а не ребята», и промолчали. Видя это, начальникъ снова повторилъ: «здорово, ребята», но мудрые греки снова переглянулись и снова нашли, что они не ребята, и потому опять не откликнулись. Тогда будто бы начальникъ этотъ «былъ не глупый въ своя голова» и, догадавшись, сказалъ «ласковымъ» голосомъ:

— Калисперосъ, греки!

А тѣ вдругъ, какъ одинъ полозили:

— Калякалитрумъ, ваше-ство! такъ вотъ что значитъ грецкій человѣкъ! Грецкій человѣкъ самая умный человѣкъ! — похваливалъ мнѣ своихъ соотчичей подгулявшій отецъ Діодоръ—и я не знаю, про какія бы еще греческія чудеса онъ мнѣ не разсказалъ, если бы служка не доложилъ,

что къ монастырю подъѣхала наша повозка и мои спутники зовутъ меня ѣхать.

Въ самомъ дѣлѣ на дворѣ уже вечерѣло, и я простился съ хлѣбосольнымъ Діодоромъ и уѣхалъ, напутствованный его благословеніемъ, просфорою, бутылкою санторинскаго вина и увѣреніемъ, что всякому человѣку положенъ свой предѣлъ, котораго онъ не обѣжитъ.

— Если будетъ предѣлъ, то и зенисся и будетъ у тебя орденъ съ энта сторона до энта сторона, а одна не помѣстится и тутъ на шеѣ повиснетъ, а все черный клобукъ попадесъ,—увѣрялъ онъ меня напослѣдяхъ, и увѣрялъ, какъ я теперь вижу, чрезвычайно прозорливо и обстоятельно; но тогда я его словамъ не повѣрилъ и самого его счелъ не за что иное, какъ за гуляку, попавшаго не на свое мѣсто.

Полагаю, что причина подобнаго легкомыслія съ моей стороны должна была заключаться въ крайней сжатости и небрежности преподаванія священной исторіи въ нашемъ корпусѣ.

Но въ тѣ юные годы и при тогдашней моей невѣжественности и неопытности я ничего этого не понималъ, и пророчества отца Діодора пустилъ по вѣтру вмѣстѣ со всѣми его нескладными разсказами о его братьяхъ, отличавшихся въ пѣхотѣ, при пускахъ и во флотѣ, и о всей греческой храбрости, и о находчивой политичности знаменитаго, но уже болѣе несуществующаго въ Россіи греческаго балаклавскаго баталіона.

Но какъ бы то ни было, внутренній голосъ внутренняго чувства обманулъ меня уже два раза: разъ въ канавѣ, когда я почувствовалъ возрожденіе къ новой жизни и тотчасъ же сдѣлалъ новую глупость, написалъ письмо въ Тверь, — второй разъ теперь въ монастырѣ, гдѣ я мечталъ встрѣтить успокоеніе и нашелъ рахатъ-лукумъ и прочее, что̀ мною описано.

— Гдѣ же, гдѣ же покой?—допрашивалъ я себя, доканчивая свое путешествіе грустный и унылый. Я былъ въ отчаяніи, что только лишь ѣдучи къ мѣсту своего назначенія я уже перепортилъ всю свою жизнь: я находилъ, что эта жизнь жестоко меня обманула; что я не нашелъ въ ней и ужъ, конечно, не найду той правды и того добра, для которыхъ считалъ себя призваннымъ. Я боялся какъ бы послѣ всего этого мнѣ не довелось еще открыть, что и

мать моя, можетъ-быть, не совсѣмъ такое глубокое и возвышенно-благородное созданіе, какимъ я себѣ ее воображалъ. По мѣрѣ своего собственнаго паденія я все болѣе и болѣе раздражался и дѣлался мизантропомъ. Въ этомъ лежалъ задатокъ моего спасенія.

Природа моя требовала реакціи, но возбужденіе ея должно было прійти откуда-то извнѣ.

Въ такомъ именно состояніи былъ я, когда увидѣлъ блестящій крестъ кіевской печерской лавры и вслѣдъ за тѣмъ передо мною открылись кіевскія высоты со всею чудною нагорною панорамою этого живописнаго города. Я съ жадностію обозрѣвалъ это мѣстоположеніе и находилъ, что братья Кій, Щекъ и Хоревъ обладали гораздо болѣе совершеннымъ вкусомъ, чѣмъ основатель Москвы бояринъ Кучка и закладчики многихъ другихъ великорусскихъ городовъ. При самомъ первомъ взглядѣ на Кіевъ дѣлается понятно, почему святые отшельники нашей земли избирали именно это мѣсто для перехода съ него въ высшія обители. Кіево-печерская вершина — это русская ступень на небо. Здѣсь, у подножія этихъ горъ, изрытыхъ древле-русскими христіанскими подвижниками, всякій человѣкъ, какъ у подножья Сіона, становится хоть на минуту вѣрующимъ; необходимость глядѣть вдаль и вверхъ на эти уносящіяся подъ небо красоты будитъ душу — и у нея, какъ у отогрѣвающагося на подъемѣ орла, обновляются крылья.

Сухменная философія моя развѣялась подъ свѣжимъ вѣтромъ, которымъ насъ охватило на днѣпровскомъ паромѣ, и я вступилъ на кіевскій берегъ Днѣпра юношею и сыномъ моей родины и моей доброй матери, которую такъ долго не видалъ, о которой нѣкогда столь сильно тосковалъ и грустилъ и къ ногамъ которой горѣлъ нетерпѣніемъ теперь броситься, и, обнявъ ихъ, хоть умереть подъ ея покровомъ и при ея благословеніи.

Я не замѣчалъ, въ какомъ состояніи находились мой Кириллъ и мой товарищъ въ то время, когда мы проѣзжали низкія арки крѣпостныхъ воротъ, и самъ себя не помню какъ благодаря Кирилиной расторопности и толковитости, мы остановились у одного низенькаго домика, на окнахъ котораго я увидалъ въ тамбуръ вязаныя бѣлыя шторы, какія любила по вечерамъ дѣлать моя матушка, а за ними вдали на противоположной стѣнѣ въ скромной черной рамѣ

давно знакомую мнѣ гравюру, изображавшую Фридриха Великаго съ его штабомъ.

Не было никакого сомнѣнія, что здѣсь, именно здѣсь, живетъ моя прелестная мать.

Я взвизгнулъ, затрясся и, свалившись съ телѣги, бросился къ низенькимъ желтымъ дверямъ, но онѣ были заперты. Еле держась на дрожавшихъ ногахъ, я сталъ отчаянно стучать въ нихъ и... мнѣ сначала показалось въ ближайшемъ окнѣ блѣдное, какъ бы испуганное лицо; затѣмъ послышался шумъ, за дверью пронеслись быстрые легкіе шаги, задвижка щелкнула — и я упалъ на грудь высокой доброй старушки, черты которой только могли *напомнить* мою мать.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Я не помню, какъ исчезли съ моихъ глазъ Кириллъ и мой Пенькновскій,—но они во всякомъ случаѣ сдѣлали это какъ-то такъ хорошо и деликатно, что ни одной минуты не помѣшали мнѣ любоваться священными чертами лица моей неимовѣрно-постарѣвшей матери.

Тому, кто не зналъ ее шесть лѣтъ назадъ, въ ея нынѣшнемъ благородномъ, полномъ возвышеннѣйшаго выраженія лицѣ все-таки было бы трудно угадать ту очаровательную, неземную красавицу, какою она была въ роковой годъ смерти отца. Нѣжно-прозрачное лицо ея теперь было желто—и его робко оживлялъ лихорадочный румянецъ, вызванный тревогою чувствъ, возбужденныхъ моимъ прибытіемъ; злато-кудрые ея волосы, какихъ я не видалъ ни у кого кромѣ путеводнаго ангела Товіи, на картинѣ Ари Шефера,—волосы легкіе, нѣжные и въ то же время какіе-то смиренномудрые, подернулись сѣдиною, которая покрыла ихъ точно прозрачною дымкой; они были по-старому зачесаны въ локоны, но этихъ локоновъ было уже не много,—они уже не волновались вокругъ всей головы, какъ это было встарь, а только напоминали прежнюю прическу спереди, вокругъ висковъ и лба, межъ тѣмъ какъ всю остальную часть головы покрывала черная кружевная косынка, красиво завязанная двумя широкими лопастями у подбородка. Ростъ и фигура, превосходной формы руки и строгій поставъ головы на античной, слегка лишь пожелтѣвшей шеѣ—были все тѣ же; но губы побѣднѣли, и въ голубыхъ,

полныхъ ласки и привѣта, глазахъ блуждалъ какой-то тревожный огонь.

Не сводя глазъ съ матушкинаго лица, я созерцалъ ее въ безмолвномъ благоговѣніи, стоя передъ нею на колѣняхъ и держа въ своихъ рукахъ ея руки. Матушка сидѣла въ креслѣ и также молча смотрѣла то на меня, то на небольшой акварельный портретъ, который стоялъ возлѣ нея на крышкѣ ея открытой рабочей шкатулки.

Это былъ портретъ моего покойнаго отца, на котораго я теперь былъ поразительно похожъ, и хотя въ этомъ обстоятельствѣ не было ничего удивительнаго, но матушка была этимъ видимо сильно занята. Высвободивъ изъ моихъ рукъ свои руки, она въ одну изъ нихъ взяла этотъ портретъ, а другою приподняла волоса съ моего лба — и, еще пристальнѣе взглянувъ мнѣ въ лицо, отодвинулась и прошептала:

— Какое полное повтореніе во всемъ!

Въ этомъ восклицаніи мнѣ послышалось что-то болѣзненное, что-то такое, чему мать моя, какъ будто, въ одно и то же время и радовалась, и ужасалась. Она, должно-быть, и сама это замѣтила и, вѣроятно, сочтя неумѣстнымъ обнаруженіе передо мною подобнаго чувства, тотчасъ же подавила его въ себѣ—и, придавъ своему лицу простое выраженіе, договорила съ улыбкою:

— Если замѣнить этотъ пушокъ на твоей губѣ густыми усами, бросить нѣсколько сѣдыхъ волосъ въ голову и немножко постарить лицо, ты былъ бы настоящій двойникъ твоего отца. Это обѣщаетъ, что ты будешь имѣть недурную наружность.

Желая блеснуть умомъ и серьезностью, я кашлянулъ и хотѣлъ сказать, что наружность не много значитъ; но матушка точно прочла мою мысль и отвѣтила на нее, продолжая рѣчь свою:

— Хорошая форма имѣетъ много привлекательнаго,—сказала она:—въ хорошей формѣ надо стараться имѣть и хорошее содержаніе,—иначе она красивая надпись на дурномъ товарѣ. Ты, впрочемъ, очень счастливъ—рано испытавъ несчастіе: я увѣрена, что оно дало тебѣ хорошій урокъ.

Это меня ужасно тронуло, и я еще жарче припалъ къ матушкинымъ рукамъ и на нихъ изъ глазъ моихъ полились обильныя слезы.

— Ты не плачь,—продолжала матушка нѣжнымъ и ласковымъ, но какъ будто нѣсколько дѣловымъ тономъ: — тебѣ теперь нужны не слезы, а душевная бодрость. Ты лишенъ самаго величайшаго блага — правильнаго образованія, но Богъ милосердъ: можетъ-быть, мы не только ничего не потеряемъ, а даже выиграемъ. А о томъ, что ты потерялъ нѣсколько правъ или служебныхъ привилегій—не стоитъ и думать. Все дѣло въ облагороженіи чувствъ и просвѣщеніи ума и сердца, чего мы съ тобою и станемъ достигать, сынъ мой, и въ чемъ намъ, надѣюсь, никто не помѣшаетъ.

Я вздрогнулъ: это были почти тѣ же самыя слова, какія я слышалъ въ Твери отъ сестры Волосатина, которой я написалъ и послалъ свое глупое письмо. Ненавистное воспоминаніе объ этомъ письмѣ снова бросило меня въ краску, и я, продолжая стоять съ поникшею головою передъ моей матерью, долженъ былъ дѣлать надъ собою усиліе, чтобы понимать ея—сначала безъ всякаго труда до глубины души моей проникавшія—рѣчи.

А матушка все продолжала ласкать меня своею рукою по лицу и по головѣ—и въ то же время излагала мнѣ, что сю уже предпринято для того, чтобы прерванное образованіе мое не остановилось на этомъ перерывѣ, и что она еще намѣрена сдѣлать въ этихъ же цѣляхъ. Передо мною открывался обширный и обстоятельно обдуманный планъ, который показывалъ мнѣ, что я жестоко ошибался, почитая себя уже совсѣмъ вырвавшимся на волю,—и въ то же самое время этотъ планъ знакомилъ меня съ такою стороною ума и характера моей матери, какихъ я не видалъ до сихъ поръ ни въ одномъ человѣкѣ и уже никакъ не подозрѣвалъ въ моей maman, при мечтахъ и размышленіяхъ о которой передо мною до сихъ поръ обыкновенно стояли только нѣжная заботливость и доброта. Ѣдучи къ ней изъ корпуса, я хотя и не былъ намѣренъ отвергать ея материнскаго авторитета, но все-таки въ сокровеннѣйшихъ своихъ мечтахъ я лелѣялъ мысль, что мы съ нею встрѣтимся и станемъ жить на равной ногѣ, даже пожалуй съ нѣкоторымъ перевѣсомъ на мою сторону, такъ какъ я *мужчина*. Теперь на дѣлѣ, на первыхъ же порахъ, выходило совсѣмъ другое: я видѣлъ, что я еще мальчикъ, судьбою котораго намѣрена властно распоряжаться хотя очень добрая и попечительная, но въ то же время неуклонно-твердая воля.

Матушка сообщила мнѣ, что, пріѣхавъ мѣсяцъ тому назадъ въ Кіевъ, она уже устроила, что дядя дастъ мнѣ мѣсто въ своей канцеляріи, но что это мѣсто будетъ, разумѣется, самое незначительное и по моимъ обязанностямъ, и по вознагражденію, которое я буду получать за мою службу.

— Но это и справедливо, и прекрасно, — говорила она, поднявъ меня съ полу и занявшись приготовленіемъ для меня чая изъ чистенькаго томпаковаго походнаго самовара моего отца—самовара, который я очень хорошо помнилъ и который теперь принесла очень опрятно одѣтая пожилая женщина въ темномъ платьѣ и въ бѣломъ чепцѣ. — Это *справедливо*,—продолжала maman:—потому что ты, не будучи подготовленъ ни къ какой полезной дѣятельности, не можешь претендовать на лучшія мѣста, которыя должны принадлежать достойнѣйшимъ; и это *прекрасно*, потому что при незначительныхъ обязанностяхъ по службѣ у тебя будетъ оставаться много времени на полезныя занятія для обогащенія свѣдѣніями твоего ума и развитія твоего сердца.

Въ способахъ достиженія этого развитія и обогащенія матушка явилась такою же основательною, какъ и во всемъ томъ, что я отъ нея уже слышалъ. Усадивъ меня сбоку отъ себя за столъ, къ корзинкѣ съ булками и стакану чаю, она сообщила мнѣ, что, уладивъ мое поступленіе на службу (къ чему я былъ обязанъ при моемъ исключеніи изъ корпуса), она обратилась къ свѣдущимъ людямъ, съ помощью которыхъ такъ же тихо и благонадежно устроила для меня возможность заниматься науками. Она сказала мнѣ, что и самый городъ Кіевъ она выбрала для нашего житья, во-первыхъ, потому, что не хотѣла, чтобы я проводилъ юность между чужеземнымъ населеніемъ въ Лифляндіи, которая хотя и была ея родиной, но для меня не годится. Maman высказала, что, будучи сыномъ русскаго человѣка, я долженъ взрасти и воспитаться въ преданіяхъ и симпатіяхъ русскаго края; а потомъ она указала вторую причину выбора Кіева: эта причина заключалась въ томъ, что здѣсь есть университетъ, который она назвала источникомъ свѣта, проливающимъ свои лучи на все, что становится въ возможной къ нему близости.

Я все это слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ, хотя и не совсѣмъ ясно понималъ, какое просвѣтительное вліяніе можетъ имѣть университетъ чрезъ одно пребываніе съ

— О, maman, даже гораздо скорѣе.

— Въ излишней поспѣшности нѣтъ нужды, да и въ ней мало толку. Нужно дѣлать все въ свое время, тогда у человѣка достанетъ времени все сдѣлать умно и спокойно. Въ половинѣ восьмого мы, стоя вмѣстѣ, прочтемъ главу изъ нѣмецкой библіи. Это моя всегдашняя лютеранская привычка съ дѣтства, которую я удержала и принявъ православіе. Къ тому же это будетъ тебѣ нѣкоторою практикою въ нѣмецкомъ языкѣ, который ты долженъ знать какъ изъ уваженія къ національности твоей матери, такъ и потому, что онъ имѣетъ обширную и едва ли не лучшую литературу...

— Но, maman,—перебилъ я, покраснѣвъ отъ своей смѣлости: — развѣ вы православная? (Я зналъ, что мать моя при жизни отца была лютеранкой — и дѣйствительно очень изумился, когда она упомянула вскользь о своемъ православіи).

— Да,—отвѣчала матушка:—Богъ одинъ и христіанство полно и совершенно въ ученіи всѣхъ церквей, — по крайней мѣрѣ, я имѣю такое мнѣніе объ этомъ предметѣ, — но я нашла, что матери все-таки гораздо удобнѣе исповѣдывать ту вѣру, въ ученіи которой она должна воспитать своихъ дѣтей. Я православная потому, что такимъ долженъ быть ты. Но это мое дѣло, а мы будемъ знакомиться съ нашимъ уставомъ, которому я положила слѣдовать. Окончивъ чтеніе библіи, мы будемъ пить нашъ чай; потомъ девятый часъ пройдетъ въ занятіяхъ греческимъ языкомъ, который очень интересенъ и изученіе котораго тебя, конечно, чрезвычайно займетъ. Отъ девяти до десяти мы будемъ заниматься исторіей,—я хочу провѣрить твои знанія, и за этимъ же легкимъ предметомъ ты немножко отдохнешь отъ перваго урока. Затѣмъ одиннадцатый часъ отдадимъ латинскому языку и потомъ будемъ завтракать, послѣ чего ты будешь ходить на службу. Что ты тамъ будешь дѣлать въ канцеляріи—я этого, конечно, не знаю, но старайся, разумѣется, все, что тебѣ поручатъ, дѣлать усердно и аккуратно. Я думаю, что ты будешь просто переписывать какія-нибудь бумаги. Ничего, не пренебрегай и этимъ; все, что человѣкъ себѣ усвоилъ, ему на что-нибудь пригодится, особенно же тебѣ практика въ письмѣ можетъ быть очень полезна. Сколько я могла замѣтить по твоимъ письмамъ, у

тебя довольно неразборчивый почеркъ, а это очень дурно и невѣжливо: благовоспитанный человѣкъ всегда долженъ писать такъ, чтобы чтеніе его письма не затрудняло читающаго. Или ты, можетъ-быть, только ко мнѣ такъ небрежно писалъ?

— Maman, какъ вы это можете думать?!

— Нѣтъ, я этого и не думаю, а я только провѣряю тебя. Извини меня: вѣдь давно не видались. Но я продолжаю: въ три часа ты будешь возвращаться — и это будетъ часъ нашего обѣда; потомъ ты имѣешь цѣлый часъ въ твое собственное распоряженіе. Въ пять часовъ будетъ приходить Иванъ Иванычъ, и у васъ съ нимъ начнется урокъ по математикѣ и по всѣмъ другимъ наукамъ, въ которыхъ я не могу быть тебѣ полезна. По его словамъ, тебѣ не тяжело будетъ заниматься два часа, а онъ такой знатокъ въ этомъ дѣлѣ, что его во всемъ надо слушаться. Притомъ же онъ такъ талантливо преподаетъ, что мнѣ будетъ большимъ удовольствіемъ присутствовать при вашемъ урокѣ.

— О, maman, вы такъ милостивы!—пролепеталъ я, чувствуя, что у меня горятъ уши и заплетается языкъ отъ страха передъ этой строгой программой ожидающей меня размѣренной и развѣшенной жизни.

Но матушка отклонила отъ себя мою благодарность и сказала, что она намѣрена это дѣлать для себя самой, потому что не знаетъ лучшаго удовольствія, какъ учиться.

Впослѣдствіи я узналъ, что въ этомъ случаѣ она говорила мнѣ правду только отчасти; то-есть, она дѣйствительно любила учиться, но главная ея цѣль присутствовать при всѣхъ моихъ занятіяхъ заключалась въ поощреніи меня къ тѣмъ довольно утомительнымъ трудамъ, на которые она меня обрекала.

А труды эти были еще не всѣ исчислены: у нея еще былъ supplément моего дня, который она оставляла pour la bonne bouche. Supplément этотъ заключался въ томъ, что въ восьмомъ часу къ намъ будетъ ежедневно заходить дочь моего профессора Ивана Ивановича, молодая дѣвушка Хариточка, о которой maman отозвалась съ необыкновенною теплотою, какъ о прелестнѣйшемъ во всѣхъ отношеніяхъ созданіи.

— Она здѣсь по сосѣдству беретъ отъ семи до восьми часовъ урокъ музыки и пѣнія,—объяснила maman:—а по-

томъ заходитъ ко мнѣ — и мы съ нею часъ занимаемся англійскимъ языкомъ, что̀ мнѣ доставляетъ большое удовольствіе, потому что мой маленькій другъ Харита — очаровательнѣйшее дитя и притомъ занятіе съ нею мнѣ доставляетъ практику въ англійскомъ языкѣ, который я, ни съ кѣмъ не говоря на немъ, могла бы рисковать позабыть. Теперь,—добавила матушка,—я надѣюсь, этотъ рискъ неможко уменьшится, потому что ты за компанію съ Харитой, конечно, захочешь быть моимъ вторымъ ученикомъ, и потомъ мы, вѣроятно, скоро найдемъ возможность сдѣлать этотъ языкъ нашимъ домашнимъ разговорнымъ языкомъ вперемежку съ французскимъ, на которомъ будемъ объясняться до обѣда. Если Богъ намъ поможетъ, все это пойдетъ стройно и превесело, а въ то же время это сблизитъ тебя съ достойнѣйшимъ семействомъ Альтанскаго, который вызвался давать тебѣ почти даровые уроки, потому что онъ не хочетъ брать деньги, а будетъ заниматься съ тобою за мои уроки его дочери. Видишь ли, какъ твоя мать съ Божіею помощью успѣла все это устроить ко всеобщей выгодѣ и удовольствію.

— О, превосходно, maman, превосходно!

— Да; и у насъ еще отъ половины девятаго часа до полуночи всякій день будетъ оставаться цѣлая бездна свободнаго времени для удовольствій. Въ это время Харита намъ всегда что-нибудь сыграетъ на фортепіано... Ты узнаешь его или нѣтъ, нашъ старый фортепіано? онъ довольно пожилъ и поѣздилъ по свѣту, но еще служитъ — и мы на немъ себѣ недурно аккомпанируемъ и поемъ сообща маленькіе тріо и романсы. У Ивана Ивановича очень недурной баритонъ, а у тебя, вѣроятно, тоже найдется какой-нибудь голосокъ, потому что... у твоего отца былъ прекрасный голосъ, а ты во всемъ на него похожъ. Но если бы и не такъ, для домашняго пѣнія въ своемъ кружкѣ можно пѣть и съ незначительнымъ голосомъ, — тутъ все дѣло въ нѣкоторомъ умѣньи, а я въ этомъ кое-что смыслю и помогу тебѣ. Въ десять часовъ наши гости обыкновенно уходятъ къ себѣ: Иванъ Ивановичъ приготовляется къ лекціямъ, а Харита распоряжается хозяйствомъ, такъ какъ она, бѣдняжка, имѣла несчастіе годъ тому назадъ осиротѣть послѣ смерти матери. Мы же съ тобой съ этихъ поръ вольные казаки: ты мнѣ часокъ почитаешь какую-нибудь русскую

повѣсть или романъ, а въ одиннадцать мы разойдемся по своимъ комнатамъ, чтобы часъ передъ сномъ имѣть время обдумать проведенный день и написать, если нужно, какія-нибудь письма нашимъ далекимъ друзьямъ, которыхъ не можемъ видѣть. Вѣдь у тебя, надѣюсь, завязаны какія-нибудь связи съ лицами, переписка съ которыми можетъ доставить тебѣ удовольствіе?

Это былъ ужасный вопросъ, при которомъ я, разумѣется, сію же минуту вспомнилъ мое борзенское посланіе къ тверской барышнѣ, и хотѣлъ бы провалиться сквозь землю.

— Mais oui, mais comment donc, mais sans doute, maman... то-есть нѣтъ, maman... я никому не обѣщалъ,—пролепеталъ я, краснѣя и тупя въ столъ глаза, со страхомъ, что моя мать прочтетъ въ нихъ безпощадный мой позоръ и безчестіе.

Но—увы!—весь этотъ маневръ былъ совершенно напрасенъ: чѣмъ я тщательнѣе старался быть скрытнымъ, тѣмъ легче и яснѣе читала мать сокровенную тайну души моей.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Матушка, разумѣется, не могла точно отгадать характера моихъ корреспондентныхъ чудотвореній любовнаго характера, но ясно видѣла, что простой вопросъ ея смутилъ меня,—и я чувствовалъ, какъ ея умный, проницательный взглядъ упалъ на мое лицо и пронзилъ меня до самаго сердца, занывшаго и затрепетавшаго отъ страха: что если моя пошлая выходка какъ-нибудь откроется... Что если матушка узнаетъ, что я влюбленъ... или былъ влюбленъ, потому что теперь уже во мнѣ не оставалось и слѣда моей любви къ тридцатилѣтней тверской барышнѣ, а все существо мое было поглощено и проникнуто страхомъ и благоговѣніемъ къ другой женщинѣ, которая шестнадцать лѣтъ тому назадъ дала мнѣ бытіе и теперь давала мнѣ *жизнь*.

Однако безмѣрное материнское милосердіе смилостивилось надо мною,—и матушка, не предлагая мнѣ никакого новаго вопроса о корреспонденціяхъ, замѣтила только, что переписка—очень важная вещь и притомъ вещь очень полезная, ибо ею поддерживаются отношенія съ людьми и, кромѣ того, она лучше всего способствуетъ къ пріобрѣтенію навыка къ хорошему изложенію своихъ мыслей.

Съ этимъ maman встала изъ-за стола, за которымъ поила меня чаемъ; а я, чтобы оторвать разговоръ отъ тягостной для меня темы о перепискѣ, поспѣшилъ ринуться въ сторону и освѣдомиться: чего же будутъ стоить мои уроки латинскаго и греческаго языка?

— А ничего, кромѣ одного нашего добраго желанія,— отвѣчала мать, покрывая полотенцемъ чайную шкатулку, въ которую замкнула ложечки.

— Какъ ничего, maman? кто же будетъ меня даромъ учить по-латыни и по-гречески?

— Пока ты не выучишься этимъ языкамъ больше меня, я сама буду съ тобою ими заниматься.

— Вы, chère maman!

— Mais oui, moi-même, mon fils. Что же это тебя такъ удивляетъ?

— Maman... простите меня... но развѣ дамы знаютъ полатыни и по-гречески?

— Да, которыя учились—тѣ, я думаю, знаютъ.

— А вы развѣ учились, maman?

— Навѣрно.

— Я этого не думалъ... я не помню, чтобы вы знали полатыни и по-гречески.

— Ты и не можешь этого помнить, потому что я училась имъ въ самые послѣдніе годы въ Лифляндіи. У меня тамъ почти не было никакого дѣла,—и я, чтобы не скучать, нашла удовольствіе заниматься двумя этими языками, которые теперь, кромѣ удовольствія знать ихъ, доставляютъ мнѣ и пользу: я могу имъ выучить тебя, а это не шутка— такъ какъ безъ нихъ передъ тобою никогда бы не открылся во всей полнотѣ прелестный классическій міръ съ его нерушимыми образами и величавымъ характеромъ его жизни.

— Но, maman, вѣдь это такая ученость!

— Совсѣмъ нѣтъ: знаніе языковъ отнюдь еще не ученость, а только средство къ достиженію учености, которую, если мнѣ поможетъ Богъ и твое усердіе, я хочу дать тебѣ въ неизмѣнное утѣшеніе твоей жизни.

И съ этими словами матушка удалилась въ свою комнату, чтобы надѣть шляпу, а я подошелъ къ окну и сталъ, отуманенный и оглушенный всѣмъ тѣмъ, что видѣлъ, слышалъ, понималъ и предчувствовалъ.

Гдѣ этотъ корпусъ, его казарма, Кириллъ, моя тверская любовь, «Пьяная балочка», утопленникъ Кнышенко и палачъ Пенькновскій, и отецъ Діодоръ съ его дамою и рахатъ-лукумомъ?—Все это точно было уже Богъ знаетъ какъ давно, да даже всего этого какъ будто бы и совсѣмъ не было. Трезвая рѣчь моей доброй матери, каждое слово которой дышало такою возвышенною и разумною обо мнѣ попечительностію и заботою, была силоамскою купелью, въ которой я окунулся и сталъ здоровъ, и бодръ, и чистъ, какъ будто только слетѣлъ въ этотъ міръ изъ горнихъ міровъ, гдѣ не водятъ медвѣдей и не говорятъ о хлѣбѣ, ни о винѣ, ни о палачахъ, ни о домахъ, для счастія которыхъ нуженъ рахатъ-лукумъ, или «рогатый кумъ», какъ мы его называли въ своемъ корпусѣ. На меня отовсюду вѣяло здоровымъ стремленіемъ къ неутомимой, энергической дѣятельности и любовью къ созерцательной мудрости,—и чистый источникъ всего этого было столь близкое мнѣ существо, какъ моя мать. Боже мой, какъ я ею гордился! О, какъ я ее буду любить и лелѣять! Она была несчастлива: я это помню; но зато теперь... Душа моя вскипѣла высочайшимъ восторгомъ, въ горлѣ какъ клубокъ шевельнулись спазмы,—и я, не удержавшись, громко зарыдалъ и, услыхавъ за собою шаги моей матери, бросился передъ нею на полъ—и, обнявъ ея колѣни, облилъ ноги ея моими чистыми покаянными слезами, какихъ не могъ добыть ни въ борзенской канавѣ, ни въ нѣжинскомъ монастырѣ.

Матушка подняла меня съ полу, заставила выпить стаканъ воды, потомъ нѣжно прижала меня къ груди и, поцѣловавъ въ лобъ, сказала:

— У тебя есть сердце: это меня радуетъ; но этого еще мало, чтобы не дѣлать зла.

— Что же нужно, maman? Дайте мнѣ все то, что нужно, чтобы не сдѣлать никому никакого зла.

— Проси объ этомъ Его!—отвѣчала мать и, указавъ на небо, велѣла подать себѣ руку.

Мы вышли *подъ руку*, какъ пара совершенно равныхъ другъ другу людей. Мой ростъ уже совершенно позволилъ мнѣ вести ее подъ руку: я былъ кавалеръ, она моя дама,—и вспоминая теперь всю прошедшую жизнь мою, я увѣренъ, что рука моя, на которую впослѣдствіи опиралось не мало дамъ, никогда уже не вела женщины столь возвышенной и

прекрасной—несмотря на тогдашнія тридцать шесть лѣтъ, которыя имѣла моя превосходная мать.

Начавъ мое цѣленіе на колѣняхъ передъ нею, съ глазами опущенными внизъ, я теперь шелъ съ нею успокоенный и твердый, устремляя очищенный слезами взглядъ на небо съ непоколебимою вѣрою, что для меня будутъ отверсты сферы наивысшаго и наичистѣйшаго счастія, потому что со мною, какъ съ Товіемъ, идетъ мой Рафаилъ, который научитъ меня достать желчь, нужную для просвѣтленія мысленныхъ глазъ моихъ.

Но было уже одно проклятое, ненавистное обстоятельство, которое и въ эти минуты смущало, томило и даже просто угнетало меня: это обстоятельство опять-таки заключалось въ томъ же роковомъ борзенскомъ письмѣ, котораго неотвязное предчувствіе заставляло меня страшно бояться и, какъ ниже увидимъ, совершенно справедливо.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Когда мы съ матушкой вышли для первой прогулки моей по Кіеву, день былъ пасмурный, но очень тихій и пріятный. На зданіяхъ и на всѣхъ предметахъ лежалъ мягкій и теплый сѣрожелтоватый колоритъ. Все имѣло свой цвѣтъ, но, какъ говорятъ живописцы, все по колерамъ было точно слегка *протерто* умброю.

Мы зашли въ Софійскій соборъ, гдѣ я впервые увидѣлъ мощи и приложился къ нимъ вмѣстѣ съ матерью. Тутъ же мы осмотрѣли гробъ Ярослава и древніе фрески, которые только тогда очищали отъ слоя штукатурки и реставрировали. Изъ Софійскаго собора мы прошли на террасу Андреевской церкви. Я пришелъ въ безумный восторгъ отъ легкаго фасада этого граціознаго храма, и особенно отъ вида, который отсюда открывается на Подолъ и пологую часть заднѣпровья. Отсюда мы зашли въ Трехсвятительскую церковь, по преданіямъ строенную еще до принятія Владиміромъ христіанской вѣры, и потомъ перешли въ Михайловскій монастырь.

Здѣсь матушка направилась въ очень темный уединенный уголокъ подъ арками и, вставъ на колѣни, сказала мнѣ:

— Помолись о твоемъ отцѣ.

Мы помолились тихо, но, мнѣ кажется, очень усердно, хотя намъ никто не пѣлъ ни панихиды, ни молебновъ.

Я замѣтилъ это, но не подалъ матери никакого знака— и хорошо сдѣлалъ: впослѣдствіи я скоро убѣдился, что, принявъ православіе, она удержала въ себѣ очень много лютеранскаго духа. Но о вѣрованіяхъ матушки еще придется говорить гораздо пространнѣе, а потому на этомъ остановимся.

Окончивъ свое паломничество, мы отправились къ католической горѣ, откуда открылся новый прѣвосходный видъ на другую часть города и Днѣпра.

Матушка безпрестанно разсказывала мнѣ значеніе каждой мѣстности и каждаго предмета, при чемъ я могъ убѣдиться въ большомъ и весьма пріятномъ, живомъ знаніи ею исторіи, что̀ меня, впрочемъ, уже не удивляло, потому что я, проведя съ нею два часа, получилъ непоколебимое убѣжденіе, что она говоритъ только о томъ, что̀ основательно знаетъ.

Поворачивая съ площадки къ небольшому спуску, который велъ къ стоявшему тогда на Крещатикѣ театру, мы на полугорѣ повстрѣчали молодую дѣвушку въ сѣромъ платьѣ, завернутую въ большой мягкій пушистый платокъ. На темнорусой головкѣ ея была скромная шляпочка, а въ рукѣ длинный черный шелковый зонтикъ, на который она опиралась и шла тихо и какъ будто съ усталостью.

Не знаю, почему она обратила на себя мое большое вниманіе, но это вниманіе еще болѣе увеличивалось, когда я замѣтилъ, что она намъ улыбается и что на ея улыбку такою же улыбкою отвѣчаетъ моя мать.

Наконецъ мы встрѣтились—и дѣвушка, не кланяясь матери и не говоря ей никакого привѣтствія, прямо спросила:

— Дождались?

— Какъ видишь, мой другъ,—отвѣчала, кивнувъ на меня головою, матушка, и онѣ обѣ подали другъ другу руки, при чемъ дѣвушка поднесла руку матери къ своимъ губамъ и поцѣловала ее, а потомъ протянула свою ручку мнѣ и съ прелестной, ласковой улыбкой молвила:

— Мы съ вами непремѣнно должны подружиться: я люблю вашу maman, какъ родная дочь, и хочу, чтобы вы любили меня, какъ сестру.

Я очень неловко поклонился и еще неловче пожалъ поданную мнѣ ручку въ темной перчаткѣ.

— Это мой молодой другъ, дочь профессора Ивана Ива-

новича Альтанскаго, о которой я тебѣ говорила, — сказала мать.

— А вы уже успѣли обо мнѣ говорить?—подхватила, улыбаясь, дѣвушка, и тотчасъ же, оборотясь ко мнѣ, добавила:—Катерина Васильевна такъ меня избаловала, что я боюсь забыться и начать думать, что я въ самомъ дѣлѣ достойна ея вниманія; но вы, какъ мой непремѣнный другъ и нареченный братъ, пожалуйста, спасайте меня отъ самообольщенія и щуняйте за мои пороки, которыхъ во мнѣ ужасная бездна.

— Напримѣръ?— спросила, нѣжно и съ наслажденіемъ на нее глядя, мать.

Дѣвушка разсмѣялась и, сдвинувъ почти прямолинейно-лежавшія густыя темныя брови, проговорила:

— За примѣромъ ли дѣло? вотъ первый примѣръ: моя невоздержность: я хожу по воздуху, когда мнѣ позволено выходить только въ солнечные дни. Это гадко

— А зачѣмъ ты это дѣлаешь, Харита?

— Ужасно скучно,—отвѣчала она, и по молодому лицу ея точно пробѣжало облако, но сейчасъ же развѣялось, и дѣвушка, улыбаясь, отнеслась ко мнѣ со словами:—видите, какая я пустая: жалуюсь на скуку и сама смѣюсь. Вы, однако, не торопитесь дѣлать заключенія, что я сумасшедшая. Когда вы познакомитесь съ нашей прекрасной малороссійской поэзіей, на чемъ я по праву дружбы буду непремѣнно настаивать, то вы увидите, что тутъ нѣтъ необходимости: у насъ воспѣваютъ такъ «лихо», которое «смѣется». А впрочемъ, я не задерживаю васъ,—прощайте до вечера.

Она пожала намъ руки и пошла въ гору, къ монастырю, а мы внизъ къ Крещатику, но матушка, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, остановилась и оборотилась назадъ.

Альтанская была отъ насъ въ нѣсколькихъ шагахъ, и тоже, словно по какому-то предчувствію, оборотилась—и онѣ перемолвились съ моею матерью молчаливыми взглядами, изъ которыхъ я тогда не понялъ ничего.

Лицо матери выразило неудовольствіе и даже гнѣвливость.

— Неужто ничего?—спросила съ негодованіемъ мать.

— Ни-ч-е-го, — отвѣчала, растягивая слово, дѣвушка и, улыбнувшись, добавила:—ничего, Катерина Васильевна, ничего, да и не будетъ ничего.

Послѣднія слова она проговорила скоро и, кивнувъ намъ

головкой, быстро завернулась и пошла торопливой походкой дальше.

По мѣрѣ того, какъ она поднималась на гору, легкій, едва замѣтный вѣтерокъ обхватывалъ ее крѣпче и, приминая покрывавшую ее сѣрую пушистую шаль къ ея молодому, стройному тѣлу, обрисовывалъ ея фигуру мягкими плавными линіями, благодаря которымъ контуръ точно сливался съ воздухомъ и исчезалъ въ этомъ сліяніи.

— Это *она*, maman?—спросилъ я, когда мы пошли своей дорогой.

— Да, она,—отвѣчала съ нѣкоторой сухостью мать.

— Харит... то-есть, однако, какъ же это, maman, ея настоящее имя?

— Харитина... Харитина Ивановна.

— Харитина!

— Да.

— Возможно ли это, maman?

— А почему же нѣтъ?

— Такая прекрасная дѣвушка...

— Ну—и что далѣе?

— И между тѣмъ... такое имя!

— Какое же? чѣмъ оно тебѣ не нравится?

— Оно тривіально.

— Тривіально? Нимало; ты, вѣрно, не то хотѣлъ сказать.

— Нѣтъ, maman, я именно хотѣлъ сказать это самое.

— Ну, тогда мнѣ должно будетъ пожалѣть, что ты употребляешь слова, не понимая ихъ значенія. Объясни мнѣ, что̀ выражается словомъ «тривіально».

Я не могъ этого объяснить и молчалъ. «Не хорошо, гадко, простонародно, неблагозвучно,—думалъ я,—но все это было не то, что я разумѣлъ подъ словомъ «тривіально», значенія котораго, дѣйствительно, не понималъ.

— Вотъ видишь ли, какъ опасно говорить о томъ, чего обстоятельно не знаешь,—сказала матушка, и, объяснивъ мнѣ происхожденіе латинскаго слова «trivialis» въ смыслѣ чего-то пошлаго и безпрестанно встрѣчающагося, добавила, что имя Харитина въ этомъ смыслѣ гораздо менѣе тривіально, чѣмъ множество другихъ безпрестанно намъ встрѣчающихся именъ.

Тогда я, желая поправиться и точнѣе выразить свою мысль, сказалъ, что имя Харитина, по моему мнѣнію, небла-

гозвучно, но матушка доказала мнѣ, что это имя хорошо и по смыслу, который въ себѣ заключаетъ, и пріятно по звучности.

— Х-а-р-и-т-и-н-а!—произнесла она эллинскимъ произношеніемъ, такъ что буква *и* послѣ *р* слилась въ ея устахъ въ гортанный *эй:*—прекрасный звукъ, а значеніе еще лучшее; Харитина значитъ *полна благодати.* Для такой неоцѣненной дѣвушки, какъ та, которую мы встрѣтили, я бы затруднилась выбрать лучшее имя, способное полнѣе выражать ея свойства. Въ уменьшительной же и въ ласкательной формѣ здѣсь въ Малороссіи изъ этого имени дѣлаютъ *Христя,*—это ужъ просто прелестно.

— Да, это въ самомъ дѣлѣ хорошо,—отвѣчалъ я, начиная чувствовать, что имя Харитина въ самомъ дѣлѣ получило для меня съ материныхъ словъ совсѣмъ другой вкусъ и ароматъ.

— Эге! да ты уступчивъ, это прекрасно, спорливость—черта удаляющая человѣка отъ истины. Но сознавшись, спѣши же брать назадъ слово, а то это сознаніе будетъ мало полезно.

— Беру, maman, и даже охотно беру, но только позвольте мнѣ еще предложить вамъ одинъ вопросъ—опять объ именахъ же. Она.. эта дѣвушка назвала васъ два раза Катериной Васильевной. Что это значитъ, maman?

— Не все ли равно, что Катерина Васильевна, или Каролина-Вильгельмина?—перебила матушка: — для тебя мое имя просто *мать.*

И послѣ этихъ словъ она заговорила со мною опять о городѣ. Оріентируя меня по отношенію къ болѣе интереснымъ мѣстамъ, она показала мнѣ гдѣ садъ, гдѣ лежитъ мой путь въ канцелярію, гдѣ почта—и при послѣднемъ указаніи добавила:

— Идучи на службу, ты будешь заходить на почту отдавать мои письма—это немножко облегчитъ нашу Бригиту, у которой съ твоимъ пріѣздомъ прибавляется дѣла.

Я, разумѣется, изъявилъ радостное согласіе править эту почтовую службу—и мы, завершивъ большую прогулку, возвратились домой, гдѣ насъ ждалъ въ средней комнатѣ накрытый на два прибора столъ. Обѣдъ состоялъ изъ двухъ скромныхъ, но вкусныхъ блюдъ, и яблока вмѣсто десерта. За столомъ намъ служила та же Бригита, то-есть та же

женщина въ темномъ платьѣ и бѣломъ чепцѣ, которая принесла самоваръ въ минуту моего пріѣзда и которая была нашей кухаркой и горничной.

Послѣ обѣда матушка удалилась въ свою комнату и, сѣвъ въ старое глубокое кресло, закрыла пальцами рукъ глаза,— я не могъ понять, погрузилась ли она въ тихій сонъ, или въ глубокую думу; но поспѣшилъ воспользоваться минутою свободы, чтобы удовлетворить образовавшейся за дорогу страстишкѣ покурить. Я тихонько зажегъ папироску и долго простоялъ съ нею у открытой форточки, а потомъ почувствовалъ неодолимый позывъ ко сну и, прислонясь къ подушкѣ, мгновенно уснулъ. Я спалъ глубоко и крѣпко, но, казалось, сквозь сонъ слышалъ, какъ мать входила въ мою комнату и, притворивъ форточку, разгоняла что-то по воздуху носовымъ платкомъ. Отъ этого представленія ко мнѣ привязалось какое-то безпокойное сновидѣніе, подъ наитіемъ котораго я и проснулся. На дворѣ было уже темно, но въ мою комнату по полу ползло откуда-то густое, желто-пунцовое освѣщеніе. Сначала я не могъ понять, что́ это за свѣтъ, но потомъ отгадалъ, что это, вѣроятно, гдѣ-нибудь топится печка.

Тишина была мертвая: ни шелеста, ни звука,—такъ что мнѣ даже стало страшно, и я, осторожно спустившись съ постели, началъ осматриваться.

Въ простомъ кирпичномъ каминѣ, который былъ устроенъ въ матушкиной комнатѣ, ярко горѣли дрова—и отъ нихъ-то и шло то пунцовое пламя, которое, пробѣгая черезъ всю нашу зальцу, тушевалось концомъ свѣта по полу моей комнаты. На этотъ счетъ я не ошибся, но что касается самаго характера окружающаго меня безмолвія, то я не разгадалъ его: это не была *мертвая тишина*, а напротивъ это было безмолвіе глубокаго чувства и живой грусти, которыхъ я, однако, не могъ понять, хотя и видѣлъ ихъ въ образѣ очень граціозной и одухотворенной группы.

Матушка сидѣла передъ огнемъ въ своемъ креслѣ и, опустивъ книзу глаза, грустно смотрѣла на ярко освѣщенную огнемъ голову Хариты, которая полулежала на разостланной у ногъ матери на полу козьей шкурѣ, и, обхвативъ руками матушкины колѣна, прислонилась къ нимъ головою. Мнѣ было какъ нельзя лучше видно все ея лицо, обращенное въ ту сторону, откуда я наблюдалъ ее. Свѣтъ падалъ

на обѣ эти фигуры неровно: опущенное книзу лицо матушки было въ мягкомъ спокойномъ полутонѣ, межъ тѣмъ какъ голова и вся фигура Альтанской точно горѣли въ огнѣ. Однѣ ея ноги, уходя къ рампѣ камина, терялись и точно будто исчезали въ тѣни.

Не было ли это освѣщеніе прообразованіемъ того, что происходило тогда въ сердцахъ этихъ двухъ существъ, одного уже полуотстрадавшаго и гаснущаго, а другого полнаго жизненнаго разгара, но уже во всю мочь сердца вкушающаго священную сладость страданія.

Онѣ ничего между собой не говорили; но, какъ мнѣ показалось, обѣ онѣ вмѣстѣ думали объ одномъ и томъ же. Стоя въ молчаніи у своей двери, я хорошо видѣлъ ихъ лица,—и былъ пораженъ тѣмъ, что при первой встрѣчѣ съ Альтанскою не замѣтилъ ея прекрасной, характерной красоты. Изо всего ея лица я тогда разсмотрѣлъ только большіе сѣрые глаза съ длинными черными рѣсницами и черныя же прямолинейныя брови. Теперь я видѣлъ весь овалъ ея немножко продолговатаго лица и пораженъ былъ строгою гармоничностью его линій и горячо-блѣднымъ матовымъ цвѣтомъ щекъ, по которымъ, какъ брильянтъ, искрились и играли передъ огнемъ двѣ слезинки.

«Какъ она прекрасна и о чемъ она можетъ такъ грустить и плакать? Матушка непремѣнно должна все это знать»,—думалъ я и тоже во что бы то ни стало хотѣлъ это узнать, съ тѣмъ, чтобы, если можно, сдѣлаться другомъ этой дѣвушки. Вѣдь она сама же просила меня объ этомъ. А я хотѣлъ умереть за нее, лишь бы она такъ не грустила и не плакала.

«Но кто же могъ быть виновникомъ этихъ ея страданій? О, съ какимъ бы удовольствіемъ я сдѣлалъ ему теперь самую невозможную дерзость! Но что онъ и гдѣ онъ?»

Среди этихъ мечтаній, въ продолженіе которыхъ я былъ какъ бы въ легкомъ бреду подъ обаяніемъ темныхъ бровей Хариты, входная дверь въ залу изъ передней отворилась—и на порогѣ ея показалась высокая, немножко сгорбленная мягкая фигура въ длиннополомъ сюртукѣ и огромномъ высокомъ галстукѣ, высоко подпиравшемъ продолговатую сѣдую голову съ такими же прямолинейными бровями, какъ у Хариты.

«Это ея отецъ!—воскликнулъ я въ себѣ, пораженный

большимъ сходствомъ лица взошедшаго старика съ лицомъ только-что разсмотрѣнной мною дѣвушки.—Не съ нимъ ли мнѣ и придется за нее сражаться? Досадно! это будетъ не совсѣмъ удобно, потому что матушка при мнѣ наговорила этому старику бездну самыхъ лестныхъ похвалъ и избрала его быть моимъ просвѣтителемъ. Однако, посмотримъ. Чтобы быть благороднымъ—не надо ничѣмъ дорожить, кромѣ чести. Семья съ раннихъ лѣтъ зародила во мнѣ эту склонность, корпусное сотоварищество ее воспитало; раннее изгнаніе закрѣпило, а что сдѣлали изъ него послѣдующія обстоятельства—о томъ рѣчь впереди.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я жестоко ошибся насчетъ старика Альтанскаго, котораго узналъ съ перваго на него взгляда. Этотъ человѣкъ никого не обижалъ и не могъ ни для кого быть причиною ни малѣйшихъ несчастій.

Матушка зажгла одну изъ стоявшихъ у нея на каминѣ свѣчъ, а Харита, воскликнувъ: «вотъ и мой старенькій тятту пришелъ», кинулась къ нему на шею—и, нагнувъ къ себѣ его голову за затылокъ, поцѣловала его два раза въ лобъ и въ высокую свѣтлую лысину.

Профессоръ былъ человѣкъ рослый и широкій, но не полный, а скорѣе худой и костистый. При своей нѣсколько высокой и продолговатой головѣ, онъ имѣлъ длинный прямой носъ, немного отвисшую нижнюю губу и очень большіе сѣрые глаза, сильно напоминавшіе глаза дочери. Но что всего болѣе дѣлало ихъ похожими другъ на друга—это та же прямолинейная бровь. Я говорю не *брови*, а именно *бровь*, потому что обѣ брови у профессора соединялись надъ глазами въ одну непрерывную линію. Обыкновенно такія брови придаютъ лицу выраженіе твердое, энергическое и рѣшительное,—и такое выраженіе было у отца и у дочери Альтанскихъ, но только у обоихъ у нихъ оно смягчалось безконечною добротою, которая въ лицѣ отца дышала совершеннымъ младенчествомъ. Въ его глазахъ были даже тѣ свѣтлые блики, которые бываютъ въ глазахъ у младенцевъ и которые въ глазахъ его дочери перешли въ проницающую лучистость. Ей словно дано было читать въ глубинѣ души другихъ людей, тогда какъ самъ профессоръ смотрѣлъ

только внутрь самого себя, гдѣ у него былъ богатый складъ наблюденій, опыта и знаній.

Въ обхожденіи старикъ Альтанскій былъ простъ и удивительно открытъ и привѣтливъ. Не успѣла матушка меня ему представить, какъ онъ сію же минуту заговорилъ со мною, точно со стариннымъ другомъ, и притомъ съ такимъ, который во всемъ былъ ему по всему равенъ. Въ разговорѣ, начатомъ непосредственно за его приходомъ и продолжавшемся около полутора часа, я не ощутилъ никакой разницы между его многоученостію и моимъ круглымъ невѣжествомъ. Онъ никого не оспаривалъ и не *проводилъ* никакихъ идей, но все, что при немъ говорилось,—невольно какъ-то выравнивалось и округлялось, по превосходной и совершеннѣйшей формѣ. О предстоящихъ моихъ съ нимъ занятіяхъ онъ не сказалъ ни слова—и даже когда матушка отрекомендовала меня, сказавъ:

— Вотъ вашъ ученикъ.

Онъ, ласково пожавъ мнѣ руку, тихо отвѣтилъ:

— Другъ, а не ученикъ.

Затѣмъ весь остальной разговоръ, сверхъ всякаго моего ожиданія, шелъ о предметахъ, о которыхъ я не имѣлъ тогда никакого понятія; но это Альтанскаго, повидимому, нисколько не смущало. Онъ говорилъ съ матушкою о правительствѣ, къ чему начальный поводъ дало мое исключеніе. Въ словахъ матушки я успѣлъ уловить въ этомъ разговорѣ не мало желчной иронiи, съ которой она отзывалась о правительственной системѣ того времени, а Иванъ Ивановичъ, точно Тацитъ, облегчалъ ея сужденія.

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я полуребенкомъ слышалъ эту первую политическую бесѣду, и я бы, кажется, легко могъ про нее позабыть,—но вѣщее пророчество ея, такъ поразительно сбывшееся на моемъ вѣку, не обминуло и мою голову—и тогда-то, при тягостнѣйшихъ обстоятельствахъ моей жизни, я вспомнилъ слова Альтанскаго, и какъ еще вспомнилъ!

Уходя домой, Альтанскіе упросили матушку дать мнѣ два дня льготы отъ ученія, а съ меня взяли слово завтра утромъ придти къ нимъ. Матушка согласилась и, проводивъ ихъ, спросила меня:

— Мой сынъ! ты, кажется, куришь?

Я сконфузился и потупилъ глаза.

— Къ чему это такъ рано?—продолжала матушка:—я не думаю, чтобы эта бездѣльная привычка портить воздухъ, необходимый для нашего дыханія,—могла приносить очень много удовольствія; но если уже ты хочешь курить, то, пожалуйста, не скрывайся и кури при мнѣ. Это по крайней мѣрѣ не будетъ тебя пріучать имѣть отъ матери тайны.

«Ужасная вещь!—думалъ я:—бѣдная матушка и въ помышленіи не содержитъ, какія я имѣю отъ нея тайности.»

Я чувствовалъ порядочную усталость, но, улегшись въ постель, не могъ уснуть и все обдумывалъ какой-нибудь планъ, какъ бы загарантировать себя отъ полученія отвѣта на мое посланіе въ Тверь. Я придумалъ идти завтра на почту и подкупить почтальона, чтобы, въ случаѣ полученія письма на мое имя, онъ не приносилъ его мнѣ домой, а оставилъ у себя, пока я не приду за нимъ. Это меня очень успокоило—и я уже хотѣлъ повернуться къ стѣнѣ и заснуть, какъ вдругъ въ это время замѣтилъ, что свѣтъ въ матушкиной комнатѣ еще не погасъ. Сначала мнѣ показалось, что это горитъ лампада, но, привставъ и поглядѣвъ въ дверь, я увидалъ, что то горѣла подъ абажуромъ свѣча, передъ которою матушка сидѣла за столикомъ, какъ была одѣтая днемъ, и писала. Прошелъ часъ, огонь не гасъ и писаніе матери не прекращалось. Теперь, настороживъ ухо, я даже слышалъ, какъ быстро скрипѣло въ ея рукѣ перо, — и по непонятному предчувствію это позднее писаніе получило въ моихъ глазахъ какое-то особенно важное значеніе. Я былъ убѣжденъ, что она пишетъ что-нибудь касающееся до меня; но что̀ это могло быть такое и къ кому она могла писать? Размышляя объ этомъ и не придя ни къ какому выводу, я заснулъ все при томъ же свѣтѣ, а утромъ, когда матушка, напившись чаю, посовѣтовала мнѣ сходить засвидѣтельствовать свое почтеніе Альтанскому, я получилъ отъ нея довольно тяжелый запечатанный конвертъ, съ тѣмъ чтобы я зашелъ и отдалъ его на почту.

Порученіе это было мнѣ очень кстати, потому что я, какъ выше сказано, намѣренъ былъ обдѣлать на почтѣ свое собственное дѣло; но мнѣ, однако, это не удалось, потому что, зайдя по дорогѣ къ Альтанскимъ на почту, я на самомъ крыльцѣ почтоваго дома столкнулся съ Харитиною Альтанской. Она тоже пришла сюда отправить письмо,

которое мнѣ очень хотѣлось видѣть для того, чтобы узнать, кому оно посылается. По тѣмъ же предчувствіямъ мнѣ казалось, что письмо, которое было теперь въ рукахъ Альтанской, содержало развязку ея тайны, какъ письмо матери хранило другія тайны,—и я, вынувъ изъ кармана матушкино письмо, прежде чѣмъ отдать его пріемщику, прочелъ: «*Филиппу Кольбергу въ Петербургъ*».

Что̀ необыкновеннаго можно найти въ такомъ простомъ имени какъ «*Филиппу Кольбергу въ Петербургъ*», гдѣ такое множество всякихъ *бергов*?!—но вы не можете себѣ представить, какъ меня поразило это имя и какъ оно мнѣ понравилось. Читая впослѣдствіи письмо Гейне къ автору *Лалла Рукъ*, гдѣ поэтъ говоритъ, что, не знавъ самаго сочиненія, готовъ признать его превосходнымъ, потому что у него такое прекрасное названіе,—я вспомнилъ, что то же самое было со мною, когда я въ первый разъ узналъ сладостное имя Филиппа Кольберга. Кто могъ быть этотъ человѣкъ, которому не ставятъ на письмо никакого титула, а просто пишутъ одно его короткое имя: «Филиппъ Кольбергъ», тогда какъ всякому человѣку прибавляется хоть «благородіе» или хоть «милостивое государство»? Неужто онъ не имѣетъ никакого права даже на самый скромнѣйшій изъ нихъ? Неужто онъ просто какой-нибудь ремесленникъ? Но не можетъ быть, чтобы мать моя писала такія большія письма какому-то простому ремесленнику и притомъ... и притомъ я былъ увѣренъ, что имя «Филиппъ Кольбергъ» не можетъ принадлежать человѣку малообразованному. Я получилъ неодолимую и притомъ чуждую всякихъ сомнѣній вѣру, что человѣкъ, носящій это имя, долженъ быть какой-то превосходнѣйшій человѣкъ, которому нѣтъ никого подобнаго на свѣтѣ.

Но зато эти размышленія надъ письмомъ, а частію и присутствіе здѣсь дѣвицы Альтанской были причиною, что я не успѣлъ не только переговорить съ почтальономъ насчетъ ожидаемаго мною отвѣта на мое посланіе въ Тверь, а даже совсѣмъ позабылъ объ этомъ непріятномъ обстоятельствѣ и не тревожился имъ, пока оно дало мнѣ себя почувствовать.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Всего болѣе въ эту пору меня занимало, что я по глу-

бокому и, какъ послѣ оказалось, совершенно безошибочному предчувствію попалъ въ самый центръ сокровеннѣйшихъ тайнъ двухъ милыхъ мнѣ женщинъ, изъ которыхъ притомъ одна была моя мать.

Правда, что вмѣстѣ съ этимъ открытіемъ (предчувствія мои я могу считать и не предчувствіями, а проницательностію, и потому выводы этой проницательности принимать за открытія)—и этимъ именно открытіемъ я наносилъ своему сердцу небольшую рану, потому что послѣ вчерашняго вечерняго созерцанія Харитины Альтанской я уже снова начиналъ чувствовать, что во мнѣ зашевелилось нѣчто подобное тѣмъ возвышеннымъ, конечно, любовнымъ тревогамъ, какія я испыталъ въ Твери. Теперь, когда обнаружилось, что на свѣтѣ несомнѣнно существуетъ кто-то, которому она пишетъ, и притомъ сама собственноручно отправляетъ на почту свои письма,—я видѣлъ необходимость перемѣнить позицію и ужъ строго держаться роли друга, чего мнѣ, признаться сказать, не особенно хотѣлось, такъ какъ Харита была не то что тверская барышня: той было тридцать лѣтъ и она приходилась наполовину меня старше, между тѣмъ какъ этой шелъ девятнадцатый годъ и, стало-быть, я былъ моложе ея только тремя годами. Но, однако, я утѣшался тѣмъ, что буду хранить ея тайну.

Что же относится до тайны матери, то тутъ я предчувствовалъ одно, что тутъ пылаетъ какая-то купина, пламень которой долженъ быть для меня святъ, и сказалъ своему пытливому уму: «не касайся семо».

Все это я обдумалъ, идучи рядомъ съ Альтанской, которая, овладѣвъ мною, вела къ отцу. Мы шли съ нею въ полномъ молчаніи и не мѣшали другъ другу. Это былъ для меня первый опытъ пріятнаго молчанія, и онъ мнѣ чрезвычайно удался и полюбился.

Они жили въ небольшомъ сѣренькомъ домикѣ съ стеклянною галлереею, въ концѣ которой была дверь съ небольшою мѣдною дощечкою, на которой вмѣсто имени профессора значилась слѣдующая странная латинская надпись: «Nisi ter pulsata aperietur tibi porta, honestus abeas», то-есть: «Если по троекратномъ стукѣ дверь тебѣ не отворится, то знай честь и отходи прочь».

Харитина постучала трижды въ эту дверь, она намъ отворилась, и мы вошли въ очень скромное помѣщеніе.

Старый профессоръ собирался на лекцію, но встрѣтилъ меня очень ласково, наскоро закусилъ съ нами и ушелъ, поручивъ меня попеченіямъ дочери; но бѣдной дѣвушкѣ было, кажется, совсѣмъ не до заботъ обо мнѣ. Она, видимо, перемогалась и старалась улыбаться отцу и мнѣ, но отъ меня не скрылось, что у нея подергивало губы и лицо ея то покрывалось смертною блѣдностью, то по немъ выступали вымученныя синерозовыя пятна.

Простодушный младенческій взглядъ старика, кажется, ничего этого не замѣчалъ въ то время, когда онъ навязывалъ меня на руки дочери, но я былъ гораздо прозорливѣе и практичнѣе и поспѣшилъ какъ можно скорѣе оставить ее въ покоѣ.

Не помню, какой я именно выбралъ предлогъ для того, чтобы ей откланяться,—но она сдѣлала эту выдумку совершенно излишнею. Вмѣсто отвѣта на мое прощанье, она взглянула на меня полными слезъ глазами и, крѣпко стиснувъ мою руку, произнесла по-малороссійски:

— Спасибо вамъ, сердце! Маму вашу поцѣлуйте.

Я понялъ, что Харитина уразумѣла мою деликатность и, оцѣнивъ ее, платить мнѣ трогательнѣйшею откровенностью,—и съ гордымъ спокойствіемъ держалъ мою роль, сказавъ ей прежнимъ спокойнымъ тономъ:

– Прощайте, Харитина Ивановна.

— Ивановна!—отвѣчала она, удерживая мою руку въ своей рукѣ.—Не зовите меня Харитиной Ивановной: нехай я буду для васъ просто ваша Христя.

— Извольте.

— Ну, такъ скажите мнѣ: помилуй тебя Боже, моя милая Христя.

Я повторилъ ея задушевныя слова и поцѣловалъ ея руку.

— Вотъ это такъ—по-нашему,—отвѣчала она и, выпустивъ мою руку, сама дала мнѣ знакъ скорѣе уходить, что я немедленно и исполнилъ, но сейчасъ же снова очутился въ большомъ затрудненіи. Проходя по стеклянной галлереѣ, я по какому-то невольному побужденію взглянулъ въ окно комнаты, въ которой оставилъ Христю,—и увидалъ, что бѣдная дѣвушка лежала ницъ на полу и, вытянувъ крѣпко схваченныя руки, съ такимъ усиліемъ удерживала свои рыданія, что ея спину и плечи судорожно вело и коробило,

межъ тѣмъ какъ тонкіе бѣлые пальцы нѣжныхъ рукъ поспѣли и корчились.

Первая мысль моя была вернуться къ ней и помочь ей встать и перейти на постель; потомъ я это отмѣнилъ и хотѣлъ послать къ ней изъ кухни ихъ прислугу; но еще черезъ минуту нашелъ, что и это вѣроятно было-бы ей непріятно. Мнѣ показалось, что ея невѣдомое мнѣ, гордое, молчаливое горе должно ожесточаться отъ всякаго непрошеннаго и—увы!—всегда безсильнаго участія. Я готовъ былъ самъ зарыдать и, надвинувъ шапку, опрометью выбѣжалъ на улицу, по которой не успѣлъ сдѣлать и десяти шаговъ, какъ меня нагналъ мой пріятель Пенькновскій.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Мой грандіозный коллега былъ теперь въ новой, слишкомъ для него просторной, поношенной венгеркѣ съ шнурами, въ четырехугольной польской шапочкѣ и съ хлыстомъ въ рукахъ.

Полный своей скорби за Христю, я хотѣлъ отъ него убѣжать, но это было невозможно.

— Здравствуй, Праотцевъ!—вскричалъ онъ, хватая меня за руку.—Вотъ я думалъ, что мы съ тобой уже совсѣмъ разстались, а между тѣмъ опять привелось...

— Отчего же совсѣмъ разстаться?—отвѣчалъ я, стараясь скрыть свое волненіе.

— А такъ, братъ... знаешь, у насъ того... Э, да ты, кажется, чего-то плакалъ? Ты—вѣчная плакса.

— Вовсе я не плакалъ и не плакса,—отвѣчалъ я и началъ разспрашивать его, что̀ такое у нихъ «того»...

— Тссъ! говори тише! у насъ въ домѣ говорятъ про страшныя дѣла: въ Австріи революція.

— Ну, а вамъ что за дѣло до Австріи?

— Да это тебѣ нѣтъ дѣла, потому что ты русскій, а тамъ, братецъ, венгерцы воюютъ.

— Такъ что же такое?

— Какъ что?—это старые наши польскіе союзники: polak z wgrem dwa bratanki, jak do szabli, tak de szklanki (*). Они намъ свои.

Я этому нѣсколько удивился, потому что венгерцы, въ

*) Полякъ съ венгромъ— братья, какъ по оружію, такъ и за бутылкой.

моемъ тогдашнемъ пониманіи, были тѣ люди, которые носятъ по селамъ лѣкарственныя снадобья да янтарные чётки и крестики; но Пенькновскій разъяснилъ мнѣ, что есть еще и другіе венгерцы — очень храбрые, и что вотъ съ тѣмито онъ какъ нельзя болѣе заинтересованъ въ ихъ революціи.

— Неужто же ты, молъ, пойдешь въ ихъ революцію?

— Нѣтъ, честное слово—пойду: если всѣ пойдутъ, такъ и я пойду. Но помни, братъ-Меркулъ,—заключилъ онъ, остановясь и схвативъ обѣ мои руки:—помни, что мы, все-таки, товарищи, и если мы встрѣтимся другъ съ другомъ съ оружіемъ въ рукахъ въ бою, я закричу: «скачи мимо!» и тебя не ударю.

— И я тоже, и я тебя ни за что не ударю,—отвѣчалъ я.

— Щадить другъ друга, щадить какъ должно благороднымъ людямъ и однокашникамъ. Слышишь?

— Хорошо, непремѣнно пощажу,—отвѣчалъ я.

— Махни саблей—и мимо.

— Махну—и мимо.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Руку отъ сердца!

Я подалъ руку.

Заключивъ этотъ союзъ взаимной пощады, мы крѣпко стиснули другъ другу руки и поцѣловались, что̀, впрочемъ, не обратило на насъ особенное вниманіе прохожихъ—вѣроятно потому, что въ тогдашнемъ ополяченномъ кіевскомъ обществѣ поцѣлуи при уличныхъ встрѣчахъ знакомыхъ мужчинъ были дѣломъ весьма обыкновеннымъ.

Затѣмъ Пенькновскій открылъ мнѣ, что онъ на войнѣ не будетъ никого бить изъ товарищей и только возьметъ въ плѣнъ нашего военачальника, а потомъ полюбопытствовалъ, куда лежитъ мой путь—и, узнавъ, что я иду домой, вызвался меня проводить и дорогою спросилъ: «что̀ говорятъ у васъ про венгерскую революцію?»

— У насъ объ этомъ ничего не говорятъ,—отвѣчалъ я.

— Это не хорошо; это не хорошо, Праотцевъ!

— Что такое?

— Зачѣмъ ты скрываешь?

— Увѣряю тебя.

— Такъ о чемъ же вы разговариваете?

— Ну, вотъ! Будто только и разговора, что про революцію?... у матери бываютъ разные ученые люди и профессора, и она сама знаетъ по-латыни и по-гречески...

— Фуй, какая скука!

— Нимало; напротивъ, мы вчера обсуждали правительство и очень пріятно провели время. Я люблю такіе разговоры.

— Ну, ужъ я думаю! Не притворяйся, братъ, умникомъто! Что тамъ можетъ быть пріятнаго съ профессорами? А къ намъ къ отцу вчера пришли гости, молодые чиновники изъ дворянскаго собранія и изъ гражданской палаты, и все говорили какъ устроить республику.

Я удивился и спросилъ, про какую онъ говоритъ республику.

— Извѣстно, какая бываетъ республика! всѣмъ вмѣстѣ будетъ править и король, и публика,—отвѣчалъ весело Пенькновскій, и такъ какъ въ это время мы не только дошли до нашей квартиры, но вступили въ самыя сѣни, то онъ снова потребовалъ мою руку и, прощаясь, сказалъ:

— Ты приходи какъ-нибудь ко мнѣ: я тебя познакомлю съ моимъ отцомъ, у меня отличный отецъ; онъ титулярный совѣтникъ и у него есть сѣдло и двѣ винтовки, и сабля— и представь себѣ, что онъ служитъ въ гражданской палатѣ и какъ двѣ капли воды похожъ на Кошута. Когда начнется революція, онъ непремѣнно хочетъ быть нашимъ полководцемъ, и всѣ чиновники на это согласны, но ты, сдѣлай милость, пока никому своимъ объ этомъ не говори.

Я далъ слово держать это дѣло въ большомъ секретѣ— и мы благополучно разстались бы на этомъ, если бы матушка, встрѣтивъ меня у порога залы, не спросила: съ кѣмъ я говорилъ,—и, узнавъ, что это былъ мой корпусный товарищъ, не послала меня немедленно воротить его и привести къ ней.

Исполняя это приказаніе безъ особенной радости, я, однако, ведучи подъ руку Пенькновскаго, успѣлъ ему шепнуть, чтобы онъ не открывался при матушкѣ, что онъ революціонеръ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Пенькновскій обѣщалъ мнѣ быть скромнымъ насчетъ Венгріи и прекрасно исполнилъ свое обѣщаніе, но зато во

всемъ другомъ обличилъ передъ maman такую игривую развязность, какой я отъ него никакъ не ожидалъ: онъ пустился въ разсказы о нашемъ прошломъ и представлялъ ей не только корпусное начальство, но и директоршу, и офицерскихъ женъ; дѣлая при этомъ для большей наглядности выходы изъ открытыхъ дверей маминой спальни, онъ вдругъ появился оттуда въ матушкиномъ спальномъ чепцѣ и ночномъ пеньюарѣ.

Серьезная мать моя чрезвычайно оживилась и много смѣялась; но лукавый дернулъ Пенькновскаго вспомнить про извозчика Кирилу и разсказать, какъ онъ заѣзжалъ къ Ивану Ивановичу Елкину и какъ королевецкое «начальство» отпороло его на большой дорогѣ нагайкою.

Матушка встревожилась, что я былъ свидѣтелемъ такой грубой сцены.

— За что же это съ нимъ такъ поступили?—спросила maman.

— А—а, не безпокойтесь сударыня, онъ этого слишкомъ стоилъ,—воскликнулъ мой Пенькновскій. Я такъ и замеръ отъ страха, что онъ, увлекшись, самъ не замѣтитъ, какъ разскажетъ, что Кириллъ предательски выдавалъ его за палача, который будетъ въ Кіевѣ наказывать жестоко-обращавшуюся съ крестьянами польскую графиню; но мой рѣчистый товарищъ быстро спохватился и разсказалъ, что Кириллъ, будто бы, напившись пьянъ, зацѣпилъ колесомъ за полицмейстерскую коляску.

Я былъ необыкновенно удивленъ этою смѣлою и находчивою ложью Пенькновскаго, а матушка, наморщивъ брови, проговорила, что она просто представить себѣ не можетъ, какъ это можно было отправить насъ, дѣтей, съ однимъ пьянымъ мужикомъ.

— Какъ же, это просто ужасно!—поддерживалъ Пенькновскій.—Этотъ мужикъ былъ совершенно ужасный пьяница и притомъ... и притомъ... онъ постоянно пилъ водку и говорилъ всякій вздоръ.

— Вы могли Богъ вѣсть чего наслушаться!

— Помилуйте, да онъ насъ водку училъ пить...

— И неужто же изъ васъ кто-нибудь его въ этомъ слушался?—воскликнула въ сдержанномъ ужасѣ мать, но Пенькновскій пресмѣло ее на этотъ счетъ успокоилъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ:—нѣтъ; то-есть, я и вашъ сынъ—

мы его не слушались, потому что я самъ не пилъ и удерживалъ вашего сына, но другіе... Положимъ, что это не совсѣмъ хорошо выдавать товарищей, но, презирая ложь, я не могу отрицать, что другіе, которые меня не слушались, тѣ пили.

При этомъ онъ подмигнулъ мнѣ — и такъ неловко подмигнулъ, что матушка это замѣтила. Впрочемъ, научась въ одинъ день наблюдать ея страшную проницательность, я видѣлъ, что она еще во время самаго разсказа Пенькновскаго ему уже не вѣрила и читала истину въ моихъ потупленныхъ глазахъ;—но она, разумѣется, прекрасно совладала собою—и съ спокойствіемъ, которое могло бы ввести въ заблужденіе и не такого дипломата, какъ Пенькновскій, сказала:

— Я вамъ очень благодарна за вашъ прекрасный примѣръ и совѣтъ, которыми вы сберегли моего сына отъ порока, одна мысль о которомъ должна быть противна честному человѣку.

— Какъ же: я его всегда оберегалъ,—отвѣчалъ Пенькновскій; а матушка сказала, что она, будто бы, очень рада, что я имѣлъ себѣ такого благоразумнаго и строгаго товарища.

Пенькновскому эти слова были все равно, что обольстительный ѳміамъ, въ сладкомъ дыму котораго онъ ошалѣлъ до того, что вдругъ, принявъ вѣроятно свою ложь за истину, возмнилъ себя въ самомъ дѣлѣ моимъ нравственнымъ руководителемъ,—началъ разсказывать, будто бы онъ всегда за мною наблюдалъ и въ дорогѣ, и въ корпусѣ, и тогда-то говорилъ мнѣ то-то, а въ другой разъ это-то, и т. п. Самая хвастливая и наглая ложь лилась у него рѣкою и приводила меня въ такое смущеніе, что я молчалъ и не перебилъ его ни однимъ словомъ даже тогда, когда онъ, истощивъ потокъ своего краснорѣчія насчетъ своихъ превосходствъ, вдругъ перешелъ къ исчисленію моихъ пороковъ, которые, по его словамъ, парализировали его вліяніе и часто мѣшали мнѣ усвоить ту безмѣрную пользу, какую могли мнѣ преподать его совѣты.

— Хорошо его зная, я могу сказать, что онъ еще не совсѣмъ дурной мальчикъ,—говорилъ онъ, указывая на меня искоса глазами:—но у него есть этакое, какъ бы вамъ сказать... упрямство. Да, именно упрямство! Я ему всегда го-

ворилъ: слушай меня во всемъ, потому что ты долженъ меня слушать! Но онъ одинъ разъ послушается, а другой разъ нѣтъ.—Что, братъ?—отнесся онъ непосредственно ко мнѣ:—я тебѣ говорилъ, что я ничего не скрою и все это со временемъ разскажу твоей maman! Да; родители о насъ должны все знать—и ужъ ты сердись или не сердись на меня, а я теперь это дѣлаю для твоей же пользы.

— Вы знаете,—продолжалъ онъ, снова обращаясь къ maman:—въ Твери одинъ нашъ товарищъ...

— Послушай!—вскричалъ я, не вытерпѣвъ и сквозь слезы.

— Что, братъ? Нѣтъ, ужъ извини: разскажу. Въ Твери одинъ нашъ товарищъ Волосатинъ пригласилъ насъ къ себѣ на вечеръ, который давалъ его отецъ, и вашъ сынъ тамъ такъ неприлично повелъ себя.... просто такъ неприлично, что будь это въ другомъ мѣстѣ—я не знаю, что бы могло выйти!

Маman вся вспыхнула и кинула на меня молніеносный взглядъ, но, вѣроятно, встрѣтивъ мой взглядъ, потерянный, перепуганный и умоляющій, сейчасъ же успокоилась. А безпощадный Пенькновскій продолжалъ и благополучно окончилъ свой разсказъ о томъ, какъ я, войдя впереди всѣхъ товарищей въ большую залу, «какъ сумасшедшій бросился цѣловать руки у всѣхъ женщинъ».

— Это очень просто, maman,—отвѣчалъ я:— я никогда не бывалъ на балахъ и думалъ, что это такъ принято.

— Ну, да,—тихо уронила матушка совсѣмъ успокоеннымъ голосомъ—и, какъ я былъ несомнѣнно убѣжденъ, въ знакъ своего неосужденія меня за разсказанную неловкость, подала мнѣ ключикъ отъ своего туалета и велѣла подать ей оттуда батистовый носовой платокъ.

Въ этомъ незначительномъ порученіи я увидалъ знакъ снисходительнаго ея ко мнѣ благоволенія (такъ умѣла она выражать все однимъ тономъ своего прекраснаго голоса, что слова ея, кромѣ своего банальнаго прямого выраженія, имѣли еще иное, тайное иносказательное—и именно такое, какое она хотѣла передать ими тому, кто долженъ былъ уразумѣть въ нихъ смыслъ непонятный для другихъ). Я именно внялъ этому смыслу и, выйдя въ ея комнату за ея платкомъ, вздохнулъ отъ радости, что дѣло мое поправлено и что матушка на моей сторонѣ, а не на сторонѣ доносившаго на меня Пенькновскаго.

Между тѣмъ сей послѣдній, пока я возился у матушкинаго комода, вспомнилъ, что ему пора домой. Къ неописанному моему удовольствію, онъ началъ прощаться съ матушкой и опять отѣнилъ меня особеннымъ образомъ, попросивъ матушку отпускать меня изрѣдка къ нему, на его отвѣтственность, на что матушка и согласилась,—а Пенькновскій принялъ это согласіе за чистую монету и, поблагодаривъ матушку за довѣріе, закончилъ обѣщаніемъ приводить меня назадъ домой подъ его собственнымъ надзоромъ.

Тутъ я уже просто сробѣлъ передъ этою его выходкой и мысленно далъ себѣ слово никогда къ нему не ходить, хотя мать моя выразила мысль совершенно противную, сказавъ, что она будетъ очень рада этому, потому что эти проводы, конечно, доставятъ ей удовольствіе часто видѣть Пенькновскаго и ближе съ нимъ познакомиться.

Это я счелъ уже со стороны maman за непонятную для меня неискренность, которая меня очень покоробила, межъ тѣмъ какъ Пенькновскій былъ въ восторгѣ—и, надѣвая въ передней свое пальто, весело прошепталъ мнѣ:

— А что же ты мнѣ не показалъ: гдѣ ваши ученые? Нѣтъ ихъ, что ли?

— Нѣтъ,— отвѣчалъ я сухо.

— А когда они приходятъ?

— Вечеромъ.

— Вечеромъ. Ну, пускай ихъ ходятъ вечеромъ! а ты теперь кажется ясно можешь видѣть, что все дѣло заключается не въ учености, а въ практикѣ.

«Провалился бы ты куда-нибудь со всей твоей практикой!» — подумалъ я и едва удержался отъ желанія сказать ему, что требую назадъ свое слово не сражаться съ нимъ, когда встрѣтимся на войнѣ, и махать саблей мимо. Энергически захлопнувъ за нимъ двери, я вернулся въ комнаты и почувствовалъ, что я даже совсѣмъ нездоровъ: меня знобило и въ лѣвомъ ухѣ стоялъ болѣзненно-отзывавшійся въ мозгу звонъ.

Лицо мое вѣроятно такъ ясно передавало мое состояніе, что матушка, взглянувъ на меня, сказала:

— Ты, кажется, не совсѣмъ здоровъ, дитя мое?

— Да, maman;—отвѣчалъ я:—мнѣ что-то холодно, и я чувствую звонъ въ ушахъ.

— Это тебѣ надуло въ голову, когда ты вчера курилъ у форточки. Поди лягъ въ свою постель и постарайся успокоиться: сегодня вечеромъ ты долженъ идти къ твоему дядѣ, а завтра подашь ему просьбу о принятіи тебя на службу въ его канцелярію.

— Какъ, maman, я долженъ идти къ нему безъ васъ?!— воскликнулъ я, почувствовавъ нѣкоторый страхъ при мысли о свиданіи съ статскимъ генераломъ, занимавшимъ, по тогдашнимъ моимъ понятіямъ, чрезвычайно важную должность.

— Да; ты долженъ идти одинъ,—отвѣчала матушка и разсказала мнѣ, что когда я утромъ ходилъ къ Альтанскимъ, мой двоюродный дядя, этотъ важный статскій генералъ, былъ у нея и передалъ свое желаніе немедленно со мною познакомиться.—А знакомиться съ нимъ,—добавила maman:— тебѣ гораздо лучше одинъ-на-одинъ, чѣмъ бы ты выглядывалъ какъ цыпленокъ изъ-подъ крыла матери. Притомъ же тебѣ надо привыкать къ обхожденію съ людьми и умѣть самому ставить себя на настоящую ногу; а это пріобрѣтается только навыкомъ и практикой.

«Опять практика!»—подумалъ я, упавъ въ постель съ тревожною мыслію, что вокругъ меня что-то тяжело и совсѣмъ не такъ, какъ бы мнѣ хотѣлось. А отчего мнѣ было тяжело и какъ бы я хотѣлъ учредить по-иному — этого я не зналъ; но только воображеніе несмѣло и робко, словно откуда-то издалека, нашептывало мнѣ, что моя maman, безъ сомнѣнія, строгая, нравственная и въ высшей степени благородная, но сухая женщина,—и я вдругъ вспомнилъ объ отцѣ и, кусая концы носового платка, который держалъ у лица, тихо заплакалъ о покойномъ. Мнѣ показалось, что мы съ отцомъ «терпимъ одинакую участь» отъ тяжести живо нами сознаваемаго высокаго, но ужъ слишкомъ авторитетнаго превосходства матери, между тѣмъ, какъ есть же на свѣтѣ кто-нибудь, къ кому она мягче и снисходительнѣе. Письмо къ Филиппу Кольбергу, которое я отдалъ утромъ на почту, мелькнуло передъ моими глазами,—и самъ Филиппъ Кольбергъ, котораго я никогда не видѣлъ, вдругъ нарисовался въ моихъ мысленныхъ очахъ такъ ярко и отчетливо, что я склоненъ былъ принять это за видѣніе — и затѣмъ начался сонъ, который во всякомъ случаѣ былъ пріятнѣе описаннаго бдѣнія. Мнѣ снилось, будто Филиппъ Кольбергъ, высокій, чрезвычайно стройный и сильный чело-

вѣкъ, съ длинными темнорусыми кудрями, огромными густыми усами и густой же длинной эспаньолеткой, смотрѣлъ на меня умными, энергическими, какъ небо голубыми глазами и, сжимая мою руку, говорилъ:

— Да; ты отгадалъ: я люблю твою мать, я люблю ее, люблю, люблю, какъ херувимъ любитъ Бога, потому что видѣть Его благость и величіе и не любить Его невозможно, и мы съ тобою сольемся въ этой любви и полетимъ за нею въ ея сферѣ. Гляди!

Онъ указалъ мнѣ на плывущую въ эѳирѣ, яркую, свѣтлымъ теплымъ пламенемъ горящую звѣзду, въ сферѣ которой мы неслись невѣдомо куда, и вокругъ насъ не было ничего, ни надъ нами, ни подъ нами, — только тихая лазурь и тихое чувство въ сердцахъ, стремящихся за нашею звѣздою.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Проснувшись я услыхалъ, что матушка была не одна: съ нею былъ профессоръ Альтанскій, и они вели между собою тихую, спокойную бесѣду.

Я былъ нѣсколько удивленъ этому спокойствію и подумалъ: неужто профессоръ ничего не знаетъ о томъ, какъ страдаетъ его дочь и въ какомъ она нынче была положеніи. Да и прошло ли это еще? Или, можетъ-быть, это имъ ничего?

И затѣмъ у меня пошелъ рядъ самыхъ пустыхъ мыслей, съ которыми я дѣлалъ свой туалетъ, вовсе не думая о томъ, куда я собираюсь и какъ буду себя тамъ держать.

Когда я былъ совсѣмъ готовъ, матушка позвала меня къ себѣ—и, не трогаясь съ мѣста, сказала мнѣ:

— Ну-ка, покажись, какъ ты одѣтъ...

Я сталъ.

— Перевернись.

Я повернулся спиной.

— Молодецъ!—замѣтилъ, глядя на меня, Альтанскій.

— Молодецъ-то онъ молодецъ,—отвѣтила, какъ мнѣ показалось, не безъ гордости maman:—но я вижу, что у этого молодца скверно сшито платье.

И съ этимъ она, вздохнувъ, встала и своими руками перевязала на моей шеѣ галстукъ, иначе чѣмъ онъ былъ завязанъ, поправила воротнички моей рубашки и, перекрестивъ меня, велѣла идти.

— Не сиди долго,—сказала она въ напутствіе.

— Нѣтъ, maman.

— Однако и не спѣши: это надо соображать по пріему— какъ держать себя хозяева. Да говори почаще Льву Яковлевичу «ваше превосходительство».

При этомъ губы матушки сложились въ нѣсколько презрительную улыбку, а профессоръ громко откашлялся и плюнулъ.

Я никакъ не могу утверждать, что этотъ плевокъ относился непосредственно къ «его превосходительству», но maman, вѣроятно, въ виду этой случайности, сейчасъ же нашла нужнымъ добавить, что Левъ Яковлевичъ очень не злой человѣкъ и имѣетъ свои заслуги и достоинства, а жена его Ольга Ѳоминишна положительно очень добрая женщина, и дѣти ихъ тоже очень добрыя, особенно старшая дочь Агата, которую maman назвала даже натурою превосходною, благородною и любящею.

Путь мой былъ не великъ—и я черезъ десять минутъ очутился на большомъ дворѣ, по которому бродили молча какія-то необыкновенно смирныя, или привычныя къ незнакомымъ посѣтителямъ, собаки. Ихъ что-то было много, и всѣ онѣ откуда-то вставали, переходили черезъ свѣтлую полосу, которая падала отъ одного изъ освѣщенныхъ оконъ, и исчезали во тьмѣ. Во дворѣ стоялъ большой, даже очень большой одноэтажный домъ и множество флигелей, построенныхъ углами и зигзагами. Все это, несмотря на сумракъ, представляло очень оживленную массу: во флигелевыхъ окнахъ свѣтились огни, а за углами, во всѣхъ темныхъ впадинахъ шевелились какія-то тѣни—и ихъ было такъ много, что онѣ становились для меня гораздо страшнѣе, чѣмъ собаки, на добродушіе которыхъ я началъ довѣрчиво полагаться. Всѣ эти тѣни, населяющія дворъ моего родственника и покровителя, были жиды, которые каждый день подъ сѣнію сумерекъ въ обиліи стекались сюда, неся съ собой разновидные дары для пріобрѣтенія себѣ дядиной благосклонности. Они-то—эти всевѣдущіе потомки Израиля—и указали мнѣ путь, какимъ я долженъ былъ проникнуть въ святилище, куда ихъ по очереди и лишь за деньги впускалъ дядинъ камердинеръ.

Хотя генерала Льва Яковлевича мнѣ никто не рекомендовалъ съ особенно дурной стороны, но я не былъ распо-

ложенъ составлять о немъ хорошее мнѣніе: его домъ съ какимъ-то огненнымъ трясеніемъ во всѣхъ окнахъ, его псы, сумрачные жиды, а особенно его низенькій камердинеръ Иванъ съ узкимъ лисьимъ лицомъ и широкимъ алчнымъ затылкомъ — все это производило во мнѣ отталкивающее впечатлѣніе. Несмотря на свою тогдашнюю молодость и неопытность, я во всемъ этомъ обонялъ какой-то противный букетъ взятки, смѣшанной съ кичливой заносчивостью и внутреннимъ ничтожествомъ. Левъ Яковлевичъ съ виду не похожъ былъ на человѣка, а напоминалъ запеченный свиной окорокъ: что-то такое огромное, жирное, кожистое, мелкощетинистое, въ свѣтлыхъ мѣстахъ коричневое, а въ темныхъ подпаленное въ видѣ жженой пробки. Вся эта жирная массивная глыба мяса и жиру была кичлива, надменна, раздражительна и непроходимо глупа. Левъ Яковлевичъ былъ до того самообольщенъ, что онъ даже не говорилъ почеловѣчески, а только какъ-то отпыхивался и отдувался, напоминая то свинью, то лошадь.

При моемъ вступленіи въ его кабинетъ, онъ сидѣлъ въ глубокомъ креслѣ за столомъ и, продувъ что-то себѣ въ носъ, запыхалъ:

— А?.. какъ?.. что такое?..

Я ничего не понималъ, но замѣтилъ, что у этого окорока засверкали подъ бровями его гаденькіе глазки, а камердинеръ, подскочивъ ко мнѣ, строго проговорилъ:

— Отвѣчайте же, сударь. Развѣ вы не видите, что генералъ сердятся?

— Я ничего не понялъ... вы мнѣ разскажите,—началъ было я, но этотъ гордый холопъ, махнувъ презрительно рукой и пробурчавъ: «да ужъ молчите, когда не умѣете», подошелъ ко Льву Яковлевичу.

Ставъ за его кресломъ, Иванъ фамильярно поправилъ сзади гребешочкомъ его прическу и молвилъ съ улыбкой:

— Они боятся передъ вашимъ превосходительствомъ.

— А... какъ?.. что?.. мм... да... чѣмъ?.. чѣмъ?.. зачѣмъ ко мнѣ?.. зачѣмъ?.. чѣмъ... ѣмъ... мъ?..

— Къ генеральшѣ проводить прикажете?

— А?.. да... м... мм... къ Ольгѣ Ѳоминишнѣ... да.

— Идите!—скомандовалъ мнѣ лакей, и выведя меня черезъ двѣ застланныя коврами комнаты, ткнулъ въ третью, гдѣ за круглымъ чайнымъ столомъ сидѣло нѣсколько меньшихъ

окорочковъ, которые отличались отъ старшаго окорока тѣмъ, что они не столько не умѣли говорить, сколько не смѣли говорить.

Изъ всѣхъ этихъ отрожденій Льва Яковлевича я не могъ никого отличить одного отъ другого: всѣ они были точно семья боровыхъ грибовъ, наплодившихся вокругъ дрябнущаго матерого боровика. Всѣ они были одной масти и одного рисунка,—всѣ одинаковы и ростомъ, дородствомъ, лицомъ, красотою; всѣ были живыя другъ друга подобія: однѣ и тѣ же окорочныя фигуры, и у каждаго та же самая на свѣтлыхъ мѣстахъ коричневая сальнистая закопченность.

При видѣ этой многочисленной, мирно и молчаливо сидящей за чайнымъ столомъ семьи, я здѣсь оказался столь же безтолковымъ со стороны моего зрѣнія, какъ за минуту передъ симъ былъ безтолковъ на слухъ: у Льва Яковлевича я не могъ разобрать, что̀ такое онъ гнуситъ, а тутъ никакъ не могъ произвести самаго поверхностнаго полового отличія. Безъ всякихъ шутокъ, всѣ представлявшіяся мнѣ существа были до такой степени однородны и одновидны, что я никакъ не могъ отличить среди ихъ мужчинъ отъ женщинъ. Мать, дочери, сыновья, свояченица и невѣстка—все это были на подборъ лица и фигуры одной конструкціи и какъ будто даже одного возраста: вся разница между ними видѣлась въ томъ, что младшіе были по-подкопченнѣе, а старшіе позасаленнѣе. Но вотъ одно изъ этихъ тяжелыхъ существъ встало изъ-за стола,—и я, увидавъ на немъ длинное платье, догадался, что это должна быть особа женскаго пола. Это такъ и было: благодѣтельная особа эта, встрѣтившая и привѣтствовавшая меня въ моемъ затруднительномъ положеніи посреди комнаты, была та самая Агата, о добротѣ которой говорила maman. Эта дѣвушка представила меня и другимъ лицамъ своего семейства, изъ которыхъ одно, именно: свояченица генерала, Меланья Ѳоминишна, имѣла очевидное надъ прочими преобладаніе: я замѣтилъ это изъ того, что она содержала ключи отъ сахарной шкатулки и говорила вполголоса въ то время, какъ всѣ другіе едва шептали. Меланья Ѳоминишна дала мнѣ возлѣ себя мѣсто и налила чашку чая, — что̀ я, будучи очень неловокъ и застѣнчивъ, считалъ для себя въ эту минуту величайшимъ божескимъ наказаніемъ. Но къ моему благополучію, чай оказался совсѣмъ холоденъ, такъ что я безъ особыхъ за-

трудненій проглотилъ всю чашку однимъ духомъ — и, на предложенный мнѣ затѣмъ вопросъ о моей maman, отвѣчалъ, что она, слава Богу, здорова. Но, вѣроятно, какъ я ни тихо далъ этотъ отвѣтъ, онъ по обычаямъ дома все-таки показался неумѣстно громкимъ, потому что Меланья Ѳоминишна тотчасъ же притворила дверь въ кабинетъ и потомъ торопливо выпроводила меня со всѣми прочими въ комнату дѣвицъ, какъ выпроваживаютъ дѣтей «поиграть». Здѣсь мнѣ показывали какіе-то рисунки, разсматривая которые я мимоходомъ замѣтилъ, что у второй дочери генерала на одной рукѣ было вмѣсто пяти пальцевъ цѣлыхъ шесть.

Но вниманіе мое отъ этого шестого пальца вскорѣ было отвлечено появленіемъ въ комнатѣ молодого, очень стройнаго и пріятнаго молодого человѣка, которому всѣ подавали руки съ какимъ-то худо-скрываемымъ страхомъ.

— Ахъ, Сержъ! здравствуйте, Сержъ! — привѣтствовали его дамы и дѣвицы и тотчасъ же искали случая отъ него отвернуться, чѣмъ онъ повидимому нимало не стѣснялся и обращался съ ними съ какимъ-то добродушнымъ и снисходительнымъ презрѣніемъ.

Онъ мнѣ очень понравился—и я, продолжая разсматривать картинки, съ удовольствіемъ поглядывалъ на этого новаго посѣтителя, совсѣмъ не похожаго ни на кого изъ сѣрыхъ членовъ генеральской семьи. Въ его миломъ лицѣ и пріятной фигурѣ было что-то избалованное и женственное.

Сержъ сѣлъ въ уголокъ дивана — и, красиво сложивъ на груди руки, закрылъ глаза или притворился спящимъ.

Во все это время мы и здѣсь все продолжали шептать, но тутъ вдругъ вошелъ камердинеръ Иванъ и объявилъ, что генералъ велѣлъ мнѣ завтра явиться въ палату.

Это извѣстіе подѣйствовало на всѣхъ самымъ ободряющимъ образомъ, и обѣ дочери генерала сразу спросили:

— Папа уѣхалъ?

— Уѣхали,—небрежно отвѣчалъ камердинеръ—и, добавивъ, что лошадей велѣно присылать только въ двѣнадцатомъ часу, хотѣлъ уже уходить, какъ вдругъ Сержъ возвысилъ голосъ и громко велѣлъ подать себѣ стаканъ воды.

Повелительное обращеніе Сержа произвело самое радостное впечатлѣніе: всѣ лица оживились; голоса стали громче и смѣлѣе — и шестипалая дѣвица сѣла за рояль и начала играть, а другая запѣла. Сыновья ходили вдоль по ком-

натѣ, а сама генеральша, усадивъ меня въ уголъ большого дивана, начала разспрашивать: какъ мы съ матушкою устроились и что думаемъ дѣлать? Я со всею откровенностію разсказалъ ей извѣстныя уже мнѣ матушкины соображенія — и генеральша, а вслѣдъ за ней и всѣ другіе члены ея семьи находили все это необыкновенно умнымъ и прекраснымъ и въ одинъ голосъ твердили, что моя maman — необыкновенно умная и практичная женщина. Я замѣтилъ, что ничего не говорившій и повидимому безучастный Сержъ, при первыхъ словахъ о моей maman, точно встрепенулся и потомъ началъ внимательно слушать все, что о ней говорили, а при послѣднихъ похвалахъ ея практичности — всталъ порывисто съ мѣста и, взглянувъ на часы, пошелъ къ двери.

— Сержъ, вы будете закусывать?—спросила его вслѣдъ Меланья Ѳоминишна.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ онъ голосомъ, который мнѣ тоже очень понравился.

— Оставить вамъ?

— Нѣтъ, ma tante, нѣтъ,—не оставлять.

— Но вы придете ночевать?

Сержъ остановился, улыбнулся и, низко поклонясь Меланьѣ Ѳоминишнѣ, произнесъ:

— Приду, ma tante, на сонъ грядущій получить ваше святое благословеніе.

Съ этимъ онъ вышелъ.

— Шутъ,—молвила ему вослѣдъ Меланья.

— А зачѣмъ вы его разспрашиваете?—прошептала одна изъ дѣвицъ.

— Отчего же?

— Развѣ вы не знаете, какой онъ?

— Что мнѣ за дѣло, какъ онъ отвѣчаетъ: я исполняю свой долгъ.

— А я—что вы хотите—я очень люблю Сережу, — протянула генеральша:—когда онъ пріѣдетъ изъ своей Рипатовки на одинъ денекъ, у насъ немножко жизнью пахнетъ, а то точно заиндивѣли.

Генеральша мнѣ показалась очень жалкою и добродушною, и я въ глубинѣ души очень расположился къ ней за ея сочувствіе къ Сержу, насчетъ котораго она тотчасъ же объяснила мнѣ, что онъ ея племянникъ по сестрѣ Вѣрѣ

Ѳоминишнѣ и фамилія его Крутовичъ, что онъ учился въ университетѣ, но, къ сожалѣнію, не хочетъ служить и живетъ въ имѣніи, въ двадцати верстахъ отъ Кіева. Хозяйничаетъ и покоитъ мать.

Меланья Ѳоминишна, очевидно, иначе была настроена къ Сержу и по поводу послѣднихъ словъ сестры замѣтила:

— Да; не дай только Богъ, чтобы всѣ сыновья такъ покоили своихъ матерей!

— Отчего же, Melanie?

— Такъ; будто вы не знаете?

Melanie говорила генеральшѣ *вы*, хотя видимо и ставила ее ни во что.

— Я, право, не знаю,—отвѣчала генеральша:—по-моему, онъ—добрый сынъ, очень добрый и почтительный, а ужъ какъ онъ въ субординаціи держитъ этого дерзкаго негодяя нашего Ваньку, такъ никто такъ не умѣетъ. Видѣли: не смѣлъ ему прислать воды съ Василькою, а небось самъ подалъ и не расплескалъ по подносу, какъ мнѣ плещетъ. Я всегда такъ рада, что онъ у насъ останавливается. А что касается до Сережиныхъ увлеченій... кто же молодой не увлекался? Ему всего двадцать пять лѣтъ.

— Пора жениться.

— И не безпокойтесь такъ много, онъ, Богъ дастъ, на *ней* и не женится!

— Почему вы это знаете?

— Не женится, Melanie, не женится. Сержъ упрямъ, какъ всѣ нынѣшніе университетскіе молодые люди, и потому онъ васъ съ сестрой Вѣрой не слушался. Что же, въ самомъ дѣлѣ: какъ вы съ нимъ обращались?—сестра Вѣра хотѣла его проклинать и наслѣдства лишить, но вѣдь молодые люди Богу не вѣрятъ, да и батюшка отецъ Илья говоритъ, что на зло молящему Богъ не внемлетъ, а наслѣдство у Сережи—отцовское—онъ и такъ получитъ.

— Какія вы мысли проповѣдуете, Ольга, и еще при дѣтяхъ!

— Что же я такое проповѣдую, Melanie: я говорю правду, что вы не такъ дѣйствовали, чтобы ихъ разъединить — и Сержъ упрямился; а Каролина Васильевна практическая, и ужъ если сестра Вѣра поручила ей устроить это дѣло, такъ она устроитъ. Каролина Васильевна дѣйствуетъ на нее, а не на него: это и умно, и практично.

Практичность матушки сдѣлалась предметомъ такихъ горячихъ похвалъ, что я, слушая ихъ, получилъ самое невыгодное понятіе о собственной практичности говорившихъ и ошибся: я тогда еще не читалъ сказаній лѣтописца, что «суть бо кіяне льстиви даже до сего днє» и принималъ слышанныя мною слова за чистую монету. Я думалъ, что эти бѣдные маленькіе люди лишены всякой практичности и съ завистью смотрятъ на матушку: а это было далеко не такъ; но объ этомъ послѣ.

Въ десять часовъ на столъ была подана нарѣзанная ломтями холодная отварная говядина съ горчицей, которую всѣ ѣли съ неимовѣрнымъ и далеко ея недостойнымъ аппетитомъ, такъ что на мою долю едва достался самый крошечный кусочекъ. Затѣмъ тотчасъ же послѣ этого ужина я откланялся и ушелъ домой, получивъ на прощанье приглашеніе приходить къ нимъ вмѣстѣ съ maman по воскресеньямъ обѣдать.

Очутясь на тихихъ, озаренныхъ луною улицахъ, я вздохнулъ полною грудью—и, глядя на открытую моимъ глазамъ съ полугоры грандіозную мѣстность Стараго Кіева, почувствовалъ, что все это добро зѣло... но не въ томъ положеніи, въ которомъ я былъ и къ которому готовился.

Прославляемая «практичность» матушки приводила меня въ нѣкоторое смущеніе и начала казаться мнѣ чѣмъ-то тягостнымъ и даже прямо враждебнымъ. Разсуждая о ней, я начиналъ чувствовать, что какъ будто этотъ бѣдный Сержъ тоже страдаетъ отъ этой хваленой практичности. Боже мой, какъ мнѣ это было досадно! Да и одинъ ли Сержъ? А отецъ, а я, а Христя?.. мнѣ показалось, что мы всѣ страдаемъ и будемъ страдать, потому что мы благородны, горячи, довѣрчивы и искренни, межъ тѣмъ, какъ она такъ практична!

Я былъ очень огорченъ всѣмъ этимъ и шелъ, опустивъ голову, какъ вдругъ изъ-за угла одного дома, мимо котораго пролегала моя дорога, передо мною словно выросли двѣ тѣни: они шли въ томъ же направленіи, въ которомъ надлежало идти мнѣ, и вели оживленный разговоръ.

Изъ этихъ двухъ тѣней одна принадлежала мужчинѣ, а другая женщинѣ—и въ этой послѣдней я заподозрѣлъ Христю, а черезъ минуту убѣдился, что я нимало не ошибся: это дѣйствительно была она. Но кто же былъ мужчина? О! одного пристальнаго взгляда было довольно: это былъ Сержъ.

Убѣдясь въ этомъ, я почувствовалъ, что у меня ёкнуло сердце, и уменьшилъ шагъ. Я сдѣлалъ это вовсе не съ цѣлью ихъ подслушивать, а для того, чтобы не сконфузить ихъ своимъ появленіемъ, но вышло все-таки, что я мимовольно учинился ближайшимъ свидѣтелемъ ихъ сокровеннѣйшей тайны,—тайны, въ которой я подозрѣвалъ суровое, жестокое, неумолимое участіе моей матери и... желалъ ей неуспѣха... Нѣтъ; этого мало: я желалъ ей болѣе чѣмъ неуспѣха и почувствовалъ въ душѣ злое стремленіе стать къ ней въ оппозицію и соединиться съ партіею, которая должна разстроить и низвергнуть всѣ систематическіе планы, сочиненные ея угнетающею практичностью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Первые звуки разговора, которые долетѣли до меня отъ этой пары, были какія-то неясныя слова, перемѣшанныя не то съ насмѣшкою, не то съ укоризной. Слова эти принадлежали Сержу, который въ чемъ-то укорялъ Христю и въ то же время самъ надъ нею смѣялся. Онъ, какъ мнѣ показалось, держалъ по отношенію къ ней тонъ нѣсколько покровительственный, но въ то же время не совсѣмъ увѣренный и смѣлый: онъ укорялъ ее какъ будто для того, чтобы не вспылить и не выдать своей душевной тревоги.

Христя отвѣчала совсѣмъ иначе: въ голосѣ ея звучала тревога, но рѣчь ея шла съ полнымъ самообладаніемъ и увѣренностію, которыя дѣлали всякое ея слово отчетливымъ, несмотря на то, что она произносила ихъ гораздо тише. Начавъ вслушиваться, я хорошо разобралъ, что она увѣряла своего собесѣдника, будто не имѣетъ ни на кого ни въ чемъ никакой претензіи; что она довольна всѣми и сама собой, потому что поступила такъ, какъ ей должно было поступить.

Сержъ опять искусственно разсмѣялся.

— Что же? я радуюсь, что ты такъ веселъ, — молвила въ отвѣтъ на это Христя, но мнѣ показалось, что эта неумѣстная веселость ее обидѣла, и она тихо сняла руку съ его локтя.

— Зачѣмъ же ты отнимаешь у меня свою руку?— спросилъ Сержъ.

Христя промолчала.

— Слышите ли вы, Харитина Ивановна?—повторилъ онъ

шутливо:—я васъ спрашиваю: зачѣмъ вы отнимаете у меня свою руку?

— Такъ намъ обоимъ удобнѣе идти, чтобы не сбить другъ друга въ грязь.

— Это острота, или каламбуръ?

— Право, ни то, ни другое, Сержъ, и вы бы, мнѣ кажется, могли повѣрить, что мнѣ едва ли до остротъ.

— Но кто же, кто всему этому виноватъ?—вскричалъ нетерпѣливо Сержъ.

— Никто не виноватъ! все это идетъ само собою такъ, какъ ему должно быть.

— Мать моя, наконецъ, вѣдь согласна на нашу свадьбу. Что же еще тебѣ нужно?

Христя молчала.

— Неужто тебя могутъ останавливать или стѣснять глупые толки этого кабана моего дяди или моихъ дуръ тетушекъ? Гдѣ же твои увѣренія, что тебя не можетъ стѣснять ничье постороннее мнѣніе? Ты, значитъ, солгала, когда говорила, что любишь меня и тебѣ все равно хоть бы весь міръ тебя за это возненавидѣлъ...

Христя снова промолчала и ступала тихо и потерянно глядя себѣ подъ ноги.

— Между тѣмъ, мнѣ кажется, я сдѣлалъ все, — продолжалъ Сержъ: — ты желала, чтобы я помирился съ тетками, и я для тебя помирился съ этими сплетницами... И даже болѣе: ты хотѣла, чтобы въ теченіе года, какъ мы любимъ другъ друга, съ моей стороны не было никакой рѣчи о нашей свадьбѣ. Я зналъ, что это фантазія; вамъ угодно было меня испытывать, удостовѣряться: люблю ли я васъ съ такою прочностію, какой вы требуете?

— Да, Сержъ.

— И что же? какъ это мнѣ ни казалось вздорнымъ...

— Нѣтъ, это не вздоръ,—перебила тихо Христя.

— Ну, и прекрасно, что не вздоръ,—и я все это исполнилъ: цѣлый годъ я не говорилъ тебѣ объ этомъ ни одного слова (Христя вздрогнула). Наконецъ,—продолжалъ Сержъ:— когда по прошествіи этого года моего испытанія, мать моя по своимъ барскимъ предразсудкамъ косо смотрѣла на мою любовь и не соглашалась на нашу свадьбу, ты сказала, что ни за что не пойдешь за меня противъ ея воли; я и это устроилъ по-твоему: мать моя согласна. Ты теперь не мо-

жешь сказать, что это не вѣрно, потому что она сама тебѣ объ этомъ писала, даже болѣе: она лично говорила объ этомъ твоему отцу; и, наконецъ, еще болѣе: я настоялъ, чтобы она сама была у васъ, и она одолѣла свою гордость и была у васъ, и была съ тобою какъ нельзя болѣе ласкова...

Христя перебила его—и, протянувъ ему руку, произнесла:

— Да, благодарю тебя, Сержъ, это все правда: ты очень добръ ко мнѣ, и я не заслужила того, что ты для меня дѣлалъ.

— Нечего про то говорить: заслуживаешь ли ты или не заслуживаешь; когда люди любятъ другъ друга, тогда нѣтъ мѣста никакимъ счетамъ; — но рѣчь о томъ, что всему же на свѣтѣ должна быть мѣра и свой конецъ.

— Ахъ, да, и они для насъ уже исполнились.

— Ну, я этого не вижу, ты не идешь къ концу, а напротивъ, все только осложняешь.

— Нѣтъ, Сержъ.

— Какъ же нѣтъ? когда я уѣзжалъ отсюда недѣлю тому назадъ, ты просила меня вѣрить, что теперь уже все кончено и рѣшено, что я долженъ быть покоенъ, а тебѣ нужно только нѣсколько дней, чтобы выбрать день для нашей свадьбы; но прошелъ одинъ день — и я получаю отъ тебя письмо съ просьбою не пріѣзжать недѣлю сюда. Привыкнувъ къ твоимъ капризамъ, я смѣялся надъ этимъ требованіемъ, но, однако, и его исполнилъ. Въ эти восемь дней ты что-то писала maman... Что ты такое ей писала?

— Оставь это, Сержъ.

— Нѣтъ; я хотѣлъ бы это знать, что у тебя за тайны отъ меня съ моей матерью?

— Я ей кое въ чемъ открылась.

— Открылась? въ чемъ?

— Это моя тайна, Сержъ!

— «Открылась...» «тайна»... Господи, что за таинственность!

— Оставь это, Бога ради; я открыла ей мои душевные пороки.

— Изволь. Я не знаю, что заключалось въ твоемъ письмѣ; ты лжешь, что ты открыла какіе-то пороки, потому что твое письмо привело мать въ совершенный восторгъ. Я думалъ, какъ бы она съ ума не сошла; она цѣловала твое письмо, прятала его у себя на груди; потомъ обнимала

'меня, плакала отъ радости и называла тебя благороднѣйшею дѣвушкой и своимъ ангеломъ-хранителемъ. Неужто это все отъ открытія тобою твоихъ пороковъ?

Христя молча пошатнулась и схватилась рукою за стѣну.

— Что съ тобою,—спросилъ Сержъ.

— Ничего; я поскользнулась. Не обращай на это вниманія, продолжай, — меня очень интересуетъ, что говорила обо мнѣ твоя мать?

— Ничего болѣе, какъ она отъ тебя въ восторгѣ, и ни за что не хотѣла показать мнѣ твоего письма.

— Вотъ видишь ли, какъ хорошо я умѣю утѣшить!

— Да оно и должно бы быть все хорошо; но что же значитъ твое вчерашнее письмо, чтобы я не пріѣзжалъ еще двѣ недѣли, и твоя записка, которую я нашелъ у тетушки Ольги Ѳоминишны: что еще за капризъ или тайна, что ты не хочешь пускать меня къ себѣ въ домъ?

— Да, это тайна, Сержъ.

— Опять тайна!—новая, или все та же самая, что сообщалась матери?

— Почти та же самая.

— И ты ее, вѣроятно, рѣшилась мнѣ открыть?

— Да; я рѣшилась. Я хотѣла сдѣлать это, но не такъ скоро. Я хотѣла собраться съ силами, — но ты не послушалъ меня, пріѣхалъ—и мнѣ ничего не остается какъ сказать тебѣ все. Я знала, что ты пойдешь къ намъ и рѣшилась ждать тебя здѣсь... на дорогѣ.

Онъ пожалъ плечами и съ неудовольствіемъ произнесъ:

— Тайна съ открытіемъ на уличномъ тротуарѣ... Это оригинально!

— Да, Сержъ, да: оригинально, глупо, все что ты хочешь,—но здѣсь я открою ее, здѣсь или гдѣ попало, но не тамъ, не въ нашемъ домѣ, гдѣ меня оставляютъ силы, когда я подумаю о томъ, что я должна тебѣ сказать.

Сержъ остановился и выпустилъ ея руку.

— Нѣтъ, будемъ идти,—настояла Христя и, потянувъ его за руку, заговорила часто и скороговоркой: — между нами, Сержъ, все должно быть кончено... все... все... все... надежды, свиданія... любовь... Все и навсегда.

— Такъ ты это серьезно говоришь?

— Серьезно, Сержъ, серьезно; я не могу быть твоею женою...

я не могу поступить противъ твоей совѣсти... Да; противъ совѣсти, Сержъ, потому что я... я люблю другого, Serge.

И она вдругъ схватила обѣ его руки, жарко ихъ поцѣловала—и, поднявъ къ небу лицо, на которомъ луна освѣтила полные слезъ глаза, воскликнула: «Прости! прости меня!»—и бросилась бѣгомъ къ своему дому.

Молодой человѣкъ кинулся за нею—и, нагнавъ, ее остановилъ на калиткѣ.

Я не слыхалъ первыхъ словъ ихъ объясненія на этомъ пунктѣ, а когда я подошелъ, они уже снова разставались.

— И вы запрещаете мнѣ встрѣчаться съ вами?—спрашивалъ Сержъ.

— Да; я прошу... я не могу этого запретить, но я прошу объ этомъ, — отвѣчала Христя голосомъ, въ которомъ уже не было слышно недавняго волненія.

Онъ нѣсколько патетически произнесъ: «прощайте»—и, встряхнувъ ея руку, пошелъ назадъ.

Я прислонился за темный выступъ забора—и, пропустивъ его мимо себя, видѣлъ, какъ онъ остановился и, вздохнувъ, словно свалилъ гору, пошелъ бодрымъ шагомъ.

Христя еще стояла на порогѣ и все смотрѣла ему вслѣдъ. Мнѣ казалось, что она тихо и неутѣшно плакала, и я все хотѣлъ къ ней подойти и не рѣшался; а въ это время невдалекѣ за угломъ послышались голоса какой-то большой шумной компаніи, и на улицѣ показалось нѣсколько молодыхъ людей, въ числѣ которыхъ я съ перваго же раза узналъ Пенькновскаго. Онъ былъ очень веселъ—и, замѣтивъ въ калиткѣ женское платье Христи, кинулся къ ней со словами:

— Позвольте васъ одинъ разъ поцѣловать!

Калитка въ ту же минуту захлопнулась, и опомнившаяся Христя исчезла какъ разъ въ тотъ моментъ, когда я подскочилъ, чтобы защищать ее отъ наглости Пенькновскаго, который, увидя меня, весело схватилъ меня за руку и вскричалъ:

— Ага! а ты это, братъ, что тутъ по ночамъ дѣлаешь?

— Я провожалъ мою мать, — отвѣчалъ я, боясь, чтобы самое имя Христи не стало ему извѣстно.

— А-а! мать... Такъ это здѣсь была твоя мать?

— Да, моя мать.

— Да куда же это она шла? Развѣ это вашъ домъ?

— Нѣтъ не нашъ, а тутъ одна наша знакомая больна.

— Фу, чортъ возьми, какая глупость! И чего же это однако твоя мать стояла на калиткѣ?

— Она меня крестила.

— Крестила тебя! Это какіе пустяки! Ну, зачѣмъ... зачѣмъ она тебя крестила?

— На ночь. Она всегда меня креститъ.

— Ахъ, чортъ возьми! Но ты ради Бога же не говори ей, что это я къ ней подлетѣлъ.

Я далъ слово не говорить.

— А ты какъ думаешь: узнала она меня или нѣтъ?— безпокойно запыталъ Пенькновскій.

— Нѣтъ,— отвѣчалъ я:—я думаю, что она не узнала.

— И мнѣ кажется не узнала... довольно темно, да и я немножко пьянъ, а вѣдь я ей наговорилъ, что въ ротъ ничего не беру. Ты, однако, смотри: это поддерживай.

— Какъ же, непремѣнно!

— Да, а то это выйдетъ не по-товарищески. А у насъ, братъ, сейчасъ были какія ужасныя вещи! — и Пенькновскій, поотставъ со мною еще на нѣсколько шаговъ отъ своихъ товарищей, сказалъ о нихъ, что это все чиновники гражданской палаты и что у нихъ сейчасъ былъ военный совѣтъ, на которомъ открылась измѣна?

— Какъ измѣна? кто же вамъ измѣнилъ.

— Одинъ подлецъ дворянскій засѣдатель. Онъ подписалъ на революцію сто рублей и на этомъ основаніи захотѣлъ всѣми командовать. Мы его высвистали, и отецъ часъ тому назадъ выгналъ его, каналью. Даже деньги его выбросили изъ кассы, и мы ихъ сейчасъ спустимъ. Хочешь, пойдемъ съ нами въ цукерню: я угощу тебя сладкимъ тѣстомъ и глинтвейномъ.

Я поблагодарилъ его и отказался.

— Ну, какъ хочешь!—сказалъ Пенькновскій:—а то бы пошелъ и отлично бы накатились. Но все равно, иди домой и непремѣнно развѣдай завтра, узнала ли меня твоя мать— и если узнала, то побожись, что это не я.

— Пожалуй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Такъ, въ такой обстановкѣ и среди такихъ элементовъ я оріентировался въ живописномъ городѣ, который почи-

тается колыбелью просвѣщенія для всего русскаго народа,—и по стеченію обстоятельствъ, и по избранію моей матери въ теченіе десяти лѣтъ кряду былъ моею житейскою школою.

Это десять многознаменательныхъ для меня лѣтъ, окончательно сформировавшія мой характеръ.

Послѣ того, что я описалъ, я непосредственно заболѣлъ; поводомъ къ этому недугу, какъ матушка отгадала, дѣйствительно, была простуда, полученная мною во время куренія у форточки.

У меня сдѣлалась лихорадка и колотье въ ушахъ,—болѣзнь, конечно, не важная, но, однако, она мѣшала моимъ и служебнымъ, и учебнымъ занятіямъ. Первый блинъ шелъ комомъ: я только началъ уроки, только подалъ просьбу объ опредѣленіи меня на службу и сейчасъ же слегъ.

Въ это время, помимо болѣзни, со мною случилось еще двѣ непріятности: во-первыхъ, Кириллъ явился ко мнѣ прощаться, а какъ я тотчасъ не вставалъ съ постели, то его приняла матушка и дала ему рубль, и этимъ бы все могло благополучно и кончиться, но, тронутый этою благодатью, Кириллъ захотѣлъ блеснуть умомъ и, возмнивъ себя чѣмъ-то въ родѣ многоопытнаго Улисса, пустился въ повѣствованіе о томъ, какъ мы дорогой страждовали, и какъ онъ послѣ многихъ мелкихъ злоключеній былъ наконецъ подъ Королевцемъ крупно выпоронъ.

Услыхавъ изъ своей комнаты, что дѣло дошло до королевецкихъ происшествій, я чрезвычайно оробѣлъ, а когда матушка вдобавокъ къ этому еще спросила: за что же именно его такъ обидѣли,—страхъ мой уже не зналъ предѣловъ; но коварный мужиченко отлично нашелся. Немножко помямливъ и почесавшись, онъ съ достоинствомъ отвѣчалъ:

— Эхъ, государыня-матушка, если всю правду говорить, какъ передъ Богомъ,—то, вздохнувъ ко Всевышнему, ничего я больше за собою не знаю, какъ это Господь наказалъ меня за мое лакомство.

— За какое лакомство?—сказала maman.

— А что я о ту пору, лба не перекрестя, морковь ѣлъ.

Послѣ такого объясненія Кириллъ былъ отпущенъ, и эта бѣда сплыла, но зато, на мѣсто ея близилась другая: черезъ нѣсколько дней, во время самаго жестокаго пароксизма

лихорадки, въ домѣ получилось на мое имя письмо. Находясь въ нестерпимомъ жару болѣзни, я ничего не понялъ: ни адреса на конвертѣ, ни того, что̀ стояло на вынутомъ мною листкѣ; бумага трепетала въ моей рукѣ и строки тряслись и путались, а глаза ничего не видали. Тогда матушка, вынувъ изъ моихъ дрожащихъ рукъ это письмо, взглянула на первыя его строки и вся измѣнилась въ лицѣ, воскликнувъ:

— Боже мой! кто это смѣетъ тебѣ писать такое письмо?

— Что̀ тамъ такое, maman?—освѣдомился я, едва шевеля своими смягнущими губами.

— Письмо начинается со словъ: «Праотцевъ, ты дуракъ!»

«Плохо!»—подумалъ я, заключая, по слогу, что это вѣрно энергическая Тверь сносится съ вѣжливымъ Кіевомъ!

— Тебя бранятъ,—продолжала матушка, показывая мнѣ листокъ, на которомъ я теперь при новомъ толчкѣ, данномъ всѣмъ моимъ нервамъ, прочелъ нѣсколько болѣе того, что̀ было сказано: «Праотцевъ! ты дуракъ и подлецъ»... Дальше нечего было и читать: я узналъ руку Виктора Волосатина и понялъ, что это откликъ на мою борзенскую корреспонденцію къ его сестрѣ, потому что вслѣдъ за приведеннымъ привѣтствіемъ стояли слова: «Какъ смѣлъ ты, мерзавецъ, писать къ моей сестрѣ». Читая эти слова, я вспомнилъ, что ихъ точно такъ же читаетъ теперь и моя мать, и потому быстро разорвалъ письмо и, отвернувшись къ стѣнѣ, проспалъ цѣлыя сутки.

Когда я проснулся опять, былъ день въ той же передобѣденной порѣ, около которой вчера было получено тверское бранное посланіе. Къ этой порѣ у меня обыкновенно начинался лихорадочный пароксизмъ; но, однако, проснувшись теперь, я этого не ощущалъ. Тверская встрепка меня вылѣчила: я съ горя переспалъ болѣзнь.

Осмотрѣвшись, я увидалъ, что со мною въ комнатѣ никого нѣтъ, но невдалекѣ въ матушкиной комнатѣ шелъ тихій разговоръ. Этотъ разговоръ, который, впрочемъ, гораздо удобнѣе назвать медицинскимъ разсужденіемъ, происходилъ между maman и однимъ—въ то время очень молодымъ—университетскимъ профессоромъ и касался меня.

Матушка жаловалась, что я на ея взглядъ очень нервенъ и впечатлителенъ, и что она этого боится, а медикъ отвѣчалъ:

— Да нѣтъ, онъ довольно хорошо построенъ, но онъ на длинныхъ ножкахъ, а ужъ этакіе, разумѣется, всегда немножко валки.

— То-то, мнѣ кажется, онъ слабъ,—шептала maman.

— Да я вамъ и говорю: люди на длинныхъ ножкахъ всегда нѣсколько кволы. Коротоножки гораздо прочнѣе, но ужъ этого не передѣлаешь: кто на какихъ ножкахъ завденъ и пущенъ, тотъ на такихъ и ходитъ. Впрочемъ, будьте покойны: все хорошо, а я спѣшу заѣхать къ Льву Яковлевичу.

Maman спросила:—кто у нихъ боленъ?

— Кажется, всѣ вдругъ,—отвѣчалъ докторъ и добавилъ, что онъ былъ у нихъ ночью и теперь снова спѣшитъ, потому что тамъ весь домъ въ тревогѣ.

— Боже мой! что же это такое? а я не могу за болѣзнію сына ихъ навѣстить.

— Да и не спѣшите: тревога пустая и ничего опаснаго нѣтъ; вчера къ нимъ пріѣхалъ ихъ племянникъ Сержъ и разругалъ ихъ за что-то по правамъ родства.

— Ахъ, какая досада! они и такъ его не жалуютъ.

— Да, даже самого Льва Яковлевича назвалъ дикой свиньей, а съ тѣмъ отъ этого сдѣлался обморокъ; но то не важно: онъ на коротенькихъ ножкахъ и скоро поправится.

Съ этимъ докторъ взошелъ на прощанье взглянуть на меня—и какъ я притворился спящимъ, то онъ только указалъ матери на мои закрытыя одѣяломъ ноги—и, прошептавъ, что лучше было бы, если бы онѣ были покороче, уѣхалъ.

Между тѣмъ я во все это время съ напряженнымъ вниманіемъ разсматривалъ изъ-подъ своихъ рѣсницъ собственныя ноги врача и нашелъ, что онѣ у него чрезвычайно пропорціональны.

Освободясь отъ этого визита, я снова открылъ глаза и сталъ размышлять: дѣйствительно ли большая или меньшая длина ногъ можетъ имѣть такое важное вліяніе на судьбу человѣка, или же господинъ докторъ напираетъ на это только потому, что у самого у него прекрасныя ноги и ему выгодно обращать на нихъ косвеннымъ образомъ всеобщее вниманіе.

Въ эту самую минуту къ моему изголовью присѣла съ вязаньемъ въ рукахъ матушка и, взглянувъ на мое задумчивое лицо, спросила:

— О чемъ ты размышляешь, дитя мое?

Я сконфузился и покраснѣлъ.

— Если это секретъ, то не говори.

— Нѣтъ, maman, какой же секретъ!..

И я разсказалъ ей, что мнѣ пришло въ голову по поводу докторскаго разсужденія о ногахъ.

— Зачѣмъ же такъ думать?—отвѣчала maman:—нашъ докторъ очень хорошій и умный человѣкъ.

— Да; онъ мнѣ кажется слишкомъ практичный, maman.

— «Слишкомъ практичный»... что ты подъ этимъ разумѣешь?

— Онъ... онъ изъ тѣхъ людей, которые дѣлаютъ только то, что имъ пріятно или выгодно.

— Значитъ, по-твоему, быть практичнымъ все равно, что быть эгоистомъ?

— Да, maman... То-есть позвольте, я это хорошенько не обдумалъ.

— Такъ обдумай.

Матушка, не переставая работать длинными деревянными спицами своего филейнаго вязанья, сосчитала рядъ петель— и потомъ, не ожидая моего отвѣта, заговорила, что я сужу чрезвычайно односторонне и неправильно: что быть практичнымъ—это еще отнюдь не значитъ быть себялюбивымъ эгоистомъ; но что, кромѣ того, въ свѣтѣ часто безъ разбора называютъ *практическими* людей, которые просто *разумны* и поступаютъ умно не вслѣдствіе большой практики, а вслѣдствіе хорошей обдуманности и яснаго пониманія дѣла. Она мнѣ, какъ профессоръ, разъяснила, что *практически* можно знать опредѣленное число тѣхъ вещей, въ которыхъ человѣку прежде уже довелось имѣть опытъ, а *разумно* постигать можно все доступное разумѣнію всесторонникъ свойствъ предмета, среды дѣйствія и условій времени и мѣста. И вслѣдъ затѣмъ maman, какъ будто пожелавъ еще болѣе пояснить сказанное мнѣ живымъ примѣромъ, улыбнулась и добавила:

— Вотъ, напримѣръ, когда ты шелъ въ головѣ цѣловавшихъ дамамъ ручки кадетъ или писалъ письмо о своемъ душевномъ состояніи, ты былъ *непрактиченъ*,—ты это сдѣлалъ потому, что не зналъ, что это не принято и не дѣлается.

— Да, maman, да,—увѣряю васъ, что потому.

— Ну да, и вотъ потому-то это, не заключая въ себѣ ничего особенно дурного и глупаго, только непрактично; а твой тверской товарищъ, который прислалъ тебѣ обидное письмо за твою ласковость, сдѣлалъ гораздо худшій поступокъ—уже непрактическій, а неблагоразумный: онъ тебя обижаетъ за то, что ты ласкаешься... Это обозначаетъ плохую голову и нехорошее сердце...

— Онъ свѣтскій, maman.

— Не думаю: свѣтскіе люди стараются быть сдержанными; а люди практическіе—если хотятъ кого обидѣть, то не бранятся съ первыхъ строкъ, потому что тогда благоразумные люди далѣе не читаютъ. Кстати, извини меня: я бросила это глупое письмо въ печку.

Я обнялъ матушку и припалъ головою къ ея плечу.

Меня обуревали самыя смѣшанныя чувства: я былъ радъ, что ненавистное письмо, котораго я такъ долго ждалъ и опасался—теперь мнѣ уже болѣе не страшно; я чувствовалъ приливъ самыхъ теплыхъ и благодарныхъ чувствъ къ матери за деликатность, съ которою она освободила меня отъ тяжкихъ самобичеваній за это письмо, представивъ все дѣло совсѣмъ не въ томъ свѣтѣ, какъ оно мнѣ представлялось,— а главное: я ощущалъ неодолимые укоры совѣсти за тѣ недостойныя мысли, какія я, было, началъ питать насчетъ материнаго характера. Я видѣлъ, что она добрая и благоразумная, а совсѣмъ не *практическая*, какъ о ней толкуютъ,—и мнѣ ее стало безконечно жалко. Я прижался къ ней еще тѣснѣе и прошепталъ:

— Простите меня, maman!

Она взяла мое лицо въ обѣ свои руки и спросила:

— Въ чемъ, дитя мое?

— Maman, мнѣ это страшно сказать вамъ.

Матушка, видимо, встревожилась, а когда я къ этому прибавилъ, что вина моя заключается въ моемъ легкомыслiи, съ которымъ я позволилъ себѣ осуждать ее въ своемъ умѣ,—она даже поблѣднѣла и не могла произнесть ни одного слова.

Въ моихъ мысляхъ мелькнулъ Филиппъ Кольбергъ, и я увидалъ, что началъ пренеловкую рѣчь и поспѣшилъ поправиться.

— Maman, я роптalъ на васъ: вы мнѣ казались очень практичными,—проговорилъ я, потупивъ глаза.

— Вотъ что!

И матушка приподняла мою голову, посмотрѣла мнѣ въ глаза—и, спокойно улыбнувшись, обняла меня и прижала къ сердцу.

Я слышалъ, какъ это сердце билось, и чувствовалъ, что оно бьется для меня, межъ тѣмъ какъ если бы оно было практичнѣе—ему никто не смѣлъ бы помѣшать воспользоваться своимъ правомъ биться еще для кого-нибудь другого, и при этой мысли я опять почувствовалъ Филиппа Кольберга,—онъ вдругъ изъ какого-то далека насторожилъ на меня свои смѣлые открытые глаза, которыхъ я не могъ ничѣмъ прогнать—и только въ ревнивомъ страхѣ сжалъ матушку и въ отвѣтъ на ея ласки шепталъ ей:

— Maman, другъ мой! вы моя самая умная, самая добрая мать. Скажите же мнѣ, что вы меня простили.

— Ото всего сердца прощаю и извиняю.

— «Прощаю и извиняю», подумалъ я... Отчего не просто прощаю?

— О чемъ ты задумался?—спросила maman.

Я не вытерпѣлъ и отвѣчалъ:

— Я думаю о томъ, maman, зачѣмъ вы прибавили, что не только прощаете, но и извиняете меня. Развѣ это не все равно?

Она опять улыбнулась и сказала:

— Нѣтъ, это не все равно: прощеніе дается даромъ по снисходительности того, кто прощаетъ; а извиненіе вызывается причинами, которыя заставляютъ не считать вину виною. Но ты, однако, очень пытливъ—это хорошее качество, оно можетъ вести къ широкому разумѣнію; но надо чтобы при этомъ не было безпокойнаго воображенія, которое всегда ведетъ къ напраснымъ тревогамъ и ошибкамъ.

Все это для меня было чрезвычайно ново—и я съ восторгомъ чувствовалъ, что матушка вводитъ меня въ сознаніе простыхъ, но важныхъ житейскихъ истинъ, и гордился ею самою и ся умомъ. Въ самомъ дѣлѣ, каждое изъ ея словъ раскрывало передо мною въ самой малой вещи весьма сложныя идеи, объясненіе которыхъ было мнѣ чрезвычайно пріятно: я вкушалъ въ эти минуты священную сладость просвѣщенія ума и сердца. Относясь еще вчера весьма пассивно къ матушкиному проекту моихъ усиленныхъ научныхъ занятій, я теперь уже осуждалъ себя за это равнодушіе—

и теперь самъ страстно желалъ учиться и учиться не для чего-нибудь корыстнаго, не для чиновъ, не для званій или денежныхъ выгодъ, а именно для самихъ знаній, для постиганія всего того, что при незнаніи и необразованности проходитъ у человѣка незамѣченнымъ и ничтожнымъ, межъ тѣмъ какъ при глубокомъ разумѣніи жизни въ ней все такъ осмысленно, такъ послѣдовательно, причинно и условно, что можно властвовать жизнью, а не подчиняться ей. Однимъ словомъ: задушевный, хотя какъ всегда сдержанный, разговоръ, который я имѣлъ съ матушкою въ этотъ вечеръ, оставилъ своимъ слѣдствіемъ то, что во мнѣ вспыхнула жажда знаній—и я съ этихъ поръ безъ перерыва много лѣтъ сряду рыскалъ и шарилъ вездѣ, гдѣ надѣялся найти какое-нибудь новое знаніе.

Я не дожидался полнаго моего выздоровленія—и прежде чѣмъ недовольный моими ногами докторъ разрѣшилъ мнѣ выходить изъ моей комнаты, я доставилъ maman и Ивану Ивановичу Альтанскому случай не разъ повторить мнѣ, что оба они мною очень довольны. Мое прилежаніе и быстрота, съ которою я одолѣвалъ самимъ мною выпрашиваемые и удвоиваемые себѣ уроки, приводили и maman, и профессора въ удивленіе. О напоминаніяхъ учиться не бывало и рѣчи, и я уже слышалъ только одни удерживанья.

— Не спѣши, мой другъ, не спѣши,—говорилъ мнѣ, самодовольно улыбаясь, Альтанскій.—Не опережай времени. Успѣемъ: ты еще молодъ для серьезныхъ занятій.

— У тебя ноги длинны, всего вдругъ не поднимешь,—шутила на ту же тему maman.

Но я ничему этому не внималъ и погрузился въ книги и ученье какъ мышь въ кадку съ мукою, откуда выглядывалъ на свѣтъ Божій робко, изрѣдка, съ застѣнчивою дикостью и большою неохотою. Притомъ же, удерживая сравненіе себя съ утонувшею въ мукѣ мышью, я долженъ сказать, что, найдя вкусъ и удовольствіе въ занятіяхъ науками, я и наружу выглядывалъ какъ бы обсыпанная мукою мышь, и уже въ столь ранніе мои годы началъ казаться изрядным чудакомъ. Но буду по возможности держаться въ своемъ повѣствованіи порядка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Выздоровѣвъ, я немедленно опредѣлился на службу, но о

службѣ моей я не стану распространяться: это была канцелярская служба, какъ большинство службъ этого рода, то-есть служба весьма необременительная—и для меня, какъ для «генеральскаго родственника», даже совсѣмъ легкая. Самъ генералъ не обращалъ на меня ни малѣйшаго вниманія, а ближайшее мое начальство (купно до столоначальника) всячески мнѣ вольготило, конечно не потому, чтобы тѣмъ хотѣли сберечь мнѣ мое время для другихъ болѣе пріятныхъ и полезныхъ занятій, а съ другою цѣлію, которой я тогда не понималъ. Чиновники, мѣряя меня на свой аршинъ, предполагали во мнѣ опаснаго конкурента на должности и потому заботились не допускать меня до ближайшаго изученія тайнъ канцелярской науки. Я обыкновенно переписывалъ каждый день на-бѣло двѣ-три бумаги и затѣмъ всегда съ большимъ удовольствіемъ уходилъ домой, гдѣ меня ожидали добрые друзья и научныя занятія, которымъ я, какъ выше сказано, неустанно предавался съ страстнымъ увлеченіемъ, и, разумѣется, содержалъ это въ полнѣйшемъ секретѣ отъ моихъ служебныхъ товарищей, съ которыми, впрочемъ, вообще я не имѣлъ ничего общаго кромѣ встрѣчъ въ канцеляріи.

Генералъ Левъ Яковлевичъ, въ началѣ моего служебнаго поприща, раза два освѣдомлялся обо мнѣ, что я дѣлаю; но потомъ такая внимательность ему, вѣроятно, надоѣла—и онъ уже болѣе никогда не интересовался моими служебными успѣхами. Матушка это видѣла, но зная, что мнѣ еще рано служить и что я служу, только подчиняясь моей суровой долѣ, она даже радовалась, что я пребывалъ внѣ всякихъ надеждъ на повышеніе по службѣ, но зато ничего и не заимствовалъ и не усвоивалъ себѣ изъ той чиновничьей среды, въ которую меня довольно надолго забросила житейская волна.

Знакомствъ мы никакихъ не дѣлали, какъ потому, что жили на весьма ограниченныя средства, такъ и потому, что не чувствовали въ нихъ ни малѣйшей надобности. Изъ дома мы выходили чрезвычайно рѣдко—и то только развѣ къ генералу Льву Яковлевичу, который, имѣя нѣкоторыя фамусовскія черты, требовалъ, чтобы я у него по праздникамъ обѣдалъ, что мнѣ, впрочемъ, всегда было сущимъ наказаніемъ. Матушку же туда довольно часто вызывали, но это тоже дѣлалось не по любви и расположенности къ ней,

а въ цѣляхъ весьма практическихъ, такъ какъ воинственный статскій генералъ, зная, что матушка была дружественно знакома съ домомъ барона К., у котораго Левъ Яковлевичъ служилъ въ маленькомъ чинѣ, конфузился ея и при ней не позволялъ себѣ дебошировать въ той степени, до которой онъ порой доходилъ въ своей семьѣ, находясь на свободѣ безъ посторонннихъ свидѣтелей. При этомъ я хочу замѣтить, что онъ однако никогда не дрался, а только шумѣлъ, гремѣлъ, стучалъ кулаками, источая потоки самой находчивой брани, называя больную жену «мокробіотикой», старшую дочь «уродомъ», а свояченицу «чортовой перечницей» и другими сему подобными лестными кличками. При maman онъ такъ не ругался.

Матушка очень тяготилась необходимостью посѣщать этотъ домъ, но, однако, не отказывалась—сколько по своей добротѣ и миролюбію, столько же и потому, что считала нужнымъ удерживать эти отношенія для моей пользы. Другой домъ, гдѣ мы бывали, былъ домъ Альтанскихъ: сюда мы ходили съ удовольствіемъ, но гораздо рѣже, потому что и профессоръ, и его дочь (романъ которой и до сихъ поръ остается неразъясненнымъ въ моихъ запискахъ) были ежедневно у насъ. Совмѣстныя занятія науками, совмѣстная задушевная, умная и пріятная бесѣда у камина и совмѣстный чай, а потомъ легкій ужинъ ломтемъ холоднаго мяса—были нашимъ режимомъ, въ которомъ мы сблизились и слились до неразрывнаго душевнаго согласія, взаимной привязанности и единства.

Въ этомъ тѣсномъ кружкѣ намъ не нужно было никакого болѣе просторнаго міра, хотя мы отсюда часто обозрѣвали весь міръ и передвигали передъ собою его картины при различныхъ освѣщеніяхъ. Въ характерѣ нашихъ бесѣдованій было замѣчательно то, что лица въ нашихъ разговорахъ играли относительно очень небольшую роль; мы почти никогда не говорили о *комъ*-нибудь, а всегда о *чемъ*-нибудь—и потому разговоръ нашъ получалъ форму не осужденія, а разсужденія, и черезъ это бесѣдѣ сообщался спокойный, философскій характеръ, незамѣтно, но быстро давшій моему уму склонность къ изслѣдованію и анализу.

Отправленіе въ каждой бесѣдѣ отъ живыхъ и часто повидимому ничтожныхъ явленій частной жизни къ вопросамъ общаго значенія—дѣлало эту бесѣду столь легкою и доступ-

ною, что я—самый младшій и невоспитанный членъ нашего кружка,—самъ не замѣтилъ, какъ началъ свободно понимать все, что̀ мнѣ доводилось слышать, и чувствовалъ себя въ силахъ ставить иногда болѣе или менѣе умѣстно свое слово. Если мнѣніе мое не служило къ разъясненію вопроса, то оно нерѣдко было поводомъ къ указанію небывшаго до тѣхъ поръ на виду возраженія со стороны непросвѣщеннаго разума.

Голосъ мой въ своемъ родѣ былъ нѣчто въ родѣ *голоса изъ толпы*, на который всегда давался терпѣливый и разумный отвѣтъ, всегда шедшій мнѣ—представителю толпы—на добрую потребу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Первое что̀ мнѣ припоминается — это бесѣда въ тотъ самый вечеръ, когда между мною и матушкою произошло сердечное примиреніе послѣ моихъ мысленныхъ противъ нея раздраженій.

Мы сидѣли въ полномъ сборѣ всѣ вчетверомъ, то-есть я, еще немножко больной и помѣщавшійся въ глубокомъ креслѣ, моя maman, профессоръ и его дочь, которая появилась къ вечеру съ нѣсколько блѣднымъ, но твердымъ лицомъ.

Матушка, наливъ всѣмъ намъ чаю, молвила, что у нея сегодня очень радостный день, — что она сегодня сдѣлала дорогую находку или пріобрѣтеніе.

— Развѣ вы выходили сегодня?—спросила ее Христя.

— Нѣтъ, не выходила: я нашла мою находку у себя дома.

— Что же это такое?

Матушка отвѣчала, что она нашла сердце своего сына и пріобрѣла его довѣріе.

Я покраснѣлъ.

— Но развѣ его сердце не всегда вамъ принадлежало?— продолжала Христя.

— Да; онъ меня любитъ и онъ былъ *увѣренъ* въ моей любви, но съ сегодняшняго дня все, что̀ мнѣ принадлежало отъ него *по вѣрѣ*, онъ отдалъ мнѣ *по убѣжденію*. Это мнѣ очень дорого — и я высоко буду цѣнить этотъ день. Это мой праздникъ.

Я покраснѣлъ еще болѣе.

— Не стыдись, пожалуйста, моей благодарности,—продолжала maman: — я знаю, что присутствовать на своей соб-

ственной цензурѣ очень непріятно, особенно когда насъ въ глаза хвалятъ; но я все это говорю не въ похвалу тебѣ, а просто открываю тебѣ мою высшую радость. Пріобрѣсти твою откровенность—это все, чего я могла желать и молить у Бога, и Онъ все это далъ мнѣ.

Я смутился: на душѣ моей лежала цѣлая тьма тайнъ, которыхъ я не открылъ и не рѣшился бы открыть моей матери; но эти ея слова, послуживъ мнѣ укоромъ, возбудили во мнѣ такой азартъ покаянія, что я заговорилъ:

— Нѣтъ, maman, я вамъ еще не все открылъ! И затѣмъ я началъ порывисто и страстно при всѣхъ приносить подробное покаяніе во всѣхъ моихъ путевыхъ проступкахъ, не умолчавъ даже о томъ, что встрѣтилъ подъ ярмарочными шатрами въ Королевцѣ женщинъ и послѣ того не могъ помыслить: какъ я предстану матери и обниму ее.

Это сдѣлалось такъ внезапно, что неприготовленные къ тому Альтанскіе скромно потупили глаза, а Христя даже хотѣла выйти; но maman остановила ее за руку и, склонивъ голову, внимательно и, казалось, покойно слушала мою исповѣдь.

Когда я кончилъ и заключилъ словами:

— Maman, прошу васъ, перемѣните обо мнѣ ваше доброе мнѣніе,—я его не стою...

Матушка помолчала минуту, а потомъ начала спокойнымъ и ровнымъ голосомъ:

— Нѣтъ, если ты открылъ все это съ тѣмъ, чтобы не возвращаться къ тому, въ чемъ ты осудилъ себя, то ты стоишь добраго мнѣнія.

— О да, maman, я гнушаюсь моимъ прошлымъ!

— Поди же и обними меня.

Это былъ такой краснорѣчивый отвѣтъ на мое сомнѣніе о правѣ обнять ее, что я кинулся ей на шею и, обнявъ ее, зарыдалъ.

— Перестаньте: вамъ еще вредно такъ сильно волноваться! — прозвучалъ въ это время надо мною нѣжный голосъ Христи, и когда я, услыхавъ этотъ голосъ, поднялъ свое лицо, добрая дѣвушка и мать обняли меня и обѣ поочередно поцѣловали.

Эти чистые поцѣлуи были цѣленіемъ отъ моей королевецкой проказы—и притомъ какимъ святымъ и плодотворнымъ цѣленіемъ! Ими одинъ порокъ былъ навсегда опозоренъ передо мною и вырванъ изъ моего сердца.

— Еще, maman,—продолжалъ я въ своемъ покаянномъ азартѣ:—я долженъ васъ предостеречь: я скрылъ отъ васъ, что мой товарищъ Пенькновскій совсѣмъ не такой, какимъ онъ себя вамъ представилъ: онъ меня ни отъ чего не удерживалъ.

Но матушка остановила меня знакомъ и не позволила болѣе разсказывать.

— Я все это считала возможнымъ,—сказала она: — но твоего товарища осуждать нельзя — этотъ бѣдный молодой человѣкъ живетъ безъ добраго руководства.

— Колеблемая вѣтромъ трость, — тихо поддержалъ Альтанскій и, вынувъ изъ кармана круглую табакерку, отошелъ съ нею къ окну, добавивъ:—панское сердечко — шляхетска кровь.

— Да; къ тому же онъ имѣетъ несчастіе быть полякомъ и потому заслуживаетъ извиненія,—подсказала maman.

Помня недавній разговоръ о значеніи словъ *прощать* и *извинять*, я тотчасъ же поспѣшилъ вдуматься: почему польское происхожденіе можетъ заставить не только *прощать* пороки по милости, но даже извинять ихъ по какому-то праву на снисхожденіе, и я рѣшительно недоумѣвалъ, но матушка мнѣ это тотчасъ разъяснила.

— Поляки потеряли свою самостоятельность, — продолжала она:—а выше этого несчастія нѣтъ; всѣ народы, теряя свою государственную самостоятельность, обыкновенно теряютъ доблести духа и свойства къ его возвышенію. Такъ было съ великими греками, римлянами и евреями, и теперь то же самое на нашихъ глазахъ происходитъ съ поляками. Это ужасный урокъ.

— Да; сей урокъ учитъ любить свой народъ, дабы не видать его въ униженномъ удѣлѣ побѣжденныхъ,—вмѣшался Альтанскій.

— Вы прекрасно сказали,—отозвалась мать и добавила:— но мнѣ кажется, что этотъ урокъ тоже учитъ и снисхожденію, какое вызываетъ участь побѣжденныхъ?

— Да, да; тоже и этому. Fortuna belli artem victas quoque docet.

— Но позвольте, maman,—заговорилъ я:—я, право, не знаю; какъ мнѣ быть; но мнѣ кажется, что я не долженъ отъ васъ скрывать, что Пенькновскій сказалъ мнѣ, будто они хотятъ дѣлать революцію.

Maman сдвинула брови и переспросила меня, такъ ли я ей выразился; а когда я повторилъ ей мои слова, она сухо отвѣтила, что это непремѣнно вздоръ.

— И на что имъ революція?

— Не знаю, говорю, maman: они, кажется, хотятъ сдѣлать республику.

— Республика!.. Какая можетъ быть республика у пустыхъ и глупыхъ людей?

— Не знаю, maman, но онъ мнѣ говорилъ, что будетъ такая республика, гдѣ король и публика.

Мать промолчала, но профессоръ, сильно зарядивъ носъ табакомъ, проговорилъ съ легкою насмѣшкою:

— Республика — гдѣ король и публика, а республиканція—гдѣ нѣтъ королю ваканціи.

Мнѣ показалось, что профессоръ слегка шутилъ не надъ однимъ Пенькновскимъ, но и надъ словами матери, которая тоже сдѣлалась съ нимъ на нѣсколько минутъ суше, чѣмъ обыкновенно, и сказала, что, обращая все въ шутку, можно довести до того, будто польская республика была не что иное, какъ котлета съ горошкомъ, которую скушали и ея какъ не бывало.

— Нѣтъ, доказать, что ея какъ не бывало, невозможно,— отвѣчалъ профессоръ:—потому что кто ее скушалъ, тѣ отъ этого располнѣли; но можно доказать, что пустые люди, принимаясь за хорошую идею, всегда ее роняютъ и портятъ.

Съ этимъ профессоръ простился, оставивъ матушку примиренною съ его мнѣніемъ, а меня съ открытіемъ, что и онъ, и мать моя въ душѣ республиканцы и притомъ гораздо большіе, чѣмъ Пенькновскій, но совсѣмъ не такіе, какъ онъ и его заговорщики.

Я не понималъ, что бы такое моя мать и Альтанскій могли сдѣлать для *великой идеи*, но былъ увѣренъ, что они бы ее ни за что «не уронили и не испортили».

Впослѣдствіи я убѣдился, что соображенія мои вѣрны, и притомъ, изучая характеры и взгляды этихъ лицъ, я открылъ, что у матушки были передъ профессоромъ значительныя преимущества возвышеннаго, но пылкаго духа, тогда какъ профессоръ относился ко всему съ спокойнымъ величіемъ мудреца. Эта разность въ характерахъ порождала между ними легкія столкновенія, разрѣшавшіяся чрезвычайно своеобычно. Когда матушка высказывала мысли, подобныя тѣмъ,

какія мною приведены выше по поводу разговора о Пенькновскомъ, профессоръ обыкновенно отходилъ съ своею табакеркою къ окну и, казалось, думалъ совсѣмъ о другомъ, но, уловивъ какое-нибудь одно слово, вдругъ подбиралъ къ нему болѣе или менѣе удачную риѳму и отзывался шутливо въ стихотворной формѣ, въ родѣ:

«Въ республиканціи, нѣтъ королю ваканціи»

Такъ какъ онъ употреблялъ этотъ пріемъ, очевидно, съ добродушною ироніею надъ всѣмъ слышаннымъ, то матушкѣ это не очень нравилось — и она, при всемъ своемъ самообладаніи въ подобныхъ случаяхъ, обнаруживала легкое раздраженіе. Вообще же, хотя maman отзывалась объ Альтанскомъ не иначе какъ съ величайшею похвалою, я чувствовалъ, что всѣ ея похвалы относятся только къ ея свѣтлому уму, непререкаемой честности и большимъ свѣдѣніямъ, но что въ немъ было нѣчто такое, что ей не совсѣмъ нравилось, и что если бы отъ нея зависѣло отлить человѣка въ идеальную форму, то этой формой не во всемъ послужилъ бы избранный ею мнѣ наставникъ.

Альтанскій былъ ученый бурсакъ, матушка—просвѣщенная баронесса: эта разница лежала между ними всегда при всемъ видимомъ сходствѣ ихъ убѣжденій и при несомнѣнномъ другъ къ другу уваженіи. Старый ученый считалъ мою мать женщиною выходящею далеко вонъ изъ ряда, но... все-таки иногда давалъ ей свои риѳмованные отвѣты, смыслъ которыхъ обозначалъ, что онъ считаетъ то или другое ея положеніе недостойнымъ отвѣта болѣе серьезнаго.

Между тѣмъ, они были друзьями—и это меня чрезвычайно удивляло, такъ какъ я имѣлъ совсѣмъ иное понятіе о взаимномъ отношеніи дружественныхъ между собою людей.

Совсѣмъ не то установилось въ отношеніяхъ Альтанскаго ко мнѣ и въ отношеніяхъ моей матери къ Христѣ. Профессоръ, окончивъ со мною урокъ, часто и подолгу еще оставался за тѣмъ же столомъ и бесѣдовалъ со мною. Окончивъ занятія въ формѣ строго-научной, онъ давалъ мнѣ сладчайшую умственную пищу, продолжая разговоръ о томъ же предметѣ въ формѣ легкой и пріятной, всегда вызывающей на размышленія и дающей для нихъ обильную пищу. И здѣсь уже не было никакого мѣста риѳмоплетенію, если только maman не вмѣшивалась въ дѣло; но всякое болѣе или менѣе продолжительное вмѣшательство съ ея стороны—

тотчасъ же вызывало у профессора наружу и его стихи, и его табакерку.

Maman это замѣтила—и въ противность своему обѣщанію перестала присутствовать при нашихъ урокахъ, а потомъ предложила, чтобы я для бо́льшаго удобства Альтанскаго самъ ходилъ къ нему на домъ, что̀ и мнѣ самому было чрезвычайно пріятно, такъ какъ дома у себя старикъ былъ еще дружественнѣе и сообщительнѣе. Уроки шли долго, но мнѣ казалось, что время за ними летѣло на крыльяхъ; а бесѣды, которыми Альтанскій заключалъ эти уроки, портили все расписаніе часовъ, сдѣланное для меня матушкою. Французскому и англійскому языку оставалось очень немного часовъ, потому что почти все вечернее время, послѣ занятій съ Альтанскимъ классиками, я проводилъ у него, унося восторженными мечтаніями во времена давно минувшія, въ міръ великихъ мудрецовъ и доблестныхъ героевъ. Христя въ эти самые часы обыкновенно брала свои музыкальные уроки и потомъ занималась съ maman по-англійски, а мы съ старикомъ оставались двое въ его оригинальномъ бо́льшомъ кабинетѣ, куда не допускался никто изъ непосвященныхъ, хотя бы даже для того, чтобы обместь пыль, которая лежала на всемъ густыми слоями или висѣла космами. Альтанскій никому не дозволялъ нарушать тотъ безпорядокъ, въ которомъ онъ одинъ, къ неописанному моему удивленію, всегда быстро умѣлъ находить все, что̀ ему было нужно.

Я позволю себѣ, въ виду сверкающихъ сѣдинъ, еще на минуту завернуть въ этотъ задумчивый и пыльный кабинетъ, куда я прятался отъ людей, чтобы лучше ихъ видѣть и понимать.

Мы садились здѣсь за свои занятія часъ спустя послѣ обѣда и выходили отсюда, когда Богъ полагалъ на сердце.

Заходило солнце, спускались сумерки, восходила луна и серебристый свѣтъ ея тихо ложился на пыльный, до полу покрытый толстымъ фризомъ и заваленный фоліантами столъ, а мы все бесѣдовали. Я гдѣ-нибудь сидѣлъ въ углу, а сухой старикъ ходилъ—и ровною благородною ораторскою рѣчью повѣствовалъ мнѣ о дѣяніяхъ великихъ людей Греціи, Рима и Карѳагена. И я все это слушалъ—и слушалъ часто весь дрожа и замирая отъ страстнаго волненія.

Однажды, весь взволнованный разсказомъ Альтанскаго о

судѣ надъ Сократомъ и весь преисполненный гнѣва и досады, я сорвался съ мѣста и схватилъ Альтанскаго за руку, какъ бы желая его остановить, но онъ спокойно обнялъ меня своею другою рукою и увлекъ впередъ. Мы ходили обнявшись — и бесѣда не прекращаясь лилась и лилась своей чередою.

— Ты дрожишь, — сказалъ онъ въ заключеніе, обратясь ко мнѣ и впервые заговоривъ со мною на *ты*. — Ты дрожишь отъ негодованія на людскую несправедливость: слагай это въ своемъ сердцѣ.

— Я этого не позабуду,—отвѣчалъ я, сжимая до крови ногтями грудь подъ сорочкой.

Старикъ остановился и, посмотрѣвъ на меня, спросилъ:

— Какого духа ты теперь исполненъ?

— Я умереть хочу за справедливость,—прошепталъ я.

— О, добрый юноша!—воскликнулъ старикъ: — справедливость покуда лишь *хорошая идея*, осуществленія которой въ толпѣ нѣтъ точно такъ же, какъ не можетъ ея быть у тирана. Смирись передъ этимъ—и поди въ кухню и поставь самоваръ.

И когда я пошелъ буквально исполнить то, что мнѣ сказано, старикъ уснулъ—и я засталъ его спящимъ на диванѣ, всего озареннаго янтарными лучами заходящаго солнца.

«Такъ-то миренъ закатъ твой! — подумалъ я: — каковъ-то задастся онъ мнѣ?»—и при этомъ мнѣ вдругъ чудилось, что мнѣ еще куда-то надо сбѣжать отсюда до заката; въ открытую форточку врывалась свѣжая струя и куда-то манила... Куда?.. Но я отвращался отъ этой взманы и учился, учился все больше и служилъ моему учителю все покорнѣе и смиреннѣй. Я съ какимъ-то сладкимъ раболѣпствомъ исполнялъ при немъ разныя послуги: ходилъ покупать ему нюхательнаго табаку, бѣгалъ на Подолъ за особыми булками, которыя ввечеру выносили на базаръ двѣ извѣстныя въ то время кіевскія пекарки, Поднебесная и Красовна, и аккуратно чистилъ клѣтку его сѣдого бердичевскаго соловья.

Зато и самъ Альтанскій не чинился со мною — и въ то время, какъ употреблялъ меня вмѣсто отдыха на побѣгушки и ставленья самовара, онъ самъ садился къ окну и при свѣтѣ сумерекъ или при слабомъ блескѣ луны царапалъ въ моей тетради мысли, которыя хотѣлъ водворить въ душѣ

моей, чтобы поставить меня «господиномъ, а не рабомъ жизни».

Успѣхи я дѣлалъ невѣроятно быстрые, но вліяніе ихъ на меня было нѣсколько странно: я чувствовалъ себя очень слабымъ на моихъ длинныхъ ножкахъ.

Однако объ этомъ невдалекѣ рѣчь впереди.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Отношенія maman и Христи являли другую картину; по моимъ замѣчаніямъ, maman не безъ нѣкоторой горечи видѣла мое исключительное пристрастіе къ Альтанскому, но нѣжно любила его дочь. Однако, какъ онѣ ни были другъ къ другу нѣжны, казалось, что между ними нѣтъ той тѣсноты духовнаго единенія, какая образовалась у насъ съ Иваномъ Ивановичемъ. Чтобы характеризовать ихъ отношенія, я могу сказать, что матушка любила Христю, а та ее... тоже любила, но гораздо менѣе, чѣмъ уважала.

Я это замѣчалъ и очень сожалѣлъ мою бѣдную maman, у которой была какая-то несчастная привилегія, при всѣхъ правахъ на всеобщую любовь, внушать людямъ всевозможныя возвышенныя чувства кромѣ одной любви. Ей безусловно вѣрили, на нее полагались, ее уважали и всѣ отъ нея ждали поступковъ самыхъ благородныхъ и прекрасныхъ, но я никогда не зналъ тѣхъ, кто бы ее беззавѣтно любилъ настоящею любовью туне-пріемлемою и туне-даваемою,—единою, какъ мнѣ кажется, истинною любовью... Мнѣ сдавалось, что матушка это знаетъ, — да и могло ли это быть иначе при той проницательности, съ которою она читала въ сердцахъ людей? Я увѣренъ, что это было такъ— и этому болѣе всего приписываю ея постоянную тихую грусть, отражавшуюся въ ея взглядѣ.

Прекрасный и въ то же время мучительный взглядъ этотъ сталъ мнѣ особенно чувствителенъ въ то время, когда между мною и Альтанскимъ началось дружеское сердечное сліяніе, — и я началъ до такой степени страдать отъ этого взгляда, что однажды, когда мы сидѣли съ maman вдвоемъ, я вдругъ кинулся къ ней, схватилъ ее за руки—и, покрывая ихъ поцѣлуями, воскликнулъ:

— Maman, другъ мой, отчего вы такъ грустно смотрите?

Но описаннаго мною взгляда уже какъ бы не было: матушка смотрѣла на меня прямыми, добрыми и спокойными

глазами и, поправивъ мои волосы, поцѣловала меня въ лобъ и сказала:

— О, дитя мое, я совсѣмъ не грущу, я знаю, что ты меня много любишь, и я очень счастлива; но ты самъ очень много трудишься—и я прошу тебя, оставь книгу и пройдись къ Альтанскимъ: посиди съ Иваномъ Ивановичемъ — это тебя успокоитъ.

— Нѣтъ; я ни за что на свѣтѣ не пойду отъ васъ, maman, я хочу быть съ вами.

— Но, другъ мой, мнѣ нужно сходить посидѣть вечерокъ у твоего дяди, а какъ тебѣ тамъ нечего дѣлать, то ты можешь съ бо́льшимъ удовольствіемъ провести это время у Альтанскихъ, а потомъ, если хочешь, можешь попозже зайти за мною.

Я хотѣлъ возражать, но матушка, закрывъ мнѣ съ улыбкою ротъ своею ладонью, поцѣловала меня въ голову и вышла въ свою комнату, чтобы надѣть шляпу. Потомъ я проводилъ ее до дому дяди, а самъ, отправясь къ Альтанскому, и не замѣтилъ, какъ время ушло за полночь, и я не поспѣлъ проводить maman.

Матушка не сдѣлала мнѣ ни малѣйшаго упрека за это; напротивъ, спросивъ: весело ли мнѣ было, и получивъ отъ меня утвердительный отвѣтъ, она сказала, что очень рада, что я умѣю находить удовольствіе въ бесѣдахъ съ такимъ разсудительнымъ человѣкомъ, какъ старикъ Альтанскій.

Все это у нея выходило такъ невозмутимо ровно, но во всемъ этомъ я чувствовалъ жгучія мученія ревности и святыя, беззавѣтныя уступки любви. Обо всемъ этомъ я скорбѣлъ и влекся силою неодолимаго тяготѣнія по усвоенному направленію—и не могъ восполнить потребности любви въ благородномъ и великодушнѣйшемъ сердцѣ моей матери.

Мучась тѣмъ, что я не могу полюбить ее болѣе, чѣмъ умѣю, я чувствовалъ безмѣрную радость, когда бралъ изъ рукъ почталіона и подавалъ ей въ недѣлю разъ письмо изъ Петербурга, надписанное по-русски, но высоко-нѣмецкимъ почеркомъ: я по предчувствію и по наведенію зналъ, что эти письма приходятъ отъ Филиппа Кольберга,—и мудрено было, чтобы я въ этомъ ошибался, потому что при появленіи каждаго такого письма, приходившаго съ нѣмецкою аккуратностію въ воскресный день разъ въ недѣлю, maman теряла свою внѣшнюю спокойность—и, перечитывая напи-

санное по нѣскольку разъ, погружалась въ тихое, но восторженное созерцаніе или воспоминаніе чего-то чудно-прекраснаго и... *была счастлива.*

Я выводилъ, что когда maman чувствовала себя *счастливою*—это значитъ, что она чувствовала себя *любимою*, и непремѣнно любимою возвышенно, искренно, прекрасно, однимъ словомъ—любимою гораздо болѣе, чѣмъ любили ее всѣ мы, здѣсь ее окружающіе, и я за это безмѣрно любилъ тогда неизвѣстнаго мнѣ Филиппа Кольберга.

Но, тѣмъ не менѣе, я жилъ все-таки тѣмъ же порядкомъ и не умѣлъ стать въ лучшія отношенія къ maman. Впрочемъ, мнѣ ничего иного и не оставалось, потому что матушка сама утверждала этотъ порядокъ, столь далеко отступающій отъ порядка, продиктованнаго для меня ею въ первый день моего прибытія. Я дѣлалъ усилія измѣнить это, но безуспѣшно — ибо хотя я просилъ ее возстановить именно тотъ порядокъ, который она сочинила и который не практиковался, а съ самыхъ же первыхъ дней уступилъ мѣсто другому, но матушка рѣшительно отвергла мои представленія и отвѣчала, что это не возможно и не должно быть, потому что нынѣшній, органически возникшій порядокъ жизни ей кажется гораздо лучше и цѣлесообразнѣе.

— Къ тому же,—добавила она:—если бы ты теперь былъ болѣе со мною, а менѣе съ Иваномъ Ивановичемъ, то помимо того, что я не могу принести для твоего развитія той пользы, какую приноситъ онъ, но мы съ тобой поступили бы неблагодарно по отношенію къ такому достойному старику, какъ Альтанскій, и огорчили бы его.

— Какое же огорченіе, maman! — я у него только отнимаю время.

— Нѣтъ, мое дитя, это не совсѣмъ такъ,—отвѣчала матушка: — ты Ивана Ивановича не обременяешь. Повѣрь мнѣ, что я въ этомъ кое-что понимаю: Иванъ Иванычъ это то, что въ какой-то баснѣ представлено подъ видомъ лани, которая, лишась своихъ дѣтей и имѣя полное вымя молока, искала какого-нибудь звѣреныша, чтобы онъ отдоилъ это отягощающее ее молоко,—ты для него этотъ звѣренышъ, и притомъ очень добрый, а со временемъ будешь и благодарный.

— Maman, другъ мой, но я боюсь, что вы ошибаетесь: у него и безъ меня такая бездна слушателей въ его духовной академіи.

— Это ничего не значитъ. Тамъ у него слушатели, которымъ онъ говоритъ только то, что *обязанъ* говорить по требованіямъ службы; а тебя онъ учитъ, какъ внушаетъ ему его любовь къ просвѣщенію и истинѣ. Ты—счастливецъ, сынъ мой: ты имѣешь рѣдкаго образователя, трудовъ котораго нельзя оплатить никакими деньгами. Дорожи имъ и уважай его, потому что это такой честный и свободомыслящій человѣкъ, значеніе котораго ты поймешь только со временемъ.

Что мнѣ оставалось дѣлать, какъ не продолжать катить мою жизнь по тѣмъ колеямъ, на которыя она стала, сама собою сорвавшись съ колей, намѣченныхъ для меня матушкой.

Я такъ и дѣлалъ: я, если такъ можно выразиться, все больше и больше *прилыпялся* къ моему наставнику, учился у него съ чрезвычайно быстрыми и прочными успѣхами и заправлялся въ бесѣдахъ съ нимъ въ особый ладъ, который впослѣдствіи привелъ меня къ большому разладью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Слова матушки были справедливы: любя Альтанскаго, я въ ту пору все-таки еще не понималъ, коего духа онъ былъ человѣкъ, — это пришло ко мнѣ гораздо позже, когда его уже не стало. Въ тѣ же юные мои годы, къ которымъ относится эта часть моихъ воспоминаній, я ощущалъ одно, что онъ былъ для меня какой-то сосудъ, заключающій цѣлебную смѣсь, которую, однако, надо было пить умѣючи, потому что малѣйшее усиленіе пріема, вмѣсто пользы, покоя, здоровья, развивало во мнѣ мучительный душевный недугъ.

Легкая форма его бесѣдъ, съ тонкою критикою исторіи культуры, зароняла во мнѣ мысль, что жизнь современнаго общества, которая дѣлалась доступною моему вѣдѣнію, идетъ не по тому теченію, которое можетъ вывесть человѣчество къ идеалу. Идеалъ этотъ представляло мнѣ христіанство, которое всѣ будто бы уважаютъ, но къ которому, однако, никто сильно и искренно не стремится. Что это за ложь? какъ повернуть, чтобы это пошло иначе?

Альтанскій мнѣ объ этомъ *пока* еще ничего не говорилъ, но я изъ наведеній заключалъ, что выплыть къ этому идеалу можно только гребя противъ уносистаго теченія себялюбивыхъ, низменныхъ страстей.

Это—образецъ тревоги отъ бесѣдъ; но злополучная натура моя разыгрывалась такъ, что ее преисполняли тревогой даже самыя строгія занятія точными науками. Что бы я ни постигалъ, въ головѣ моей вдругъ мгновенно зарождалась безпокойная мысль: а что если къ этимъ уже извѣстнымъ мнѣ положеніямъ возникнетъ такое или иное неизвѣстное? И я начиналъ объ этомъ думать и на яву, и въ сновидѣніяхъ. Иныя изъ этихъ безпокойствъ занимали меня такъ сильно, что задумчивый видъ мой, который я принималъ подъ ихъ неотступнымъ давленіемъ, обращалъ на себя вниманіе матушки,—и она, вся блѣдная и встревоженная, говорила:

— Боже мой! что такое дѣлается съ тобою, дитя мое?

— Ничего, maman,—отвѣчалъ я:—я не могу себѣ кое-чего рѣшить.

— Чего? скажи мнѣ, что ты хочешь себѣ рѣшить?

Я конфузился, но большею частію открывалъ, что меня тревожитъ.

Это всегда былъ болѣе или менѣе вздоръ, но порою довольно оригинальный.

Такъ, я помню, что вскорѣ же послѣ начала моихъ занятій съ Альтанскимъ, когда онъ поправлялъ мои познанія въ географіи, я впалъ въ задумчивость отъ того, что никакъ не могъ себѣ представить: какъ привести въ соотношеніе съ дѣйствительнымъ временемъ часы въ карманѣ путешественника, если этотъ путешественникъ поѣдетъ вокругъ свѣта по дорогѣ, которую проложитъ прямо вдоль по равноденственной линіи? Какъ: тогда сколько ни уходи время, а все долженъ быть полдень... все двѣнадцать часовъ...

Мой черепъ ломило отъ этого цѣлый день—и я едва могъ успокоиться и позабыть эту головоломную, по тогдашнему моему состоянію, дилемму.

Позже, когда мы начали заниматься исторіею и все опять шло какъ нельзя лучше, мнѣ опять пришло въ голову:

«Ну, прекрасно, — думалъ я:—теперь, когда свѣтъ простоялъ вотъ такое-то количество лѣтъ, человѣкъ въ теченіе своей жизни можетъ изучить исторію человѣчества и передавать ее другому. Но ежели же сегодняшній моментъ жизни есть только утро существованія нашего рода и впереди стоятъ милліоны милліоновъ лѣтъ... Какая же голова въ концѣ этого долгаго вѣка будетъ въ силахъ выучить и удер-

жать въ памяти все, что случилось отъ доисторическихъ временъ? Къ чему тогда весь лѣтописный трудъ, архивы, къ чему сама исторія и жажда знаній, когда всего этого позднѣйшій человѣкъ не въ состояніи будетъ усвоивать? а что онъ будетъ не въ состояніи—это вѣрно и...»—опять головная боль, досада и безпокойное томленіе до полнаго упадка духа.

Наконецъ, однажды, я окончательно испугалъ мать: это случилось тотчасъ, чуть я только коснулся логики и философіи. Я опять зафантазировался—и когда матушка умоляла меня разсѣяться, я, послѣ продолжительной потери аппетита и глубочайшей сосредоточенности въ себѣ, открылся ей, что терзаюсь неотвязною мыслію: отчего всѣ умные люди не соберутся въ одно мѣсто и не устроятъ такого государства, гдѣ бы или государь философствовалъ, или же бы гдѣ философъ царствовалъ.

Выслушавъ эти слова, maman посмотрѣла мнѣ въ глаза и сказала, что мнѣ рѣшительно надо отдохнуть отъ наукъ.

Я выразилъ недоумѣніе и замѣтилъ ей, что я не усталъ.

— Не усталъ, но у тебя слишкомъ безпокойно разыгрывается воображеніе.

— Чего же вы боитесь, maman, моего воображенія?

— Я боюсь... Да, я кое-чего боюсь.

— Но Бога ради: чего именно? скажите мнѣ, изъясните мнѣ вредъ моего безпокойнаго воображенія,—можетъ-быть мнѣ это поможетъ.

— Вредъ безпокойнаго воображенія заключается въ томъ, что оно создаетъ призраки и съ нимъ ничего нельзя знать основательно.

— О, вы правы, maman!

И я схватилъ обѣими руками свою голову, и, облокотясь на столъ, залился горькими слезами.

Матушка встревожилась.

— Какая причина твоего отчаянія?—запытала она, отнимая руки мои отъ лица.

— Maman, вы вѣрно сказали: я никогда не буду ничего знать основательно—я это чувствую и это меня убиваетъ.

Она старалась меня успокоить тѣмъ, что знанія не даются вдругъ, а на пріобрѣтеніе ихъ нужно продолжительное время; но я не внялъ симъ утѣшеніямъ: я *чуялъ* правду.

— Нѣтъ, нѣтъ,—отвѣчалъ я, давяся слезами:—не утѣ-

шайте меня, maman: я никогда этого не достигну... Вы сами сказали, что у меня безпокойное воображеніе, и я никогда... никогда... не буду ничего понимать ясно.

И тутъ уже я такъ разрыдался, что матушка бросилась поить и брызгать меня водою, меня раздѣли и положили въ постель, въ которой я опомнился черезъ полтора мѣсяца, изнеможенный, блѣдный, худой, съ обритымъ теменемъ и растравленными ранами на спинѣ и на затылкѣ.

У меня было воспаленіе мозга, и я нѣсколько дней находился на краю гроба;—молодая натура моя вынесла эту опасную болѣзнь—и я послѣ кризиса очнулся, но неблагонадежныя тонкія ноги не въ силахъ были держать моего исхудалаго тѣла и распаленная страстною жаждою знаній голова моя была не въ силахъ работать.

Я лежалъ въ постели, пользуясь безотходнымъ вниманіемъ матери и Христи, которыя поочередно не оставляли меня ни на минуту,—и въ это-то время, освобожденный отъ всякихъ сторонникъ думъ и заботъ, я имѣлъ полную возможность анализировать взаимныя отношенія этихъ двухъ женщинъ и уяснить себѣ Христинъ романъ, на который натолкнулся въ первое время моего пріѣзда и о которомъ позабылъ въ жару разсказа о своихъ ученыхъ успѣхахъ.

Теперь время это поправить и разсказать кстати о дѣятельности моего интереснаго пріятеля, пана Пенькновскаго, съ которымъ тоже этою порою стряслись немалыя бѣды.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Я начну не по порядку, то-есть съ Пенькновскаго.

Напоминаю читателю, что мы въ послѣдній разъ видѣли этого находчиваго юношу на улицѣ, тотчасъ послѣ того, какъ извѣстный ему дворянскій засѣдатель, пожертвовавъ сто рублей, хотѣлъ быть королемъ публики и потрясенный этимъ открытіемъ Пенькновскій возымѣлъ намѣреніе поцѣловать Христю Альтанскую, а потомъ напиться глинтвейну.

Съ тѣхъ поръ Пенькновскій бывалъ у насъ нерѣдко; но я, при своихъ постоянныхъ увлеченіяхъ то романами, то ученостію, рѣшительно не могу дать отчета: какъ онъ появился въ нашемъ домѣ, несмотря на то, что оставался при убѣжденіи, будто онъ предлагалъ поцѣлуй maman. Кажется мнѣ, однако, что maman сама облегчила ему его затруднительное положеніе: дѣлая однажды свою послѣобѣден-

ную прогулку вблизи дома, она встрѣтила Пенькновскаго, и попенявъ ему, что онъ насъ позабылъ, зазвала его напиться чаю. Мнѣ помнится, будто онъ разсказывалъ что-то въ этомъ родѣ, но навѣрное помню только то, что однажды мы съ Иваномъ Ивановичемъ, окончивъ свои занятія, пришли вмѣстѣ къ намъ, и, снимая въ сѣняхъ калоши, услыхали чей-то громкій голосъ. Альтанскій, который терпѣть не могъ встрѣчи съ новыми людьми, хотѣлъ-было сейчасъ же уйти, но, къ счастью, я, прислушавшись, узналъ голосъ Пенькновскаго, и мы вошли.

Когда я отворилъ дверь, Пенькновскій стоялъ посреди комнаты и старался въ одномъ лицѣ изображать нѣсколько лицъ, соединенныхъ въ одной общей сценѣ.

Онъ помѣщался спиною къ двери, въ которую взошли мы, и, обращаясь къ сидѣвшимъ на диванѣ матушкѣ и Христѣ, говорилъ:

— Вотъ такъ, смотрите: отецъ шелъ вотъ такъ по той дорожкѣ, а Б... вотъ такъ по этой... Тутъ они встрѣтились, поговорили, и Б... его взялъ за усы и повелъ... Вотъ по аллеѣ, вотъ точно такимъ образомъ.

При этомъ Пенькновскій взялъ себя лѣвою рукою за губу—и подвигая передъ собою впередъ эту руку, тянулся за нею какъ бы нехотя по комнатѣ.

— Вотъ,—картавилъ онъ по причинѣ зажатой въ рукѣ губы:—вотъ какъ онъ велъ: но тутъ мой отецъ вдругъ вотъ такъ...

Пенькновскій освободилъ губу, поцѣловалъ свою руку и весело расхохотался.

Христя тоже смѣялась, но maman казалась смущенною и, ничего не отвѣтивъ, заговорила о чемъ-то съ Альтанскимъ. Ей, кажется, очень не хотѣлось, чтобы Пенькновскій продолжалъ свой разсказъ, и тѣмъ болѣе, чтобы онъ повторялъ его при Альтанскомъ; но мой другъ былъ не изъ таковскихъ, чтобы его удержать,—и чуть только я успѣлъ ему замѣтить, что давно его не видалъ, какъ онъ сейчасъ же захохоталъ и понесъ:

— Когда тутъ, любезный другъ, видѣться! Я вотъ сейчасъ только разсказывалъ, что̀ съ нами было...

Maman встала и вышла въ свою спальню, а Пенькновскій весело продолжалъ:

— Ты, вѣдь, помнишь, о чемъ я тебя просилъ никому не сказывать?

— Помню.

— Ну, такъ это теперь болѣе не секретъ, потому что съ такими негодяями, какъ дворянскій засѣдатель, ничего нельзя дѣлать. Ты помнишь, что онъ за свои сто рублей хотѣлъ быть королемъ?

— Помню.

— Вообрази же, что̀ онъ, мерзавецъ, выдумалъ: пользуясь тѣмъ, что онъ имѣетъ деревню, онъ составилъ противъ насъ аристократическую партію, чтобы осмѣять отца,— и когда мой отецъ выходилъ изъ костела, ихъ нѣсколько человѣкъ подскочили къ жандарму, который зоветъ экипажи, и говорятъ:—«Зови Войцицкаго кочы!»—это засѣдателя. Тотъ позвалъ, а они опять:—«Зови пана Кошута калоши!»—Тотъ, разумѣется, и пошелъ во всю глотку орать: «пана Кошута калоши под-д-да-а ва-а-ай,» а отецъ соскочилъ съ крыльца да хлопъ засѣдателя въ морду. А тотъ къ полицеймейстеру и разсказалъ, что мой отецъ похожъ на Кошута, а полицеймейстеръ Б..., а Б... встрѣтилъ отца на гуляньи въ саду, взялъ рукой вотъ такъ за усы: «пане Кошутъ, говоритъ, что̀ это у васъ такое?» а отецъ мой—онъ ужасно какой находчивый—онъ нимало не смѣшался и говоритъ: «Это вата», а тотъ его прямо за усы и повелъ передъ всей публикой по аллеѣ.

— Будто такъ прямо за усы и повелъ?—переспросилъ удивленный Альтанскій.

— Честное слово вамъ даю, совершенно взялъ вотъ такъ за усы, но отецъ его въ руку...

— Укусилъ или плюнулъ?

— Поцѣловалъ!—съ гордостью воскликнулъ Пенькновскій.

Альтанскій отошелъ къ окну и громко щелкнулъ по табакеркѣ.

— О, онъ ужасно находчивъ: онъ поставилъ Б... въ самое мудреное положеніе—тотъ его сейчасъ и выпустилъ.

— Вашъ отецъ молодецъ,—протянулъ Альтанскій и забурчалъ: «нашъ отецъ, молодецъ, сѣлъ въ конецъ, взялъ ларецъ», и вдругъ, повернувшись лицомъ, добавилъ: «прощайте».

Съ этимъ онъ всѣмъ намъ подалъ руку и торопливо, и наскоро, кромѣ одного Пенькновскаго, руку котораго онъ пожалъ теплѣе и съ видимымъ участіемъ. И странное дѣло: это участіе, которое, разумѣется, не скрылось отъ взошед-

шей въ минуту прощанія maman, было какъ бы поводомъ къ тому, что она вдругъ сдѣлалась гораздо суше въ обращеніи съ Пенькновскимъ и во все остальное время, пока онъ тутъ вертѣлся, даже избѣгала вести съ нимъ разговоръ.

Таковы были эти два лица: моя мать и Альтанскій, на которыхъ я смотрѣлъ, какъ на образцы. Имѣя однѣ и тѣ же симпатіи и антипатіи, они, однако, ни въ чемъ не могли сойтись, какъ скоро доходило до дѣла, и при горячей любви другъ къ другу и взаимномъ уваженіи къ однимъ и тѣмъ же принципамъ и идеямъ, они отвращались отъ всякаго взаимодѣйствія въ духѣ этихъ идей.

Мать моя не одна была возмущена тѣмъ, что Б. провелъ за усы кіевскаго Кошута —Альтанскому это было еще болѣе противно; но какъ матушка этимъ возмущалась, то Альтанскій скрывалъ свое негодованіе и риѳмовалъ «отецъ молодецъ, наконецъ и ларецъ». Съ другой стороны, матушка, презирая ничтожный польскій характеръ, отразившійся, между прочимъ, въ поступкахъ стараго Пенькновскаго, всегда считала обязанностью относиться къ полякамъ съ безконечною снисходительностію, «какъ къ жалкому народу, потерявшему національную самостоятельность», что, по ея мнѣнію, влекло за собою и потерю лучшихъ духовныхъ доблестей; но чуть только Альтанскій, питавшій тѣ же самыя чувства, но скрывавшій ихъ, далъ волю своему великодушію и съ состраданіемъ пожалъ руку молодому Пенькновскому, который кичился позоромъ своего отца,—матери это стало противно, и она не могла скрывать своего презрѣнія къ молодому Кошуту.

Христя, когда мы съ нею были одни, часто смѣялась надъ этою страстью нашихъ стариковъ противорѣчить другъ другу.

Впрочемъ, и мы съ Христею были въ нѣкоторомъ смыслѣ то же самое, что ея отецъ съ моею матерью: я дружески полюбилъ ее съ первой же встрѣчи съ нею и очень высоко чтилъ ее, но мы не сходились тѣснѣе, чѣмъ мною описано. Эта малороссійская дѣвушка, съ характеромъ глубокимъ, сильнымъ и сосредоточеннымъ, была со мною очень ласкова и, какъ вѣроятно читатели помнятъ, она даже сама предложила мнѣ свою дружбу; но я пользовался ея дружелюбіемъ, а никакими правами дружбы отъ нея не пользовался— и это незамѣтно, но скоро меня отъ нея отодвинуло. Мы съ

нею встрѣчались всегда искренно и даже съ радостью — и говорили обо всемъ, кромѣ того, о чемъ мнѣ сначала очень бы хотѣлось съ нею поговорить, то-есть о ней самой и о ея любви къ Сержу. Но этого никогда не случалось,—сначала я не смѣлъ къ этому приблизиться, а потомъ у меня явилось опытное заключеніе, что Христя, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, о которыхъ говорила моя мать и которыя я самъ признавалъ въ ней, была страшно горда и ни подъ какимъ видомъ никому не позволила бы прикоснуться къ ея горю. Въ этомъ заключалась разъединявшая насъ разница: я любилъ высказаться и искалъ сочувствія; она любила молчать и ничьего сочувствія не требовала. Та откровенность, которую я могъ замѣтить у нея въ отношеніи къ maman въ первые дни моего пріѣзда, была короткимъ, временнымъ явленіемъ, вызваннымъ роковымъ значеніемъ тогдашней критической минуты,—но и то это была не откровенность, а совсѣмъ другое. Рѣшась по особымъ, достойнымъ вниманія причинамъ разорвать свою условленную свадьбу съ Сержемъ, Христя искала въ maman даже не повѣрки своихъ мыслей, а орудія; но разъ что она, терзаясь и мучась, какъ я описалъ, все это исполнила, въ обхожденіи ея съ maman произошла быстрая перемѣна: Христя безцеремонно замкнулась въ самой себѣ. Было время, было нѣсколько такихъ дней, когда мнѣ казалось, что Христя даже избѣгала свиданій съ матушкой и переносила ихъ съ большимъ для себя принужденіемъ; maman, несомнѣнно, это замѣчала и казалась огорченною. Однакоже, это прошло — и у моей постели обѣ онѣ снова между собою сблизились. Не знаю, было ли у нихъ какое-нибудь объясненіе, но я засталъ между ними полнѣйшую bonne intelligence, хотя мой глазъ, или, вѣрнѣе сказать, мое чувство, пріученное уже во всемъ видѣть недостатокъ гармоніи, открывало мнѣ и здѣсь что-то не то, что бы мнѣ хотѣлось видѣть въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Мнѣ сдавалось, что Христя позволяла себя ласкать maman и сама была съ нею ласкова — не по потребности сердца, а только какъ бы изъ снисхожденія къ обычаю и потому что это ей ничего не мѣшало.

Скоро явилась возможность убѣдиться, что я не ошибаюсь на этотъ счетъ и я запишу здѣсь открытія, какія являлъ мнѣ сложный характеръ этой дѣвушки, втихомолку разыгравшей свой страстный романъ въ то время, когда всѣ

мы считали его безвозвратно покончennымъ и даже позабытымъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Много ли, мало ли прошло съ тѣхъ поръ, какъ я былъ свидѣтелемъ разлуки Христи съ Сержемъ, но у насъ въ домѣ никогда не говорили объ этомъ человѣкѣ и я ни разу не слыхалъ, чтобы сама Христя произносила его имя. Прошелъ годъ и половина другого, какъ вдругъ я однажды неожиданно услыхалъ въ канцеляріи, что племянникъ моего генерала женится на одной очень богатой дѣвушкѣ изъ довольно знатной фамиліи.

Меня это заинтересовало, и я, пустясь въ разспросы, узналъ, что предполагаемая невѣста Сержа считается очень высокою и даже лестною для него партіею, которой этотъ молодецъ ни за что бы не сдѣлалъ, если бы въ устройствѣ этого брака не принимало участіе самое высшее лицо въ городѣ, имѣвшее особое попеченіе о матери Сержа. Все это я не преминулъ, возвратясь домой, сообщить моей матушкѣ и былъ не мало удивленъ, что она выслушала мое донесеніе какъ вѣсть непріятную, но давно ей извѣстную; она сдвинула съ неудовольствіемъ брови и сказала:

— Только будь, сдѣлай милость, остороженъ и не говори объ этомъ ни одного слова при Христѣ.

Maman, однако, сдѣлалась очень озабочена: вечеромъ этого дня она куда-то ходила и не возвращалась довольно долго, такъ что пришедшая безъ нея Христя не дождалась ея. Мы пили съ Христей чай двое и напрасно искали нашего серебрянаго сливочника и сухарницы, которыя стояли на горкѣ, но которыхъ теперь тамъ не было. Затѣмъ Христя такъ и ушла, не дождавшись maman, а maman, возвратясь около одиннадцати часовъ, показалась мнѣ еще болѣе взволнованною и сказала:

— Знаешь, сынъ мой, мнѣ необходимо съѣздить по нашимъ дѣламъ въ Одессу.

— Надолго, maman?

— Нѣтъ, недѣли на двѣ, или на три, но мнѣ немножко нездоровится, и я боюсь ѣхать одна, а тебя мнѣ жаль отрывать отъ твоихъ занятій; я хочу просить Христю: вѣрно она не откажется со мной прокатиться.

— Да, я думаю, что она не откажется,—отвѣчалъ я:—она васъ здѣсь ждала, и мы съ нею пили чай.

— Ахъ, вы уже пили чай!..

— Да, пили; но только никакъ не могли найти сливочника и сухарницы. Гдѣ вы тамъ ихъ поставили?

Maman какъ будто немножко смѣшалась и, отвѣтивъ скороговоркою:

— Все равно: они отыщутся,—поцѣловала меня въ лобъ и ушла въ свою комнату.

Я не сомнѣвался, что она пишетъ письмо къ Филиппу Кольбергу—и по обыкновенію заснулъ прежде, чѣмъ у нея погасъ огонь. Утромъ я получилъ для отправленія письмо, надписанное тому, кому я догадывался.

Все время, проведенное мною въ этотъ день на службѣ, я продумалъ объ этомъ моемъ знакомомъ незнакомцѣ, объ этомъ Филиппѣ Кольбергѣ, безъ отчета которому моя maman не проводила ни одного дня и регулярно получаемыя письма котораго всегда брала трепещущею рукою и читала по нѣсколько разъ съ глубокимъ и страстнымъ вниманіемъ, а иногда даже и со слезами на своихъ прекрасныхъ глазахъ. Характеръ этихъ отношеній никогда не переставалъ интересовать меня, а въ этотъ день я былъ почему-то особенно ими занятъ и въ такомъ настроеніи прямо со службы зашелъ къ Альтанскимъ. Христя была дома одна и шила.

Мнѣ она съ перваго взгляда показалась очень спокойною и даже веселою, но чуть я полюбопытствовалъ: знаетъ ли она, что maman хочетъ просить ее съѣздить съ нею въ Одессу, въ ней произошла самая непріятная перемѣна: она двинула своими прямыми бровями и рѣзко отвѣтила:

— Да, я это знаю: Катерина Васильевна уже приходила ко мнѣ съ этимъ великодушнымъ предложеніемъ.

— Что же: вы, конечно, ѣдете?

Но Христя вдругъ вся вспыхнула отъ этого невиннаго вопроса и проговорила:

— Съ какой же это стати?.. Напротивъ, я вовсе не ѣду: на мнѣ еще не лежитъ крѣпостной обязанности исполнять все, что нравится вашей maman.

Этотъ тонъ и грубая форма отвѣта до того смутили меня, что я началъ извиняться за мой вопросъ и потомъ не твердо проговорилъ:

— Повѣрьте, Христя, maman, вѣроятно, никакъ не ду-

мала васъ огорчить этимъ предложеніемъ: я думаю, что ей только хотѣлось соединить свое удовольствіе съ удовольствіемъ, которое эта поѣздка могла принести вамъ... Вы ее извините: она добрая.

— Очень добрая, только обо всемъ у Филиппа Кольберга спрашивается,—перебила Христя съ тѣмъ же худосдерживаемымъ азартомъ.

Это имя прозвучало для моего слуха какимъ-то страшнымъ глаголомъ и мучительно отозвалось въ моемъ сердцѣ: я хотѣлъ броситься на Христю... и не знаю, что сдѣлать съ нею, но потомъ сдержалъ себя и только взглянулъ на нее съ укоризною. Христя, конечно, поняла мое состояніе и поспѣшила поправиться.

— У Катерины Васильевны самое главное дѣло во всемъ этомъ поступить великодушно и написать объ этомъ Филиппу Кольберту.

Я молчалъ и нетерпѣливо мялъ въ рукахъ мою фуражку.

Христя продолжала тономъ, который зазвучалъ еще мягче:

— Вы развѣ не знаете, что все, что дѣлается съ людьми, которые имѣютъ счастіе пользоваться какимъ-нибудь вниманіемъ вашей мамаи, должно быть во всѣхъ подробностяхъ извѣстно какому-то господину Филиппу Кольберту? Вы его знаете?

— Не знаю.

— И я не знаю; а между тѣмъ онъ есть, онъ существуетъ—и правитъ и вами, и мною.

— Я знаю только то, что моя мать въ перепискѣ съ человѣкомъ, носящимъ имя, которое вы сейчасъ назвали... но что мнѣ за дѣло до того, о чемъ эта переписка? Я моей матери не судья.

— О, Боже! Да ее не въ чемъ и судить.. Успокойтесь, другъ мой: я понимаю, что я говорю съ сыномъ о матери! И потому-то я такъ и говорю, что я знаю, что Катерина Васильевна не можетъ быть судима: она превыше всякаго человѣческаго суда, но...

Христя развела руками и, вздохнувъ, добавила:

— Но не слушайте меня пожалуйста, я говорю вздоръ, потому что мнѣ тяжело.

— Что же васъ тяготитъ?

Христя пожала плечами и, вновь схвативъ свою, на минуту отброшенную работу, тихо уронила:

— Такъ... сама не знаю... Людямъ, пока они живы, тяжко съ ангелами.

И она, прилетши лицомъ къ шитью, начала отпускивать нитку, а сама плакала и горѣла.

Я глядѣлъ на нее и пересталъ сердиться.

— Что же,—думалось мнѣ:—она говоритъ то самое, что не разъ противъ воли вертѣлось въ моей собственной головѣ: моя maman превосходная женщина, но она такъ высока и благородна, что съ нею именно тяжело—стоять рядомъ.

— Ея превосходство какъ-то давитъ меня,—проговорила въ это время, словно подслушавъ мою мысль, Христя.

Я встрепенулся.

— Меня, меня, одну *меня*! — повторила съ ударѐніемъ, стянувъ узелокъ, Христя.—Это не можетъ касаться ни кого другого, кромѣ меня, потому что я... презлая и прескверная.

Она вздрогнула и замолчала.

— Maman вовсе васъ не считаетъ такою и очень васъ любитъ, Христя.

— Знаю.

— И потому она къ вамъ участлива, можетъ-быть, болѣе, чѣмъ вы хотите.

— Знаю, все знаю, и я совсѣмъ не участіемъ тяготлюсь: оно мнѣ дорого, и я люблю ее... но...

— Въ чемъ же дѣло?

Христя вся вспыхнула и, быстро сбросивъ на полъ работу, вскочила съ мѣста — и, ставъ посреди комнаты, закрыла глаза, не ладонями, а пульсами рукъ, какъ это дѣлаютъ плача простонародныя малороссійскія дѣвушки.

— Все дѣло въ томъ,—воскликнула она:—что я люблю, люблю безъ разума, безъ памяти люблю!..

Эти слова были вмѣстѣ вопль, стонъ и негодованіе души, не одолѣвающей силы своей страсти.

— Меня надо не жалѣть, а... проклясть меня! — заключила она, дернувъ себя за волосы, и упала головою въ уголъ кресла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Я, разумѣется, понявъ, что рѣчь, сдѣлавъ такой рикошетъ противъ воли автора, касается не любви Христи къ моей maman, а чувствъ ея къ другому лицу, сказалъ:

— Христя! милая Христя!.. прошу васъ—успокойтесь! Можетъ-быть, все устроится.

Съ этимъ я подалъ ей воды, которой она выпила нѣсколько глотковъ, и, возвративъ мнѣ стаканъ, поникла головою на руку и, крѣпко почесавъ лобъ, проговорила:

— Ничто не можетъ устроиться: я сама все разстроила.

— Зачѣмъ же вы разстроили?

— Такъ было надо: ваша maman все знаетъ. Такъ было надо... и я о томъ не жалѣю; но когда мнѣ по нотамъ расписываютъ: *какъ* это надо терпѣть, — въ меня входитъ бѣсъ, и я ненавижу всѣхъ, кто можетъ то, чего я не могу... Это низко, но что̀ съ этимъ дѣлать, когда я не могу! Я имъ завидую, что они дошли до того, что одинъ пишетъ: «Gnaedige Frau», а другая, утѣшаясь, отвѣчаетъ: «Ich sehe, Sie haben sich in Allem sehr verfollkommet».

Христя произнесла обѣ эти нѣмецкія фразы съ напыщенною декламаціею, съ какою говорятъ нѣмецкіе пасторы и актеры, и, нетерпѣливо топнувъ ногой, докончила:

— А я родомъ не така! Да, я не такая, я этого не могу: я оторвала отъ сердца все, что̀ могла оторвать; а что̀ не могу, такъ не могу. Отказаться можно, а перестать любить нельзя, когда любится.

— Это правда.

— Ага! вотъ то-то и есть, что правда! А любишь, такъ никакъ себя и не усмиришь.

— Да и не усмиряйте.

— Да я и не стану. О, вы мнѣ повѣрьте! — добавила Христя, неожиданно улыбнувшись и протягивая мнѣ руку:— вы непремѣнно будете несчастный человѣкъ, да что же!— это и прекрасно.

Я разсмѣялся.

— Да *такъ*,—продолжала Христя.—Да и о чемъ хлопотать: все равно и они несчастны. Они прекрасные люди, только немножко трусы: имъ все Erwägung снится, а все это вздоръ; мы будемъ смѣлѣе и пусть насъ не уважаютъ. Не правда ли? Если мы никому не дѣлаемъ зла,—пусть насъ не уважаютъ, а мы все будемъ любить то, что̀ любили. Такъ или нѣтъ?

— Право, Христя, не знаю.

— Вздоръ; убей меня Богъ, знаетъ!—отнеслась она безлично съ веселыми, вверхъ устремленными глазами, которые

Вслѣдъ за тѣмъ быстро вперила въ мой взглядъ и съ комической настойчивостью произнесла:

— Dites moi tout ce que vous aimez.

— Tout le monde,—отвѣчалъ я.

— Ну, а я этотъ tout le monde терпѣть не могу: лживый, гнусный, лицемѣрный — ни во что не вѣритъ, и все притворяется... Фуй, гадость! Я люблю, знаешь, кого?

Я кивнулъ головой.

— Да,—отвѣчала на этотъ знакъ Христя:—я его люблю,—очень, очень люблю; а онъ скверный человѣкъ, не хорошій, чепурной, ему деньги нужны, онъ за деньги и женится, но со мною бы никогда не былъ счастливъ, потому что я простая, бѣдная... Да, да, да... онъ только не зналъ, какъ отъ меня отвязаться... Что же, я ему помогла!

— Я это знаю, какъ вы сдѣлали.

— Знаешь?!

— Да.

Я разсказалъ ей, какъ подсмотрѣлъ и подслушалъ ся разговоръ съ Сержемъ.

— Ну, да,—отвѣчала она спокойно:—я все ему соврала на себя. Никого я кромѣ его не люблю, но это такъ нужно, пусть его совѣсти полегчаетъ. Ему нужно... Онъ не можетъ не жить паномъ—и пусть живетъ; пусть его всѣ родные за это хвалятъ, что онъ меня бросилъ. А они врутъ, бо онъ меня не броситъ; бо я хороша, я честная женщина, а его невѣста поганая, дрянная, злая... тпфу! Онъ не ее, а меня любитъ; да, меня, меня, и я это знаю, и хоть онъ какой ни будь, а я все-таки его люблю, и не могу не любить, и буду любить. И что мнѣ до всякаго Erwägung? Тпфу!.. я надъ собой вольна, и что хочу, то и сдѣлаю.

Я несмѣло спросилъ: что такое она хочетъ сдѣлать? Но Христя молча улыбнулась и, сдѣлавъ гримаску, сказала:

— Вотъ я яка!..

Она обращалась со мною странно: вполовину какъ съ ребенкомъ, лепету котораго не придаютъ большого значенія; вполовину какъ съ другомъ, отъ котораго ждала сочувствія и отзыва.

Эта откровенность послѣ пасмурной рѣчи, которою начался нашъ разговоръ, увлекала меня за Христею въ ея внутренній міръ, гдѣ она жила теперь вольная, свободная

и чѣмъ-то такъ полно счастливая, что я не могъ понять этого счастья.

— Полно же; слышите вы: годи мамъ журитися—пусть лихо смѣется!.. *Онъ* женится... онъ женится,—повторила она какъ бы съ угрозою и, стукнувъ рукою, добавила:—а ко мнѣ вернется.

Этотъ вѣчно памятный мнѣ разговоръ съ Христей, который она вела со мною подъ тягостнѣйшими впечатлѣніями своей неласковой доли и притомъ незадолго до катастрофы, которую пророчески назнаменовала себѣ, произвелъ на меня такое сильное впечатлѣніе, что когда я пришелъ домой, матушка, сидѣвшая за писаніемъ, взглянувъ на меня, спросила:

— Ты видѣлъ Христю?

— Да, maman.

— Что съ нею?

— Кажется, ничего.

Maman вздохнула, хрустнула тонкими пальцами своихъ рукъ и приказала подавать мнѣ обѣдать, сама не сѣла за столъ, но продолжала писать.

«Конечно, къ Филиппу Кольбергу,—подумалъ я, впервые сидя одинъ за обѣденнымъ столомъ.—Вѣрно Христя съ матушкою говорила еще откровеннѣе, чѣмъ со мной,—и вотъ эта теперь все описываетъ. Что это, въ самомъ дѣлѣ, за странная переписка?»

Я уже въ глубинѣ души словно смѣялся надъ этою перепискою—и, получивъ на другой день конвертъ со знакомою надписью, подумалъ, что если въ самомъ дѣлѣ матушка заботится о томъ, чтобы всѣхъ, кого она любитъ, воспитывать и укрѣплять въ своемъ духѣ, то она едва ли въ этомъ успѣваетъ. По крайней мѣрѣ, Христя серьезно шла бунтомъ противъ ея морали, да и я чувствовалъ, что я... тоже склоненъ взбунтоваться.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Такъ какъ Христя рѣшительно отказалась ѣхать въ Одессу, то и матушка туда не поѣхала—и нашъ серебряный молочникъ съ сухарницею, отправлявшіеся гостить къ занимавшемуся ростомъ помощнику письмоводителя рекрутскаго присутствія, черезъ мѣсяцъ возвратились назадъ; а къ этому времени подоспѣла и свадьба Сержа, которой maman, кажется, совершенно напрасно опасалась для Христи.

Эта мудреная дѣвушка болѣе уже не впадала въ такую раздражительность, какую я описалъ въ предшествовавшей главѣ. Напротивъ, Христя вела себя чрезвычайно ровно и даже казалась очень спокойною, но только она, какъ-будто, бѣжала изъ своего дома и все старалась оставаться какъ можно болѣе у насъ.

Maman, разумѣется, была съ ней въ крайней степени предупредительна и ласкова—и въ это время сдѣлала шагъ къ инымъ отношеніямъ со мною. Однажды, когда Христя ушла съ отцомъ домой, maman сказала мнѣ:

— Ты уже въ такихъ лѣтахъ, дитя мое, что я могу тебѣ разсказать исторію нашей бѣдной Христи. Она превосходная, благороднѣйшая и очень гордая дѣвушка.

— Я это знаю, maman.

— Да; она когда-то, до твоего пріѣзда, часто бывала у твоего дяди и тамъ встрѣчалась съ Сержемъ. Ты видишь, что она почти красавица,—и Сержъ не могъ ее не замѣтить...

— Еще бы, maman!

— Да, онъ оцѣнилъ ея достоинства и полюбилъ ее.

— Я все это знаю, maman.

— Знаешь? Ну, прекрасно! Но этотъ бракъ не могъ состояться, потому что и мать Сержа, и твой дядя желали ему другой партіи, которую онъ теперь и дѣлаетъ. Это такъ выходило нужно по ихъ соображенію.

— Да,—отвѣчалъ я:—имъ нужно взять богатую невѣсту и породниться съ большими домами.

— Можетъ-быть; но я должна сказать, что Сержъ былъ довольно благороденъ и онъ не хотѣлъ этого брака, а уступилъ только настояніямъ и обстоятельствамъ...

— То-есть это такъ, maman, что Христя сама его обманула.

Maman взглянула на меня съ удивленіемъ и послѣ маленькой паузы отвѣчала:

— Да; но ты, однако, знаешь болѣе, чѣмъ я предполагала. Христя поступила возвышенно, великодушно и благоразумно, потому что мать Сержа считала бы бракъ сына съ нею семейнымъ несчастіемъ... У нихъ запутаны дѣла и его мать... она черезъ это лишилась бы возможности поправить ихъ разстроенныя дѣла.

— Но позвольте, maman, вѣдь это низко?

— Да, мое дитя, это не высоко; но зато Христя поступила очень благоразумно и великодушно, что отказалась отъ Сержа.

— Почему, maman? онъ ее любитъ.

— Потому что у него натура похожа на придорожную землю въ притчѣ: онъ ее любитъ, и теперь онъ ее можетъ любить какъ недосягаемое и прекрасное; но если бы она была его, онъ началъ бы сожалѣть о выгодахъ, пріобрѣтаемыхъ его нынѣшней женитьбой.

— Такъ онъ пустой человѣкъ?

— Да; онъ ея не стоилъ.

— Но она не перестаетъ и не перестанетъ его любить.

Maman опять пріостановилась и, еще болѣе удивляясь, сказала:

— Мой сынъ! но откуда тебѣ это все извѣстно?

— Отъ самой Христи, maman.

— Отъ самой Христи? Я думала, что ты такъ проницателенъ, и хотѣла сказать, что ты, можетъ-быть, ошибаешься, но если Христя тебѣ сама сказала...

— Да; она мнѣ это сказала.

— Ну, въ такомъ случаѣ ты знаешь гораздо болѣе, чѣмъ я,—отозвалась maman, и она мнѣ показалась въ эту минуту чрезвычайно жалкою, какъ-будто для нея въ жизни все кончено, и она отрѣшена отъ нея. Такъ она была чутка и такъ немного надо было, чтобы причинять ей чувствительнѣйшія раны.

Тутъ вскорѣ была Сержева свадьба, на которой maman не была по причинѣ ея весьма основательной болѣзни; но, однако, мы объ этой свадьбѣ имѣли самыя подробныя свѣдѣнія отъ друга моего Пенькновскаго: онъ попалъ туда какъ-то въ качествѣ ловкаго танцора и оказался большимъ наблюдателемъ, а также талантливымъ и притомъ весьма правдивымъ разсказчикомъ. Принесенный имъ къ намъ отчетъ былъ такъ полонъ, что мы знали все, начиная отъ мелочей столоваго меню до путешествія Пенькновскаго подъ столъ, что случилось съ нимъ, будто бы, въ жару танцевъ и не по его, конечно, волѣ, а потому что онъ разлетѣлся и у него лопнула штрипка и онъ упалъ. О женихѣ и невѣстѣ онъ не говорилъ ни слова—и это было очень удобно: Христя, слушавшая разсказъ Пенькновскаго о его паденіи подъ столъ, помирала со смѣха, точно все это было не на

Сержевой свадьбѣ. Такъ все это прекрасно разыгрывалось, что лучше и желать было невозможно. Молодые уѣхали въ деревню, потомъ переѣхали въ городъ и снова откочевали на лѣто въ деревню, и опять появились на зиму въ городъ. Ушли два года, въ теченіе которыхъ утекло не мало воды: Христя постарѣла, пожелтѣла и поблекла; у меня вокругъ всего лица засѣлъ мягкій, но густой пушокъ, довольно красиво оттѣнявшій мои смуглыя щеки; а кто болѣе всѣхъ и выгоднѣе всѣхъ измѣнился въ эти года, такъ это Пенькновскій: онъ сталъ атлетъ и красавецъ, пріобрѣлъ себѣ массу знакомствъ и усвоилъ большую обходительность. Меня онъ считалъ самымъ жалкимъ ничтожествомъ и, обращаясь со мною свысока, обыкновенно подавалъ мнѣ два пальца. Христю не только не тревожили, но даже, повидимому, вовсе не занимали странныя извѣстія, которыя началъ доставлять намъ изъ дома Сержа Пенькновскій, имѣвшій счастіе обратить на себя вниманіе Сержевой матери и учинившійся у нея какимъ-то секретаремъ фактотумомъ. Пенькновскій доносилъ, что дѣла у молодыхъ пошли не ладно, что супруга Сержа своевольна, зла, капризна и самовластна.

— A do tego wszystkiogo trzeba wam dodac, ze ona ist i bardzo glupe, — говорилъ Пенькновскій, привыкшій уже считать себя полякомъ.

Это были общія характеристики, но вслѣдъ затѣмъ Пенькновскій появлялся къ намъ отъ времени до времени, никѣмъ не прошенный, сообщалъ намъ скандалы и частнаго свойства, между которыми иные были весьма возмутительны и представляли положеніе Сержа очень жалкимъ; но самъ Сержъ, кажется, никому ни на что не жаловался и тщательно скрывалъ отъ всѣхъ свое горе.

Современемъ онъ, вѣроятно, нѣсколько попривыкъ къ своему положенію, а чужіе люди перестали имъ интересоваться. Такъ ушли еще два года, какъ опять внезапно къ намъ появился Пенькновскій и сообщилъ при Христѣ, что жена Сержа, заплативъ какой-то значительный долгъ за него, или за его мать, сдѣлала ему столь сильную непріятность, что онъ схватилъ шапку, выбѣжалъ вонъ изъ дома и не возвращался до утра.

— И это у нихъ теперь часто будетъ повторяться,— заключилъ Пенькновскій и заключилъ не опрометчиво, потому что одинъ разъ вскорѣ послѣ того, идучи вмѣстѣ съ Хри-

стей, мы замѣтили впереди себя одинокую фигуру, въ которой Христя не замедлила узнать Сержа и, сжавъ мою руку, дала знакъ идти тише.

Мы прошли за нимъ въ небольшомъ отъ него разстояніи нѣсколько улицъ. На дворѣ былъ поздній сѣрый вечеръ, накрапывалъ дождь и улицы были почти пусты. Сержъ шелъ тихо, понуривъ голову, и часто останавливался;—мы все издали за нимъ слѣдовали, и я не замѣтилъ, какъ очутились въ улицѣ, гдѣ была квартира Альтанскихъ.

И что же? Сержъ, взойдя въ эту улицу, тихо пошелъ по противоположной сторонѣ и наконецъ остановился подъ темнымъ заборомъ.

Христя вздрогнула, и черезъ минуту, схвативъ меня за руку, тихо скользнула въ свою калитку, вбѣжала въ комнату и, схвативъ карандашъ и бумагу, написала дрожащею рукою нѣсколько строкъ и подала ихъ мнѣ съ словами:

— Идите и отдайте это ему.

— То-есть Сержу?—переспросилъ я.

— Да; то-есть ему,—повторила она, снова меня передразнивая:—подите и отдайте! Или нѣтъ, стойте: вы не слуга мой, а другъ, и потому вы должны знать, что вы несете.

Она вырвала изъ моихъ рукъ записку, развернула ее и сказала:

— Прочтите.

Я прочелъ слѣдующее:

«Если вы несчастливы, и я могу что-нибудь для васъ сдѣлать, то я ни передъ чѣмъ не остановлюсь. Я хочу васъ видѣть.»

— Да, пусть онъ ко мнѣ придетъ. Что вы на меня такъ смотрите?

— Я, ничего...

— А ничего, такъ идите и скажите, чтобы онъ къ намъ пришелъ... по-старому... завтра... я его ждать буду.

И съ этимъ она повернула меня и почти насильно выпроводила за двери.

Сержъ попрежнему стоялъ на улицѣ, но когда я сталъ приближаться, онъ тронулся съ мѣста и хотѣлъ уйти. Я ускорилъ шагъ и, нагнавъ его, слегка тронулъ его за руку и подалъ письмо, которое онъ взялъ молча и нетерпѣливо бросился съ нимъ къ фонарю.

Меня душили слезы: я чувствовалъ, что сейчасъ, сію

минуту совершится какое-то великое и тяжкое горе и, тихо зарыдавъ въ рукавъ, побѣжалъ домой, чтобы ничего болѣе не знать и не видѣть.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Описанное мною событіе имѣло свои большія послѣдствія, которыя не могли долго скрываться: Сержъ сдѣлался ежедневнымъ гостемъ дома Альтанскихъ; онъ у нихъ обѣдалъ, у нихъ сидѣлъ вечера и вообще проводилъ у нихъ почти все свое время.

Я очень скоро узналъ объ этомъ, но молчалъ и ничего не говорилъ maman, отъ которой это также не скрылось и заставило ее сильно страдать. Она была такъ сконфужена, что даже перестала пысать Филиппу Кольберту, а только стала очень часто нюхать спиртъ и проливать на сахаръ гофманскія капли. Къ этому подоспѣла простуда, и maman заболѣла. Тутъ Христя меня удивила: она была до того къ намъ невнимательна, что даже не приходила навѣстить maman. Съ того вечера, какъ я отдалъ Сержу ея записку, она почти совсѣмъ не появлялась въ нашемъ домѣ, но старикъ Альтанскій ходилъ къ намъ попрежнему и въ немъ вообще не было замѣтно ни малѣйшей перемѣны ни въ какомъ отношеніи: онъ былъ такъ же спокоенъ, такъ же, какъ и прежде, шутилъ и такъ же занимался со мною классиками и математикой.

Частые визиты женатаго Сержа къ Христѣ, повидимому, не смущали старика и даже, можетъ-быть, совсѣмъ не останавливали на себѣ его вниманія, какъ нѣкогда не останавливало вниманія исчезновеніе этого молодого человѣка. Христя теперь, какъ и всегда, пользовалась неограниченнѣйшею свободою, и я страшился, что покровительствуемая этою свободою страстная ея любовь, вѣроятно, сдѣлала въ это время большіе и безповоротные шаги. Наблюдая мою мать, я подозрѣвалъ, что и она опасается точно того же. Мнѣ даже казалось, что это собственно было и причиною ея болѣзни.

Я и не ошибался.

Однажды Альтанскій присѣлъ послѣ занятій со мною къ изголовью maman, сказавъ:

— Ахъ, я и позабылъ: у меня есть къ вамъ записочка отъ дочери.

И онъ подалъ maman распечатанную записку, которую та взяла дрожащими руками и, пробѣжавъ ее, потребовала у меня свой бюваръ, сунула туда полученную записку и, написавъ отвѣтъ, велѣла мнѣ его запечатать.

Я взялъ бюваръ въ свою комнату и имѣлъ нескромность прочесть и Христину записку, и матернн отвѣтъ. Христя писала слѣдующее:

«Катерина Васильевна! Вы должны имѣть обо мнѣ самое дурное мнѣніе и мнѣ хочется сказать вамъ, что я его вполнѣ стою: *я пропала!* Мое послѣднее поведеніе всякому даетъ право думать обо мнѣ какъ о самой недостойной женщинѣ— и я сама прежде всего считаю себя недостойною добраго расположенія и сообщества такой почтенной и горячо мною любимой женщины, какъ вы.. Вотъ почему я не иду къ вамъ—и зная, что вы больны по причинѣ, которую боюсь отгадать, рѣшилась просить васъ объ одномъ: не считайте меня холодною и неблагодарною, неумѣющею понимать и цѣнить вашей расположенности».

Maman на это отвѣчала короткимъ словомъ: «Приди ко мнѣ, другъ мой, моя милая Христя, я люблю тебя, я жду тебя со всѣмъ нетерпѣніемъ и встрѣчу тебя съ вѣрнымъ тебѣ сердцемъ».

Я запечаталъ это письмо и отдалъ его Альтанскому, а не болѣе какъ спустя одинъ часъ въ сѣняхъ нашихъ двевей послышался стукъ щеколды, и въ дверяхъ залы появилась Христя.

Она была одѣта очень небрежно, въ какомъ-то старомъ черномъ изношенномъ платьѣ, и покрыта съ головы такимъ же чернымъ платкомъ; но лицо ея, хотя и было блѣднѣе обыкновеннаго, казалось спокойнымъ и даже счастливымъ.

Заставъ меня одного въ залѣ, она, ни слова не говоря, подала мнѣ руку, улыбнулась и поцѣловала меня въ лобъ; я ей хотѣлъ что-то сказать, но она закрыла мнѣ ротъ и пошла скорыми шагами къ матушкиной комнатѣ, но вдругъ на самомъ порогѣ двери остановилась, закрыла ладонями глаза и опустилась на колѣни.

— Боже мой! другъ мой! Христя! Ты ли это?—воскликнула, быстро вскочивъ и сѣвши въ кровати, maman.

— Да; это я... посмотрите на меня Бога ради!—отвѣчала, не поднимаясь и не открывая глазъ, дѣвушка.

— Зачѣмъ же ты тамъ стала? О, Господи! Иди, иди ко мнѣ, или я не выдержу...

— Вы меня не презираете?

— Нѣтъ, нѣтъ; я жалѣю тебя, я люблю тебя, я хочу плакать съ тобою!

Христя вскочила и, бросившись къ maman, обняла ее, а я поспѣшилъ уйти въ свою комнату и заперъ за собою двери.

Я долго сидѣлъ у себя, тяжело облокотясь головою на руки, и думалъ, что это за свѣтъ, что его за законы, ради которыхъ лучшее гибнетъ, принося себя въ жертву худшему,—и въ душѣ моей возставало смутное недовольство жизнью, которой я не понималъ, но уже былъ во враждѣ съ нею за эту Христю. *Я понималъ, что она сдѣлала*, и она мнѣ казалась героинею—и притомъ такою искреннею, такою прекрасною, что я готовъ былъ за нее умереть; а когда я пересталъ философствовать и сдѣлался снова свидѣтелемъ разговора, который она вела съ матушкою, добрыя чувства мои къ ней еще болѣе усилились.

Христя не приводила никакихъ аргументовъ въ свое оправданіе: она все брала на себя и говорила только одно, что она «не могла совладѣть съ собою».

— Какъ же ты думаешь теперь жить?

— Никакъ. Зачѣмъ думать: ничего не выдумаешь.

— Но твой отецъ?

— Отецъ мой меня любитъ.

— Но его годы, его взгляды..

— Не смущайте меня: я теперь счастлива, я любима, и вы меня не отвергаете — а болѣе мнѣ ни до кого нѣтъ дѣла.

— А общество, а свѣтъ?

— А что они мнѣ дали? чѣмъ я имъ обязана? Не говорите мнѣ о нихъ: ихъ судъ мнѣ не нуженъ; я чувствую наслажденіе презирать его.

— Мой другъ, это не такъ легко.

— Легко ли, трудно ли, мнѣ объ этомъ теперь уже поздно думать.

— А собственная совѣсть?

— Совѣсть? она чиста. Я никого не погубила и не погублю: я отреклась отъ правъ на почетъ и уваженіе и взяла себѣ безславіе—и я снесу его.

— Зачѣмъ?

— Чтобы сдѣлать хоть немного счастливѣе того, кого я люблю и кто свыше мѣры несчастливъ.

— А Богъ! а Богъ! ты забыла о Немъ, мое бѣдное дитя?

— Чей Богъ?

— Мой, твой, Богъ твоего отца.

— Богъ вашъ меня проститъ, потому что вы, будучи Его твореніемъ, меня простили.

— Словомъ, ты не чувствуешь въ своемъ сердцѣ на себя никакой грозы?

— Никакой.

— И ничего не боишься?

— Ничего ровно. Я счастлива.

— О, Боже! — воскликнула мамаи. — Какъ правъ, какъ правъ мой другъ, который предрекалъ мнѣ все это!

— О комъ вы говорите?

— Ты его не знаешь: его здѣсь нѣтъ.

— Его здѣсь нѣтъ; но я все равно его знаю: это тотъ, кого зовутъ Филиппъ Кольбергъ?

— Да; это онъ.

— Что онъ вамъ предрекалъ на мой счетъ?

— Когда мы познакомились съ тобой и я писала ему объ этомъ и описывала твое положеніе и твой характеръ, онъ отвѣчалъ мнѣ: «остерегайтесь поддерживать гордость этой дѣвушки: такіе характеры способны къ неудержимымъ жертвамъ—и въ этой жертвѣ все ихъ оправданіе». Я его не послушалась, я укрѣпляла въ тебѣ твою рѣшимость отказать Сержу, потому что я предвидѣла твое положеніе въ этой напыщенной семьѣ...

— И не жалѣйте объ этомъ, — перебила Христя: — вы укрѣпили меня въ самую важную минуту и спасли меня отъ положенія тяжкаго, котораго я бы не снесла—и умерла бы ненавистною себѣ и ему; между тѣмъ какъ теперь я счастлива и умру счастливою.

— Къ чему же рѣчь о смерти?

— О! я скоро, очень скоро умру!

— Зачѣмъ такая мысль?

— Она меня радуетъ: я хочу умереть скорѣй, скорѣй...

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ? О, вы ли объ этомъ спрашиваете? Зачѣмъ, чтобы не надоѣсть и... умереть любимой! Неужто вы не чувствуете какое это блаженство?

Маman промолчала.

— О, я жалѣю васъ, если вы этого не знаете,—продолжала дѣвушка.

— Нѣтъ, я это знаю,—отвѣтила тихо маman:—но...

— Но, я знаю что̀ вы скажете,—перебила Христя:—вы скажете, что можно умереть любимою, сохранивъ себѣ уваженіе, то-есть не сдѣлавшись любовницею?

— Да.

— Отвѣчу вамъ: пускай это вмѣстить, кто можетъ; я же не могла и спросите этого добраго Кольберга... Я думаю, что онъ добрый?

— Какъ ангелъ.

— И онъ, конечно, уменъ?

— О, очень уменъ.

— Ну, такъ спросите его: осудитъ ли онъ меня или нѣтъ, что я пожертвовала собою, зная все... зная даже то, что меня долго любить не будутъ. Но я вамъ говорю: я предупрежду это несчастіе и умру любимая.

— Какая ты славная и какая несчастная, Христя!

Она засмѣялась и проговорила:

— Славная? да, я прославилась; молчите обо мнѣ: прячьте мою славу, пока ее не выдастъ всѣмъ мое открытое безславіе.

Вышла пауза—и я понималъ, что онѣ въ это время должны были молча глядѣть другъ на друга: мать моя съ ужасомъ, а Христя со спокойствіемъ, которое вызывало этотъ ужасъ.

Я сталъ тихонько на колѣни передъ висѣвшимъ въ моей комнатѣ изображеніемъ Христа и, горько рыдая, просилъ Его:

— Омой, омой грѣхъ ея Твоею кровію!

Болѣе я ничего объ этомъ днѣ не помню.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Романъ Христи скоро получилъ огласку. Это и не могло быть иначе, потому что поведеніе страстно-влюбленнаго въ нее Сержа обличало его ежеминутно—и въ глазахъ его домашнихъ, и въ глазахъ посторонніхъ, которымъ была охота что-нибудь видѣть. Я не знаю, было ли Христѣ что-нибудь извѣстно о томъ, что̀ о ней толковали, но полагаю, что нѣтъ, потому что она рѣшительно умерла и погребласъ для всего міра. Кромѣ ея собственнаго дома, ее нигдѣ нельзя было

видѣть: къ намъ она приходила, вся закутанная, поздно вечеромъ и уходила ночью, да и то это продолжалось только до тѣхъ поръ, пока maman была больна; но какъ только maman начала выходить, Христя съ тѣхъ поръ къ намъ уже не показывалась. Еще оставалась у нея церковь, такъ какъ Христя, несмотря на свое своеволіе, была очень набожна; но она избрала для своего моленія самую уединенную церковь и тамъ пряталась отъ всѣхъ взоровъ. Вообще прятанье сдѣлалось у Христи какою-то страстью и наводило на меня лично очень непріятное впечатлѣніе: укрывающаяся Христя была точно олицетвореніе нечистой совѣсти, что вовсе не шло къ ней, тѣмъ болѣе, что она, судя по ея недавнему объясненію съ maman, считала свою совѣсть совершенно чистою.

А время все шло своимъ чередомъ, дни уходили за днями; Христя все такъ же старалась быть невидимой, и мы видѣлись съ нею очень рѣдко, а съ Сержемъ никогда; но укрѣпившійся въ фаворѣ женской половины этого дома Пепыковскій ретиво доносилъ намъ, что тамъ идутъ ужасныя сцены и что жена и мать Сержа задумали какой-то планъ мщенія. Планъ этотъ, какъ вскорѣ обнаружилось, состоялъ въ томъ, что высокій покровитель семьи Сержа, при которомъ сей послѣдній былъ записанъ на службѣ, далъ ему порученіе въ Петербургъ. Сержъ было возсталъ противъ этого и подавалъ просьбу въ отставку, но просьбы этой отъ него не приняли, а Христя убѣдила его не поднимать спора и ѣхать. Онъ ее послушался и уѣхалъ, кажется, точно такъ же легко, какъ прежде послушался ее и женился на другой. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ, слушая ее, онъ слушался собственныхъ своихъ задушевныхъ и тайныхъ желаній, которыя Христя только умѣла отгадывать и предлагать въ видѣ своихъ просьбъ.

Итакъ, онъ уѣхалъ въ Петербургъ, а мы придвинулись къ Христѣ, которая была очень спокойна и даже какъ бы довольна, что осталась одна,—обстоятельство, которое меня еще сильнѣе навело на мысль, что Христя только бодрится, а въ существѣ очень страдаетъ отъ невыносимой тяжести положенія, которое себѣ устроила очертя умъ и волю. Она внутренно подобрала себя къ рукамъ,—стала гораздо порядочнѣе и спокойнѣе въ поступкахъ и въ мысляхъ, и даже во внѣшности: ея костюмъ и ея комнаты,—все это приняло

прежній стройный характеръ, который было совершенно утратился и исчезъ во дни ея безумныхъ увлеченій.

Такъ прошло болѣе мѣсяца, какъ вдругъ случились у насъ два происшествія: первое заключалось въ томъ, что къ роднымъ Сержа пришла, будто бы, вѣсть, что онъ въ Петербургѣ имѣлъ непріятную исторію съ братомъ своей жены и опасно занемогъ. При разсказахъ объ этомъ чего-то очевидно умышленно не договаривали и въ городѣ отъ этихъ недомолвокъ пошли толки, что у Сержа была дуэль и что онъ опасно раненъ. Жена его немедленно поскакала въ Петербургъ.

Христя, до которой дошла эта новость, сначала было очень испугалась, но потомъ подумала, успокоилась и сказала, что все это неправда.

Еще мѣсяцъ спустя получилось извѣстіе, что Сержъ уѣхалъ съ женою для пользованія за границу.

Христя, услыхавъ объ этомъ, сказала:

— Ну, вотъ *это* правда!

И вслѣдъ затѣмъ она получила отъ Сержа письмо, въ которомъ тотъ каялся, что роковая судьба заставляетъ его подчиниться тяжелымъ обстоятельствамъ; что онъ два года долженъ прожить съ женою за границею, потому что иначе теща лишитъ его значительной доли наслѣдства, но что онъ за всѣмъ тѣмъ останется вѣренъ своему чувству къ Христѣ и будетъ любить ее до гроба.

Христя все это приняла съ улыбкою и перенесла съ такимъ спокойствіемъ, что казалось, будто она вовсе даже нимало и не страдала. А вслѣдъ затѣмъ вскорѣ произошло событіе въ другомъ родѣ, которое ее даже заставило хохотать и долго было у насъ причиною немалаго смѣха.

Виновникомъ этого веселаго событія былъ мой добрый другъ Пенькновскій.

Я уже сказалъ, что онъ пользовался большимъ фаворомъ на женской половинѣ Сержева дома. Какъ началось ихъ знакомство и дружество — я не знаю; но когда мы стали обращать на это вниманіе, то дѣла уже стояли такъ, что Пенькновскій былъ въ ихъ домѣ своимъ человѣкомъ и притомъ человѣкомъ самымъ необходимымъ. Теща, мать и жена Сержа, до самаго своего отъѣзда къ мужу, безъ церемоніи употребляли моего друга на разныя посылки и послуги и удостоивали при этомъ своей особой довѣренности, которою

онъ и умѣлъ пользоваться съ дѣлающимъ ему честь тактомъ. Посѣщая насъ и принося намъ разныя непрощенныя вѣсти изъ дома Сержа, онъ выуживалъ, гдѣ могъ, разныя сплетнишки о Христѣ — и, снабжая ихъ своими комментаріями, сносилъ туда. Онъ же оказывалъ самое ревностное и въ то же время самое осторожное содѣйствіе въ устройствѣ спасительной высылки Сержа за границу и потомъ остался утѣшать двухъ старухъ: родную мать Сержа — здоровую, толстую и чернобровую старуху Анну Ивановну, и его тещу Марью Ильиничну, старуху менѣе старую, высокую, стройную и сохранившую слѣды нѣкогда весьма замѣчательной красоты.

Эта послѣдняя была женщина свѣтская,—по-своему очень неглупая, щедрая, даже расточительная; она занялась Пенькновскимъ съ знаніемъ дѣла: экипировала его со вкусомъ и такъ выдержала въ отношеніи всей его внѣшности, что въ одно прекрасное утро, всѣ мы, невзначай взглянувъ на моего друга, почувствовали, что онъ имѣетъ неоспоримое право называться замѣчательнымъ красавцемъ.

Въ самомъ дѣлѣ, его высокій ростъ, крупная, но стройная и представительная фигура, прекрасные свѣтлорусые, слегка вьющіеся волосы, открытое высокое чело, полное яблоко голубыхъ, завѣшанныхъ густыми рѣсницами глазъ и удивительнѣйшей, античной формы большая бѣлая рука, при мягкости и въ то же время развязности манеръ, быстро имъ усвоенныхъ подъ руководствомъ изящной и любившей изящество тещи Сержа, обратили его въ какого-то Ганимеда, загмевавшаго своей весенней красотой все, что могло сколько-нибудь спорить о красотѣ.

Онъ это чувствовалъ и сознавалъ—и необыкновенно легко обучился держать себя съ большою важностью. Состоя на однихъ со мною правахъ и потому будучи обязанъ служить приказнымъ, онъ, однако, бросилъ свою гражданскую палату—и, перемѣстясь въ аристократическую канцелярію къ начальнику, ведшему за усы его отца, взиралъ свысока на всѣхъ засѣдателей и надсмотрщиковъ, которыхъ могъ обогнать однимъ шагомъ. Ему теперь все улыбалось—и онъ полнѣлъ, добрѣлъ и лнковалъ, и отнюдь не подозрѣвалъ, что въ это самое время ему готовился урокъ непрочности земного счастія. Среди самыхъ цвѣтущихъ дѣлъ онъ получилъ смертельный ударъ, заключавшійся въ томъ, что убогенькая

жена моего дяди внезапно подавилась куриною косточкою и умерла, — а дядя мой, отъ котораго — по выраженію лица, у котораго служилъ Пенькновскій, — «взятками пахло», чтобы отбить отъ себя этотъ дурной запахъ, сдѣлалъ предложеніе Маріѣ Ильиничнѣ и получилъ ея руку быстро и безповоротно. Этимъ политическимъ фортелемъ дядюшка, сблизясь съ главнымъ начальникомъ края, укрѣпилъ себя на своемъ креслѣ, такъ какъ оно подъ нимъ довольно шаталось, — а бѣдный Пенькновскій очутился безъ шпаги. Въ домъ дяди его не пускали, а тайно благодѣтельствовать ему Марья Ильинишна или не хотѣла, или онъ самъ считалъ неудобнымъ участвовать въ этой тройной игрѣ. Словомъ, дѣла его приняли вдругъ самый дурной оборотъ: аристократическая канцелярія не давала ему ничего, кромѣ какихъ-то весьма отдаленныхъ видовъ; но какъ было ихъ дождаться, когда скупой отецъ не давалъ ему ни гроша, а самъ онъ не умѣлъ добыть трудомъ ни копейки.

Всякій бы на мѣстѣ Пенькновскаго сталъ втупикъ, и съ нимъ случилось то же самое, но только съ тою разницею, что онъ скоро нашелся какъ поправить свои обстоятельства и притомъ способомъ самымъ прочнымъ и капитальнымъ.

Разъ, въ праздничный день, онъ приходитъ къ намъ по обыкновенію развязнымъ щеголемъ и франтомъ, и, предложивъ maman руку, просилъ ее его выслушать. Они вдвоемъ вышли въ залъ, а я остался въ матушкиной комнатѣ, гдѣ грѣлся передъ каминомъ; но не прошло и десяти минутъ, какъ матушка вдругъ вошла торопливой походкой назадъ. Она имѣла видъ встревоженный и смущенный и, плотно затворивъ за собою дверь, сказала мнѣ:

— Выйди, сдѣлай милость, къ нему и скажи, что я почувствовала себя дурно и легла въ постель.

Я смотрѣлъ на maman молча, изумленными глазами, но она еще настойчивѣе повторила мнѣ свое порученіе и закопалась въ мелкихъ вещицахъ на своемъ туалетѣ, что у нея всегда выражало большое волненіе.

Я вышелъ въ залъ и, увидѣвъ передъ собою представительнаго Пенькновскаго, ощутилъ всю трудность возложеннаго на меня порученія, тѣмъ болѣе, что не зналъ, чѣмъ оно вызвано. Одну минуту мнѣ пришло въ голову, ужъ не сдѣлалъ ли онъ предложенія моей maman, но, вспомнивъ, что онъ въ послѣднее время усвоилъ себѣ привычку гово-

рить съ женщинами съ особенной тихой развязностью, я счелъ свою догадку преждевременной и просто попросилъ его въ свою комнату.

— Въ твою комнату? зачѣмъ это?—спросилъ онъ меня съ легкою гримаской; но, услыхавъ отъ меня то, что я долженъ былъ ему передать по порученію maman, онъ вдругъ смялся и на выхоленномъ лицѣ его мелькнули черты, которыя я видѣлъ на немъ, когда обнаружилось, что Кириллъ водилъ его подъ видомъ палача по королевецкой ярмаркѣ.

— Послушай,—сказалъ онъ мнѣ въ одно и то же время и разсѣянно, и строго:—я въ правѣ отъ тебя, однако, потребовать одного, чтобы ты сказалъ: понимаешь ли ты, что это обида...

— Ей-Богу, ничего я не понимаю,—отвѣчалъ я поистинѣ.

— Я объявляю твоей матери, что я женюсь на ея знакомой,—и такъ или иначе, дѣлаю ей все-таки честь: прошу ее быть моею посаженою матерью; а она, вдругъ, представь себѣ: молча смотритъ на меня цѣлыя пять минутъ... замѣть, все молча! Потомъ извиняется, быстро уходитъ и высылаетъ ко мнѣ тебя съ этимъ глупымъ отвѣтомъ, что она нездорова... Знаешь, милый другъ, что если бы я не уважалъ ее, и если бы это не въ такое время, что я женюсь...

— На комъ же, на комъ ты женишься?—перебилъ я.

— А я, любезный другъ, женюсь на Аннѣ Ивановнѣ.

— На какой Аннѣ Ивановнѣ?

— На Довбичъ.

— На вдовѣ?!

— Ну да, на вдовѣ.

— На матери Сержа?

— Ну да; на его матери.

— И Сержъ долженъ будетъ называть тебя mon père?

У меня задергало щеки, и я не выдержалъ и расхохотался.

— Вотъ сейчасъ и видно, что ты еще дуракъ!—сказалъ Пенькновскій, которому и самому было и смѣшно, и конфузно; но онъ, однако, на меня не разсердился и ушелъ, удостоивъ меня чести приглашеніемъ въ шаферы.

Когда мы вечеромъ пришли къ Христѣ и я разсказалъ ей эту исторію, она смѣялась до упаду и до истерики, сколько надъ chère papa, какъ стали мы называть Пенькновскаго, столько же и надъ maman, которая сама шутила

надъ замѣшательствомъ, въ которое поставилъ ее Пенькновскій этою, по ея словамъ, «противною свадьбой».

Мы по этому случаю такъ много смѣялись и были такъ веселы, что и не думали ни о положеніи Христи, ни о томъ, что надъ самими надъ нами, можетъ-быть, тоже виситъ какая-нибудь внезапность, способная переконфузить насъ болѣе, чѣмъ замужество одной старухи сконфузило Пенькновскаго и въ то же время дало ему счастливую мысль самому скорѣе жениться на другой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Ночью отъ этого усиленнаго смѣха Христи сдѣлалось внезапно такъ худо, что она присылала за maman—и я не слыхалъ, какъ maman къ ней ходила и возвратилась,—да собственно я не зналъ даже, что такое и было съ Христею, и не видалъ ее послѣ того въ теченіе довольно продолжительнаго времени. Это случилось главнымъ образомъ отъ того, что я ѣздилъ по службѣ въ одинъ довольно-далекій великороссійскій городъ, за принятіемъ мѣдной монеты. Порученіе это было пустое и весьма не лестное, такъ какъ его могъ бы исполнить всякій солдатъ; но maman оно очень нравилось—и даже, я увѣренъ, что она сама и схлопотала мнѣ эту посылку.

Впрочемъ, выѣхавъ изъ Кіева послѣ продолжительнаго здѣсь сидѣнія, я и самъ былъ очень доволенъ случаю провѣтриться. Новыя мѣста и новые люди всегда меня интересовали—и на этотъ разъ я ими очень занялся и провелъ нѣсколько времени въ дорогѣ и при пріемѣ денегъ очень пріятно. Поневолѣ освободясь отъ книгъ, я сопричащался къ жизни чужихъ мнѣ людей и нашелъ это очень пріятнымъ, тѣмъ болѣе, что куда я ни появлялся и съ кѣмъ ни сходился, мнѣ казалось, что всѣ меня очень ласкали и любили. Словомъ: я былъ очень счастливъ—и этимъ счастьемъ дышали всѣ письма, которыя я писалъ матушкѣ, описывая въ нихъ въ подробности всѣ мои думы и впечатлѣнія. Отпускомъ меня отсюда не торопились: денегъ, за которыми я пріѣхалъ, не было въ сборѣ,—ихъ свозили въ губернскій городъ изъ разныхъ уѣздовъ; все это шло довольно медленно, и я этимъ временемъ свелъ здѣсь нѣсколько очень пріятныхъ знакомствъ; во главѣ ихъ было семейство хозяина, у котораго я приталъ съ моими двумя присяжными солдатами, и

потомъ чрезвычайно живой и веселый живописецъ Лаптевъ, который занимался въ это время росписью стѣнъ и купола мѣстнаго собора и жилъ тутъ же рядомъ со мною въ комнатѣ у того же самаго небогатаго дворянина Нестерова. Живописецъ Лаптевъ былъ человѣкъ маленькаго роста, съ веселыми карими глазками, широкой чистой лысиной, черезъ которую лежала одна длинная прядь черныхъ волосъ, съ открытымъ лицомъ и курносымъ носомъ, нѣсколько вздернутымъ и какъ бы смѣющимся. Однимъ словомъ: физіономія презамѣчательная и очень располагающая. Онъ имѣлъ отъ роду лѣтъ тридцать пять, происходилъ откуда-то изъ мѣщанъ; провелъ всю свою жизнь въ занятіяхъ церковною живописью, былъ очень уменъ и наблюдателенъ; любилъ кутнуть и считалъ себя знатокомъ церковнаго пѣнія, постоянно распѣвалъ разныя херувимскія и концерты, но пѣлъ ихъ не сплошь, а только однѣ басовыя партіи, отчего, если его слушать изъ-за стѣны, выходило похоже на пѣніе сумасшедшаго. Онъ то вырабатывалъ свою ноту, то вдругъ останавливался, воображая мысленно какъ поютъ въ это время другіе голоса, считалъ въ умѣ тактъ—и дождавшись времени, вдругъ опять хваталъ свою ноту и оралъ часто весьма немилосердно.

На этомъ мы съ нимъ и познакомились; онъ, встрѣтивъ меня однажды, спросилъ: не мѣшаетъ ли онъ мнѣ заниматься? на что я ему и отвѣчалъ, что онъ мнѣ не мѣшаетъ, но что я удивляюсь, какъ ему не мѣшаетъ сумасшедшій, который у насъ гдѣ-то кричитъ.

— А-а! этотъ сумасшедшій? Ну, я къ нему уже привыкъ,—отвѣчалъ, добродушно смѣясь, Лаптевъ.

— Развѣ вы давно здѣсь живете?

— Нѣтъ, я то здѣсь недавно, но онъ-то со мною уже давно; однимъ словомъ, этотъ сумасшедшій я самъ. Хе-хе-хе-хе!—засмѣялся онъ, какъ засыпалъ мелкимъ горошкомъ, и, обнявъ меня съ искренней дружбой, добавилъ:—не конфузьтесь, пріятель дорогой, не конфузьтесь! вы не первый сочли меня за сумасшедшаго; почитайте меня такимъ, ибо я и въ самомъ дѣлѣ таковъ: пою и пью, священные лики изображаю и ежечасно грѣшу: чѣмъ не сумасшедшій...

Вечеромъ этотъ веселый человѣкъ, придя съ работы изъ церкви, взманилъ меня итти съ нимъ въ театръ, гдѣ очень плохая провинціальная труппа разыгрывала *Каменнаго гостя*.

И представленіе, и обстановка были крайне незамысловаты, но меня они, однако, удовлетворяли или по крайней мѣрѣ приводили въ нѣкоторый трепетъ; а Лаптевъ, который оказался большимъ театраломъ, по возвращеніи домой необыкновенно заинтересовалъ меня разсказами о столичныхъ театрахъ и актерахъ, изъ которыхъ онъ очень многихъ близко зналъ. Отъ актеровъ онъ перескочилъ къ пѣвцамъ, отъ пѣвцовъ къ живописцамъ и скульпторамъ — и, рисуя одну за другою картины артистическихъ нравовъ, увлекъ меня этимъ бытомъ до восхищенія и восторга, выразившагося тѣмъ, что я вскочилъ съ мѣста и расцѣловалъ его.

Онъ мнѣ казался уменъ и прекрасенъ: чуя въ немъ біеніе пульса, присущее художественной натурѣ, я ощутилъ въ своей душѣ ближайшее родство съ нимъ, — родство и согласіе, какихъ не ощущалъ до сихъ поръ ни съ кѣмъ, не исключая maman, Христи и профессора Альтанскаго.

— Гармонія—вотъ жизнь; постиженіе прекраснаго душою и сердцемъ—вотъ что̀ лучше всего на свѣтѣ!—повторялъ я его послѣднія слова, съ которыми онъ вышелъ изъ моей комнаты — и съ этимъ заснулъ, и спалъ, видя себя во снѣ чуть не Апеллесомъ или Праксителемъ, передъ которыми всѣ дѣвы и юныя жены стыдливо снимали покрывала, обнажая красы своего тѣла; онѣ были обвиты плющемъ и гирляндами свѣжихъ цвѣтовъ и держали кто на головѣ, кто на упругихъ плечахъ храмовыя амфоры, чтобы подъ тяжестью ихъ отчетливѣе обозначалися линіи стройнаго стана—и все это затѣмъ, чтобы я, величайшій художникъ, увѣнчанный миртомъ и розой, лучше бы могъ передать полотну ихъ чаровничью прелесть.

О, юность! о, юность благая! зачѣмъ твои сны уходятъ вмѣстѣ съ тобою? Зачѣмъ не повторяются они такіе чистые и прекрасные, вдохновляющіе, какъ этотъ сонъ, послѣ котораго я уже не могъ уснуть въ эту ночь, всталъ рано и, выйдя на коридоръ, увидалъ моего Лаптева. Онъ стоялъ и умывался передъ глинянымъ умывальникомъ, и, кивнувъ мнѣ головою, спросилъ:

— Или не поспалось?

— Да, не поспалось,—отвѣчалъ я:—мнѣ приснился хорошій сонъ и заспать его не хочется.

— А что̀ за сонъ такой снился? Пойдемте-ка ко мнѣ чай пить, да разскажите про него, протобестію.

— Ну-съ?

— Ну-съ, и поступилъ къ живописцу, да лучше его писать сталъ—онъ меня выгналъ; я въ Петербургъ, чуть въ академію не попалъ.

— И отчего же вы не попали?—воскликнулъ я съ глубокимъ сожалѣніемъ.

— Дуракъ былъ,—отвѣчалъ Лаптевъ:—влюбился да женился,—муза сейчасъ и взревновала, и наплевала мнѣ въ голову, а баба ребятъ нарожала—и вотъ я лысый нынче лажу по лѣсамъ, да куполы расписываю и тѣмъ свой гаремъ питаю.

Лаптевъ замолчалъ и сталъ собираться на работу.

Я ушелъ отъ него и мнѣ сдѣлалось невыразимо скучно,—точно я разстался съ какимъ-то ближайшимъ и драгоцѣннѣйшимъ мнѣ существомъ. Повторяю опять, что хотя я въ этомъ влеченіи и узналъ знакомыя черты пылкости и восторженности моей натуры, но это было совсѣмъ не то, что я чувствовалъ нѣкогда къ матери или Альтанскому. Все то было сухо, строго и подчинялось разуму, межъ тѣмъ какъ тутъ меня охватывало что-то неодолимое и неодолимою же тайною властью влекло къ Лаптеву. Въ немъ я видѣлъ, или лучше сказать, чувствовалъ посланца по мою душу изъ того чуднаго, завѣтнаго міра искусства, который вдругъ сталъ мнѣ своимъ—и манилъ, и звалъ меня къ себѣ, привѣчая и лаская... и я стремился къ нему, дрожа и млѣя, и замирая отъ сладостной мысли быть въ немъ извѣстнымъ, знаменитымъ... славнымъ...

Бѣдный Лаптевъ уже представлялся мнѣ чѣмъ-то жалкимъ, добрымъ, но мизернымъ: крохотною козявочкой, которую я опережу однимъ взмахомъ крыла, крыла молодого, невыщипаннаго, бодраго и самонадѣяннаго.

Я отъ природы имѣлъ способность къ музыкѣ, какъ и къ живописи. Еще въ корпусѣ, находясь въ числѣ пѣвчихъ, я выучилъ вокальныя ноты подъ руководствомъ регента и самоучкою приспособился къ пониманію музыкальныхъ нотъ, но не умѣлъ играть ни на одномъ инструментѣ, кромѣ сигнальнаго рожка, на которомъ при удобныхъ случаяхъ вырабатывалъ кусочки едва удобные на этомъ бѣдномъ инструментѣ. Рисовалъ же я хорошо и карандашомъ, и красками, то есть, разумѣется, хорошо для кадета, а не для живописца, но я надѣялся быстро усовершенствоваться. При

достаточной скромности я все-таки былъ такъ самонадѣянъ, что считалъ себя способнымъ сразу сдѣлать громадные успѣхи, на которые позволяли мнѣ разсчитывать мое относительно ужъ неузкое развитіе, вкусъ и знанія, какихъ не было у Лаптева.

Долговременное неупражненіе себя въ искусствахъ стало передо мною живымъ и нестерпимымъ укоромъ, и я страстно рванулся наверстать все это,—и, ни минуты болѣе не размышляя, бросился бѣгомъ въ церковь, гдѣ работалъ со своими подмастерьями Лаптевъ.

Живописецъ сидѣлъ высоко въ люлькѣ и писалъ въ парусѣ купола евангелиста.

Увидѣвъ меня, онъ захохоталъ опять тѣмъ же своимъ, какъ горохъ, дробнымъ смѣхомъ и крикнулъ:

— А что: не сидится, кортитъ?

Скучно,—отвѣчалъ я:—пришелъ посмотрѣть.

— Чего же даромъ смотрѣть: полѣзайте, работу дадимъ. Эй, Архипъ!—крикнулъ онъ живописцу, писавшему драпировки другого евангелиста:—дай-ка этому барину горшокъ съ брамротомъ,—пусть его фонъ затираетъ.

— Испортитъ,—отвѣчалъ изъ-подъ паруса угрюмымъ басомъ Архипъ, большой человѣкъ, чрезвычайно похожій на отставного солдата.

— Нѣтъ, не испорчу,—отвѣчалъ я.

— Кусковъ наваляете—послѣ сбивай ихъ мастихиномъ.

— Ничего, ничего: дай ему краски,—отозвался Лаптевъ и снова захохоталъ.

Я взлѣзъ, взялъ кисть и пошелъ затирать фонъ вокругъ подмалеваннаго контура евангелиста Іоанна и исполнилъ это немудреное дѣло прекрасно.

Лаптевъ, очевидно давшій мнѣ эту работу для шутки, взглянувъ на нее, улыбнулся и не безъ удивленія сказалъ:

— Хорошо.

На другой день я сдѣлалъ ту же работу въ другомъ парусѣ и украдкою позволилъ себѣ положить небольшіе блики на спускающейся внизъ рукѣ евангелиста, которая казалась мнѣ неестественно освѣщенною.

Лаптевъ это замѣтилъ и, еще болѣе удивляясь, сказалъ:

— Вонъ оно, Архипъ, баринъ-то какъ мажетъ. Ему можно дать въ твоемъ парусѣ драпировки подмалевать.

Въ этомъ парусѣ былъ изображенъ евангелистъ Іоаннъ,

какъ онъ обыкновенно пишется,—съ орломъ у плеча, но съ перстомъ уставленнымъ въ лобъ.

Я не видалъ ровно никакого смысла въ этомъ упертомъ въ лобъ пальцѣ у евангелиста, который писалъ вдохновеніемъ, для выраженія котораго здѣсь и представленъ орелъ. Такое сложное и натянутое сочетаніе мнѣ очень не нравилось—и я не преминулъ сообщить Лаптеву мою мысль.

Онъ задумался—и потомъ, согласясь со мною, крикнулъ:

— Архипъ! слышь, баринъ-то дѣло говоритъ: зачѣмъ евангелистъ пальцъ въ лобъ уперъ?

— А куда же прикажете ему его упереть?—сердясь отвѣчалъ Архипъ.

Лаптевъ разсмѣялся и проговорилъ:

— Вамъ насъ уже не переучить.

И съ этимъ мы съ нимъ ушли, а когда я на другой день пришелъ въ церковь, то онъ, предупредительно встрѣтивъ меня, сказалъ:

— Садитесь-ко вотъ тутъ со мною, а то они сердятся.

Я помогалъ Лаптеву недѣли двѣ и во все это время онъ какъ на зло не говорилъ со мною ни одного слова объ искусствѣ, а между тѣмъ, я видѣлъ, что онъ считаетъ меня далеко не чуждымъ этому призванію.

Меня это немножко досадовало, тѣмъ болѣе, что я, со свойственною мнѣ страстностью, весь предался работѣ и не замѣтилъ, какъ словно тать въ нощи подкрался день моего отъѣзда назадъ, въ великолѣпно-скучающій Кіевъ, къ моей чинной и страдающей матери, невозмутимому и тоже, кажется, страдающему профессору Альтанскому и несомнѣнно страдающей, хотя и смѣющейся, Христѣ.

У меня сжалось сердце: мнѣ стало необыкновенно жалко всѣхъ ихъ и въ то же самое время мнѣ было страшно возвращаться въ этотъ кружокъ, который мнѣ казался теперь такимъ унылымъ и скучнымъ... Я представилъ себѣ en detail свой домъ, домъ Альтанскихъ, всѣ эти милыя мнѣ, но какъ бы не моего письма лица и потомъ... служба... канцелярія съ ея стертыми какъ старые пятиалтынные лицами и запахомъ спертаго воздуха и папиросъ... и мнѣ хотѣлось куда-то бѣжать. Куда? Да не все ли равно: хоть подъ парусъ церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра въ тогѣ командора, словомъ, куда бы ни было, но только туда, гдѣ бы встрѣтить жизнь, ошибки и тревоги, а не мо-

раль, вѣчную мораль добродѣтели и заботъ о своемъ совершенствѣ... Это все мнѣ ужасно надоѣло и... я къ стыду моему понялъ, что это значитъ: я не могъ лукавить съ самимъ собою, я долженъ былъ сознаться себѣ, что мнѣ наскучило быть съ матерью, что мнѣ не хочется уже къ ней возвращаться, и я заплакалъ... отъ стыда своей неблагодарности и отъ досады, что я бѣденъ, ничтоженъ, что я не могу обезпечить мою мать всѣмъ нужнымъ и самъ броситься въ какую-то иную жизнь... Я не зналъ, какую именно, но зналъ, что она должна быть совсѣмъ не похожа на ту, которую я проводилъ до сихъ поръ и которую уважалъ... Я хотѣлъ попробовать жизни—уваженія недостойной: я чувствовалъ, что это влеченіе во мнѣ становится неодолимо.

Лаптевъ былъ человѣкъ очень умный и при всей своей малообразованности онъ былъ настоящій «художникъ въ душѣ» (что я считаю гораздо понятнѣе, чѣмъ, напримѣръ, «гусаръ въ душѣ»). Онъ понялъ, какой червякъ забрался въ мою душу, и порѣшилъ помочь мнѣ его выкурить; но ошибся въ расчетѣ и вмѣсто одного горя отпустилъ со мною на дорогу два, изъ коихъ одно было злѣе другого, хотя оба они выводили меня на одну торную дорогу, къ глубочайшему раздору съ собою и съ міромъ, отъ котораго скрыла меня черная мантія и воскрылія клобука—моего духовнаго шлема.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Вскорѣ же послѣ описанной мною сцены и незадолго до моего отправленія, Лаптевъ зашелъ ко мнѣ утромъ въ субботу и говоритъ:

— Вотъ что-съ, мой милостивый государь, не вамъ однимъ плохо спится, а и мнѣ тоже стало не спаться—и въ этомъ виноваты вы.

Я удивился.

— Да такъ-съ,—продолжалъ Лаптевъ:—глядя на вашу страсть, я чувствую, что у меня старые пульсы заколотились. Что проку скрывать и молчать: я вамъ долженъ сказать, что вы мнѣ напомнили мои юные годы, когда я на стѣнахъ углемъ рисовалъ и стаканы билъ. Это, знаете, штука не безстрастная, да и не безстрашная,—потому я съ вами нѣсколько дней и не говорилъ объ искусствѣ.

— Я васъ не понимаю,—отвѣчалъ я:—чего же вы испугались?

— И не удивляюсь-съ, и не удивляюсь, что вы меня не поняли! Искусство... искусство, ухъ, какая мудреная штука! Это вѣдь то же, что монашество: оставь человѣкъ отца своего и матерь и бери этотъ крестъ служенія да иди на жертву—и то ничего не будетъ, или будетъ вотъ такой богомазъ, какъ я, или самодовольный маляришка, который что ни сдѣлаетъ—всѣмъ доволенъ. Художнику надо вѣчно хранить въ себѣ святое недовольство собою, а это мука, это страданіе, и я вижу, что вы уже къ нему немножко сопричастились... Хе-хе-хе!—я все вижу!

— Отчего же, говорю,—вы это видите? я вѣдь вамъ, кажется, ничего такого не говорилъ, да и по правдѣ сказать, никакихъ особенныхъ намѣреній не имѣю. Я поучился у васъ и очень вами благодаренъ — это дастъ мнѣ возможность доставлять себѣ въ свободные часы очень пріятное занятіе.

Лаптевъ замоталъ головой.

— Нѣтъ,—закричалъ онъ:—нѣтъ, атанде-съ; не говорить-то вы мнѣ о своихъ намѣреніяхъ не говорили, это точно—и, можетъ-быть, ихъ у васъ пока еще и нѣтъ; но ужъ я искушенъ—и вы мнѣ повѣрьте, что они будутъ, и будутъ совсѣмъ не такія, какъ вы думаете. Гдѣ вамъ въ свободные часы заниматься! На этомъ никакъ не можетъ кончиться.

Меня очень заняла эта заботливость обо мнѣ веселаго живописца—и я, испытуя его пророческій духъ, спросилъ:

— А какъ же это кончится?

— А такъ кончится, что либо вы должны сейчасъ дать себѣ слово не брать въ руки кистей и палитры, либо васъ такой чортъ укуситъ, что вы скажете «прощай» всему міру и департаменту,—а это пресладостно, и прегадостно, и превредно.

Я разсмѣялся.

— Тсс! тсс!—остановилъ меня серьезно Лаптевъ:—я съ вами дружески говорю... потому что я васъ полюбилъ и считаю обязанностью спасти васъ отъ опасности. Вы не смѣйтесь надъ этимъ: я, вѣдь, рукомесломъ богомазъ, а у меня внутри художественный чертенокъ все-таки живъ... Я полюбливаю людей... такъ, ни за что. Взгляну въ харицу—и

если замѣчу, что на ней зракъ божественный отсіяваетъ... я и пропалъ: пристращусь, полюблю и иногда чортъ знаетъ до чего люблю. Вотъ такъ и съ вами: ишь у васъ мордолясія-то какая. Ахъ ты, каналья, какой онъ прекрасный!

И находившійся въ своемъ удивительномъ художественномъ восторгѣ Лантевъ вдругъ вскочилъ съ мѣста, пребольно ущипнулъ меня съ обѣихъ сторонъ подъ челюстями и, нѣжно поцѣловавъ въ лобъ, договорилъ:

— Какъ же ты не художникъ, когда душа у тебя—вся душа наружу—и ты все это понимаешь, что со мною дѣлается? Нѣтъ; тебя непремѣнно надо спасти и поставить на настоящую дорогу.

— Сдѣлайте милость,—отвѣчалъ я:—я не прочь, только дорога-то для меня уже выбрана: я долженъ служить и сидѣть въ канцеляріи.

И при этомъ я разсказалъ ему о тѣхъ привилегіяхъ, которыя я получилъ въ напутственное благословеніе при исключеніи меня изъ корпуса съ обязательствомъ служить восемь лѣтъ до перваго чина.

Лантевъ изрыгнулъ цѣлый потокъ самой злой брани, но потомъ успокоился и сказалъ, что и это ничего; что восемь лѣтъ пройдутъ какъ уже часть ихъ прошла—и тогда только настанетъ для меня пора настоящаго выбора.

— Вамъ будетъ двадцать пять лѣтъ,—заговорилъ онъ:—и вы будете чиномъ коллежскій регистраторъ, это еще чуть-чуть не китайскій императоръ: съ этакими началами чортъ бы ее побралъ, госпожу службу! Вотъ тогда-то вы и шатнетесь, а куда шатнуться—это надо знать. Надо дѣлать славу или деньги: это большой расчетъ. Мой вамъ совѣтъ: дѣлайте деньги.

— Покорно васъ благодарю.

— Нѣтъ, кромѣ всякихъ шутокъ. Тогда и поэзія, и искусство, все въ мірѣ мило будетъ, а иначе бѣда. Я объ этомъ и хлопочу: васъ надо отучить отъ искусства.

— Какъ же вы это сдѣлаете?

— А уже я сдѣлаю! Не безпокойтесь: я мужъ искушенный; у меня есть на это вѣрное средство. Я затѣмъ къ вамъ и пришелъ. Вы скоро уѣзжаете; я не хочу, чтобы вы уѣхали съ тѣмъ, какъ теперь заправились. Вы вѣдь, небось, думаете, что вы видѣли искусство и искусника. Э, нѣтъ, отецъ родной, вы видѣли не искусника, а чорта въ стулѣ!

А вотъ я вамъ покажу настоящее искусство и настоящаго искусника, такъ вы и поймете, что до него ухъ какъ далеко ѣхать! Да-съ, всякая охотишка отпадетъ какъ посмотришь, сколько нужно грабаться на верхушку, съ которой все видно станетъ. Мнѣ счастливая мысль пришла: сегодня суббота, завтра воскресенье, а послѣзавтра праздникъ, а потомъ именинница Борисоглѣбская гостиница: мои молодцы попируютъ, а потомъ станутъ зубы располасбивать и работать дня четыре не будутъ. Здѣсь въ городѣ и мнѣ, и вамъ страшно скучно—и я хочу вамъ предложить небольшую прогулочку за городъ, но только ручаюсь вамъ, что прогулка будетъ первый сортъ, съ сопряженіемъ пользы и удовольствій.

Я пожелалъ что-нибудь подробнѣе знать объ этой прогулкѣ, на которую звалъ меня Лаптевъ.

— Видите,—отвѣчалъ онъ:—тутъ, въ восемнадцати верстахъ отъ города, есть село Кротово. Кличка у него ничего особеннаго не обѣщаетъ, но само оно чрезвычайно красиво: раскинуто на берегу Оки и все въ садахъ и паркахъ, а что самое главное—такъ тамъ такая господская усадьба, что передъ нею куда твой Петергофъ! Да, именно Петергофъ, потому что тамъ въ Кротовѣ даже есть такія собранія произведеній искусства, что всѣ пальчики оближешь: вотъ ихъ-то я вамъ и хочу показать. Самъ Павелъ Дмитричъ Кротовъ—антикъ, который надо продавать на золотники: онъ разссорился со всѣмъ Петербургомъ, уѣхалъ къ себѣ въ Кротово и никого видѣть не хочетъ, да намъ до него и дѣла нѣтъ; а у него есть галлерея,—дивная галлерея, картины всѣхъ школъ и едва ли не въ наилучшихъ образцахъ, и вдобавокъ въ куполѣ надъ библіотекою теперь у него пишетъ что-то al fresco одинъ извѣстнѣйшій нѣмецкій художникъ: мнѣ страсть хочется это видѣть, да и вамъ совѣтую: во-первыхъ, огромное наслажденіе, и притомъ несмѣтная польза.

— Какая же?

— А вотъ тамъ увидите. Такъ значитъ ѣдемъ?

— Извольте.

Лаптевъ выбѣжалъ и черезъ нѣсколько минутъ забарабанилъ пальцами по стекламъ моего окна, и закричалъ:

— Подвода готова!

Я бросился къ окну и увидалъ у воротъ настланную со-

ломою крестьянскую телѣжонку, въ которой были запряжены худой, рослый, караковый меринъ и толстоногая буланая кобылочка, подъ выменемъ которой сосалъ пѣгій жеребенокъ.

«Такъ вотъ экипажъ, на которомъ мы поѣдемъ въ кротовскій храмъ искусства—не важно!»—подумалъ я, находя эту телѣгу и сбрую, а особенно пристяжную кобылку съ жеребенкомъ, не особенно изящными; но дѣлать было нечего: «важнѣе» намъ не на чемъ было ѣхать, да и къ тому же я скоро сообразилъ, что по-деревенски это ничего не значитъ. И съ этимъ я не только радостный, но даже торжествующій, вскочилъ въ телѣжку рядомъ съ моимъ Лаптевымъ, и мы поѣхали, конвоируемые сзади жеребенкомъ, который, чувствуя впереди вольный воздухъ полей, заливался тонкимъ и веселымъ жеребячьимъ ржаніемъ.

Минуты этого отъѣзда, равно какъ и всего этого путешествія я никогда не позабуду. По самымъ страннымъ стеченіямъ обстоятельствъ этотъ выѣздъ былъ моимъ исходомъ изъ отрочества въ иной періодъ жизни, который я опишу когда-нибудь, болѣе собравшись съ силами, а теперь, подходя къ этому рубежу, намѣчу только ту странную встрѣчу въ Кротовѣ, которая была для меня вѣхою, указавшею мнѣ новый путь и новыя страданія.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Село Кротово дѣйствительно было, что̀ называется, «прелестный уголокъ»: оно очаровало меня еще издали его далеко открывшимися видами, и я находилъ, что мой Лаптевъ не только ничего не преувеличилъ, подмалевывая мнѣ картины Кротова, но даже былъ немножко излишне скроменъ въ своихъ похвалахъ. Село лежало въ удольѣ вдоль быстраго ручья, вливавшагося въ русло Оки подъ прямымъ угломъ, а барская усадьба была въ сторонѣ, надъ самыми берегами рѣки, по которой ползли струга съ своими разноцвѣтными значками. Издали виднѣлся большой каменный домъ съ куполомъ и флагштокомъ, на которомъ, впрочемъ, флага не было, хотя владѣлецъ жилъ тутъ. Половина дома была не отдѣлана и, повидимому, заброшена, что̀ придавало въ моихъ глазахъ всему зданію свою особенную поэзію. Домъ въ самомъ дѣлѣ похожъ былъ на замокъ, вокругъ котораго вѣяло чѣмъ-то мрачнымъ, таинственнымъ.

Рѣка подходила подъ самый паркъ и такъ терялась въ темной тѣни отражавшихся въ ней деревьевъ, что казалось, будто деревья эти ссунулись въ воду. Я не зналъ, какъ мы переберемся черезъ эту рѣку: моста нигдѣ не было видно и ни живой души нигдѣ не шевелилось; но пока я размышлялъ объ этомъ затрудненіи, нашъ извозчикъ сложилъ у рта трубкой свои ладони и протрубилъ какой-то гулкій звукъ, въ отвѣтъ на который на томъ берегу что-то щелкнуло и изъ темени густыхъ тѣней поползъ на шестахъ небольшой паромъ, сколоченный изъ двухъ плоскодонныхъ лодокъ.

Мы переѣхали и, очутясь подъ самымъ паркомъ, хотѣли подниматься на гору, какъ одинъ изъ нашихъ перевозчиковъ остановилъ насъ и велѣлъ подвязать колокольчикъ.

— Зачѣмъ это?

— Баринъ не любитъ: у насъ для того больше и моста нѣтъ и съ того конца тоже человѣкъ приставленъ... наблюдаетъ.

Мы сняли колокольчикъ и стали подыматься по довольно крутому взвозу, который шелъ въ огибъ парка и постоянно держалъ насъ въ какомъ-то секретѣ отъ замка и другихъ строеній, такъ что мы чѣмъ ближе къ нимъ приближались, тѣмъ меньше ихъ видѣли. Все это на меня дѣйствовало какимъ-то подготовляющимъ образомъ; мнѣ, невѣдомо почему, начало казаться, что я потерялъ въ моемъ сознаніи мѣру времени и связь событій: я никакъ не могъ себя увѣрить, что мое имя есть точно мое, что я имѣю мать, которой имя и лицо такое, какое оно есть, и что я ее покинулъ въ томъ, а не въ другомъ мѣстѣ, и что этому прошло уже нѣсколько времени, а все это случилось не сейчасъ, не сію минуту... Меня это даже испугало: мнѣ показалось, что нѣчто подобное долженъ чувствовать человѣкъ, когда онъ начинаетъ терять разсудокъ, и между тѣмъ я не могъ искать на все это отвѣта у моего Лаптева, потому что я не могъ бы разсказать ему моего состоянія—и я съ прозорливостью провидца сознавалъ, что онъ меня не пойметъ и ничего мнѣ не въ силахъ будетъ отвѣтить.

Я взглянулъ на него и увидѣлъ, что онъ сидѣлъ въ своемъ камлотовомъ плащѣ—и, высоко задравъ голову, что-то въ себя тянулъ носомъ.

— Что вы дѣлаете?—спросилъ я.

— А воздухецъ кушаю: вы развѣ не чувствуете, какой

воздухъ? Вѣдь это, батенька, почкой пахнетъ, а въ почкѣ весь эликсиръ жизни: мнѣ, знаете, даже спать захотѣлось.

— Вотъ какъ!

— Да что же: я всегда возобновляюсь этимъ и вамъ то же совѣтую, а вотъ мы и въѣзжаемъ на дворъ.

Я взглянулъ впередъ и удивился: обогнувъ паркъ и взъѣхавъ на террасу, мы вдругъ очутились у двухъ каменныхъ столбовъ, замѣнявшихъ ворота, и затѣмъ намъ открывался дворъ не дворъ — скорѣе цѣлая площадь, размѣры которой въ моихъ глазахъ показались чудовищными, вѣроятно отъ страннаго фокуснаго освѣщенія. Солнце совсѣмъ уже сѣло и западъ, облитый багровымъ свѣтомъ, гасъ, но, угасая, онъ еще освѣщалъ неотдѣланную половину дома и свѣтилъ черезъ незарамленныя окна этой части на дворъ, тогда какъ во всѣхъ другихъ окнахъ было темнешенько... Престранный это имѣло видъ: точно домъ этотъ — словно многоглазое чудовище, у котораго когда одни глаза спятъ, то другіе смотрятъ. Я былъ тогда очень молодъ, очень мечтателенъ и склоненъ къ фантастическому, а къ тому же въ этотъ день чувствовалъ себя въ особенномъ настроеніи и очень легко предался мечтамъ, которыя осѣтили меня, чуть только я коснулся головою подушки, которую подкинула мнѣ вмѣстѣ съ простынею и одѣяломъ какая-то женщина.

Мы, кажется, пріѣхали не вò-время: въ домѣ что-то такое происходило, что пріятелю Лаптева было недосужно принять насъ, а вдобавокъ ко всему для насъ не оказалось и особаго помѣщенія—и мы должны были довольствоваться комнатою въ неоконченной части дома. Здѣсь намъ сдѣлали на сѣнѣ постель, на которую я и бросился, межъ тѣмъ какъ Лаптевъ пошелъ любоваться какими-то видами, представлявшими, по его словамъ, большой эффектъ при лунномъ освѣщеніи. Я за нимъ не послѣдовалъ, тѣмъ охотнѣе, что никакой луны не было—и я считалъ затѣю Лаптева о прогулкѣ пустою фантазіею, а потому, проводивъ его, я уснулъ глубокимъ и сладкимъ сномъ, но... вдругъ совершенно неожиданно проснулся, — точно меня кто въ бокъ толкнулъ; я открылъ глаза: луна свѣтила въ окно, обливая длинную анфиладу огромныхъ опустѣлыхъ палатъ блѣднымъ дрожащимъ свѣтомъ. Сонъ мой былъ такъ крѣпокъ, что, и проснувшись, я еще никакъ не могъ прійти

въ себя и понять, гдѣ я и что̀ передъ собою вижу. Я только оглянулся на постели—и увидавъ, что Лаптева нѣтъ возлѣ меня, подумалъ, что его со мною и не было; все дѣйствительное мнѣ представлялось сномъ и одинъ сонъ былъ какъ будто дѣйствительностію. Безсиліе разобрать что-нибудь въ этомъ дѣйствовало на меня самымъ угнетающимъ образомъ—и я лежалъ точно въ какой летаргіи, тяжело устремивъ свой усталый, пристальный взглядъ въ одно мѣсто передъ собою. Какое это было мѣсто, — спросите меня: я не знаю; надо полагать, что это была стѣна подъ высокою аркою, куда свѣтъ луны попадалъ какимъ-то рефлексомъ и печально обливалъ изображеніе... какое это было изображеніе? Это были какія-то фигуры, изъ которыхъ я не узнавалъ ни одной, кромѣ той, которой не могъ не узнать, потому что это... была моя мать. Чѣмъ я пристальнѣе въ нее вглядывался, тѣмъ она становилась яснѣе: это была она, я теперь ясно видѣлъ ея стройную фигуру, ея небесныя черты и эти ея превосходные золотистые волосы, въ которыхъ только не было нынѣшнихъ бѣлыхъ нитей. Что это такое было: сонъ, видѣніе, или картина? Кто могъ изобразить эту картину, для которой моя мать послужила идеаломъ, и наконецъ, что̀ представляетъ вся эта сцена, въ которой все казалось живымъ и движется, опять кромѣ *ея*, кромѣ этой святой для меня фигуры, которая стояла неподвижно, склонивъ подъ чѣмъ-то свою головку,— знакомое, прелестное движеніе, къ которому я такъ привыкъ, наблюдая ее въ тѣ минуты, когда она слушала о чьемъ-нибудь горѣ и соображала: какъ ему помочь и не остаться къ нему безучастнымъ... .

Я боялся не только встать, но даже пошевельнуться, а межъ тѣмъ лунный свѣтъ все становился слабѣе и видѣніе темнѣло и меркло, и словно переносилось со стѣны внутрь души моей: я сталъ припоминать, какъ я былъ неправъ противъ матери; какъ я тяготился даже ея чистотою и неотступнымъ ко мнѣ вниманіемъ,—словомъ, какъ мнѣ хотѣлось выйти изъ-подъ ея опеки, и... мнѣ вдругъ показалось, что я изъ-подъ нея вышелъ, что матери моей болѣе нѣтъ во всемъ ея существѣ, а она остается только въ моей памяти, въ моемъ сознаніи и въ моемъ сердцѣ.

Я повернулся къ стѣнѣ и заплакалъ: спалъ или не спалъ я послѣ этого — не знаю, но только я слышалъ, какъ при-

шелъ Лаптевъ, какъ онъ долго зажигалъ свѣчу отсырѣвшими спичками и все шопотомъ на что-то ворчалъ, и очень долго укладывался, и потомъ опять всталъ, скрипѣлъ что-то дверями, вѣроятно запиралъ ихъ, и снова ложился. Все это мнѣ ужасно надоѣло. Утромъ я всталъ очень рано: часовъ съ нами не было, они остались съ прочими нашими вещами внизу, въ жилыхъ покояхъ управителя, — но по солнцу я видѣлъ, что еще очень рано, и, вскочивъ, тотчасъ же наскоро одѣлся и вышелъ на цыпочкахъ, чтобы найти мое ночное видѣніе.

Пріотворивъ съ усиліемъ двери, съ которыми такъ долго возился ночью Лаптевъ, я пролѣзъ въ нихъ и остановился; передо мною былъ огромный круглый залъ недостроенный, но скорѣе заброшенный и теперь, повидимому, вновь реставрируемый, — по крайней мѣрѣ я такъ заключилъ по загромождавшимъ его подмосткамъ, изъ-за которыхъ выглядывали на меня поблѣднѣвшія головы фрескъ. Я повелъ глазами вокругъ, боясь найти и боясь потерять обликъ, котораго искалъ,—и вотъ онъ: я увидалъ его тамъ же, вверху ниши стрѣльчатой арки, и не помня себя, побѣжалъ вверхъ по зыбкимъ подмосткамъ. Я былъ уже почти наверху, почти у самаго изображенія моей матери, какъ вдругъ вздумалъ взглянуть внизъ... земля подо мною вертѣлась, прямыя доски косили и выгибались подъ моими ногами, — я какъ-то повернулся су-бочь на одной ногѣ и почувствовалъ, что меня какъ будто что-то пріятно щелкнуло по темени и затѣмъ вдругъ встряхнуло и вытянуло... Это было такъ непріятно, что я открылъ глаза—и увидалъ какого-то высокаго брюнета съ прекраснымъ чужеземнымъ лицомъ и сейчасъ же позабылъ и себя, и его, и въ предѣлахъ земныхъ все земное. Когда я пришелъ въ себя, была теплая, синяя ночь; комната, въ которой я лежалъ, была не высока, но воздухъ въ ней былъ необыкновенно легокъ и пропитанъ какимъ-то тонкимъ, живительнымъ ароматомъ. Я по всей строгой истинѣ рѣшительно не могъ сказать, гдѣ я нахожусь. Всѣ мои чувства были въ совершенномъ разбродѣ, но я ощущалъ какую-то невыразимо-пріятную тишину и разлитый въ воздухѣ запахъ сирени—и, тихо приподнявшись, сѣлъ на постели. Въ открытое окно глядѣлъ мѣсяцъ и мерцали съ синяго неба яркія звѣзды, а внизу на подоконникѣ лежали сиреневыя грозди. Что же это: гдѣ

я наконецъ?.. Я никакъ ничего не могъ вспомнить, но въ это время за ковромъ, которымъ была завѣшана стѣна у моей постели, послышался вздохъ, глубокій, теплый, куда-то рвущійся вздохъ и раздались щиплющіе за сердце металлическіе звуки цитры. Опытная и искусная рука играла хорошо знакомый мнѣ мотивъ псалма изъ старой гугенотской библіи, которая не сходила со стола моей матери.

— Все она, и все она! Кто же это здѣсь ею занятъ? Мнѣ показалось необходимостью узнать это теперь же, сейчасъ, сію минуту, и я тронулся и пошелъ нетвердыми шагами, держась рукою стѣны. Мнѣ что-то попадалось подъ руку — я что-то обходилъ, за что-то зацѣплялся и снова освобождался и, наконецъ, очутился въ совершенно-тѣсномъ пространствѣ, которое, вѣроятно, должно было быть коридоромъ. Но что̀ это за коридоръ? Я чувствовалъ подъ ногами обитый ковромъ полъ и обтянутыя какою-то матеріею стѣны и ничего болѣе. Куда ни двинешься—все то же самое. Но вотъ снова щипнула цитра, и еще, и еще, и свѣжій, крѣпкій, мужественный баритонъ запѣлъ: «Eternel, aie pitié de moi, car je suis sans aucune force! Eternel, retourne toi, garantie mon ame». Это было опять ея пѣніе, ея манера; я не выдержалъ и куда-то подвинулъ впередъ руки и остановился; тяжелый коверъ, преграждавшій мнѣ путь, поднялся и открылъ обширную комнату, меблированную въ старинномъ французскомъ вкусѣ. Всѣ окна ея также выходили въ садъ и были растворены; свѣтъ и ароматъ въ нее лилъ еще раздражительнѣе и тутъ на длинной софѣ съ золоченымъ загибомъ сидѣлъ у небольшого легкаго столика... тотъ, кого я видѣлъ въ послѣдній разъ, когда потерялъ сознаніе: высокій мужчина съ полусѣдою головою — и онъ пѣлъ этотъ чудный псаломъ.

Коверъ, которымъ я двинулъ, заставилъ его оглянуться, и глаза наши встрѣтились.

— Богу хвала: вы живы! — воскликнулъ онъ по-французски и, вскочивъ съ мѣста, заключилъ меня въ свои объятія, и, посадивъ въ кресло, подалъ мнѣ стаканъ воды съ каплей какого-то вина.

— Живъ?—спросилъ я:—развѣ я былъ боленъ?

— Да; вы лежали долго.

— Долго?

— Да; объ этомъ послѣ...

— Что же было со мною?
— Вы оступились съ высокаго мѣста.
— Помню. Что же, я расшибся?
— Нѣтъ; вы только получили большое сотрясеніе.
— Кто спасъ мнѣ жизнь?
— Конечно Тотъ, Кто вамъ далъ ее.
— Но я помню ваше лицо...
— Я былъ тамъ.
— Кто же вы?.. Какъ ваше имя?
— Мое имя Филиппъ.
— О, вы Кольбергъ!
— Я Кольбергъ, я тотъ, котораго мать ваша считаетъ своимъ другомъ; но теперь пока это все: пока болѣе ни слова. Слушайте меня: мы здѣсь одни, во всемъ имѣніи нѣтъ ни хозяина, ни управителя, ни Лаптева, который привелъ васъ; всѣ они разъѣхались кто куда: я одинъ ждалъ васъ и дождался. За все это я попрошу у васъ повиновенія.
— Я долженъ повиноваться.
— Да; и *она* такъ хочетъ... она этого даже просила.
— Вы получили письмо отъ матушки?
— Да.
— Нельзя ли его видѣть?
— Нѣтъ; его нельзя видѣть, — отвѣчалъ Кольбергъ: — и вы должны не повторять этой просьбы до тѣхъ поръ, когда я самъ найду нужнымъ это исполнить.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Онъ не скоро это исполнилъ — и зачѣмъ онъ исполнилъ это? О, сколько было бы лучше, если бы я никогда не узналъ того, что̀ сдѣлалось съ тѣми, кого любилъ я, въ мое отсутствіе.

Съ этой поры я видѣлъ Кольберга всякій день—и, глядя на его вдохновенное лицо, думалъ:

«Что̀ за тайна связываетъ этого человѣка съ моею матерью: можетъ-быть, она его любила, когда еще не была женою моего отца; можетъ-быть, онъ о-сю пору ее любитъ».

— Господинъ Кольбергъ! — спросилъ я его однажды, когда мы сидѣли вдвоемъ: я читалъ книгу, а онъ рисовалъ карандашомъ эскизъ будущей картины.

Онъ обернулся.

— Знаете, что̀ я хочу васъ спросить?

— Нѣтъ, не знаю.

— Не будетъ ли на этой картинѣ, которую вы сочиняете, лицо моей матери?

— Будетъ.

— Зачѣмъ вы его такъ часто рисуете?

— Потому, что оно прекрасно.

И онъ положилъ карандашъ и закрылъ руками глаза.

— Г. Кольбергъ!—продолжалъ я.

— Спрашивайте.

— Какъ это было?

— Что?

— Maman и вы...

Онъ разсказалъ мнѣ странную исторію, въ которой самъ игралъ роль жалкую, а моя мать по обыкновенію святую и миссіонерскую: онъ былъ дерптскій студентъ, буршъ, кутила и демократъ; мать — христіанка. Онъ былъ происхожденія ничтожнаго; она—баронесса. Онъ за нее сватался—ему отказали, — онъ не переставалъ ее любить, искалъ забвенія въ искусствѣ, искалъ смерти на барикадахъ и остался живъ, для того, чтобы встрѣтить ее вдовою. Онъ снова предложилъ ей руку и снова получилъ отказъ, но на этотъ разъ уже не отъ ея родителей, а отъ нея самой.

— И вы знаете, кто этому былъ виноватъ?—заключилъ онъ:—виновникъ всего этого *вы*.

— Я!

— Да; она отвѣчала мнѣ: «и половина сердца не можетъ отвѣчать цѣлому, а мое цѣлое принадлежитъ все моему сыну». Взамѣнъ любви она предложила мнѣ свою дружбу, и я жилъ ею, но когда ея не стало, я буду жить любовью къ вамъ!

— Кого не стало?—вскрикнулъ я.

— Кого?.. *Дружбы*, — отвѣчалъ Кольбергъ, повидимому совершенно спокойно, но я видѣлъ, что онъ лжетъ, и спросилъ:

— Развѣ вы поссорились съ maman?

— Да, мы разладили.

— На чемъ?

— Я вамъ это скажу завтра.

Я съ нетерпѣніемъ ждалъ этого завтра и не зналъ какъ

начать, но Кольбергъ предупредилъ меня самъ и довольно грубо; онъ сказалъ мнѣ:

— Вы теперь достаточно сильны, чтобы узнать о томъ, что случилось...

— Съ maman!

— Нѣтъ; съ дѣвушкою, которую зовутъ...

— Христя!

— Да.

— Что съ нею?

— Ровно ничего.

— Какъ это?

— Ея больше нѣтъ.

— Она умерла?

— Умерла. Хотите прочесть объ этомъ?

— Очень хочу.

И я взялъ изъ его рукъ письмо maman отъ довольно давней уже даты и прочелъ вѣсть, которая меня ошеломила. Maman, послѣ краткихъ выраженій согласія съ Кольбергомъ, что «не все въ жизни можно подчинить себѣ», справедливость этого вывода примѣняетъ къ Христѣ, которая просто *захотѣла погибнуть* и погибла. Суть дѣла была въ томъ, что у Христи явилось дитя, рожденіе его было не благополучно—и мать, и ребенокъ отдали Богу свои чистыя души.

«Я укоряю себя за эту дѣвушку, — писала maman: — я слишкомъ высоко подняла въ ней тонъ—и это ее сгубило. Принимая вещи обыденнѣе, она была бы счастливѣе, и»...

Тутъ что-то было далѣе, но Кольбергъ, слѣдившій за моимъ чтеніемъ, вынулъ на этомъ мѣстѣ изъ моихъ рукъ письмо и сказалъ:

— Остальное къ дѣлу не идетъ.

Я совсѣмъ оправился и сталъ собираться домой. Кольбергъ возвращался въ Петербургъ. Мы разстались въ городѣ очень дружно — и на прощаньѣ онъ взялъ съ меня слово, что если мнѣ когда-нибудь понадобится другъ, то я не стану искать никого другого кромѣ его. Я далъ ему это слово.

— А на дорогу совѣтъ,—добавилъ онъ:—не поднимайте очень высоко тона...

— Не понимаю, говорю.

— Берите жизнь попроще, а то спутаетесь и другихъ

спутаете. Я пострадалъ отъ этого, — смотрите вы не пострадайте,—зато и выработалъ себѣ консервъ.

— Какой консервъ?

— Морали: я согласенъ, что не дѣлать того другому, чего себѣ не желаешь—мало; слова нѣтъ, что мало, потому что это одно отрицаніе зла, но не добро, — а вотъ какъ: faites ce que vous voulez qu'on vous fasse—и больше этого ничего не нужно... Прощайте.

Я ѣхалъ благополучно до самаго Кіева и уже перемѣнялъ лошадей на послѣдней станціи, какъ вдругъ смотритель мнѣ подалъ пакетъ. Я взглянулъ на адресъ и узналъ руку Кольберга, а распечатавъ, нашелъ то же материно письмо, которое уже было въ моихъ рукахъ и не дочитано на буквѣ «и».

— «Дочитайте!»—подписалъ на немъ Кольбергъ.

— «Принимая вещи обыденнѣе, она могла бы быть счастливѣе, и это приложимо ко многимъ. Я часто думаю, что въ христіанскомъ мірѣ установился нѣсколько неправильный взглядъ на нашу собственную жизнь: отчего, изводя себя по мелочамъ, ради той или другой идеи, мы не въ правѣ дѣлать того же самаго en gros? Я этого рѣшительно не понимаю: тѣ, которые клали подъ топоръ свою голову за какую-нибудь высокую идею, развѣ въ сущности не тѣ же самоубійцы? Если сохраненіе жизни важнѣе всего, то они должны были ее сохранить, и тогда у насъ не было бы тѣхъ идеалистовъ, которыми хвалится и ими живетъ, не доходя до крайней низости, весь родъ человѣческій. Не укоряйте меня, мой другъ, что всѣ эти мысли приходятъ мнѣ, когда я думаю о моемъ сынѣ: онъ теперь прожилъ уже срокъ своего наказанія, получаетъ чинъ и былъ бы свободенъ: онъ бы уѣхалъ къ вамъ, вы бы открыли дорогу его художественному развитію, между тѣмъ, какъ со мною онъ погибнетъ здѣсь среди удушливой атмосферы канцелярской, но почемъ знать—можетъ-быть, со временемъ сживется съ нею и позабудетъ все, что я старалась въ него вдохнуть... Эта мысль не даетъ мнѣ покоя и я чувствую, что я съ нею не справлюсь: мое счастье развязать ему крылья и благословить его полетъ, искупивъ свое самовластіе надъ собою карою, какой буду заслуживать».

Внизу этого рукою Кольберга было отмѣчено: «Съ тѣхъ поръ писемъ не было».

Вы можете вообразить, въ какое состояніе пришелъ я, прочитавъ это письмо! Вообразите же другое мое состояніе, когда я, входя въ свою квартиру, не встрѣтилъ моей матери... Я не спросилъ никакого объясненія у нашей служанки и бросился къ Альтанскому.

Это былъ вечеръ: старикъ сидѣлъ дома, все въ томъ же креслѣ и въ томъ же халатѣ, и за тѣми же классиками.

— А, другъ мой! Это ты! Ну что же: ты пріѣхалъ все-таки не поздно, чтобы узнать свое горе.

— Моя мать... могъ я только проговорить.

— Твоя мать кончила съ собою (онъ не сказалъ мнѣ, какъ она отравилась). Она увлеклась своимъ самоотверженіемъ...

— О, я знаю это! Знаю! И это я во всемъ виноватъ.

— Чѣмъ же?

— Я не умѣлъ скрыть, что мнѣ скучно, что меня манитъ что-то иное, — и я потерялъ ее, а съ ней все, что было мнѣ мило.

— Что же, она значитъ своего достигла: теперь она для тебя никогда не умретъ.

Онъ болѣе не утѣшалъ меня, да я и не требовалъ утѣшенія: я провелъ нѣсколько дней, молясь на могилѣ матери, и уѣхалъ отсюда навсегда, къ Кольбергу. Болѣе мнѣ ничего не оставалось дѣлать: я былъ выбитъ изъ старой колеи и долженъ былъ искать новой.

— Я не могу быть ученымъ, какъ вы,—сказалъ я Альтанскому:—въ душѣ моей горитъ другой огонь: огонь жизни; я хочу служить искусству.

— И служи ему, — отвѣчалъ онъ въ часъ нашей разлуки, когда я въ послѣдній разъ поцѣловалъ его въ блѣдныя уста.

Онъ остался на берегу Днѣпра, а я уѣхалъ къ Кольбергу. Съ тѣхъ поръ я уже не видалъ старика, онъ умеръ— не отъ грусти, не отъ печали одиночества, а просто отъ смерти, и прислалъ мнѣ въ наслѣдіе своихъ классиковъ; а я... я вступилъ въ новую жизнь—въ новую колею ошибокъ, которыя запишу когда-нибудь, конечно уже не въ эту тетрадь, заключающую дни моего дѣтства и юношества, проведенные между людьми, которымъ да будетъ мирный сонъ и вѣчная память.

Оглавленіе

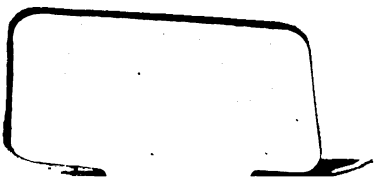
XXXII ТОМА.

стр.

Блуждающіе огоньки. (Автобіографія Праотцева) 3

621.13
L711
ed.3a
v.29-32

FEB 4 - 1978

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.